**ТЕКСТЫ АВТОРОВ, ПОПАВШИХ В ЛОНГ-ЛИСТ (ДЛИННЫЙ СПИСОК) ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИСААКА БАБЕЛЯ**

1. Аксси Валентина «Серо-голубые глаза»

***Валентина Аксси***

**СЕРО-ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА**

**Рассказ**

*Посвящается моей бабушке Тоне*

Маленькая стрелка часов подкрадывалась к цифре семь. Я так увлеклась рисунком, что не заметила, как совсем стемнело. Пора перебираться поближе к окну, а то все пропущу! Ну, а со шкатулками, так и быть, поиграюсь уже завтра, решила я, еще раз взглянув на потертый, со следами позолоты, циферблат.

Я отложила карандаши в сторону и побежала на кухню, шлепая босыми ногами по бабушкиным половичкам. Домашнее печенье, как всегда, ожидало меня в плетеной корзинке, прикрытой белоснежной накрахмаленной салфеткой. Любит моя бабуля эти салфетки расстилать под вазочками, прикрывать ими тарелочки и раскладывать перед зеркалами и гостями, что изредка появлялись в ее доме. Я тоже теперь так делаю, когда кормлю куклу Машу. Кормлю понарошку, а салфетки беру настоящие. Пусть учится «етикету» за столом. Моя левая рука привычно потянулась к дверце буфета. На нижней полке, - это чтобы я легко достала,– для меня был оставлен стакан молока.

Бабуля считала, что семилетняя девочка – это большая девочка, и может сама о себе позаботиться. И я была с нею полностью согласна. Папа и мама не разделяли нашу с бабушкой точку зрения.

«Сережа, у меня аврал! Я не смогу с ней сидеть целый день, – доносился мамин голос из кухни, заглушая звук телевизора. Там какие-то дяди собирались перед Новым годом идти в баню. – Я в квартире ее одну не оставлю! Она же весь дом сожжет… или затопит!»

С раннего утра мама, в цветастом переднике, в бигуди под косынкой, стояла у плиты: что-то мешала, отбивала, сбивала, жарила и нарезала малюсенькими красивыми кубиками яйца, картошку, колбаску. Все пахло очень вкусно, но меня прогоняли каждый раз, когда я пыталась украсть кубик колбаски или слизнуть крем с уголка «наполеона».

- Машер[[1]](#footnote-1), но я второго в институте должен быть, - пытался робко оправдаться папа, наряжая вместе со мной елку. Ничего более серьезного нам с ним не доверили. Французкое «машер» означало, что папа начинает опасаться маминого гнева.

Желтки яиц непослушно рассыпались под ножом, в телевизоре один дядя летел вместо другого в Ленинград и осколки уже двух игрушек валялись под елкой. Все нервничали. И на семейном совете меня решили отправить на зимние каникулы в село.

«Без шапки не гуляй… Варежки мокрые не надевай… Носки – шерстяные, и две пары… Сапожки суши... И не забудь поздравить бабушку с днем рождения…» и еще с доброй сотней наставлений, на новенькой папиной «копейке» - натертой до блеска, с зеркалами по бокам, с мягкими сиденьями, как в карете у Золушки, - я была доставлена в деревню к бабушке. На дне моей сумки, придавленная теплыми свитерами и шерстяными колготками, покоилась тяжелая коричневая коробка.

Деревня сразу проглотила меня. Целыми днями я носилась по двору, исследовала щели в сарае, спускалась в погреб, лазила на чердак и бегала без устали по заснеженным улицам вместе с сельской детворой - не всегда в шапке, всегда без варежек и в одной паре носков, и то разноцветных. Я чувствовала себя взрослой – вставала, когда хотела, сама себе готовила яичницу, или просто хватала бутерброд с колбасой, приготовленный бабулей на рассвете, и даже иногда забывала чистить зубы. Никто не читал мне нравоучений, не следил, как я держу вилку или нож, не заставлял мыть руки перед едой, не загонял домой, когда темнело, не укладывал спать ровно в десять...

Бабуля работала дояркой, и ей, к моему детскому счастью, было не до меня. Она уходила на ферму рано утром, затемно, когда я крепко спала, затем возвращалась, когда я уже носилась с соседскими детьми по сугробам, готовила мне обед и снова уходила на работу. Иногда , как сегодня, случалось, что мы с ней за целый день ни разу не виделись, то я забегала с улицы – ее не было, то она приходила с фермы - а я бегала уже на другом конце села, позабыв о времени и еде.

После полудня, перед вечерней дойкой, когда бабуля возвращалась на пару часов домой, и, если я случайно забегала отогреться, или сменить промокшие сапожки на сухие ботинки, мы с ней садились «трапезничать», как она любила говорить.

Перед тем как ступить на порог, бабуля всегда останавливалась на крыльце, стряхивала хлопья снега с кучерявого с миллионами завитушек воротника, одновременно прижимая указательными пальцами к ладошкам широкие варежки из овчины, чтобы те не соскользнули с ее тонких запястий. Войдя в прихожую, она снимала колючий шерстяной платок, выныривала из объятий безразмерного тулупа, и оставалась в белоснежном, отдающем голубизной, накрахмаленном халате. Изящная, невысокого роста, благоухающая морозом вперемешку с французскими духами, она была похожа скорее на врача, или воспитательницу детского сада, а не на доярку. Седые волосы, уложенные в высокую прическу, с нерастаявшими снежинками у висков, требовали как минимум короны.

- Бабуля, ты у меня цаЛевна, - шептала я и, подпрыгивая, целовала ее в холодную щеку.

- Милая моя, - ласково отвечала она, прикасаясь посиневшими губами к моему лбу, и от улыбки на ее гладком, как мрамор, лице появлялись ниточки морщинок.

Бабуля застилала обеденный стол белоснежной скатертью, что свисала кружевными воланами до самого пола, и аккуратно расправляла сухой ладонью хрустящие складки. Затем из печи доставались теплые пирожки, которые она успевала испечь после утренней смены. Я выкладывала их аккуратной горкой на фарфоровую тарелку, подносила наполненное блюдо к носу и, вдыхая сладкий ванильный аромат, ставила торжественно на стол. И никто не кричал мне за спиной: «Осторожно! Смотри, не разбей!» Молоко подавалось к пирожкам по-праздничному, в высоких хрустальных стаканах. Мне было как-то неудобно притрагиваться к этому белоснежно-хрустальному великолепию грязными руками, и я без напоминаний бежала к рукомойнику отмывать холодной водой ладошки от улицы.

- Ба, а ты все эти книги прочитала? Они какие-то непонятные, – поинтересовалась я, убирая следы молока с губ накрахмаленной салфеткой, как это делала бабушка.

Стены крохотной гостиной были заполнены до самого потолка стеллажами с книгами. Толстые, в мрачных темно-зеленых, черных, коричневых переплетах, с потрепанными уголками, как будто их кто-то грыз, они стояли так плотно друг к другу, что казалось срослись обложками, и нужно было приложить усилие, чтобы освободить книгу из тисков ее соседей.

- Непонятные? – рассеянно, эхом переспросила бабушка, рассматривая через окно замерзшее озеро, что начиналось сразу за нашим огородом. - Непонятные книги? Почему непонятные?

Бабушка наконец-то оторвала взгляд от озера и посмотрела на меня.

- Буковки непонятные. Я прочитать не могу, - потянулась я за пирожком, не доев еще предыдущий, и добавила, стараясь поднять свой авторитет: – А у меня, между прочим, по чтению пятерка.

- Это французский, милая, - ответила бабуля, не обратив никакого внимания ни на мои успехи по чтению, ни на то, что я ем одновременно два пирожка. Будь на ее месте мама, я бы уже выслушивала «нравомучительное»: «хвастаться некрасиво» и «ешь культурно».

- Ух ты, французский?! Это как на духах, - вспомнила я.

Бабушка молча кивнула. Уголки ее тонких губ слегка дернулись в улыбке, да лукавая искорка скользнула в уставших глазах. Она не любила болтать. Никогда не сплетничала с соседками на скамейке, ничего не рассказывала ни о своей прошлой жизни, ни о теперешней работе на ферме. Она даже имен коров не знала. Я часто слышала, бегая по сельским улицам, как другие доярки, возвращаясь с фермы, тараторили наперебой: «У Зойки сегодня что-то мало молока, совсем мало…» - «Ага, день какой-то недойный сегодня. У моей Настюхи тоже что-то мало…»

У бабушки коровы жили без имен, и с работы она всегда возвращалась одна. Я подслушала однажды, как папа ее спросил: «Может, тебе лучше в канцелярию перейти? Все-таки там теплее, да и полегче». «Да нет, с коровами легче», - покачала головой бабушка.

В ее доме, заполненном книгами, я не обнаружила ни одной фотографии. Поэтому я не представляла себе, как она выглядела в молодости, какие платья любила, какую прическу носила, с кем дружила… Мне казалось, что она всегда была бабушкой и всегда жила одна в своем маленьком сельском доме с крыльцом. Она даже к нам в город, погостить в нашей небольшой двухкомнатной квартире да «побаловать любимую внучку», выбиралась редко.

«Вам и без меня тесновато, милые», - отмахивалась она, отклоняя очередное приглашение.

Но раз в год, накануне 8 Марта, папа натирал до блеска свои «жигули» и сам ехал за бабушкой в село, чтобы привезти ее к нашему «женскому» праздничному столу.

«Для моих любимых женщин», - гордо произносил он и торжественно доставал из шкафа две небольшие коробочки, добытые по какому-то «очень страшному блату», с непонятными черными буквами и чужеземным ароматом, что вырывался наружу через гладкий картон. Я же в список «любимых женщин» пока не входила, и получала в подарок очередную куклу.

«Зачем? Так дорого! Это же почти месячная зарплата!» – причитала обычно мама, прижимая прямоугольный флакон с большой цифрой пять к груди.

«Мерси, Сереженька», - сдержанно кивала бабушка, нежно целуя папу в серо-голубые глаза.

Она любила целовать и мои глаза перед сном; наверно потому, что они были тоже серо-голубые. Я часто слышала: «Носик-курносик – мамин, а глаза, глаза – папины». Укрыв меня с куклой Машей периной, бабушка выключала верхний свет, садилась здесь же, в гостиной, где стояла моя кровать, за стол, открывала толстую тетрадку в мягкой бархатной обложке и что-то писала, освещенная настольной лампой и светом луны.

А еще бабушка любила читать, после обеда или поздним вечером, когда у нее находилось время между фермой и мной. Садилась в уголок дивана, набрасывала на плечи шерстяной платок и замирала над пожелтевшими страницами очередного романа. Меня же бабушкины книги не интересовали. Без ярких картинок, с портретами дядь в пенсне и теть в чепчиках, пропитанные пылью и временем, они казались мне скучными, безжизненными и даже страшными, как будто там жили мертвецы.

Другое дело – бабушкины шкатулки. Деревянные и серебряные, со сказочными цветами и райскими птицами, украшенные синими и зелеными камушками, круглые, квадратные, прямоугольные, выстланные бархатом и шелком…. Больше всех мне нравилась самая большая шкатулка - туда даже моя кукла помещалась - ярко-голубого цвета с витиеватым узором из перламутровых пластинок, что напоминали льдинки.

В отличие от мамы, которая не подпускала меня к своим коробочкам, бабушка разрешала играться с ее многочисленными шкатулками. Может потому, что все они были пусты, не то что мамины, заполненные доверху бусиками, колечками, брошками.

- Ба, а зачем тебе все эти коробочки? – как-то спросила я.

Она молча улыбнулась и невзначай прикоснулась кончиками пальцев к волосам над висками, будто у нее заболела голова, или она хотела поправить воображаемую корону.

Когда за окном темнело, бабушка надевала тулуп, закутывалась в колючий платок и снова уходила на ферму, на вечернюю дойку, прихватив с собой холщовую сумку на длинной ручке. А я, оставшись одна в натопленном доме, доставала с полок шкатулки и превращала их для моей Маши в трон, гардеробную, стол, машину, кроватку…

Ближе к семи я оставляла куклу и шкатулки в покое, выключала свет, чтобы лучше видеть все, что происходит за окном, и перебиралась с печеньем и молоком к подоконнику, и… ждала.

Может быть, сегодня мои ожидания были напрасны. Погода к вечеру ухудшилась. Ветер носился по сельским улицам, без устали хлопал калитками и завывал громко на чердаках. Голые деревья, как скелеты, раскачивались вокруг озера, размахивая из стороны в сторону костлявыми ветками. Большая ель в темноте напоминала чудовище из «Аленького цветочка». Но мне не было ни капельки страшно. Я уже ходила в школу и знала, что чудовищ на самом деле не бывает и настоящие скелеты хранятся в кабинете биологии. Большая яркая луна хорошо освещала замершую гладь озера и окончательно рассеивала мои страхи.

Удобно умостив коленки на диване, а локти на подоконнике, я внимательно всматривалась в длинное строение, что белело вдалеке. Электрические фонари заливали ярким светом фасад. Когда маленькая стрелка часов перешагнула цифру семь, входная дверь приоткрылась и тут же, подхваченная ветром, распахнулась настежь. На пороге появилось несколько женщин в необъятных длинных тулупах, что делали их силуэты похожими на медвежьи. Последняя из них захлопнула дверь, придавив ее всем своим телом. Доярки потоптались пару минут под фонарем – наверно, болтали о прошедшем дне или завтрашних планах, затем дружно подняли повыше воротники, посильнее запахнули кожухи и, придерживая платки на головах, согнувшись, пытаясь противостоять ветру, пошли по дороге, что вела через поле прямо к селу.

Я прилипла лбом к холодному стеклу и продолжала смотреть на ферму. Минут через пять дверь снова открылась. И в проеме показался женский силуэт. Ветер ударил по доярке, и тулуп, несмотря на свою громоздкость, облепил ее, выставляя очертания фигуры на обозрение. Подол длинного белого халата вырывался из-под кожуха и напоминал кружево бального платья. Даже толстая овчина и широкие валенки не могли скрыть бабушкиной хрупкости. Бабуля с трудом захлопнула дверь и в нерешительности остановилась под фонарем. Наверно, сегодня она пойдет прямо домой через поле, подумала я, прислушиваясь к протяжным завываниям за окном. Но постояв пару секунд, бабушка привычно повернула влево и направилась к озеру.

Ветер хлестал ее по лицу, срывал с плеча холщовую сумку, и ей приходилось одной рукой придерживать платок, а второй – сумку, чтобы та не била по спине.

Когда я допила молоко и последняя печенька растаяла во рту, бабуля дошла до озера и, как всегда, остановилась возле высокого пенька, что приютился под огромной елью-чудовищем. Дерево надежно защищало ее от ветра, и она спокойно присела, опустила сумку на снег, и взглянув на небо, уверенно сняла варежки и расстегнула тулуп. Я поежилась в натопленной комнате. Теперь бабуля могла легко нагнуться и достать из сумки коньки. Немного повозившись с ремнями, перетертыми и неоднократно сшитыми, она умело привязала лезвия к валенкам.

Порыв ветра подхватил снежный песок и неистово погнал его над озером, но не остановил бабушку. Она встала, топнула несколько раз об землю, и убедившись, что коньки привязаны ровно, повела плечами и сбросила тулуп на пенек.

Коньки скользнули по льду. И она полетела, как белая птица, над замерзшей гладью озера. Халат трепетал как надутый парус. Платок сполз с головы, и под лунным светом казалось, что это не крупинки снега сверкают в ее волосах, а настоящие алмазы. Ее помолодевшее, необыкновенно красивое, сияющее лицо смотрело вверх на звездное небо. Она улыбалась. Я не видела этого через окно, но чувствовала всем сердцем маленькой семилетней девочки. И не существовало в ее жизни сейчас ни мороза, ни ветра, ни снега, ни меня, прилипшей к холодному оконному стеклу…

Я не понимала, что на самом деле происходит. Почему она, вместо того, чтобы спешить в теплый дом, идет каждый вечер на холодное озеро и самозабвенно танцует, не обращая внимания ни на погоду, ни на людей, что шушукались по селу о ее чудаковатом пристрастии. Было в этом танце что-то очень личное, глубокое, что-то, к чему нельзя прикасаться, о чем нельзя спрашивать никогда, даже сегодня, в день ее рождения.

На столе ее ждала коричневая коробка, которую я не смогла подарить ей с самого утра. Мы целый день с мальчишками строили снежные баррикады. Забежав раза два за день домой за пирожками, я не застала ее. В коробке лежали новенькие белые ботинки с острыми коньками для фигурного катания. Мы с папой вместе носили их к мастеру, чтобы тот их заточил, как мамины ножи, а затем аккуратно заворачивали в шершавую бумагу и прятали на дно моей сумки. Рядом с коробкой на столе лежал моей рисунок - бабушка, с распущенными волосами, с короной на голове, как принцесса, в бальном платье танцует на голубом льду…

…Прошло не так много лет, и ее не стало… Пролетело еще много лет, и рухнула советская власть, в магазинах появились «Шанель № 5», я стала на коньки, выучила французский и прочитала бабушкин дневник в бархатной мягкой обложке.

*12 февраля 1943 …пришла очередь и на мою брильянтовую диадему. Сегодня обменяла ее на две буханки хлеба. В шкатулках больше ничего не осталось… Теперь у меня есть только мой маленький Сереженька и коньки. Значит, я все еще богата!*

*10 января 1938 …меня отчислили из института, как дочь врага народа. Теперь я даже не смогу иметь хорошую работу. Мне страшно! Если бы не Серж, я бы сошла с ума. Сегодня ночью заметила падающую звезду и успела загадать желание. Пусть следующий Новый год мы встретим все вместе: мама, папа, Серж и я…*

*5 декабря 1937 …сегодня забрали и маму. Без объяснений и без права переписки. Забрали вместе со всеми семейными фотографиями… Нет, надо верить! Все выяснится, и их отпустят! Обязательно отпустят! Серж тоже верит...*

*3 октября 1937 …мы с мамой сегодня прятали шкатулки с фамильными украшениями... Спрятали и мою диадему. «Это на черный день», - сказала мама. Надеюсь, он никогда не наступит. И папу скоро отпустят… Мама не выходит из дома, все время плачет… На улице идет дождь…*

*1 сентября 1937 …вернулась из института, а папы нет… Папу арестовали. Нам сказали, что он шпион и «недобитый белогвардеец». Мой папа - шпион? Господи, разве профессора бывают шпионами?*

*1 декабря 1934 …сегодня самый счастливый день в моей жизни. Мне семнААААдцать! И у меня все впередИИИИ! Утром меня ждал сюрприз - голубая шкатулка с перламутровым узором. А там - мамина диадема, вернее теперь – моя! Настоящая, с семнадцатью бриллиантами, один брильянт за один мой год. Ее ведь еще моя бабушка носила, а теперь – я! У меня самые лучшие мама и папа на свете! Я их так люблю! А вечером приехал мой Серж, и подарил новые коньки – острые-преострые, блестящие, с кожаными ремешками. И мы все вместе поехали на каток. Было так весело! Я с диадемой на голове, как принцесса, кружилась на льду с папой, а мама хохотала и бросала в нас снежки. А потом я танцевала с моим Сержем, и он меня поцеловал. Первый раз. Надеюсь, мама не увидела! Он необыкновенный! У него самые красивые на свете серо-голубые глаза.*

1. Андрейчикова Елена «Чужие», «Шизик»

***Андрейчикова Елена***

**ЧУЖИЕ**

Совсем чужие они были. Глаза дикие, ручки-ножки тонкие, игрушечные, словно пластиковые солдатики, которых я отдал соседскому пацану, когда перешел в девятый класс. Братьев у меня не было.

Громкие, визгливые, непоседливые. Сколько раз жена пыталась поймать одного из них и поцеловать в вертящуюся на худосочной шее головку. Их крики звенели у меня в ушах круглосуточно. Я уже не мог отделить настоящий звук от призрачного эха, не покидающего мои барабанные перепонки даже во сне.

Они не слушались жену, а тем более меня. Делали все наоборот: разбрасывали, разбивали, разливали, ломали, пачкали.

Вы думаете, я преувеличиваю? Свой ужас или материальный ущерб?

Нисколько. Преуменьшаю. Если так ведут себя все существующие в этом мире дети, отцовство – это уже подвиг сам по себе.

Двойняшки. Какие же они двойняшки, если совсем не похожи друг на друга? Решительно ничего общего. Сказали, такое бывает.

Они бы еще не то сказали, чтобы всучить нам второго.

Вы так сразу не подумайте ничего плохого. Я детей люблю.

А если совсем честно, я ничего о этих детях, не знаю, чтобы любить. А на безусловную любовь я не готов.

Мне надо постараться их лучше узнать. Что они любят есть, в какие игры любят играть. И самое главное, мне интересно, когда они прекратят орать.

Я не сплю вторую неделю. Вообще. Ни минуты. Ни мгновения. Забыл, как это делается.

Мне кажется иногда, что смеются они надо мной, заглядывая мимоходом мне в глаза и безмолвно вопрошая: "Что, папенька, страшно?.."

Страшно.

Не то чтобы я боялся детей. Я же сам их хотел. Мы так решили. Правда, до этого мы это решали лет двадцать другими способами. Поразительно, какой ассортимент вариантов рождения детей существует в современном мире. Каждый раз, узнавая что-то новое, диву даюсь сегодняшним возможностям. Бабки, гадалки, колдуны, священники и святые мощи используются с не меньшей регулярностью, что и доценты, кандидаты и профессора. И стоят не дешевле. Мы тоже пользовали. Регулярно, но тщетно.

А наследников мне хотелось. С кем-то разделить все, что сумел достичь за эти годы, передать по договору дарения дело, опыт, идею, мечту...

Но я не думал о том, что сначала придется лет пятнадцать подбирать за ними разбросанные по всей квартире вещи, отмывать размазанные пятна сока и соуса на кухонном столе и вытирать часто срущие белые попки. Вру. Сам ни разу не вытирал. Жена.

Я согласился на одного. Средства у нас были, жилищные условия тоже. Я действительно был не против очеловечить нашу семью, проапгрейдить до следующего уровня. Жена хотела очень. Я слышал, как она тихо плачет по ночам после очередной неудачи, глуша стоны подушкой. Молча глотал ее соленую боль, разделяя новую дозу отчаянного разочарования. Но никогда не говорил с ней ночью об этой боли. Да и днем не особо. За двадцать лет ты понимаешь многое без слов. И за двадцать лет ты устаешь жалеть ее. Да, мне жалко. Да, мне тоже больно. Но я не могу страдать и говорить об этом бесконечно. Я вообще не люблю говорить. А тем более зачем пустая трата слов, когда невозможно ничего изменить.

Я был бы согласен так и жить уже. Люблю свою жену, свою работу, свою свободу, свой дом, свою картинку в голове и за окном. В какой-то момент свыкся с этой неуютной мыслью, что детей у нас, возможно, никогда и не будет. Есть же племянники и племянницы, у сестры жены уже даже есть внучка.

Я свыкся. Но она нет – то ли характер, то ли инстинкт.

Помню, как первый раз мы поехали в этот приют. Я чувствовал себя мальчиком, которого мама ведет в школу в первый класс. На вопросы директрисы отвечал кратко, с бесконечными паузами с высокого одобрения будущей мамаши, которая все время держала меня за правую руку, периодически сдавливая мои пальцы и сидящее на безымянном пальце обручальное кольцо. Больно.

В тот день детей нам не показали. Намекнули, что есть то, что мы хотим, и даже лучше. И отправили собирать документы.

Я только слышал шум за закрытыми дверями детских комнат, но не видел ни одного лица. Проходя по коридору, шарахался. Почему они, эти самые цветы жизни, такие громкие? Зачем все время орать?

Тогда впервые об этом задумался, и снова эта мысль меня не покидает вторую неделю.

Вот уже и ожидаемое лето началось, а я чувствую холодную дрожь, все еще ношу рубашки с длинным рукавом и громко шмыгаю носом. Температуру мерил - нет. Но и лета тоже нет. Не улыбает ни первая черешня, лежащая передо мной на прозрачном блюде, ни короткая, обнажающая коленные чашечки жены шуршащая юбка.

Конечно, это не вина детей. Это я. Не могу себе найти в доме места. Хочется лечь этой молодой кислой черешней в тарелку, молча лежать и смотреть на враждебный, шумный мир. Лежать и дожидаться своего конца в чьей-то пасти. Но я должен что-то делать. Что-то говорить. Важное. Назидательное. Отеческое. Вот уже одиннадцать дней как я стал отцом.

Пятнадцать тысяч минут на то, чтобы понять, что произошло. И ни одной минуты уверенности в том, что у меня это получится.

Нет, оно-то все уже случилось. И назад дороги нет. По крайней мере, с моей женой дороги назад здесь быть не может.

И сама идея мне нравится. Дети. Двое. Мальчики. Наследники. Все, как я себе когда-то рисовал в собственной идеальной реальности. После стольких лет тщетных попыток воплотить в жизнь идею биологического отцовства. Окольным путем, но я всё же вошел в эту дверь. Все эти разговоры о генах, которые после меня никто не унаследует. И других генах, которые могут победить и не оправдать моих надежд. Все это меня уже не то чтобы не волнует. Мне плевать.

Я не настолько гениален, чтобы трястись над своей ДНК, продолжать с упорством идиота желать ее размножить. Кто там знает толком свое родословное дерево до самых корней? Это родители и деды вроде бы приличные люди. А дальше? Вглубь времен? Вдруг там воры, пьяницы, убийцы? Где гарантия, что не возобладает тот самый затерянный в веках ген? И в результате свой родной ребенок может показаться чужим до тошноты, до рвоты, до судорожных конвульсий необратимости судьбы всего грешного рода.

Вы видели лица отцов, дети которых не оправдали их надежд? И которых суд не оправдал? А еще и не раз?

Хотя, конечно, не могу знать, что они чувствуют на самом деле. У меня вряд ли когда-нибудь будут свои, родные. Пока бы с этими сродниться.

За эти одиннадцать дней знакомые и друзья разделились для меня на две группы. Всего на две. С такими разными чертами характера, темпераментами, профессиями, семейным положением и гражданской позицией. Всего две реакции на нас.

- Поздравляем! Вы - герои!

Слезы у женщин, понятное дело. Особо чувствительные мужики тоже потирают влажные носы.

Мы скромно оправдываемся: мол, что здесь такого, сделали и сделали. Но для себя каждый раз отмечаю эту реакцию. Для меня понятную.

Есть и другая.

- А зачем вы это сделали? Я бы вам адрес врача хорошего дала... Я бы вас с батюшкой познакомил... Не страшно?

Очень. И вас двадцать лет слушать тоже было страшно.

На чем я там остановился?

Собрали мы документы. В подробностях не буду, и так всем ясно, как у нас «быстро» справки пишут. Мы принципиально денег никому давать не хотели, поэтому скорость выписывания бумажки зависела от варианта выше описанной реакции.

- Молодцы! Уважаю! - сообщила нам густая седая бородка районного нарколога, и за полминуты мы уже имели две именные справки с мокрой печатью. У входной двери пухлая ладошка пожала мою. Два раза.

Примерно по такому же сценарию состоялись встречи с врачами в тубдиспансере, вендиспансере и в районном ЖЭКе, где необъятная Софья Марковна намочила два платка, пока выписывала форму № 1.

Вот с психиатром у меня не сложилось с первого раза. Чуть позже у жены с кардиологом.

- Зачем вам это нужно?

Мне сразу стало ясно, с кем имею дело. Красная кричащая оправа, острый нос, который важно куда-то засунуть, и узкий недобрый рот специалистки по психиатрии напрягли меня с порога.

Обычно я не очень разговорчивый. Но она меня довела до такого состояния своими грязными вопросами насчет жены, детей и нашего образа жизни, что через полчаса я выбегал, матерясь вовремя подвернувшимися под руку и точно ее описывающими выражениями и жестами.

Через три дня вернулся под руку с женой. И под феназепамом.

Выписала.

После кардиолога жена пришла в истерике, держась за сердце.

- Представляешь! Она мне откровенно намекала на деньги. Все с тем же дурацким вопросом «зачем» и тысячами замечаний по моему левому желудочку. Мол, как вы с таким сердцем собираетесь усыновлять. Я ее спросила, можно ли рожать.

- В принципе, да.

- Тогда почему ж я усыновить не могу?

- Потому что я же должна вам в справке написать, что вы здоровы. Но вы ведь не здоровы. Значит, такую справку я выдать не могу. Права не имею. Я могла бы пойти вам навстречу... Но вы экстрасистолу свою видели?

Жена натурально играла эту сердобольную старуху, пересказывая сцену. Как она ее не убила, ума не приложу. Пожалела. Потом подумала. Полистала до утра возможности. Собрала разбросанные по справкам мысли. На следующий день пошла к главврачу. Обрисовала ситуацию. Вкратце. Через пять минут в его кабинете уже плакала заботливая толковательница кардиограмм. А жена с победной ухмылкой и полностью укомплектованным досье на нашу семейку, не замечая дождя, потока машин и людей, бежала к директрисе приюта посмотреть на фотографию "того, кто нам подходит", и второго, который условно назывался "и даже лучше".

Через две недели мы их забрали. Обоих. Суд назначили на конец лета, но по какой-то чрезвычайно генеральной доверенности нам разрешили забрать двойняшек.

В первый раз, когда узнал, что их двое, я искренне и наивно рассмеялся жене в лицо. Смеялся минут пять, пока понял, что смешного ничего не будет. По крайней мере, в ближайшее время. По ее взгляду понял, что согласен. Я не подкаблучник, нет. Не надо комментариев. Но бывают такие в жизни моменты, когда я знаю, что лучше поверить ей. Потому что иначе буду бесконечно взвешивать все и перевешивать, буду долго неуверенной рукой выводить прямую перспективы. Но так и не дам однозначный ответ.

- Не смотри на меня так: мы знаем, кто у нас тут главный! - услышал от белобрысого Артема на второй день.

Что я почувствовал?

Мне захотелось стать одним из тройняшек. Взять три детали LEGO и часами пытаться сложить их в единое целое. Чтобы больше от меня ничего не требовалось.

Все эти дни я не спал. По-моему, я уже говорил об этом. Сказывается усталость, наверное. Или старость. Я говорил, что мне скоро полтинник? Говорил же, и не раз.

Вы понимаете, что это такое - жить по своему личному, удачному, очень точно отвечающему потребностям графику в течение почти полувека, а потом проснуться утром и понять, что больше ты себе не принадлежишь?! И дом твой не принадлежит тебе. И даже жена твоя уже не совсем твоя. То есть не только твоя. Теперь придется всем делиться. Съесть последний кусок любимого торта, оставленного на утро, ты можешь не успеть.

Все это ты сам захотел. Сам организовал. Сам ходил по бюрократам, сдавая им кровь, мочу и терпение.

И вроде бы витает в воздухе какой-то едва уловимый сладковатый запах личного триумфа. Что, мол, смог обхитрить, обдурить, обыграть себя же в бескозырку. Достигнуть желаемой цели. Одной из. Закрыть ноющий вопрос. Успеть до дедлайна. До юбилея. Успел.

Но что теперь делать с этим триумфом, пока толком не могу понять.

Два посторонних, совсем чужих, еще маленьких, но человека теперь круглосуточно живут рядом с нами. Едят на нашей кухне, валяются на нашем диване, терзают по очереди мой ноутбук, спят в моем кабинете и называют мою тещу "бабусей".

Первый, тот, которого я назвал белобрысым, совсем худой, бледный, улыбчивый, с глубокими ямочками на щеках, слегка косыми подвижными глазками и слишком подвижными другими частями организма. Не может спокойно ни стоять, ни лежать, ни сидеть. Даже на унитазе. И заводит все время второго, более степенного: самому-то скучно на голове по дому ходить.

Второй, Антон, - этот потише. Чернявый, смуглявый, коренастенький. Аппетит зверский, ест все без разбора, и за Артемом подъедает, пока тот вертится. Впрок. Если бы не брат, думаю, шума бы много не делал.  Как двух таких разных детей могли назвать братьями, понять не могу. Хоть мне триста раз и объясняла жена разницу между близняшками и двойняшками, продолжаю поглядывать на них с подозрением. Не обдурила ли сердобольная директриса ради улучшения показателей в области статистики усыновления.

Меня спрашивали пару раз, давали ли мы взятку, чтобы решить это дело побыстрее. Я честно отвечаю, что нет. Я не давал. Есть у меня подозрения, что жена чем-то все же руку смазала этой огромной женщине из районной службы в черном парике, с массивными золотыми браслетами на запястьях и маленькими сверлящими, острыми, густо расписанными тушью и милосердием глазками. А то первый раз пришли - детей нет. Ну, тех, которых можно взять, у которых статус «сирота». Детские дома переполнены, только большинство детей так никогда и никому не разрешат усыновить по причине идиотизма законодательства. А через неделю нам показали список. Сотни белобрысых и смуглых, голубоглазых и кареоких, худых и упитанных, буйных и замкнутых, здоровых и болезненных девчонок и мальчишек...

Теперь вот сижу полдня перед ноутбуком, пряча глаза в монитор, имитирую активную занятость и отслеживаю скукоженными ушами происходящее за дверью спальни, куда я переместился, прячась от шума.

Слышу, как жена гремит кастрюлей, включает воду, хлопает дверью холодильника. Артем катается на велосипеде по квартире, задевая все на своем пути. Хрупкое и ценное он уже разбил, поэтому даже не вздрагиваю при каждом повороте руля. Антон же сидит на диване, ну или под диваном, бесконечно щелкая пультом от телевизора, листая каналы, делая звук все громче, методично ковыряясь в носу. Как слышу про нос? За эти одиннадцать дней я открыл в себе новые способности: слышать глазами и видеть ушами. Может, постепенно становлюсь настоящим родителем?

Или просто схожу с ума?

- Милый, идем с нами обедать!

Жена заглянула в спальню. Улыбается.

Изменилась. Заездили они ее. И няню ни в коем случае не хочет. Мол, мальчики должны привыкнуть к маме и папе, посторонний человек будет мешать, всячески отвлекать внимание на себя. Может, мальчики и привыкнут к родителям. А как родителю привыкнуть к ним?

За обеденным столом чувствую себя гостем в доме. Я, конечно, стараюсь что-то говорить важное, вроде: "Возьми ложку нормально, сядь прямо, вытри губы, вытри руки, не лезь в чужую тарелку, не кроши на пол, не отвлекай брата". Мой рот произносит эти замечания, возникшие откуда-то из генетической памяти глав семейства. Они жили где-то на задворках сознания, так долго, почти полстолетия, ожидающие появления на свет. Да, эти дети уже могли бы теоретически быть моими внуками. Произношу автоматически, толком не понимая значения слов.

Я очень стараюсь. Стараюсь сделать, сказать, суметь, стать. Понять, как это - быть хорошим отцом этим детям. Как это вообще - быть отцом.

А пока мне хочется поскорее сбежать. От этого беспрестанного визга за столом, от луж пролитого между тарелками супа, от жонглирующих посудой покрасневших рук жены, от крошек хлеба под столом, на которые я наступаю голыми ступнями, и которые обжигают меня, как раскаленные угли.

Возвращаюсь к своему компьютеру.

Мой род занятий никак не связан с внезапно появляющимися на белом экране хромающими эпитетами и метафорами. Вместо них должны появляться цифры, счета, спецификации, графики и отчеты. Бизнес у меня дилерский. Все давно налажено и с немцами, и с местными. Но контролировать надо постоянно. Пытаюсь. Очень активно. Вглядываюсь с самого утра в короткую спецификацию, а буквы и цифры расплываются. Закрываю глаза, открываю - напрасно. Очки свои протер два раза. Без изменений.

Еще недельку посижу дома и съезжу в Мюнхен. Давно лично не встречался с Вальтером. Да и пора мне проветриться. Короткая командировка должна освежить меня, я соскучусь по жене и дому. Решено. В конце концов, я это делаю для их же блага. Кому станет легче, если я заброшу работу и буду целый день ходить за ними следом и тыкать носом в букварь?!

Наследников в своей голове я представлял несколько иначе. Понимаю, что это абсурдно, но как-то, думая о детях, всегда видел сразу хотя бы подростков - умных, любопытных, жаждущих знаний, послушных, аккуратных, ответственных, уважающих отца, беспрекословно ему подчиняющихся, но все же имеющих свое мнение. Желающих продолжать мое дело, расширять его, модернизировать, заменить меня в любую выбранную мной минуту. Ценить каждое заработанное мною евро и стремиться постоянно преумножать капитал.

Вы мне не скажете, когда эти четырехлетние малявки принесут мне первое евро, хотя бы доллар, да хотя бы гривну?

Не знаете?

Вот и я не знаю. Как и когда.

- Я покакал! Мама!!! - перебил мой мысленный поток крик Артема. Они даже это сами сделать не могут. Надо было брать детей постарше, которые хоть что-то могут без помощи моей жены.

Вместо того чтобы приблизиться перед сном к горячей женской спине, прижать пятерней мягкую левую грудь и твердый, отвечающий взаимностью сосок, ощутить себя в теплом месте, с привычными эмоциями и ритмичными движениями, я сжимал кулаками подушку и челюстью сдавливал немую ярость. А я же сам этого хотел.

Они забегали в спальню по очереди четырнадцать раз. То один, то другой, то пить, то писать, то страшно им, то смешно, то есть, то снова пить.

Я ничего уже не хотел. Делал вид, что читаю. На одной странице пролежал пять минут, опомнился, перевернул.

Дети. Да, я знаю. Я обязан свыкнуться. До того как успею свихнуться.

Няню она не хочет, в сад их водить пока тоже. Я толком не работаю, не ем, не сплю все эти дни, и улучшение не намечается. Жене я поддакиваю, когда она говорит, что уже начинает привыкать, начинает соображать, как себя правильно вести, уже засыпает спокойнее, скучает по ним, когда выходит в магазин… Уже... уже... уже...

А я еще нет. И сейчас меня волнует лишь вопрос, когда будет «да».

К утру определился.

Если твоя жизнь круто меняет привычный уклад, ты должен быть собранным, решительным, ответственным и оперативным. Я решил поехать в Мюнхен. На неделю, не больше. Работать все же надо. Попрошу тещу приехать помочь жене. От меня толку мало.

- Папа, ты на самолете полетишь? - спросил вечером Антон, когда я сбрасывал наспех вещи в чемодан и ожидал приезда такси.

Выходил из дома с улыбкой. Папа. Странно звучит. Я этого не чувствую. Не чувствую, что имею право так называться. Интересно, если бы детский голос в толпе на улице крикнул "Папа", я бы обернулся?

Мюнхен. Тот город, где мне всегда и все понятно. Как только я, выйдя из самолёта, коснулся ногой земли, жизнь стала такой, какой я привык ее знать до недавнего времени - устроенной, упорядоченной, удовлетворяющей меня.

Легкий летний ветер, теплое, но не раздражающее солнце, температура воздуха около двадцати, время около восьми - самое оно выпить темного пива и съесть вареную свиную рульку.

От этих мыслей у меня началось активное слюноотделение, и я забыл позвонить жене, как и обещал, сразу по прилету.

Меня встретил Франц, помощник Вальтера – молодой, лет двадцати пяти, сдержанно улыбающийся, традиционно светловолосый, худощавый, подтянутый, слегка пижонски одетый, безупречный в манерах и словах ариец.

Он отвез меня в Хофбройхаус и проводил на второй этаж, в маленький зал вдали от шумных музыкантов. Там за одним из массивных деревянных столов уже сидел Вальтер Леманн, мой немецкий бизнес-партнер. Официант тут же поднес две литровые кружки темного пенящегося пива и соленые претцели в корзинке.

- Все как ты любишь, мой друг!

Я почувствовал себя счастливым ребенком.

В одиннадцать, когда нас пьяных и сытых пытались выпроводить из закрывающегося ресторана, мы выпросили еще по кружке, которые нас укрыли так, что на утро мы не помнили, как добрались - я в гостиницу, а Вальтер домой. Тактичные подробности нам рассказывал Франц.

Голова гудела, и, когда мы ехали в офис Вальтера, я попросил его остановиться у аптеки. Аспирин вернул мне память. Я вспомнил о доме. О жене. О детях. Телефон был полностью разряжен.

Как только на зарядке он включился, мне позвонила жена. Выговаривала меня как мальчишку. Долго. Мне было стыдно и неловко. И очень неуютно снова быть трезвым.

Наспех обсудив рабочие дела в офисе, мы пошли обедать и похмеляться.

Вальтер уже не пил. Сдержанный, собранный немец и так вчера удивил меня своим гостеприимством.

- А у тебя есть дети?

- Есть. Сын. Франц.

- Его зовут Франц?

- Наш Франц, который ожидает в машине.

Мой затуманенный солодом мозг пытался осознать эту расстановку. И как я сам не догадался: такие же манеры, профиль за рулем, только моложе в два раза. Но для меня это все же было более чем странно: сын президента крупнейшей немецкой машиностроительной компании ждет меня каждый вечер под рестораном, возит пьяного домой, и его отец ни разу не пригласил сына поужинать с нами.

- Ну как же, почему же? – не удержался и промямлил я.

- Он - простой работник, как все. Молодой и неопытный. Придет время - будет все иначе.

У меня только так.

Жестко. Но, восхищаясь каждый раз подходом к работе Вальтера, я и сейчас не смог с ним не согласиться. Слегка заикаясь, рассказал ему о том, что стал на днях отцом двойняшек. Идеально выбритая немецкая физиономия слушала мои неожиданно выплеснувшиеся подробности, слегка улыбаясь - то ли скептически, то ли сострадальчески. Абсолютно молча. Такой реакции я еще не встречал.

Конец вечера и возвращение в отель были по традиции смазаны.

И еще три дня я был один. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, да и пить больше не было сил. Бродил по городу, обедал, спал до вечера, ужинал, снова спал. Количество выпитого алкоголя за первых четыре вечера все еще продолжало держать мое настроение приподнятым.

Мой новый купленный здесь летний костюм идеального серого оттенка, мои новые туфли, этот гостеприимный город, рациональный выбор гостиницы, температура и влажность воздуха, а вместе с ними и вся моя жизнь представлялись мне органично созданными, вылизанными, вычищенными, выкроенными с немецкой педантичностью и практичностью, которую я всегда уважал и перенимал как мог в работе и в жизни.

На расстоянии моя семья начинала казаться мне идеально скроенной. Затем я забрел в детский магазин, где хоть и напрягаясь добрых полчаса, но все же выбрал один грузовик и один экскаватор Liebherr с традиционно ярко-желтыми корпусами. После зашел в магазин BotegaVenneta на Максимилиан-штрассе и купил жене шелковый шарф. Он стоил целое состояние. Я не привык делать такие подарки без повода, но в тот момент, когда ассистент магазина, модельного типа блондинка с короткой стрижкой, красной помадой, холеными руками с красным маникюром, дала мне его пощупать, ощутил такую легкость - легкость ткани, легкость настроения, легкость собственного бытия, что мне непременно захотелось этим поделиться с женой.

В последний день перед отлетом домой я сидел в ресторане «Шварцрайтер» за столиком на улице. После девяти веяло прохладой, и приятная бодрость пронизывала всего меня. Все казалось еще более простым и понятным, а я себе - снова свободным от удушающего, переполненного жизненного пространства. Люди не спеша прогуливались мимо меня, излучая уверенность и спокойствие в собственном завтрашнем благополучии, чем и я старался напитаться. Как мне казалось, удачно. Уже был готов вернуться, полный сил, отдохнувший от окружающей меня давящей домашней суеты. Все у меня будет не хуже, чем раньше. Все наладится, все сумеется, все сбудется...

Жена и дети ожидали меня в зоне прилета, и я увидел их издалека. У Артема в руках был большой букет ромашек. Выглядели они как счастливая красивая семья, встречающая отца семейства. Двойняшки в одинаковых джинсовых шортах и ярких бейсболках - один в синей, другой в красной.

- Здравствуй, папочка! Мы скучали, папочка!

Антон сиял. Его глубокие ямочки на щеках заставили улыбнуться и меня.

Я взял у него из рук букет, жена и Антон покатили чемодан к выходу.

Головная боль сдавила затылок. У меня не было сил говорить, да и обычно очень разговорчивая жена молчала. Она села за руль моей машины, дети на заднее сидение, и я отдал им букет.

- Как вы тут? – я поинтересовался, стараясь быть максимально заботливым.

- Все хорошо. Как ты там? - ответила жена, сделав акцент на "ты".

- А я вам подарки привез! - пришел в голову хороший поворот разговора.

- Ура!!! Подарки, подарки, подарки! - завопили дети и стали размахивать букетом, отвлекая жену от дороги.

Пыльца с ромашек осыпалась на бежевую кожу салона. Я это заметил, поморщился, но ничего не сказал. И так достаточно было шума. Когда мы припарковались возле дома и выходили из машины, жена все же это увидела, и оба получили подзатыльники. Я инстинктивно вжал голову в шею.

Дома раздал подарки. Мальчуганы были счастливы. Жена открыла коробку, и я слегка смутился, вспомнив игру ночного воображения. К чему смущения, ведь это был всего лишь коротенький, совсем ничего не значащий сон?!

Шарф она сунула в шкаф и позвала всех ужинать. Как будто я и не уезжал и вновь окунулся в эту суету за кухонным столом и обжигающие мои пятки крошки под ним.

А мой ребенок был бы похож на меня? Внешне? Характером? Повторял бы меня в моей закрытости, замкнутости, педантичности, чистоплотности, честолюбии? Эти два веселых чудовища, как я их ласково называл, были полной моей противоположностью. Я думал об этом каждый раз, когда наблюдал за ними. Как они держат неуклюже ложки в руках, как хаотично вертятся за столом, задевая все локтями, как они отрывают большие ломти от хлеба и запихивают себе в рот, как наклоняют тарелки и пьют борщ, который потом красными тяжелыми каплями висит на детских подбородках. По Антону вообще я никогда не мог понять: он такой грязный или просто очень смуглый. Жена делала им резкие замечания, я не встревал. Они все равно не слушали меня.

- Подстриги им ногти.

Это было все, что я произнес за тем ужином.

Потом ушел смотреть футбол в паб рядом с домом. Там было много людей, много детей. Я сидел за барной стойкой и пил пиво. После третьего бокала решил, что в следующий раз можно с собой взять жену и детей.

- Это ваши детки? Какие милые!

Когда мы встречали знакомых, мне нравился этот момент. Как будто меня приобщили к высшей касте удачливых самцов под названием "дом-дерево-сын". Последнее - два раза. Очень удачливых.

Хоть жена и была с ними часто агрессивна, они тянулись к ней. Стали прислушиваться и даже иногда побаиваться. Она действительно стала им мамой.

Я же пока так и не понял, кем стал. Но точно знал, кем перестал быть. Мне не было места в доме. И уже даже в собственной постели было странным образом неудобно. Долго мылся перед сном в душе или читал в туалете, ожидая, пока жена заснет.

Я ревновал. Признаюсь, ревновал к двум маленьким мальчикам.

Жена была все время на кухне. Она приросла к этому месту у плиты, как будто стать матерью означало научиться готовить десять видов супов. Мало того, что в моем доме поселились два чужих человеческих детеныша, еще и человек, который казался родным почти двадцать лет, становился невыносимо чужим. До ужаса. До нервного тика правого глаза, который в течение этих месяцев отпускал меня только ночью, и то ненадолго.

Когда мне нужно было поработать с документами, я уходил в кафе около дома. Если бессовестная совесть начинала меня пытать, я возвращался и прятался от всех в туалете. В четырехметровом замкнутом пространстве, закрытом изнутри, я сидел на крышке унитаза, с ноутбуком в руках, в наушниках, и пытался работать.

То ли над документами, то ли над собой.

Пытался себе внушить, что это нормально. Им же по четыре года. И так уже нам удалось миновать пеленки, памперсы и почасовое кормление грудью. И они у нас всего лишь пару месяцев.

Меня все время раздражала их неаккуратность, они не хотели чистить зубы, не хотели умываться, а если это и делали, то потом после них нужно было долго отмывать раковину от пены, грязных потеков и пасты, в тюбик которой они постоянно наливали воду. Я боялся оставить на столе без присмотра свои очки, когда шел принимать душ или спать. Их можно потом долго искать, что и случалось несколько раз. Дрожал над своим ноутбуком, который приходилось таскать везде за собой. Однажды дал им его посмотреть мультфильмы, и Антон вылил на него сладкий чай. Еле спасли.

Пытаюсь вспомнить свое детство. Как мой отец воспитывал меня?

Он ушел, когда мне было девять.

До этого, возможно, что-то и было хорошее. Но я не помню. Мне скоро пятьдесят.

Знаю, что он ушел к другой женщине. После этого год еще как-то общались, я ездил в гости к бабушке с дедушкой пару раз, несколько раз меня забирал отец, и мы то ли ходили в кино, то ли просто бродили по улицам. А потом он перестал к нам приходить. Мать сказала, что у него в той, другой семье родился сын, в сердцах даже как-то крикнула: не спрашивай, мол, больше, где твой отец, у него теперь другой сыночек. Я больше и не спрашивал. И никогда его не видел. Звонил ему пару раз, когда мне было уже двадцать: встретил его друга, дядю Лешу, на улице, и тот дал его номер. Я решил однажды набрать. Разговор не клеился. Он не знал, о чем меня расспрашивать, а я его. Мы были одинаковые: оба замкнутые, закрытые. А тут еще - пропасть в десять лет и миллион обид. Четырнадцать лет назад он умер от инфаркта.

Я знал, как все же похож во всем на него. Внешне, манерами, жестами, походкой, молчанием. Когда мать долго смотрела на меня, не мигая, понимал, что напоминаю ей отца.

И сейчас это понимаю.

Мне хорошо одному. Наедине. В тишине.

И я такой же плохой отец. Также не способен любить детей. Чужих ли, своих.

Не проходит и дня, чтобы я не думал, что будет, если этого не сделаю.

Не смогу. Вернее, сделаю, а потом не смогу.

Жена, ясное дело, назад уже их не отдаст.

Расходятся же люди. Живут дети с мамами и ничего, вырастают нормальными людьми.

С женой им точно лучше будет. Когда тебе под пятьдесят, смешно рассчитывать, что хватит сил идти до конца в новом деле, особенно в таком заведомо провальном, как идеальное отцовство.

Решил перед сном с женой поговорить, когда уложит детей.

- Ты спишь?

Я потянул паузу, подбирая деликатные фразы, и начал.

Мне в темноте легче разговаривать. Когда глаза в глаза, сложно.

Как бы и не я говорю. От третьего лица. Единственно правильного числа.

Я несвойственно тараторил: хотелось поскорее закончить. Даже не ожидал от себя такой разговорчивости. В темноте и тишине дома слова мои звучали резко, отскакивая от стен, я сам не совсем узнавал себя. Несколько раз запнулся. Повторил проговоренное. Было очень холодно. Наверное, лето подходило к концу. Я снова шмыгал носом, голос иногда скрипел и ломался, отчего делался каким-то инфантильным. Перешел на шепот. Переспрашивал, слышит ли она. Понимает ли меня. Согласна ли на такие условия. Она не отвечала, но я видел в темноте два светящихся уголька, которые иногда двигались в такт моему голосу - выше-ниже. Конец разговора я уже не помнил: то ли вырубился, то ли просто устал повторять зазубренные предложения.

Пока они после завтрака гуляли на детской площадке, я ушел. Пешком дошел до центра города. Я хотел оглядеться. Люди, которых встречал, были слишком живые для меня. Говорили между собой. Их что-то интересовало. Кто-то их волновал.

А я пил. Просто пил. Звук мобильного выключил, засунул его в задний карман брюк. Сначала пиво. Потом виски. Менял заведения. Что я в них искал, не знаю. Потом заказал бутылку шампанского отпраздновать свою свободу в каком-то не очень чистом баре, в котором я никогда раньше не бывал. С моего бокала стекало на стол игристое душистое пойло. Бросал периодически взгляд на стоящие рядом салфетки, но так ими ни разу и не воспользовался.

Если я буду протирать по привычке бокал, стол, свои мокрые губы, чище не стану. Никогда не стану. А был ли я раньше чист?

Чем я жил? Чистюля и зануда, любивший пить, жрать и спать. И это было неплохо. Очень неплохо, поверьте. Пройдя по собственной эволюционной лестнице, сумел добраться до того радостного для желудка уровня, когда можно потреблять все самое лучшее, что есть в этом мире. Я был счастлив. Простым своим комфортным счастьем, как миллионы других чистюль и зануд. Я знал, кто я и что завтра мне нужно делать, чтобы продолжать вкусно пить, жрать и спать.

Слишком много на себя взял. Маленький человек с маленьким сердцем. Там нет места никому. Хочу тишины. Тотального всеобщего молчания вокруг. Мне не нужно ни одобрения, ни поддержки. Что мне действительно нужно, так это молчание моей совести, которая противно попискивает в перерыве между бокалами. Как старая, едва живая серая мышь, забывшая, где ее нора, но все еще не утратившая инстинкт самосохранения, подъедающая своими старыми редкими зубами рассыпавшиеся под грязный стол крохи моего исчезающего сознания.

Я ее долго глушил, пытаясь уничтожить. Для этого находил места, где никто меня не знал,- непривычно грязные, с дешевым алкоголем и кокетливыми официантками, готовыми меня приютить на эту ночь.

Снял номер в маленькой ветхой гостинице в узком переулке старого центра. С большими усатыми тараканами в ванной комнате. Они молчали, а потому не мешали мне. Я хотел быть один. Без этих попыток закоренелого перфекциониста стать для кого-то завершенным, совершенным, лучшим. Лучше, чем мой собственный отец.

Но я же мог стать лучше каким-нибудь способом и полегче. У меня же достаточно денег. Я бы мог всю жизнь помогать какому-нибудь детскому дому, возить им бананы и печенье, краски и карандаши, фотографироваться с ними рядом в двубортном синем пиджаке под цвет коробок с подарками. Я бы даже мог открыть целый детский фонд с громким названием и прописанным удачным слоганом. Спасал бы сотни, тысячи сломанных судеб, чиня им столы, стулья, кроватки или даже выстраивая новые красивые удобные детские дома.

К вечеру опять вышел на улицу, пить стало еще легче. Наверное, температура моя спала. Заказал для разнообразия бутылку Кьянти в кафе поприличнее. В помещение никого не было, кроме скучающего бармена. Развлекал себя, всматриваясь в узоры на стойке. Зазвонил мобильный. Не сразу узнал Вальтера. Тем более немецкий в таком состоянии мною плохо воспринимался.

- Когда? Завтра? На неделю? Да, встречу. Да, забронирую. Я помню, как его зовут.

Этого еще не хватало. Я отодвинул стакан. Завтра прилетает Франц Шефер по работе, сын Вальтера. Нужно встретить, поселить, поработать, повеселить. А я даже вещей с собой не взял переодеться. Этот всегда собранный, одетый с самой модной иголочки, достойный сын своего отца не поймет ни моих обстоятельств, ни щетины, ни перегара в рабочий день.

Стоп.

Номер бронировать на имя Франц Шефер.

Почему Шефер? Что за фамилия?

На всякий случай перезвонил Вальтеру. Тот странно ухмыльнулся в трубку, как он умеет, и после короткой паузы выдал:

- Он - мой приемный сын.

Через час я тихонько поскребся в дверь. Даже не я. Моя так и не сдохнувшая мышь - совесть. А тупая мысль: «Немец может, а я – нет?!» - истерично звонила в звонок.

- Ну какой из меня отец? У меня ни хрена не получается, ты же видишь, - что-то такое я заготовил по дороге и проговорил, облокотившись на косяк, все же надеясь на то, что она не поняла серьезность моего намерения уйти. Мне легче было бы говорить по привычке с выключенным светом в постели, но вряд ли бы она сразу пустила меня туда. – Я боюсь. Так боюсь, как никогда и ничего раньше не боялся. Скажи что-то! Чего молчишь?!

Она взяла меня за руку, и я послушно пошел за ней в кухню. Налила мне тарелку куриного супа. Как быстро она превратила это в шедевр.

Ел и уговаривал себя. Я смогу. Я, сука, сумею. Ради них. Ради нее. Ради всех, кто смог. Не-е-е-ет. Ради себя. Ради того девятилетнего меня, который не понял, не услышал, не спросил, а никто ему и не попытался объяснить. Ради того повзрослевшего сына, который хотел дать своему отцу шанс объясниться, выговориться, а он им никогда не воспользовался. Мальчика, который застрял в том своем неловком детстве.

Она потушила свет во всей квартире и подошла ко мне. Впервые за эти длинные месяцы я почувствовал себя дома. Снова дома. Еще больше похудела, кисти рук были холодными, когда она меня обняла. Я прижал ее ладони к губам, пытаясь согреть дыханием. Женщина нежная и по-прежнему отчаянно страстная. Мне хотелось ее трогать, ласкать, целовать. И все это я делал улыбкой. Грустной и в то же время радостной улыбкой идиота. До самого утра. Пока не проник в комнату солнечный свет.

Утром пришла теща, согласившаяся побыть с детьми; мы собирались в суд, который оказался более чем формальным. Все заняло минут сорок, не больше. Было несколько странных вопросов личного, очень личного характера, особенно к жене. О здоровье физическом и психическом. Когда я слышал, что ее голос начинал вибрировать, я брал ее правую руку: она сидела слева от меня. Сжимал ледяные пальцы. Совсем чуть-чуть, чтобы не сдавить обручальное кольцо - я знаю, как это больно.

Когда мы вернулись, дети сидели на полу, играли с конструктором. Они не пытались собрать его, не смотрели в книжку-инструкцию, бросали фрагментами друг в друга, хаотично соединяли по две-три детали, разбирали эту абракадабру, собирали заново.

Я зашел молча. Они на мгновение повернулись ко мне и продолжили, как будто в комнате никого не было. Я присел на край дивана, не зная, куда деть руки, смущённо поглядывая на них. Как обычно ведут себя нормальные папы?

Засмотрелся на макушку Артема. Когда мы его забирали, он был очень коротко стрижен. А сейчас волосы отросли и завились в мелкие светлые кудряшки. Как у меня. Мне захотелось их потрогать, и я протянул руку. Жесткие упрямые пружинки.

У смуглого Антона волосы были черные, прямые, гладкие. Я взъерошил и его чуб. Они смотрели на меня с легким недоумением, но я по очереди щупал их такие разные головы. У жены моей тоже были черные, прямые, гладкие. Я начал смеяться. Сначала еле слышно. Потом все громче. У Артема были мои волосы, а у Антона - жены. Ничего не означающее и, главное, ничего не обещающее сходство структуры волос заставило меня долго и упоительно смеяться. Мальчики подставляли мне свои головы, и я ерошил их волосы. А они четырьмя руками впились в мою голову и ерошили мои. Я начал щекотать их, они друг друга, Тема упал, катался по полу, Тоха щекотал его пятки, потом они вновь набросились вдвоем на меня. Один держал мои руки, второй щекотал. Вдруг Тема опомнился, посерьезнел, замер. Мы все замерли, ожидая его следующего движения. Он снял осторожно с меня очки, положил их на стол, и тогда мальчики продолжили. Я вырывался, но не так, чтобы очень, мы все хохотали один громче другого. К нам заглянула жена.

- Хватай ее! - крикнул Тема, и мы повалили ее на пол. Жена, сориентировавшись в правилах игры, принялась тоже не слишком активно вырываться, просить пощады и громко смеяться.

С того дня больше не думал о том, как должен вести себя правильный отец. Вел себя как девятилетний мальчик, который недопрожил свое детство. Как старший брат и друг. Вспоминал, чего желал и о чем мечтал, когда был маленьким, чего мне хотелось и чего мы не могли себе тогда позволить.

В октябре мы нашли детский сад, где было сразу два свободных места в средней группе. Дети должны были пройти полное обследование перед этим. Оказалось, здоровые молодые бычки. Только Теме прописали очки, чтобы подравнять его косящий глаз. Это было уморительно: в очках он был вылитый я. Захочешь - так себя не повторишь.

Вот собственно и все. Но, как вы понимаете, это не конец истории, а только ее начало.

Я должен был бы, наверное, закончить свой рассказ тем, что жена беременна и скоро у нас будет еще ребенок. На радость сострадающим разного пола и возраста, которые двадцать лет нам желали, чтобы небеса поскорее послали нам ребенка. Теперь, когда есть даже двое, их логика делает незатейливый и доступный вариант следующего пожелания на годовщину свадьбы: теперь нам нужно срочно родить дочь.

Нет, простите, избавьте, впечатлительные барышни, не будут хлопать чуду в ладоши. Никаких больше попыток выследить яйцеклетку, совокупляться по часам или кончать в пахнущую спиртом и стыдом холодную пробирку.

И не надо думать, что я изменился или мое отцовство меня сделало другим. Все такой же социопат и социофоб. Меня все так же раздражают громкие крики и смех. Я не умею быть нежным и заботливым. Люблю сбегать от всех в командировки. Часто отстраняюсь и оставляю жене принятие важных решений относительно детей, их настоящего и будущего. Я – просто законченный эгоист, который переписывает начисто свое детство, играя в лучшие игрушки, оправданно смотря детские хорошие фильмы рядом с этими детьми. Моими детьми.

**ШИЗИК**

Удивительно, с какой завидной пунктуальностью душевнобольные входят в очередную - для каждого случая свою - клинически оригинальную фазу. Точно по расписанию, первого марта, у нашего соседа начался маниакальный период. Еще толком не растаяли почерневшие, поникшие снежные насыпи вдоль обворованных морозом дорог, а он уже отчаянно запестрел.

Только отважные и дерзкие, истинные эстеты до кончиков круглогодично отполированных ногтей уже в первые дни умудряются выглядеть сногсшибательно, согласно модным веяниям нового сезона. И это в то время, когда долгожданная, как все красивые женщины, слегка ленивая блудница-весна только шевелит своими пушистыми ресничками, прогоняя затянувшийся зимний сон, едва пытаясь распахнуть миру свои светло-зеленые, полные нежного вдохновения глаза.

Сосед весну не пропускал никогда. Более того, явно готовился заранее. Хотя, исходя из поставленного кем-то диагноза, именно перепады его внутреннего состояния зависели от перепадов температур и играли главную роль в его яркой, еще ярче яркой, жизни. Ну и заодно жизни всего нашего более ничем не примечательного двора.

Я сидела с утренней чашкой кофе на подоконнике, редактируя свою новую статью, которая рождалась, как часто у меня бывало, в муках. Легко у меня случалось только легкое, поверхностное. А мне хотелось стать серьезным журналистом - честным, идейным, бескомпромиссным. Поэтому конъюнктурные темы обходила, а серьезные в тот день сами обходили стороной меня. Глубоко вдыхала носом, пытаясь учуять дельную мысль, открывала форточку в надежде на вдохновляющую милость свежего весеннего ветра; рассматривала потолок с парочкой оживших мух, вспоминая дату его последней побелки; глядела на свой облезший маникюр, так и не вспомнив дату покраски; считала пляшущие бледнощекие облака – в общем, работала, когда увидела в окне удаляющуюся от нашего дома разноцветную точку. Бравая быстрая походка, синий твидовый кардиган, фетровая шляпа, красные узкие укороченные брюки и туфли на босу ногу. Бедный наш. Сверилась с календарем. Безнадежный наш.

Насколько я была сильна в психиатрии - собственно, не больше любого обывателя, - это было похоже на биполярное расстройство. Для этого медицинское образование совсем не требуется. И так все ясно. Особенно если это ясно большинству. Всем участникам кондоминиума, так сказать.

Ведь давно уже доказана сезонность шизофрении. Кем доказана? Да всегда найдется тот, кому интересно что-то кому-то доказать, даже если никому нет до этого дела.

Это милое явление природы, по паспорту зовущееся Александром Петровичем, а в домовом простонародии "шизик", жил в моем подъезде второй год. Среди зарегистрированных добропорядочных людей с полезными профессиями, безупречными репутациями и гладко причесанными профилями он смотрелся несколько неоднозначно.

Мы все преимущественно так на него и смотрели. Неоднозначно. За исключением совсем малолетних квартиросъемщиков. У этих все проще с идентификацией окружающих их личностей: при встрече они всегда улыбались ему в лицо и обязательно искренне - вслед.

Он не был буйным, никому особо не докучал, по ночам не шумел, деньги консьержке на уборку сдавал регулярно и почти всегда и почти со всеми немногословно, но вежливо здоровался. Люди его тоже не обижали. Разве что у кого с утра настроение не заладится, не той ногой человек к земле первой прикоснется или не из того полушария первая мысль выпорхнет, так шизик тут как тут - подходящая мишень для высказаться, выругаться, а иногда и дверь намеренно захлопнуть в подъезд прямо перед его носом для восстановления собственного здорового душевного баланса.

Моя квартирка располагалась как раз возле его логова. Почему называю логовом? Не знаю. Дверь была приличная, бронированная.

Сталкиваясь иногда на лестничной клетке, за время обмена приветствиями я успевала рассмотреть его новый весенний наряд и впитать немного чужой смелости. А там было что впитывать.

Александр Петрович во время своих обострений никогда не надевал один образ дважды, не выходил из дома в одной и той же улыбке и каждый раз выбирал новый акцент, а иногда даже язык для обмена любезностями с соседями, в том числе и мной.

- Бонджорно! – практически настоящий итальянец с небрежно уложенной гелем челкой поднимался по лестнице мне навстречу, когда я бежала в редакцию. Белая, расстегнутая на две пуговицы рубашка, видневшаяся в пальто нараспашку, выгодно оттеняла его безупречный загар. Автозагар, судя по персиковому оттенку.

- Чао! - подыграла я ему, и бодрящее тепло растеклось по моему сосредоточенному лицу, тем самым хоть как-то разбавив густое, но не однородное полунастроение и оправдав три месяца регулярных занятий на курсах итальянского языка.

Он прошел мимо, напевая тихим, приятным голосом с хрипотцой песню о том, как двое влюбленных - конечно, о чем же еще петь весной, - закрывшись в квартире и выключив телефон, наслаждаются друг другом и своей изоляцией от всего внешнего мира. "Соли" звучало настолько правдоподобно, что я к тому же предположила наличие музыкального образование у нашего соседа. Певец, не иначе.

Но я рано делала выводы.

Понеслось.

Кого только не довелось мне встретить в своем подъезде! Так всех сразу и не упомнишь. Постепенно раскрывающая силу своего врожденного таланта весна вдохновляла Александра Петровича на все новые и новые эксперименты с внешностью, с лингвистическими изысканиями и терпением соседей, не очень-то терпеливых по отношению к роскошеству чужого свободного самовыражения.

То он являлся нам в образе рассеянного художника, рукава которого были испачканы по локоть масляными красками. Во дворе у старого сухого дуба возле детской площадки он ставил мольберт, раскладывал на земле тюбики, кисти, лоскутки разного размера и плотности и что-то самозабвенно писал. Задумчивый взгляд скользил легкими мазками по спинам спешащих прохожих, по облупленным подъездам, по занавешенным окнам, затем по холсту, рождая незамысловатые образы. Я как раз проходила мимо, когда он в полдень собирал свои разбросанные вещи. После школы высыпали дети на площадку, более не давая ему ни сосредоточиться, ни насладиться тишиной двора.

- Ну вот. Придется заканчивать дома, - бросил он в никуда, но в надежде на продолжение разговора с моей стороны. Так я истолковала свое собственное желание познакомиться поближе с шизиком.

- Можно посмотреть? Здравствуйте!

- Мадмуазель, доброго дня! Конечно, смотрите! Смотреть толком нечего, но если вы были так любезны заинтересоваться моим скромным трудом... Что ж... - Александр Петрович слегка замешкался, смущаясь, но затем, как-то быстро подбирая слова, протараторил: - Я этим тихим весенним утром случайно вдохновился основательностью масла как способом придать значимости слишком разбавленной акварели нашего мирка. Пытался изобразить некое неподдающееся словесному описанию волшебство. Найти его там, где давно умерли все волшебники.

Я ничего не поняла, но надеялась на предъявление иллюстрации вышесказанного.

- Пабам!!! – абракадабранул он, резко развернул мольберт и нескромно презентовал свой шедевр, дополнив значимость происходящего соответствующим жестом разведенных в стороны разноцветных рук.

Успел ли он увидеть в моих глазах наспех заштрихованный вежливостью скепсис?

Это было всего одно мгновение.

Потому что сразу же после я была искренне и всерьез поражена.

На холсте был двор. Наш простой обычный двор. Только красок он не жалел. Яркий, теплый, совсем живой, чуткий, отзывчивый, пусть и с изношенной, но радушной, гостеприимной улыбкой, с огромным любящим масляным сердцем, вмещающим всех живущих в нем. И управдома с женой, и Лидию Ивановну, бывшую директрису местного телеканала, со всей семьей, и всех остальных жителей по списку, исходя из значимости их имен, включая посуточных арендаторов квартир, всех подростков, детей младшего дошкольного возраста и новорожденных. Все хаотично припаркованные вдоль узкой дороги автомобили. Один мотоцикл и четыре велосипеда на замке у железной скамейки. Включая и его, шизика, тоже.

Художник? Еще и художник?

Обладавший талантом еще и в этом деле Александр Петрович остался доволен моим выражением лица, сгреб свои художественные сокровища и пошел по направлению к двери нашего общего подъезда.

- Так вы - художник? - глупый вопрос все же сорвался с моих губ, ударившись о его чуть сгорбленную спину. Разве мне мало было того, что я увидела?

- Мэйби, - не поворачиваясь, очень тихо и, как по мне, беспочвенно грустно ответил мне Александр Петрович.

Разговор был окончен. Я зачем-то дождалась, когда шизик исчезнет в подъезде. Потом пошла следом за ним. Стала пешком подниматься на наш этаж, растягивая время до того момента, как мне придется сесть за работу.

И чего я так каждый раз боялась начать? Находила десятки неотложных дел перед тем, как умоститься на своем широком подоконнике в спальне, уже ставшем привычным рабочим местом в квартире. Весь мир был мне не мил тем, что якобы отвлекал от работы. Он же был моим союзником в необходимой отсрочке. Пару раз, еще в начале сотрудничества с этим изданием, написала именно на нем не лишенные изящества тексты и суеверно продолжала работать здесь почти всегда.

Чего же тянула?

Еще один глупый вопрос, ответ на который был очевиден. Я вообще любила часто задавать вопросы, ответы на которые знала. Опять же для того, чтобы оттянуть время.

Я так боялась не суметь сделать свою работу идеально, мастерски, профессионально, совершенно. Где-то все же отдавала себе в этом отчет. Где-то глубоко внутри, между жизненно важными органами, где прячется скукоженное, сутулое, придавленное усталой печенью то самое. Что-то некрасивое, но очень честное. Поэтому в поисках честности мне требовалось много потраченного впустую времени, чтобы все же начать.

Всегда я придерживалась того мнения, что, для того чтобы чего-то достичь в определенной сфере, нужно только на этом максимально сконцентрироваться, отдать все силы, мысли, возможности, изучить до дна вопрос, не отвлекаясь на другие, посторонние, пусть даже не менее интересные стороны жизни. Если же не сидела на подоконнике и не писала, значит, обдумывала, что и как я буду писать, или обсуждала и критиковала в голове уже написанное.

В этом смысле я поражалась разносторонним способностям шизика, в которых он ориентировался достаточно свободно и уверенно. Однако к тому же мне было его жаль. Ведь вряд ли, когда человек распыляется, рассеивает внимание на многие вещи, может быть достигнута глубина, настоящее, истинное мастерство. Он же хватался за все. Быстро загорался и также быстро гас.

Но продолжал меня противоречиво завораживать, этот шизик, ежедневно взрывающий наш двор и мой мозг красками своего гардероба и оттенками своей неуемной фантазии.

Даже в образе офисного работника он не мог оставаться незаметным и скучным. Он был в черном. В том правильном черном, отливающем неподдельной самоуверенностью удачливого дельца. В черной тонкой оправе, делающей его глаза еще более голубыми, он был фантастически органичен. С черным лаковым портфелем, казалось бы, наспех, но отнюдь не случайно расстегнутым, из которого торчали углы наиважнейших документов. Белым углам бумаг вторил белокипенный воротничок, украшенный исчерна-синим галстуком.

- Будьте бдительны, курс доллара стремительно растет, - бросил он, проходя мимо меня, и я зажмурилась, вдыхая строгий парфюм делового человека.

То ли банкир, то ли симпатичный мошенник. То ли и то, и другое вместе.

Каждый день он был другим. Голос, язык, манеры, аромат парфюма, настроение. Несколько раз он менял веру, цвет кожи и даже пол. Невероятно и оглушительно убедительно.

- Бонжур, мадам, - сказала мне стройная дама во дворе, протягивая руку для пожатия, не снимая лайковой перчатки. Роговая оправа закрывала пол-лица, но не скрывала все же знакомый лукавый взгляд, проникающий через любые преграды прямо в твое прикрытое тонкими стеклами глаз нутро, рассматривающий там все, что ему нужно, считывающий, срисовывающий, слизывающий, собирающий детали для одного из своих будущих образов.

- Вы - актер? – не удержалась я.

- Не исключено! – ответила мне кокетливо Александра Петровна и села в белый пузатый лимузин, который еле вместился в наш двор.

Еще был спикер-тренер-коуч – или как там это называется – по каким-то жизненно важным вопросам, громогласно раздающий во дворе всем и каждому цитаты из мудрых книг, пожилой слепой старичок, ежесекундно отстукивающий тростью свой подъем по лестнице до самой квартиры так громко, что мой подоконник, на котором я сидела, подрагивал ему в такт; полицейский, пожарник, строитель, спортсмен, врач скорой помощи и еще десятки узнаваемых профессий – и не сразу, но узнаваемые глаза шизика.

Он не смущался ни важничать, ни задирать нос в подобающем костюме, ни смешить народ, ни вызывать одобрение, или гнев, или безразличие, или раболепие перед переодетым чиновником. В своих образах он был гениален. Гениальный безумец. Впрочем, как все безумцы. Равно как и безумны все гении.

- И чем, интересно, он зарабатывает себе на жизнь и на весь этот маскарад? Чего только стоит вчерашнюю машину взять напрокат! Богатый бездельник! – громко рассуждал у подъезда краснолицый и пухлорукий сантехник Сережа.

Двор гадал и перебирал все самые криминальные варианты трудоустройства Александра Петровича. Но представители исполнительной власти никогда к нам в дом не заходили ни по какому вопросу. А так как все жители верили в ее светлое всемогущество, разговоры об организованной преступности во главе с Александром Петровичем со временем сошли на нет.

Для нравственного спокойствия общественности управдом как-то пустил слух, когда к нему заходили в начале месяца все по очереди, чтобы оплатить услуги, что шизик получил большое наследство от такой же сумасшедшей бабушки. Вот и развлекается. Бояться нечего: квартиры в нашем доме в цене не упадут из-за соседства с особо опасным преступником или с сумасшедшим, потому что он небуйный.

К нему иногда заходили гости. Разные. Обычно под стать его настроению. Актриса собирала режиссеров, сценаристов, операторов, осветителей, гримеров и, конечно, актеров. К полицейскому на кофе захаживали судьи, прокуроры, адвокаты, разного рода бюрократы. К вдохновляющему тренеру-консультанту ходили все, кому лень самим читать и думать. Певец приглашал домой поэтов, музыкантов, продюсеров и тех, кто просто любит караоке.

В свои тихие, так называемые депрессивные фазы Александр Петрович водил домой женщину. Одну и ту же.

Очень милая, земная со слегка вытянутым лицом и широким подбородком, что совсем ее не портило, с короткой аккуратной стрижкой, где каждый волосок ровно соответствовал соседу, и громким голосом, преимущественно увлеченным повелительными интонациями. Такая всегда во всем разбирается. И хозяйка хорошая, и профессия уважаемая. Очень была похожа на бухгалтера. Судя по амбициозной походке - главного бухгалтера. По крайней мере, я ее видела несколько раз с папками, полными счетов. Александр Петрович хотел ей помочь поднести, но она ему не доверяла. Несла сама, лихо лавируя между припаркованными на бордюрах машинами. Ему позволительно было нести лишь набитые до верха кульки с продуктами.

Откармливала она его знатно. Из-за двери часто доносились привлекательные запахи свежесваренного борща, котлет и компота из сухофруктов. Как все хозяйственные женщины, она считала, что только жидкие блюда, обязательно с тающими во рту луком и морковкой, могут придать человеку со всем его содержанием добропорядочную, интеллигентную, ухоженную, сытую форму, видимость. И котлета мужчине. Куда же без нее. Вот оно, уютное счастье. Которое можно потрогать руками и даже съесть на обед. Но обязательно при помощи ножа и вилки.

Она громко включала в квартире музыку. Какие-то популярные песенки, наивно простодушные, но почему-то даже мне в моей квартирке становилось от этого весело. Даже мне было тепло зимним вечером от ее уютного хохота - со звукоизоляцией у нас в доме все не очень.

Как странно на нас может влиять чужое счастье!

Согревает, даже несмотря на стены и разные номера квартир. Ее счастье. Она была из тех людей, которые всегда счастливы. Приготовила ужин – счастлива, телевизор включила – очень счастлива, любимый сериал начался – блаженство. И хороший мужчина рядом. Шизик, правда. Она же, конечно, тоже считала его шизиком. Но картошку, разумеется, чистить он умел, тщательно так, счищая тоненьким слоем кожицу, не переводя насмарку богатый калием продукт. И мусор выносил. Иногда этого для любви достаточно.

Когда женщина оставалась одна, а Петрович уходил с утра куда-то по своим сомнительным делам, возвращался он неизменно с букетом цветов. В зависимости от времени суток. Ромашки, тюльпаны, альстромерии, а ближе к ночи - алые розы. Здесь я вспомнила другого известного шизофреника: симптомы все-таки у всех более-менее совпадают. Не миллион, но охапки свежих, со влажными лепестками, разносящих аромат по подъезду, живых, бесхитростных цветов.

И ничего не было вроде необычного, что мужчина женщине, которая ждет его в квартире, несет розы. Это делают многие. На Международный женский день вообще все. Но у шизика это получалось особенно проникновенно. Он не играл. Он жил и наслаждался. Этим запахом, этими шипами – куда без них, этими следами на ладонях от их уколов и мокрыми каплями на пальто, этим тихим стуком в дверь, шарканьем ее пушистых тапочек, своим комичным замиранием перед собственной дверью.

- Опять потратился! – неизменно громко восклицала женщина, тут же забирая букет, обязательно его поднося к носу и стараясь вдохнуть, стараясь понять, стараясь разделить с мужчиной его не совсем адекватное блаженство от срезанных, связанных в пучок, проданных задорого растений.

Мне удавалось иногда за ними наблюдать. Если честно, подсматривать.

Как Александру Петровичу удавалось выдворять эту милую женщину из своей квартиры, ума не приложу. У него были свои тихие методы влияния на громких людей. Но неизменно наступал новый сезон, световой день удлинялся весной или существенно укорачивался осенью, что всегда действовала однозначно на шизика, - и уютная женщина исчезала.

Вновь начиналась буйная жизнь небуйного сумасшедшего. Хотя, по всем признакам, шизик с нежностью относился к их отношениям, даже, наверное, любил ее по-своему, но выпускание на свет божий своих внутренних сущностей приносило его организму такое количество дофамина, что с этим вряд ли способно было что-то тягаться. Даже любившая повелевать барышня, даже ее беломраморная шея, даже котлеты. Глаза его светились с марта по май и с сентября по ноябрь от чистейшего, отборного, свежесобранного, полностью усваиваемого организмом эндогенного счастья.

Мы всегда перебрасывались всего парой фраз, он не пускал никогоближе выбранного образа, а я не лезла под его выглаженный костюм. Хотя было до безумия интересно его понять. В какой-то момент мне пришла в голову мысль, что Александр Петрович и сам не очень-то понимает, кто он. Поэтому терзать его не хотелось. Остальные жители дома на этот счет не переживали: самопроизвольно поставленный диагноз сумасшествия объяснял им все, и вопросы возникали все реже. Свыклись.

- Что делаешь? – я вздрогнула от нависшего надо мной небесно-голубого пытливого взгляда.

Мне никак не шла в голову статья, которую должна была закончить до вчера. Я искала себе подходящее место сначала в спальне, как всегда на подоконнике, потом на кухне, затем вышла во двор, благо майские деньки нагрели достаточно землю, и присела на детскую карусель.

Я ответила честно:

- Пытаюсь работать. Но это у меня не очень получается. Маюсь.

На мою извинительную улыбку он не ответил тем же. Наоборот, нахмурился.

- Идем ко мне, напою райским кофе, сразу нужная мысль вместе с ароматом проникнет в твой мозг, и ты облегчишься.

Впервые он был со мной на «ты». Он сам или человек, которого сегодня представлял себе и окружающему миру: судя по реквизиту, это был фотограф. Подозрительный шизик почему-то вызывал у меня доверие, и я пошла. Что-то было в нем такое здоровое. То ли блеск глаз, то ли детская непосредственность, что у взрослого человека в нашем мире действительно иногда воспринимается как недомогание.

У Александра Петровича была кофемашина. Это не к тому, что шизики не имеют права пить кофе по утрам или в любое другое время бодрствования. Но я немного иначе представляла его быт. И что я вообще себе представляла, кто его там знает. Или думает, что знает. Иногда это важней. Палату в белую плитку, что ли?

Я бы не удивилась, узнав, что именно такой кофе подают в раю. Петрович нажал волшебную кнопочку, и в разноцветную фарфоровую чашку, которую он взял из большого белого шкафа, полилась пенная жидкость. Двумя пальцами он держал чашку, пятый оттопырил, и через десять секунд чашка стояла на таком же разноцветном блюдце. Александр Петрович очень старался быть гостеприимным, руки немного дрожали. То ли у него, то ли эмпатично у меня.

- У тебя очень удобная работа. Сидеть можно, где угодно, наслаждаясь свежим воздухом и свежими идеями, если они есть, конечно. Тебе нравится? – спросил меня Александр Петрович, и я впервые задумалась, почему мысленно обращаюсь к нему по имени-отчеству? Он старше меня всего лет на пять. Было видно, что праздные беседы ему давались плохо. Мы часто столько тратим времени на реверансы, все эти алло-алло, привет-привет, как дела, как настроение. Переходили бы люди сразу к главному, меньше кофе бы выпивали, когда его качество переходит в количество, обусловленное нерешительностью, собственно, как и с самой жизнью.

- Да... А что нравится вам? - я понадеялась втиснуться этим незатейливым вопросом в приоткрывшуюся дверь дворового душевнобольного, отведя внимание от своей персоны. Ох, как я не любила в те времена говорить на тему выбранной профессии.

- Мне нравится подражать, - помолчав немного, а затем радостно, как будто неожиданно для себя достал выигрышный номер в случайной лотерее, театрально громко воскликнул шизик.

- Кому?

- Всем, как видишь. Всем, кого встречаю на своем пути. Мужчинам и женщинам, детям и старикам. Когда кто-то привлекает мое внимание, я обожаю перенимать его черты, характер и внешний вид. Пытаюсь представить, что чувствуют эти люди. Увижу на ком-то причудливый или, наоборот, банальный до оригинальности наряд и повторяю. Пробую, ищу себя и для себя то, что находит отклик в моем сердце.

- И что откликнулось? – еле слышно спросила я, желая заставить его приоткрыть дверь пошире.

- Ничего. Пока ничего. Они мне все одинаково дороги и одинаково безразличны.

- Тогда у вас это хорошо получается. Я много раз была уверена в вашей профессии и удивлялась резким переменам уже на следующий же день. Вы - талант. Артист.

- Нет. Я - попугай. Но решительно не знаю, что с этим делать. С утра еще новенькая идея меня увлекает. К обеду чужой костюм начинает ломать суставы, душить горло, а мне нельзя, неприятно это мне. Вечером я прихожу домой, сдираю с себя чужую жизнь, бросаю в стиральную машину все, свою голову тоже споласкиваю и становлюсь чистым и, наверное, счастливым на одно мгновение. Утром же все сначала. Обязательно утром я вспомню о ком-то, кто вчера произвел на меня впечатление. И снова буду наряжаться. В чужие одежды, надежды, чужие голоса, чужие ботинки. Хотя, с другой стороны, не могу точно ответить на свой вопрос себе же, что было раньше – эти образы сначала возникли в моей голове, а после встретились с живыми людьми в моей жизни, или все-таки наоборот…

Он на мгновение замолчал, сделал паузу, как будто пытаясь понять, можно ли со мной дальше откровенничать. Провел взглядом по моему лицу, коснулся сморщенного лба, пролетел вниз по губам, изучая, из чего сделана моя улыбка. Любопытство, жалость к больному человеку, вежливость? Потом ввинтился в мои глаза. Мне стало больно, до слез. Я очень хотела показать свою настоящую заинтересованность. Да, любопытство. Но любопытство ценного сорта.

Я хотела научиться. Наблюдая всякий раз за ним, я восторгалась его свободе и училась у него быть смелой. В поведении, словах, жестах, эмоциях… Да хотя бы в моих простеньких статьях.

Говорят же, что только сумасшедшие ничего не боятся. А мне бы подучиться и немного свихнуться – самой себе на пользу. Совсем чуть-чуть.

Я распрямила плечи и решила стоять до конца.

Он моргнул первым, отвел взгляд и тихо спросил, глядя в пустую чашку кофе, на дне которой разлилось мое будущее. Неясное, коричневое, слегка подсахаренное пятно.

- Вы думаете, я сумасшедший?

- Нет, - неуверенно сказала я. – Хотя людям, знакомым с вами, легче думать, что да. Иначе им бы пришлось усомниться в их собственной вменяемости.

Конечно, долю сумасшествия я в нем всегда находила. Хочешь не хочешь, во дворе наслушаешься и попадешь под влияние мнения масс. Но я так люблю иметь обо всём свое представление, что этот дух противоречия просто не дает мне возможности до конца со всеми согласиться.

Да, чудак. Который каждый день проживает чью-то чужую жизнь в поисках своей собственной. Счастье это или горе? Сумасшествие или здравый смысл?

И как вообще отличить сумасшедшего от здорового человека? Ведь у каждого своя мерка. Для меня, например, слегка не в себе является мой друг, который пьет кофе без сахара, а чай с молоком. Слышу недовольные крики разделяющих с ним это мнимое удовольствие. Но для меня это так. Сумасшедшие для меня - те, кто на меня не похожи совсем. Значит, и я дли них такая же.

Мне не хотелось от него быстро уходить. В его присутствии я испытывала некий сумбур спокойствия и легкой тревоги. Хотелось рассмотреть, чем он живет за закрытыми дверьми своей квартирки. Что окружает его, каков быт. Ведь ничто человеческое ему тоже не должно быть чуждо.

Я ожидала чудных деталей в прихожей, в кухне, в ванной комнате, в которую я зашла помыть руки.

Маленькая симпатичная квартирка, обставленная явно не шизиком, а человеком рациональным, понимающим в дизайне интерьеров, особенно в прагматичном использовании каждого метра малогабаритного однокомнатного жилища. Я невольно задумалась о доходах шизика. Даже если он ее просто снимает, на это нужны средства - и немалые. Один холодильник чего стоит.

Городской минимализм. Обезличенная, умеющая нравиться всем, светлая, практически белая стенка кухни плавно переходила в столовую. Было много прямых линий и прямых углов.

Явно под сдачу делалось. Интересно, сколько с него сдирают?

Но самым достойным внимания было не это, а то, как шизик умудрился мелкими, особо ничего не значащими деталями, но явно только для него очень важными и милыми, очеловечить этот дорогостоящий, но все же безликий интерьер. По всему пространству были расставлены и разбросаны книги, диковинные для них закладки, журналы, фарфоровые и деревянные статуэтки, подносы, тарелки, сувениры со всего мира. Африканские слоны соседствовали с египетскими пирамидками, китайские вазы – уж не знаю, подделка или нет, – важничали, стоя возле трех разноцветных стеклянных баночек, тоже служивших вазами для живых нарциссов. Репродукции картин и черно-белые фотографии, хаотично развешанные, вызывали ощущение полнейшей, но какой-то гармоничной эклектики.

Мне неудобно все это было рассматривать напрямую. Я просто слегка косила глазом, когда старалась внимательно слушать Александра Петровича. Старалась быть очень вежливой, и он этого вежливо не замечал.

На мгновение повисла пауза, и я поняла, что он не договорил предложение, а смотрит на меня пристально и улыбается. Всего одна тысячная секунды, но мне стало неловко, и я покраснела.

- Не думал, что журналисты умеют краснеть! – он улыбнулся, и только сейчас до меня дошло: шизик изучает меня, нежничая. Тоже рассматривает, хочет получше узнать, как я – интерьер его дома, а он – интерьер моей личности.

- Журналисты, наверное, нет. Я пока не очень хороший журналист. Во всяком случае, не считаю себя таковой.

- А как по мне, это нормально – немного сомневаться в своих силах. Странным бывает другое, когда люди, занимаясь какой-либо профессией, могут быть уверенными в себе на сто процентов каждый день и в каждой ситуации. Даже если ты работаешь в одной сфере двадцать лет, безоговорочная уверенность в своих силах говорит мне только о глупости. Или помешательстве… Так что краснеть – это хорошо.

- Хорошо для тех, кто в этом разбирается. А вы кажетесь очень уверенным в любом образе.

- Убедительно, значит, кажусь.

Шизик был пугающе милым. Пугающе, потому что здесь, в его квартире, я поняла, что не совсем равнодушна к нему. Нормальной женщине не должно приходить в голову так думать о мужчине с ярковыраженным маниакально-депрессивным психозом. Хотя кто там только знает, что это такое. Фрейд, бедняга, умер, до конца в этом не разобравшись. Куда уж браться мне.

Когда я допила свой кофе, подошла к умывальнику, чтобы помыть чашку, на глаза бросились баночки. Валерьянка, пустырник, боярышник. Настойки. Гора коробок с таблетками. «Нейровитан», «Реланиум», «Седуксен», еще какие-то названия, с которыми я уже была не знакома.

Болен.

Все же не зря слухи по дому ходят.

Надо бы запомнить хоть одно из названий, проверить, что это.

Я помыла свою чашку, быстро вытерла ее белоснежным вафельным полотенцем, поспешно попрощалась, чтобы не забыть названия неведомых медикаментов, и пошла в свое, соседнее логово.

Всего один раз я слышала крики, доносившиеся из его квартиры. Бой посуды, ругательства, вопли, потом подозрительные смешки. Другого голоса или голосов я так и не расслышала. Вел ли шизик беседу сам с собой или все же был у него собеседник, я так и не поняла. Мысленно вспомнила седативные пилюли на кухни. Восстановившаяся в его квартире тишина давала надежду на то, что их употребляют. Это было на следующий день после нашего совместного поглощения кофе.

Когда Александр Петрович все же вышел из квартиры, он со всеми огрызался. Вел себя агрессивно, без очередного наряда, просто вышел в халате и комнатных растоптанных тапочках и бродил по подъезду, обвиняя всех и каждого в чем-то им примеченном. Бранил за мусор возле квартир, за окурки у входа в парадную, за собачий помет на самом пороге, за выкрученные лампочки. Если долго никто не входил и не выходил из подъезда, звонил в двери. Допытывался, требовал объяснений, угрожал. Убедительно так. Никто не смел ему перечить. Даже дядя Боря, стодвадцатикилограммовый управдом с двумя очаровательными, всегда в себе уверенными подбородками, не нашелся, что ему ответить.

Когда шизик позвонил в мою дверь, я не открыла. Он позвонил коротко так, я тихонько подошла к дверному зрачку. Если бы он стал настаивать, пришлось бы открывать: не стоять же мне так до утра. Он же фыркнул и исчез в своей квартире. Хочется верить, что меня не за что было ругать. Хотя я тоже третью неделю собиралась купить новую лампочку на нашу лестничную клетку.

К лету шизик притих совсем.

В то время, когда даже самые спокойные граждане, напитавшись витамином D, а счастливчики, живущие возле моря, еще и йодом и кислотами Омега-3, совершают отчаянные глупости в виде влюбленностей, необдуманных поступков, отчаянно брошенных слов или пойманных белок, Александр Петрович стал до неприличия нормальным.

Ходил преимущественно в одном и том же. В серой футболке с мультяшной мордочкой. Несведущему человеку, пришлому, не жителю нашего подъезда вполне бы могло показаться, что и нет в этом человеке ничего необычного. Среднестатистический житель, пусть не всей земли, но нашего региона точно. Ничем не примечательный, куда-то небыстро спешащий, что-то в задумчивом взгляде несущий, обремененный такими же среднестатистическими заботами, в меру задумчивый, в меру беззаботный.

Только глаза его были совсем не простые. Это были две камеры с огромным объемом памяти, которые запоминали все вокруг: чьи-то походки, оброненные разговоры, детали одежды, контуры луж, количество пляшущих в них солнечных зайцев, натуральных воробьев и вскользь отражённые в них облики людей. Голубые, яркие глаза, того теплого оттенка, в котором в любое время года и любую погоду хочется купаться без страха замерзнуть.

Он был снова добр с соседями и помогал чем мог. Делал это ненавязчиво, почти незаметно, не выслушивая вслед благодарностей, которые, впрочем, люди и не спешили говорить, все также подозрительно глядя вслед Александру Петровичу.

То сумку Лидии Ивановне поднесет. То ребенку у песочницы машинку починит. То дверь распахнет перед входящими соседями. То сантехнику Сереже поможет трубу в подвале заменить.

- Вот теперь похож на человека! – сказала как-то ему вслед бывшая директриса уважаемого телеканала, когда я как раз заходила в подъезд, думая о шизике, грустном и безмерно задумчивом в эту пору года. Пожилая, умудренная жизненным опытом женщина, близорукая, но всегда толкающая с экрана только правду, не могла ошибаться. Хоть и на ощупь.

Бедный наш Александр Петрович.

Жалела я его пол-лета и полподоконника – это в смысле половину времени, рабочего якобы, проведенного мной на широкой полоске белого пластика с видом на двор.

Но…

Все рассказы когда-нибудь заканчиваются. И веселые, и грустные, и тем более странные. И если мы чего-то недопонимаем в своем настоящем, в себе, своих мыслях, своих действиях или отложенных попытках завершить какое-либо дело, то же самое можно сказать и о соседе: если он вдруг проник в круг наших интересов, достаточно заглянуть в будущее, чтобы отыскать ответ на вечный вопрос: «Для чего все это было?».

Вот уж никто в доме не ожидал такого поворота сюжета. Ведь сия история должна была быть банальной, такой же, как наш по-своему милый и уютный дом, как облупленный подъезд и наш этаж с часто перегорающей лампочкой.

Александр Петрович так и был бы в глазах общества шизиком, так и оставался бы им навсегда, если бы не предъявил рано или чуть позже веские основания для такого своего поведения. Как когда-то голландец Винсент. Всех не очень уже удивляет его отрезанное ухо, ведь в обмен на это аутодафе во славу искусства миру достались, помимо подсолнухов, бесценные вечноцветущие ветки миндаля.

Когда мой сосед нашел объяснение своему бесконечному переодеванию, двор сразу перестал гадать, есть ли у него справка или нет пока. А просто так никто не имеет права быть непохожим, не таким, как все. Или объясни, или прими таблеточку успокоительного. А еще лучше, если за твое сумасшествие кто-то готов заплатить. Хоть какую-то копеечку, которую признает хотя бы один в мире банк. Вот тогда это будет считаться не актом сумасшествия, а искусством. А вот если счет пойдет на тысячи или миллионы…Безбожник будет переведен в ранг святых с соответствующими почестями.

И шизик однажды нашел себе оправдание, объяснение, очевидные и очень выгодные обстоятельства. Александр Петрович издал книгу.

Взял и выписал лихо закрученную, хоть и не без исторических неточностей прозу. Он гордо сообщил мне об этом к концу лета.

- Как тебя зовут? К стыду своему, я не запомнил. Хочу подписать книгу.

- Надя.

- Очень рад, Надежда, познакомиться, - не могла сразу понять, шизик всерьез или шутит. Вид у него был серьезный.

- Мы же знакомы. Я всегда жила рядом.

Книгу его стали читать. И в городе, а главное, в нашем доме и подъезде в частности. А после этого начали здороваться с Александром Петровичем, почтительно пожимать руку, просить автограф. Только совсем маленькие дети оказались в этом смысле далеки от облетевшего весь подъезд слуха о популярности соседа. Они все так же весело и искренно улыбались ему в лицо при встрече, и еще шире – вслед.

Получив свой подписанный рукой автора экземпляр, я нырнула в тот же вечер с головой в его противоречивое воображение, потеряв счет времени и узнаваемым персонажам. Тут был и сосед с третьего этажа, певец, актриса, музыкант, уютная женщина, бизнесмен, управдом, полицейский, пожарник, строитель, спортсмен, врач скорой помощи, наш сантехник и все остальные жители, включая посуточных арендаторов квартир.

Я смеялась, плакала, злилась, переживала, страдала и радовалась вместе с ними, героями из его головы, но, казалось, иногда более живыми и настоящими, чем прототипы в реальной жизни.

К концу книги я стала ловить себя на некой ничем не должной быть обусловленной грусти. Что-то неуловимое, неясное, тревожное зародилось во мне. Нет, книги были полны и юмора тоже. Но что-то мне не давало покоя и терзало, заставляя перечитывать некоторые страницы.

Я не узнала себя ни в ком.

Ревность, что ли?

Нет, но… Мы же почти подружились. Был ли шизик мне другом? Я особо не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Хотя встречала случаи и уверена: на это есть у людей какие-то скрытые мотивы, которые посильнее обычного человеческого влечения к противоположному полу. Есть у меня друзья-мужчины, например, мужья моих подруг. Еще есть друзья-мужчины, которым нравятся мужчины. У меня не было никогда амбиций приобщить их к правильному. Тем более о правилах такого рода я не утруждаю себя думать.

В какой-то момент мне начало казаться, что в этой бессознательной связи есть что-то волшебное, магическое…нет, скорее, просто сумасшедшее.

Притягательность шизиков.

Я, наверное, слишком нормальна, и тянет меня на таких.

Однако все же что-то между нами было общее. Мне хотелось так верить. Но только мне одной, судя по тому, что себя я в тексте не нашла. Александр Петрович никого не пускал по-настоящему в свой мир. Если он держал даже эту громкую, заботливую, всезнающую женщину на определенном расстоянии очень вытянутой руки, то меня уж и подавно. Кто я? Соседка. Вот уж важная профессия!

Шизик не оценил, насколько был мне важен.

Пропустил всего одну деталь мимо самых наблюдательных глаз, что мне встречались.

Прокололся в мелочи.

В тот день я снова сидела на детской площадке, читая что-то чужое в интернете. Чем меня запоминать? Бледное лицо, синяки под глазами. Серая неприметная одежда, даже голос мой был для меня серым, колючим на ощупь, шерстяным.

Надо же. Расстроилась из-за книги какого-то там шизика! Хорошая, да. Но почему он должен писать обо мне? Кто я ему? И зачем?

- Александр Петрович, стойте! Почему же в вашей книге нет меня? – я, заметив проходящую мимо знакомую фигуру, начала с главного, чтобы не терять времени: и так его достаточно было мной утеряно.

Шизик удивился. Поднял брови. Человек, без определенного возраста, пола, мировоззрения и религиозных взглядов, без точного диагноза, но с первой книгой, начал громко хохотать. Так раскатисто и протяжно, что мне стало очень страшно. Те мгновения смеха, когда я суетливо пыталась понять, что это: он смеется надо мной, над моим вопросом или ему просто пора принимать таблетки?

- Потому что у тебя, Надежда, я подсмотрел саму идею - писать. Благодаря тебе из меня вышли все эти красавцы и уродцы. Такие вот дела. Иногда совсем не знаешь, чему научит тебя человек, встретившийся на пути, сидящий на детской площадке.

- Наверняка, - сказала я, проведя пальцами по новому, вчера приобретенному по какой-то вздорной прихоти шелковому шарфу оранжевого цвета.

Все же это правильно, когда отдельно взятое сумасшествие находит себе оправдание в этом суетливом, измученном сменами времен года мире, населенном миллиардами потенциальных безумцев, балансирующих иногда в течение всей жизни по пограничной территории. Еще одно одушевленное существо находит свой покой, еще одна щепотка надежды падает на чашу весов, и мы становимся немного ближе к истине, что все в этом мире не зря.

Петрович, чуть замешкавшись, подмигнул мне, развернулся и пошел по направлению к нашему общему этажу. Очень серьезный, остепенившийся, уважаемый всеми человек. Я не видела, но с уверенностью могла сказать: он улыбается. Человек, упорно и беспрестанно ищущий только свое эффективное лекарство, бредущий сквозь трудные весну и осень, обманно затихающий на краткие зиму и лето, бесстрашно борющийся с правилами проживания в конкретном кондоминиуме и все же вознагражденный за свое безумие. При этом с ним осталась все та же застенчивая, бережно пронесенная через годы, слегка инфантильная улыбка и все та же приветливость голубых пытливых глаз. Шизик, одним словом.

1. Бару Михаил «Следующая остановка — “Ленинградская площадь”», «Мещанское гнездо»

***Михаил Бару***

**Следующая остановка — “Ленинградская площадь”**

Теперь детям мечтать просто и удобно — достаточно хотеть стать богатым. Все остальное приложится. Богатый может купить билет хоть в космос. Во времена моего детства билетов в космос не продавали, и надо было стать космонавтом по-настоящему, чтобы полететь без билета, то есть командиром корабля или бортинженером. Но сначала — очень захотеть. И еще раньше — выбрать мечту. Или ты космонавт или укротитель тигров. Я выбрал вагоновожатого.

В маленьком провинциальном городе моего детства трамваев не было, но зато на лето меня отправляли к бабушке в Киев. Там этих трамваев было полно чуть ли не на каждой улице. Больше всего мне нравился двадцать седьмой маршрут — от проспекта Гагарина на левом берегу Днепра до Почтовой площади на правом. Там жила бабушкина сестра, тетя Поля. Трамвай шел долго — больше часа. На Подол ходили стремительные красные с желтой полосой чешские трамваи. Сначала мы ехали по Дарнице, потом по длиннющему железному мосту через Днепр, а потом вдоль правого берега, в тени больших киевских каштанов, каштановее которых нет на целом свете. Бабушка мне всегда давала талончики, чтобы я их закомпостировал. Вагон здорово качало на скорости, и в прорезь компостера я попадал билетами с третьего, а то и с четвертого раза. Компостер работал не очень хорошо и дырочки в талоне продавливал, как правило, наполовину. Я потом сидел и упорно отрывал крошечные бумажные кружочки, за что мне влетало от бабушки.

Больше всего мне нравилось стоять возле водителя и смотреть, как навстречу мчатся другие трамваи, как за окном проплывают дома, мост через Днепр, под которым ползут баржи с неумытыми ржавыми бортами, закладывают пенные виражи моторные лодки, деловито снуют чумазые буксиры, на бортах которых домашними шлепанцами висели автомобильные покрышки. Только вот стоять рядом с вагоновожатым во время движения запрещалось. Об этом гласила строгая надпись на русском и украинском языках на стеклянной дверце водительской кабины. Поскольку украинского я не знал, то эта двуязычная надпись для меня была чем-то вроде Розеттского камня. Так, шести лет от роду, я стал Шампольоном.

Поговорить с водителем мне было очень надо. Дело в том, что я прочел и с грехом пополам перевел еще одно объявление на украинском, висевшее рядом. Говорилось в нем о ежегодном наборе на курсы водителей трамваев и троллейбусов при местном трамвайно-троллейбусном депо. Меня интересовали исключения в правилах приема — можно ли начинать обучение не с восемнадцати лет, а, скажем, с восьми. Два года я был еще готов, собрав волю в кулак, подождать. Размер зарплаты меня не беспокоил — зачем зарплата человеку, у которого есть мама, папа и бабушка. Отпуск, по вполне понятным причинам, меня тоже не интересовал — кто же бросит такое удовольствие ради отпуска. Больше всего мое воображение поражали льготы — бесплатный проезд на всех трамваях и троллейбусах! Бесплатные гаечные ключи и отвертки, которые — я сам видел! — были у вагоновожатых. Имелись, конечно, и некоторые препятствия в виде двух недавно выпавших молочных передних зубов. Втайне от бабушки я тренировался произносить “Следующая остановка — “Ленинградская площадь”. Получалось, мягко говоря, невразумительно.

Два года пролетели незаметно. Потом еще три. К бабушке я продолжал приезжать, но карьера вагоновожатого меня уже не влекла. В одиннадцать лет я вдруг совершенно точно понял, что лучше профессии самолетного конструктора ничего и быть не может. К тому времени первые шаги на этом поприще я уже сделал — по выкройкам из журнала “Юный техник” вырезал десяток или больше бумажных моделей самолетов и из купленного родителями специального набора тонких буковых реек, папиросной бумаги и резиновой лапши собрал действующую модель планера с резиномотором. На очереди была настоящая кордовая модель самолета с настоящим керосиновым моторчиком объемом целых два или даже три кубических сантиметра. Такое счастье стоило дорого — не сама модель самолета из реек, тонкой фанерки, проволочек и пластмассовых колесиков, а моторчик, стоивший целых пять рублей. С мечтами об этом моторчике я ложился спать и вставал утром. Ради него мне пришлось окончить учебный год на все пятерки. У меня была пятерка даже по поведению. Помню, как мы вышли с папой из дверей “Детского мира” и я прижимал к груди коробку с надписью “Компрессионный двигатель” с такой силой, с которой потом не прижимал ~~ни одну девушку~~ даже диплом о присвоении ученой степени. Впрочем, это папа вышел, а я уже летел, хоть и низко. Летал я дня два — ровно до того момента, когда пришлось этот двигатель запускать. Не раз, не два и не три ударял я, как было написано в инструкции, указательным пальцем по пропеллеру — все было напрасно — двигатель даже не чихнул. Уже и на пальце был синяк, уже и всплакнул я от отчаяния… Положение не спас даже папа. Почертыхался он полчаса или час, а потом пообещал забрать завтра утром двигатель на свой военный завод и там отдать его в опытные руки знакомого слесаря-инструментальщика. Так и сделали.

Ни через пару дней, ни через неделю, ни даже через две двигатель не запускался, хотя и разбирали его, и промывали его, и продували… От папы я услышал много новых слов о самом моторчике, о его изготовителях, о людях, которые принимали готовую продукцию и ставили треугольный синий штампик в технический паспорт\*…

После неудачи с моторчиком я отложил в сторону мечту о самолетостроении, тем более что к тому времени мной овладела новая — я решил стать полярником. Настольной моей книжкой была биография Руаля Амундсена — знаменитого норвежского покорителя Северного и Южного полюсов. Я спал и видел себя пробирающимся сквозь ледяные торосы, отстреливающимся от белых медведей и полярных волков. Кстати, о сне. Амундсен в детстве спал в комнате с открытым окном, а мне запретили родители, поскольку у нас с моей младшей сестрой была одна комната на двоих, сестра же ни в Арктику, ни в Антарктику не собиралась. Однако я был упорным мальчиком и решил, пока мои жилищные условия не улучшатся, продолжать подготовку по другим, не менее важным направлениям.

Во всех книжках про полярников было написано, что питались они во время походов простыми галетами и пеммиканом. С простыми галетами в моем советском детстве были проблемы. Почему-то их в наш Серпухов не завезли. Зато мама где-то купила по случаю несколько пачек дефицитного печенья “Юбилейное”. Из него делали торт “Муравейник” и шоколадные колбаски, когда приходили гости. Торт и колбаски я делать не стал — какие, спрашивается, колбаски, когда за тонкими стенками палатки мороз, снежный буран, треск ломающихся льдов… и суток не прошло, как кончилось “Юбилейное”. Кончились также банка вишневого варенья без косточек и полпачки сливочного масла. Конец ~~света~~ эксперимента совпал с приходом мамы с работы…

Другой бы уже успокоился и путешествовал в страны с умеренным и даже жарким климатом, чтобы закаляться, к примеру, поедая суп или манную кашу. Вот только жаркие страны и манная каша меня интересовали в последнюю очередь. Потерпев неудачу с галетами, я принялся за пеммикан. Для настоящего полярника пеммикан был все равно что ром для настоящего пирата. Вот уж этот продукт нельзя было купить нигде ни по какому знакомству — его надо было делать самому. Сначала нужно было прокрутить мясо через мясорубку, выложить фарш на противень тонким слоем и высушить, после чего перемолоть в пыль на кофемолке. Мясорубка у нас была, а кофемолку я рассчитывал взять на время у своего одноклассника Вовки. После чего к этой мясной пыли добавляют растертые сухофрукты, сало, соль и специи. Потом… до самого конца я не дочитал, решив, что как дойду до нужной стадии — так и дочитаю. Наученный горьким “Юбилейным” опытом, я не стал прокручивать все замороженное мясо, которое нашел в нашем холодильнике, а отпилил, поскольку ножом не смог отрезать, папиной ножовкой по металлу небольшой кусок и, после того как он оттаял, прокрутил его через мясорубку. Фарш выложил на маленькую фанерку и поставил на балкон, на самый солнцепек, чтобы он побыстрее высох.

На дворе стоял октябрь. С солнцепеком были проблемы. Мало того — лил дождь, а потому я не стал сушить фарш на солнце, которого не было, а, для начала, обдул его горячим воздухом из маминого фена. Ближе к вечеру, перед приходом родителей с работы, я спрятал фанерку с так и не высохшим фаршем под кровать. На следующее утро недоношенный пеммикан был на ощупь все еще сыроватым, и пахло от него... Тут я вспомнил, что по рецепту в пеммикан добавляют соль и специи. Из специй дома были перец, корица и ванилин. Ванилина в рецепте не было, но я так любил его запах, что однажды даже пробовал есть. Я посолил, поперчил фарш, а потом еще и пованилинил. Вы будете смеяться — вечером родители снова пришли домой с работы и… Зато можно было целый час закаляться, поскольку мама велела открыть окно — для проветривания.

Все же мечта о полярных путешествиях умирать не хотела. Мало того — к ней прибавилась мечта стать ветеринаром и лечить собак. Упрощая задачу, я решил обе эти мечты объединить и лечить не просто собак, а ездовых собак полярных исследователей. Для этой цели я хотел упросить родителей взять щенка от нашей дворовой собаки Найды. Понятное дело, что ни Найда, ни ее сын ездовыми собаками не были. Найда даже и в санки-то детские не хотела впрягаться. Но я считал, что в этом деле главное дрессировка. Возьму щенка, воспитаю из него настоящую ездовую лайку, а потом у него пойдут дети, внуки… Эти уже будут ездовыми во втором и в третьем поколениях. В этом смысле я был тогда стихийным лысенковцем. Простой расчет показывал, что к концу школы у меня должно быть около полутора десятков отличных ездовых собак. Этого количества мне хватило бы для настоящей упряжки. Осталось только упросить родителей взять щенка. Упрашивать мы пошли вместе с сестрой. Она, правда, хотела котенка, но я обещал ей ~~подзатыльник~~ дать щенка для обрядовых девчачьих одеваний в кукольную одежду.

Короче говоря… если все мальчики и девочки, которым не разрешили взять щенка, или котенка, или даже чижика, возьмутся за руки и выстроятся в цепь, то эта цепь, может, и не дотянется до Луны, но уж точно обогнет земной шар по экватору никак не меньше двух раз.

Между тем, школьные годы шли, шли, и надо было уже выбирать не мечту, но профессию. Какой уж тут, к чертям собачьим, полярник-ветеринар. Уже были мне подобраны репетиторы по математике, физике, и уже был готов я удавиться от тоски над задачами по механике и тригонометрии, как вдруг совершенно неожиданно для себя влюбился в палеонтологию. Как говорится, взял и уехал накануне свадьбы в Ленинград. В том смысле, что вместо репетиторов стал ходить на заброшенный карьер возле Оки и ползать там по осыпающимся склонам в поисках окаменелостей. Я уговорил папу сделать мне на своем заводе геологический молоток, потому как купить в магазине его было нельзя. У меня была тоненькая, еще довоенная, книжечка о геологических экскурсиях по Подмосковью для пионеров и школьников. В ней были черно-белые фотографии аммонитов, белемнитов и прочих древних моллюсков. Отличить одни от других не представлялось никакой возможности из-за ветхости книжки. Из палеонтологической литературы у меня были еще рассказы Ивана Ефремова об экспедициях в Гоби и диафильм из жизни динозавров. Этот диафильм я засмотрел буквально до дыр. Диафильм — это такая целлулоидная полоска с последовательными картинками-кадрами и дырочками по краям. Ее вставляли в железный или пластмассовый ящичек под названием “фильмоскоп” и крутили ручку. Крутить можно было как хочешь медленно и даже возвращаться назад, чтобы все зрители, особенно читающие по складам, успели прочесть подписи к картинкам. Теперь, конечно, для всего этого есть телевизор и пульт — нажал кнопку и перемотал… но разве можно сравнить удовольствие от кручения настоящей ручки с нажатием какой-то кнопки?! А коробочки, в которых хранились диафильмы? Разве можно их поставить рядом с нынешними файлами? То-то и оно. Во времена моего детства любой ребенок, у которого было два десятка таких коробочек, чувствовал себя не меньше чем директором Госфильмофонда! Да что диафильмы! Даже темные комнаты, в которых надо было их смотреть, были гораздо темнее нынешних.

Я так вошел в роль, что даже видел сны, в которых или убегал от динозавров, или охотился на них. Жалел я только о том, что еще невозможны путешествия во времени — тут бы я мгновенно взял с собой фотоаппарат, три километра пленки, ружье с усыпительными и разрывными пулями и айда в юрский или меловой период. Как охотиться на динозавра, я, в общих чертах, представлял — все это было описано в фантастическом рассказе Спрэга де Кампа “С ружьем на динозавра”. Осталось только поступить на геологический факультет МГУ, на котором готовили палеонтологов. Попутно я хотел поступить на какой-нибудь филологический факультет, чтобы научиться писать научно-фантастические рассказы, как мои любимые Спрэг де Камп и Иван Ефремов, но потом передумал — в конце концов, писать-то я умел и даже с небольшим количеством ошибок, а правильно расставлять слова уж как-нибудь…

В разгар моих приготовлений к карьере охотника за динозаврами и писателя-фантаста приехала в гости бабушка и сказала, что палеонтологи, которые в ее представлении были младшими братьями геологов, сплошь люди безнравственные. Мужские геологи в этих самых своих палатках черт знает что вытворяют с женскими и потом лечатся от нехороших болезней. Вот недавно к ним в поликлинику, в травматологию, приходил один нефтяник по поводу перелома руки, а при тщательном осмотре оказалось…

С тех пор прошел не один десяток лет. Я не стал ни вагоновожатым, ни самолетным конструктором, ни полярником, ни ветеринаром, ни палеонтологом, ни даже писателем-фантастом. Теперь уж и не стану. Особенно писателем-фантастом. Знающие люди говорят, что фантаст, даже не очень талантливый, может выпить невообразимое количество водки. Что уж говорить о талантливых, а тем более гениальных… Никакие тренировки тут не помогут — писателем-фантастом надо родиться. Ну, да не об них речь. Я родился химиком. То есть сначала я об этом не подозревал и думал, что родился вагоновожатым, полярником, палеонтологом, и потому мечтал в совершенно разные стороны, как если бы эмбрион в утробе матери развивался поначалу то в головастика, то в чайку или вовсе в коалу, а потом одумался и стал превращаться в нормального человеческого младенца. Так и я одумался, когда увидел волнующе округлые колбы, тонкие пробирки, изящные стеклянные холодильники со спиральными трубочками внутри, бледно-фиолетовое пламя газовой горелки, разноцветные кристаллы… но память обо всех этих внутриутробных мечтах никуда не пропала! Она хранится в каждом из нас. Взять, к примеру, меня. Порой, когда я в белом халате, думаю какие-нибудь ученые формулы или говорю с умным видом подчиненным о том, что начальник всегда прав… мне так хочется зарычать голосом голодного тираннозавра, или зажужжать самолетным мотором, или сказать голосом вагоновожатого “Следующая остановка — “Ленинградская площадь”, или написать обо всем этом рассказ, пусть и ненаучно-фантастический, что я ухожу к себе в кабинет, беру чистый текстовой файл и… Иначе можно лопнуть от всех этих голосов внутри. Это я вам точно говорю.

  \* Через каких-нибудь два десятка лет, когда у меня уже подрастал собственный сын, к нам в гости пришел знакомый самолетный конструктор из конструкторского бюро Яковлева. На дворе был разгар перестройки, и Серега, так звали конструктора, приносил домой не зарплату, а меньше, чем ничего. Хорошо, что жена его, экономист в каком-то институте, открыла в себе талант к различного рода поделкам из камней, каждая из которых, если ее рыночную стоимость перевести на мужнину зарплату… Короче говоря, я спросил у Сереги — что надо делать, если ребенок мечтает о профессии конструктора самолетов? Серега вздохнул, выпил рюмку водки и выдохнул: “Пороть! Каждый день пороть, чтоб одумался, пока не поздно”.

**МЕЩАНСКОЕ ГНЕЗДО**

Если не оборачиваться на шум машин, едущих по шоссе, на свист электричек, на пьяные возгласы мужиков на автобусной остановке, на истошные крики телевизора, на маленькую зарплату, на незаконченный ремонт, на отсутствие у жены норковой шубы, на присутствие ее у жены начальника, а только идти по заснеженному полю на лыжах, смотреть на темнеющий впереди лес, на снежные бурунчики, вырывающиеся из-под острых кромок лыж, слушать свист ветра, сухое постукивание лыжных палок, пробивающих наст, вовремя объезжать торчащие из-под снега сухие стебли прошлогодних репейников, то через минут пятнадцать, в крайнем случае двадцать пять, жизнь начинает налаживаться. Главное — не снижать темп.

\* \* \*

К середине февраля зима перестает идти и застывает на месте. Небо становится серым, низким и таким тяжелым, что атмосферное давление превращается в кровяное, ветер сильным, встречным, порывистым и таким холодным, что от него ноют даже зубы из металлокерамики, снег мокрым, намертво прилипающим к лыжам, а лыжня такой длинной, что, если ее смотать в один большой клубок, то из него не выпутаться даже с помощью лыжных палок. Длиннее этой лыжни только бесконечный сон, внутри которого она без устали идет на месте, и бесконечный февраль, застывший внутри зимы, которая не кончится никогда.

 \* \* \*

До леса остается еще километра три по полю, когда начинается поземка и мягкий мокрый снег, который до того медленно кружился в воздухе и не падал, превращается в колючую ледяную крупу, летящую с истребительной скоростью. Слушая, как монотонно стучит эта крупа по толстой непродуваемой ткани твоего капюшона, под которым и шапка, и подшлемник, в голове, которая под капюшоном, шапкой и подшлемником, вдруг из ниоткуда возникает ощущение уюта. Кажется, что если бы сбоку капюшона, где-нибудь в районе уха, торчала небольшая труба, толщиной пальца в два или три, а из нее бы поднимался к небу дымок, а во рту лежал бы кусок кулебяки с белыми грибами, гречневой кашей, рублеными яйцами и луком, да все это было бы смочено преогромным глотком горячего сладкого чаю или домашней клюквенной настойки… И тут собака, постоянно вертящаяся, как юла, между лыжами, палками и тобой, неожиданно прыгает прямо тебе на грудь, валит в снег и с радостным визгом пытается лизнуть в лицо. Учуяла, стало быть, кулебяку…

\* \* \*

На дворе конец марта, ледяной ветер и черный пузырчатый лед, а за околицей нечесаные сухие лохмы прошлогодней травы, не дающие покоя крестьянским детям и крестьянским взрослым, у которых не только руки, но и ноги чешутся их поджечь. Если раздвинуть стебли травы, то у самой земли можно увидеть зеленые резные листики земляники — ей уже в июне надо быть с ягодками, и тут хочешь или не хочешь, а надо вылезать наружу и расти прямо в студеный мартовский воздух. Другое дело сморчки — эти еще где-то глубоко внутри, и на зародышах их микроскопических шляпок еще только закладываются самые первые и самые примитивные извилины, отвечающие за страх перед грибным долгоносиком. Дома тепло, топится печка, и все подоконники уставлены ящиками с рассадой, над которыми развешаны длинные лампы дневного света. Болгарские перцы взошли и крепнут день ото дня, а бархатцы взошли плохо, и по всему видно, что вырастут из них никакие не бархатцы, а в лучшем случае полубархатцы или даже ситцы. Хуже бархатцев взошли только астры, которые и вовсе не взошли, а потому их пришлось пересевать. Лучше всех взошли мухи между рамами. И ведь как только не конопатили осенью щели! Даже и воздух между рамами откачивали пылесосом, а все равно они там завелись. Сегодня утром одна уже жужжала и билась головой о стекло. Теперь, после стольких сотрясений мозга, она очумело ползает в разные стороны и все время трет передними лапками больную голову. За окном темнеет, и ветер в трубе уже не поет, но воет, обдирая себе бока в узком дымоходе. Завтра снова весна, и к утру, если не подложить дров в печку, можно околеть от холода даже под толстым ватным одеялом.

\* \* \*

В оврагах еще март, а на пригорках уже апрель. Сорвешь высохший и пустой серый стебелек, подуешь в него, и из отверстия вылетят остатки холодного зимнего воздуха. Прижмешь ухо к теплой от солнца березе и слушаешь, как кипит и бурлит в глубине ствола сладкий сок, как мало-помалу начинают зеленеть еще бесцветные после долгой зимы молекулы хлорофилла, как внутри миллиардов клеток бешено суетятся триллионы митохондрий, ядер и каких-то совершенно незаметных даже в самый сильный микроскоп пузырьков и соринок без всякого названия, как клетки делятся, делятся, делятся день и ночь без устали для того, чтобы проклюнулись смолистые почки, которые будут набухать до тех пор, пока не лопнут с треском и не брызнет во все стороны новорожденная листва.

\* \* \*

Раннее субботнее утро. Все еще спят. Не спят только муха между оконными рамами на кухне и мальчик лет четырех. Он уже встал и прошлепал босыми ногами к печке, у которой угрелся и дрыхнет без задних ног толстый старый кот, видящий во сне чугунок… нет, два чугунка мелких, как семечки, мышат, запеченных в сметане. Мальчик дергает кота за хвост, лезет пальцем ему в ухо, трогает усы и шепчет громким трагическим шепотом: «Не спи! Не спи! Мне скучно!». Кот фыркает, чихает, сворачивается в тугой клубок, на поверхности которого не видно ни лап, ни хвоста, но глаз не открывает и не откроет до тех пор, пока не съест все два… нет, три чугунка мышат.

\* \* \*

Раннюю весну трудно отличить от поздней осени — лес такой же черный, в поле трава жухлая, сухая, в лужах ледяная вода, в небе еще пусто и, кроме облаков, ворон и сорок, никого нет. Огурцы, как и осенью, соленые, а магазинные состоят из воды, химических удобрений и мягких сортов пластмасс, и выращены они не на грядках, а в огромных стеклянных реакторах. Рябиновка, которой с прошлой осени осталось…1 Даже кашель еще зимний, но стоит только подуть теплому и влажному ветру, как настроение начинает подниматься все выше, выше и выше и, поднявшись, переливается там, в вышине, всеми цветами радуги. Хочется сразу петь, бегать по лужам и кричать своему настроению: лети еще выше, выше… и оно летит, летит и исчезает где-то там, за облаками, а ты остаешься здесь, на земле, с промокшими ногами, насморком, проснувшимися мухами, аллергией на какую-то пыльцу, ипотекой, надкусанным соленым огурцом и пустой бутылью рябиновки.

\* \* \*

Весеннее утро. Пронизывающий ветер. Почки, которые еще вчерашним теплым вечером распирало от желания лопнуть, теперь замкнулись в себе, и только на ветке старой, давно сухой березы ни с того ни с сего вдруг вылупился крошечный скворечник — со слепым еще летком, затянутым полупрозрачным пергаментом бересты, и крошечным, едва выступающим, сучком жердочки.

 \* \* \*

Весной в деревне городскому писателю надо быть очень осторожным — шагу нельзя ступить, чтобы не вляпаться в какую-нибудь древнюю, как лепешка доисторической коровы, метафору или избитую до полусмерти аллегорию. Выйдет он на крыльцо, посмотрит мутными ото сна и похмелья глазами на голые еще деревья в зеленой дымке, на бездонное голубое небо с белоснежными барашками облаков, на караван крикливых гусей тянущихся…2, на звонко журчащие ручьи, на бурное половодье, на лодки, полные зайцев и мазаев, на прилетевших грачей, важно разгуливающих по пашне, на изумрудную щетину взопревших озимых, на тощих и голодных, как волки, коров, выбегающих щипать эти озимые, на злых и орущих злые слова крестьян, бегущих к пьяному, уснувшему под кустом пастуху, и размахивающих кулаками и палками, на чумазых и веселых крестьянских детей, поджигающих сухую прошлогоднюю траву в двух шагах от его забора, на самого себя, злого, бегущего к детям, орущего злые слова, размахивающего кулаками и черенком от лопаты…

 \* \* \*

В городской квартире уют создать непросто — один для этого расставляет по всем комнатам фарфоровые статуэтки пионеров, балерин и писателей, купленные на блошином рынке; другой в художественном беспорядке разбрасывает умные книги у себя на письменном столе, да еще и в каждую вставит по пять закладок; третий перед духовкой, в которой румянится дюжина куриных голеней из супермаркета, ставит кресло, закуривает трубку и заставляет лежать у своих ног на синтетическом коврике комнатную собаку размером с кошку; четвертый… Впрочем, все это в городе. В деревне, для того чтобы создать уют, достаточно затопить печку или ранней весной вырастить на подоконнике огурцы, покрытые нежной молочной щетиной. Первый из этих огурцов, выросший до размеров указательного пальца, подают к чаю, как конфету или пирожное. Разрезают на крошечные дольки и кладут под языки, как валидол, до полного рассасывания. Говорить при этом ничего не надо — достаточно смотреть в окно, наполовину закрытое огуречными листьями и уже увядшими желтыми цветками, за которыми валит крупный мокрый снег и пара скворцов, прилетевших вчера и сидящих в своем скворечнике на крыше сарая, стучит клювами от холода и думает о том, что в следующий раз вылетит на две недели позже и по пути еще на неделю остановится в Риме.

\* \* \*

Метель в конце апреля напоминает послесловие семейной ссоры. Все слова давно сказаны, и не по одному разу, жена удалилась на кухню навсегда и там гремит кастрюлями и сковородками уже минут пять, как вдруг дверь в комнату, где ты стоишь у окна и тихонько куришь в форточку, распахивается, и она с порога начинает, как скрипач или тромбонист на репетиции симфонического оркестра с третьей или пятой цифры:

— Всю свою жизнь я собираю по всей квартире и выворачиваю за тобой грязные носки перед тем, как стирать. Всю свою жизнь! Неужели так трудно хотя бы разбрасывать уже вывернутые…

На этом месте она вдруг замолкает, захлопывает дверь, и ты смотришь в недоумении на деревья и полураскрытые почки, засыпанные снежными хлопьями, на сиреневые и желтые крокусы на белых клумбах, на ворону с окурком в клюве, важно расхаживающую по газону в поисках спички, и думаешь:

— Когда уже наконец потеплеет! Скоро май, а на дворе метель. Это же дикость, варварство какое-то! Делают что хотят…

И тут ты замечаешь брошенный кем-то на подоконнике невывернутый носок…

\* \* \*

Хмурое утро… Чугунная, как башня танка, стеклянная голова, которую может разбить вдребезги случайный звук от хлопнувшей в подъезде двери, веки, которые не поднять даже штангисту, спитой чай в щербатой кружке, подгоревший тост и сидящая в углу кухни виноватая собака, быстро слизывающая с морды счастье от съеденного куска сыра, который ты сам же и забыл вечером на столе.

\* \* \*

На ветке старой яблони между раскрывшимися почками сидит дрозд и подражает скрипу двери сарая, которую со вчерашнего дня зак… зак… рывает ветер и никак не может закрыть. К соседям приехала передвижная буровая установка и сверлит землю в поисках воды. Деревенские мальчишки висят на соседском заборе и кричат «Нефть! Нефть!». В сетке рабице, натянутой между двором и огородом, собака проделала дыру и теперь бегает, зараза, по грядкам. Надо встать с теплой, нагретой майским солнцем скамейки, загнать собаку во двор, посадить ее на цепь, наказать, уворачиваясь от ее попыток лизнуть тебя в нос; потом пойти в дом, взять пассатижи и закрутить сетку изо всех сил… которых нет даже на то, чтобы встать с теплой скамейки. Приходившая утром за солью соседка рассказывала, что где-то далеко и даже еще дальше, на другой планете и в другой галактике, существует город с бесконечными автомобильными пробками, с воздухом, наполненным черной гарью, грохочущими вагонами метро, срочными телефонными звонками, очередями в кассы супермаркетов, счетами за электричество и воду… но это она придумывает, конечно. Черт знает что в голове у этих деревенских баб. Небось наслушалась всякой чепухи от проезжающих на автобусной остановке. Не может такого быть, хотя бы и на другой планете. Если только в другой галактике, да и то…

\* \* \*

Еще вчера вечером ветки вишни были обрызганы бело-розовыми жемчужными каплями бутонов, а сегодня утром шмели уже сердито жужжат «За мной не занимать!» в очередях к едва раскрывшимся цветочкам, а за цветочками, не успеешь оглянуться, пойдут ягодки, а за ягодками медленно, отдуваясь на каждом шагу, приковыляет из погреба большая пыльная и пузатая бутыль со сладкой вишневой наливкой, которую лучше всего наливать в маленькие хрустальные рюмки и эти рюмки подставлять лучам неяркого осеннего солнца, повертывая за тонкую ножку пальцами то чуть вправо, то чуть влево, любуясь тонкой игрой... пока приглашенный в гости на дегустацию сосед не скажет:

— А вот у меня рябиновка в прошлом году не только на цвет, но и на вкус была так хороша…

\* \* \*

*Так они сидели у железной печки и пререкались по-зимнему…*

ЮрийКоваль

Весенние слова, а летние тем более, самые легкие из всех слов на свете. Легче воздуха и даже гелия, которым надувают шарики. И такие же разноцветные. Они и состоят-то почти из одних только гласных, а согласные в них если и есть, то звонкие. Весенние слова, а летние тем более, чаще всего и не выговаривают даже, а выдыхают. Только успел губы приоткрыть, как оно уже упорхнуло. Только хвостик «лю» и мелькнул перед глазами. Чтобы весенних, а тем паче летних слов хватило для разговора хотя бы двух человек, а тем более для шепота, надо их выдыхать постоянно.

Не то осенние слова. Эти не выдохнешь — языком надо выталкивать. Да и вытолкнешь — вверх не полетят. Будут кружить вокруг медленно, точно сонные мухи, и потом долго падать в опавшие листья и ледяные лужи. А то вдруг занесет их ветром в ухо. Да еще и обидные. Скачи потом на одной ноге долго, пока не вытрясешь.

Зимние слова и вовсе могут лежать за щекой целый день. С ними и заснуть можно ненароком. Уже и ферменты растворят их окончания и даже суффиксы, уже и корень их побелеет, сморщится и потеряет всякую силу, а все они лежат, как мертвые за щекой, или с трудом ворочаются на языке, а все равно не выговариваются. Походишь с ними, походишь — да и выплюнешь куда-нибудь в сугроб от греха подальше.

 \* \* \*

Майской ночью выйдешь в сад, посмотришь на небо, усыпанное звездами и жемчужными лепестками цветущих яблонь, послушаешь, как заливается и никак не зальется соловей у пруда, как хор лягушек квакает о том же, как жалобно скрипит дверь дачного сортира на участке соседа, потрогаешь ладонями остывший самовар в беседке, посмотришь, как блестит в траве горлышко бутылки из-под красного вина, как чернеет тень от граблей, поежишься от холода, подумаешь о том, сколько миллионов и десятков миллионов людей этими же самыми словами описывали май­скую ночь, плюнешь в сердцах, попадешь случайно на вязаную шаль, которую жена велела тебе занести в дом, скажешь сам себе «это не я» и пойдешь спать.

\* \* \*

Всю ночь во сне шел дождь и шуршал при этом так, что хотелось проснуться, встать, поставить мышеловку, потопать ногами, дать ему кусочек сыра или колбасы, чтобы он наконец утих.

 \* \* \*

В конце концов, для чего все это? Для чего, спрашивается, все эти семена, подоконники, с марта уставленные ящиками с рассадой, навоз пяти сортов, вскапывание грядок, полив, прополка, окучивание, окашивание, снова полив, прищипывание помидоров и детей, бегающих по грядкам, строительство собачьей будки со всеми удобствами, заготовка дров, углубление погреба, борьба с мышами, грызущими луковицы тюльпанов, кротами и бесчисленными колорадскими жуками? Для того чтобы в самом конце весны или в начале лета выползти из теплицы, попытаться подняться с колен, не подняться, доползти до нагретой солнцем скамейки, лечь с ней рядом, вытянуть еще бледные, землистые ноги, прикрыть в изнеможении глаза и сквозь узкую щель смотреть на цветущую сирень, на малиновку, поющую на ветке яблони, на корову, ведущую вдоль твоего забора пьяного пастуха и силящуюся сказать ему что-то, но умеющую промычать только первые две буквы этого слова, на зеленый кукурузник в синем небе, сшивающий облака помельче в одно большое и черное, чтобы потом полить из него поле, представлять себе, как жарко в самолетной кабине, как пахнет там нагретым алюминием и машинным маслом, как штурман, перекрикивая шум мотора, рассказывает пилоту анекдот… на самом интересном месте этого анекдота встать, пойти в дом, взять гранату, залезть на приставленную к забору лестницу, выдернуть чеку и бросить гранату в стоящий на крыльце соседского дома приемник, из которого вот уже третий час поют про «черные глаза вспоминаю умираю черные глаза»…

\* \* \*

Верующему человеку просто — заберется он куда-нибудь подальше от людей в лес или в поле, посмотрит на рассыпанные в зеленой траве желтые одуванчики, на красные ягоды земляники, на суетливого паучка, сплетающего паутину, на облака в небе, на узенькую, колеблемую ветерком полоску воздуха, взбитого крыльями жаворонка, почешет муравья, заблудившегося на его волосатой руке, послушает, о чем говорит ему ручей, наберет в грудь побольше воздуха и выдохнет:

— Хорошо-то как, Господи!

Тут же достанет из рюкзака бутылку зубровки, сунет ее в ручей охлаждаться, а сам расстелет привезенное из дому полотенце и начнет раскладывать на нем немудреные свои запасы вроде помытого заранее огурца, нарезанного сала, чеснока и черного хлеба с копченой колбасой.

Другое дело — атеист. Он, конечно, тоже восхитится и паучком, и облаками, и муравья почешет так, что тот отдаст Богу свою муравьиную душу, и воздуха в грудь наберет ничуть не меньше, и выдохнет:

— Хорошо-то как…

И запнется, и станет лихорадочно вспоминать про космологическую сингулярность, про теорию Большого Взрыва, про планковское время, и доберется даже до бозона Хиггса, в котором запутается окончательно3, а водка и сало будут в это самое время перегреваться в рюкзаке.

Все эти рассуждения касаются только тех случаев, когда наш брат выбирается на природу один, а если… Тогда все упрощается. Их сестра быстро выходит из машины, быстро достает привезенные из дому стол, стулья, расстилает одеяло, красиво разбрасывает по нему подушки, крем для загара, стаканы для коктейлей, две сумки с продуктами, набирает твой воздух, который ты только приготовился вдохнуть, в свою грудь и говорит:

— Ну что ты стоишь как вкопанный? Иди, найди каких-нибудь сучьев для костра. И не забудь поставить в ручей мартини и апельсиновый сок.

И тут, будь ты хоть трижды атеист, хоть астрофизик в третьем поколении, а только прошепчешь:

— Господи, Господи…

И пойдешь собирать сучья.

 \* \* \*

Июньское голубое небо, тесное от проплывающих дальних стран, многобашенных замков, крутых гор, воздушных кораблей, крошечных облачков, вылетающих из корабельных пушек, китов, голов бородатых великанов, верблюдов и одного бесстрашного муравья, переползающего по стеклу солнцезащитных очков с горы на кита, с кита на верблюда, с верблюда в бороду великана, из бороды в ноздрю, и, пока его не вы… вы… вычихаешь, не только голубого неба с дальними странами, но и света белого не взвидишь.

\* \* \*

В городе жизнь шустрая и все время норовит проскочить, промелькнуть, про­мчаться мимо на красный свет, да еще и грязью с ног до головы обрызгать. Хорошо если не задавит. Только ты в городской жизни освоился, занял свою крошечную нишу на седьмом или двенадцатом этаже, затащил в нее холодильник, повесил шторы, только появился у тебя маршрут, по которому ты изо дня в день ходишь утром на работу, а вечером домой и по пути заходишь в кафе на Сретенке или Остоженке, чтобы выпить чашку эспрессо, только появилось у тебя в этом кафе любимое место у окна, с которого так удобно наблюдать за спешащими в разные стороны людьми, которых ты видишь в первый и последний раз в жизни… как жизнь неожиданно меняет направление и в помещении кафе устраивают офис банка, а твоя контора закрывается вовсе и ты остаешься в своей нише, со шторами и холодильником, но не у главной дороги, а в переулке или даже в глухом тупике. Другое дело в деревне. Там жизнь, как и дорога, одна, и она не убегает как угорелая неизвестно куда, а идет не спеша из весны в лето, а из лета в осень, а из осени в соседнюю деревню, и направления что ни день не меняет. Тем более неожиданно. И на этой дороге ты знаешь каждую ямку и каждую трещину лично. И похожее на трехгорбого верблюда кучевое облако, которое из года в год висит на одном и том же месте в небе над этой дорогой. И в стае галок на покосившихся черных крестах заброшенной церкви ты знаком с каждой галкой и даже со скандальной вороной, которая вечно выясняет с этими галками отношения. И кончается дорога тропинкой к твоему дому. И тропинку эту ты протоптал сам, своими собственными ногами, а не закатали в асфальт по приказу из районной управы смуглые жители солнечной Средней Азии. И справа от этой тропинки стоит огромная старая береза, под которой хорошо по вечерам сидеть и пить чай. И в большом и глубоком дупле этой березы, которое расположено высоко и скрыто от посторонних глаз ветвями, никто и никогда не устроит офиса банка, потому что там живет многодетная сова и ни у кого нет никакого права, чтоб ее оттуда выселить. Да и сама она кому хочешь выклюет глаз, если ей о выселении только заикнуться.

\* \* \*

Если взять запах цветущего шиповника и смешать с запахом навоза, а в то, что получилось, влить пения соловьев, прибавить немного речной сырости, сдобрить шашлычным дымом, подмешать скрип коростели, лай собак и шорох машин по далекому шоссе, потом обрызгать все это тонким женским смехом и толстым муж­ским хохотом, осветить полной луной, присыпать сверху щепоткой или двумя звезд, а на другом от луны крае неба наклеить две узенькие полоски — одну голубую и одну розовую, то получится летняя ночь. Да, и еще не забыть втиснуть, хотя бы чуть-чуть, ты с ума сошел, здесь светло, руки свои убери, даже и не думай расстегивать, ты сейчас оторвешь, неловкий, дай, я сама…

\* \* \*

И вот ты сидишь в саду, на складном стульчике, возле пруда размером с ванночку для купания грудного ребенка, и у тебя в руках большая кружка с чаем, в который положено две столовые ложки черничного варенья. Ласковый ветерок шевелит остатки волос на твоей голове, за забором мычит чей-то теленок, не желающий идти домой, и где-то далеко, на другом конце деревни, монотонно жужжит газонокосилка. Ты смотришь, как на куст пионов прилетела пчела и, точно слепая, ощупывает каждый еще нераскрывшийся бутон всеми шестью ногами. Вот прилетела еще одна, и вдруг… откуда-то из самого сердца живота, из размазанного пятна от черничного варенья между пятой и шестой полосками на полинялой дачной футболке внутренний голос тебе тихо, но твердо говорит:

— Это твое счастье, мужик.

Ты начинаешь кипятиться, возражать ему, как же так, при чем здесь пруд, черничное варенье, в том смысле, что крыжовник, три аршина земли и все такое для счастья, то есть для земного шара, научных открытий, космических кораблей и полетов к другим галактикам ни в коем случае не помеха. Произошла какая-то ужасная ошибка. Ты сейчас, сейчас принесешь чертеж ракеты или научную статью, которую ты написал почти наполовину или даже на две трети и, честное слово, допишешь сегодня же или завтра, но… голос неумолим.

Ты тихонько спрашиваешь:

— И это все?

— И это все, да. И сад, и пионы, и пчелы, и черничное варенье, и ласковый ветер, и грядка с укропом, и грядка с клубникой, и ранняя редиска, и своя картошка без удобрений, и подвал, полный банок с солеными огурцами и помидорами, и квашеная капуста, щи из нее…

— И это все?!

— И еще трехлитровая бутыль с рябиновой настойкой.

— Но статья… и чертежи…

— Хорошо. Пятилитровая.

Ты снова доказываешь, захлебываешься словами, умоляешь и чуть не плачешь…

— Милый, — трогает тебя за плечо жена, пришедшая в сад срезать цветов для букета в вазу на веранде, — ты всхлипывал во сне. Не спи перед закатом. Будет потом весь вечер голова тяжелая.

Еще весь во власти своего сна, ты пытаешься объяснить ей про счастье, про внутренний голос, идущий из сердца живота, про спор с Большим Черничным Пятном между полосками… Она смотрит на тебя и спрашивает:

— И давно это у тебя? Давно ты разговариваешь со своим животом?

Ты устало машешь рукой и замолкаешь.

— Пойдем в дом, — ласково говорит жена. — Я наварила на ужин молодой картошки с укропом, нажарила куриных котлет и поставила в морозилку…

— Кот-ле-ты... — медленно, по складам, произносишь ты. — Я так люблю твои котлеты.

Особенно сухарную панировку — она такая сочная и хрустящая. И ты идешь в дом, а по пути рвешь с грядки зеленый лук к ужину.

\* \* \*

Большая дорога никогда не ведет вдаль. Та, по которой мчатся автомобили и у которой по обочинам заправки, кафе с горячими хот-догами и эспрессо в маленьких картонных стаканчиках… Нет, не ведет. Большая дорога ведет в другой город, или в другую страну, или куда угодно, но не вдаль. Вдаль ведет обычная, проселочная, по обочинам которой растут сурепка и люпины, которую перепрыгивают лягушки и степенно переходят чибисы, по которой ты идешь пешком или едешь на велосипеде. В твоей багажной сумке плавленый сырок, горбушка от буханки черного, термос с чаем, и за поворотом этой дороги тебя может ждать все что угодно. Например, корова или две курицы, или три коровы и пастух, или стадо коров, или всего один бык, но без пастуха и с большими рогами. Или пастух на рогах. Или жена пастуха — пастушка, обламывающая рога пастуху. Или трактор с трактористом, который, точно акула, унюхавшая за версту кровь, учуял чайную ложку коньяку в твоем термосе с чаем и теперь и машет и кричит тебе так, как машут рыбаки на отколовшейся три дня назад льдине пролетающему над ними вертолету. Или ты не встретишь никого, кроме чибиса, доедешь до леса, свернешь на старую колею, заросшую травой, проедешь по ней еще метров двести, остановишься, сядешь на поваленное дерево, достанешь плавленый сырок, откусишь его и станешь сочинять… или будешь представлять себе, как сочиняешь… или просто будешь шевелить губами какие-нибудь стихи, или мучительно искать рифму к слову «муравей» и в тот момент, когда почти найдешь… подъедет к дереву, на котором ты сидишь, ищешь рифму к слову «муравей», и почти ее уже нашел, машина с московскими номерами, из которой выйдут две старушки и, не обращая на тебя никакого внимания, станут собирать еще не выросшие подосиновики или белые, яростно споря при этом о том, какие таблетки лучше всего пить для понижения холестерина в крови. Плавленый сырок встанет тебе поперек горла, рифма к слову «муравей» упадет в густую траву, ты наступишь на нее, испортишь, встанешь с поваленного дерева, сядешь на велосипед, но, прежде чем уедешь, не преминешь сообщить старушкам, что два сорта таблеток, из-за которых они переругались, на самом деле один и тот же препарат, только под разными названиями. Есть у него и третье и даже четвертое название, но для того, чтобы о них всласть поругаться, нужны еще старушки. Старушки разинут рот, а ты уедешь туда, где рифмы к слову «муравей» можно косой косить.

\* \* \*

В жару хорошо сидеть в саду под яблоней и сочинять стихи. В жару только стихи и сочинять — легкие, прохладные и безо всякого смысла. Сидеть и делать такое лицо, точно вот сейчас… вот еще немножко… и пальцами тянуться к перу, которое выпало из пробегавшей по своим делам курицы. Можно и не сочинять, а просто смотреть на солнечных зайчиков, прыгающих по изнанке зеленых листьев, на крошечные зеленые пятинедельные яблочки размером с абрикосовую косточку, на пурпурные лепестки пиона, усеявшие песочную дорожку, на оранжевые маки, на цветущий шиповник, на то, как жена поливает из шланга грядки в огороде, как собака, прыгающая вокруг нее, щелкает зубами, пытаясь перекусить сверкающую на солнце водяную струю напополам. Вот сейчас она закончит поливать огурцы и велит мне идти в дом, пить холодный вишневый компот со сдобным маковым рулетом, а сама станет поливать и говорить, что я еле иду и сколько можно звать… Конечно, это могли бы быть стихи, если бы я с детства закалялся, обливался ледяной водой и каждый день, после завтрака, по три часа кряду приучал себя писать в рифму, но я не закалялся и не приучал. Не люблю я ледяной воды. Вишневый компот — другое дело…

\* \* \*

Берем летний вечер, дачу и самовар. Кипятим в самоваре воду, завариваем чай со смородиновым листом и мятой. Ставим самовар на стол в беседке. Берем варенье, сваренное из собранной утром, с куста, жимолости, и раскладываем его в вазочки. Вносим на блюде еще теплый, дышащий и только что не умеющий говорить «съешь меня», пирог с капустой и яйцами. Вслед за блюдом несем жестяной, расписанный розами жостовский поднос, на котором лежит груда сахарных крендельков и фигурных печений на один укус, привезенных из города. Рядом с самоваром ставим бутыль с клубничной или вишневой наливкой и несколько крошечных стопочек. На всякий случай приносим из холодильника нарезанной ветчины, горчицы, пару банок баклажанной икры, урожая прошлого года, малосольных огурцов и буханку черного хлеба, нарезанную толстыми ломтями4. Приглашаем соседей. Соседи приходят и приносят патефон, изготовленный на граммофонной фабрике в городе Ленинграде в тысяча девятьсот тридцать пятом году, заводят его, ставят пластинку с песней Оскара Фельцмана «Ландыши», и в тот момент, когда вы со ртом, набитым пирогом, ветчиной, малосольным огурцом, баклажанной икрой, с усами, липкими от вишневой или клубничной наливки, начинаете подпевать Гелене Великановой, у вас на даче, летним вечером, в беседке образуется настоящее мещанское гнездо. Не дворянское, для описания которого Ивану Сергеевичу Тургеневу понадобился целый роман, а мещанское. Оно очень хрупкое, это гнездо. Стоит только начать говорить о катастрофе в народном образовании и медицине, цитировать Бердяева и Хайдеггера, ужасаться действиям правительства, чертить на салфетках траектории падения в пропасть, беспрестанно курить, спорить до хрипоты, ставить на стол водку — как ваше уютное гнездо немедля превратится в тыкву унылых интеллигентских посиделок с пепельницей, полной окурков, разбросанными по столу надкусанными крендельками и отвратительным вкусом во рту наутро.

\* \* \*

Собранные в конце лета мелкие груши отваривают в воде, в отвар добавляют сахар и в получившемся сиропе кипятят некрупные сладкие яблоки и ягоды черной смородины. В конце кипячения добавляют немного лимонной или апельсиновой цедры и палочку корицы. Компот разливают по трехлитровым банкам, закрывают крышками и ставят в подвал. Стоят эти банки там до самой зимы, а то и до весны. Вспоминают о них обычно после горячего — тогда, когда все уже напьются кока-колы, сухого вина, водки, коньяку и даже кипяченой воды. Достают запыленную банку из подвала, открывают, наливают компот в красивый стеклянный или хрустальный графин, ставят его на стол и… переходят к чаю с плюшками. Не переходите вместе со всеми. Задержитесь. Налейте себе стакан компота и добавьте в него столовую ложку коньяку. Перемешайте, отпейте глоток и снова добавьте ложку коньяку. Еще раз отпейте… Смотрите, как все дальше и дальше удаляются от вас люди, перешедшие к чаю с плюшками, как слова, которые они говорят, понемногу соединяются в одно большое, неповоротливое и монотонно гудящее слово… Налейте второй стакан. Возьмите столовую ложку и перемешайте коньяк. Да не смотрите вы на эти плюшки, перешедшие к чаю! Кто там, в такой дали, разглядит, о чем они болтают между собой микроскопическими буквами... Слушайте, как второй стакан разговаривает с третьим, смотрите, как слова, которые он говорит, расползаются в разные стороны…

\* \* \*

Лето уходит каждый вечер. Сидишь себе на веранде, раскладываешь на противне, застланном листом кальки, листья перечной мяты на просушку, смотришь, как между оконными рамами барахтается на спине золотистая бронзовка, как слоняется по двору мелкий теплый дождь, как притаившаяся за углом своей будки собака думает, что сейчас поймает воробья, который клюет перловую кашу из ее миски, как идущая с огорода жена думает, что сейчас поймает и всыплет по первое число собаке, которая разрыла половину грядки с клубникой, как у них обеих ничего не получится, как первое число уже давно двадцать седьмое, как лето, усыпанное белыми лепестками чубушника, уходит каждый вечер.

\* \* \*

Если сделать себе бутерброд с колбасой или с сыром и выйти с ним во двор, то собака пойдет за тобой не как за хозяином, а как за бутербродом — живым и прямоходящим. Бутерброд идет и может разговаривать. Он говорит и уменьшается в размерах. Вот его уже половина, вот четверть… вот от него остался только хозяин, к которому можно подойти, лизнуть руку и с немым укором в глазах спросить: «Ну как тебе с бутербродом внутри, хорошо? Хорошо тебе с бутербродом, которым ты со мной не поделился? Ты когда-нибудь двое суток подряд не ел телячьей колбасы? Со шпиком и фисташками не ел?!»

И уронить на хозяйскую ладонь каплю горючей слюны.

\* \* \*

За окном опускаются сумерки, в сумерках идет дождь, а под дождем бегает собака и от скуки лает сама с собой. На кухне варят варенье, а тебе велено сделать для него девять этикеток — пять для малины и четыре для черники. Ты сидишь за кухонным столом, аккуратно, как в детстве, вырезаешь из листка бумаги в клеточку маленькие прямоугольники, на которых потом напишешь название, год и клейкой прозрачной лентой приклеишь этикетку на крышку каждой банки. Вспоминаешь бабушкины банки с вареньем, на крышках которых был наклеен кусок лейкопластыря и расплывающимся чернильным карандашом было написано «черника» или «малина». Думаешь о тех банках, на которые когда-нибудь будут наклеивать… или не будут. Купят в магазине какое-нибудь синтетическое малиновое варенье без запаха, без цвета, со вкусом этилового эфира муравьиной кислоты, которое их дети даже не захотят тайком таскать из буфета и в воспоминаниях о детстве, в том самом сладком месте, где у нас было бабушкино малиновое или черничное варенье, у них будет большая горькая пустота.

\* \* \*

Время на даче в конце июля, в конце отпуска, в середине воскресного дня, медленно выползает толстым шмелем из цветка рыжей лилии, еле катится оторванной порывом ветра недозревшей грушей по дорожке сада; слоняется по двору сонной собакой в поисках тени, расползается в разные стороны двумя муравьями по джунг­лям твоей руки перед тем, как сорваться и стремительно улететь на третьей космической скорости в бесконечной автомобильной пробке на въезде в Москву.

\* \* \*

В августе, в ночь на Лукерью Большую Медведицу, парни с девками ходят собирать падающие звезды. Если не бегать друг за дружкой, не обниматься и не хохотать до упаду, то можно собрать полный подол этих звезд. Скромница найденную звезду поднесет на ладошке тому, кто ей нравится, та, что побойчее, подкрадется и засунет звезду ему за шиворот или… да мало ли куда, а уж совсем бедовая… Совсем бедовую, как домой заявится, мамка мокрым кухонным полотенцем отлупит, а то и вожжами от отца ей достанется.

В августе яблочные червячки наконец выясняют, кто в яблоке главный, и те, что послабее и покороче, уползают в более мелкие и более кислые плоды, чтобы жрать их день и ночь, мучаясь изжогой.

В августе между первым и вторым поцелуем может пролететь комар, а то и два. На губах после августовского поцелуя остается едва ощутимая горчинка вроде той, что бывает в вересковом или каштановом меду. Августовские поцелуи, хоть и не намного длиннее июльских, но послевкусие у них дольше, ярче и запоминаются они не ворохом, а каждый по отдельности. Поцелуи в августе начинают мало-помалу теплеть, чтобы к концу осени и началу зимы стать невозможно горячими. Зимний поцелуй, оставленный где-нибудь под шубой на шее или на плече, будет гореть еще час или даже полтора, может прожечь тонкий чулок, а ногу согреет... Впрочем, до всего этого еще очень далеко. Пока, кроме едва ощутимой горчинки на губах, вроде той, что бывает в вересковом или каштановом меду, ничего и нет.

\* \* \*

Ночное небо в конце августа самое бархатное из всех. Хорошо перед сном, закутавшись в теплый женин халат, выйти в сад, пройти, не наступив на упавшие яблоки, к скамейке, лечь на нее, смотреть на звезды, курить и выпускать тонкие струйки дыма прямо в Малую Медведицу или в Кассиопею. Смотреть пристально, не отрываясь, пока они не мигнут или пока ворсинки на халате не встанут от ночного холода дыбом. Потом подняться, пойти домой, раздеться, залезть под одеяло и сказать жене:

— Я сейчас, душа моя, видел две… нет, три падающие звезды. Точно кто-то чиркал спичками с той стороны неба, и они ломались, толком не успев загореться...

Жена повернется на другой бок, почмокает во сне губами и пробормочет:

— Сколько раз я тебя просила не ложиться в постель с ледяными ногами. И коленками! Дай их сюда, я согрею. И потом сходи на кухню — убери тушеного кролика в холодильник. Он уже остыл…

\* \* \*

Стихотворение рождается просто. Сначала жена тебя попросит пойти и обобрать с кустов малину, которой в этом году уродилась такая пропасть, что в малиновки записалась даже часть воробьев и трясогузок. Ты, понятное дело, не идешь, поскольку занят распутыванием лески на катушке спиннинга. Через час или полтора она снова велит тебе пойти в сад за малиной, потому как собирается дождь, а после дождя ее собирать нельзя и надо ждать, пока она обсохнет, а варенье не ждет. То есть не ждет второй десяток банок, поскольку первый уже заполнен, закручен, обклеен этикетками, с нарисованными разноцветными фломастерами медалями и убран в погреб. Ты, понятное дело, не идешь, поскольку занят воспитательной беседой с собакой, которая сожрала три белых гриба, утром принесенных из лесу и приготовленных в суп.

— Черт с тобой! — кричит жена и ставит на стол бутылку водки. — Пойдешь, соберешь малину и себе наберешь на малиновую настойку.

Это, понятное дело, все меняет. Ты идешь в сад и во влажной предгрозовой духоте, поминутно укалываясь о какие-то невидимые колючки, чертыхаясь про себя, обираешь багрового гипертонического цвета спелую малину до тех пор, пока на голову тебе не упадут первые капли дождя. Тогда ты возвращаешься в дом, показываешь жене ведерко с малиной, а на ее насмешливый возглас «Так мало?!» не отвечаешь ничего. Проходишь к себе, достаешь припрятанные для такого случая две пустые бутылки из-под «Ессентуков» с закручивающимися пробками, и медленно, с чувством, толком и расстановкой, начинаешь в бутылочные горлышки проталкивать ягоды и заливать их водкой. Потом вздохнешь раза два или три с сожалением о том, что маловато водки, поставишь бутылки в угол и забудешь о них на какое-то время. Когда какое-то время наконец-то пройдет и настойка будет готова, на дворе уже будет октябрь. По утрам заморозки, по вечерам непроглядная темень, пироги с капустой, соленые грузди и преферанс. После получения пяти взяток на мизере ты достанешь бутыль с малиновкой, нальешь ее в хрустальную рюмку, посмотришь на свет и вдруг увидишь плавающего в настойке крошечного черного жучка, которого не заметил, когда собирал малину. Вот этот жучок в рюмке малиновки и будет стихотворение. Ничего, что безо всякой рифмы. Это будет верлибр. Колючий, как кусты малины, сладкий, как ее ягоды, душный и предгрозовой, как июльский воздух, насмешливый, как слова жены, и щекотный, как микроскопический черный жучок.

*1 Рябиновка здесь, конечно, ни при чем. Просто приписалась сама собой к соленому огурцу.*

*2 Да знаю я, что к югу, знаю. Возвращаются они.*

*3 Все это касается тех атеистов, которые имеют естественно-научное образование. Филологи же атеистами не бывают. Кто-то из них верит в Пушкина, кто-то во второе пришествие Чехова, а кто-то и в то, что грешники после смерти попадают в ад, населенный бесами Достоевского. Большая часть филологов, особенно учителей начальных классов средней школы, и вовсе молится на словарь Ожегова или Даля, если они старообрядцы.*

*4 В отдельных случаях предлагают даже и борщ, но только затем, чтобы от него отказались.*

1. Беломлинская Юлия «Невеста», «Лотерейный билет», «Летающие собаки».

***Юлия Беломлинская***

**НЕВЕСТА**

*Саше Бондареву*

Дело было в Париже. Я сидела в подвале у Хвоста.

Как обычно, неприкаянная, в полной мере. Вокруг сидели другие пропащие ребята.

И однажды в этот подвал пришел дядька, хвостов друг.

Из респектабельных. Из переводчиков.

Респектабельными из хвостовых друзей были врачи и переводчики.

Дядька был красивый, кудрявый и с кудрявой бородой.

Я с ним познакомилась еще в Нью-Йорке, когда он туда приезжал.

И вообщем, он забрал меня из этого подвала на выходные.

Как детдомовского ребенка забирают.

Привез в свою красивую квартиру. И там приготовил какой-то вкусный ужин…

Мне там понравилось. Такая идиллия.

И к утру я уже решила, что я – невеста.

И он тоже так решил, потому что нет мне равных ,в умении разводить сентиментальный интим и морочить людям головы матримониальными наклонностями.

Будучи, последней шалавой, по которой проскакал эскадрон, я, тем не менее,

не выношу слова «любовница». Да и слово «гелфренд» меня коробит.

Я люблю простое слово «невеста».

И вот, проснувшись на следующий день, мы решили, что я теперь - невеста.

И что в понедельник мы съездим за вещами в мою мансарду «шамбр де менаж»

на Пигаль 11, и буду я жить теперь, как невеста, вот в этой красивой квартире,

с этим красивым дядечкой.

А пока было воскресенье, и дядичка решил позвать гостей и показать им чудную невесту – меня.

Сам он был русский интеллигент. Родом, наверное из казаков. А в гости к нему пришли два друга, и оба из дворян. Один был происхождением русский князь. А второй – грузинский и тоже князь. Оба были ужасно красивые.

Вообщем, вокруг меня были три реально красивых дядички.

Ну с такими прекрасно-благородными лицами.

И все трое были с такой пепельной сединой.

Им, дядичкам, в ту пору было наверное чуток за пятьдесят. А мне было под сорок.

Мой дядичка-жених опять приготовил какой-то волшебный ужин.

Я им понравилась. И я сидела такая радостная.

И грелась в лучах их благожелательного внимания.

Я там действительно устала в этом хвостовском подвале под названием

«Пир на Райской улице». Устала от всеобщей неприкаянности.

От того, что Хвост выдал мне ключи от этого места

и поручил присматривать за порядком, то есть, за всеми этими странными

осколками развалившейся страны, которых понесло по свету,

и прибило к хвостовскому Райскому пиру.

Большинство из них были простые люди, не обремененные особым образованием,

но с серьезным опытом выживания… пьяницы, наркоманы, поэты, художники, провинциальные барышни, магазинные воры, уличные музыканты…

Я чувствовала себя – какой то комиссаршей из «Оптимистической трагедии».

А пуще того - левоэсеровской еврейской девушкой при штабе батьки Махно.

И вообщем – устала.

А тут был дивный вечер. Столовое серебро. Крахмальная скатерть.

И вино в хрустальных бокалах. И разговоры о литературе, о поэзии… О России…

И я буквально расплавилась от покоя, уюта и восторга.

И сказала:

- Какое счастье, что в России наконец кончилась Гражданская война!

Что не прошло и ста лет, а мы, наконец, вот так вот сидим, и все мы на одной стороне фронта. Давай те выпьем за это! Это так ценно.А то ведь еще каких то 80 лет назад, например в 19-м или 20-м, я ведь даже в плен не смогла бы вас брать…

Вот такую странную телегу я прогнала в виде тоста.

И дядички удивились и спросили:

- Какой плен? Почему не могли бы нас брать в плен? О чем вы, Джульетта?

И тут я конечно стала разъяснять, следуя за полетом собственной бурной фантазии:

- Да я о войне, о Гражданской. Ну если б мы все встретились тогда.

Например, в 19-м году. Вы то были бы белые. Вы были бы офицеры Белой гвардии.

Ну, чисто по происхождению. А я то была бы красная конечно. Еще и комиссарша.

И я не смогла бы вас брать в плен, потому что вы были бы уже взрослые, такие зрелые офицеры. Не какие-нибудь юнкера. Юнкеров я бы просто отпускала под честное слово.

А вас пришлось бы расстрелять. Потому что мы не могли брать пленных.

Вокруг была степь и на много миль кругом – никого. И только враждебные нам хутора

с предателями хуторянами. Может, мы вообще были в окружении.

И надо было прорываться к своим. А у нас еда на исходе. И медикаменты на исходе.

И обоз с ранеными. Ну как при таком раскладе тащить за собой пленных?

Невозможно. Взрослых белых офицеров – приходилось расстреливать.

Не из садизма. Просто такая вот ситуация…

Ну вы сами представьте себе эту степь, выжженную.

И мы идем по ней. Раненые стонут.

Бинты кровавые сохнут на солнце.

Вороны кружат над нами…

Нет другого выхода. Надо расстрелять…

Вот такую я нарисовала словесную картинку. Вполне выразительную и выпуклую.

И они дядечки эти как-то действительно все это представили….

И наверное, так же хорошо как я. Я ведь придумала все это на ходу.

То есть, мысль и фантазия бежала вровень с рассказом…

Я часто так сочиняю, именно пока говорю.

И конец моей речи был такой:

- А вот нынче все мы тут вместе и как это прекрасно!

Давайте выпьем за конец Гражданской войны!

Дядечки со мной не выпили. Поставили свои бокалы.

Они еще спросили у меня:

- А почему вы Джульетта так уверены, что были бы красной? Да еще и комиссаршей?

- Ну тоже чисто по происхождению. Я то по происхождению из семей еврейских ремесленников, из черты оседлости. Да и по характеру тоже, наверняка тогда ввязалась бы в революцию. Ну была бы я гимназистка, или там курсистка какая-нить.

Из таких, что ездили при штабе Махно. Такими были мои двоюродные бабушки. Вообщем уверена…

За столом повисло молчание.

Дядечки князья и тот дядичка, что мой жених – смотрели на меня хмуро

и без малейшего умиления.

Потом они сказали что-то неприятное даже не мне, а моему жениху – своему другу.

Что-то не грубое – но такое горькое…

И мрачно засобирались домой. И ушли.

Жених тоже был мрачен. Сказал что-то типа, что много я лишнего болтаю.

И наутро отвез меня обратно в Райский подвал, сдал Хвосту с рук на руки.

И больше он в моей жизни не появлялся…

Потому что оказывается, Гражданская война кончилась только в моем воображении.

А в жизни она никогда не кончается.

И в этом году мы все особенно хорошо это почувствовали…

Питер 2014

**ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ**

*Мите Плахову*

«Мы больше нигде не дома,

только в самих себе …»

Эрих Мария Ремарк

Настоящий лотерейный билет я покупала в детстве, наверное, раза три.

Может пять. Ничего не выиграла.

И никогда больше ни разу лотерейного билета не купила.

Но это не значит что я – не азартный человек.

Нет, я именно что - азартный человек.

Вот этот анекдот-притчу про Рабиновича который молит Бога: помоги выиграть в лотерею!

А Бог сверху, не выдержав, кричит ему:

- Рабинович, я помогу, но вы хоть раз купите лотерейный билет!!!

Я эту притчу очень люблю. И я в нее верю.

Я все время только и делаю, что покупаю у Бога какой-то невидимый лотерейный билет.

Ну, нам то с ним – отлично видимый.

И выигрываю.

Иногда по мелочи. Иногда крупно.

Проигрываю – тоже иногда по мелочи. Но чаще - крупно. И снова покупаю билет.

Главная лотерея моей жизни – это конечно, любовь. Во всех видах.

Ну вообщем, понравился мне тут один… и это постоянно происходит.

Если говорить цинично, то я их, наверное, коллекционирую.

Но если говорить романтически – то я их люблю.

И вот понравился мне тут один.

Был тут один проездом. Прошлой зимой. И мы целовались.

Прямо на глазах всего джаз-клуба «Шляпа».

Хорошо так целовались. А потом он уехал.

Уехал в свою Москву. А я его запомнила. И так начала о нем мечтать. Действенно.

Я написала ему в ФБ записку. Помнишь ли, мол, как мы с тобой замечательно целовались? И вообще приезжай скорей назад, в Питер.

А он ответил, что пьян был и вообще ничего не помнит. И меня не помнит.

И не могу ли я ему фотку выслать что ли…

Вот так. Обидно да?

Но, я как азартный и не сдающийся человек, послала ему тогда целый

пакет своих фотографий в голом виде, и еще ради него исключительно, отсканировала наконец свое портфолио - для работы в садо-мазном клубе, сделанное 20 лет назад.

Такое, где я в каких-то латексах, с плеткой, сижу на троне среди черепов.

И стою в обнимку с дыбой и какими-то орудиями пыток.

И еще в обнимку со знаменитым хлыстом, который называется в садо-мазе «русский». Такая вся, в сапогах на шнуровке и в корсете.

Вообщем, сиськи, и все как положено.

Дальше мы стали переписываться.

Я его очень все время звала, снова приехать в Питер. Но он все не ехал и не ехал…

И через год сама решила поехать.

Поехать в Москву на верхней полке плацкартного вагона.

Там хорошо и не клаустрофобно, и можно ни с кем не общаться.

И поселиться в дешевом хостеле. Зазвать его туда в гости…

Хостел меня конечно немного смутил.

Потому что там была такая комнатка метра два в длину. И один в ширину.

И там стола железная кровать – нары. Ну чуть пошире полки в плацкартном.

Я задумалась, конечно: как же на такой кровати, в случае чего?

Ну я ж всегда жду, что на этот раз окажется выигрышный билет.

И самый мелкий выигрыш, все равно подразумевает – хотя бы короткое соитие.

А крупный выигрыш, это уже дивная волшебная ночь, и потом еще может быть долгая роковая любовь…

И вот как же тут, на этих железных скрипучих нарах, в случае чего устроить дивную волшебную ночь? Я задумалась. Но потом сообразила: можно забраться вдвоем на верхние нары. Там над нами будет простор и высокий потолок. А если сверзимся в параксисме страсти с этих нар, то значит судьба наша такая.

Вообщем, с помещением все было в порядке.

Но внешность моя, через 20 лет уже не имела никакого отношения к фотографиям

из садо-мазного портфолио, и этим меня смущала.

Я решила ее как-то подправить. У всякой женщины, рано или поздно, настает пора

когда она должна в свою внешность серьезно материально вложиться.

И я это сделала. Я вложилась.

Я пошла и купила в каком то магазине то ли «Элит» то ли «Этуаль» несмываемую гипоаллергенную подводку для глаз фирмы «Клиник».

Это вообщем, бешеные деньги. Это стоило тыщщу рублей. Но этого оказалась мало. Потому что, когда я нарисовала себе эти несмываемые полосочки на веках, выяснилось, что несмываемая подводка – она, сука, не смывается! Ни водой. Ни мылом.

Что к ней надо еще купить за 700 рублей специальную такую смывку для несмываемой подводки. В такой синей бутылочке. И я ее купила.

Потом взяла калькулятор и пересчитала свое вложение на доллары.

Вышло, что вложилась я в свою внешность примерно на 25 баксов.

Для меня это серьезные деньги.

И еще я похудела на пару килограмм для пущей уверенности.

Вообщем, подготовка была завершена.

Я приехала в Москву и пригласила его на свидание.

В специальном красивом месте: на Тверском бульваре, у памятника Есенину.

Я в это время уже находилась на Тверском бульваре, в редакции у своих московских приятелей. Наших с ним общих приятелей.

Они рекомендовали мне другое место, еще более романтическое: там же,

на бульваре есть дуб, посаженный самим Пушкиным. Уговаривали назначить свидание под этим дубом. У них была своя корысть: дуб был виден с их балкона.

Они, гады, хотели получить билет в первый ряд партера.

Для них Авшалом, поэт, писатель… «критик, публицист…» и все такое прочее,

был одновременно и героем и злодеем, вообщем, личностью, к которой они, младшие товарищи, были неравнодушны.

По возрасту, он был как раз между мной и этими ребятами.

И еще это имя... Да именно так его и звали: Авшалом.

И он гордился своим древним библейским именем.

У нас так не называют. Так называют у татов, или у горских евреев.

Он был как раз из горских. Он был бакинец.

Их тех, что покинули родной город, после того как там все это случилось…

Это, собственно, и была единственная, наша с ним точка схода.

Моя бабушка тоже была бакинка. Из вот такого двора.

Только не еврейка, а как раз именно что, армянка. Карабахская.

И семья была в Баку в ту резню, 1918-го года. А в эту, 1990-го, уже нет.

Как только армяне попросили Карабах, на каком-то пленуме, весь этот бабушкин клан сразу начал собирать деньги и менять квартиры.

Так велел самый старый дед, дядя Гайк. Он, единственный, помнил ту резню 18-го.

Так что, когда там началось, наших там уже не было.

А евреи там оставались, и семья Авшалома тоже осталась.

И они видели… всякое. А потом они уехали в Москву.

Вообще, по документам у него было какое то обычное советское имя, типа Вадим.

Или Виталий. Но звали его все вот этим библейским именем.

Он был религиозный, как все эти горцы, бухарцы…

Я их называю «еврейские негры».

Мы, ашкенази, отличаемся от них, примерно как белые и черные американцы друг от друга. Таты, горцы, крымчаки, бухарцы – это все наши черные. Наши негры.

Они вообще то, в сто раз больше евреи, чем мы.

Они даже и в нашем поколении знают иврит, знают тору, учат детей Пятикнижию.

Чего-то там соблюдают… Ну, по логике они точно, больше евреи чем мы, мы то - ассимилянты.

Но мы все равно считаем, что настоящие евреи - это мы. Хоть и ассимилянты.

Но именно нас – Гитлер. Именно нас. А их – вообщем, нет. Или просто не успел…

Одним словом, все звали его именно Авшалом. И никак иначе.

Московские ребята предупредили, что он опоздает на час.

- На сколько?

- На час. Ну, ко мне он обычно так опаздывает.

Это сказал Петя.

- Не… ну так не бывает…

- Бывает. С Авшаломом именно так и бывает. Ты хоть пожалей себя – там холодно.

Если договорились на пять, выйди туда хотя бы в полшестого, не раньше.

А вообще, если ничего не получится, ты приходи опять сюда. Мы сегодня пойдем в зоопарк.

- Я не люблю зоопарк. Там мучают зверей.

- Да нет, мы идем пить в зоопарк, в серпентарий. У нас там друзья. Он ночью дежурят. Будем всю ночь выпивать среди змей и песни петь под гитару. Вообщем, если ничего не выйдет…

Я задумалась. А как это «ничего не выйдет»? Что может не выйти?

« …а если дома заругают, ты приходи опять сюда….»

Я пришла туда в полшестого. И еще полчаса ходила вокруг Есенина. Там было хорошо, вокруг Есенина на Тверском. Жарили шашлыки. Торговали петушками жженого сахара и китайскими фонариками. Я ходила там, звонила ему каждые пять минут по телефону.

Он говорил, что идет и уже рядом. Но не приходил.

«…она пришла – его уж нету, его не будет никогда!»

Потом пришел все-таки.

Я говорю: - Ты на час опоздал. У тебя совсем нет чувства времени.

А он говорит: - Да! Я такой!

Помнится, с первым мужем я развелась из-за того, что он слишком часто произносил именно эту фразу.

Беременная на третьем месяце. И через десять дней после свадьбы.

Люблю вообщем, эту фразу.

Ну, все равно мы взялись за руки и пошли гулять по красивой, очень красивой Москве.

И кто скажет мне, что Москва некрасивая, тот ваще ничего не понимает.

Москва – дивная. Дивная такая, одна большая татарская Ордынка.

Москва своей красотой какой-то бесстыжей сразу захватывает и накрывает.

Ну, как приходом. Я от Москвы именно что, пьянею.

Она, Москва - такая. И он, Авшалом – такой.

Может поэтому они, в итоге и не поладили…

А я? Нет, я не такая. У меня в кулаке зажат билет, тот самый.

Где вместо номера написано «Авшалом».

И я смиренно гуляю, взявшись за руки. И холодно, и руки мерзнут.

Он тащит меня почему-то в англиканскую церковь. Показать красоту.

А я видала такое сто раз. В Америке.

Потом идем по красивой какой-то улице. В знаменитую Рюмочную.

Он рассказывает мне разные интересные вещи. А я почти все это знаю.

Просто потому, что живу на десять лет дольше его.

Но что-то рассказывает про Москву – чего я и не знаю.

В какой-то момент, кажется, что все вообще хорошо и все идет по плану.

В Рюмочной я все-таки чувствую, что устала.

Устала быть такой смиренной и хорошей. И быть вдвоем.

Я говорю: - А пойдем в зоопарк? С ребятами пить в серпентарий?

И он радостно соглашается. Может, он тоже устал быть хорошим и вдвоем?

Я придумываю, что мы пойдем сейчас пить в серпентарий.

А потом пойдем ко мне в хостел. И там будем ночевать.

Это все сразу озвучиваю. И он вроде не возражает.

Но зоопарк как-то не сложился. Ребята туда не дозвонились.

Потом мы ушли из знаменитой Рюмочной и пришли в знаменитую Чебуречную.

Там было отвратительно.

Там был гнусный попса-музончик, гнусный белый свет в лампах и окончательно гнусный визг тетки подавальщицы, на ультразвуке такой крик: две порции пельменей!!!

Там мы встретились с Петей. Чтобы отдохнуть немного от этого нервного «вдвоем».

У Пети шла какая-то его, Петина, параллельная жизнь.

Зоопарк сорвался, и Петя обедал пельменями и собирался домой. Мы болтали, шутили…

Я почувствовала, что мне уже стыдно и неловко перед Петей за то, что я тут с Авшаломом. И что он - какой то дикий. И что он дико одет в кожаную куртку, под которой синтетическая футболка. И это как-то неприлично.

Петя то был золотой московский мальчик, одетый, как положено, в какое-то правильное никак. В какую-то никакую курточку с капюшоном.

В незаметную, но правильную одежду.

А вот Авшалом был одет во все заметно-неправильное.

Стало как-то стыдно за то, что он мой парень... Которым он вовсе не был.

И когда Петя вышел покурить, Авшалом вдруг схватился за голову и застонал.

Сказал, что забыл дома нотбук. А завтра - лекцию читать.

И сейчас он съездит быстро за нотбуком домой, а потом мне позвонит.

Это был конец.

У меня то чувство времени – отличное. Было около девяти вечера.

Я знала, что живет он на окраине. На окраине Москвы, прикинь?

Это не «Вятка - город маленький». Ехать в одну сторону час, как минимум.

Вообщем, было ясно, что он от меня сбегает.

Что билет оказался невыигрышный, и его можно разорвать и выбросить. Ну, типа все.

Тут, если по уму, надо было попрощаться и уйти. Снять тему. Выбросить билет.

Но когда и кто так делал?

Когда и кто, поняв, что все кончено и дело не выгорело, благородно удалился?

Ни бабы такого не умеют. Ни мужики.

Все мы, человеки, как-то так устроены, что по уму, у нас мало что выходит.

А все больше по сердцу.

По сердцу - я заметалась. Засуетилась под клиентом.

Мне жалко было вот так взять и выбросить билетик.

Я ж приехала в Москву. К нему. Я рисовала полосочку.

Да и делать было нечего в Москве, в девять вечера… куда идти?

Просто идти в хостел, сидеть там и расстраиваться?

Петя идет к себе домой. А мне туда нельзя.

Мне нельзя ни кому домой, потому что у всех хороших людей есть кошки, или собаки.

А все мои друзья – хорошие люди.

А у меня аллергия на кошек и на собак. И мне нельзя никуда.

Можно только в «Дом 12». Или вот в Чебуречные-Рюмочные разные.

И я сказала: - Давай вместе к тебе съездим, а потом вернемся.

Он согласился. Мы поехали в московском метро – самом красивом на свете.

Ну, с этим то уж никто не будет спорить?

Московское сталинско-кагановичевское метро – это просто сказка какая-то.

Все эти завитушки, все эти снопы колосьев…

Она вообще, стильная, Москва, такая вот бредово-стильная.

Такая белогорячено-стильная штучка.

И лужковщина влилась в это стиль просто, как родная…

Мы ехали в метро. Сперва с Петей. Стояли на эскалаторе.

Петя мне улыбался. Пете я нравилась.

Я увидела себя в зеркало. Там, в Чебуречной.

Я увидела такую очень даже миленькую нестарую дамочку в миленькой черной шляпке.

С идиотскими дорогостоящими полосками на веках.

Это придавало дамочке игривый вид.

Но глазами Авшалома я тоже сумела на себя посмотреть.

Глазами кавказского парня сорока пяти годочков.

Если посмотреть его глазами - увидишь наглую старую шалаву.

Ну, можно и повежливей сформулировать: немолодую, некрасивую распущенную бабу,

с явно завышенной самооценкой.

Ужасно звучит. Даже «наглая старая шалава» звучит как-то получше.

Я очень ясно увидела себя его глазами.

И удивилась, насколько в моих собственных глазах, выгляжу, ну совершенно иначе.

Мы уже сидели в метро. Петя уехал по другой ветке.

Мы ехали в неведомое какое-то Гребенёво Замоскворецкое…

Ни о чем не разговаривали.

Я привычно думала, как буду выбираться оттуда. Считала деньги.

Потом сказала: - Если ты меня завезешь далеко, а потом мы там застрянем,

и мне будет не вернуться… то учти – ты меня больше никогда не увидишь.

На эту фразу он вообще никак не отреагировал.

Было очевидно, что ему все равно, увидит он меня когда-нибудь еще или не увидит.

Он думал о чем-то своем, о завтрашней лекции. По какой-то там квантовой механике, которую он читал каким-то студентам, в каком-то техникуме…

О чем-то, вероятно важном для него, и совсем не важном для меня…

Через час мы доехали.

Вышли: Гребенёво, как Гребёнево – все Гребенёвы по всему миру одинаковы.

Я и сама в питерском Гребенёве провела кусок жизни с года до тринадцати,

то есть всё, что называется детством…

Потом мы пришли в его квартиру…

И там оказалась такая дико неуютная жизнь.

Какая-то кочевая. Я такую жизнь видала много раз в Америке – у эмигрантов.

Я как будто вернулась снова в свою книгу «Бедная девушка».

Я бывала в таких квартирах в Бруклине и в Квинсе.

В них стоит дух неустроенности. Временности. Когда все чужое. И все неважно.

И вся жизнь, как будто временная, и скоро пройдет.

И мужик, к которому ты пришла, настолько живет своими, очень серьезными проблемами, что ему, по любому, не до тебя.

Ты, в принципе, можешь тут остаться, и может быть, вы даже трахнетесь,

И тебе даже может это понравиться, но для него это будет лишь одной формой онанизма – ну да, есть и такой вариант онанизма – толкать в живую бабу.

И не потому, что ты чем-то плоха, а потому, что степень нелюбви к собственной жизни, так велика, что никакая баба не поможет. Я увидела, что тут, в этом доме, идет непрерывная драма, в которой я никак не могу поучаствовать.

Я ему сказала: - Ну вот, ты дома…

А он ответил: - Тут, я нигде не дома. Мой дом в Баку.

И я бы подумала что это – такая рисовка.

Непременно подумала бы, если бы сама все это когда-то не пережила.

Вот именно это – «не дома».

Ровно так я чувствовала себя в Америке.

Но мне было куда вернуться.

А ему некуда. Нет того Баку и той страны.

Ему – некуда именно так, как было некуда вернуться русским эмигрантам той, первой волны. «Белогвардейцам»…

У него такой свет в комнате – серый, наверху… заброшенное все какое-то…

И большая кровать.

На которой, он сказал, иногда ночуют девушки.

И я тоже могу тут остаться ночевать.

Но если мне так обязательно надо в мой хостел, то он меня проводит до хостела.

Но потом вернется, потому что ему завтра вставать к 9-и утра.

Это было вот такое: «…если вам все равно, то конечно, давайте…».

А у меня на такое всегда ответ: «…если вам все равно, то пожалуй, не стоит...»

это припевы из щербаковской песенки…

Я не знаю, что было бы, если бы я там осталась.

Или если бы мы поехали на метро назад…

Он стал показывать мне какие то, в его понимании, интересные вещи:

Старинные бронзовые вазы и плошки, серебряные вилки и ножи с вензелями,

сломанные старинные часы с мертвой кукушкой…

Все это выглядело таким… Ну, ужасно жалким - как в книге.

Как в настоящей, хорошей книге. Как у Достоевского.

Потому что это были какие-то отдельные части, исчезнувшего, разоренного дома.

Места, где все это было на месте… вот такие вещи-сироты, вещи-бомжи.

Очень плохо находиться внутри настоящей, хорошей книги.

Авшалом оказался абсолютно серьезный и трагический персонаж.

Дико талантливый. Осознающий это. И совершенно разрушенный.

И цепляющийся за обломки разных культур, которые ползут, как оползень,

за них не уцепишься…

Ну, вообщем, я пробыла там минут 20, и мне захотелось бежать.

Именно раз и навсегда убежать. И забыть саму идею каких-то близких отношений.

Я вызвала такси, и оно приехало через три минуты.

Я еще позвала его со мной поехать, проводить меня. Я его уговаривала.

Сказала: - Ну поехали, я тебя хоть как-то приласкаю...

Но он сказал что нет, не поедет со мной, завтра вставать рано и голова болит,

посадил меня в это такси, спросил еще раз, точно ли я хочу уехать –

но факт приехавшего такси, был так очевиден.

А у меня было желание быстро-быстро вырваться, из этого дома.

Вырваться из хорошей книжки.

В том числе, и из моей хорошей книжки «Бедная девущка».

Плохо мне жилось когда-то внутри этой, еще ненаписанной книжки.

И не хочу я никогда больше туда возвращаться…

Вот так. … Рядом с ним я такая… буржуазка…

И всегда была.

Даже когда я была несчастна и писала эти песни трагические.

Все равно и в 20 лет я бы не полюбила такого. И Ван Гога я бы не полюбила.

Все мои монстры и кащеи – это такие «хорошо упакованные безумства…»

Последний, в кого я влюбилась, был модный писатель.

Я почти всегда в кого-нибудь влюблена.Если не влюблена – то непременно мечтаю влюбиться. И придумываю себе каких-то персонажей. Как в театре.

Но периодически из этого ничего не выходит.

А жалко. Был красивый костюм и грим. Шапочка и полосочка на веках.

И красивая декорация – Москва – Тверской бульвар.

Но я как-то быстро оказалась за кулисами, в чулане…

И убежала обратно в театр. В освещенный зрительный зал.

В «Дом 12». Туда пришла моя любимая подруга.

И можно было сидеть в кресле, есть крем-брюле и рассказывать подруге всю эту драму.

А мимо ходили знакомые художники-поэты и говорили: - Привет, Юля…

И все это был мир уюта, успеха и благополучия. Эдакое Крем-брюле.

А для Авшалома – я непонятное животное. С которым, непонятно вообще, как себя вести.

Одно из непонятных животных, привычно окружающих его в непонятной чужой стране.

И то, что мы оба - евреи, возможно, показалось ему какой-то ниточкой, связующей…

Но это – фальшивая ниточка.

Я давно это знаю. Фальшивая, потому что мы оба – русские.

Мы - имперские русские.

Он из одной части Империи, я из другой.

Он - из имперской колонии. Я - из имперской столицы.

Еврейство, это так, одна из меток… одна из красок, огромной разноцветной Империи.

И кажется, что роднит – но нет, ни хрена не роднит…

Вообщем, этот очередной невыигрышный билет разорван, и клочки его летят в лужу…

Но зато, я целый год хранила этот билетик, как некое предчувствие приключения.

Целый год была влюблена. Мечтала…

Опять не вышло.

Но я по прежнему придумываю себе, что может еще разок, в последний раз влюблюсь…

А потом, еще разок.

Наверное, я все-таки буду покупать эти билеты до самой смерти.

И никогда Бог не скажет мне, сердито высунувшись с небес:

- Рабинович, ну хоть раз купите лотерейный билет!

Я то у него всегда, снова и снова – покупаю.

Авшалом… Авшалом…. Вадик или Виталик… Эх!

Питер 2015

**Третий рассказ не был нигде напечатан. А вдруг он шедевр? (Наташа)**

**ЛЕТАЮЩИЕ СОБАКИ**

Майк был потомственный псих.   
Ходили слухи, что его папа,физик-изобретатель , измученный сперва гебухой,   
а потом цеэрухой, однажды вошел в вагон сабвея,   
перестрелял там из автомата полвагона и потом, придя домой, повесился.   
Примерно такие слухи ходили.  
Вообще то Майк был ленинградский еврей, как многие из нас.  
Но даже внешне он был какой то необычно-экзотический.  
Огромный, смуглый, с черными кудрями, и такими именно антрацитово-черными глазами.  
Он был похож на цыганского барона.   
Ну, как мы себе представляем цыганского барона.

Вообщем, он тоже считался психом.   
Не мог толком ни учится, ни работать.  
Когда то он водил такси, в Нью-Йорке и потом в Бостоне.   
Пытался даже учиться, вроде бы на инженера.   
Потом он уехал назад в Россию и жил там в деревне.   
С какой то деревенской женщиной – дояркой.   
Потом снова вернулся в Бостон… Мама купила ему квартиру.   
Они получили деньги за своего отца-психа, за его какие то изобретения.  
Вообщем, Майк по прежнему водил такси в Бостоне.   
И часто приезжал в Нью-Йорк.

Мне он дико нравился. Я однажды сказала своей подруге Марусе:  
- Ну какой Майк прекрасный! Слушь, а давай я его с Лилей познакомлю?  
Я тоже тогда в Нью-Йорке бывала наездами.   
А жила замужем в американской глубинке.  
Маруся ответила:   
- Ну ты што забыла, почему ты сама с ним когда-то не «познакомилась»?  
- Да. Забыла. А почему?  
- Да потому что он потомственный сумасшедший.  
- Ааааа… Ну да…

А потом я развелась и вернулась в Нью-Йорк.   
И Майк вдруг позвонил мне из Бостона.  
И сказал что у его двоюродного брата будет свадьба – в Нью-Йорке через неделю.   
И что он меня приглашает быть его «дейт».   
Так и сказал «дейт».   
Его привезли в Америку 17-и летним, а не 30-летним как меня.   
Он был реально двуязычным. В отличие от меня.  
«Дейт» - это значит быть его девушкой в этот праздничный вечер.   
Я сперва сказала, что подумаю.   
И подумала немного. Псих все-таки.   
Но потом решила что жизнь моя нынче такая мизерабельная.   
А он мне так нравится.  
Что пусть.   
Пусть я буду его «дейт».   
Может ничего плохого и не выйдет.

За что он мне так нравился, я толком объяснить не могла.  
Вспоминала про него все-какое то несерьезное.   
Например, как мы вышли из кабака однажды,   
и к нам подскочил какой-то тип – уголовного характера,  
такой весь на коксе – весь такой напружиненный.  
И он стал говорить быстро и нервно:   
- Ну пойдем, пойдем назад, пойдем, сыграем в карты…  
А Майк так медленно ему отвечает:   
- Парень, ты же видишь я вышел из кабака. Разве я похож на человека,   
который выйдет из кабака, если у него в кармане остался хоть доллар…

Вообщем он как то так сделал, что этот напружиненный отстал от нас.   
Без драки.  
Такое я всегда уважала – умение именно без драки отвязаться от приставшей шпаны...  
У которой драка - как раз и есть главная цель обычно…  
Рядом с Майком я чувствовала себя всегда защищенной…  
У него была большая черная борода.   
Такие негритянские волосы на голове и негритянская борода.

Мы пошли на эту свадьбу двоюродного брата.   
Ее играли в бруклинском русском ресторане, про это я ничего не помню,   
потому что все время думала, что же будет потом, куда же мы поедем потом,   
и если поедем, то как все это будет?  
После свадьбы мы поехали на другой конец Нью-Йорка.   
В район Вашингтоновы Горки.   
Майк сказал, что ночует в лишней квартире у Маруси и ее мужа…  
Да у них была такая квартира – лишняя.   
Они ее когда то сняли – потому что было очень дешево.   
И с тех пор в одной комнате марусин муж сделал мастерскую,   
он лепил такие африканские скульптуры из красной глины.  
А другую комнату они периодически сдавали, в основном, знакомым.   
Но периодически она просто стояла пустая.

Вот туда мы и приехали. Была уже глубокая ночь – темно.  
Мы поднялись на лифте на 4-й этаж.  
Маруся с мужем жили под нами – на 3-м этаже.  
Мне было как-то страшно, что нужно сейчас вот тут с Майком ночевать.  
Ведь он – псих. Еще и потомственный.   
Это же страшно спать с психом.  
Я думала, а вдруг он сделает мне больно?  
Я нервничала.  
Думала – может все-таки пойти вниз к Марусе?   
Там все конечно спят уже, но я скажу, что мне страшно с Майком оставаться.  
Ничего – поймут, простят…  
Но я же на самом деле хочу остаться именно тут, именно с ним…  
И все-таки осталась.  
И все вышло прекрасно. Нежно и ласково.  
И небольно и нестрашно…   
и он был совершенно нормальный.  
Совсем не как псих.   
А именно как нормальный любовник.  
Все получилось…  
И я стала засыпать, лежа головой на его руке.   
И думала сквозь сон:  
« ну вот, какой же он псих?... чего же я боялась?...   
все ж хорошо так… и он совсем нормальный…»

Майк тоже засыпал…   
И вдруг он сказал:  
- Знаешь, я прошлым летом снимал у них эту хату.   
Жил тут целый месяц. Мне нравилось тут просыпаться.   
Каждое утро я просыпался и видел, что прямо напротив моего окна   
стоит стая бродячих собак. Они просто стояли и смотрели на меня…

Тут мне стало как-то грустно.   
Потому что я вспомнила, что квартира эта номер 4-а - на четвертом этаже.  
И я поняла, что он все-таки псих, и это у него такой бред.   
Про стаю собак за окном на 4-м этаже.   
Такой вот бред у него – летающие собаки.  
Я заснула в грусти и тревоге.   
Последняя мысль перед сном, что вот все-таки связалась с настоящим психом…

Утром я проснулась совсем рано. Мне нужно было сбегать в ванную.   
В комнате было уже светло.   
Я посмотрела в окно.   
Первое что я увидела – была стая бродячих собак.   
Это ж был район Вашингтоновы Горки.   
Там много горок и холмов.   
И дом этот бы прислонен к холму.  
Собаки стояли на отвесном склоне холма.  
Они стояли прямо напротив окна и смотрели на меня.

Питер 2015.

1. Бердичевская Анна «Русский доктор»

***Анна Бердичевская***

# РУССКИЙ ДОКТОР

Это была деревня в долине между гор, на слиянии двух речек. Однажды весной сюда пришла война. Потому что небольшая прекрасная страна разделилась на Запад и Восток. Принцип детской игры в Зарницу, или штабных учений, или войны за свободу негров в США – Синие и Красные, войска Юга и Севера, Республиканцы и Федералы… Предупреждаю читателей газет и любителей новостей по ящику – не будет Белых и Красных, опускаю. Потому что на самом деле на войне не бывает Белых и Красных. Война это яма, клоака, в которую слиты чистая кровь, грязные портянки, детские и взрослые слезы, мерЭтвые тела людей и животных, холод подвалов и просто дерьмо. Подумайте, какого цвета эта смесь, а потом отыщите в ней Синих и Зеленых. Поймите также, что во время войны ничего не стоит ухнуться в эту клоаку с головой и стать ее содержимым. И хватит об этом.

Я просто хочу рассказать о Боре, как он спас свою семью и стал, кем стал. Начну я с давних времен, когда мы еще не были знакомы.

Боря приехал в свой рай вполне взрослым, но молодым и сильным доктором. Приехал в цветущую деревню на слиянии двух рек с заснеженных просторов Урала, из промышленного города, коптящего небо над этими просторами. После окончания медицинского института он работал вначале патологоанатомом в милиции, потом в психушке терапевтом, потом венерологом в вендиспансере. А пока учился в институте, работал по ночам сначала санитаром, потом фельдшером, а последние два курса врачом на скорой помощи. Все эти годы, и в институте и после, он жил в общежитиях. Вот такой у Бори был жизненный опыт.

Потом он влюбился, в Машу. Она была обычной и несказанной северной красавицей, которые невесть откуда берутся в заснеженных промышленных городах Урала и Сибири. У нее были синие глаза, очень белая кожа, темные волосы, длинные-предлинные ноги и необыкновенно добрые лицо и сердце. Она была замужем. И жила со своим мужем-боксёром тоже в общежитии. Как Боря добивался Машу – это история на три года, и хотя эта история хорошая и правдивая, её я тоже опущу.

Но чтобы жениться на Маше и, главное, народить с нею детей, причём много, Боря хотел получить квартиру. Получить квартиру можно было только работая на одном из огромных заводов, коптящих небо над городом. И то к концу жизни. Если очень повезет. Но всё-таки он пошёл устраиваться в заводскую больницу, хоть кем. Вот тут и выяснилось, что Боря еврей, а международное положение было в тот момент таково, что евреев начали выпускать в Израиль, зато окончательно перестали брать на работу на военные предприятия. *С целью предотвращения возможной выдачи на исторической еврейской родине советских военных тайн* – примерно так.

Невоенных же предприятий, которые бы давали квартиры, в стране не было вообще.

Боря, который, чтобы жениться на Маше и завести с ней много детей, стал боксёром и побил несколько раз, причём не на ринге, ее мужа-боксера, глубоко задумался. Он не хотел в Израиль, но что гораздо важнее – не хотела Маша. Вот тогда, как это всегда бывает, совершенно случайно он узнал от приятеля, что в одной тёплой советской республике не хватает сельских врачей, и что при этом простому доктору там обещают не то что квартиру, а дом с садом. Боря написал несколько писем, получил обстоятельные, но бестолковые ответы, и поехал, один, без Маши, искать место доктора с домом и садом. Он нашел место. Правда, дома не было, но был сад на берегу чистой и холодной речушки, текущей с ближних гор, и разрешение построить в саду дом. Сад на несколько месяцев стал домом. Боря спал в палатке под инжиром, утром умывался в речке и шел на работу.

Слава о Боре, русском докторе, за две недели облетела округу. Почетное звание «русский доктор» не было связано с национальностью, оно просто означало, что Боря был специалистом с настоящим, не купленным дипломом. То есть он умел лечить. Несмотря на то, что Боря поначалу совершенно не знал местных языков (грузинского, абхазского, армянского, греческого, азербайджанского и еврейского), а местное население не говорило по-английски, по-русски же могло неплохо материться, обсуждать международное положение, торговаться на базаре с лицами промежуточных национальностей и, кто служил в армии, отдавать и понимать строевые команды; так вот, несмотря на это, все очень быстро поняли, что Боря не просто «русский доктор», но «очень хороший русский доктор». И Боря стал обнаруживать десятирублевки и даже четвертные в кармане халата после каждого визита к больному. Поначалу это привело его в смятение, он стал бегать по тем, кого лечил, чтобы возвращать мзду, перессорился с пациентами и узнал много местных слов и выражений. «Шени чири ме!» - кричал он через забор бабушке своего больного (а значило это «твои беды – мне»), «кал батоно!» (а это значило «мадам» или «госпожа») «возьмите обратно ваши деньги. А то я больше не приду к вашему внуку!» На него обижались. Однако здоровье внука, дочери, брата было дороже обычая платить доктору. Платить перестали. Но на поляне посреди Бориного сада, откуда ни возьмись, появились щебенка, камень, цемент, песок, известь, доски и черепица. Не всё сразу, а в необходимой и разумной последовательности. Соседи, которые гордились Борей, как чемпионом мира по медицине, по счастливой случайности выбравшим именно их деревню для проживания с будущей женой и будущими детьми, шли к нему с советами и с помощью. Так что за полгода в саду вырос дом. Ну не дом, но и не времянка, а настоящий капитальный чулан в глубине будущего дома. Чулан стоял гордо и одиноко, а вокруг него уже ждал будущих стен могучий и прочный фундамент большого дома.

Была ранняя весна, зацвели абрикосы, когда Боря понял, что пора ехать за Машей.

Они вернулись, когда цвел гранат. Пока Боря ездил за Машей, соседи поставили вокруг сада новый забор и ворота. Боря привёз Машу на рейсовом автобусе в полдень. Первым их увидел Вахо, хозяин и шеф-повар «точки» у моста через реку, ту реку, в которую впадала речушка, возле которой цвел Борин сад. Вахо стоял в дверях своей «точки», прислонясь к дверному косяку, и смотрел на реку под мостом, где его младший брат Миша мыл мотоцикл «Индиан». Мотоцикл был старше Миши лет на сорок. Вахо смотрел на Мишу и на его мотоцикл, но на самом деле, каким-то загадочным образом, боковым зрением, почти что ухом, но очень зорко, Вахо смотрел на Машу. И разглядел её хорошо, и сразу понял: в деревню приехало счастье. Вахо, человек на редкость громоздкий и молчаливый, перестал подпирать косяк, сошёл с крыльца, чтобы взять сумку из рук Маши и чемодан у Бори. Уже у самого сада их догнал Миша на сверкающем и мокром «Индиане», сложил чемоданы и сумки в мотоциклетную коляску и с треском доставил имущество доктора и докторши к фундаменту будущего дома. А вечером в гости к русскому доктору и его Маше пришла вся деревня. Молодым подарили всё, что нужно для семейной жизни, включая большую кровать, телевизор, умывальник и даже детскую коляску, которая была пока не нужна. Ещё подарили щенка кавказской овчарки по имени Барс. Маша стала звать щенка Барсиком.

Через семь лет у Бори и Маши было трое детей, два мальчика и девочка. Барсик стал огромным псом, добрым, как Маша, и неутомимым, как Боря, дом из чулана, как из семечка, вырос в стройное дерево, к которому каждый год прирастала новая ветка – то веранда, то мезонин, то гараж. В гараже стал жить «жигуленок». Не новый, но зато цвета морской волны.

Ещё через год началась война.

Нельзя сказать, чтоб совсем внезапно. Она началась, как стихийное бедствие, с предчувствий, со слухов, с мигрени и ломоты в костях. Казалось, приближаются гроза или ураган, или сход лавины. Но вместо этого однажды днём с востока на запад по мосту мимо «точки» и стоящего на пороге Вахо промчались три боевых машины пехоты со странными знаменами на тонких длинных древках. Что-то средневековое было в этих белых знаменах с рыцарем и драконом. Через несколько дней с запада на восток в деревню проследовало четыре танка. На броне сидело с дюжину галдящих парней, все они палили из автоматов, как им казалось – в воздух. Однако они умудрились подстрелить мальчика, взобравшегося на орех возле моста. Рана была не серьезная, но, падая, мальчик сломал руку и ногу, так что русскому доктору пришлось повозиться. С этого времени Вахо перестал стоять в дверях своей «точки», а рядом с деревянной стойкой, набухшей и растрескавшейся от вина, поставил свою старенькую двустволку. Она ему не пригодилась. Как-то утром, не рано, часов в десять, Вахо смотрел в окно за реку, когда вдруг почувствовал, ощутил всем большим телом, что как раз оттуда что-то несется, со свистом раздирая воздух. И вдруг грохнуло, разорвалось прямо перед окном. Стекла лопнули и просыпались в котёл с красным лобио. Все, кто был в «точке», бросились к окну, посмотреть – в чём дело, когда из того же мелкого леска, из зарослей акации за рекой раздалась короткая пулемётная очередь. Все посетители «точки» так и торчали в окне, головы не пригнули, ведь невозможно было представить, что кто-то всерьёз стреляет в живых людей. Самой крупной мишенью в этой толпе раззявивших рты мужчин был Вахо. Со странным звуком, знакомым каждому повару, прямо в сердце вошла сталь. Этот звук – последнее, что слышал Вахо в жизни. Боря, которому пришлось доставать пулю, поразился, с каким тщанием была сделана эта штуковина, одна из сотен в пулеметной ленте. Пуля для Вахо. И еще Боря подумал, что у кого-то хранится сейчас пуля для Бори. Дальше его воображение не пошло. Он запретил своему воображению идти дальше. Однако с этого дня вся Борина семья перебралась жить в подвал. Только Боря и огромный Барсик бродили по ночам в пустом и тихом доме.

Бои за деревню продолжались все лето и осень. Мост взрывали и восстанавливали одиннадцать раз. На кладбище за деревней почти каждый день появлялись свежие могилы. В них лежали деревенские жители рядом с любителями езды на танковой броне, стрельб из винтовок с оптическим прицелом, ночных разведок, а также металлических пуговок и ремешков, тяжёлых пулеметных лент, больших и грубых ботинок на слоеной подошве, пестрых нашивок, шейных платков, по пиратски повязанных на голове, галунов, орденов, бляшек и кокард. Многие прежде, чем умереть, попадали в руки русского доктора. Племя дикарей, купленное за пеструю хрень, любители фильмов про Рембо, жвачки и конопли, хвастунишки без капли мозгов - в последние минуты своей единственной и драгоценной жизни они умнели на глазах, становились тихи, задумчивы и даже красивы. Но видел это только русский доктор, пытавшийся их спасти. Некоторые из них оставались жить с перевернутыми кишками и мозгами, поумневшие или окончательно спятившие, уползали из этой нешуточной и чужой игры, из этого бедствия – на костылях, на своих двоих, но без рук, или без памяти, или без сердца и совести. Как они впустили в себя эту заразу? Какого чёрта, с чего началась эта чёрная оспа, болезнь, которой заболевает весь народ, но умирают главным образом мужчины в возрасте от пятнадцати до тридцати пяти? Боре некогда было думать. Он кромсал, чистил, сшивал людскую плоть, чернел лицом, худел, и, чтобы уснуть, пил спирт. Он засыпал в кухне своего дома, обнявшись с псом, который терпеть не мог запах спирта и эфира, но очень любил и уважал своего хозяина. Барсик ждал, когда Боря уснет, а потом выбирался из под его волосатой руки и шел в чулан в сердце дома, в котором пряталась дверца в подвал – проверить, всё ли в порядке. За дверцей и узкой каменной лестницей, пробитой вглубь гранитной скалы, была заветная комнатка – прихожая к винному погребу. Без окон, но очень чистая, с низким, побеленным голубоватой известью потолком. Там всегда стояла ровная температура – плюс четырнадцать по Цельсию. Маша поместила в одном из углов комнатки икону Николая Угодника, перед иконой и днём и ночью горела лампадка. Маша и дети редко выходили наверх, только по особому разрешению Бори и под охраной Барсика. Мальчики компенсировали утрату свободы драками и возней на широком, сколоченном из душистых туковых досок топчане. А девочка притихла, побледнела и только просила все время сказок от мамы и братьев.

Дни шли за днями, надвигалась зима, война становилась все серьезней, все взрослее, все страшнее и гаже, все больше детей, стариков и женщин стало на ней погибать. Половина деревни была сожжена и разграблена, почти все мужчины воевали на чьей-либо стороне, а иногда попеременно то на той, то на другой, уже и регулярные войска, которые трудно стало отличать от бандитов, укатывали и разбивали старую дорогу своими самоходками и танками. В небе над деревней несколько раз появлялись военные вертолёты, а по ночам с воем на нижайшей слышимой ноте пролетали бомбардировщики…

В середине октября ранним утром, перед самым рассветом Боря услышал, как к дому подъехала машина. «Козёл», - подумал Боря и не ошибся. На таких военных «козликах» - «Уазах», или на самоходках, или на БМП, или на чем попало, включая огородные тачки, к нему возили раненных. Либо к раненным увозили его, Борю. Доктор старался как можно реже покидать дом и никогда не закрывался изнутри, чтобы не возникло соблазна ломиться и стрелять. И сейчас он продолжал ждать гостей лежа на своем матрасе в кухне под окном. Боря не спал на кровати с тех пор, как пулеметная очередь, скорее всего случайная, с дуру, прошила всю комнату, разбив светильник на тумбочке и продырявив ковер над диваном.

Боря услышал ворчание Барсика, перешедшее в радостное горловое урчанье, и понял – приехал кто-то свой.

Это был майор Витя Ермак, связист с военного аэродрома километрах в десяти от деревни. Боря принимал трудные роды у его жены, множество раз пил с ним коньячный «материал», про который Витя говорил – не хуже самогонки, и пару раз ездил рыбачить на закрытое водохранилище в Шамхор.

Витя выглядел странно. Он был в армейских галифе и сапогах, но вместо гимнастерки на нем нелепо топорщился тесноватый пиджак, а на голове глубоко на уши была надвинута кепка с пуговкой на макушке.

Занимался рассвет, в кухне стояли холодные сумерки, но керосиновую лампу они зажигать не стали. Просто сели за стол и поговорили.

* Где твои? – спросил Витя.

Борю давно не спрашивали, где семья, а если спрашивали, он коротко отвечал – «Уехали».

Вите Боря сказал правду:

* Здесь. В подвале.
* Плохо, - сказал Витя. – Совсем плохо. Мы уходим. Оставляем аэродром. И оружия остается – на две армии хватит. Представляешь, какая зима здесь будет?

Боря ничего не ответил. Он налил себе и Вите чачи в граненые стопки, достал из трехлитровой банки пригоршню соленых перцев.

* Есть хочешь? – спросил он Витю.
* Нет, не хочу.

Они выпили.

* Я приехал позвать тебя с собой. У нас в самолёте есть место, одно. Только одно… Летим завтра, аккурат через сутки, в Москву. Я с Наташкой и Олежиком оттуда в Новосибирск, на новое место службы. А ты бы…
* Не трать порох, - сказал Боря усмехнувшись. Так в точности сказал бы сам Витя Ермак, он любил всякие солидные обороты, приличествующие легендарному Ермаку вообще и майору связи советской армии в частности. Боря налил еще по стопарю.
* Да ты не понял!.. – Ермак притянул голову Бори к себе и зашептал ему что-то в самое ухо.

Боря слушал долго и не верил. Ничему не верил. И тогда Витя сказал:

- Я тебе своим Олежкой клянусь, что все так, как я говорю. А тебе выбирать надо. Зимой тебя подстрелят, что с твоими будет?.. Ну, всё. Думай. Я тебя жду.

Витя уехал, а Боря остался думать.

Он думал часа два, пока не рассвело, потом спустился в подвал, разбудил Машу, поднялся с нею в дом и сказал:

- Маша, завтра утром я уезжаю, в Москву. Через неделю… Или через две недели… Или через три… В общем, я приеду и вас увезу.

Маша заплакала. Не потому что она усомнилась в Боре, в том, что он приедет и всех их увезёт, а потому что она любила его, и знала его, и понимала, что он чувствовал, уезжая сейчас.

Маша ни о чем Борю не спросила, а просто проплакавшись принялась собирать мужа в поездку и заодно готовить дом к жизни без хозяина. Они вместе с Борей забили досками окна, выходящие на дорогу, и обвили забор колючей проволокой – затеи пустые, но все-таки не совсем же бессмысленные.

Потом Боря пошел к Мише, брату убитого Вахо. Миша несколько месяцев пропадал на войне, а в начале осени его привезли едва живого, с перебитыми ногами и выгрузили на носилках возле родного дома, вернее, возле того, что осталось от дома. А осталась только летняя кухня да хлев, в котором вместе с осликом и тремя козами жила старуха мать, да вдова Вахо, да двое его ребятишек. Боря Мишу собрал по частям, но части еще не срослись хорошенько, так что на ноги Миша пока не встал. Но собирался.

И вот на виду у всей деревни и у тех, кто в тот момент ею владел, Боря перевёз все Мишино семейство и самого Мишу в свой дом. Миша переезжал в коляске «Индиана», которую толкали дети Вахо. А сам мотоцикл вёл в поводу Боря. Бензин в деревне исчез, казалось, навсегда. Только солярка, необходимая для танков и БМП, была кое-где запрятана по домам, но солярка была валютным, стратегическим товаром. Редким и тайным. Вот керосин в деревне был припасен в изобилии, в этом сказывалось благословенное соседство военного аэродрома.

К вечеру к русскому доктору привезли нескольких раненых. Уже ночью, осмотрев, подштопав и перевязав всех, Боря вышел на поляну перед домом и сказал угрюмому бородатому греку, бывшему в этом битом отряде за главного:

* Больше раненных не вози. Уезжаю я. К семье.
* Куда это? – подозрительно поглядел на Борю грек.
* Говорю тебе, к семье, к своим. Вот дом на соседей оставляю. Довоюете – вернусь.

Грек забрал своих раненых в БМП и уехал, а Боря спустился в подвал, поцеловал спящих детей, обнял Машу, которая больше не плакала, взял сумку, с которой в былые времена уезжал или уходил на вызовы, и отправился пешком на военный аэродром.

С Мишей он прощаться не стал, между ними все уже было договорено: где в доме спрятан автомат, где патроны, где гранаты, и в каких случаях надо ими пользоваться, а в каких не стоит. Миша за последние месяцы стал взрослым. На это, во всяком случае, надеялся Боря. Больше ему надеяться было не на кого и не на что.

У меня Боря оказался примерно через неделю, его привёл с вокзала, где русский доктор ночевал, мой старый приятель.

В то время я только начинала жить в Москве, меня поселила к себе в мастерскую подруга-искусствовед. Мастерская была просто комнатой в прелестном ампирном «допожарном» особнячке, чудом сохранившемся с начала девятнадцатого века в переулке возле Поварской. Хлебный переулок… Место бойкое. Кто только у меня там ни бывал! Подруга-искусствовед была женщиной очень интеллигентной и главное доброй, она терпела. Ей, когда она изредка опасливо появлялась в особняке, даже нравились люди, которых она заставала – то это были молодые поэты с Урала, то многодетная семья немцев, которая из родных моих краёв переселялась в Германию и ждала документов, то великая армянская художница с племянницами, да мало ли еще какие странники. Было это Время Странствий, достойное Книги Перемен.

Боря был из странников странник… Потом, много после, он оказался улыбчивым, остроумным малым, рассказчиком забавных историй. Он и свою историю рассказывал как цепь анекдотов… Потом. А в те две недели, что он у меня жил, точнее – приходил ночевать, он почти не говорил. Мой друг объяснил мне, что Боря хочет арендовать военный самолет, чтобы вывезти семью из горячей точки. Дело это безнадежное. Еще и потому, что денег у Бори нет. А деньги нужны огромные.

У меня был кое-какой опыт по части полетов в горячие точки, и однажды я попробовала поговорить об этом с Борей. Пока я перечисляла ему начальников, механиков и пилотов, он внимательно слушал и только кивал и говорил: «Знаю. Не годится». И коротко объяснял – почему. Потом он сам стал говорить, просто перечислять организации и фамилии, где бывал, с кем встречался… Это была целая империя авиации, империя средневековая и разваливающаяся. Боря знал о ней всё. Он встретился со всеми авиационными начальниками всех ведомств и частей, от тех, кто тушил пожары до тех, кто ловил бандитов. В это время тушить пожары и ловить бандитов никто и не думал. Так почему было бы не слетать в одну маленькую горячую точку, где в саду, в подвале уцелевшего дома сидела с тремя малыми детьми русская женщина, привезённая в этот самый рай самим Борей? Женщина слишком наивная и добрая для войны, слишком красивая, чтобы хоть нос высунуть в мир обезумевших, с цепи сорвавшихся вооруженных и голодных, потерявших честь и совесть мужчин.

Когда Боря говорил со мной, он ни разу не повысил голос. Он был очень задумчив, расчетлив и тверд. Как будто операцию делал – без наркоза и на самом себе. Он не имел права терять сознание от боли, и он обязан был выжить.

Я поняла и перестала его расспрашивать. Но он уже не мог остановиться, разговаривая со мной, он словно думал вслух. Тогда я и узнала, что шептал ему в ухо майор Ермак. Он называл имена и телефоны членов одной банды, всё это были летчики высокого класса, асы, зарабатывающие доставкой чего угодно куда угодно. С ними, считал Ермак, можно было договориться. Конечно, если отыскать денег. Много денег.

Боря этих бандитов нашел сразу. Они сидели неподалеку от Главтелеграфа, в неприметном офисе, в который вела прямо с улицы покрашенная суриком стальная дверь без таблички. Они назвали сумму. Эти хотя бы назвали сумму и сроки. Остальные просто не хотели слушать. Так что Боря, как начал свои поиски с этих бандитов, так к ним и вернулся. Главным у них был полковник по фамилии Альпеншток, так мне запомнилось.

Боря прекратил поиски самолетов и летчиков. Оставалось найти деньги…

И вот на несколько дней он исчез. А вернулся на бензовозе с уральским номером. Он ворвался в мастерскую, сунул руку за шкаф и достал оттуда к глубокому моему изумлению пистолет. Сунул его за ремень, как это делалось испокон веку во всех детективах, и сказал:

* Дня через два-три Маша приедет, с детьми. Можно?
* Можно-то можно. А разве ты не приедешь?

Боря ответил не сразу:

* Нет, я попозже.

И ушёл. Я вышла за ним, и тут-то и увидела бензовоз с крупной надписью «Огнеопасно!»

Прошло два дня. Были сумерки, шёл первый снег, когда мне в окно постучалась чья-то робкая рука. Я пошла открывать и увидела перед крыльцом небольшую толпу. Впереди всех стояла молодая женщина, про которую я сразу поняла – Маша, а за нею человек пятнадцать, из которых больше половины – дети, остальные – женщины преклонных лет и один долговязый парень на костылях, Миша – догадалась я.

Мастерская моей подруги была в окружении еще трех комнат-мастерских, самая большая комната с камином была общей гостиной, вот там с согласия всех художников поселился на несколько дней этот табор. Главной сложностью было – не засветиться. В буквальном смысле. По соседству с нашим особнячком было посольство одной небольшой европейской страны, его обитателей очень волновал свет в окнах домика, про который было точно известно, что это мастерские художников, где по ночам никто не живет. После девяти вечера мы не зажигали свет, ребятишки облепляли окна гостиной, за которыми валил и валил мягкий московский снег, гуляли толпы спокойных, сытых людей, сияли фонари. Дети вели себя необыкновенно тихо, они и разговаривали шепотом. Как в кинотеатре. С каждым днем наш табор редел, стариков и детей разбирали родственники и друзья, для них начиналась новая жизнь. А Боря всё не появлялся.

Я в те времена работала сразу в нескольких местах, возвращалась поздно и всякий раз заставала детей спящими, а Машу вяжущей свитер для Бори. Мы с нею по долгу разговаривали – о детстве, которое обе провели на Урале, о доме, который они с Борей построили и оставили, об их детях, о том, как они жили три недели без Бори. Автомат и гранаты Мише не понадобились, но если бы не Барсик, вряд ли они бы дождались Борю. Почти каждую ночь незнакомые мужчины со страшными голосами колотили прикладами в дверь. Им отвечал только Барсик, отвечал таким рычанием и лаем, что страшные голоса пришельцев линяли и блекли, переходили на шёпот и в конце концов удалялись вместе с шарканьем тяжёлых ботинок по гравию тропинки. Она рассказывала мне об этом на разные голоса, изображая все происходящее – так она привыкла рассказывать детям бесконечные сказки в подвале. Она рассказывала, и сама смеялась над собой. Но бывало, и плакала потихоньку. Маша горевала обо многом, о соседях, о доме, в котором собиралась прожить всю свою жизнь… Но Барсик – был главной ее болью. Она знала, что рассталась с ним навсегда.

На вопрос, почему Боря не приехал со всеми, Маша отвечала просто: «У него дела». Она ждала его каждый день, я видела, как она слушает шаги под окном, как встречает любой телефонный звонок и стук в дверь. Но Боря всё не ехал.

Однажды, а было это за день до Нового года, я вернулась как всегда поздно вечером, открыла двери своим ключом, зажгла ночник и увидела такую картину: на полу поверх ковриков, одеял, диванных подушек, пальто и шалей раскинув руки спал Боря в новом, связанном Машей свитере, в ватных штанах и тёплых носках.. На правой его руке спала Маша с девочкой, на левой – мальчики.

Утром я узнала, что за дела делал Боря и как они ему удались.

Во-первых, про бензовоз. Решив во что бы то ни стало достать деньги, Боря сходил на Главтелеграф и сделал несколько звонков в родной уральский город. После чего отправился на вокзал, и в общем вагоне укатил на Урал. Через сутки он встретился с бывшим мужем Маши, боксёром, который уже больше не занимался боксом, а работал «крышей» на нефтехимическом заводе-гиганте. Бензин они одолжили с охраняемого боксёром завода, нашли бензовоз с водителем, как могли, заплатили шофёру, и Боря на бензовозе погнал в Москву, где большую часть бензина продал знаменитому бензозаправщику Колерову. С вырученными деньгами и остатками бензина он отправился к полковнику Альпенштоку (за фамилию не ручаюсь) и отдал ему задаток, честно предупредив, что окончательно расплатится к Новому году. Летчик-ас согласился, и через три часа они уже летели за Машей на штурмовике. Не на пустом, а с бочками все того же уральского бензина.

Эти бочки у них с душевным трепетом купили те, кто на тот момент владел тем самым военным аэродромом, на котором совсем недавно, но казалось – тысячелетие назад, нес службу майор Витя Ермак. Не зря он клялся своим Олежеком, все получилось именно так, как он говорил…

Вооруженные до зубов благодарные покупатели снабдили Борю «козлом», возможно все тем же, на котором осенью к нему домой приезжал Витя, а также шофером. Предлагали в придачу станковый пулемет с гранатометом, для безопасности. Но Боря отказался. Через двадцать минут он был у родимого сада и дома, запорошенных сухим колючим снежком. Дом выглядел необитаемым. Сердце у Бори сжалась до размера грецкого ореха.

- Барс! - позвал он осипшим, не своим голосом.

Дверь распахнулась, и огромный Барсик выкатился с непристойным, щенячьим визгом. Борю он, конечно же, повалил и не отпустил, пока не облизал всю его покрытую до глаз черной щетиной физиономию.

Так наступило короткое, ослепительное счастье. Все обошлось. Почти все обошлось. Маша и дети были здоровы и готовы в дорогу.

Боря проехал по деревне, зашёл к соседям, у которых, он знал, была родня в России, предложил «подбросить». К вечеру туго набитый старыми и малыми «козёл» доставил пассажиров к борту самолёта и съездил во второй рейс – за Бориной семьёй и Мишей, которого необходимо было показать в хорошей клинике в Москве. Так закончилась эта история.

Почти закончилась. Ведь сам-то Боря остался в своей «горячей точке». Он остался, потому что помнил о долгах: лётчику-асу, бывшему Машиному мужу-боксеру, да и уральскому гиганту нефтехимии за шестьдесят тонн экспроприированного бензина. И русский доктор отправился через воюющую горную страну с заваленными снегом перевалами к морскому побережью, в мандариновые края, из которых очень трудно, но все же ходили поезда на север. Там он на оставшиеся бензиновые деньги купил пять «секций» мандаринов и покатил в мерцающем режиме, напоминающем пульс умирающего, в родные края - на Урал. Пару раз он пожалел, что отказался от станкового пулемета. И раз тридцать благодарил Бога за то, что отказался. Он приехал в свой заваленный сугробами тихий город под Новый год и продал мандарины. А затем уже отправился за женой и детьми ко мне, в московский Хлебный переулок. В сумке, той самой, докторской, с которой Боря ходил к деревенским своим пациентам, он привёз мандарины. Мы встретили Новый год.

И расстались.

Много еще всего любопытного происходило в Бориной жизни в последнюю пятилетку прошлого века. Но карьера русского доктора для него закончилась. Боря навсегда оставил свою профессию, как пришлось оставить свой любимый, главный в жизни, дом, как и Барсика, лучшего в мире пса.

Сейчас он живет в Торонто, в будни играет на бирже, а по воскресениям - во дворе своего двухэтажного дома - в баскетбол с детьми и соседями. Дети учатся в колледже и говорят по-русски с изрядным акцентом. С Машей мы переписываемся по электронной почте. Недавно они завели собаку. Все забываю спросить, как её зовут.

.

1. Березин Алексей «Разнорабочие и голоуби», «На дне».

***Березин Алексей***

**Разнорабочие и голуби**

Дядю Мишу забыли на крыше.

Если бы дядя Миша был голубем, он не огорчился бы, просто слетел бы вниз, но дядя Миша был разнорабочим, открывающиеся перспективы не вызывали у него радостного трепета в маховых перьях. За сорок семь лет дядя Миша так и не освоил базовые навыки горизонтального полета. Не стоит судить его строго, всякий раз, когда дядя Миша оказывался на крыше, в руках у него была лопата, а сам он был привязан к трубе. Нельзя ожидать, что человек в таких обстоятельствах сумеет самостоятельно освоить полет. Едва ли он этого хотя бы захочет. Дядя Миша никогда не считал себя птицей высокого полета, рисковать ему не хотелось.

Дело было так. Родной ЖЭК отправил дядю Мишу сбрасывать снег с крыши дома номер пять. В помощь ему дали разгильдяя Кольку, чтобы тот набирался ума от дяди Миши. Колька работал всего две недели, в средние века его должность называлась «подмастерье». В те времена главное требование к соискателю заключалось в ударопрочном черепе, через него происходила передача знаний от мастера к ученику. Дядю Мишу назначили Колькиным ментором, уже через неделю ему стало казаться, что образовательная система за последние пятьсот лет основательно сдала позиции. Запрет на физические наказания, как выяснилось, сильно снижает ценность передаваемого опыта в глазах подрастающего поколения.

Пустить Кольку на крышу дядя Миша категорически отказался.

— Вот уж нет, студент, — объяснил он Кольке. — Упадешь, ударишься башкой, сломаешь себе что-нибудь. А потом твоя мамка придет, будет меня спрашивать: «Ты, дядя Миша, зачем моего оленя на крышу погнал?» Что я ей скажу?

Одним словом, Колька был оставлен внизу, у подъезда, дядя Миша наказал ему предупреждать проходящих жильцов, чтобы остерегались падающего снега.

— Или лопаты, — добавил Колька.

Сам дядя Миша поднялся на шестой этаж, отпер люк, выбрался через слуховое окошко на скат крыши, с помощью страховочного троса связал свою судьбу с трубой вентиляции. Колька заметил его, принялся подбадривать снизу незатейливым юмором.

— Дядьмиш! — кричал Колька. — Дядьмиш, осторожнее там! А то упадешь, ударишься башкой!

Дядя Миша отвечал ему с крыши коротко и содержательно, обильно употребляя в речи букву «ять». Колька внизу задорно ржал и уворачивался от падающих сугробов.

Пока они таким образом резвились, на площадку третьего этажа вышла баба Нюра, единственный приличный человек во всем подъезде. В подъезде восемнадцать квартир, все населены наркоманами и проститутками, в квартире справа алкаши, в квартире слева — антихристы. Баба Нюра неоднократно писала на них заявления в милицию, и оптом, и в розницу, но все безрезультатно, в милиции работает одна мафия. Последний оплот порядка остался в квартире бабы Нюры, самый настоящий Сталинград в кольце фашистов. Баба Нюра покидала его только чтобы сходить за хлебом, да еще к соседке бабе Кате. Баба Катя, конечно, та еще старая коза, но хотя бы не наркоманка и не проститутка. По крайней мере, последние полвека.

Баба Нюра поднялась к ней на шестой этаж, и сразу заметила открытый люк на крышу. Не надо быть Ниро Вульфом, чтобы понять, что туда пробрались наркоманы и проститутки. Никакой Шерлок Холмс, никакая мисс Марпл не вникали в ситуацию так быстро, как баба Нюра. И ни один комиссар Мегрэ в жизни своей не пресекал деятельность уголовных элементов так решительно и быстро. Она вскарабкалась по лестнице, захлопнула люк и водворила на место замок. Наркоманы оказались изолированы от общества, как им и полагается.

Восстановив справедливость в отдельно взятом подъезде, баба Нюра постучалась к бабе Кате. Она собиралась попросить соли в долг, это должно было занять часа полтора-два, не больше.

— У тебя в люк-то наркоманы лезут! — сообщила она бабе Кате. — Ты что не следишь?

Они прошли в кухню и там принялись обмывать кости соседям.

Тем временем на крыше кончился снег.

Говоря по совести, снега на крыше еще оставалось прилично, но дядя Миша утомился. До конца рабочего дня оставалось еще часа три, однако человеческая жизнь слишком коротка и слишком ценна, чтобы проводить ее на крышах чужих домов. Даже у разнорабочего есть свой собственный дом, где его ждет личная жизнь и дела по хозяйству. У дяди Миши, например, в холодильнике была припрятана бутылка перцовки, и он чувствовал, что не может дольше находиться с нею в разлуке.

— Все, шабаш! Дуй домой! — приказал Кольке дядя Миша. — Если кто спросит — мы работали до шести.

Колька не заставил себя долго упрашивать, он был человеком покладистым. К тому же, его дома ждала подружка и шесть банок пива, он беспокоился, как бы в его отсутствие они не познакомились друг с другом слишком близко. Колька дождался, пока дядя Миша скроется в слуховом окошке, и удалился.

А дядя Миша, просочившись на чердак дома номер пять, обнаружил, что люк заперт.

— Ух ты! — удивился дядя Миша.

Он подергал люк, пнул его ногой. Люк не поддавался.

— Ишь ты! — сказал дядя Миша.

Несчастный аббат Фариа, заключенный в подземелья замка Иф, выкопал подземный ход голыми руками. У дяди Миши была при себе лопата, вне всяких сомнений, его положение было гораздо более выгодным. Он воткнул лопату в щель люка, налег, крякнул, выругался и сломал лопату.

— Ах ты!.. — сказал дядя Миша.

В принципе, ничего непоправимого в ситуации не было. В наш век высоких технологий достаточно просто позвонить по сотовому телефону, чтобы вызвать себе подмогу, где бы вас ни заперли: в замке Иф или на чердаке дома номер пять. Проблема заключалась в том, что сотового телефона у дяди Миши отродясь не водилось.

Оставался последний выход. Дядя Миша высунулся из слухового окна наружу.

— Колька! — крикнул он. — Колька, собачий сын! Ты там?..

Собачий сын Колька ему не ответил, в этот момент он уже находился на полпути к дому, предвкушая свидание с девушкой и алкогольными напитками. Тогда дядя Миша выбрался на крышу, снова привязал себя к трубе вентиляции и осторожно подобрался поближе к краю крыши, чтобы лучше видеть окрестности. Оттуда, нависая над грешной землей, словно орел на утесе, дядя Миша принялся кричать.

— Люди! — кричал дядя Миша. — Э-эй! Помогите, люди! Э-э-й!

Никто его не слышал. Рабочий день был в самом разгаре, проститутки и наркоманы, проживавшие в доме номер пять, все еще находились на своих рабочих местах. Во дворе было пусто.

— Эй, ну хоть кто-нибудь! — вопил дядя Миша. — Собакины дети!

Через пять минут он перешел почти исключительно на слова с буквой «ять», а еще через десять охрип.

— Твою хрр! — сказал дядя Миша, хватаясь рукой за горло.

И потерял равновесие.

Тем временем на кухне шестого этажа, в квартире бабы Кати, баба Нюра размешивала варенье в кружке с чаем. Старухи только что закончили обсуждать соседей и как раз собирались взяться за героев телесериалов.

Именно эту минуту дядя Миша выбрал для того, чтобы упасть с крыши. Страховочный трос остановил его падение на уровне шестого этажа, а бессердечная сука инерция увлекла его, хрипло матерящегося, задом вперед, прямо в окно кухни. Если вы думаете, что застекленное окно может представлять серьезное препятствие для задницы сорокасемилетнего разнорабочего, падающего с крыши, я вынужден вас огорчить. Это не так.

Дядя Миша выдавил стекло прямо на кухонный стол, и тут же снова исчез за окном. От неожиданности баба Катя издала нечеловеческий вопль, а баба Нюра выплеснула в окно чашку чая вместе с ложкой.

В жизни разнорабочих случаются и более приятные дни, например, дни зарплаты, или вечер пятницы. Этот день был не такой. Дядя Миша висел, раскачиваясь на страховочном тросе, словно маятник, то появляясь в поле зрения старух, то снова исчезая, и непрерывно сипя бранные слова. Осколки стекла не нанесли его корме никакого урона, но туда попал полный заряд горячего чая с малиной, отправленный меткой рукой бабы Нюры.

— Батюшки! Да ведь воры лезут! — вдруг догадалась баба Катя.

В углу у нее имелся веник, баба Катя схватила его, высунула руку за окно и принялась лупить дядю Мишу.

— Вот тебе, паразит! — приговаривала она. — Не лазай в чужие квартиры! Вот тебе!

Дядя Миша отплевывался и хрипел. Будь он голубем, он мог бы просто улететь прочь, но увы, разнорабочий, привязанный к трубе, никогда не сможет улететь далеко. Дядя Миша впервые в своей жизни сожалел об этом.

С крыши дядю Мишу сняли только через час.

Неделю спустя, когда он смог снова выйти на работу, родной ЖЭК отправил его сбрасывать снег с крыши дома номер двенадцать. Дядя Миша хлопнул Кольку по плечу и вручил ему новую лопату.

— Вперед, — сказал он Кольке. — Я в тебя верю.

**На дне**

В доме №3 по Голещихинскому переулку пропала вода. Приехал экскаватор, выкопал во дворе яму двухметрового роста, искал трубы, но не нашел. Рабочие посмотрели в яму, огорчились, плюнули и решили завязать с археологией до утра.

Поздно вечером дядя Митя шел домой и упал в яму. Он не знал, что она есть во дворе, просто шел наугад и нашел ее. Правда, рабочие оставили ограждение в двух местах — с передней стороны ямы, и с задней, никто ведь не предполагал, что дядя Митя зайдет с флангов.

Оказавшись внизу, дядя Митя захотел выбраться на волю, в пампасы, но потерпел неудачу. Дядя Митя начал громко кричать то, что полагается кричать при падении в яму. Вы знаете все эти слова, я не буду их перечислять.

От звуков родной речи проснулись соседи, вышли на балконы, всем хотелось знать источник трансляции. Живое существо, попавшее в яму, всегда вызывает живейший интерес у своих собратьев. Всем любопытно, как оно будет оттуда выкарабкиваться. Если существо умеет еще и материться, от этого шоу только выигрывает.

Потом из дома вышел дядя Боря, протянул страдальцу руку помощи. Дядя Митя потянул его за эту руку и уронил вниз на себя. Оба стали кричать дуэтом, хотя и немного невпопад. Дядя Митя винил дядю Борю в неустойчивости. Дядя Боря тоже нашел какие-то аргументы, очень убедительные, в основном относившиеся к генетической ущербности дяди Мити. Потом они как-то нашли общий язык, один подсадил другого, и мало-помалу оба выбрались на поверхность планеты. Зрители на балконах, ожидавшие большего накала драмы, разошлись разочарованные.

На следующий день, ближе к вечеру, рабочие с экскаватором вернулись обратно. Оказалось, что вчера копали не в том месте, стало ясно, почему ничего не нашли. Яму во дворе закопали, и выкопали новую, на этот раз со стороны улицы. Уже на глубине полутора метров стали встречаться признаки погребенной цивилизации, в частности телефонный кабель. Кабель пал жертвой раскопок прежде, чем его успели заметить.

После краткого обсуждения было принято решение остановиться на достигнутом и уйти. Был вечер, а сложные решения лучше принимать на свежую голову.

Вы уже догадались, да? Поздно вечером дядя Митя шел домой.

Он помнил, что во дворе дома в земной коре зияет двухметровое отверстие, и решил обойти дом с другой стороны. Утром, когда он выходил из дому, яма во дворе еще была, а на улице ямы не было. Дядя Митя не знал, что в его отсутствие приходили рабочие и поменяли ямы местами.

Он упал вниз в яму и нашел там порванный телефонный кабель. Если кто не знает, в момент вызова напряжение в телефонной линии достигает 110 вольт, в этом кроется разгадка тайны, почему связисты не любят зачищать провода зубами. Дядя Митя в падении нащупал кабель руками. Так совпало, что как раз в этот момент кто-то пытался дозвониться до дома № 3 по Голещихинскому переулку. Кабель был поврежден, до телефонного аппарата вызов не дошел. Вызов принял дядя Митя.

Когда-то очень давно дядя Митя получил образование электрика в ПТУ, там ему рассказали, что делать, если произошло короткое замыкание человека с электричеством. Теперь полученное образование ему пригодилось. Дядя Митя издал звуки слияния человека с возбужденной телефонной линией. На этот раз ему не потребовалась помощь дяди Бори, чтобы выбраться из ямы. Получив заряд бодрости, дядя Митя одним прыжком одержал убедительную победу над гравитацией. В предыдущей яме ему было намного комфортнее.

Оказавшись снаружи ямы, дядя Митя наложил на археологов такое витиеватое проклятие, что Тутанхамон умер бы от зависти еще раз. Весь дальнейший путь до квартиры дядя Митя проделал, держась одной рукой за стену, а ногами прощупывая почву перед собой. Даже в подъезде он на всякий случай проверял на ощупь каждую ступеньку. Он уже ни в чем не был уверен.

На следующее утро, сразу после обеда, к дому № 3 по Голещихинскому переулку вернулись рабочие. Хотели засыпать вчерашнюю яму, но в ней сидели обозленные связисты с местной телефонной станции. Очень сердитые. Произошел конфликт, связисты предложили рабочим искать свои трубы в другом месте, неподалеку от фаллопиевых.

Рабочие так далеко уходить не стали, просто выкопали еще один шурф, пятью метрами левее предыдущего. На этот раз трубы нашлись. Рабочие обрадовались, очень увлеклись и прорыли траншею, длинную, как добротный удав. Траншея пересекла тротуар и захватила даже немного проезжей части. Для удобства пешеходов через нее был переброшен мостик из трех досок. Внизу, под досками, плескался беломорканал.

Как обычно, поздно вечером дядя Митя шел домой.

Вообще-то будни электрика заканчиваются в шесть-ноль-ноль, после шести дядя Митя свободен, как Анджела Дэвис. Но так сложилось, что в понедельник дяде Мите выдали зарплату. Электрик тоже человек, он слаб. Он не может противиться искушению купить поллитру и употребить ее внутриутробно. Поэтому дядя Митя возвращался домой поздно.

Был ведьмин час, на небе светила луна, и в лунном свете прямо перед дядей Митей внезапно появилась траншея.

Случись это днем раньше, он не колеблясь упал бы в нее. Но сегодня все чувства дяди Мити были обострены, он знал о коварстве трубокопателей и был морально готов к траншеям. Дядя Митя прошел по мосткам грациозно, как мисс Вселенная по подиуму, только небритая и с перегаром. Оказавшись на другой стороне подиума, дядя Митя воскликнул:

— Ха! Съели, землеройки?

Когда мудрый царь Соломон говорил: «Гордость предшествует падению», он имел в виду конкретно дядю Митю. Ослепленный гордыней, дядя Митя сделал несколько шагов, и упал в яму с телефонным кабелем.

Буквально через несколько секунд об этом его приключении узнал весь дом. Падая, дядя Митя сломался в хрупком месте, и в свой крик вложил всю экспрессию, на какую способен сорокалетний электрик.

На балконы вышли заинтригованные соседи. По отдельным звукам и словосочетаниям им удалось установить суть происходящего, кто-то вызвал скорую помощь. Пока она ехала к Голещихинскому переулку, дядя Митя успел обогатить русский язык шестью новыми отглагольными прилагательными и просклонять слово «яма» одиннадцатью разными способами.

Приехал врач, посветил в яму фарами, поразился, как низко может пасть человек. Дядю Митю извлекли из ямы и красиво оформили в гипс.

Следующие два месяца дядя Митя своими белыми округлыми формами напоминал фарфоровую кису. Первую неделю ему мучительно хотелось выпить, остальное время он провел, мечтая почесаться. Под гипсом дядя Митя сросся на славу, когда его вынули наружу, он сразу пошел и купил поллитру. Накопилось много дел, он стремился наверстать.

А через неделю в доме № 7 по Голещихинскому переулку тоже пропала вода.

Приезжал экскаватор, искал трубы.

Не нашел.

1. Бирштейн Александр «Дача», «Сны Чистякова»

***Бирштейн Александр***

**ДАЧА**

Я дернул дверь. Она открылась и выдохнула змеиный запах застоявшегося помещения. Доски пола растопырили щели, забитые тишиной. Вдоль стены в очереди стояли бутыли. О, какое тут когда-то было вино!

- Выпей стакан вино, - говорила бабушка, - и скушай тарелка суп!

Вино делали из виноградной смеси, росшей на участке. Изабелла, Лидия, Шасла, Молдова… Это еще что! Вино ставили в сентябре, когда люди с дач съезжали. Что давало дополнительный виноград. Бабушка жила на даче до третьего октября. По традиции именно в этот день идет первый осенний дождь, холодный и нудный. Я и родители приезжали по воскресеньям, привозили ей продукты. Наезжали и другие родственники. Вина на зиму хватало всем. Хорошего вина! Впрочем, я уже об этом говорил. Вино было не очень крепкое, что вызывало возражения.

- Чачу! Чачу надо делать! – настаивал сосед Тапочкин. – Несерьезные вы люди!

При этом он отстаивал свое неотъемлемое право на жом, оставшийся в бутылях. Он снабжал этот жом водой и дрожжами, а после перегонял раз, потом другой… Самогон, по-человечески разбавленный чаем, назывался коньяком и продавался курортникам за неумеренную цену. Мне Тапочкин выдавал неразбавленный напиток, прилагая к нему два-три спелых абрикоса.

- Пей! – говорил он. - Закусывай! – добавлял он. – От моего угощения болеть не будешь!

И правда. От его продукта не болел ни я, ни он, хоть мы, порой увлекшись, брали на грудь довольно много. За разговорами, ясное дело. Правда, закусывали не абрикосами. Для такого дела шли маленькие, с мизинец, соленые огурчики с пупырышками и прилипшим смородиновым листом. К огурчикам полагалось розовое, как рассвет, сало, сахарные помидорчики прямо с грядки, а также черный, слегка липкий хлеб со свежим маслом. Масло было только что из погреба, со слезой. И, разумеется, базарное. Его густо мазали на хлеб. Считалось, что от этого почти не пьянеешь.

Говорили, в основном, о войне. Тапочкин почему-то любил о ней говорить. То есть любой разговор начинался с футбола, женщин, политики, но все равно сводился, в конце концов, к войне. Да и угощение на столе в полном объеме появлялось не сразу, а когда разговор доходил до нужной темы. Ха, разговор! Говорил один Тапочкин. Кто-кто, а он навоевался от души, наступая в первые дни, потом отступая, партизанил под Кодымой, когда Одессу оставили румынам, потом опять отступал и наступал уже в действующей армии.

- Спасал я вашего брата, спасал! – хвастает Тапочкин, наливая по третьей, или уже по четвертой - не помню.

«Вашего брата» означает евреев. Но я не обижаюсь. Спасал же. Я знаю, что Тапочкин не врет. Проверено…

- Их убивать у оврага, что у реки, приводили. Ну а мы старались успеть. И успевали обычно. Если неподалеку воевали. Раза четыре, наверное, не меньше. Думаешь, немцы евреев убивать вели? Немцы тоже были, да не те! Колонисты! Эти самые лютые! А еще полицаи, ну и желающие среди населения всегда имелись. А мы врагов из автоматов вовсю крошили. Евреи и разбегались.

- Куда? – растерянно спрашиваю я.

- А кто куда. Одни прятаться, другие сдуру к партизанам…

- Сдуру?

- Ну да! Партизаны, они всякие были. Бандиты, которые по лесам ховались, тоже себя партизанами именовали. И грабили, и убивали почище немцев да румын. Да и настоящие, как мы, партизаны евреев не шибко-то и любили. Странные люди вы, евреи. Вас бьют, а вы все с дружбой лезете. Нападут беглые или лагерные евреи на полицаев или румын, поубивают, оружие заберут - и к партизанам. А те оружие отберут и евреев в шею. Так что ты думаешь? Эти чокнутые, раз такое дело, свои отряды создают. И воюют!

- А потом что? – спрашиваю я.

- А откуда я знаю? Что-то ты совсем не пьешь!

- Так вы ж не наливаете!

Наливал. Пили… Так ночь могли просидеть. Жизнь продолжалась. Летняя жизнь. Ленивая.

Утром я вставал, шести не было. И спускался к морю. К воде вела тонкая, как проседь, тропинка, чуть петляющая среди травы и кустов. Миг - и я у двух скалок, склонившихся над водой. Я всегда любил дикие пляжи. И вода чище, и посторонних нет. А об эту пору вообще никого! Утренняя вода прохладна. Но это ровно до того момента, пока не нырнешь. Поэтому терплю и медленно, чтоб без брызг, вхожу в воду. По колено, по пояс… Плашмя кидаюсь, плыву, разбрасывая брызги. Быстро-быстро, подбирая ладонями золотые солнечные блики, разбросанные по воде. Отплыв метров тридцать-сорок, ложусь на спину и смотрю вверх на синее-синее с утра небо, поддернутое с краю рыжинкой. Потом возвращаюсь на берег, падаю на расстеленное полотенце. Рядом копошится мелкая крабья шпана. Крабы постарше передвигаются боком, наглеют и щипаются.

- Ух, я вас! – угрожаю им.

На скалках вьют гнезда первые рыбаки. Они трусливо переговариваются и пришептывают над наживкой.

Я подымаюсь наверх, на дачу, где на двух примусах, поставленных на кирпичи, кипит чайник и калится сковородка. В сковородку бабушка наливает постное масло, в нем слегка обжаривается ветчинно-рубленная колбаса, к колбасе добавляются помидоры, колечки лука, потом уже яйца. В самом конце она кидает в яичницу горсть мелко нарезанной зелени. Чай, яичница, которую можно есть прямо со сковородки, брынза… И хлеб, который мне разрешено – Только никому не говори! – ломать прямо от буханки. Так в сто раз вкуснее!

Поев, беру книгу и ложусь в гамак, прикрученный с одной стороны к ореховому дереву, закрывающему гамак тенью, с другой - к железной ноге душа.

- Надо почитать, - думаю я, - надо почи…

Качаются ветки на головой, изредка пропуская тонкие солнечные лучи, качается мир… Сплю.

Трижды в неделю я лишен этого кайфа. Надо ехать на Привоз. Бабушке уже трудно. Да и зачем?

- Иметь такой взрослый внук и самой ездить на Привоз? – удивляется она. И не ездит. А просто диктует список продуктов. Сама написать этот список отказывается, ссылаясь на зрение. Но очки надевать не хочет.

У бабушки за спиной трудная жизнь и несколько классов еврейской школы.

На Привоз стоит ехать рано утром, когда цены еще не сложили, или часов в пять, когда селяне почти распродались и спешат домой, уступая и уступая. Но в пять еще жара, а какой дурак попрется на Привоз в жару. Разве что приезжие. Отдыхающие, так сказать. А я еду утречком, когда трамваи еще просторны, а солнце полно доброты. Выхожу на Куликовом поле, дальше - мимо вокзала. Мне туда, где пришедших встречают приземистые лабазы рыбных корпусов. Тут не задерживаюсь. Речная рыба больно дорога, а бычков ловлю сам со скал или с тем же Тапочкиным из лодки. Ну и скумбрию, конечно.

Мясо покупаем раз в неделю, и бабушка варит борщ или фасолевый суп. Борщ я люблю больше, но у бабушки свои виды на готовку. Впрочем, по списку, продиктованному мне, всегда можно довольно точно узнать, что будет на обед, на ужин, на завтрак. Брынза, сметана, почеревок, говядина с косточкой… Мозговой! Будет, будет мне борщ! Овощи в основном растут на участке. Яйца мы берем у соседей. Удобно!

На обед действительно борщ. К нему полагается тонкий зеленый жгучий перец. Не весь, конечно, а только кончик, который, положив в ложку, надо поболтать в жидкости. Борщ получается жгучим, даже сметана не до конца это жжение смягчает. Это, конечно, на любителя, но мне нравится. Еще нравится выколачивать из мозговой кости сам мозг и есть его, обильно посолив. В котлеты бабушка не пожалела чеснока. Я возражаю. Правда, неуверенно. Вдруг скажет:

- Не хочешь, не кушай! – и что тогда? Но бабушка говорит совсем другое, не менее обидное.

- Ты посмотри на этот жених без невеста! Сначала познакомься с хороший девочка, а потом думай об целоваться!

Бабушка права. Мне уже восемнадцать, а постоянной девушки нет. Как-то так получается. Под праздники начинаю лихорадочно искать себе пару, нахожу кое-как, ибо прилично и необходимо приходить в компанию с барышней. Во время праздников обычно выясняется, что «мы такие разные»… В общем, как-то так. Ну и не надо.

После обеда опять гамак. Но эта бабушка разве даст отдохнуть усталому человеку? Подмети и полей дорожки, опять же, едва солнце повернет на вечер, полей огород и сад. Каторжный быт у меня, каторжный!

- Я его с детства приучила к работа! – хвастает бабушка родителям, когда они раз в неделю-другую появляются на даче. А те и уши развесили:

- Надо же, а дома он пальцем о палец не ударит!

Бабушку послушать, так она Макаренко, Сухомлинский и Корчак в одном лице. Правда, она понятия не имеет, кто они такие.

Набираю воду, взбрызгиваю дорожки, чтоб пыль не поднимать, мету… Потом спускаюсь в неглубокую, меньше метра, шахту. Там кран. Надеваю на него конец шланга, поднимаюсь наверх, разматывая шланг. Если напор хорош, разматывать можно несильно, если слаб, придется таскаться с ним по всему участку. Шесть соток - это все-таки немало… На конец шланга надета сплющенная трубка, вода, вылетая под напором, переливается радугой. Прибитая пыль и смоченная земля издают горький последождевой запах. Хорошо!

А потом надо поскорее к морю. Главное, до полной темноты. Нет-нет, этой самой темноты я не боюсь, а боюсь спугнуть парочки, засевшие в кустах. Они ждут, пока пройдут пограничники, чтоб наконец ринуться на песок и заняться любовью. Фонари погранцов видно издалека. Вот они приближаются, идут по пляжу, дальше, дальше… Можно! Время между проходами полчаса. За это время надо успеть расстелить подстилку, сбросить лишнее, а лишнее – все, ну и основным заняться. Времени хронически мало, поэтому вся предварительная подготовка проводится в кустах. Вид одинокого мужика, пробирающегося меж обнаженными телами, может вызвать вопросы и недоразумения.

Когда уже совсем собираюсь выйти к морю, бабушка приносит авоську и нож. Значит, кроме купания надо нарезать водоросли с облепившими их мидиями. Бабушка делает из них плов – пальчики оближешь.

- Еда нищих! – презрительно обзывают плов из мидий незнающие люди. Пусть им. Вкуснейшая, скажу я вам, еда, этот самый плов. Но чтоб им полакомиться, надо потрудиться. Нарезать водоросли, притащить полную авоську ракушек домой, отрывать моллюски от тины, мыть и кидать их в кастрюлю с кипящей водой. Вскоре они раскрываются, тогда их надо вытаскивать из кипятка и кидать следующие. В каждой раковине по комочку – сама мидия. Из полной авоськи ракушек получается не больше пол-литровой баночки мидий. А нам хватит! Не знаю, как кто, а бабушка сперва отваривает рис, а потом только приступает к главному. В казане жарится лук, к нему добавляется морковка, потом приправы, а уж когда все готово, к морковке и луку кидают мидии. Буквально на три минуты! Раньше мидии тушили вместе с рисом и луком-морковкой, было тоже вкусно, но мидии становились более жесткими, упругими, как резиновые. Не то, решила бабушка, и теперь готовит по-новому. Когда варево в казане поспеет, туда просто добавляют немного – треть стакана – кипятка и рис. Перемешивают. Вкуснотища! А мидии просто тают во рту!

Но плов будет завтра, а пока, надев чистую рубаху и джинсы, рулю в Аркадию. С дачи в Аркадию можно двумя путями. Можно, пройдясь до седьмой Фонтана, а оттуда вниз по Посмитного, а можно тропкой вдоль моря. Надо ли говорить, что я выбираю второй вариант.

В Аркадии народу! Не сосчитать. Приезжие-курортники, приезжие-дачники, просто дачники и горожане. Городские любят сюда ездить, потому что тут не надо спускаться к морю и подниматься от него. Вышел из трамвая номер пять и идешь до пляжа. Таких «ровных» пляжей в Одессе всего три: Лузановка, Аркадия и Черноморка, она же Люстдорф. Но Люстдорф далеко – больше часа трамваем от вокзала, да и Лузановка неблизко. Стало быть, народ в Аркадию норовит. Тут тебе и кино, и танцы, и ресторан прямо у трамвайного круга. И море, разумеется. Только я в это море и за большие деньги не полез бы. Там, где я купаюсь, вода всегда чистая.

Вокруг Аркадии множество санаториев. И почти в каждом вечером кино. Можно выбирать. Тем более что афиши прямо тут, на центральной аллее. Борьба за зрителя, так сказать. Ну и что на афишах? «Большая семья» с Алексеем Баталовым, «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Возвращение Максима» с Чирковым Борисом. Этот фильм снимал двоюродный брат бабушки Иды, маминой мамы, поэтому я смотрел его сто раз. О, вот и почти новье: «713 просит посадку». В общем, как говорил, выбор широк. Я и выбираю… танцы. Поэтому возвращаюсь на дачу поздно. Возвращаюсь я той же тропой над обрывом. Светло: луна и огромные, мохнатые звезды «работают» в полную силу. На веранде, чтоб я не заблудился в ночи, горит настольная лампочка. На столе - накрытая блюдцем кружка с молоком. На другом блюдце горбушка серого хлеба. Знаете, а это самый лучший не то ужин, не то ранний завтрак в мире!

Там же на веранде мой топчан, на который я с удовольствием падаю, успевая подумать:

- И почему это утро вечера мудре…

На дачу к бабушке Софе, папиной маме, я езжу вот уже лет пять, наверное, каждое лето. Дело в том, что, желая дать отдохнуть от моих проделок населению двора, родители, было, намылились сдавать меня в пионерский лагерь. Лагеря бывали разные, итог один – я сбегал. Рекорд моего пребывания за забором был невелик и составил восемь дней. Остальные попытки заканчивались еще более неудачно. Для родителей, разумеется.

Тогда папа придумал отправить меня к бабушке. Такая идея не вызвала энтузиазма ни у меня, ни у мамы. Мама с бабушкой не очень-то и ладили. Что до меня, то мне отлично было и во дворе. Родители на работе - и полная свобода! Но после поджога дустовой шашки в дворовой уборной, причем отнюдь не пустовавшей, вопрос о моей свободе даже не стоял. Делегации соседей с требованием «хоть немножко покоя» оббивали порог квартиры.

- На дачу! – постановил папа.

- Все равно сбегу! – огрызался я.

Тогда папа купил мне зеленый велосипед «Орленок». И повез вместе с ним к бабушке на дачу.

- Сбегу на велосипеде! – бубнил я.

- Сперва научись кататься! – смеялся папа.

Я научился. Но к тому времени, сбегать мне совершенно не хотелось. Вокруг столько интересного, невиданного. Даже моя пакостность под влиянием грандиозного распахнувшегося мира куда-то исчезла, проявляясь только изредка – не терять же квалификацию! – и почти неопасно для окружающих. С утра, набив сумку, притороченную к багажнику, провизией, отправлялся в неизведанные края. Сперва недалеко, до Отрады, или в другую сторону - до десятой Фонтана, потом все дальше и дальше. Недели через три после ссылки добрался и до Ланжерона, но мне и в голову не пришло подняться наверх в парк Шевченко и покатить домой на Жуковского. Когда через месяц родители решили вернуть чадо домой, мы с бабушкой объяснили им, что это глупости, издевательство над ребенком, которому надобно быть на воздухе, что еще август впереди, а там посмотрим. Может, в сентябре… Но не обещали. Родители недоверчиво уехали, но с тех пор на дачу зачастили. Я принимал их сдержанно и… покорно. Это задевало. Ревновали они, что ли? Количество благ, которые сулили мне в городе, все возрастало. Но, опять же, я не спешил ими воспользоваться. Впрочем, в сентябре я как миленький вернулся, но о даче уже мечтал. И на следующий, и на все последующие годы отправлялся «в изгнание» охотно и с радостью. Круг моих знакомств невиданно расширился за счет местных дачников, их чад, ну и массовиков-затейников санаториев. А еще позже к ним прибавились и приезжие барышни, несколько превосходящие меня возрастом.

Вчера, во время купания, приметил в малюсенькой, метра два в диаметре, лагунке, невиданное количество рачков. Поэтому сегодня вышел пораньше, прихватив самолов и сачок. И не напрасно. Черпая сачком, раз за пять набрал полную банку рачков – лучшей в мире наживки на бычка. Потом, облюбовав место на одной из скалок, пристроился и приступил к лову. Вечером должны приехать родители, а их надо кормить, ибо, что они там едят в своем городе? Вытащив из банки рачка, отрывал ему голову, насаживал с хвоста на крючок и закидывал в воду. Вскоре начинались легкие подергивания – это бычок пробовал, а потом и рывок. Я подсекал и тащил бычка из воды, по сопротивлению определяя размер добычи. Обычно реальность уступала ожиданиям, но жаловаться не приходилось. Вытащив за час с полсотни бычков, искупался и отправился домой. Бычки-то с грехом пополам позавтракали, а я нет.

Бабушка отбирает самых крупных бычков для жарки, остальных жертвует мне:

- Уху будешь делать сам!

Дело в том, что у нас серьезные и непримиримые разногласия по поводу ухи. Бабушка уверена, что уху надо готовить на курином бульоне, и ни на какие уступки не идет. Я бабушкиных фантазий не разделяю. Беру марлю, заворачиваю в нее головы и хвосты, опускаю в кипящую воду, снабженную луковицей и морковкой с корешком петрушки, примотанными друг к другу нитками, варю минут десять, потом вынимаю луковицу и марлю, а ее содержимое выбрасываю, к огромной радости кота Юзика и его сожительницы Маси, «подаренных» бабушке Тапочкиным. Потом кидаю в варево шинкованные овощи, лаврушку, перец, а после них настоящую рыбу. Через несколько минут снимаю кастрюлю с огня, солю, если надо, пробую и завершаю готовку снопом мелко порезанной зелени. В одном мы с бабушкой сходимся – ни картошку, ни крупу в уху не кладем.

Родители привезли бутылку кислющего вина «Перлина степу». Пить я отказался. За это меня долго хвалили. Они ж не знали, что незадолго до их приезда заявился Тапочкин и предложил «посидеть-поговорить». Выходит пить я буду кое-что повкусней. Бабушка метнула на стол жареных бычков, огурчики, перцы, помидоры с огорода… Родители уехали сытые и довольные. И это хорошо. Надо же несчастным горожанам поесть по-человечески.

А я завалился к Тапочкину. Заявленной темой разговоров был футбол. Обсудили… Минут за пять. А потом… Да-да, конечно, война. Никак Тапочкин от нее не отойдет. И еще: у него есть собственное, довольно необычное мнение по каждому обсуждаемому эпизоду. Например, он считает, что Гитлер в первые месяцы войны побеждал потому, что Красная Армия воевать не хотела.

- А зачем людям было за Таракана воевать? Натерпелись. Сколько людей по тюрьмам-лагерям сидело, скольких сгубили… Голод тут, голод там… Вот и думали: Гитлер придет - легче станет.

- А как же, когда в бой наши шли, «За родину, за Сталина!» кричали? – возражаю я, впрочем, не очень уверено.

- Попробуй не крикни, - смеется Тапочкин, - быстро с тобой разберутся!

- И что, все так?

- Нет, - вздыхает он. – Некоторые искренне кричали… Ты ж знаешь наш народ: любят тех, кто бьет. Но воевать все равно не хотели!

- Так воевали же!

- Слухи дошли, как немец лютует. Тогда только и поднялись воевать! Да и заградотряды поставили…

- А это что такое?

- А сзади идущих в атаку пулеметы ставили. А за ними НКВДшники. И били из этих пулеметов по отступающим.

- По своим?

- Для этих своих не было! Про приказ 227 слышал? Его еще называли «Ни шагу назад».

- Вроде слышал…

- Вроде! Чему вас только учат?

Смешной вопрос. Тому, что рассказывал Тапочкин, нас явно не учили. Более того, подозреваю, что меня ничему бы больше не учили, начни я распространять знания, полученные от Тапочкина. Впрочем, информация нуждалась в проверке. Я позже заикнулся - только заикнулся! – о заградотрядах папе. Папа нехорошо усмехнулся и добавил:

- Они еще дезертиров расстреливали!

- Кто?

- Пограничники и НКВД, заградотряды из них состояли! – потом папа спохватился: - Только не вздумай болтать!

А лето длилось…

В принципе, я мог бездельничать, лениться, питаться кое-как, бухать с Тапочкиным, но имелись дни, когда я обязан быть ОХМ-ОПМ, или очень хорошим и очень послушным мальчиком. Это когда приезжают бабушкины приятельницы и дальние родственницы - мадам Гоменбашен, а также другие столь же почтенные старухи. Ну, мадам Гоменбашен знает меня как облупленного и только посмеивается на мои:

- Хорошо, бабушка! Сейчас, бабушка! Конечно, бабушка!

Остальные старухи тихо завидуют и громко восхищаются.

- Я в восторге с этого мальчика!

Но это только начало. Я знаю, что, перемыв косточки всем знакомым, полузнакомым, еле-еле знакомым и некоторому количеству вовсе незнакомых, старухи усядутся пить чай. Стол я накрываю загодя, чайник кипит, по всем правилам завариваю чай под придирчивыми взглядами и… Вот тут и наступает самое главное. Я вношу пирог с абрикосами! А бабушка скромно роняет:

- Мальчик сам пек. Для гости!

Можете себе представить, как внимательно жуют старухи. Но придраться не к чему. Бабушка отличная кулинарка. А я отличный ученик и, если сам не пеку, все равно назубок знаю все ингредиенты, входящие в этот кулинарный шедевр. Потому что последуют вопросы. Чтоб убедиться. Отвечаю…

- Да, три стакана муки. Да, сливочное масло. Да, молоко. Ваниль, сахар…

В общем, рассказываю-заливаюсь.

Старухи уходят рано. Засветло. Я провожаю их до трамвая, смиренно жду, когда он приедет, прошу приезжать почаще… В общем, работаю до самого отхода трамвая с остановки. Вот я сказал «работаю». Так да не так. Мне не в тягость ухаживать и забегать дорогу этим старухам. Мне нравится роль хорошего мальчика из приличной семьи. Почему нет, если недолго?

Фонтан застраивался. Земли было много, а желающих… Ну, не скажу, что больше. Тогда участки под дачи стали выделять заводам, фабрикам, прочим производственным единицам. Так получил участок муж моей тети… И началось. Кто строил деревянный домик, кто каменный, капитальный, с печкой и двойными рамами. То есть кто-то жил круглогодично, кто-то только в сезон. Кто-то обзаводился собаками, кто-то детьми. Дети росли… Поначалу местное детское население встретило меня в штыки. Произошло несколько замечательных драк. Не скажу, что все они закончились в мою пользу, но и противники тоже целыми не ушли. Так что решили не связываться. И я влился в ораву загорелых, поцарапанных, отчаянных дачных пацанов. С собаками дело обстояло хуже. С кем-то удалось подружиться, кто-то в упор не замечал, а вот овчарка мужика, по имени Отто, терпеть меня не могла. Она принимала куски колбасы и даже хлеба, которые я просовывал ей в щели штакетника, она не лаяла, когда я проходил мимо забора, но стоило мне прокрасться на их участок, а там было много интересного, как собака заходилась в гневном, ненавидящем лае, норовя хоть как-нибудь сорваться с цепи.

- Не ходи к ним. Не ходи к этот Отто! – уговаривала бабушка. И добавляла в сердцах: - Не ходи к этот отвернутый.

Под «отвернутым» она, как выяснилось, подразумевала – отвергнутый. Интересное дело, а почему? Но бабушка отнекивалась.

- Это не мальчик, это длинный нос! Всюду сует!

Пришлось применить свои методы.

- Папа, зачем этот Отто, этот отвергнутый, завел такую злую овчарку?

- Чтоб такие, как ты, на участок не лазили! И при чем тут отвергнутый?

- Это его бабушка так называет! Все время!

После этой тирады следовало исчезнуть с глаз и дать папе возможность спросить:

- Мама, а почему ты Отто отвергнутым называешь?

- А он и есть отвернутый! К Алла-большая шесть раз сватался. Прогнала…

В нашей мишпухе были две Аллы. Алла-маленькая – дочь дяди Гриши, старше меня года на четыре, и Алла-большая - дочь тети Жени и, кстати, владелица этой дачи. Но она там почти не жила, наезжая редко и ненадолго. Она была старше меня лет на десять и даже безуспешно пыталась воспитывать. Тот случай!

Как назло, Отто этот и его родня жили на даче весь год, так что добраться до нее и глянуть, что так бдительно охраняет овчарка, у меня возможности не было. Наверное, это к лучшему. Возможно, расколотил бы что-нибудь в сердцах. Тем более что хватало других дач. В августе поспевали персики, виноград, радовали гигантские желтые груши… На нормальные дачи проникать было легко – забором служили или кусты сирени и кашки, или штакетник, причем одна-две штакетины издавна держались только на верхнем гвозде. К дачам, независимо от материала постройки, была обязательно пристроена веранда. На веранде стоял большой стол, окруженный ветеранами городских квартир – стульями. Стульев и примкнувших к ним табуреток было много. Кроме хозяев, к столу вечером сходились и гости. Гости бывали разные – друзья из города или соседней дачи, а также приезжие. Приезжих всегда много. Шумный, как по мне, и ненасытный народ. Всего им мало: моря, солнца, еды и… сметаны. Сметаной они мажутся, обгорев, и выглядят весьма комично.

К нам с бабушкой гости приходят не так часто. В основном мои друзья.

- Они делают мне больную голову! – жалуется бабушка.

У Тапочкина полон дом этих самых гостей. У него вполне законные основания в доме не появляться – тесно. А еще можно исчезать на рыбалку, – гостей кормить надобно! - уклоняясь от обременительных походов за продуктами и керосином. Да-да, керосином, ибо готовят у нас тут на примусах да керогазах. Поговаривают, что скоро разрешат пользоваться баллонным газом. А пока какие-то там препятствия. Я не вникаю. Тем более у нас не один, а целых три примуса. Правда, третий потек, поэтому стоит в сарайчике на полке и ждет мастера-посудупочиняй.

Примус вообще штука универсальная. На нем можно и самогон гнать, как Тапочкин, и обед готовить, и варенье варить. Варка различного варенья занимает почти все лето. Вишня, клубника, черешня, сливы, абрикосы… Мало? А яблочный джем, а варенье из груши? Еще мало? А перетирка из смородины?

Папа варенье не ест с детства. Говорит, что переел. Ладно… Мама тоже варенье не очень любит, тем более сваренное бабушкой, поэтому осенью-зимой отдуваюсь за всю семью. Вероятно, я делаю это успешно, ибо уже весной наблюдается большой дефицит сладкого в бесчисленных банках, которые бабушка выделяет на нашу семью.

Варенье-то я люблю… И печеное с ним тоже. Что не люблю – собирать фрукты-ягоды для этого самого варенья.

Сперва шла вишня. У нас было два вишневых дерева. И на оба надо было залезть с детским ведерком на веревочке, – веровочке, как говорила бабушка – набирать в это ведерко вишню и аккуратно спускать бабушке. И так десятки раз. Замахаешься. Но это не все. Еще надо добывать из вишни косточки с помощью скрепки. Ужас какой-то. И руки потом не отмывались. Однажды бабушка вообще затеяла шпиговать вишню кусочками грецкого ореха. И… нарвалась на бунт. Так что пришлось ей ограничиваться обычным вареньем. В два таза насыпались послойно вишня и сахар, доливался вишневый сок, получившийся при выемке косточек. Через час-полтора вишня обильно пускала сок, и можно было варить. Бабушка варила варенье в два или три приема. Не помню уже сколько. Чем больше, тем лучше, ибо каждый этап заканчивался снятием пенки. А вишневая пенка – это счастье навек.

Еще до вишни варили варенье из клубники. Варили? Именно! Ибо кто пер с Привоза берестяные лукошки с ягодами? Кто обрывал у ягод хвостики? То-то! Остальную легкую работу делала бабушка. Ибо разве это труд кинуть принесенные и почищенные мной ягоды в таз и засыпать сахаром? А на огонь тяжелый таз ставил, кстати, я. Бабушка только сидела на скамеечке и наблюдала, как сок, сквозь который проглядывали острые мордочки ягод, взбухает, идет пузырьками…

Думаете, мне можно было отдыхать? Ага, тот случай!

- Шурка! Отгоняй осы! – командовала бабушка.

Осы вообще вредные звери! Знаю, знаю, что насекомые, но кусаются они зверски. Меня тяпали, причем не раз. Больно! А главное, укушенное место позднее чешется неимоверно…

Вскоре наступал черед черешни - сперва черной, потом белой. Варенье из белой черешни, сваренное с апельсиновой цедрой, нежно люблю до сих пор.

Особое - я бы сказал, самое пристальное - внимание уделялось сливовому джему. У бабушки именно он, сдобренный орехами, шел на начинку штруделя – традиционного десерта практически всех семейных застолий. Но я отвлекся. Не помню уже – раньше или позже слив поспевали абрикосы. Абрикосовых деревьев, как и слив, было тоже по два дерева. Знаете, как это красиво: оранжевые шары абрикос на зелени. Абрикосы очень даже шли в еду. Представляете, бабушка суп из них делала. Но главное - варенье, рыжее и очень ароматное. Варить его очень просто, даже я умел. Абрикосы пополам, выдернуть косточки, половинки засыпать сахаром и на огонь. Закипели – снял, и так пару-тройку раз. Делов куча. А косточки… Мал был - несколько косточек шли на свистки. Берешь косточку и трешь о цемент до дырочки сбоку, потом иголкой тащишь кусочки бубочки оттуда. Все! Свисток готов. Но лучшее дело – сами бубочки. Разбил косточки, добыл бубочки, чуть подсушил и в раствор – крепкий! – соли. Сварил, высушил, кинул на сковородку и чуть поджарил. За уши не оттянешь. Во всяком случае, семечкам нечего делать. Впрочем, семечки ем только на футболе. Тут уж никуда не денешься.

Сначала, я ходил на футбол с папой. Вернее, папа, которому надлежало погулять с ребенком, тащил меня на футбол. Пару раз я, конечно, терялся, и папе приходилось на потеху другим болельщикам пробираться в подтрибунное помещение, дабы получить меня обратно. Один раз мне удалось пробраться на беговую дорожку. Оттуда смотреть за дядьками в трусах, гоняющими, как наши пацаны, мячик, было интересней. Мне и папе не повезло. Защитник ОДО Джанни Каллис, вынося мяч в аут, сшиб им меня с ног. Я пал на гаревую дорожку и завопил так, что генерал Радзиевский – тогда командующий округом – распорядился узнать, что с ребенком. В общем, когда папе меня вернули, он уже наслушался всякого. Да и дома… Я ж не мог оставить в тайне от общественности такое выдающееся событие.

Вскоре я стал ходить на футбол самостоятельно. И без билета, разумеется. Целый рубль за детский билет. Не напасешься! На стадион я и такие, как я, проканывали. Пристроишься впереди какого-то мужчины и… вперед мимо билетера. Он-то думает, что ребенок с папой. Некоторые лазали через забор. Но это было чревато. Милиции на матчи пригоняли много. А на особо важные встречи конную милицию выставляли.

В день матча транспорт всегда забит до отказа, поэтому я придумал себе потрясающий маршрут: пешком до Аркадии, потом катером до Ланжерона, оттуда через парк на заветный угол к месту встречи с друзьями. Море удовольствия, а не поездка. Представляете, примоститься у левого борта и глядеть на берег. А он близко – метров сто пятьдесят. Пляж Дельфин, клиника Филатова высоко наверху, сюда мы порой приходим с Тапочкиным на лодке тягать бычка или дурить скумбрию. Становимся прямо против здания клиники и - вперед. Отличное место! Дальше Отрада с буксиром на мели. С буксира тоже неплохо бы рыбачить, но уж больно его загадили бичи. А дальше – Ланжерон, парк и в конце путешествия футбол.

Вот интересно, на даче мы в футбол не играли. И не то, что негде было. Пустырей тогда еще хватало. А просто как-то ноги не доходили. То налет на чей-то сад, то велопробег на дачу Ковалевского, то рыбалка… И купание, купание, купание… Вот подумал, у меня как-то не осталось дачных друзей. Подходило время отъезда, прощались, грозились звонить-заходить. И пропадали друг для друга до лета. Встречались настороженно, опять приглядывались друг к другу, сравнивали…

Единственный человек, всегда встречавший меня радостно, - это Тапочкин. Как и не расставались. Он с ходу предлагал продегустировать что-то новое, только-только им изобретенное. И опять мы засиживались далеко за полночь. Когда я был школьником, мне полагалось пить вино, разбавленное – и щедро! – соком. Когда поступил в институт, был допущен до чачи. Кстати, и в институт поступал я «с дачи». Сидел, зубрил, садился в трамвай, обязательно в первый вагон и с первой площадки, ехал, сдавал…

Тапочкин терпеливо ждал меня с экзамена.

- Рыжий, ну как?

Я показывал ему пять растопыренных пальцев, и он радовался больше меня. Бабушку не очень волновали мои успехи на ниве просвещения.

- Ну ты уже можешь немножко покушать? – спрашивала она и махала на Тапочкина руками. Уходи, мол, видишь, ребенок голодный!

Я действительно никогда не ел перед экзаменом. Ни в школе, ни при поступлении, ни в институте. Бабушка метала на стол центнеры провизии, а я делал вид, что жутко голоден, хотя после экзамена уже совершил налет на пирожковую на углу Канатной и Пироговской. После еды можно бы на море, но солнце уже высоко, а гамак так уютно покачивается в тени. И ветерок… И дымка…

Дымок из трубы Васькиного дома посреди лета означал не раннее похолодание, а только то, что Васькин папа дядя Слава забил кабанчика. Да-да, у Васьки держали кабанчика! И забивали его в конце августа, так чтоб все вкусности поспели к двойному дню рождения: Васькиной мамы тети Лоры и самого Васьки.

Васька знал, что звать меня надо, когда кабан забит, обшмален, разделан. Мол, дальше я выдержу. И правда, в приготовлении фарша и рассола для окороков не было ничего ужасающего.

- Крови боишься! – укорял Васька.

- Ну ты же знаешь, что нет! – возражал я. И Васька затыкался. Ибо помнил, кто тащил его, окровавленного, после падения со скалы домой вверх, в гору.

- Ты мне жизнь спас! – выспренно сказал он, вернувшись из больницы.

- Отстань! – вежливо ответил я.

Печь уже топится, но какие-то непонятки с дымом. О, вот уже и дым такой, как надо. На трубу кладут решетку с крючками, на крючки вешают сырые колбасы. Через некоторое время аромат колбас становится умопомрачительным.

- Погуляйте, ребята! – советует Васькин папа. – Это дело долгое!

Мы-то знаем, что дело долгое, но так хочется поскорей. Но скоро только кошки родятся.

Так, кстати, любит говорить Тапочкин, а уж он-то знает. Каждый год минимум один раз его кошка Тюлька приносит котят. Когда пять, когда шесть, а когда и восемь. И начинаются мучения Тапочкина, ибо жена его, тетя Мария, требует котят топить. И поручает это, конечно, мужу. Топить котят Тапочкин не стал бы даже под угрозой смерти, поэтому сначала он их прячет у себя в летней кухне, а потом, когда они чуть подрастут, ходит по коллективу, уговаривая людей принять котенка в семью. Котята у Тюльки все как на подбор серые, даже серебристые, крупные и пушистые. В маму. Тюлька тоже озабочена будущим потомства, поэтому не возражает, когда Тапочкин берет очередного котенка, кладет его за пазуху, якобы чтоб тетя Мария не заметила. Я больше чем уверен, что тетя Мария прекрасно знает о партизанской деятельности мужа. Это трудно не заметить: практически во всех домах нашего коллектива, да и в соседних, живут-поживают пушистые серые коты и кошки.

- Тапочкинское отродье! – обзывают этих зверьков в коллективе. Кстати, Тюлькино потомство совсем не боится собак. Скорее, собаки обходят их стороной. Любые. От болонки мадам Бредис до овчарки Отто. А уж если коты-кошки соберутся вместе! Вот как сегодня на запах коптящейся в трубе колбасы. Коты расположились серыми столбиками прямо перед зимней кухней, распластав хвосты по земле. И молчат. Ждут… Собаки, тоже привлеченные ароматом, тусуются в сторонке, нетерпеливо повизгивая.

А нам куда деваться? Можно бы побегать, но что-то не отпускает. Эх, скорее бы! И ведь, главное, были бы голодны. Или колбасы такой век не видели. Так нет, в погребе, а потом и в холодильнике каждого и домашней, и магазинной колбасы в достатке, ан нет, ждем…

- Айда рыбу глушить! – предлагаю. Это я новый способ рыбалки частично вычитал у Беляева в «Старой крепости», частично придумал. Карбид есть, бутылка тоже…

В общем, отправились мы на берег. Не рано, время после полудня. На скалках почти никого. Только мужичок какой-то с книжкой валяется. Ну да он не помеха. В бутылку на треть песок сыпем, сверху карбид, заливаем воду, закрываем пробкой и прикручиваем пробку проволокой. Быстро, быстро! А теперь бутылку в воду. Кинули. Ждем. Что-то долго… Высовываемся из-за скалы…

Как дало! Звука почти не было. Чмок такой… А столб поднялся нехилый. И волна как плеснет. Нас окатило, а мужика с книжкой аж смыло. Вскочил, отряхивается, орет:

- Мина, мина!

Какая мина, дурак! Иди себе книжку сушить и людям не мешай! Так нет, не унимается.

- Я на вас, хулиганье, управу найду!

Ну, иди себе, ищи эту управу, а нам некогда, надо улов собирать. Кстати, не такой уж богатый.

Только начали, глядим – погранцы бегут. С собакой-шукалкой. Мы и ноги в руки. Взбежали наверх, спрятались за кустами, смотрим, что дальше. А дальше вбежали они на пляж наш, мужика с книжкой на песок повалили, руки заломили… Аж жалко его временно стало. Ненадолго, ибо слезли они с него, а он на ноги встал и наверх показывает, на кусты, где мы прячемся. Ну, мы и дальше подорвали. Мало ли…

Наведались к Ваське, там работы, в принципе, закончили. Окорока, завернутые в марлю, под навесом, на сквознячке. Потом их подкоптят чуток и в сарай переведут, колбасы коптятся, а мужики пока без мясного чачей балуются. А где чача, там, понятно, и Тапочкин.

- Вечером, Шурка, - кричит, - на скумбрийку пойдем!

Кто ж против?

А против, оказывается, бабушка. Она на вечер стирку запланировала. А кто, кроме меня, веревки натянет от веранды к душу, кто воду ведрами таскать будет от крана к примусу, от примуса к корыту?

Но затеешься со стиркой, ни на какую рыбалку не попадешь. Проверено. Стирка у нас раз в две недели, но ее много. Лето же.

Я ничего против стирки не имею. Дело нужное. Но не сегодня же. Пытаюсь объяснить это бабушке. Но тут другое отвлекает. Ребята прибежали:

- Шурка! Милиция по дачам ходит, диверсантов ищет!

Это дело меняет. Хватаю ведро, спускаюсь в шахту, наполняю водой, тащу к примусу, а он даже не разожжен!

- Бабушка, - ору, - ставь примуса!

- Жарко еще! – бабушка сопротивляется.

Раскочегариваю примус, ставлю ведро, за вторым бегу. А тут и участковый, еще какой-то мент и давешний читатель с пляжа.

- Что делаем? – участковый спрашивает.

- Стираем! – бурчу.

- Дело нужное… - участковый соглашается и на читателя смотрит.

- Вроде похож, - тот мямлит, - а вроде и нет…

- На кого это я похож? – интересуюсь.

- Да так… - машет рукой мент. – Ну, бог в помощь!

- Бога нет! – наглею. – Пора бы знать!

Они ушли, но легче мне не стало. За меня бабушка взялась.

- Что натворил?

Так я ей и сказал!

Белье уже замочено в выварке, перекладываем часть в старую кастрюлю, выварка на примус не становится, добавляем стружки стирочного мыла, заливаем водой, ставим на огонь второго примуса. Пусть вываривается. А пока бабушка стирает в корыте носильное. Полощет, трет на специальной ребристой доске, снова трет… Я таскаю воду, по частям опустошаю корыто с использованной водой, развешиваю выстиранное, закрепляя его прищепками. Заполненную бельем веревку поднимаю с помощью палки с выемкой для веревки на конце. Работы много. Чувствую, что сил у меня останется ровно столько, сколько нужно, чтоб со стоном добраться до постели.

Так оно, в конце концов, и происходит.

Утром побежал было на море, но вернулся. Отдыхающие в синих сатиновых трусах лежали на вафельных полотенцах и в шесть примерно часов пытались загореть. Ботинки с крючками стояли рядом, а в ботинки были вставлены одинаковые же однотонные носки. В воду никто не забирался. Бдили. В такой компании пляжиться мне что-то расхотелось. К тому же настроение испортилось. Что-то они всерьез за поиски «диверсантов» взялись. Кого-то им надо прихватить.

Прихватили… Парочки, скрывавшиеся ночью в кустах. Уж не знаю, где у «купальщиков» засада была, но только парочки из кустов на берег шасть, эти тут как тут. В общем, скандал на весь берег. Наверное, и в Люстдорфе слышно было.

Никто, кроме меня, разговора с родителями не избежал. Ну и проболтались, будем считать, что под пыткой. В смысле, кто зачинщик. Короче, нехорошо на меня некоторые взрослые коситься стали. И к бабушке подъезжать на тему, что неплохо бы от меня отдохнуть. Типа ходить по аллеям, а меня не встречать.

- Сиди на свой участок! – отвечала бабушка.

- Не указывайте! – горячились некоторые.

В общем, стал я частично запрещенным. Обидно, когда друзья предают.

Тапочкин мне тогда здорово помог. Старик ведь – лет сорок пять ему было, не шутка! – а все понимал. Видит, я в одиночестве по даче слоняюсь, дела не нахожу, приходит и сразу:

- Слушай! Так мы с тобой на скумбрию не сбегали! Как насчет сегодня?

Я и рад. Рад? Да я просто счастлив!

- Пошли! – кричу.

- Погоди! – Тапочкин рассуждает. - Рано еще. Часика через два выдвинемся. Когда попрохладнеет.

Я было приуныл, а он ругается:

- А снасти за тебя кто проверять будет?

Во, дело появилось!

Снасти на скумбрию простые. Удилище, конечно. Леска, само собой. На конце лески – грузило. А выше него штук десять отрезков лески – поводков – с крючками. Крючки без наживки, с перышками цветными – синими, желтыми, красными… Вот и все. Называется эта снасть – самодур. Да и ловить на нее просто. Сидишь и водишь удилищем вверх-вниз. Аж до тех пор, пока рыба не дернет. А зачастую и не одна. Если на косяк попал. Только успевай с крючка снимать…

После рыбалки лег спать в саду. Звезды, мохнатые, как шмели, роились над головой и падали, падали…

Можно было загадывать любое желание. Но я не стал. Зачем? Ведь все и так хорошо!

Бабушка умерла глухой и дождливой осенней порой. Легла спать и не проснулась.

А потом, уже летом, оказалось, что на дачу ездить незачем. Даже Тапочкина уже не было. Он сбежал от жены и уехал куда-то под Саратов.

Месяца через два меня нашел какой-то чудак, купивший у сестры дачу. Он передал просьбу показать, что и как.

Поехал…

Я дернул дверь. Она открылась и выдохнула змеиный запах застоявшегося помещения. Доски пола растопырили щели, забитые тишиной. Вдоль стены в очереди стояли бутыли. О, какое тут когда-то было вино!...

**СНЫ ЧИСТЯКОВА**

Чистякову приснился его брат Илья, умерший года три назад от пьянства. Стоит себе молодой, трезвый, красивый да здоровый. И улыбается. Это что? Рядом-то с ним женщина! Как по Чистякову, так просто красоты неземной. Лицо, фигура, глаза… Шрамик, правда небольшой на правой щеке. Но ее он не портил. Нет! Наоборот, какую-то дополнительную прелесть придавал. Хотя, куда там прелести дополнительной? Так прекрасна!

Никогда таких Чистяков не встречал. А когда встречать-то было? Работа, дом, работа, дом…

В общем, позавидовал брату Чистяков.

А потом во сне вспомнил, что брат ему снится. И еще вспомнил, что с братом они враги.

Были?

Не ладили они давно. Еще с института, когда брат вылетел за прогулы и неуспеваемость. А Чистяков остался. Ничьей вины тут не было. Брат Илья гулянки всякие любил. И гулял себе. А Чистяков учиться обожал. Ну, и учился.

А трещина с тех пор и пошла.

А когда Илья запил уже по-черному, то трещина еще больше стала. Одно Чистякова утешало. Не дожили родители до этого.

Хотя, если честно, и сам Чистяков их мало чем порадовать мог. Жена его бросила, обозвав неудачником и серостью. Детей не имелось. И с работой не все гладко выходило. То есть, работа, конечно, имелась, но денег почти не приносила. Ни Чистякову, ни сослуживцам. Сослуживцы потихоньку уходили. Новых на их места не брали… История известная. Так что, отдувался Чистяков за четверых, примерно. Как-то глянул на себя в зеркало Чистяков. Вылитый Илья, в период пьянства. Худой, одежда потрепанная. А где взять одежду нормальную, если сейчас, допустим, июнь, а зарплату в марте, и то не полностью, давали.

Карьера, да?

– А ведь лет двадцать уже работаю! – сообщил себе тогда Чистяков. А потом себя же спросил: - А толку?

Ох, меня, оказывается можно хлебом не кормить, а дать отвлечься. Но я продолжаю.

Так вот, приснился Чистякову брат. И не один. С женщиной! Впрочем, это я вам уже докладывал. Но надо еще раз, потому что, в этой-то женщине все дело!

Улыбнулась женщина Чистякову и попросила позвонить по номеру, который назвала, а Чистяков тут же намертво и запомнил. Позвонив, надо было позвать Марину, передать от Нины – так звали эту красавицу – привет и сообщить, что у нее все отлично. Только и всего!

Чистяков сразу – сон же! – согласился. Брат с этой Ниной куда-то ушел. А Чистяков продолжил спать, сожалея, что знакомство с этой Ниной таким коротким оказалось. А потом стал другой сон смотреть. Про собак, кажется.

Утром, проснувшись, Чистяков все вспомнил. И телефон, на всякий случай, записал.

– Чепуха какая-то! – думал он, жаря себе яичницу.

– А вдруг не чепуха? – испугался, одеваясь на работу.

– Вечно одни гадости от Ильи! – вспомнил, втискиваясь в маршрутку.

– Все же брат… – укорил себя, садясь за рабочий стол.

– Брат, брат, а женщины у него всегда самые лучшие были. Вот эта Нина…

Положительно, женщина из сна не выходила у него из головы.

А потом Чистякова вызвал начальник, или, как теперь говорят, хозяин, и устроил ему выволочку. Просто так. Не за дело. Потому что, Чистяков умел слушать, когда его ругают! А всякому же приятно, когда его слушают. Вот хозяин над Чистяковым и изгалялся.

А зря! Ибо Чистяков брата вспомнил и подумал:

– Мне почти сорок пять лет, а я такое над собой позволяю!

Так что, не дослушал он начальственный разнос, а повернулся и пошел себе.

– Ты куда? – не понял начальник.

– А туда, куда тебя послать надо бы – перешел с боссом на ты Чистяков, – но вот не послал, поэтому сам иду!

– Ты что обиделся? – опешил хозяин. – Брось, старик! – запаниковал он. – Прости, если что…

В общем, успокоил он Чистякова. И зарплату, для верности, прибавил. И даже выплатил за март и апрель.

Сидит Чистяков и радуется, но опять брата вспоминает. На этот раз, как тот одет во сне был. А потом не выдержал и в обед по магазинам пошел. Джинсы себе купил точно такие, как у Ильи, рубашку… Приоделся, короче. Глянул в туалете в зеркало – вылитый Илья.

Брат-то при жизни не очень братом был. Все лучшее себе греб. Мог и карманы обшарить, чтоб деньги вытрясти. Все контрольные и вообще домашние задания Чистяков за Илью делал. Но что-то благодарности не было. Как должное. И все!

Странно. Они ведь близнецами были. А женщины только Илью и видели. Бывало, стоят они рядом, как две капли похожие, рта еще не раскрыли, а все девушки Илье улыбаются, а Чистякова, как и не видят. Загадка?

Чистяков за это на брата не злился. Виноват Илья, что ли?

Но!

Когда брата из института поперли, Чистяков, если честно, обрадовался. Он боялся признаться в этом себе самому. Но признался. И в ужас пришел. И почувствовал себя виноватым!

А Илья каким-то образом это уловил. Каким образом, неведомо. Но за это обложил Чистякова данью. Придет в любое время суток, когда вздумается, и денег требует. А если у Чистякова денег не было, что-то из вещей прихватывал. А однажды так Чистяковскую жену прихватил. И увел.

Чистяков тогда даже не удивился. Говорила же ему жена:

– Ты так на брата похож… – и улыбалась как-то странно.

Просто горько очень стало Чистякову.

А прожил Илья с чистяковской женой – теперь уже бывшей – месяца три. Да и бросил ее.

И к Чистякову, как ни в чем не бывало, пришел.

– Зачем она тебе нужна была? – спросил Чистяков брата.

– Для коллекции! – ответил тот.

А тогда Чистяков ему и сказал:

– Уходи-ка ты совсем из моей жизни!

Брат, странное дело, послушался.

Жена, бывшая, правда, пыталась вернуться. Но Чистяков сказал ей:

– Не надо!

И она исчезла. Бог с ней. С братом, конечно, обидно. Только во сне с тех пор и свиделись. А ведь брат ему и слова не сказал! Да, точно! Та женщина только говорила, Нина!

– Вот-вот, лучше я стану думать о женщине Нине, – решил Чистяков. И вправду стал о ней думать. И по всему выходило, что краше ее нет. И еще он думал о том, что раз она просила, то надобно все же позвонить.

За мыслями такими рабочий день прошел.

Маршрутка, впервые на памяти Чистякова, оказалась полупустой. Он сел у окна и стал с удовольствием в него глядеть.

– Живу тут почти сорок пять лет, а, вроде, и не видел, как город хорош! – удивлялся он.

Придя домой, Чистяков надел обновки и пошел глядеть на себя в зеркало. И очень себе понравился. Какой-то решительный, строгий мужик на него глядел.

– Позвоню! – решил Чистяков и набрал номер.

Ответила ему женщина. Голос ее был странно знаком.

– Здравствуйте, – пытался не запинаться Чистяков, – я звоню вам по совсем необычному делу…

– Вот как? – весело ответил голос, – Но сразу предупреждаю, пылесосы, косметику и, что там у вас еще, я не покупаю!

– Нет, что вы? Я ничего не продаю! – заторопился Чистяков, ­ – вы только трубку не бросайте…

– Говорите! – дозволила женщина.

– Дело в том, – совсем растерялся Чистяков, – что мне приснился сон…

– Это не повод, чтоб звонить посторонним женщинам! – оборвали его.

Испугавшись, что его не дослушают и бросят трубку, Чистяков попросил:

– Марина, подождите, пожалуйста…

– Вот как! Вы знаете мое имя?

– Я ж пытаюсь рассказать. Мне приснился мой брат. С ним была женщина. Нина. И она просила передать вам, что у нее все в порядке!

– Нина? – напряженным голосом переспросила собеседница. Вы сказали – Нина?

– Да-а! – совсем растерялся Чистяков.

– Нина скончалась два года назад! – почти отчеканила Марина.

– Простите! – пролепетал Чистяков. – Я не знал… Я правда не знал…

И собрался повесить трубку.

– Не кладите трубку! – догадалась Марина. – Расскажите, как она выглядела!

Неожиданно для себя, Чистяков довольно толково описал Нину. И про шрамик сказал.

– Шрамик? Где?

– На щеке, на левой… Но он ее не портит! – успокоил Марину Чистяков.

– И эта женщина из вашего сна сказала номер моего телефона?

– Да, и велела сказать, что у нее все в порядке! – повторил переданную информацию Чистяков.

– Нам надо увидеться! – практически велела Марина.

– Хорошо!...

Она продиктовала адрес. Это было недалеко, так что, через пол часа Чистяков уже нажимал звонок у двери в ее квартиру.

Открыла ему женщина из сна!

Он аж отпрянул. И, честно говоря, испугался.

– У меня нет шрама! – сказала женщина.

– Вижу… – пролепетал Чистяков.

– Я Марина, а не Нина! – сказала она и посторонилась, давая ему войти.

Потом они пили чай и разговаривали.

Никогда в жизни Чистяков так долго и с таким удовольствием ни с кем не разговаривал! Тем более, с женщиной!

……………………………………………………………………………………………………

Недели две спустя после того, как они стали жить вместе, Чистякову снова приснился брат. На этот раз он был один.

– Ну, что, братишка, в расчете? – спросил он.

– Я твой должник! – ответил Чистяков.

Брат улыбнулся и ушел. И больше не снился никогда.

1. Боришполец Елена «Его звали Кристос, и он её убил».

***Елена Боришполец***

**Его звали Кристос, и он её убил**

**Кристос**

Кристос падал лицом в траву, и всё его тело впитывало запах новой земли. Корни растений превратили эту почву в защитный жилет. Рано или поздно каждый корешок растворится в ней, впрочем, как и лежащий к ней лицом маленький человек.

Лёжа на земле, Кристос дышал глубоко, пыль заполняла его ноздри. Этот природный грим, безотказно дающий приют всему живому и мёртвому, будь то растения, птицы или люди, забавлял его. Он наносил его теперь так часто, как мог позволить себе сбежать из дома на холм над водоёмом.

Кристосу хотелось, чтобы в усохшем, словно костлявая тарань озере, уже очень неотдалённо напоминающем гигантскую лужу, жили величавые каракатицы и смертоносные мурены из его книг. Чтобы трухлявая лодка, перевернутая дном к небу, вросшая наполовину, как старинная крепость в вязкую прибрежную почву, была на деле потерпевшим крушение кораблём.

Разлагавшаяся всё быстрее с каждым днём лодка, была испещрена изнутри буквами одного и того же предложения: «Здесь лежит моя большая злость». Одна и та же рука выводила эти однообразные, но видимо целительные слова. То была рука Кристоса. Слова – единственные настоящие врачи во всём мире, считал он.

Пока Кристоса еще не существовало на этом отрезке земли, годы проели в лодке, которую он по-детски захватил, глаза. Сквозь них он смотрел, как пучится перед дождём старое небо, как восход выпускает к людям солнце. Кристос часто испытывал желание, в котором солнце однажды не выходит к людям, и они все замёрзают, как замёрзли когда-то прекрасные птеродактили из его книг. Он не верил, что они стали кем-то там ещё. Когда глупые люди говорили ему, что птеродактили стали аистами, в ответ они получали лишь скрежет зубов двенадцатилетнего мальчика. Он сожалел, что не родился хотя бы пингвином.

Ко времени хотел замёрзнуть и сам Кристос. Он готовил своё тело к мерзлоте, не борясь с ней с помощью одежд и других человеческих выдумок, а принимая её регулярно, как витамины. Однажды ему удалось просидеть в ледяном подвале один час и сорок две минуты. Находясь под землёй, он медленно лизал мороженое и светил фонариком на старый наручный компас, словно плыл в новые земли к своим большим крылатым друзьям. Он рассчитал, что при увеличении продолжительности пребывания в минусовой температуре, и уплотнении графика тренировок, через пять-десять лет, когда солнце, наконец, не взойдёт, у него появится шанс прожить свою жизнь заново. Прожить новые дни без солнца, покрытые безупречным льдом и катастрофой во имя его спасения. Убеждение в том, что птерозавры умерли от непривычки к холоду, а не от самого холода, никогда не подвергалось его сомнениям. Они просто не успели привыкнуть. Кристос был чемпионом по привыканию.

Зимой, когда земля покрывалась льдом, и он не мог наполнять ноздри тёплой пылью, когда трухлявая лодка, где покоилась с миром его большая злость, превращалась в крепкую пещеру из ледяной корки, он приносил в неё записки, всё с той же единственной фразой, и сжигал их с закрытыми глазами.

**Агна – целомудренная, святая**

Искать виноватых в своих злоключениях, – нет глупее затеи и дела бесполезнее. Куда лучше потратить время на покраску забора или ощипать до перламутрового блеска курицу и приготовить бульон.

Но беды разнузданно гуляют на широкую ногу там и тут. Они заглядывают в окна в поисках приюта, мгновения тепла, и, если повезёт, доброго куска сливочного пирога с малиной.

Мария ковыляла из школы к месту, которое стало ей первым крепким домом. Она несла в себе свежий вывих правой ноги и несвежий перелом своего внутреннего мира. Прожив тринадцать лет с женщиной находящейся в непрерывном поиске религии, как единственной опоры для существования человека, этот её внутренний мир, был отдан во временное пользование семидесятилетней незнакомке Агне.

Агна разом ощупала длинные тонкие пальцы Марии, и первым делом при встрече с пальцами, и вообще при первой их встрече, вслух постановила, что из Марии выйдет превосходный виночерпий. За год практических занятий, тело Марии привыкло плыть, наконец, в одном направлении и наловчилось виртуозно черпать не только вино, а и невиданный, если не сказочный жизненный опыт.

Агна была старой, сохранившейся до невозможности немкой, а по совместительству бабкой Марии по матери. До того теплого майского дня с безупречным Рафаэлевским небом над каштановой макушкой Марии, до дня туфелек на миниатюрном каблуке-рюмочке из вишнёвой лайковой кожи, купленных матерью на последние деньги, о существовании съемной фарфоровой челюсти немки Агны, равно как и о самой Агне, Мария не догадывалась.

Жизнь Агны неторопливо протекала в не по потребностям огромном, наполненном тусклым светом доме. Каждый день Агна расхаживала по нему в чёрных брюках-дудочках, бледно-розовой или зеленой шелковой блузе, и извещала мир о своем вполне ощутимом присутствии стуком каблуков.

«Я еще здесь! У меня еще не вышел срок годности. У меня здесь ещё дела-делишки».

Она прогуливалась тремя роскошными спальнями, комнатой для непрошеных гостей, просторной столовой, холлом, в котором, при необходимости, можно было провести чемпионат мира по фигурному катанию, и завершала свой крестный ход террасой, сплошь утыканной цветной ротанговой мебелью. Иногда, она каталась на собственном лифте. Ровно один этаж, но не потому, что не могла одолеть ступеньки, а ради трехсекундного развлечения.

Агна никогда не готовила сама еду, не гоняла пыль по углам своего миниатюрного дворца. Зато она играла в покер не хуже любого шулера в рассвете карьеры в прибрежном курортном городке. Оставшиеся в живых её «порочные» подружки по колоде, всегда знали, что Агна проиграла партию на ротанговой террасе, только ради того, чтобы они снова пришли к ней со своей некрапленой колодой карт. А между делом, сдобрили её хрустящий артрит красным полусухим.

У неё была вставная челюсть, ночующая в стаканчике на прикроватной тумбочке и белоснежно мёртвые волосы, которые были всегда при нёй. Каждый месяц, ровно на один сантиметр, волосы её подстригала мулатка Ния. Но дело было не в волосах. В сумке для парикмахерских принадлежностей Ния проносила контрабандный продукт с душком. Сплетни. Но Агна избегала этого слова. Предпочитала называть контрабанду слухами.

У Агны во дворе, под террасой, раскинулся огромный старый куст вьющейся розы цвета молодой моркови, а в голове Агны жили старые истории из её прежней жизни.

*Голова тринадцатилетней девочки только что поправившей лазурного цвета бант, а именно ею была когда-то картёжница Агна, то и дело выглядывала из застывших обломков всего живого, словно желая увидеть хоть одним глазком движения титанических плит над расплавленным Дрезденом. Девочка и её бант застыли в бурлящем сырном супе, приготовленном слепым поваром, которому отрубили руки. И вот, уже почти пять лет, он готовил ногами. О, чудо повар! Три звезды Мишлена. Агна так и не смогла отдать весь этот устроенный войной праздник сыра и вина в ненасытные лапы прошлого. Она жадно подбрасывала дрова под котелок с проклятым варевом истории.*

Агна делила свой каждодневный рассказ для Марии на две порции: утреннюю и вечернюю. Утренняя порция предназначалась для разрастания вечернего аппетита. Она скармливала Марии начало своего рассказа, пока та складывала тетради и карандаши в школьную сумку. Приманивала на живца. Старая фурия! Она взяла за правило появляться в комнате для непрошеных гостей, в которой поселилась Мария и её вишнёвые туфли, ровно через пять минут после утреннего боя будильника. Усаживалась в кресло у окна и, водрузив ногу на ногу, закидывала свои добротные сети.

В её речи тонули любые человеческие фантазии. Жизнь испортила её лазурный бант, но природа вручила ей кое-что взамен. Этот бартер произошёл без её на то согласия, но кто знает, что ждёт нас, поверни мы не за тот угол, а за этот? Агна была хороша в своём рассказе каждый раз. Наверное, она была лучшей рассказчицей из всех, кто выжил в расплавленном до смерти городе.

Вечерняя порция рассказа подавалась перескочив время обеда, под хлюпающее поглощения вина. Если Мария не наливала вино, в обласканный Агной до идеальной прозрачности бокал, Агна молчала. Она театрально сжимала свои сухие, позабывшие вкус сладких помадных жиринок губы, и становилась похожа на мраморное изваяние Родена. Величественный камень, дыхание которого, однако, нельзя подвергнуть сомнению.

Тонким красным фломастером на вырванном из школьной тетради Марии листе, она рисовала корявую плоскую рыбу. Закрепив края листа за воротник блузы, надевала шедевр вместо жабо. Орыбение длилось не долго. Агна неизменно щедро выбрасывала свою жизнь на торговый прилавок.

В первый месяц своего погружения в новую жизнь, в жизнь без доброго светлого лика Будды, поедания сырых пророщенных злаков, в жизнь без сердечного покаяния, воскресных походов в дома молитвы в тоскливых серых платьях-колпаках, в жизнь без братьев и сестёр во Христе на самый тусклый вкус и цвет, Мария даже скучала о прежних весёлых днях. Теперь у неё в распоряжении были свежие и сытые чернильные ночи, чтобы думать о том, чего не случилось и о том, что же все-таки произошло.

Думая о не покидающей пределы собственного двора, назначенной ей в смотрительницы, Агне, Мария считала, что цена за её вишнёвые туфельки непомерно высока. И пускай дом с террасой, зеркальным лифтом, причудливой узорчатой тканью на стенах, немая кухарка Агны и её малиновый пирог, ошеломили не знавшую достатка Марию, ей не хватало матери. Не хватало их чистой и солнечной комнаты, волшебно меняющей свой облик каждый раз, когда в сердце у родительницы прорастало свежее зерно новой веры.

Ведь ноги ещё будут расти и туфли станут ей малы, думала Мария, а Агна останется с ней пока не умрет. И судя по тому, что она не услышала и трети из бытия вышедшей на берег её жизни, словно Киприда, бабки, смерть еще даже не купила билет на поезд в её сторону. Агна всё делала до конца. Это Мария усвоила из её рассказов наверняка. По прошествии года, Мария утратила то, что так отчаянно и невольно искала, скитаясь со своей матерью. Она утратила веру. Веру в то, что мать вернётся за ней, как обещала ей в день Рафаэлевского неба.

**Мария и вишнёвые туфли**

Чтобы быть собой, нужно так мало, но это почти невозможно. Так уж повелось. Мария появилась на этой земле в маленьком городе у большого моря. Она так и называла его – «моё большое море».

Игли-бигли

Крабле-бле

Дождь идёт на корабле

Биги-дриги

Пирли-понт

Боцман взял дырявый зонт,

Весь промок и весь простужен,

Только рыбам зонт не нужен.

Целый поезд надежд утонет для неё в том, теперь далеком прибрежном городишке.

В первом вагоне с красными мягкими сиденьями, в набирающем скорость составе, утонет собака. Шоколадный сеттер Оскар, названный матерью в память об истлевшей звезде пылкого сказочника своего времени Оскара Уайльда. Мать вздыхала, переплетала пальцы рук и называла писателя «бедный, бедный Оси». Словно Уайльд еще вчера заглядывал к ним в комнату, на чай с кренделями в белоснежной сахарной пудре, а сегодня их одноглазый дворник Хант сообщил, что их друг сломал обе руки, и не может больше ни есть крендели, ни дописать сказку о Великане-эгоисте.

«Искать и ждать» таков был девиз маленького мирка Марии. Собака канет в густую пустоту по улице Сезам, вместе с ошейником расшитым Марией цветным бисером.

Второй, купейный вагон утащит ко дну потрепанную записную книжечку в твёрдом переплёте, странички которой всегда так невыносимо нежно поскрипывали с июля по октябрь. Морской песок оседал между страниц, и его уносили с пляжа вместе с коротенькими новыми стихотворениями. Это была игра, которую они придумали сами, и которая принадлежала только им. Ей, матери и морскому песку. Мария получала новый стих, если рассказывала на память предыдущий.

Шатл-батл

Бури-клаб

Ходит-бродит в море краб

Шикли-пыкли

Бубли-елек

Ждёт кастрюля, словно берег.

Меньше горя и пилюль,

Больше крабов и кастрюль.

Третий, общий вагон, с кишащими, как тараканы, и в подтверждение этому сравнению – усатыми женщинами и потными мужчинами, утопит её скудные воспоминания об отце. Однажды они ехали в таком вагоне все трое, в чужой город, в город, где маленькая Мария увидела то самое Рафаэлевское небо. Это было путешествие. Они привезут домой много музейных открыток. Мария спросит у матери, про что эта картинка, и ткнёт пальцем в лик Сикстинской мадонне. Мать ответит ей, что она про небо.

Удушливое лето любила только Мария и пассажиры первого класса, в котором вагоны с мягкими сиденьями и кондиционером. Какое-то кладбище, какая-то серая плита и жадные до пустого чайного печенья вороны. Отец ушёл из их жизни как-то незаметно для Марии.

Мать Марии очень хотела быть собой, особенно после смерти мужа. Она, что есть силы, играла в игру «Я – это я». Если бы их комната принадлежала им, то всё могло бы быть как-то иначе. Как-то по-другому. Но за комнату всегда нужно платить. Это было связано с работой. На которую выходил по утрам даже одноглазый дворник Хант. Но слово «работа» мать запретила произносить в их священном уголке. Больше всего мать любила слова «жизнь» и выражения: «как-то проживём» и «вот, теперь заживём».

Марии после особо насыщенных скитаниями дней снился один и тот же сон. Она видела перед собой разложенное на столе игровое бумажное поле с множеством тонких золотистых линий, видела две игровые фишки, красную и чёрную. Потом, как мать кидает кости, и они оказываются пустыми. Пропуская ход, она грустно передаёт кости Марии, и Мария зная, что её результат будет таким же, и что эту бесконечную игру можно остановить единственным способом, – глотает кости.

**Попугай или птеродактиль**

Они привезли с собой много книг. Кристос сам купил на рынке бечевку и крепко перевязал уложенные с любовью фолианты. Чтобы добраться до нового места, чтобы осесть и злиться, как следует, уже на нём, он и его мать приложили немало усилий. Кристос на каждом коротком отрезке пути испытывал жгучую тревогу, что матери станет плохо в дороге. Его детские глаза, два блестящих блюдца-лодочки, не выпускали лицо матери из виду. Она улыбалась, и вполне ощущая в воздухе его страх, гладила ему непослушные курчавые волосы.

Он не спрашивал где их новый дом, какой он и почему. Кристос знал, что во время большого льда, не имеет значения место нахождения. Это помогало ему быть внешне спокойным. На прощание с прошлым он купил большое сливочно-малиновое мороженное в киоске на вокзале. Купил билет, садись и слушай стук колёс.

Кирли-гага

Ширли-га

На дороге два врага

Зашли-вышли

Ту-пока

Страх кусает за бока.

Переходим мы границу,

Гладим кроткую синицу.

Когда ты еще веришь в хорошее, когда можешь желать свои желания, ты продолжаешь желать. Когда тебе пять лет, твои желания могут быть смелыми и странными, в двенадцать, они еще могут оставаться с тобой. Но вот вера? Её уже может не оказаться под рукой к двенадцати годам.

На свой пятый день рождения Кристос заказал родителям птеродактиля. И на шестой тоже его. На седьмой он не заказывал ничего.

К этому времени к ним пришла эпилепсия. Так сказал врач, который расхаживал в белой, как сахарная вата палате, куда привезли его мать. Кристосу понравилось слово «эпилепсия», хотя он и испугался, когда случился первый приступ.

«Нарушение функции головного мозга, проявляющееся преимущественно в виде рецидивирующих припадков. Обычно развивается в детстве или в молодости. Некоторые формы **эпилепсии** являются семейным заболеванием. Образ жизни и пол, значения не имеют.»

Он прочёл это в домашнем медицинской справочнике, заучил на всякий случай наизусть, и таким образом установил, что мать его еще молода.

Она обещала, что купит ему попугая, как только они обустроятся на новом месте. Он никогда не хотел попугая. Не видел смысла, в том, чтобы – иметь попугая, а хотеть птеродактиля. Грустно бежать за призраком не скрывающим, что он призрак. Чтобы увидеть его рассеивание достаточно протянуть руку. Кристос добрую сотню раз протыкал руками свою мечту.

Разгружая коробки в новом своём доме, он вспоминал, как стал злиться настолько, что это стало мешать читать книги. Как только книги стали страдать, он стал искать способ уничтожать злость, околпачить её. Под устричное скрежетание зубов, дыхание Кристоса учащалось как-то само собой, и страницы он разрывал пыхтя, как злобный зверёк. Потом он их склеивал.

**Пурпурное сердце Курта**

Агна объявила день Курта открытым. Она не была зависима ни от чего на свете так, как от этого дня слабого зимнего солнца. На её плечах играла новая блуза, сшитая на заказ, казалось, отнятый у шелкопрядов шёлк, источал аромат живой сирени в этот ледяной февральский день.

Курт мог сжечь эти костлявые плечи, как тысячи других оказавшихся в дрезденской переплавке. Это была его работа, в конце концов.

«За пурпурное сердце Курта!» Агна поднимала свой бокал с вином, и её пальцы хрустели, словно трескающееся стекло. Марии казалось, что в бокале кровь. Кровь Агны или может быть Курта.

*Она ничего не слышала, бомбы отняли слух Агны. Они умеют отнимать всё, что им понравится, и слух не самая коварная их проделка. Под завалом Агна и её лазурный бант провели глухие часы ожидания смерти. Но смерть была занята другими девочками и мальчиками по всему миру, охваченному приготовлением различных кошерных и не очень кошерных блюд.*

*«Здравствуй, смерть» – так встретила Агна Курта.*

*Его губы выпускали слова, которые не сразу проникали в Агну. Пока этот совершенно чужой человек переносил её на руках в новую жизнь, уши её еще только возвращали своё право на звуки.*

*– Я Курт, – сказал Курт. – Ты живая.*

*– Ты не немец, – сказала Агна. – Я Агна.*

*– Я пленный солдат, – сказал Курт. – А ты живая, Агна.*

*– Мне больно. – сказала Агна.*

*– Мне тоже, – сказал Курт. – Мы на бойне. Здесь всем больно.*

Немецкой девочке Агне выпала её самая козырная карта «Пурпурное сердце пленного американского солдата Курта». Это не туз – джокер, как он есть. Большой шутник под красным колпаком ловушки войны. Агна стала рыбой уплывшей из горящего супа. Много раз по ночам она видела во сне пальцы Курта. Тонкие, длинные, нежные с безупречными лопатками ногтей, они касались клавишей белого рояля, а на пюпитре рояля стояла не нотная тетрадь, а открытая книга. Кто-нибудь другой, увидев этот сон, не знал бы чьи это пальцы, но Агна точно знала, что это пальцы Курта. Курт играл колыбельную. На рояле спала кошка.

В день Курта кому-то нужно было есть сливочные пироги с малиной и всё другое от чего на скатерти не было видно ни одного завитка. Агна не играла в этот день в покер, она отправила кухарку с приглашением к соседям, жившим с дня поселения особняком, и уселась ждать гостей.

Мать Кристоса грянула в доме Агны и Марии своим бледным лицом, словно сбежавшая от грозы молния. Кристос был её громом. С книгой под мышкой он уселся за праздничный овальный стол рядом с Марией. Агна заполучила новых зрителей.

Бабка Марии в своей второй жизни сыграла пять главных ролей в кино, этого хватило, чтобы откатать произвольную программу воскрешения не снимая итальянских туфель-лодочек. Олимпийский результат, да и только. Она давно сошла с кинематографических забегов на длинные дистанции. Но болезненную потребность в зрителе не смогла усыпить до сих пор.

**Цена за несогласие**

В этот день, сидя за столом, ломившимся от еды и слишком реальных, буквально хватающих за лодыжки, приведений, Агна созналась в том, что выгнала свою дочь из дома, когда та привела в него новоиспеченного своего мужа, отца Марии. Агна сожалела, что дочь испортила себе жизнь и отличную партию в покер, которая была как раз в разгаре в тот вечер. Большего ничтожества, чем её зять, по её словам, она не встречала со времен войны.

«Ничтожество!» Агна была уверенна, что всем известно подлинное значение этого слова. Мария кусала губы и теребила ткань своего платья, понимая, что откровенность бывшей актрисе дается нелегко. Что она, возможно, приближает её к смерти. Агна избавлялась от балласта, а это сулит перспективу полёта.

Этот её рассказ предназначался только для одного человека. Но она ни разу не взглянула в глаза внучки. Она рассказывала, прерываясь изредка на тост за спасителя Курта. Мария не могла так быстро понять всего, что случилось с её жизнью по причине изгнания её матери из дома, но она неожиданно для себя пришла к выводу, что Агна любит её, и что она, любила свою дочь в вечер изгнания. Потому, что, как ни крути, но каждый пребывает в своём праве. И мать и Агна воспользовались этим правом.

О том, что на свет появилась Мария, Агна узнала спустя три года, когда дочь написала ей письмо с просьбой выслать ей не маленькую сумму денег для выкупа долга отца Марии. Письмо всё насквозь кричало, что только опасение за жизнь маленькой Марии вынудило её обратиться к ней. Мать Марии ни разу не пожаловалась на свои тяготы и ничем не упрекнула Агну в послании. Агна не ответила на письмо, но деньги выслала.

Агна не знала о смерти «ничтожества» до того дня, пока спустя восемь лет мать Марии не набрала номер её телефона и не предложила ей выгодную сделку. Вполне открытый контракт. Вполне. Она предложила отдать ей Марию навсегда. Без права встреч и переписки. Мария от этих слов Агны ощутила, как катится в её голове непонятный гул. Она не заметила, как проковыряла дыру в атласной обивке стула, за которой были железные пружины. Кристос смотрел на Марию и не шевелился, пока он не увидел, как палец, который, то исчезает, то выныривает из дыры в обивке цвета муслина, уже в крови. Он обхватил своими пальцами запястье Марии, остановив движение, но сжал руку и дал ей почувствовать физическую боль. Кристос знал, что физическая боль легче той, что заставила не чувствовать Марию рану на пальце.

**Дело каждого маленького человека**

Если бы однажды утром, проснувшись, Кристос столкнулся нос к «носу» с птеродактилем, если бы однажды утром не столкнулся с эпилепсией. Его большая злость, возможно, не была бы такой большой. Когда он вспоминал, как плакала мать, как отец называл её калекой, он превращался в существо без племени.

Shame. Отец любил вставлять английские слова в свою речь, и повторять их по несколько раз, для убедительности. Сам он был убеждён как-то сразу. Скоропостижно. С пылу с жару. Кристос стал избегать отца. Это продолжалось недолго. Вскоре они поменялись местами.

Зазель-базель

Мырли-тук

Всех спасает твёрдый круг

Чики-шики

Ту-кики

Тонут только дураки.

Я не вижу дурака –

Вот тебе моя рука.

Мать подарила ему голубку. Она была белая с чёрной гривой. Гривун. Глаза икринки. Перья шёлк. Тепло внутри и снаружи. Кристос прибывал в бешенстве много дней и отказывался кормить птицу, давать ей имя. Почти все эти дни он ходил к лодке. Весна наступила на новой земле без предупреждения. Выпив весь снег, покрывающий берега озера, за одну ночь. Теперь лодку он делил с Марией. И часть злости отдавал ей.

Голубка была для него предательством. Он жил совсем другой птицей, существом, уродцем, которого никто кроме него не смог бы любить. Любить безупречную голубку мог кто угодно. Даже его отец. Кристос хотел, чтобы его любовь была единственной в своём роде. Чтобы все говорили ему: shame, shame, shame… Какое красивое слово, бархатное касание, а не слово. Кристос рассказал Марии о своей вере в холод и предложил готовиться к мерзлоте вместе.

Мария любила море и песок, лето, и часто вспоминала о своей собаке. У неё было новые туфли. Мария прикипела к Агне и к лодке, в которой они с Кристосом хоронили его большую злость.

Нельзя повернуть русла всех на свете рек в нужном тебе направлении, установила Мария. Нельзя носить всю жизнь одни и те же туфли, решила она. Невозможно знать, что за поворотом тебя ждёт Курт Пурпурное сердце. Нельзя быть уж так уверенным, что птеродактиль не имеет отношения к голубке подаренной Кристосу. Какой прок в вечной мерзлоте, если после неё, всё начинается сначала? Жизнь пробивается сквозь лавины огня и толщи льда. Мария призналась Кристосу, что тоже верит. Верит в море. А ещё она верила в то, что однажды злость Кристоса совсем рассеется. Она еще не знала как, и когда это произойдёт, но она верила. Может быть, думала Мария, это случится как-то странно или даже страшно.

У матери Кристоса снова был приступ. Но Кристос больше не испытывал страх. Он взял белую голубку с чёрной гривой и положил в холодильную камеру. Мать успела нацепить ей на лапку медное кольцо с именем. Она считала, что птица не может жить без имени.

Её звали Петра, и он её убил.

1. Боссарт Алла «Аркадия», «Сердце холма»,

***Алла БОССАРТ***

**АРКАДИЯ**

Родила Дуся, как какая-нибудь ветхозаветная Сарра – в 54 года. То есть случайно. Никто к этому не готовился и сюрпризов не ждал, у них с Папусиком уже внучка ползала. Сначала Дусю тошнило и рвало, пошла делать гастроскопию. Давилась и стонала, пока в желудке шуровали кишкой c телефонный кабель, но все без толку. Гастрит, сказали, такой маловыразительный, что и говорить не о чем. А что касается язвы – то все это ваши фантазии и мечты. Сходите на УЗИ и успокойтесь.

Узист сказал: «Мадам, вас посещает панкреатит. Ешьте овсянку и не пейте пива».

У Дуси же, между тем, появились разнообразные боли, и живот как бы опух. В панике побежали к онкологу. Онколог послал на анализы, пожал плечами и спросил из чистого любопытства: «Половой жизнью живете?» На что Дуся отчасти возмутилась. У нее был муж, Папусик, и к нему у Дуси не было никаких претензий. Папусик был на пятнадцать лет старше, и та ерунда, что между ними происходила, никак не могла претендовать на гордое имя «половой жизни». Папусик, подобно панкреатиту, именно посещал Дусю раз в полгода, вот и все. Поэтому, когда знакомая гинеколог, которая в самую последнюю очередь, так уж, для очистки совести, покопалась в Дусином замшелом лоне, сказала ей удивленно: «Мамочка, да ты на пятом месяце», - Дуся вообще не сразу поняла, о чем речь.

Короче, опоздали по всем направлениям удара. Чтобы Дусю не хватил удар от напряжения, сделали кесарево, и девочка вышла в мир без труда и помех. И в дальнейшем полностью отвечала теории о том, что так называемые «кесарята» не способны преодолевать препятствий и живут, как покатит – избегая усилий борьбы.

Родившись столь несвоевременно и поздно, Софа явилась нежданной, как одноименная икона, радостью. Носились с ней как с писаной торбой все: родители, старший брат, его жена… Даже племянница в свои четыре года знала, что Софочка – существо особенное и ей надо во всем уступать.

Другими словами, из Софы планомерно готовили классическую стерву. И потому вдвойне приятно, что выросла она не какой-нибудь там гадиной, а вполне доброкачественной девочкой с веселым нравом и скромными запросами. Возможно, именно потому, что являлась «кесаренком», лишенным честолюбия и пагубных стремлений. И эти счастливые свойства характера обеспечивали Софочке всеобщую любовь на разных этапах жизни.

Единственной проблемой, которая нарушала окружающую гармонию, была болезнь престарелого Папусика. Слава богу, не рак, не Альцгеймер и даже не какая-нибудь там мужская беда в виде аденомы. Папусик страдал аллергической астмой, что исключало присутствие в доме всякой фауны, особенно кошек. Кошки же, на беду, были Софочкиной страстью. Гладя и прижимая к себе помоечную нечисть, которой в ее родной Одессе больше, чем барабульки в Черном море, девочка впадала в экстатическое состояние. Она почти не ходила в школу, непрерывно лечась от лишаев.

- Лучше умереть, - сказал самоотверженный Папусик, - чем смотреть, как страдает ребенок.

И подарил обожаемой дочке котенка, белого и голубоглазого, как флаг государства Израиль.

Малышка заплакала от счастья. Папусик тоже плакал, сморкался и заходился дикими приступами кашля, пока не стал форменным образом помирать от удушья. Кошечку пришлось отдать, а Софочка написала свое первое стихотворение:

*Прекрасней солнца и луны*

*ты весь пушистый как пушок*

*и мне никто вы не нужны*

*как жить мне без кошок?*

Но жить приходилось, тем не менее, «без кошок», потому что папу добрая Софа любила все-таки больше.

В институт она не поступала. Переводила свои мечты о кошках в область лирических рифм и ждала, что рано или поздно на нее свалится какое-нибудь приятное дело. И оно-таки свалилось. Плывя по воле незначительных волн, Софочка невзначай прибилась к одному коллективу – действительно, на удивление милому, хотя и женскому: безвредные, с легкой придурью тетки, помешанные на кошках и собаках, клепали маргинальный журнальчик «Любимец», в котором не было места ни политике, ни стихийным бедствиям, ни криминалу, ни даже сиськам – а была налицо только верная дружба и всякие симпатичные забавности. Софочка вкатилась в эту утопию, как в лузу.

Работа давала девушке возможность не только печатать свои стихи о кошках, но и входить с ними (кошками) в различные взаимоотношения. Впрочем, это только растравляло ее раны. Между тем, уйти от стариков-родителей и жить своим домом, где можно было завести хоть десять кошек, самой платить за коммунальные услуги и ходить на базар, ей даже в голову не приходило.

Как-то раз Софа брала интервью у одного капитана, прекрасного обветренного мужчины, хозяина изумительного невского маскарадного – огромного, как аэростат, серого котяры по имени Капитан (что может внести легкую путаницу) с васильковыми глазами, точно такими же, как у самого каперанга. Это был очень знаменитый кот, главный производитель породы в Украине и России. У человеческого капитана тоже было немало детей в разных городах и странах. Оба производителя смущали Софочку своими роскошными наглыми взглядами, и кот, как бы от имени хозяина, терся бархатной мордой об девушкины лодыжки.

Капитан, со свойственной котам интуицией, прочухал, какое неотразимое впечатление он произвел на барышню, и всячески закреплял победу. С тяжелой грацией вскочил ей на колени, опираясь лапами о плечи, лизал шершавым языком щеки и стонал от удовольствия, когда маленькие нежные руки почесывали ему под челюстью и за ушами.

- А с кем же Капитан, когда вы в рейсе?

- Вот это наша главная проблема, с тех пор как умерла жена. Пробовал взять его с собой, но у него, как поднялись на борт, начался нервный припадок: икал, блевал, пардон, и все такое. Пришлось прямо в порту отдать его жене первого помощника. Славная женщина, дом с садом на 16-й станции, райская жизнь… Так этот паршивец за два месяца облысел от тоски. Еще пару раз оставалась моя сестра. Ну что? Изгадит всю квартиру, доведет сестру до криза – такой вот экземпляр. Скоро год, как жены нет, совершенно не знаю, что мне делать. – И капитан весело и как-то вопросительно посмотрел на Софу.

- Наверное, жениться надо? – бойко предложила девушка в ответ на этот немой вопрос.

- Так на ком, милая вы моя? Надо ж, чтоб Кап ее полюбил! А эта сволочь (пардон) ни одну бабу на порог не пускает. Как дьявол становится, ей-богу.

- Да что вы? Прямо не верится. Такой ласковый…

- Значит что-то в вас учуял. Давайте, мы на вас женимся, а?

И капитан белозубо засмеялся, а Софа смущенно хихикнула.

Интервью получилось очень удачным, фотографию капитана Глеба Родионова в обнимку с котом Капитаном на парапете Потемкинской лестницы поместили на обложку «Любимца» вместе со стишком:

Жил на свете капитан,

Он объездил много стран –

Сто, а может больше ста

Без любимого кота:

К морю страсти не питал

Сухопутный Капитан.

В день выхода журнала Софье доставили на работу нереальный букет орхидей с запиской в фирменном конверте Черноморского пароходства: «Уважаемая Софья Марковна! Окажите честь поужинать со мной в Гавани».

Официально просить руки решено было на 95-летнем юбилее Папусика.

Дуся сказала: «Ай, что творится!» и схватилась за свою большую грудь. Папусик зорко оглядел белоснежную фигуру жениха и спросил, прищурясь:

- А позвольте узнать, капитан, на сколько вы старше моей дочери?

- Какое тебе дело! – закричала Дуся. – Забыл, что сам родил под семьдесят?

Глеб Родионов улыбнулся и пригладил седой ежик. Папусик похлопал его большой морщинистой рукой по погону:

- Я люблю море, капитан. И я не против, что моя дочь будет женой моряка, а не какого-то голодранца со Староконного рынка в штиблетах на босу ногу. Но я не хочу, чтоб девочка ни с того ни с сего стала вдовой.

Дуся закатила глаза и шепнула:

- Старый поц…

- Я вас умоляю, - засмеялся Глеб Родионов. – Мой отец ходил за ставридой и умер на капитанском мостике в восемьдесят девять лет. А деду было сто два, когда его убили в драке.

- Будем надеяться... Хорошо, считайте, благословил. У вас нет кошек?

- Есть. Кот.

- Вот это зря. Мы не сможем взять вас в дом. А как девочка будет без мамы с папой?

- Папусик! – вмешалась Дуся. – Не делай людям головную боль. Ребенку нужна личная жизнь. Если кого-то интересует, лично я не возражаю. И смотри, Папусик, он пьет, как Сёма перед смертью. У моего брата Сёмы, - объяснила Дуся капитану, - был рак поджелудочной железы. Он выпивал максимом рюмку водки за обедом. Максимом!

На следующий день после свадьбы, как бы передав обожаемую дочку с рук на руки, Папусик мирно и счастливо скончался. Старая Дуся переехала к непьющему зятю в Аркадию и была принята четвероногим Капитаном благосклонно.

Глеб Родионов со спокойным сердцем бороздил океанские просторы, старуха-теща дремала в кресле на балконе с видом на море, несмотря на старания всей одесской канализации остававшееся морем, где одесситы, и вместе с ними Софочка, безмятежно купались, плюя на запреты, а Капитан-Кап грелся на осеннем солнышке, положив щекастую голову на Дусины опухшие ноги.

Софочка видела мужа редко, но, обретя собственного кота, не скучала. Теперь она радостно спешила с работы домой, и Капитан, завидев ее с балкона, пулей несся к двери и с разбегу кидался ей на грудь, а Софочка ловила его, как вратарь, прижимала к себе и целовала щекастую морду.

*О, Капитан, прекрасный рыцарь,*

*Теперь мне от тебя не скрыться,*

*Ты спишь, в ладонь мою дыша –*

*Поет щеглом моя душа!*

*Пусть лучше мне отрубят руку,*

*Чем дам я потревожить друга.*

В таком вот роде.

Признаться, Софья была даже рада длительным капитанским отлучкам. Дело в том, что в органическом безволии и общей аморфности либидо в ней размазалось, как икра по скупердяйскому бутерброду. Софочка совсем не понимала радостей секса, бедная. Эта сторона любви, хотя поверхностно и опробованная, по существу осталась ею не познана. Она любила своего капитана лениво и приветливо, как всех вокруг. Настоящим же счастьем ее жизни являлся, конечно, Кап, в эмоциональном смысле легко заменяя мужа.

Капитан, действительно, был необыкновенным котом. Когда Дуся давала ему рыбьи головы, он поедал все без остатка и говорил «мрр» со странно свистящим окончанием, что звучало в точности как «м’рси». По вечерам Кап с интересом смотрел телевизор. Причем явно обнаруживал свою самостийную лояльность: бил лапой по пульту до тех пор, пока, вместо русской речи не начинала звучать мова. Собратьев Капитан презирал, в драки не ввязывался, дружил с собаками. Вообще был большой политик. Одно то, как он выбрал хозяину жену, указывает на его незаурядные дипломатические качества.

Однажды Глеб Родионов вернулся из рейса какой-то нервный и рассеянный. Капитан обнюхал хозяина и отошел в сторону. Глеб нагнулся погладить, но кот фыркнул, выгнул спину, отскочил. Когда Софа ушла на кухню за любимым мужниным гусем с капустой, старая Дуся сказала зятю:

- Мы с Капой так себе мыслим, ты кого-то завел. Послушай старуху: сиди ровно. Ничего нет и не было. Не обижай девочку.

Капитан послушался.

А спустя неделю снова ушел в рейс. Софа проводила мужа, и он, как обычно, поцеловал ее и помахал с трапа рукой в белой перчатке. Судно огласило акваторию могучим гудком, и женщина пошла себе домой, как ни в чем не бывало. И поэтому была ошарашена и даже, как говорится, не поверила своим глазам, когда через пару дней нос к носу столкнулась со своим капитаном всецело в штатском и в придачу с кудрявой дамочкой, причем та буквально висела на крепком капитанском локте.

Но и морской волк хорош. Знал ведь, старый дурак, что она здесь сидит на рабочем месте – Кирова угол Пушкинской и ходит обедать неподалеку в кафе «Олимп», славящееся своими варениками. Наивная Софа со своей знаменитой ленью, может, так и не поверила бы глазам и сказала бы себе: «Да ну, не может быть, померещилось от жары». Но беда в том, что шла она в кафе со своей подружкой и сослуживицей Флорой. И Флора, выпучив глаза, вместо того, чтобы покрепче их зажмурить, брякнула, что есть силы: «Здрасьте, Глеб Иванович!» Так что какие уж тут сомнения.

Когда капитан явился в тот же вечер как бы с повинной, его ждал собранный чемодан и бесстрастная жена с котом на руках.

- Иди, - сказала Софочка кротко, - к своей курве. Или ты хочешь привести ее сюда?

И благородный, хотя и беспечный каперанг Родионов великолепно выкатился из своей четырехкомнатной квартиры в Аркадии с видом на море. Только спросил в дверях:

- А Кап?

И Софочка, эксперт по любимцам, ответила:

- Это собаки привыкают к людям. А кошки – к месту.

Невские маскарадные, как все крупные коты – не особые долгожители. Но Капитан, окруженный морем хозяйкиной любви, дотянул аж до семнадцати лет, надолго пережив библейскую мать Дусю. Перед смертью Кап открыл помутневшие глаза и пошевелил лапой, будто делал Софочке какой-то знак. Она приблизила к нему лицо, и кот, с трудом подняв голову и тяжело дыша, ткнулся ей в ухо. И испустил дух. Софочка на миг отключилась, а потом клялась, что Капитан шепнул: «Кохаю…»

Котика кремировали в новой фирме, осуществляющей погребение животных (похороны Дуси обошлись существенно дешевле. «Любимец» к тому времени давно сдох, и Софа, в сущности, ничего не умевшая, кроме стихов про кошек, до последнего дня вязала прославленного Капитана и продавала алиментных элитных котят).

- Мы провожаем в последний путь дорогого меньшего брата, верного друга, который делил с вами все беды и радости, всегда был рядом и отдавал вам без остатка всю свою любовь. Прощай, Капитан, твоя хозяйка не забудет тебя.

Толстая дама, затянутая в черный пиджак с бейджем «менеджер по ритуалу» на груди дождалась, когда маленький гробик медленно опустился в люк, и подошла к рыдающей Софье.

- Ну-ну, Софья Марковна... Искренне соболезную, но вы ж, слава богу, не овдовели…

- Лучше бы овдовела, - всхлипнула Софа.

- Слушайте, дружочек, не надо вам сейчас оставаться одной. Пойдемте, попьем чайку.

Работники фирмы «Аркадия» понимали, с кем имеют дело. Полубезумные владельцы, чаще – владелицы кошечек и собачек, а порой и попугаев, для которых хвостатые питомцы являлись главными и единственными источниками счастья, - их было немного, и их ценили, и люди охотно платили деньги за такое исключительно хорошее и чуткое отношение. Вообще в сфере обслуживания животных работают с гораздо большей отдачей, чем с человеческой клиентурой. На первый циничный взгляд это объясняется высокой стоимостью услуг. Но не все измеряется деньгами (хотя оплачивается ими почти все). Взять ветеринара. Он, как правило, без памяти с большой долей искренности любит зверей, в противном случае, зачем ему становиться ветеринаром? Врача же его пациенты-люди часто раздражают и бесят. Положа руку на сердце, кого-нибудь когда-нибудь целовал врач? А ветеринар собачонку легко поцелует – хоть в морду, хоть куда.

- Спасибо вам, вы так хорошо говорили… Трудная у вас работа: всех понять, всех утешить… Прямо, как священник.

Менеджер по ритуалу смутилась. В настоящий момент она как раз соображала, как бы понежнее выставить клиентку на памятник великому Капитану. Но клиентка неожиданно выступила со встречным предложением.

- Я вот что подумала. Вам же приходится каждый раз напрягаться, искать слова…

- Ну что вы! Я говорю сердцем, - призналась менеджер.

- А я могла бы писать для вас прощальные тексты в стихах.

- Как это?

- Очень просто. Вы даете мне исходник, а я сочиняю вам по нему стишок. Ну вот допустим: пудель… ну Бобик. Хозяйка… Вас как зовут? Валентина, очень хорошо. Пусть Валентина.

Софа на миг призадумалась.

- Прощай, наш верный Бобик, печальней нет картины… Ты был не просто пес, кудрявый пуделек… Ты был и друг, и брат, и сын для Валентины… И преданность твоя – нам …э… памятный урок.

- Гениально! – поразилась менеджер Валентина и немедленно побежала к шефу.

С Софой оформили договор и услугу «Прощальные стихи – 50 грвн.» включили в прайс-лист. Мало кто отказывался за полтинник проститься с любимой зверюшкой в поэтической форме. Софочка зажила, можно сказать, полной жизнью, и боль от утраты Капитана притупилась.

Очень скоро директор и владелец фирмы прикинул, что при настоящем раскладе менеджер Валентина является слабым и совершенно лишним звеном, и предложил Софочке самой проводить ритуал погребения. Тем более, что тяжеловесная лысоватая Валентина совсем, так сказать, не канала рядом с кареглазой Софочкой, чье курносое личико обрамляли ангельские локоны, а чуть ниже начинались непосредственно ноги совершенно исключительной конфигурации – и такой посредник делал процедуру прощания с любимой скотинкой психологически намного возвышеннее.

Валентина потеряла хорошую зарплату, а учитывая ее пенсионный возраст, лишилась интересных перспектив. Правда, у нее был муж, сын, внуки и собака. Поэтому, когда Валентина, встречаясь с Софой на улице, отворачивалась и не желала ее замечать, та только пожимала плечами. Ведь у Софочки, как известно, никого не было – ни мужа, ни детей, а кот умер. И все вышло как бы по справедливости. И, кстати, надо бы завести какого-нибудь котика, все чаще думала Софа, с глубокой жалостью глядя на холодные тушки, которые мучали ее в печальных снах. Интересно, что мужчины вовсе не занимали ее мыслей, и о замужестве 38-летняя Софочка отнюдь не помышляла.

Однажды ранней весной, когда море было еще прозрачным, ледяным и ярко-бирюзовым на глубине, если смотреть с волнореза, Софа гуляла по пляжу. На рассохшемся топчане лежал на боку кот и играл с сухим клочком водорослей. Страшно элегантный: черный с белой манишкой и глазами, обведенными белыми «очками». Явно домашний, на что указывал блошиный ошейник. Софа огляделась, но никого не увидела. Села рядом. А кот возьми да и прыгни ей на плечо. Так на плече кот приехал к ней в дом. Софа налила ему молока, но кот с плеча не слез и к миске не подошел. Когда же поднесли еду к черненькой очкастой морде, он, не покидая насеста, довольно жадно все вылакал.

Честная Софочка развесила объявления и указала все свои реквизиты.

Кот часто уходил на весь день, но к вечеру всегда возвращался, прыгал на плечо и ел только с руки. Софа назвала его Денди, Дэн – и новичок – вот умница – откликался. Когда Софочка писала свои погребальные стишки, обычно устроившись с ногами в кресле, Дэн, сидя на плече, внимательно как бы читал строчки, иногда пытаясь поймать буквы лапкой.

Тишину одного из счастливых вечеров нарушил телефонный звонок. Телефон в Софочкиной квартире звонил редко, и сердце ее сильно забилось.

- Здравствуйте, - сказал хорошо прокуренный женский бас. – Вы давали объявление о черном коте? В белой масочке? Как он к вам попал?

Как будто это было важно.

- Я не собиралась его брать, - прошептала Софочка, - но он…

- Подождите, - усмехнулась женщина. – Я сама скажу. Он прыгнул вам на плечо? Да не плачьте же, вот ей-богу! Когда-то он так же выбрал меня. А теперь вас. Пусть остается. Всего вам хорошего. Да, его зовут Моня. Вернее, это я так его назвала.

Софочка бережно сняла Денди-Моню с плеча и зарылась лицом в белую манишку.

- Мой, мой, - шептала она и целовала чудесную маленькую голову. – Радость моя, рыба моя любимая!

Взгляд ее упал на большой портрет Капитана в том же самом кресле, и Софа, покраснев, повернула его лицом к стене. Словно жена, устыдившись фотографии мужа над кроватью, в которой она бесчинствовала с любовником.

По дороге на работу Софа встретила Валентину. Та гордо шагала под руку с мужем, очень похожим на нее: приземистым, толстым и лысым. Муж тащил большой пакет, из которого торчали рыбьи хвосты. Неожиданно Валентина притормозила:

- Ты что ль, поэтесса? Не узнала! Чего такая зеленая? Все кошаков отпеваешь? Вот, Боренька, это Софа, я тебе рассказывала.

Боренька хмуро кивнул:

- Это что выперла тебя?

- Да, херовато выглядишь. Ну всё, времени ни минуты. Веришь, Софа, вздохнуть не успеваю! Так что спасибо тебе, живу теперь, как человек!

Последним кремировали уродливого французского бульдога Бормана, Софа без выражения отбубнила корявый стишок и побежала домой, трепеща от ожидания, чтобы Дэн прыгнул на плечо, и, словно громоотвод, освободил ее от статического электричества гнилой досады, которая начала накапливаться в ней с утра, со встречи с Валентиной и ее пнем Боренькой. Но в этот вечер Денди не пришел. Не вернулся и на следующий. Софа бегала по пляжу, звала, до темноты кричала, обыскивая окрестные дворы и размазывая по лицу слезы.

Растрепанная, с опухшими глазами подходила она к дому. Старушка на лавочке, похожая на птицу с белым хохолком, сказала:

- Софочка, а я котика видела, вроде как твоего.

- Где?! – закричала бедная Софа.

- Черенький такой, с пятном на мордушке? Так мужик в фуфайке с буквочками и в кепке, что ли, шел вот туточки, по дорожке. А котик у его вот здеся сидел, - и старушка похлопала себя по ватному плечу, поднятому выше уха.

Больше Софочка Дэна не искала. А потом владелец фирмы «Аркадия» позвал ее замуж, и она не возражала. Тем более, у него было три кошки, причем две – голые, донские сфинксы, на ощупь совсем, как маленькие детки.

**СЕРДЦЕ ХОЛМА**

Наверху марокканцы опять двигали мебель.

Буба едва перевалила пенсионную границу по гуманным российским меркам, но тут, в царстве жестоковыйных единоборств с судьбой, где люди уходят на пенсию под 70 и доживают до ста в райских садах Альцгеймера, ей пока ничего не светило. Да и муж, о котором один проницательный человек сказал: «Каменецкий ползет по пустыне, умирая от жажды, ему протягивают стакан воды, он отказывается и ползет дальше», - означенный муж решительно отверг все преференции.

- Что мы сделали для этой прекрасной страны?! – кричал Каменецкий.

- Ничего не сделали… - устало соглашалась Буба. – Но…

- Что но? – кричал он. – Ну, что еще?!

- Просто я считаю… - Буба, закипая, швыряла в мойку эмалированную миску.

- Ну-ну, интересно?

- Еврейское государство зачем-то помогает новым гражданам – и глупо от этого отказываться.

Каменецкий переходил на издевательское шипение:

- И во сколько ты оцениваешь свои принципы?

- Да какие еще в жопу принципы! Мы налоги платим, в конце концов!

Тридцать с копейками лет Буба и Каменецкий орали друг на друга с утра до ночи. Такая плата за счастливый брак. Налог с любви.

Мебель, возимая наверху по каменному полу, гремела, как электричка.

- Да сходи ты к ним, е-мое! – взревела Буба, простирая руку к потолку. – Я с ума сойду!

- Что ж я им скажу? – резонно возразил Каменецкий, знавший на иврите четыре слова, одно, вернее два из которых – «тахана мерказит» (центральная автостанция) – не слишком подходили к случаю.

- Хорошо! - крикнула Буба. – Сама пойду!

Дверь открыла толстая марокканская еврейка, как две капли воды похожая на Фаню Исааковну (то есть на изумленную сову), соседку по московской квартире, где Бубенцовы жили после войны и в результате чего родили Нину. Замотанная черным платком голова доходила Бубе до груди. На лестницу вырвалась тугая волна запахов – перегоревшего масла, жареного лука, рыбы, уксуса и стирального порошка.

- Шалом, - Буба тяжело, судорожно закашлялась.

Марокканская Фаня Исааковна, свесив клюв к плечу, молчала и смотрела искоса, по-птичьи.

- Э-э… Слиха… Бэвакаша… - лингвистический ресурс стремительно иссякал.

Фаня что-то проухала и затрясла растопыренными крыльями перед бубиным лицом. Буба заглянула поверх совиной головы в прихожую, там очень кстати помещался высокий табурет. Она указала на него, потом на Фаню и подвигала руками, как дети изображают паровозик, и добавила для убедительности: «тр-трррр». Ткнула себя в грудь, закатила глаза и зажала ладонями уши.

На лестнице зажегся свет, зашаркали шаги. Это Шломи, симпатичный харьковчанин из алии 91-го года, груженый кубическими связками мацы, возвращался из кошерного магазина. Назревал Песах.

- Эрев тов! Ниночка! Как дела? Ма нишма, геверет Мирьям?

Через минуту на лестнице собралась небольшая, но крайне пассионарная толпа, задорные ашкеназы объясняли угрюмым сефардам, что двигать мебель на голове у людей целыми днями не годится.

Буба, в сущности, чужая на этом межэтническом празднике жизни, ушла незамеченной.

Район, где купили квартиру, носил поэтическое имя Лэв Гиват – Сердце Холма. Сам же чудесный городок, он же и собственно холм, являлся в полном смысле слова жопой мира. Но здесь, на так называемом севере, в так называемых горах с ноября по май буйно цветут бугенвиллеи, миндаль, глициния и, едрён-батон, жакаранда мимозолистая, усыпанная гроздьями сиреневых соцветий; зимой и весной склоны холма покрывают последовательно белые крокусы, алые анемоны, голубые колокольчики в половину человеческого роста и розовые мальвы; трава выгорает только к июню, и море в принципе досягаемо.

Для Каменецкого, впрочем, все это роли особой не играло – по большому счету, место жительства ему до фонаря. Плевать он хотел. Ноутбук на коленях, придурковатый, как все аристократы, королевский пудель Плохиш под боком и Буба у плиты – этим исчерпывалась космогония Льва Даниловича Каменецкого по прозвищу Данила. И в этом смысле Сокольники мало чем отличались от Манхэттена, деревни Буяны в Тверской губернии или Сердца указанного Холма на Святой земле. И вот зачем конкретно ему за те же деньги понадобилось на старости лет переться в Израиль – как следует не понимал даже он сам.

За сценарии для сериалов платили хорошо, но редко. Денег бывало то сразу очень много, то их не было совсем. Буба в два приема родила троих детей и радостно покончила с регулярной службой раз и навсегда. Жили и жили. Не хуже людей. Квартира, дача. А как умненькие близняшки разлетелись по разные стороны Атлантики вслед за старшим и очень, ооочень умным братом, - Каменецкий словно с цепи сорвался. Мужчина в целом для своего возраста здоровый и атлетический, он вдруг принялся твердить: израильская, мол, медицина! - и твердил, и твердил, как мантру. Мантра не то, чтобы убеждала, но поверхностно как бы что-то объясняла. Типа – не дай бог, если.

А жилье в жопе мира дешево. Втрое дешевле, чем в каком-нибудь Тель-Авиве. А то и впятеро. Что и решило дело.

И вот как буквально по заказу – не успели приехать, - повалились хвори на всех сразу.

Первым стал на глазах плешиветь Плохиш. Шерсть вылезала у него клоками, лысины шелушились, бедняга скребся, как безумный, расчесы текли отвратительной сукровицей. Единственный на городок ветеринар-араб знаками дал понять, что пес перегрелся на солнце, вручил за сто шекелей вонючую мазь и таблетку от глистов в порядке бонуса. К счастью, Святая земля оказалась обетованной страной советов, причем бесплатных. У соседа, милейшего Шломи, в Хайфе живет родственница, чью бульдожку пользует щикарный, слушай меня, щикарный доктор, он имеет там практис, я отвезу – Шломи помнит, как люди его тоже выручали, когда он был вроде вас дурак дураком в 91-м году.

Доктор оказался, и правда, молодцом, сделал все по высшей фишке – с анализом на месте, новейшими препаратами и стосвечовой фарфоровой улыбкой, выписал такой же ослепительный счет и долго тряс Каменецкому руку (а Бубе ее даже поцеловал): бесэдэр, порядок, очень хорошо!

Только поправили пуделя, - засбоил Данила. Зачастил, грубо говоря, по малой нужде. Ну, дело немолодое. Почти что дьявольское, можно сказать, число 66, простата не дремлет. «Вот видишь», - провозглашал с тайным торжеством, в третий раз за ночь возвращаясь из сортира. «Накаркал!» – орала Буба.

Израильская медицина там вколола, здесь ввела, тут прокапала, отсыпала полной мерой таблеток, и обошлось без операции. Что, Бубочка, съела? И приходилось признать – что бесэдэр, то бесэсдэр…

С Бубой, не считая привычной астмы (если только можно привыкнуть к дыханию почти, грубо говоря, Чейн-Стока – собственно, к его, дыхания, отсутствию) – ничего ярко выраженного не случилось. Она просто с тревожным интересом следила, как к ним обоим подкрадывается (с незаметностью известного русского персонажа) старость. Старинное (1974-1982) медицинское образование плюс прекрасный и яростный опыт санитарки, потом процедурной сестры, потом участкового врача (1982-1989) позволяли ей улавливать и правильно трактовать, казалось бы, мелкие, но довольно лавинообразные изменения в бытии двух тел и душ, которые она, Нина Сергеевна Бубенцова, ощущала, безусловно, как одно. Ей довелось прочитать однажды об австралийском звере вомбате. Не слишком защищенные по отдельности, маленькие сумчатые медведики эти – непобедимы и неуязвимы в паре. Вот и мы так с Данилой, думала она. Не дай бог, помру – он же не выживет, мудилка. А я? И думать нечего.

Мозжило стопы и пальцы рук. Ну, про спину говорить нечего. Колени. Ты где? – кричала она мужу. – В ванной! – Что значит «не знаю»? Буба понимала, что это значит. Холестериновые бляшки давят на слуховой нерв. Но бляшки – бляшками, а на горизонте – два глухих, как пень, старика и веселый вопрос лечащего врача: «Что, бабка, ссышься?» Здесь, конечно, хамить не будут, даже в больницу, скорей всего не положат, приставят вежливую государственную сиделку-метапелит, будут мыть-стричь, кормить с ложки и водить гулять с ходунками. Испепеляющая перспектива. Ради этого стоило остаток осмысленных лет жить хоть в жопе, хоть где.

Самое страшное – медленно, но верно отказывали, по выражению Эркюля Пуаро, «серые клеточки». Первыми стали уходить из памяти имена и люди. Приветливо поговорив с человеком и даже расцеловавшись с ним, Буба с Каменецким недоуменно спрашивали друг друга: «Кто это?» Конечно, исчезали невесть куда засунутые очки, ключи, деньги, документы, мобильные телефоны – да и сами названия этих вещей всплывали на поверхность не сразу. Где мой… этот… о господи… ну как его… Ты не знаешь, зачем я пришла? Не помнишь, кормил я сегодня Плошу? Слушай, как это, черт возьми, называется – когда кажется, что точно так уже было?

Как раз, между прочим, с дежавю-то было все в порядке. Фантомные воспоминания посещали обоих, причем часто одни и те же (как снились им порой одинаковые сны) – что сбивало с толку и заставляло думать, будто сюжет дежавю состоялся на самом деле. И будто бы они уже вот именно так, друг против друга, как говорится, визави, - уже сидели когда-то на такой же (этой?) сумрачной маленькой кухне с лимонным деревом за окном, что характерно, без занавески – и пили красное вино из синих с тонким золотым узором бокалов. Закусывая покупными пельменями. Чего, конечно, быть не могло ни при какой погоде, хотя бы потому, что эти запредельной и невыносимой красоты бокалы Буба купила в прошлый вторник в старом Акко на блошином рынке по двенадцать шекелей штука. Четыре бокала плюс подарок – рюмка из той же серии, одна. Купила по двенадцать, а Левке сказала, что по восемь. А то бы он душу из нее вынул, что с бабками и так абдуцен, а она мало что в Акко рванула за 26 шекелей на маршрутке в два конца и тусовалась там целый день, пока он с Плошей тут с ног сбивался, мало этого. Так еще и бокалы приперла, не поленилась – говоря по правде, совершенно в хозяйстве ненужные и лишние.

Чего не было, короче, - помнилось. Хуже, что напрочь истаивало то, что было фактически. Наяву. Причем как давно, так и совсем недавно. Вчера. И даже – пару часов назад. Будто на засвеченной пленке. Даже еще радикальней – вот как все равно взяли ножницы и вырезали кадр. Насмерть, до развода (хотя и без особого повода) разругавшись с Каменецким, Буба возвращается себе из магазина как ни в чем ни бывало, привет-привет. Не просто забыла о скандале, но и не поверила Даниле, когда напомнил.

Ишь, притихли марокканцы-то, затаились.

- Ну что, Данил, выйдешь с Плошей?

Молчание.

- Данила!

- А?

- Погуляй, говорю, с собакой-то.

- Буба, ну твою мать! Не видишь, человек работает!

- Вот и отдохни. Растряси бока. Данила! Я к тебе обращаюсь?

Каменецкий поднимает от клавиатуры покрытое неопрятной щетиной верблюжье лицо и бессмысленно смотрит в стену перед собой. На стене – мутная любительская фотография. Новый, 1975-й год. Через полгода на фестивале покажут «Мы так любили друг друга», гениальную, как им казалось, кинуху, сразившую тогда их всех какой-то совершенно невозможной в совке (один Гладилин рискнул) буквально оргией сладостного духа компании – совсем, совсем не того, что позже назовут тусовкой…

Мало кто перешагнул за тридцатник. Кудлатый, носатый, зубастый Гарик, первый ебарь на Москве, лежит на ковре, придерживая рукой на груди ножки своего чудесного гнома Верочки (сожрана раком в 80-м, сразу после родов). Сам он – в окружении внуков на кислородном аппарате в пригороде Бостона, куда увез семилетнего сына. Вася Щорс, красавец, фарцовщик, отсидел двушку, дождался своих времен, крутит бабки где-то на Коста-Рике. Генеральская дочка Майка Рыжая, роковая-центровая, праздник, который у всех с собой. Проиграла пятикомнатную квартиру в первых казино, спилась, живет с дворником в Мытищах. Люсик «Гарбо» в обтягивающем клетчатом комбинезоне и парике, на ч/б не видно, но Буба помнит, что парик был лиловый, а клетка оранжево-зеленая – нежный, смешливый, женственный, любитель кукол и исполнитель первых «перформансов». Задушен любовником. Курчатовский экспериментатор Женька Шестопал – бородатый, как положено, прожженный романтик, турист, бард, хватанул, естественно, дозу в одном из номерных Челябинсков, а то ли Арзамасов. Через 12 лет сгнил дома – из больницы выписали как бесперспективного; жена Гуля переносила его для обмывания с кровати на стол на руках, весил 32 килограмма. Собственно Гуля-Дюймовочка, рост 179, каблук – 8, стрижка под машинку «девяточка», серьги до плеч. Глаза – смолоду страшные, древние, где-то у висков, бирюзовые, рот темно-пионовый (на фотке не видать). Марсианка. Закончив МИСИ, работала прорабом, разговаривала с тех пор исключительно матом с редкими вкраплениями слова «мамочка». В 90-х со старшими сыновьями-архитекторами замутила строительный кооператив, бухгалтером посадила соседского мальчика с мехмата, по слухам, в нее влюбленного. Хозяйка строительной империи. Голый, будто керамический, блестящий череп, темные провалы щек и глаз – художник Авик Мгоян, всегда приезжал из Баку с двумя чемоданами коньяка и ящиком винограда. Там и зарезан. Буржуазный Боба «Чарли», владелец коллекции джазовых винилов и единственного на всех серого твидового костюма. Дослужился до культур-атташе в Мексике, перешел возле Сан-Диего границу и попросил политического убежища. Нашли, укололи, вывезли, обдолбали. Покаялся. После всех психушек задвинули баянистом в подмосковный клуб. Год назад найден на улице города Подольска с полной потерей памяти. В состоянии деменции помещен в подольскую богадельню.

И – королевишна, самая юниорка, вечерница 2-го «меда» Ниночка Бубенцова. Платье – пан-бархат черный, с декольте, как у итальянской артистки Стефании Сандрелли, сама шила, жемчуг искусственный, лаковые лодочки куплены с рук в парикмахерской «Красный мак» (угол Столешникова и Петровки, снесла в бук на Кузнецком собрание сочинений Мамина-Сибиряка). Говорили, похожа на Марину Влади. Она старалась – волосы носила длинные, под Колдунью (на работе забирала в хвост и под белый сестринский колпачок), лифчики исключила.

Данила как увидел ее – так и сказал себе: всё, чувак. Вот он, в куртке из кожзама. Чистый верблюд: длинные губы, глаза надменно полуприкрыты, голова с ранними залысинами откинута. Брюшко. Сутулость исключительная, практически горб. С Васькой Щорсом, например, не сравнить. Но Ниночка, чувиха в компании своя, ничейная, на поцелуи ответила неожиданно легко и охотно. И в ту же новогоднюю ночь стала его женой и одновременно невестой.

Буба подошла сзади, заглянула через плечо, прочитала:

“Ты гляди! Прямо в сердце. Как в тире. А вот еще (показывает рану, приподняв штанину убитого).

гордеев **(принюхивается, морщится)**.

Не меньше недели, как думаешь, Айболит?

Врач.

Да уж. Еще денька два, метров за сто бы разило… Спасибо, жары нет.”

- О, господи, Данила, какую гадость ты пишешь!

- Отвали! – Данила, как школьник, прикрыл крышку ноутбука.

- А вот зря ты со мной не советуешься. Активное гниение трупа на открытом воздухе начинается через четыре дня с выделением зловонных газов… Так что за неделю…

Данила внимательно посмотрел на жену.

- Ты, Буба, все-таки по-настоящему очаровательная женщина.

Перед сном, когда Данила уже прочно храпел, Буба прокралась в кабинет и проверила. *Неделя* сократилась до четырех дней…

Прокашляв часов до трех и с трудом уснув перед рассветом, Буба увидела странный сон, будто бы она сдает экзамен по вождению (никогда не было и не будет), а разметка на дороге – знаки препинания. И она не может вспомнить, что означает точка с запятой. Нина проснулась и заплакала с досады. Теперь, считай, до утра не спать. Она с неприязнью взглянула на мужа. Тот аж трясся в лунном свете от храпа. На лбу у него сидела бесстрашная муха. Как только взгляд жены, как ствол, уперся ему в переносицу, муха улетела, а Каменецкий открыл глаза и твердо сказал:

- Точка с запятой – это пиздец, но не окончательный.

- Данила, - всхлипнула Буба. – Я больше не могу. На нас уже мухи садятся. Я хочу в Москву. Хоть на недельку…

Каменецкий перекатил голову жены к себе на грудь.

- Буба, деточка, ну где ты будешь там жить? Квартира сдана, на даче еще холодно…

- Да хоть где… У Дюймовочки. У нее дом на Пречистенке, особняк…

- Вы не виделись двенадцать лет. Ты уверена, что…

- Уверена. И потом, заеду домой, проверю там все… Деньги возьму. А?

- Не знаю, Буба. Мне тоже мало радости смотреть, как тебя тут плющит. Почему только, не могу понять. Живем, как у Христа за пазухой…

Буба, навалившись на мужа, потянулась к тумбочке за сигаретой. Закурили.

- За пазухой? Да мы с тобой в худшие времена в Москве на еде не экономили. Только и слышу – нет денег, где деньги, денег нет!

- Слушай, если ты хочешь скандалить, то к твоему сведению, - Данила поднес к глазам часы, - сейчас четыре двенадцать.

- Типа портвейн? – Буба хихикнула.

- Коньяк.

- Если б ты не храпел, как бульдозер, я бы сейчас спала.

Этажом выше с жутким скрежетом опять поволокли куда-то шкаф.

Полежали, покурили. С минуту Бубу колотил тяжелый, до рвоты, приступ.

- Нинка, ну хрен ли ты куришь. Смотри, что с тобой творится.

- Со мной хуже творится. Мне не этого – другого воздуха не хватает.

Самой стало немного стыдно. Но тонкача Каменецкого неожиданно пробило.

- Ну… знаешь... Если уж такие вилы… Как говорит джипиэс – едьте. Давай… чего, в самом деле. Ну махнем еще полтыщонки – что я, не зарабатываю, в конце-то концов?

Буба приподнялась на локте, недоверчиво вгляделась – не издевается ли. Каменецкий, вытянув длинные губы трубочкой, пускал аккуратные кольца. Когда два, одно за другим, вплыли в третье и образовали тающие концентрические окружности, Данила самодовольно усмехнулся.

- Вот такой я человек.

С утра затарились в большом супермаркете – особенно квасным, или, проще говоря, хлебом, которого не купишь ни за какие деньги всю неделю Песаха. Попросить охранника вызвать такси было несложно: «Такси, бэвакаша», – и милая улыбка.

Пока Данила расплачивался, подгреб какой-то лысый в майке с отвисшими проймами:

- Живьешь, или в гостьях?

(О ненавистное повсеместное *ты*).

- Ну, живу.

- А живьешь, говори по-человьечески! Монит, а не такси!

От кассы приближался Каменецкий с продуктовой телегой. Буба ослепительно улыбнулась.

- Слышь, чувак, а ты новую дорогу на хер знаешь?

Лысый открыл рот, задрал брови и растерянно почесал под мышкой.

- Вижу, что нет. Тогда иди по старой.

С билетом вкатились аккурат в акцию – три ближайших дня пасхальная 50-процентная скидка на Эль Аль по всем направлениям. Великодушный ответ евреев на ветхий Исход – летите, едьте а хоть бы и ехайте и вы, гои, раз уж приспичило! Без вас веселее.

Оставалась проблема добраться до аэропорта: с вечера пятницы на три дня транспорт впадал в праздничный коллапс. Тут как раз позвали на пасхальный *седер* в хорошую тель-авивскую компанию – с ночевкой и можно с собакой. А из Назарета (вот именно) как раз туда, проездом через Лэв Гиват, направлялся один добрый человек и брался захватить Каменецкого, а для Бубы сделать крючок в Бен-Гурион.

Родная земля, как Гагарина, ждала Бубу в конце ковровой дорожки, приплясывая от нетерпения…

Дюймовочка не только самолично (в сопровождении двух громил) встретила Бубу в Домодедово. В конце марта в Москве стояли абсурдные морозы. Гуля сделала знак, и один из громил жестом фокусника выхватил откуда ни возьмись, встряхнул и на вытянутых руках подал Нине нереальной красоты, как бы подернутую пеплом, песцовую шубу в пол. Окутанная пепельным облаком Буба испытала новое, бесконечно женское чувство вседозволенности – просто потому, что – женщина… (Самой дорогой вещью в ее гардеробе за всю 56-летнюю жизнь были потрясающие очки-хамелеоны за 2000 шекелей, они же 500 $, которые с боем выколотила из мужа в их скудной эмиграции.) Сапоги – графитовой кожи, на белой цигейке – держал другой громила, по сапогу в каждой, так же вытянутой руке, точно робот.

- Вот, блядь. Ни один мудак, нах, не скажет мне – такие, блядь, люди и без охраны. Да, мамочка?

- Господи… - из Бубиных глаз покатились слезы. – Помнишь… помнишь, что без каблука…

Того, что называют разрывом, с Дюймовочкой – единственной оставшейся в России и при этом не только выжившей, но и вырулившей – не было. Разнесла центробежная жизнь по разным орбитам, все как бы просто. Там – особняки, охранники, штат прислуги; здесь – двушка в Сокольниках да сруб c печкой в деревне Буяны. Там – ледяное вдовство, здесь – уют, гнездо, родной мужик в койке. Главное же – там, в бизнес-классе Гульноры Шестопал – неослабное напряжение огромного и опасного своей огромностью ДЕЛА. А здесь, в «экономке» Нины Бубенцовой – пестрая карусель домашней суеты, бабочка крылышками бяк-бяк.

- Про тебя, Гюльчатай, стихи есть, - сказал Данила на Женькиной годовщине (лет десять еще собирались):

Ей жить бы хотелось иначе –

Носить подвенечный наряд…

Но кони все скачут и скачут,

А избы горят и горят.

Гуля тогда усмехнулась пионовым ртом:

- Про вас с Нинкой, мамочка, тоже есть стишок, блядь, – жили-были дед да Буба, ели кашу с молоком нах.

И как-то тихо, безо всяких осложнений растащило – как распределяет свое содержимое море – что-то вглубь, а что-то – на берег, вместе с водорослями и ракушками. Однажды встретились на кладбище. Даже выпили водки. А после того, как на миллениум Бубе позвонили «по поручению госпожи Шестопал» – передать поздравление с Новым годом, веком и одновременно тысячелетием, и Буба ответила – передайте госпоже Шестопал, что ее поздравление не принято, - вот тогда все вроде как логически и закончилось.

- О, бляааать… - только и пропела басом Гуля в трубку, когда Буба – так, без особых надежд набрала старый номер. И вот – с шубой и сапогами, как Снежная Королева.

Морозный рассвет и хозяйскую жемчужную «бентли» встречала во дворе на Пречистенке живописная толпа оборванцев. С десяток бородатых огольцов и лысых (вариант – войлочно-косматых) девок в дрэдах, пончо, дырявых джинсах и тулупах, в цветастых юбках, валенках на босу ногу и шлепанцах на толстый носок, в меховых безрукавках и длинных латаных свитерах, рассевшись вокруг мощного, врытого в землю стола под навесом, допивали какие-то обильные остатки. На Гульнору с Бубой внимания никто не обратил.

- Это кто?

- Да иждивенцы, блядь, мои паразиты, чтоб они нах сдохли, ебть! – приветливо отрекомендовала колонию Гуля.

В пресловутом двухэтажном особняке Гульнора занимала только второй этаж. На первом, надо отдать ей должное, жили четверо ее великовозрастных сыновей с дружками и подружками. Художники, музыканты, поэты, пророки и просто дармоеды. Архитекторы-погодки давно сменили профиль. Один восемь лет писал нескончаемый трактат о влиянии Большого стиля на либидо советского горожанина, другой клепал компьютерные мультфильмы сетевого значения. Все вольготно сидели на шее матери – включая и тех, кому матерью она отнюдь не приходилась.

Шли анфиладами комнат. Буба насчитала семь, а то и девять. Миновали короткий коридор, свернули налево, спустились на несколько ступенек и ступили в КУХНЮ. Такие КУХНИ (только так) Буба видела исключительно в зарубежном кино из жизни старой аристократии. Огромная плита с мощной вытяжкой посередине просторной, обшитой дубом хоромины. Никакого кафеля, никеля и прочей сиротской белиберды. Камень, дерево, медь. В глубокой нише – овальный ореховый стол на львиных лапах, на нем ваза – внимание – с сиренью! Март месяц. Накрыто на три персоны. Туманный датский фарфор – у Бубенцовых были когда-то такие чашки, вывезенные Нининым дедом из Копенгагена, где он служил в торгпредстве (недолгая отсидка по делу Внешторга уже в 50-х). Серебро, льняные салфетки. Неожиданно простые граненые рюмки-лафитники мутного стекла.

Откуда-то из-за шкафов выползла заспанная тетка в махровом халате.

- Подавать, Гульнора Файзуловна?

- Григория Ефимыча позови, Катюш, будь другом.

- Дак они спят, Гульнора Файзуловна. Сами ж не велели их будить.

- А теперь велю. Давай, мамочка, много не разговаривай. А ты, – к Бубе, - садись, голодная ж. После аэрофлотского говна-то. Икорки вон возьми. Водки выпьешь?

Буба не могла насмотреться на величавый размах КУХНИ. Пищеблоки были ее слабостью. Не потому, что Буба как-то особенно любила готовить или была каким-нибудь безграничным и ослепительным гурманом типа Ниро Вульфа. Но, прожившая полжизни в коммуналках, а потом в малогабаритках с максимум 8-метровым обиталищем для бдений с единомышленниками и факультативного поедания яичницы, – она вырастила в себе мечту. Нет, как и содержание мечты, надо бы написать – МЕЧТУ. МЕЧТУ о КУХНЕ. Как об очаге. Как о погружении в густой первобытный мед и сперму бытия. Как о средоточии, даже – средостении земной жизни. Камень, дерево, медь. Объемистая старая утварь, начищенная до огненных бликов. Дымчатый фарфор на тяжелых полках. Сирень в марте на большом овальном столе… (Вру, такого не было и в мечтах.) Буба глубоко вдохнула богатую и сложную смесь (нет, *симфонию*, если уж на то пошло) любимых запахов (свежего хлеба, сирени, кофе, печеных яблок, ванили, утюга) – и только тут заметила, что горло разжалось, кашель высох, отпустил.

- А? Да ты чего, какая водка. Семь утра.

- Самое время. Тяпнешь – и сопи до обеда. В нашем возрасте, Нинок, бессонная ночь – смерти подобна. Я, мамочка, плохо не посоветую.

Гриша, которого не велено будить, явился с кроткой и виноватой улыбкой еврейского вундеркинда, опоздавшего на урок ОБЖ (основ безопасности жизни – странная дисциплина по теперешнему времени).

- Помнишь его? – Гуля подтолкнула к Бубе щуплого, с остатками кудрявой шевелюры мужчину без возраста. Гриша глянул по-детски, снизу вверх, очень умными печальными глазами таксы, протянул узкую ладонь.

- Григорий.

- Пацан, ну! Работал у меня в кооперативе, не помнишь?

Как ни странно, Буба помнила. Мальчик с мехмата, сын соседки. Вот, значит, как.

Когда Гриша, аккуратно и молча поев, попросил разрешения уйти (буквально: «Я пойду, Гульнора, можно?») и тихо, как-то неуверенно, бочком, удалился, Буба только и смогла вымолвить:

- Так и живете?

Гуля пожала плечами.

- А куда деваться? Он же, блядь, гений. Теорему какую-то, нах, доказал недоказуемую. Вообще, невъебенные открытия, блядь. А денег-то никто ни хера не дает. А я даю. Работай, блядь. Считай свои дифферен, блядь, циалы.

- А вы… ну… - Буба, как всегда, не могла вербализировать главную тайну жизни.

- Чего? В смысле этого дела? – Гуля сверху прихлопнула ладонью кулак. – А как же. Обязательно. Напряжение, блядь, снимаем.

Посмотрели пристально в глаза друг другу – и заржали обе, громко, срываясь на скулеж, падая головой на стол и утирая слезы.

Прекрасно выспавшись на огромной, одушевленной каким-то ритмом кровати, Буба, не в силах пройти мимо, заглянула в кухню. Давешняя Катюша, багровая от жара плиты, приказала ей садиться за стол.

- Велено вас накормить.

- А Гульнора…

- Гульнора Файзуловна уехали до вечера, Григорий Ефимыч спят или что не знаю! – отрапортовала Катюша. – А вас велено кормить.

Селедочка (как бы не рыба даже, а как бы присоленное тающее суфле) с молодой картошкой, пестрой от укропа и базилика. Густая солянка из осетрины с оливками разных сортов. Утка, шпигованная антоновкой, с моченой брусникой. Горячий вишневый пирог с шоколадным мороженым. Дыня. Из батареи бутылок, выстроенных на столе, Буба выбрала, что попроще: к селедке и солянке водки «Белуга», к дальнейшему – просто «Саперави», зато настоящее, Самтрест, из советских еще погребов.

Когда поднималась, изнуренная, от стола, - вошел молодой мужик, по всему видать, из нахлебников с первого этажа – футболка поверх фланелевой рубашки (поперек груди – слоган *«two bear or not two bear»*), ватные какие-то штаны, заправленные в обрезанные валенки, косичка.

- Здрасьте, Нина. Не узнаете? Я Костя. Костян.

Да как же его узнать. Прыщавый, бледненький, поганка поганкой, мокрец со всеми входящими-исходящими его элитарного вуза – трава и иная дурь, грибы, алкоголь, угоны с последующим битьем чужих машин, долги, воровство у родителей и прочие прелести – прямо-таки искупался в кипятке, молоке, грянулся оземь и обернулся отличным, за тридцать, чуваком с походкой и лицом Де Ниро – тяжелая челюсть, зубастая улыбка плюс ямочка на подбородке. Тонкие очки.

- А я вас сразу узнал, как вы с мамой из машины вышли. Вы не изменились… Нина…

Костян, горе семьи, певец советского архитектурного фрейдизма, - оглядывал Бубу ясными наглыми глазами, как ровесницу.

И Нина как-то не решилась отказаться (да и смысл? так и так делать нечего), когда Костян предложил *прокатиться* по Москве.

- Вы же сколько не были?

Нина блаженно гнездилась в нежном облаке шубы, откинувшись на удобное сидение в теплом просторном салоне, пропитанном запахом богатства – хорошей кожи, трубочного табака, дорогого мужского парфюма.

- Твоя?

- А? – не понял Костя.

- Машина, говорю, твоя? Шикарная...

- Мамулька подкинула. На тридцатник.

- Ох. Тебе уже тридцать?

- Тридцать четыре. А вам? Нет, стойте, я сам. Мне значит, было двенадцать, когда отец… ну да. А вы были самая молоденькая…

Костя повернулся к ней всем корпусом, снял руки с руля и развел ладони на небольшое расстояние.

- Вот такая. Мы с Мишкой вас звали Колдунчик.

О, как она забыла! Колдунчик! Засмеялась.

- Короче, мы с Мишкой все удивлялись, что Колдунчик такой маленький, как девочка, а вышла замуж. А уж когда папа… (Буба, поджав губы, похлопала его по колену). Вам уже было тогда нормально. Примерно, как мне сейчас… Выходит, вам сейчас – пятьдесят четыре-пять-шесть?

- На дорогу смотри, арифметик.

- Мы с Мишкой оба были в вас влюблены, ага. И вот когда вы нас так кинули и вышли замуж… это была такая ну… знаете… детская травма. И на этом детство для меня кончилось.

- А у Мишки? – Буба усмехнулась, но, поглядев на грустный профиль слева от себя, даже немного Костю пожалела. Хотя прекрасно знала этот тип из разряда «все, что шевелится». Ошибалась, кстати, и довольно бездарным образом.

Пока ехали с Гулей из аэропорта, полусонная Буба не сосканировала изменений. А между тем, даже за эти три года, что марокканцы двигали мебель им с Данилой по мозгам, иные участки столицы сделались неузнаваемыми. Тверская от Охотного до Белорусской запузырилась зеркальными эркерами пятизвездочных отелей. Манекены, элегантные, как леди Ди, и стильные, как Евгений Евтушенко, - источали холодное презрение с витрин дизайнерских бутиков и сетевых магазинов, где давно уже никто и не говорил по-русски. Площадь Белорусского вокзала (Тверской заставы!) ощетинилась прозрачными конусами пентхаусов. Растяжки поперек улиц непристойно предлагали *апартаменты*: час – 800 рублей, ночь – 3000. Когда свернули с Лесной на Новослободскую, Буба, подобно андерсеновской сиротке, прямо рот разинула от жирной разнузданности тортов-высоток в фисташково-розовой гамме.

- Это что, жилые дома?

- Нехило, да? Вот поэтому я, Нин, ушел из бизнеса. Шесть лет меня учили, Мельников-пельменников, Щусев-фуюсев… Чтоб я, нежный цветик, вот это мыло клепал, прикинь?

Нина втайне усмехнулась неожиданному «ты», чего, похоже, сам Костя не заметил. А может – сделал вид. Так, мол, сорвалось.

Среди купеческой выпечки свадебного новья серо-бурой буханкой прочно и хмуро укоренился старый бубин дом – когда-то самый крупный и мощный на районе, с конструктивистскими лоджиями, с барельефами технического звена тридцатых – грудастых мужчин и женщин, вооруженных циркулями, рейсшинами, но и отбойными молотками.

Нина не знала своих жильцов, все переговоры перед отъездом вел Данила – как осуществлял вообще все внешние связи. При щенячьем жизнелюбии и озорстве среди своих – Буба испытывала болезненный ступор, граничащий со слабоумием, попадая в чужие стены, в разного рода казенные присутствия – жилконторы, паспортные столы, собесы; в израильском посольстве при оформлении гражданства натурально хлопнулась в обморок. Ребенок с синдромом Дауна осилил бы процедуру сдачи квартиры с большим успехом, чем Нина Бубенцова, 56-летняя мать троих детей.

Она и сейчас ни за что на свете не пошла бы сюда одна. Да и, собственно, зачем? Деньги они переводят на счет. А вмешиваться в чужую жизнь, контролировать – совсем уж последнее дело. Но Костя так радостно откликнулся на просьбу заглянуть *к жильцам за податью*, что Буба совершенно перестала бояться и обрела уверенность – прямо как тогда, с шубой. Тем более, кстати, что и шуба являла собой известную поддержку.

Молодая женщина с огромным животом, под прямым углом выпирающим из ее худосочного тельца, подобно лоджии, сонно улыбнулась и слабым жестом пригласила войти. За ее ногу цеплялась маленькая и довольно сопливая девчонка. Еще один ребенок неясного пола сидел в манеже посреди большой комнаты, ничем не отграниченной от входной двери.

Из ванной вышел неправдоподобно длинный парень в спортивной фуфайке с засученными рукавами. С огромных рук капала мыльная пена.

- Я Нина… - поздоровалась Буба.

- Тань, это Нина, хозяйка, - перевел баскетболист. – Я тебе говорил…

- Ага, - зевнула Таня и ушла, шаркая и волоча принайтованную к ноге девочку.

- В положении… - дылда смущенно развел своими лопатами. – Родит на днях.

Ребенок в манеже неожиданно закричал без слез женским голосом на одной ноте: аааааааа!!!!

- Глохни, пузырь, - огрызнулся молодой папаша – впрочем, без злости. И протянул мокрую руку: - Виталик. – И добавил развязно: - В залу-то проходите. Только разуйтесь.

Нина почувствовала холодную испарину и слабость легкой дурноты – то ли от предложения разуться, то ли от тошнотворного слова «зала», подкрепленного видом этой самой «залы».

Из старого, дедушкиного еще дивана, обтянутого зеленым сафьяном с золотыми гвоздиками, которому за семьдесят лет переездов, войны, эвакуации, краткой отсидки – ничего не сделалось, - пучками торчал конский волос, многочисленные прорехи открывали мощные старые немецкие пружины. Карниз висел на одном кронштейне, тяжелая шелковая штора сползла, сорванная с крючков тюлевая занавеска свисала, как рыболовная сеть. По стенам красовались гадкие эстампы с видами Риги и русских перелесков, цветные фотографии чужих детей, несколько тщательно и плоско написанных натюрмортов. И прочая дрянь.

- А вот тут, - Нина робко кивнула на большую блестящую чеканку с изображением какой-то закутанной кавказской женщины, понуро стоящей на одном колене, - тут вот висел Тышлер…

- Кто?

- Тышлер? – удивился Костя. – Подлинник?

- Ну, эскиз декорации… Александр Григорьевич с дедушкой дружил…

Виталик пожал плечами.

- Висела какая-то фигня, мне и ни к чему, куда-то сунули… У меня вон малАя, и то лучше нарисует.

- Слышь, чувак, - вмешался Костя, - это тебе не хухры-мухры. Если вещь пропала, придется платить. А тебе такие бабки не снились. Тышлер, прикинь!

Виталик обтер руки о штаны, вынул ноющего малыша из манежа.

- Ну и брали бы с собой, раз ценность… Я стеречь не нанимался. Да, пузырь?

Нина беспомощно оглянулась на Костю:

- 32-й год, вывозить нельзя… Я ж не думала…

- Короче, чувак, - Костя пощекотал младенцу пятку, отчего тот перестал стонать и расплылся в улыбке. – Ты давай картинку-то найди. А то вон деток настрогал, а ума не нажил.

Отвращение к собственному дому затопило Нину. Все, все здесь было ей ножом по стеклу. Все эти дети, беременная тетеха Таня, домовитый Виталик, запахи непроветриваемого помещения, более тяжелые и чуждые, чем даже вонь марокканского жилья…

- Пойдем отсюда, - сказала просительно, по-сиротски заглянув снизу Косте в лицо.

- Подожди, как это пойдем?! – приосанился Костян. – Как тебя? Виталик? Даем тебе неделю. Или ты находишь и возвращаешь картинку, или, значит…

- Ну что «или»? – усмехнулся Виталик. – Вы налог платите со сдачи? Нет ведь, ага? И никто ничего. А мы ж можем сообщить, и соседи… Вас тут, кстати, - вы в курсе? - не больно-то обожают. Над нами, к вашему сведению, вообще скинхеды живут. Думаете, никто не знает, что вы в Израиловку свинтили?

Нина прижала руку ко рту и вылетела на лестницу. Хорошо, второй этаж: успела выскочить во двор, где в несколько залпов и бабахнула весь шикарный обед наружу.

Подоспевший Костя зачерпнул снега, чуть брезгливо принялся оттирать песца. Усмехнулся:

- Что, Нина Сергевна, рвет на родину?

- Вода есть в тачке?

- Найдем…

Прополоскав рот, Буба искоса глянула на сопровождающего.

- Как, не излечился от детской травмы?

Господи, коснулось края сознания, заполненного отвращением, да я с ним кокетничаю. Конечно, он старше Васьки, но на сколько? На каких-то семь-восемь лет. Может, и Вася, ооочень умный первенец, катается с какой-нибудь перезрелой миссис по своему Нью-Йорку и называет ее на ты… А если б мы уехали не в Израиль, а в Америку, как хотела я, и Вася, и Леночка с Настиком – нас бы так же здесь «не обожали»? Бубе почему-то казалось, что она создана для Америки. Проживая последние годы на Ближнем Востоке, *своя среди чужих* даже не догадывалась, что за эти пару лет ее безропотным соотечественникам так запудрили мозги, что всего-то полувековой давности так называемая *холодная война* кажется им из сегодняшнего дня какими-то безобидными мифами и легендами древней Греции в пересказе Куна. Намереваясь в очередной раз войти в старую реку, она летела в Москву с дамой, чья визитная карточка предъявляла миру *профессора искусствоведения.* Два часа та долбила о каких-то американских эскадрах, которые она, профессор, совершенно не желает видеть у берегов России, и, слава богу, теперь не увидит. Буба никак не могла понять, с какого перепугу американский флот будет грозить российским берегам, но на всякий случай с умным видом кивала.

- Костя, а как называют в России американцев?

- В смысле?

- Ну вот евреев некоторые называют жиды. Украинцев – хохлы…

- А! – Костя засмеялся. – Пиндосы. *Некоторые*  их так называют.

- Пиндосы? Странное слово… Что, не любят?

- Да кто как. Лично мне Америка нравится. Я бы уехал, если б не Мишка. Не хочет, дурак, а мне без него скучно. А тебе в Израиловке не скучно? Одной-то?

Буба закурила.

- Во-первых, я не одна, и ты это знаешь.

- Ну да… этот… как его… Лева? До сих пор?

Буба сделала вид, что наглая интонация, да и сам вопрос ее никак не задели.

- А во-вторых, никогда не говори «Израиловка». Это пошло, неприлично. Так виталики говорят. А хорошим мальчикам стыдно. – Она выпустила струйку дыма в щеку водителя. – Жвачки нет?

Костя пришвартовался у большого серого дома на Масловке, с улыбкой глядя на сумрачно жующую Бубу:

- И эти люди учат нас не ковырять в носу…

Нина знала здешние дома. Еще сто лет назад, когда она была маленькой девочкой, их верхние этажи занимали художники, тот же, кстати, Тышлер, и дедушка иногда брал ее с собой. Тогда мастерские давали им бесплатно – в виде признания заслуг.

- И чего ты меня сюда привез?

- Да вот подумал, времени еще навалом, мать сегодня допоздна… Дружок у меня тут… типа концептуалку мастрячит…

Поднялись на последний этаж и еще по железной лесенке – к железной же решетке, закрывающей, видимо, дверь или, скорее, лаз на чердак. Решетка отперта, низкая дверь – вообще нараспашку, из помещения за ней доносились поющие голоса, хохот, звон посуды, невнятный гул гульбы.

Компания сильно отличалась от пречистенской «коммуны», явно косящей под психоделический рай Гоа, где Бубе с Данилой однажды довелось побывать, и Данила едва не лишился тогда еще сравнительно молодой жены: поездка была подарком ей на 40-летие. Нинка, соскучившись с неотрывно сидящим в гостиничном вай-фае мужем, отправилась гулять, забрела в лагерь дружелюбно медитирующих буддистов, от души там накурилась, впала в нирвану и решила остаться в одной из хижин навсегда. Данила нашел ее с полицией только наутро. Буба лежала в гамаке и тихо пела Окуджаву. Рядом на песке сидел немыслимо грязный европеоид, с совершенно бессмысленной, блаженной рожей отбивая ритм на маленьком африканском джембе. Большим и указательным пальцем левой руки Буба вяло держала косяк. Правая кисть тонула в свалявшейся шкуре на загривке аккомпаниатора.

Нет. Здесь, на чердаке собрался совсем другой люд. Чем-то застолье даже напоминало то, когдатошнее, когда все они так любили друг друга. Хотя бытовал тут, вероятно, скульптор – из этих, «актуальных», которых Буба не любила как, на ее вкус, шарлатанов. На полу, на верстаках вдоль стен, на полках, набитых по периметру высокого ангара, красовались так называемые «объекты» из самых разных материалов. Спирали, конические башни, опоясанные ступенями, огромные, похожие на ископаемые скелеты, конструкции, сваренные при ближайшем рассмотрении из всякой скобяной дребедени… Но в углу, увидела Нина и поразилась, - на плоском пьедестале, скорее диске, чем цилиндре, сидел, разбросав колени, – рваный, клепаный из страшных, оплавленных кусков металла, весь насквозь дырявый, как остов брошенного на свалке разбитого вдребезги автомобиля, с дико изогнутыми конечностями и общей уродливой, какой-то плавящейся анатомией, ненормально длинными пальцами, вогнутым, изжеванным, искореженным лицом и шеей, торчащей почти под прямым углом к косым плечам – Дон Кихот.

Она стала искать взглядом скульптора, пытаясь угадать его в гудящей толпе. Сокрушительный красавец в шарфе, с вялыми ручонками? Нет, конечно. Тот, с гитарой, в рыхлом свитере и папироской в углу усатого рта, с прищуренными от дыма глазами, рассеянно и непрерывно теребящий струны? Вряд ли, слишком ухоженные ногти. Кудрявый, заросший до глаз бородой, почти белоглазый великан, в дымину пьяный, закидывающий в пасть, хохоча, стопку за стопкой? (А рядом белобрысая мартышка в брекетах глядит поверх очков с материнской любовью и умилением.) Вот. И пьет, как пьют художники, расслабляясь после адовой работы.

Показала глазами:

- Хозяин – этот Муромец? Нет?

Улыбнулся, взял растопыренными пальцами за макушку, заставил повернуть голову в противоположную сторону. «Вон, на лесенке».

Во главе стола на верхотуре деревянной стремянки сидел гном. Точнее, карлик. Детские ножки в цигейковых тапках опираются на ступеньку. До щиколоток свисают лопаты мощных, перевитых венами лап. Над куриной грудкой – прекрасный купол головы. Просторный лоб, высоко открытый, лысеющий череп. Легкие седые вихры – явные остатки прежней роскоши. Вплотную прижатые уши с длинными мочками – признаком ума. Ацетиленовые глаза, искристые, будто кристаллы морозного воздуха. Плоский нос и губы, крупные и матовые, как у лошади.

- Видала? Какой у меня Буонарроти… - шепнул ей в ухо Костя с нежностью, непонятно кому адресованной. – Пошли, познакомлю.

Античный уродец, как бы символизирующий концепцию новейших агностиков о том, что эстетика Возрождения питалась отнюдь не скованной жесткими рамками гуманистической доктриной христианства, а культом свободной силы Эллады – мощью и свободой как физической, так и духовной, – осторожно пожал Нинину руку (утонувшую в глубоком ковше его длани, неожиданно легкой, точно груда сухих листьев) и обнажил в неотразимо простодушной улыбке крепкие (да, лошадиные) зубы.

- Неужели Нина? Обожаю это имя. Как хорошо, что вы пришли. Я – местный гений. Не путать с гением места. Паоло Рудаков-Умертвиев. Надо же! Нина! Надеюсь, вам известно, что ваша покровительница святая равноапостольная Нина была племянницей иерусалимского патриарха Ювеналия и крестила Грузию. В переводе с ассирийского *Нина* – *царица.* А с грузинского – как раз наоборот, *ласковая*. Где вы встречали ласковых цариц?

Нина смотрела на скульптора во все глаза, не видя, как трясется от беззвучного смеха Костя. А Паоло Рудаков-Умертвиев (такой же Умертвиев, понятное дело, как и Паоло, а впрочем, кто его знает) увлеченно гнал свою пургу:

- Имя ваше доброе, но, увы, не сильное. Внешне невозмутимое звучание и достойная простота отразились на его популярности. Кто сегодня назовет девочку *Нина*? Разве какая-нибудь кахетинская княжна, помнящая о корнях… Ваша зодиакальность – **Водолей, планета – Уран, цвет… - Паоло поднял глаза к потолку и счастливо улыбнулся, - о, цвет ваш, имейте в виду, – лиловый, а также его составляющие – синий и красный. Не кумач, упаси бог. Алый. Краплак. Гранат. Охра еще. Вот как ваша фуфаечка. – Паоло погладил царицу по рукаву. – Кашемир? Славный колерок. Излучение вашего имени – 88 процентов. Вибрация 83 тыщи. Ваш камень – а я как гном знаю о камнях все…**

**- Похоже, не только о камнях, - засмеялась Нина, очнувшись.**

**- Да уж. – Гном взял ее за указательный пальчик, унизанный крупным малахитом. – Нет, дорогая, камень ваш – циркон.** Вы, кстати, знаете, что *Ни****на* относится к тем женщинам, которые составляют вино жизни?** Ваш тотем – виноградная лоза. И, к**ак за лозой, за вами надо тщательно ухаживать, чтобы вы расцвели и щедро плодоносили... Счастливое замужество для вас – цель и смысл жизни. Верно?**

- А в каком смысле вибрация? – перевела стрелку Нина, почему-то ей сейчас совсем не хотелось говорить о счастливом замужестве, в котором – таки да, реально сосредоточились все цели, смыслы и вибрации.

Костя взял в ладони крупную голову карлика и расцеловал его в обе щеки.

- Ты, Пашка, бог, и сам того не знаешь!

- Почему ж, отлично знаю, - усмехнулся Паоло-Пашка и подмигнул Нине.

Ей было весело. Усатый в рыхлом свитере грянул вдруг с казачьим присвистом «Пчелочка златая», и вместе со всеми Буба подхватила бедовым «фольклорным» голосом, совершенно не похожим на матовый голос ее будничной речи:

*Ой, жаль, жалко мне мне,*

*Что же ты жужжишь, жужжишь!*

Костя опустился на ступеньку стремянки, облокотившись затылком о колени Паоло. Тот щелкал пальцами и, рассыпая трамвайные искры из глаз, выводил высоко и чисто:

*Ай сладкие медовые губочки у ей, у ей!*

*Мягкие пуховые сисечки у ей!*

Проснулась Нина в кромешной тьме от мучительного давления в мочевом пузыре, ничего не понимая. Провела ладонью по груди и бедрам: свитер, джинсы... Пошевелила пальцами ног – вроде не обута. В бок впивается что-то твердое. Ладонь коснулась тканой, явно пропитанной пылью неровной поверхности… Вытащила терзающий печень предмет, на ощупь определила: вилка. Ничего мягкого-пухового – плоский убитый тюфяк, вроде собачьей лёжки, под головой. От легкого движения висок пронзило тонкое и будто бы синее сверло. Язык чужеродно помещался во рту, по ощущениям похожий на толстую горькую пробку.

Немного обвыкнув в темноте, различила стол, стулья. Цепляясь за мебель, шатко побрела в поисках воды и уборной. Наткнулась на стену, нашарила выключатель.

Мастерская озарилась режущим холодным светом. Ложе, которое послужило равноапостольной последним прибежищем, оказалось тем самым диванчиком, на котором она вчера сидя (!) танцевала знойное танго в объятиях носатого толстяка с седым японским узелком, заколотым на макушке. От партнера ощутимо припахивало ацетоном (бедняга сидел, небось, на инсулине). Вспомнив, как диабетик пел тонким голосом что-то картавое, кричал ей «Коголева! Богиня!» и как дико она при этом хохотала, Нина покрылась испариной. Еще ей мстилось что-то вроде борьбы с Костей – вроде она пыталась обнять его за шею, норовя поцеловать в губы, он же отворачивал лицо и держал ее за локти, с усилием как бы размыкая челюсти капкана.

Жадно вылакав из горлышка остатки минералки, Буба выбрела на изрядно запущенный, как обычно в мастерских, сортир. Брезгливо справила нужду. И, подобно последнему уцелевшему в крепости солдату, решила поискать живых.

Собственно, особых закоулков и лабиринтов чердак не таил. Напротив двери в санузел имелась еще лишь одна неплотно закрытая дверь. Из щели сочился тусклый, слегка воспаленный свет. Буба осторожно заглянула.

Впоследствии ее удивляло главным образом то, что она ничуть не удивилась. Хотя даже близко ее мысли не сворачивали в это русло. И, однако, как она немедленно поняла, именно такое развитие сюжета было наиболее логичным и художественно состоятельным.

БОольшую часть тесной комнатки занимала широкая тахта. В изголовье горел антикварный ночник-лилия матового розового стекла. Ногами к двери в позе бегуна спал голый Костян. Сбитое одеяло валялось на полу. Бережно, как ребенка или кошку, он прижимал к себе Паоло Умертвиева, чья ренессансная голова на белой подушке решительно отрицала уродливое тельце с несоразмерными руками и членом, зачеркивала его и, точно высеченная из желтоватого мрамора, утверждала единственный источник гармонии – дух, который веет, само собой, где хочет.

Разутая Нина бесшумно подошла к ложу, подобрала одеяло и осторожно укрыла любовников.

Прекрасному изваянию ничто более не противоречило и не мешало.

Через неделю Буба с легкой тоской покидала сердце отчизны, инфарктное сердце на семи холмах.

В самолете рядом с ней сидел у прохода бородатый хасид в твердой черной шляпе. Жадно доедая свой разнообразный кошерный обед (значительно превосходящий количеством и аппетитностью обычный), сосед успевал искоса неодобрительно посматривать на ее монитор, по которому Нина смотрела «Жизнь Адели» - кино о любви двух вдумчивых лесбиянок. Когда дошло до кульминационной постельной сцены в полный рост, хасид потряс Нину за плечо и что-то прокаркал на иврите. Та пожала плечами: «Не понимаю».

- Выключи эту хадость! – потребовал израильтянин по-русски. Язык был на удивление чистым, кабы не фрикативное Г.

- Это еще почему? – Нина вынула наушники и поставила изображение на паузу.

- Хрех, женщина. Хрех тебе, хеверет, смотреть на такое безбожное безобразие. Вон, колечко… муж, значит, есть. А ты пакостишь от него. Хуже свиньи.

Буба ощутила, как все 83 тысячи единиц вибрации тряханули ее изнутри.

- Слушай, дядя, отъебись, - с наслаждением тихо отчеканила ласковая царица, вновь втыкая в уши черные запятые.

- Что-о?! Я не понял… Ты… вы что…

- Ничего. Занимайтесь своим делом.

- Это и есть мое дело! – рявкнул хасид. – Мое дело – следить, как ты блюдешь Закон! Забыла, как Хосподь наш покарал Содом и Хоморру?!

Буба прибавила звучкУ и подумала о странностях монотеистских религий. О кровавом фарше Ветхого Завета, согласно которому праотцы-праведники по любому поводу затевали великую резню и почем зря трахали дочерей. Однако любовь между безвредными и бесхитростными содомитами, союзы, цветущие бесплодной, бескорыстной исконной страстью, когда один дарит другому благо прогресса и одновременно стабильности, любовь, достигшая высшей гармонии, любовь воистину святая, бесстрашная, любовь в сущности братская и сестринская, то есть безгрешная, почти божественная… почему-то как раз на нее, на эту бедную любовь обрушивалось самое изощренное и мстительное проклятие Господне.

А ведь именно она (и это уже мысли не простоватой Бубы, а мои собственные) именно она так разительно напоминает любовь к родине…

1. Бревис Витя «Натаха», «Епитимья»

***Витя Бревис***

**Натаха**

-А тут у нас Звёздка живет. Проходи, Володя. Что? Наступил? Ничего, вытрешь потом об сено. Звё-ё-ёздка, хоро-о-ошая, Зве-ездочка, да ты не бойся, Володя, она у нас смирная, можешь погладить.  
Я впервые видел корову так близко. Звездка дышала, шевеля ноздрями, неуклюже перебирала ногами и шумно мочилась на дощатый пол хлева, неровно усыпанный сеном.   
Теща показала, где корову следует гладить - за лоб, между рогами.   
Лоб под шерстью был твердый, как скамейка. Звездке, наверное, нравилось, как я ее почесываю, она вдруг подняла морду, почти коснувшись своими страстными губами моего лица. Я отпрянул.   
-Да не кусит она, что ты, на, дай вот ей кусок, -теща протянула мне четвертуху черного хлеба. Корова от хлеба не отказалась.   
-А это наш Борька, видишь? Сейчас мы его погулять выпустим.  
Борька, подвижный хрячок с волосиками на розовой спине, выбежал из загона, топоча маленькими копытцами.   
-Ну, давай, Володя, мне доить надо. Звездка волноваться будет, при чужих, иди.   
Я вышел из жаркого хлева на двор. Слепило солнце.  
   
За забором стояла женщина средних лет. Она оглядывала меня с любопытством.   
-Это ты, что ли, Володя? Сегодня приехали? -как и все тут, она сильно припадала на "о".  
-Да.  
-На ленинградском?  
-Ага.  
-Андреевна-то где? В хлеву?   
- Доит.   
-Ну я подожду. Мне у ней надо толю одолжить, крыша течет. Маленькую-от с собой привезли?   
Женщина перегнулась через калитку, и, открыв изнутри щеколду, смело вошла на двор. На ней было грязноватое платье, резиновые сапоги с разрезом на голени и косынка, сбившаяся на затылок.   
Была она не совсем трезва, лицо усталое, но глаза светились приветливым огоньком любопытства.   
-Вера-от дома? Пойду гляну.  
Женщина поднялась на крыльцо, стянула с себя сапоги, поставила их аккуратно, распахнула дверь в избу, откинула занавеску и устремилась внутрь.   
Теперь вся деревня на нас будет ходить смотреть. -подумал я и направился за ней.   
-Вера!! Поцелуй тетку-от! Ну, показывай малую, показывай, чай не сглажу.  
Моя Верка стояла в коридоре, полуторогодовалая Светочка жалась к маминой ноге.   
-Натаха! Привет. Опять веселая. И когда ты остепенишься. Вовик, вот познакомься, это моя тетя, мамина сестра.   
-Наташа, очень приятно.   
Натаха вытерла руку об платье и протянула мне.   
-Ну а ты ктё?  -она нагнулась к Светочке,  -а тебя-от как зовуть, у ти как на папу похозя, а бабка тебе кафетку принесла, а ну-ка посмотри-ка, что у бабки есть!  
Натаха вытащила из кармана платья чупачупс и стала размахивать им перед Светочкой.   
-Любишь чупачупсики?   
Она проворно подхватила девочку на руки. Светочка испуганно оглядывалась на нас, не упуская, однако, чупачупс боковым зрением.   
-А ти узе гаварись? Скази - мама.   
-Мама, сказала Светочка.  
-У ти моя славная! А как тебя зовут?  
-Сета.  
-А где папа? Вооот, где папа. А мама где? Ах вооот где мама. Скажи - \*\*\*\*и. \*\*\*\*и! Ну, скажи.  
-Бади.   
Натаха была ужасно довольна результатом. Правильно, бади они все! Бади!   
-Натаха, ну чему ты ребенка учишь. Зачем.  
-Пусть знат с детства. Мой вон матюкаатся с рождения. Бади! Скажи бади!  
  
Из спальни вышел заспанный тесть, Василий Викторыч. Живот его не помещался под рубахой и торчал снизу.  
-От пузо отъел. Все бы жрать.   
Тесть заулыбался.   
-Мне тут дочка колбасы палку привезла. Это вы голодранцы на репке сидите.  
-Дак ты небось всю палку-от за завтраком и умял.   
-Дык. Че там мять-от. Супруга помогла тож. Ой, Натах, а ты че, уже дернула где. На ферме, что ли, налили?  
-А хули мне ферма. Я и дома могу, сама. По внутренней потребности. Вась, дай толю рулон, а то у мене кухню заливат.   
-Толю? -Тесть вздохнул. -Ну, дам, тока класть пусть Колька сам кладет, здоровый бычок ужо.   
  
Нести рулон рубероида пришлось мне. Натахин дом было рядом. Вера со Светочкой тоже побрели с нами, прогуляться и посмотреть, как живет тетя Натаса.  
Домик был неказист. Хлева не было, огород в сорняках.  
-Коля! Встречай гостей! Сбегай к Полине за белой, скажи, мама с получки отдаст.   
Колька был парнем лет двадцати. Похож на мать, только глаза не такие живые. Он сидел на диване в линялой футболке с ребенком на руках.   
-Тихо ты блин, ма! Лешка спит.   
Натаха осторожно забрала внука себе на руки, лицо ее осветилось умилением.   
-А посмотрите-ка на нас! От мы какие. Наша порода, сидоровская. Вер, подержи малого, я хоть со стола смету. Коль, давай, одна здесь - друга там, и набери ченить с огороду, я щас салатик  
порежу. Да, Светик, да? И водочки попьем с твоим папой, да?  
-Бади, -сказала Светочка.   
  
-А мать то где Лешкина? -спросила Вера, когда Колька убежал за водкой.  
-Та в Вологду уехала. Кукушка. Две недели ни слуху ни духу, и даже не звонит спросить, как дитё-от. Я уж не знаю, вернется нет. Мне тут врали, что у нее, оказыцца, еще где-то ребенк есть, уже 5 лет будто бы, тоже подкинула а сама не воспитыват. Не знаю, верить нет. Ой. Ну, не вернется, так подымем с Колькой сорванца, хули.   
Я присел на диван. Лешка сопел у меня на руках, моя Светочка сидела рядом и с интересом оглядывалась вокруг. Обои на стенах ободрались, мебели было совсем мало, в углу на старом комоде стоял телевизор.   
Вера помогала Натахе собирать на стол.  
  
Вернулся Колька. Разлили. Лешка проснулся и заплакал. Ему сунули в мокрые губы печенье.   
Натаха рассказала о своей работе:  
я щас на ферме, хочешь, Вовка, на ферму тебя разок возьму? Посмотришь на крестьянский труд.   
-Да че ему там делать, городскому, -вступилась Вера. -Чтоб все бабы его потом обсуждали, что с Натахой на ферму ездит. Отстань.  
-И часто надо ездить доить? -поинтересовался я.  
-Дак нечасто, 2 раза в день, но ферм-от три. Так что ездим каждые четыре часа, хоть день хоть ночь. И не поспишь нормально.   
-Тяжело. Коль, а ты? Работа есть в колхозе?  
-Дак я в котельной. Нормальная работа.   
-Вов, у него и мотоцикл есть! Ты думаш, мы тут совсем, как бомжи? Я вижу, как ты смотришь. А вот не бомжи, и телевизор есть, и транспорт. Коль, вот покажи ему мотоцикл-от.  
-Да куда вы пойдете кататься, пьяные же! -запричитала Вера.  
  
Мотоцикл, не сразу, но завелся. Колька с гордостью уселся на мягкое сиденье и указал мне рукой на место за своей спиной.   
Мы широко виляли, объезжая ухабы, и сыпали камешками по сторонам.  
-Это клуб, вишь, слева, -крикнул Колька, завернув ко мне голову.  
-Бетонный? На крематорий похож, -ответил я ему в самое ухо.  
-Сам ты крематорий. Там бильярд есть, мы на нем девок е\*али прошлое воскресенье. Хочешь?  
-Нет, я, пожалуй, пока не готов.  
-Ну ты готовься, время есть еще, вы ж тут все лето пробудете?  
-Коль, тут же деревня, сразу доложат, все про всех всё знают.  
-Дак ясно, что закладывают, а все одно трахаются по кустам. Вчера вон, агрономша с механиком гуляли на сеновале, курили, и дом сожгли, пьяные. Деревня, хули.   
Вот это, видишь, сельпо, а тут, вон, центральная усадьба, там теща твоя работает.

Мотоцикл сильно тряхнуло. Пару раз Кольку приветствовали с дороги знакомые мужики, похожие на опытных рецидивистов.   
-Коллеги, с котельной, -объяснил Колька.  
-Коль, а баба твоя где? -прокричал я ему в ухо.   
-Приедет Танька скоро, приедет, сука.   
  
Когда мы вернулись, Вера со Светочкой уже не было. Натаха порядочно опьянела. На столе стояла еще одна бутылка. Мы включили телевизор. Маленький Лешка бегал по комнате за котом.  
Есть было, в общем, нечего и алкоголь втекал в мозги неразбавленным. Особенно в натахины. Качаясь, она пошла укладывать Лешку спать.   
Пришел тесть, это Вера послала его за мной. Думаю, он вызвался сам. Тесть сел к нам, Коля налил ему в граненый стакан.   
-Ма, ты идешь? Тут Василь Викторыч пришел.   
-Вася! Ну ты-от прямо за версту чуешь, -закричала Натаха из другой комнаты. Я щас, пейте пока без меня, мы тут какаам.   
Минут через пять Натаха вышла к нам, покачиваясь, с горшком в руках. Она с размаху грохнула горшком о стол, чуть не попав по своей рюмке.   
Небольшие детские какашки подпрыгнули в горшке от удара.  
-А вот вам угощеньице! От всей души!   
-Ма, ну опять ты пирфомансы строишь. Очень весело.   
Коля пошел выносить горшок.  
-Натаха у нас такаа. Театр, -заулыбался тесть.  
Натаха налила себе пропущенную порцию водки. После этого она вышла на середину комнаты, стянула с себя платок и стала петь, размахивая платком по сторонам и пританцовывая.  
  
Эх, еп я тебя,   
в нетопленой бане.  
Твоя рыжая п\*\*\*а   
шлепала губами.   
О-о-ох!  
  
Мы недружно захлопали и налили еще. Натаха пела и прыгала, глаза ее горели, капли пота показались на лбу.  
  
На дворе стоит березка,   
тонкая и гнутая.  
По твоим глазам я вижу,   
что ты е\*\*нутая.  
О-о-ох!  
  
-Ма, хватит орать, Лешку разбудишь. Тебе ж на дойку скоро. Дай телик посмотреть.  
-А я не поеду! Мироновой скажу, пусть за меня съездиит, она мне одну смену должна.   
Проворно, как антилопа, Натаха выскочила из избы.   
-Мироновааа! -был слышен ее крик с улицы.   
По телевизору передавали известия, мы пили и слушали молча. Из коридора раздалось:  
  
Ты не стукай и не брякай,   
все равно ведь не пущщу.  
Занавешены окошки,  
мандавошек я ишшу.  
  
-Ма, харэ петь, а. Дай погоду досмотреть.  
-Че вперились-от? В яшшик этот!! Че там-от не видели? В кино, что ли, пришли? Я вам щас покажу известия, щас покажу.  
Хлопнула дверь.   
-Куда она собралась? -спросил я Кольку.  
-А х\*р ее знат. Опять пирфоманс задумала.   
  
Стали передавать что-то про Германию. Мы слушали одним ухом, а другим - боялись пропустить натахин театр.   
-О! Смотрите, Кельн показывают, -встрепенулся я.  
-А ты че, был?  
-Ну. Я там учился два года. Вот, видите - кельнский собор, его строили восемьсот лет.   
-А этот, парижской матери, он выше?   
-Хм. На вид - ниже.   
-Ты и в Париже был?   
-Так там недалеко. Часа три на скором поезде.  
-Вовк, а скажи, какие они, немцы? Сильно лучше нас?  
-Хм. Другие они. Совсем. В чем-то явно лучше. А в чем-то... Мне с ними скучновато, они, знаете, заорганизованные такие, все по плану. Вот в три у него свидание, в пять он помогает другу переезжать, в восемь уходит играть с одноклассником в теннис, хотя не все вещи у того друга еще выгружены. Расписание бля. Рационалы. А в остальном они нормальные ребята, помогать любят, еда у них на нашу похожа: драники, кислая капуста. Могут и на жизнь пожаловаться, все тайны тебе рассказать, но блин - по трезвому, никогда не забывая о деле. Между теннисом и рестораном.   
-И выпить нормально не с кем?  
-Не, есть там и алкоголики свои, да и вообще есть такие, что больше на русских похожи, чем мы с вами. Я ж говорю про общую массу. Общей массе не хватает, легкости, что ли, или, может, внутренней свободы.   
  
Звук послышался с крыши. Что-то скребло. Испуганные, мы выскочили из дома. Оранжевое солнце уже задремывало над полями, свистели цикады, Натаха пилила антенну на крыше, пила ее гнулась и сверкала в руках.   
-Ма, ну еб тву мать. Слезай, а.   
-Я вам ссуки покажу! Будут вам последние известия.  
Из соседних домов выходили смеющиеся люди.   
  
К ночи нас с тестем забрала домой Верка. Тесть сразу спать не лег, в баньке у него была припасена брага. Вернулся оттуда он практически на карачках, лег на пол у туалета и уснул, помочившись под себя.   
-Теперь папка пару дней не сможет остановиться, -вздохнула Вера.  
Наутро я уехал в Питер, надо было работать.   
  
Когда я приехал снова, почти через месяц, лето было уже в самом разгаре, пора было косить. Вернее, стожить, косил тесть на тракторе, косилкой. Натаха и еще пара соседских женщин помогали нам. Теща забралась на самый верх огромного стога и укладывала сено, которое мы подавали ей вилами, в специальном порядке, чтобы стог за зиму не развалился.   
Пот тек градом, кусали комары, сено кололо в штанах. Теща садилась иногда на стог передохнуть, болело сердце. Я понял, что следующим летом я сюда в это время не поеду.   
-На хрена им столько сена? -шипела Натаха. -Три раза в день мясо жрут. Косят и жрут, косят и жрут, всю жизнь, так и сгинут тут за жратву свою.   
Усталые, мы шли вечером домой вдоль железнодорожной полосы.   
С зубцов вил, торчащих над нашими плечами, стекало тяжелое солнце.   
Вошли в деревню. Натаха побежала к себе.  
Дома теща решила соорудить салат, я был послан в парник за овощами.   
Парник стоял открытыми и благоухал, я набирал овощи в огромную ржавую кастрюлю, ветки с огурцами были усеяны маленькими мерзкими шипиками.   
  
Кто-то громко зарыдал на улице.  
У забора показалась Натаха, она несла в руках внука и выла.   
Кольку нашли в котельной мертвого. Его убили, видимо, за игрой в карты.   
  
В котельной у трупа курили участковый и фельдшер. Ждали машину из района, чтобы увезти в морг.   
Натаха кричала, что не даст увезти, что похоронит так.   
Нельзя, надо отправлять тело на экспертизу.   
  
Кладбище у них в соседней деревне.    
Гроб везли на грузовике, женщины сидели в кузове в черных косынках и хватались за борта на ухабах.   
Натаха, трезвая, крепко держала Лешку в руках и молчала, сжав губы.   
-Наташа, а эта, мать-то, не объявилась?   
-Передала, что не приедет. Нет времени. Ну и х\*\* с ней, на фиг така мать. Родительских лишу, оформлю опекунство. Воспитаю. Я не старая еще.   
Натаха смотрела мне прямо в глаза, не моргая.   
Я отвел взгляд.   
-Наташа, ты, если чего надо - обращайся. Поможем.   
  
Следующим летом я смог приехать только в конце июля. Знал, что придется помогать косить, но по-другому не получилось.   
Я ввалился в тещин дом с чемоданом, Светочка радостно подбежала ко мне, Лешка отвлекся от игрушек и уставился на меня детскими всепонимающими глазами.   
С детьми сидела Вера, остальные косили.   
Они вернулись к вечеру, теща, тесть и Натаха. Мы расцеловались.  
-Ну что, Вовка, бутылку-от привез? -Натаха взяла на руки Лешку.   
Она постарела, впереди выпал один зуб, но глаза светились, как и раньше.  
-Привез, куда ж без бутылки. И колбасу.   
Теща устало вытащила из серванта хрустальные рюмки. Вера принесла из подпола банку огурцов.   
Мой приезд был поводом, им нечего было возразить.   
Нарезали колбасу, включили телевизор, разлили водку.   
Дети таскали кошку за хвост.   
-Кольку помянем? Ведь год прошел почти, -я не решался смотреть Натахе в глаза.  
-На прошлой неделе год был. На кладбище хочешь сходить?  
-Хочу.   
Начались последние известия.   
После третьей рюмки Натаха вдруг встрепенулась, сняла с плеч платок, выбежала на середину комнаты и запела.  
  
Перееп я всю родню!  
Оставил бабушку одну.  
Оставайся, хрен с тобой,  
Ты же нянчилась со мной.  
Охх!  
  
Лешка засмеялся вместе со всеми.   
-Мама, сказал он и попросился Натахе на руки.

**Епитимья**

*…укажите мне край, где светло от лампад.  
 В. Высоцкий*  
  
Монастырь стоял на краю города. Я раньше никогда здесь не был, вот и сбежал из консерватории пораньше, чтобы хватило времени его осмотреть. Монастырский двор был чисто выметен, колокольня и церковь белели, чуть отдавая синевой, как снег, и было непонятно, отстроили их заново или просто недавно покрасили. Даже не знаю, взрывали наш монастырь большевички, или нет. Надо будет Алексея спросить. Мимо важно прошуршал мерседес, за рулем сидел импозантный бородач в рясе. Откуда-то выплеснулась толпа молоденьких послушников, или, может, семинаристов. Обгоняя друг друга, они спешили в дом напротив, откуда пахло едой. Трапезная. Обычные ребята, только в рясах, много симпатичных.   
  
Я вошел в монастырскую церковь. Звуки шагов зазвучали приглушенно, как в фильмах про церковную жизнь. Я занял позицию у колонны поодаль от алтаря. Прихожан было немного. Молоденький дьякон торопливо обхаживал все помещение по периметру, нервно размахивая кадилом. Церковь была довольно просторная и он спешил, видимо, боясь не уложиться в свое богослужебное расписание. На пару секунд он исчез за колоннами в дальнем углу и слышен был лишь звон его кадила, словно колокольчик потерявшейся в лесу коровки. На дьякона вообще мало кто обращал внимание. Вот он вернулся, наконец, к алтарю и скрылся с кадилом за боковыми воротцами.   
  
Переливы трех мужских голосов с хора, два тенора и один баритон, растекались по собору как ручьи, стало хорошо на душе и захотелось поверить. Из царских врат вышел батюшка в неуклюжей накидке с желтыми узорами, с великолепным крестом на толстой цепи. Взгляд его был направлен в никуда, он как будто боялся смотреть на людей, и люди тоже, смотрели не на него, а в пол, исполнившись почтения. Лишь я оглядывал его с туристской безжалостностью. Батюшка был высокий, статный, с бородкой и большими невеселыми глазами. Длинные черные ресницы были полуприкрыты, он громко повторял нараспев, то "го-о-спо-ди-по-ми-и-луй", то "го-о-спо-ду-по-мо-о-о-лимся". "Аллилуйя-ал-ли-лу-у-й-я" -вторили ему певчие. Это был он, Алексей, я узнал его по фотографии. У алтаря на треноге стояла икона, стекло отсвечивало солнцем, обратясь к ней лицом батюшка долго пел что-то неразборчивое вполне приличным баском; потом к нему присоединились еще трое помощников, тоже, наверное, дьяконов, без этих больших крестов на пузе, один из них принес тяжелое евангелие в золотой обложке, и перелистывал его перед батюшкой. Они пели по очереди, как бы подхватывая друг у друга эстафету, и те из них, которые в данный момент не пели, переговаривались тихо, о каких-то своих делах, а один из дьячков даже зевнул разок. Все они были как на подбор - статные и ладные, без животов и морщин.   
  
Теперь уже сам Алексей понес кадило по периметру церкви. Он шел не торопясь, качая кадилом, как маятником, дьяконы сопровождали его со смиренными невидящими лицами, прихожане медленно поворачивались вокруг своей оси, чтобы все время обхода быть лицом к процессии. Я поздно заметил это и и некоторое время рассеянно стоял у своей колонны лицом к прихожанам. Сам себе улыбаясь, я не очень ловко обернулся и неожиданно встретился глазами с Алексеем. Он узнал меня, тоже улыбнулся слегка, сквозь песнопения, подмигнул. Они мерно шагали мимо моей колонны и золотые накидки их колыхались волнами. Потом они долго пели перед иконой, но я слушал больше не их, а певчих с хора напротив, от тех разливалась по собору прямо-таки волшебная мелодия, явно от какого-то маститого композитора. Певчие, их было видно снизу, три паренека, пели тоже эстафетой, то и дело меняя ноты на пюпитре. Наверняка, это были наши вокалисты или хоровики. Интересно, сколько им платят.   
  
Между тем, к иконе выстроилась очередь из прихожан, каждый из них целовал икону, после чего подходил к батюшке, который автоматическим движением творил на их лбах кисточкой елеепомазание, кажется, так это называется, а люди в ответ целовали ему кисть. Рядом с батюшкой стоял мальчик лет шести, пономарь наверное, и один из тех дьяконов, с круглым подносом, на который лишь некоторые из только что помазанных клали деньги. И руку батюшке целовали тоже не все. Вот скоты, подумал я, хоть бы рубль кинули, ходишь тут, поёшь, кадилом машешь, а платить зрители не хотят. Особенно хороша была одна дама в лосинах, которая лобызала икону, наверное, минут 7, заставляя всех ждать, и молилась истово, как блаженная, и руку Алеше долго целовала, ведьма, а денег - не дала. Какая-то бабуля зашипела на нее по поводу лосин, но тертая дама посмотрела на бабулю испепеляюще, та быстро заткнулась и, суетливо крестясь, отошла.   
Я ждал батюшку на выходе из монастыря. Он подошел вскоре, в черном подряснике, приветливо улыбаясь. Оглянулся неспеша. Вокруг никого не было.  
  
-Благословите, батюшка!  
-Оставь это. Называй меня Алеша. Если мы одни. Здравствуй, Глеб. Ты же на самом деле Глеб?  
-Да. Алеша.  
Фигура у него была классная, как раз мой тип, и взгляд - мягкий, обволакивающий, надежный. Если бы было можно, я бы отдался ему прямо сейчас, таких мужиков я не пропускаю. И подрясник этот так ему шел, он не был, как ряса, слишком свободным и, совсем не целомудренно, подчеркивал достоинства телосложения; очень мне не хотелось отрывать взгляд от его широких плеч и больших загорелых рук в черных рукавах, но пришлось все же оторвать. А животика не было совсем, странный поп, без брюшка, может, втягивает всю дорогу? Я вообще-то вовсе не против маленького животика, даже, скорее - за. Многим нравятся молодые да жилистые, а меня, вот, тянет на сложившихся, чтоб положиться можно было, и, вот, именно, голову на животик положить. Хорошо бы, чтобы он был еще и волосатенький, ну, это мы, надеюсь, вскоре увидим.   
  
Он мягко взял мою руку в свою и посмотрел мне в лицо. Вроде бы, я ему понравился. Ресницы у него были длинные, нездешние, и закруглялись на концах, а глаза - как будто чего-то стеснялись, с загадкой. Влюбился я сразу.  
-Пошли со мной, поговорим, у меня тут есть... место, -сказал он уверенно.  
-Как, сразу? Нет, я боюсь здесь. Монастырь все-таки. Давай в городе погуляем.  
Хрен я ему дам при первой встрече. Потерпит. Я потерплю и он пусть тоже. Алеша был несколько удивлен, видимо, остальные мальчики сразу соглашались заниматься этим прямо в монастыре, не знаю, но возражать мне он не стал, пошел переодеваться в мирское, а я отправился ждать его на остановку маршрутки.   
Мы поехали в центр. Его узнавали в маршрутке, кивали. Очередная экзальтированная дама протиснулась к нам, протягивая вперед сложенный ручки.  
-Ах, отец Алексий, благословите!  
-Ну-ну, Бог благословит, -тихо ответил Алеша, краснея.   
  
Погуляв немного по центральному парку, мы присели в одном из уютных заведений. Заведение было средней приличности, народ там сидел довольно неказистый, мужики в болоньевых куртках пили свое пиво, их видавшие виды спутницы томно затягивались сигаретами, отечные лица официанток уныло висели над столами.   
  
-Что желаете?  
-Греческий, 200 русской и боржоми. А тебе, Глеб?  
-Ой, Алеша, я есть хочу.  
-Ну принесите ему борщ и отбивных.  
-Борща нет. Солянку нести?  
-Что ж, пусть будет солянка.   
-Учтите, у нас сегодня живая музыка. Надбавка 40 рублей со столика.  
-Ну, пусть будет надбавка. Музыке тоже кушать надо. Алеша улыбнулся официантке.  
Я закурил. Он смотрел на меня со здоровым мужским интересом, это меня возбуждало.   
-Алеша, а почему ты ищешь парней в городе? У вас же там своих полно, иноки, послушники?  
-А тебе то что за дело? Твоя фотография мне понравилась. Да и, наших есть кому любить, пара братьев еще кроме меня поклонники этого дела, игумен тоже по теме, ну и, владыка иногда наезжает, ему тоже оттуда набираем.   
-Ох ты ж господи, что ж у вас там за вертеп такой, вот не ожидал.  
-Не упоминай всуе. Оставь Его, пожалуйста, в покое. Ты сам-то верующий?   
-Нет, Алеша. Но отношусь уважительно. Я вам даже завидую, что верите.  
-Не говори ерунды. Наши двери открыты всем. Посещай церковь, участвуй в службах, душою, а не зрителем, и Он даст тебе веру, когда посчитает нужным. А про падение нравов, ну что тебе сказать, мы ведь тоже люди, со слабостями и пороками, все из мира вышли, не с неба упали. Праведников на каждый приход ведь не хватит.   
Я кивал и слушал.  
-Вот, возьми владыку нашего. Представь, Глеб, что тебе фактически дозволено все, что вроде бы теоретически запрещено, ты можешь пить, гулять, браниться, воровать - и ничего тебе за это не будет, более того, тебе еще и ручки будут верующие целовать, и кланяться, когда служишь. Обольщение на обольщении. Ты бы удержался?   
-Мда. У вас вообще все, что ли, по теме?   
-Нет конечно. Многие братья нормальной ориентации.  
Он усмехнулся горько.  
-Странно, Алеша, но зачем тогда идти в монахи? Поиграть в хороших? В ритуалы? Это ж все-таки не театр Станиславского, верю-не верю…   
-Видишь ли, для многих монашество лишь ступень в церковной карьерной лестнице.   
-А без монастыря что, нельзя митрополитом стать?  
-Нет, Глеб, белое духовенство доходит только до протоиерея.   
-Значит, ты тоже думаешь о карьере, и не только о служении?  
-Я, Глеб, много про что думаю, как и всякий человек. Думаю я и о том, очистимся ли мы вообще когда-нибудь. Но уж не тебе нас судить.   
  
Немолодая женщина со скрипкой и пюпитром в руках неожиданно вышла к барной стойке. Поставив ноты, она заговорила со старательной задушевностью.  
-Дорогие друзья! Сегодня, в этот прекрасный день, я позволю себе немного вас поразвлечь. Я подготовила небольшую программу, вы услышите бессмертную музыку Вивальди, Моцарта, Чайковского, несколько современных шлягеров, я почитаю вам стихи моей любимой поэтессы Марины Цветаевой.   
Она поклонилась. Мужики в болоньевых куртках оторвались от своих пивных кружек, дамы стали трогать себя за прически и проверять бретельки. Кто-то испуганно захлопал.   
-Я прошу тишины. Итак, мы начнем с вечно молодой музыки великого Вивальди. Послушайте, и, может быть, вы станете чуточку чище, лучше...  
Играла она ужасно. Может, училась когда-то в музыкальной школе, но, видно, не очень хорошо. После Вивальди она вдруг начала читать стихи, заунывно и переигрывая.   
  
Грех над церкОвкой златоглавою  
Кружить - и не молиться в ней.  
Под этой шапкою кудрявою  
Не хочешь ты души моей!  
  
Слово "Душа" она кричала с особенным надрывом.  
  
Вникая в прядки золотистые,  
Не слышишь жалобы смешной:  
О, если б ты - вот так же истово  
Клонился над моей душой!  
  
Она картавила. Кто-то засмеялся.   
-Я прошу вас не мешать мне! С вашего стола штраф 10 рублей!  
Следом в программе стояла 40я симфония Моцарта. Нам предложено было наслаждаться чудесной мелодией и задуматься о вечном. Мелодию можно было узнать, но она играла её почему-то в соль-миноре. Я не выдержал:   
-скажите пожалуйста, а почему вы играете не в той тональности?   
-Я прошу прощения, -дама замялась, -у меня ноты для гитары, а на гитаре, вы понимаете, специально переделано.  
После этого народ осмелел, заговорил, послышалось чоканье стаканов.   
За Моцартом, под гул сидящих, дама торопливо домучивала Чайковского, пропуская целые куски.  
-Дайте же человеку доиграть! -громко и четко произнес Алеша. -Она работает для вас. Старается. Молодец! Послушайте же, и задумайтесь хоть немного...  
-Но у ниё жи ни та танальнассь! -послышался пьяный голос с соседнего столика.  
-Пойдем отсюда, Алеша. Тоже подругу нашел, ты ещё будешь перед ними бисер метать, мало того, что она мечет, пойдем.   
Мы попросили счет. Музыкальная дама, между тем, закончила издеваться над классикой и присела за столик к тем самым помятым мужичкам, с которых грозила взять штраф. Они угостили ее водкой.  
-Каков приход, таков и поп, -сострил я по поводу музыкальной дамы и ухмыльнулся собственной шутке.   
Алеша оставался серьезен.   
-Я, вот, служил недавно в колонии. Если бы ты видел их глаза, ты бы так не говорил.   
-А ты им "многия лета" читал? -у меня было игривое настроение.  
-Дурак, -Алеша все-таки не смог сдержать улыбку.  
Такой милый, серьезный и добрый, он нравился мне все больше и больше. Мы шли по тропинке в вечернем парке, где-то лаяли собаки, людей не было видно.   
-Поди-ка сюда, отрок, -Алеша притянул меня к себе и поцеловал. От него все еще чуть-чуть пахло ладаном.   
-Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль... -напевал я тихонечко.  
Мы обнимались в кустах. Когда Алеша залез мне рукой в штаны достаточно глубоко, я напряг волю и освободился из объятий.  
-О, если б ты - вот также истово, клонился над моей душой… Будет вам, государевы опричники, хорошего понемножку. Тебе ж завтра вставать рано, служба, небось, часов в семь начинается. Поехали-ка по домам, Алексеюшко.  
-Что ж, в чем-то и ты прав, отрок.  
Надо отдать Алеше должное, он ни разу меня не даже не уговаривал, не то, чтобы пытаться брать силой.  
Он позвонил на следующий день.  
Трахаться в келью я идти отказался, жутковато как-то. Я хоть и неверующий, но, мало ли, а вдруг Он все-таки есть. Алеша снял нам квартиру в городе, на Успенском проспекте, за макдональдсом. Хата оказалась вполне уютной. Он окутал меня поцелуями прямо у порога, как только закрыл за нами дверь. Я неожиданно спросил:   
-а ты не боишься, отец Алексий, что, вот, мало ли, а вдруг Его все-таки - нет?   
-Конечно не боюсь, дурачок. Моя вера тверда. Раздевайся.  
Он был очень нежным любовником. Я просто плыл, я парил от наслаждения. И животик у него оказался волосатеньким, и размеры мне все подходили, Алеша нравился мне весь, целиком, и не было ничего, что меня бы в нем раздражало.   
Мы начали довольно регулярно встречаться, не каждый день, конечно, но часто. Иногда снимали квартиру, пару раз были у меня, когда предки уезжали на дачу. Я все больше привязывался к Алеше.  
  
Как-то раз он сказал мне, что отлучается на неделю, в другой монастырь, там кто-то заболел, надо было подменить.   
Я скучал сильно, не мог дождаться его возвращения. Руки дрожали, я не в состоянии был играть. Мама не понимала, почему я забросил фортепьяно, ведь скоро экзамены.   
Наконец он вернулся. Говорил, какой я славный и что он часто думал обо мне всю неделю. Мы сняли опять ту самую квартиру, он носил меня по ней на руках, я блаженствовал. Как он трахал меня тогда! Мой большой, теплый, любимый кролик. Кроличек.  
Я не выдержал, сказал ему, что люблю. И посмотрел. Наверное, выжидательно.   
-Не надо этого, Глеб. Я не собираюсь тут гей-браки разводить. Нечего из греха добродетель делать. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом...   
-Это кто сказал? Где-то я это уже слышал.  
-Пророк Исайя. А иначе все перепутается в мире. И так уже перепуталось. Больны мы с тобой, Глебушка, больны и грешны, и вдвойне грешны, потому что в гордыне своей не хотим лечиться.   
-Ты о себе говори, Алеша, я не считаю себя ни больным, ни плохим.   
-Вот вот! И любовь еще сюда приплетаешь. Какая тут может быть любовь, во грехе погрязши?   
Он сказал это так убежденно, что я не стал спорить. Но обида закралась, конечно.  
  
На следующий день он позвонил, как обычно, днем, между службами. А я не подошел, во мне проснулась сильная женщина. Она во мне и не засыпала никогда, но тут, если не остервенела, то заметно оживилась. Он звонил еще несколько раз. Через день я взял трубку, сказал, что очень занят.   
Еще день я выдерживал тактическую паузу. Конечно, я боялся, что он возьмет, да и вообще больше не позвонит. Но он позвонил! Голос его слегка подрагивал. Женщина во мне бесилась и победно трясла сиськами.  
Мы встретились у выхода из подземки. Он обнял меня. Мы шагали по проспекту, я рассказывал ему про свои дела в консе и чувствовал, осязал на себе его взгляды - упрямые, жадные, безнадежные.  
-Вот гад, -думал я, -неужели он и сейчас не признается, что любит? Меня ведь не обманешь.   
  
Справа сиял кафедральный Успенский Собор, впереди виднелся макдональдс.   
-Алеша, а что такое кафедральный? Там что, кафедра теологии?  
-Да нет же, глупый, кафедра это возвышение, в данном случае, для архиепископа. Он там и служит. Ну, по крайней мере, по праздникам. Не все соборы - кафедральные.  
-А сегодня праздник, Алеша?   
-Да, вчера Покров был. А познакомились мы когда - помнишь? На Успение. Эх ты, язычник.  
  
У входа в собор припарковался тяжелый черный мерседес, из него вышла и направилась как раз нам наперерез группа священников. Один из них был постарше и довольно тучен, (сам владыка, что-ли, соизволил посетить?) а остальные, кто был с ним - высокие и стройные, как на подбор. Алеша вздрогнул.  
-Благославите, Ваше Высокопреосвещенство.   
-Все в веселии вечера проводим, Алексей Петрович, надеюсь, что в благочестивом?  
-Бог с вами, Ваше высокопреосвященство, все в молитвах да в проповедях…  
-Уж есть у вас, кому проповедь вашу слушать, -перебил владыка и очень внимательно на меня посмотрел. -Ну, ступайте-ка с миром. Завтра увидимся у игумена.  
Алеша поклонился и поцеловал владыке руку. Они степенно зашагал в собор. Мы пошли дальше и я заметил, что Алеша загрустил вдруг.  
-На тебе лица нет, -тревожился я, -да чего он тебе сделает, он же сам такой. И глазки-то какие сладкие.   
-Что-то они там против меня задумали, недоброе чую. Ушлют куда-нибудь, в тмутаракань, где и дорог-то нет. Кто-то из новых на мое место хочет. А нас не надо было ему вместе видеть, совсем не надо. Вот и компромат в руки.  
  
В этот вечер что-то случилось с Алешей, что-то сломалось. Он стал задумчив и всё ходил и ходил по комнате, как зверь в клетке.   
-Так мне и надо. Братья в землю себя закапывали по грудь, утруждениями себя мучили, веригами, а мы...хуже нас и нет никого.  
Я пытался его отвлечь, я говорил, что это всего лишь один из архаических, старозаветных грехов, мало ли что тогда запрещалось, и на восток мочиться нельзя, и струями пересекаться нельзя, да и жену нельзя сзади, и осла нельзя...  
-Не богохульствуй! -перебил он. Грех содомский хуже убийства. Спишь со священником, так хоть бы библию почитал, польза от этому любому, даже и невоцерковленному.   
-Ну а как же Августин: люби Бога и делай что хочешь?  
-Ты сам знаешь, что он не это имел ввиду. Помолчи лучше.   
Он не делал со мной любовь в эту ночь, плохо спал и мне спать мешал, ворочался, а рано утром долго молился в углу, и шептал истовой скороговоркой, в которой я мог разобрать только отдельные куски:  
-…избави…от страстей, воюющих на души наши, от всякия печали и находящия напасти…   
Он вслипывал тихо сквозь шепот. Я сидел на кровати, обхватив руками подушку, смотрел на него, не отрываясь, и чувствовал, как остро я люблю этого человека.  
-…отжени, святая угодница, всякую лукавую мысль и лукавые бесы…   
Любовь и жалость горели во мне двойным пламенем.   
-…спасение душ наших…аминь.   
Потом он еще молился за здравие этого самого тучного архиерея.   
  
Невыспанный, с красными глазами, он уехал в монастырь. И не звонил больше. Дня через три сильная женщина во мне сильно ослабела, я не выдержал и поехал к Алеше на службу, чтоб хоть увидеть. Но в этот день служил не он, я постоял немного у своей любимой колонны и вышел на монастырский двор. Светило солнце и птицы пели, кресты и маковки собора пускали в небо зайчики. Я бродил по двору с рассеянным видом и не знал, что делать. Вдруг я увидел его, наши взгляды встретились, мой - полный радости, и его - серьезный и строгий. Он шел куда-то по своим монастырским делам.  
  
-Глеб, я должен тебе что-то сказать.   
Я собрался было ответить, ведь это я хотел ему кое-что сказать, но к нему подошла с вопросом молодая пара. Спрашивала девушка, одета она была довольно свободно, в брюках и с распущенными волосами.   
-Здравствуйте, батюшка, а к вам можно записаться на исповедь?  
-А вас как, девушка, зовут? -спросил Алеша устало.  
-Алена я.  
-Так вот, Алена, вы знаете вообще, куда вы пришли?  
-Я, я просто зашла спросить…  
-Вы видите, Алена, что здесь территория монастыря? Вы в зеркало смотрелись? Как вы одеты?   
-Да я тока спросить и все…  
-Не перебивайте меня. Я мужчина, не говоря уже о том, что священник. Женщина должна быть одета так, чтобы не привлекать внимание. И молчать, пока ее не спрашивают. Если она православная христианка.  
-Да. Простите.   
Девчонка стояла бледная, она порылась в кармане, нашла там резинку и спешно стягивала себе волосы.  
-Волосы должны быть прикрыты, ноги не должны быть видны, цвет одежды не должен быть ярким. Как вы можете являться сюда в таком виде? А косметика!! Это ж не просто так предписано, здесь послушники ходят, молодые ребята, вы понимаете, что вы их искушаете таким видом?   
Тут вмешался молодой человек:   
-но, помилуйте, это же в природе женщины, она хочет нравиться, быть модной, современной. Что ж тут сделаешь.   
-То, что вы говорите, хуже дьявола. Женщина может нравиться только своему мужу, для остальных она обязана свои прелести скрывать. Никакой моды для настоящих православных не существует. Вы верующий человек?  
-Скорее...нет. Я тут, типа,так... сопровождение.  
-Ну, вам позволительно этого не знать.   
Алёша улыбнулся парню.  
-Так, что ж мне, и в городе в сером платье ходить?   
У девчонки увлажнились глаза.  
-Я вам в который раз напоминаю, что женщине предписано молчать когда разговаривают мужчины. Да, Алена, и в городе тоже. И зачем вам на исповедь?  
-Ну, я хотела посоветоваться, у меня личные проблемы…  
-Когда вы в последний раз исповедывались?  
-Я? Давно… я не помню.  
-Ну и что же вы ждете, Алена, от исповеди?  
-Помощи. У меня какая-то черная полоса сейчас. Все как-то плохо.   
Девушка всхлипнула. Друг обнял её за плечи:  
-Ну-ну, Леник, ты же хотела на исповедь, теперь слушай.  
-Как вы думаете, Алена, что вам может посоветовать священник?   
-Ну, он меня наставит, научит, скажет что я делаю не так.  
-Так вот я вам уже сейчас скажу, что вы делаете не так.   
-Вы не так одеты, -Алешин голос гремел, как на литургии, -вы ходите по дискотекам, вы занимаетесь развратом, вы курите и пьете, ваша жизнь бесцельна, потому что в вас нет настоящей веры, а без веры все - грех. На исповеди вам предпишут выполнять определенные правила, молиться утром и вечером и перед всяким важным делом, акафисты читать, к причастию ходить хотя бы пару раз в неделю, епитимью наложат, поклоны ежедневные, правила, молитвы дополнительные. Все это надо делать не механически, но с душой, Его надо любить, а не себя, -Алеша указал на небо, -так вот, Алена, вы дома посидите сначала и подумайте, созрели ли вы для исповеди, а потом уже приходите.  
Алена рыдала в три ручья. Молодой человек поцеловал её в висок, посмотрел на Алешу, и произнес сердито:  
-И почем вы знаете про разврат и дискотеки? Вы так на всех набрасываетесь? Средние века какие-то. Хотя, что тут нормального, если ваш главный залез в постель к чужой жене. И монастыри ваши - притоны голубые.   
-Вон отсюда! -заорал на них Алеша. -Изыди, сатана! Вон! Прочь! Иди у себя в борделе пропагандируй, перед девками своими!   
У него тряслись руки. Парочка убежала, конечно. Я взял его руку в свои.   
-Алеш, ну не надо так переживать. Я так люблю тебя, Алешенька. Бедный ты мой. Забудь, все будет хорошо.  
-Уйди и ты, Глеб. Оставь меня, прошу. Не ходи сюда больше.   
  
Солнце садилось, я шел к выходу мимо белых домов, отдававших, как снег, синевой, было грустно и хотелось поверить.

1. Волкова Светлана «Национал-лингвисты следят за тобой», «Квадратные пуговицы».

***Светлана Волкова***

**НАЦИОНАЛ-ЛИНГВИСТЫ СЛЕДЯТ ЗА ТОБОЙ**

*Время действия* – *недалёкое настоящее*

Ночью 12 декабря Егора Барабаша выволокли из тёплой постели в доме на Гагаринской улице. Была вспышка, три хлопка непонятной природы, и склонившееся к самым глазам серое угреватое лицо. Это всё, что он запомнил.

Одеться толком не дали – на нём была лишь куртка поверх пижамы. Тапки сразу намокли от подтаявшего снега, пальцы ног немилосердно свело. Промозглый петербургский декабрь дыхнул в лицо колкой сыростью.

Распахнулось окно, и появилось плачущее лицо Жени – девушки, с которой он жил последние полгода.

– Фашисты! Дайте ему одеть ботинки! У него только что был приступ полиартрита! – срываясь на визг, заорала она.

Один из сопровождавших Барабаша медленно повернулся к окну.

Пуля, пущенная метко в лоб, сломала Женю пополам, и тело её безвольно повисло на карнизе, точно пёстрая тряпка.

– За что её?!! – с ужасом выкрикнул Егор.

– За «о д е т ь ботинки», – ответил низкий прокуренный голос. – Они тебе, кстати, не пригодятся.

Барабаш почувствовал удар в спину и, словно в рапиде, увидел, как грязная лужа летит ему в лицо.

Их было трое – тех, кто забрал его. Два парня в длинных кожаных плащах, одного из них звали Нил. Барабаш услышал это имя от третьего конвоира – женщины. Её тело было закутано в нелепый полушубок из енота, мокрый от падающей с неба жижи, ноги – не факт, что некрасивые – зацеллофанены в какие-то блестящие чёрные брюки, напоминающие мешки для мусора, на голове – припухшая твидовая кепка. Парни к ней обращались «Мила», и не существовало в мире более нелепого сочетания персоны и имени.

Кто они? Революционная тройка?

В свете фонаря Барабаш заметил у всех троих на рукавах красные повязки с чёрной латинской буквой «G» на фоне белого круга.

Они шли по Моховой, мимо кружевной решётки Бенуа, мимо манящего рекламой кафе и наконец вышли узкими, пахнущими сыростью дворами-колодцами к дому Безобразовых на Фонтанке. На секунду показалось, что всё это сон, лишь запах страха отрезвлял мозг.

И снова дворы. За лабиринтом узких арочных пролётов показалась площадка под открытым небом. Прожекторы выхватывали лучами высоченный брандмауэр.

Барабаша толкнули в рваное пятно света. Глаза будто залило растопленным маслом, и он уже не различал людей, лишь только контуры. Так видит мир пациент в стерильной операционной, и так же ощущает он биение последних перед забытьём минут.

– Огласи приговор, Восс! – произнёс хорошо поставленный голос.

Безымянный из троицы сделал шаг вперёд и развернул свиток.

– Егор Алексеевич Барабаш, тридцать два года, журналист, блогер. Еврей по матери, по отцу – русский с четвертью украинской крови. – Восс выдержал многозначительную паузу. – Комиссия просмотрела подборку твоих статей за последний год, изучила записи интервью. Ты дважды употребил слова, значения которых не знаешь. Эти слова: «компиляция» и «огульный». Ты не в состоянии правильно просклонять порядковые числительные. Ты не понимаешь, когда ставить двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

– Но... – начал было Барабаш, с трудом понимая услышанное.

– Тебе не давали слово. Когда 9-й канал брал у тебя интервью, ты произнёс «прецеНдент». Да за это без суда надо!..

– Остынь, Восс! – Нил откашлялся и махнул рукой. – 9-й канал уже третий час, как догорает. Но вернёмся к нашему смертнику…

Нил покрутил тумблер на чёрном приборчике величиной с ладонь.

– Это ток-шоу на радио. Слушай внимательно, жабий потрох.

Голова Егора пошла кругом, но мозг продолжал работать чётко, выверено. Он сразу распознал звук собственного голоса из динамика, мгновенно сообразил, какие места репортажа свидетельствовали против него. Одно только «пятистами рублями» наверняка стоило гильотины. А «оплата за телефон» и «чтобы НЕ говорили» забили последние гвозди в крышку его гроба.

– Сие лишь эпизод, – с усмешкой продолжил Нил. – Мы не стали утруждать себя поисками ошибок в других твоих выступлениях. Радиостудия уже заплатила за то, что пустила такое в эфир. Но закончим, наконец, эту скукотищу. Что у тебя, Мила?

В белый круг прожектора вступила женская фигура.

– В блоге о проблемах мигрантов ты два раза поставил «е» вместо «ё». Это было во фразах «совершЁнный акт насилия» и «всЁ повторять историю». Тебе кажется – в русском алфавите слишком много букв?

Барабаш не видел Милиного лица, но мог бы поклясться, что на последней фразе оно исказилось, стало безобразным.

– Журналисты, надеющиеся на корректоров, всегда в проигрыше. А твой корректор был нашим сотрудником. Теперь уже мёртвым сотрудником…

Внутри у Барабаша будто что-то оборвалось. Женя!!! Его корректором была Женя!

– Да-да. Ты полгода спал с нашим осведомителем, – усмехнулась Мила.

Его словно ударили чугунной булавой по голове. Барабаш пошатнулся, и ему стоило неимоверных усилий удержаться на ногах.

Он закрыл глаза рукавом. Немилосердный свет разъедал зрачки, подобно кислоте.

– Да, я допустил безграмотность. Но посмотрите с другой стороны. – Барабаш постарался, чтобы «посмотрите» не прозвучало, как «посморите». – Я никогда не позволял себе употреблять матерную лексику. В моих репортажах нету ни одного нецензурного слова!

– Что извергает твой мерзкий рот? «Безграмотность» – это существительное свойства, а свойство невозможно «допустить». Что же касается обсценной лексики, изволь. Наша партия не против мата, если он выстроен с правильными падежами, грамотными суффиксами и с учётом правил глагольных спряжений.

Барабаш с животным удовольствием выругался, хотя и не был до конца уверен, что потрудился вывести ожидаемые Ниловым ухом падежные окончания и проспрягать должным образом все глаголы.

– «В моих репортажах НЕТУ», – продолжал Нил, копируя голос Егора и противно растягивая последнее слово. – «НЕТУ» – говорят торговки творогом на рынке. Ты – журналист, жабий потрох, а значит, принадлежишь к пишущей элите. Слово – это дыхание. А дыхание твоё нечисто. Из твоего рта воняет помоями и гнильём!

Нил сплюнул на землю и кивнул Воссу и Миле. Те синхронно сняли автоматы с плеча.

Егор почувствовал, как сердце забилось, затрепыхалось за рёбрами грудины, точно синица, пойманная в силки. Вылететь бы ей, да никак…

– По вышеперечисленному следует приговор. – Голос Нила резко вспорхнул к крышам двора-колодца, спугнув ворон. – За систематическое коверканье великого русского языка, за безграмотность печатных текстов, за канцеляриты и тавтологию в репортажах Егор Барабаш приговаривается к расстрелу. Приговор требует немедленного исполнения.

Барабаш вздрогнул, дёрнулся, как затравленный зверь, взглянул на квадратик неба, забранный в кривую, точно вырезанную тупыми портновскими ножницами, раму из нависающих крыш, по-рыбьи схватил губами холодный воздух. Сейчас всё будет кончено. Говорят, перед глазами должна пронестись вся жизнь…

Он ничего из своей биографии не вспомнил в этот наэлектризованный миг, лишь ощутил – услышал – собственный мозг, чётко, словно мотор, промасленными поршнями орудующий в голове. Ещё одно мгновение – и замрёт это адское тиканье…

Нил встал рядом с Воссом и Милой, прижался ухом к прикладу…

– Целься! – разлетелось эхом по пространству двора.

Барабаш закрыл глаза…

И вдруг всё сказанное этими тремя из трибунала разложилось по полочкам, собралось, как детские кубики, в осмысленный текст. Он мог бы поклясться, что никогда память его не была так крепка, а сознание так ясно.

– Стойте! – Барабаш сделал шаг вперёд. – Вы не дали мне последнее слово!

– Слово? Чтобы ты ещё раз унизил русский язык? – Нил не отрывал прищуренный глаз от прицела.

– Вы сами, вы все… Говорите безграмотно, коверкаете речь! Если вы судите других, то должны быть безупречны!

Нил оторвал щёку от приклада, подал знак остальным.

– Что ты сказал?

Барабаш набрал воздух в лёгкие. С этими ублюдками следовало петь по их же нотам. Зря он, что ли, в студенческие годы вымучил свою четвёрку по русскому на журфаке?

– В каждой сказанной вами фразе – уродство. Вы не слышите себя! – крикнул он. – Вы способны лишь пенять другим на ошибки, а сами греховны не меньше!

Ему не ответили. Но и не выстрелили. Барабаш призвал на помощь все таящиеся в закоулках памяти филологические знания, заслонил рукавом глаза от света и продолжил:

– «Приговор следует», «приговор требует»… Приговор не может ничего требовать и не из чего следовать – вы не чувствуете язык? «Торговки творогом» – уродливая звукопись, преступный фоноряд. Дальше… «9-й канал брал интервью»… Канал ничего не может брать! И «догорать» канал не может!!! Что вы несёте? А «вышеперечисленное» – вопиющий канцелярит! Чу! Что это? Скрип? Скрежет? Это Пушкин с Гоголем в гробу переворачиваются, когда слышат вас!

Ему показалось? Или всё же было сказано «пли»?

Последовал выстрел-свист, Егор ощутил, как индевеет его позвоночник, становится хрупким, стеклянным и рассыпается в мелкое крошево. И тело его, потеряв стержень, некрасиво опадает на стылую землю, точно кожура от ливерной колбасы.

\* \* \*

Он просыпался медленно, как после наркоза. Холодная ладонь на его лбу стирала забытьё, нанизывала на пальцы вязкий липкий сон, как мотки свалявшейся пряжи.

– Женя?

– Тихо-тихо, мой друг, не кричите!

Барабаш открыл глаза. Камера была узкой, длинной, холодной.

– Где я?

Он приподнялся на локте и поглядел по сторонам. Голова сильно кружилась, и человек, стоявший рядом с ним на коленях, очень долго фокусировался, не желая принять четкий облик.

– Как вы себя чувствуете?

Голос был ласковый, тихий, как у покойного деда. Барабаш зажмурил глаза, чтобы прогнать наваждение, но когда открыл их вновь, ничего в окружающей обстановке не изменилось: тот же узкий подвал с крохотным прямоугольником оконца наверху, бетонный пол, устеленный соломой и тряпками, и пожилой человек, участливо склонившийся над ним. Вид у мужчины был «профессорский» – бородка клинышком, нелепое для ситуации кашне в «турецкий огурец», свисающее с шеи, и виноватые интеллигентные глаза за толстыми стёклами очков.

– Вы потеряли сознание.

– Всего лишь? Меня расстреливали… – Егор с жадностью выпил кружку воды, поднесённую к его губам незнакомцем.

– Расстрела не было.

– Но я слышал выстрел…

– Они отвели автоматы. Иначе бы мы с вами не разговаривали.

– Кто вы?

– О, простите. Позвольте представиться: Аркадий Маркович Дворкин, профессор филологии. Ваше имя я уже знаю.

К Барабашу медленно возвращалась память. Его оставили жить! Жить!

– Вам невероятно повезло, мой друг, – продолжал Дворкин. – С вашими ошибками в репортажах… Они должны были на месте, не церемонясь… Сейчас расстреливают и за меньшие провинности.

– Кто ОНИ? – нарочито громко спросил Барабаш.

– Тише-тише! – Профессор бросил взгляд на железную дверь. – Они – это граммар-наци. Ходят по трое, как когда-то революционные трибуналы по Петрограду. Ваша троица мне знакома. Нил – унтерлингв. Восс – фонопурист. И Людмила – ёфикатор.

Барабаш вспомнил, как Мила придиралась к отсутствию у него в статьях буквы «ё», Восс зверствовал по поводу неправильно произнесённых слов, а Нил… Нил, в сущности, готов был убить его за всё сразу.

– Здесь слышимость невероятная. До меня долетело слово в слово всё, что вы им сказали. Браво, молодой человек! Обвинить граммар-наци в допущенных языковых ошибках! Отдел собственной безопасности сейчас наверняка «работает» с вашим трио.

Словно в подтверждение слов профессора о слышимости, в камеру влетел женский крик, затем череда выстрелов и – завершающим аккордом – колоратурный стон.

– Это учительницы русского языка и литературы из Василеостровского района. Одна исправила ученику «ни при чём» на «не при чём» в диктанте. Другая сказала на родительском собрании: «Увеличение с геометрической прогрессией».

– А как надо? – с ужасом вымолвил Барабаш.

– В геометрической прогрессии.

– Да-да! Конечно! Я знаю, просто это ведь оговорка?

– Возможно. – Дворкин помедлил. – Но учителям русского языка такое не прощают.

Барабаш встал, покачнувшись, едва удержался на ногах и подошёл к стене, по которой стекали капли влаги.

– Я не понимаю… Граммар-наци объявили лингвистический террор?

– Не всем, молодой человек, не всем. Только тем, кто имеет отношение к языку и позволяет себе роскошь ошибок. Учителя, профессора или, как вы – журналисты. Больше всего достаётся писателям. И издателям. Потому что писать, а тем более издавать безграмотные книги, по их философии, достойно немедленной смерти. Впрочем, не могу признать, что они совсем уж не правы…

Егор резко обернулся, и голова закружилась вновь.

– Так вы их оправдываете, профессор?

– Отнюдь. Я считаю, что те, кто берётся за перо или подносит микрофон к губам, а в особенности те, кто учит новое поколение, просто обязаны быть грамотными. Но методы граммар-наци слишком жестоки.

Барабаш поморщился.

– Что же будет с теми, кто говорит «звОнит» или пишет «приДти»?

– Если это простой обыватель, то ничего. А вот те, кто призваны влиять на общественное мнение, вещать с трибуны, писать – тех ждёт смерть. Был такой писатель Валерьян Смолянский… Не жаловал «ё». А ёфикаторы среди граммар-наци – самые изощрённые садисты. Не буду говорить, что с ним сделали. Анну Хромых из «Вечерних новостей» отравили тирамису за то, что она это самое тирамису просклоняла в эфире. Евгения Мирвича с Центрального канала порезали на мелкие кусочки, потому что в своей кулинарной передаче он произнёс «порезать помидоры». И это после того, как его раза три предупреждал аноним в прямом эфире, что помидоры можно только нарезать, а порезать – палец. Они не ограничились пальцами… Страшно вспоминать… – Аркадий Маркович потёр виски. – Каминский… Вы знаете, что они сделали с Каминским? За ударение на последнем слоге в слове «аэропорты» повесили прямо в студии на его же панталонах. ПортАх, то есть…

Дворкин тяжело вздохнул, с хрипом откашлялся.

У Егора пересохло горло, забилась жилка под глазом.

– А вы, профессор? Как вы оказались здесь? – Барабаш подошёл к Дворкину и сел рядом на деревянную скамью.

– В своих лекциях я периодически злоупотреблял понятием «двойная языковая норма». Можно сказать «твОрог», а можно «творОг». Или «крыжовенный» и «крыжовниковый». Они посчитали это уловкой, отходом от канонов. Они ненавидят двойные нормы. Мне сделали первое предупреждение. Я начал избегать лексем, провоцирующих их. Это было месяцев пять назад, я думал, что от меня отстали. О, нет! Они следили за каждым моим шагом, за каждым словом – написанным и произнесённым. А погорел я на том, что сказал «моя супруга увидела саму себя в героине повести»….

– А что здесь не так? Что-то с героином?

– Ценю ваш юмор. Дело в слове «супруга». Если бы так сказал слесарь, было бы допустимо. Но я – профессор филологии. И еврей. В одной этой фразе я допустил две ошибки.

– Не следует говорить «моя супруга»?

– Именно. Надо – «моя жена».

– А вторая ошибка, никак не пойму…

– Не «саму себя», а «самоё себя».

– Но Аркадий Маркович, это смешно! Архаичная ж форма! – Барабаш возмущённо стукнул ладонью по деревянной скамье.

– Я ведь говорил, они не признают современных двойных стандартов…

Послышался лязг открываемой железной двери, и на пороге выросла коренастая фигура охранника.

– Дворкин, на выход.

Аркадий Маркович вскочил, завертелся, зачем-то завязал кашне узлом и, повернувшись к Барабашу, зашептал:

– Прощайте, Егор Алексеевич! Вы выиграли время – вас пока не убили.

Барабаш пожал ему руку, хотел было что-то сказать – но что тут скажешь!

\* \* \*

Нил молча кивнул охраннику, чтобы тот вышёл, сам сел за длинный стол, заваленный бумагами, и указал глазами Егору на единственный металлический стул, привинченный к полу. На стенах висели портреты Розенталя, Щербы и Шишкова – в лицо Барабашу не знакомые, но таблички с их именами на рамах были нарочито огромные – видимо, для таких неучей, как он.

Узкое прямоугольное окно, похожее скорее на амбразуру, было забрано решёткой в виде креста. Вся обстановка – портреты, освещение, а особенно крестовая решётка – навевали мысли о декорации к фильму об инквизиторах.

Егор опустился на ледяное сидение и ощутил, как холод мгновенно схватил его за копчик цепкой лапкой, растёкся по позвоночнику. Ещё миг – и озноб захватил его уже целиком, будто он присел на трансформаторную будку.

– Ты жук, Барабаш. – Нил зажёг сигарету и с наслаждением выпустил колечко дыма. – Как утёр нам носы!

Егор пожал плечами.

– Навозный, но везучий жук.

– Лучше быть навозным, чем мёртвым. – Барабаш поёрзал на стуле.

Нил долго смотрел на него, потом усмехнулся и потряс перед его носом папкой.

– Вот это твоё личное дело. – Он полистал страницы. – Тут на каждом листе улик против тебя на расстрел, а наши органы почему-то тянули. И Женю вот послали к тебе, а доносы от нее хлипенькие, максимум – на публичную порку. Влюбилась, что ли?

О Жене Егору вспоминать совсем не хотелось. Он смотрел на Нила и не мог понять, что в данную минуту испытывает – ненависть или благодарность за то, что всё же не убил.

– Профессор Дворкин… Что с ним?

– А как ты думаешь, жабий потрох?

Барабаш с ужасом взглянул на Нила.

– Ему хотели вырвать поганый язык, чтобы больше не смог поставить ударение неправильно. Потом вспомнили – он ещё и пишет. Думали отпилить кисти рук… – Нил помедлил. – Но потом сжалились – всё-таки б*о*льшую часть жизни он говорил и писал правильно. Дали ему пистолет. Он сам пустил себе пулю в рот, умница.

– Ваша партия… Методы… – Барабаш осёкся под взглядом Нила. – Это несправедливо! Есть же люди – дислексики, дисграфики. Они просто не могут быть грамотными, это физический недостаток. Я знаю, я делал о них репортаж.

– Никто не спорит. Мой родной брат – легастеник, с детства путал местами и буквы, и цифры.

Егор в недоумении взглянул на Нила.

– Путал?

– Путает. Жив он, жив. Потому что не лезет в писаки и ораторы. Он простой дантист, молчун. Был бы журналистом или филологом, я бы первым поставил его к стенке. Мы должны быть строги – к себе в первую очередь. И ты, Барабаш, своей предрасстрельной речью чуть было не лишил меня погон, а Восса – свободы. Не думай, что я тебе это прощу.

Дверь отворилась, и коренастый грамотей-опричник впустил в комнату Милу. Барабаш узнал её по полушубку и кепке, но она тут же скинула их прямо на пол, подошла к Нилу и присела на край стола. Егор вспомнил, что в тройке она была ёфикатором. Щёки девушки пылали – видимо, ей было жарко, – и Барабаш поразился красоте её тонкого лица, длинным волосам цвета пшеницы и изящной шее. Глаза же были водянисто-голубыми, чужими, портили образ.

– Вот Мила простить тебе не может манкирование любимой буквой «ё». – Нил по-свойски похлопал её по колену.

Мила проткнула Егора мёрзлым взглядом.

– Я бы его всё равно расстреляла. Днём раньше, днём позже… По любому попадётся на каком-нибудь ляпе.

Нил стукнул ладонью по столу, и Барабаш вздрогнул, снова почувствовал холод металлического стула.

– Значит так. Я пока ещё главный! – Он повернулся к Егору и подозрительно ласково произнёс: – Любишь язык?

– Свой, во рту? Или русскЫй? – с вызовом спросил Барабаш.

Нил захохотал.

– Вот что. Напишешь диктант. Завтра. Допустишь одну ошибку – отрежем язычок – тот, который во рту. Допустишь две ошибки – подстрижём ещё и пальчики. А за третью ошибку отдам тебя ей. – Нил кивнул на Милу. – И тогда я тебе не позавидую.

\* \* \*

Ночью Егор почти не спал. Вертелись тяжёлые мысли в голове.

«Надо как-то пережить этот чёртов диктант!» – думал Барабаш.

Он отчего-то был уверен, что текст ему дадут, хоть и заковыристый, но знакомый по студенческим временам. Что-то типа замусоленной филологами истории о «дощатой террасе, на которой веснушчатая Агриппина Саввична потчевала коллежского асессора Аполлона Фаддеевича»… Или «Фаддея Аполлоновича»… Что он там ел у неё? «Винегрет и прочие яства»? Чтоб его вместе с Саввичной стошнило этим винегретом!

Барабаш злился сам на себя. Даже этот знакомый с первого курса текст он правильно бы уже не написал!

Егора привели в ту же комнату, где он был накануне, усадили на тот же металлический стул, дали в руки жёсткую папку с прикреплённым к ней линованным листом. Когда конвоир вышел, Егор попробовал привести голову в порядок, успокоиться, насколько возможно, унять психоз перед диктантом. Но молчаливые взгляды филологов с портретов на стене отвлекали от попытки расслабиться, распаляли его злость.

Дверь скрипнула, и в комнату вошла Мила, полоснув Егора бритвенным взглядом водянистых глаз. Барабаш ссутулился, стал как будто меньше, виновато опустил голову. Мила заметила, что на белом листе он оставил следы потных ладоней, презрительно фыркнула, открыла книгу в самодельном бордовом переплёте.

Диктовала она чётко, расставляла ударения, интонационно выделяя слова, что очень помогало Егору в пунктуации. Мелодика речи оказалась выстроенной по-актёрски правильно, голос был низковатый, чуть с хрипотцой, и Егор почувствовал возбуждение. Но Мила, словно уловив его греховные мысли, поднесла лицо совсем близко к его носу и объяснила, что думает о нём, высоким штилем с эпизодами падежно выверенного мата. Барабаша в который раз передёрнуло от её звериных глаз – почти прозрачных, как будто кто-то промыл кисточку с голубой краской в баночке с водой. На радужке он разглядел едва заметную пару чёрных пятен, и показалось, что это те самые точки над «ё», которые она так старательно пестует.

Текст был незнакомый, средней сложности. Всё шло гладко, он только один раз споткнулся о запятую – подумал и заменил ненавидимым им двоеточием. Авось пронесёт! Остался доволен собой. И вдруг нашло какое-то помутнение – как написать: «всеночная» или «всеношная». Он бы уверен, что Мила намеренно проглотила средний слог. Егор вывел каракульку, чтобы сразу было не понять, «ч» он написал или «ш». Подумал чуток и прибавил снизу крохотную загогулинку, чтобы вдобавок мерещилось и «щ» – будто «всенощная». На всякий случай.

Закончив диктовку, Мила не дала ему перечитать написанное, с нетерпением вырвала листок, пробежала глазами по строчкам, ухмыльнулась и приписала что-то рукой в углу. Барабаш вытянул шею, напрягся, как скифская тетива, но так и не смог определить, что она нацарапала – комментарий, оценку или приговор.

Затем Мила вынула из ящика стола другой лист и дала ему пятнадцать минут на самостоятельное эссе о «нетленности языка как материи». Тему он так и не понял, материя для него всегда ассоциировалась именно с тленом, но переспрашивать не стал – можно писать любую чушь. Лишь бы грамотно. Его, Егора, задача какая? Выжить. Он исписал листок примитивными предложениями с односложными словами и отсутствием намёка на место, куда можно втиснуть даже очевидную запятую.

Довольный собой, Барабаш вернул бумагу с планшетом и ручкой граммар-садистке.

Мила взяла у него эссе, и, уже не глядя в листок, вышла из кабинета.

Егор просидел на стуле, наверное, полчаса, ёжась от взглядов филологов на портретах и вслушиваясь в крики на улице. Встать и подойти к окну он не решился. Очень хотелось жить.

Наконец дверь распахнулась и впустила Нила.

– Ну, что, жабий потрох? Выкрутился с эссе?

Егор сразу понял, что диктант, раз уж Нил о нём не упомянул, написан без ошибок.

– Что ж с тобой делать? – продолжал Нил.

Барабаш сглотнул.

– Отпустить, – сдерживая предательскую дрожь в голосе, сказал он. – На свободу…

– Отпустить – отпущу. А свобода – слишком роскошный подарок для такого, как ты.

Нил присел за стол, сунул в ящик какие-то бумаги и подмигнул портрету Розенталя.

– Это как понимать? – снова подал голос Барабаш.

– А так. Отпущу восвояси. А свободу тебе никто не сулил. За тобой будут наблюдать. Непрерывно.

Нил встал, подошёл к окну и с минуту глядел на двор, широко расставив ноги в сапогах и заложив руки за спину.

– Сядь прямо, – повернулся Нил. – И обхвати сзади руками спинку стула.

Барабаш послушался.

Нил подошёл к нему и быстро вытащил из-за пояса брюк пистолет с набалдашником, похожим на глушитель. Мгновение, за которое Егор не успел ничего сообразить, – и каратель выстрелил ему в плечо.

Кровь проступила совсем чуть-чуть, пара капель. Боль же была какая-то ватная, укусила его, как овод, и тут же стихла.

– Расслабься. Чип смазан обезболивающим, – ухмыльнулся Нил.

– Чип? – ошеломлённо прошептал Барабаш.

– А ты думал, жабий потрох, я тебя так отпущу, девственником?

Егор задрал рукав: на коже плеча красовалась белая пуговица, как от Манту.

– Технические детали рассказывать не буду, ты ж гуманитарий. Считай эту штучку чем-то вроде микрофона. Она будет неусыпно следить за тобой, и если ты ляпнешь что-нибудь в неправильном падеже, мы об этом сразу узнаем. Работа аккумулятора рассчитана на год. Год выдержишь – считай, остался жив. Тебе дана фора на ошибки, несколько «жизней», не буду уточнять сколько – так, для остроты интриги. Наберёшь «смертельную дозу» – сработает механизм… Так что, теперь будешь ой как следить за базаром, человечек.

Нил прошёл к двери, на пороге обернулся.

– Сейчас тебе подпишут пропуск. Да, чуть не забыл: в твоём компьютере тоже установлена программа. Пошлёшь кому сообщение, или повесишь пост в блоге даже с малейшей ошибкой – ну, ты понял, жабий потрох. И не вздумай отмалчиваться. Я теперь твой куратор, и отныне вторники – наше с тобой время для обязательного общения.

Дверь за Нилом захлопнулась, оставив недоумённого Барабаша одного под прицелом глаз настенных филологов.

Он сидел на холодном стуле с минуту, потом вскочил, подошёл к столу, озираясь на дверь. В верхнем ящике торчал ключ. Было рискованно даже приближаться к этому месту, но рука Егора сама потянулась, не слушая голоса разума.

В ящике лежал горкой ворох бумаг. Зачем он рылся там, Барабаш сам не отдавал себе отчёта. Обрывки записей, квитанции, листки с чужими диктантами… И, наконец, на самом дне – маленький растрёпанный блокнот с замусоленными уголками. Барабаш открыл его, пролистал несколько страниц. Ровным почерком были выписаны какие-то правила, склонения числительных, слова-исключения.

«Это его личная шпаргалка!» – осенило Егора.

Он сунул блокнот под пижамную рубаху, прижал к телу локтём, задвинул ящик коленом и пулей подлетел обратно к стулу.

«Я найду твоё слабое место, унтерлингв! Я раздавлю тебя!»

\* \* \*

Барабаш ожидал, что найдёт свою квартиру перевёрнутой вверх дном, но, к немалому удивлению, его встретил идеальный порядок. Вещей Жени не было, как не было напоминаний о ней. В компьютере их переписка и совместные фотографии были стёрты; шкафчик, где она хранила косметику, пуст; том*а* её любимого Шелдона заменены на Гоголя. На секунду он усомнился, а была ли вообще в его жизни Женя. Но многочисленные пачки зелёного чая на кухне говорили утвердительно: была. Сам Барабаш пил только чёрный.

Курлыкнул сигнал «Скайпа», на экране показалось лицо Нила.

– Ну что, жабий потрох?

Барабаш почувствовал, как зачесалось плечо.

– Что молчишь? – продолжал Нил. – Боишься? Теперь каждое твоё слово может в прямом смысле стать для тебя последним.

«Я тебя победю, сволочь!» – подумал Барабаш и ужаснулся от того, что чуть было не произнёс это вслух. Его сразу бросило в жар.

«Нужно продержаться год!» – Егор до крови прикусил губу.

Они поговорили минут пять о ерунде – о погоде, о музыкальных рейтингах. Барабаш следил за каждым словом, и это оказалось нелегко: от напряжения у него отчаянно пульсировало в висках. Под конец беседы Нил сказал:

– Ничего, скоро привыкнешь, что *грамотные люди* постоянно тебя контролируют.

– Не привыкну.

– Я же привык. Ты думаешь, ты один такой? Я живу с чипом уже несколько лет.

«Вот это новость!» – Егор не знал, что и думать.

– Постоянный неусыпный контроль – великое благо для человека. Это даёт тонус всему организму. И стимул. Ты привыкаешь следить за собой, ты всегда подтянут, всегда на высоте. Особенно, когда знаешь, что лимит на ошибки исчерпан полностью… Мой чип тоже сначала был рассчитан на год. Но я понял, что не смогу жить без этой маленькой штучки – мне необходимо чувствовать: я не один. Тебя ждёт то же откровение. Если доживёшь, конечно.

Барабаш долго размышлял после этого разговора.

Их с унтерлингвом шансы на жизнь, получается, равны? Хотя нет… У Нила не осталось права на ошибку. Так он сказал…

Барабаш вынул украденный блокнот и часа два изучал его, скрупулёзно подмечая детали.

\* \* \*

Вторники превратились в особые дни. По вторникам Барабаш целый час беседовал с Нилом по Скайпу.

Свой блог в сети Егор вычистил до хирургической стерильности, по нескольку раз переписывая черновики и прибегая к помощи всех возможных программных проверок – от орфографии до стилистики.

Сверху на ноутбук – так, чтобы не видел Нил, – Егор прикрепил картонку, на которую каждую неделю выписывал заковыристые вопросы. Состряпаны они были по подсказке той самой записной книжки, которую он стащил у Нила в кабинете. Барабаш надеялся, что уж если тот записал хитрые правила, то не факт, что запомнил их и не споткнётся при разговоре. Вот задаст Егор ему вопрос, а Нил ответит на автомате, с роковой ошибкой. Последней для него ошибкой…

– О чём задумался, жабий потрох? – прервал его мысли знакомый голос.

– Привет! – встрепенулся Егор.

Нил выглядел на экране неважно. Сизоватые мешки под глазами, усталый взгляд.

Беседа была продумана Барабашем до мелочей. Подходил к концу последний листок записной книжки Нила, Егор виртуозно провоцировал врага споткнуться о правила, самим же им выписанные. Но тот в который раз оставался безупречен.

Барабаш увидел на краю его стола пухлую Милину кепку. Значит она там, рядом с ним? Сидит, скрытая от камеры? Мозг подбрасывал одну за другой параноидальные картинки – как Нил раздевает её, как Мила бесстыже ему отдаётся. Егору стало физически плохо от этих мыслей, мозг словно парализовало голодной яростью. Она там! Значит, они не просто «товарищи по партии»…

Но думать о Миле и гладко вести разговор Егор не мог – инстинкт самосохранения взял верх.

Минут через двадцать пустой, на его взгляд, болтовни, он увидел, что Нил часто моргает слипающимися глазами и зевает закрытым ртом, отчего его обветренные губы превращались в тонкую прямую линию. Егор как бы невзначай спросил:

– На днях должен сдать материал. О бездомных котах. Не подскажешь, как правильно писать «Муркины котята»? Со строчной буквы, ведь так?

«Вот сейчас он кивнёт. Непременно должен кивнуть, ведь устал, ему не до заковыристых правил. И шут с ним, с моим шансом. Пусть лопнет отмеренный мне кусок форы, у меня ещё есть право на ошибку, а у тебя нет!»

Но Нил равнодушно взглянул на него:

– Нет, не подскажу. Я тебе не справочное бюро.

Егор потрогал плечо – не кольнуло ли. Но никаких ощущений не испытал.

И тут лицо Нила изменилось.

– Ты что это, мерзкий слизняк? Подловить меня вздумал? Знал правильный ответ и спрашивал?

Нил с остервенением ударил кулаком по экрану, и Барабаш с ужасом отшатнулся от ноутбука, будто бы кулак мог пробить монитор с той стороны и достать его.

Нил захлопнул крышку ноутбука, пространство на мониторе Егора сузилось до тонкой нитки, картинка исчезла. Он поспешно выключил компьютер. Что теперь будет? Его раскусили, как сопливого школяра!

Часа два Барабаш оцепенело сидел на кухне, прокручивая в голове ветошь мыслей – всех вперемешку, где были и воспоминания о страшном дне в логове граммар-наци, и разговоры с Нилом за последние месяцы, и ералаш из правил орфографии вкупе с ошибками коллег и окружающих – теми ошибками, что так остро начали раздражать его последние недели. Вспомнил, как сорвался в магазине на двух подростков, что-то обсуждающих между собой на «падонкаффском» языке…

Наконец он поднялся, нажал на чайнике кнопку, но тот вдруг выдал мощную искру – свет в квартире погас, и недовольно пискнул холодильник.

«Только замыкания не хватает», – подумал Барабаш и на ощупь пробрался в кладовку за свечкой. Чиркнул зажигалкой, фитиль тут же вспыхнул, отпечатав длинные мрачные тени, похожие на грибы-сморчки.

И тут он отчётливо понял, что в квартире кто-то есть… Егор ощутил, как мгновенно задеревенела рука с подсвечником, и страх парализовал шею, не позволив ему обернуться и посмотреть назад.

– Кто здесь?

Голос звучал гулко.

– Кто???

Егор сделал три глубоких вдоха и резко обернулся. От дыхания ли, от движения ли – пламя умерло, а вновь нащупать зажигалку дрожащими руками он так и не смог.

Надо было пробираться в комнату, крохотное пространство кладовки и кромешная тьма внушали ему языческий ужас. Боком по стене, как краб по пирсу, Барабаш осторожно продвигался вперёд, ориентируясь на едва уловимую ленточку света от уличного фонаря в конце коридора…

Глаза уже привыкли к темноте, и, добравшись до комнаты, Егор понял, что в ней никого нет. Значит, показалось.

Он подошёл к окну, отдёрнул шторы, дал жидкому фонарному освещению лизнуть подоконник и половицы паркета, открыл форточку, вдохнул сырой петербургский воздух…

И ощутил на затылке чьё-то дыхание…

\* \* \*

Казалось, прошла вечность, прежде чем он повернулся. Бледное лицо, выхваченное скупым светом, было необыкновенным. Прекрасным.

– Мила?!!

Что она делает в его квартире? Если она пришла убить его, что же медлит? Сопротивляться не было сил, Барабаш почувствовал, что его словно выпили целиком. Залпом. Он устал, он слишком измучен…

– Я разгадала твою игру, – сказала Мила шёпотом, как если бы в квартире кто-то спал.

– Игру?

Егор не отрываясь смотрел на её губы, высокие скулы и тёмные пятна тени, падающие на щёки. Мила стояла совсем близко, и Егор чувствовал тепло, исходящее от её тела.

– Да, я поняла: ты хотел убить его сегодня.

Сердце ожило, заколотилось, не давая мозгу подобрать слова. Грамотные слова…

– Я… – только и смог пробормотать Барабаш.

– Тихо. Не объясняй ничего. – Мила ладонью зажала ему рот, и губы обожгло прикосновение к её коже.

– Я могла бы сказать «браво», но не скажу. Ты чуть не погубил себя.

Она дышала ровно, жилка на её мраморной шее билась, как червячок, глаза блестели. Рука соскользнула с его губ и медленно опустилась на плечо, большой палец погладил его ключицу.

– Тебе есть до этого дело? – осторожно произнёс он.

– Есть. – Мила была серьёзна, ни тени улыбки на лице, лишь на секунду прикрыла глаза. – Не будь дурачком. Муркиными котятами ты лишь насмешил Нила. Но я подскажу тебе. У него есть один изъян, одно ма-а-аленькое правило, которое он постоянно держит в голове, но иногда забывает… Элементарное правило, даже дети не ошибаются…

Егор ощущал её горячую руку на своём плече и всё ещё отказывался верить, что это она – она! – стоит так близко, и он чувствует запах горьковатого миндального шампуня, исходящий от её волос…

– Зачем тебе это надо? – наконец вымолвил он.

– Зачем? – Она беззвучно засмеялась. – Когда убиваешь каждый день… Вдумайся: каждый… Тебе просто необходимы эмоции. Яркие эмоции. Допинг. Иначе не выжить.

Она заглянула в самую глубину его зрачков, и струна, натянутая в нём, оборвалась.

Егор запустил руку в волосы Милы, с наслаждением сжал кулак, притянул к себе, вдохнул её запах, каким-то звериным рывком прижал к стоящему рядом с окном книжному шкафу, захлебнулся от желания, почувствовав, как прожгли футболку насквозь её маленькие острые грудки и чуть шевельнулись под ладонью хрупкие, как нитка бус, позвонки.

\* \* \*

Текст, написанный Милой, Барабаш выучил наизусть. Была вероятность, что Нил не отреагирует, не ответит на вопросы, как часто бывало. Что ж, тогда надо будет ждать следующего вторника. А это ещё одна неделя. Необходимо вынудить его писать – именно писать, а не говорить, вот что важно! Ведь письменная речь – минное поле, при умелом раскладе сам не осознаешь, как подорвёшься.

– Что с тобой, жабий потрох? – Лицо Нила на экране было сумрачным.

– Ангина, – просипел Барабаш, трогая шарф, который загодя намотал на шею.

Это было правдой. Говорить он мог с трудом, глотку словно протёрли наждаком. Да ещё это «народное» лечение, будь оно неладно: с утра Егор выпил водки. Теперь его сильно знобило, что, вероятно, не ускользнуло от Нила.

– Лечишься?

Барабаш кивнул. Вопрос риторический, но ему было неожиданно приятно, что Нил задал его.

На краешке стола Нила снова свернулась клубком Милина кепка, и Егор понял: она пришла посмотреть, чем всё закончится. И посмотреть со стороны Нила. Так ощущения острее.

Они глядели друг на друга секунд тридцать, и Егор не выдержал – перевёл взгляд на клавиатуру, быстро отстучал: «Голоса нет» и, не дав Нилу время на раздумья, перешёл на общение через «месседжи». Теперь его задача – вынудить собеседника тоже перейти к текстовым сообщениям. И тот клюнул, пальцы застучали по клавишам.

«Над чем работаешь?»

«Готовлю серию репортажей о загрязнении истока и дельты Невы».

«Мелковато для тебя».

Он и сам знал, что «мелковато», но главный редактор никого не спрашивал при распределении тем, и Барабаш был изрядно зол на него. Что он, девочка-журналисточка писать об экологии и бедных рыбках?

«Завтра поеду в Шлиссельбург. Соберу материал».

«Расскажи».

Он послушно отстучал заранее выверенный текст, подглядывая на прикреплённую к монитору шпаргалку, очень осторожничал – чтобы не заметил Нил. Картинно, как тапёр, поднимал кисть руки вверх, ударял по клавише «Enter», сразу отправляя послание – смотри, мол, я уверен в себе, даже не перечитываю, а всё на месте: и «ё», будь оно проклято, и запятые, и удвоенные согласные. Нил отвечал большей частью односложно, тема была ему совсем не интересна, но вдруг остановился, помедлил, стёр то, что набирал, и, глядя в глаза Егору, спросил:

– Что делать будешь, когда зарядка чипа закончится?

Барабаш на автомате написал: «Не знаю».

Он, и вправду, не задумывался. Ещё пару месяцев назад он готов был зубами выгрызть ненавистную дрянь из плеча. Но ко всему привыкаешь… Что будет, когда её вынут? Он снова почувствует безнаказанность, расслабится, забудет языковые нормы, перекладывая работу на корректоров, и в один прекрасный день его расстреляют, на сей раз по-настоящему. Пожалуй, Нил прав: этот маленький жучок держит в тонусе, а коверкать родной язык не дозволено никому. Никому! Ему, Егору, в первую очередь, потому что он особенный. Он не такой, как все остальные журналисты. Он душой болеет за русское слово, и готов наказать любого, кто…

Егор в мгновение окаменел.

Он готов НАКАЗАТЬ любого, кто… кто…

– О чём задумался?

Барабаш вздрогнул от голоса Нила. Снова застучал по клавишам.

«Может быть, попрошу перепрограммировать чип».

– Правильно мыслишь.

«Что?»

– Правильно, говорю. Умнеешь.

«Что? Не слышу тебя. Динамик фонит».

Ещё не хватало, чтобы они так общались: Нил говорит, а Егор пишет. Тогда план может провалиться. Барабаш давно замечал, что Нил, в спорных моментах словно бы проглатывал сомнительный слог, и не разобрать было – правильно сказал или нет. Если жив пока, значит, чип не фиксировал ошибку. Впрочем, и сам Егор давно перенял эту манеру.

«Ты подозрительно грамотный стал, жабий потрох! – отстучал по клавишам Нил. – Неужто перевоспитался?»

Ну, вот и славно! Снова перешли на письмо. И не поленился, «жабий потрох» пальцем набрал, запятую втиснул, где надо. Барабаш вновь почувствовал что-то сродни ненависти к Нилу. Нет, это не ненависть, просто агрессия. Обыкновенная агрессия…

Он снова замер и, взглянув в глаза Нилу, напечатал:

«А после Шлиссельбурга поеду в Купчино заканчивать репортаж».

«В Купчино?» – Нил оторвался от клавиатуры и с усмешкой глянул на Егора.

Ну, давай же, давай! Сердце Барабаша отчаянно билось.

«Ну, да. В Купчино. Я ж о невской экологии пишу».

«И где ты, жабий потрох, Неву там нашёл?»

«Ну, там… Она ж там?»

Нил захохотал, одним пальцем набирая:

«Где ТАМ? В Купчино???»

Нажал «Enter» и застыл на месте, вдруг побелев.

Егор понял по его глазам, что ЭТО случилось. Нил же, встряхнув головой и чуть слышно прошептав: «Нет, нет, нет!», молниеносно отбил пальцами:

«В КупчинЕ».

Но было поздно.

– В КУПЧИНЕ! – заорал он в ноутбук. – В КУПЧИНЕ!!!

Но всё уже свершилось. Егор увидел, как Нил схватился за плечо, потом за горло, опрокинулся на спинку стула… Ещё миг… и раздался какой-то хлопок, едва уловимый. Егор удивился никчемности этого звука – как будто хрустнул таракан под тапкой.

Экран залило чем-то тёмным, осталась лишь щель, и в эту щель Егор увидел, как тонкая женская рука выключила камеру на компьютере Нила.

Всё было кончено.

Барабаш закрыл лицо руками и заплакал…

\* \* \*

*Когда ты пишешь, я слежу за тобой. Когда ты говоришь, я слежу за тобой. Я – Егор Барабаш, чистильщик. Санитар. Нил умер, но я жив. Я знаю IP-адрес твоего компьютера и просматриваю всё, что ты отправляешь с личной почты и выкладываешь в Сеть. Я исполняю миссию – я считаю каждую твою ошибку. Я запоминаю твои слова, и если ты сейчас читаешь эти строки, то знай – я где-то рядом, дышу тебе в ухо, заглядываю через плечо, когда ты бренчишь по клавиатуре. Я всегда рядом. Моё терпение не вечно…*

**КВАДРАТНЫЕ ПУГОВИЦЫ**

Латунный колокольчик у входной двери звякнул тихо и немного виновато, словно оправдываясь, кенар в посеребрённой клетке отозвался скрипучим фальцетом. Горничная Мавруша бросилась открывать, долго возилась с замком, и, наконец, распахнула дверь. Приподняв край тяжёлой портьеры, в прихожую шагнул закройщик Шапиро, сутулясь и прижимая к животу бумажный свёрток, перевязанный толстой бечёвкой.

- Костюмец принёс. Почти готов-с. Примерить надобно-с.

Мавруша приняла шляпу, засуетилась, снимая с гостя пальто и отряхивая снег с пелерины.

Внутри квартиры зашаркали тапочки: хозяин, любивший поспать до одиннадцати, торопливо искал халат.

Костюм обещал быть идеальным. Андрей Андреич Кум-Лебедянский, главный редактор «Петроградского музыкального листка», изогнул шею, выудил в зеркале часть собственной спины, обтянутой дорогим аспидно-синим сукном, и заулыбался своему отражению.

«А умеют же, черти», - подумал он, с некоторым восхищением наблюдая, как порхает вокруг него, точно летняя мушка, сухонький лысоватый Шапиро, где-то подкалывая булавкой, где-то рисуя мелом одному ему понятные пунктирные штришки.

Андрей Андреич мельком взглянул на фотографию в тяжёлой бронзовой рамке. Там он с дочерью Натальей стоит, облокотившись на перила белой бутафорской лестницы, а позади плещется нарисованное море. И фотография-то сделана всего месяца два назад, но до чего молодо он вышел, иной не даст и сорока лет, точно не папенька, а кавалер он статной красавице Наталье. Усатый фотограф тогда всё щёлкал языком и приговаривал: «Какая изумительная пара!»

«Рано ещё записывать меня в старики!» - прищурился Андрей Андреич, снова поворачиваясь вокруг зеркала и втягивая живот. Костюм скидывал лет десять, а то и больше.

- Цвет, цвет, Андрей Андреич! Капитально к лицу Вам! В Париже только у Дусе и Пакена такое сукно сыщите-с!- суетился Шапиро. - И фасончик-с молодит.

«А ведь и правда, - подумал Андрей Андреич. - Не скажет теперь хитрый лис Волобуев в своём бульварном журнальчике, что, мол, пропахла старая гвардия нафталином!»

- Пуговички-с принёс. Взгляните, - закройщик разложил на столе разноцветную россыпь, выудил нечто квадратное. - Вот эти-с, любезнейший Андрей Андреевич, самое то будет. С этими пуговичками-с вы первейшим франтом обозначитесь!

Ловким движением пальцев Шапиро прикрепил к сюртуку на английскую булавку чёрную квадратную пуговицу, отошёл шага на три полюбоваться.

- Уж больно… - Андрей Андреич подыскивал точное словцо… - Уж больно авангардно.

- Что вы, золотой мой Андрей Андреевич! - замахал коротенькими ручками закройщик, - Вы уж поверьте моему опыту. Именно квадрат-с, именно квадрат-с! Это самый перфексьон! Магическая сила! Апогей! Пик Памира! Только, только квадрат-с!

Андрея Андреича одолевали сомнения. Не обсмеют ли? Хотя и окружают его люди искусства, и многие ещё и не то на себя напяливают, но всё же….

- Да с таким костюмцем вы покажете им, - уловил его мыли Шапиро, - и изъявите-с, что лучше кого бы то ни было… На пенном гребне волны-с, тэ-сэ-зэть, за пояс их всех заткнёте! Убьёте наповал!

Шапиро быстро тыкал пальцем в потолок, - туда, где висела разлапистая люстра, как если бы именно там и находились незримые «они», кого новый костюм должен был убить наповал.

- Чистый модерн-с! - палец закройщика, точно шило, проткнул петлю и сковырнул пуговицу, как сливовую косточку. – Ведь двадцатый век! Пятнадцатый год на исходе! Закостенелая классика отступает перед бодрым шагом футура!

«А ведь прав, поди, - размышлял Андрей Андреич, вертя в руках пуговицу. - Что ж я, совсем пыльный старик? Закостенелая классика! Пусть знают, что и Кум-Лебедянский кое-что смыслит в тенденциях!»

Он ещё раз взглянул на фотографию, подмигнул себе, моложавому, и красавице-дочери, представил, как придёт в костюме на вернисаж и как знакомые будут разглядывать его, почувствовал немое уважение в кивках издателей, и зависть в глазах модников, и восхищённый шёпот молоденьких худощавых поэтесс. И улыбнулся в бородку втайне от Шапиро.

Мавруша закрыла за гостем дверь, собрала в гостиной поздний завтрак. Настроение у Андрея Андреича было отличное. Закройщик успеет к Рождеству, и можно было подумать о предстоящих визитах. На тарелке дымились сырники, густая шапка сметаны на блюдце напомнила утренний разговор, в ушах звенел голос закройщика: «Пик Памира». Андрей Андреич захохотал, отправил в рот большой кусок кулебяки и развернул свежие «Ведомости». За сводками новостей с фронта и анонса рождественских лотерей, он увидел обведённое двойной рамкой объявление о выставке в арт-галерее Товарищества «Новое Искусство» на Мойке. Глаза выхватили обрывки рекламных фраз: Объединение «Синий всадник»… экспрессионисты… новое слово… Кандинский, Верёвкина, Франц Марк, Явленский… бурлеск красок и линий…

Знатоком современной живописи Андрей Андреивич себя не считал, однако в своём кругу слыл человеком тонким, не чуждым новым веяниям искусства. Вернисажи последних лет чаще вгоняли его в глубочайшую тоску, однако сегодня был какой-то особенный день. То ли синяя суконная искра, то ли квадратные пуговицы так взбодрили его, только день он решил непременно перекроить на новый лад: сперва на вернисаж, а затем уж, к вечеру, и в редакцию. И, довольный собой, с наслаждением отхлёбывая крепкий чай из расписной пузатой чашки, Андрей Андреич принялся обводить рекламу кусочком мела, оставленным Шапиро.

Не успел он закончить, как требовательно заговорил колокольчик у входной двери и, вторя ему, заголосил кенар.

- Кого ещё нелёгкая принесла? - Андрей Андреич поставил чашку на блюдце и взглянул на остывающие сырники. - Неужто Шапиро за мелом вернулся?

Но подозревать робкого маленького закройщика в том, что тот осмелится потревожить его в это утро ещё раз, да ещё таким уверенным - даже нагловатым - звяком с лестницы, было бы, и правда, смешно. Мавруша засеменила в прихожую, на ходу снимая передник, кряхтя отодвинула тугой засов. Послышалось её ойканье и молодецкое басовитое «здоровы будете», в дюжем перекате которого Андрей Андреич, к своему великому разочарованию, не смог уловить знакомых нот. От радужного настроения вмиг не осталось и следа.

В комнату, словно снежный ком, да прямо в неснятых калошах ввалился молодой человек и, пихая лохматую шапку оторопевшей Мавруше, зычно вопросил:

- Вы будете господин Кум-Лебедянский?

Оторопевший Андрей Андреич хотел было произнести что-либо изящно-светское, подходящее ситуации, но, сбитый с толку румяным здоровым видом непрошенного гостя, лишь сумрачно кивнул и предложил ему раздеться в передней, зачем-то прибавив: «Хотя бы верхнее».

Через полминуты гость снова возник в гостиной, приглаживая пятернёй непослушный соломенный вихор:

- Позвольте отрекомендоваться. Макар Твёрдый, поэт.

Его обветренные пальцы забегали по деревенской косоворотке, будто бы он чесался, потом пятерня нырнула за воротник, и Андрею Андреичу показалось, что сейчас он выудит блоху.

«Под Есенина старается, - подумал, оглядывая гостя с ног до головы, хозяин. - Крестьянский поэт. Впрочем, в нынешних салонах успех бы имел. Независимо от качества стишат».

Макар, пыхтя и отдуваясь, достал из-за пазухи белый конверт, приложил его к животу, разгладил лапищей, словно чугунным утюгом, и вручил хозяину.

- Изволите чаю? - спросил Андрей Андреич, делая Мавруше знак глазами. На столе тут же появилась вторая чашка.

Пока гость уплетал за обе щеки сырники, кулебяку и припасённую Маврушей к обеду холодную буженину, Андрей Андреич вчитывался в мелкий знакомый почерк и никак не мог взять в толк, отчего его старинный друг Яблоков, консерваторский педагог и человек серьёзный, взялся покровительствовать этому увальню.

- Говорил, напечатаете меня, - комментировал с набитым ртом Макар. - Уверял, что не откажете.

- Так ведь, милейший мой, у меня не поэтический альманах, а «Музыкальный листок». Мы не печатаем поэзию.

Макар оторвался от еды и так посмотрел на Андрея Андреича, что тот ещё раз пожалел, что не пошёл с утра пораньше в редакцию.

- Ну иногда, конечно… Исключительно патриотические вещицы. Оды Родине, например. То, что можно положить на музыку. Мы же музыкальное издание. Вы пишите патриотические оды?

Макар пожал плечами, прожевал буженину, чинно вытер рот салфеткой и, резко встав - так что с грохотом опрокинул стул, - начал декламировать стихи.

Андрей Андреич нашёл, что муза у поэта Твёрдого была капризной. И, хотя к поэзии он относился критично, отметил про себя, что некоторые четверостишья были неплохими.

- Вот же я про рожь и про жнивьё. Чем не Родина? - гремел Макар.

Отказывать Яблокову Андрей Андреич не хотел, да и что за услуга - сущая безделица: напечатать на две колонки, не больше.

- Да-да. Вон предыдущее, про русский пот и страду. Это, пожалуй, возьму.

Довольный гость кивнул и боле ни о чём не просил, чем приятно удивил хозяина. Андрей Андреич даже потеплел и подумал: «Что я, право, точно старый ворчун. Буженину ему пожалел. Вот она, наша молодая румяная смена!»

Почему молодая румяная смена не на фронте, он спросить постеснялся.

- А что, друг мой, надолго ли в Петрограде?

- Один день. Переночую у двоюродной тётки. Потом домой, на Псковщину. Работать надо. Писать! - Макар отвалился на спинку стула и свёл к переносице пшеничные брови. - Да и женюся я. За подарками приехал. Уже набил мешки!

И снова Андрей Андреич просиял. «Что я, в самом деле, встревожился - вот молодой парень, поэт, ночевать не просится, подарки уже купил. А я, как скупердяй, сжался весь: не дай бог что выпрашивать вздумает. А стишата - безделица сущая, напечатаю, не бог весть какая и услуга». И тут же, как в довесок, вспомнились слова Гришки Распутина: «О народушке надо думать. О народушке».

- Вот что, сердечный мой поэт. А не желаете ли приобщиться к искусству? Один день в Петрограде - это ведь ого-го как много значит для тонкой поэтической души, о-го-го! - и Андрей Андреич указал на рогатую люстру - туда, куда час назад тыкал коротеньким пальцем Шапиро.

Идея была проста, и в общем-то никак не сбивала намеченных на день планов Андрея Андреича. Крестьянский поэт был любезно приглашён сопровождать его на выставку в арт-галерею.

От Песков, где жил Андрей Андреич, до Мойки добрались на извозчике. Искрился снег, и в жёлтом свете фонарей город был торжественно красив, словно принарядился к рождественской неделе. «Возьму над ним, так сказать, культурную опеку, - в благородном порыве думал Кум-Лебедянский, поглядывая из-за высокого воротника на Макара. - Мальчишка ещё, возраста дочери, а то и моложе. Пусть запомнит Петроград таким, каким *я* его покажу».

У галереи толпился народ, экипажи и таксомоторы.

- Мой друг, сейчас вы станете сопричастны удивительному, волшебному превращению. Я даже завидую вам малость, - Андрей Андреич по-отечески похлопал поэта по широкой спине. - Завидую, потому что вы впервые увидите экспрессионистов.

Макар шмыгнул носом и последовал за Андреем Андреичем в высокую дверь, которую любезно открыл перед ними бровастый вернисажный распорядитель.

В залах было людно. Андрей Андреич наблюдал за поэтом, но по выражению его лица не мог понять, задела ли хоть одна из работ какие-то потаённые струны Макаровой души. У одной из картин поэт остановился, встал, широко расставив ноги, и громко спросил:

- А почему у девочки лицо зелёное?

К ним со всех сторон устремились любопытные взгляды. Андрей Андреич, взял Макара под руку и, снисходительно улыбнувшись, прошептал:

- Тише, друг мой. Это Явленский.

Макар удивлённо посмотрел на Андрея Андреича, ожидая, видимо, продолжения фразы. …Явленский… и что? Но продолжения не последовало.

Рядом с зелёной девочкой на стене висели красные дома, похожие на собачьи будки, синие вытянутые старухи и, судя по ноздрям, лошади, дальше что-то невыносимо абстрактное в ассиметричной раме. Выражение лица у Макара было такое, как если бы он хотел сплюнуть, но стеснялся.

- Не понимаю я. Чего они все охают? Палки какие-то. Рожи на портретах кривые и цветов ненатуральных. А это что, зигзаг или рука у него дрогнула? - он ткнул в полотно Франца Марка и наклонил голову на бок.

Андрей Андреич терпеливо дослушал темпераментные отзывы далёкого от тонкого столичного искусства псковского варвара, выдержал паузу и, словно пробуя на язык каждое своё круглое слово, смакуя его ароматный сдобный привкус, произнёс:

- Эти линии, Макар. Взгляните на эти линии. Как прекрасны они, Макар, как величественны в своих изломах! Это новые формы, Макар. О, это уже не робкий поиск, это истинная экспрессия, идущая от адамовых истоков совершенного естества! Не ищите портретного сходства, Макар. Эти лица смотрят в суть вещей, и пусть они, как вы говорите, кривы, но вслушайтесь в себя, Макар, вслушайтесь!

Поэт задвигал скулами, от чего уши его зашевелились, - видимо, и правда, попытался последовать совету и вслушаться в себя. Андрей Андреич продолжал:

- Как плоски теперь кажутся окаменелые традиции академической живописи, как лапидарны! Взгляните, - он подвёл поэта к портрету кормящей матери, на которой сквозь штрихи и кляксы проглядывала вытянутая женская грудь с соском. - Зачем нам пресная скука бесстыжих венер? Они холодны. Здесь, здесь горячая кровь, здесь жар экспрессии! Вот она, новая мадонна!

Макар приблизил нос к фиолетовому мадонниному соску. Андрей Андреич мог бы поклясться, что услышал, как медленно и скрипуче двигаются шестерёнки в его черепной коробке.

- Вы же поэт! Вы рыцарь муз! Вам ли не испытывать здоровый восторг от новых форм!

- Старые формы попривычней будут. Не по-нашему всё это как-то… - процедил сквозь зубы Макар.

Андрей Андреич снисходительно улыбнулся и почувствовал себя молодым и по-весеннему свежим. Вот стоит сейчас рядом с ним парень - кровь с молоком, а ведь дряхлее его будет, хилее в своих заскорузлых воззрениях на отжившее искусство! Ах, жаль, не успел Шапиро с костюмом! Как бы хорошо смотрелся синий сюртук на вернисаже! И непременно с авангардными квадратными пуговицами!

Андрей Андреич выпрямился, приосанился. И как-то жалко стало Макара Твёрдого. Не понимает, не понимает… Старик в молодом теле!

- Почувствуйте, мой друг, почувствуйте! Какая магическая сила в этих полутонах, в этих непривычных, новых изгибах! Закостенелая классика отступает перед бодрым шагом футура! Присмотритесь: это же перфексьон, пик Памира!

Андрей Андреич вдруг поймал себя на том, что говорит словами Шапиро, осёкся, закашлял.

Вышли молча. Распрощались. Макар Твёрдый сбивчиво поблагодарил Андрей Андреича, натянул нелепую лохматую шапку и пошёл прочь. Андрей Андреич решил пройтись до издательства пешком, благо не так уж и далеко – минут двадцать по хрустящему снежку. Рано, рано его записывать в старичьё! Да он, поди, раза в два старше псковского поэта, а ведь моложе того по духу будет! А всё искусство, свежая кисть молодых, свобода иных форм! И так дышалось хорошо, Андрей Андреич развязал кашне и шёл, наслаждаясь свежим декабрьским воздухом, - пальто нараспашку, жарко, жарко, горячит кровь!

На Миллионной, у типографии «Северная печатня», его догнал Гораций Волобуев, главный редактор журнала «Овод», - шумный тучный человек с ветчинным носом.

- Дружище! - заорал Волобуев на всю улицу, - пойдём со мной к мадам Добычиной! Футуристы там. Такого, брат, долго ждали! Экая, скажу тебе, выставка там!

- Да я только что, тэсэзэть, - замямлил Андрей Андреич, жалея, что не пошёл через безлюдный Мошков переулок, - только что с вернисажа. «Синий всадник», новые формы…

- Да брось! Твой «Синий всадник» - сущее старьё по сравнению с тем, что у Добычиной! Вот там, брат, настоящие формы, настоящее новое искусство! Супрематисты, слыхал?

- Нет, - наморщил лоб Андрей Андреич, - Не слыхал.

Но любопытство взяло верх: подождёт редакция, уж больно красочно возбуждался Волобуев.

- А и пойдём!

До дома Адамини на углу набережной Мойки и Царицына луга дошли скорым шагом. На двери, под вывеской «Художественное бюро Н.Е.Добычиной» висел чуть испачканный ватман, на котором большими чёрными буквами было выведено «Последняя футуристическая выставка картин «0,10».

- Последняя! Чуешь, старик, всё! Искусства - как его понимаешь ты - больше нет. Умерло. Это высшее. Самый пик, понимаешь? Выше просто не может быть! Апогей!

Народу было мало. Вдоль стен висели картины со сложной геометрией, в рамах и без - Андрей Андреич их даже не разглядывал, влекомый Волобуевым в дальнюю залу. Там, будто икона в красном углу крестьянской избы, висел ОН - чёрный квадрат на белом фоне.

- Геометрия божественного естества, - прошептал ему Волобуев. - Малевич.

- А как называется? - зачем-то спросил Андрей Андреич.

- «Чёрный квадрат», - восхищённо просвистел в ухо Волобуев.

Андрей Андреич долго стоял, сложив руки за спиной, и вглядывался в картину. И вот-вот, казалось ему, ещё мгновение, и постигнет он тайну божественной геометрии, вот ещё доля секунды... Но квадрат уплывал от него куда-та вдаль, полз по стене в окно, вытекал в форточку прямо на скованную седым льдом Мойку, надсмехался над Андреем Андреичем, чуть ли не хохотал басом.

- Это вершина, брат, это вершина! Пик Памира! - перекатывал звуки в горле Волобуев, точно голубь.

При этих словах Андрей Андреич вздрогнул и, нацепив пенсне, поднёс глаза к чёрному телу квадрата.

…Нет, не дано… Не дано ему всё же постигнуть… Не понять…

- Вот она, горячая кровь, жар экспрессии! Магическая сила! Ты ведь находишь?

Андрей Андреич силился, но не находил.

- Но почему квадрат? - вдруг спросил он.

- Совершенство! - ткнул себя шапкой в грудь Волобуев. - Искусства нет. И не было до сегодняшнего дня! Закостенелая классика отступает перед бодрым шагом футура! Апогей! Пик Памира!

Андрей Андреич вдруг чётко услышал в словах Волобеува шепелявый вкрадчивый голос Шапиро. Казалось, тот издевается над ним, влез вот в квадрат, назвался новым искусством. Старый бес-закройщик! Мистика!

Что-то смущённо пробормотав Волобуеву, Андрей Андреич не к месту старомодно раскланялся и быстрым шагом пошёл к выходу.

Поднявшийся ветер на Царицыном лугу рвал шапку, плевался снегом в лицо, забирался под воротник, щупал рёбра под пальто, точно нищий свой медный грош в кармане. Андрей Андреич шёл, ссутулясь, и думал о том, что он всё-таки стар. И казался он себе даже ниже ростом, и намечающаяся плешь на затылке в мыслях его съела всю голову и, вероятно, блестела там, под шапкой. Какая нелепая мысль была возвыситься хоть на мгновение над этим давешним мальчиком, деревенским поэтом! И что он, он - Кум-Лебедянский - смыслит в искусстве? Ноль. Это про него говорил плакат на доме Адамини «Ноль-десять». Дряхлый старик! Глупец! Смешон, смешон! «Только квадрат-с!» - свистел в ушах голос Шапиро.

На морозе костенели руки, но перчаток он так и не надел - вместе с пальцами костенела его душа, не способная к свежему глотку творений новых форм. В глазах темнело, и проталины на Царицыном лугу казались чёрными квадратами. Они будто подскакивали на замёрзших кочках, бесновались, хохотали. А ветер всё рвал полы пальто, и чудилось Андрею Андреичу, будто и пальто его скроено из наглого чёрного квадрата - и не выбелить его ничем, не вытравить и даже углы ножницами не закруглить…

Поднявшись в свою квартиру и постояв минуту, прислонившись к натопленной изразцовой печи, он подошёл к секретеру, взял перо и бумагу и вывел убористым почерком - без завитух, на скорую руку:

«Любезнейший Лейба Яковлевич,

Пожалуйста, не надо квадратных пуговиц. Пришейте, что найдёте, привычных форм».

И, подписавшись размашисто, велел Мавруше одеваться и бежать к закройщику в Дегтярный.

1. Володарский «Мой Ионыч», «Врач без границ», «Мурик-Марик».

***Александр ВОЛОДАРСКИЙ***

**ЖЗЛ, или ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ**

(Три рассказа из цикла)

**МОЙ ИОНЫЧ**

Впервые я решил написать о человеке, которого никогда не знал. Фамилию этого человека я слышу каждый день по несколько раз от Майи Михайловны.

Майя Михайловна в последнее время сильно сдала, и я захожу к ней ежедневно: приношу продукты, измеряю давление, напоминаю - какой сегодня день и число. Других родных у нее нет. Увидев меня, она сразу начинает делиться со мной воспоминаниям, и постоянно повторяет одну и ту же фамилию – Есафов. Его звали Вениамин Ионович Есафов.

- Я так хорошо помню Есафова, - мечтательно произносит Майя Михайловна, протягивая руку за таблеткой.

- Вениамина Ионовича? – привычно говорю я, вручая ей таблетку.

- Откуда вы его знаете? Я уже вам о нем говорила? – искренне поражается Майя Михайловна и глотает таблетку.

- Тысячу раз! – подтверждаю я и даю ей следующую таблетку.

- Потому что он был очень хороший человек! – Майя Михайловна запивает лекарство водой, отключается и уходит в мир грез и воспоминаний…

- Ну чем, чем, скажите, он был так хорош? – допрашиваю ее я.

- Всем! Он принимал меня на работу на Камский целлюлозно-бумажный комбинат. Это было в городе Краснокамске, в пятьдесят первом году, – лицо Майи Михайловны светлеет, морщины разглаживаются.

- И это все?!

- Нет, не все! Потом он принимал меня в партию! – Майе Михайловне хорошо, она вся там, в своей коммунистической молодости, а я думаю...

Думаю о том, что я тоже – не самый плохой человек. Но какая женщина, находясь в глубоком склерозе, переходящем в маразм, будет на девятом десятке благоговейно повторять мое имя? Жену и дочь я отбрасываю сразу и скрупулезно начинаю вспоминать остальных...

- Вениамин Ионович Есафов! - прерывает мои рассуждения Майя Михайловна. – Представьте, я помню его, как будто мы виделись с ним только вчера!

- И я помню, хотя в глаза его не видел!

Майя Михайловна смеется. У нее есть чувство юмора, и это выручает. А еще у нее были: два любимых мужа, обожаемый папа, который дожил до девяноста лет, брат – заслуженный летчик-испытатель, но забыть она не может лишь одного Есафова.

- Майя Михайловна, - не выдерживаю я, - признайтесь, вы были его любовницей?

- Фи! А еще культурный человек, - стыдит меня Майя Михайловна, - у него было четверо детей. Он был просто хороший человек.

Хороший человек, который принимал в партию - и это повод запомнить мужчину на всю жизнь?! Я не мог успокоиться. Я нашел на карте город Краснокамск. Он оказался на Урале, под Пермью, и Есафов стал мне сниться. Высокий, русоволосый богатырь с лицом Добрыни Никитича, рассеянно рисуя что-то на продукции родного комбината, говорил мне:

- Нет, Александр, вы - недостаточно хороший человек! Другое дело я – Есафов Вениамин Ионович.

- Товарищ Есафов! Хотите, я буду приносить вам продукты и лекарства, - заискивал перед ним я.

- Вы – мне? Да у меня очередь стоит, все мечтают мне приносить!

Тут он заливался смехом, как Майя Михайловна, а я просыпался, и сам начинал вспоминать свои поступки, и понимать, что Вениамин Ионович прав - не такой уж я хороший человек. Например, как-то вечером, торопился, вбежал в парадное, прыгнул в лифт и быстро нажал кнопку, хотя слышал, что кто-то вслед за мной тоже зашел в парадное. Я мог бы его подождать…

Однажды у Майи Михайловны меня ждал сюрприз. Утром, когда я пришел, она достала и показала мне старое фото. На фото – какой-то невзрачный человек стоял на фоне заводских труб.

- Вот, Саша, посмотрите, это мой начальник - Вениамин Ионович Есафов. Я вам про него еще не рассказывала?

- Нет, - неожиданно для себя произнес я.

- Как? – удивилась Майя Михайловна и рассказала мне новую историю.

Однажды они всем коллективом лаборатории анализа сульфитной целлюлозы поехали на поезде в Пермь, в оперный театр. Давали «Кармен». Есафов купил всем женщинам программки, потом в буфете – по стакану крюшона, а, когда возвращались, Вениамин Ионович уступил Майе Михайловне нижнюю полку. И, хоть был гораздо старше, сам полез на верхнюю.

- Мне было ужасно неловко, но он так настаивал! Хороший был человек…

Я взял фото и стал присматриваться. На вид мужчине было лет сорок пять. Высокий тестостерон, тогда об этом мало знали, позволил Есафову приобрести устойчивую лысину, которая была на фото, и четверых детей, которых на фото не было. Мужчина был худ. Черный костюм, вполне возможно, еще довоенный, сидел на нем мешковато. Вениамин Ионович улыбался и смотрел на меня. А я снова думал. Я думал о том, что отчество «Ионыч» я встречал до этого только в рассказе у Чехова. И что Чехова я знаю, хотя никогда не видел, и Есафова знаю. Но Чехов, чтобы я о нем знал, делал все возможное: писал пьесы, повести и рассказы, приобретал усадьбы, которые стали потом музеями, а Вениамин Ионович и не подозревал, что некто я, отстоящий от него на много лет и километров, будет его знать и помнить. Значит, для того, чтобы о тебе помнили, не обязательно быть Чеховым, достаточно быть просто Есафовым…

**ВРАЧ БЕЗ ГРАНИЦ, ИЛИ КАК МЫ С ЧЕРНЯХОВСКИМ К НОТАРИУСУ ХОДИЛИ**

В наше смутное время каждый, кто может хоть что-то производить, производит, что может. Участковый терапевт и литератор Евгений Аронович Черняховский производит впечатление. Сперва сильное - уже издалека: рост под два метра, вес под полтора центнера, а затем неизгладимое - уже с первой фразы. На вступительном экзамене по физике в медицинском Жене досталась «Торричеллиева пустота». Когда абитуриент Черняховский произнес первые слова: «Итальянский физик Эванджелиста Торричелли…», пожилой доцент, принимавший экзамен, встал и сказал: «Тридцать лет я принимаю экзамены, но за все это время никто и ни разу не произнес «Эванджелиста». Садитесь, пять!».

Друзья называют Евгения просто – «Ароныч», потому что он очень простой, несмотря на сложный внутренний мир. Недавно Ароныч так обратился к обычному водителю маршрутки:

- Будьте любезны, если не трудно, вы не могли бы остановить свое маршрутное такси на остановке «Улица Шолуденко»? Заранее благодарен!

Потрясенный шофер, говорят очевидцы, не только не успел остановиться на этой остановке, но еще две промчался на одном дыхании, не останавливаясь – а вдруг еще раз удастся насладиться стилем автора.

Женя – глубокий знаток Бродского, Ахматовой, Мандельштама, причем наизусть, так что он знает много слов, во всяком случае, гораздо больше, чем я, и, следовательно, больше, чем рядовой индивидуум. Поэтому не каждый может себе представить, какого труда стоит Евгению, беседуя, расставить эти слова в нужном порядке.

А поговорить Женя любит. Но особенно он любит ходить и говорить. Вот почему для его друзей-современников ходьба бывает трех видов: спортивная, обычная и ходьба рядом с Евгением Черняховским. Один его сосед по вечерам часто выгуливал рядом с Черняховским себя и свою собаку, и вскоре люди заметили, что интеллект не только соседа, но и собаки заметно вырос. Все, кто ходил с Евгением Ароновичем, знают: надо становиться с правой или левой стороны от него, я точно не помню, он сам скажет, и тогда Черняховский лучше слышит. Причина его легкой тугоухости мало известна, но благодаря этому слова до него хуже доходят, зато дольше остаются.

Однажды во время очередной прогулки Женя спросил меня: «Родственник! У тебя есть знакомый нотариус, мне нужно посоветоваться, как решать вопрос с квартирой тещи?» Вопрос меня, признаться, удивил. Нет, в самой просьбе встретиться с нотариусом ничего предосудительного не было, но я привык, что все свои потребности Женя удовлетворяет при помощи больных. У доктора Черняховского есть больная-портниха, которая поправляет ему одежду, больной-банкир, который советует, где лучше хранить деньги, и даже больной-читатель, который в восторге от всех его произведений. Нет у него только больного-работника мобильной связи, поэтому у Ароныча нет мобильного телефона. И, если вас хватил удар сегодня, то Евгений, скорее всего, узнает об этом завтра. Теперь кратко о его теще. Теща Черняховского – родная сестра бабушки моей жены. Значит, мы - родственники. А дело было важное, потому что теще было тогда лет девяносто пять, и она одна занимала двухкомнатную квартиру в престижном районе Киева.

Однако вернемся к нотариусу. Мой знакомый нотариус Каплун принимает в известной нотариальной конторе на улице Пирогова в центре города. Я заверил, что приведу к нему интеллигентного человека по пустяковому вопросу. Но мог ли рядовой боец юридического фронта предположить, что это будет настолько интеллигентный человек? Как выяснилось, не мог…

Когда мы пришли, Женя сел напротив нотариуса, а не сбоку, поскольку говорить собирался он. И он заговорил.

- Видите ли, - начал Евгений, и нотариус сразу напрягся, - моя проблема видится мне вполне тривиальной, однако нахождение ее оптимального решения является в высшей степени актуальной задачей и требует исключительно индивидуального подхода. Дело в том, что у меня есть теща. Но вопрос, разумеется, отнюдь не исчерпывается этим в значительной степени банальным фактом. Теща – практически неизменный атрибут каждого индивидуума мужского пола, связанного матримониальными узами, поэтому…

Нотариус Каплун беспомощно посмотрел на меня. Я развел руками. Я-то давно знаю, что предисловие Черняховского, как и предисловие ко многим книгам, можно пропускать без особых последствий.

А Женя увлеченно продолжал: «Моя теща проживает в столице Украины, по адресу Киев, 04032, улица Саксаганского, 90, квартира 127, общей площадью 43 квадратных метра, на 6-м этаже, вход со двора, налево от арки. Эта улица названа в честь великого украинского театрального актера Саксаганского Панаса Карповича, настоящая фамилия Тобилевич, 1859-1940».

У нотариуса задрожали веки и непроизвольно сжались кулаки. Я поймал себя на том, что смотрю напряженный спектакль с двумя великолепными актерами, каждый из которых достойно вел свою неповторимую линию.

Что вам сказать, чтобы долго не задерживать: доктор Черняховский полностью переиграл нотариуса Каплуна, закончив разговор, как и следовало ожидать, цитатой из своего любимого поэта Бродского Иосифа Александровича, 1940-1996.

«Вот я иду, а где-то ты летишь,  
уже не слыша сетований наших,  
вот я живу, а где-то ты кричишь  
и крыльями взволнованными машешь»

Но надо отдать должное и нотариусу. Он ничем не махал, а терпеливо выслушал все до конца, не проронив ни слова. Когда Евгений наконец удовлетворенно откинулся на спинку кресла, нотариус обернулся ко мне. Видно было, что собеседник произвел неизгладимое впечатление и на него, но он не знал, как об этом сказать. Потом он взял себя в руки и сказал коротко: «Простите, но я абсолютно ничего не понял!» И здесь Женя произнес фразу, которая повергла нотариуса Каплуна в нокдаун. Черняховский спросил: «Повторить?»

Тут я понял, что пробил мой час, и я сказал: «По-моему, Евгений хочет установить опекунство над своей тещей, чтобы не пропала квартира».

- Вы этого хотите? – тревожно спросил Каплун громко и внятно, случайно оказавшись с правильной стороны от собеседника.

- Да! Отчаянно хочу!– радостно ответил Черняховский.

Нотариус встал и с чувством пожал Черняховскому руку.

- Сделаем! – сказал он. – Для такого человека все сделаем! Зайдите ко мне в понедельник, мы съездим к вашей теще, адрес вы, как я понял, знаете, и на месте напишем все в лучшем виде!

Они расставались довольные друг другом, а я подумал, если такие далекие друг от друга люди достигли взаимопонимания, значит, такой шанс есть у всех нас, несмотря на то, что в русском языке всего около шестисот тысяч слов, и все их знает только герой этого рассказа.

**МУРИК-МАРИК**

Средь нас был юный барабанщик,  
В атаках он шел впереди,  
С веселым другом барабаном,  
С огнем большевистским в груди.

*Михаил Светлов «Маленький барабанщик»*

- Этому барабану больше ста лет. Он называется джембе. Послушай…

Мурик начинает выстукивать какую-то африканскую мелодию. Я слушаю, он мечтательно улыбается, и мне заметно, что несколько зубов ему неплохо бы вставить… Мы не виделись лет сорок. И, хотя Мурик старше меня, у него мало седины, едва видна лысина, так же сияют умные карие глаза, и только морщины, обильно разбросанные по лицу, выдают давно пенсионный возраст. Да еще огромные с детства уши как-то скукожились и обвисли. Мне рассказывала моя мама, что уникально лопоухие органы слуха маленькому Мурику привязывали к голове на ночь полотенцем, но поутру они распрямлялись еще шире, и на это плюнули. Похоже, герой моего рассказа некогда вдохновил автора на создание образа Чебурашки, но это всего лишь красивая гипотеза, да и не только в этом состояла его уникальность...

Долгожданного Мурика, своего единственного ребенка, в семье долго ждали папа и мама, а потом – великие дела. И Мурик мог стать героем моего романа, если бы у меня хватало терпения романы писать.

Реально его звали Марик, но дедушка и бабушка называли по-своему ласково – Мурик. Говорить Мурик-Марик начал в девять месяцев, сразу произнеся целую фразу: «Эдик – падлюка, нэ стилькы заробляе, скильки жэрэ»! Одаренный мальчик точно воспроизвел характеристику, данную соседкой Галей своему незабвенному зятю Эдику. Причем произнес в тот момент, когда занять десятку до получки зашел сам Эдик.

- Гениальный пацан! – сказал Эдик и побежал искать свою тещу.

С детства Мурика оберегали, как редкий артефакт. Бабушка Роза - врач-гигиенист даже бросила работу, безраздельно посвятив себя чаду. Все овощи, фрукты и прочие продукты перед употреблением в пищу обдавались кипятком с целью тотального уничтожения микробов, комната регулярно кварцевалась кварцевой лампой, а детский горшок… На горшке, пожалуй, остановимся.

Где, по-вашему, должен стоять горшок маленького мальчика, чтобы на него, не дай бог, не села муха или другой бациллоносец? Бабушка держала горшок Мурика в специально сшитом мешочке на центральной полке холодильника. Перед употреблением горшок доставали и тоже орошали кипятком, чтобы согреть и заодно добить микроорганизмы, которые чудом выжили. Поэтому о своем желании писать или какать, Мурик должен был предупреждать минут за пять до события, что получалось у мальчика не всегда. С тех пор, я полагаю, ему не нравилось заранее планировать свои поступки. Еще заслуживает описания, как бабушка с целью определить степень готовности, пробовала манную кашу, которую варила. Из персональной кастрюльки Мурика она набирала немного каши в персональную серебряную ложечку Мурика, затем подбрасывала дымящееся содержимое этой ложки вверх и ловила ртом. Практически, цирковой трюк, и хотя бабушка Роза иногда промахивалась и обжигала губы, зато ложечка и каша сохраняли девственную стерильность.

Благодаря такой неустанной заботе о его здоровье, Мурик успешно переболел всеми известными в мире детскими болезнями, так как иммунитет его изрядно ослаб. И, тем не менее, близких он радовал поведением, успеваемостью и после окончания школы с золотой медалью легко поступил в университет города Воронежа, куда в застойные годы без проблем принимали способных мальчиков иудейского происхождения. Никто тогда и подумать не мог, что рельсы, по которым мчался поезд Мурикиной жизни, уже начало заносить.

– Надо ехать! – сказали родители Мурика – тетя Люся и дядя Сема. Причем сказали еще в те годы, когда никого из страны не выпускали, и этот знаменитый впоследствии лозунг не был таким актуальным. Раз в неделю они по очереди садились в скорый «Киев-Воронеж» и везли сыну еду, чистую одежду и деньги, а обратно забирали «грязное», включая трусы из набора «Неделька». Это был дефицитный комплект из семи импортных «коттоновых» трусов, на каждом из которых, чтобы не перепутать, выше гульфика английскими буквами был вышит день недели. Ценное белье подарила дедушке Иосифу, профессору-гинекологу благодарная пациентка, а дед передарил их внучку-студенту.

Кто проморгал - не знаю, но однажды у Мурика пропали трусы за вторник. По преступной халатности никто не спросил юношу прямо:

- Мурик! А где же твои трусы за вторник?

В результате после первого курса он вернулся домой в Киев не один. Ее звали Валя. Она была худенькая и маленькая - от рождения, зато беременная - от Мурика.

- Мурик, а кто - Валечкин папа? – робко поинтересовалась бабушка Роза.

- Поп! – ответил внучек. - У него приход в деревне под Воронежем.

- Значит, Валя – поповна? – это были последние слова бабушки Розы. В то лето. Правда, к осени речь у нее после инсульта частично восстановилась.

А уже с сентября родители Мурика ездить в Воронеж прекратили, потому что университет он бросил. Физика перестала манить Мурика, и он помчался к следующей остановке. Валя-поповна, воспитанная в домостроевском смирении, покорно внимала мужу, который увлекся игрой на барабане и еврейским диссидентством. Отмечу - все, за что брался Мурик, он делал истово и талантливо. Поэтому вскоре он стал своим среди киевских ресторанных лабухов и советских диссидентов. Все родственники сочувствовали Златопольским.

- Слыхали, Люсин Мурик бросил вуз и играет в ресторане на барабане! Ужас…

Я, послушный мальчик, слышал эти речи и тайно считал Мурика, сумевшего бросить вызов общественному мнению, своим кумиром. Мне такое было не дано. С молоком мамы я впитал мысль, что нельзя огорчать папу…Однажды Мурик принес в дом записи Галича и бобинный магнитофон «Днепр».

- Мурик, - задрожал от страха папа Сема, - не надо! Выброси эту бобину, сейчас же!

- Ага, выбрось, пожалуйста! Вместе с магнитофоном, - заплакала мама Люся.

И тут снова оказалось, что Мурику не занимать мужества. Магнитофон он оставил, а также стал ездить в Москву, привозить оттуда запрещенную литературу и даже, говорят, встречался с самим академиком Сахаровым. Его вызывали в КГБ, предупреждали, сажали на пятнадцать суток, а он и дальше боролся с режимом. Как-то раз поздним вечером, когда он нес к друзьям на день рождения «Киевский» торт, в подворотне к нему подошла прилично одетая молодая женщина.

- Простите, ваша фамилия Златопольский?

- Да! – ответил Мурик.

- Вы-то мне и нужны!

С этими словами она вырвала у Мурика торт, бросилась на землю, подмяв коробку под себя, и стала вопить:

-Помогите! Насилуют!

Не успел мой герой опомниться, как с заломленными руками оказался в милицейском бобике, где на него надели наручники.

- Надоел ты нам, парень! – устало сказал ему седой человек в штатском. – Вали-ка ты в свой Израиль. Даем тебе две недели. Не уедешь – посадим лет на семь за изнасилование.

И Мурик уехал. Оставив Валентину с сыном дома на попечение родителей и бабушки Розы. Дедушка Иосиф еще успел принять у поповны роды, однако покинул этот мир до отъезда Мурика…

На Земле обетованной в самом начале семидесятых его встречали, как героя. Телевидение, цветы, а затем последовало приглашение в МИД.

- Вы должны помочь вашей новой, но бедной Родине. Вы поедете в США, где вас знают, как борца за права угнетенных евреев, и постараетесь убедить конгрессменов выделять Израилю больше денег.

В Америку он поехал вдвоем с Борей Гутманом – таким же молодым диссидентом из Риги. В США тоже были встречи, телевидение и приглашение в Конгресс к знаменитому сенатору Джексону, который долгие годы успешно «троллил» СССР в дуэте с сенатором Вэником. Джексон предложил пламенному Мурику и гораздо более спокойному Борису работать с ним, продолжая разоблачать империю зла – Советский Союз, причем – за неплохие деньги. Открывались заманчивые перспективы…

- Ноу, - сказал ему Мурик. – Моя страна теперь Израиль, и я буду бороться за то, чтобы там счастливо жили все люди.

- А что они там живут не так счастливо? – удивился сенатор.

- Да. У них там тоже социализм, и мне это не нравится, - сказал Мурик.

Честный Мурик к тому времени успел разочароваться в израильской бюрократии и вместо СССР решил критиковать Израиль. В итоге его вызвали в посольство Израиля и предложили заткнуться, а то американцы бабок не дадут. Затем Мурика по-тихому отозвали из Штатов, он вернулся в Иерусалим, и нашел новую тему. А Боря Гутман остался в Америке, и впоследствии даже стал сенатором от штата Массачусетс по имени Боб Гудмэн...

Ее звали Серена или Венус, точно не знаю, но она была такая же чернокожая, как знаменитые сестры-теннисистки Уильямс, чьи имена я вспомнил. Девушке, нелегально прибывшей на Ближний Восток, грозила депортация, и Мурик с жаром Нельсона Манделы бросился на борьбу с апартеидом и расовой сегрегацией. Правда, не уверен, что Мандела пошел бы на такой подвиг, а вот Мурик-Марик, чтобы прав у африканки было больше, на Серене-Венус женился. Уже потом выяснилось, что она – мать двоих очаровательных деток, но это - потом.

Выиграв все суды, он заставил израильские власти предоставить девушке гражданство, социальный пакет и даже возместить моральный ущерб. И тут любимая вспомнила о брате, который остался в далекой Кении. О, нет, она не собиралась сажать брата на шею Мурику! Узнав об увлечении Мурика игрой на барабанах, она воскликнула:

- Вау!

Кстати, вы знаете, откуда пошло это словечко «вау»? Один филолог из Хайфы догадался. Это сокращенное до неузнаваемости: «Азохэн вэй!»

- Что вау? – спросил Мурик.

- Мой брат Икечукву – тоже великий барабанщик! – сказала чернокожая красавица.

И Мурик решил стать импресарио. Он зарядил гастроли африканского ансамбля барабанщиков «Бабабу» в десяти городах от Тель-Авива до Эйлата. Турне музыкантов, которым Мурик оплатил дорогу и гонорары, прошло с редким успехом. В каждом городе в зале было не более десяти человек. Что делать, ну не так много оказалось среди евреев ценителей игры на там-тамах… В итоге Мурик стал банкротом, и его бы посадили, если бы не папа и мама, которые к тому времени репатриировались и пахали в Израиле, оставив свою киевскую квартиру поповне с ребенком.

«Не мое это…», - подумал Мурик и вышел на следующей остановке: Африка! Один из музыкантов оказался из племени кикуйю или масаи и предложил ему посетить Родину. Короче, вместо того, чтобы посетить тюрьму, Мурик решил посетить Кению. И тут случилось неожиданное. Вождь племени, у которого было своих детей штук сто пятьдесят, полюбил Мурика, как сына.

По вечерам Мурик брал барабан, стучал и пел песни советских композиторов. Особенно полюбились вождю Нкомо: «Марш красных кавалеристов» братьев Покрасс, «Марш энтузиастов» Исаака Дунаевского, и вы не поверите - «Семь сорок»! Если не знать, что вождь никогда не выезжал из Африки, можно было подумать, что он – наш человек! Как Сальери некогда был придворным композитором архиепископа Зальцбургского, так Мурик стал придворным музыкантом вождя племени. Он с успехом прошел обряд инициации: заколол быка, выбрил затылок и построил себе хижину из кизяка, обмазанного глиной, в престижном районе – рядом с хижиной шамана. Высокое положение в племени обеспечивало Мурику безбедную жизнь, но мятущаяся душа не давала ему покоя.

- Останься! – умолял его вождь, когда минули полгода, - и ты станешь вождем после меня.

- Но как это возможно? – недоумевал Мурик, - у вас же полно наследников!

- Это мои проблемы! Народ примет любой мой выбор. А если какой-то урод будет против – пойдет на корм шакалам!..

Африканские вожди, они так похожи на наших… Мы сидели в иерусалимской квартире Мурика. Он говорил, а я слушал. За долгие годы жизни в Израиле Мурик сменил много профессий: ресторатор, дальнобойщик, охранник, массажист и даже раввин прогрессивного иудаизма. Сейчас Мурик освоил новую профессию – краснодеревщик. Освоил досконально, став одним из лучших в своем деле. Целую комнату его жилища занимает уникальная коллекция африканских ударных инструментов. Одних там-тамов – больше десятка. А также есть дунумба, самгбан, кенкени. У Мурика новая, уже пятая по счету жена – марокканка. Однако Мурик в семье, и это понятно сразу – не вождь племени. Он состарился – на барабанах пыль. К тому же, у него неприятности. Случайно с другом, отмечая Первое мая, пропили столик красного дерева, который ему отдали на реставрацию. Грозит суд, если не вернет хозяйке столик или деньги.

- Знаешь, - говорит Мурик, - где мне было лучше всего?

Я ловлю его взгляд, брошенный на коллекцию, и догадываюсь...

- Каждый человек хоть раз в жизни оказывается в нужное время в нужном месте. Но жизнь – не метро, остановки никто не объявляет… Там, в Кении - были самые счастливые полгода моей жизни. Но я проехал свою остановку…

- Не ты один. Многие проехали, но живут все равно счастливо, - я пытаюсь утешить Мурика.

Но он не слышит меня, он весь там, во глубине тропических африканских лесов … Мурик Златопольский - несостоявшийся вождь племени кикуйю или масаи… Но иногда, временами - юный в душе барабанщик.

1. Гедеонов Алексей «Середина снега», «Лаана»

***Алексей Гедеонов***

**СЕРЕДИНА СНЕГА**

- Снова бьет перину... - донеслось из коридора. - Злая теперь Перинбаба, ну где вы видели снег на Вербную? Когда такое было...

- Да-да, - отозвался второй голос, дребезжащий. - Конец света...

- С какой стати? Обидели люди одну из дочек ее, вот хозяйка и серчает, не дает весне дороги. И вот помяните мое слово - сначала снег перед Пасхой, потом недород, голод, разбой, налоги. А там война опять…

- А все за грехи наши.

- Раньше хоть заклятья помогали…

Голоса стихли, ушли тетки на рынок, повязали платки потеплее - на голову, да и на грудь - крест-накрест.

Постоялец спустился по лестнице в кухню, протянул солдатскую флягу-манерку и попросил у хозяйки кипятка. Старуха осторожно налила из черпака, не уронила ни капли, хоть лицо и заволокло паром.

- Ну что, сестра ваша как? Не лучше ей? - спросила она.

Постоялец отмахнулся, побрел было наверх, но, держась за перила, обернулся.

- Бредит. Зорку Венеру кличет, чтоб пришла-спустилась. Просит. Не знаете, с таким прозвищем нет кого в округе?

- Не слыхала. Может, лучше панотца? Я пошлю хлопчика, бабы говорили - пробош третьего дня вернулся. И пономарь наш жив оказался, рожа постная... колокол на место подвесили. По всему - на долгий мир повернуло.

- Не надо пробоша. Рановато. Подождем, пожалуй. Вдруг оправится. Да и не сестра мне она. Так... баба.

Старуха навострилась вся, поправила чепец, отерла руки о фартук:

- Блудите, значит?

- Живем...

Звали его Карел. Он был войне ровесником - второй десяток домотал. С малолетства Карел был зачислен рядовым аркебузиров. В Аграмский полк.

Война шла повсюду, с нею Карел шел везде. Утаптывал миля за милей: глину, снег, уголья, гати, мосты, улицы. Стрелял. Окопы рыл. Спал. Ел кашу. Снова стрелял. Лаялся матерно в лазарете. Ногу отнять не дал. Выжил. Снова шел. Снова стрелял.

Война радовалась. Черным смехом хохотала.

Да тут рука вельможная обмакнула перо в чернильницу, вывела на гербовой два слова: «Великое замирение». И перстень к сургучу приложила - будто кровь запечатала.

Умолкли пушки, солдатики домой устремились. Вернулись беженцы в дома. Колокола запели. Заполнились церкви, рынки и кабаки. Люди молились, радовались люди - говорили все одно и то же: «Довольно войны! Долой! Хватит, хватит, хватит...»

Карел плечами пожал, сдал в арсенал оружие, получил от фельдфебеля благодарность и плату. Денег пшик, и на похороны не хватит. Да и возвращаться некуда.

Пошел Карел домой - куда ноги несут. Дом ему виделся светлым, праздничным - будто Чистый четверг весь год, а еще ясным дом был. Ну там, ясная лошадь. Ясная скотинка. Ясный сад-огород. И хозяин сам-друг Карел, ясен перец, ясный пан. Ясное дело.

Дома он первым делом крепко-накрепко запрет дверь и разведет в печи огонь. Гори-гори ясно!..

Бабу бы вот только.

По пути к дому ясному Карелу повстречалась Леденка. Она сидела на обочине, в снегу, глаза синие таращила и всем говорила, что неживая. Держала в подоле горбушки плесневые и орехи червивые. Вся плоская, тощая и бледная. Голова обрита наголо. Леденка давала себя мужчинам, потому что таким - неживым не стыдно. В оплату брала хлеб, и давали чаще горбушки, причем черствые. Сразу ясно - дура-дурой. Карел так и понял. То, что надо. Крепко взял ее за руку, велел никому впредь лишнего не давать и повел за собой. Девка была холодная-прехолодная, и впрямь как неживая.

В дороге найде и имя придумал - по времени года, потому как месяц был соответствующий: тонкий, холодный светлый - который в небе, а тот, что на земле, - ледень, по-городскому - январь.

Солдат и девка спали в обнимку у цыганских костров, меняли пожитки на едово. Ушла пряжка. Перевязь. Серьга. Табакерка. Карел был большой и сильный, как вол, но ел мало. Отдавал Леденке. Та была маленькая, что мышь, и вся прозрачная прямо. Ела как не в себя, все подряд - иногда землю. Потом несло ее страшно. Тощала. Шаталась. По дороге, бывало, Карел нес ее на плече, иногда на руках, тетешкал, что дите. Дурочка радовалась, пела, говорила быстро.

Из ее лепета Карел узнал, что она, дескать, сверху сошла, спустилась, из любопытства, да мародеры ее пустили под хор, с тех пор она уверилась, что неживая, потому как не боится, а живые боятся, а она перестала или же не начинала страшиться вовсе, не помнит... На привалах Карел лепил из снега хижину: белую, ясную, чистую как четверг. Гляди, говорил: вот такой будет дом. Это вход, это окно, а вот крыша, на крыше труба. Над крышей - Звезда Венера, дома устраивающая, путь дающая - да только незримая она.

Стража на заставах окликала: «Куда идете?» Отвечали: «Домой».

Так, на исходе зимы, по пути и заболела Леденка. Кашляла-кашляла, потом - жар и хрипы.

Карел донес ее до города на руках. Копоть, гарь. Ворота вдребезги. Внутри тоже многое неладно. Повсюду беженцы таборами. Возятся, кричат визгливо, рухлядь тормошат, скарб собирают. На рынке цены адовы - пекучие, однако в наличии уксус, селедка, белая мука, битая птица, ну и репа, как без нее.

Распорол Карел подкладку мундира, вынул талеры заветные. Хватило на комнату в трактире. Купил мяты, заварил - чтобы травяным паром хворая дышала. Купил муки, делал болтушку, кормил из платка. И барсучьего жира с горчичным порошком купил - чтобы грудь ей растирать. Болячку, значит, выгнать.

Девка лежала на спине, хватала губами палец, язык у нее был обметанный, белый. Обмочилась. Карел подмыл ее из манерки остывшей водой, сменил простыню. Открыл окно. По площади бродила ничья хромая лошадь. Над разоренными бастионами летали птицы. Черная, что вдова, от копоти ратуша тянула тонкую башню с флюгером к небу. Уже навели леса на погорелицу - отмоют да побелят. Была вдова - станет невеста. Обустраивались мещане.

Леденка открыла глаза - синие, что цветочек-незабудка:

- Принеси мне зорку.

И так каждый день - тихо, жалобно, неуемно, - душу тянет, жилы мотает. Карел кулаком по стене бухнул.

- Какую тебе зорку, дура?!

- Ясную, - ответила Леденка и прозрачным пальцем показала: - Венеру.

Карел глянул в окно, дрогнул.

Солнце залило кровавым золотом полнеба, и купалась в закатном огне флюгер-звезда на черной башне ратушной. Сияла нестерпимо, захватив свет вечерний, - растопырила кривые лучи над черепицей багряной, словно расцвела, с Солнцем прощаясь. Указывал вдаль хвост кривой, ибо непростая зорка над ратушей крутилась, но звезда косматая - комета.

- Сильна ты, девка, бредить... - сказал Карел.

А Леденка сном забылась. Карел тронул ей лоб. Сухо. Горячо. Скверно.

Он спустился в зал, где обедали бродяги мирные - плотники да каменщики. Подсел к столу. Спросил пива. Слушал болтовню. Цыганы детей скрадывают, коней уводят. Жиды колодцы травят, армяны матерьял крадут - бить все вражье семя пора. Хлеб и табак дорожают. Месяц кровавый взошел что серп, и ведьма голая выше леса каталась, огненного колеса едва касаясь. Мертвецы с лярвами на перекрестках плясали. Ужи да ежи в дома лезут. В зиму, говорят, мухва проснулась. Снег вот, бесконечный. Скажи, солдат, как жить?

Карел кивал в ответ, думал о своем.

- Почем инструмент одолжишь? - спросил.

Молодой артельный свистун осекся, глянул мутно, затем заломил цену. Карел крякнул.

- А в обмен?

Парень помялся, ткнул Карела в мундирную куртку - пуговицы. Хорошие, медные, восемь штук. Карел вынул нож из сапога, срезал пуговицы с нитяным «мясом», ссыпал в горсть.

Парень инструмент выдал. Клещи. Ножовка. И всякое разное.

Сумерки миновали. Поползла туманами с луговин сутемь-обманщица. Улицы перегородили цепями. Ночной дозор перекликался по кварталам, далеко лаяли псы. Карел шел по площади к ратуше, нес на вытянутой руке фонарь. На шее болталась холщовая сума с инструментом. Огляделся. Никого. Окошко трактирное на втором этаже светится, желтым, живым. Хорошо, что свечу в черепке для Леденки оставил - хоть и плетет, что неживая, а темноты не любит. В темноте, мол, твари лютые - звери ледяные, ноги у них костяные, глаза красные - ждут-подстерегают. Карел перекрестился. Выдохнул. И полез на леса.

Шатко. Хлипко. Ветер гудит. Во рту солоно, пыль скрипит на зубах. Пот со лба. Уронил фонарь. Гулко грянулась жестянка, рассыпались искры, все погасло. Да не страшно - июнь, светает рано. Вон, со стороны восточной уже будто молоко на краю неба пролили. Карел вскарабкался выше, крепко расставил ноги, стиснул ободранные по костяшкам кулаки на штыре флюгера. Обхват в руку толщиной. Благо покорежен шпиль войной, хорошо, что пожаром и непогодами источен. Карел перебрал в суме инструмент. Ну, счастлив наш Бог, помоляся, принимайся, брат.

Город глубоко внизу под ногами его спал вполглаза, вполуха стерегся и плыл во сне к рассвету, точно колыбель по алым волнам. Сильнее стал ветер восточный, что приносит облака кучевые, дожди обильные и урожай; потянуло горьким благоуханьем - в садах, на выселках, цвели вишни.

До заутрени вернулся Карел в трактир.

Медленно ступал и очень тяжело. Старуха отперла, хотела выплеснуть помои, но уронила ведро, села на лавку, передник прикусила.

Карел взошел по лестнице. Ступенька. Еще одна. Третья. Пятая. Руки заняты были, ногой дверь толкнул. Леденка проснулась. Села. Зашлась кашлем, руками махала, упала с лежанки, на колени встала, качалась, как пьяная. В сальной жиже утонул и погас фитиль свечной.

Встал Карел в дверях. Разжал окровавленные кулаки.

Грянулась об пол неподъемная ноша. Звезда косматая здоровяку Карелу по пояс - вся словно в коросте, в чешуе кованой, с городским гербом позади и ликом звездным спереди. Зеленая зорка оказалась там, где медь-чешуя расположена, а где железо - ржа. Страшна вблизи звезда - лучи острые, лицом черная - чисто мавр, глаза провалы, нос что клюв. Хвост кривой, как ятаган турецкий. Голубиным пометом оббросана, дождевыми проточинами изрыта. Пылью и солнцем пахнет. На штыре, торчащем из средоточия лучей, - свежий надпил. Узрела девка звезду путеводную и закричала. Хрипло. Негромко. И по-звериному у нее выходило - вроде волк воет. Потом пошла кашлем мокрота. Выступила испарина на лбу.

У Карела спина ныла. Жилы от локтя до предплечий налились, тикали кровью. Нутро надсаженное тянуло. Улыбался, а в глазах меркло. Леденка гладила Звезду Венеру по лику небесному, лопотала мокрым ртом, потом поползла к Карелу, коленками острыми занозилась о половицы. Подкатилась, приникла, шарила губами по щекам небритым. Трясла за ворот рубахи, слабыми кулаками в грудь била, говорила быстро:

- Я живая. Ты живой. Теперь не умрём.

Карел проморгался. Погладил ее. Наклонился. Поцеловал в истерзанные лихоманкой губы. Ткнулся лбом и уснул сидя. Прямо на пороге.

Леденка же шепнула:

- Укажи мне утро, звезда путеводная.

И уснула рядом, клубком свернувшись.

Да скорых чудес не бывает. Леденка хворала долго. Карел прибился к каменщикам, чинил бастеи, ворота и башню ратушную, раствор мешал, таскал камни, приходил за полночь. Целовал девку в висок, валился спать лицом к стене. Но было чем заплатить доктору за порошки да мази. Помаленьку девка окрепла, ходить стала, затем бегать. Сдружилась со старухой, помогала на кухне. Старуха кусочничать дозволяла. Волосы у Леденки отросли, виться стали. Сшила чепец, как замужница. Телом налилась слегка, за что подержаться объявилось. Венера-звезда так и стояла в углу, белой холстиной повитая. Никто в городе не ведал, куда флюгер делся. Старуха молчала, как умная, а Карел навеселе шутил с выпивохами: дескать, на небеса вознеслась, значит, согласно чину. Ищи-свищи...

Когда Леденка понесла - повенчались. Колокол тренькал, и ворковали голуби на звоннице, свадьба - дело мирное, первочудесное. Всему миру радость.

Артель гуляла за столом до утра. Пили, ели, плясали.

На рассвете Карел свел Леденку из города. За стены. К реке и садам поближе. Недорого участок куплен был - уж очень хозяин бывший прочь торопился. Стали жить. Карел на коленях исползал делянку, вбивал колышки - разметку для дома творил.

Леденка в саду ходила, потом пшеницу сеяла внутри колышков, чтобы место для дома освятить, после стояла посреди, говорила: «ровно - не ровно», складывала ладони молитвенно на круглом животе.

От прежней жизни хлев остался, да яблони в саду - пожаром истощенные. И то имущество, если, например, с горбушками сравнить. Бродяги артельные подсобили, опять же - крышу над хлевом перестелили. Карел дверь новую навесил, окошко на восток пробил да застеклил. Мастер из каменщиков – печник – сложил преизрядный очаг. Развели Карел с Леденкой огонь ясный. Сидели друг против друга. Пекли на угольях лепешки и репу. Венера, звезда косматая, лежала под лавицей спальной, в белый холст укутана. Была, как и положено, верный путь подсказывающим, - незрима.

Мекала за загородкой коза - выгодная скотинка: и шерсть и молоко, всеядная к тому же.

Шла жизнь дорожкой ясной.

Вестовой в зеленом мундире слетел с тракта, проскакал по мирным полям напрямик. Весть лихую нес, торопился. Пена летела с удил. Кобыла сбила бабки. Скалилась в запале, вывалив язык что борзая.

Разорвали ясновельможные руки мирную грамотку, надвое и с треском. Сломали печать - рассыпался сургуч красным прахом. Конец великому замирению! Марш-марш! Война смеется ртом ненасытным, радуется - воскресили ее, всегда голодную.

Плеснули знамена. Развели крепостные мосты. Залязгали герсы - решетки подъемные, захлопнули города створы ворот, до лучших времен. Заговорили пушки.

Карел в то утро тесал бревно-матицу для дома. Услыхал, как рожок вестового поет, тревогу выводит, захлебывается. Уронил топор в грязь. Показалось - гари пороховой привкус ветер принес...

Сизой тучей, змеей ленивой потянулось трактами и шляхами войско. Истошно ржали лошади. Скрипели колеса маркитантских повозок. Ворочались на лафетах орудия. Рокотал барабан, верещали флажолеты, пики царапали твердь небесную. Карела позвали. Аркебузу выдали из арсенала, пришили новые пуговицы к мундиру. Карел только и успел, что жену поцеловать. Заждалась война, заскучала...

Шел. Стрелял. Спал. Ел. Снова стрелял. Поймал, темною порой, пулю в лоб от другого такого же. Упал в глину ничком.

Леденка в ту ночь не спала - темноту слушала, смотрела, как ветер играет с яблонями в саду и катятся прочь с тверди небесной звезды - гибнут где-то человеки, значит. Злой месяц август, не зря с серпом ходит.

А тут и лету конец, тучи солнце заволокли, набухли, непогодой налились - изрыгнули снег.

Леденка родила. Недостроенный дом, да хлев, под проживание приспособленный, стража городская сожгла - эспланаду готовили, чистое поле, значит, перед стенами. Улетела с огнем и дымом звезда путеводная, прочь вознеслась согласно чину. Раскалилась от пламени и крови - красной кометой стала, звездой косматой...

Вновь война кругом. Стены городские справа. По левую руку - река. Всюду пепелище. Яблони - тонкие и черные, подуешь - развеются. С неба что ни день - снег. Опять недовольна Перинбаба, все укрыть хочет: города и пожарища, яблони и луга, реку и дорогу. На дороге следы, женщина идет в ненасытную зиму, ведет в поводу козу, на козе торба с сеном и попонка. В перевязи у женщины на груди - младенчик. Бьется родничок на темени. Мальчик сосет круглую мамкину грудь. Молока много. Вороны вьются над дорогой - кричат: «По миру! По миру! Прах!»

«Пойдем по миру, сынка. Домой», - говорит женщина. А снег все сыплет. Вьется над краем дым, кличут вороны беду. Дрожит каплей крови в небе косматая звезда – может, путь указывает, может, и последние дни предвещает, как знать?

Леденка назвала дитя Адамом - именем несмертельным. Шла с ребенком в никуда, сквозь черные сады и выжженные предместья. Сказала твердо:

- Никогда мы не умрем. Мы беженцы...

**Лаана**

Давайте начнём рассказ...

Вот если вы были человеческие дети, вы бы слушали! Но нет - вы нечеловеческие дети, вы бьёте одна другую подушкой, пока бабушка говорит что-то важное. Всю правду. У кого вы попросите булочку, немного мёду и молока в день праздника? У подушки? Я смеюсь с вас. Ну, ша! Уже отпустите кошку. Теперь, когда вы успокоились и даже перестали колупать в носу, таки вам что-то расскажу.

Было это или не было на самом деле, мне неизвестно, но истинно то, что жил тут неподалёку, в Бардичове (славный городок и базар там раньше был дешёвый), один приятный лицом человек.

Немногое известно про него нынче. Говорят, он красиво пел, хорошо танцовал, играл на гитарах, а ещё немножко шил. И звали его Меер.

Ну, так этот Меер один раз шёл себе домой поздним вечером, и в полнолуние. Был Меер в радостном настроении - ибо Царица Суббота близилась, а в кармане у него завелось немного денег.

И Меер не заметил, как по неосторожности вошёл в тень яблоневого дерева, и это в лунную ночь, вот несчастье, и конечно Меер забыл сказать: "Жив Б-г". Тут же из тени дерева выступил навстречу Мееру дух, и определённо это был очень злой дух, надо сказать вам, хоть вы и дети - никогда не повторяйте ошибки Меера - не ходите под луною и не шастайте в тени - мало ли кого встретите там, да.

Так вот, Меер повстречал у дерева демона-лилиту, многие тысячи их бродят по свету и крадут лунными ночами у неразумных сначала покой, а потом и саму жизнь.

- Что ты ходишь под луною, Меер Костополиц? - осведомилась лилита. - Чего блуждаешь? Посмотри на меня - не та ли я, кого ты ищешь?

Меер был весельчаком, а в тот вечер он, грешный человек, надо сказать, немного выпил.

- У девушки, что ищу я, будут рыжие косы, - сказал он.

- Ну, смотри же на меня, - ответила лилита. - Разве не прекрасны как медь косы мои?

- Истинно, - ответил Меер. - Но у девушки, что ищу я, будут синие глаза!

- Загляни в мои глаза, - улыбнулась лилита, - в них ты увидишь цвет небесный.

- Но девушка, которой я отдам сердце, должна хорошо петь, - сказал счастливый Меер.

И тут лилита призадумалась.

- Я немного знаю о пении, - сказала она, после недолгого молчания. - Пение часть радости, а радость удел сил высших. Не мог бы ты спеть для меня, Меер Костополиц? Я могла бы узнать больше о высших силах, пении и о тебе.

- Почему нет? - как заведено, спросил её Меер. - О чём же спеть?

- О чём хочешь, но лучше всего о любви, - сказала она. - Красиво. С правильными словами. И чтобы было с печалью.

- Разве может быть о любви по-другому? - ответил Меер, и запел.

Ой, это было очень и очень красиво. И были там все правильные слова, и конечно печаль, хотя и не без веселья.

Меер пел долго. Он спел про Эрмозу-пастушку, про Флейте, он спел про Голде Рейзен, он спел ещё и ещё - и все песни были свет Господний, что так близко и такой прекрасный - но невозможно схватить его пальцами, да.

И лилита заслушалась. Что такие, как она, могут знать про свет? Что есть он, что он чист и всякое в нём ярко. И лилита задумалась, и мысли её были так глубоки, что зло бывшее в ней почти захлебнулось и стало беспомощно. Ведь с музыкой вошли в демоницу мечты и свет, и желание делить печаль, а веселье умножать, и стремление дарить - многие из частей любви, если не все.

Но вам понимать такое ещё рано, в среду вы пожалели оставить бабушке сливок, вот и про любовь вам неизвестно ничего, да.

- Постой, Меер, ша, - сказала лилита после песен. - Теперь моя очередь. Хоть и было неизвестно мне ничего о пении, но во многом другом я сведуща, удостоверься же...

И она вышла из тени, совсем...

Шло время: ночь за ночью, луна за луною, песенка за песенкой и Меер привязался к лилите настолько, что похудел, побледнел, кашлял, спал на ходу, и, по всему было видно - сам не мог избавиться от своей нечистой страсти. Все вы помните, как ваш отец, чтоб он был здоров, загнал себе занозу? Вы помните, как он кричал? А как всем показывал свой палец? А как жалобно стонал? Вот такое случилось и с Меером - только его заноза дошла до сердца и поселилась там свободно.

Нашлась одна знающая женщина, да. Она не только гадала на бобах, но и могла из них сварить суп, если надо, так вот - она подсказала бедняге верное, пойти и спросить совета у Людомирской Девы, это тут недалеко, даже если идти, а если ехать на паровоз - совсем рядом.

Как это вы не знаете про Людомирскую Деву? Совсем не знаете? Ну незнайте дальше... Вы такие тёмные, что одним незнанием больше или меньше, ничего страшного. Ни закона, ни легенды. Один стыд.

Так вот, Меер отправился к Людомирской Деве за советом и помощью, ведь такова она была, что ни отказывала в слове истины никому, так повелел ей Господь, хотя она и родилась женщиной, да. И как верно, то, что жив Б-г, верно и то, что пока Меер добрался в Людомир, она уже всё знала. И знание её было столь велико, что она повелела евреям Людомира и другим людям также, не впускать Меера Костополица на ночлег ни за что и ни под каким видом, и как бы ни просил.

Сказала так: "Идущее следом за ним - воистину страшно".

Таки когда Меер дошёл, уже был сильный вечер, но его не впустили ни в единый еврейский дом, и у христиан он не нашёл пристанища также.

А тут уже настала ночь и взошла луна, тогда совсем ущербная, и в свете её одинокий Меер набрёл на чей-то сеновал и решил: "Была не была, посплю здесь, раз такое горе. Не ночевать же под открытым небом"

Вошёл во двор, поднялся по лестнице на горище, где сушили сено, и стал моститься на ночь. Вот, наверное, у него не было такой подушки как у вас, и ему совсем не надо было щипать оттуда перья, перестаньте так делать и вы...

Тут, снизу, окликнула его голосом тихим и немножко печальным, увязавшаяся следом лилита.

- Меер милый, любовь моя, - сказала чертовка нежно. - Выйди-спустись ко мне, ко мне. Расскажи, зачем ты убежал так далеко? Только чтобы встретиться здесь?

- Ушёл, чтобы уйти, а что? - ответил ей Меер из сена. И вид его возлюбленной, и запах ещё свежих полевых трав, и слабый свет лунный, при котором всё так любит не быть, но казаться - разожгли в его сердце прежнюю страсть и он даже попробовал спеть некую песенку и засмеялся.

- Чего ты смеёшься, любимый мой? - громко прошептала лилита, глаза её были темны, а облик печален и мучителен. - Спустись ко мне скорее. Пусть всё станет, как было, как было.

Меер удивился:

- Почему ты просишь меня спуститься? Раньше приходила ко мне сама.

Лилита помолчала, Меер смотрел на неё сверху, а Луна - тонкая и звонкая, глядела на них с небес и весёлой не выглядела.

- Есть в сене одна травинка, к которой я не могу приблизиться, - ответила, наконец, лилита.

- Покажи мне её, чтобы я её вытащил и выбросил, - сказал Меер совсем невесёлым голосом. Лилита согласилась.

Стал он показывать ей травинку за травинкой, и на всё она говорила: "Нет", но приблизиться не могла. Шелестело сено, скрипели разные джуки, как вы их называете: "сберчки", птахи ночные робко покрикивали, луна совсем занавесилась тучкой и сползла к самому краю неба - и тогда лилита кивнула головой и сказала Мееру: "Вот эта".

Схватил Меер травинку, привязал её у ворота рубахи, слез с горища, глянул на любимую свою и бочком-бочком к калитке, а оттуда ещё раз - зырк. А лилита и слова сказать не могла, и вздохнуть не решалась, а плакать тогда не умела - только смотрела вслед Мееру, и первым он глаза опустил, как часто бывает, да.

Пустился Меер бежать, а люди Людомира спали и звери Людомира спали, умолкли травы и птахи, и даже ваши ничтожные джуки, вот эти сберчки замолчали, лишь Людомирская Дева не спала - видела всё, открыла немногое. Сказала так: дороги Меера и чертовки сойдутся на полпути, у порога, и как даром кровь не льётся, так и слова мои исполнятся, чтоб вы знали.

И вот Ангел Зари явился в Людомир, разбудить добрых людей и загнать на место порождения ночи и всё нечистое, но каково же было удивление его, когда наткнулся он на лилиту.

- Интересно, - спросил Ангел Зари. – Пустота, дочь Пустоты, а мать твоя знает, что ты здесь и в неурочный час?

- Я оставлена тут без радости, обманно, - ответила лилита. - И нечего так кричать, я уже иду-ухожу, тоже мне, ангел.

- Плохие вести для твоей скверной матери сегодня. И ваших обманывают. Воистину, жив Б-г! - ответствовал Ангел и возвестил утро.

Лилита же обернулась лицом на север и отправилась вниз, в самую середину пустоты, там, где Ничто. Нет, Пинск ближе, но не мешайте.

Так она шла-шла и спускалась всё ниже и в конце пути предстала перед Праматерью своей, и поклонилась.

Праматерь Лилит сидела на троне одиноко и расчёсывала свои длинные седые волосы, прядь за прядью, искала чёрные - если находила, вырывала прочь. Вот от этого взялись у нас змеи, да.

- Что тебе, красавица? - спросила лилиту Праматерь.

- Не ищу милости и прощения, ищу утоления и мести, - ответила та.

- Хороший разговор к хорошему делу, - одобрила старая молодую. - Но расскажи всё - от начала и до потом, и мы посмотрим, что со всем этим сделать.

И лилита рассказала.

Праматерь Лилит долго молчала в ответ.

- Кто ищет, чего не подобает, найдет то, чего не хочет. Ты сама виновата во всём и я помогать тебе не стану, но пригодится тебе травка, что обратил адамов выродок против тебя, иди поклонись ей сто раз, где встретишь и попроси сказать имя...

- Имя? - переспросила чертовка младшая

- И у травы оно есть, а как же, ты не глухая: я сказала, а ты слыхала,- ответила ей Праматерь. - Спроси-узнай, и согласись на любую цену, даром такое не скажут.

- Низко склоняюсь перед твоим знанием, - ответила лилита.

- Растревожила ты меня, утомила, - проскрипела чёртова бабка. – Пойду, зло сотворю, хоть успокоюсь. И ты ступай назад, на землю и сюда не возвращайся, а то будет тебе хуже, чем плохо. Фа!

С тем и расстались.

Тем временем Меер, в своём Бардичове, окреп совершенно - много работал, иногда играл на гитарах и танцовал на вечеринках также. Со спасительницей травинкой не расставался совсем - носил ее на себе, не снимая, в ладанке, и особенно ночью, чем на какое-то время спасся.

Не совсем ясно, сколько прошло - может быть и месяц, может три, но скорее всего год, и люди уговорили Меера жениться. Ой, ну мазлтов, да...

Тут конечно была вся эта кутерма, потом тарарам и даже гевалт с вереск - какой бывает на свадьбе всегда и точно такой, как делаете у колодца вы, когда видите пара жабен.

Ну и там всё прошло как должно и закончилось, чем следует...

Жену Меера звали Фейгеле, что как вы знаете, означает "птичка", ну и ума у неё было ровно столько, да... Одно можно сказать, она делала такой себе хороший квас. Люди брали.

А лилита тем временем всё ходила по свету и кланялась встречной траве и кланялась, и кланялась - удивительно, как у неё не поломалось в спине с непривычки - ведь травы ей не отвечали.

И путь её совершил круг и замкнулся на Бардичове, откуда всё и началось, где жил пошивал себе Меер, висела на стене его гитара, а супруга его на базаре ходила с бочкой на тележке и давала людям квас за их копейке.

Всё началось, а потом и случилось, когда Меерова жена, вот эта не так чтобы разумная Фейгеле, а надо сказать, она до сих пор продаёт свой квас на их базаре, приступилась, с чьих-то слов, к своему суженому без почтения, но с ревностью и злобой и сорвала с него ладанку. Выбросила оттуда волшебную травинку на перелаз, и плюнула вслед спасительнице мужа, ещё и разорвала мешочек надвое, да. Может, в помрачении была, может, обратилась к колдовству, но скорее в Пустоте кто-то сотворил знатное зло.

И где одно зло там и два их - возникла от теней у бузины лилита, и тут же подбежала она к перелазу, и поклонилась травке, и не один раз. И попросила:

- Скажи мне имя своё и проси взамен что хочешь, что хочешь!

- «Лаана» - прошептала трава. – «Лаана, назвал меня Адам, и была я Божьим деревом в саду».

- Если я попрошу тебя об услуге, какую цену назовёшь, о, Лаана? - смиренно спросила лилита.

- Если попросишь меня, "нет" не скажу, но если не заплатишь - "да" говорить не стану, - отозвалась трава.

- Хочу подойти к потомку адамовому, вон к тому, что называется Меер Костополиц, - сказала желание лилита.

И встрепенулась трава и ответила еле слышно, но твёрдо.

- Хоть ты лишь демон, лишь демон, но дыханье Господне, коснулось тебя и изменило навсегда - нет тебе пути вниз, и не осталось для тебя пути наверх, потому как хочешь мстить, а это губительно. Отдай мне, демон, свою месть, отдай свою горечь, отдай свою боль, свою боль - и ступай куда видишь, но заплати мне не единожды, а каждым шагом.

- Ты сказала - я слыхала, будь по-твоему, - ответила лилита и отворила кровь из жил на руках.

И трава воспряла - напиталась болью её и гневом и горечью - и встала у перелаза пышная и высокая, правда от избытка зла чертовки трава та сильно потемнела, да. И не все, но некоторые называют её теперь чарнобиль.

И переступила лилита перелаз - и видно было, как больно ей сделалось, ведь каждый шаг её по двору Костополицев обозначился чёрным, и спросила она.

- Что же не поёшь ты, Меер Костополиц? Что не смеёшься? Или не рад мне? Или потемнели мои косы? Или потускнели мои глаза? Отвечай же!

Так говорила она и трава колыхалась без ветра, и упала на колени Фейгеле, и вслед лилите тянулся чёрный след и тень светлая, а Меер стоял, будто глухой и смотрел на покинутую чертовку, смотрел, смотрел и смотрел. Ну, она подошла к Мееру совсем и поцеловала его, и с поцелуем выпила у него всю душу и песни, да. Ну, от такого он сразу умер и упал весь белый.

Лилита вышла с их двора, не оглянувшись, и села прямо на дорогу, в пыль, ну, может это была и не пыль, в Бардичове многие улицы мостовые... Но те, кто видел это, говорили, что лилита плакала, и слёзы были как кровь её - почти чёрные. Был вечер и спустился на Бардичов Ангел Заката - так уже повелось, что проходит он всюду, а этот городок ничем не хуже других.

- Встань, - сказал он лилите. - Встань и иди прочь. Не хочу губить тебя неразумную.

- Куда же пойти? - спросила лилита. - Нет мне пристанища ни прежде, ни впереди, ни наверху, ни снизу.

- Иногда подняться тяжелее всего, но говорю тебе - как жив Б-г, встань и иди! - вразумил её Ангел. И ослушаться она не посмела. Встала и совсем немного посмотрела назад, туда, где неразумная Фейгеле, уже вдова, причитала над покойным, куда бежали соседи и где на крыше халупы стоял в гнезде аист.

А затем пошла.

Шёл ей вслед Ангел Заката, и заря вечерняя была тогда красной как кровь и ужасной как пожар, а следы лилиты были черны, и схожи со следами громадного петуха - и сейчас их можно видеть в Бардичове. И на Острожной, и на Юридике, и около кляштора, и там - на Училищной, да. Воистину праведные люди не наступают на те камни...

Так шли они, не озираясь, и вышли к лесу - ненаселённому месту, у быстрой реки, сейчас его называют Пяски. И Ангел Заката взмахнул мечом, и оглянулась лилита - так ждала она утоления и покоя, но меч отсёк лишь тень. Так по велению Б-га исторг из лилиты ангел подаренное Господом и забрал с собою, в сад вечерний.

Лилита продолжила путь одна, в месте ненаселённом - и с каждым шагом к бегущей воде, тело её становилось меньше и легче, вскоре иссохло совсем, и обросло перьями - сжалился над нею Б-г, сделалась она совою. Летает, хищная, ночью - при луне и без, в чащах, пущах и пустынях, и кричит протяжно: "Лаана! Лаана! Лаана!" и будто смеётся, но может быть и плачет.

Слышите?

1. Гелприн Майк «Дурная примета», «Ботинок».

***Майк Гелприн***

**Дурная примета**

Я вишу на стене, в гостиной. На двух гвоздях, в багетной раме, под стеклом. За долгие годы я немного выцвел, но лишь самую малость, чуть-чуть.

- Это Аарон Эйхенбаум, - представляла меня гостям Това. - Мой муж. Он был настоящей звездой. По классу скрипки. Первый сольный концерт. И последний. В ноябре сорок первого. Пропал. Без вести.

Она так и не вышла больше замуж, моя красавица Това, моя единственная. Она тоже под стеклом, в траурной рамке, на сервантной полке напротив. Туда Тову поставил Ося, через день после того, как её унесли на кладбище.

- Это папа, - представлял меня гостям Ося, - он ушёл добровольцем на фронт. В августе сорок первого, с выпускного курса консерватории. Меня тогда ещё не было на свете. В ноябре пропал без вести, мы не знаем, где его могила.

Этого не знает никто, потому что могилы у меня нет. Я истлел в поле, под Тихвином, там, где Тарас меня расстрелял.

- Как живой, - говорили Осе, глядя на меня, гости. - Потрясающая фотография. Знаете, ваш отец совсем не похож на еврея.

Прибалтийские евреи зачастую блондины или русоволосые, так что я и вправду не похож. Ох, извиняюсь за слова, “был не похож”, конечно же. В последнее время я частенько путаюсь во временах. Но мне простительно - повисите с моё на стене. И не просто так повисите, а “как живой”. Не дай вам Бог, извиняюсь за слова.

- Мама очень любила его, - объяснял гостям Ося. - Она хотела, чтобы я тоже стал скрипачом.

Он не стал скрипачом, наш с Товой единственный сын, зачатый в первую брачную ночь, за два дня до начала войны. Он стал средней руки лабухом, потому что уродился робким и слабохарактерным, а восемнадцати лет от роду взял и влюбился. Один раз и на всю оставшуюся жизнь.

- Дурная примета, - говорила, поджимая губы, Това. - Скверная примета, когда мальчик любит девочку, которая любит всех подряд. Скажи, Аарон? Был бы ты живой, ты бы этого не допустил.

Я был не живой, а всего лишь “как живой”, поэтому допустил. Она была шумная, вульгарная и жестокая, эта Двойра, дочка рыночной торговки с одесского Привоза и фартового домушника с Молдаванки. Она сносно играла на фортепьяно и пела, почти не фальшивя. Она курила вонючие папиросы, пила дешёвое вино, безбожно штукатурила морду и давала кому ни попадя, потому что была слаба на передок. Она приводила домой гоев, когда Ося мотался по гастролям, а Това отхаркивала последствия блокадной чахотки в санаториях. Она никого не любила, эта Двойра, она любила только деньги, когда их много. Она была стервой и курвой, извиняюсь за слова.

Она родила Осе детей, и я всё простил. Простил, даже когда Двойра умотала с заезжим саксофонистом и забыла вернуться, оставив Осю с двухгодовалым Яником и шестимесячной Яночкой на руках.

- Это дедушка, - говорила Яночка, представляя меня одноклассницам. - Его звали Аарон Менделевич Эйхенбаум. Правда, странно? Курносый и голубоглазый блондин с таким именем.

- Почему странно? - удивлялись не слишком поднаторевшие в еврейском вопросе школьницы. - Катька вон тоже блондинка, и нос у неё картошкой. И у Верки. И у Сани Зайчикова.

- Дуры вы, - авторитетно заявлял Яник. - Одно дело Зайчиковы, совсем другое - Эйхенбаумы. Скажи, дедушка?

Они все пошли в Тову - наш сын, внук и внучка. Они так же, как она, поджимали губы при разговоре, верили в дурные приметы и по всякому поводу советовались со мной. Не лучшая привычка, извиняюсь за слова - держать совет с покойником, будь он хоть трижды восходящей звездой по классу скрипки. А ещё они все уродились горбоносыми, черноволосыми и кареглазыми, и опознать в них евреев можно было с первого взгляда.

Во мне еврея не опознали. Ни с первого взгляда, ни с какого. Меня опознал Тараска Попов, нацкадр из удмуртской глуши, отчисленный с первого курса по причине патологической бездарности.

- Жидовьё, - объяснял Тараска сочувствующим. - Что такое ленинградская консерватория? Это когда из десяти человек семь евреев, один жид и две полукровки.

- А ты как же? - озадаченно спрашивали Тараску. - Никак полукровка?

- А я одиннадцатый лишний.

Он оказался в двух рядах от меня в колонне пленных, которых гнали по просёлочной дороге по направлению к оккупированному Тихвину.

- Господин немец, - подался вон из колонны одиннадцатый лишний. - Господин немец, разрешите доложить. Там еврей, вон тот, белобрысый, контуженный. Настоящий жид, господин немец, чистокровный. Прикажите ему снять штаны, сами увидите.

- Юден? - гаркнул, ухватив меня за рукав, очкастый малый со “шмайссером” в руках и трофейной трехлинейкой на ремне через плечо. - Зер гут, - он сорвал трехлинейку и протянул Тарасу. - Шиссен.

В десяти шагах от просёлка одиннадцатый лишний пустил мне в грудь пулю. Я рухнул навзничь и был ещё жив, когда Тараска срывал у меня с шеи менору на золотой цепочке. Ту, что в день свадьбы подарил мне старый Зайдель, Товин отец, потомственный санкт-петербургский ювелир. Менора, золотой семисвечник, залог и символ еврейского счастья, отошёл к Тарасу Попову, бездарному скрипачу из-под Ижевска, сыну ссыльного пламенного революционера и местной испитой потаскухи. Извиняюсь за слова.

- Хорошую вещь повредил, - посетовал Тараска, осмотрев менору с отколотой пулей третьей слева свечой. - У, жидяра!

Он, воровато оглянувшись, упрятал моё еврейское счастье за пазуху, сплюнул на меня и повторным выстрелом в голову добил.

\*\*\*

- Дурная примета, папа, - сказал мой любимый внук Яник моему любимому сыну Осе, - я вчера видел одного гоя.

- Большое дело, - пожал плечами Ося. - Я вижу их много и каждый день.

- Это особенный гой. Он ухлёстывает за Яночкой.

У Оси клацнула искусственными зубами вставная челюсть.

- Как это ухлёстывает? - побагровел он. - Что значит ухлёстывает, я спрашиваю?

Ося растерянно посмотрел на меня, потом на Тову. Ни я, прибитый гвоздями к стене, ни Това в траурной рамке не сказали в ответ ничего. Да и что тут можно сказать, даже если есть чем.

- Знакомьтесь, - радостно прощебетала на следующий день Яночка. - Это мой папа Иосиф Ааронович. Это мой старший брат Янкель. А это… - она запнулась. - Василий.

- Василий? - ошеломлённо повторил Ося, уставившись на длинного, нескладного и веснушчатого молодчика с соломенными патлами. Вид у “особенного гоя” был самый что ни на есть простецкий. - Очень э-э… очень приятно, - промямлил Ося. - Василий, значит.

Василий смущённо заморгал, шагнул вперёд, затем назад и затоптался на месте. Веснушки покраснели.

- А это дедушка, - представила меня Яночка, - Аарон Менделевич Эйхенбаум. Фотография сделана на его первом сольном концерте. И последнем. Дедушка добровольцем ушёл на фронт и пропал там без вести.

Василий проморгался, шмыгнул курносым, под стать моему, шнобелем и изрёк:

- Как живой.

Наступила пауза. Моя родня явно не знала, что делать дальше.

- А вы, собственно, - нашёлся наконец Ося, - на чём играете?

- Я-то? - удивлённо переспросил Василий. - Я вообще-то, так сказать, ни на чём. Я фрезеровщик.

- Дурная примета, - едва слышно пробормотал себе под нос Яник, и вновь наступила пауза.

- Значит, так, - решительно прервала её Яночка. - Мы с Васей вчера подали заявление в ЗАГС.

- Как? - ошеломлённо выдавил из себя Ося. - Как ты сказала, доченька? Куда подали?

- В ЗАГС.

Это был позор. Большой позор и несчастье. У нас в роду были музыканты, поэты, художники, ювелиры, шахматисты, врачи. У нас были сапожники, портные, мясники, булочники и зеленщики. У нас никогда, понимаете, никогда не было ни единого фрезеровщика. И никогда не было ни единого, чёрт бы его побрал, Василия, извиняюсь за слова.

Мой робкий слабохарактерный сын Ося, наливаясь дурной кровью, шагнул вперёд.

- Никогда, - в тон моим мыслям просипел он. - Никогда в нашей семье…

- Папа, прекрати! - звонко крикнула Яночка.

Ося прекратил. Он мог бы сказать, что его дочь учится на третьем курсе консерватории по классу виолончели и ей не подобает брачный союз с неучем и простофилей. Он мог бы сказать, что его отец перевернётся в гробу от подобного мезальянса. Но он вспомнил, что неизвестно, есть ли у меня этот гроб, и не сказал ничего.

- Вася хороший, добрый, у него золотые руки, - пролепетала Яночка. - А ещё у него нет ни единого родственника, Вася круглая сирота, детдомовский. Зато теперь у него есть я. И потом… У нас с ним скоро будет ребёнок.

\*\*\*

По утрам Вася, отфыркиваясь, тягал гантели, фальшиво напевал “не кочегары мы, не плотники” и шумно справлял свои дела в туалете. По вечерам он поглощал немереное количество клёцок, гефилте фиш и прочей еврейской пищи, которую вышедшая в декрет Яночка выучилась ему готовить. Заедал мацой и усаживался к телевизору смотреть хоккей.

- Азох ой вей, - бранился набравшийся еврейских словечек Вася, когда очередные “наши” пропускали очередную плюху. - Шлимазлы, киш мир ин тохас.

По весне Яночка родила Васе близняшек.

- Това и Двойра, - с гордостью представил неотличимых друг от дружки новорожденных счастливый отец. - Това и Двойра Васильевны.

- Васильевны… - эхом отозвался ошеломлённый Ося.

- Ну да, - расцвёл Вася. - Правда, они замечательные?

- Скажи, дедушка, - подалась ко мне сияющая Яночка.

“Клянусь, они замечательные, - не сказал я. - Даже несмотря, что Васильевны”.

- Папа, нам надо поговорить, - подступилась к Осе Яночка полгода спустя. - Мы с Васей собираемся подать заявление.

- Опять заявление, - проворчал Ося. - Вы, похоже, только и знаете, что их подавать. И куда?

- В ОВИР.

- Куда-куда?

- В ОВИР, - неуверенно пролепетала Яночка. - Мы с Васей решили.

- На предмет выезда на историческую родину, в государство Израиль, - оторвавшись от хоккея, уточнил Вася.

- Что-о?! На какую ещё родину?

- На историческую родину моих детей.

- Вы что, рехнулись? - побагровел Ося. - Какой, к чертям, Израиль? Что вы там будете делать?!

- Не “вы”, а “мы”, - поправила Яночка. - Мы все будем там жить.

- На какие шиши?

- Папа, - укоризненно проговорил Вася. - Вы что же, думаете, на исторической родине не нужны фрезеровщики? Я собираюсь принять гиюр. Скажите, дедушка? - обернулся он ко мне.

Я не хотел ни в какой Израиль. Я прожил… Извиняюсь за слова. Я не прожил здесь, на стене, четыре десятка лет. Я не сказал ничего. Я лишь осознал, что у меня стало одним родственником больше. К многочисленным Менделям, Зайделям и Янкелям прибавился длинный, веснушчатый, с соломенными патлами особенный гой Василий.

Следующий год моя родня провела в спорах. Спорили каждый вечер, а по выходным сутки напролёт. Приводили неопровержимые аргументы в пользу отъезда и не менее неопровержимые против, а за поддержкой апеллировали ко мне. Я молчал. Мне нечего было сказать. За меня сказала Това. Ночью, накануне которой была достигнута договорённость паковать чемоданы, Това упала с сервантной полки траурной рамкой вниз.

- Дурная примета, - ахнул наутро пробуждающийся с петухами Вася. - Мы никуда не едем. Бабушка против.

Тем же вечером в знак семейного примирения Яник с Васей надрались. До изумления, извиняюсь за слова. Вернувшийся с кабацкого выступления Ося уже через полчаса догнал обоих.

- В Израиле в-виолончелистки нужны? - икал, поджимая губы, Яник. - Бабушка права: н-не нужны. А п-пожилые скрипачи? Там своих как собак нерезаных. А м-музыкальные критики? Я вас умоляю.

- По большому счёту, - уныло соглашался Вася, - фрезеровщики там тоже на фиг никому не нужны. А те, что на иврите ни бум-бум - тем более.

Вася привычно включил телевизор.

- И хоккея там нет, - резюмировал он. - Какой там может быть, скажите, хоккей? Правда, дедушка?

Я, как обычно, не сказал ничего. И не только потому, что не имел чем. Хоккея сейчас не показывали и у нас. Вместо него показывали Тараску. На фоне сложенных в штабеля мертвецов.

- Не все военные преступники понесли заслуженное наказание, - сообщил голос за кадром. - Некоторым удалось скрыться, как, например, надзирателю могилёвского концентрационного лагеря по кличке Скрипач. Вы сейчас видите его фотографию в кадре. Скрипач виновен в смерти сотен…

Я не слушал. Я смотрел Тараске в глаза.

“Гнида ты, Скрипач, - не сказал я. - Будь ты, извиняюсь за слова, проклят”.

Два года спустя подошла Васина очередь на кооператив в новостройках, и паковать чемоданы таки пришлось.

- Ну что вы, папа, - привычно переминаясь с ноги на ногу и держа Тову на левом плече, а Двойру на правом, утешал всплакнувшего тестя Вася. - Мы будем часто видеться. Девяткино это не какой-нибудь там Тель-Авив. Правда, дедушка?

“Правда, - не сказал я. - С новосельем вас, дети. Маззл тов”.

\*\*\*

Мне было очень тяжело целых три года, потому что из Девяткино, хотя оно и не Тель-Авив, мои внуки и правнуки приезжали не слишком часто. Я по-прежнему висел на стене в гостиной, понемногу выцветая, и вместо хоккея, к которому привык, смотрел на затеявшего перестройку унылого Горбачёва с родимым пятном во всю лысину. А потом у нас появилась Сонечка.

Она была миниатюрная, говорливая и непоседливая, с копной вороных кудряшек, разлетающихся на бегу. Она носилась по квартире безостановочно, будто кто её подгонял, и даже за фортепьяно не могла усидеть дольше пяти минут. Она щебетала без умолку и непрестанно наводила порядок - даже пыль с меня стирала по пять раз на дню. Так продолжалось до тех пор, пока она не родила Янику Машеньку.

Впервые увидев свою третью правнучку, я обомлел под стеклом. Она была… Она была курносая и голубоглазая, с ямочками на щеках и светлым пушком на макушке. Она была вся в меня.

- Это что же, еврейская девочка? - засомневался при виде Машеньки Ося.

- Она ещё потемнеет, папа, - утешил пританцовывающий вокруг новорожденной Яник. - Чёрный цвет доминантен. Правда, дедушка?

“Неправда, - не сказал я. - В нашем с тобой случае это неправда. Она не потемнеет”.

- Это прадедушка, - представляла меня одноклассницам восьмилетняя Машенька, - Аарон Менделевич Эйхенбаум. Он мог стать выдающимся скрипачом, но ушёл добровольцем на фронт и пропал там. Прадедушка на этой фотографии как живой. Мы с ним очень похожи. Мама с папой говорят, что одно лицо.

- Одно лицо, - подтверждала притихшая и присмиревшая после родов Сонечка. - Дедушкины гены возродились в третьем поколении. Так бывает.

Так бывает. Машенька была не просто похожа на меня внешне. Она оказалась ещё и талантливой. Талантливой, как никто больше. В пятнадцать лет она вышла на сцену Оперного театра с первым своим сольным концертом. Она играла Мендельсона, Моцарта и Брамса, а когда раскланялась, профессура консерватории по классу скрипки вынесла единогласный вердикт: “Восходящая звезда. Виртуоз”.

Я был счастлив. Так, как только может быть счастлив покойник, семьдесят лет назад расстрелянный у просёлочной дороги под Тихвином. Моя третья правнучка подарила мне ещё одну жизнь. Она стала моим воплощением, моим вторым “я” на нашей, извиняюсь за слова, яростно прекрасной и отчаянно грешной Земле.

К восемнадцати Машенька объездила с концертами всю Европу, за два следующих года - весь мир. В день своего двадцатилетия она давала концерт для скрипки с оркестром на сцене санкт-петербургской Капеллы. А вечером у нас ожидался семейный ужин. В тесном кругу, для своих.

Сонечкиными стараниями праздничный стол ломился от блюд, а неотличимые друг от дружки Това и Двойра таскали с кухни всё новые и новые. Успевшие в ожидании именинницы ополовинить бутылку сорокоградусной Вася и Яник пели вразнобой “не кочегары мы, не плотники”. Старенький Ося скрипучим голоском подтягивал. Наводила последний марафет располневшая Яночка. А потом… Потом отворилась входная дверь, и в гостиную впорхнула Машенька. Светловолосая и голубоглазая, с ямочками на щеках. Но я не смотрел на неё, не смотрел на своё новое воплощение на Земле. Потому что в дверях застыл рослый плечистый красавец с вороными волосами до плеч. Он был в смокинге, и красная бабочка кровавым росчерком перерезала белоснежную рубаху.

- Знакомьтесь, - зазвенел Машенькин голос. - Это мой папа, Янкель Иосифович Эйхенбаум. Мама, Софья Борисовна. Дедушка…

Она перечисляла родню, но я не слышал - у меня разрывалось от боли отсутствующее сердце, потому что я уже понимал, знал уже, что…

- А это Тарас Попов, - пробились сквозь стекло новые слова, - мой друг. Он дирижировал оркестром сегодня. Он очень талантливый, но это не главное. Час назад Тарас сделал мне предложение.

Наступила пауза. Сквозь стекло я смотрел на застывшую на сервантной полке Тову в траурной рамке, и мне казалось, что Това плачет.

- А это прадедушка, - представила меня Машенька. - Аарон Менделевич Эйхенбаум. Взгляни: он на фотографии как живой. Я пошла в него, прадедушкины гены возродились в третьем поколении.

- Я тоже похож на покойного прадеда, - пробасил рослый красавец Тарас Попов. - Меня и назвали в его честь. У нас есть семейная реликвия - менора, которую подарил прадеду на фронте его смертельно раненый еврейский друг. В ней не хватает одной свечи, там, куда угодила пуля. Мой дед носил её, потом отец, теперь я. Менора дарит нашему роду счастье. Сегодня оно досталось мне.

В этот миг сердце, которого у меня не было, расшиблось о стекло. Я рванулся с гвоздей, выдрал их из стены и обрушился вниз. Багетная рама, приложившись о край стола, раскололась. Я упал на пол плашмя, разбрызгав по сторонам осколки. Опрокинувшийся графин томатным соком залил мне грудь и кровавым языком лизнул лицо.

- Не бывать, - услышал я последние в своей второй, уходящей жизни слова. - Не бывать! Дедушка против.

**Ботинок**

*От автора: рассказ написан по мотивам реально произошедшей истории.*

Есть ли сходство в словах пальчик, градус и скамейка? А в словах рыбак, дактиль и циферблат? Кукиш, аптекарь и пенёк? Ответ “в них нет ничего общего” - неверный. Сходство есть, и оно очевидно. Надо лишь написать каждое слово с заглавной буквы. Получатся еврейские фамилии. У Фимы была фамилия Ботинок. В Союзе Фима её стеснялся. В Америке стесняться перестал.

Ботинки жили в съёмной квартире на Брайтон Бич. Этажом ниже обитал поэт-авангардист Соломон Перец. Этажом выше - дамский парикмахер Мирон Трус. Перец был старым, одиноким, пьющим и не востребованным. Трус - относительно молодым, вечно трезвым и нарасхват. С Трусом в квартире жила жена, две малолетние дочери и болонка Хаим. Всех вместе их называли “Трусы”. Ударение ставили, где придётся.

Фиме Ботинку стукнуло двадцать восемь. Он учился на программиста. Программирование Фима ненавидел. Учёбу терпел.

- Мальчик скоро кончит на компьютер, - хвастала соседям Фимина мама. - Тогда мы хорошо заживём.

Хорошо зажить Фима не особо рассчитывал. Ненавидел он не только программирование. Ещё он терпеть не мог английский язык. Неродной алфавит Фима знал. Читать худо-бедно умел. С горем пополам выталкивал из себя чужие слова. Даже лепил из них фразы. Но ни рожна не слышал. Устная речь сливалась в Фиминой голове в одну сплошную неразбериху. Невнятную и тягучую, как сдобренная кленовым сиропом манная каша. Впрочем, выудить из каши отдельные слова иногда удавалось. Преимущественно это были слова “фак” и “шит”.

Разумеется, на Брайтон Бич иностранный язык не нужен. Здесь даже “мы говорим по-китайски” написано на дверях прачечной русскими буквами. Но попробуйте - хорошо заживите в съёмной квартире на Брайтон Бич. Фима и пробовать не хотел.

В Союзе он закончил педагогический. С красным дипломом. Два года оттрубил учителем русского языка и литературы в начальных классах. На дверях Фиминого кабинета была прибита табличка с надписью “Е. Б. Ботинок”. Завучиха всё порывалась её снять. На худой конец, замазать - в надписи завучихе чудилась инвектива.

Внешности Фима был самой обыкновенной. Семитской: субтилен, носат, очкаст и мелким бесом кучеряв. С девушками ему не везло. Он их стеснялся. Не то что обходил стороной, но робел в присутствии и говорил, запинаясь. Девушки платили взаимностью. Фима им казался неинтересным.

Женщины у него были. Точнее, бывали. Дважды. В Союзе Фима потерял невинность с преподавательницей французского. В Америке усугубил потерю с учительницей английского.

Француженка была коллекционеркой, а Е. Б. Ботинок - редкостным экспонатом. Можно сказать, раритетным.

Англичанка была эстеткой. Она утверждала, что язык лучше всего познаётся в постели. В постели она учила Фиму английским словам. Преимущественно это были слова “фак” и “шит”.

Француженка изъяла у Фимы ношеные носки. Приобщила к коллекции за номером двести шестнадцать. На следующий день переключилась на школьного сторожа. Англичанка увлеклась нелегалом из Грузии и предложила любовь втроём. К па-де-труа Фима был не готов. Поэтому скатился в привычные воздержание и аскезу…

\*\*\*

Июльский пятничный вечер на первый взгляд ничем не отличался от четвергового. Зеленщик Изя Брофман из Одессы запирал овощную лавку. Привычно бранился с конкурентом, зеленщиком Раулем Альваресом из Сантьяго-де Куба. Из ресторана “Татьяна” невежливо выпроваживали посетителя. Тот накануне забыл расплатиться в ресторане “Волна”. На прожаренной солнцем асфальтовой запеканке свирепствовали ошалелые воробьи. А Фима Ботинок шёл на свидание. Переживал он отчаянно. Фима сам толком не понимал, как осмелился накануне взять у девушки телефон. Как отважился позвонить и назначить встречу. Ещё он был не уверен, как девушку зовут.

- Аня, - бормотал себе под вислый нос Фима. - Нет, Аля. Или даже Ася.

Они познакомились в метро в час пик. Всё вышло самой собой. Толпа внесла Фиму в вагон. Скрутила, пожевала и сплюнула им на отчаянно цепляющуюся за поручень девушку.

- Твою мать, - сказала девушка. - Идиот.

Фима обрадовался. “Твою мать” звучало куда лучше, чем “фак” и “шит”. На “идиота” он внимания не обратил. Девушка была чудо как хороша. От неё пахло лавандой. Фиме мучительно хотелось смахнуть каплю пота с её виска. Он воздержался. Имя, произнесённое, когда толпа схлынула, не разобрал. Переспросить постеснялся.

Две остановки они проехали в относительном комфорте. Девушка работала в частной школе. Американским детям она преподавала русский. Фима решил, что это судьба.

Номер новой знакомой он затвердил наизусть. Вернувшись домой, внёс в записную книжку под литерой “А”. Мобильный телефон был Фиме не по карману. Наутро он позвонил девушке из общественного.

- Это Ботинок, - представился он. - Идиот из метро.

- Так ботинок или всё-таки идиот?

- Боюсь, что и то, и это.

Сейчас Фима спешил. Предстояло пересечь неопрятную улочку с помпезным названием Ошен Вью. От неё до места встречи минут пять, если быстрым шагом. Фима нервничал. И знать не знал, что очередная полицейская акция уже вступила в начальную фазу.

Ошен Вью отстояла от Брайтон Бич на каких-то три сотни футов. Где-то посередине проходила граница между добром и злом. Между популярностью и забвением. Суетной роскошью и слякотной нищетой. О Брайтон Бич знали во всём мире. Об Ошен Вью знали лишь те, кого угораздило жить поблизости. Улица заслуженно пользовалась дурной славой. Славу обеспечивали завсегдатаи - угрюмые антисоциальные личности. Толкачи, их клиенты, попрошайки, сутенёры и дешёвые проститутки. Полиция готовила акцию по оздоровлению обстановки в неблагополучных районах. Об акции завсегдатаев, как обычно, оповестили заранее. Криминалитет убрался. Под оздоровление предстояло попасть прочим гражданам.

Первым делом сострить, повторял Фима на ходу. Отмочить хохму-другую. Затем сослаться на дырявую память и спросить имя. Нет, сослаться-спросить сначала, отмочить потом. Пригласить в ресторан. В кармане лежали сто девятнадцать долларов - все Фимины сбережения. Должно хватить. После ресторана можно попробовать напроситься на кофе. Или сварить его самому. Ботинки-старшие как раз отправились к родственникам в Нью-Джерси на уикенд. А там и… Фима зажмурился. Там…

- Гоинаут?

Фима сбился с шага. Дорогу заступила коренастая накрашенная девица. Вопрос явно исходил от неё. Сути вопроса Фима не понял.

- Э-э… - замялся он.

- Гоуинг аут? - терпеливо повторила девица. На этот раз прозвучало членораздельно.

Фима перевёл сказанное на русский. Получилось “Вы выходите?” Будь на Фимином месте знаток английских идиом, у него вышло бы “Не желаете ли потрахаться?”. Фима знатоком не был.

- Йес, - на всякий случай подтвердил он.

- Тэн бакс, - деловито заявила девица.

Фима стушевался. Собеседница явно была настроена решительно. Она хотела денег. Десять долларов не пойми за что. Фима переступил с ноги на ногу. Подался назад в надежде улизнуть. Улизнуть не удалось. Девица шагнула вперёд и ухватила за рукав.

- Тэн бакс, бэби!

- За что?! - по-русски взмолился Фима. Но собеседница поняла.

- Блоу джаб, ступид, - пояснила она.

Фима вновь добросовестно перевёл. Все слова по отдельности он знал. “Блоу” означало дуть. “Джаб” - работа. “Ступид” - дурак. Дураком, со всей очевидностью, был он. Десять долларов с него, дурака, требовали за дутьё. В дутье Фима не нуждался. Правда, “блоу джаб” означало ещё и оральный секс. Но об этом Фима не ведал. Зато уразумел, что отделаться не удастся.

- Файв? - просительно предложил Фима.

- Окей. Файв.

Фима полез в карман. Рассчитаться он не успел. Визг тормозов прошил тишину за спиной. Секунду спустя Фиме заломили руки. Затем обидно дали по почкам. Ещё через минуту его закинули в притаившийся в палисаднике автобус.

- Намба уан, - констатировал угольно-чёрный детина в полицейской форме. Он защёлкнул на Фиме наручники.

- Намба ту, - увеличил детина счёт минуту спустя.

- Намба цри, фор, файв, сыкс, сэвен…

За полчаса автобус сглотнул c полсотни новоиспечённых кандальников. С натужным скрежетом захлопнулись дверцы. Автобус дёрнулся. Выполз из палисадника на Ошен Вью и попылил к полицейскому участку.

- За что? - причитал на заднем сиденье обескураженный и испуганный Фима. - Я опаздываю на свидание. Меня девушка ждёт. За что?!

“За что” Фиме вскорости объяснили. Сексуальных преступников ловили на живца сразу пять нарядившихся проститутками сотрудниц полиции. Они продемонстрировали небывалый профессионализм и немыслимую производительность труда. Акция удалась. Первая, оперативная её фаза увенчалась несомненным триумфом. Начиналась вторая, рутинная. Задержанных распихали по камерам. Личные вещи у них изъяли. Полицейский участок трещал по швам. Ввиду нехватки мест в одиночку набилось пять человек.

Обстоятельный, моложавый гробовщик Гриша справлял серебряную свадьбу в ресторане “Националь”. Вышел покурить. Поднёс зажигалку накрашенной фемине с подбитым глазом. Отпустил сомнительный комплимент. И пропал. Гости до полуночи неумело утешали навзрыд ревущую юбиляршу.

Восемнадцатилетние недоросли Юра и Вадик везли своих подружек погулять по берегу океана. На перекрёстке Пятого Брайтона с Ошен Вью загорелся красный. Юра притормозил. В окно пассажирской дверцы постучала непотребного вида девка. Вадик вступил с ней в беседу. Девка желала отдаться за десять баксов. За группен-секс на пять персон Юра предложил два. Вадик сбил цену до доллара. Минуту спустя Юра со скованными руками уже томился в автобусе. Сопротивляющегося Вадика в него заталкивали. Ошеломлённые подружки крыли представителей бруклинского правопорядка русским матом. Мат встречал бурное сочувствие внутри автобуса. И полное непонимание снаружи.

Пятым в камере оказался благообразный джентльмен девяноста лет от роду. Представился он рэбом Иаковом, раввином местной синагоги. От полусотни остальных пострадавших рэб Иаков отличался разительно. Он, единственный из всех, по-русски не говорил. Полицейским произволом не возмущался. Желания вступить в греховную связь не отрицал.

Первые два часа за решёткой рэб провёл в молитвах. Но Всевышний не услышал блудного своего сына и из темницы не вызволил. Тогда рэб выругался на идиш. Подмигнул Фиме и повалился на пол.

Симуляцию эпилептического припадка рэб Иаков провёл необычайно талантливо. Минуты не прошло, как на издаваемые им звуки сбежался полицейский персонал. Камеру отперли. Рэб корчился в конвульсиях на полу. Хрипел, подвывал и пускал изо рта пену. Его суетливо погрузили на носилки и унесли прочь.

Вадику спектакль очень понравился. Едва вопли раввина стихли вдали, Вадик уже бился патлатой башкой о решётку. Рычал, плевался и сквернословил. Есть, однако, существенная разница между настоящим артистом и жалким подмастерьем. На звуки, производимые Вадиком, явился лишь двухметровый чёрный сержант. Он лениво ввалил по решётке дубинкой и обещал заняться симулянтом вплотную. Вадик притих.

- Что же делать? - растерянно канючил Фима. - Что же мне теперь делать?

Опытный Гриша заломил бровь.

- Ботинок, - проникновенно сказал он. - Утопитесь в параше, Ботинок. Или повесьтесь. Я смастерю вам отличный гробик. По знакомству - со скидкой.

- Я на свидание шёл, - в который раз объяснил Фима. - Что я теперь ей скажу?

- Удавитесь, и говорить не придётся.

Гриша оттянул за мошенничество пятилетку на сибирском лесоповале. К выкрутасам судьбы он относился философски. К жизни - скептически. К смерти - профессионально.

Ночь прошла в оживлённой дискуссии. Бодрствующие обитатели десятка камер судили нью-йоркскую полицию. Ей предъявили обвинения в невежестве, нерадивости и нетрадиционной ориентации. По первым двум пунктам полицию оправдали за недостаточностью улик. По третьему признали вину несомненной.

Наутро половых преступников одного за другим потянули на допрос. В участок заступила новая смена. Угольно-чёрного верзилу-сержанта сменил кефирно-белый близнец.

- Тягчайшее преступление, мистер Ботинок, - с прискорбием сообщил Фиме близнец. - Одно из самых тяжких. Искупать будете долго. Вплоть до пожизненного. Никакой адвокат не поможет.

Фима понял только свою фамилию и слово “адвокат”. Но общий смысл уловил. Ему стало страшно.

- Можете позвонить родственникам, мистер Ботинок, - снисходительно махнул ручищей сержант. - Кто знает, когда теперь с ними увидитесь. И увидитесь ли вообще. На разговор две минуты.

Старомодный обшарпанный аппарат на сержантском столе походил на издохшую каракатицу. У Фимы ходуном ходили руки. Заученный наизусть номер он набрал с четвёртой попытки.

- Это снова я, - скорбно сообщил в трубку Фима. - Мистер Ботинок из метро. Идиот. Только, умоляю, не разъединяйтесь. Мне некому больше звонить. Я шёл к вам, клянусь. И не дошёл. По пути я совершил преступление, - от жалости к себе Фима всхлипнул. - Теперь меня посадят. Срочно необходим адвокат. Какое преступление? Не уверен, какое. Нет, не убийство. Гораздо, гораздо хуже.

На другом конце линии разъединились. Фима заплакал.

- Раскаиваетесь, Ботинок? - обрадовался сержант. - Что ж, похвально. Вину свою признаёте?

Кроме собственной фамилии, Фима не понял ни слова. Утёр глаза.

- Нет, - на всякий случай сказал он. - Ноу.

- Напрасно. Ещё признаете. В камеру его!

В камере ждал обстоятельный, моложавый и опытный Гриша.

- Ботинок, вы осёл, - поведал он. - Легавого могила исправит, не знали? Лучше сыграть в ящик, чем поверить менту. Тоже не знали? Что совковому, что здешнему, что из Занзибара. Все менты одинаковы, чтоб им гробануться. Зачем вам адвокат, Ботинок? Вы знаете, сколько стоит адвокат? За эти деньги вы можете заказать мне пять небольших аккуратных гробиков. Даже полдюжины.

Фима опустился на нары.

- Не будет никакого адвоката, - уныло сказал он. - Я и вправду осёл. Делать ей нечего, только адвокатов мне нанимать.

- Кому “ей”? - уточнил Гриша.

Фима вздохнул.

- Ане. Или, может быть, Але. Возможно, даже Асе. Я не расслышал, как её зовут. Но это чудесная девушка.

\*\*\*

Девушку звали Агнией. Она жила в съёмной квартире на Непчун авеню. Вдвоём с мамой.

- Деточка, ты в своём уме? - в ужасе глотала валидол мама. - Какой адвокат? Какой ботинок? Зачем?!

Агния сама не знала, зачем. Ботинок шёл на встречу. И не с кем-нибудь там, а с нею. Шёл себе, значит, к ней и свернул не туда. В результате угодил за решётку. За преступление, которое хуже убийства. Не повредит, кстати, выяснить, что это за преступление. И почему преступник называет себя Ботинком.

- Это кличка, - твёрдо заявила мама. - Блатная. Я уверена. Ты связалась с блатарём! С уголовником! Может, даже с рецидивистом.

На уголовника Ботинок был не похож. На рецидивиста ещё меньше. Агния вздохнула. Раскрыла “Русскую рекламу”. От обилия адвокатов зарябило в глазах.

“Кац, Коган, Шапиро, - Агния воспрянула духом. Фамилии внушали оптимизм. - Перельмутер, Бронштейн, Зильберман”.

У Каца включился автоответчик. Приятный голос сообщил, что сегодня суббота. Выдержал многозначительную паузу и добавил: шаббес. В шаббес Кац не работал. Коган не работал тоже. Шапиро тем более. Агния пришла к выводу, что нет смысла звонить остальным.

“Мюллер”, - вслух считала она с газетной страницы. Новая фамилия вернула утраченный оптимизм. Агния приободрилась. Мюллер, гестапо, вспомнила она. В гестапо шаббес не соблюдали.

- Шефа нет на месте, - бодро отрапортовали у Мюллера. - Меня зовут Фёдор, я переводчик и секретарь. Можно просто Федя. Как-как, говорите? Ботинок? Не знаете, за что забрали? Ну дык сейчас узнаем. Не беспокойтесь, я вам перезвоню.

Минуту спустя Федя и вправду перезвонил.

- Плёвое дело, - жизнерадостно сообщил он. - Загремел ваш Ботинок…

- Он не мой, - перебила Агния. - Я его едва знаю.

- Нет проблем. Загремел не ваш Ботинок по половой части.

- Как это? - ахнула Агния.

- Как обычно. Сначала он снял проститутку. Потом его сняли с неё. Да вы не волнуйтесь: дело житейское. К тому же, вам повезло.

- Это я уже поняла, - признала Агния. - Неимоверно повезло.

- Ну дык. Мы с шефом как раз специализируемся по половой части. Без адвоката Ботинка затаскают по судам. Мало не покажется. А так - сегодня же будет на воле. В общем, берёте вы адвоката или нет?

- Беру, - обречённо выдохнула Агния, - куда деться. Сколько я вам должна?

\*\*\*

Субботнее солнце шпарило пуще пятничного. С утра пил на балконе горькую поэт-авангардист Соломон Перец. Дамского мастера Мирона Труса вела на поводке с пляжа болонка Хаим. Остальные Трусы поспевали следом. Зеленщик Изя из Одессы привычно лаялся с кубинским конкурентом Раулем. Из ресторана “Гамбринус” взашей выпроваживали посетителя. Того, что накануне выставили из ресторана “Татьяна”. Разленившиеся, откормленные береговые чайки хрипло выпрашивали подачки. На чаек осуждающе поглядывали деловитые и вечно голодные воробьи. А скованных наручниками половых каторжан конвоировали в суд.

- Выходили из избы, - неприязненно косился на дюжих конвоиров бывалый кандальник Гриша, - здоровенные жлобы. Порубили все дубы на гробы.

В здании суда было прохладно. Здесь собратьев по несчастью дожидался доставленный из больницы благообразный рэб Иаков. Девяностолетнего рэба развенчали. На поверку он оказался никаким не раввином. А, напротив, польским евреем Яшей, отчаянным безбожником и женолюбом. Яша бедовал в доме для престарелых на Кони Айленд. Он то и дело бегал оттуда в самоволки.

- С курвами у нас небогато, - признался Яша. - Дряхлые какие-то все. Некрасивые.

- Ботинок здесь? - зычный бас перекрыл Яшин дискант. - В комнату для свиданий! Вас ждёт адвокат Мюллер.

Мюллером оказалась белобрысая девчушка лет двадцати пяти. Секретарю и переводчику по имени Федя шеф гестапо едва доставала до плеча.

- Ты, Ботинок, настоящий сапог, - приветствовал Фиму Федя. - Кто же цепляет шлюх на Ошен Вью? В Манхэттен езжай, на Сорок Вторую.

- Шлюх? - повторил ошеломлённый Фима. - В Манхэттен?

- Ну дык. На Сорок Второй за двадцать баксов снимешь шикарную шмару. Ты мне верь. Я-то знаю.

Агния прекратила щебетать с Мюллер.

- Придержите язык, - прикрикнула она на переводчика-секретаря. - Тоже мне, специалист по половой части. Можно подумать, в Нью-Йорке нет порядочных девушек.

- Есть, - согласился Федя. - Но они обходятся гораздо дороже.

- Значит, так, мистер Ботинок, - приступила к обустройству линии обороны Мюллер. - Есть три пути. Первый - признать себя виновным. Тогда вас немедленно отпустят. Далее…

- Постойте, - оборвал Федин перевод Фима. - В самом деле отпустят? Правда? Ничего больше не надо! Признаю себя виновным.

- Ни в коем случае, - всплеснула руками Мюллер. - Тогда на вас заведут запись. В следующий раз попадётесь - пойдёте по сумме статей.

Фима сник. По сумме статей он не хотел.

- Второй путь - объявить себя невиновным. Тогда вас тоже сразу отпустят.

Фима приободрился.

- Знаете, меня это очень устраивает.

Мюллер укоризненно покачала головой.

- Не стыдно вам? Зачем тогда нанимать адвоката? Объявить себя невиновным может всякий дурак. Он потом несколько лет будет обивать пороги судов и топтаться по кабинетам. Обойдётся в копеечку, помимо всего. Ваш разговор с переодетой сотрудницей полиции, разумеется, записывался. Я его прослушала. Попробуйте, докажите теперь свою невиновность.

- Да как же?! - загорячился Фима. - Что тут доказывать? Идиоту же ясно, что я ни черта не понял.

- Идиоту, может быть, и ясно. А американскому суду - нет. Ему, наоборот, будет ясно, что вы намеревались вступить в половую связь. За деньги. Ещё и поторговались. В общем, есть третий путь. Признать себя виновным частично.

- Как это? - опешил Фима. - Как можно вступить в частичную половую связь?

Мюллер вздохнула.

- Американское правосудие - штука непростая, - поделилась профессиональным знанием она. - Вам надлежит отрицать, что собирались вступить. И признать, что виновны в оскорблении. Вы оскорбили сотрудницу полиции при исполнении.

- В каком смысле? Как это я её оскорбил?

- Вы её приняли за проститутку. Тем самым унизили её женское достоинство. Нанесли моральный ущерб. Но - небольшой.

- Понял, - мало что понял Фима. - И что мне за это будет?

- Да так - сущие пустяки. Отделаетесь общественными работами.

\*\*\*

Фима признал себя частично виновным. Две недели он махал метлой в Гарлеме на уборке улиц. Нажил мозоли. Научился без акцента произносить слова “фак” и “шит”. И убедился в том, что слухи о гарлемской ксенофобии явно преувеличены.

Яша признал себя виновным. В дом для престарелых его доставили с комфортом на казённой машине. Ещё на Яшу завели запись. Запись оказалась по счёту одиннадцатой.

Гриша объявил себя невиновным. Об этом он долго потом сожалел. Судебные издержки обошлись Грише в цену доброй полусотни новых, с иголки, гробов.

Прошло время. На Брайтон Бич мало что изменилось. В Фиминой жизни изменилось многое.

- Мальчик таки кончил на компьютер, - хвасталась соседям Фимина мама. - Он уже получил работу в банке. Теперь подумывает жениться. Представьте себе: на учительше. Конечно, не лучшая партия. Мог бы найти себе врачиху. Или, на худой конец, адвокатшу.

Февральский пятничный вечер на первый взгляд мало чем отличался от четвергового. Третьего дня Нью-Йорк на совесть засыпало снегом. Снегоуборочные машины смели его с проезжих частей на тротуары. Протоптанными в снегу обледенелыми тропами пробирались по тротуарам прохожие. Фима Ботинок спешил на свидание. Агния наконец-то рискнула пригласить его в гости и показать маме. Мама запаслась валидолом заранее.

Фима пересёк Ошен Вью. Заскользил дальше.

- Гоинаут? - догнал его хриплый голос за спиной.

Фима шарахнулся. Судорожно обернулся на голос. И облегчённо вздохнул.

- Йес, - честно признался Фима. - Я гоинаут. В принципе. Не очень часто.

Нескромное предложение исходило от старой потасканной наркоманки. Ничего общего с полицейской подставой. Фима приветливо помахал наркоманке рукой. И заспешил прочь.

1. Гельбах Игорь «Три рассказа о дяде»

***Игорь Гельбах***

**ТРИ РАССКАЗА О ДЯДЕ**

**ИСХОД**

1

Послевоенная Одесса состояла из голубого неба, домов с лепниной и большими окнами, развалин, улиц, звеневших и звякающих трамваев, акаций, пятен света, темных лестниц и разговоров в толпе о недавно поднятой со дна моря подводной лодке, затонувшей еще в начале войны.

Из обрывков уличных разговоров следовало, что в отсеках подводной лодки все сохранилось так, как это было при жизни моряков, ничего не истлело, ничто не тронуто было распадом, последняя запись в судовом журнале была четкой и аккуратной. Экипаж, похоже, пребывал в вечном сне. Кожа на лицах членов экипажа была желтой.

После войны дом на Мясоедовской, где мы жили, был полуразрушен. Нежилую часть дома именовали "развалкой". На развалке была голубятня, там гоняли голубей.

В маленькой квартире за черной дверью на третьем этаже жило множество людей.

Когда-то в этой квартире жил мой прадед. Кантонист, он отслужил в царской армии двадцать пять лет и поселился в Одессе.

Давид, так звали моего деда, был токарь–универсал, при царе его назвали «механик - золотые руки». В юности он учился в гимназии, был решительным и сильным человеком, и участвовал в отрядах самообороны во времена погромов и казачьих разъездов.

Мой дядя пошел по его стопам, он был механик и оптик. Моя мама стала врачом, как и ее старшая сестра. Младшая стала учительницей немецкого.

Окна квартиры смотрели во двор, соединенный мощеным камнем проходом с другими длинными, проходными одесскими дворами.

Сопутствующие фрагменты воспоминаний: синяя полоса моря под обрывом в Аркадии, голубые тени акаций, солоноватый, горький привкус темных маслин...

2

Однажды по Мясоедовской вели колонну военнопленных.

Окна домов на нашей, уцелевшей стороне улицы, были открыты, оттуда выглядывали домохозяйки, доносился запах помидоров, обжигаемых на огне "синеньких" и лаврового листа.

Я стоял на тротуаре с моим младшим братом, маленьким мальчиком с черными кудрями. Он держал меня за руку. Мимо нас проходил Мишка-цыган, городской сумашедший. Он был небрит, темен, к тулье шляпы прицеплена была роза, на шее болтался сверкающий моток проволоки. Внезапно Мишка наклонился, подхватил моего брата, усадил его себе на плечи и двинулся дальше, а я бежал за ним и кричал,

- Отдайте моего братика!

Так я добежал до того угла Мясоедовской, где она пересекалась с улицей, на которой жили родители моего отца и его сестра. На Комитетской тоже было немало разрушенных во время войны домов.

Но тут появилась моя мама, ей, как оказалось, успели сообщить о случившемся. Она отняла брата у Мишки-цыгана, и мы втроем вернулись в наш длинный, проходной двор на Мясоедовской.

Родители моего отца жили на Комитетской с незапамятных времен. Дед со стороны отца владел когда-то маслобойкой. Революция, гражданская война и последующие события, включавшие и голод в начале тридцатых годов, полностью изменили обстоятельства их жизни...

Отец Троцкого говорил о своем сыне: «Леве можно доверить всю Россию, но маслобойку ему доверить нельзя»...

Разорившись вскоре после окончания гражданской войны, мой дед «маклеровал» на Привозе, одесском рынке. В его рассказах присутствовали слова-иероглифы: расстрелы, аресты, золото, торгсин, Лонжерон и кафе Фанкони...

3

Мне было четыре года, когда мои родители решили уехать из Одессы и обосноваться в Кутаиси, главном городе Западной Грузии.

Теперь, более чем полвека спустя, я понимаю, что это был очередной исход, так уже не раз бывало в истории. Идея переезда в Грузию принадлежала моему дяде. Он был механик и оптик, много читал и был всегда увлечен новыми идеями…

4

Длинный переулок с домом, где мы снимали комнату с верандой, спускался к желтой и мутной, быстро, с бурунами несущейся Риони. Мужчина с курчавой шевелюрой, в солдатской шинели и кирзовых сапогах шел по переулку в сторону реки...

Однажды мой отец пришел домой поздно. Он смеялся, поставил меня на шкаф и сказал: «Прыгай, я тебя поймаю!». После того как я спрыгнул со шкафа, он протянул мне плитку шоколада «Аист». В то время я любил играть с его орденами и медалями. Он вернулся из армии в звании майора и прихрамывал после серьезного ранения.

Густой, необыкновенной плотности, зелено-желтого оттенка солнечный свет сосредоточен был на верандах. Чисто вымытые полы поблескивали. Внутренние комнаты соединялись с верандами окнами и дверьми. Различие между светом и тенью было отнюдь не мнимым. Ощущение это усиливалось запахом принесенной с базара зелени.

На верандах располагались кухни и столовые. Здесь готовили пищу, здесь же доставали из принесенных с базары желтых, плетенных из соломы кошелок овощи и фрукты, пучки зелени и редиса.

Воздух был сладкий, густой, родственный жгучему солнцу.

Услышал я и слово «муша», что означает «рабочий». Так называли людей, помогавших хозяйкам доставлять покупки с базаров. Их честность была поразительной. По существу, то был целый институт по оказанию услуг.

Густой и мягкий вечерний свет обволакивал балконы и каменные дома, могучие стволы деревьев, их теплую, шершавую листву и руины тысячелетнего храма Баграта на холме за рекой.

Летними, влажными вечерами кутаисцы прогуливались по темным, неярко освещенным, узким, пересекающимся под различными углами улицами и улочками, под огромными неохватными чинарами (чадари), от листвы которых веяло теплом.

Многие были одеты в черное, то был траур по ушедшим. В парке у Риони люди пели, собираясь в небольшие группы вокруг парковых скамеек.

Старый еврейский квартал с двумя синагогами лежал за зданием недостроенного оперного театра, который, как говорили, строился вот уже много лет.

Зимой во дворе лежал белый снег, было холодно.

Патефон, в бок которого вставлялась ручка, которую следовало крутить, исторгал хриплый голос Утесова: « Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая...» Когда завод пружины подходил к концу, голос певца переходил в хрип, и иголка на черной пластинке застывала.

Так на пластинках появлялись борозды, и они становились «заигранными»...

5

- «Итак, я жил тогда в Одессе...», - сказал мой дядя, строка эта нравилась ему, было в ней что-то летящее, как и во всем остальном, что связано было со временем...

У моего дяди были живые, серые, а порой и зеленые глаза, он коротко стригся и у него был черный мотоцикл марки «Харлей-Дэвидсон». Однажды он посоветовал мне вырвать хвост у белой в яблоках лошадки на колесиках и залить в дыру кипяток. Лошадка оживет, утверждал он.

- Кто тебя надоумил? – спросила мама, увидев растерзанную лошадку, – Наверное, твой дядя Мендель?

6

Через пару дней дядя пил чай у нас на кухне и, подняв сверкающую алюминиевую кружку, произнес, обращаясь к моей маме:

Выпьем, добрая подружка  
Бедной юности моей,  
Выпьем с горя; где же кружка?  
Сердцу будет веселей.

Ложки, вилки и тарелки тоже были алюминиевые.

Однажды я попал в полуподвальное помещение, где станки быстро крутили сверкающие листы алюминия, из которых отжимались тазы и кастрюльки. В помещении было шумно, рабочие использовали инструменты напоминающие долото и деревянные молотки, вокруг лежала металлическая стружка.

В окнах видны были ноги проходивших по улице людей и ветви старых деревьев. В этом помещении работали мой дядя, мой отец и мой дедушка. Были и другие рабочие, одеты все были в синие халаты, наброшенные на белые майки.

Вскоре после того как я побывал в подвале, где сверкала алюминиевая стружка, мой дедушка Давид умер на улице, в Тбилиси, куда приехал в командировку. У него был приступ «грудной жабы». Он потерял сознание на улице, и его отвезли в больницу, где он и умер.

Гроб, выложенный белым бумажным глазетом, стоял в комнате. Покойник был в сером костюме. В руках у него была небольшая книга в черном кожаном переплете. Я спросил у дяди, что это за книга.

- Басни Крылова, - сказал дядя, - дедушка их очень любил.

Дедушку похоронили на еврейском кладбище в Кутаиси.

Позднее, когда я учился в тбилисском университете, мне однажды пришло в голову, что мой дед, скорее всего, потерял сознание на изгибе мощеной булыжником улицы неподалеку от здания шахматного клуба, окна которого глядели на проспект Руставели и на лежащую внизу, за рекой часть города.

7

У моего дяди был друг по имени Ражден, грузинский еврей. Это был плотный, краснолицый человек, полуседой и небритый. На конце безымянного пальца правой руки Ражден носил серебряный колпачок. От него всегда пахло вином, у него было немало знакомых, голова его была полна идей, и мой отец в разговорах с дядей называл его «авантюристом».

Мой отец начал работать на литейном заводе в четырнадцать лет. Зимой он носил ватник и в морозные ночи спал, прижавшись к горячей стене вагранки, в которой плавился металл. От него я впервые услышал слова «кокс», «антрацит» и «рабфак».

Однажды мой дядя вместе с Ражденом поехал на несколько дней в Сухуми. Там дядя нашел себе невесту. Она работала в книжном магазине, рядом со зданием сухумского горсовета.

Вскоре мы приехали в Сухуми на свадьбу моего дяди.

Мы выгрузились из поезда на стоявшую под горой платформу станции Бараташвили и поехали к морю на черном фаэтоне.

Домик, где жили невеста, ее сестры, брат и родители, состоял из маленьких проходных комнат с кое-какой мебелью, облупленными зеркалами и синими металлическими решетками на окнах. Веранда и высокие, выщербленные ступени домика, выходили во двор, где в подобных же домиках обитали множество соседей.

В соседнем дворе, за стеной располагался ресторан "Грузия". Вход в ресторан был с набережной. Столики стояли в обширном дворе под навесом. Навес держался на высоких и стройных синих колоннах.

Невеста оказалась доброй, рыженькой и с веснушками. Нас угощали жареной кефалью. Рыба была нафарширована смесью зелени, орехов и темных зерен граната. Мне налили маленькую рюмку вина. Вино в стеклянных графинах было зелено-желтое, и, как мне показалось, сладкое и тяжелое.

После обеда брат невесты, молодой человек по имени Шота с тонкими усиками повел меня к парапету, за которым лежало море. Оно было беспредельно. Под водой лежал песок, по нему бежали блики.

На набережной росли пальмы, которых я прежде никогда не видел. Под ними прогуливались солидные усатые мужчины в белых чесучовых костюмах, белых фуражках и белых, натираемых мелом или белым зубным порошком, парусиновых туфлях. У причала стоял пароход "Молотов".

Здание морвокзала с деревянными, выкрашенные в синий цвет колоннами, на площади перед причалом было построено немецкими военнопленными.

Через несколько месяцев после сыгранной во дворе свадьбы Шоту забрали в армию. Вскоре он погиб. Возможно, он застрелился, может быть, его убили. Его тело привезли в Сухуми в цинковом гробу и похоронили на еврейском кладбище.

Когда у моего дяди родился сын, его назвали Давидом в честь покойного дедушки. Вскоре после этого мы переехали в Сухуми.

Поначалу мы снимали комнату в доме на спускавшейся к морю улице Церетели.

К просторному дому примыкали хозяйственные пристройки, за ними начинался обширный сад. В одном из сараев стояло над столом с тазом и желобом темное, чугунное, литое устройство с шестеренками, ручками и обширным раструбом, куда каждую осень загружали виноград.

В центре двора росла старая шелковица, или «тута». В саду росли яблоки, слива и алча. На грядках росли зелень и лук.

В доме с мезузами над выкрашенными в синий цвет дверьми жила большая семья грузинских евреев. Их предки пришли в Грузию из Персии, где они оказались после освобождения из вавилонского плена. В положенные часы в доме зажигались свечи и читались молитвы.

Это была эпоха дровяных плит и примусов. Керосиновые лампы были естественной частью жизни. Иногда комнаты освещались огнем свернутых из ваты фитилей в плошках с подсолнечным маслом.

Летом во дворе варилась и булькала в тазах зеленая слива, именуемая ткемали.

Тазы стояли на кирпичах, между которыми складывался костер. Осенью тазы наполнялись красными сливами (алычой), из которой готовили густое клапи. Клапи из ткемали или красной алычи выливалось на марлю, сохло, а затем листы клапи отделялись от марли и вывешивались на просушку. Позднее наступал сезон приготовления сацибели, соуса, который варился из помидор....

Осенью во дворе сох разлитый на деревянных столах виноградный сок с заваренной в нем кукурузной мукой – пеламуши. Сохли выложенные на доски козинаки – плитки из смеси ореха и меда... Здесь, во дворе, давили вино и воздвигали шалаши в ознаменование праздника кущей, праздновали за длинными столами праздник дарования Торы...

**ПОД ГОРОЙ ТРАПЕЦИЯ**

1

Мне было лет девять, мы жили в Сухуми, в ущелье между горой Трапецией и горой Бирцха.

Моя мать работала в Горздравотделе. Мой отец работал в ту пору на литейном заводе. В механическом цеху было много станков и инструментов, он с удовольствием показывал их мне. Он испытывал уважение к возможностям техники.

Дом, в котором мы жили, стоял на склоне Трапеции. Две небольшие комнатки находились на втором этаже дома, внизу располагалась кухня.

По утрам на нашей стороне ущелья было сыро, солнце появлялось на небе во второй половине дня. За домами на противоположной стороне улицы бежала к морю узкая речка Сухумка. Берега ее поросли ежевикой, волчьей ягодой и колючками. На дне ущелья шла к городу, постепенно обрастая домами, улица Александра Казбеги.

В доме против нас жила семья учительницы английского языка из грузинской школы. Муж ее сидел в тюрьме, и она давала уроки английского языка, (инглисури эна). Вместе со мной на уроках сидел ее сын, Шота. В разговоре он часто и с удовольствием использовал словосочетание «инглисурский шалопут», что, очевидно, означало «английский шалопай».

Наша соседка справа, женщина в черном, любила поговорить с мамой о родившейся в Варшаве красавице-киноактрисе, которую звали Нато Вачнадзе. В 1953 году самолет, на котором она летела из Москвы в Тбилиси, разбился в горах, во время грозы. Наша соседка предполагала, что к этому приложил свою руку Берия. Она была уверена в том, что Лаврентий, который безуспешно добивался благосклонности актрисы, отомстил ей.

Мой одноклассник жил в дальней, уходившей в сторону гор части улицы, в большом доме, защищенном от оползней подпорной стеной. В доме было много книг, там я впервые увидел толстый том «Витязя в тигровой шкуре» с иллюстрациями Михая Зичи.

Я ходил в школу и по дороге клал длинные, большие гвозди на железнодорожное полотно. Колеса поезда должны были раздавить гвозди и превратить их в лезвие, которое следовало затем заточить, финки с наборными ручками из разного цвета органического стекла были в то время одним из главных объектов интереса и устремлений школьников. Как, впрочем, и карманные фонарики, батарейки, пощипывавшие язык, и взрывающиеся бутылки с карбидом.

Кроме того существовал свинец, который мы плавили в жестяных банках и разливали по формам. Слова «кастет» и «людоеды» присутствовали во всех рассказах о послевоенном периоде. Непременной деталью рассказов о людоедстве были пирожки с детским пальчиком или хотя бы ноготком внутри.

Ребята постарше рассказывали о кастетах и о «марухах». Формуляры в школьной библиотеке пахли клейстером. Фамилия умершего одноклассника была Рыбоконь.

Осенью в заболоченном овраге перед зданием Дома правительства, через которое я шел в школу, охотились за перепелками. Их подманивали светом фонариков. Кто-то собирал перепелиные яйца.

Бамбук рос в нижнем дворе музыкального училища, за высокими воротами с вензелем из голубых металлических прутьев.

К верхнему двору, окаймленному белой балюстрадой, и стоявшему за клумбой с цветами зданию училища вели каменные ступени.

У меня был карманный нож, я вырезал пару молодых бамбуков на удочки, и однажды ранним утром в выходной день мы пошли с отцом на причал ловить рыбу.

По вечерам в домах горели керосиновые лампы. Зимой 52-53 гг., по городу ходили слухи о том, что товарные вагоны уже стоят на путях, ожидая приказа о высылке евреев. За несколько лет до этого город уже прошел через высылку греков в Казахстан. Это было время, когда на улицах часто можно было увидеть безногих инвалидов войны или бездомных людей. Нищета была вполне нормальным явлением.

У подножия расположенной по соседству горы Бирцха располагался парк, где росли сосны, кипарисы и кусты олеандра. Тут же присутствовали ложноклассические павильоны и гипсовые скульптуры. Каждое лето в парке, напитанном запахом хвои, появлялись пионеры в красных галстуках.

2

На плоской вершине Трапеции располагались строения обезьяньего питомника и вольеры с обезьянами. Оттуда порой доносились крики обезьян. В те годы попасть на территорию питомника было легко, каменная ограда была еще не выстроена. С плато на вершине горы открывался вид на залив. На поросших лесом и кустарником склонах горы было немало тропинок. Они вели в сосновую рощу, в близкое село и далее, в сторону снежных гор.

Тропинка к музучилищу пробегала через заросли ольхи и мимозы. О приближении к училищу вначале сообщали голоса труб, затем становились слышны флейты, тромбоны и фаготы, и уже вблизи здания, на обращенном к морю склоне горы слышны были разыгрываемые на фортепиано гаммы и арпеджио, и, наконец, голоса вокалистов...

Я помню мраморные лестницы трехэтажного особняка, залитые солнцем балконы с балюстрадами, окна в резных деревянных рамах, кузнецовский фарфор в прохладных и просторных залах с черными роялями, и многочисленные фортепиано, пюпитры и венские стулья в узких беленых классах.

Из окон и с балконов открывался вид на город и дугу залива. Внизу, перед особняком росли пальмы, тянулась к старой ограде бамбуковая аллея, позади здания, на склоне горы росла мимоза.

Здесь, на склоне горы, мир, казалось, обретал полноту.

…………………………………………………………………………………………………..

На вершине горы Чернявского, именовавшейся в ту пору горой имени Сталина, строились павильоны, переходы и ампирные лестницы, спускавшиеся к смотровым площадкам.

На склонах горы были высажены мексиканские агавы и китайские гинкго.

Перестраивалось сгоревшее здание городского театра на набережной. Заложено было и монументальное белокаменное здание вокзала со шпилем и нелепой колоннадой.

Возможно, что все эти работы были связаны с планами создания на берегу Черного моря особого, подчиняющегося непосредственно Кремлю, черноморского Капри, откуда можно было бы управлять огромной империей.

Партийным руководителем края был в те времена тбилисский назначенец Акакий Мгеладзе. Он был жесток, требователен и часто приезжал на вокзал, где руководил облавами на проституток, приезжавших в Сухуми на поездах дальнего следования.

Неподалеку, в центре города, перед недостроенным комплексом Дома правительства, лежало малярийное болото, куда осенними вечерами прилетали перепелки, а вдоль все еще многочисленных не вымощенных камнем улиц тянулись неосушенные, затянутые болотной ряской канавы...

Однако, вскоре после смерти Сталина идея священной окраины великой империи, связанной с ее сердцем узами крови и духа, отступила, обрела ауру музейного экспоната и смутного предания, а город стал постепенно превращаться в курорт, что-то вроде столицы советской Ривьеры, а вблизи Дома правительства раскинул свои серые шатры цирк-шапито, где выступал прославленный силач, гиревик и штангист Григорий Новак.

3

В те годы мой дядя вместе с женой и маленьким сыном продолжал жить на ул.Церетели, совсем недалеко от моря. Он продолжал работать на литейном заводе вместе с моим отцом и приобрел трофейный «Мерседес-Бенц». Ему приходилось уделять много времени этому чуду германской техники, которое постоянно требовало ремонта. Он любил слушать радио и ожидал больших перемен. Его интересовали большие ламповые приемники, которые начали появляться в те годы.

- Представь себе, - сказал он мне однажды, - в диапазоне коротких волн ты можешь услышать весь мир! И даже Мексику!

Я любил приходить к моему дяде в гости. На накрытом клеенкой столе появлялось блюдо с жареной рыбой. Иногда это была кефаль, иногда ставрида, а порой хамса.

- Ты не знаешь, что такое бычки! Это рыба, которая есть только в Одессе, – говорил он.

Он рассказывал мне о книгах, которые читал, и фильмах, которые видел.

- До войны я видел замечательный фильм «Человек, повернувший Гольфстрим». Ты представляешь, Гольфстрим начинается в Мексиканском заливе и обогревает всю Европу, - рассказывал он.

Позднее, из-за упоминания Мексики мне пришло в голову, что, возможно, мой дядя симпатизировал Троцкому. Но это было не так, я ошибался.

- Отделение ЧК находилось недалеко от нашего дома на Мясоедовской, - рассказал мне он,

- и там расстреливали людей под включенные моторы автомобилей, так, чтобы люди в наших домах не слышали выстрелов. Это страшные люди. Потом они стали арестовывать людей и требовать с них выкупа, золотом или бриллиантами. Они открыли Торгсин и меняли хлеб на золото. А потом начался голод. Твоя мама, Дора, и ее младшая сестра, Клара, плакали. Люди мечтали о краюхе хлеба. А я испортил себе желудок в армии, там мы ели хлеб с макухой.

**НОТАРИУС АМИСУЛАШВИЛИ**

1

В середине 70-х годов, через четверть века после того, как мы уехали из Кутаиси в Сухуми , мой дядя обнаружил, что часть справок о его трудовом стаже утеряна и он попросил меня съездить в Кутаиси и попытаться раздобыть необходимые справки. После чего заверенные документы следовало переслать дяде в Германию, где он, в конце концов, обосновался.

2

Приехав в Кутаиси, я направился в городской архив, где оставил соответствующее заявление. Затем я направился на еврейское кладбище, но могилы моего деда там не нашел.

Далее я решил отыскать одного кутаисского знакомого, изредка наезжавшего в Сухуми. Приезжал он обычно летом, оставлял у нас вещи и сразу же отправлялся на пляж. Он мечтал отыскать себе невесту, которая уехала бы с ним в Кутаиси. Это был громадный и рыхлый, со всегда небритым, покрытым рыжеватой щетиной лицом, парень с выцветшими голубыми глазами. На лице у него поигрывала нероновская усмешка. Его отец когда-то работал в подвале, где гнули сверкающую алюминиевую посуду.

После непродолжительных поисков я оказался в тенистом кутаисском дворе, и, постучав в нужную дверь, оказался на веранде, в объятиях приятно удивленного Дэвика. Глаза его светились неподдельной радостью.

Едва переведя дыхание, я огляделся. У противоположной стены возвышались выложенная до половины человеческого роста стена, составленная из самых разнообразных консервных банок, от «Частика в томатном соусе» до «Рижских шпрот». Присутствовали и легендарная «Печень трески», и «Рыбная уха», и «Дальневосточные кальмары». Над стеной из консервных банок висел портрет генерального секретаря Брежнева в светлом мундире с золотыми шевронами и полным набором сверкающих орденов и медалей.

Дэвик посмотрел на меня и усмехнулся. В его усмешке сквозила гордость автора. До этого случая мне приходилось видеть нечто подобное лишь в мастерских представителей московского художественного авангарда. Не стоило забывать, впрочем, что я нахожусь в городе, испытавшем множество культурных влияний.

Дэвик работал товароведом. При этом он был известным в городе спортсменом. Он занимался стрельбой, играл в шашки и стал дважды мастером спорта. Когда мы с Дэвиком шли по нешироким тенистым улицам города, с ним то и дело с уважением здоровались люди.

Надо сказать, что Дэвик был стройным и крепким парнем до той поры, пока в городе не появилось чешское пиво, к которому он пристрастился. Но продавали его только в Кутаисском оперном театре.

Происходило это так: по ходу спектакля дверь в фойе тихонько приоткрывалась, и буфетчик приглашал очередной ряд на выход.

На сцене шел спектакль, а зрители из вызванного ряда ускользали в фойе, где их уже ждали жирные шпикачики и пиво.

Насытившись, зрители возвращались в зал, где продолжался спектакль, а зрители следующего ряда уже начинали предвкушать свой выход.

Постепенно Дэвик полюбил и оперные спектакли. Две эти страсти, помноженные на число посещений, привели к тому, что Дэвик располнел.

- К следующему приезду в Сухуми мне надо похудеть, - задумчиво сказал он и пригласил меня в небольшой шалман, где его хорошо знали.

Мы отведали кисловатую, сваренную на мацони чихиртму, кябабы со свежей зеленью, жареный сыр сулгуни и другие замечательный творения имеретинской кухни, сдобренные несколькими бокалами «Цоликаури».

После чего мы поехали прогуляться в Цхалтубо, курорт, расположенный в десяти километрах от Кутаиси, под сенью Лихского хребта, отделяющего Западную Грузию от Восточной.

Прогуливаясь по тенистому парку мимо лечебниц, павильонов, фонтанов и прочих, отмеченных печатью имперского стиля строений, Дэвик хранил величественное молчание... Ясно было, однако, что его переполняет тихое чувство гордости.

Через две недели я обнаружил в почтовом ящике письмо из кутаисского архива со всеми необходимыми справками.

Теперь необходимо было перевести справки на русский язык, заверить копии перевода у нотариуса и зарегистрировать их в Министерстве юстиции Грузии.

3

Восточная Грузия начиналась с зимней привокзальной площади, где было светло и прохладно. С площади видны были возвышавшиеся над Тбилиси голубые отроги Триалетского хребта. Все вокруг было окрашено в желто-серые тона. Начертания букв грузинского алфавита на вывесках напоминали гнутые ветви лозы.

Поражало все, - пыль, которую нес ветер, курдиянки в многоцветных юбках и кофтах, подметавшие площадь, гул, гам и клекот голосов, смесь звуков автомобильных сигналов, музыки из репродукторов и трамвайного скрежета, и танцы разлетевшихся троллейбусных штанг.

Восток ощущался не только в том, как выглядели отдельные мужчины и женщины, с их поражающей порой скульптурной значительностью форм, утонченностью или даже чеканностью черт, но и в том, как читалась толпа. Турция и Иран были неподалеку.

Здесь же, среди озабоченно снующих людей танцевала расплывшаяся, нелепо раскрашенная женщина в красном платье и накинутом на него черном пальто. Никто не обращал внимания ни на нее, ни на то, что она пыталась петь, соревнуясь с музыкой из репродуктора.

Другой городской достопримечательностью показался мне безумный отставной военный в застиранном зеленом мундире, брюках галифе и начищенных сапогах, бесцельно бродивший в тот день по привокзальной площади. Оказавшись на перекрестке, он останавливался и восклицал...

- Асци хмали! ...Джугашвили! ...Сакартвело! ...Сирцхвили!

- Сабли наголо! ...Джугашвили! ...Грузия! ....Позор!

Восклицания обращены были к окружавшим его людям.

Ударения в грузинском языке выражены не особенно отчетливо и приходятся на первый слог. Выделяя и чуть растягивая интервал звучания первых гласных, для того чтобы привлечь внимание публики, отставник следовал вековечной традиции мгновенно превращающей рядового человека во взывающего к слушателям персонажа развертывающейся перед ними драмы...

4

В Тбилиси я приехал утром и прямо с вокзала направился в нотариальную контору. Там справки перевели на русский язык и отпечатали несколько копий перевода.

Через пару часов я попал в кабинет нотариуса Амисулашвили в здании тбилисского горсовета на площади Ленина, за углом от Лео-хинкальной на Вельяминовской, там, где начинался район Сололаки.

Нотариус был грузный мужчина с красноватым лицом, однодневной щетиной на щеках и сединой, проглядывавшей в зачесанных назад черных волосах. На нем была белая сорочка, темные, синие в полоску брюки и начищенные черные туфли. Он прихрамывал и страдал одышкой, на носу у него были очки в тонкой металлической оправе.

Он сличил оригинальный текст с переводами, проверил даты и цифры, заверил копии, поставил печати и заверил перевод своей подписью.

Выйдя из нотариальной конторы, я направился на остановку троллейбуса на площади у Музея искусств и вскоре оказался на другой стороне реки, на проспекте Плеханова, где в здании старинной гостиницы «Дарьял» располагалось в то время министерство юстиции.

В приемной мне сообщили, что министр отсутствует.

- Он ушел на обеденный перерыв, - сообщила секретарша, - придите попозже...

Я понял, что министр, скорее всего, спустился в ресторан в цокольном этаже здания и вышел на тенистый, под платанами Плехановский проспект и направился перекусить в расположенную неподалеку закусочную, где подавали жареные купаты с гранатной подливкой.

По дороге я вспомнил строчки поэта, Тбилиси всегда приводил меня в приподнятое состояние духа:

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,

Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,

Я жизнь, как Лермонтова дрожь,

Как губы в вермут окунал.

Вокруг кипела городская жизнь. Стоял летний день. Работали магазины тканей, вин, продуктов и книжные магазины с рассыпанной по полу мелкой деревянной стружкой, которую убирали в конце каждого рабочего дня. Работали рестораны, закусочные, кинотеатры, цветочные магазины и кафе. Тротуары были заполнены бесчисленными людскими ручейками и потоками. Голоса людей тонули в неумолчном гуле птиц.

К министру я попал сразу после его возвращения с перерыва.

Это был мужчина средних лет с темными, курчавыми с проседью прядями волос на хорошо посаженной голове. Черты лица его отличались определенной медальностью.

Окна обширного кабинета выглядывали на Плехановский проспект и улицу 4-го марта, где когда-то недолгое время жил мой дядя.

Стены кабинета были покрыты потемневшей росписью, с присутствием темно- золотистых и шафрановых проблесков, напоминавшей старые восточные ковры.

На стене, прямо над креслом министра висел произведенный в Китае шелкографический портрет вождя революции.

На старинном письменном столе лежал блок сигарет «Колхети» (Колхида). Одну из пачек министр раскрыл и, отбросив серебряную бумажку на покрывавшее стол стекло, закурил сигарету.

Затем он принялся просматривать принесенные документы.

Через минуту он поднял на меня глаза, затянулся сигаретой, и, выпустив голубой дым, спросил,

- Откуда вы приехали?

- Из Сухуми, – ответил я.

- Для кого эти справки? – спросил он.

- Для моего дяди.

- Где живет ваш дядя? – спросил министр.

- В Западном Берлине, – ответил я.

- Значит, вы сначала съездили в Кутаиси, а теперь приехали сюда? – спросил он.

Я подтвердил.

- И все это вы сделали для того, чтобы достать справку для дяди? – спросил он.

- Да, - сказал я, - это может привести к увеличению его пенсии.

- Что ж, – сказал министр, - значит, вам нужна справка, в которой все будет правильно оформлено. А нотариус Амисулашвили допустил ошибку в оформлении этого документа. Поезжайте к нему и скажите, что вас прислал министр. Я ему сейчас перезвоню. А потом вернитесь ко мне, - добавил он.

Я поблагодарил министра и направился к выходу по отдающему темным блеском натертому паркетному полу.

Над дверью, расположенной против двери висел шелкографический портрет уроженца Гори китайской работы. Вдоль стены стояли ряды книжных шкафов, заполненных темными с золотом корешками книг.

5

Оказавшись в нотариальной конторе, я заметил, что нотариус вспотел от волнения. Свежие копии со всеми необходимыми изменениями были немедленно напечатаны, заверены и переданы мне.

На улице, по дороге к министру, я понял, что бегая со своей бумажкой от сидевшего в пустом кабинете феодального правителя к писцу и обратно, я невольно стал участником почти средневековой интриги.

И в то же время я вновь ощутил, что свидетельство о прошлом может быть и неполным, и ошибочным, даже если оно написано и заверено на бумаге. Впрочем, изменяется оно и тогда, когда живет в памяти... И именно по этой причине, природе прошлого тоже присущ элемент неопределенности.

6

Позже я встретился со знакомыми, и мы решили подняться на Мтацминда на выстроенном бельгийскими инженерами фуникулере.

С плоской вершины горы видны были изгибы серо-желтой реки, красные черепичные крыши убегающих вниз кварталов, зелень садов в излучине реки, тела церквей, метехский замок и здание из желтого камня и крыша оперы над чинарами проспекта Руставели.

В одном из открытых павильонов небольшого ресторана мы дождались официанта, который приветствовал меня так, словно мы с ним виделись только вчера.

Как и многие другие тбилисские официанты, Коба отличался даром ясновидения. Что бы вы ему не заказывали, счет всегда указывал именно ту сумму, которую вы собирались потратить.

С такими официантами было просто. Им говорили,

- Коба, дорогой, вот хотим посидеть. Ну, вина принеси, закуску, шашлык, сам понимаешь...

У хорошо знакомого официанта можно было и денег одолжить при необходимости. Он знал, что человек непременно вернется и к тому же отблагодарит его.

Впервые я увидел его на Земмеля, в центре города, в ресторане «Гемо», что означает «Вкус».

Затем, когда «Гемо» закрылся, Коба работал в известном всем любителям хаши и расположенном поблизости от «Гемо» ресторане «Самайя». В отличие от «Гемо», занимавшего полуподвальное помещение, павильон ресторана «Самайа» находился в небольшом саду, разбитом на спуске к реке. Столики располагались не только внутри одноэтажного здания с арочными окнами, где днем царила полутьма, но стояли и под деревьями у фонтана, который бил из чаши, окруженной тремя голубыми гипсовыми фигурами женщин в национальных грузинских костюмах.

В зимнюю пору я обычно приходил в «Самайю» часов в восемь утра, перед лекциями с тем, чтобы поесть хаши - заправленный молоком суп, сваренный из говяжьей требухи, голени и копыт. В хаши следовало добавить соль и чесночную настойку.

Подавался на стол и нарезанный на куски горячий грузинский хлеб. Его выпекали всю ночь в «торнях», в специального типа печах «тонэ», близких по типу к индийским «тандури».

Под хаши пили водку или чачу. Те, кто как я, не пил спиртного, запивали густой, горячий суп с мясом, хрящами и потрохами лимонадом.

То была еда для людей, занимавшихся физическим трудом, и бедных студентов вроде меня. Собирались «на хаши» и дружеские компании, приходили и люди, пившие до этого «всю ночь», как говорили в то время. Хаши чудесно протрезвлял.

К девяти часам утра поток посетителей обычно иссякал, и рестораны, где можно было поесть хаши, оставались практически пустыми до полудня.

И вот теперь, через полтора десятка лет после окончания университета, Коба подошел к нашему столу с тем, чтобы принять заказ, и мы заговорили так, словно виделись только вчера.

7

Домой, в Сухуми, я возвращался на поезде, следовавшем в Ростов, и оказался на перроне сухумского вокзала в пять часов утра.

Было темно и сыро. Ночью прошел дождь, и ампирное здание вокзала, выстроенного в пятидесятых годах, напоминало собрание дольменов в расположенном в ближних горах селе Верхние Эшеры.

Я вышел на шоссе, троллейбусы еще не ходили, и остановил проезжавший по шоссе «Москвич» послевоенного выпуска. За рулем сидел усатый горбун. Он сразу же начал расспрашивать меня о том, откуда я приехал, чем занимаюсь и т.д. Мне он не понравился и, попросив его отвезти меня к Морвокзалу, я решил просто молчать.

Когда мы доехали до темной площади перед причалом, он спросил,

- А теперь куда?

- К въезду на причал, к воротам, - ответил я.

- А там что? – спросил горбун с легкой иронией в голосе.

- Там меня ждет подводная лодка, - сказал я.

Сообщение о подводной лодке горбуна насторожило. В глазах его блеснуло недоверие. Говорил ли я правду? И зачем? Или лгал?

Когда машина остановилась, я вылез и протянул горбуну рубль. Затем я пошел по уходившему во тьму причалу.

Пройдя несколько шагов, я обернулся. Видны были ночные, редкие огни на темных, сбегавших к морю холмах. Темное дыхание моря ограничивали фонари пустой набережной. Горбун следил за мной с площади, из окна «Москвича». Глаза наши встретились, двигатель взревел и «Москвич» уехал во тьму.

В конце причала, завершая узкие одноэтажные строения багажных складов, светилась над подобием капитанского мостика вертикальная неоновая стрела. Пахло солью и ржавчиной, висели на цепях огромные резиновые шины, смягчавшие удары швартующихся у причала пароходов.

С края причала город и набережная с горящими огнями напоминали тускло освещенный пустой театральный зал со сценой с оставшимися от последнего спектакля декорациями.

**Рыба на ужин**

I

Однажды вечером молодой человек по имени, или, вернее, по прозвищу Блюм, поднимаясь к себе домой, на пригорок, по узкому проходу меж двух рядов темно-зеленой, стриженой колючей изгороди, состоящей из кустов трифолиата, увидел танцующих светлячков. Он остановился, чтобы рассмотреть их как следует, но тут в доме зажгли свет и светлячки исчезли. Затем свет в окне погас, и молодой человек, остановившись, глядел на холодные золотые огни в темноте.

Светлячки летали низко, не выше вытянутой руки, и иногда падали в высокую синюю траву, а в доме было темно и тихо. Один светлячок медленно двигался по тропинке, то и дело вспыхивая. Блюм переступил через него и медленно поднялся вверх по лестнице. Отворив дверь, он обернулся и увидел, что светляков великое множество. Они вспыхивали и гасли не только вдоль дорожки, что вела вниз, на улицу, но и в саду, и в винограднике, во всех темных углах двора.

«Значит, наступило лето», - подумал Блюм.

Он впервые связал наступление лета с появлением светлячков, и это заставило его задуматься. Он не сразу научился замечать светлячков в начале лета или волнующее совершенство сада в начале осени, легкий звон голубеющего неба и царственную женственность спелых плодов хурмы, склоняющей ветви к лестнице.

«Но в такое трудно верится потом, - подумал он, - поэтому, наверное, я больше люблю позднюю осень, когда лопается хрустальный пузырь лета, когда в разорванном воздухе тучи и волны, затаив дыхание, полетят на берег, когда море станет тяжелым и темным, после того как тучи упрутся в горы, и на море, волнующееся и дрожащее, рухнет стена дождя, ливень, - небывалое испытание для крыш, улиц и канав, переполненных водой, желтой, несущейся к морю... Какой темной и тяжелой становится зелень кустов, темно-зеленые параллелепипеды и сферы, а на газонах вокруг немеркнущая киноварь гроздей сальвии, и особая холодная свежесть моря и запах гниющих раздавленных виноградин, когда проходишь, весь мокрый, через сад».

II

Но осень была еще впереди, а в середине одинокого жаркого лета в пустом доме, лета случайных встреч, тихого ночного шепота и теплого ленивого моря, он заболел желтухой и оказался в больнице на мысу, замыкавшем залив.

Больница была деревянная, сырая, с ободранными стволами эвкалиптов во дворе, заросшем желтой неухоженной травой, с выкрашенными синей краской дверьми и переплетами окон, и колючей проволокой, закрывавшей выход к морю, на камни, где гнили на стапелях старые катера, всегда ярко синело море, а солнце всходило напротив, из-за невысокой зеленой горы, под которой лежал город с розово-желтыми кубиками домов и белой полоской набережной.

Кроме него в палате лежало еще трое: толстый шофер Саша, который ел мед, настоенный на вшах, чтобы поскорее выздороветь, косноязычный грек-картежник Панайот, рот у которого был полон золотых зубов, и старичок Кобалия, рассказывавший о том, как давно, когда он был молод, купались они голые с девушками их деревни в запруде горного ручья.

Болезнь протекала легко, странным было лишь собственное лицо,- желтое, с желтыми же белками и резко красноватыми склерами, и странная тяжесть в будто чужом, медлительном теле,- он был очень вял и просиживал дни на скамейке под эвкалиптом, ленивым и ободранным пришельцем с чужого континента. Но вскоре он освоился, почувствовал себя школьником на каникулах, и, махнув рукой на болезнь, стал пролезать сквозь дыру в заборе из колючей проволоки, разглядывать камни, облизанные водой, синюю ленту моря и яркие солнечные заплаты на ней.

III

Худой, небритый Мишаня навещал его в больнице. Однажды он принес небольшую коробку масляных красок, разбавитель, несколько картонок и кисти.

- Ну, баночки, я думаю, ты сможешь достать здесь, - сказал он и улыбнулся, - оставь математику в покое, попробуй сделать что-нибудь руками.

Робко написал Блюм свой первый этюд - одноэтажное здание больницы, синие переплеты окон и желтую штукатурку стен, старый эвкалипт у угла строения; не особенно приглядываясь к натуре, написал он кусок моря и ржавый катер за оградой, - ему понравилось возиться с красками.

Это его взволновало, каникулы окончились, и на третьей картонке рядом с огромной, в пол ее роста ромашкой, появилась Юля. Она стояла к нему спиной, сплошь усеянной золотыми пятнами веснушек, а вокруг простиралось бело-зеленое поле, обнимавшее синий овал моря, рассеченный темным кругом солнца, на которое наползли тучи.

Он поразился тому, как легко получилась ее фигура, но потом подумал, боже, сколько же времени я смотрел на нее, на эти плечи и шею в веснушках, на длинные ноги и тяжелые бедра, и на рыжее пятно внизу живота, на грудь и в дымке всегдашней глаза.

Не могу оторваться от них и сейчас, когда совсем ослаб, и лишь в цвете брежу их явлением, все еще цепляясь за то, что заменило мне многое, чему многое отдал, но не понял, что иногда являлось как холодное молчание пустой залы с досками огромными икон, с византийскими мужами над натертым паркетом, в спокойствии и отрешенности багряных, пурпурных и фиолетовых тонов, в остановившемся времени неоконченной фразы, несказанной истины или несказ**а**нной..., а я исчезаю, тот я, старый, превращаюсь чужого для себя же, но мне не забыть, как когда-то, полуголодный, выходил из сизой тьмы подвальчика в фиолетово-бледное и зеленое начало тбилисской весны, и от голода и одиночества в неизведанном тогда еще звучании грузинской речи, в сизой тьме, куда оглянулся, цветы стали вспыхивать, красные, пурпурные на фиолетовых длинных стеблях, с широкими мясистыми листьями, шершавые цветы голода, канны...

«И снова все повторится, - подумал он, - все потеряю, и вновь через желтый цвет пройду».

IV

На другой день с утра он взялся за следующий картон и к обеду окончил его, а после обеда, мутного супа и тающих безвкусных котлет, в больницу приехала Юля.

Сидя на скамье под эвкалиптом, он увидел ее, узнал ее походку, она была в чем-то гладком, легком, она шла от ворот, через которые впускали в больницу, и он узнал ее издали, сразу, но заставил себя сидеть и ждать.

В левом углу картона изобразил он себя в больничной пижаме, сидящим на краю огромного прямоугольного проема в охряной стене, а высоко и справа, изобразил он летящим свой махровый сине-зелено-желтый халат, с болтающимся в полете поясом, халат, в котором провел он всю свою прошлую неудачную, холодную и дождливую зиму, когда впервые закралась ему в голову та, не дававшая потом уже покоя мысль.

Воспоминания зимы были ему неприятны, он понимал, что той зимой окончательно изменилось или изменило ему нечто важное, едва ли не самое важное, но в ту зиму он заметил, как стоят сырые грушевые деревья под дождем и научился, выходя по ночам в сад, разглядывать темное ночное небо и грозди спокойных немигающих звезд.

Надев халат, он медленно ходил по квартире, покуривая сигареты, глядел в окно, потом на сереющее под вечер зеленое сукно письменного стола, долго читал, устроившись в старом, обитом цветастой материей кресле или уходил в эвкалиптовую аллею. Деньги он зарабатывал репетиторством, а она молчала.

Так год прошел , словно сырой дождь, и исход его, пламенеющий итог, он увидел на куске картона в летающем халате, и записал пустое пространство, где парил халат, профилем желтой, как истина, пустыни и красным, почти фиолетовым небом. Халат парил над пустыней, в прямоугольном проеме стены, а на нижней грани проема сидел он сам в больничной пижаме.

«Замечательно, - подумал он, - и говорить ничего не надо, кое-что я знаю и довольно. И вновь пройду через желтый цвет, в ту раннюю фиолетовую с зеленым весну, когда выходил из тбилисских подвальчиков полуголодный, и ничего вокруг не знал, ни домов, ни лиц, ни балконов, ни гор вокруг, и вдруг из полутьмы слева цветы возникли, - красные, шершавые цветы голода, а я , как я был одинок и все лишь о тебе думал, а теперь груши под дождем стоят, и вновь мне идти через желтый цвет, как на той акварели, рыбой голубой с оранжевым плавником в лимонной пустоте; я променял одиночество на право быть чужим.»

- Прелестные вещицы, - сказала Юля, навестив его в больнице сразу после возвращения из Ленинграда, - дай мне сигарету, они у меня в сумочке, ну, эту вещь с ромашкой ты, конечно, подаришь мне? Ведь это для меня написано, - она улыбнулась, глубоко затянулась сигаретой, выпустила дым и взяла его под руку.

Теперь он начинал понимать, что его пугало и настораживало, хотя его и теперь еще влекло к ней, ее походке и длинным рукам, он начинал понимать уже, что та область ее сознания, куда он никогда не мог проникнуть, то, чего он не мог понять и что нередко определяло его поведение, в чем он с горечью вынужден был себе признаться, то, что делало его чужим, что пугало его, то, что он пытался заполнить различными химерами, все, чего он не мог завоевать и чем она сама не обладала, вся эта область абсолютно недоступного для него, постижимого лишь сейчас, когда он, слабый и вялый, стоит в нелепой больничной пижаме у скамьи под ободранным эвкалиптом, и к спинке скамьи прислонены его этюды, а Юля курит сигарету и смотрит на них и говорит, о боже мой, неустанно говорит, лишь потому что я живой, и потому что рядом и писал ее, а иначе бы она молчала, молчала и ходила по зале, и глядела на деревянные доски икон, и говорила бы очень мало, и стояла бы перед ними, вытянув голову вперед и сложив под грудью руки, а теперь она говорит, да это же безумно просто, и как я не мог понять этого раньше, ведь все, что я стремился завоевать, все, обо что я разбивался, что меня ранило и мучило, чего я не понимал и чем болел, да это же просто ничего, ничего, ни-че-го пустой белой ванны.

Это просто ничего, ничего, ничего, а я ловил походку и линию плеч и глаза в дымке, о как я тянулся к этому, и переступал границы свои, и тянулся к ним и бежал от них, а потом, потом, потом, как поражали меня эти пустые ленивые часы, рассеянный свет на пустой бутылке, недоеденный кусок рыбы, торчащая кость на тарелке, рыбья голова с отечным глазом в мусорном ведре, пепельница, полная сухих горьких окурков, пустота, пустота, пустота… Да ведь это была она сама, то, что я не мог объяснить и заполнить тоже не мог, пустота сосуда, камня и ванны, но это страшнее, так порою ведешь, скользишь рукой по халату, и вдруг кончиками пальцев ощущаешь что-то незнакомое теплое, чужое, и лишь потом понимаешь, что рука угодила в прореху, и это твое собственное тело. Она сидит и молчит в кресле с цветастой обивкой, с давно поблекшими синими и розовыми цветами, а я брожу в халате и курю всю зиму в ожидании спасительной идеи, работа не движется, я брожу в ожидании конца внезапно открывшейся пустоты, но уже знаю, ведаю, что не исчезает и никуда не исчезнет это единственное, необъяснимое чувство пустоты, дыра, живая пустота, сопряженная вечной открытой вселенской пустоте.

V

Ослепительный гул солнца постепенно стихал, середина жизни была уже позади и Ламм доедал жареное мясо с картофелем сидя за столиком ресторанчика на причале и поглядывая на море.

Бетонные площадки аэрариев с топчанами, связанные узкими бетонными лентами лесенок и переходов с металлическими, выкрашенными в голубой цвет перилами висели в воздухе, окаймляя длинную полосу пляжа. На бетонных дорожках располагались узенькие, ребристые строения душевых и раздевалок, а за металлической сеткой ограды, за кипарисами и олеандрами вдоль дороги уходили вверх мягко очерченные невысокие горы.

В воздухе и в море ощущалось еще неистовство лета, но по утрам становилось ясно, что наступает пора прохладной, стеклянной, сверкающей на солнце осени без запаха, пока зима не принесет сырость, соль, острый запах гниющей рыбы и водорослей, соединенных с шипением воды.

Сидя за столиком ресторанчика на причале и медленно отпивая вино из бокала, Ламм видел полосу моря вплоть до мыса, границы залива, шире и круче, чем немногие люди на пляже, бродившие у воды.

Он жевал медленно и тщательно, смахивая крошки с бороды крупной белой рукой, потом вытер губы платком, сунул его в карман лежащей рядом на стуле куртки и, отодвинув тарелку от себя, медленно выудил из пачки сигарету и закурил, прикрывая горящую спичку от ветра и подвинув поближе бокал с недопитым вином и чашечку с кофе, только что ему принесенную.

Кофе на причале варили очень хорошо, и ему было приятно пить его, сидя на солнце и глядя на медленно движущихся обнаженных людей.

Репродуктор захрипел, смолк, захрипел вновь и понес над пляжем громыхание музыки, а издали, с края пляжа к причалу уже шла невысокая смуглая армянка в белом халате, собиравшая в ведро обрывки газет, окурки, тряпье и огрызки фруктов, - наследство осеннего дня человечества, проведенного на пляже.

Море медленно, лениво бежало к берегу, женщина собирала мусор в проржавевшее жестяное ведро, оттаскивала топчаны подальше от колеблющейся полоски воды и сбрасывала мусор в кучи, чтобы потом зажечь костры. Вода в море зеленела день ото дня, но Ламм знал, что в светлые чистые дни ноября оно еще вспыхнет глубоким синим цветом, чтобы окончательно выцвести зимой и приобрести неопределенно бурый оттенок, а весной стремительно переродиться в наступающий отовсюду голубой воздух.

А по бетонной полосе к пляжу, мимо ресторанчика, шли с катера двое, мужчина и женщина.

Светловолосый, почти рыжий и длинный Блюм щурился, а лицо Юли было совершенно спокойно, казалось, она не замечала густого зноя конца дня.

- Cмотри-ка, Ламм здесь, - сказал Блюм.

- А вот это меня совершенно не волнует, я хочу поплавать, - ответила Юля.

А Ламм, сидя за столиком, помахал им рукой.

- Кофе пить будете? - спросил он.

- Здравствуйте, - сказала Юля, а Блюм прищурился и сказал:

- Привет, да, да, конечно выпьем. Но мы, пожалуй, сначала искупаемся.

После чего они быстро разделись и спустились к морю.

На пляже уже разожгли костры с мусором, бились и трепетали яркие языки пламени, в густом светлом воздухе несся голубой дым, и воздух дрожал.

- Мы искупаемся и согреемся у костра, - сказал Блюм, его волновал огонь, и он всегда шутил, когда его что-нибудь волновало.

- Ах, оставь, - ответила Юля и засмеялась, - я голодная, я хочу есть, но купаться я тоже хочу, пока еще тепло, - и они вошли в воду.

Вода была неожиданно приятной и спокойной, плыть было легко, в свежей зеленеющей воде они заплыли довольно далеко от берега, качающейся серой полоски с желтыми пятнами костров, живыми как вода, противостоящая невысоким, зеленым предгорьям.

Блюм нырнул несколько раз, но неглубоко, ниже двух метров было уже темно, и, поднимаясь наверх, посмотрел, как плывет Юля, как двигаются в такт ее руки и ноги, как изгибается меж водой и светлым еще небом тело.

Они вышли на берег с началом сумерек.

- Я ужасно хочу есть, - сказала Юля, стряхнув капли с руки и поправив волосы, когда они, уже вытершись, стояли у стойки буфета.

Потом они втроем сидели за столиком, вечер уже опускался спокойно и размеренно, рубеж дня был перейден, и костры догорали вдоль пляжа.

Ламм есть отказался, и тогда Юля предложила:

- Ну, вы хоть вина выпейте...

«Хороший у нее аппетит, - подумал Ламм, - а впрочем у всех женщин он хороший...»

VI

На следующий день была суббота, и днем они снова встретились на пляже.

Подойдя к воде, Блюм рассеянно зачерпнул рукой мокрые прибрежные камушки. С них стекала вода, и на мокрой руке они казались живыми.

Камешки напомнили ему о смерти, и он подумал, что сама возможность ощущения гораздо дороже того, что ощущаешь, будь то камушек или драгоценный камень.

- Вот камешки, - продолжал он, - для тех, кто умер, они дороже были б всех камней... Если вообразить, что они могут думать, но не ощущать...

- Ощущать? - переспросил Ламм, вспомнил отца и добавил:

- Вот, пожалуй, портрет отца надо было бы так написать...

На последней сохранившейся фотографии отец был лыс, глаза его были полуприкрыты толстыми веками, а на лице присутствовало загадочное выражение, присущее глуховатым людям, которые словно вслушиваются в собственный голос.

После того как недавно умер его брат, полный, слабый, лишь внешне похожий на отца человек, Ламм все чаще думал об отце.

- Молчаливый он был человек, глуховатый и тактичный, - сказал Ламм однажды, - и ко мне очень ровно относился, хотя я первый был в семье с «такой» биографией...

VII

А Блюм направился к Юле, которая лежала на топчане и наслаждалась солнцем. Услышав приближающиеся шаги, она открыла глаза и спросила:

- Ну, что вы открыли на этот раз?

- Ничего особенного, - Блюм засмеялся, протянул ей руку, обнял за плечи, когда она встала, медленно пригнувшись, поцеловал ее, белую, в золотых пятнах, и повел к воде, а у воды наклонился, поднял камешек, мокрый, вот она, драгоценность, на ладони, и протянул ей, - возьми, вот драгоценность.

Она сказала «спасибо» и засунула камешек в вырез купальника.

Потом он оглянулся, Ламм шел по бетонному причалу в ресторанчик, в такой день славно было бы пообедать на воздухе.

Блюм стоял на мокром песке, ожидая пока Юля отплывет дальше с тем, чтобы нырнуть и, пройдя под водой против набегающих волн, догнать ее и вынырнуть впереди, великолепно пройти под водой по плавной дуге, сначала вглубь и рядом с дном, оно летит совсем рядом, а потом отрываться от него, идти в прохладной придонной воде, и когда грудь разопрет оттого, что воздуха уже нет, пойти вверх, но не сразу и быстро, но медленно и плавно поменять слои и посмотреть, где оно, мутное пятно в светлой воде впереди, возникающие контуры плывущего тела, и на последнем дыхании пронестись мимо, на несколько метров вперед, сквозь пузыри воздуха, срывающиеся с ее ног и лопающиеся под водой, наверх, где можно вдохнуть, где грудь распирает, но уже по другому, и усталость, и качается гладь и ты вместе с ней, и вокруг торжество, великолепие света, и легкое головокружение... Великолепное море, всем хватает места, даже если течение и сильно сносит, но ведь всех сносит одинаково... Всегда можно прийти к морю, дрожащему, живому в раковине Земли. Непостижимо изменение его, все забыть можно...

«Но чего-то здесь не хватает, - думал он позже, когда они с Юлей, усталые, свежие, сидели с Ламмом за столиком, на легком ветерке, на причале и обедали... А-а, женщин не хватает, - понял Блюм, - раньше он всегда с женщинами был, и другой какой-то, все иначе было... да и я был другой когда-то...»

« Страдающий человек, - вот что я думал тогда о Юле, - бред, она тебя просто хочет целиком, - говорил Ламм, - целиком, ты понимаешь, - и палец вверх поднимал, - страдающий человек, - думал я, - между верой и сомнением, - ну, а если бы она хромая была, тогда что? - Ламм говорил, - да, грубо это, но ты подумай...

- Страдающий человек, - думал я, - и слова эти, как спасительный мост протянулись , хотя и не все понимал, то был другой берег для меня, и, наверное, да что, «наверное», определенно не верил я в этот другой берег, но мост, слово, да причем здесь слово, сам как мост тянулся, и презрел все, и бросил подвальчик в тумане сизом, фиолетово-зеленую весну меж гор, и балконы, и ясное ощущение одиночества и чистоты, но для чего и зачем?.. Ведь невозможен этот берег другой для меня, и знал, что невозможен, и цветы вскоре стали являться, красные, шершавые, пурпурные, на толстых фиолетовых стеблях, красные цветы голода, но и они пропали, остался страдающий человек, и потянулось разломанное все: сумятица и зыбкость, и отсутствие последнего решающего слова, и не одиночество, чужим стал, да где же вы, где вы все, и так все шло до тех пор, пока однажды в залах пустых с вощеными полами не заметил вдруг, будто впервые, на доске иконной глаз в треугольнике, незримый, - началом это было, началом, основой, вот тогда именно стал понимать, в зале, в спокойствии и отрешенности красных, пурпурных и фиолетовых тонов глаз этот...

И задумался, а что если и впрямь берега, и мне на другой берег нельзя и не дано, да где я, кто я, право, и отчего обманываю себя, а она - человек страдающий, да как я могу это решить, из-за снов своих, что ли, да и на каком языке они, не знаю, кажется лишь будто летим мы, и горы внизу щербатые, близко к солнцу, и жарко и бело, и я притянул ее к себе, и рукой, ребром ладони голову ей отпилил, кровь струйкой на шее вниз потекла, вниз с шеей, с телом ее к земле, а я устремился ввысь, и отчего же после этого решился, сдался на многое, сдался, а ведь сходство какое, - он подумал, - в Самарканде мавзолей Шах-из-Зинда, Царь Живой, солнце там какое, живой, не зря это, воскрешение царя с головой отрубленной, а тут, Боже, верни по глотку, по капле хоть, если сразу испить не могу, ясность и цвета, желтый и красный, не хочу и не могу больше говорить...

Да и как я могу ясно все выразить, вот уже три года как халат написал, парящий над пустыней, полосатый халат над желтой пустыней, но что сказать об этом могу, как объяснить, отчего сам в углу сижу, а халат над пустыней парит, но это итог, первый, я это знаю, итог тех лет и глаза в треугольнике незримого, указавшего… да я, как видно, боялся, - неожиданно открыл он, - не просто боялся собаки или темного подъезда, боялся ее потерять, боялся и лгал себе о человеке страдающем..., боялся утерять, вот отчего я к этому тянулся, а был лишь более наивен и хитер, но нет, искренен я тоже был..., не зря же как-то повторил ей фразу: «Доколе молодцы вроде меня будут шататься между небом и землей?..»

Но вот прошла эта гроза, и как изменилось все, мы ненавидим тайных и явных свидетелей, мы их любим и готовы уничтожить, унизить, мы чужие, другие людям, нетождественные себе, и я дарю ей драгоценность, мокрый камешек, стоя на мокром песке...

Но о чем это они говорят здесь за столом ? А, об искусстве, разумеется, Ламм держит в руке бокал и говорит:

- В искусстве всегда присутствует момент формулы...

- А кстати, о формулах, прошу вас, посчитайте, пожалуйста, нет, нет, Ламм, сегодня я уплачу, прикладная математика тоже порой приносит свои плоды.

Кофе был уже выпит, и Юля отошла куда-то, на цементе причала удлинялась к вечеру тень решетки, а от горы бежала навстречу закату рыжеватая тучка, Блюм затянулся, выдохнул дым и сказал:

- Если бы я просто мог стоять и писать камешки, то есть я, конечно, могу это делать, но я совсем не верю в то, что придумываю, и меньше стал верить в то, что узнаю... Пожалуй, я иногда верю в лица...

- Послушай, - сказал ему Ламм, - отнесись ты к себе серьезно, пиши, пиши и пиши, это ведь ремесло, в конце концов, этакий физиологический процесс, иногда приятный, а иногда и нет, но все равно, уж поверь мне, необходимо работать, и потом ты поймешь, камень - это камень, водоросли - это водоросли, глаз - это глаз... Все это предметы , формы и пространство и больше ничего, ты мне поверь, прошу тебя, - он говорил это медленно, лицо у него было красное и голова порядочно поседела, да и вечер уже наступил.

VIII

Потом пришел день , когда, наконец, к Ламму приехала из Москвы его подруга.

Она появилась после полудня на длинной бетонной дорожке, тянувшейся вдоль края песка, а за ней шел юноша, сын Ламма от первого брака.

- Ламм, - сказала она, - со мной прилетел твой сын, я тебе сына привезла... я сразу поняла, что он твой сын, как только в самолете его увидела...

- Сынок, - сказал Ламм, - ну, - он потянулся, обнял его и поцеловал .

А сын сказал:

- Здравствуй, папа...

Сын был высоким, длинным, тощим юношей, казавшимся нереальным здесь, на длинном дрожащем причале, в трепете и шуме ярких пятен, глаза его походили на виноградины, а волосы сбивались на лоб, на знакомую легкую живую линию от лба до подбородка, увиденную когда-то, когда Ламм впервые писал автопортрет.

- Ну, - сказал Ламм, - ты вырос, выше меня уже. А как мама?

- Ничего, - сын тихо засмеялся, - тебя не вспоминает...

-Так, - сказала Ламм, сел и забарабанил пальцами по столу, поцеловал в светлую голову подругу свою, заглянул ей в глаза, - ну, садись, милая... И снова посмотрел на сына...

Давным-давно еще в Москве вошел он как-то в пустую, почти без мебели, новую свою квартиру, держа в руке крупное, красное яблоко, прошел в комнату, лег на диван и закрыв глаза, вспомнил о яблоке, которое он оставил у зеркала; в ванной шумела вода, и ему хотелось спать.

Но скрипнула дверь, из ванной вышла жена, обтираясь махровой простыней, оставляя мокрые следы на полу, среди пустоты и невидимой пыли, - она остановилась в столбе света, - полная, белая, голая, светловолосая. Подошла к зеркалу, упала на пол махровая полосатая простыня, рука потянулась за гребнем, чуть погодя она подошла к дивану, брызнула водой с мокрой еще руки, он открыл глаза, посмотрел на нее.

- Ну, - протянула она, - и чего ты хочешь?..

- Тебя, - ответил он и привлек ее к себе.

- Меня-а, - пропела она в ответ и была уже рядом на неубранной еще со вчерашнего вечера постели... И после долгого, тягучего, с запахом мытого тела, неожиданно необыкновенного под дневным светом слияния она засмеялась тихо с закрытыми глазами, вся белая, текучая...

- Посмотри, как мы живем, - сказала она, - посмотри, ничего нет... Как, а?

- Как? - переспросил он.

- Колючий, - протянула она, куснула его в плечо, потом заглянула ему в глаза:

- Ну, чего еще хочешь?

Он подумал, помолчал, а потом ответил:

- Еще тебя, - и снова к ней потянулся.

И уже потом, потом, потом она сказала, потягиваясь:

- Ну да, я сладкая, мытая, а ты седой и красный, - поднялась лениво, подошла к зеркалу и ушла к воде, источнику, водопаду.

Мысленно дойдя с ней до водопада, он усмехнулся, встал, прошелся по комнате, - о как пусто здесь! - отворил дверь в коридор, в соседнюю комнату, и тут пустота, мальчишка длинный, тонкий - сын, сидел на стуле, нога на ногу, и глядел в окно, а что там в окне, за окном?

И Ламм уехал к себе в мастерскую.

Сколько их было, этих мастерских, - пустых, огромных и маленьких, рядом с чердаками и подвалами, любопытством и страхом, светом и голодом, мясом и луком, женщинами, красками и пепельницами, а от всего остается то, что в углу, на холстах и картонах, и нельзя остановиться, надо делать еще, - живое, целое, как уходящий день и мир, - живое, как кровь, чтоб порезаться можно было...

Работы пером, графика, листы, где вереницы сплетенных тел, карлики, ключи и женщины; и живопись, - плотные, огромные, мастихином писанные сковородки и будильники, атрибуты маленького, персонального ада; одинокие автопортреты, а потом вдруг кубы, окна, и в них летающие шары, птицы и женщины, - серые, розовые, голубые. И отдельно полуабстрактные работы,- конструкции, опоры и проемы, ускользающий остов бытия...

IX

Здесь, на море со временем появилась у него и мастерская в старом складе бездействующего предприятия, - игра пьяного случая, плод случайного знакомства с осоловевшим грузным человеком, долго размышлявшим над словом «мастерская», - в городе не было строений с просторными чердаками или мансардами, не было и пустых, сухих подвальных помещений.

- Вид хороший хочешь иметь? - спросил он, и судьба старого сарая на склоне горы, поросшей эвкалиптами, была решена. Сгодилось и деформированное железо, хранившееся в сарае, - здесь начал Ламм делать свои «ассамбляжи», - так именовал он частью железные, частью деревянные конструкции, расписанные маслом, и заключенные в массивные деревянные рамы.

Ассамбляжи он делал зимой, а летом писал портреты по заказам, писал живых и покойников, кого придется, живых с натуры, покойников по фотографиям. Начало этому положила работа, заказанная грузным меценатом, «дань нашей дружбе», - как сказал тот, - портрет, изображавший родителей мецената на фоне абсолютно чистого, не по-земному просветленного неба, висел в гостиной белого двухэтажного дома с широкой лестницей; летом он писал портреты или реставрировал невесть как попадавшие сюда работы поздних итальянцев или весьма сомнительных голландцев, а иногда и иконы...

X

Осенью, по утрам тени от синих ребристых загородок тянулись по песку к морю, и пятна голубой влаги светились на коже выходивших из воды мужчин и женщин.

Незадолго до полудня дымка, обычно висевшая над городом летом, исчезала и прибрежная часть города становилась видна в деталях и подробностях, наводивших на мысль о изображениях на старых гравюрах.

Ламм приезжал на пляж во второй половине дня, - купаться, загорать, обедать и пить кофе в маленьком ресторанчике на железных опорах причала, к которому приставали катера.

В ресторанчике к нему быстро привыкли и подавали всегда одно и то же, - салат с луком и зеленью и мясо с жареным картофелем, а когда он был не один и заказывал вино, приносили еще и тонко нарезанный белый сыр.

Причал слегка подрагивал, когда приставал катер, мимо текла летняя плотная толпа, вдруг звенел чей-то голос, жара постепенно отступала, Ламм ужинал, пил кофе, а когда темнело, уезжал в город.

Там, на склоне горы, из-за которой всходило солнце, росли эвкалипты и грудами лежал мусор, - ржавое железо, полусгнившая деревянная тара и огромные ржавые мотки проволоки, оставшиеся с тех пор, когда здесь располагался склад небольшого предприятия.

Теперь в переоборудованном строении склада располагалась мастерская Ламма.

В скором времени мастерскую надлежало освободить, - поблизости уже работал бульдозер, расчищавший место под строительную площадку.

Однажды Ламм уже добился отсрочки, но время истекало и пора было что-то делать, но добиться нового помещения все никак не удавалось, - глупая и запутанная ситуация. С ощущением этим Блюм прошел в большое выбеленное помещение с наполовину застекленной стеной, глядевшей на уходивший вниз, город и море.

В мастерской помимо самого Ламма находилась и его подруга, она прохаживалась по мастерской и курила, разглядывая ассамбляжи и живопись. Изредка она оборачивалась и глядела на Ламма, а он барабанил пальцами по поверхности стола. В очередной раз Блюм не выдержал и встал, сказав:

- Ну что ж, сегодня я экскурсовод...

- Это «Венера», - сказал он, показывая на огромные гнутые металлические поверхности, летящие, сверкающие, быть может, поющие неясный мотив, заключенные в массивную черную деревянную раму, скупо расписанные красным и синим, - а это, по-моему, «Мозг», - «Мозг» занимал почти весь угол мастерской, - а вот это «Шар», - сказал он и направился к «Шару», работе, написанной на плоскости, замыкавшей внутренний периметр вывернутой наизнанку рамы.

Огромный, темный, тяжелый, написанный на фоне серой стены шар приближался к зрителю, отбрасывая на поверхность стены овальную тень, в то время как два других темных шара улетали сквозь оконце в серой поверхности стены в иное, свободное пространство...

- Шар, - сказал Ламм, - видишь ли он движется и внутрь, и наружу, но

потом я понял, что и это компромисс, ты чувствуешь? Тут дыра нужна была, вот тут-то все и началось...

Он махнул рукой, а кругом у стен лежал гнутый и резаный метал, стояли кулисы и рамы, и на стенах развешано было то минимальное количество живописи, которое всегда присутствовало в его мастерской. Тихо и пусто вдруг стало в ней.

XI

Обед подходил к концу, и Блюм с Юлей пили кофе в маленькой кофейне на воде, а рядом за столиком люди, старики, говорящие по-гречески, по-армянски, по-грузински. И турецкий можно услышать.

«Обычный день в кофейне на воде, но какой драгоценный», подумал Блюм.

Юля закурила и посмотрела на него, на столике перед ними стояли две белые чашки с темными разводами внутри, в кофейне было тесно от голов и седых щетин, кепок и мундштуков, старых пиджаков и густых голосов, кто-то хрипел и покашливал, сгрудившись полукругом, а выше лежала спасительная синь моря.

«Все как обычно, и Юля куда-то вбок смотрит . Сколько же времени прошло с тех пор, как в больнице... с тех пор как я начал писать, это главное...», - подумал Блюм про себя...

Тут он заметил Ламма, улыбнулся, махнул рукой, позвал его, тот говорил с пожилым мужчиной в соломенной шляпе и с папкой в руке. Наконец Ламм освободился и подошел к их столику. Он поклонился Юле и быстро спросил:

- Куда ты пропал? Ты мне нужен.

- Так ведь я работал, - ответил Блюм и огляделся, сколько солнца, и шарф красный мелькнул. - А что случилось?

Ламм сел и протянул руку за сигаретой.

- Освобождать надо мастерскую. А вот этот в шляпе - судебный исполнитель...

- Ну и ну, - сказал Блюм, - важная персона. Что делать будем?

Ламм промолчал, а Блюм вспомнил путь в мастерскую по склону горы, мимо бульдозера, эвкалиптов с ободранными стволами, мимо будки, выкрашенной в синий цвет, с длинной колбасиной на веревочке над прилавком, где стоит бутылка вина, самого дешевого, а в глубине, в голубой тени спит фигура в светлом халате, а потом снова тропинка, мимо второй будки с надписью «Керосин»…

- Выпьем чего-нибудь? - спросил Ламм и направился к буфету, а Юля глянула на часы, серебряную змейку, и сказала Блюму:

- Ему бы надо действовать, подавать заявления, добиваться и просить, и тогда, может быть, дадут что-нибудь взамен, ну а что до вещей его, то, кстати, зря ты тут строишь какие-то теории, ну поверь мне, - она улыбнулась Блюму, - ведь у него все это выдумано, - она чуть помедлила, - неорганично, - тут она засмеялась мягко и оглянулась, - и если он даже пророк, как ты иногда говоришь, то пророк малый, как Михей или Малахия, - она с удовольствием произнесла эти ветхие имена.

- Ну, малыми их называют только оттого, что от них осталось мало текстов, - возразил Блюм, смутно ощущая всю нелепость этой дискуссии здесь, в кафе .

«Да и что же это на самом деле, - подумал он, - как объяснить красные цветы, шершавые, бурые цветы голода, когда я вышел из подвальчика, голодный, в бледно-фиолетовую и зеленую весну, на улицу в платанах, и сколько они прошли со мной, эти красные цветы, да и как в этом разобраться, - сколько я тогда думал о ней, и что сам видел, - металл и дыры, и, наконец, в мастерской этой сделал все снова, - металл, дыры и пятна цвета, да что здесь можно сказать, нравится или не нравится, когда это просто есть и будет, но как будет и сколько, как мясо и жареный картофель на причале, и мастерская на горе с эвкалиптами, и что будет, и цветы эти красные, бурые, шершавые, возникшие тогда в темном углу, - какими они придут и во что превратятся, кто знает, ведь все время уходит что-то в пустоту или пустотой становится. Но что же остается? Металл и дыры, и обглоданные кости, и глаз рыбий в ведре и кучи мусора, и огонь лижущий, - костры на пляже...»

И вот втроем они сидят и пьют вино нового урожая.

- Нравится вам вино? - спросила Юля и, не дожидаясь ответа, добавила:

- Ах, если б можно было, я пила это вино все время, понемножку, - она засмеялась.

Вот так они сидели некоторое время. Потом Блюм с Юлей ушли, Ламм остался поджидать свою подругу, и на том же причале за тем же столиком, под солнцем и над водой.

Она появилась в ресторанчике на причале несколько позже, обняла Ламма за плечи, прижалась к его бороде и присела за столик с открытой бутылкой вина, бокалами и тонко нарезанным сыром «сулгуни» на тарелке. Вздохнув, она подняла и победоносно улыбнувшись, сказала:

- Ну, кажется, налаживается все, почти уже все, договорилась я кое с кем, придут люди завтра вечером, все будет отлично, ну поверь мне...

- Отлично? - переспросил он и ткнул вилкой в жареный картофель, вечный, как солнце за спиной, картофель на маленьком причале.

- Да, милый, - смеясь, она протянула свой бокал, стекло зазвенело о стекло, и они

выпили желтоватого с кислинкой вина.- Как ты думаешь, стоит пожарить рыбу?- продолжала она. - Вино, зелень, сыр, баклажаны с гранатами и рыба.

- Ну да, - сказал Ламм, - конечно, рыба на ужин...

XII

К ночи, когда гости ушли, в мастерской стало прохладней, а Блюм почувствовал что слегка опьянел. Он встал, прошелся по мастерской,

снова сел за стол, отпил глоток вина и сказал:

- Меня поражают некоторые твои вещи, но представь себе, что я смотрю на хорошо знакомую мне женщину и чего-то не понимаю. Но, боже, что ж тут непонятного? Просто я привык к другим движениям и словам; в самом деле, чему же я удивляюсь, ведь меняются и земля, деревья, горы и реки, почему же мне не удивляться? Но я понимаю, здесь все сложнее, и я говорю себе, - в конечном счете, это ее мозг, - но это слишком абстрактно, - мозг, этого слова хватает на полсекунды, мне хочется образа, иначе я не почувствую эту, именно эту женщину, надо наделить мозг движением, формой, цветом, и я вспоминаю движение, форму, цвет, то есть ту же женщину…

- Да не ревнуй ты ее к себе самой..., - сказал Ламм, - Освободись ты от этого и пойми, форма, - это не то, что ты видишь, это ,- тут целая фраза нужна, - это то, что делает вещь иной, и по сути своей и есть то, что дает нам свободу, возможность устанавливать различия, ... понимаешь ты меня ?

Ламм поежился и открыл дверь, а за ней, внизу было уже совсем темно, только узкая цепочка огней бежала вдоль залива.

XIII

- Посмотри, какие огромные медузы после жаркого лета к осени вырастают, их и в ноябре можно встретить, - сказал Блюм.

Великолепный живой кристалл парил внизу, в голубой свежей воде, отростки плавно подтягивались и расслаблялись, гигантские симметричные пятна ядер сближались и отдалялись друг от друга в совершенной, сверкающей полусфере-чечевице, и медуза не двигалась с места.

Сегодня Блюм встал рано и полдня дописывал свою последнюю работу.

- Много их, а искупаться очень хочется... А ты где был? - спросил он у Ламма:

- Я думал ты в мастерской.

- Ты думаешь, мне надо там быть? - спросил Ламм, ему не хотелось ехать в мастерскую одному.

- Понятия не имею, - ответил Блюм.

На причале было великолепно, воздух вокруг голубел от воды, дул свежий ветер, и казалось, что пустой пляж тянется далеко, до самого города. Город тоже был виден очень ясно, вдалеке у причала стоял чернобрюхий пароход с разноцветными флажками от носа до кормы.

Ламм подумал с полминуты, поглядел на тарелку с остатками обеда, вытер платком губы, допил кофе и сказал:

- Хорошо, я поеду...

- Ну, что вы решили? - спросила Юля, лежа на песке.

- Вывезем сегодня к вечеру, подгоним грузовик и вывезем, он с кем-то уже договорился насчет нижнего этажа дома по соседству, это там совсем недалеко, работать там, правда, невозможно, ну да это не навсегда ведь...

- Вывозить какое-то железо, - она усмехнулась. - Для кого? Для вечности?

Он постоял, сделал несколько шагов к воде и сел на прохладный песок; пляж теперь закрывался рано, уже горели костры с мусором, поднимался дым, а он лежал на песке и слушал летевшую над пляжем музыку из альбома Пола Маккартни «Ram», ритм этот, ритм, но как изменилось все, он подумал, с тех пор что увидел тот глаз в треугольнике и пережил свою будущую старость в мгновение, но все это ушло, осталось и ушло, и вот теперь Ламм со своим исходом из старой мастерской, - а он где? - но доносилась музыка из репродуктора, и грело солнце, пыль и зной и громыханье, словно скот и люди идут по новой, молодой еще земле, и голос хрипит, поет, и повозки грохочут, и голос молодой поет, и солнце жжет, и вперед идут, идут нескончаемо.

И он закрыл глаза, а Юля к воде пошла, белая, в золотых пятнах веснушек, и он тоже вошел в воду и поплыл, и заплыв далеко, оглянулся и увидел пепельную полоску пляжа, над которой поднимался голубой дым над пламенем костров, и нырнул, и вдруг у него перед глазами возникло что-то темное, зеленое, синее, студенистое.

«Медуза», - понял он и успел глаза закрыть, словно ток под водой прошел.

Когда он вынырнул, то не смог открыть глаза, его обожженные веки и лицо горели.

- Берег где? Меня медуза обожгла, - крикнул он Юле.

Она подплыла к нему, и они вместе вернулись к берегу.

На берегу почти никого не было.

Блюм натянул одежду и побрел к фонтанчику; его мокрые ноги были облеплены песком, рубаха прилипала к телу, лицо горело нестерпимой болью. Он прижал руки к лицу, и так они бежали к аптеке, мимо людей, а потом на машине в больницу, где все позвякивало холодным звоном, - да вам повезло, молодой человек, глаза вовремя закрыли, нет, спиртом нельзя, тут мазь, - инструменты позвякивают, лицо горит, а позже, через пару часов, оно вымазано уже белой мазью, словно у паяца в цирке, и красные глаза полуоткрыты, уже темно, час поздний, и он спешит к Ламму, меж эвкалиптов по склону, мимо будок и мимо мусора, и везде пахнет дымом, словно где-то что-то горит...

Внезапно вырвавшееся пламя подхватывает все вокруг, кругом стоит треск, это горит мастерская, горит, горит, горит...

Мастерская горела, и в воздухе летали черные куски бумаги, «мириады летающих халатов…», - подумал Блюм.

Чуть позже он осознал, что прищуренные глаза подвели его, горел костер, сложенный из ненужного хлама, который Ламм вынес из мастерской.

Ламм ждал его. Боль ушла, и Блюм вдруг ощутил, что период его ученичества завершился...

1. Гончарова Марианна «Янкель инклоц ин барабан», «Натягивая тетиву»

***Марианна Гончарова***

**ЯНКЕЛЬ, ИНКЛОЦ ИН БАРАБАН**

В нашем приграничном городке издавна в мире и понимании живут румыны и евреи, поляки и украинцы, и русские, и армяне, и татары. Все, кто сюда приезжает, остаётся здесь навеки. Потому что здесь место такое райское. Не знаю, живут ли здесь ангелы, но то, что они здесь частенько прогуливаются, отдыхая от своих забот, — это точно! Люди же у нас — просто чудо! Работать — так работать. Отдыхать — так отдыхать. Свадьбы — всю осень. А то и зимой. И весной. Круглый год свадьбы. А детей! Садиков не хватает! В школах тесно! Крови так перемешались, что никто уже точно и сказать не может, кто какой национальности. А о политике как-то никто и не задумывается. Некогда. Тут один кореец приехал к нам. И затеял организовывать общину корейскую — мол, община нацменшинств, — стал корейские права качать: мол, мы великий народ, корейцы! Сам себя председателем общины назначил, а в общине жена его Ли, специалист по тёртой морковке, и два сына — ой, умру сейчас! — Чук и Гек, симпатичные такие. Круглолицые. Как коряки. Кстати, у нас и коряки есть. Тут одна учительница говорит мамаше на родительском собрании: ваша дочь щурится всё время, ей надо бы зрение проверить, мамаша. А мамаша как возмутится: какое ещё там зрение?! — и с гордостью: «Коряки мы!» Вот так вот можно впросак у нас в городе попасть.

Ну — вышел наш кореец к мэрии. С флагом и плакатом: мол, дайте помещение для офиса общине корейского народа здесь, у вас, на границе с Румынией, Молдавией, Приднестровьем и прочими окнами в Европу. А на него никто и внимания не стал обращать, все заняты. Только Таджимуратов Таджимурат Таджимуратович, уважаемый наш единственный узбек, мудрый человек, пошли ему его аллах многих дней жизни, подошёл к нему и деликатно пристыдил: и как тебе не стыдно, уважаемый кореец? Люди вон работают все, а ты тут бездельничаешь, давай иди яблоки-семеренки собирай, вон они ветки обламывают своей тяжестью. Ну кореец тот и не прижился у нас.   
Уехал куда-то дальше митинговать. А потом оказалось, что флаг-то у него вовсе и не корейский был. А Бангладеш. Мы все потом месяц озадаченные ходили, — где он его взял, интересно.

Прошёл у нас тут как-то слух, что продают погранзаставу. У нас ведь всё продают: заводы, корабли, танки… Реверансы делают в сторону демократии, воздушные поцелуйчики посылают, а сами тихонько продают, продают, продают… Вот кто-то и сказал вечером в ресторанчике «Извораш» («Ручеёк» по-русски) за пивом: а слышали — заставу продают? Народ у нас хозяйственный, предприимчивый, денежный — побежал интересоваться, а за сколько? С пограничниками или без? И продают ли с заставой кусочек границы? Коридорчик. Маленький такой, сантиметров двадцать, чтоб хватило сгонять в Румынию и назад. На цыпочках — топ-топ-топ легонько, туда и назад. Кусочек в виде бонуса к заставе, нет?

Начальник заставы капитан Бережной как увидел толпу у ворот — заставу в ружьё, стал своему генералу звонить: мол, тут митинг какой-то, революция, непонятно чего хотят… Когда выяснили, разогнали всех по домам. Народ разочарованный ушёл, хотелось им не столько заставу, сколько тропиночку в Румынию прикупить. У многих это давняя была мечта — такую тропку иметь. А всё потому, что когда Молотов и Риббентроп земли как яблочный пирог делили, о людях совсем не думали, семьи разделили так запросто. В Румынии мать осталась, в Украине — дети, или с одной стороны Прута один брат, с другой второй… Как, например, Янкель Козовский и его брат Матвей. Оба прекрасные потомственные музыканты. И отец их был аккордеонист знатный, и дед играл и на трубе, и на сопилке, на свирели, на окарине. А най у него звучал!.. Так сейчас и не играют вовсе. Сам король Румынии Штефан и супруга его приезжали слушать его най… А брат отца Янкеля и Матвея как-то в Ленинграде по случаю играл на саксофоне знаменитому саксофонисту, — знаете, такому бородатому, эффектному, модному тогда. И что? Тот такую мелодию не то что на саксофоне своём золотом, не то что языком, губами и дыханием — он пальцами на фортепиано сыграть не смог! Потому что техника у Козовских была фантастическая, и четверть тона могли! Вот как! Такую вот семью, такой вот семейный оркестр разделили границей и не задумались…

Сейчас-то Янкель совсем старый уже. А бывало — лет двадцать, двадцать пять назад — подъедет на велосипеде к самой границе, выйдет на берег Прута в условленное время, а с другой стороны реки — Матвей. Покричат друг другу:

— Эй! Как дела, Янкель?!

— Дела — хорошо! Как мама?!

— Мама скучает, тебя хочет видеть, Янкель, может, приедешь?! Я оплачу. Поиграть бы нам ещё вместе, а?! Янкель?!

— Эх, поиграть бы! Хорошо! Присылай вызов!

— Что?

— Вызов, говорю! Приглашение, говорю, присылай, говорю!

Ну и потом волокита: пока вызов придёт, пока Янкель все документы соберёт, характеристики подпишет, с этими бумагами в Киев или в Москву едет, чтоб визу открыть, паспорт получить. Потом через месяц опять к Пруту выходит.

— Матве-ей! Матвей! Отказали мне!

— Что?!

— Говорю, от-ка-за-ли мне! Приведи маму к реке на следующей неделе. Маму видеть хочу!

— Что?!

— Маму! Маму приведи сюда!

И через неделю со всеми предосторожностями приводят под руки старенькую маму, Еву Наумовну, к Пруту. А мама плохо видит и плохо слышит уже. Ей одолжили у румынских пограничников бинокль. Она смотрит в бинокль, не понимает, как в него смотреть, видит на том берегу фигурку своего младшего сына, а ни лица рассмотреть не может, ни услышать, а уж обнять — и подавно!

— Янкель! Вот мама пришла! Вот мама!

— Мама! Как ты себя чувствуешь, мама?!

Матвей наклоняется к маме, кричит ей: вон Янкель, мама, спрашивает, как ты себя чувствуешь, мама! Мама что-то отвечает Матвею. Матвей кричит через реку:

— Ма-ма го-во-рит, что хо-ро-шо! Себя! Чувствует! Только по тебе скучает очень!!!

Янкель видит, что мама руками лицо закрыла.

— Матвей! Матвей! Что мама говорит?! Что она говорит?!

— Пла-ачет она! Мама пла-ачет! Тебя очень видеть хочет. А в бинокль не ви-и-идно! Не видит она в бино-о-окль! Говорит, хочет услышать, как мы с тобой играем! Напоследок услышать хочет!!!

Янкель огорчается, грустит и, конечно, выпивает. Не выпьешь тут… Первое лекарство от огорчения…

Да, наш небольшой многонациональный и вполне респектабельный городок издавна славился и своими пьяницами. Потому что, как вы уже видите, это не какие-нибудь обычные пропойцы, как в других городах. Ну что вы! Наши пьяницы — это очень талантливый народ: музыканты, художники, актёры, зодчие… Пьянство — как бы понятнее объяснить — это часть их одарённой мятущейся натуры. Бывало, выпьет один такой утром — бац! — и проснулся в нём гений! Эх, сейчас бы за работу! Но нет. Выпьет ещё разок — щёлк! — гений икнул и покинул мятущуюся душу. И художник тянет своё бесполезное, ни на что не годное тело в мастерскую при Калиновском рынке, где подвизается оформителем, пишет объявления типа «Карандаши от тараканов! Три на рубль!» Зодчий нанимается на плиточно-мозаичные работы по отделке декоративного фонтана в местном санатории, актёр вместе с такими же изображает толпу зевак на заднем плане, музыкант собирает в чемодан гнилую аппаратуру и едет на халтуру в село Жабье Ивано-Франковской области играть на свадьбе дочери местного участкового.

Не то наш Янкель. Он, как и все его предки, играет практически на всех инструментах, независимо от количества выпитого. Но так, как он играет на барабанах, не играет никто! Никто! Гарантирую вам.

И каждую субботу, когда инструменты расставлены и все они, музыканты, кое-как накормлены и — конечно! — напоены хозяевами, вот уж который год он слышит одну и ту же фразу от руководителя их группы, старого аккордеониста Миши Караниды (а говорят они, наши музыканты, на такой певучей смеси румынского, идиш и русского, что ни один лингвист не разберёт такой диалект):

— Янкель! Вставай из-за стола уже, Янкель! Пошли работать. Хай! Инклоц ин барабан ши оплякат! (Ударь в барабан и поехали!)

Янкель даёт мелкую рассыпчатую дробь на барабане, и оркестр начинает свой рабочий вечер, переходящий в ночь, а нередко — и в серое утро.

Как-то Янкель окончательно рассорился с женой, с мамой жены и с тётей жены тоже рассорился. Причину ссоры стороны рассматривали по-разному. Жена, мама жены и тётя жены ссорились с Янкелем из-за его пьянства и нежелания подсуетиться и ехать в Румынию к брату Матвею на постоянное жительство. Янкель же считал, что они, — все эти ведьмы, эти кобры, — что они попросту антисемитки. По линии тёти. Потому что по своей линии они всё же немножко Шустеры и немножко Цибермановские. А тётя у них — да! Онопенко Оксана! Хоть и по мужу Шустер.

— Антисемиты! Антисемиты вы! — кричал Янкель.

— Как ты такое можешь говорить?! Что ты за слова говоришь?! Мне! В моём возрасте! В моём доме! — возмущалась мама жены Янкеля. — Янкель, ты бессовестный, Янкель. Что это за такие слова?! Чтоб этого больше не было! Чтоб ноги этих слов в моём доме не было! И твоей ноги тоже! Чтоб!

— Очень надо мне. Очень надо мне мои ноги в вашу хату! Очень мне надо!!! — дразнился Янкель. — И вообще, ваша дочь Неля распущенная, как я не знаю! Она курит! Поняли вы, мама?

— Ну и что?! — парировала мама жены Янкеля. — Не знаю, не знаю! Курит… Я тебе отдавала приличную девочку. Двадцать лет. Шестьдесят килограмм. Высшее образование. Без вэ пэ. А что ты с ней сделал за эти годы? Её же не узнать! Вот — уже курит. Что ты сделал с моей девочкой, я тебя спрашиваю, что она уже курит?!

Тут вступала жена Янкеля Неля:

— Все нормальные люди давно куда-нибудь уехали. Я не прошу Америку, я не прошу Израиль, — я хочу к Матвею в Румынию. Что мы тут видим? Пустые прилавки? А в Румынии — кофточки. В Румынии — еда. В Румынии — обувь, в Румынии — всё! Ты столько зарабатываешь на своих халтурах, если бы ты всё не пропивал со своими подлыми друзьями, мы бы уже давно жили в Бухаресте!

Сколько Янкель ездил в Киев, покоряясь жене своей меркантильной, сколько собирал характеристики, справки, что он не иждивенец, что он работает учителем в музыкальной школе по классу духовых инструментов… Даже взял в колхозе справку, что работает руководителем хора-ланки. О! Хор-ланка. То есть хор-звено. Вот кошмар. Это такую моду придумали райкомы на местах, чтоб были хоры-ланки. Это вот как: есть, например, звено колхозниц, работает на огородной бригаде, работает очень тяжело, в любую погоду, пропалывает или собирает, например, свёклу или кукурузу. А надо ещё чтоб они в свободное время пели в вышитых сорочках и венках с лентами. В девичьих венках. В пятьдесят лет. С золотыми фиксами во рту. Наталки-полтавки… Но надо! Надо чтоб пели «Вербовую дощечку» или «Полем-полем край села…» Нет, ну кому охота петь после такого тяжкого дня, когда ещё дома полно забот: дети, корова, свиньи, куры, сад, огород… Ну и набирали в такие хоры, чтоб угодить райкому, кого придётся, бывало и старшеклассники покрупнее габаритами в таких хорах пели. Однажды мы чуть от смеха не лопнули, когда Виталий Уласюк в таком вот хоре по поручению комсомольской организации пел. Один мужчина на всю ланку. Наш Виталий Уласюк, — кстати, впоследствии, через десяток лет после участия в хоре-ланке, он стал лауреатом государственной премии в области прикладной математики, — пел под видом слесаря тракторной бригады. Недавно встреча его класса была, хотели ему хор-ланку напомнить, так он телеграмму прислал загадочную «Мысленно вами симпозиуме Японии».

Да. Так вот Янкель и взял такую вот справку, как бы доказывая свою благонадёжность и лояльность по отношению к существующему строю. А его опять не выпускают. Совсем он закручинился. Просто запил, проще говоря. И на команду Миши Караниды «Янкель, инклоц ин барабан!» без энтузиазма реагировал. И даже играть стал хуже. Хотя играть мог в любом состоянии. А всё почему? К маме хотел. Хотел к маме. Понимаете? Вот вы понимаете, а почему же тогдашние власти не понимали? Не понимали, как взрослый, небритый, толстый грустный дядька остро скучает по маме. А тут опять Матвей заорал на берегу Прута: мол, маме совсем худо! Худо! Хочет, чтоб мы сыграли напоследок!

— Что?! Что?!

— Я ей наигрываю на скрипке, но она говорит: не то, не то… Хочет, чтоб с тобой!

— Ладно! — решил Янкель. — Ладно. В следующее воскресенье вывози маму к Пруту, лишь бы ветра не было.

— Что ты задумал, Янкель?! Не вздумай переплывать, Янкель! Тебя погранцы захапают, и мы не сможем выходить к тебе сюда на берег Прута, нас же не пропустят больше!

— Та не-ет! — досадливо отмахнулся Янкель. — Та не буду я плыть! Я — другое!

— Что?!

— Ничего! Короче, вывози маму! Всё!

Хорошие люди музыканты, правильные люди. Вот где была настоящая дружба народов, вот где была солидарность. Вот где был мир, труд и май! Все и так знали положение Янкеля, и его жену — антисемитку по тёте, и его тёщу, и то, что не выпускают Янкеля к брату в Румынию, и то, что Еве Наумовне стало совсем худо. Уж кого они там, на погранзаставе, уговорили, кого подкупили — не знаю, но в следующее воскресенье на берегу Прута, прямо на границе, выстроился оркестр.

Там были чуть ли не все музыканты, зарегистрированные, чтоб их не считали тунеядцами, в ОМА (Объединении музыкальных ансамблей). Молдаване, евреи, цыгане, украинцы, русские, поляки, немцы… да кто там был ещё — всех не перечислишь. Многие из них, кстати, пожертвовали халтурами — воскресенье же — и потеряли при этом кучу денег. Но кто там считал! Главное, что Ева Наумовна хотела послушать музыку в исполнении своего сына Янкеля, а это важнее, чем какие-то там сто рублей. Выставили аппаратуру, дорогущую по тем временам, не дешевле автомобиля, не пожалели, лучшую привезли — и установили на берегу Прута. К какой-то машине подключили. Где достали? Ну, словом, все помогали. Даже пограничники с нашей стороны. И знаете — даже Бог постарался, вник: ветер дул   
как раз с нашей стороны Прута на румынскую.

Ждать пришлось недолго. Вот и машина к Пруту подъехала, аккуратно высадили Еву Наумовну, кресло ей поставили раскладное, а Матвей вытащил скрипку из футляра, помахал приветственно музыкантам на нашем берегу.

Ну разве смогу я описать привычными словами всё, что было потом? Разве можно словами описать музыку? Или настроение? Или состояние? Разве можно описать то счастье и радость по обе стороны Прута? Это надо было там присутствовать. Нет, это слушать надо было. Как Миша Каранида дал команду: «Янкель! Ну?! Хай! Инклоц ин барабан ши оплякат!!!» — и заиграл этот импровизированный оркестр для мамы Янкеля.

Как же они играли! И «Дойну», и «Фрейлакс», и танец польских кавалеров «Краковяк», и «Рула-тирула», и «Мейделе, мейделе». Матвей, весело пританцовывая, подыгрывал из Румынии. А кто-то смотрел на ту сторону в бинокль и комментировал:

— Смеётся! Ева Наумовна смеётся!

— Ева Наумовна плачет, слёзы вытирает!

— Ева Наумовна руками! Руками танцует! Танцует руками и плечами, Янкель! И головой танцует, Янкель, под музыку! И смеётся! И плачет, Янкель!!!

А Янкель знай наяривал, лупил по барабанам и подпрыгивал под музыку, чтобы угодить своей маме, танцующей руками на той стороне, в Румынии…

Вот такая вот история. Давным-давно ушла мама Янкеля и Матвея в другой мир. Теперь Янкель спокойно может съездить к брату в Румынию, — по новым законам это очень легко и можно поехать в любое время. И Матвей сюда к нам приезжал, с музыкантами встречался, играли вместе… Понравилось ему тут у нас. У нас ведь очень хорошо. Рай практически. Все люди, живущие здесь, уверены, что даже если ангелы тут и не живут, то, отдыхая от своих забот, частенько прогуливаются…

**Натягивая тетиву**

Молодой король вышел на поляну и умер на глазах у челяди. И не просто так упал и все. А перед этим взял арбалет, натянул тетиву, прицелился… и вот тут вот -- всё.

Нет, ну, конечно, говорили потом, что отравили мол короля другие наследники на престол, и что вышел он на лужайку уже совсем больной. Но ведь умирать же он не собирался. У него были планы. Государство. Реформы. Любовь, наверное. Была. Наверняка была. Он даже не успел проститься с товарищами как Робин Гуд, лучший стрелок из лука, рыцарь Шервудского леса.

Он просто натянул тетиву. И душа его отлетела.

Я где-то об этом прочла. И не давала покоя мысль, что многие вот так – ставили перед собой цель, натягивали, образно говоря, тетиву, предполагая, что выстрелов будет еще много, что стрелы попадут в цель, ну, или хотя бы упадут где-то рядом. Ведь, как кто-то говорил, если ты наметил приземлиться на Луне, но не долетел, ты все равно оказался среди звезд, а это уже результат…

\*

-- Что ты такой редкий у нас гость, генерал Игорь? – спрашивал мой трехлетний сын, -- пойдем быстрей, у меня есть новая машина. На пульте! Ну пойдем! -- нетерпеливо тянул Даня Игоря за руку,

Игорь с удовольствием шел за Данькой в детскую смотреть машину на пульте. Добрый человек и сам -- абсолютный мальчишка. Данька страшно гордился знакомством с Карой, хвастался повсюду, что у него есть друг генерал, хотя на самом деле Кара тогда был вовсе не генерал, а капитан. Данька страшно хотел быть как он. Наверное, эта симпатия, уважение, восхищение и мужская дружба на равных сыграла главную роль в выборе Данькой будущей профессии. Сегодня мой сын – военный переводчик. Как Игорь.

-- В армии, поверь мне, очень много умных людей, -- убеждал нас Игорь, -- а дураков – мало. Но… Их, дураков, почему-то расставляют так, что они встречаются на каждом шагу.

А в юности у Игоря было редкая способность – он очень заразительно смеялся и при этом плакал. Смеялся так, что валился на пол, держась за живот. Слезы натурально лились из глаз. Так его душа откликалась на радость.

Мы еще в детстве предполагали, что он, парень из очень хорошей благополучной семьи, сделает серьезную карьеру: и в силу своей образованности, хорошего воспитания, личного обаяния и открытого радостного отношения к людям, станет большим человеком. Мы представляли его то в смокинге на дипломатическом приеме, то в строгом костюме на большой трибуне, то в бархатном елизаветинском камзоле на сцене столичного театра, то на экране телевидения. Но никто из нас, его друзей, никогда не думал, что сначала сапоги, а потом берцы сотрут в кровь и искалечат навсегда его ноги, что от него будут зависеть жизни сотен восемнадцатилетних мальчишек, что он – наш веселый, легко шагающий по жизни друг – будешь кочевать по Союзу, а потом и по постсоветскому пространству – с верной Таней и двумя детьми – из гарнизона в гарнизон, со съемной квартиры на съемную квартиру – и только к пятидесяти годам уже в чине полковника, наконец, получит свое собственное жилье. И спустя какое-то время, уже не имея возможности чему-то порадоваться, перенесет множество операций и умрет.

Кара -- это имя. Верней, фамилия. Болгарская фамилия. Она ему очень шла, несмотря на то, что он был миролюбивый и дружелюбный. Но очень справедливый.

Он украл меня с моей собственной свадьбы. Нет, совсем не для того, чтобы на мне жениться. Он и его невеста Таня украли меня с моей собственной свадьбы, чтобы было весело. И было весело. Ну сначала.

Мы учились с ними в одной школе, были друзьями, вместе проводили свободное время, много разговаривали, пели и смеялись. Когда родилась его сестра, он собрал полгорода подростков, одноклассников, друзей, друзей своих друзей и вся эта колонна пошла к роддому и выстроилась под окнами. От радостного крика под окном проснулись и заквакали младенцы, главный врач вызвал милицию, но мы стояли до тех пор, пока нам не показали Ирку – кулек с красненькой сморщенной мордашечкой.

-- Не, ну правда, красивый малыш? Правда ведь? А? – требовал немедленно признать безупречную красоту своей сестры Игорь.

Вереща и подвывая, к роддому подъехал милицейский уазик, стремительно распахнулась дверь, из машины вывалился счастливый майор милиции, отец Игоря и новенькой девочки-красавицы Ирки, как мы звали его все, дядя Миша. Дядя Миша, Михал Петрович, крепкий, хозяйственный, обаятельный, веселый, а временами очень грозный дядя Миша, заведовал детской комнатой милиции и всё городское хулиганье почтительно и опасливо приподымало свои засаленные кепочки при встрече с ним. Дядя Миша велел нам орать еще громче и сам приветственно размахивал гигантским букетом, который не разрешили пронести в палату, где находилась мама Игоря и Ирочки, из соображений гигиены. Главный врач роддома разводил руками, прижимал их к сердцу и в окно с четвертого этажа подавал дяде Мише и нам знаки, мол, тише, тише.

Когда мы повзрослели, я помню, как мы таскали Ирку за собой повсюду. Она, послушная и хорошенькая, белокожая, рыжеволосая, такая красавица, что все только плевались, чтобы не наврочить, как у нас говорят, слушалась нас во всем. И совсем недавно мы в компании вспоминали, как двенадцать человек, а Игорь с Иркой на коленях, с Иркой которую на него оставили родители, влезли в один москвич и мотались по грунтовым дорогам, склонам и горам и все-все старались, чтобы Ирка сидела с комфортом и была в безопасности. Главный вопрос нашей компании был:

-- Где ребенок?

А беспечная малышка весело и громко рассказывала: «Приходи к нему лечицца, и зайчица, и волчица, и жучица с медведИцей, и комарик с муравьицей…

Не помню, чтобы мы переписывались после окончания школы, но как только попадали в родной город одновременно первым делом неслись друг к другу узнать, поделиться, увидеться, обняться, отдохнуть душой.

Так вот, Игорь и его девушка Таня, а также несколько друзей украли меня с моей собственной свадьбы, кинули в машину и увезли. Танька водила машину чуть ли ни с рождения. Нет, вру – примерно в полтора года, как только начала ходить, она приковыляла к машине, села на водительское место, вцепилась в руль и сказала: «бзвжжжж» Она была младшая, любимая, поздняя дочь, и первое, что Танька вербализовала в полтора года было не «мама», не «папа», а «дай ууль». И Танькин отец тут же взялся ее обучать. Короче, вот эта вот команда навалилась на меня в зале, когда я отрешенно, надменно и медленно плыла с кем-то в танце, завернула в какую-то тряпку, кинула в Танькин автомобиль и увезла куда глаза глядят. Глаза похитителей смотрели вдаль, но, как выяснилось, не очень далеко, во двор нашей школы. Меня с криком и хохотом выгрузили в школьном саду, размотали… и потом не знали, что дальше со мной делать. Танька уехала искать моего жениха, типа, а вот он меня и освободит из кощеевых лап, хотя тот, не обнаружив меня, собрался уже уходить с собственной свадьбы, тем более, бабушка его, которая всегда и во всем считала себя главной, спокойно собралась и сказала:

-- Ну что, внучок, попытка -- не пытка. Пошли домой, будем искать что-нибудь получше.

И вот в то время, когда моего юного мужа уводили как телка на веревке и уговаривали не упираться, а поискать другую девушку, мы с Карой сидели на лавочке в темном школьном дворе. Ему было чуть неловко. Раньше-то ведь как: он в джинсах, я в джинсах. Сидим, два приятеля, треплемся, от одного яблока по очереди откусываем. А тут он торжественный в нарядных брюках и новенькой “бобочке”, а я вообще – не свой парень, а непонятно кто в дурацком подвенечном наряде и в белой занавеске с фальшивым венком, как это в красивых книгах, флердоранжем, на голове. Кукла на чайник примерно. Скажите, о чем можно поговорить с куклой на чайнике? Короче, мы сидели, неловко молчали, вздыхали, болтали о всяком несущественном, и просто радовались лету, молодости, и нашей общей глупости. Потом, конечно, мы все трое получили по шее. Больше всех Игорь. Я была невестой, персоной грата. Таня – подругой невесты. Ей прощалось, тем более, что она пустила следствие по ложному следу, мол, ехала меня искать и спасать. А Игорь же в тот вечер, как всем было с самого начала ясно, организатор затеи с воровством, огреб по полной. Но у настоящих мужчин ведь ссора как начинается, так и оканчивается – бокальчик хорошего старого коньяку, крепкое рукопожатие и вопрос: «Ну как наши вчера с бразильцами? Да?» Так и случилось. С отношениями между женщинами – гораздо сложнее. Бабушка жениха со мной не разговаривала потом всю жизнь и если видела какую-нибудь милую скромную девушку обязательно говорила в пространство, косясь на меня или своего непослушного внука: «А от оця девучка мени наравиця. От наравиця и усё!» То есть, вот эта – мне нравится, а твоя, внучок – фу! И Игорь, между прочим, при редких наших встречах тоже повторял в утешение эту фразу вместо приветствия, приобнимая и похлопывая по плечу, он говорил мне: «А от оця девучка мени наравиця»

Когда моему сыну исполнилось пять месяцев, Игорь с Таней, уже муж и жена, неожиданно заскочили к нам попрощаться перед отъездом. Сначала мялись, переглядывались, как будто молча советовались друг с другом, потом признались, взяв с нас клятву, что ни маме Игоря, ни Таниной маме мы ничего не скажем. Мы поклялись. Оказалось, что Игоря отправляют в Афганистан. Зачем надо было отправлять в Афганистан военного референта-переводчика с китайского, мы в тот момент не задумывались. Мы просто молчали, потрясенные и напуганные, осознавая, как хороша и спокойна наша жизнь, и как страшно на наших глазах меняется судьба любимых друзей, Игоря и Таньки, что война совсем рядом и главное, с какой легкостью и уверенностью они заверяют нас, что все будет хорошо, повторяя: «вы пообещали, мамам -- ни слова, мы же друзья!».

Ах боже мой, какая же из них -- Тани с Игорем -- радостных смешливых, красивых и счастливых своей расцветающей любовью -- получилась уникальная дружная команда

Игорь тогда искренне любовался нашим ребенком и повторил то же, что более десятка лет назад говорил про свою сестру Ирочку: “Какой красивый малыш”

-- Особенно… – добавил тогда старший лейтенант Кара, когда я сняла с Даньки кружевной чепчик,-- особенно… -- Игорь осторожно погладил малыша по теплой нежной макушке, -- особенно, когда он без *головного убора*.

Они посидели у нас часа два. Все это время Таня держала на коленях Даньку, трясла, гладила, поила водой из бутылочки, тискала его и уговаривала: Данечка, пописай, ну пописай! Потому что верила, что если малыш описает того, на чьих коленях сидит, у того (в нашем случае -- у Таньки) тоже будет ребенок. А в то смутное время, офицеров, у которых был или должен был родиться ребенок, уже не отправляли в горячие точки, и Таня на это очень надеялась, хотя и боялась сказать вслух. Данька внимательно посмотрел Тане в лицо своими глубокими шоколадными глазами, покряхтел и ответственно описал Танину юбку. Через несколько месяцев Таня прислала телеграмму откуда-то из Узбекистана. Телеграмма гласила: «спасибо даньке воскл»

Так что мой сын был одним из ангелов, который хоть и своеобразно, но поучаствовал в судьбе ребенка -- девочки Оли, в будущем -- лучшего друга нашего Игоря, обожаемой умной и понимающей папиной дочки.

А Михал Петрович сказал нам при встрече, что поскольку семья Кара ждала ребенка, то Игоря оставили в Термезе, в самой жаркой, но все-таки не в самой горячей точке тогдашнего Советского Союза. Военный переводчик, белая кость, рафинированный интеллигент Игорь Кара стал готовить солдат для службы в Афганистане. И сейчас я, да и не только я, понимаю, что он учил солдат не как воевать, не как убивать. Он учил их как выживать. Именно поэтому все мальчишки, которых он обучал, а их было довольно много, ВСЕ ОНИ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ ЖИВЫМИ.

Он много читал и у него были какие-то романтические представления о профессии, которую как оказалось, он выбрал давно. И тайно о ней мечтал. Он хотел быть именно военным переводчиком. Поразительно, но у нормальных людей представления в период, который пришелся на нашу юность, были таковы, что все должно было быть честно. Не искали знакомств и связей. И в первый после школы год Игорь не поступил и, такой изысканный и талантливый, с его тонкими руками и светлым умом, пошел работать простым рабочим. Если мне не изменяет память, он работал где-то в котельной и в свободное время продолжал готовиться к поступлению в военный институт иностранных языков.

В училище Игорь отчаянно нарушал дисциплину и ходил в самоволки. Еще и уводил за собой весь взвод. Ребята удирали через забор… в театры, в музеи и на концерты. А где-то на втором курсе или третьем Игорь влюбился в Таньку. Очень искренний, не терпящий пафоса или сюсюканья, он стал звать ее Заяц.

-- Как-как? – спросила я ехидно, -- Заааайка?

-- Какой еще зайка, Гончарова, ты дура? Таня – Заяц. Отличный надежный прекрасный лучший на свете девушка-Заяц.

После окончания военного училища его сразу отправили под Ташкент, в поселок Азатбаш. В резерв сороковой армии. На пополнение некомплекта. Такое казённое ничего не объясняющее обычному мирному невоенному человеку словосочетание тогда означало страшную процедуру. Азатбаш находился на границе с Афганистаном. И когда, как там было принято говорить, «за речкой» погибал офицер, то есть, получался «некомплект», жуткие бюрократические слова, за которыми стоят жизни, семьи, нерожденные дети, прерванные семейные династии, усохшие ветви фамильных деревьев… Так вот, когда случался «некомплект», вместо погибшего посылали кого-то из резерва, то есть, кого-то из этих вот зеленых выпускников. Кто-то погибал и на это место посылали новую жизнь. Понимая, что может не успеть и его пошлют «за речку», Игорь взял какие-то десять дней, положенные для переезда и улаживания всяких семейных дел, приехал домой, и сделал Зайцу предложение. Мы и смеялись, и плакали, и недоумевали, потому что всегда находчивый остроумный ироничный Игорь отчаянно переживал, и когда пришла в назначенное время взволнованная, но ужасно смешливая юная женщина-Заяц, он вдруг стал заикаться, растерялся, выбирая, на какое колено опуститься и в результате бухнулся на оба. Танька стала нервно хохотать, мы затихли и боялись, что сейчас все сорвется, а Игорь приговаривал:

-- Ну Заяц, это… Заяц, ну ты послушай.

И вдруг громким командным голосом приказал:

-- Тишина в строю!

Танька от неожиданности замолчала и только тихонько икнула.

Игорь глубоко вздохнул и торжественным металлическим неестественным голосом произнес:

-- Татьяна! Будь моим… Зайцем!

И под наш хохот уселся на пол, абсолютно потерянный, чувствуя провал. Мы все ржали как дураки какие-то, а Танька вдруг всхлипнула и так ужасно разревелась, ну ужасно, кинулась к нему, сидящему на полу, к обиженному и расстроенному и обняла его голову. Мы пристыженные тихо вышли из комнаты. Сейчас я думаю, что Танька, чуткая прозорливая, все увидела сразу – свадьбу, Узбекистан, Таджикистан, рождение Оли, потом Сергея, нестерпимую жару, невыносимый быт съемных квартир, разное отношение людей, переезды, переезды, переезды, чемоданы, ящики, коробки, самолеты, разлуки, бесконечные ожидания. Увидела, как ее, нарядную в легком шифоновом платье силой запихивают в машину ее же сотрудники по работе в Термезе, люди, которых Игорь считал своими друзьями, и только случайность помогла ей выскользнуть и сбежать. Увидела ребят, девятнадцатилетних бойцов, с которыми Игорь во время учебы и тренировок обходился, как сначала показалось жестко и бескомпромиссно. А потом оказалось, что правильно – они все вернулись из Афганистана живыми. Увидела погромы конца восьмидесятых и Рустама, владельца чайханы, который пришел к ним поздно вечером: «Уезжай, Игорь – сказал он – уезжайте все. Я могу спрятать твою семью на неделю-две, но если узнают -- зарежут и тебя, и меня, и всю мою семью». Боя увидела, большую собаку овчарку, родного преданного отважного Боя, безропотно разделившего с семьей все тяготы офицерской семьи: переезды, чужие города, чужих недружелюбных людей. Увидела дружбу его заботливую с детьми и его тяжелый уход.

Увидела болезнь Игоря и десятки операций. Увидела его замечательных ребят, бывших бойцов в одинаковых майках с названием роты, собравшихся в их квартире. Услышала радостный смех, галдеж, песни замечательного верного Васи Рыбалко.

Увидела себя, смертельно уставшую, во дворе клиники, толкающую тяжелую каталку с лежащим на ней Игорем, еще под наркозом после очередной операции в хорошей клинике, где и сегодня работают блистательные хирурги, но санитаров даже за большие деньги не найти. И как Игорь заваливался безвольно то на один бок, то на другой с этой каталки, и Танька держала его, как будто у нее было десять рук и богатырская сила. И каждый камешек увидела, и каждую ямку или выбоину в старом асфальте больничного двора увидела.

Увидела, как приехали в начале мая в Киев на традиционный сбор бывшие бойцы-афганцы – веселый певучий Вася, гигантский Римас, добродушный Серёга, уже солидные, уверенные, возмужалые. Как в последний раз тихо прошли они все в комнату к Игорю – прощаться. И какой Игорь уже был нерадостный и все понимал. Как уходили ребята подавленные, молчаливые, осиротевшие растерянные как дети.

Увидела и тот день, когда в дом по вызову ввалилась недовольная хамоватая врач скорой, несчастная замотанная женщина, и слишком энергично, слишком громко и скандально для медика неотложной помощи, слишком оглушительно для квартиры, где находится тяжелый больной и где привыкли говорить тихо, потому что и сам Игорь уже был так слаб, что говорил шепотом, рявкнула, тыкая пальцем в полулежащего в кресле полковника Кару:

-- Зачем вы нас вызвали? Кого тут везти в госпиталь?! Мы же его не довезем!

А фельдшер стоял за спиной врача, безучастный, равнодушный и зевал. И потом они оба ушли, хлопнув входной дверью.

-- Сволочи, -- бессильно хрипло шептал Игорь, -- какие сволочи!

Танька увидела себя, присевшую на колени рядом с Игорем и услышала то, как она сама ласково даже весело говорит:

--Карик, ну что ты, мало ли идиотов, не беспокойся, я сейчас привезу врача. Он волшебник. Я вчера еще договорилась. Он ждет. Поверь мне и будь спокоен, я быстро. Ты же меня знаешь, я же твой верный Заяц. Жди.

И пока она мчалась к машине и ехала куда-то, быстро высчитывая, в какую клинику ехать, кого, какого врача везти, где взять денег, чтобы заплатить за уже бесполезный визит, её Карик, наш Игорь умер.

Танька-Заяц увидела, как она выехала на обочину, заглушила мотор, вышла из машины, опустилась на колени точно так же как и сейчас, после этого дурацкого предложения быть его верным Зайцем, опустилась в пыль и закричала. А через минуту позвонила ее свекровь и сказала:

-- Возвращайся, Таня, возвращайся.

Танька-Заяц увидела, как в счастливый день их с Игорем свадьбы, мой муж Кузьмич подарил Игорю старинную монету. Петровский пятак. На удачу. И как Игорь все время носил этот пятак в левом нагрудном кармане, с упорством перекладывая его из кителя в китель, из гимнастерки в гимнастерку. Увидела, как вкладывает она сама этот пятак во внутренний карман последнего его мундира. Мундира, в котором Игоря хоронили.

Это все и многое другое, о чем ни я, ни кто-то другой никогда не узнаем, увидела Танька- верный Заяц. Увидела тогда, в1982 году, обнимая голову своего юного лейтенанта, так нелепо искренне и смешно попросившего ее руки. Она увидела это все и, не колеблясь, сказала:

-- Я согласна.

1. Горбатюк Анатолий «Кое-что из жизни бабушки», «Шурочка, генерал и дядя Леня».

***Анатолий Горбатюк***

**КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ БАБУШКИ…**

Моя бабушка среди соседок *по двору* (в описываемое время в Одессе говорили только так: не «по дому», а именно «по двору») слыла большим оригиналом, почему-то предпочитая *ходить делать базар* не на Привоз, а на Новый рынок. Так я оказался однажды в еще неведомом для меня районе Одессы, когда бабушка впервые взяла меня с собой. Вот тогда и произошло удивительное событие, которое взбудоражило нашу семью, но в этот раз уже не по моей вине. Итак, ранняя осень в Одессе 1946 года…

…Сделав необходимые закупки, каждой из которой предшествовала довольно изнурительная, но совершенно необходимая в Одессе процедура под названием «поторговаться», нагруженные заполненными «авоськами», мы пошли к выходу. Неожиданно бабушка резко разворачивается, из-за чего я с разбега носом упираюсь в пуговицу ее демисезонного пальто, и мы возвращаемся в корпус, где продают птицу. Бабушка долго стоит возле прилавка, внимательно рассматривая кур, привязанных за одну из лапок и беззаботно («Вот идиотки!» - подумал я) клюющих пшено. Никак не реагируя на мои «Бабушка, ну пошли!», она минут десять буквально гипнотизирует птиц, после чего глубоко вздыхает и отчетливо произносит:

- Как-нибудь, обойдемся без курятины…

И чего нужно было столько времени напрасно стоять?! Ведь знала же, точно знала, что не купит!..

В нашей большой семье бабушка была и бухгалтером, и экспедитором, и поваром, причем, к «Керогазу» - величайшему изобретению, пришедшему на смену примусу – и близко никого не подпускала. А необходимость постоянно экономить толкала бабушку на какие-то удивительные гастрономические изыски. Так однажды она поразила гостей приготовленным салатом «Оливье» совершенно замечательного вкуса. На все попытки выведать секрет его изготовления бабушка со слегка застенчивой улыбкой неизменно отвечала:

- Зачем вам это знать? Секрет хозяйки…

Когда гости разошлись, бабушка раскрыла свою тайну. Как известно, всеми любимый салат «Оливье» требует вложения в него куриного мяса. Только куриного, и никакого другого! Попытки использовать говядину или, что еще хуже, колбасу дискредитируют изобретение выдающегося французского кулинара! Денег, как всегда, на курицу не хватало, и, поразмыслив, бабушка решается использовать вместо курятины… мясо крабов. Тогда витрины всех одесских гастрономов были завалены консервами под названием «СНАТКА» с изображением этого членистоногого. Стоили они, в полном смысле слова, копейки. Результат превзошел все ожидания, но могла ли признаться бабушка в использовании вместо благородной курятины копеечных консервов?..

…Итак, мы продвигаемся к выходу из рынка. Мимо нас прошагал оборванный мальчишка с чайником в одной руке и стаканом в другой, громко распевая: «Кому напиться-прохолодиться? Есть холодная вода со льдом!». В чайнике, действительно, что-то громыхало. Конечно, мне сразу же захотелось пить, и я попросил бабушку купить мне стакан воды. Она смерила меня презрительным взглядом:

- Ты стал совсем ненормальным! Собрался пить из грязного стакана, из которого пьют все босяки?! Нам еще только какой-нибудь болячки не хватает! Потерпи, дома выпьешь компот.

Ну как объяснить бабушке, что ее айвовый компот не идет ни в какое сравнение с водой из чайника, которую продает этот пацан?..

У ворот рынка стояло несколько очень бедно одетых женщин, которые просили подаяние. Бабушка подошла к одной из нищенок, порылась в кошельке, подслеповато прищурившись, и протянула ей какую-то бумажку.

- Ты сколько дала? – поинтересовался я, когда мы вышли за ворота.

- А сколько я могу дать, миллион? Рубль, конечно. Я им всегда даю рубль…

Вопрос был задан мной не случайно: мне показалось, что в руке у бабушки мелькнула какая-то другая купюра, но я почему-то решил промолчать. А напрасно! Только мы пришли домой, бабушка, как обычно, начала сверять расходы на рынке с наличностью в кошельке и… заплакала.

- Боже мой, - раскачиваясь, запричитала она сквозь слезы, - я, слепая, старая кляча, вместо рубля дала ей сотню! Целую сотню!

Я чуть сознание не потерял: шутка сказать – дать нищенке «катеньку», как называли сторублевку наши «канавские» блатные! С ума сойти можно!

Неожиданно быстро успокоившись, бабушка твердо сказала:

- Сиди дома! Я пошла обратно на базар. Они еще не знают, с кем связались!..

Вернулась она, когда смеркалось. Мама, которой я рассказал, что произошло, начала уже волноваться и поминутно посматривать на часы-«ходики», висевшие в кухне. По победоносно улыбающемуся бабушкиному лицу мы поняли, что все в порядке, и тут же услышали весьма любопытную историю.

…Зайдя на рынок, бабушка с решительным видом подошла к попрошайкам, но той, которую она нечаянно щедро одарила, среди них уже не было.

- Тогда я им сказала, что сейчас же приведу сюда милицию, и им всем не поздоровится. И что вы думаете? Они сразу поняли, что со мной связываться – им дороже обойдется, и сказали, что ту нищенку зовут Мусей, и не только назвали адрес, но и объяснили, как, никого больше не расспрашивая, найти ее квартиру.

Бабушка сделала паузу, отпила из стакана айвовый компот и, обведя нас все тем же победоносным взглядом, продолжала:

- И я таки пошла по этому адресу на Коблевскую, которая теперь Подбельского, нашла себе ее квартиру и позвонила в дверь. Дверь открылась, и я увидела перед собой женщину с красивой прической, в шикарном китайском халате… Клянусь, я ее сначала не узнала: совершенно шикарная особа! У тебя, Катя, такого халата никогда не было, и не знаю, будет ли когда-нибудь. Я таки ее не узнала, зато меня эта Муся признала сразу! Она стала красная, как твоя кофта, и говорит: «Как хорошо, мадамочка, что вы меня нашли, потому что, когда увидела, сколько вы мне дали, я немножко обалдела и не знала, где мне вас искать. Извините, пожалуйста, и обождите минуту, сейчас я вам вынесу ваши деньги». И слегка прикрыла дверь. Но мне же интересно, как она живет на те гроши, которые собирает, и я чуть-чуть эту дверь приоткрыла… Ой, что я такое увидела, я чуть в обморок не упала! У нее в коридоре стоит такое трюмо красного дерева, какое у нас до войны стояло в гостиной, даже еще красивее, а шикарная люстра на пять ламп, а шелковые обои, а две картины в золоченых рамах… И это все только в коридоре! Можете себе представить, как обставлены ее хоромы?! Но в это время она выходит, уже в другом халате, поскромнее, и протягивает мне «сотню» - не мою, замусоленную, а новенькую, будто вчера отпечатанную, вот – смотрите! И говорит мне очень виноватым голосом: «Я надеюсь, что случившееся останется между нами! Я ведь вам ничего плохого не сделала…». Вот тебе и нищенка! Я уже не знаю, кто из нас нищие – мы или она. И тут я не растерялась. Как вы думаете, что я сделал? Никогда не догадаетесь! Я лезу в свою сумку, достаю рубль и протягиваю ей со словами: «Возьмите, Муся! Вы его сегодня честно заработали!». И вкладываю «рубчик» в ее онемевшие пальцы. Потом говорю «Прощайте!» и ухожу. Выходя из парадного, я оглянулась… Ой, это была такая немая сцена, что Гоголь бы заплакал от зависти…

…В следующий раз отправляясь на Новый рынок, бабушка предвкушала встречу с новой знакомой – как она поведет себя? Сделает вид, что они незнакомы? А может быть, широко улыбнется, будто увидела старую добрую приятельницу?.. Каково же было бабушкино разочарование, когда Муси на обычном месте не оказалось! Не было ее и в следующий раз, и в следующий… Еще много лет бабушка продолжала посещать этот рынок, но Мусю так никогда и не увидела. То ли дама сменила профессию, то ли просто поменяла дислокацию – кто ее знает…

2016г.

**ШУРОЧКА, ГЕНЕРАЛ И ДЯДЯ ЛЕНЯ**

Эта история началась в середине лета 1945 года, когда жильцы одной из квартир нашего дома были «уплотнены»[[2]](#footnote-2)\*, а на освободившейся жилой площади произведен срочный ремонт. Дворовая общественность пребывала в полном недоумении: для кого это готовятся хоромы? Ждать ответа на вопрос пришлось недолго. Через два или три дня, вечером, когда уставшее солнце медленно пряталось где-то за окраинами, во двор въехал огромный «студебеккер» с закрытым брезентовым тентом кузовом, а за ним – две трофейные легковые машины. Сразу же у входа в недолго пустовавшую квартиру замер часовой с автоматом. Из первой «легковушки» тяжело выполз пожилой генерал, а за ним выпорхнула удивительной красоты юная дама лет двадцати, распространяя по двору неведомые ароматы дорогой заграничной парфюмерии. Часовой сделал «на караул», и странная пара скрылась в дверях ожидавших ее апартаментов.

Из кузова «студебеккера» выпрыгнуло пять или шесть солдат, еще несколько вышли из второй «легковушки». Размяв ноги, они закурили, посматривая на кабину грузовика, где рядом с водителем дремал пожилой старшина. К разгрузке грузовика приступили, когда совсем стемнело – зачем лишние глаза? Впрочем, все население дома, деликатно разошедшееся по своим квартирам, сразу же прильнуло к окнам, как только был открыт брезентовый тент. Солдаты очень быстро перенесли в квартиру вещи, находившиеся в чреве грузовика, который тут же выехал, уступив место другому груженному «студебеккеру». Под подбадривающее покрикивание старшины солдатики так же быстро опорожнили и этот автомобиль, а затем – третий, как оказалось – последний…

Прошло несколько недель, а может быть, и того меньше, как дом узнал все (или почти все) о новых жильцах. В основном, информация поступала от тети Фени, жены дворника, с которым, в свою очередь, делился подробностями о генерале и его юной спутнице все знающий участковый.

История оказалась банальной для того непростого времени: стареющий генерал, закончивший войну в Восточной Пруссии и имевший, как потом оказалось, семью где-то на Урале, демобилизовался, но до Урала не добрался, осев, благодаря связям, с богатыми трофеями и фронтовой подругой в Одессе, а точнее – в нашем доме.

Девятнадцатилетняя красавица Александра, которую скоро весь двор называл Шурочкой, служила телефонисткой при штабе «нашего» генерала, своей семьи не имела, так как ушла на фронт добровольцем из детского дома. Она быстро смирилась с ролью наложницы пожилого сластолюбца, решив хоть немного пожить в собственное удовольствие.

А возможности для создания такой жизни у генерала были огромные! До демобилизации он руководил службой снабжения армии и, будучи, судя по всему, человеком не очень щепетильным, «сколотил» за короткий срок нахождения в поверженной Германии солидное состояние, которое, помимо финансовой составляющей, едва поместилось в трех огромных грузовиках. Здесь были и ценнейшие живопись и скульптура, и старинная мебель красного дерева, и знаменитый саксонский фарфор, и необыкновенной красоты ковры ручной работы, и еще много, много всего…

Благодаря уже упоминаемым связям, приехав в Одессу, демобилизованный генерал очень быстро пристроился в какую-то инспекцию, занимавшуюся распределением приходившей в порт «американской помощи», значительно укрепляя день ото дня свое, и без того не бедственное, положение.

Каждый вечер к генералу на машинах приезжали гости. Из открытых окон его квартиры доносилась громкая музыка (не патефонная, как у всех, а издаваемая неведомой для нас немецкой радиолой), слышались тосты, взрывы смеха... Ближе к полуночи загулявшая публика выходила во двор и с помощью ракетниц устраивала салют. Расходились гости, когда звезды в небе начинали блекнуть и явственно ощущалось приближение летнего раннего рассвета. «Интересно, а как они работать будут после такого кутежа?» - недоуменно говорила утром моя мама…

Довольно часто генерал с друзьями отправлялся на охоту. По их возвращении генеральский денщик Витя выносил во двор заячьи тушки и на виду у всех разделывал их. Шкурки забирала хозяйственная тетя Феня. Когда Витя заканчивал разделку, во двор выходила Шурочка и раздавала мясо всем желающим (а было их в те голодные годы немало), оставляя себе зайчатины килограмма два-три, не больше. На неодобрительное Витино бурчание («Чего раздавать столько?!») она либо не реагировала вообще, либо отвечала с презрительной усмешкой:

- Ты посмотри, будто твое раздаю!..

Вообще, следует отметить, что Шурочка была девушка не жадная, часто помогала нуждающимся, занося таким прямо в их квартиры не только еду, но и одежду. На робкие протесты Шурочка обычно отвечала:

- Ой, берите, сколько той жизни! У меня шмоток этих – два набитых шкафа. Когда я все сношу?..

Население дома очень быстро привыкло к новым соседям и их образу жизни, тем более, что многим кое-что перепадало «с барского стола». В Шурочку же было тайно влюблено все мужское население, включая и нас, сопливых пацанов. Даже редко бывавший трезвым дядя Леня провожал ее восхищенным взглядом и одобрительно бормотал: «Хороша, халява!..».

Кстати, о дяде Лене. Он готовил отвратительнейший, по отзывам знатоков, самогон из гнилой свеклы. Вонище стояло во дворе страшное, но дворник ничего не боялся – не потому, что был большим храбрецом, а благодаря дружеским отношениям с участковым, который и сам был не против пропустить стаканчик (и не один) мерзкого зелья. Закусывали обычно этот «нектар» нарезанной на дольки и круто посоленной луковицей с замусоленной старой газеты, которую дядя Леня расстилал на ступеньках «развалки», как мы называли разрушенный бомбежкой один из флигелей. Изрядно отведав «живительной влаги», дворник почему-то искал общения с нами, дворовыми пацанами. Мы, в свою очередь, видя, что дядя Леня уже «готов», с удовольствием на такой контакт шли, заведомо предвкушая удовольствие от его героических рассказов. Только старались при этом находиться хотя бы в метре от дворника, чтобы не ощущать его гнилостное дыхание. Представляете, какие пары выдыхал дядя Леня, закусив «цибулей» результат перегонки сгнившей свеклы?..

Итак, мы рассаживались на ступеньках «развалки», а дядя Леня в очередной раз начинал заплетающимся языком рассказ об одном и том же эпизоде, якобы происшедшем с ним во время войны. Только окончания этого рассказа нам так никогда и не удалось услышать…

- Отож, колы мы форсырувалы Днипро, - пьяно тянул слова дворник, раскачиваясь и мусоля давно потухший «бычок», – тильки вже й не памьятаю – чи то Ванька, чи Колька, чи Анька…

- Что, дядя Леня, и дети ваши с вами воевали? – мгновенно реагировал сразу же кто-то из нас.

Дядя Леня переводил мутный взгляд на «любознательного»:

- От, дурный хлопец! Пры чому туточки диты?

- Так вы же сами сказали: «Чи то Ванька, чи Колька, чи Анька»…

Дворник всем своим видом демонстрирует глубокую обиду и смотрит куда-то поверх наших голов.

- Дай человеку рассказать, не лезь с глупыми вопросами! – притворно набрасываемся мы на задавшего каверзный вопрос. – Дядя Леня, рассказывайте! Так интересно!..

Дядя Леня, почувствовавший живой интерес к своим воспоминаниям, сразу же продолжает:

- Да, форсыруемо мы Днипро… А Днипро – вин, такий, не дуже широкий… - дворник замолкал и начинал сосредоточенно шарить мутным взглядом по двору. – Ото як вид мэнэ – и до бордюрчику… Да, не ширше…

Это место нам нравилось больше всего, потому что Днепр, по яркому рассказу дяди Лени, оказывался все время разной ширины – то метров пять, то десять… Но не больше.

- Да, – выдержав мощную паузу и безуспешно пытаясь раскурить скомканную, сломанную в нескольких местах папиросу «Ракета», не спеша продолжал дворник, раскачиваясь все сильнее, - от не памьятаю – чи Ванька, чи Колька, чи Анька…

Видя, что амплитуда раскачивания все больше увеличивается, мы осторожно усаживали дядю Леню на ступеньки. Через минуту он уже громко храпел, а из его полуоткрытого рта тоненькой струйкой вытекала слюна…

Однажды эти волнительные фронтовые воспоминания услышала проходящая по двору Шурочка. Ее восторгу не было предела.

- Какая прелесть, - осторожно вытирая выступившие от смеха слезы, повторяла она, - какая прелесть! Нужно, чтобы это обязательно Пал Саныч услышал…

Павел Александрович – это генерал, Шурочкин повелитель. Однажды ей удалось-таки за какую-то неведомой красоты бутылку уговорить дядю Леню рассказать ожидающему во дворе машину генералу о форсировании Днепра. Генерал же, тоже обладавший чувством юмора, но не пожелавший слушать подобный пьяный бред, нетерпеливо остановил дядю Леню на второй или третьей фразе.

- Сержант! – строго обратился он к дворнику, и от неожиданности тот стал почти трезвым. – Сержант, что же ты военные тайны выбалтываешь направо и налево?!

Дядя Леня сосредоточенно посмотрел в глаза генерала и неуверенно произнес:

- Та вийна, мабуть, скинчылась…

- Вот именно – «мабуть». А про Японию забыл? Смотри, сержант, больше про Днепровскую операцию – ни слова!

И сел в подъехавшую машину. С того момента наш дворник стал всячески избегать генерала и на глаза тому не попадаться…

**\* \* \***

…Такое наслаждение жизнью в бесшабашной генеральской семье продолжалось что-то около года – до неожиданного появления в нашем дворе двух разгневанных женщин – пожилой и молодой, как Шурочка. Оказалось, что, как гром с ясного неба, с Урала нагрянула настоящая семья генерала – жена и дочь. Разразился страшный скандал. Пока брошенная генеральша пыталась словом (достаточно громким) усовестить своего мужа, дочь, ровесница Шурочки, вцепилась в прическу последней, и только генеральский денщик Витя сумел высвободить визжавшую Шурочку из цепких рук озверевшей юной жительницы Урала. Приехала милиция, вызванная вездесущим участковым по сигналу дворника, и события переместились в генеральскую квартиру. Из-за поспешно закрытых окон во двор доносился только какой-то приглушенный гул, а толком разобрать ничего нельзя было.

Но это было только начало катастрофы. Как оказалось впоследствии, генералом уже давно заинтересовались определенные службы и несколько месяцев «вели» его, со стороны внимательно наблюдая за всем, что творил потерявший всякую бдительность наш герой. Начались бесконечные вызовы на допросы в прокуратуру. После одного из таких вызовов генерал домой не вернулся. Квартиру со всем находящимся в ней добром опечатали, и Шурочка оказалась в полном смысле слова на улице. Генералу «припаяли» «десятку» с конфискацией имущества. В качестве свидетеля со стороны обвинения на суде выступил и дядя Леня…

Шурочку приютили сердобольные соседи, и с полгода она ютилась у них, а потом исчезла – на долгие годы. Через много лет я случайно встретил ее на Пушкинской – постаревшую и какую-то поблекшую. От былой яркой красоты не осталось и следа.

- Шурочка, вы не узнаете меня? Я – Толян из пятой квартиры, помните – пел для вас «На позицию девушка…»…

- Ой, только теперь и признала! Совсем взрослый уже. А вот как ты меня, старуху, узнал – просто удивительно! Ты все там же живешь?

- Там же, конечно. Да какая вы старуха? Как были красавицей, так красавицей и остались…

- Не бреши! – строго одернула меня Шурочка. – Была когда-то красавица Александра Егоровна, да вся вышла. Работаю официанткой в столовой, сама дочку воспитываю – вот и все мои дела. Ну, прощай, Толян! Передавай привет от Шурки во дворе, если кто-то еще помнит меня!

Больше Шурочку я никогда не встречал…

1. Деменок Евгений «Мама и Би Джиз»

***Евгений Деменок***

**МАМА И БИ ДЖИЗ**

Интерклуб на улице Розы Люксембург, нынешней Бунина, был в советские времена единственным в Одессе местом, где студентки факультета романо-германской филологии нашего университета могли пообщаться с живыми иностранцами. Нет, студенты, конечно же, тоже могли попрактиковаться в английском, немецком и французском, но сами знаете – студентов на РГФ днём с огнём не сыщешь.

Иностранцы разных калибров и мастей, а точнее – разных национальностей и профессий, – придя в Интерклуб, могли почувствовать себя почти как дома. Вокруг звучала родная речь, а в баре на доллары, фунты и марки можно было купить всё то, что для советских граждан было недоступной роскошью. Гостями Интерклуба были в основном моряки. «Водоплавающие», как называли их в Одессе. Собственно, основной целью открытия Интерклуба и было создание такого места, где иностранные моряки, коротая время погрузки судна, могли провести свободное время, не болтаясь при этом по улицам и не смущая советских граждан своим буржуазным видом. Иногда в Интерклуб забредали и обычные туристы, ведь ориентироваться в тогдашней Одессе и социалистической действительности в целом иноязычным гражданам было затруднительно. У нас и сегодня нет ни одного уличного указателя на английском, что уж говорить о шестидесятых.

Студентки РГФ приходили в Интерклуб стайками. Если стайка не собиралась, то приходили парами, но никогда поодиночке. Это легко можно было понять. Во-первых, ситуация складывалась двусмысленная – девушки сами приходили в мужскую компанию. Чуть не написал было «по своей инициативе», но вовремя спохватился – инициатива исходила скорее от преподавателей и руководства факультета. То есть студенткам прямо говорили о том, что посещение Интерклуба желательно. Причём посещение регулярное, не меньше двух раз в неделю. Конечно, не для завязывания международных контактов или, не дай Бог, не для поисков иностранного жениха. Основным поводом была, как я уже говорил, языковая практика. Попасть в клуб удавалось только лучшим - девушкам приходилось сдавать целых два экзамена, по языку и на знание политической ситуации. Они должны были достойно представлять Советскую Родину в общении с пусть не акулами, но дельфинами капитализма. Или бычками. Камбалами капитализма.

Среди таких камбал было много тех, кто уже бывал в Одессе в предыдущих рейсах. Но иногда попадались и те, кто приехал-пришёл-приплыл в наш город впервые. Всё им было в новинку, всё интересно.

С двумя такими не «водоплавающими» интуристами и познакомилась в июне 1968 года моя мама, перешедшая в том году на последний курс РГФ. Тёплым летним вечером они с подругой пришли в привычное место на улице Розы Люксембург. По левую руку в арке дворика филармонии, построенной когда-то выдающимся итальянцем Бернардацци как биржа, была – собственно, и сейчас есть, - большая красивая деревянная дверь, войдя в которую, советский человек попадал в совершенно иной мир. Широкая мраморная лестница вела на второй этаж, в огромный зал с высокими потолками, отделанными дубовыми балками; в зале к приходу иностранных гостей расставляли столики, каждый из которых прослушивался сидящим в отдельном кабинете директором Интерклуба – разумеется, сотрудником уполномоченных органов, - с экзотической фамилией Мариосабиа. Но ни мама, ни её подруга Люба этого, разумеется, не знали, и настроение их ничто не могло испортить. В зале за большой выполненной по последней моде барной стойкой можно было купить недоступные для простого советского гражданина предметы роскоши – импортные сигареты и спиртное. В соседней комнате была библиотека, в которой можно было не только найти раритетные книги на английском, но и скрыться от посторонних глаз – но, увы, не от посторонних ушей.

Встречи с иностранными гостями организовывались как вечера дружбы. Когда заходило немецкое судно – устраивался вечер советско-немецкой дружбы. Когда заходило индийское, - а такое бывало часто, - соответственно советско-индийской. На этот раз был организован вечер советско-английской дружбы – к причалу Одесского морвокзала пришвартовался большой английский пассажирский теплоход.

Основными заводилами вечеров дружбы как раз и были отличницы, комсомолки и спортсменки, одной из которых и была моя мама. Девушки готовили небольшое выступление, в котором пели, танцевали и разыгрывали небольшие театрализованные сценки, прямо-таки втягивая иностранноподданных в дружбу. После такого разогрева все разбивались на группы по интересам и продолжали общаться, уже сидя за столиками.

Этим вечером в клубе было шумно и многолюдно. Поздоровавшись со знакомыми и окинув взглядом зал, мама обратила внимание на двух совсем молодых людей, выглядевших и одетых необычно даже для иностранцев. А точнее, ярко и даже вызывающе. Оба были длинноволосыми, с густыми шевелюрами, бакенбардами и небольшими бородками. Синий в тонкую белую полоску пиджак, белая водолазка, коричневые расклешённые вельветы у одного, жёлтый пиджак с голубой рубашкой с отложным воротником и опять же расклешённые джинсы у второго. Конечно, мама знала, как выглядят рок-звёзды – фото «Битлов» были знакомы всем студенткам иняза, а их песни на бобинах мама слушала уже в 64-м году. Но эти двое выглядели слишком ярко даже для рок-звёзд. Мамины мысли прервал Нолик – комсомольский заводила и неформальный худрук вечеров дружбы. Ноликами в Одессе называли Арнольдов, Нюмами - Наумов, Додиками – Давидов. В те славные времена даже комсоргами в нашем городе были евреи.

- Света, пора готовиться к выступлению.

В этот вечер мама пела свою коронную – «Strangers in the night» Синатры. Её песня завершала «разогрев». С причёской а-ля Бабетта, в коротком синем платье, она привлекала к себе всеобщее внимание. Неожиданно, к немалому маминому смущению, один из двух ярко одетых парней подошёл к ней, склонился к микрофону и начал подпевать. После первых нот стало неясно, кто кому подпевает – таким густым и сильным был его голос. Публика аплодировала, как одержимая, и попросила исполнить ещё одну песню, на бис.

- Давайте споём «Следы на песке» Пэта Буна? – спросила мама.

- С удовольствием! – ответил ей молодой человек.

И снова публика аплодировала как одержимая.

После окончания песни молодой человек раскланялся во все стороны, взял маму под руку и повёл к своему столику. Мама растерялась было, но не подала виду и позвала взглядом Любу. Второй молодой человек стоял у столика и, улыбаясь, смотрел на маму. Оба англичанина были удивительно похожи друг на друга – правда, этот показался немного старше и представительнее.

- Светлана, - сказала мама, протягивая ему руку. В тогдашнем СССР руки для рукопожатия протягивали только очень решительные и эмансипированные девушки.

- Барри, - ответил молодой человек. – А это – мой брат Робин, - сказал он, показывая на маминого кавалера, который минуту назад так замечательно пел.

Робин пожал мамину руку и посмотрел ей в глаза.

Мама слегка покраснела и сказала, показывая на подошедшую подругу:

- А это – моя подруга Люба.

Люба тоже покраснела.

- Давайте выпьем кофе? – предложила мама.

- С удовольствием, - хором ответили братья. Через несколько минут Робин принёс всем кофе, сели рядом с мамой и вновь, улыбаясь, посмотрел ей в глаза.

- Вы выглядите экстравагантно даже для англичан, - сказала мама.

- Мы не совсем англичане. Родились на острове Мэн, потом вся семья уехала в Австралию. Вернулись в Англию всего полтора года назад, - сказал Барри. – Вернулись для того, чтобы делать настоящую музыкальную карьеру.

А дальше началось совсем невероятное. Барри и Робин заявили, что они не просто музыканты, а всемирно известные музыканты. Что они записывают сейчас новый альбом – ужешестой, - который задумали назвать «Masterpeace», как игру слов «шедевр» и «мир». Что часто ссорятся на музыкальной почве – ведь каждый считает себя главным, и когда каждому нравится разная музыка, это в итоге приводит к конфликтам. Что продюсер требует от них всё новых песен и что они записывают по альбому каждые полгода. И вообще, поют они с детства, начинали музицировать ещё с папой, и за десять лет так устали, что пришла пора отдохнуть. И вот они решили отправиться в круиз по Средиземному и Чёрному морям для того, чтобы проветриться и найти новые идеи. Вот так и приплыли в Одессу на круизном теплоходе - на целых три дня.

Мама, конечно, встречала в Интерклубе разных иностранцев – капитанов, бизнесменов, возможно, даже миллионеров. Но чтобы кто-то так откровенно заливал – такого ещё не было. Они с Любой улыбались и толкали друг друга под столиком при очередном сюжетном повороте и рассказе о музыкальных наградах, которые парни недавно получили.

- Сколько же вам лет, всемирно известные музыканты? – спросила мама.

- Мне почти двадцать два, я старший, - сказал Барри. – Робин на три года младше. А ещё у Робина есть брат-близнец Морис. Он родился на целых тридцать пять минут позже. Он тоже играет с нами в группе.

- И как же называется ваша группа? – хихикнула мама.

- «Би Джиз». Мы – братья Гибб. Отсюда и название.

- Никогда не слышали! – прыснули мама с Любой. – «Битлз» слушаем, «Роллинг Стоунз» знаем, а о «Би Джиз» ничего не слышали.

С парнями всё было ясно. Ясно было, что они решили «склеить» доверчивых советских девушек, рассчитывая на то, что сквозь «железный занавес» не проникает никакая информация с Запада и проверить их небылицы не получится.

Но, как говорится, не на тех напали. Всё-таки мама была дочерью офицера, полковника, который вот-вот должен был стать генералом. Да и экзамен на знание политической ситуации сдала на отлично. Поэтому настойчивые просьбы юношей проводить их с Любой домой решительно отвергла. Но потом сжалилась и согласилась завтра днём показать Одессу.

В те времена просто так гулять с иностранцами по городу советским гражданам запрещалось. Но – нет ничего невозможного для человека с интеллектом. А интеллект, как известно, помогает не только решать проблемы, но и предвидеть их. Будучи ещё студенткой второго курса, мама закончила курсы экскурсоводов при «Интуристе», что находился тогда в знаменитой гостинице «Красная». И теперь она могла гулять с иностранцами по городу сколько душе угодно.

Назавтра встретились у Дюка. Мама с Любой даже ушли пораньше с занятий. Робин и Барри оделись ещё более экзотично, решив, видимо, покорить девушек окончательно. Барри был в ослепительно белом костюме с розовой рубашкой и бордовым галстуком, а Робин – в тёмно-синем в белую полоску костюме с жёлтой рубашкой и бежевым шейным платком. Взгляды всех прохожих были устремлены на необычную четвёрку, которая так выделялась на фоне всегда неброско одетых советских людей.

- Давайте я расскажу вам о нашем городе? – радостно предложила мама.

- Мы с утра ждём этой прогулки! – улыбнулся Робин и взял маму под локоть.

- Тогда начнём прямо отсюда – с Приморского бульвара, - сказала мама и повернула к Думе, в которой тогда находился горсовет.

Приморский бульвар называли тогда «капитанским мостиком» - вышедшие в отставку капитаны и офицеры приходили во Дворец моряков, а потом сидели часами на скамейках, рассказывая друг другу и всем желающим бывалые и небывалые рассказы о морских путешествиях. Мимо одной такой группы как раз и прошли мама с Любой и ребятами. Седой стройный капитан в красивой морской форме громко рассказывал: «И вот идём мы из Норвегии в Финляндию…»

- Не знаю почему, но я всегда мечтала поехать в Финляндию, - сказала мама Робину.

- Мне сложно понять это желание, - ответил Робин. – Скучная холодная страна.

- Ну и что! – мама тряхнула головой. – А я хочу!

Робин смутился. Мама тоже.

- Ну что же, давайте я расскажу вам об Одессе – сказала мама, прерывая затянувшуюся паузу. - В гостинице «Лондонская», что справа от нас, останавливались Владимир Маяковский и Айседора Дункан, Жорж Сименон и Луи Арагон, Антон Чехов и Роберт Льюис Стивенсон…

Мама увлечённо рассказывала, братья смотрели на неё с восхищением, а вокруг стояла та одесская погода, которая бывает только в июне и начале сентября, когда на улице «немного жарко и до одури приятно». Потом все вместе считали ступеньки Потёмкинской лестницы, спускаясь к Морвокзалу, тогда ещё не изуродованному гостиницей, у причала которого стоял теплоход, на котором братья пришли в Одессу… На эскалаторе поднялись вверх, повернули к Воронцовскому дворцу, а оттуда по «золотому треугольнику» - через Краснофлотский переулок к площади Потёмкинцев и дальше по Карла Маркса и Ласточкина вышли к Оперному театру. Мама рассказывала братьям о славной истории Одессы, о её знаменитых градоначальниках… Когда речь зашла о Воронцове, братья оживились – они жили в Лондоне недалеко от улицы, названной в честь отца нашего генерал-губернатора, Семёна Романовича. В общем, мама блистала эрудицией и английским. Наверное, эта любовь к истории Одессы приведёт её потом на работу в Историко-краеведческий музей… Когда все подошли к Оперному, Барри и Робин вдруг предложили пойти вечером на представление и, не дожидаясь согласия, побежали в кассу.

Мама с Любой поспешили за ними – помочь объясняться с кассирами. Отказаться было невозможно и неудобно. Так мама в очередной раз посмотрела «Лебединое озеро», а Барри и Робин смотрели на неё… Но это было позже, вечером, а пока молодые люди гуляли по Пушкинской и Дерибасовской, а когда, устав, все присели отдохнуть на скамейке в Горсаду, Барри и Робин вдруг запели. Это потом, много лет спустя, мама узнала, что они пели свою знаменитую песню «Words», а тогда они с Любой не на шутку перепугались и попросили братьев не петь так громко – вокруг были советские люди, милиционеры, да и КГБ не дремало – их всевидящие сотрудники были везде, и маме совсем не хотелось объяснять, что они с подругой делают тут в компании подозрительных иностранцев. Братья удивились и даже немного обиделись, но петь перестали. И пригласили девушек к себе на пароход, в каюту - отдохнуть перед Оперным. Мама аж поперхнулась от такой наглости и собиралась было направиться с Любой к троллейбусу, но Робин упал перед ней на колени, извинялся, улыбался и целовал руку. А потом предложил вернуться к Дюку и немного подождать, пока они с братом спустятся к своему пароходу и принесут девушкам в подарок свои пластинки. Любопытство взяло верх над благоразумием, и вот уже мама с подругой стоят у Дюка, а братья Гибб приносят им целых две пластинки – неслыханное тогда дело, - по одной каждой девушке. Маме достался альбом «Bee Gees' 1st», а Любе – «Horizontal». Увидев фотографии Барри и Робина на обложках пластинок, девушки заволновались. Нет, внешне это, конечно, никак не проявлялось, но мысль о том, что они выгуливают по Одессе заморских рок-звёзд, заставила учащённо биться девичьи сердца. Но – нужно было держать фасон. А для того, чтобы его держать, необходимо было подкрепиться.

Сравнивать тогдашний одесский общепит с сегодняшним – занятие неблагодарное. Сегодня иностранцев можно привозить на специальные гастрономические туры по «одесской» кухне, а тогда… К счастью, незадолго перед описываемыми событиями на Дерибасовской угол Карла Маркса открылось кафе «Алые паруса», которое сразу стало считаться молодёжным, и у студентов верхом шика считалось пройтись «по Дерибе» и зайти в «Паруса» или открывшуюся напротив «Лакомку», которые сверкали новенькими стеклянными витринами – неслыханное в те годы новшество.

Не без труда нашли свободный столик. Конечно же, компания привлекала к себе внимание – уж слишком несоветскими были лица и одежда Барри и Робина. Маме не хотелось обращать внимание на назойливые взгляды соседей, и она принялась рассказывать парням о своём новом литературном увлечении – романе Германа Мелвилла «Моби Дик», который они проходили недавно по курсу зарубежной литературы. Мама рассказывала братьям о сумасшедшем капитане Ахаве и его зловещих помощниках во главе с парсом Федаллой; о бедном сошедшем с ума юнге Пипе, выпавшем из лодки и проведшем ночь на бочке в открытом море; о капитане корабля «Рахель», потерявшем сына во время охоты на Моби Дика; о чудом спасшемся Исмаиле, который удержался на плаву благодаря гробу, сделанному заранее его другом гарпунщиком Квикегом…

Время пролетело незаметно. На улице начало смеркаться. Пора было идти в театр. Барри и Робин долго и искренне восхищались нашим Оперным, творением талантливых венских архитекторов-многостаночников Фельнера и Гельмера, создавших целый концерн по постройке оперных театров в Европе. В антракте пили кофе с пирожными, болтали о пустяках, а потом мама спросила, когда братья выпустят новый альбом.

- Мы недавно прилетели из Нью-Йорка, записали там несколько песен, - сказал Барри. Похоже, альбом будет двойным. Дописывать будем уже дома, в Лондоне. Надо спешить – Стигвуд подгоняет, как всегда. Наш продюсер.

После «Лебединого озера» Барри и Робин пошли провожать маму с Любой на троллейбус. Девятка, конечная которой была тогда на площади Мартыновского, приехала довольно быстро. Всем было жаль расставаться друг с другом после такого интересного дня, но – завтра экзамен, а дома родители. И вновь братья предложили проводить девушек домой.

- А как вы приедете обратно? Вдруг заблудитесь? Водители наших троллейбусов по-английски не говорят, - сказала мама. - Да и остановки у нас с Любой рядом с домом. Это раньше, когда папа ещё не получил эту квартиру, мы снимали две комнаты в частном доме; у хозяев была огромная овчарка, которую они на ночь отвязывали. Вот тогда я жутко боялась возвращаться вечером домой. В конце концов собака как-то перепрыгнула через забор и убежала – её так и не нашли. Вспоминаю это сейчас как страшный сон.

- Как же мы увидимся? – спросил Робин маму. – Завтра наше судно уходит в Стамбул…

- Мы постараемся сдать экзамен первыми и быть у Дюка в двенадцать. Договорились?

- Договорились! – Светлана, можно поцеловать тебя?

- Прямо так сразу? – смущённо засмеялась мама.

- Сразу! В знак советско-английской дружбы! – улыбнулся Робин и поцеловал маму, не дожидаясь разрешения.

Я не стану рассказывать о том, что выслушала мама от бабушки – предупредить о том, что будет поздно, она никак не могла – телефоны в квартирах были тогда недоступной роскошью. К счастью, на помощь пришёл дедушка – он и выслушал мамин восторженный рассказ об английских музыкантах, покрутил в руках пластинку с автографом и отправил маму спать, промолчав о том, что, если в его Артиллерийском училище узнают о том, что его дочь так тесно общается с иностранцами, последствия могут быть весьма неприятными.

На следующий день у Дюка была только мама – Любе пришлось остаться в университете. Барри пришёл один с большим пакетом в руках. Он заметно волновался. Волновалась и мама. Оба понимали, что видят друг друга в последний раз. Железный занавес поднимется лишь через двадцать с небольшим лет…

- Где же Робин? – спросила мама.

- Мы с ним немного повздорили. Он не давал мне спать всю ночь. Понимаешь… Он хотел признаться тебе в любви и вообще остаться в Одессе, но я был категорически против – он ведь помолвлен, свадьба назначена на август, и я обещал его невесте, Молли, присматривать за ним в круизе. В общем, после небольшого скандала я оставил его в каюте. В конце концов, я ведь старший брат, - сказал Барри и улыбнулся.

– Робин попросил передать тебе это, - Барри засунул руку в карман пиджака и вынул оттуда бумажное сердечко. - Эта валентинка для тебя, Светлана. Мы дарим такие открытки на День святого Валентина тем, кому принадлежит наше сердце. И хотя до четырнадцатого февраля ещё полгода, Робин попросил подарить её тебе сегодня, чтобы выразить свои чувства.

Мама зарделась.

– А я… Я хочу подарить тебе неожиданный подарок. Ты так интересно рассказывала о Моби Дике и моряках «Пекода»… Прямо перед отплытием мы купили в Англии точную копию моржового бивня с вырезанной надписью – это было широко распространено среди китобоев. Видишь надпись – «Китобойный барк «Вероника», 1837 год». Это тебе, Светлана.

Бивень был совсем не маленьким – девятнадцать дюймов, почти полметра. К счастью, братья предусмотрительно завернули его в плотную бумагу.

Пора было прощаться. Барри неловко поцеловал маму в щёку, она обняла его.

- Я буду писать, - сказал Барри. – Дай мне свой адрес.

Мама вырвала лист из тетрадки с лекциями по современной английской литературе и написала домашний адрес. Барри сложил листик и положил его в карман пиджака.

- Тебе пора идти, - сказала мама. - Пароход не будет ждать.

Когда Барри ушёл, она развернула валентинку. «Я уезжаю, но сердце моё остаётся в Одессе. Робин Гибб», - было написано на ней.

Через месяц на мамин домашний адрес пришло письмо из Англии. По конверту было видно, что его уже читали. А ещё через месяц дедушку вызвал начальник училища и сказал, что о генеральском звании, которое было уже на подходе, пока лучше забыть, потому что дочь генерала не может переписываться с гражданами враждебно настроенных к нам капиталистических стран. И посоветовал как следует поговорить с дочкой.

О том, что было в письме, мама никогда мне не рассказывала. Совсем скоро она встретила папу, а через год родился я. Но до этого произошло ещё одно важное событие.

В самом начале следующего, 1969 года, сначала в США, а затем в Англии вышел двойной альбом «Bee Gees», который многие критики и сегодня называют самым лучшим и самым недооцененным альбомом группы. Обложка диска очень лаконична – на однородном красном фоне большими белыми буквами написано: «BEE GEES. ODESSA». Заглавная песня альбома называется «Odessa (city on the Black Sea)». Интересно? Дальше - ещё интереснее. Над расшифровкой текста этой песни бились сотни поклонников и почитателей творчества братьев Гибб. Вот этот текст, переведенный на русский язык:

«Четырнадцатое февраля тысяча восемьсот девяносто девятого.

Британское судно «Вероника» пропало без следа.

Чёрная овечка, на тебе совсем нет шерсти.

Капитан Ричардсон оставил свою одинокую жену в Гулле.

Херувим, я потерял судно в Балтийском море.

Я сижу на айсберге, который плывёт неизвестно куда.

Сижу и пытаюсь придать этой льдине очертания судна;

Прокладывая мой путь обратно к твоим губам.

Одно проходящее мимо судно сообщило, что ты выехала из своей старой квартиры.

Ты любишь викария больше, чем это можно выразить словами.

Попроси его помолиться о том, чтобы я не растаял.

И я снова увижу твоё лицо.

Одесса, насколько я силён?

Одесса, как быстро летит время!

Сокровище, ты знаешь соседей, которые живут рядом за дверью.

У них больше нет собаки.

Замерзаю, плывя в Северной Атлантике.

Мне кажется, я никогда не покину море.

Я не могу понять, почему ты переехала в Финляндию.

Ты любишь этого викария больше, чем это можно выразить словами.

Попроси его молиться, чтобы я не растаял.

И я смогу снова увидеть твоё лицо.

Одесса, насколько я силён?

Одесса, как быстро летит время!

Четырнадцатое февраля тысяча восемьсот девяносто девятого.

Британское судно «Вероника» пропало без следа».

После многочисленных попыток расшифровки текста песни и критики, и поклонники сошлись на том, что текст, как и весь альбом, психоделический и никакого смысла в нём нет. И только несколько человек в Англии и в Одессе знали, о чём песня. Именно Робин, настаивавший сначала на названии ««Masterpeace», предложил для альбома название «ODESSA», а кроме того, спел заглавную песню. Основная часть текста и говорящие слова: «Одесса, насколько я силён? Одесса, как быстро летит время» были написаны именно Робином. Его борьба с самим собой закончилась тем, чем и должна была закончиться – он женился на Молли Хьюллис, которая родила ему двух детей; разошлись они через одиннадцать лет, в 1980-м. Слова песни об английском капитане корабля «Вероника», потерпевшего крушение и дрейфующего на льдине с разбитым сердцем, теперь понятны и нам. Так же, как и слова о соседях, у которых больше нет собаки; о Финляндии... Да и дата – четырнадцатое февраля, - встречающаяся в начале и конце песни, уже не вызывает вопросов.

Собственно говоря, названия и других песен альбома были «говорящими»: «You'll never see my face again», «Sound of love», «Never say never again». Нужно ли говорить, что уже в марте в Одессу пришла бандероль из Лондона, в которой был сам альбом с шикарной велюровой обложкой и новое письмо, на этот раз от Барри? В письме он признавался, что та одесская размолвка с Робином имела далеко идущие последствия – Робин ушёл из группы и начал сольную карьеру. Барри и второй брат-близнец Морис решили не сдаваться и тоже записывают новый альбом – «Cucumber Сastle». Что ещё было в письме, мы уже никогда не узнаем, потому что мама по настоянию папы порвала его. Диск, к счастью, остался – сначала его не на чем было слушать, но родители поднатужились и купили радиолу «Ригонда», а потом и проигрыватель «Аккорд». В те годы это было «бомбой». Но ещё большей «бомбой» был сам альбом «Би Джиз», который так отличался от пластинок фирмы «Мелодия»…

Знаменитый одесский меломан Александр Пикерсгиль, смастеривший самостоятельно стереосистему с радиолой и колонками, равной которой по качеству звучания не было в Советском Союзе и в обмен на которую ему предлагали «Волгу» - неслыханное тогда дело, - через маминого знакомого Витю Стадниченко узнал о пластинке и выпросил её на несколько дней. Так одесситы, собиравшиеся по выходным под окнами его квартиры на углу Щепкина и Петра Великого и слушавшие джаз и популярного тогда Рэя Конниффа из колонок, которые он выставлял прямо в окно, впервые услышали музыку «Bee Gees».

А потом мама по папиному настоянию написала братьям письмо, в котором рассказала обо всём и попросила больше не писать. Дошло ли оно – неизвестно; письма из Советского Союза часто не доходили до адресатов в капиталистических странах. Но как бы там ни было, больше писем из Лондона не приходило; сам Барри вскоре женился во второй раз – на это раз его избранницей стала «Мисс Эдинбург» Линда Грей, которая родила ему пятерых детей.

Мамина подруга Люба в начале семидесятых с первой волной еврейской эмиграции уехала в Канаду, где могла слушать любые пластинки любых исполнителей – в отличие от нас, оставшихся в самой читающей стране мира, в которой к тому же, как выяснилось, не было секса… К счастью, не у всех.

Маме потом было не до музыки – родился я, через год – холера в Одессе, она улетела со мной за северный полярный круг, в Североморск, где папа после Политеха служил на флоте, а мама работала на радио и в числе прочих исполнителей ставила в обед музыку «Bee Gees» на бобинах, привезённых из дома; тем временем братья Гибб под нажимом продюсера Роберта Стигвуда помирились и с тех пор уже не расставались. Вышедшие в 1971 году синглы «Lonely Days» и «How Can You Mend A Broken Heart» были проданы в США миллионными тиражами. А ещё через четыре года «Би Джиз» сменили амплуа, из роковых музыкантов став иконами стиля «диско». И здесь Робин развернулся в полную силу – именно его фирменный слегка вибрирующий фальцет стал визитной карточкой группы. Даже сегодня, спустя тридцать пять лет, у всех на слуху их знаменитые песни «Stayin' Alive», «How Deep Is Your Love» и «More Than a Woman» из фильма «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой в главной роли.

Дальше было много новых альбомов и новых хитов – до 2003 года, когда умер самый младший из участников группы - Морис Гибб, родившийся на целых тридцать пять минут позже своего брата-близнеца Робина. В конце 2009 года Барри и Робин объявили о возрождении группы, но новых записей братья так и не сделали. А сейчас уже не сделают – в мае 2012-го Робин Гибб умер в Лондоне. Ему было всего шестьдесят два года…

Загадочная песня «Odessa (city on the Black Sea)» все эти годы привлекала внимание публики, как, собственно, и сам альбом «Odessa». Он переиздавался множество раз в разных странах – США, Великобритании, Германии, Аргентине, Италии, Канаде, Японии. С 1983 года он выпускается на CD, но и любители винила жаловаться не могут – совсем недавно, в 2009 году, альбом в шикарном подарочном варианте, в который входил альбом фотографий, был перевыпущен именно на пластинке.

А я… Я был бы счастлив, если бы мог послушать сейчас тот самый альбом, который Барри прислал маме. Увы, как говорят родители, он потерялся во время одного из наших многочисленных переездов с квартиры на квартиру в конце семидесятых – вместе с той, первой пластинкой, которую братья Гибб подарили маме, и целым рядом других. Я утешаю себя тем, что наверняка слышал его в те годы – родители часто приглашали гостей и проигрывали пластинки на нашем «Аккорде».

Зато моржовый бивень, как ни странно, сохранился. В детстве я часто и подолгу разглядывал его. Вот он и сейчас передо мной – с одной стороны на нём написано «THE BARK VERONICA. OUT OF NEW BEDFORD» и вырезаны две птицы, герб со звёздами и стрелами, а с другой – фигура прекрасной девушки с подписью «My Dear Kathleen», прекрасно вырезанный парусный корабль с подписью «THE VERONICA», горшок с цветами, стоящий на столе со скатертью и дата – 1849, а наверху, на самом кончике бивня – пятиконечная звезда.

Одесса, как быстро летит время!

1. Демидова Анна «Палец»

***Анна Демидова***

**Палец**

Это будет коротенькая история о том, как одна девочка решила воспользоваться услугами железных дорог в канун Нового года. Меня зовут Лара, если вам интересно. Это рассказ о моем путешествии домой — 30 декабря 2013 года. Вообще, в путешествии самое классное — это дорога именно домой. А дом — там, где любовь, там, где тебя пренепременно ждут. Меня никто не ждал, а значит понятие «дом» на тот момент носило для меня довольно размытый характер. Дом представлялся местом, где я сплю и, если повезет, еще и потребляю пищу. Итак, из пункта А в пункт Б со средней скоростью 60 км/ч выехал поезд. Вопрос: через сколько часов навсегда изменится вся моя жизнь?

Захожу в старенький вагон. Оглянулась по сторонам. Людей очень мало. Все-таки завтра Новый год. Вспомнила напутствие мамы перед дорогой:

— Будут приставать — скажи, что ты — врач. Врачей уважают и никогда не трогают.

Кто должен ко мне приставать, само собой понятно: алкоголики, пьяницы и дебоширы — в общем, все мои потенциальные кавалеры. Учитывая тот факт, что на дворе новогодние праздники, мне действительно грозила горькая участь всю ночь провести в компании не совсем трезвого попутчика. Или того хуже — во множественном числе.

Дернула ручку купе. «Фух, никого, повезло». Поезд тронулся, как лед, господа присяжные заседатели. Я разложила вещи и решила вздремнуть, но тут в купе постучали и, не дождавшись моего полусонного «да, да», открыли дверь. На пороге — он, кошмарный сон моей мамы, брат-близнец Женечки из «Иронии судьбы» — изрядно выпивший мужчина, на вид лет 30–40. Если честно, этот экземпляр едва держался на ногах. Я испугалась, что эта глыба на 90% состоящая из водки, сейчас рухнет прямо на меня, и зажмурилась. Не рухнул. Но и шататься не перестал. Поправил шапку и, еле-еле проговаривая буквы, решил поздороваться:

— Здрас-с-сте. Я к вам, снегурочка.

ОНО икнуло. «Да уж, мое второе имя — счастливчик», — подумала я.

ОНО вошло в купе, и запах… Нет, какой там запах! Вонь перегара резко ударила в нос. ОНО, кажется, заметило мое недовольство.

— Воняю, да? Э-э-э-э… ну-у-у… воняю… да.

Я кивнула головой. Дядька опустился на полку и протянул мне руку.

— Толик!

«Толик-алкоголик», — подумала я. Руку не протянула. Но тоже решила представиться.

— Лариса, — и, сделав паузу, зачем-то добавила — Врач.

— Врач? А какой? — ОНО снова икнуло.

— Хирург! — не знаю отчего выпалила я и добавила: — Военный хирург! — для пущей убедительности и устрашения.

— Хи-и-и-ирург, — протянул алкаш, — Тогда выпейте со мной — у меня душа болит! — Толик решил наладить контакт с инопланетянами. Поскольку считать это обращением ко мне любимой, по меньшей мере, оскорбительно.

— Толик, я не буду пить. И Вам бы не советовала, — с этими словами я встала и вышла. (Хотела написать «в новую жизнь», но рано. Я пошла к проводнику.)

— Здравствуйте, у меня в купе алкаш. Можно меня переселить?

Работник железной дороги зевнул и ответил:

— Можно. А куда вы хотите? В Америку можно. Или Канаду…

Тот же самый резкий запах перегара снова сразил меня наповал. Отлично. Как в фильме о зомби-апокалипсис. Похоже, я — единственная, кто оставил свою печень в живых. Итак, медленно, но уверенно, мы подошли к вечным вопросам: «Что делать, и кто виноват?»

Кстати, короткий ликбез, откуда пошло это выражение (если надо).

В романе Чернышевского «Что делать?» красной нитью проходит вопрос «кто виноват?». Любовный треугольник — Вера Павловна, ее муж Лопухов и его друг Кирсанов. Лопухов стреляется, чтобы облегчить влюбленным жизнь. Муки совести Веры Павловны проходили в школе, подробно разбирая ее сны. Но закончилось все хорошо: Кирсанов с Верой Палной поженились, Лопухов, как оказалось, не застрелился, а слинял за границу, тоже женился. Все счастливы, все смеются!

Ответ на вопрос «что делать?» был однозначный — революцию. Сказано — сделано. Я решаюсь на переворот в сознании моих попутчиков и, забрав вещи из своего купе, перехожу в следующее в надежде на лучшую жизнь и возможный пятичасовой сон. Но, к моему глубочайшему разочарованию, через час — история повторяется. Снова остановка поезда. Снова выпивший попутчик. Да еще и не один, а с компанией себе подобных. Отягощающее обстоятельство — новых попутчиков тошнит. Вот правду говорят — от судьбы и Толика не уйдешь. Как блудная дочь, возвращаюсь в свое купе, в надежде услышать равномерный храп. Но не с моим еврейским счастьем, естественно. Толик продолжал бодрствовать. Увидев меня, планктон оживился.

— О! Вернулась! Выпить будете?

Я ничего не ответила. Говорят, что игнорирование проблемы — уже лучшее ее решение. Молча сложила вещи, разулась и залезла на верхнюю полку.

— Я сплю.

Я известила Толика о своем намерении отдаться в руки Морфею.

— А я — ем, — ответил нетрезвый попутчик и достал палку колбасы, угрожающего вида нож и хлеб.

«Нож! Может, он маньяк?» — промелькнуло в голове.

Вот так тихий алкоголик трансформировался в героя фильма ужасов «Резня бензопилой в Техасе». Приоткрыв один глаз, я наблюдала за происходящим внизу. Одет, вроде, прилично. Часы, я бы даже сказала, — дорогие. Зачем же надо было так нажираться? Он говорил что-то там про душу… Может, жена бросила. В Новый год. Это очень обидно, когда бросают в праздник, когда ты все еще надеешься на чудо. По себе знаю.

А тем временем Толик-алкоголик положил палку колбасы на стол, поднял нож и с размаху отрезал… мама-дарагая… ужас… спасите-кто-нибудь! Эти и другие слова пронеслись в моей голове за секунды. Толик отрезал собственный палец! Палец! Ножом! В поезде! Я спрыгнула вниз, от увиденного слегка закружилась голова: указательный палец валялся в обрезках колбасы. Толик вмиг протрезвел и теперь истошно орал, зажимая руку. Я тоже закричала.

— А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!

— У-У-У-У-У-У-У-У! — подхватил Толик.

— А-А-А-А-А-А-А! — продолжила я.

Внезапно Толик замолк, перевел взгляд на меня и вполне трезвым голосом спросил:

— А почему Вы кричите? Вы же хирург! Что нам делать?

Приехали. В одном предложении столько абсурда! Во-первых, я — девочка и кричать в таких ситуациях просто обязана. Во-вторых — я не врач, не хирург и даже не проктолог (хотя нахожусь перманентно в заднице). Я — обычный журналист местной газеты, который однажды писал статью про военных хирургов. Вот откуда мое подсознание взяло этот образ! И в третьих — мне категорически не понравился вопрос «что НАМ делать?». Ибо ответа на него у меня нет и быть не может — это раз, а два — кому это «нам»?! Я-то тут при чем?! Но пока я все это думала, а это секунд 10, Толик уже успел побледнеть и даже, кажется, собрался умирать. Я собралась с мыслями. И соврала. Второй раз за сегодня.

— Спокойно, я врач. Военный хирург. Сейчас окажем Вам первую помощь, — сказала я и попятилась к выходу из купе — за проводником.

Стучусь. Никто не открывает. Голова, тем временем, продолжает конвульсировать в мыслях: «Черт! Что я помню из той заметки о хирургах? Там было что-то про скальпирующие раны. Вспомнила! Нужно положить отрубленную конечность в холод, чтобы она сохранилась! Но где же его достать?!» Еще раз стучусь в купе проводника. Наконец волшебные двери открываются.

— Что так долго? Когда следующая станция? Нужно врача! Там у человека палец отпал! Где аптечка? Есть у вас лед? — череда моих вопросов, как лавина, завалила сонного служителя железной дороги. Но, видимо, уловив в моем взгляде решительную агрессию, он отряхнулся и ответил:

— Станция через два часа ближайшая. Аптечка — там, а льда у меня нет…

— Где его можно взять? Отвечай! — я схватила горе-проводника за воротник куртки. Никогда не думала, что у меня может быть столько сил.

Дядька чуть не расплакался.

— Да не знаю я…

— Думай! Иначе выкину с поезда сейчас же! — я разошлась не на шутку.

Даже сейчас вспоминаю — и мурашки по коже. А дядька, так тот, наверное, меня до конца жизни не забудет…

— Вспомнил! Вспомнил! У Тараса в шестом вагоне есть холодильник! Маленький, для пива! Может, там есть лед!

Я разжала руки.

— Беги. И чтобы одна нога здесь, другая — там.

Схватив аптечку, я вернулась в купе. Толик сидел, прижавшись к стенке, мычал и все еще держался за окровавленную руку. Я посмотрела на него еще раз, и сердце сжалось от жалости, а мозг продолжал хладнокровно работать: «Надеюсь, у него нет СПИДа, но лучше надену свои перчатки!» Сказано — сделано. Увидев, что я вернулась, Толик заметно оживился.

— Доктор, а я не умру? А палец мне пришьют? А вы сейчас можете это сделать?

Я открыла аптечку, достала бинт с зеленкой, выдохнула и ответила:

— Вы будете жить долго и счастливо. Палец — пришьют. Это же не гениталии. Вам повезло.

Неудачная шутка слегка разрядила обстановку. Мне стоило не абы каких усилий перевести взгляд на покалеченную конечность и удержать позывы обратной перистальтики. С детства от одного вида крови я могла потерять сознание! А тут — целое месиво. Но вот она расплата за вранье — назвался врачом, заливай все зеленкой. И не морщись. Толик мужественно вытерпел экзекуцию обеззараживания. В купе постучались. Горе-проводник.

— Льда не было. Принес мороженное.

Вот он, апогей сюрреализма! Изо всех сил пытаясь скрыть дикое отвращение, я кладу отрезанный палец в стакан с пломбиром. До станции — час езды.

— Простите, а как Вас зовут? — Толик снова решил наладить контакт. На этот раз со мной.

— Лара.

— А Вы всегда мечтали стать хирургом?

— С детства, — я соврала в третий раз. С детства я мечтала выйти замуж за олигарха и ничего не делать.

— Я тоже хотел стать врачом, а стал вот юристом.

У меня округлились глаза. Этот алкаш — юрист?! Вот уж пердюмонокль!

— Я выпил сегодня. От меня жена ушла. Изменила…

Я хмыкнула. От меня два мужа ушло, а я курить бросила. У каждого свои крайности.

— С наступающим Вас, Толя! Все будет хорошо, — я подняла в воздух банку зеленки. Как будто это бокал с шампанским.

— Ой! У вас все руки зеленые… — Толя кивнул в мою сторону.

— А у тебя палец в мороженном, — за словом я ни в карман, ни куда-то еще не лезу.

Несмотря на жуткость ситуации, мы оба рассмеялись. За тот час, что мы ехали, я успела выслушать историю жизни Анатолия и даже немного рассказала свою. Меня даже подзадорил тот факт, что я представилась врачом. Еще я скостила себе возраст. И умышленно забыла упомянуть о двух неудачных походах под венец. Когда поезд остановился, Толик был уже абсолютно трезвый, а я абсолютно спокойно держала пломбир с отрезанным пальцем в руке. В купе забежали врачи. Толик выкрикнул:

— Это Лара! Она тоже врач!

Эскулапы глянули на обработанную мной рану и переглянулись. Я пожала плечами и протянула людям в белых халатах «десерт».

— Палец там!

К слову сказать, палец вместе с Толиком и врачами ушли из моей жизни также неожиданно, как и я появились, — через дверь в купе. На этом моя новогодняя история могла бы и закончиться. Но! Но! Но! В силу вступил «Закон случайной встречи». Сейчас вы все поймете.

Спустя месяца три, утром я, как всегда, опаздывала на работу. Залетела в вагон метро, оглянулась по сторонам и заметила… кого вы бы думали? Толика-алкоголика! Он тоже увидел меня и заулыбался. Мы начали двигаться в сторону друг друга. Обнялись. Как старые знакомые. Еще бы трущобы!

— Приве-е-ет! Как Ваши пальцы, на месте? — сквозь грохот вагонов прокричала я.

Толик вытащил руку из кармана и помахал перед моим лицом.

— Вам спасибо! Если бы не Вы тогда, со своим мороженным…

Я улыбнулась, вспомнив события той предновогодней ночи. И стало так уютно, смешно и тепло где-то в сердце. Но! Вот он момент, который я называю Fatal Error. Момент под названием «Все тайное рано или поздно становится явным». Момент стыда и опущенной вниз головы. Внезапно мужчина, стоящий возле меня, схватился за сердце и начал медленно опускать на пол. Толик среагировал первым:

— Стойте! Это Лара! Она врач! Пропустите ее!

Ай да Толик, ай да сукин сын! Вот подстава. Весь вагон уставился на меня. Ну и кто виноват, и что делать? Я растерялась. В голове сразу всплыли все мои скудные познания об оказании первой помощи больным. Наклонилась к дядьке.

— Мужчина, Вам плохо?

Он что-то промычал в ответ. Следующие полчаса мы с Толиком полностью посвятили этому бедняге: сначала тащили его из метро, потом вызывали скорую, ждали врачей, в общем — чистили карму. Когда бедолагу (но все же везунчика) забрали в больницу, мой «поездатый» знакомый посмотрел мне в глаза и спросил:

— Лара, а зачем Вы тогда — в поезде, солгали, что Вы — врач?

Я вздохнула и рассказала правду. Как же важно вовремя признаться в случайном обмане. К слову, этот рассказ недавно слышала и моя дочка. Спросив перед этим: «А как вы с папой познакомились?»

С наступающим! (и с дядькой из метро все нормально, мы узнавали).

1. Дзе Наталья «Мечта», «Разговор с отцом»

***Дзе Наталья***

**Мечта**

Когда мне было семь лет, я мечтала научиться кататься на коньках.

Мы с родителями жили на Чукотке.В десяти минутах ходьбы от дома был стадион «Трудовик», который с ноября превращался в огромный каток.Северная зима очень долгая, за это время можно научиться кататься «ласточкой» и отточить «двойной тулуп».Только вот коньков у меня не было.Царила эпоха тотального дефицита, в магазине «культтовары», в народе именуемом «культиком», вперемешку с пластмассовыми мячиками для настольного тенниса лежала пара черных хоккейных коньков сорок второго размера.И все.Я смотрела на их уродливые огромные лезвия и просила родителей купить мне хотя бы беленький теннисный мячик. Для успокоения.Дома я цокала им об пол и мечтала, что когда-нибудь у меня будут, обязательно будут мои конечки.Настоящие. Девочковые, с высокими гладкими белыми ботинками, с белыми шнурочками. Я встану на них и…. ! И однажды свершилось чудо.Морозным субботним вечером, папа принес мне коньки. Те самые, из мечты.Дочь папиного друга, дяди Бори, выросла из них, даже не успев толком покататься.Папа выпросил коньки. Он помнил.Я радостно схватила подарок и, усевшись на пол в прихожей, тут же принялась мерить.Ботинки оказались малы.Такие нежно белые и изящные снаружи, они были жесткие, холодные и тесные внутри. Как тюрьма. Пальцы, согнувшись, упирались в носок.— Ну как? — папа внимательно смотрел на мои неуверенные корявые шажочки. — Не малы?— Нет! Нет! — я испугалась, что он унесет их обратно. — Как раз! На следующий день мы с ним отправились на каток. Мне не терпелось.Я была уверена, что сразу, буквально с первой минуты полечу, как Ирина Роднина и Александр Зайцев, как Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, в общем, как все наши прославленные фигуристы того времени.Коньки я надела еще дома.Хотелось красиво пройти по городу.Пусть соседи, одноклассники, случайные прохожие увидят, какие чудесные у меня конечки.Пусть представят, как сейчас я изящно вспорхну на лед и помчусь — помчусь — помчусь, и только ледяные искры будут сверкать из-под зеркальных лезвий.Пусть. Реальность оказалась иной. Совсем.Всю дорогу я держалась за папину руку. Шаталась, спотыкалась и косолапила.По снегу. По корявому северному асфальту, который изредка проглядывал сквозь плотный снежный наст.В лицо дул ветер, я закрывала глаза варежкой, переставала видеть дорогу, цеплялась лезвием за асфальтную скобу, падала, поднималась, но шла.Ботинки нестерпимо жали, терли и мучили. Чертовы кандалы.Но я все равно шла — коряво, нелепо, вперед.Не спрашивайте теперь, откуда у меня ослиное упрямство. Оттуда. Когда мы, наконец, добрались до стадиона, ноги мои горели, были сбиты. Я изо всех сил делала вид, что все хорошо. Улыбалась радостно, во весь рот.На стадионе шла игра. Хоккей.Здоровенные румяные старшеклассники ловко скользили по льду, как жуки-водомерки по воде, толкались и размахивали клюшками.Я робко пристроилась на краешке катка. Думала, пронесет. Ан нет.Два раза шайба влетала мне под лезвия. И я, неуклюже размахивая руками, спотыкалась и плюхалась на лед.Три раза мне в ноги ударялась чужая клюшка, я снова бултыхала в воздухе руками, нелепо семенила и валилась глупым мешком.Потом я решила изобразить Спящего Ковбоя. Был такой номер у знаменитого советского фигуриста Игоря Бобрина. Надвинув на глаза шапку, я застыла, небрежно — точь-в-точь как Игорь — скрестив руки на груди. Папа даже зааплодировал, так оказалось похоже.Но тут один шустрый хоккеист, приземистый и коротконогий, похожий на грубо сколоченную табуретку, не успел затормозить и сбил меня.Я снова распласталась. Как звезда. Руки-ноги — врозь, нос — впечатан в каток. Обидно до слез.«Хватит! — сказал папа. — Для первого раза достаточно. А то эти бугаи тебя зашибут, пошли домой». Ноги мои болели адски, были покрыты водянистыми мозолями, и местами кровоточили.Я не могла идти сама.Всю обратную дорогу папа нес меня домой на руках. Через неделю все зажило, а через месяц папа от нас уехал, и больше я его никогда не видела.Я долго думала, что это все из-за моего дурацкого выступления.Я и сейчас иногда так думаю, хотя, конечно, понимаю, что дело в другом.Коньки так и провалялись в кладовке, я не смогла найти в себе силы на них встать.На следующий год мне подарили новые. И размер был мой, и теплый носочек можно было надеть...Я осталась к ним равнодушной.Зачем? Если нет главного зрителя. Не спрашивайте теперь, почему я не умею кататься на коньках.Поэтому.

**Разговор с отцом**

Вчера мне сообщили, что тебя давно уже нет в живых.

Мне пришел ответ на давний запрос.Безликий скучный электронный почерк.Страница Word дрожит и морщится (опять шнур отошел, изолентой, что ли, прикрутить?). Буквы расплываются.«Сожалею, но ваш отец умер десять лет назад». Десять лет назад! Десять лет. Десять… Мы не виделись с восемьдесят третьего.Весной, в марте, мы с мамой провожали тебя в старом аэропорту.Рейс задерживали из-за непогоды, на Крайнем Севере это частое явление.Метель, буран, обледенение взлетной полосы — обычное дело даже в апреле.Деревянный барак, грубо окрашенный синей краской, с криво прибитой табличкой «Аэропорт» был заполнен уезжающими и провожающими.Мы еле нашли место, чтобы присесть. Было душно и пахло овчиной.Накануне мама мне объяснила, что ты запутался и хочешь что-то поменять, поэтому решил пока уехать.Для меня это не было трагедией. Распутаешься — вернешься. Так мне казалось.В семь лет все просто.Я сидела на краю лавки, мусолила печенье, смотрела по сторонам, и, когда ты наклонился ко мне, чтобы поцеловать на прощание, я испачкала твою щеку крошками.Ты так и ушел в темный зал ожидания в этих песочных крошках, не отряхнув. Потом мы с мамой стояли на улице и смотрели сквозь заиндевевшую железную решетку, как Ту-154 разбегается и взмывает в небо.Это было так красиво, так захватывающе, что я от восхищения высунула язык и не заметила, как он примерз к ледяному пруту.Отодрали с кровью.Я еще не знала тогда, что ты больше не вернешься. Мы не очень хорошо жили вместе. Ты постоянно что-то искал, тебе не нужен был покой.Февральский день рождения, твой неугомонный безумный Водолей, тащил прочь от должностей, ответственностей и обязательств.Ты насмехался над благополучием, презирал семейный уют, считая его мещанством.Уходил с руководящих постов, отмахивался от северных надбавок, плевал на людское уважение.Я помню, как ты сжег в старой облупленной кастрюле свой красный диплом.Пламя бесновалось в эмалированной тюрьме, пожирало бумагу, танцевало страшный танец.А ты прикрывал огонь уже почерневшей крышкой и хохотал, хохотал, хохотал.Казалось, ты хотел разбить все пьедесталы, на которых оказывался.Разбить и упасть. В самую мерзкую и тошнотворную грязь. Так жизнь ощущалась ярче.А когда эмоции иссякли — решил уехать. Сменить обстановку. Поначалу ты писал нам длинные письма. Аккуратно переводил деньги.Однажды даже прислал посылку. Там были кедровые орехи, дефицитные шоколадные конфеты и спортивный шерстяной костюм. Мне.Я очень его любила и постоянно надевала на прогулки, а когда штаны стали коротки, заправляла их в валенки и елозила по нашим бесконечным сугробам. Заносила до дыр. Потом ты исчез.Мама отправляла запросы, писала твоим родственникам.Но все сговорились и хранили молчание. Ты как будто растворился. Она долго ждала. Вечерами стояла у кухонного окна, выключив свет, курила в форточку и слушала песню Аллы Пугачевой про «без меня тебе, любимый мой».Меня пугал сигаретный дым и темнота.Я дожидалась припева, и, изображая хромого оленя, ковыляла на кухню, завывая вместо «лететь с одним крылом» — «скакать с одной ногой».   Я хотела ее рассмешить.С тех пор гуинпленовская улыбка приклеилась ко мне.Я веселю людей, чтобы не заплакать самой.

Через три года мама вышла замуж.Перестала курить и слушать Пугачеву.Я росла с чужим человеком, которого так и не смогла полюбить.Да и он меня, кажется, тоже. Им было хорошо вдвоем.  Я же всегда ощущала себя лишней. Назойливым напоминанием о прошлой жизни, о прежнем мужчине.Когда я плохо себя вела, меня обещали «отправить к отцу».В такие моменты становилось очень страшно. Ты был потерян в пространстве и во времени, и мне представлялось, как я брожу по лабиринту совсем одна и зову, зову тебя.Но вокруг никого, и только ужасное эхо насмехается надо мной, отражаясь в бесконечных коридорах. После школы я сбежала в Москву. Поступать в институт.Хотелось быть самостоятельной и независимой. И не чувствовать себя вечной «третьей лишней». Казалось, меня и не ждали обратно.В институт я поступила сразу, а через пару лет перевелась в другой, поинтереснее.Учиться было легко, но оставалось много свободного времени, и я не знала, куда его потратить.Серая угрюмая Москва девяностых не располагала к праздности и открытости.Все сидели дома, варили дешевые пельмени, читали Рэкса Стаута и Маринину, курили «Бонд».У меня было много друзей. Я приезжала к ним в гости, грелась на чужих кухнях. А уходя — глядела на желтые огни их окон, и понимала, что они — это они, а я — все равно отдельно.Внутренняя неприкаянность сжирала меня. Я казалась себе пазлом из несуществующей картинки.И все искала ее, искала, искала. Я долго жила одна. Спасала запутавшихся мужчин.Часто — очень недостойных и беспомощных.  Которые, как и ты, маялись своей уникальностью. Якобы уникальностью.Как это называется в психологии?Проекция? Перенос? Незавершенный гештальт?Черт бы тебя побрал с этим подаренным мне сценарием! Но все-таки я смогла. Я выстроила. Я сумела.Вот уже много лет у меня замечательная семья.Разве что в триединстве Отца, Сына и Святого духа до сих пор — зияющая брешь.Мой муж мечется между двумя ролями, подрастающий сын уже пытается разделить его тяжелую ношу. Они оба мне Отцы. Потому что мне это нужно. Нужно.Потому что когда накатывает, я прячусь под одеяло, зарываюсь в подушку и кричу, кричу на весь дом:«Я маленькая! Пожалейте меня, пожалейте!» — и только Отец может меня успокоить.Но тебя нет рядом.И уже не будет. Никогда.Пошли хотя бы оттуда, сверху, сил для моих мужчин. Они ведь живут и за тебя тоже.  Я не знаю, как ты умер. И кто держал тебя за руку в последнее мгновенье.Может, у тебя еще были дети. И кто-то из них был рядом.А я бы спросила. Ты нашел то, что искал? И стоила ли игра свеч?Стоило ли исчезать, бежать, мчаться. В попытках познать, найти, обрести?Посмотри на меня!Как мы похожи…Послушай меня!Я скучаю, мне тебя не хватает.

Дай мне руку!

Я буду рядом. Я никогда тебя не оставлю. Неужели этого недостаточно для счастья? И последнее.Когда мы все же увидимся там, в других мирах, не смей, слышишь, не смей, говорить мне малодушно-лживое «прости», «я не знал», «я не мог», «я не хотел», «не держи зла».Я только хочу услышать, что ты любил. Все равно любил меня.Сильно любил и скучал.Всегда.Хоть никогда и не помнил моего лица.

1. Жукова Алена «Страшная Маша».

***Жукова Алена***

**Страшная Маша**

Ее никто не любил, кроме, конечно, мамы и бабушки, а что им оставалось делать — такая уродилась, а вот папа не выдержал, сбежал. Мама говорила, что ни один мужик с таким чудовищем в одном доме находиться не сможет.

— Вся в деда своего ненормального, — бурчала бабушка, — крикливый был, вредный. Хорошо, что помер при социализме, царство ему небесное, а то сегодня бы по митингам бегал, с коммунистами затрапезными глотку бы драл. А тебе чего орать? — спрашивала она, переворачивая с животика на спинку шумную черноглазую девочку. — В тепле, в сухости, накормленная, умытая. Ну чего плакать-то?

По поводу сбежавшего зятя у бабушки тоже была своя версия, которую она громко излагала в ежедневных перепалках с дочкой. Машку, внучку, она в крайние не записывала, но при этом странным образом все же числила ее одним из факторов развода. Вот, если бы ребеночка не нагуляли — свадьбу бы не сыграли. Значит, все-таки виновата Маша — не собирайся она появиться на свет, может, ее мама Наташа и папа Саша, нагулявшись вдоволь по студенческим пирушкам, накувыркавшись в постели и натанцевавшись в клубах, спокойно расстались бы, не отягощенные неудачным семейным и родительским опытом. Наташа могла бы продолжать ежегодно поступать в Театральный институт, в надежде бросить свой надоевший Технологический, а Саша мог бы всерьез задуматься о большой науке и как минимум сдать кандидатские. С рождением Машки их беспечность в отношении дня сегодняшнего и энтузиазм по поводу дня завтрашнего немного поубавились.

Наташа и прежде не умела подолгу находиться в доме. Всегда ходила по квартире, как неприкаянная. Насиженным местом был диван с тумбочкой для телефона. На ней, кроме нагретой ухом трубки, валялись огрызки яблок, косметика и сигареты. Еще таким местом была ванная, где она могла часами отмокать, умудряясь листать конспекты и что-то жевать. Саша, наоборот, поселившись у них, сразу наполнил собой тесное пространство двухкомнатной квартиры. Он был домосед, а Наташку отпускал на все четыре стороны: куда она денется на шестом месяце, с животом, торчащим на щуплом теле, как футбольный мяч? Но когда Маша вылезла из Наташи и заголосила, то всем вокруг захотелось выйти из дому по неотложным делам. Наташа перешла на вечерний и стала лучшая на курсе по посещаемости. Саша ночами просиживал в лаборатории, а бабушка Вера заявила, что им в няньки не нанималась и у нее есть своя личная жизнь. Все вокруг ругались, ссорились, а Машка дрыгала ногами, пускала слюни и ревела. А как она еще могла выразить свое возмущение — никто не желал с ней возиться. Всем и всегда хотелось видеть ее только спящей. И говорили они одно и то же: «Ну, просто ангел, когда спит зубами к стенке!» После того как мама с папой доругались на почве распределения родительских обязанностей до развода, бабушка Вера отменила свою личную жизнь и взялась за внучку, но было уже поздно. Маше исполнилось три, но толком она ничего не говорила, только мотала головой, как ослик, мычала и ныла. Успокаивалась, когда надевали ей на голову наушники и ставили аудиосказку или просто музыку. Врачи забили тревогу давно. Еще на первой неделе жизни патронажная сестра, ощупав младенца, заявила, что у ребенка слабый тургор, бледность тканей и нечетко выражен хватательный рефлекс. Нет ли в роду шизофреников? Бабушка Вера многозначительно усмехнулась и посмотрела на зятя. Это не осталось незамеченным, и, как только медсестра ушла, начался скандал. Все громко и долго ругались, а Маша старалась их перекричать. Через два года районный педиатр нашел у девочки все признаки запущенного рахита и послал к невропатологу. Возмущенный таким диагнозом невропатолог назвал самого педиатра рахитом и послал на энцефалограмму. Машу так и сяк вертели, просвечивали, прощупывали, простукивали, но безрезультатно. Все было в норме, а девочка не бегала, не прыгала, ходила медленно и часто, замирая, останавливалась, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Если кто-то пытался вывести ее из этого ступора, начинала орать. Очень неприятно было смотреть, как ребенок сидит часами, уставившись в одну точку, по-старушечьи мусоля в руках кончик какой-нибудь тряпочки, все равно, платьица или скатерти, и беззвучно шевелит губами. В детский сад Машу приводили всегда зареванную, задыхающуюся от страха. Заведующая садиком заканчивала педагогический и поначалу заинтересовалась Машенькой. Но, испробовав все перечисленные в учебнике методики и не добившись ничего, кроме глухого молчания, к девочке охладела. А после одной неприятной истории посоветовала перевести ее в любое другое, а лучше специализированное детское учреждение, как несовместимую с нормальными детьми. Дело было в том, что Маша, обычно не говорящая ни слова, обозвала воспитательницу сукой и прокусила до крови руку. Случилось это в середине лета.

Старшая группа вышла на прогулку. Жара расплавила асфальт, высушила траву. В сквере, где обычно выгуливали детсадовских, достраивали к уже существующему ряду торговых ларьков новые будки. Горячий воздух был пропитан запахами стройки, но самый ядовитый шел от большущей бочки зеленой краски, которая стояла у дерева. Ни пыль, ни вонь не могли повлиять на решение воспитательницы перейти в другую часть сквера — она пришла сюда на встречу с любимым. Его звали Маратик, и был он прорабом на строительстве данного объекта. Познакомились неделю назад, когда материалы завезли, а потом, как только поставили строительный вагончик, сошлись ближе некуда. Восточная любвеобильность замученного семейной жизнью прораба и молодая похотливость одинокой Таньки творили чудеса. Роскошество бело-розового суфле Танькиных ляжек потрясло воображение седеющего ловеласа. Ему нравилось тихонько подкрадываться к Татьяне Олеговне и, прикладывая палец к губам, чтобы детишки не выдали, щипать ее за попу. Она вскрикивала, дети покатывались со смеху. Марат им нравился. Он угощал конфетами и уводил воспитательницу ненадолго в вагончик. Таня, выставив лицо в окно, а другую, противоположную часть тела под страстный и жесткий напор джигита, внимательно наблюдала за детьми. И случись что или даже не случись, а возникни опасная ситуация, Таня, натянув трусы, через секунду была бы возле детей. Упрекнуть ее в безответственности никто бы не смог. Но Таня на этот раз не рассчитала. Когда, закатив глаза на подходе к оргазму, она потеряла из виду небольшую группу детей, как раз и произошла эта неприятность. Дети зашвырнули воланчик на дерево, под которым стояла бочка с краской. Никто не решался его достать, хотя висел он низко, если встать на бочку, легко рукой дотянешься, но Татьяна Олеговна запретила туда подходить. Решили сбить его палкой, не получилось, тогда Маша, которая всегда была в стороне от коллектива, вдруг подошла вплотную к бочке и легко на нее взобралась. Крышка под ногой, обутой в коричневый сандалик, пошатнулась и съехала в сторону. Маша потеряла равновесие и провалилась внутрь бочки. Ей повезло, что краски там было на треть, но и того хватило, чтобы покрыть девочку почти по грудь. Дети закричали, а Таня вылетела из вагончика, не успев получить того, за чем туда ходила. Марат очумел от молниеносного исчезновения женщины, которая секунду назад так удобно притерлась и вдруг соскочила, оставив торчать в пустоте его распаленный отросток. Он раздумывал, стоит ли ждать Татьяну, но, выглянув в окно, быстро затолкал его в штаны и бросился на помощь. Таня приказала всем детям сесть на корточки и не вставать. Она наклонилась над бочкой и заорала на Машу так, что с соседних деревьев слетели воробьи. Маша закрыла глаза, чтобы не видеть перекошенное злобой лицо воспитательницы.

— Тебе кто разрешил сюда подходить! Ты что, русского языка не понимаешь! Теперь будешь сидеть тут до ужина, пока родители за тобой не придут. Ты хоть понимаешь, во что ты превратилась, тебя же теперь не отмыть! Господи, что за наказание! Не ребенок, а черт какой-то.

Марат подошел сзади, легко потерся о Танькино бедро, но, когда увидел несчастного ребенка на дне бочки, тихо присвистнул:

— Надо вынимать.

— Пусть посидит, подумает о своем поведении, — строго ответила Татьяна.

— Краска плохая, дешевая, ядовитая сильно. Нельзя девочке так сидеть, плохо будет.

— Ну, куда ты полезешь, Маратик, испачкаешься. Мы домой ей позвоним, пусть мама полюбуется.

— Слушай, зачем говоришь так? Пока ее мама доедет, девочка заболеть может. Отойди, сам выну.

Марат сбросил с плеч рубашку, обнажив седеющую мохнатость груди, и, подхватив Машу под мышки, выдернул на поверхность. Один сандалик утонул в ядовитой жиже, но это было малозаметно, поскольку теперь казалось, что Маша одета в сплошной зеленый комбинезон, заканчивающийся чуть повыше пояса.

Весь путь назад к детскому саду Маша шла в конце строя одна. Дети поглядывали на нее и хихикали. Прохожие на улице с любопытством озирались. Пока дозванивались маме, Машу пытались оттереть и отмыть. Это получалось плохо, краска действительно была ядовитой. Татьяна Олеговна вошла в медкабинет, где нянечка Шура и медсестра Тоня спасали девочку. Когда на детском теле, наконец, остался только как будто въевшийся под кожу зеленый замысловатый узор, Татьяна увела Машу. Она хотела провести перед старшей группой показательное наказание девочки, осмелившейся нарушить запрет, и наглядно продемонстрировать детям, к чему это может привести.

Дети уселись на низкие лавки, расставленные в зале напротив маленькой сцены, где проходили обычно утренники и родительские собрания. Татьяна Олеговна вышла вперед, а Маша осталась стоять у задника с плохо нарисованными небом и радугой. Она была закутана в простыню. Снизу торчали худенькие, зелененькие ножки, а вот глаза, щеки и уши, наоборот, налились малиновой краской. Маша дрожала, как продрогший щенок, и теребила край простынки. Татьяна Олеговна спросила детей, помнят ли они, что она говорила перед прогулкой. Они помнили и хором ответили, что нельзя подходить к бочке, вагончику, мешкам с цементом, стеклам, мусору, а можно только играть с песком.

Она довольно кивнула и показала на Машу.

— А что сделала эта девочка?

Дети наперебой выкрикивали: «Залезла на бочку», «Запачкалась», «Не послушалась». Воспитательница легонько подтолкнула Машу к авансцене и потянула простыню. Маша попыталась вцепиться, но край соскочил, и все дети увидели голенькое девчачье тело, окраской напоминающее рептилию. Маша удержала кончик белой материи ниже пупка. Татьяна Олеговна с силой дернула, но девочкины пальцы не разжались, тогда она схватила ее за руку и начала отгибать согнутые пальцы, и тут Маша очень громко и отчетливо сказала: «Сука, — и добавила: — Убери руки». Татьяна Олеговна охнула, но простыню не выпустила. Маша наклонилась и впилась зубами в белую, тошнотворно пахнущую земляничным мылом руку воспитательницы.

Потом дети еще долго вспоминали в деталях, как все происходило. Как дурным голосом орала Татьяна, как Машка не разжимала челюстей, пока из-под зубов не выступила кровь, как прибежал весь персонал, чтобы оттащить Машку. Некоторые дети потом рассказывали своим папам и мамам страшную историю, как однажды их девочка подралась с воспитательницей, укусила и сказала, что ее съедят волки.

И самое страшное, что это произошло. Татьяну Олеговну действительно изуродовали, правда, не волки, а одичавшая стая собак, не съели, конечно, но откусили нос и ухо, выдрали куски тела на пояснице, груди и ногах. Она потом скончалась в больнице от кровопотери. Когда же вокруг поползли слухи, что Маша «накаркала» смерть воспитательницы, бабушка припомнила, как однажды, когда Маше было почти три года, она пыталась заставить внучку доесть кашу. Маша сопротивлялась и, как всегда, мотая головой, тянулась к стакану с вишневым компотом. Бабушка сказала, что вишни Маша получит только после каши, а иначе сама их съест. Для пущей наглядности она выловила вишню и отправила в рот. Маша отодвинула тарелку и вдруг внятно и громко произнесла: «Смотри не подавись». От неожиданности бабушка закашлялась, вишня застряла в горле, но ей удалось ее вытолкнуть. Тогда они с Наташей не придали значения девочкиным словам. Радовал сам факт — Маша говорить умеет, может, только не хочет, значит, надо заставлять. Теперь, после всей этой истории с воспитательницей, бабушка задумалась и решила, что глаз у внученьки «черный» и хорошо бы ее окрестить.

Батюшка был молод и симпатичен. Он отводил глаза от глубокого декольте Наташиного сарафана и смотрел в сторону, пока договаривались насчет даты и цены предстоящего таинства. Машка стояла, прижавшись к маминым коленям, и, задрав голову, рассматривала картинки, которыми были расписаны стены и потолок церкви. С той, что была ближе всех, на нее смотрел строгий бородач, у которого на носу сидела большая жирная муха. Поползав немного по святому лику, муха слетела прямо на Машкин лоб. Маша вздрогнула и замахала руками. Муха отлетела, но, угрожающе загудев, опять спикировала с высоты. Девочка отскочила в сторону и закричала. Батюшка побледнел, а когда увидел, что Маша, отступая, теряет равновесие и падает, задевая подсвечник с горящими свечами, рванулся к ней, но огонь уже прихватил капроновую оборку ее платьица. Все обошлось. Священник продемонстрировал выучку и ловкость спасателя, сказывалась его прошлая служба в десантных войсках. Перепуганные мама и дочка вышли из церкви со строгим напутствием: «Крестить, и немедленно!»

После всех ритуальных и семейно-застольных процедур по обращению Маши на путь истинный девочка свалилась с температурой, и через пару дней ее тело покрылось мягкими, водянистыми пузырями, обозначившими необходимую и почти неотвратимую обязанность ребенка переболеть ветрянкой вовремя, желательно до старшего школьного возраста. Машина болезнь протекала легко, но сорванные из вредности оспинки на лбу и щеках долго потом служили маме поводом еще раз напомнить Маше, что она непослушная и теперь будет за это наказана, причем теперь она всякий раз приплетала к этому Боженьку.

— Пусть только попробует, — говорила себе Маша и при попытках завести ее в церковь ревела даже громче, чем на подходе к детскому саду. Но того худенького, прибитого гвоздями к кресту человека ей было жалко. Бабушка объяснила, что он Сын, а еще есть Отец и Дух. Все это было непонятно, и в результате Боженьку она представляла с тремя головами, смотрящими в разные стороны. Это было совсем не страшно. Одна голова смеялась, другая плакала, а третья посредине просто спала. Когда эта голова просыпалась, то поворачивалась то в одну, то в другую сторону. И от этого всем вокруг было то хорошо, то плохо. Вот такую картинку она и нарисовала. Получилось очень красиво, но бабушке не понравилось. Когда Маша подросла, мама частенько говорила, разглядывая щербатую рожицу девочки:

— С такими дырками теперь тебя никто замуж не возьмет.

А Маше не очень-то и хотелось, особенно после того, как в их доме появился второй мамин муж. Однажды среди ночи она проснулась от шума и криков. Мама верещала и захлебывалась от плача, отчим огрызался и, страшно матерясь, крушил мебель. Потом они помирились, даже целовались, но Маша слышала то слово, из-за которого ее тогда выгнали из детского сада. Тогда она пообещала маме и бабушке больше никогда так не говорить, а на вопрос, где она такое услышала, как всегда, промолчала. Ведь она просто вернула это слово Татьяне Олеговне, которая однажды, после тихого часа, сжав зубы, процедила: «Что же ты, сука, опять кровать обмочила? Когда же ты научишься на горшок проситься?» Теперь дядя Володя сказал то, за что ее больно отшлепали по губам. Ей нельзя, а ему, значит, можно. Каждый раз, натыкаясь в коридоре на его велосипед и больно ударяя коленку, она мечтала о наказании для дяди Володи. В голову приходила одна и та же картинка: он едет по улице, крутит педали. Его грязная майка намокла от пота, а коротко стриженный затылок перерезан двумя жировыми складками. Он, как черепаха, втягивает голову в плечи и не смотрит по сторонам. Вдруг резко сворачивает прямо под колеса идущего рядом автомобиля. Отчим кричит запрещенное слово и валится на бок. И все.

Так оно и случилось, но не сразу. Маша пошла в школу. Очень скоро выяснилось, что она не может усвоить таблицу умножения и что методика дяди Володи — по столбику натощак, а если не запомнила, то вместо завтрака, обеда и ужина — довела ситуацию в доме до критической. Мама, которой нельзя было волноваться из-за угрозы выкидыша, орала на Вову, чтобы он перестал измываться над ребенком, Вова орал, что Маша выродок и ему не нравится, когда на него волком смотрят, Маша орала, что ненавидит арифметику, школу и всех на свете.

В день, когда у Володи родился сын, он радостно щелкнул по носу Машку и сказал: «Ну что, старшая, нянькаться будешь. Смотри у меня, мальчишку обидишь — уши надеру», — и уехал отмечать с друзьями-рыбаками знаменательное событие. По дороге домой его сбила машина. Экспертиза установила, что он был абсолютно пьян и вообще непонятно, как в таком состоянии мог удержаться в седле велосипеда.

Маша видела, как на похоронах рыдала мама, как переживала бабушка, что мальчик будет расти без отца, как все вокруг вздыхали, поджимали губы и вытирали глаза. Она стояла возле гроба и думала, что в тот день, когда дядя Володя пообещал ей уши надрать, она разозлилась. А если бы она не сказала, что сначала он должен быть наказан за плохое слово, может, ничего бы не случилось. Но плакать ей совсем не хотелось.

Маленького Витьку называли искусственником, и в этом, казалось, была какая-то игрушечность, вроде искусственного мишки или собаки. Маша услышала это слово от бабушки и врачей, которые набежали в дом. У мамы пропало молоко и всякий интерес к жизни. Она не брала Витю на руки, а он заходился в плаче. Маша склонялась над кроваткой, и младенец затихал. Он улыбался и просто дрожал от счастья, когда старшая сестра попадала в его поле зрения. Когда Маши не было, Витя капризничал. Мать вздыхала: «За что мне такое наказание? Одна крикухой была, теперь этот кровь пьет». Но Маша как раз считала, наоборот, что появление Вити — это самое радостное событие в их жизни, если не считать смерть отчима, и летела домой из школы на крыльях. Ее даже перестали мучить те мелкие и большие гадости, которые происходили с ней в классе. К тому, что никто с ней не хотел сидеть или стоять в паре и вообще дружить, она уже привыкла. В начале года ее пересадили на предпоследнюю парту из-за высокого роста и низкой активности. Сидела она у окна и за учебный год изучила ландшафт, открывающийся с высоты пятого этажа, так хорошо, что могла бы составить точнейшую топографическую карту окрестностей. Она, например, знала, сколько кустов и деревьев высажено по периметру школьной спортивной площадки, сколько скамеек у дома напротив и гаражей на противоположной стороне улицы, а вот в клеточках журнала успеваемости у нее по всем предметам, кроме чтения и рисования, кудрявились пухленькие троечки, вперемешку с глистообразными двойками. Классная руководительница, Полина Сергеевна, была педагог молодой и честолюбивый. Маша портила картину успеваемости. Обычно такие сложности возникали с непослушными, расхлябанными мальчишками, но чтобы девочка, которая писала изложения слово в слово, прослушав дважды незнакомый текст, так туго воспринимала бы все остальное, было диким. За три года Маша ни разу не подняла руку, чтобы ответить на вопрос, а когда ее вызывали к доске или просили ответить с места, она молчала, опустив голову. Дети прозвали ее Му-Му.

Полина Сергеевна собиралась поставить ребром вопрос о переводе Маши в специнтернат для детей с отклонениями в развитии. На ее взгляд, было ненормальным то, что девочка вообще никак не реагировала на оценки. Выяснилось, что в доме у Маши в этом смысле как у всех — за плохие ругают и наказывают, за хорошие поощряют. Но фокус заключался в том, что девочке ничего не хотелось, а поэтому ее трудно было лишить чего-то или чем-то подкупить. Обычные детские радости вроде новой игрушки, похода в зоопарк, живой собаки и мороженого на Машу не производили никакого впечатления. Наказания вроде тех: не пойдешь гулять, не будешь смотреть телевизор, ничего не получишь на день рождения — тоже не работали. У нее было только одно по-настоящему сильное желание: чтобы ей разрешили находиться рядом братиком весь день и всю ночь. Надо сказать, никто и не собирался лишать ее этого удовольствия. Витина кроватка очень скоро переехала в Машкин угол, и она могла, просунув руку между прутиков колыбельки, гладить малыша. Бабушка умилялась заботливости внучки, а мама находила в этом прямую выгоду. Лучше Маши успокоить мальчика никто не мог. А главное, Маша разговорилась. Она рассказывала Вите сказки, что-то все время бубнила, он отвечал ей лепетом и смехом. Они были счастливы вдвоем. Пока Маша находилась в школе, малыш нервничал, плохо ел, капризничал. Только на пороге квартиры появлялась Маша, ребенок издавал пронзительный крик радости, и они бросались друг к другу в объятия.

Очередной школьный год закончился. На родительском собрании Машиной маме вручили табель успеваемости, в котором были всего две хорошие отметки, по литературе и рисованию. По другим были тройки, двойки и даже один прочерк. Решено было оставить Машу на второй год, поскольку бабушка и мама слышать не хотели об интернате. Обычно в летние каникулы городских детей родители стараются увезти к морю, на дачи либо в деревню, поближе к природе, козам и коровам. Маша еще ни разу в жизни никуда не выезжала, даже на короткое время. Ей очень хотелось заснуть, например, в незнакомом доме, пройти по улице, которая неизвестно куда выведет. Она хотела убедиться, что четыре слова: река, море, горы и лес — это так же красиво, как на картинках. Но пока она опять оставалась в городе вместе с бабушкой, а мама уезжала куда- то по делам. Потом она приезжала, волоча на себе тяжелые чемоданы, мешки и сумки, набитые утрамбованными до состояния склеенности вещами, и опять исчезала. Она носила на образовавшемся пузе черненькую сумку-пояс, в которой всегда лежали калькулятор, сигареты и анальгин. Еще, совсем недавно, она добавила туда газовый пистолет. У бабушки болело сердце, она не спала по ночам, и Маша слышала, как она говорила по телефону своей подруге, что Наташа сама во всем виновата — вот если бы тогда она мать послушала и сделала аборт, то все бы иначе сложилось. А теперь ни мужа, хоть и малахольного, ни алиментов, только ребенок тяжелый. И Витьку рожать не следовало. Володя тоже не подарок был, запойный, неизвестно, во что бы все вылилось, кабы Господь не прибрал. Детей кормить надо, одевать, а на что? Надорвет свое здоровье на «челноке» этом. А дети — какая от них благодарность, хоть бы еще «удачными» были, так нет. Маша — второгодница, Витя — болезненный, у него, считай, одна почка работает, вторую придется оперировать, а может, и пересадка понадобится. Бабушка всхлипывала и качала головой, выслушивая утешительные советы собеседницы. Маша заметила, что над головой бабушки бьется в тусклом свете ночника мотылек. Его гигантская тень мечется по стенам. Машенька стоит босая в ночной рубашке и плачет. Она уже видит, как с потолка стекла мгла, превратившись в черный поток людей, поднявших, как на гребень волны, лодочку гроба. В нем сейчас уплывет от них бабушка. Маше ее очень жалко, она уже давно простила все обидные слова и прозвища, она совсем не злится и молчит, только быстренько подбегает и, уткнувшись мокрым лицом в старушечью шею, шепчет на ушко: «Я тебя люблю и никогда, никогда тебя не забуду, и Витенька тоже. Мы в эти выходные цветочки тебе на могилку принесем. Вот увидишь...» Бабушка вскакивает и отталкивает внучку. Маша падает на пол, больно ударившись о подлокотник кресла. Она видит, как трясет головой и размахивает руками тряпичное чучело бабушки, похожее на чудовище. Оно брызжет слюной и, наступая, выплевывает грязные слова, потом вдруг падает в кресло, хватает пузырек с каплями и замирает, страшно выпучив глаза.

После смерти бабушки маме пришлось совсем худо. Детей было не с кем оставить, а выйти из дела она не могла, иначе бы потеряла уйму денег. Через общих знакомых разыскала первого мужа, который жаловался на безработицу и неустроенность. Кандидатскую он так и не защитил, да и кому она теперь нужна. Подрабатывал где-то сторожем, жил с мамой в однокомнатной квартире. Наташа предложила переехать к ней, а квартиру сдать. Они помогут ей растить детей, а она поможет им материально, и, опять же, денежки за квартиру капать будут. Саша обрадовался и засыпал вопросами о Маше, вот только сказал, что надо у мамы спросить. В этот же день он перезвонил и ответил, что мама переезжать не хочет и ему не советует, но, если Наташе очень надо, они заберут Машу к себе, мальчика, конечно, не смогут, а Машу — пожалуйста. Наташа громко послала его вместе с его мамой куда подальше и бросила трубку.

— Чтоб они провалились! — сказала она дочке, тихо подошедшей и вопросительно глядящей на мать. — Тебя, говорят, возьмут, а Витьку — хоть на улицу выбрасывай.

Кровь отлила от лица девочки, глаза расширились, заблестели.

Через пару дней Наташе позвонили все те же общие знакомые и рассказали, что ее бывшие муж и свекровь буквально провалились сквозь землю, когда под их квартирой в подвале взорвался газ. Рвануло так, что рухнули перекрытия. Их доставали из-под завалов несколько часов. Оба выжили, но находятся в реанимации. Наташа в больницу не поехала, ей было не до этого. Маша опять замолчала, зато вокруг нее не утихали слухи и пересуды, из-за которых Наташа всерьез задумалась о переезде в другой район или даже в другой город. Причиной стала совершенно непонятная и чудовищная история, произошедшая в их дворе.

Был теплый летний вечер, когда разновозрастные ребята, как обычно, собрались в районе детской площадки. Те, кто помладше, оседлали качели, а компания постарше разместилась на лавочке. Где-то к часам девяти «сопливых» уводили, и старшие наконец в сгущающейся темноте могли начинать свои небезопасные подростковые игры. Вынималась бутылка, забивалась травка. Девчонки затягивались по кругу, хихикали и закидывали голые ноги на перекладины скамейки. Мальчишки тянули из горла пиво, матерились и жались к горячим бокам подруг. Маша никогда не сидела с ними, ее не звали. В этот вечер она в сторонке выгуливала Витю, который, уже наползавшись, мирно сидел в коляске и слушал с ходу придуманную Машей сказку. Маша поглядывала в сторону дома, ожидая, что вот-вот появится мама. Витю уже надо было уводить спать, она поднялась и покатила перед собой коляску. Проходя мимо компании сверстников, она услышала, как ее одноклассница Лера Малкина, сложив трубочкой губки, нараспев затянула: «Му-Му». Ребята весело подхватили и на разные голоса замычали вслед Маше. Маша даже головы не повернула, хотя внутри закипела злоба. Так бы она и перекипела, если бы Малкина не продолжила:

— А мама у Му-Му турецкая бля-я-я...

Мальчишки заржали и все хором заорали:

— Бля-я-я!

Маша повернула голову. Лицо ее побледнело, зрачки расширились. Ребята буквально покатывались со смеху. Кто-то прокричал: «А братик ублю-ю-док»... понеслось: «Му...бля... блю...» И вдруг Маша громко сказала:

— Зато вы умрете сегодня, все до одного.

Она скрылась с коляской в подъезде, а на дворовой скамейке не утихало веселье. Две девочки и два мальчика еще долго не расходились. Неожиданно появился пятый, но они его прогнали, это был младший брат Леры. Он стоял над душой и грозился, рассказать маме, что они курят. Лера дала Лешику десятку и пообещала, что через полчаса будет дома. Лешик слышал, как девочки говорили, что Му-Му грозилась всех поубивать за то, что они над ней смеялись. Стас, самый взрослый и опытный в компании, отсидевший два года в колонии за драку, разлил остаток «левого» спирта себе и Борику. Девчонки пили пиво. Лере и без добавки было хорошо, лучше, чем Юльке, которая траву не курила. Стасик еще не решил, пойдет ли он с Леркой к гаражам, как вдруг ее круглая задница опустилась на Борькины колени, а хитрые глазки вперились в Стаса. «Во, падла, — подумал Стас, — я тебе покажу, а Борик, козел, куда руки тянет». Зашумело в ушах, он встал, качаясь, подошел к Лерке и вмазал по шее так, что она слетела с колен и свалилась ему под ноги. Он не больно пнул ее в мягкое место. Лерка вскочила и заорала как резаная. Стас оторвал от скамейки дружка и коротко, но резко ударил в солнечное сплетение. Борька согнулся и повалился кулем под скамейку. Лера заткнулась, а толстая Юлька сказала, что пора по домам. Стаса переклинило. Он затрясся от злобы, по щекам заходили желваки. — Всем стоять! — заорал он и для пущей убедительности сверкнул в полутьме лезвием ножа. Он приказал поднять едва дышащего Борю. Дружок не мог сидеть и заваливался на бок. Стас наклонился над ним и в тот же миг оказался облитым зловонной рвотой, извергшейся из Бориного желудка. Девочки сами чуть не вывернулись наизнанку от омерзения, но то, что произошло дальше, заставило теплым струйкам мочи политься по их дрожащим ногам. Стас тыкал ножом в Борькин живот. Он, не останавливаясь, бил и кромсал его, а тот, как тряпичная кукла, не издавал ни звука, только качался во все стороны. Юля присела и начала ползком отползать, таща за руку Леру. Стас преградил им дорогу.

— Отсюда никто не уйдет, — сказал он тихо и кивнул в сторону гаражей. — Сейчас мы перетащим его туда.

Девочки сидели возле окровавленного, но еще живого Бори. Он тихо стонал. В темноте казалось, что его белая футболка просто сильно испачкалась и намокла. Стас ковырялся в замке. Девочки знали, чей это гараж и что за машина там внутри. Месяц назад отец Стаса поменял замок и пригрозил сыну тюрьмой, если тот хоть на шаг приблизится к его старому «Москвичу». Через несколько минут дверь была открыта, а запасные ключи зажигания были давно припрятаны тут же в гараже. Он скомандовал девочкам помочь ему затащить Борю и самим сесть в машину. Они, ревя в голос, умоляли оставить их в покое, отпустить, ведь их родители искать будут. Они обещали никому ничего не говорить. Вынутый Стасом нож прекратил пререкания, и девочки подчинились. Их немного успокоило то, что Стас кому-то позвонил по мобиле и спросил о враче.

Уже через полчаса обеспокоенные семьи высыпали в ночной двор. Они искали и звали детей. Мама Борика, грузная женщина-гипертоник, устав ходить, присела на скамейку. В темноте разглядеть было трудно, но ей показалось, что вся скамейка залита чем-то липким и вонючим. Понюхав, выругалась по поводу свинства пьянчуг, распивающих свое пойло на детских площадках. За сына она особо не волновалась, он был хороший мальчик. Всегда хорошо учился и старался зарабатывать самостоятельно. Скорее всего, он и сейчас где-то что-то грузит или сторожит. А вышла она потому, что эти сумасшедшие Малкины панику из-за девки своей и ее подружки подняли. Подумаешь, гулять вышли и до сих пор нет. Хорошо, что вообще ночевать домой приходят, ведь вечно по улицам шастают, как бездомные какие. А братик ее, Лешик, тоже еще идиот, рассказал, что видел, как Борик со Стасом выпивал, а девчонки у них на коленях сидели и курили. А еще ерунду какую-то, что Машка собиралась их всех убить. Господи, до чего люди недалекие бывают. С кем жить рядом приходится...

Среди ночи в квартиру Маши сначала позвонили, а потом заколотили кулаками. Наташа долго не могла понять, что хотят от ее дочки соседи. Потом до нее дошло, что они обвиняют Машу в исчезновении детей. Наташа уже собралась открыть рот и ответить соответственно этому бреду, как на пороге комнаты появилась заспанная Маша. Она увидела перепуганных родителей и тихо прошептала:

— Один уже умер. Только не надо за ними ехать, хуже будет...

— Кто умер?! — охнула мама Леры, а папа заорал:

— Ты чего загадками говоришь, давай выкладывай! Что значит хуже будет? Куда не ехать?

Маша задрожала и заплакала. А Наташа завелась с полоборота. Она пыталась выставить из дому нахальных соседей, но они скандалили и требовали, чтобы Маша рассказала все, что знает. А она ничего не знала, кроме того, что увидела, как очень скоро машина с двумя девочками и мертвым Борей будет мчаться по трассе на бешеной скорости, уходя от преследования двух милицейских машин и одной «девятки» с отцами. Будут гудеть сирены, орать девочки, материться Стас, а потом, на крутом повороте, они просто вылетят на встречную полосу и превратятся в лепешку под колесами грузовика... Пока мама Наташа ругалась у двери с родителями, Машенька шептала: «Только не надо догонять, пожалуйста, не надо, не надо», — но никто ее не услышал.

После всего произошедшего Наташа задумала продать квартиру и переехать в другой город. Она пыталась поговорить с Машей, но разговора не получилось. Маша онемела. Наташа

решила было хорошенько надавать дочке за вредность и нежелание разговаривать, но, когда замахнулась, наткнулась на широко распахнутые глаза. Сама не знала, почему остановилась. Обняла, прижала к себе и почувствовала, что дочкино тельце слиплось с ее собственным, как до рождения. В этот момент вспомнила, как после родов пыталась накормить Машу воспаленной от начинающегося мастита грудью, как заходилась в крике малышка, а Наташа хотела убежать на край света, чтобы не видеть и не слышать свою новорожденную дочь. Она подумала, что, может, тогда это все и началось, может, Машка это почувствовала. Но ведь я ее люблю, очень... Маша уперлась щекой в мамин живот и улыбнулась. Но мама этого не заметила.

Маше нравилась идея переезда, все равно куда, ей просто хотелось увидеть новую улицу за окном, пойти в новую школу. Она мечтала, что Витя, мама и она заговорят на другом языке, ведь бывает, что люди уезжают в другие страны. Ей очень хотелось говорить много, красиво, не так, как все, и для этого, казалось, нужен другой язык. Наташа суетилась, искала разные варианты, но мечтам пока не суждено было сбыться, по крайней мере в ближайшее время. Витенька тяжело заболел. Все началось с гриппа, всю неделю держалась высокая температура, а в результате начались осложнения. Он отказывался есть, болел живот. Вызвали неотложку, а в больнице подключили к искусственной почке. Маша дежурила возле Вити постоянно. Сначала главврач отделения была против, но медсестры и нянечки прониклись Машиным упорством помогать всем вокруг и прятали ее от суровых глаз начальницы. Казалось, что Маша на своих русых кудряшках приносит в больничную палату жаркое летнее солнце. Детишки усаживались возле нее, она рассказывала сказки и рисовала цветными карандашами что-то смешное. Оттуда, где сидела облепленная детьми Маша, всегда доносился смех. Однажды Маша потрясла до глубины души молодую медсестру Зоечку интересными умозаключениями. Зоя разболтала всем вокруг, что маленькая девочка как бы изнутри видит болезнь каждого ребенка. Был у них в палате один мальчик, все огурчик солененький просил, а ему вообще ничего такого нельзя, считай, почек вообще уже нет, донора искали, так Машка спросила, зачем его мучаем, надо разрешить ему съесть все, что захочет, потому что червячки его уже доедают. Она тогда нарисовала Зое картинку, на которой с потрясающими анатомическими подробностями были изображены внутренние органы ребенка, по которым ползали зубастые червяки. В верхнем правом углу картинки были пририсованы крылышки. Она объяснила Зое, что на них душа мальчика завтра вечером улетит на небо. Так оно и случилось. Весь следующий день малыш провел в реанимации, а к вечеру умер. После этого девочку пригласили в процедурную, где собрались практиканты и медсестры. Им было любопытно посмотреть на картинки-диагнозы. На них переплетались, как лианы, кровеносные сосуды; едва обозначенная крона легких держалась на веточках артерий; бобы почек, улитка печени и баклажан желудка создавали причудливый натюрморт, а вокруг ползали и плодились червячки болезней. Они были прожорливыми и страшными. Маша водила маленьким пальчиком по картинке и объясняла потрясенным слушателям, где сидит болезнь и как ее оттуда выманить. Следующий, кто захотел ее услышать, была главврач Анна Борисовна, которая через год уходила на пенсию, поэтому уже ничему не удивлялась и почти ни во что не верила, а особенно в чудеса. После разговора с Машей она решила направить ее на обследование, только непонятно, куда. Ненормальность девочки была очевидной, но опасность она усмотрела в том, что Маша, нахватавшись каких-то отрывочных знаний из медицинских справочников, утверждала, что видит начало болезни, ее развитие и возможный конец. Приговор был суров — девочку к больным не подпускать и вообще запретить появляться на территории больницы.

Витеньке делал операцию молодой доктор. Когда он, добравшись до левой почки, нащупал неправильно сформированную систему каналов, то вспомнил Машин рисунок. Мама Вити принесла его за день до операции. Девочка изобразила огород, на котором выросла фасоль. Один боб вывалился из стручка и странно завис на перекрученном стебельке, по которому полз толстый зубастый червяк. Хирург что-то расправил, соединил, подвязал, и растение ожило. Витю скоро выписали из больницы, и он вернулся домой почти здоровым, в сентябре радостно пошел в детский сад, ему там понравилось, и у мамы с ним не было никаких проблем. За Машку он уже не цеплялся. От сказок ее зевал и убегал к своим машинкам, конструкторам и телевизору. Они переехали в другой район, и Маша пошла в новую школу. Первую четверть она закончила с одними пятерками. Учительница всему классу читала сочинение Маши на тему «Кем я хочу стать». Маша мечтала быть доктором, художником, писателем и еще очень хорошей мамой. А ее мама Наташа, наконец, после всех потрясений пришла в себя и очень изменилась. Перестала мотаться по барахолкам, выбросила набрюшник с калькулятором. Подрабатывала то там, то сям, но чаще нянечкой в детском отделении больницы, где когда-то лежал Витя. Работу ей предложил тот самый хирург. Он пока не предложил ничего другого, но, похоже, это было только начало. Маша упрашивала маму взять ее в больницу. Для нее не было пронзительней счастья, чем счастье слышать радостный визг детей: «Маша пришла!» Но запрет главврача никто не решался нарушить. Надо было подождать до конца года. Анна Борисовна уже объявила всем вокруг, что уходит, и расстроилась, что никто ее не собирался удерживать. Когда после рабочего дня уставшая мама возвращалась домой и садилась на диван рядом с Машкой, поджимая ноги, как если бы под ними протекал ручей, то это было еще одним счастьем. Она прижималась к дочке, гладила ее, легонько целуя. В эти минуты Маше очень хотелось рассказать маме про все то, что она знает. Например, что червяк, который должен был залезть в ее щитовидную железу, просто свалился, когда она не ударила Машу. Ей хотелось объяснить всем вокруг, что она видит, как люди сами торопят свою смерть. Дверца не заперта и всякий раз широко распахивается, как от сквозняка, когда прорываются гнев и злоба. Они сами открывают ее для себя и для других, когда перестают любить. Но как все это объяснить, она не знала, и потом кто поверит. Она тихо засыпала на маминой груди и думала о том, что больше никогда ни на кого не будет злиться, чтобы не вытолкнуть случайно за дверь тех, кто и сам скоро через нее выйдет. Теплый войлок окутывал тело, мысли замедлялись, путались, растворялись. Было хорошо. Последнее, о чем подумала Маша, проваливаясь в глубокий сон, что мама у нее очень красивая и доктор сказал, что Маша на нее так похожа, ну просто одно лицо. Может, и правда...

А главврачу Анне Борисовне не повезло. На пенсию она так и не вышла. Было бы странным, если бы тогда она бросилась под нож и сделала операцию только потому, что десятилетний ребенок нарисовал скопление червячков в прямой кишке, но, когда метастазы пошли в печень, было уже поздно.

Загоруйко Людмила «ГУНДЯ».«Зимние картинки. Ночь» «Петрик второй»

***Людмила Загоруйко***

**ГУНДЯ**

Феврония вся в чёрном с ног до головы рухнула на открытый гроб, будто вдавила собой, грузной, тело сына ещё глубже в деревянное дно. И тут же завыла страшно, протяжно, как раненая волчица.

Всё сразу пришло в движение, очнулось, зашевелилось, зашептало. Подул ветерок, разрядил горячий летний воздух, оборвалось и упало с дерева большое зелёное яблоко, ещё одно. Пора. Пришла минута пошлой суеты возле покойного, когда несут, поднимают на грузовик, разбираются с цветами и венками, выстраиваются. Миг отступления напряжения: отпели, сейчас повезут, ещё недолго, скорее бы, скорее…

На похороны собралось народа видимо-невидимо. Отпевали во дворе, под старыми яблонями. Батюшка бормотал молитву, скучно водил кадилом, монотонно читал прощу. Рядом с телом стояла она, двадцатидвухлетняя вдова, мать двоих детей. И никого для неё не было вокруг. Женщина наклонялась над телом, гладила дорогое лицо в чёрно-серых, похожих на лишаи шрамах, вглядывалась, словно пыталась найти следы муки и боли, отнять их у мужа, взять с собой, лелеять, холить, беречь. Тогда она его спасёт, ему никогда больше не будет ни больно, ни тоскливо, а только сладко. Казалось, они говорят друг с другом о чём-то своём, только им ведомом. Он знает, что она рядом, обязательно знает, душа ещё тут, не отлетела. И оттого ему спокойно под летним добрым небом, где он ещё побудет чуть-чуть и уйдёт, а дети, их дети, останутся и будут радоваться, расти и дальше жить. Двадцать пять лет ещё очень мало, он так много для неё хотел сделать, думал всё впереди, успеет. Всегда надо было куда-то ехать. Всё завтра, завтра, потом. Она знала, она всё знала и прощала ему бесполезную суету, когда они были вместе; и смотрела, смотрела, как будто боялась чего-то не увидеть, упустить, не заметить. Лицо его было сурово, лицо взрослого зрелого мужчины и только складки у губ выдавали его молодость. Почти детская обида пряталась тут, в уголках. Она говорила ему, телу своего мужа, что любит. Говорили руки, пальцы, бегущие по его лицу. Это было их последнее объяснение в любви, без слов, на глазах у всех.

У этой смерти есть своя история, своя логика, завязка, кульминация и развязка. Началась она в конце весны, когда мужчины Луга, как птицы, снимаются с мест.

Автобус был заполнен на треть. В нём сидели мужчины и смотрели на дорогу глазами без мысли. Народ потихоньку подсаживался, занимал места, ёрзал, раскладывал вещи, наконец, затихал. Говорить не хотелось, лениво обменивались редкими замечаниями. Слова цедили сквозь зубы, как овечье молоко на полонинах через сито. Они ещё не отправились в путь из пункта А в пункт Б. Застывшая во времени точка отсчёта, безмолвная клепсидра в руках провидения, мучительное напряжение старта. Пассажиры устали, не начав путешествия: бурные вчерашние проводы, нервные сборы – сумки, визы, деньги. Остановились, чтобы подобрать братьев Мигунов. Те уже ждали, сидели на корточках у обочины и курили. Их провожали жёны с детьми, замкнувшие мужчин в магический защитный круг. Вещи закинули в багажник, но сами не садились. Младший из братьев попросил подвезти газдыню с младенцем к её матери в соседнее село. Водитель охотно согласился: по пути, не далеко, почему бы и нет. Женщины засуетились, побежали за коляской.

На тропинке, огибавшей гору, и длинным острым перпендикуляром врезавшуюся в сельскую улочку, появилась баба Гундя. Идёт, ну и пусть, какое кому дело, но старуху не устраивало быть просто прохожей, она хотела стать действующим лицом, участвовать. Гундя сразу поняла, что за микрик и чем будет ей полезен. Встала она рано, успела зацепиться за пустяк и обругать невестку, отчего была не в духе, решила развеяться, навестить семью старшего сына. Успела. Как раз в дверцы пытались протащить коляску. Гундя заняла позицию, по-бойцовски подперла бока руками, заглянула в автобус, оценила ситуацию, узнала пассажиров и уже намеривалась что-то сказать, как дверца звонко захлопнулась, будто щёлкнула Гундю по недружелюбному носу. «Абись ся не вернув», – в сердцах прошипела она и вошла в калитку, за которой жила семья Палаги, невестки. Автобус ещё успел, двинувшись с места, бросить ей в лицо острую придорожную пыль, но проклятие его настигло, тихо уселось и поехало вместе с заробитчанами в далёкую Московию добывать хлеб насущный. Проклятие знало за кем послано и ждало своего часа.

Феврония слыла хорошей газдыней: корова, двое, как минимум, пацят, бесчисленное множество птицы. Работала она уборщицей в школе. Деньги небольшие, но главное, капает постоянно, как у пожилого еврея, продававшего давно в Тячеве сладкую газировку на разлив в пупыристую, шапкой, пену.

Ей повезло, редко кому в селе удаётся трудоустроиться. Разве что учителя, но штат тоже не безразмерный, поэтому каждый ошколованный за место платит немалую дань. Таков обычай. Без денег не устроишься никуда. Родители студентов копили мзду годами, а иначе сидеть дитяти с дипломом дома. Когда-то она пришла в село, спустилась с гор, что под самой Уголькой, пасти коров у старшей сестры. По соседству и замуж вышла. Потом подсуетилась, нашла подход к кому надо и получила место.

Феврония вставала в четыре утра, брала фонарик, шла по тропинке через кустарник и молодой лесок. Справа тихо вела с ней беседу река, словно успокаивая раннюю путницу, напуганная сонная птица шумно взлетала, била крыльями и исчезала.

Зимой в её обязанности входило развести огонь в печи, чтобы детвора не мёрзла. Школа была старая, тепло, как не топи, улетучивалось, и Феврония сильно мучилась, но ей было ради чего жить: её богатство – дети и внуки. Женщине ещё пятьдесят не стукнуло, а их, внуков, уже шестеро. Родила она троих: двое хлопцев и девчонку. Ещё в молодости решила помогать им изо всех сил и в этом желании преуспела. Старшему достался дом бездетной родственницы мужа. Был договор: состарится – помогут по хозяйству, умрёт – похоронят, как положено. Родственница служила главным бухгалтером в сельсовете, дом построила хороший, крепкий, земельки прихватила достаточно, поэтому наследству, упавшему с неба, радовались.

Младший, покладистый, белокурый, небо в глазах, любимчик матери, тоже не остался без ничего. Феврония умела подумать, как говорится, наперёд. Прямо в межу продавался прекрасный большой участок. Денег на него не было, но она выкрутилась, заняла у соседского Юрки, клиента «на чехах», и купила землю. Отдавала по частям. Муж с заработков денег привезёт, она – к Юрке: тук-тук. Выпьют, закусят, поговорят. Долго платила, несколько лет. Он и рад был, понимал, что помогает и на хорошее дело средства идут, денег без процентов ссудил. Много у него тогда их было, они его и сгубили. Знала Феврония, что подход к человеку всегда найдёт, умела ключик к любому подобрать. Потом Юрку «на чехах» избили так, что он розум потерял совсем. Калека. Из дурдома явится, чуть поживёт, потом на него найдёт, ночами кричит страшно так, надрывно, к реке бегает, шагами землю меряет, места себе не находит. Часть суммы «зависла». Кто ж приколоченному деньги будет совать?

Танюха, самая младшая, должна, как велит обычай, в доме отцовском остаться, но не захотела. Выделили и ей небольшой ломоть. Землицы немного, но близко, через реку. Танька теперь с мужем в Россию ездят, они со свахой по очереди детей глядят, вот и ладненько. Завидуют Февронии. Всё у неё схвачено в железный материнский кулак, детьми руководит, всем интересуется, наставляет. Хозяйство ведут в «ракаше», копейка к копейке, глядишь «зелёный» и объявился. Экономить она умела. Зимой можно дроты на провода закинуть, счётчик почти не крутится. Правда, недавно новшества ввели, ужё не схимичишь. Летом – отправит сыновей в лес, те потихоньку дрова свезут, продадут, вот тебе и гроши. Две – три машины дров, что тому лесу станется, а ребятам хосен немалый. Дрова дорогие, если вниз, в соседние сёла свезти, намного больше выручишь. По грибы ходят, орехи мешками в саду собирают. Хорошая прибыль. Не хочет она бедности детям. Помнит, как в Угольке, где три хижи между гор и снега в пояс, а то и с головой накроет, маялась. Да что там вспоминать. Бог её любит.

На работе Феврония тоже на передовой. Организатор. Соберёт уборщиц – и в бар к голове. Те накушаются, еле ноги передвигают, ей – хоть бы хны. На другой день агитирует за опохмел. Коллектив сплотила.

Врагов у неё нет, со всеми в мире, муж слушается, вот только кума Палага, её крест и беда. Нет от неё покоя. Склочная, завистливая, злая. Только и думает, как напакостить. Чует сердце, добром эта война не кончится. А были – не разлей вода.

Дружили они в молодости крепко. В гости каждый день: то Палага к ним, то они на пороге. Двери не закрывались. Гуляли, жизни радовались. Палага тогда со свекровью сильно не мерила. Гундя сыну дом построила, сама ушла, но позиций сдавать не хотела, всюду нос совала, скандалила, в дом ломилась. Палага не одну ночь у Февронии ночевала, свекрови боялась. Бывало и подерутся. Друг другу в волосы вцепятся, кричат. У бывшей подруги первенец – инвалид. Девчонка не говорит, сама есть не может, её из ложки кормят. Баба Гундя невестку за неполноценное дитя корила, считала – недосмотр. Ребёнок родился нормальный, а потом с ним что-то случилось. Ходила, как прокурор, обвиняла, сына убеждала жену бросить. Та, конечно, не дура, нарожала ему ещё троих. Дети получились нормальные, здоровые, словом, как у всех, только шибко злые, в мать пошли. Феврония догадывается, почему дитя неполноценное, умеет сопоставить факты, обдумать очевидное и сделать выводы.

Привёз Семён в молодости из России девчонку лет семнадцати: молоденькая, хорошенькая, коса до пояса. Гундя люто невзлюбила чужинку. Пилила сына, требовала, чтобы прогнал. Любаске фатьова проходу не давала: то не так и это не так, не газдыня, ничего не умеет. Та плачет, Иван между двух огней мечется, так сильно страдал, что девчонка забеременела. Совсем плохо и выхода никакого. Стал дома не держаться, ночами не приходить, с Палагой закрутил. Все вместе они её и выгнали. Уходила, захлёбываясь слезами, тяжело несла чемоданчик, останавливалась, часто отдыхала: живот большой, поясницу тянет. Провожать её не стали, в селе никто не окликнул, чужое это дело. Палага, как преемница, лицо заинтересованное, растрезвонила свою версию изгнания. Говорили, что та сама у фатьова на шее повисла, за ним увязалась. Он её не хотел, ничего не обещал, знать не знает и точка. Поговорили и забыли. Сенокос на носу.

Семён женился. Надо было спешить, невеста тоже была беременна тем, больным ребёнком. Разное говорили в селе. Многие, как и баба Гундя, считали, что Палага по легкомыслию дитя, родившееся здоровым, не досмотрела. Другие убеждали – проклятие. Феврония думала осторожно: не спроста, тут вмешательство не человека, высших сил, посланный с неба знак. Вить гнёздышко на чужом горе большой риск, но новая хижа в селе, не на приселке, где выросла Палага, и фатьов, которым можно крутить, как колесом от воза, этого стоили. На сложные обстоятельства внимания не обращали. Материальное, близкое, радостное, как обычно, взяло верх.

Гундя выдержала паузу. Союз с невесткой из своего села её устраивал, выждала и взяла реванш. Больше всего её коробило, что не пускают в собственные, купленные ею в сыновью хижу, двери. Она считала, что имеет на них право. Поэтому стучалась в любое время суток. Прошло несколько лет, Палага обжилась, появились деньги, двери поставили новые. Старые предложила свекрови взвалить на плечи и нести в звур, за гору, где старушка жила в маленьком домишке, и пользовать их по усмотрению. Так Палага одержала первую победу над свекровью.

Это теперь Феврония думает немного иначе. Раньше стояла за куму и во всём ей помогала. Чёрная кошка пробежала между женщинами, когда подросли сыновья-красавцы. Рослые они у неё, белокурые, ладные. У Палаги – дочери. Стали они с Семёном намекать, что неплохо и породниться. Земля, купленная на Юркины деньги, объединила бы все их три участка. Можно и стрижку завести, корову прикупить, развернуться, но ребята выбрали других девчат.

Первый скандал разгорелся на меже в сенокос. Палага обвинила соседку, что та залезла на её территорию и перекосила, потом стали строить новый хлев прямо на путничке, ведущему к реке и Февронии. Дело дошло до драки. Семён ударил Танюху по голове, вызвали милицию. Палага кричала, что у неё ребёнок инвалид. Невестки Февронии держали на руках младенцев, демонстрировали их милиции, убеждая, что у них тоже дети. Клан не отступится, потому что дело их правое. Путничок был и будет, а руки нечего распускать. Землеупорядница стояла на дороге, взывала к общей совести участников конфликта и заявляла, что она меж не знает, где были тропинки ей тоже неизвестно.

Баба Гундя стала на защиту сына, прибежала, участвовала, голосила, заламывала руки. Семья шла на семью стеной, кого больше, тот и прав. К несчастью, их было почти равное количество, так что перманентная ничья. Искали правды у головы, тот, как страус, прятал голову, вмешиваться не желал, сочувствовал в индивидуальных беседах и тем и другим. Повоюют и будет, его дело – нейтралитет, выборы на носу. Только жидовская земля, которая досталась этим людям во владения, знала всё. Предки тех, кого в сорок четвёртом году лишили всего, выслали и сгноили в гетто, лежали там на горе, аккурат напротив, в зарослях, под старыми, замшелыми плитами, испещрёнными витиеватыми, червячками-надписями. Они тоже знали, почему именно земля, принадлежащая им когда-то, не даёт покоя.

Всё это случилось давно, Февронию печалило совсем другое. Уехали её ребята. Люди слышали, как Гундя кинула им вслед страшные слова. Шла на работу и плакала, крупные слёзы текли по лицу дождевыми каплями, из-за них она ничего не видела, спотыкалась и чуть не упала перед самым мостом через реку. Она чувствовала своё сердце, оно сжималось и давило. Нет, этого ей не перенести. Двое её мальчиков. Только недавно выкрутились из истории.

Всё случилось на Ивана Купала. День выдался солнечный. С утра радостно зазвонил церковный колокол, сзывая паству на службу. Танюха приоделась, взяла за руку старшую дочку и пошла до церквы. Феврония сунула внучке в карман горсть леденцов, сама с невесткой осталась хлопотать по хозяйству. Ещё с вечера решили напечь рипы, нажарить шашлыков и отправиться на реку. Все были дома: муж, сыновья, внуки, зять. Принесли из магазина водку, пиво. Праздник, надо отметить. После обеда вышли из дома: четыре семьи, детки. Загорали, купались, выпивали, закусывали. Народу на реке много собралось, компания на компании, яблоку негде упасть. Потом молодёжи стало скучно, надумали рыбу ловить. Удочек нет, можно электричеством попробовать. Обычное дело. Так делают многие. Кое-кто и динамитом глушит. Ребята куда-то сбегали, договорились, нашли длиннющий кабель, подключили его в хлеву знакомого паренька, но ток не шёл, что-то не контачило. Послали проверить розетку: всё нормально. Значит, дело в кабеле, надо проверить. Подозвали фатьова, попросили полезть в воду, вытянуть шнур. Мальчик не хотел, кочевряжился, на него прикрикнули, он послушно полез, взялся за шнур и упал, как подкошенный. Вытащили его без сознания, с оголённым проводом в руке. До сих пор у неё перед глазами эта ладонь, раскрывшаяся сама собой. Ещё детская ручка, без мозолей, с тоненькими пальчиками.

Люди повскакивали с мест, обступили, никто не знал что предпринять, как оказать первую помощь. Он умер, не приходя в сознание. Они сразу домой убежали, закрылись, стали ждать. Пришла милиция, расспрашивала. Её мальчики долго рассказывали, как обстояло дело. Ночью не спали. У приколоченного Юрки во всём доме горел свет. Он выбегал на улицу, дико выл на полную, слепую лупу. Долгий истошный звук рвал на куски ночь, ширился, плыл, изнемогал, бился о горы, не находя выхода. В нечеловеческих криках мучилась раненая, истерзанная душа, рвалась на волю, искала путь. Выхода не была, душа томилась в тесных оковах, кричала, в ней обитал затравленный зверь. Он погибал, и никто в мире не мог помочь.

Плотно закрыли окна, сели думать. Надо найти выход, пареньку уже не поможешь. Решено было свалить вину на того, кто дал им кабель, чьи были хлев и розетка. Сначала версия срослась, поверили, но потом расстроилось, усилия оказались напрасными. Лето прошло, как в тумане, еле выкрутились. Ушли сбережения, отложенные на стройку, заняли денег. Вслед ей не раз кричал старик, дед погибшего, косивший на мочари траву: «Убийцы». Она видела мать мальчика, всю в чёрном под палящим солнцем. Женщина как будто плыла по дороге, несла в руках букет нежно-розовых пионов. Поникшие от жары нераспустившиеся бутоны, без запаха, с закрытыми глазами, слепые и мёртвые.

Феврония заставила себя верить, что её дети – орудие мести в руках провидения. Отец погибшего мальчика был грешен. Он вёз заробитчан в далёкую Москву, спешил, отказывался отдыхать, вёл машину ночью, заснул за рулём и съехал в кювет. Автобус перевернулся, погибли люди. Пришёл час возмездия. Они, её дети, ни в чём не виноваты. Случайность, стечение обстоятельств. Не хотелось подпускать мысль, что глушить рыбу динамитом, изводить её электричеством – преступление против Бога и человека. Так поступают многие, не только они. Другим можно, им нельзя?

Феврония тревожилась о сыновьях, звонила им каждый день. Хлопцы посмеивались, шутили. Работа на этот раз подвернулась хорошая, заработают много. Вернутся, ещё успеют по грибы сходить. Мать насушит, продадут.

Ночью приходили расплывчатые, как туманы, сны. Не сны, а месиво. В них что-то варилось, двигалось, переворачивалось, ничего не понять. Теперь она больше молчала, о чём-то думала.

По утрам, когда шла в школу, мерещилось непевне. Оно сопровождало её, даже преследовало, шло рядом, по правую руку, мелькало между деревьями у самой реки. Пришло лето, а с ним – долгожданный отпуск. Феврония как будто забылась, подгребала рипу, кормила, поила, доила. Машинально, как в тумане.

Ночью раздался звонок. Она не удивилась. Твёрдо сказала в никуда, в тревожную тёмную пустоту: «Алло».

Попали в беду оба, её красавцы, её сыновья. И снова беспечность, молодая неосторожность: жизнь не таит в себе опасностей, можно рискнуть, с ними никогда ничего случится. Разводили в закрытом помещении особо опасные горючие вещества. Как обычно, решили действовать на авось, пронесёт. Их вынесло взрывной волной. У младшенького, её голубоглазого любимца, сильные ожоги.

Молчала, никому ни слова, крепилась. Гостям варила кофе, наливала стопочку. Оставшись одна, подолгу качалась в деревянном гуцале, которое смастерили для малышей, сыновья. Вечерами жарко молилась, просила у Бога чуда.

Он умер в ночь на Ивана Купала. Старший ещё долго пролежит в больнице, вернётся домой седым и почти здоровым.

Палага не находила себе места. Там, за домом, отпевают сына её врага. Ей хотелось видеть тело, присутствовать. Она посылала домашних на разведку, те приносили сведения, складывали грудой, как дрова для шпора, к её мощным ногам. Рассказы не удовлетворяли любопытства, и она решилась, собралась и пришла, стала перед полукругом толпы, надеясь, что расступятся, пропустят внутрь, спрячется за спинами. Не пустили. Осталась посередине двора, сама, под палящими лучами солнца. Стояла, как вкопанная. Не моргнула глазом, не склонила головы. На подмогу матери подоспели дочери, стали по обе стороны. Чёрные ширинки на головах. Клан на клан. В жизни и смерти. Навсегда.

Баба Гундя пребывала в волнении. Её переполняла ликующая радость победы, но без созерцания нет наслаждения. Она, следуя примеру невестки, наконец, решилась, но явиться в чужой двор после стольких лет вражды и громогласных проклятий боялась. Помогла дочь, приехавшая погостить. Женщина была безобразно толста, бездетна и как мать, совершенно бесчувственна. Даже когда ей удаляли зубы, никакой боли для неё не существовало, физической. О душевной имелось приблизительное представление.

Баба Гундя с дочерью заранее вышли из хижи, преодолели знакомый изгиб и перпендикуляр тропы, зашли к Палаге, долго через щель в хлеву наблюдали за церемонией. Видели мало, почти ничего, поэтому решились объявиться на людях. Не во двор, конечно. Туда им зась. Чувствовали черту, за которую нельзя. Женщины пошли вдоль межи, залезли в бурьяны за домом Палаги, чтобы приблизиться, дотянуться глазом. Бурьяны не страшно, но дальше буйствовали заросли крапивы. Вернулись, обошли здание с другой стороны, опять оказались у сетки заборчика, повисли на ней, как две бесформенные, бесцветные мешковины, почти слились с толпой провожающих в последний путь.

Баба Гундя слыла примерной прихожанкой, ходила в церковь по воскресеньям и праздникам, усердно молилась, требуя у Господа защиты. И сейчас она с усердием слушала каждое слово священника. Особенно нравился ей тонкий, звонкий голос дьячка. Он умилял, и баба Гундя впала в забытье, в какой-то момент очнулась, потянулась старческой шеей туда, где находился гроб с покойником. Ей хотелось увидеть лицо умершего, узнать насколько оно обезображено, черно и обуглено, но никак не получалось. Старуха заметалась из стороны в сторону, сетка противно скрипела, люди оглядывались, но ей уже было безразлично. Любопытство взяло верх над набожностью и осторожностью.

Наконец, процессия потихоньку двинулась на кладбище. Палага в дочерьми вернулась домой обедать. Гундя решила ничего не пропускать, видеть всё до конца, последней точки. Женщины пропустили машину, народ, сопровождавший её, отступили на несколько шагов и пристроились в самом хвосте процессии. Вроде бы и за гробом, вроде бы и просто пешеход, идущий по своим делам. Шли долго, преодолели мост через реку, у церкви чуть свернули влево, поднялись на холм.

Могильщик по совместительству и знатный косарь Иван с приятелями яму выкопали, как выкроили. Постарались на славу. Всё-таки молодой человек погиб, не дед, который своё отжил.

Баба Гундя вскарабкалась на противоположный холм, где покоился прах её мужа, и стала наблюдать, как старая, противно каркающая ворона, оттуда. Безопасно, никто не осудит, а видно всё – панорама. Ей надо было твёрдо знать, убедиться, что закопали, предали земле, конец. Нет больше, не существует. Изыдел, стёрт, исчез, сдох.

Дома Феврония выпила с мужем много водки, опьянение не пришло. Они повалились в постель, сон, к удивлению, пришёл сразу.

Осенью невестка, вдова погибшего, собралась на заработки. Деньги нужны. Надо достраивать дом. Деток определили в садик. Зимой вернулась, колола орехи, возила на базар зернятка. Она повзрослела, лицо приобрело выражение смирения и тихого покоя. Оно стало белым-белым, казалось мраморным и как будто светилось. Старший её сынишка походил на отца, как две капли воды: те же голубые, как небо, глаза, те же белокурые волосы. Он больше не спрашивал, почему отец так крепко спит, забыл. Оставшийся в живых брат, осенью и весной, как обычно, продавал краденые дрова. Почему бы и нет? Феврония усердно постилась, зачастила в церковь и всё не могла понять, почему именно ей выпали на долю такие испытания. Летом во время сенокоса Палага снова начала войну, кричала, что перекосили, земли ужё ртом нахватались, а всё мало. За спиной стоял её Семён, поддерживал и принимал активное участие в разборках. Муж Февронии, напившись, бегал по двум своим участкам, размахивал руками и протяжно, будто дразнил эхо, кричал: «Гун-дя, Гун-дя, Гун-дя». Его, словно вырвавшегося из стойла телёнка, ловили невестки и внуки, гоняясь за ним по двору.

**Зимние картинки. Ночь**

Просыпаюсь, как от толчка – вдруг. На самом деле меня ничего не тревожит: ни дурной сон, ни боль, ни тяжёлая мысль, утонувшая в ночном небытие. Я на дне, надо мной плотная, вязкая ночь.

Раньше, когда просыпалась, в тревоге спрашивала себя: «Где я?» Теперь привыкла. Твёрдо знаю, где я и своему существованию в новом контексте давно не удивляюсь, хотя, признаюсь, поначалу оно (внезапное, как по волшебству, перемещение в пространстве) меня терзало.

У наших ночей в горах есть сестра – тишина. Они приходят рука об руку, такой у них совместный уговор. Ночи здесь тихие до звона, до глухоты, стона. Моя комната в темноте раздвигает границы, теряет очертания. Она кажется бесконечно запутанной, пустой и незнакомой. Вещи и предметы размыты, громоздятся и приобретают новые очертания. В новолуние исчезает всё. Нет мебели, дверных и оконных проёмов, чернильно-чёрная плотность до краёв заполнила резервуар дома и кисельно застыла. Нет ни шорохов, ни звуков. Нет ветра, сада, домов, улиц, реки, гор. Меня не тревожит вопрос: «Который час?» В нём нет смысла. Давно живу в безвременьи. Ночь, как пустыня, без конца и края, и надо только смиренно ждать, когда наступит утро.

Ночь бывает непредсказуемо кокетлива. Она, как желанный, нежный поцелуй, дарит маленькие радости. Канал «Еврокино». Мой ночной праздник, фейерверк, лёгкий наркотик, бокал сухого вина, друг, собеседник, невидимая, связующая с безграничным миром, нить. Как в складной матрёшке, здесь живет любимое – французское. Я гурман, поглощающий чужие изысканности, где правят бал абсурд, случайности, мастерски нанизанные друг на друга. Здесь много иронии, улыбок, многозначных пауз, виртуозных, как взмах руки скрипача, жестов, французского шарма и совершенно немыслимых историй.

Заботливые дочери суетливо устраивают одиноким матерям личную жизнь, наконец, сами влюбляются, словно паучихи, попадают в расставленные для собственных родительниц сети. Мамы с возрастом не теряют привлекательности, их красота в тонкой, как вуаль, грусти лёгкого увядания, пронзительна. Они, сами того не подозревая, увлекают мужей дочерей. Мамы шокированы, срываются с места и уезжают, куда глаза глядят. Зятьки выжидают. От любви сбежать невозможно, полагают знатоки-французы. Любовь – смысл сущего, божественная радость бытия. В итоге папа (в молодой семье уже есть отпрыск) женится на бабушке. Мама (которая молодая) из мести находит симпатичное утешение, оно (мужчина-утешение) прекрасно готовит, ведёт домашнее хозяйство, что просто находка.

Несравненная Катрин Динёв в паре с Жераром Депардье на фоне марокканских пейзажей, как рулетку, раскручивают банальный сюжет встречи мужчины и женщины через тридцать лет после смерти их любви. Он – смешной в своей растерянной неуклюжести, до сих пор влюблён и, как ни странно, холост. Она – вся кружево, сотканное из очарования пресловутых лёгких морщин и бремени семейных проблем. Она полагает, что всё в прошлом, он, без всяких оснований, надеется. Я – вся во внимании и в то же время в полусне, в мире условностей искусства, иной реальности, меня раскачивают волны лёгкой грусти, чудесной музыки, журчание незнакомой речи. Ох, уж это французское кино!

Утром голова отказывается подняться с подушки, глаза не открываются, тело поломано, болит. Что же я смотрела вчера? Пытаюсь вспомнить – не могу. И снова, как Прометей, прикована к экрану, кино пожирает мою печень, я его заложница, покорный безвольный раб. Ночь сплелась с днём в крепких объятиях, границы между ними невидимы, стёрлись. Бодрствую среди темноты, при дневном свете брожу, как сомнамбула. Неужели это моя реальность?

Пора спать. Не тут-то было. В дом врывается заводной жизнелюб Эмир Кустурица и лихо так мне подмигивает. Тут уж точно не до сна. А финал, финал!

На просёлочной дороге не разойтись двум процессиям: одна скорбная, похоронная, другая – радостная, свадебная. Там плачут, тут – танцуют. Приближается погоня, мафия вооружена и жаждет возмездия. Её главарь, хозяин притона, позорно кастрирован. Да здравствует справедливость! Свадьба нетерпелива, священник в затруднении, не решить что прежде: похорон или свадьба. Отверженный поклонник Драгицы (имя-то, имя, так и просится: дорогая, драгоценная) выбрался из западни, грушей висит в церковном окне, но это ещё не всё: гулять, так гулять. С неба падает циркач в костюме Бэтмена. У несчастного что-то заклинило, он вылетел из цирка наружу, долго и трудно парил над землёй, наконец, удачно катапультировался. В церкви в недоумении. Одни считают упавшего с неба дьяволом, другие – ангелом. Неприкаянный, всеми забытый гроб с покойником оседлал жаждущий мести мафиози. Бедолага мчится с горы и попадает прямо в ту самую яму-западню, придуманную дедом-женихом для ухажёра своей невесты Драгицы. С дедом не так всё просто. В начале фильма он собрался умирать, но передумал и решил жениться. Внук выполнил его предсмертный завет: продал корову, купил икону Николая-чудотворца, привёз невесту Ясну. Вот они все четверо и венчаются под музыку Горана Бреговича. Где мой сон? Кто его поймает? Может, принесёт на крыльях сербский Бэтмен? Я хохочу на весь ночной дом, подражая актёрам, пытаюсь пританцовывать в постели. Коты смотрят из тёмных углов в недоумении, мыши прекратили возню на чердаке. Я сошла с ума, спасайте меня! В какой-то миг, поймать его невозможно, погружаюсь в сон, он недолгий. Лежу, не открывая глаз, ухо прислушивается. Знаю – уже скоро. Действо ещё не началось, но душа томится предчувствием. Вот он, предвестник. Там, за окном, в глубине безмолвия ночи, крушит в прах все ночные табу безумный, ликующий, истошный до неприличия вопль петуха. Может, Кустурица уже добрался и бушует в нашем дворе?

Ночь, как и подобает королеве, держит интригу до последнего, шуршит кринолинами и взбитым шёлком юбок, стучит торопливой туфелькой, пахнет фиалкой и елью, она шепчет, перетекает, растекается сквозняками, ещё многое в её власти. Квадрат окна сереет, в комнату вплывает мебель, занимает, как зритель, свои места. Контуры её ещё не очерчены, похожи на блуждающие приведения. Пройдёт немного времени, и мебель обретёт свои формы. Я больше не в силах, засыпаю.

Тёмные ночи – признак ненастья или новолуния, но есть и пронзительно светлые, когда освещён двор, поле, луг, линии гор очерчены и ясно видны. Серебряный люминесцентный свет прозрачно струится с неба, заливает тихую землю. Он падает в окно, преломляется и оставляет на полу его двойник, чёткий серый квадрат.

В такие вечера мы выходим пройтись. Синий снег мерцает бриллиантовой крошкой, сахарно похрустывает под ногами. Звук шагов будит ночь, она вздрагивает, поводит плечами и снова погружается в сон. Звук пугливо отскакивает от ног к реке и там теряется. На занавесях ночи то тут, то там развешены и светятся янтарные окна...

**Петрик Второй (римскими)**

Своего первого купленного для хозяйства поросёнка я назвала Петрик Второй (римскими). И никаких, кстати, параллелей. Хотя... Где-то в тонких слоях моего подсознания... И первый, Петро (новый муж) и второй (поросёнок), который римскими, в какой-то мере последствия балансирования на грани (с головой да в омут), когда что-то всё время крутишь, вертишь, не зная зачем, просто потому, что хочется, и всё вокруг тебя уплотняется, начинает обрастать деталями, появляются новые смыслы. Вдруг понимаешь, что засасывает, трусишь, надо бы бежать, спрятаться, как от летней грозы в безопасное место, а бежать поздно и уже некуда. Своими руками расставленная западня. И ты в неё попал добровольно.

Дитя асфальта в четвёртом (а, может, и больше, не знаю) колене, я лет пятнадцать до переломного события в своей жизни мечтала поселиться в селе, почему-то представляла, как в огромном медном котле варю леквар. Терпкий душный запах сливы, сладкий дым живого огня, раздуваемого сухим ветром. Долгий сомнамбулический процесс равномерного помешивания варева, томность однообразных движений, исчезающие в густоте кипящей плоти круги. Кожа моя благоухает, источает тонкий фруктовый аромат, благовонный пот струится со лба. Во дворе длинный, как змея, стол до самой калитки, накрытый лоскутами разноцветных скатертей, он бесконечен, как жизнь. Никакая скатерть не способна прикрыть его узкую прямую наготу, потому-то их много, всяких и разных. На столе сливовица, шовдарь, шары карминно-бурых, как терриконы Донбасса, помидоров, вот-вот лопнут, прыснут соком, шершавая прохлада пальчиков-огурцов, цветовая эклектика толстых перцев, бледные кляксы листьев салата, фаршированные рыбы на блюдах, коронованные дольками лимонов, чесноки-зубы, зелень и лук пышно распустили павлиньи хвосты. За столом вся моя семья. Исключительно все, включая тех, кого ещё нет, и кого уже нет. Пришли из прошлого и будущего. Я окидываю стол пристальным взглядом, и сердце моё переполняет радость. А вы говорили: одной (без брата-сестры) будет трудно. Ложь, я не одна, во мне вы все, разрослись пышными ветками: и бабушка, и тётя Зина, и мама, и, кудрявый отец, и дети, внуки... Вот нас сколько, едим, выпиваем, разговариваем.

Тягучий, плотный, леквар асфальтным катком утрамбовал все сомнения окончательно, но оказалось, что в нашем селе сливы приживаются плохо. Это там, внизу, где рано приходит весна, много тепла и солнца, их предостаточно, как в райских садах яблок. Выходит, леквар мне варить не из чего.

Надо срочно заполнять образовавшийся вакуум. Пришлось сосредоточиться на домашних животных, в основном, на малых их архитектурных формах. Я покупала охающих, по-бабьи причитающих кур, ещё в жёлтом пушке утят, маленьких, юрких цесарок и всякую мелкоту, но с этими птицами не так-то просто сладить. Утята, выстроившись в длинную цепочку, всё время куда-то маршировали под музыку собственных голосов, преодолевая любые преграды. Отыскать их среди кустов разросшегося могучего картофеля можно было только по звуку их неспешной тихой переклички. Шли они, как крестоносцы, не останавливаясь, и без конца о чём-то беседовали, утиная азбука морзе. Между первым и замыкающим существовала какая-то неведомая непосвящённым связь. Наконец, они исчезли навсегда за стеной соседской кукурузы. Теперь в соседском дворе среди людей возникло, как дуновение ветерка, лёгкое движение. Там тихо переговаривались. Шипя, громко шептала утка-мама, давала распоряжения дочерям и сыну. Что-то у них захлопало, застучало, кто-то побежал, раздался приглушенный смех. Я притаилась на границе чужого кукурузного поля, замерла в ожидании. Вернутся. Дальше хода нет: соседский двор, забор с улицы, с другой стороны – сетка. Должны. Не вернулись. На хозяйстве остались отставшие. Всего четверо из купленных пятнадцати.

Куры страдали болезнями, надувались, щетинились перьями, часами сидели, по буддистки глядя в одну точку. Наконец, тихо испускали дух и валились на бок. Две нежные цесарочки бесследно исчезли через двадцать минут по прибытию на место, так и не успев оглядеться по сторонам.

Кто-то сердобольный посоветовал купить корову. Неплохо, подумала я, с одной стороны – не потеряется, с другой – зачем нам такое монументально крупное животное? Косить, доить, чистить, принимать роды, из дома – ни на шаг и непонятно кто из нас на привязи. Выходит, скованы одной цепью. Нет, вериги – это хорошо, гасят и давят на корню страсти, но чтобы совсем всё и навсегда похоронить? Вариант с коровой не прошёл, хотя сомнения, признаюсь, были. Провоцировали краснощёкие толстолицые соседки, называли себя газдынями, гордо водили туда-сюда перед нашими окнами мычавших животных, впавших в меланхолию. Коровы апатично, маятниками махали хвостами, газдыни светили толстыми икрами, раскачивали бёдрами-гигантами, поправляли на головах ширинки и тяжёлые груди за пазухами. Я смотрела на демонстрацию чужой газдивской мощи через лоскут кухонного окошка, провожала шествие бездумными глазами, наконец, не выдержала и привезла розового поросёнка в нежном возрасте подростка.

Нашего Петрика Второго (римскими) мы поместили в старую «кучу», сооружённую из досок и реек. Она походила на избушку на курьих ножках в миниатюре, с такой же острой, как сложенные в треугольник ладоши, крышей. Беда в том, что строение получилось необыкновенно низким, убирать в нём можно было только, согнувшись в три погибели, чувствуя на себе недовольное дыхание стеснённого обстоятельствами животного. «Куча», по признанию хозяина, обошлась ему дорого, в триста зелёных. Сооружали её любимые родственники, хорошо знавшие, что Петро в нюансы вникать не будет. Поэтому исчез лес, бетон, ушли на сторону гвозди, а плату затребовали непомерную, потому что деньги нужны, работы нет, а учитель обойдётся.

Свин ел из деревянного корыта, громко чавкал, сопел, тёрся боками об доски и матерел. На дворе стояло лето, животное росло, как на дрожжах, но мне, измученной неудачами, хотелось достичь высоких животноводческих результатов, чтобы как в сводках периода развитого социализма: в этом году колхозники сдали на десять центнеров мяса больше, чем в прошлом. Или, благодаря внедрению новых технологий, привес с одной единицы свиньи составил на двадцать кг больше, чем в предыдущий период. Я всегда думала, как же должна вырасти искомая свинья к концу пятилетки? Это уже целый носорог получается. Короче, цель ясна: мой поросёнок должен вмещать в себя не меньше ста двадцати килограммов, но как определить вес? Оказалось, надо измерить длину животного, потом его холку, сложить, разделить и получить результат.

Утром я пришла навестить любимца, изо всех сил пригнулась, сложив себя как можно компактно (складным стульчиком), влезла в кучу-клетку и приступила к делу. Длину удалось измерить без особых проблем, с шеей возникли трудности. Пришлось опутать Петрика метром. Из-за тесноты я почти легла на животное и крепко обняла его за шею. То ли он подумал, что я в подружки ему набиваюсь, то ли неудобства испытал, то ли просто занервничал, но наша интимная близость ему не понравилась. Петрик Второй (римскими) сильно тряхнул головой, сбил меня с ног и в испуге бросился во двор, огляделся по сторонам и понял, что его поросячья душа хочет простора. Он выбежал на улицу, как положено пешеходу, посмотрел налево, потом направо, рысцой перебежал дорогу, пятачком открыл калитку напротив и, опьянённый свободой, очутился на чужой территории.

Посреди двора стояла новая чужая машина. Её на днях купил соседский зять. В доме напротив обычно жила только хозяйская дочь с маленьким ребёнком. Вся семья годами пропадет на заработках в Чехии. Приезжают редко, садят картошку, собирают урожай, наспех что-то строят, ремонтируют, дружно гуляют и едут в края обетованные. Это был как раз тот случай всеобщего семейного единения. Все сидели в длинной, просторной пивнице, где обычно готовят и едят. Три окна помещения смотрели во двор бойницами на уровне травы. Народ обмывал покупку, громкие голоса выплёскивались наружу. Пили с утра, начали с вечера. Гулянье на самом пике, рюмки поднимались часто, закусывали обильно. Вдруг они увидели, что машина медленно раскачивается из стороны в сторону. Сначала молчали. Каждый думал – померещилось, а если, кажется, на всякий случай надо перекреститься и чертовщина исчезнет, но за окнами ситуация не менялась. Вопреки всем законам притяжения, машина ожила, зашаталась, как пьяный человек по дороге домой, и стала крениться на бок.

Из-за стола дружно всех вынесло. Они увидели счастливого Петрика Второго (римскими). Свинья стояла на передних лапах, опиралась копытами на капот, нежным своим пятачком вдохновенно, с восторгом пыталась поддеть бампер. Рядом застыла остолбеневшая я. Закричали все разом, замахали руками. Бедный Петрик почуял неладное, галопом понёсся вглубь двора, находчивый хозяин дома пошёл ему наперез. Петрик капитулировал не сопротивляясь. Я так и не могла внятно объяснить, почему наша взрослая свинья самостоятельно и без надзора гуляет по улице. Признаться, что измеряла ей талию, было бы неосмотрительно.

*Словарик*

Абись ся не вернув – чтобы не вернулся

Газдыня – хозяйка

Пацята – поросята

Ошколованный – выученный

Приколоченный – психически больной

Ракаш – вместе

Хосен – польза

Хижа – дом

Любаска – любовница

Фатьов – парень

Звур – ручей

Стрижка – овца

Рипа – картофель

Мочар – подтопляемая земля

Проща – список прощающихся с покойником

Гуцало – широкая качеля на деревянных подпорках

Шпор – печь

Ширинка – платок

Леквар – густое сливовое повидло

Шовдарь – копчёный окорок

Пивниця – цокольный этаж

1. Зисман Владимир «Тетя Соня из Сианя»

***Зисман Владимир***

**Тётя Соня из Сианя**

«Что будем делать? Осталось всего два дня, а чая нет», - сказал Боря со спокойствием, из-под которого проглядывала паника.

Я абсолютно безмятежно промолчал. Из-за моей безмятежности тоже выглядывала паника. Потому что оставалось всего два дня, а чая не было.

«Ладно», - после паузы сказал я. «Завтра будем в Сиане, там и решим. Пойдём к тёте Соне».

Китайцы отмечают Рождество и Новый год с ничуть не меньшим удовольствием, чем свой лунный Новый год. По улицам, украшенным наряженными ёлками и светодиодными оленями, ходят узкоглазые Санта-Клаусы в красных колпаках, гремят и сверкают петарды, а в гостиничных конференц-залах, заранее забронированных для корпоративов и украшенных традиционным для Китая красно-золотым декором, практически одновременно звучат самым парадоксальным образом «Jingle Bells» и Интернационал.

По всему Китаю колесят наспех набранные оркестры и балетные труппы из России. Иногда их маршруты пересекаются и тогда импресарио устраивает шоу с гигантским оркестром, который исполняет, например, сороковую симфонию Моцарта. Моцарт, конечно, переворачивается в своей безымянной могиле на кладбище Св. Марка в Вене, но за грохотом оркестра это почти не слышно. Ведь для китайского слушателя рубежа веков главное удовольствие от концерта - это радость узнавания образцов великой европейской музыки, знакомых ему по репертуару мобильника, которым он страшно гордится. Ну и, разумеется, произведения из прежней жизни, вроде увертюры из «образцовой» революционной оперы 50-х «Седая девушка» или песни «Радостные вести из Пекина», рассказывающей о трудовых подвигах. Это бисы, которые идут сразу за Маршем Радецкого.

Если кто-то думает, что музыканты сбиваются в оркестры под Новый год для того, чтобы играть в Китае концерты, то он, безусловно, ошибается. Нет, чисто внешне, так оно и выглядит, концерты проходят, и проходят с большим успехом, но целью музыкантов они не являются. Кто-то едет за впечатлениями, кто-то полагает, что купит там дешёвые вещи, кто-то просто надеется отдохнуть от своего главного дирижёра или отпраздновать Новый год в достаточно экзотической обстановке.

Но все, кто остался здесь, твёрдо убеждены, что музыканты летят в Китай исключительно для того, чтобы купить и привезти чай. С гастролей в Китай без чая лучше не возвращаться. Это очень серьёзно.

Ты с самого начала знаешь, что избежать этого не удастся, но делаешь вид, что лично тебя это не касается. Все делают вид, что их это не касается. Но рано или поздно наступает момент, когда правда заглядывает тебе в глаза сама. Как бы ты их не отводил в сторону. Ты понимаешь, что ещё несколько дней - и, если у тебя в чемодане нет чая, ты не жилец. С этого момента что-то в тебе начинает меняться. Сначала почти незаметно. Из музыканта, любознательного путешественника, интеллигентного и в меру своих возможностей энциклопедически образованного человека ты превращаешься в классического купца, о котором ты ещё недавно знал только из книг. С этого момента ты - Марко Поло, Афанасий Никитин, Гийом де Рубрук, верблюд, в конце концов, из проекта «Шёлковый путь». Ты одновременно пассионарий и жертва собственной пассионарности. И твоё рафинированное «я», которое ещё вчера бродило по археологическому заповеднику и разглядывало терракотовых воинов, мысленно изумляясь шизоидным масштабам спецзаказа императора Цинь Ши Хуанди, вдруг уступает место мелочному настырному субъекту, который бьётся за каждый юань, не щадя живота своего.

Но всё это будет чуть позже.

Сначала надо найти жертву - торговца чаем. Его лавка должна находиться в окружении нескольких таких же магазинчиков - мы всегда можем намекнуть, что пойдём в соседнюю конуру. При этом она должна выглядеть самой убогой - репертуар у них всё равно одинаковый - и чай, и блестящие пакетики для упаковки, и ещё сумочки для пакетиков. Такие красивые, ярко-кислотных азиатских цветов с голографическим отливом.

Чайная лавка того формата, что нужен нам, зрелище не для слабонервных. Это двухэтажный сарайчик, сделанный из того, что хозяин и его предки нашли на помойке. Внизу магазин, наверху живёт хозяин с семьёй.

Переступаешь порог, и останавливаешься. После яркого декабрьского сианьского солнца глаза долго привыкают к полумраку.

Неровный земляной пол. В глубине небольшого помещения широкий прилавок. За ним стоит женщина неопределённого возраста и, я бы сказал, пола. За её спиной навалены мешки и коробки.

Прочие подробности интерьера вырисовываются позже, по мере необходимости. Ты их замечаешь не раньше, чем они начинают играть свою функциональную роль. Потому что ты в шоке. Можно назвать это состоянием аффекта.

Мы стоим, смотрим друг на друга и молчим. Привыкаем.

Я беседую сам с собой. Молча, про себя. Успокаиваю.

Я не говорю по-китайски. Но ведь и она ни слова по-русски.

Мне нужен чай. Но ведь и ей нужны деньги.

Я ничего не понимаю в китайцах. Но ведь и она никогда не видела европейцев. Почти наверняка. Я и в более цивилизованных местах видел, как они на нас смотрели - как на больших белых одетых в человеческую одежду обезьян. Аккуратно трогали и просили сфотографироваться вместе. Это было ещё в конце 90-х. Потом, конечно, многое поменялось.

Общаться в таких условиях очень удобно - никто от тебя не ждёт, что ты вдруг заговоришь по-немецки или по-французски. Ты не комплексуешь от своего пиджин-инглиш. Ты не пытаешься мучительно понять, что тебе пытается объяснить этот джентльмен на неопознаваемом австралийском английском, в котором любая фраза звучит как одна большая аббревиатура.

Всё очень просто. Проще не бывает - говоришь на родном русском, тебе отвечают на не менее родном китайском. Более того, в отличие от самих китайцев, мне абсолютно по барабану, на каком из китайских диалектов со мной говорят - я всё равно ни одного не знаю.

Но мне всё понятно. Как и ей, продавщице чая.

Итак, ровно за год до эпизода, с которого начинается эта история, мы с Борей зашли в самую занюханную чайную лавку в самом нищем районе Сианя.

«Нихау, куня», - сразу вывалил весь свой словарный запас Боря, который стоял рядом со мной.

«Девушка» улыбнулась и ответила - «Нихау». В этих пределах язык мы уже выучили.

Можно было начинать партию.

Это был не блиц. Отнюдь.

Высокие договаривающиеся стороны представились друг другу и произнесли несколько приветственных фраз. Что значит представились, если никто не в состоянии внятно воспроизвести имя визави? Попытались, конечно. Изрядно повеселились, но результата не достигли. Поэтому в дальнейшем наш торговый партнёр отзывался на имя «тётя Соня». На что отзывались мы, я воспроизвести не в состоянии, хотя было совершенно понятно, к кому из нас она обращается.

Тётя Соня залила пару бутончиков чая горячей водой, подождала несколько секунд и вылила свежезаваренный чай сюда же, на деревянную решётку под чайником. Мы остолбенели, но виду не показали. Мы же тогда не знали, что первую заварку сливают. Лаоваи, прости Господи. Так китайцы называют нас, олухов-иностранцев, которые ни чай заваривать не умеют, ни палочки правильно держать, ни элементарные хотя бы полторы тысячи иероглифов прочитать.

Плавно и неспешно потекла беседа.

Точно так же, как это было тысячу или три тысячи лет назад.

Китай был всегда.

Где-то на обочине цивилизации, вдалеке от Срединного государства, как называют своё государство сами китайцы, ненадолго появлялись и исчезали какие-то провинциальные образования, с которыми Китай торговал - Рим, Византия, появлялись и исчезали генуэзцы, венецианцы… Кто теперь помнит какую-то Бактрию? Был торговый партнёр и исчез.

И вот теперь в этом почётном ряду - мы, купцы из России. То, что что мы приехали сюда с произведениями Чайковского и Иоганна Штрауса, явление не из этой жизни. Да и кто здесь, в сианьских трущобах, знает о великой русской и европейской симфонической культуре?

Мы ведь не только для себя покупали. Мы - представители большого оркестрового коллектива. Накануне ночью, практически до самого утра, весь творческий состав бродил по гостинице, советовался друг с другом… Каждый мучительно решал глубоко личный вопрос -сколько и какого чая из десятков сортов необходимо купить. Потому что надо привезти эту экзотику в семью, родственникам, коллегам, которые за тебя отдуваются в Москве, врачу, учителю ребёнка. Ведь все знают, что ты поехал в Китай. В конце концов, и это в первую очередь - директору оркестра, в котором ты работаешь, и который тебя отпустил на две недели, попросив всего лишь написать заявление об отпуске за свой счёт. На всякий случай. Он положил этот лист бумаги к себе в ящик стола, под папки с остальными документами и, если не будет никаких случайных эксцессов, просто выбросит это заявление, когда ты вернёшься. Как же ему не привезти пару килограммов чая?

И вот, наконец, «алеет Восток, взошло Солнце» (это из песни про Партию и Мао). У нас в руках длинный список, перечисляющий пожелания коллег и пачка юаней разной степени помятости.

…Мы практически сразу обозначили свой высокий статус и донесли до тёти Сони мысль, что нам нужно тридцать два килограмма чая.

Она заваривала, давала продегустировать и выливала в недра резной деревянной решётки чашку за чашкой чаи разных сортов - почки и листики белого чая, комочки и шарики улуна, пу-эра, жасминового…

На столике появился блокнот и ручка. Тётя Соня продекларировала исходную цифру - 380 юаней и протянула блокнот с ручкой торговым партнёрам. Это за 500 гр. - исторически сложившаяся единица измерения чая в Китае.

Боря написал 50 и с улыбкой, эквивалентной ходу е2-е4, вежливо перевернув блокнот, возвратил хозяйке.

Она взглянула на цифру, убедилась, что правильно поняла и замахала руками. Шутку она оценила.

Процесс торговли описан уже много раз, он одинаков в разных странах и во все времена, поэтому нет смысла вдаваться в подробности.

370

60

350

80

345

85

Блокнот переходит из рук в руки всё быстрее. Переговоры становятся всё напряжённее и громче. Мы делаем вид, что нас цена не устраивает, сейчас встанем и уйдём. Стандартная реприза. При этом все присутствующие прекрасно понимают, что уже никто никуда не уйдёт.

295

90

В лавку входит старичок. Вот совершенно такое странное сочетание изображения со старинных китайских рисунков и человека, пережившего Культурную революцию и прочие радости китайской истории двадцатого века - с длинной тощей бородкой, в сандалиях и бесформенно висящих изрядно поношенных брюках. В мгновенно наступившей тишине он прошаркивает к прилавку, покупает пятьдесят граммов чая за 38 юаней и так же не спеша, уходит.

Битва продолжается.

280

110

260

Тут Боря применяет боевую подсечку - 270

Пауза.

Выражение «когнитивный диссонанс» нам ещё не знакомо, но польза от него очевидна. У тёти Сони наблюдается ярко выраженный разрыв шаблона, эквивалентный нокдауну. Она замерла, смотрит на свежую запись в блокноте и молча шевелит губами. Рефери может начинать отсчёт.

Молодчина! Очень быстро пришла в себя. Все трое с удовольствием смеёмся. Цена сразу упала ещё на тридцать пунктов.

Ещё час с небольшим - и мы пришли к соглашению.

Дальше сущие пустяки - два часа уходит на расфасовку чая по сортам и пакетикам - у нас же список от всего оркестра.

Целый день в интенсивных беседах, мы уже как родные.

Распихиваем упаковки по здоровенным сумкам и обнимаемся на прощанье.

Два солиста, увешанные сумками и коробками, ковыляют к отелю по вечернему Сианю.

Прошёл ровно год. Сочельник.

«Что будем делать? Осталось всего два дня, а чая нет», - сказал Боря со спокойствием, из-под которого проглядывала паника.

Я абсолютно безмятежно промолчал. Из-за моей безмятежности тоже выглядывала паника. Потому что оставалось всего два дня, а чая не было.

«Ладно», - после паузы сказал я. «Завтра будем в Сиане, там и решим. Пойдём к тёте Соне».

В Сиане живём в другом месте. Значит, сначала надо найти общагу, в которой жили год назад. Общага - это значит общага. Ну и что, что на ней присобачили неоновую надпись HOTEL? Что я, архитектуру общаг не знаю, их художественный, так сказать, образ?

«Начинается Земля, как известно, от Кремля». Это правило и в Сиане работает. Оттуда и стартовали. Сочетая в правильных пропорциях память и интуицию, нашли бетонную коробку, в которой жили год назад, а уж от неё ноги сами довели до халабуды тёти Сони.

И, о Боже! Тлен и запустение! И без того кривые халабуды покосились ещё больше, а тётисонина конурка и вовсе заколочена досками. Дело не в том, что мы остались без чая - это не проблема. Мы вдруг поняли, что она нам стала почти родной. Как писали в старинных романтических дамских романах «Отчаянье овладело нами!». Мы в горе и недоумении бросаемся к её соседям, которые тут же сидят на земле и курят, и пытаемся узнать о судьбе тёти Сони. Вокруг нас собралось человек двадцать сочувствующих. Они нам объяснили, что тётя Соня жива и здорова, она просто переехала в другое место. Ну, слава богу!

«А где же её можно найти?».

Китайские товарищи из бездельников мгновенно превращаются в небольшую толпу и открывают темпераментную дискуссию на тему «Как найти тётю Соню». Через несколько минут мы получаем на руки подробный план со стрелочками, линиями, кружочками, квадратиками и некоторым количеством иероглифов. На прощание они совершенно одинаковым жестом, знакомым всем по статуям самых разнообразных вождей, указали направление, по которому нам предлагалось начать путь. Надо сказать, что когда эту эпическую позу одновременно принимает два десятка китайцев, выглядит всё довольно комично. Похоже на полку в магазине сувениров. Но нам было не до того. Мы взяли след, отправились искать аналогичную помойку и лично тётю Соню.

Если бы речь шла о собаке, то можно было бы написать так: «Возбуждённо повизгивая, уткнув нос в землю, волоча по ней уши и задрав хвост, спаниель, ни на что не обращая внимания, шёл по следу».

Иногда мы неуверенно замирали. Нет, вот же оно, дерево, указанное на плане.

Или останавливаешься на секунду, показываешь план прохожему, чтобы убедиться, что всё верно. Он кивает и машет рукой в том же направлении, что мы бежим. Тем временем возникает всё больше сомнений в правильности нашего движения, потому что строения, мимо которых мы бежим, становятся всё более солидными, а район фешенебельным. При чём тут наша тётя Соня? Судя по плану, тут где-то уже недалеко, значит, видимо, сейчас всё это великолепие закончится и опять начнётся нормальный «шанхай». Мы в нетерпении переходим на бег…

И тут план заканчивается. Карандашная линия обрывается и в этом месте нарисован крестик.

Мы отрываем, наконец, взгляд от асфальта и бумажки с планом.

Перед нами многоэтажный пятизвёздочный отель - гранитный цоколь, медные перила, вращающаяся дверь, швейцар у входа.

А за стеклом, на первом этаже, прямо перед нами сидит наша тётя Соня и торгует чаем.

Глаза наши встретились…

1. Каденко Владимир «Ксеркс и Леонид»

***Каденко Владимир***

**Ксеркс и Леонид**

1.

В светлый праздник Преображения Господня русские войска вышли из пылающего Смоленска. Всем казалось, что именно этот город, эта озаренная пожарами точка, эта православная твердыня станет тем местом, где бесславное отступление, наконец, окончится. Приказ об оставлении города поверг в отчаяние всех – и солдат, и генералов, и обывателей. Военного министра ругали открыто. Однако всеобщий ропот заглушали конское ржанье, лязг лафетов, звон колоколов, ружейные выстрелы и разрывы упавших бомб. Людской поток наводнил Московскую дорогу.

7 августа у села Лубина, которое раскинулось на правом берегу Днепра, прикрывая отступление только что соединенных армий Барклая и Багратиона, стоял трехтысячный отряд Павла Алексеевича Тучкова. Впрочем, трехтысячным он был только в начале дела. С каждой минутой силы его таяли. Перевес наступающих французов был почти десятикратным, атаки неприятеля не прекращались. Русские каре теснились у наспех приготовленных редутов, но не оставляли позиций. Командир, разъезжая на белой лошадке вдоль редеющего строя пехоты, улыбался, но мало кто обращал внимание на эту улыбку. А Павлу Алексеевичу вспоминались туманные картины древней истории. Вот так же некогда в узком горном ущелье стояли герои-спартанцы. Если верить легенде, их тогда было триста, но поговаривают, что кроме спартанцев там были воины и из других городов. «Триста, три тысячи – не все ли равно, - улыбался Павел Алексеевич. И тут же, не позволяя пропасть хмельной военной веселости, возникла другая мысль. – И какая разница: царь Леонид или генерал-майор Тучков-3-й?»

- Не робей, ребята! Царь и Господь с нами! – выкрикнул он, подъезжая к екатеринославцам. «О каком это я царе вспомнил? О русском или греческом?» - снова подумал Павел Алексеевич. Маршал Ней на несколько минут ослабил давление, очевидно собирая силы для новой отчаянной атаки.

- Мы, ваше превосходительство, славную позицию заняли. – К генералу на сером жеребчике подъехал свитский полковник Гурьев. - Вот эта бородавка над всей дорогой торчит. Чистые Фермопилы! – полковник махнул рукой в сторону возвышенности и сельца, одинаково называемых Валутиной горкой.

«И этот туда же!» - подумал Павел Алексеевич, а вслух произнес:

- Да как же это вы, господин полковник, мои мысли читаете?

2.

Барклай, желая усилить отряд арьергарда, выдвинул к Лубину подкрепление, увеличив силы Тучкова до десяти тысяч.

Между тем день клонился к вечеру. Укрепившись, Павел Алексеевич решился на контратаку. Это должно было на какое-то время остановить порыв неприятеля. В густых сумерках определить численность русских было не так просто. Выйдя из рукопашной схватки, навязанной русскими, французы непременно должны были остановиться и до рассвета восстанавливать силы. А уж к утру обе русские армии наверняка соединятся накрепко и разделить их будет невозможно.

Павел Алексеевич, высоко поднимая сверкающую в отсветах разрывов шпагу, ехал перед сомкнутым строем пехоты, надвигающейся на неприятеля. Ружейные выстрелы прекратились с обеих сторон. До слуха доносились только ругательства, которыми покрывали друг друга противоборствующие отряды. Через несколько мгновений должен был вспыхнуть тот рукопашный бой, исход которого зависел только от крепости рук, храбрости и молитвы. Вдруг Павел Алексеевич почувствовал, что его лошадка как-то странно подалась вперед, захромала и, несмотря на удары шпор, остановилась. Генерал едва успел спешиться. Лошадь заржала и рухнула на пропитанную кровью траву. Павел Алексеевич вставил оружие в ножны, и хоть жалко ему было бедное животное, но на торжественное прощание времени не было. На командира с надеждой глядели тысячи глаз. В руках Тучкова появилось ружье, поднятое кем-то из солдат. «Вперед!» - во все охрипшее горло крикнул Павел Алексеевич и с удалью смертника бросился на врага.

3.

Очевидно, схватка длилась не более пяти минут. Неожиданно Павел Алексеевич заметил, что оторвался от бегущих за своим командиром екатеринославцев довольно далеко. Рядом был только унтер-офицер Леоненко да еще десяток солдат, прижимавшихся друг к другу плечами, и с остервенением отбивавшихся от наседавшего неприятеля штыками и прикладами. «Мне бы сейчас хоть триста спартанцев», - ухмыльнулся Павел Алексеевич. Что-то нужно было придумать. Сумерки сгустились до темноты. Это заставило Тучкова проявить смекалку, свойственную разве что весельчаку, готовящемуся к собственной казни. На чьи тела сыпались удары, понять было мудрено. Павел Алексеевич начал подавать команды по-французски. Очевидно, по этой причине он получил весомый удар прикладом от своего же солдата. «Retirer!» («Отступать!») уверенно скомандовал генерал. Возможно, эта хитрость и увенчалась бы успехом, но в отсветах редкой пальбы, генеральские эполеты Тучкова предательски отливали золотом. Особенно это стало заметным, когда вражеское кольцо разомкнулось, и крохотный русский авангард, пятясь, стал понемногу приближаться к товарищам. «Э! Да это русский командир!» - крикнул кто-то из французов. «Хитрец! Хотел оставить нас в дураках!» «Сейчас мы с ним разделаемся!» Павел Алексеевич отбил штыковой удар, который пытались нанести ему слева. Но уже в следующее мгновение он почувствовал острую боль в правом боку. «Прощай, Леонид!» - Тучков выронил ружье и повалился, ударившись головой об оброненный кем-то кивер. «Где он?!» «Куда он пропал?!» «Кажется, я его убил!» - эхом доносилось до Павла Алексеевича. «Это они обо мне», - подумал он. «Да вот же он! У нас под ногами!» «Сейчас я его прикончу!» «Теперь конец!» - такой была последняя мысль Павла Алексеевича перед тем, как он окончательно впал в беспамятство.

Кто-то из французов рубил русского генерала саблей, пытаясь попасть в голову. Но в темноте удары получались неточными, только ссаживая кожу и раня лицо. «Остановись, Бертран! Он ведь ранен!»

4.

Павел Алексеевич открыл глаза. Сквозь белые занавески окна в комнату, где он лежал на походной кровати, входило летнее солнце. Вчерашний день и ночная схватка понемногу приоткрывались в затуманенной болью памяти. В углу висели образа, теплилась лампадка. Эта, столь обычная для русского дома деталь несказанно обрадовала раненного, перед ним забрезжила робкая надежда. «Неужели обошлось? Меня отбили у французов? Где же я? Чей это дом?» Ни на один из вопросов ответа не находилось. Павел Алексеевич дотронулся до горящей шрамами головы. Раны были тщательно перевязаны, но кое-где сквозь корпию еще сочилась кровь. Дышать было больно. «Ах да, меня вчера ударили штыком». Рядом с кроватью, на табурете стояла глиняная кружка с водой. Павел Алексеевич потянулся к влаге. Но кружка вывалилась из ослабевшей руки, с грохотом упала на деревянные половицы и разбилась. За дверью послышались торопливые шаги, дверь приоткрылась, кто-то заглянул в комнату, и тут же дверь снова затворилась. Генерал попытался сесть. Попытка не удалась, тучное тело тяжело упало на набитый сеном тюфяк. Но все-таки Тучков успел заметить, что его вычищенный мундир был аккуратно повешен на стоящем подле окна стуле. Рядом стояли начищенные сапоги. Оставалось только ждать. «Ну, Леонид, - слабо улыбнулся Павел Алексеевич, - теперь-то от тебя ничего не зависит». Ждать пришлось недолго. Не более чем через минуту створка двери вновь открылась, и в комнату вошел сухощавый господин в штатском, застегнутый на все пуговицы. На вид ему было лет пятьдесят. Он смотрел на раненного генерала скорее приязненно, чем враждебно, а Павел Алексеевич все ждал, когда же с ним заговорят. Штатский развел руками, озарился широкой улыбкой, вздохнул и заговорил… по-французски:

- Я Лоррей, главный лекарь армии императора…

«Значит все-таки плен», - Павел Алексеевич прикрыл глаза. Поглощенный мыслью о своем пленении, он не расслышал вопроса, поставленного ему французом.

- Простите, сударь. Что вы сказали?

- Как вы себя чувствуете, генерал?

Раненный улыбнулся.

- Я чувствую себя, как кусок говядины, насаженной на вертел…

- Вы шутите. Значит, не все так плохо, - Лоррей вздохнул. – Я имел честь осматривать ваши раны, когда вы были в беспамятстве. Думаю, что ваша жизнь вне опасности. Вам повезло, генерал.

- Очевидно, так оно и есть. Если я говорю, значит, еще не умер.

- Браво, генерал! Ваше остроумие не уступает вашей храбрости. – Видно было, что Лоррей не только беседует с русским генералом, но и внимательно следит за его реакциями. – Я оставлю подле вас колокольчик. Если вам что-нибудь понадобиться, звоните. Помните: вас не только охраняют, о вас заботятся.

- Я долго был в беспамятстве? – спросил Павел Алексеевич.

Лоррей, поставил на табурет медный колокольчик, извлек брегет, открыл крышку, пожал плечами и ответил:

- Всего пять часов… Сколько вам лет, генерал? – лекарь снова внимательно посмотрел на пленника.

- Тридцать шесть. – Генерал не понимал, что его ответы на самые, казалось бы, обычные вопросы, становились для Лоррея предметом медицинского исследования… Пока все ответы вполне удовлетворяли французского эскулапа.

- У меня есть чудодейственная мазь, генерал. Это изобретение восходит еще к галльскому периоду моей родины. Уверяю вас, раны вскоре затянутся, и боль утихнет. Прежде, чем откланяться, я сообщу вам одну новость, которая, несомненно, вас порадует. Его императорское величество, узнав о вашей беспримерной храбрости, интересовался вашим здоровьем. А теперь, до свидания. Набирайтесь сил.

Едва Лоррей удалился, Павел Алексеевич попал под опеку нижних чинов.

5.

Лечение продолжалось несколько дней. Галльские мази оказывали свое чудесное действие. Часть повязок была убрана. Уже на третий день боль начала стихать, и Павел Алексеевич мог самостоятельно подниматься с кровати и выходить на прогулку в сопровождении офицера и двух солдат старой гвардии. Поутру 13 августа у постели пленного появился молодой человек во французском полковничьем мундире.

- Доброе утро, генерал. Я адъютант его императорского величества, полковник Флаго. Император спрашивал о том, как вы себя чувствуете. Если здоровье позволяет вам передвигаться, его величество назначит вам день для аудиенции. Что мне передать моему императору, господин Тучков?

Павел Алексеевич удивился. Какое-то мгновение он молчал, пытаясь собраться с мыслями. Но молчание длилось недолго.

- Господин полковник, передайте его величеству, что, хотя я еще очень слаб, однако же силы мои позволяют мне быть к нему представленным, когда его величеству будет угодно. Я готов.

- Очень хорошо. До скорой встречи, господин генерал. – Каблуки щелкнули, Флаго легко поклонился и вышел. Адъютант императора французов не сделал ни единого лишнего движения, не допустил ни единой паузы, не позволил себе ни одного пустого жеста. Все было выверено до мелочей. «Уж не репетировал ли он, прежде, чем войти ко мне?» - с улыбкой подумал Тучков.

Итак, Ксеркс требовал к себе Леонида. То, что еще вчера казалось невозможным, постепенно обретало контуры, становилось реальностью. «Но о чем же он желает со мной говорить? - думал Павел Алексеевич. – Возможно, в плен к нам попал кто-нибудь из французских генералов».

6.

На другой день, около десяти утра, в комнате Тучкова, которую пленник называл про себя «узилищем», появился блестящий Флаго:

- Генерал, его императорское величество желает вас видеть. Не угодно ли вам следовать за мной?

- Можно ли показываться перед императором в таком виде? – Усмехнулся Павел Алексеевич, указывая на перевязанную голову.

- Это ничуть не помешает его величеству говорить с вами, - серьезно, ничуть не заметив иронии, отвечал императорский адъютант. Вы можете идти?

- Конечно, господин полковник…

7.

Смоленск потерял в пожаре большинство деревянных строений. Однако пожары были потушены, и многие каменные дома сохраняли прежнее великолепие. Наполеон занимал дом, в котором прежде жил смоленский военный губернатор. Тучков, как со временем оказалось, содержался под стражей в доме, где жил начальник главного штаба французов маршал Бертье. Идти предстояло недалеко, не более трех минут. Улицы были выметены, перед домом Бонапарта толпилось множество солдат и офицеров разных полков. При входе по обеим сторонам находилась конная стража. Это были польские уланы. Император французов весьма доверял полякам.

Павел Алексеевич, сопровождаемый Флаго, чувствуя на себе то гневные, то удивленные, то насмешливые взоры, вошел в распахнувшиеся двери временного наполеоновского гнезда. Лестница и передние комнаты были наполнены генералами и чиновниками военного ведомства. Пройдя мимо них, Тучков и Флаго оказались в комнате, где уже не было никого, кроме ливрейного лакея. Флаго тихо проговрил:

- Далее вы пройдете уже без меня. Еще хочу вам сказать, что при обращении к его императорскому величеству, говорите «сир».

- Хорошо, господин полковник, - сказал Павел Алексеевич и направился к двери, ведущую в кабинет императора. Лакей бесшумно отворил створку. «Ну, вот и Ксеркс», - пробормотал пленник.

У окна комнаты на большом столе лежала развернутая карта России. Павел Алексеевич заметил, что вся она была покрыта воткнутыми в нее булавочками – движения российских войск обозначали булавочки с зелеными головками, французские войска отмечены были синим и другими цветами, что, очевидно, соответствовало движению разных корпусов армии Наполеона.

В углу, у окна, стоял маршал Бертье, «Ксеркс» в генеральском мундире старой гвардии, заложив руки за спину, расхаживал по кабинету. Увидев вошедшего пленника, Наполеон улыбнулся. Павел Алексеевич поклонился, на что император в свою очередь отвечал весьма учтивым поклоном. Он внимательно посмотрел на пленного, как бы оценивая его состояние.

- Какого вы были корпуса, генерал? - спросил Наполеон. Тучков отметил про себя, что Ксеркс несколько простужен. Кроме того французский вождь говорил по-французски, не грассируя. Такое произношение свойственно итальянцам.

- Второго, ваше величество, - ответил Павел Алексеевич, забыв о том, что Флаго советовал говорить «сир». Впрочем, император ничего предосудительного в обычном обращении к нему не заметил.

- Да, да… Это ведь корпус генерала Багговута.

- Да, ваше величество.

- А не приходится ли вам родственником генерал Тучков, который командует первым корпусом?

- Это мой родной брат, Николай.

- Отлично, генерал. Я не стану вас расспрашивать о числе вашей армии, - Наполеон улыбнулся. – Мне все известно. Она состоит из восьми корпусов, каждый корпус из двух дивизий, каждая дивизия из шести пехотных полков, каждый полк – из двух батальонов. Если угодно, я могу назвать даже число людей в каждой вашей роте, дорогой генерал. – Павел Алексеевич усмехнулся и с поклоном отвечал:

- Вижу, что вы, ваше величество, очень хорошо обо всем осведомлены. Мне просто нечего добавить.

- Конечно же! С того самого дня, как вы начали отступление от границы, мы берем у вас пленных. Пожалуй, нет ни одного полка, откуда бы у нас не было пленника. Их расспрашивают о числе полков и рот, в которых они служили; их ответы записывают, сравнивают, и таким образом составляются сведения, о которых я вам теперь сказал, - Наполеон замолчал. Затем, после паузы, продолжал:

- Но вам повезло («Mais vous avez dе la chance». При этом слово «шанс» он произнес как «санс», что явно выдавало в нем корсиканца). Для вас война окончилась. И этой войны хотел не я, а вы, господа. У вас поговаривают, что я ее затеял. Нет, это неправда! Что вы обещали мне после мира, подписанного в Тильзите? Сколько раз я подавал вашему правительству ноты? А у вас даже посланника моего к государю не допустили. Вы привели в Польшу одну дивизию из Финляндии, и две дивизии из Молдавии. Так против кого же были эти приготовления, если не против меня? И что же? Я должен был ждать, чтобы вы перешли Вислу и дошли до Одера? Я должен был вас опередить. Но даже тогда, когда я приехал к армии, я хотел объясниться, не начиная войны. А мне что ответили? Что со мной и говорить не будут, пока я не уведу свои войска за Рейн, будто вы меня уже победили. По какому же праву вы требовали от меня невозможного? – Император говорил, чеканя слова. Он, начав разговор спокойно, сам себя приводил в состояние близкое к истерике.

Павел Алексеевич не отвечал ни слова. Молчал, покачивая головой, и принц Невшательский, как уже называли об эту пору маршала Бертье, к которому Наполеон несколько раз обращался, как бы в поисках беспрекословной поддержки.

- Как вы думаете, генерал, остановятся ли, наконец, ваши войска для генерального сражения? – Вновь заговорил Наполеон. – А, может быть, эта ретирада будет продолжаться бесконечно? – император, казалось, сумел взять себя в руки.

- Мне неизвестны намерения главнокомандующего, ваше величество, - скромно отвечал Павел Алексеевич.

- Ваш главнокомандующий – просто трус. Эта его немецкая тактика ни к чему хорошему вас не приведет. Россияне всегда отличались храбростью. И как же вы дали себя увлечь этому Барклаю? Зачем он оставил Смоленск? Это он довел такой прекрасный город до столь плачевного положения. А между тем он мог бы защищать его еще очень долго. А если ему хотелось его оставить, то зачем было драться в самом городе? Только лишь для того, чтобы разорить? У меня за такие упущения расстреливают. Для меня Смоленск лучше всей Польши. Он всегда был русским. И он им останется. – «Ксеркс» снова начинал впадать в ярость. Затем он вздохнул и, помолчав немного, заговорил спокойнее:

- Я люблю вашего императора. Он мой друг, несмотря на войну. Ах, эта война ничего не значит. И родные браться порой воюют, отстаивая государственную выгоду. Александр был моим другом, и он будет им впредь. Но я не могу его понять. Почему у него такое странное пристрастие к иностранцам. Неужели среди бесстрашных русских он не мог выбрать людей достойных?

Павел Алексеевич развел руками, вернее, лишь обозначил этот жест:

- Ваше величество, я – подданный моего государя и судить о его поступках, а тем более осуждать его поведение никогда не осмеливаюсь. Я солдат. И кроме слепого повиновения власти, ничего другого не знаю.

Павел Алексеевич ожидал взрыва. Но лицо «Ксеркса» посветлело. Он ласково дотронулся до плеча пленного:

- Вы совершенно правы. Я далек от того, чтобы порицать ваш образ мыслей. Но я просто высказал свое мнение, да и то, только потому, что мы говорим с вами с глазу на глаз, и содержание нашего разговора останется между нами. Скажите, генерал, император Александр знает вас лично?

- Надеюсь, что он меня помнит. Когда-то я имел счастье служить в его гвардии.

Наполеон несколько мгновений обдумывал следующий вопрос, затем тихим голосом, даже с каким-то вкрадчивым оттенком спросил:

- Можете ли вы писать к нему?

Павел Алексеевич отвечал без раздумий:

- О нет, ваше величество. Я никогда не осмелюсь утруждать его своими письмами. Особенно в нынешнем моем положении.

- Хорошо, - видно было, что император французов, был готов к подобному ответу. – Но если вы не можете писать к императору, то уж брату своему, Николаю, вы сможете написать то, о чем я вам сейчас скажу. Не так ли?

- Конечно. Брату я могу написать все, - Леонид недоумевал, а Ксеркс, между тем, продолжал тем же тихим голосом:

- Так вот. Вы сделаете мне удовольствие, если напишете брату, что виделись со мной, и что я препоручил вам, чтобы ваш брат сам, или через великого князя, или через главнокомандующего, уж это как ему лучше покажется, доведет до сведения императора Александра, что я ничего так не желаю, как прекратить эту войну и заключить мир. Мы уже довольно пороху сожгли, и довольно нами пролито крови. В конце концов, это надо кончить. За что мы деремся? Против России я ничего е имею. Если бы это были англичане, тогда было бы другое дело, - при этих словах Наполеон сжал кулак и поднял его вверх… - Русские мне ничего не сделали. Вы хотите иметь кофе, сахар… Прекрасно! Это все можно легко устроить. Кроме того, меня невозможно разбить, а если кто-то думает иначе, то уж пусть составят военный совет из уважаемых генералов – Багратиона, Дохтурова, Остермана, вашего брата и прочих (о Барклае я даже говорить не хочу, он не стоит того, чтобы о нем говорили). И пусть эти блистательные военачальники рассмотрят положение и сосчитают силы мои и ваши, и если они решат, что на вашей стороне шансов к победе больше, то пускай назначат, где и когда им угодно драться. Я готов на все. А если нет. Тогда зачем же нам драться и проливать реки крови? Не лучше ли договариваться о мире, прежде кровопролития? Иначе я займу Москву. Какие бы меры я не предпринимал, чтобы уберечь ее от разорения, все равно их будет недостаточно. Ибо столица, занятая неприятелем, подобна девушке, потерявшей честь. С ней можно творить все, что угодно. Некоторые у вас говорят, что Москва еще не вся Россия. То же самое говорили австрийцы. Но когда я занял Вену, они заговорили совсем по-другому. С вами случится то же. Петербург – это лишь место пребывания государя. А Москва… О! Москва – настоящая столица, в ней душа России.

Павел Алексеевич слушал, потупив глаза, в то время, как Наполеон ходил взад вперед по комнате и, не переставая, выставлял свои доводы в пользу мира.

- Скажите, генерал, вы родом лифляндец?

Снова неожиданный поворот.

- Нет, ваше величество. Я настоящий россиянин.

- И из какой же вы провинции?

- Из окрестностей Москвы, ваше величество, - тихо отвечал Тучков. – Долгая беседа утомляла его. Раны давали о себе знать. Но Ксеркс не обращал внимания на страдания Леонида.

- Ах, так вы из Москвы! Правда ли, что вы, московские жители, хотите вести со мною войну?

- Я не думаю, чтобы московские жители, хотели с вами воевать. В особенности на своей земле. Но если москвичи делают большие пожертвования для войска, то только для того, чтобы защитить отечество и угодить воле своего государя.

- А меня уверяли, что воевать со мною хотят именно московские жители… - и снова Наполеон заговорил тихо:

- Как вы думаете, дорогой генерал, если бы ваш государь Александр захотел заключить со мною мир, сможет ли он это сделать сам?

- Ему никто не может в этом воспрепятствовать, ваше величество.

- А Сенат, например?

- Ваше величество, наш Сенат никакой другой власти не имеет, как только ту, которую государю угодно ему предоставить.

- Очень хорошо. Напишите о нашем разговоре брату и передайте ему мое непременное желание добиться мира с Россией и вашим императором, моим большим другом. Кстати, ваш главнокомандующий весьма дурно поступает, когда во время ретирады забирает с собою все земские власти и начальников губерний и уездов. Этим он наносит вред не столько мне, сколько собственной вашей земле. У вас все поля покрыты хлебом, а у меня подвижной магазин продовольствия, состоящий из десяти тысяч повозок…

Павлу Алексеевичу было доподлинно известно, что с самого перехода российской границы главной заботой французов была забота о продовольствии. Сжигая магазины, выводя из строя мельницы, угоняя скот и лошадей, русские значительно сокращали те средства, которые могла бы дать противоборствующая Наполеону страна. Кроме того, Тучков знал, что переправы и гати также уничтожались, что очень затрудняло передвижение артиллерии и тяжелых обозов. Так что десять тысяч повозок, груженных провиантом, застряли где-то между Вильно и Минском.

Раненный улыбался, несмотря на разливавшиеся по телу боль и усталость.

Император французов, очевидно, тоже догадывался о том, что знал русский генерал. И оттого Ксеркс всё более горячился. Но он продолжал вести свою игру, предчувствуя, что от ее успеха будет зависеть исход всей кампании…

Павел Алексеевич знал, что получая от своих маршалов неутешительные донесения, относящиеся к медлительности и опасности продвижения по необъятным враждебным просторам, Наполеон распоряжался давать отдых одним корпусам, тем самым облегчая условия движения другим. Гвардия была остановлена в Вильно, и сам император оставался в ней в течение восемнадцати дней.

Именно эти обстоятельства требовали скорейшего мира, о коем в России и не помышляли.

Наполеон говорил еще что-то, но Тучков его почти не слышал. Павел Алексеевич едва стоял на ногах. Наполеон подошел к пленному и, поддерживая его за локоть, проговорил:

- Понимаю. Вы еще слабы. Вы попали в плен так, как попадают только те, кто идет впереди. Приходилось ли вам бывать во Франции, генерал?

- Нет, ваше величество.

- Это легко поправить. Прощайте, генерал. Вам принесут бумаги и чернил для письма.

Прощаясь, Ксеркс обнял Леонида. Пленник вышел из кабинета.

8.

За дверью Павла Алексеевича ждал Флаго:

- Сядьте, господин генерал. Вам необходимо отдохнуть. – Услужливый адъютант Наполеона пододвинул Павлу Алексеевичу кресло. И тут же из кабинета вышел Бертье:

- Господин генерал, император приказал вернуть вам шпагу. Кроме того, я слышал, что вы желали бы ехать в Кенигсберг. Никто не будет вам в этом препятствовать. Далее, если угодно, можете следовать до Берлина, и далее, и далее, до самой Франции, где вы еще не бывали. Помните, вы – почетный пленник императора.

В тот же день письмо было составлено и отправлено командиру первого корпуса Тучкову 1-му. Сие послание было передано императору Александру, однако никакого ответа Ксеркс так и не дождался. Война продолжалась, смешивая на полях сражений разноплеменную кровь.

9.

Павел Алексеевич печально пересекал Европу, приближаясь к Парижу.

1. Казаков Валерий «Уроки жизни».

***Казаков Валерий***

**УРОКИ ЖИЗНИ**

***Сага о сельском учителе***

**Поросенок**

Уж чего-чего, а поросят держать они не собирались. Хотели выглядеть интеллигентными и свободными, как птицы. Ели вареную картошку с рыбными консервами, макароны, жареные на подсолнечном масле, овсяную кашу с изюмом. Иногда им удавалось купить дешевого мяса где-нибудь в Хрущевке или Сталинском.

Анастасия Павловна научилась готовить пирожки с грибами, какие-то сдобные пышки и кренделя. Подозрительно скоро пополнела в талии, стала много спать и так же много есть сладкого. А Николай Алексеевич, её молодой муж, всё чаще и все увереннее стал говорить о пользе капустных салатов, о свежих фруктах и овощах. Он уверял, что обожает постную пищу, но в его представлении она почему-то ассоциировалась с наличием разных экзотических продуктов, что было не совсем уместно в вятской глуши. Потом он как бы очень кстати вспомнил о «хренотере» с томатами, о печёных яблоках и пареной репе. Анастасия Павловна слушала его и молчала. Ему показалось, что она не до конца понимает то, о чем идет речь, поэтому он повторил:

- В наших условиях «хренотер» может заменить всё. Полезнее его ничего на свете нет. А, самое главное, есть его можно с чем угодно. С хлебом, с картошкой, с макаронами. Он возбуждает аппетит, и вообще…

- Я понимаю.

- Вполне возможно, у нас будет много гостей. Я…я натру бог знает сколько «хренотера», ты же знаешь, какой я усердный, если нужно…и буду угощать им наших новых знакомых. У нас будет много друзей. Я познакомлюсь со всеми интеллигентными людьми в округе и постараюсь стать для них душой общества. Ведь есть же здесь какое-нибудь культурное общество. Как ты полагаешь? Прозябать без дела я не собираюсь. Культурные люди начнут бывать у нас, мы - у них. Мы будем беседовать о музыке и литературе, о живописи и философии…Только надо запасти побольше «хренотера». «Хренотер»…

- Ну, о чем ты говоришь, Коля! - вдруг остановила его Анастасия Павловна.

- А что?

- Неужели ты собираешься принимать гостей без мясных блюд? Это же неприлично. И вообще: ананасы, «хренотер», интеллигентные друзья. Вздор всё это. Фантазии… А для того чтобы иметь много мяса, надо просто держать поросенка, как мои родители. Вот и всё.

- Может быть. Может быть, в чём-то ты и права, но я больше не собираюсь отмечать все праздники только с твоими весьма невоспитанными братьями.

- А чем они плохи? – удивилась Настя.

- Ты знаешь сама…

- Чем же?

- Когда они приходят к нам в гости, я перестаю чувствовать себя хозяином этого дома… Я тебе не говорил, но буквально вчера твой старший брат Федор бесцеремонно подошел ко мне в магазине, дернул за рукав и попросил добавить тридцать рублей на пиво. Там была огромная очередь, и все люди это видели. Я, конечно, дал ему тридцать рублей, но что после этого обо мне подумали люди. Они могли подумать, что я и этот лохматый, грязный человек чем-то связаны. Что мы с ним друзья… Он сильнее меня и этим пользуется. Но в таких вещах со мной шутки плохи. Я боксом когда-то занимался. Да! И если я рассержусь. Если я рассержусь! Почему ты улыбаешься? Это вовсе не смешно. Помнишь, я показывал тебе синяк на правой руке. Это я, шутя, ломал кирпичи ребром ладони… И вообще, если мне надеть фуфайку на два размера больше - у меня тоже будут широкие плечи. Но это ещё не дает мне права быть грубым. Грубым и бесцеремонным… Я тоже могу много выпить, однако же не пью лишнего.

- А причем здесь фуфайка, Коля?

- Я говорю не о фуфайке. Я говорю о человеческом достоинстве. Как ты не понимаешь! Я говорю о высоком чувстве долга, о нравственности. Даже живя в этой глуши, мы не должны терять лицо и стараться, по возможности, ставить перед собой высокие цели…

Анастасия Павловна с грустью смотрела на мужа и думала, что, должно быть, уже в первом классе он был очень занудным...

Закончив говорить, он начинал готовиться к урокам, что-то сосредоточенно писал в толстой тетради, а ей от тоскливого безделья хотелось поскорее одеться, выскочить на улицу и бежать-бежать куда-нибудь вдоль высокого забора. Потом остановиться на берегу ночной реки, в прошлогоднем репейнике, и выплакаться навзрыд обо всем на свете. После пролитых слез у неё светлее становится на душе. В детстве ранней весной у Насти уже случались приступы меланхолии, но тогда они быстро заканчивались, а сейчас иногда продолжались подолгу и казались совершенно беспричинными.

Плохое настроение покидало Анастасию Павловну, когда они с мужем отправлялись в кино или просто гуляли под луной, взявшись за руки. Он рассказывал ей о школе, похожей на курятник, о том, что у них сейчас новый завхоз, с которым очень трудно найти общий язык. А впрочем, это сейчас не так важно, потому что дрова на будущий год они уже привезли, осталось только расколоть их и сложить в клетки. Анастасия Павловна говорила о том, что в бухгалтерии сейчас тоже стало трудно работать. В детском доме на кухне не хватает посудомоек и разнорабочих, их заменяют медсестры и бухгалтера. Из её речи выходило так, будто всё в детдоме скоро будут делать медики и экономисты: колоть дрова и ездить на лошади за хлебом, и кормить свиней, и чистить за ними навоз.

В местном клубе почти всегда было холодно и сильно накурено. Над сценой, под самым потолком, висел неширокий, но очень длинный плакат, изображающий крупнолицего землепашца, трактор и волнистое желтое поле, уходящее за горизонт. В ожидании кинофильма немногочисленные зрители лузгали семечки и плевали на пол. Из тёмного угла за портьерой пахло мочой. А под ногами даже во время сеанса бродило какое-то мохнатое животное и угрожающе рычало.

В общем, к концу кинофильма молодые супруги так застывали, что до самого дома неслись вприпрыжку и радостно повизгивали от предвкушения ожидающего их домашнего тепла.

Отогревались на кухне за чаем. От холодного осеннего ветра у них горели щеки и неподдельным весельем светились глаза. Хотелось подольше удержать эти счастливые минуты. Николай Алексеевич обнимал жену, наклонялся к её уху и начинал говорить ей красивые слова, примерно такие же, какими выражаются главные герои в фильмах о любви. Она слушала его и улыбалась. Он дотрагивался рукой до её щеки и почему-то сразу вспоминал новогодний праздник из далекого детства. Детство сейчас представлялось розовым и румяным, как спелая антоновка. И чем дальше оно уходило, тем всё отчетливее была по нему ностальгия.

- Анастасия, как ты думаешь, в жизни есть какой-нибудь смысл? - вдруг спрашивал он.

- Никакого, - с улыбкой отвечала она.

- А, по-моему, это слишком категоричное заявление.

- Нет. Иначе писатель Чехов ничего бы не написал. Ну, сам посуди, какой смысл в его «Чайке», в «Трех сестрах?» Если в чем-то есть настоящий смысл, то его можно выразить тремя словами. А из пустого в порожнее можно переливать без конца..

- Надеюсь, ты этим ни на что не намекаешь?

- Нет.

Но весной молодым супругам всё же пришлось купить поросенка. Тесть настоял. Стал доказывать, что от этого всё равно никуда не уйти, так принято в селе, так испокон веку заведено. Благо, хоть поросёнок попался хороший. Гладкий такой, розоватый, ушастый, чем-то похожий на игрушечного слона. Он бегал из комнаты в комнату, мило хрюкал и шумно перескакивал через порог.

- Вот ты какой, хрюндя! – приговаривала иногда Анастасия Павловна, поглаживая его по белой спинке. Поросенок при этом недоверчиво мотал головой и убегал из-под ласк за печку. Анастасия Павловна умиленно провожала его взглядом и спрашивала у Николая Алексеевича, нето шутя, нето серьёзно:

- Коленька, неужели мы его зарежем когда-нибудь? Он такой милый.

Николай Алексеевич делал удивленное лицо и отвечал:

- Нет, конечно. Мы будем кормить его до старости, пока сам не умрет.

- Ну, Коленька!

- И можешь передать своему папочке большое спасибо за подарок. Я не знаю, какова судьба этого зверя в дальнейшем, но в настоящее время мы вынуждены покупать для него молоко… А потом, вероятно, надо будет таскать откуда-то помои и собирать в лесу желуди… Не представляю, как мы докормим его до зрелого возраста… Да ещё, в добавок ко всему, надо будет набраться смелости, чтобы лишить его жизни.

- Для него нужно срубить хлев.

- Для одного поросенка целый хлев? - удивился Николай.

- Но не держать же его на улице.

- Настя, я не плотник, но с завхозом я поговорю… Если, конечно, мы не найдём иных решений.

- А какие ещё могут быть решения?

- Ну, может, отгородить ему небольшую вольеру в лесу. Лес у нас рядом. И пусть живет себе в родной стихии.

- Но поросенок - это не кабан. Он вовсе не настоящий зверь… И вообще, папа говорил, что на первое время ему надо купить какой-нибудь крупы.

- Ну, что ты говоришь, Настенька!

- Что?

- Ну, разве ты не понимаешь, как всё это мелко и…глупо. Что это настоящая трясина. Сначала поросенок, потом - курицы, а потом и корова… Мы даже опомниться не успеем, как нас затянет в натуральное хозяйство. И потом, это же настоящая кабала…

- А мне надоела капуста!

- Ну, это ещё не самое скверное…и…

- И разговоры об ананасах.

Потом всё лето только и было забот, что о хлебе да молоке для подрастающего поросенка. Поросенок быстро рос, с неизменным аппетитом ел всё, что ему приносили, в том числе и квашеную капусту, и картошку, и «хренотер». Он съел мешок овсяной крупы, съел всю морковь, которую великодушный тесть привез из своего огорода. Съел всю траву вокруг дома и вырыл в огороде огромную яму, куда в ненастные дни стекала дождевая вода, и где не в меру растолстевший поросенок стал принимать целебные ванны.

Для него два местных прощелыги, почему-то пользующиеся репутацией хороших плотников, срубили маленький хлев, в котором поросенок размещался на ночлег и откуда «рёхал» на случайных прохожих так громко и сердито, что они испуганно вздрагивали и старались поскорее миновать дом учителя… В общем, Николаю Алексеевичу порой казалось, что они с Анастасией Павловной живут сейчас только для того, чтобы досыта кормить этого проклятого поросенка, который ничем не собирается рассчитываться с ними за труды.

Да тут ещё тесть подлил масла в огонь. Николай Алексеевич, как обычно при встречах, завел разговор о низких нравах провинции, о бездуховности и традиционном российском пьянстве. Зашел весьма далеко, стал цитировать Достоевского и Салтыкова - Щедрина, потом перешел на Чаадаева. Только тесть на этот раз долго слушать зятя не стал, сказал, что они с Настей сами ничуть не лучше. Без коровы в деревне живут, можно сказать, никакого хозяйства не имеют. В кои-то веки одного поросенка завели, зато рассусоливать мастера.

После этого разговора Николай Алексеевич дня два расстроенный ходил, тяжело вздыхал и досадливо морщился. А при случае пасмурно жаловался коллегам, что жизнь в селе устроена ужасно, даже можно сказать, отвратительно.

- Ну, посудите сами, - запальчиво объяснял он, - ведь это каннибализм какой-то. В селе, чтобы хорошо питаться, надо кого-нибудь выкормить, потом зарезать его обыкновенным ножом и съесть… И никто, никто не задает себе вопрос: а имею ли я на это право? Ведь кому-то приходится расплачиваться за подобные убеждения своей жизнью. А вы представляете себе, что будет, если все захотят питаться исключительно мясом, как настоящие хищники. По земле потекут реки крови. Каждый будет ходить с ножом или саблей за поясом. И это будет в порядке вещей… Нет, я этого не понимаю… И вообще, чем свиньи перед нами провинились? Почему мы решили, что этих милых животных лучше всего употреблять в пищу? Вот мне, например, они нравятся, но вовсе не как мясо, а как живые существа. Они удивительно сообразительные, умные и непосредственные животные. Да вы посмотрите им в глаза. У них и глаза синие, как у людей. Единственное, чего им не хватает - так это воспитания.

Коллеги одобрительно кивали головами, снисходительно улыбались, переглядывались, но уверяли, что рассуждения Николая Алексеевича в чём-то нелепы и нет в них, к сожалению, никакой тонкой материи. Действительно, все хотят жить и дышать, но по каким-то неписаным правилам сильный всегда съедает слабого. Так заведено.

- Нет, это не закон жизни, - запальчиво возражал Николай Алексеевич, - это ничем не ограниченный эгоизм, потому что человек вполне способен обходиться постной пищей. Капустой и хренотером. Жирная пища - это всего лишь дань традиции. Своего рода убежденность и больше ничего. Толстой же, к примеру, мясного не ел, и этот ещё…, как его…- И не мог больше вспомнить никого, кто ещё не ел.

Закончилось лето, приблизились первые холода. Потом дождливые дни ветреной осени сменились стойкими морозами и местные жители приступили к нещадной резке свиней. По выходным дням то там, то сям над тихими улочками Пентюхино вдруг раздавался жуткий предсмертный визг бедного животного, который тут же подхватывался жалостливым воем многочисленных местных собак. Потом крики стихали, и слышен был только гул паяльных ламп, да наплывал откуда-то резкий запах паленой щетины.

Только хрячок Николая Алексеевича жил как прежде. Он всё так же много ел, смачно чавкая над деревянным корытом, так же крепко спал в хлеве, а днем разгуливал по пустынному огороду.

Но однажды в субботу, как бы ни с того ни с сего, во двор учительского дома зашли два человека. Трифон Силантьевич Бздюлев и Андрей Кузьмич Голенищин. У одного в руке была паяльная лампа, у другого из голенища сапога торчал огромный нож из самокала. Они пояснили, что Павел Семенович, отец Анастасии, с ними уже договорился, так что сейчас от хозяев почти ничего не требуется, только небольшая бутылочка за работу. Всё остальное они сами сделают. Тут им помощники не нужны.

Николай Алексеевич со страху как-то не понял сразу, кто такой Павел Семенович. Потом сообразил, что это его тесть и побежал на кухню к жене. Взволнованным голосом сказал ей, чтобы всем остальным она сама руководила. Он не может. Он в этом беспределе не участвует. Это выше его сил.

Анастасия Павловна, по правде сказать, тоже немного испугалась, но бутылку всё-таки нашла и с мужиками о чем-то договорилась…

В это время Николай Алексеевич заперся у себя в спальной комнате, лег на кровать и закрыл голову подушками. Всё ждал, что ужасный предсмертный крик бедного поросенка прорвется сквозь все преграды. Но, к счастью, ничего не услышал. И от этого немного успокоился. Пересел на кресло возле окна выходящего в сад и просидел так часа полтора.

После резки, мужики на кухне поджарили свежую свиную печень, выпили бутылку водки, о чем-то живо побеседовали с Анастасией Павловной и ушли, наследив на свежем снегу кровавыми подошвами кирзовых сапог.

Несколько дней после этого злополучного события Николай Алексеевич был сам не свой. Расстраивался и переживал, изводил себя жалостью. Анастасия Павловна заметила, как несколько раз он громко охнул, глядя на алый снег во дворе. Потом Николай Алексеевич из принципа не ел свиное мясо три недели. Но к новому году всё же не выдержал – расслабился, помог жене накрутить через мясорубку мяса и настряпать пельменей.

Когда пельмени уже были готовы, он, глядя куда-то в сторону, несмело осведомился, не мучился ли перед смертью бедный поросенок? Что об этом говорили мужики? И Анастасия Павловна, стараясь быть серьёзной, ответила, что Трифон Силантьевич, вообще-то, большой мастер забойных дел, у него рука легкая. От такой руки скотина разом погибает…

А пельмени из свежего мяса получились очень даже вкусные, и когда Николай Алексеевич их ел, он никак не мог решить для себя, что для него сейчас важнее - сытость или нравственность? Когда же хорошенько наелся, то понял, что с полным желудком о нравственности рассуждать как-то заметно легче.

**ЛЕТО**

Ах, господи, до чего же Николай Алексеевич любил лето! Целый год для него был, как длинная неделя, только лето - воскресенье. Летом он вставал необычно рано, необычно поздно ложился спать и даже во сне представлял себя счастливым. В этих счастливых снах его любили юные женщины, а он легко и умело соблазнял их, дарил им обязательные цветы и случайные поцелуи. В счастливых снах он был томительно молод, почти что юн и его переполняла романтическая энергия любви. То было время исполнения желаний, тихой задумчивости и умиления - восторженное время.

Но приходило долгожданное лето - и на Николая Алексеевича наваливалась тяжелая ручная работа. Он целыми днями мастерил парники, перекапывал гряды, ремонтировал заборы, что-то красил, строгал, прибивал и все еще продолжал мечтать: вот пройдет эта трудная неделя, и наступит другая - легкая. Он расслабится и позагорает на солнце, поплавает с дочерьми на реке. Освежится, развеется, отдохнет...

Но проходила трудная неделя, за ней наступала другая - такая же трудная, а неотложных дел почему-то всё не убывало. Впечатление было такое, как будто с каждым днем этих дел становилось всё больше.

К тому же в начале июня приезжал из Рябиново тесть и совершенно некстати привозил с собой противного розоватого поросенка величиной с ладонь. Благословясь, отпускал его в кухне на пол и говорил:

- Вот вам, милые мои, свое мясо на зиму. Как говорится, не потопаешь – не полопаешь.

Николай Алексеевич с недоумением и досадой смотрел то на тестя, то на поросенка и не мог для себя решить, кто вызывает в нем большее раздражение. Тесть или поросенок?

А еще через несколько дней, на базаре в Красновятске, жена Николая Алексеевича покупала два десятка цыплят- бройлеров, которые требовали корма через три часа. Потом наступала пора полоть и окучивать картофель, поливать гряды, и Николай Алексеевич начинал чувствовать себя дворовым работником и свинопасом, а вовсе не сельским учителем с высшим образованием. Он заметно худел, его лицо и шея покрывались коричневым загаром. С утра до вечера он ходил в каком-то застиранном пятнистом костюме, не брился дня по три, и его лицо постепенно приобретало выражение усталого равнодушия. Даже сельские жители как-то легко переставали узнавать в нем учителя и, не стесняясь, приглашали его на сенокос. Сначала Николай Алексеевич не отказывал им из уважения, а потом привык, и ему стало казаться, что через всё это ему тоже надо пройти. Надо испытать на своей шкуре тяготы сельской жизни.

На сенокосе он жутко уставал, потом жутко напивался с хозяевами желтой и пахучей медовухи, а после - громко пел длинные народные песни, сидя на пустынном берегу реки и ощущая в душе странную тягу к раздольности.

В середине июля появлялись в саду первые ягоды, в лесу - первые грибы. Николай Алексеевич мечтал вырваться в лес хотя бы на день, но ему все как-то не удавалось это сделать, все что-то мешало. То на веранде вдруг протекала крыша и надо было срочно перекрывать ее рубероидом, то у противного поросенка открывался понос, то одна из дочерей начинала покашливать. То приезжал в гости какой-нибудь дальний, но требующий большого внимания родственник - любитель длинно и умно порассуждать на политические темы. Николай Алексеевич ухаживал за садом и огородом, воспитывал дочерей, кормил цыплят и поросенка, ублажал, чем мог дальних родственников и все ждал, когда же пройдет это время забот, время тягот и наступит другое – счастливое время, где найдется место восторгу перед всем этим пышным, зеленым и цветущим миром, который называется ЛЕТОМ. Ах, господи, когда же?!

В конце июля они с женой собирали с кустов ягоды черной смородины, солили огурцы, пробовали первые красные помидоры. Потом в пустующую половину брускового дома напротив приехал сосед - новый учитель истории, холостяк и социал-демократ Григорий Петрович Зорин.

Новоявленный социал-демократ, воспитанный явно в народовольческом духе, без приглашения стал приходить на ужин к хлебосольным соседям да при этом ещё делал вид, что оказывает им некую услугу. Честно говоря, он оказался человеком навязчивым и немного странным, но колорадских жуков с раннего картофеля обирать помогал, хотя и надоедал при этом умными разговорами о глобальных экономических процессах.

Потом Николай Алексеевич рубил в дубовом корыте молодую крапиву для поросенка и кур, а Григорий Зорин в это время говорил о большом значении рыночных реформ для новой России. И Николаю Алексеевичу начинало казаться, что есть некая тайная связь между всеми поросятами мира и одним большим русским корытом, из которого еще долго можно хлебать...

В августе случались уже холодные затяжные дожди, но настроение у Николая Алексеевича все еще было боевое. Он всё ещё мечтал: вот станет поменьше работы в саду и огороде, в хлеве и курятнике и он, наконец, разогнет спину, расслабится, отдохнет за все лето. Ведь в августе-то еще так хорошо, так свежо на улице после короткого теплого дождичка. Ах, господи!

И почему это у него так нелепо, так неудачно складывается жизнь в последнее время? Случайность это или общая тенденция? А, может быть, у всех сейчас так?

Вот и первые гнилые помидоры уже появились, и первые перезрелые огурцы. Что-то, кажется, измениться должно. Николай Алексеевич буквально дышит этим изменением, ощущает его, как спина ощущает горячие солнечные лучи, когда он работает в огороде. А, может быть, это тоже от усталости? От скрытой надежды на счастье.

После Ильина дня они с женой стали свежую картошку выкапывать, сделали первый капустный салат с редиской и морковью.

Однажды вечером к ним зашел Григорий Зорин вместе с Надеждой Ивановной, дочкой Маши-поварихи. Выпили чаю, поговорили о повышении цен на вино и табак, о сокращении школ в их районе. Но ощущения важности обсуждаемой темны почему-то не возникло. От усталости Николаю Алексеевичу очень хотелось спать...

Потом приходила одна Надежда Ивановна, скованно сидела в углу под фикусом и плакала, не закрывая лица руками. Слезы текли по широкому крестьянскому лицу и капали на большие жилистые руки. А Надежда Ивановна объясняла, что навязчивый социал-демократ ее бросил, и она не знает, как ей сейчас быть, потому что их духовная близость случайно переросла в половую и Надежда Ивановна забеременела...

Анастасия Павловна, жена Николая Алексеевича, тоже расплакалась и стала уверять Наденьку, что все мужики одинаковые, все стервецы и хотят от женщин только одного. Наденька смотрела на неё полными слез глазами, понимающе кивала, а потом, скрывая стеснение, призналась, что Григорий в последний раз даже не вышел к ней из дому, а показал через окно что-то напоминающее фигу, и сейчас она не знает, как это расценить. Как породистое хамство или как случайную комбинацию пальцев без особого умысла…

В сентябре затяжные дожди стали нередки. В холодные низины по вечерам стал заползать туман. В палисадниках георгины расцвели, но ласковое солнце все еще проливалось на землю золотистым потопом, тенетник серебрился. Пахло горелой ботвой, и облака, если лечь на спину, казались такими пронзительно белыми, такими высокими, что комок подходил к горлу. Лето прошло. Прошло лето!

Ах, господи!

**ПРИЗНАНИЕ**

Николай Алексеевич был женат. Его жена была высока, румяна и привлекала той сельской непорочной красотой, которую отличают высокая грудь, широкий таз и те пропорции тела, которыми примечательны статуи в тенистых скверах провинциальных городов, где тихое течение жизни издревле предрасполагает к излишней полновесности каждой детали. Большими талантами Анастасия Павловна не обладала, зато она умела прекрасно готовить салаты и печь блины.

Работала она счетоводом в колхозной конторе, получала за свой труд немного, но умела так одеваться, что всегда производила впечатление милой, привлекательной женщины. Вскоре после замужества она родила Николаю Алексеевичу двух курносых девочек. Девочки скоро подросли и Николай Алексеевич иногда стал видеть в них прежнего себя. От этого взгляда в прошлое, порой, ему становилось чуточку грустно.

В доме у Николая Алексеевича все было на своих местах, как положено. Прекрасный сервант с хрусталем, два ковра (один из них с традиционными оленями), люстра с лепным отражателем и бутафорский камин с нарисованными языками пламени, покрытый всегда тонким слоем пыли. В общем, дом тоже должен был производить приятное впечатление изнутри и снаружи. И самого Николая Алексеевича все в Пентюхино считали человеком очень положительным. Во всяком случае, такое он производил впечатление. Никто даже не подозревал, что Николаю Алексеевичу давно нравится другая женщина.

Другая женщина, конечно, была красива по-особенному. Она ходила по Пентюхино, гордо подняв голову. Ее звали Татьяной, и была она чуточку сонной, чуточку медлительной, можно сказать немного странной. Но эта странность почему-то не умаляла ее достоинств, скорее наоборот, придавала ей некой загадочности, некой тайны. И фамилия у нее была для здешних мест необычная. Её звали Татьяна Стерлядкина.

Николай Алексеевич иногда представлял, что было бы, решись он подойти к ней и объясниться. Она, вероятно, тут же кинулась бы ему на шею и призналась, что она готова на все, чтобы быть рядом с ним.

Но это, к сожалению, невозможно. Он женат и у него есть дети.

Но однажды вечером, когда над селом кружила огромная стая ворон, а задумчивые местные грачи обсиживали маковку полуразрушенной церкви. Когда дул холодный северный ветер и моросил нудный дождь. Когда душа обыкновенного сельского учителя сжимается в комок и он сживается с мыслью, что все пропало. Когда очень хочется умереть от скуки, но смерть почему-то не приходит, - Николай Алексеевич решил идти к Татьяне, чтобы объясниться. Сколько же можно терзать себя этой неразделённой любовью, в конце-то концов?

В этот ненастный вечер Николай Алексеевич долго сидел в своем кабинете, прислушиваясь к быстрым шагам по гулкому школьному коридору. Потом выпил для храбрости двести граммов учительского спирта, закусил рыхлой осенней помидориной, которая завалялась на подоконнике в коморке для инвентаря, и пошел к Татьяне.

Он шел по грязной, усыпанной мертвыми листьями улице и чувствовал в душе несокрушимый восторг. Он сможет, он сделает сегодня все как надо, ведь он любит. Ему уже казалось, что этого вполне достаточно, чтобы прийти к незнакомой женщине ночью. Он так больше не может один - от осени до осени, от встречи до встречи, от взгляда до взгляда – во тьме, в немоте, в незнании.

Надо пройти еще несколько метров, и он окажется возле дома Татьяны. Она откроет ему дверь, что-нибудь спросит приятным голосом и проведет в дом. А там светло, тепло, уютно и звучит музыка, тонко так звучит, плавно, с трепетным чувством. Должно быть, Чайковский или Мендельсон.

Николай Алексеевич подошел к дому Татьяны и в нерешительности остановился. Замер. Сейчас нужно постучать в высокую дверь. Она со скрипом откроется и он попадет в земной рай. Но неожиданно Николая Алексеевича повело куда-то назад от желанной двери. Он неуклюже переступил ватными ногами и поймался рукой за низенький штакетник палисадника. Прислушался. Никакой музыки за окнами дома не звучало, зато в палисаднике во всю цвели розы. И была совсем рядом цветущая женщина.

Она рядом, а он еле стоит на ногах. Ну, надо же! И выпил-то он, кажется, немного и шел прекрасно, но мысли в голове какие-то странные. Как будто он только что проснулся и не может понять, что к чему.

Николай Алексеевич протянул за штакетник свою неуверенную руку и сорвал самый пышный цветок. Скоро заморозки – все равно все цветы завянут. Поднес розу к лицу, вдохнул её аромат – голова закружилась. Всё, кажется, хорошо, только стоит ли в таком виде заходить к любимой женщине? Это неприлично, даже скверно. Ну что он сможет ей объяснить в таком виде? Она впервые решиться поцеловать его, а от него пахнет черт знает чем.

Николай Алексеевич, пошатываясь, направился вдоль палисадника направо. Кажется, там за домом, стоит старый стог соломы. Он только отдохнет там немного, посидит, подышит полной грудью, и у него всё пройдет. Он снова станет трезв как стеклышко.

Николай Алексеевич садится под стог, зарывается спиной в сухую солому и начинает думать о чем-то важном, что сейчас необходимо понять. В стогу думать хорошо, тепло, совсем не так, как на улице под дождем и ветром. Только мысли в стогу становятся какие-то сонные, простые и странные музыкальные волны накатываются откуда-то издалека. Плеск этих волн похож на завывание ветра. И вот из этих самых волн, из темной любовной немоты вдруг появилась Татьяна. Она в белом свадебном платье, над ней плывут белые облака, под облаками мельтешат белые чайки. Она несет ему огромный букет роз. Он слышит ее дыхание совсем рядом, но не может пошевелиться. Это любовь сковывает его. Он весь горит от любви, только ногам почему-то немного холодно...

Пробудился Николай Алексеевич от озноба. «Боже мой, я спал на улице!» - подумал он и очень удивился тому, что увидел. А увидел он рыжую траву в капельках росы, увядшие листья на всем, свои серые брюки и грязные ботинки на ногах. И в левой руке огромную, полыхающую алым цветом розу.

Совсем рядом был дом любимой женщины. И что самое дикое – из этого дома его давно уже могли заметить.

И тут он вспомнил все вчерашнее. Как шел сюда по темной улице, вероятно, шатаясь и бормоча себе под нос что-то невнятное. Как кто-то ветхий попался, ему на пути - стремглав отскочил в сторону и ждал пока учитель пройдет своей дорогой… Какое жуткое он произвел впечатление? И вообще, к чему вся эта затея с объяснением? От всего этого только болит голова, пить хочется, сыро да холодно.

Николай Алексеевич осторожно поднялся с земли, зашел за стог, отряхнул с коленей солому и с наслаждением помочился на мокрую листву. Потом долго оттирал концы брюк от грязи и чертыхался и думал о том, что он вчера поступил как настоящий «поросенок».

- Вы что, Николай Алексеевич, никак в лужу вступили? – спросил кто-то сзади.

Николай Алексеевич вздрогнул от неожиданности и с опаской оглянулся. За его спиной стоял местный печник Сергей Сергеевич, по прозвищу Кожух. Кожух почему-то тоже был весь в соломе и выглядел непроспавшимся.

- Да вот, угораздило, - ответил учитель, слегка смутившись.

- Бывает такое дело по осени... Вы никак уже в школу продвигаетесь?

- Продвигаюсь, а что?

- Хорошее дело, - с хитрецой в глазах продолжил Кожух, - а я вот здесь переночевал, знаете. Жена из дома турнула, по причине пьянства. Я в части злоупотреблений нормы не знаю. Такая натура. Но ничего, хорошо - свежим воздухом подышал.

- Ну-ну! - понимающе и вместе с тем озадаченно проговорил Николай Алексеевич. – Надо и мне продвигаться ближе к школе. Будьте здоровы!

Потом, уже недели через две, когда жена, наконец, простила ему эту бесшабашную выходку, Николай Алексеевич стоял за хлебом в длинной очереди и случайно увидел, как за огромным окном магазина прошла Татьяна Стерлядкина. Она шла, гордо подняв свою красивую голову, покачивая плавными бедрами, и не обращала ни на кого внимания... Такая нездешняя, такая «не наша», что Николай Алексеевич с грустью почесал лысеющий затылок и подумал, что она ему явно не пара. Ну что он такое, на самом деле! Обыкновенный мужчина средних лет с синими невеселыми глазами, одолеваемый мыслями о пропитании, деньгах и прочих прозаических вещах. Чем он может прельстить ее? Такую... такую!

И вдруг он снова не смог сдержать в себе волну обожания, волну тайной надежды. Это потому, что Татьяна остановилась и пристально посмотрела на него. Да-да, на него! Он не мог этого не понять, не заметить. Она выделила его из толпы этим своим мимолетным взглядом. Это у неё получилось просто и легко. Один этот взгляд сказал ему больше, чем все дни раздумий в одиночестве.

В хорошем настроении Николай Алексеевич вышел из магазина и как бы ненароком остановился на том же месте, где стояла Татьяна, когда подарила ему свой взгляд. Он взглянул в огромное окно хлебного магазина.. - и увидел нем свое отражение.

**НАТУРАЛИЗМ**

Поездка в Ленинград случилась для Николая Алексеевича как-то неожиданно. Один из лучших институтских товарищей вдруг придумал жениться и пригласил его к себе на свадьбу. Николай Алексеевич для экономии поехал один без жены, но с каким-то странным и трепетным чувством, как будто это не просто поездка в красивый город на Неве, а некая сложная миссия, которую должно выполнить с честью и до конца.

На свадьбе он был безупречен. Мало пил, много и занимательно рассказывал о своей провинциальной жизни. Старался выглядеть весельчаком, сыпал шутками и остротами, которые приготовил заранее. Занимал умными беседами каких-то бледных меланхоличных дам, перезрелых лысеющих мужчин и кокетливых старушек. Всем старался понравиться, всем угодить, на всех произвести хорошее впечатление. И когда, наконец, вырвался из этого праздного водоворота, чтобы несколько часов побродить по музеям, то был уже на грани нервного срыва от странной дисгармонии в душе, оттого, что там навечно осела глухая скорбь сельской жизни. И только в просторных залах Русского музея ему неожиданно стало легче. Там, как бы само собой, без особых усилий с его стороны возникло в душе ощущение настоящего праздника… Да и могло ли быть иначе в цитадели русского искусства, где каждая картина странным образом напоминает о чем-то близком, очень родном, но к сожалению давно утраченном. Здесь даже портреты царей и цариц производили приятное впечатление, как будто все они были вовсе не из блистательного рода Романовых, к которым Советская школа выработала у Николая Алексеевича стойкую неприязнь, а из простого, можно сказать пролетарского рода Бздюлёвых или Голенищиных.

Особенно понравилась Николаю Алексеевичу Екатерина вторая - такая пышная красавица, такая прелесть, что помимо его воли у Николая Алексеевича возникла ассоциация между ней и Татьяной Стерлядкиной - его давней неразделенной любовью.

Таинственное чувство сопричастности к великой России не покидало Николая Алексеевича в залах Серова, Врубеля и Куинджи, у полотен Репина и Васнецова.

Порой, стоя перед их картинами, он недоумевал: отчего это все его знакомые учителя так хорошо знают истоки кровавых и беспощадных бунтов, прокатившихся по России много лет назад, и так плохо представляют себе великое русское искусство? Чем объяснить их преклонение перед разрушительным действием и равнодушие к творящим красоту?

В какой-то момент взволнованного созерцания Николай Алексеевич вдруг понял, что всему виной наше незнание библейских истин, яркий свет которых помогает соединить в одно целое человеческую природу и космический дух, бренные заботы земные и вечный смысл жизни на земле.

Потом Николай Алексеевич надолго замер у полотен Александра Иванова. Божественная ясность его картин заворожила сельского учителя. Он стоял и не мог подавить в себе слезный восторг перед увиденным. Дева Мария на одной из картин этого мастера напомнила ему Татьяну. Недоступная пониманию, почти божественная красота Марии и натуральная слеза у неё на щеке растрогали его… Он не смог сдержать себя и расплакался от неожиданного приступа жалости к самому себе, такому беспомощному в любви и творчестве, не способному даже на самую малость. На решительный поступок ради любимой женщины. Николай Алексеевич ссутулился, стал быстро и неумело промокать глаза платком. Это заметила старенькая смотрительница из соседнего зала. Она нерешительно подошла, немного помолчала, а потом участливо спросила:

- Что это с вами, молодой человек?

- Не могу… Знаете, даже передать словами свои чувства не могу… Как это всё меня растревожило.

- Что такое? Вы потеряли что-нибудь или вспомнили что-то грустное? Такое бывает.

- Не могу объяснить.

- Что, не можете объяснить?

- Я уже тридцать лет прожил. Понимаете? – начал Николай Алексеевич.

- А я семьдесят, - с иронией продолжила старушка. Но Николай Алексеевич не слушал её.

- Я никогда не видел ничего подобного. Понимаете. Я здесь в первый раз.

- Ну и что?

- Все так глупо, знаете, так глупо!

- Ну?

- Я понять не могу. Не могу понять, почему красота эта только здесь, в этих залах? А в душе ее нет… Вот мы, к примеру, в провинции так мелко живем, так мелко! Мы там ничего хорошего не видим. Даже не подозреваем, что все это у нас есть.

Николай Алексеевич театрально повел рукой, указывая на картины.

- Да как же, - не поняла его благообразная старушка, - многие сюда ездят из других городов. Очень многие. Зря вы так говорите.

Николай Алексеевич обиженно вскинул брови и стал энергично объяснять:

- Да если бы раньше лет на пять - десять я все это увидел - может быть, вся жизнь у меня сложилась бы по-другому. Понимаете? Мы там, в провинции, живем бог знает чем. Какой-то пуританской философией, натуральным хозяйством, да заботами о хлебе насущном. В трудах и заботах мы забываем обо всем.

- Так ведь и мы здесь живем так же. Тоже о пропитании заботимся, о детях, о будущей старости… Просто сегодня день такой выдался - неблагоприятный в геофизическом плане. Вот и все. И солнце с самого утра какое-то подозрительно яркое. Так бывает весной. К тому же не вы первый сегодня плачете тут, я вам скажу. Здесь рано утром до вас девушка одна расплакалась. Я ее еле уговорила. Посмотрела вон там на Христа, на Марию и разрыдалась. Видно грех большой ощутила в душе, а перед чистотой этой не смогла устоять… Я ее успокоила, разговорила. С кем не случается. Милая такая девушка попалась. В душе, видать, совсем ребенок ещё, а глаза уже испуганные. Хотя, может, день сегодня такой… Весна - пора магнитных бурь.

- Да сюда нужно каждый год ездить с детьми, это же такой заряд на будущее, такой урок! - продолжил запальчиво Николай Алексеевич. - Вы только посмотрите на эти лица. Посмотрите. Какие личности! Сколько в них благородства! Какая внутренняя сила в глазах!

- Дворяне, небось!

- Ну и что? Это неважно. Главное, что в них сквозит одухотворенность. Они одним видом своим излучают достоинство.

Некоторое время после этого восклицания оба собеседника отчужденно молчат и смотрят в разные стороны. Видно, что благообразная старушка не до конца понимает провинциального учителя. Он уже давно перестал плакать и сейчас неловко шмыгает носом…

- А вы знаете, что такое натурализм? - вдруг с загадочной улыбкой на морщинистом лице спрашивает бабуся.

- В некотором смысле, - находит подходящее слово Николай Алексеевич, чтобы не показаться полным профаном.

- Ну, тогда вам надо сделать всего три шага. Вот сюда. Поближе к этой вещи. Внимательно присмотреться к ней, и тогда вы непременно улыбнетесь.

С этими словами старушка подвела его к небольшой картине, на которой был изображен провинциальный русский город с множеством белокаменных церквей, тихих немного тесноватых двориков, высоких заборов и людей - карликов, рассыпанных, как горох, по заснеженным улицам. Эту картину можно было разглядывать очень долго, так много разных предметов было на ней изображено. Тут были и нехитрые сценки из семейной жизни, где присутствуют простоватые мужики и бабы, горластые дети, худые кошки и вислоухие собаки. Здесь на куполе церковной колокольни сидели сонные вороны, какие-то удивительно крупные и упитанные. А на углу городской площади, около небольшого моста через овраг, стоял и дремал краснорожий будочник, издали похожий на очень высокий и плохо начищенный медный самовар. В знакомом силуэте города и его обитателях Николай Алексеевич сразу уловил что-то свое, родное, что-то очень близкое сердцу всякого русского человека. Он уже готов был испытать к жителям города чувство ностальгической любви, как вдруг в левом нижнем углу картины приметил маленькую, но подозрительную фигурку. Нагнувшись и пристально рассмотрев ее, Николай Алексеевич понял, что это, должно быть, пьяный мужичок, который присел за высоким забором, чтобы справить естественные надобности в неподобающем для этого месте. Причем, детали посадки, мастерски подмеченные художником, не оставляли сомнений. Этот скрюченный человек собирался нагадить в центре городка.

Николай Алексеевич с отвращением выпрямился, грустно посмотрел на благообразную улыбающуюся старушку и сказал:

- Да, действительно натурализм. - И тут же категорично добавил: - Но это для нашего времени не характерно… И вообще - гадость!

Старушка при этом недоуменно посмотрела на него, вся сморщилась и сделала губы коромыслом. Она явно не ожидала от молодого человека такой реакции. А когда он поспешно стал удаляться от нее, она облегченно вздохнула и еле слышно пробормотала: -

- Сегодня день такой.

Потом был новый зал. Вздох облегчения и нарастающий благоговейный восторг, желание непременно запомнить и насладиться неброской красотой России. Вот только почему-то ощущения гармонии с увиденным уже не возникало, а взгляд устремленный на очередную картину с изображением провинции как бы сам собой опасливо опускался в левый нижний угол. Нет ли там чего?

1. Каленик Владимир "Проказы" «"Другой"

***Каленик Владимир***

**ПРОКАЗЫ**

С проказами так всегда: сперва одно веселье, только потом тебя принуждают всегда и везде ходить с колокольчиком на шее.

Проказа первая

Человек бесподобно дремал в колыбели, когда завистливые глазки наблюдали за ним. Бабушка играла в игру: пряталась за ширму, говорила «солнце уходит», потом выглядывала и говорила «солнца выходит» - а он, маленький человек, хохотал навзрыд. Бабушка умилялась карапузу, но, в то же время, отчасти завидовала гладенькой коже и огромному мешку времени за спиной, хотя кто-кто, а уж она знала, как это всё бесполезно.

Когда человек немного подрос и у него выпал первый молочный зуб, бабушка сказала: «спрячь зуб под подушку, придёт фея и заберёт твой зубик». «А зачем ей мой зубик?». «Неважно, зачем он ей, мальчик, важно, зачем ты его отдашь». «Зачем?». «Чтобы взамен получить время». «А фея добрая?» «Добрая, мальчик». «А что ей ещё можно отдавать?» «Можешь ей оставлять свои волосы и ногти» - ухмыльнулась бабушка.

«Интересно, зачем доброй фее понадобились зубы, ногти и волосы» - подумал маленький человек, но вслух ничего не сказал.

Несмотря на сомнения, он спрятал молочный зуб под подушку, а на следующее утро молочный зуб исчез. А времени, казалось, стало немного больше.

Проказа два

Люди теряют смысл жизни: так писали в газетах, это говорили по телевизору. Именно данный феномен связывали с ростом количества самоубийств. Главное проскочить подростковый период бесшабашной смелости, когда шальные мыслишки тянутся в голову: не грех заглянуть, в первый и последний раз, за чёрный, тяжёлый и тихий занавес смерти. В том возрасте ты честно исследуешь жизнь - не обманываешь сам себя. Далее множество лишних вещей отвлекает тебя от сути, будь то: семья, работа, автомобиль, выборы в верховный совет, скидки на пиво и мясо, очереди в поликлинике, давка в автобусе, запах дыма в подземном переходе, стирка белья или страшные тени в подъезде.

Человек задумался: зачем он живёт? Он попытался вникнуть в суть реальности и стал вещью в себе - загрустил. Он повис, как муха на паутине. Перепутал и натянул ботинки не на те ноги. Даже не то, что бы левую с правой попутал, но на чужие чьи-то ноги надел, а свои ноги в углу оставил стоять. Человек переживал - как ему снова уснуть, как погрузится в спасительный сон? Сон, когда даже не знаешь, что спишь и никто никогда тебя не разбудит...

Крылышки человека дрожали, он висел на паутине, паук приближался.   
  
Проказа три

На стене дома кто-то намалевал неровные буквы: «пусть эта жизнь будет последней!».

Человек нашёл в себе силы выйти из дома и пойти на работу.

Во дворе пьяный мужчина ломал детский велосипед. Пьяный мужчина брал велосипед за задние колеса и бил рулем по асфальту. Пьяный мужчина прыгал черными сапогами на детский велосипед. «Говорил я ему дураку не ходи на стройку гулять, говорил не лазать в карьере!» кричал пьяный мужчина. Супруга мужчины - тоже пьяна, спрашивает у прохожих ментоловые сигареты, другие она не любит. Братики и сестрички хозяина детского велосипеда дружно несли маленький гроб. Все они одеты с иголочки, причёски аккуратные. Дети плакали и голосили птенцами голодными: «папа папа папочка не ломай мы ещё могли бы на нем покататься, раз он глупый больше не хочет ах не ломай папочка и гробик вины на ручках у нас тяжёлый».

А у детского велосипеда изогнулись восьмёркой колёса, руль поломался, пьяный мужчина кусает грязные шины, сигнальный звонок глотает.

«Не ломай, папа, это он сам себе смерть позвал, это он на стене глупости написал» - из последних сил ябедничают дети.

Пьяная мать просить у человек сигарету, он молча проходит мимо и думает «ну, вот и вышел на улицу, вот и сходил на работу, вот и на тебе». Человек горько жалел о своём поступке и недоумевал - неужели большинство людей живёт такой невыносимой жизнью. «Ну, нет, у меня, у нас, так не будет» - уверялся человек.

Проказа четыре

Человек ехал в вагоне метро.Пассажир напротив читал брошюру «Кто спасёт вас, если не Бог?». Лицо у пассажира было красное, но умиротворённое, на лбу проступил бисер пота.

Человек подумал:

«Самое страшное - потерять рассудок. У меня на 15% больше шансов сойти с ума, чем у моих друзей, ведь это у меня бабка закончила дни в сумасшедшем доме, никого не узнавала и кал размазывала по стенам. Не хочу так, не хочу. Не знаю, что делать. Сходить завтра в церковь, что ли, свечку поставить».

Пассажир напротив выронил религиозную брошюру, его тело подскочило на месте, голова его зашаталась туда-сюда. Человека трясло, он рычал. Он распадался. Никто и ничто, даже сам Бог уже не мог остановить процесс распада. Внутри пассажира лопалось, чавкало, перетекало под ритм движенья вагона.

Кто-то вышел вперёд и произнёс: «мы должны ему помочь». Пассажира подхватили под руки и стали помогать. Один из помощников обратился к человеку: «вы врач?». «Нет». «У вас есть телефон?». «Да». «Вызовите скорую?». «Хорошо».

Помощники суетились вокруг больного пассажира, но это не помогало, он распадался на частицы и геометрические фигуры. Кто-то пытался связаться с машинистом - непонятно только зачем. Человек незаметно пробрался ближе к выходу. Когда поезд остановился на станции, человек выскользнул из вагона, так и не позвонив в скорую помощь.

На следующий день человек не отправился в церковь и не поставил свечку.

Проказа последняя

Следует быть откровенными: человек за всю жизнь так ничего толкового и не сделал. Да и не мог он толковое сделать, ведь не научился делать хорошо хоть что-то одно. Человек часто недоумевал: «неужели все вокруг такие бесполезные люди, как я? быть такого не может!»

Лучшее, что мог бы сделать человек, это сыграть в прятки. Он бы спрятался, и никто никогда его не нашёл.

Человек ощущал почти физически: долг его перед миром растёт. Солнышко светит, всю землю греет, лучи рассылает для тварей живых, для него в том числе. Зверьки и растения вырастают, чтобы людей прокормить. Земля всех вместе носит на себе, ей тяжело. А человек не делает ничего полезного ни для кого.

Было, правда, одно, что человек делал замечательно. Он очень умело орудовал ножницами. Аккуратненько мог стричь ногти на руках, на ногах, сам себе усы и бороду подстригал, волосы - не тратил время в парикмахерских и этому факту всегда искренне радовался. Человек даже левой рукой прекрасно справлялся с ногтями на правой руке, чем удивлял окружающих до невозможности. Один товарищ говорил человеку: «ишь, какие на правой руке у тебя ногти ровные, а я мать прошу мне маникюр делать».

«Порой самая ненужная информация засоряет наше внимание и потом ты никак не можешь отделаться от того, что знаешь. Вот, не хочешь знать, а оно без спроса пролазит в твоё поле зрение и как засядет в голову - не выкуришь» - иногда сетовал человек. В последний раз с ним это случилось, когда он узнал забавнейший факт: некоторое время после смерти волосы и ногти продолжают расти. «Господи, как это бесполезно и глупо!» подумал тогда человек. Ночью ему приснилось, что он умер. Его похоронили и вот лежит он в гробу. Волосы растут, лезут в рот, в ноздри, в глаза. Ногти растут и впиваются в ладони. А ножниц нет в гробу, подстричь и нечем.

Сон этот начал повторятся из раза в раз. Дошло до того, что человек взял с близких обещание: в случае его смерти в гроб обязательно положить ножницы. Теперь человек каждый день стриг ногти и волосы, складывал в конверт и оставлял под подушкой. Но никакая фея, ни добрая, ни злая, больше не забирала его подношения. Он волновался, он непрестанно переживал. Он чувствовал, что и так должен миру, но ещё и не получается выбить кредит времени.

Тогда человек создал красивую, но простую теорию: «все мы состоим из частичек материи мира вокруг, следовательно, ежели отдавать частички обратно, то, быть может, когда-то я смогу погасить долг». Человек тайно разбрасывал всюду остриженные ногти и пучки волос. На работе всё шло хорошо, пока начальник не заметил, как человек складывает в ежемесячный финансовый отчёт кусочки чёрной бороды. Усы человека уехали в метро до конечной и ещё долго катались по кругу маршрута. Ногти плавали в чёрной реке, быть может ногти унесло в далёкое море.

Однажды человек узнал про миссию на Марс: скоро запускали корабль на красную планету. Человек сознавал, едва ли его возьмут в экипаж. Но не мог отказаться от мечты передать на борт космического корабля пакетики с ногтями и волосами. Если их высыпать в открытый космос или хотя бы разбросать на Марсе - то всё уже не зря, ведь там курс обмена ногтей/волос на единицу времени значительно выше, чем на Земле.

Человек звонил и писал в разные инстанции с этой просьбой, но ему не отвечали, а однажды даже пришли с проверкой из больницы по итогом которой человеку прописали медикаменты и повесили колокольчик на шею, чтобы другие знали заранее: прокажённый идёт, прокажённый идёт.

До запуска космического корабля человек не дожил.

Как же изумился человек, оказавшись в гробу. С глупым выражением лица он осознал, что ногти растут и впиваются в кожу. И волосы обвивают лицо и шею, душат его, словно непослушные щупальца, а он задыхается одинокий под землёй. И еще так далеко до того, когда человек отдаст все свои долги.

**ДРУГОЙ**

Кирилл гордился своим именем. Он запрещал уродовать имя уменьшительно-ласкательными формами. В 10 лет Кирилл вычитал в книге о Древней Греции: значение греческого Κύριλλος корнем уходит в слово κύριος - «господин». Господин мира - мальчик водил указательным пальцем по карте Эллады. Мать позвала мальчика: «Кирюшечка, Кирюшоночек мой, иди ужинать». Кирилл подошёл к матери и серьёзно заявил: «пожалуйста, никогда меня так больше не называй, это глупо и некрасиво, только Кирилл».

Он вырос и теперь работал в рекламном агентстве, жил с девушкой-моделью в собственной новой квартире. Девушка-модель больше всего увлекалась спортом ради своего тела.

Кирилл был уверен: он, конечно, умнее и лучше других, он знает все тайны жизни. Он любил повторять: «да, может, я и не идеальный, но, хочу надеяться, у меня хорошие намерения». Он выступал за сознательное гражданское общество, но проливать кровь за него не собирался. Он выступал против войны, но признавал: иногда она неизбежна. Ему хорошо известно, кому выгодна война, и отбывать номер дурака для богатого дяденьки не было никакого желания, уж извините. «Да, люди у нас неплохие, но посмотри на них по дороге в магазин, какие злые и уродливые лица вокруг - ахнешь. Генофонд после репрессий ни к чёрту: каков процент потомства в общества остался от родителей - моральных уродов, строчивших доносы, и какой процент от приличных граждан?» - в баре говорил друзьям Кирилл и друзьям было сложно с ним спорить. Он писал рекламные слоганы и получалось у него хорошо, потому что в некотором смысле он оказался прав и хорошо чувствовал желания данного потребителя.

Своей девушке-модели он повторял: «ты, конечно, должна ходить в спортивный зал и следить за фигурой, но, понимаешь, я же не всегда могу тебя встретить так поздно, так вот, если на тебя нападут, ты не кричи «насилуют», ты кричи «пожар», а ещё лучше орать весёлым голосом, что тут деньги разбросаны, да ведь не поверят, кричи картошку со скидкой молодую отдают - тогда народ высыпет из домов, тогда может кто-то и выскочит помочь, вот какой у нас народ». Кирилл много говорил в компаниях и рассуждал следующим образом: «любой человек, который хочет жить цивилизованно, обязан заниматься своим развитием до совершенства каждый день, тогда времени не будет на всякие глупости, вроде преступлений и хамства, сама мысль подобная отпадёт, и глупостей религиозных не будет. Останется наука, культура, искусство, просвещение, уважение друг к другу и свобода личности. Вот почему я занимаюсь саморазвитием, путешествую по миру, читаю по книге в неделю - и посмотрите на Вадика. Мы учились в одном классе, почему же я здесь, а он закладки закладывает?» И здесь друзьям трудно поспорить с Кириллом.

С одноклассника Вадика и началась короткая, но странная история. Тогда, рано утром, в субботу, раздался звонок в дверь. Кирилл спал всего несколько часов после пятничной вечеринки в офисе. Завёрнутый в одеяло он посмотрел в дверной глазок - там стоит бритый на лысо Вадик. Сто лет не видел эту глупую рожу.

- Киря, открой!

- Вадик, иди отсюда, я тебе денег не дам.

- Да я не за деньгами...

- Хорошо, а то ты мне ещё прошлый долг не вернул, и позапрошлый. Пришёл вернуть?

- Я нет...Я тут не один...Ну, открой, Киря, срочно. Я тут не один.

- Не надо дружков сюда водить. Всё, проваливай, Вадик, иди отсюда, у меня девушка спит.

- Со мной президент...

- Какой президент?!

- Нашей страны...

- Наркоман проклятый... - пробормотал Кирилл потом громче - Иди отсюда, Вадик!

- Это правда, открой и я покажу тебе его...

Вадик не любил прописанное в паспорте имя «Вадим». Звучало так, словно он уже кому-то что-то должен. Мрачный отец и весёлая мать обводят комнату взглядами: кто за хлебом? Вадим. Кто разбил в школе окно - Вадим. Кто нюхал клей в кладовой - Вадим. Кто не купил презерватив на свидание - Вадим. Кто не сдал экзамены в ПТУ - Вадим. Время летит, дружки тупеют, стареют, обводят помещение взглядами: кто идёт за пивом - Вадим. Ну и чёрт с ним.

Поэтому Вадик просил называть его «Вадик». Это похоже на «видик» или «падик». Ему нравилось. Проблема вот в чём: Вадика не воспринимают всерьёз. Потому что Вадик наркоман. Однажды в детстве он заскучал - в наказание за плохие оценки родители спрятали шнур от телевизора. Оставшись один в квартире, Вадик понюхал мамин лак для ногтей и у него закружилась голова - весело. Попробовал папин клей момент через кулёчек - подсмотрели у городских беспризорников - и словно не слазил с радостной карусели пару часов. В старших классах его тяга продолжилась травкой в подъездах с друзьями, а кончилось инъекциями в вену. На игле он сидел третий год и считался бывалым. Иногда он завязывал: курс лечения, промывка организма, витамины, каждый день в аптеку за препаратами, которые снимают ломку, но не дарят мягкого покоя и глубокого тихого счастья.

Время идёт медленно. Вадик ходит на шашлык с друзьями. Пьёт водку и пиво, чтобы развлечься. Говорит: никогда больше не подсядет. Устраивается на работу. Читает журналы, разгадывает кроссворды во время смены, по вечерам смотрит фильмы. Постепенно его взгляд обращается за немытое окно. Он уже знает, чем это кончится и ему становится невозможно жалко себя и других, таких, как он.

От скуки однажды раскуривается «бошками», которые намутил хороший дружок. Ползёт время. А на третий месяц работы, получив аванс, Вадик крадёт со склада несколько принтеров, закладывает в ломбард и, наконец, покупает дозу и плотную завесу тумана, как рукой снимает и он снова живёт. Девятый круг начинается заново.

Вадик как раз занял позицию на старте очередного забега в пустом колизее собственной жизни: ни одного зрителя, надо же. Той ночью он почти не спал. Что-то неподвижное и тёмное поселилось в груди - тоска. За окном бесприютность. Он включил смартфон с треснувшим экраном и зашёл в «телеграмм», в канале барыги попросил о закладке. Ему скинули номер счёта. Ладно. Вадик собрался и вышел из комнаты.

В квартире темно, только в гостиной синий свет телевизора освещает силуэт отца в кресле. Такой худой, словно в кресле скелет.

- Куда собрался - отец не смотрит в его сторону.

- Ма навещу, ужин ей отнесу.

- А, давай-давай.

Отец смотрел футбол и пил пиво. С тех пор, как пять лет назад закрыли НИИ, отец всё сидел дома и смотрел телевизор, и пил пиво. Он говорил: «да вот хоть завтра пойду устроюсь на работу». Он даже брал бесплатные газеты с объявлениями о вакансиях. Но, всё так же сидел в кресле.

Вадик и правда на кухне собрал в пластмассовые судочки еды: холодное слипшееся пюре, квашеная капуста, пирожок с яйцом. Сложил судочки в рюкзак и, сказав «пока па», захлопнул входную дверь.

По дороге к Серому Зданию Вадик прошёл мимо рынка. Ночью рынок закрыт, но за последними ларьками установили автомат для оплаты счетов, к нему и спешил Вадик. Он ввёл указанный барыгой номер и скормил автомату все свои деньги. Автомат выдал чек, Вадик его сфотографировал и выслал барыге. Пока Вадик добирался до Серого Здания в мессенджер пришло сообщение от барыги с адресом закладки и припиской: через час будет фото. У Вадика аж дыхание перехватило и сердце затрепетало пойманной птицей.

Чист он три месяца, но туман саваном тело укрыл плотный, непроходимый.

Серое Здание высоченной громадиной нависло над городом.

Очередь тянулась на улицу. Кто-то в очереди спал, устроившись прямо на земле в спальных мешках, подстелив корематы, иные сидели на раскладных стульях. Вадик прошёл внутрь Серого Здания мимо очереди. Не спящие зло сверлили взглядом Вадика спину.

- Ишь, без очереди лезет - комментировал кто-то.

- Я не лезу, я маме ужин несу - оправдывался Вадик.

- Поздно ужинать, рано завтракать - дразнили его не спящие.

Мама давно стояла в очереди. Давали разное. То премию, то льготы и субсидии, то высокую пенсию, а то и вовсе мягкую вырезку телячью, совсем без костей, и автомобиль-иномарку даже можно выиграть, только никто ещё не выигрывал, во всяком случае ни она, ни соседи её по очереди о таких случаях не слыхивали. Инвалиды ждали протезов и колясок, пенсионеры ждали пенсий, школьники и студенты ждали дипломы, солдаты ждали оружие и славу, или смерть, чиновники ждали рабов. Любая очередь ожидания.

За годы в очереди мама продвинулась далеко и побывала во многих кабинетах. Вадик нашёл маму на втором этаже. Она дремала на кожаном, но твёрдом диване. Только такие диваны ждали тебя в Сером Здании. Мама - женщина полная, она храпела во сне. Он разбудил маму. В ней энергия и жизнерадостность били свежим озёрным ключом, Вадик ей завидовал, он хотел украсть её энергию, словно жалкий вампир какой-то.

- Вот, ма, я покушать принёс.

- Ой как хорошо, сынок, садись рассказывай, Вадюша.

Мама кушала ужин.

- А что рассказывать. Всё нормально.

- Как отец?

- Футбол смотрит.

- Вы там хоть кушаете хорошо, Вадюша?

- Кушаем.

- Как работа?

- Отлично.

Вадик молчал. Потом сказал:

- Приятного аппетита.

- Спасибо, Вадюша. Ну иди, у тебя дел, наверное, много.

- Да. Пойду. А что сегодня дают?

- Сегодня бесплатная медицина! Представь, если не только себе, но и вам медстраховку выбью? У меня и взятка уже главврачу, коньяк с конфетами, что скажешь, умно?

- Умно, ма. Пока.

- Стой, Вадюша. Вот тебе денюжка, купи себе что-то - мама запихнула ему в карман банкноту.

- Спасибо, ма. Пока.

Вадик не спеша шёл в сторону указанного адреса. Фото пришло даже раньше. За водосточной трубой подъезда номер 7. Вадик ускорил шаг, предвкушая грядущее. Вот нужный адрес. Вот подъезд, а вот труба. По тёмному небу плывут облака.

Вадик лезет в трубу рукой - пусто. За трубу - ничего. Он в панике становится на колени и осматривает место преступления. Трясет трубу и нижняя часть водостока отрывается с ужасным скрежетом. С балкона кричат: «иди отсюда, наркоман».

Спёрли. Такое бывает. Не иначе за закладчиком следили мертвеходы и распотрошили закладку. Зомби, мертвеходы, ходячие - так в шутку называли тех, кто потерял всякую надежду, тех, кто думает только о своём чёрном солнце и бездумно блуждает по ночам улицами города, в призрачной надежде вырвать у кого-то сумку с деньгами, избить, взять кошелёк, сделать что угодно за деньги, только бы получит дозу, а лучше заприметить закладчика, выследить, распотрошить закладку. они обитали на самом дне и таили в себе угрозу.

Вадик в отчаянье оглянулся, словно мертвеходы ещё наблюдали. Нет, они давно отправились на скором ночном экспрессе куда-то дальше орбиты Земли.

Понурый головой, Вадик решил проверить в соседнем, восьмом и последнем подъезде длинного пятиэтажного дома. Вадик садится на корточки и лезет рукой за трубу. Господи! Вот оно! Пакетик! Вадик чуть не застонал. Но, уже когда прятал пакет в карман спортивной куртки, Вадик почувствовал - за ним наблюдают. Менты? Зомби? Теперь какая разница, если он прошляпил, если он лопух и олух.

Вадик поднимает взгляд и рот у него открывается от удивления. Так герои выглядят только в мультфильмах. Перед ним стоит собственной персоной президент их страны. Президент возвышается совершенно голый, а яркая лампочка над подъездом, не стеснённая плафоном, бесстыдно выставляла президента в резком, невыгодном свете.

- Доброй ночи, молодой человек, простите, не могли бы вы мне помочь пожалуйста? - произнёс президент учтиво.

- Эээ...да...наверное...доброй ночи - Вадик совсем растерялся и так и сидел на корточках и конечно первой его неуклюжей мыслью было вот что: «ну всё, ку-ку, я дошёл, совсем спятил».

- Ну вы то поднимитесь - президент был совсем как по телевизору, тот же голос, интонации, выражение лица и движение рук. Руки президента не могли лежать спокойно во время разговора.

Вадик поднялся и застегнул на молнию карман куртки с дурью.

- Вы...президент?

- Ну, а кто же ещё.

Президент - толстый мужчина лет шестидесяти, с большим круглым животом, руками он прикрывал президентское достоинство.

- А я Вадик.

- Очень приятно, Вадик. Извини, руки пожимать не стану, сам понимаешь. Ты мог бы мне помочь?

- Конечно...простите как мне к вам обращаться?

- «Господин президент».

- Конечно конечно, господин президент.

- Ты мог бы дать куртку мне?

- Эм...Конечно...

Вадик сглотнул и лихорадочно соображал. Ничего в голову не приходило. Вадик стоял столбом.

- Ну, Вадик, заснул что ли?

Вадик нехотя стянул куртку и протянул президенту. Тот обмотал внушительный круп спортивной курткой, словно туземец набедренной повязкой.

- Спасибо! Так значительно лучше! Хоть и весна, а ещё прохладно, однако. Ты, наверное, думаешь, что президент делает голый в подобном районе ночью?

- Ну, вроде того, господин президент...

- Молодец, Вадик. Дело в том, что я попал в беду и меня ищут плохие люди. Ты не мог бы меня укрыть у себя дома ненадолго совсем, пока я не свяжусь с верными соратниками и придумаю, что делать дальше.

Вадик задумался.

- Если это тебя не затруднит - вежливо добавил президент, он на целую голову возвышался над Вадиком и, казалось, был не только толстым, но и довольно сильным ещё мужчиной.

- Думаю, проблем не будет, господин президент. Я живу недалеко. Пойдёмте.

- О, я не сомневался, что парень вроде тебя живёт недалеко.

Вадик подумал, что отец наверняка уже спит, а если и не спит, всё равно едва ли что-то заметит, а если заметит, то не откажет ведь он в помощи самому президенту, в конце концов?

- Можем взять по дороге пива в круглосуточном ларьке, если вы любите пиво, господин президент.

- Я? Пиво? Никогда не пил. Давай попробуем, вот ведь, какая удача, что я тебя встретил.

Бомж Михалыч технически не был бомж - у него имелся вагончик, где он спал, грелся, хранил еду, пожитки и ценные вещи, более того, на него записана одна квартира в городе, но ключи от неё он давно выбросил.

Михалыч был самый умный и сильный бомж на районе, хотя зенит его славы уже миновал и возраст клонился к закату. Долгих десять лет он на большой дороге.

Михалыч первым совершал обход улиц. Если кто сунется поперед него - хорошенько получит. Михалыч презирал почти всех других бомжей потому, что каждый попал на дорогу из-за некой слабости: алкоголь, воровство, похоть, лень, азарт, наркотики, глупость. Сам он вышел на большую дорогу сознательно, в знак протеста существующей системе. Ну, и ещё дочке надо жилплощадь освободить, для большой семьи и ненавистный НИИ давно закрыли.

Михалыч курил на лавочке под подъездом, листал грязную газету. Потом он заметил вдруг странную парочку на другой стороне улицы. Один наркоман Вадик без куртки щеголяет, хотя холодно ещё. Другого Михалыч не узнал...точнее морда знакомая, но имени Михалыч не вспомнил. Голый бежит, обмотался чем-то. Тоже наркоман, небось. А с виду взрослый, тучный мужчина. Сидевший, видать, откинулся недавно, вот Михалыч имя и запамятовал. Нашли друг друга два одиночества, подумал Михалыч.

Он собрал всё самое ценное из ближайшего мусорного бака и отправился дальше. Через час над его дорогой взошло солнце. Он вдруг увидел бомжа Рыжего, тот рылся в мусорке поперед него.

- Ах ты таракан, гнида! - закричал Михалыч бросил кульки и побежал размахивая костылём на нарушителя.

Рыжий - младше лет на семь, трусливый, он бросил пожитки, присел и закрыл голову руками:

- А, прости, бес попутал, не бей, бери что хочешь.

Михалыч плюнул и стал рыться в вещах Рыжего.

- Ну ты, червяк. Ещё раз увижу - покалечу, я сказал, ты услышал - заявил Михалыч и забрал всё лучшее.

- Ну ты и жлоб - процедил Рыжий, наблюдая, какие вещи забирает Михалыч.

- Не воняй.

Михалыч сидел на очередной лавочке и рассматривал подарки судьбы. Мимо проходили деловые люди. Деловые люди не замечали бомжей.

Это такой необычный район столицы, где старые хрущёвки соседствовали с частным сектором. И вот, за забором одного из домов, он видит мужика, который обрезает крону дерева в саду бензопилой. Мужик так увлёкся, что срезал совсем все ветки, одни обрубки тупые торчат в небо. Потом мужик (он носил очки) стал вкручивать в ствол дерева винтики и к ним крепить металлические зонтики. Эти злнтики формой смутно напоминали радары.

- Доброе утро, сосед - сказал Михалыч.

- Доброе - буркнул сосед, но даже не посмотрел на бомжа.

- А что вы такое делаете?

Мужик в очках не ответил, слез с раскладной лестницы и скрылся в доме. К Михалычу подбежал Рыжий:

- Да этот парень совсем того, поехавший. Он так собирается сигналы НЛО ловит - подлизывается Рыжий.

Михалыч посмотрел на него, как на дурака, сплюнул, взял свои пожитки и отправился дальше по большой дороге.

За забором другого дома четверо друзей с пивом уже второй день чинили белый, но заляпанный грязью жигуль. Пили они пиво «жигули».

Скоро что-то должно было изменится, но что - неизвестно, только отчетливо слышится в небе «скорей».

На рассвете они с президентом пили пиво в комнате Вадика. Когда они пришли, отец не спал и смотрел новости.

- Кто это с тобой? - спросил отец, не повернув головы.

- Президент.

Отец вздохнул:

- Что ж ты одних наркоманов к себе то водишь...Хоть бы с девушкой познакомился...

Теперь они пили пиво, а Вадик спросил, любит ли президент музыку и если да, то какую. Оказалось, президент нормальный мужик и слушает то же, что и все, ну, Вадик и включил радио «шансон».

Президенту требовалась новая одежда, но размер Вадика и его отца не подходили. Разве что белые тренировочные кроссовки (их Вадик собирался следующими в ломбард нести в случае чего). А вот широкие футболки и спортивные штаны мамы в объёме довлетворили, а по росту коротковаты, конечно. Штаны едва закрывали президенту колени. Он словно иностранец в бриджах и живот выпирает из-под футболки.

- Так что с вами произошло, господин президент? Вам нужно позвонить кому-то, вашей службе безопасности или кому-то не знаю....Может, в милицию?

Президент почти залпом выпил первую бутылку «жигулей».

- Оо! Божественный напиток! Божественный! Позвонить? Нет. Некуда мне звонить.

Вадик тоже пил и терпеливо ждал. Президент начал вторую бутылку и отправил в рот порцию сухариков и хрустел:

- В общем-то, Вадик, я должен признать, что сам виноват в своём положении. Думал, смогу обойти систему, всех переиграть, а обхитрил я только сам себя. Справедливости ради, также следует заметить, что не я один тому виной, но и женщина занимает особо важное место в истории, ведь она стала движущей силой, толчком маятника, после чего гравитация завершила работу.

- Я не совсем понимаю о чём вы, господин президент...

- Я не президент, я двойник президента.

- Не президент? - Вадик от усилия мысли наморщился.

- Ты слегка туговат, сынок? Или глухой? Я двойник - президент, или нет, потрепал Вадика по плечу.

- Двойник? - Вадик боялся, что его мозг не выдержит наплыва новой информации за сегодня.

- Да. Двойник. Знаешь таких делают, чтобы защитить президента или другую важную шишку от покушения. Про Саддам слыхал? У него целых семь было.

- И у нас такое бывает?

- А как же. И у нас. И везде. Потом ведь все мы люди и боимся смерти а кто не хочет убить президента, вот и находят себе двойников. И были возможности так может и каждый человек на Земле себе двойников бы нашёл, чтобы обезопасить. У нашего президента нас двойников трое. Правда, один так растолстел, что его не выпускают из покоев в подземелье дворца. Он теперь только работает голосом, переговоры с деловыми зарубежными партнёрами ведёт по телефону.

- Я не совсем понимаю о чём вы..

- Второй двойник тупой. Он ни придумать текст, ни запомнить текст не в состоянии. Из-за его глупости поползли первые слухи. Во время прямого эфира на федеральном телеканале этот дурак зажимал себе левое ухо пальцем, чтобы лучше слышать голос советника, который диктовал чёткие и хлёсткие и наглые ответы на все неудобные вопросы журналистов. Заметили глазастые гады, все эти молодые умники, которые никого и ничего не уважают. После этого случая второго двойника отправляли только на мероприятия, где не предполагались пресс-конференции и прочее общение с журналистами, или официальным лицами. Он ездил на праздник шахтёров, вахтёров, моряков, военных, милиции, медицины, женщин, мужчин, ветеранов, школьников, студентов, на праздника он пожимал руки простым рабочим, гражданам, избирателям, награждал их знаменитой улыбкой владыки-князя, словно медалью,трепал по плечу, утешал, обещал, целовал и благословлял детей. Ну а третий двойник...

- Кто? - моргнул Вадик.

- Я. Я мог генерировать мысли и у меня было больше всего влияния. И я заигрался...

- Знаете, а я вам не верю, господин президент, что это не вы. Вы нарочно так говорите. Не можете это быть не вы. Вон даже разговариваете так же, ага.

- Я на 5 см выше настоящего и уши у меня другой формы. А вот мой настоящий голос - и президент вдруг заговорил совсем по-другому. - Нас готовят около двух лет. Пластические операции, походка, мимика. Голос учишь за 9 месяцев. За 4 месяца вживаешься в способ мышления, потом становишься президентом.

- А чем же он сам, настоящий, занимается?

- Он встречается с главами других государств лично. Он встречается с министрами и генералами лично. Он сидит во дворце и руководит страной, появляясь на публике в крайних случаях и чаще выступая по телевидению. Все выступления на стадионах, открытых площадках - это я. И мне не нужен микрофон в ухе и советник. Так то.

- Что же произошло?

- Ищите женщину. Угораздило меня влюбиться в его секретаршу.

- В чью?

- В секретаршу самого президента. У нас завязался роман - сказал президент - А спустя какое-то время она стала меня уговаривать свергнуть настоящего президента. Он часто заставлял её, как секретаршу, заниматься сами знаете чем, неприлично обсуждать такое, ужас, что в наш просвещённый век всё ещё творится, словно феодальный лад какой-то, так вот, она собиралась во время занятия этого напасть на президента и убить его, а я должен был занять его место. Но всё пошло не так. Ей не удалось убить президента. Ледокол не пробил его толстый череп. И вот она схвачена, а я в бегах - президент допил вторую бутылку пива и смахнул слезу. - Смешно, краткая история моей жизни: сперва неизвестно, кем я был, потом вдруг меня отыскали добрые люди, сделали Кем-то, Глыбой, тенью президента и только он остался во мне, не быть им уже не могу, и это, словно тёмный туннель.

- Чем я могу вам помочь?

- Едва ли ты можешь. Спасибо, что дал мне укрытие. Сегодня, когда стемнеет, я покину твою квартиру, чтобы не ставить под удар тебя и твою семью, ибо по моим следам идут страшные люди - президент говорил и постоянно оглядывался - Конечно, мне бы помогло добраться до телевидения и сделать обращение к народу. Это спасло бы ситуацию.

- Но у меня нет доступа к телевидению...

- Конечно, откуда он у тебя может быть Вадик...

- Но у меня есть друг, который известный рекламщик, наверняка он кого-то знает. Во всяком случае, у него есть машина и деньги, он не откажет в помощи президенту.

- А что, друг рекламщик...Может быть...Хорошая идея... - президент вновь заговорил своим голосом.

- Пойдёмте сейчас. Плохие люди до вечера могут выйти на ваш след. Я дам вам тёмные очки и кепку и плащ отца, вас никто не узнает, господин президент.

- Сынок, я не президент - сказал президент и подмигнул, лицо у него хитрое, а проволочки волос слегка поседели за эту ночь.

Вот как Вадик в восемь утра оказался на пороге квартиры одноклассника Кирилла.

Они с президентом действительно прошли по улице незамеченными. Очки и кепка скрыли личность президента. У одного из подъездов сидели старушки. Они бросали хлеб голубям и воробьям и вздыхали: когда же всё переменится когда же всё переменится, но всё уже не так , как раньше, не так, как раньше.

Звонок и стук в дверь. Боже мой, он не отцепится.

Кирилл вернулся в спальню, чтобы предупредить девушку, но с удивлением обнаружил пустую кровать. Он проверил на кухне - никого. На холодильнике сердечком-магнитом прижата записка: «ушла на треню, люблю». Значит у него ещё есть некоторое время.

Кирилл достал кошелёк, вытащил пару сотен и открыл дверь.

- Вот на и вали...

Рядом с Вадиком стоял высоченный хмырь в тёмных очках и кепке.

- Здравствуйте, не могли бы вы нас скорее пустить, нас могут заметить - голос такой знакомый, голос перед которым нельзя не согласится.

Кирилл растерялся и пропустил незваных гостей. Хмырь снял очки и кепку. Перед Кириллом стоял сам президент, только в совершенно дикой одежде: короткие до колен спортивные штаны адидас, синяя футболка, серый плащ не сходится на груди. Сам Кирилл не в лучше виде в простыне как древний грек. Друзьям в барах Кирилл часто ругал президента и говорил какой он дурак и злодей, и друзьям было трудно с ним спорить. Но теперь почему-то Кириллу хотелось лебезить перед существом обладающим подобной властью и силой. Это даже круче чем оказаться перед кумиром рок-звездой, там просто робеешь как девочка, а тут хочется исполнять каждую прихоть владыки. И президент заговорил:

- Вы не смотрите, что от нас пивом пахнет. Мы не пьяны. Если президент попросит вашей помощи, вы не откажете ему? К тому же просьба пустячная...

- Э, да чем я могу?..

- Киря, я зайду в парашу? - перебил Вадик.

- Иди.

- А девушка твоя дома, кстати?

- Нет, а зачем тебе, Вадик?

- Я просто спросил...

Вадик закрылся в уборной, а Кирилл с президентом пошли на кухню. Там Кирилл радушно предложил гостю чай и президент дипломатично принял угощение.

- Кирилл, вас ведь так зовут? У вас случайно нет знакомств на телевидении? Я попал в экстренную ситуацию и мне надо обратиться к народу.

- Нет у меня таких связей...

- Очень жаль, а Вадик уверял, что вы важный человек...

- Он преувеличил.

Президент задумался:

- Да уж...Не знаю что и делать. Я настоящий президент, понимаете? А они народ обманывают. Ну, ладно. Вы могли бы мне помочь в таком случае финансово? Я вам через 2-3 дня деньги вышлю?

- Конечно, господин президент...

- И отвезите меня на вокзал...

- Может аэропорт?

- Нет, там могут меня поджидать. Да и летать я боюсь.

- Хорошо, когда едем?

- С одной стороны, чем раньше тем лучше, с другой, возможно, в темноте будет безопаснее.

- Нет-нет - быстро поднял руки Кирилл - Мы не можем ждать темноты. Где этот Вадик, так долго не выходит из туалета. Вадик, открой - Кирилл дёргает двери. - Не отвечает, заперся.

- Надо ломать - сказал президент.

Кирилл навалился плечом - ничего не произошло.

- Дай я.

Президент ногой вышиб хлипкие двери. Ну вот что за бред: теперь в нашей квартире сломана дверь туалета. Что сегодня за день такой - думает Кирилл. А Вадик сидит на унитазе без сознания, шприц валяется.

- Козёл - констатировал Кирилл.

- Ой как некрасиво то... - запричитал президент.

- Чёрт, девушка должна прийти с минуты на минуту. Надо убираться. Наденьте свои кепку и очки...

Кирилл тоже собрался в дорогу и замер в нерешительности перед полностью расслабленным телом Вадика. Но президент решил дилемму: легко подхватил Вадика, словно мешок картошки и взвалил на своё мощное плечо.

- Ну, пойдём... - сказал президент.

- Знал бы этот наркоман, что его сам президент понесёт - одел бы приличный костюм.

По дороге Вадик успел немного отрыгнуть президент пивной пеной на спину, словно малое дитя.

Они сели в машину Кирилла, устроив Вадика на заднем сидении с удобствами. Всю дорогу президент тревожно смотрел в боковое зеркало и оглядывался через плечо и повторял «скорее».

Перед вокзалом машине не протолкнуться. Кирилл с трудом отыскал свободное место на парковке.

- Пойди узнай, когда мой поезд - сказал президент. - И купи жаренных крыльев в KFC, пожалуйста, я сутки не ел.

- Хорошо, господин президент.

- И колу!

Кирилл открывает бардачок, достаёт барсетку, там пачка денег, он отсчитывает несколько банкнот, закрывает барсетку, кладёт обратно в бардачок. Кирилл идёт к вокзалу. Президент нервно барабанит пальцами по торпеде. Сзади храпит Вадик. Президент открывает бардачок. Забирает барсетку. Надевает тёмные очки. Вылазит из машины Кирилла. Оглядывается по сторонам и быстрым шагом спешит прочь.

Он пересекает дорогу по пешеходному переходу, когда перед ним, взвизгнув шинами, тормозит чёрный автомобиль. Президент думает ругаться на беспечного водителя, но, увидев четверых в тёмных костюмах и белых рубашках в салоне автомобиля, президент бежит обратно на стоянку перед вокзалом.

Короткая футболка задралась и живот президента раскачивается.

- Маршрутка на Пепельнище! - кричит в ухо президента местный зазывала.

Какой-то нищий-калека выставляет вперёд костыль и президент падает разбивает колени в кровь, вскакивает, как раненный бык, бежит дальше, неуклюже переваливаясь толстым телом.

Он думал: «Господи, они ведь меня даже набрать вес заставили ради него, я был стройным и сильным человеком!»

Оглянулся - трое бегут за ним, автомобиль секретной службы объезжает и выруливает на стоянку с противоположной стороны.

- Люди! Помогите! - президент залез на бетонную урну, которая чуть не перевернулась она зашаталась, но он сумел удержать равновесия, возвысившись над толпой, президент сбросил кепку и очки и закричал - Люди! Я ваш народный избранник! Настоящий президент! Спасите меня! Они хотят меня убить и узурпировать власть подставной куклой-двойником, поверьте мне!

Прохожие и деловые люди останавливались и сперва смотрели на странно одетого мужчиной, как на сумасшедшего. Прохожие и деловые люди отмечали внешнее сходство и манеру речи, они прислушивались, но до совершения неких действий в помощь блаженному было ещё очень далеко.

Вадик в машине наконец открыл глаза, услышал глухие крики президента, огляделся - в салоне пусто.

Вадик выбрался из автомобиля. Президент кричал, балансируя на окружности урны. Мужчины в тёмных костюмах наблюдали поодаль. Приближался вой сирены. Со стороны вокзала к стоянке пробирался наряд милиции.

- Я ваш настоящий президент! Они во дворце держат подмену, двойника! Они хотят узурпировать власть, начать войну! Люди! Помогите мне вернуть власть, вместе мы сила!

Кирилл шёл от вокзала на стоянку. В руках у него ведерко куриных ножек из KFC. Он услышал крики, увидел безумного президента. С открытым ртом Кирилл наблюдает дикую сцену.

- Пусть живёт республика! Пусть живёт демократия! - орёт президент в отчаянии.

Под вой сирены на стоянку выехала карета скорой помощи. Вышли санитары крепкие, стащили президента с урны и заломили руки за спину. Мужчины в тёмных костюмах поманили санитаров к себе и те послушно подтащили президента.

- Что вы делаете? Это настоящий президент! Отпустите его! - кричал Вадик.

Вадик пытался броситься на санитаров, но его под руки взяли менты.

Санитары подвели скрученного президента к людям в тёмных костюмах.

- Тот? - спросил один агент.

Напарник пристально рассматривал вспотевшее лицо президента:

- Не, кажись, другой.

- Ага, другой.

- Прошу вас! - взмолился президент - Я перепишу на вас банк, я перепишу на вас фабрику, я вам все деньги и яхты отдам!

Агент холодно посмотрел на президента:

- Увести.

Санитары забросили президента в карету скорой помощи и сами залезли следом.

- Всё что в барсетке поровну, паря - послышался грубый голос одного из санитаров и дверь скорой захлопнулась.

- Киря! - закричал Вадик - Да скажи ты этим идиотам что там настоящий президент!

Кирилл сделал вид, что не слышит и не знает Вадика. Вадик с ужасом смотрел на предательство друга.

Менты обыскали Вадика и нашли пакетик с дурью и он сел на пять лет в тюрьму.

Кирилл смотрел, как Вадика сажают в бобик и увозят, ел жаренные ножки, пока они не закончились, а он не успокоился. Теперь в круглом ведёрце одни косточки.

Кирилл отправился домой к девушке-модели и они весь вечер смотрели кино, а он всё молчал и любовью заниматься ему не хотелось больше.

Президента без сирены везли в больницу. Он просил санитаров его отпустить, но они не слышали и делили между собой деньги из краденной барсетки. В больнице президент умолял медсестру достать ему одежду и ночью оставить замок на двери не запертым, но она не слышала и пристально смотрела на немолодого, уже на лысо бритого, плотного мужчину. Президент пытался договориться с заведующим отделения, обещал огромные деньги, сулил миллионы долларов, но врач игнорировал словесный поток буйного пациента. Врач велел президенту выпить пилюли. Президент отказался. Тогда санитары скрутили президента, а медсестра поставила укол и президент расслабился, растёкся по дивану и провалился в чёрную дыру.

Вечером в прямом эфире по федеральному телеканалу выступил президент и заверил свой народ, что он в порядке, а инцидент на вокзале во-первых исчерпан, во-вторых это скорее всего прискорбный случай больного актёра или обычного бродяги-сумасшедшего, в третьих и в завершение - скорее всего это провокация врагов, но правоохранительные органы разберутся.

С экрана президент улыбался и повторял слова покоя своему народу

Всего через долгих два года Вадик покинул неприятное место, он получил условно-досрочное освобождение с испытательным сроком. Помилование 457 заключённых от самого президента к новому году, правда из-за волокиты с документами выпустили их только летом.

Весь следующий год он обязан отмечаться в райотделе, встать на биржу труда за первый же месяц и в течении трёх следующих устроиться на работу - обязательный пункт. Новый налог на тунеядство одобрил парламент.

Вадик вернулся в город после двух лет тюрьмы, но домой идти не хотелось. Что дома: отец смотрит футбол и пьёт пиво, мама всё ещё в очереди в Сером Здании. Наверное. Ему никто не писал в тюрьму и не отчитывался о текущей ситуации, хотя всё и должно было когда-то изменится. Закончится. Только когда - никто в известность нас не поставит.

Четверо безликих и безымянных друзей за гаражами всё так же пили пиво и чинили белый, но грязный жигуль. Старушки ждали перемен на лавочках под подъездами, хотя всё до неузнаваемости поменялось.

Целый день Вадик пил пиво в парке, стояла липкая летняя жара и девушки ходили в коротких юбках, платьях, сарафанах, шортах. Девушки показывали Вадику длинные стройные ножки, девушки дразнили Вадика. Он понемногу сходил с ума, но кому он такой нужен. Он подумал что пора на новый круг. Написать бы барыге, но у него и телефона нет.

Под вечер ноги сами завели в родной район, но никто из прохожих не узнавал Вадика. Вадик взял ещё пива и сидел под подъездом. Давно стемнело. Зажглись звёзды. Фонари создавали иллюзию защищенности. Прохожих на улицах и во дворах всё меньше - наверное, довольно поздно.

Бомж Михалыч давно сброшен с трона района и поэтому он роется в мусорных баках последним. Он тащился по двору, как вдруг видит - на лавочке Вадик сидит, он его года два на районе не видел.

- О, Вадик, здорово!

- Привет, Михалыч - Вадик уже был рад что хоть кто-то узнал его.

- Где пропадал?

- Сам знаешь, где.

- А что не знать. За дурь?

- За неё.

- Ну, ничего. Ты голову то не вешай. Ты не пропащий.

- А то.

- Однажды я встретил мудреца. Думаешь, он жил в роскоши и богатстве? Нет, он жил в бочке и питался подгнившими бесплатными фруктами с рынка. Мудрец говорил: мой отец был цыган и я всегда норовил коня со двора увести, так знаешь, что мне пришлось сделать, мне пришлось уйти в места где нет дворов и коней. Мудрец говорил: не будь как дурак, не думай много. Каждый человек сидит на чем-то, на какой-то игле. Кто-то на дури, кто-то на табаке или алкоголе, кто-то на любви и сексе, кто-то на деньгах и власти или славе, кто-то на воспоминаниях, кто-то на фантазиях и мечтах, кто-то на семье и друзьях. Я таких матерей знавал, на которых дети хуже героина действовали. У каждого свой наркотик. Человечество такой уж вид, нам обязательно надо придумать себе наслаждение.

- Тебе надо бы книги писать Михалыч - заржал Вадик.

- А я и писал - заржал в ответ Михалыч.

- А у тебя какой наркотик Михалыч?

- У меня? Дорога. Я как вышел, так остановиться и не могу. Думаешь, дадут мне квартиру и деньги, так я перестану ходить-бродить? Неа, перестану. Я кайфую от жизни такой.

- Плохой ты мудрец, Михалыч.

Михалыч с горечью сплюнул, взял свои пожитки и поплёлся понуро к следующему мусорному баку. А у Вадика в сознании мёртвым грузом, холодным камнем, поселилась мысль и он прошёлся в соседний двор, где фонарь недавно погас.

Кирилл сидел на кухне один, уже поздно.

Все окна открыты, душная летняя ночь. Город гудит. Где-то идёт поезд неотвратимо. Слышен цокот каблучков во дворе. Задорных молодых каблучков. Потом каблучки в страхе ускорились и вдруг прекратился, неправильно, исчезли. Раздался крик.

- Помогите! Пожар!

Кирилл покрылся холодным потом. Ну нет, это не её голос

- Помогите! Пожалуйста! Пожар!

Кирилл ходил из угла в угол пытался выглянуть в окно, но там ничего не видно - темень. Но это же не её голос?! Опять женский крик:

- Не надо! Что вы делаете! Не надо! Пусти! Помогите! Насилуют!

Кирилл схватился за волосы от страха. Что же делать?!

Он всё таки выскочил из квартиры, побежал вниз по лестнице. Выбежал во двор. Возня происходила в кустах. Девушка уже бессвязно и тихо мычала - жестокая рука зажимала рот. Кирилл боялся подойти - вдруг, насильник вооружён ножом, или даже пистолетом, вдруг он вообще маньяк! К счастью, на земле Кирилл заметил кирпич и подобрал. Кирилл тихо и медленно подкрался в кусты: там одна тень навалилась сверху на другую и кажется душила. Кирилл ударил тень по затылку. Тень захрипела и повалилась на землю. Кирилл подал руку и помог девушке выбраться из-под насильника. Кирилл достал телефон и включил фонарик. Девушка тяжело дышала, глаза колодцы ужаса, смотрит то на своего спасителя, то на бесформенную тень на земле, на лице у неё синяк, одежда слегка порвана.

- Господи, спасибо...

- Вы как? Целы?

- Да, кажется...Он ничего не смог...Если бы не вы...Спасибо вам... - девушка разрыдалась.

Кирилл перевернул насильника и посветил фонарём в лицо. На земле без сознания лежал Вадик, из разбитой головы текла почти чёрная кровь.

Мир встречает мужчину суровыми испытаниями.

Так Кирилл узнал, что такое быть господином своей судьбы и нести ответственность, совершать поступки, подтверждающие слова. Он получил два года колонии поселения и штрафа на оплату лечения за нанесения тяжких телесных повреждений и превышения самообороны. Кирилл много переосмыслил после этих событий и наконец-то сделал своей девушке-модели предложение руки и сердца. По телефону, из колонии. Она удивилась и сказала: «как странно, мы так долго жили вместе, а ты и не думал жениться, теперь ты попал в колонию и хочешь, чтобы я приехала туда и два года жила с тобой? Что я там буду делать? Ладно, Кирюша, я подумаю».

Вадик безусловно узнал бы, как сурово правосудие к рецидивистам. Нельзя обманывать тех, кто в тебя поверил, как можно совершить преступление на условно-досрочном?! Но, судебная экспертиза после лечения признала Вадика недееспособным. Он получил группу инвалидности, неважно какую, ведь в этой стране инвалид каждый год должен заново доказывать свою инвалидность и проверять, в какой группу его запишут на этот раз, словно обязательный техосмотр автомобилей, понимаете?

Когда Вадика выпустили из психиатрической лечебницы без видимых улучшений, в телевизорах плавали всё те же головы. Вадик и в былые времена не отличался сообразительностью, а после открытой черепно-мозговой травмы почти что слюни пускал. Но за хлебом и пивом для бати сбегать в магазин ещё умел.

Зато дома сидит и о наркотиках больше не помышляет. Любит смотреть телевизор и гулять во дворе. Там солнышко весной, тепло, коты греются.

И этого достаточно.

Большего нам и не надо.

Карпов Александр «Мэрил, «Труба» и Машенька» «НИТЬ АРИАДНЫ»

***Карпов Александр***

**МЭРИЛ, «ТРУБА» И МАШЕНЬКА**

1

У Главпочтамта на сквозняке, попыхивая сигаретой и настораживая прохожих длиннющим вельветовым пальто, прогуливался худощавый мужчина в ковбойской велюровой шляпе и остроносых туфлях, называемых в народе «мокасами». Это был Сеня, легенда «трубы» - перехода под площадью, называемой в разные годы по разному, но всегда любимого места встреч киевлян, хоть как-то связанных с богемой.

В «трубу» каждый вечер наведывались музыканты и художники, архитекторы и студенты институтов искусств. Эта традиция родилась давно, когда студентов творческих вузов вселили всех вместе в новое семиэтажное общежитие на Красном хуторе. С тех пор «стрелки» и свидания назначались на выходе из метро в «трубе», тут праздновались чьи-то удачи, заливалось чье-нибудь горе. Рядом были все свои, и это создавало особую обстановку богемного братства, в котором стать своим было совсем непросто.

Хозяйничала в кофейне румянощекая Маня, или Манон, как ее называли завсегдатаи. Мгновенно принимая заказы, она умудрялась для бесконечной череды посетителей готовить отменный и относительно дешевый кофе. В горбачевские времена тут без опаски можно было распить бутылочку коньяка, а бывало, и попросить кофе с обещанием расплатиться через пару дней.

Тут обычно и встречались Семен и его старый приятель по учебе в консерватории- опаздывающий сегодня Кирилл.

Привет Башмет, опять задерживаешься? Манон нервничает, заждалась напоить бурдой народное достояние.

Здорово, Сема! Даша с фраком намучалась, ты то знаешь, как каждую фалду выгладить… Ну пошли, что ли?

Друзья протиснулись через кучку пацанов, балующихся помалу травкой, и пройдя в распахнутую настежь дверь кафешки, заняли столик с табличкой «Не обслуживается».

Маняша, два крепких как для своих, мне и заслуженному,- крикнул Сема, не обращая внимания на очередь.

Дядь Сем, она и так вам смолу в джезвах на песке держит, принимайте…

Потягивая ароматный напиток, Кирилл то и дело поглядывал на часы. Он много лет играл в Государственном симфоническом оркестре, был признанным первым альтистом и не мог позволить себе опозданий на работу. Тем более сегодня вечером, когда будет дирижировать приехавший на один концерт сам Спиваков.

- Сеня, а чего ты на концерт не идешь? Спиваков все-таки…

- А то ты не знаешь нашей с ним эпопеи. Могу сто первый раз рассказать…

Кирилл много раз слышал эту историю и замахал руками.

- Столько лет прошло, он давно тебя забыл, и кто тебя в зале заметит?

-Он-то, может, и забыл, а вот только я его помню. И место мое в оркестре занято…

2

История знакомства одаренного киевского скрипача Семена Ройтмана и Владимира Спивакова была довольно необычной. В 1986 году, через месяц после взрыва на Чернобыльской АЭС, в Киеве традиционно проходил фестиваль «Киевская весна», но на него никто не приехал. Побоялись радиации. А Спиваков с «Виртуозами Москвы» приехал. И выступил в филармонии перед ликвидаторами… Музыканты играли и плакали. А Сема стоял за кулисами и ждал, когда концерт закончится. Утихли аплодисменты, музыканты разошлись по артистическим. Спиваков ушел со сцены первым, но стоял с букетом цветов за занавесом и сквозь щель всматривался в лица покидающих зал зрителей.

- Владимир Теодорович, уделите мне пять минут. Я скрипач, играю в филармоническом, пожалуйста, послушайте…

Спиваков покосился на Сеню с явным неудовольствием:

- Я немного устал, ну раз уж вы тут, давайте, у вас пять минут. Что будете играть?

Сен-Санса, Рондо-каприччиозо…

Прошу…

Семен сыграл партию солирующей скрипки блестяще, Спиваков не прерывал его, слушал внимательно и с интересом. Потом негромко сказал:

- Отлично, завтра можете ехать с нами. Общежитие в центре Москвы гарантирую, испытательный срок - месяц, а там, может, и на гастроли поедем…

Сема замялся:

- Владимир Теодорович, я с радостью, только я Ройтман…

Спиваков улыбнулся.

- Я тоже не Иванов, и Рихтер, и Башмет тоже… У меня Ройтманов тридцать человек, и ничего, выпускают… Валюта стране нужна…

Это был переломный момент в карьере Семена Давидовича Ройтмана, сына ведущего инженера завода спортинвентаря и надомницы белошвейки, известной на весь Подол шитыми вручную крепдешиновыми платьями.

Поутру, в плацкартном вагоне поезда №2 «Киев-Москва», Семка уезжал в Белокаменную. Его провожали грустный Кирилл и его жена - Дарья Незнамова, девочка, которая из двух друзей выбрала на пятом курсе спокойного и, как ей казалось, надежного Кирилла. А сегодня она почему-то плакала.

3

К столику приятелей придвинули барные табуреты два молодых человека в нейлоновых куртках и одинаковых спортивных штанах.

- Брысь, малышня! Видите, столик не обслуживается.

- Дядь Сем, так мы ж угостить… Сегодня целый день цветочникам горшки таскали, потом витрины мыли, вот, и заработали немного. Рому румынского хотите?

Румынский ром был гадостью редкой, Семен это знал, но поскольку Кирилл уже нервничал и наверняка собрался бежать в филармонию, а вечер только начинался, можно было и угоститься.

Кирилл еще раз посмотрел на часы и протянул руку:

- Пока, Сем, только не пей много, прошу…

Давай, давай, тебе еще настроиться надо. А он перед началом суеты не любит. Наливай, молодежь, безродное пойло. Ром румынский. Румыния что, от Ямайки левее три дня на попутном ветре или как?

Парни заискивающе заржали.

- А расскажите, как в кинозвезду влюбились в Америке; мы ведь вчера конца так и не дождались, - прошелестел один из молодцов.

Они знали, что эту историю легендарный Сэм, так прозвали его по возвращении в Киев, рассказывать любил и каждый раз добавлял что-нибудь, чем веселил верных почитателей.

Второй стаканчик рома окончательно убедил Семена в необходимости начать свою историю триумфального взлета на музыкальный Олимп и падения, изменившего всю его последующую жизнь.

4

В камерном оркестре «Виртуозы Москвы» Семен прижился очень быстро. Он по натуре был незлобив, доброжелателен, весел и ко всему невероятно талантлив. Таких любили, хотя и не без ревности наблюдали, с каким интересом следит за его игрой маэстро Спиваков. И вот наконец согласованы гастроли оркестра в Америке. Маршрут – 16 городов, фантастическая по тем временам все еще не раздвинутого «железного занавеса» поездка.

5

Я видел этот вояж во сне. И каждый раз вскакивал ночью с постели; чудилось, что проспал и все без меня уехали… А как же нас готовили… Одних личных дел в разные ведомства и министерства штук двенадцать, да с биографией, да обязательно своей рукой написать. Потом встал вопрос о сокращении выезжающего состава. И тут маэстро показал себя настоящим мужиком. В лицо министру культуры Сидорову так и сказал: «Едем или все, или никто». И точка. А что значит «никто»? Контракт уже подписан, десятки тысяч долларов в министерских извилинах уже распределяются; ну не вышло на суточных сэкономить, черт с ним, пусть едут… И полетели. Нас встречали так, как могут встречать только американцы. После окончания концертов залы превращались в стадионы: бизнесмены во фраках и их пригруженные бриллиантами дамы орали, махали руками, забрасывали на сцену десятки букетов, кукол, сувениров, коробок с конфетами. Газеты соревновались в хвалебных рецензиях, десятки фотографий в разных ракурсах фиксировали изысканные манеры дирижера и наши одухотворенные лица. Я был уже первой скрипкой, а мое место в оркестре - первое слева от дирижерского пульта. Мне, Семену Ройтману, под овации зала маэстро Спиваков пожимал руку… И моих фотографий в газетах было много. Вместе со Спиваковым. Вам не понять этого, парни…

Третий стаканчик рома освежил Семино воображение, и он, закурив, продолжил:

- Оставалось последнее выступление в Сан-Франциско. Атташе, сопровождающий нас в поездке, предупредил, что концерт будет закрытым, так сказать, для избранных, и не в главном, а в малом зале театра. И что на концерте будут наш посол Воронцов, губернатор Калифорнии Пит Уилсон и женщина, с которой я много лет, начиная со своей юности, вставал и ложился в своей кельи, одна стена которой была сплошь оклеена ее фотографиями. Да, на концерт была приглашена Мерил Стрип со своим супругом. Супруг меня абсолютно не беспокоил, я читал о нем - нормальный америкос, скульптор, сидит днями в мастерской, месит глину. С Микеланджело и рядом не стоял… Конечно, вам эти имена не о чем не говорят, но если объяснять проще - три ну очень важных мужика, плюс атташе из посольства и американская кинозвезда, ну очень красивая женщина. Хоть и немолодая уже. Мы одногодки, с сорок девятого года. Вот наконец и встретимся…

6

Сема докурил сигарету и посмотрел на часы над барной стойкой. Половина девятого. Через тридцать минут можно начинать. А пока можно освежиться рюмкой нормального коньяку.

Манюня, чашку кофе и пятьдесят «Наполеона».

Не много, Сем, тебе ж еще работать?.. – отозвалась Маня.

Все путем, я в норме. И парням налей, за мой счет.

Семен, естественно, не рассказал своим юным собутыльникам о том, что молодая Мерил Стрип была абсолютной близняшкой Дарьи, арфистки из консерватории, за которой молодые студенты, альтист и скрипач, ухаживали четыре года… Семен был однолюбом, демонстрировал свою любовь к Даше неистово, тушил, клянясь в верности, сигареты о ладонь, приносил на занятия огромные букеты полевых цветов, но все обернулось иначе. Молчаливый красавец Кирилл, походивший на Паганини и Башмета одновременно, очаровал Дарью уверенностью в собственном таланте и спокойными, неназойливыми знаками внимания по отношению к избраннице. Пока Семен дурачился в воде и орал от холода, плывя на спор «до буя», Кирилл заботливо обтирал ее, продрогшую после купания в майском Днепре, махровым китайским полотенцем. После ее сольного выступления он неторопливо выходил на сцену, поочередно целовал обе Дашины руки, с поклоном дарил ей длинноногую алую розу, а затем артистично набрасывал чехол на арфу. За эти выходы ему всегда аплодировали, и это Даше очень льстило. Семен так не смог. Чувства переполняли его, он хотел совершать неординарные поступки и посвящать их даме сердца, он хотел действий… Десяток раз он находил повод подраться с приятелем, но каждый раз Дарья их мирила. А на пятом курсе они втроем, прихватив по дороге сокурсницу, пошли в ЗАГС, где двое тихо расписались, а двое были свидетелями. Дружить не перестали, но жить стали порознь: Кирилл с Дашей, а Семен – с сотней журнальных вырезок Мерил Стрип на стене. Он так и не женился. Были недолгие увлечения, разочарования, а однажды прибилась к нему барменша Манон. Каждый вечер она плакала, слушая его игру, а иногда, уставшего и не стоявшего на ногах, волокла в барную подсобку, где он моментально засыпал, укутанный теплым верблюжьим одеялом в обнимку со своей доброй и неназойливой феей.

7

- Ну, а теперь об американке. Мы вышли на сцену. Зал был полон. Сидя в первом ряду рядом с дирижерским пультом, я внимательно всматривался в лица зрителей. Обычно VIPов садят в шестом или седьмом ряду, но там сидели какие-то веселящиеся бизнесмены со своими накрашенными куклами. Свободными оставались лишь пять кресел впереди, совсем рядом со сценой. Скрытая шторой боковая дверь открылась, и все зрители восторженным ревом и аплодисментами встретили группу мужчин и одну женщину. Это и была Мэрил Стрип, моя кинодива, все фильмы которой я пересмотрел тысячу раз и все журнальные фотографии которой, появляющиеся в киосках, были аккуратно наклеены в моей подольской берлоге и центровой московской общаге. Она шла улыбаясь и, помахав рукой присутствующим, присела в кресло. Порывшись в сумочке, одела очки, которые, скажу вам, совсем ее не портили. Мужиков я, понятное дело, игнорировал, меня они не интересовали. Я разглядывал Мэрил: темно-синее платье – правильно, под цвет глаз, черная сумочка, тонкий черный поясок, туфли. Все четко. Платиновая, нет, как бы вам объяснить,- стального цвета оправа и перламутровая заколка в волосах. Нитка жемчуга на шее, жемчужинки в ушах и обручальное кольцо с огромным бриллиантом. У них не так, как у нас. У американцев если любишь, - дари одно кольцо с брилликом на помолвку, а потом, хоть умри, второе - на свадьбу … С кольцом, конечно, она погорячилась, не в тему, а так все высший класс, другого я от нее и не ожидал.

Зрители радостно захлопали, и я понял, что на сцене появился маэстро. Оркестр за пару минут подстроил инструменты, Спиваков поднял палочку – внимание, НАЧАЛИ! Мы играли здорово. Офигенно играли. Потеха случилась, когда в польке Штрауса Спиваков в паузе выстрелил в воздух из детского пистолета. Это была его фишка, но от первого выстрела пол зала вскочило… Вот умора была! Думали - террористы. Потом поняли, что полька «На охоте» по замыслу Спивакова предполагает стрельбу в обозначенных маэстро паузах. А Мэрил спокойно улыбалась. Слышала, наверное, в записи… Час пролетел как миг. Мы отыграли всю программу на одном дыхании и, многократно поднимаемые дирижером для поклона, ублажали свой слух громом аплодисментов, криками «Браво» и свистом, которым эти дядьки в смокингах выражали свой искренний и, скажу честно, заслуженный нами восторг.

Я смотрел на Мэрил. Она тоже аплодировала стоя. Мне показалось, что она обращается ко мне. Я поднял руку к уху, жестом показывая, что не слышу. Она повторила чуть громче: «Czardas Monti, please!». Я посмотрел на Спивакова, он тоже слышал и вопросительно посмотрел на меня. «Да, да, конечно, я могу…»,- я умолял его мысленно, понимая, что там сольная партия - моя, и что я буду играть для Мэрил.

Маэстро повернулся к оркестру и поднял левую руку. Внимание! «Чардаш Монти». Пауза, взмах дирижерской палочки и пошло… Если бы вы слышали, как я играл! Потом, многие годы, да и сейчас, в «Трубе», я сотни раз играл чардаш… С цыганами, студентами из консерватории, с Васькой-аккордеонистом… Но никогда больше я не играл так вдохновенно и так чувственно, как в тот вечер в Сан-Франциско… Ух-х-х, - Сэм допил коньяк, - меня аж на высокий слог потянуло…В общем, клево я играл, мужики. Когда мы окончили, к Спивакову с цветами и подарками снова побежала публика. Сцена и так была завалена цветами, а их несли и несли.

И тут, слушайте, аборигены, и тут Мэрил открывает сумочку, вынимает оттуда какую-то открытку, что-то пишет на ней и с алой розой на длиннющей ноге встает и подходит к сцене. Но не к Спивакову, а ко мне. Вы понимаете?! Она протягивает мне розу, открытку и улыбаясь, повторяет по-английски: «Восхитительно! Это восхитительно!»….

Сцена высокая, ей по грудь, я слетаю со стула и падаю на колени. И первый раз в жизни поочередно целую руки женщине, беру розу и открытку… Слышу, как оркестранты выражают свое одобрение ударами смычков о струны. Вижу боковым зрением секундное недоумение в глазах Спивакова. Лепечу слова благодарности, читаю написанное на открытке с ее фотографией и автографом. А текст, парни, убил меня наповал. Она написала: «Великолепно! Вы лучший…» На своем, английском, конечно. А как это звучало! «Great, you are the best…» Вы понимаете? Она мне написала, что я лучший. Все это происходило в считанные секунды. И тогда я ей сказал. На чистом английском языке сказал ей: «Better – this is you. You are the best in my life!» Перевод вам, ребята, ничего интересного не откроет. Сказал, в общем. Она рассмеялась, полагая, что я что-то напутал в английском, но я сказал то, что хотел сказать. За всем происходящим с высоты дирижерского подиума наблюдал маэстро Спиваков, а на сцене укатывалась от изумления вся наша виртуозная братва.

Группа с губернатором штата во главе поочередно обменялась рукопожатиями с дирижером и под аплодисменты и одобрительные крики зрителей исчезла за шторой, откуда и пришла. Мы знали, что сейчас Спиваков присоединится к ним, нам же накрыли шикарный фуршет в смежной комнате.

Возбужденные от успеха и потрясенные моим общением с Мэрил Стрип, коллеги окружили меня и с интересом рассматривая фото кинодивы, описывали в лицах мою выходку и с подколками подносили стаканы отличного шарового виски. После четырех бурбонов и чего-то еще, достаточно крепкого, я потянулся за сигаретой, но бармен указал на стеклянные двери, ведущие на площадь у театра. Туда я и вышел покурить и, как оказалось, найти на свою ж…. новые приключения…

8

- Все на сегодня, господа. Пора на работу…

Семен зашел в подсобку, где хранилась его скрипка, показал большой палец Манон, все, мол, в порядке и не спеша побрел на свое привычное место. За тощей фигурой Сэма со скрипичным футляром под мышкой, потянулись его постоянные слушатели, пошатываясь, брели совсем уже размякшие мальчишки-собутыльники, с уличного выхода но лестницам слетела тройка студентов из консерватории и еще кто-то, кого артист не знал, но и они ждали его традиционного часового концерта. Манон объявила о закрытии кафе и пошла прихорашиваться в подсобку - какой никакой, а концерт все-таки.

9

Последний вечер в Сан-Франциско для Семена Ройтмана окончился недоразумением. Выйдя покурить, он увидел перед входом в вестибюль театра группу людей, двое из которых держали транспарант с надписью на русском: «Борис, руки прочь от Чечни!» Демонстранты стояли, мирно покуривая и негромко переговариваясь между собой. Очевидно, они ждали посла и губернатора. Неподалеку с кинокамерами на штативах и микрофонами скучали репортеры. Фрак, манишка и бабочка нашего героя были замечены сразу.

Эй, приятель, ты русский? – спросил один из демонстрантов, вероятно старший.

Да, в некотором роде, - отозвался Семен, улыбнувшись и закуривая.

Так иди к нам, тут почти все русские эмигранты, расскажи, что там у вас, нового.

Да что нового? Перестройка была, Горбачев, сейчас Ельцин, вроде не такой гонористый, жить стали лучше, вот уже и заграницу ездим…,

А в Чечню чего полезли? Что, в Сибири земли мало? - старший начал задираться…

Знаете, ребята, мы, музыканты, в политике не бум-бум, мы, как бы сказать, искусству служим, в массы его несем, - он почувствовал, что получается как-то фальшиво и сменил тему: - Вот, сама Мэрил Стрип автограф подарила, значит мы чего-то хорошего делаем, – язык у него слегка заплетался.

Ну да ладно, - старший посмотрел на открытку и обнял его за плечи.

Становись рядом, и мы на память сфотографируемся….

Защелкали затворы камер, демонстранты несколько раз менялись местами, норовя стать поближе к человеку во фраке, блаженно улыбающемуся от воспоминаний необыкновенного вечера…

На следующее утро фотографии со счастливым Семеном, стоящим на коленях перед Мэрил Стрип, а также фотосессия с уличными демонстрантами были напечатаны во всех утренних газетах. А по приезду в Москву и вызову на беседу «куда следует» скрипачу Ройтману было предложено покинуть ансамбль «Виртуозы Москвы», как человеку сексуально неуравновешенному, политически незрелому и в общем – неблагонадежному. Семен попытался просить защиты у Спивакова, но тот его не принял. «А при Сталине расстреляли бы запросто, - неудачно пошутил провожавший его приятель, - ты только не хнычь, ты талантливый, пробьешься…» Обнялись и – аrrivederci, златоглавая…

Из репродуктора раздались первые ноты «Прощания со славянкой», и Сэм Ройтман в купе вагона СВ поезда №1 «Москва–Киев» отправился в свое, почти забытое прошлое.

10

В филармонию его не приняли, в академический оркестр - тоже. Московские деньги быстро закончились, и что-то нужно было предпринимать. Однажды, возвращаясь после очередного неудачного собеседования, он услышал в подземном переходе слаженную игру двух гитар и отличный женский вокал: кто-то выводил старую цыганскую песню «Не вечерняя». Он повернул за угол и остановился в изумлении. У стены расположилась живописная группа цыган, ладно поющих свои рвущие душу романсы. А народу вокруг было - не протолкнешься. Он помалу продвигался к играющим и наконец, дождался когда его заметил длинноволосый, чернявый с сединой, красавец цыган, в алой косоворотке, очевидно, старший этого «ансамбля».

- Ты че, поиграть хочешь? - спросил он, поглядывая на футляр под мышкой Семена.

- Запросто, с удовольствием,- ответил Сеня и мигом вынул скрипку. - Что сыграем?

А давай сначала послушаем,- цыган опустил гитару и присел на пустой ящик из-под апельсинов. – Играй что хочешь… Пусть народ заценит.

Семен закрыл глаза. Все беды и неудачи последних попыток трудоустройства, безденежье, одинокие вечера в пустой родительской квартире однозначно подсказали ему тему, и он громко объявил:

- Сарасате, «Цыганские напевы».

Грустная, трагическая мелодия в первой части и азартное, виртуозное ее окончание взорвали «трубу» бурными аплодисментами.

- Ты наш, но солист, мы тебе разве что в подтанцовку годимся,- широко улыбаясь, пробасил цыган в красной рубашке. - Верно говорю, ромалэ?

Цыганки ласково поглядывая на Сему, обнимали его, одна шутя набросила на плечи платок:

- Женатый?

- Да нет, не пришлось… - ответил он и подумал: «Сейчас по карманам чистить начнут, фигушки вам, ничего там нету, хоть бы ключи не украли».

- Не о том думаешь, друг, цыгане поющие, карманов не чистят, а если и бывает что - гаданье там, ворожба – так и то, только до восьми. А после восьми – поем. Выпей вина, - сказал старший и глянул в сторону девушек: - Зарра, «Величальную….»

Так, под «Пей до дна, пей до дна….» Семен Ройтман был принят в дружную семью «трубачей» и совсем неожиданно для себя стал легендой и любимцем всех ее обитателей.

Однажды столкнулся в переходе с Кириллом, зашли попить кофе, потом уже традиционно встречались почти каждый день, Маняша на горизонте замаячила. Душа согрелась, была музыка, были поклонники и даже несколько фанатов. Появились и деньги, не так уж и много, но хватало. И еще была его поющая скрипка, волшебные звуки которой ждали каждый вечер. Жизнь наладилась.

11

Концерт в филармонии прошел прогнозируемо хорошо. Маэстро Спиваков, как всегда был обаятелен и улыбчив, дирижировал энергично и весело. А публика восторженно встречала каждое сыгранное произведение. Кирилл, выйдя с оркестром на последний поклон, заметил в третьем ряду свою давнюю обожательницу, бизнес-вумен Луизу. Она была умна, богата и красива. У нее в жизни было все, чего она желала.

Как-то подруга привела ее в филармонию на концерт симфонического оркестра, слушали невнимательно, перешептываясь и обсуждая элегантного моложавого мужчину, играющего на альте. Поспорили, что Луиза привезет его в «Лансерот». Не на деньги, что там деньги,- «на интерес». И таки привезла, подогнав свой «Maserati» к боковому входу, предварительно спросив у билетерши имя альтиста.

- Кирилл, можно вас на минуту? Садитесь в машину, пожалуйста…

Он посмотрел на сидящую за рулем женщину и опустился рядом на мягкое белое сиденье. Луиза назвала свое имя и глядя ему в глаза, предложила:

- Поужинайте со мной, сегодня у меня очень грустный повод… Но о нем позже…

Кирилл не знал, что ответить… У него в кармане лежал список продуктов, которые покупались обычно по дороге домой, а еще ждали жена и дети.

- Спасибо, Луиза, но у меня еще куча дел…

Понимаю, наверняка продукты для дома, сегодня ведь суббота… Верно?

Да, я обещал жене.

А мы поужинаем, и я подвезу вас прямо к дому. По дороге и в магазин заскочим. Идет?

Хорошо, только недолго.

В ресторане они, и правда, не задержались, выпили бутылку «Crystal» 1996 года, съели дюжину устриц, лимонный и клубничный sorbet. Кирилл, вначале был скован, но потом расслабился и поймал себя на мысли, что в жизни не встречал такой эрудированной, все понимающей и нестандартно мыслящей женщины.

В конце застолья Луиза по деловому произнесла:

Теперь о поводе. Кажется, сегодня я теряю независимость. И виновник этому - вы, Кирилл. О семье мне не рассказывайте, завтра мои пинкертоны доложат о вашем генеалогическом дереве до пятого колена, спать с собой не обязываю, замуж – не зову. Давайте попробуем дружить. Идет? Да не напрягайтесь, счет нам не подадут, - она усмехнулась,- этот ресторан, подарок моего первого мужа. Прекрасный человек, живет в Испании, дружим до сих пор. Вижу, что вы согласны, а теперь поехали в «Центральный», он до одиннадцати.

Прощаясь, она поцеловала его в щеку.

- Пока, Паганини, до встречи, я тебя найду.

Кирилл пришел домой все-таки необычно поздно, что-то неловко солгал, и выложив продукты в холодильник, прошел в душ.

Духи у Луизы были необычайно стойкими…

Так и повелось. После каждого концерта, если Луиза была в Киеве, они уезжали куда-нибудь ужинать, иногда бывали за городом в каком-нибудь клубе или отеле. Кирилл привык к Луизе, часто ловил себя на мысли, что ищет в зале знакомые улыбающиеся глаза и ожидает этого, понятного только ему знака - левая рука в перстнях с широко раздвинутыми пальцами, мгновенно сжимаемая в кулак.

Даша очень быстро догадалась о другой женщине, часто плакала, чем еще более раздражала Кирилла. Он так и не научился за многие годы толково врать, как это обычно принято в рано сложившихся семьях, проживающих в безысходности, тоске и двуличии лучшие годы жизни, и подтверждая своим грустным существованием, что самая страшная пытка- это одиночество вдвоем.

11

Обычно Семен начинал играть в девять часов. В это время бегущие в метро толпы жителей спальных районов редели, в «трубе» болтались лишь завсегдатаи, случайные искатели ночных приключений да любители послушать уличных музыкантов. Вот и сегодня у ниши, где он обычно играл, уже собралась группа людей, многих из которых он знал даже по имени. Сеня вынул скрипку и смычок, в полупоклоне снял свою ковбойскую шляпу и бросил ее на крышку открытого футляра, в который обычно бросали деньги. Людей прибавилось, подтянулась группа уже почти родных цыган: Никита, Зара с Николаем и озорная Рада – их дочь. Рядом стояли парни и девчонки из консерватории, подошла и Манон с подружками.

Сэм, не томите, начинайте, пожалуйста, уже заждались….,- не громко, но требовательно сказала высокая, элегантно одетая женщина в кокетливой фетровой шляпе с выгнутыми полями, оставлявшими в тени ее лицо. Она подошла к лежащему на асфальте скрипичному футляру, небрежно обронила в него стодолларовую купюру и спокойно встала рядом с мужчиной, взяв его под руку. Семен поднял голову и увидел, что это улыбающийся Кирилл.

Сэм, познакомься, это Луиза, я рассказывал ей о тебе, и вот вместе пришли послушать…

Семен нахмурился, и смерив взглядом с ног до шляпы спутницу приятеля, громко и четко произнес:

Деньги по субботам у церкви на паперти подают, а артистов благодарят за наслаждение от их игры, так, господа? - он уже обращался к группе почитателей. Повернулся спиной к публике и… согнувшись от острой боли в груди, упал ничком на шляпу и раскрытый скрипичный футляр. Толпа испуганно колыхнулась, бросилась к скрипачу, кто-то крикнул «Скорую!», из толпы выскочил мужчина, присел около упавшего, пощупал пульс, быстро вынул пачку с таблетками и сунул прозрачный шарик Семену под язык.

-Это нитроглицерин, мне помогает, объявил он. Трогать Сеню не нужно, только на носилки. Это приступ. Сердечный приступ….

Кирилл пытался пробиться к другу, но его остановил широкоплечий мужчина в красной косоворотке, одетой поверх толстого свитера:

- Ты, чявалэ, бери свою кралю, да вали отсюда, пока она свою шляпу с головой не потеряла…..

12

У отделения реанимации перешептываясь и то и дело поглядывая на дверь, стояло два десятка людей. За каретой скорой помощи в больницу эскортом приехали автомобили разных мастей и несколько спешно пойманных такси. Почитатели легендарного скрипача искренне переживали приключившеюся с ним беду и в надежде на лучшее ожидали, что скажет зав. отделением реанимации. Дверь отворилась, из палаты вышли медсестра и врач.

В руках у девушки были пальто, кулек с одеждой и примятая широкополая шляпа. Врач держал бумажник, очевидно, с документами.

Родные или родственники есть?

Есть, есть,- загудела толпа, -Как он?

Приступ купирован, будет жить ваш гений, видно, выпил лишнего… А кто из близких есть?

Маня отозвалась,- Я буду, то есть….

Жена? Маша?

Да,- Маня с удивлением смотрела на усмехающегося врача.

Я так и понял…Он в бреду сначала Мари или Мэри звал, как-то неразборчиво, а потом Машеньку…Вас значит. Вот, возьмите бумажник, тут паспорт, фотографии.

Раскрасневшаяся Маня, не стыдясь ручьем льющихся слез отошла к окну с пачкой документов переданных врачом.

Ее, девочку выросшую в детском доме, назвали Марией только раз в жизни,- при получении паспорта, а Машенькой – в бреду, первый раз в жизни, - ее единственный родной человек Сема Ройтман.

В бумажнике Семена лежал паспорт на случай неожиданной встречи с милицией и две фотографии: на одной – молодой Сеня с каким-то парнем и девушкой, на другой - женщина, наверное актриса и какая-то надпись на иностранном языке.

- Слава Богу, жив,- сквозь слезы, прошептала Маня, ну и дал, - МАШЕНЬКА!

**НИТЬ АРИАДНЫ**

Аэропорт Гатвик.

У регистрационной стойки аэропорта Лондон­Гатвик, среди чемоданов и сумок, нервничающих пассажиров, неугомонных детишек, крепко обнявшись, стояли немолодые мужчина и женщина. Они смеялись и плакали, что­то шептали друг другу, смахивали слезы, и никого не замечая вокруг, снова и снова о чем­ то без умолку тихо говорили. Мальчики и девочки в одинаковых майках со слоганом «Chernobyl’s children. Born to be live», синхронно открыв рты, с любопытством глядели, как неловко пытаются целоваться их руководительница Ариадна Карловна и седоволосый пожилой мужчина. Им мешали очки, от этого они еще больше смеялись и продолжали держать друг друга в объятиях, не стесняясь толпы. Не снимая рук с плеч мужчины, женщина обратилась к детям:

— Ребята, это Алекса. Дядя Алекса был военным и когда­то давно служил там, где жила я, и там, где жили до аварии ваши родители. Мы были очень дружны...

За два дня до Гатвика.

В залах Лондонской национальной галереи было как всегда людно. Посетители, неспешно передвигаясь по залам, останавливались перед картинами в золоченых рамах и шепотом обменивались впечатлениями. Продвинутые китайцы считывали информацию о картинах с iPad, студенты делали какие­то пометки в блокнотах, дети стайками присаживались у полотен прямо на пол и внимательно слушали искусствоведов.

В одном из залов мое внимание привлек Portrait of Mile Rashel — работа художника William Etty. Изображенная красавица с большими и грустными глазами была поразительно похожа на женщину, с которой я познако­ мился много лет назад. Мы были вместе всего три дня, потом судьба безжалостно разъединила нас, оставив на всю жизнь воспоминания, которые согревали душу в самые тяжелые минуты.

Сорок пять лет до Гатвика.

В лесу, у забытого богом и советской властью села Копачи появились неожиданные гости — солдаты инженерного взвода, почему­ то направленные туда во время учений под названием «Днепр». Сентябрь 1967 года, месяц, когда старослужащие слушали радио, ожидая приказа министра обороны о демобилизации. А его все не было. Коротая дни вда­ ли от своего понтонного полка, они ловили рыбу, собирали грибы, а по вечерам появлялись в клубе поплясать с местными девчонками, благо парней в селе было мало, а колоритную группу красавцев солдат принимали с нескрываемым интересом. Взвод был интернациональным: украинцы, литовцы, русские и узбеки. Жили дружно, никакой «дедовщины», разве что после сбора грибов нарядов на кухню узбекам до­ ставалось больше других — слишком много поганок приносили из лесу. Поначалу наотрез отказываясь от свинины, через месяц службы в армии узбеки с удовольствием уминали тушенку с кашей, а на учениях и к салу пристрастились — крестьяне за помощь по хозяйству платили хорошими продуктами. Лица узбеков округлились, глаз за щеками почти не было видно; плохое знание русского языка они компенсировали радостными улыбками и постоянно кивали, как бы соглашаясь со всем. Для копачин­ ских девчат они были экзотикой, требующей особого внимания в соответствии с законами гостеприимства и интернациональными тра­ дициями нашего народа. Украинцы и русские чувствовали себя петухами в курятнике: гордо выпятив грудь, украшенную всевозможными солдатскими отличиями, они без стеснения выбирали подружек и запросто приглашали поплясать, а позже и прогуляться в парк приглянувшуюся красавицу. Литовцы были корректны и учтивы. Они степенно прохаживались вдоль лускающих семечки девушек и как бы случайно дотронувшись до локтя или плеча, брали избранницу под руку и вежливо вели в центр площадки. Потанцевав, они так же неторопливо возвращали ее на место и выходили покурить. На крыльце, попыхивая сигаретами, «горячие литовские парни» обменивались мнениями о произведенном впечатлении на партнерш, счастливых от внимания «иностранцев». «Кай трэй келай?» (Ну, как дела?) — спрашивал у друга белобрысый добряк Петерс. «Герай (Хорошо), — отвечал его приятель Рышард. — Тэй ман патинка». (Это мне нравится.) Танцевали под радиолу «Рекорд», виниловые пластинки были заиграны и исцарапаны, но это не мешало веселью. Клуб был сельской хатой, и звука радиолы вполне хватало, чтобы обнявшись, мерно прошагать пять­ шесть положенных метров пародии на танго, ощутить забытую теплоту и податливость молодых женских тел, обалдеть от аромата дешевых духов вперемешку с едва уловимыми запахами хлеба, молока и русых льняных волос, которыми Бог наградил этих раскрасневшихся девчонок. Чтобы не потерять кого­нибудь, взвод подъезжал к клубу на грузовике, а в двадцать четыре ноль­ноль водитель автомобильным сигналом извещал солдат об окончании гуляний; они запрыгивали в кузов, а девчата махали платками им вслед, глотая пыль, но не уходя, пока машина не исчезала среди разла­ пистых елей лесной дороги.

И еще о местном гостеприимстве — каждый из нас знал, что стоит постучаться в незапертые двери самой бедной хатенки, и хозяева, попросив рассказать о том, «что там, в столице», обязательно угостят крынкой мо­ лока со свежеиспеченным хлебом, а то и нальют стаканчик еще теплого, с печи первака. Лишь в одной хате на краю села, рядом с лесом, дверь была всегда заперта. Сельчане рассказывали, что живет там вдова егеря с дочерью, работающей в селе библиотекарем. Библиотеки в селе нет, книги она держит дома, а три раза в неделю приносит их в клуб и раздает желающим, в основном — детям. Звали же библиотекаршу Ариадной.«Ариадна, — думал я, — в селе Копачи... Интересно». Однажды вечером из нашего грузовика мы увидели ее, выходящую из клуба с боль­ шой авоськой книг. Она шла легко, глядя прямо перед собой, потом повернулась в нашу сторону, чуть кивнула и улыбнулась. Машина еще не остановилась, а три напрягшихся тела уже летели с кузова. Бойцы, одергивая на бегу гимнастерки, демонстрировали гусарскую готовность по­ ложить жизнь за право выхватить эту авоську и нести ее туда, куда укажет красавица. Первым добежал харьковчанин Бордюг, балагур и весельчак. Добежал... и остановился. Они стояли рядом, молодая женщина улыба­ лась, а наш многоопытный губошлеп и бабник остолбенел и, покраснев, опустил голову.

- Спасибо, мне рядом, да они совсем и не тяжелые, а вы отдыхайте, вас уже в клубе заждались, — тихо сказала Ариадна и пошла по тропинке к своему дому.

— Гордая, наверняка из городских, — молвил Бордюг и, закурив, о чем­то задумался.

— Пошли, ребята, к нашим. Чего время зря терять? — поторопил кто­то, и «гусары» двинулись к клубу, откуда призывно раздавалось: «Прощались мы, светила из­за туч луна, прощались мы, и снова я одна...»

Бойцы рвались в бой, и узбеки на ходу репетировали домашние заготовки: «Я Ахмед, ты менэ нравишся. Я хочу тебя любит, но не знаю гдэ...»

Все как обычно. Но...Стемнело. Я шел по тропке и знал, что иду к дому на краю села, где живет женщина со странным именем Ариадна. В окнах дома горел свет. Открыв калитку, подошел к окну, постучал. В ответ — тишина. Постучал еще раз. Тишина.И вдруг за спиной, совсем рядом:

— Добрый вечер! Некому открывать. Мама болеет, не встает, да и слышит плохо, а я в лесу кормушки проверяла...

Ариадна смотрела на меня огромными синими глазами и чуть улыбалась.

- А я вчера видела, как вы с обрыва прыгали, как в речке купались. А потом у родника с альбомом сидели — рисовали. Чужой вы среди своих ребят, как и мы с мамой в этом селе. Наверное, суждено было, чтобы мы встретились.

Честно говоря, в родство душ, судьбонос­ ные встречи и всякое такое я тогда не особен­ но верил. Просто увидел необычную красивую молодую женщину, непонятно как оказавшуюся в этой глуши, — и устремился за ней, как мотылек летит на огонь...А потом был ее рассказ.

Когда в 1941 году немцы пришли в деревню и фронт покатился на восток, в Копачах осталась рота немецких солдат и два офицера. Председателя колхоза назначили старостой, который сразу же донес на местного егеря, — якобы тот помогал партизанам. Егеря отправили в концлагерь, где он и сгинул. Крестьян немцы не трогали, только регулярно проводили облавы, имитируя поиск партизан, хотя тех здесь давно уже не было. Впрочем, это не мешало рапортовать о борьбе с ними и уберечься тем самым от отправки на фронт. Но однажды несколько напившихся немцев ввалились в дом егерши. Женщина отбивалась, как могла, звала на помощь. На крик прибежал старший офицер, отправил солдат в карцер, а наутро переехал на постой к красавице вдове. Карл, так звали офицера, был учтив, добр и аккуратен. Дом солдаты быстро привели в порядок, на уже общем столе появились колбаса и сахар, немецкая тушенка и шоколад. Никто точно не знал, когда егерша полюбила Карла, только через несколько месяцев она забеременела. Сельчане от нее отвернулись; младший офицер, состряпавший рапорт о недостойном поведении своего начальника, был повышен в должности. А Карла послали на фронт, где он нашел свою смерть в боях под Курском. У егерши родилась девочка, которую она на­ рекла Ариадной, исполнив просьбу Карла.

После изгнания оккупантов местные партийные активисты не могли терпеть «немецкую подстилку» и направили подробный донос в областные органы. Мать арестовали и отправили в лагерь, а девочку определили в Киево­Святошинский сиротский приют. Потом была школа, клеймо дочери врага народа, работа и наконец недобор на библиотечный факультет киевского института, куда она и поступила к своей великой радости. Рас­ пределили ее домой, а тут и мать выпустили по амнистии. Так они и оказались снова в Копачах. Новый председатель сельсовета пожалел их, а потому как в селе после войны мужиков не хватало, определил маму работать егершей. А Ариадне, как образованной, было уготовано место секретарши председателя. Да больно назойлив он оказался, мужик мо­ лодой, кровь играла, что ни день, приставал с предложениями. Потом мать начала серьезно прихварывать, пришлось за ней ухаживать. Так и случилось, что приходящим библиотекарем стала.

— Работа нравится, много времени с детишками вожусь, своих­то не завела.

— Что ж так, вы ведь такая красивая, люди засматриваясь, останавливаются. Вон наш Бордюг сегодня остолбенел перед вами.

— Бог его знает, сторонились... Может, из­ за прошлого, может, что имя такое...

Мы так и стояли у крыльца.

- А зовут­то вас как? — Сашей. — Алекса значит. Хорошее имя, доброе.

— Чем же оно доброе? — Александр в переводе — «Защитник сла­

бых», стало быть — добрый.

Так на последующие три дня я стал Алек­сой, а иногда — Александриком.

Сорок четыре года до Гатвика.

После монотонно­размеренного армейского житья учеба в Художественном институте казалась сплошным карнавалом. Неожиданные поводы куда­то бежать, что­то смотреть. Высоцкий в Доме архитектора — попробуем пробиться по студенческим, Марыля Радович в Киеве — билеты дорогущие — как быть? Сегодня Володя Хадзицкий у нас в художке, Саша Авегян с «Марией­Орантой» тут же, концерт для своих... А еще футбол во внутреннем дворе института, пикники на подольских холмах до глубокой ночи... Да, на занятия будущим лауреатам Шевченковской и прочих государственных премий времени не хватало; а интеллигентная профессура, понимая, что дело имеют с людьми неординарными, и вспоминая себя молодыми, гоняющими мяч в том же дворе, на многое закрывала глаза. Я с удовольствием жил в этом бешеном ритме, лишь изредка вспоминая прошлое, да и то, когда удавалось побыть наедине с самим собой. И тогда приходила боль от недосказанного, от того, что все так неожиданно кончилось, только­только начавшись... Надо что­то делать... Но на следующий день привычно откладывал. Может, через неделю. Да, обязательно...

Каникулы подкрались незаметно, и вдруг я почувствовал, что ЗАВТРА ПОЕДУ ТУДА, В СВОЕ СЧАСТЛИВОЕ И ТАКОЕ КОРОТКОЕ ВЧЕРА! Решено, поеду. И двум друзьям в общежитии предложил отвезти их в такие сказочные места, которых никто никогда им больше не покажет. Поверили, гнать куда­то было привычно, а тут еще на перекладных почти в Белоруссию...В шесть утра, на площади Шевченко с билетами до Иванкова, мы втиснулись в автобус. Сидя на рюкзаках, перебрасывались шутками, клевали носами... Ночи­то не было, а были большие сборы. Из Иванкова на попутке протряслись до Комарина, а к вечеру были в Копачах. В селе, казалось, ничего не изменилось. Те же разбитые лесовозами дороги, беленые опрятные хатки, покрытые гонтом и лишь изредка рубероидом или шифером. У магазина напросились на ночь к бригадиру лесорубов, для солидности сказав, что тут электромагистраль протянут, а мы зарисовки местности будем делать. Парням было все интересно. Совершенно обалдевшие, они слушали рассказы хозяина о полянах белых грибов, куда он поведет нас завтра, о роднике в лесу, о кабанах, что ночью приходят на хозяйские наделы и сжирают всю кукурузу, прямо спасу нет. А стрелять некому, мужиков в селе совсем мало, молодежь в город ушла, только к лету с малышней проведать стариков наезжают. А так — тоска. Я слушал и не знал, как спросить об Ариадне.

— А давайте в клуб пойдем, — предложил. — Интересно, вспомнит ли кто меня? Поди уже прошло больше полугода...

— Да ничего интересного там нет, — буркнул лесоруб. — Ну да пройдите, тут недалече...

Налив по гранчаку водки, он добавил:

— Вернетесь — как раз жена с вечерней дойки прийдет, ужин сварганит. Рыжки, рыжики по­вашему, с бульбой есть будем.

Стемнело. Светились лишь редкие окна домов да несколько фонарей на улице — у магазина, сельсовета... А вот и крыльцо клуба, двери, на удивление, заперты, а на ступеньках дедок и пять старух в платочках, и все под хмельком. Увидев нас, запели песню с интригующим припевом: «Любовь, друзья, закон такой, который всех касается...» Пели и смеялись, радовались неожиданной публике. Выпили разом с нами самогонки, разговорились... Мои спутники, уже крепко взямши, размахивая руками и перебивая друг друга, разъясняли перспективы электрификации района и важность нашего задания. Я понял, что это надолго, и исчез за кустом сирени, которую очень хорошо помнил с тех, прошлых дней. К домику Ариадны я не шел, почти бежал. В окнах горел свет. Я приблизился к тому же окну и, как когда­то, постучал. Услышал, как отворилась входная дверь. На крыльцо кто­то вышел. Я не обернулся. Я знал, что сейчас одна рука ляжет на мое плечо, а другая погладит белобрысую шевелюру, потреплет пальцем мое ухо и успокоится на другом плече. А затем я почувствую вначале запах волос, а потом и легкое прикосновение ее щеки к моей спине. Потом я обернусь...

— Это кто тут по ночам шляется?

Я вздрогнул от неожиданности, увидев огромного мужика с двустволкой наперевес.

— Это я, извините, мы тут проездом... А можно Ариадну увидеть?

— Карловну ищешь?

— Да, очень хотел увидеть, я, мы, ну как бы это вам объяснить...

— Да ничего не объясняй, и так ясно. Заходи.

Хмель прошел моментально. В доме новые занавески, скатерть другого цвета на столе, а в углу появилась детская кроватка. Во второй комнате дробно стучала швейная машинка.

— Ариша, выходи, мать поднимай, хватит ей шить, у нас гости...

Я не отрывая глаз смотрел в полуоткрытую дверь.

Из комнаты выбежала девчушка лет пяти, смутилась, увидев незнакомца, и подойдя к печи, попробовала спрятаться за ней.

— Это Аринка, в честь Ариадны назвали...

Потом я познакомился с его женой Дарьей, да в конце концов и с ним — Григорием, егерем, что сменил маму Ариадны, умершую незадолго до Нового года. Узнал и о том, что было после моего отъезда. Мать Ариадны перед смертью отдала дочери документ, который хранила в тайнике под своей кроватью. На гербовой бумаге, скрепленной печатью местной комендатуры, немецкий офицер, потомок древнего аристократического рода из Брауншвайге, подтверждал, что является отцом девочки с именем Ариадна, рожденной простой женщиной из глухого села Копачи. В тайнике был и адрес отца Карла и католический крестик, оставленный Карлом для ребенка. Хоронили женщину всем селом; крестьяне — народ отходчивый, долго зла не держат. А Ариадна отнесла книги в клуб, собрала дорожную сумку и после девяти дней уехала из Копачей в Киев.

— Господи, да она же в Киев ко мне ехала! Она знала, что после армии я в художку возвращаюсь, — вырвалось у меня.

— Знать­то знала, да вишь — не доехала.

— Не доехала... — чуть не плакал я. — Спасибо, пойду, меня товарищи, наверное, ищут.

— Ну, бувай здоров, художник. А Ариадну найди, она баба светлая. Любили ее тут. Переживали, как у вас все сложится...

— Что сложится, кто переживал?

— Кто­кто... Да все село знало, что вы слюбились. Лес, он ведь и глаза, и уши имеет. А народная почта вмиг все новости по селу разносит... Ну, пока. Приезжай, если что...

...В хате у бригадира веселье было в самом разгаре. Лихо выпивался от души налитый самогон. Захмелевшие гости получали по очередной миске жареных грибов с картошкой, хозяин широко улыбался и показывал приготовленные к утру пустые корзины, которые, по его словам, в этих местах можно наполнить грибами три раза за день.

Сославшись на какую­то хворь, я прошел в другую комнату и прилег на выстеленные для нас у печи овчинные кожухи. Спать не очень хотелось, перспектива раннего подъема и похода за грибами не радовала. Я хотел поскорее вернуться в Киев. «Ищите и обрящете. Стучите и вам откроют. Идите, ибо пока человек идет — у него есть надежда», — вспомнилось мне что­то такое из Нового Завета. «Сволочь! О Боге вспомнил... О чем раньше думал?!»­ сказал я себе и, спасаясь от самобичевания, закрыл глаза. Но заснуть не смог. Нахлынули воспоминания.

День первый.

Ты назвала меня Алексой, и я подумал, что в жизни меня так никто не называл. Мальцом в семье я был Сашуней, для бабушки Станиславы — Шуриком, для отца после шестнадцати — Александром. Во дворе мамы моих дворовых друзей звали меня Сашиком. И тут на тебе — такое.

— Ариадна, может быть в клуб пойдем? — спросил я, понимая, что совсем этого не хочу.

— Не надо. Просто погуляем. Иди по тропинке к лесу, я догоню... Только маму предупрежу, что иду с тобой.

— Она что, меня знает?

— Знает, знает. Я ей все рассказываю. Ложусь с ней рядом и шепчу на ухо, так она лучше слышит. Иди, я скоро...

Узкая тропка вывела меня к опушке. Густой орешник теперь заставлял наклоняться, а темнота чащи не располагала к прогулке в одиночестве. Я остановился и закурил, вглядываясь вперед — авось, увижу светящиеся огоньки глаз лося или косули. Неожиданно твоя рука легла мне на плечо, вторая взлохматила волосы, пощекотала мочку уха и успокоилась на другом плече. Я не шевелился.

— Ариадна... — Т­с­с­с... Постой тихонько... И потом ты прочитала:

И все­таки — что ж это было? Чего так хочется и жаль? Так и не знаю: победила ль? Побеждена ль?

Щекой ты прижалась к моей спине, твои руки держали мои плечи и не позволяли по­ вернуться к тебе лицом.Я не знал, чьи это стихи, спросил.

— Это Марина Цветаева, моя любимая поэтесса.

- Теперь и моя тоже, — я повернулся и дотронулся губами до твоих волос.

Ты удивленно подняла брови, улыбнулась, взяла меня за руку и повела за собой по тропе, которую я уже не мог различить в ночи. Мы пришли в эту оставшуюся с войны землянку, где на дощатом полу уютно разместились стол и две кровати из бревен, на которых душистое сено, совсем недавно принесенное. На столе — свеча в пустой консервной банке.

— Давно, очень давно тебя не было, Алекса...

— Ариадна, я... — Помолчи, слушай:

Как правая и левая рука – Твоя душа моей душе близка.

Мы смежены, блаженно и тепло, Как правое и левое крыло...

— Это все?

— Нет, Алекса, не все. Остальное дочитаешь, когда­нибудь потом.

— Ариадна, ты знаешь, никогда раньше у меня такого не было...

— Т­с­с­с... И подойдя к столу, ты погасила свечу.

День второй.

Мой дорогой мальчик, я помню, как впервые увидела тебя в лесу, когда вы сгружали с машины ящики, мешки, потом ставили палатки. Вы шутили, смеялись, кто­то материл каких­то командиров, смешные азиаты, как маленькие звереныши, озирались на высокие сосны и с опаской поглядывали в сторону обрыва, куда потом ты прыгал и орал то ли от восторга, то ли с испуга. Вечером я слышала, как ты играл на гитаре и пел «Неизменно, часовым полагается смена...». Уже потом ты рассказал мне об Окуджаве, которого тут, в глуши, конечно, мы не знали. Я видела, как ты уходил из лагеря и один бродил по лесу. А однажды, когда ты зашел в магазин, я стояла в очереди за тобой и очень хотела потрепать твою выгоревшую на солнце солому. А ты ушел и не заметил меня.

Потом вы приезжали в клуб, ты стоял на крыльце и наблюдал за своими парнями. Я чувствовала, что ты другой, что их мир — это не твое.

Что­то подсказывало мне, что мы похожи, что мы — две родные души, что мы «правое и левое крыло». А сейчас ты посапываешь на моем плече; мы валяемся у реки и не расстаемся вот уже второй день. Я вижу твои счастливые глаза, вижу, как борются в них удивление, влюбленность и неверие в то, что так может случиться. Тебе так же хорошо, как и мне. Я старше тебя на три года, но мы не обсуждаем это. Я сама рассказала тебе о председателе, ты — о киностудийной гримерше, мы ничего не скрывали друг от друга, а от того спокойно и радостно…

- Просыпайся, Алекса, вижу, уже не спишь, улыбаешься. Пойдем, я маму покормлю.

...Ты умывался колодезной водой и докрасна обтирался новым китайским полотенцем, лежавшим в нашем шкафу до случая. Маме ты тоже очень понравился...

День третий.

Он в лагере выдался беспокойным: я сказал ребятам, что к ужину мы с Ариадной нагрянем в гости. К вечеру была сварена двойная уха, на выструганных из вербы шпагах жарились белые грибы, ради праздника была открыта тушенка. В магазине мы купили несколько бутылок венгерской «Perlu», болгарских сигарет и печенья — любимого лакомства солдат­первогодков. До лагеря было недалеко, всего полкилометра. Мы шли не торопясь, по традиции здороваясь с прохожими.

Что меня удивляло — так это твое спокойствие по поводу любопытных взглядов односельчан, пацанов, бегущих впереди и оглядывающихся на нас. Однажды кто­то из них даже проорал: «Жених и невеста, объелися теста...» На него зашикали — все­таки военный и библиотекарша. А ты звонко засмеялась и взяла меня под руку... До лагеря дошли быстро. Ты со всеми поздоровалась за руку, а Бордюгу, в память о первой вашей встрече, сказала, что он был очень галантен и ему идут гусарские усы. Бордюг насторожился: он не понял слово «галантен» — это плохо или хорошо, и, устремив взгляд в вечернее небо, сделал вид, что о чем­то задумался...

Веселились от души. Посиделки затянулись, и вот уже бойцы неназойливо стали намекать о танцах.

— Может, пойдем? — на всякий случай спросил я.

- Почему нет? Конечно.

Я оторопел: — Не ожидал, что ты — и вдруг согласишься...

Водитель подогнал машину, и через пять минут мы были уже в клубе. Целый вечер мы танцевали только вместе. Вот завклубом объявил «белый танец», и ты подошла ко мне, со смехом сделала «книксен», и мы снова погрузились в это неповторимое состояние «МЫ», когда ничто вокруг не имеет значения, когда я вижу только твои глаза и чувствую на плече и в своей ладони твои руки.

Как веревочке не виться...

Зав­ клубом выключил радиолу и погасил свет. Солдаты со своими подружками уже прощаются, докуривая на крыльце последнюю сигареты.

Из лесу по направлению к клубу вдруг вспыхнули и стали приближаться две автомобильные фары. «Легковушка», — подумал я, и сердце заныло от недоброго предчувствия. Оно меня не обмануло — это была машина командира взвода регулировщиков, полк возвращался с учений в Киев.

— Колонна на марше, у вас тридцать минут на сборы. Взвод, бегом! Танцоры, твою мать! — проорал офицер, легковушка развернулась и скрылась в лесу. Бойцы мигом бросились к машине.

— Езжай, а я домой сбегаю, соберу поесть в дорогу и принесу к вашей стоянке, — прошептала ты и исчезла во тьме.

Я знал, что собрать все барахло толком за тридцать минут нереально. Мы наскоро сложили палатки, продукты и оружие, а все мелочи, котелки, посуду, матрасы и одеяла свернули в брезентовые тенты и бросили в кузов — времени в дороге хоть отбавляй, разберемся. Ариадны не было. Я посмотрел на часы: до условленного времени оставалось десять минут. «Успею! Может быть, и колонна по пути задержится», — подумал.

— Мужики, я мигом, туда и назад, — прохрипел и побежал в сторону села.

— Вон уже катят, — крикнул кто­то из наших.

Из­за поворота, высвечивая дорогу включенными фарами, с ревом и лязгом двигалось полсотни КамАЗов с громадами сложенных понтонов. А тебя все не было, и я понимал, что ТЕБЯ УЖЕ НЕ БУДЕТ.

Я, как старший во взводе, сел в кабину, машина съехала с обочины и заняла свое обычное место в колонне понтонного полка.

Il fine giustifica i mezzi. (Цель о п р а в д ы в а е т с р е д с т в а.)

Ты прав, Алекса, я бежала из деревни к тебе. На автовокзале в справке узнала адрес института, доехала на трамвае до Львовской площади, а там пешком. Посидела на скамейке у входа, посмотрела на хохочущих ребят и девчонок с этюдниками. Поглядела на себя, сравнила свою нелепую одежонку с яркими, брыжжущими цветами радуги пальтишками твоих сокурсниц и... Пошла искать немецкое консульство.

Немцы были предельно внимательны. Посмотрели мои бумаги, проверили архивные запросы и выяснили, что уже много лет меня искали родственники отца, которым он, как оказалось, успел написать обо мне. Потом были телефонные переговоры, билеты и деньги, присланные из Брауншвайге... Я улетела в Германию. Моя новая семья помогла жильем, деньгами. Но и я, и они понимали, что близкими мы не будем, мы чужие и не сможем жить только памятью о Карле. Имя моего деда в Брауншвайге открывало настежь все двери — он был известным меценатом, очень много сделал для местного университета, куда меня приняли архивариусом. Там я познакомилась с будущим мужем, он был аспирантом. Обручились, уехали в Англию. Живем в тридцати милях от Лондона.

— А сейчас куда летишь?

— Я не лечу, только провожаю... Мы с мужем волонтеры Фонда помощи детям Чернобыля, размещаем их в английских семьях. Живут тут полгода, язык учат. Были и копачинские, только мало. После Чернобыля это ведь зона.

О незабытом.

Очередь подтягивалась все ближе и ближе к регистрационным стойкам.

— Вспоминаешь то время? — мы сказали это почти одновременно.

— Очень часто. Мужу о нас рассказывала. Но он, дитя туманного Альбиона, не верит, что так может быть. Когда сын родился и я попросила назвать его Алекс, — не возражал, только пошутил, что ревновать к сыну будет...

— И я часто вспоминаю. Дочку хотел Ариадной назвать, тесть на дыбы встал, мол, Ариадна в мифологии столько проблем в жизни имела; клубок с нитками — это ягодки, а дальше вообще ужас... Словом, на Насте со­ шлись. Сколько у нас еще времени?

— Сколько проживем, все наше, — Ариадна оглянулась: дети гуськом уже выстроились у стойки и ждали ее.

— Знаешь... Я тогда хотел сказать тебе, но как­то не получалось... Я очень тебя...

— Я тоже... Иди, Алекса, уже твоя очередь. А все хорошее будем помнить...

Мы пока еще стояли почти рядом, я бросил сумку на ленту конвейера и ждал, пока улыбчивая англичанка оформит посадочные документы. Теплая рука мягко легла на мое плечо, я почувствовал, что кто­то взъерошил мои седые волосы, чьи­то пальцы дотронулись до моего уха и чья­то голова прильнула к моей спине. Я закрыл глаза.

— Sir, are you wrong, need help? (Сэр, с вами все в порядке? Вам нужна помощь?)

— Thank you, all right... (Спасибо, все хорошо.)

На месте регистрации детей не было, они уже прошли в зал таможенного контроля. Ариадны не было тоже.Может быть, я грежу, может,

ЕЕ ВООБЩЕ ТУТ НЕ БЫЛО?

Как правая и левая рука — Твоя душа моей душе близка.

Мы смежены, блаженно и тепло, Как правое и левое крыло.

Но вихрь встает — и бездна пролегла От правого — до левого крыла!1



1 *Марина Цветаева*. «Как правая и левая рука...», 1918 г.

1. Кетов Владимир «А сплю я с тех пор хорошо...»

***Владимир Кетов***

**А сплю я с тех пор хорошо...**

Я не люблю натуралистических описаний в литературе. Они обычно не несут никакой нагрузки и направлены только на приманивание читателя, либо отражают внутренние пристрастия самого пишущего. Бывают, однако, случаи, когда такие описания неизбежны.

Дело было в пятницу. Я шел, вернее, плелся по узкой пешеходной дорожке, отягощенный сумками с продуктами, и вяло думал о том, что надо купить – ну хотя бы велосипед. Чтобы не таскать все это на своем горбу после рабочего дня.

Прохожих было мало. Далеко впереди шел какой-то человек. За ним, метрах в двадцати, шла крупная, странно-песочного цвета собака. Я, впрочем, не знаток собачьих расцветок. Потом она остановилась и начала мочиться, слегка расставив задние лапы. Это было долго, неприятно и, по-моему, несколько необычно. Насколько я знаю, собаки обычно приподнимают ногу. Однако я и тут не специалист. Кошка у меня была, а собаки не было никогда.

«Мог бы и последить за своей собакой, – с неодобрением подумал я о шедшем впереди мужчине. – Отвел ее, что ли б, в сторону». Я был уверен, что собака его. Других людей на улице не было.

Они шли медленно, но и я не быстрее. Постепенно я потерял их из виду – сначала хозяина, а потом и собаку. Здесь было куда свернуть, и я сделал то же самое – о чем очень быстро пожалел.

Сумки тянули руки вниз. Но было настолько жарко, а тащился я все равно так медленно, что решил пройти тенистой тропкой, вьющейся вдоль ограды железнодорожных путей. Хожу я там обычно очень редко, потому что все-таки этот путь длиннее. А прохожих и вовсе почти никогда не бывает. Но в этот раз они были. Пожалуй, только не прохожие и вовсе не случайные.

Встретились мы у короткого железного забора, шедшего параллельно непрерывной ограде, тянущейся вдоль железной дороги. В чем было его назначение, от чего он остался, я не знал тогда, не знаю и сейчас. Забор длиной метра в четыре был слева, ограда – справа, а они подошли сзади.

Я, не оборачиваясь, посторонился на звук догоняющих шагов, давая им дорогу в этом особенно узком месте. Но меня не обогнали. Я почувствовал, что стало как-то тесно, что со мной идут и рядом и сзади, повернулся спиной к забору, чтобы их рассмотреть, и услышал голос, который сказал:

– Давай деньги!

Тут надо сделать два отступления. Мой немецкий далек от блестящего, но не понять эти слова было невозможно. Поняв, я сразу нашел голос, произнесший их, крайне неприятным. Во-вторых, по тем временам ограбление, да еще среди бела дня, было в Германии довольно редкой штукой. Короче, это был первый случай со мной за шесть лет жизни там. И из знакомых ни с кем подобного не случалось. Ну мне же всегда везет...

В общем, их было четверо. Все молодые, каждый, считай, вдвое моложе меня. Крепкие. Хотя это значения не имело. Сомневаюсь, чтобы я сладил даже с одним. Даже если бы умел драться. А с четырьмя...

А деньги отдавать не хотелось. Не только потому, что в кошельке была приличная сумма, только что снятая со счета в банкомате, около 200 евро. А потому, прежде всего, что так уж я устроен, что не могу добровольно делать то, чего мне не хочется.

Я прислонился спиной к забору, понимая, что деньги у меня все равно заберут, да еще и изобьют, ведь по своей воле я их отдать не могу. Что мне делать, я совершенно не представлял. Оставалось надеяться только на чудо. На случайного прохожего, на полицию на вертолете. (Чего не нафантазируешь в экстремальных обстоятельствах. Сам потом удивишься.)

Теперь я уже не уверен, точно ли я видел, как у одного из них в руке появился нож. В тот момент, когда я понял, что дело может зайти очень далеко и во рту моем пересохло, выражение их лиц вдруг изменилось. Почти одновременно я почувствовал, что прочный забор, на который я опирался, ощутимо пошатнулся. Я услышал и ощутил на своей щеке чье-то горячее дыхание.

Память на лица у меня отвратительная. Случись мне потом опознавать их – почти наверняка не узнал бы. А как изменились и побелели их лица – помню до сих пор.

Сначала я подумал, что кто-то еще зашел ко мне со спины. Я быстро полуобернулся.

Опершись тяжелыми лапами на верхнюю перекладину забора, сзади меня стоял давешний желтый пес.

Теперь было видно, что он просто огромный. Стоя на задних лапах, он возвышался и надо мной, и над острыми прутьями забора.

Он почти касался моего плеча.

Он смотрел на моих визави. Он открыл пасть.

Таких зубов я не видел ни до, ни после.

Пес отвесил нижнюю челюсть еще больше и зарычал.

И они рухнули.

– Убери его! – истерически крикнул один из них. – Придержи его. А то хуже будет!

Несколько секунд они медленно отступали спинами вперед. Потом повернулись и бросились бежать.

Я шумно выдохнул. Поставил сумки на землю, сел на каменную плиту возле забора. Пес обошел забор и встал неподалеку от меня. Глаза его были странны и невеселы. Мне почему-то вспомнились прокуратор и его Банга. Хотя там больные глаза были у прокуратора, а не у пса.

– Спасибо, – сказал я.

Мне надо было отдышаться и успокоиться.

Пес постоял, отошел к ограде и стал смотреть куда-то вдаль.

Как он понял, что я нуждаюсь в помощи? Почему он сделал это?

Этот вопрос я задаю себе и сегодня.

Мне пришло в голову, что где-то тут должен быть его хозяин, но сколько я ни всматривался, ни слева, ни справа на сотню метров никого не было.

Я встал и поднял сумки. Пес посмотрел на меня.

– Спасибо еще раз, – сказал я. – Скажи хозяину – ты настоящий друг. Счастливо.

И я пошел. Через несколько метров я оглянулся. Пес стоял там же и смотрел мне вслед. Я пошел дальше, оглянулся еще раз. Он смотрел на мои ноги. Для этого ему приходилось слегка опускать морду.

Я остановился.

– Ты один? – спросил я.

Хотя уже было ясно. Хозяина нет и не предвидится.

Пес смотрел молча. Я не ждал ответа. Но какой-нибудь звук, движение...

Теперь мне бросилось в глаза, как он дышит. Тяжело, нездорово ходили его бока.

Надо его накормить, подумал я. Напоить. Что ж я, совсем свинья неблагодарная?

– Пойдем со мной, – сказал я. – Что-нибудь поешь, попьешь. А потом поищем хозяина.

Для кого я это говорил? Для себя? Я ведь знал, что он не ответит...

Пес догнал меня. Некоторое время мы шли молча; я даже надумал эгоистическую мысль – опереть на пса окончательно оттянувшую руку сумку.

Но тут пес стал отставать. Отстав на несколько метров, он тактично отошел с тропинки и снова стал мочиться. Я тоже тактично стал смотреть в другую сторону. Потом он снова догнал меня. Мы опять пошли. Теперь я понял, что за странное выражение было в его глазах.

Это была боль. Физическая боль. Ему было очень больно. Я не знаю, как я это определил, но почему-то знал, что определил точно. Шестое, несвойственное мне в жизни чувство посетило меня на короткий период нашего знакомства. Приглядевшись к тому, как он идет, я даже понял, где гнездится боль. Она сидела внизу живота, ему, наверное, было очень больно мочиться (вот почему он стоял так странно), было больно сейчас идти и уж наверняка было неимоверно больно стоять у забора на задних лапах. Но все-таки он сделал это для меня.

Я взял обе сумки в одну руку и положил свободную руку ему на плечо. Понятия не имею, говорят ли так о собаках. Но я положил руку ему на плечо. Оно было горячее и сухое.

– Уже недалеко, – сказал я.

Мы действительно уже подходили к концу дорожки. Через двадцать метров, за спортплощадкой, мой дом.

Никто из соседей нам не встретился. Не знаю, что бы я отвечал им. Я быстренько открыл дверь, немножко нажал на пса коленом, чтобы побыстрей входил, и вошел сам.

Мы были дома.

\*\*\*

Квартира у меня небольшая. И порядок в ней – соответствующий этому слову.

Книг много, одежды тоже как-то прилично накопилось, а класть все это некуда. В однокомнатной квартире любая вещь, если ее сразу не уберешь на место или если места у нее вовсе нет, остается валяться на полу. Не заметить этого невозможно.

К примеру, за пару недель до этого ко мне заехал после работы по короткому делу мой друг. Я предложил ему поужинать, но он отказался, согласившись только на банан.

За разговором я не сразу заметил, что он доел банан, а заметив, сказал:

– Сейчас я тебе дам, куда шкурку выкинуть.

– Я думаю, – сказал он, внимательно оглядываясь вокруг, – на пол?..

Сегодня дело в квартире обстояло не лучше. Но псу было явно не до этого. Мне тоже.

Пес стоял в прихожей, очевидно ожидая моего разрешения пройти дальше. Я хотел раскидать валявшиеся на полу газеты, но потом подумал, что он вполне может на них лежать, пока я не найду подходящей подстилки.

– Проходи, – сказал я.

Он сориентировался, по-моему, не на слова, а на мой жест, и скромно остановился в комнате.

В сумках не было ничего, требующего срочной разгрузки в холодильник. Я оставил их в прихожей, снял ботинки, вымыл руки, быстро переоделся и прошел на кухню. Две миски, которыми я уже перестал пользоваться, еще не были выброшены. (Очень характерная для меня деталь.) В одну я налил воды – кипяченой, как себе, я сам не пью воду из-под крана и другим не предлагаю, – отнес ее в комнату и поставил перед псом на газету. Он начал медленно лакать. Я вернулся на кухню и открыл холодильник. Что я мог предложить моему гостю?

Рыбные палочки. Их надо жарить, они заморожены. Да и едят ли собаки рыбу?

Сосиски. Эти готовы к употреблению немедленно.

И наконец, худосочные пельмени из «Пенни» с итальянским названием «Тортелони». Их надо варить. Вид их всегда вызывает у меня в памяти историю, рассказанную еще в Питере много лет назад одной знакомой. С семилетним сыном она зашла как-то в «Чебуречную». По младости лет тот поинтересовался, что такое «чебуреки». Мать легко вышла из положения.

– Ну это такие, по типу пельменей. Только большие.

Отстояв положенную очередь и получив свою порцию, мальчик долго расковыривал вилкой продукт и, обнаружив наконец крохотный кусок мяса, задумчиво произнес:

– Я понял, мама. Снаружи они по типу пельменей, а внутри у них по типу мяса.

В общем, толковый был мальчик и быстро разобрался в сути советского общепита.

Та же мама, уделявшая много внимания музыкальному воспитанию сына, решила как-то похвастать его познаниями в присутствии гостей. По радио как раз передавали отрывки из «Лебединого». Тогда его еще можно было услышать не только в дни путчей.

– Скажи нам, Сашенька, – сливочным голосом спрашивает мама, – кто написал эту музыку?

Саша молчит – с той же безнадежностью, с какой двадцать лет спустя замолчит Windows в момент демонстрации Гейтсом очередной версии.

Стараясь избежать конфуза, мама с еще более кондитерскими интонациями подсказывает – делая вид, что подсказка входит в программу:

– Ну, Сашенька?! Ты же знаешь. Пе-о-тр...

– Первый! – радостно возглашает талантливый отрок.

– Ну что ты, Сашенька, – стараясь показать голосом не более одной тысячной доли того разочарования, которое бушует у нее в груди, говорит мама, – что ты... Петр... Ильич...

– Брежнев! – бякает Сашенька, и в этом месте я с удовольствием опускаю занавес и над советской эпохой, и над воспоминаниями, которые увлекли меня далеко в сторону.

Я остановил свой выбор на сосисках. Нарезал их и положил во вторую миску. Отнес псу в комнату.

Ошейника у пса не было. Вообще ничего лишнего, кроме самого пса.

Он съел несколько кусочков, посмотрел на меня – про человека я бы сказал – виновато и отошел в сторону. Ну что ж. Мне тоже, когда я болею, кусок в горло не лезет.

Пес лег на газеты, а я лег на диван. Надо было поесть, надо было принять душ – но в пятницу я почти всегда делаю это с задержкой. Устаю за неделю, а в пятницу можно расслабиться и не торопиться – завтра не на работу… Тем более сегодня, когда произошло столько событий.

Я лежал и думал. Думал о том, что я сделал и что мне делать теперь.

\*\*\*

Бананы перед употреблением я мою. Что мало кто делает.

Яйца в холодильник, не вымыв, никогда не положу.

Войти с улицы и сесть за стол, не помыв руки, – значит для меня перестать быть собой. Выпить из стакана, из которого кто-то пил, – легче застрелиться.

При этом я вовсе не человек в футляре и не помешан на чистоте и гигиене. Но есть вещи, через которые я переступить не могу.

И вот я привожу в свой дом чужого, очевидно больного пса, и он лежит на моих газетах.

Это при том, что я знаю – любая инфекция липнет ко мне так же страстно, как влажное платье к ногам девушки на морском берегу.

Животных я люблю (не всех; змей и тараканов даже не пробовал начинать любить), наблюдаю за ними с удовольствием, но всегда со стороны. Конечно, кошка, что у меня была, совсем другое дело – она была член семьи. Но чужих гладить я воздержусь, а уж если придется, руки после этого обязательно помою.

Я скосил глаза на пса. Он лежал неподвижно, но не расслабленно, а напряженно.

Страха перед ним, что он такой огромный, я совершенно не испытывал. Но что мне делать дальше – понятия не имел. Я снова возвел глаза к потолку и стал рассматривать огрехи своей недавней побелки…

Проснулся я от того, что пес зашуршал газетами. Судя по всему, я задремал.

Прошло, как оказалось, без малого полтора часа. Пес уже стоял на ногах перед дверью в прихожую и смотрел на меня. Я понял.

Ох, как не хотелось мне вставать. Но ничего полезного во время своих диванных размышлений я не надумал и решил пока делать то, чего не делать все равно не могу. Я надел ботинки, накинул на плечи легкую куртку – чтобы скрыть домашнюю футболку, которую переодевать было лень, – и положил в карман ключи. Затем прислушался к лестнице.

Мне не хотелось кого-нибудь встретить. Маленькая собачка в нашем подъезде жила, несмотря на запрет домовладельца, но что я стану говорить соседям по поводу такого гиганта? Лучше никому на глаза не попадаться.

На лестнице было тихо. Я вздохнул, открыл дверь, и мы с псом быстро вышли на улицу. Затем – на пустырь, который прямо за моим домом.

Пес быстро сделал свое дело. Но я понял, что ему стало хуже. Несколько секунд после этого он стоял с закрытыми глазами. Отдыхал.

Гулять пес не захотел. Я еще менее любитель подобного времяпрепровождения. Так же быстро и незаметно, как ушли, мы вернулись домой, и пес снова лег на газеты. Я решил поесть и принять душ. Хотя аппетита особого не было, и больше всего тянуло обратно на диван. Но – надо.

В общем, на диван я вернулся через полтора часа. Пес лежал с закрытыми глазами. Приподнял голову, когда я пришел из ванной, и снова опустил ее. Сосиска была по-прежнему недоедена.

Я внимательно посмотрел на пса. Он был больной, но такой уютный, и мне показалось, что это лежит Маша. Так звали мою кошку. Я сел на газеты рядом с ним и положил руку ему на голову. Шерсть была сухая, чистая-чистая и горячая. Все-таки он был очень ухоженный.

Пес передвинул голову, положил ее на мои колени и снова закрыл глаза.

Я сова, ложиться рано я не умею и поэтому хронически недосыпаю.

Рука моя переместилась на спину пса, прошлась по бокам и вернулась на загривок совсем вялой. Какое-то время я еще слегка тревожил его шерсть, но потом вновь отключился. Такое со мной бывает, особенно по пятницам. Я задремываю у компьютера, перед телевизором, за книгой. Зато потом полночи не заснуть. Мучение.

С тяжелой головой я раскрыл глаза. Нога затекла. Пес шевельнулся, приоткрыл один мутный глаз. Я неловко поднялся на ноги.

– Тебе никуда не надо?

Пес не выразил ни беспокойства, ни желания куда-то идти, и я отправился в ванную совершить вечерний зубоочистной ритуал. Вернувшись, посмотрел на пса, прикоснулся к его голове. Она, по-моему, стала еще горячее.

– Лекарство бы тебе надо какое-нибудь. Да где взять? Ладно. Если к утру не оправишься, сходим к врачу.

К какому врачу, как? Что я несу? Я про ветеринаров-то ничего и не знаю. Может, они никогда по субботам не работают. Но, наверное, в цивилизованной Германии есть все же скорая помощь для заболевших в выходные животных. Да как ее найти? Ладно. Завтра буду листать справочники. Но, может, он поправится.

Смотреть телевизор не хотелось, и я даже не стал его включать. Разделся, погасил свет и лег. Постель была чистенькая, только вчера я совершил подвиг и поменял белье. В комнате было по-летнему не темно.

– И ты спи. Давай оба попробуем заснуть.

В себе я совсем не был уверен. Да еще при таких новых обстоятельствах.

Я покрутился минут пятнадцать. Так и есть. Нет сна. Пес лежал тихо, но я ощущал его присутствие в комнате, и это дополнительно отвлекало меня от сна. Я уставился в полумрачный потолок.

Неожиданно зашуршали газеты. Пес подошел и встал рядом с диваном. Положил голову на мою руку и лег на полу сам. Руке стало мягко и тепло.

– Ну вот, – пробормотал я. – Два горемыки бессонных. И тебе не спится?

Пес дышал на мою чистейшую постель тяжеловато, но тихо. И уже не казался таким горячим.

– Может, к утру тебе станет лучше, – сказал я. – К утру всегда лучше. Нам бы заснуть...

\*\*\*

Сказал я это без всякой надежды, а когда открыл глаза, было уже пять утра. Я поспал крепко и без сновидений. Удивительно. Но мало.

Пса в комнате не было. Я обнаружил его в коридоре. Он молча сидел перед входной дверью, опустив голову. Не хотел меня тревожить.

Я, пошатываясь, натянул брюки. Ключи не забыть. Ох, еще бы поспать. Но уж если я ночью просыпаюсь, пиши пропало.

Пять часов (я думаю) – самое время собачников. Но нам и тут повезло. Только где-то вдалеке, на другом конце пустыря, кто-то тоже прогуливался с собакой. Мы не стали долго задерживаться.

Я снова лег, и пес улегся рядом на полу. Его шерсть под моей рукой была прохладной после улицы.

«Ему лучше», – сквозь туман подумал я и в следующий раз проснулся уже около девяти. Чудеса. Так долго и спокойно мне давно спать не приходилось.

– Ты меня хорошо убаюкал, – улыбнулся я и тут же почти отдернул руку.

Пес горел, глаза его были совсем мутны.

Я заторопился. Мне казалось, что ему очень нехорошо. Забегал по квартире, одеваясь. Быстро полистал справочник, затем план города. Ехать недалеко.

Так. План взять с собой. Очки.

Выпил наспех стакан воды, съел половину банана.

Звонить ветеринару я не стал. В справочнике стояло – круглосуточно. А если спросят документы на собаку? Ничего не знаю. Сначала пусть лечат, потом разберемся.

Куда меня несет, что за авантюра?..

В метро я боялся, что он без ошейника, но на нас не обращали внимания. Пес шел рядом со мной, словно он всю жизнь так ходил. Через 20 минут мы были на месте.

Никаких документов не спросили. Ждать не пришлось. Услышав мой немецкий, врач не стал задавать лишних вопросов, а приступил к осмотру. Через пару минут спросил что-то вроде: «Давно он в таком состоянии?»

– Вчера весь день. А до этого я был в отъезде, – соврал я.

Врач еще повозился, потом сказал:

– Это серьезно, – подумал и добавил: – Очень серьезно.

Потом пес остался лежать на смотровом столе, а меня врач пригласил сесть. И объявил:

– Я сделаю рентген. А потом, если еще не поздно, можно попробовать оперировать. Ситуация очень серьезная. Рентген будет стоить столько-то. Операция, если возможна, – столько-то. Но гарантий никаких…

Рентген подтвердил все его опасения. Я чувствовал себя как во сне. Все происходило слишком быстро.

– Сколько у него шансов? – спросил я.

– С операцией – не более пяти-десяти процентов. С немедленной операцией. Без операции – никаких шансов.

Я подошел к псу и наклонился над ним. Врач вышел.

– Слушай, – плохо понимая, что говорю, жарко пробормотал я в его шерсть. – Надо делать операцию. Они тебя вытащат. А потом ты останешься у меня...

Пес чуть повернул ко мне голову и вдруг сделал движение лапой. Словно слегка толкнул мою руку.

Я непроизвольно положил руку на желтую лапу с поджатыми когтями и сжал ее.

Уголок его пасти слегка дрогнул. Как будто он усмехнулся моему жесту.

…Я дал на регистратуре все необходимые данные, подписал документы. Деньги что, деньги я зарабатываю.

Руки у меня слегка дрожали. Должно все получиться. Десять процентов – это кое-что. А врачи немецкие, чем сложнее случай, тем лучше работают, уговаривал я себя в приемной, то подходя к окну, то снова садясь на скрипучий стул.

Прошло пятнадцать минут. Потом полчаса. Потом вышел врач.

Потом я стоял на крыльце под дождем и мне хотелось вгрызться зубами в деревянные перила. Вдруг меня пронзила мысль, что точно так же я стоял, когда умерла Маша. Но тогда я был моложе и курил...

\*\*\*

Часа два я ходил по улицам, не в силах вернуться домой.

Дышать было нечем. Как во время гриппа. И сердце жало. Да что же это за черт возьми такое!..

Наконец я вернулся к себе, и стало еще хуже.

Такая тоскливая пустота была в квартире и под сердцем, что я в буквальном смысле не мог найти себе места.

Раньше я не понимал точного смысла этого расхожего выражения. Теперь знаю. Я вставал, шел к окну, в коридор, на кухню, и мне хотелось взвыть. Потом опять садился.

Еще несколько дней мне было не по себе. Потом это стало затихать. Великое время все лечит. (Еще один штамп. Но ведь правда).

Больше меня не грабили.

Тропку, на которой все произошло, вскорости закрыли строительными загородками. Теперь там будет широкая прогулочная дорожка. Огрызок заборчика снесли.

А сплю я с тех пор хорошо. Даже сам удивляюсь.

1. Колмогоров Александр «Герасимец и Му-му».

***Колмогоров Александр***

**ГЕРАСИМЕЦ И МУ-МУ**

…Ты, хлопец, может быть, не трус,

Да глуп, а мы видали виды.

А. С. Пушкин. «Гусар»

Золотым осенним полднем в автомастерской «Клёвая Тачка», что на Николаевской дороге, ждали Костю Цуперовича с сыном. В мастерской понимали: Цуперович – это не просто так, это директор Привоза. Поэтому его отреставрированный «Студебеккер» цвета свежего сливочного масла – готовый к новой жизни, сияющий – заранее выкатили во двор, и он ласкал взор под вывеской:

«Ремонт транспорта. Очень приятные цены».

У входа в ангар, на скамейке, щурясь от нежаркого солнца, сидели два автомеханика. Один из них курил, второй то и дело прикладывался к бутылке с минеральной водой.

Из помещения вышел хозяин мастерской Фима Герасимец, крепкий, рано седеющий одессит лет пятидесяти. Прошёлся по двору. Подошел к машине. Аккуратно открыл дверцу. Осмотрел салон. Закрыл дверцу. По выражению его лица мастера никогда не могли понять: доволен он или нет. Вот и сейчас - непонятно было.

Посмотрев на часы, Фима повернулся к старшему из механиков.

- Лёша, я думал – не реально. Теперь знаю, шо очень даже. И шо ты опять кудесник.

Лёше после вчерашнего говорить было трудно. Он изобразил улыбку и кивнул.

Фима достал из кармана сигареты. Мужчины на лавке подвинулись. Он присел на неё. Закурил. Снова обратился к Алексею.

- Ну, шо ты скорбишь? С какого горя?

- Я ж говорил, юбилей тёщи, - глубоко вздохнул Лёша.

- Прими соболезнования. Где сидели? Тут у нас, на Николаевской? В «Александрии» или в «Малибу»?

Лёша осторожно покачал головой.

- Не… В «Павловском раю».

Помолчали.

Механик помоложе, Богдан, спросил:

- А правда, шо в Одессе сейчас Машков снимается?

Фима кивнул.

- Правда. Директор киностудии привозила к Цуперовичу его, Маковецкого и Крючкову. Костя сделал им правильную экскурсию по Привозу. Машков спросил за особые деликатесы. Костя сказал, шо предлагал недавно японцам одну редкость - «Филе медузы с яйцами».

- Шо? – с испугом спросил Лёша.

Фима выдержал паузу и кивнул.

- Вот и Машков спросил: а шо это? И Костя честно ответил: холодец.

Механики засмеялись по очереди: сначала младший, потом старший.

Богдан поинтересовался, про что кино.

- Про сразу после войны, - ответил Фима, - «Ликвидация» называется. Сдаётся мне, шо про бандюг и женщин.

- Фима, а на твоей войне женщины были? – вдруг, без перехода, спросил Богдан.

Фима ненадолго задумался.

- Местами. В мизере. Санитарки, продавщицы… Но это ближе к Кабулу и в нём. Я так их не видел. У афганцев свой курятник был. Возили туда офицеров. Кто-то с посольскими дамами общался. Не в смысле поджениться – шоб теорию освежить.

- Идиотский вопрос, Фима: почему ты никогда не рассказываешь за Афган?

- Идиотский ответ, Богдан: а на кой? На кой Фиме зря трепаться? Шоферил. Капитана возил, дядю Вову, командира полка разведки… Рядовой. Две медальки за участие… Вот и всё геройство. Все дела.

Фима загасил сигарету. И вдруг оживился.

- Вот про кого там мифы и легенды гремели, и кто там правду шороху наводил, - так то Жора! Наш земляк, мой фамильный тёзка, между прочим.

- Фамильный, это как? – спросил Лёша, морщась.

- А тоже Герасимец, представляешь? Но Жора.

- Ну, расскажи, Фима. Чем легендарный? – оживился Богдан.

Фима мотнул головой, усмехнулся, вспоминая что-то.

- Ох, талантов у Жорки было – вагон! Может, применять ему их тут было негде… Может, потому и двинул без сомнений в Афган… Ловкий, как обезьяна. Слух феноменальный. Не в смысле Шуберта - малейший шорох за километр слышал. Понятно, шо сразу к нам, в разведку попал, и шо сразу мы с ним побратались, два биндюжника.

У Жорки мечта была: хотел, чудак, войти в историю. Как Мишка Япончик, как броненосец «Потёмкин», - по крупному. Говорил мне: «Раз человек родился в Одессе, зачем мелочиться?» И шо ты думаешь? Вошёл-таки! Можно сказать, влип в историю. Да он и не мог не влипнуть. Потому, шо главный его талант – карты, вешать лапшу на уши и искать на свою жопу приключений.

Взять политзанятия.

Их в Афгане любили, как бобик кису. А у нас ждали, как праздника восьмое марта. Из-за Жорки. В Одессе все хохмачи, а Жора – так ещё дальше.

Приехал из дивизии майор по фамилии Чижик. Мелкий, шустрый, как таракан. Собрали нас.

И вот он поливает! Про великую Саурскую революцию, про наши страшные боевые успехи, про нерушимую дружбу Наджибуллы с Андроповым… Про царандой, его тудой… Та не, из царандоя, из ихней армии, хлопцы еще ничего были, - они у нас в Союзе учились. А вот босяки из кишлаков… Ну, да шут с ними! И вдруг этот майор – плавно так – переходит к мучительным недостаткам. Скорбит и ноет про самогон, про анашу… Потом смотрит в бумажку и говорит:

- А ещё есть у нас знаменитые на всю сороковую армию картёжники. Например, сержант-орденоносец Герасимец. Хочу полюбоваться.

Жора встал. Потрогал рукой свою «Красную Звезду» на груди, проверил: на месте ещё или уже отвинтили? И сразу пошёл в атаку.

- Товарищ майор! А шо делать разведке в свободное от политзанятий время? Гербарий из верблюжьей колючки? Или платочки для духов крестиком вышивать?.. – Жора недоуменно пожал плечами. – Меня всё время учат брать примеры с великих людей. Так я беру! Поручик Лермонтов, вы ж его помните, с карточной колодой засыпал и просыпался. А Пушкин с Некрасовым? Те двое на чернила даже смотреть не могли, пока с кем-нибудь в очко не перекинутся…

Майор усмехнулся.

- Тебя беречь надо, сержант: больно много знаешь.

Политрук перешёл в контратаку и с прибаутками заклеймил Жору. Подкинул дровишек в затухающий костёр нашего политического сознания. Утёр пот платочком.

- Вопросы есть? – спрашивает.

Жора вскинул руку.

- Разрешите, товарищ майор?

Майор кивнул.

- Хлопцы нашей разведроты интересуются: правда ли, шо если - не дай боже! - вражеская пуля попадёт в майора, то его родне причитается тыща рублей и духовой оркестр в придачу, а если в сержанта, то - извините?

Майор Чижик глянул на Жору, как на главного душмана.

- Ну, в общем, да… Но приказы ведь пишутся начальством. И не нам, подчиненным, их обсуждать.

– Так и я про то, - на голубом глазу соглашается Жора, - я ж не собираюсь жаловаться в союз композиторов, я для уточнения.

А майор уже начинает злиться втихаря.

- Слушай, сержант, - говорит, - вот ты к чему это всё, а? Какого?.. За каким?.. Ты из всей этой… какой политический вывод делаешь?

А Жоре только дай козырей!

- Та целых два, товарищ майор! – говорит. - Первый. Шоб все майоры жили долго и без радикулита. Второй. Шоб меня духи не шлёпнули, пока до майора не дослужусь. Не-е!.. Раз музыки не будет – я не согласный!

Разведка попадала, уткнула свои чумазые морды в панамы.

Майор под эту радость шустро закруглил занятие. И его сапожки с нестёртыми каблучками тридцать шестого размера запылили в сторону БМП.

Фима поулыбался вместе со смеющимися мастерами. Посмотрел в сторону ворот. Продолжил.

- Но шутки шутками, а на карты Жора был действительно больной. Всех подбивал сыграть и обдирал до нитки. А то ж разборки! От того ж у всех беременная голова. На войне, тем более в разведке, оно надо?..

Оба механика согласно, понимающе закивали.

- И вот пришло седьмое ноября. Красный день календаря. И сменённый часовой приволок к командиру полка, дяде Вове Осипову молодого бойца. Шо приволок? А он, зараза, с автоматом куда-то хотел из расположения слинять! Видали птицу? Дядя Вова его начинает раскалывать. И тот признаётся, шо проиграл Герасимцу пачку денег и литр самогона, шо направлялся в кишлак добывать той самогон!.. Для нашего полкача то было последней каплей в море Жориных проблем.

Фима замолчал.

- И шо он сделал? – вытянул шею от нетерпения Богдан.

- А вот шо б ты сделал? – спросил Фима.

Богдан пожал плечами.

- О то и оно! – удовлетворённо сказал Фима. – Потому он – капитан дядя Вова, а мы – механики авто… Он, хлопцы, построил всю разведку. Велел Жоре выйти из строя, сдать оружие. Достал лист бумаги. Потряс им над головой и гаркнул, - аж майнушки врассыпную жахнули с цистерны:

- Вот! Прислали приказ по дивизии. В нем два пункта. Всего два. Пункт первый. За систематическую игру в карты на деньги, за подстрекательство к мародёрству, к грабежу мирного населения, то есть к преступлению в период боевых действий, решением военного трибунала сержант Георгий Герасимец приговаривается к высшей мере наказания – расстрелу.

Капитан выдержал паузу. Глянул на Жору. Тот - бледный, как кефаль на солнцепёке. Озирается. Типа: а где мы едем? И зачем? А дядя Вова срисовал всё это и шурует дальше:

- Пункт второй. В связи с празднованием годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции приведение приговора в исполнение временно откладывается. Вре-мен-но!.. До тех пор, пока… - Тут капитан набрал весь афганский воздух в лёгкие и заорал во всю глотку. – Пока этот козёл Герасимец ещё раз не возьмёт в руки карты! – Он подошёл к Жоре вплотную. - Тогда всё, расстрел!.. Ты меня понял?!

Больше в руках у Жоры карт никто никогда не видал.

После того расстрела с осечкой начались у Жоры кислые дни: на боевые его не брали, гоняли по хозяйству, по мелочам, как пацана. Воспитывали. Завял Жора. Скис.

Недели через две нам скинули информацию, шо вертушка засекла караван. Брать его пошёл старлей Юра ташкентский со своими ребятами. Нормальный хлопец, вторую командировку воевал. Еле уговорил дядю Вову, шоб тот разрешил ему Жору с собой взять. Полкач сначала упёрся и ни в какую. Тогда Юра стал давить на то, шо Герасимец уже ходил брать караван и его опыт пригодится. Ладно, говорит полкач, пусть, паразит, смывает свою вину.

Богдан спросил:

- А как берут караван?

- Я об том тоже у Жоры интересовался, - кивнул Фима. - Он говорит: «Всё просто, как три копейки. Нежно сопровождаем. Ждём, когда расстелют спальню или ресторан. Берём. Кто тянется к калашам – тех в гости к аллаху. Кто руки в гору – вяжем и кляп в награду. Везём домой вместе с трофейным барахлом».

В общем, взяли они той караван. Ох, и богатый оказался! Не зря ползали за ним!.. Долларов и наркоты там было – мама не горюй! На то, шо было в тех мешках, новый стадион «Черноморец» можно отгрохать. И ещё на пиво с раками останется.

Между прочим, за такие операции командиру группы обычно дедушку Ленина давали. Но Юра ташкентский был старлеем. И наверху решили, шо ему пока и Красного Знамени сойдёт. А остальным медали понавешали. – Фима махнул рукой. – Ай, та шо говорить… Больше всего орденов – у штабных.

Но вот шо любопытно, хлопцы! В том караване обезьянка была. Мартышка. Жорка пожалел её, взял себе. Тут-то всё и началось!

- Шо началось? – спросил Богдан.

- Та погоди, - замахал на него рукой Лёша, - слушай.

Фима не спеша закурил новую сигарету.

- Обезьянка не простой оказалась. Да ещё как! Сначала она скрывала свои таланты. Просто нежно себя вела. Сядет к кому-нибудь на плечо и копается у него в волосах на голове - вшей выбирает. Ага. Разведка в очередь выстраивалась: этого добра у всех хватало. Короче, все её полюбили. А с Жоры мы просто смеялись, так он её ко всем ревновал! Стали они с той обезьяной не разлей вода - как Ильф и Петров, как моя Лиля с мобилой.

Хлопцы Жоре говорят: надо ж ей имя выбрать. Стали думать, но в башку ничего путного не лезет. Кто предлагает Пулей назвать, кто Гранатой. Гивик из Кутаиси говорит:

- Чего мелочиться? Назови Холерой или Чумой: все духи со страху разбегутся!

Юра ташкентский слушал, слушал, и вдруг поднял палец вверх.:

- О! Про такую дружбу, как у Жоры с мартышкой, сто лет назад Тургенев написал. «Му-Му» помните? Ну, вот! Так и надо её назвать, Му-Му. А Герасим уже есть, вот он, Герасимец!

Все поржали. Согласились.

Ладно… Дальше - больше!

Однажды Жора пошёл на склад боеприпасов за патронами. И Му-Му свою прихватил. Заходят. А там ящики штабелями. И вдруг Жоркина обезьяна стала рваться к одному из штабелей и махать лапками возле ящиков. Жора глянул на те ящики, а там – мины. «Ты шо, Мумуня?» - спрашивает. А она всё машет лапками, волнуется, как Наташа Ростова перед своим первым балом…

Жора решил проверить свою догадку. Вышел со склада и попросил дежурного перетащить один ящик с минами в другое место. Дежурный перетащил. Жора снова зашёл. Следит за Мумуней. Она прошла мимо штабелей с патронами, гранатами… И шо вы думаете? Запрыгнула на той самый ящик с минами! На передвинутый!..

- Во даёт! – Восхитился Богдан. – Унюхала?

- Это шо ж? Дрессировка? – спросил Леша.

Фима развёл руками.

- Кто ж её знает? Покрыто мраком. Но факт налицо: Мума чуяла мины!

Опять козыри у Жоры! Стал он брать её с собой на засады, наблюдения. Сам шёл впереди, а её вёл на длинном поводке. И если по ходу дела нам духи подкладывали какую-нибудь железную свинью - она чуяла, зараза! Указывала!

И вот понеслось!

По всему Афгану покатила слава про обезьяну из разведки, про невероятные Мумины способности! Восхищались. Привирали. А как без того?!

В Кундузе про неё говорили, шо она целый отряд из окружения через минное поле вывела. В Шибаргане – шо во время боя она бросила гранату в гущу духов и спасла много наших… А в Герате … Ну, там уж наплели полную…

Слухи гуляют быстро. До начальства тоже долетают. А надо сказать, шо про Афган тогда писали мало: так, про дом построили, про колодец вырыли. Мы ж туда, типа, не армию послали, а трёх дружинников – постоять у кинотеатра «Кандагар», последить, чтоб духи анашу курили в строго отведённых местах и самогон пили только в буфете. Про потери и поражения – ни гу-гу, ни боже мой. Начальству был нужен в прессе… этот… как его? Позитив. А шо может быть позитивнее обезьяны и сержанта Жоры с орденом на грудях?!

Через какое-то время приезжает в полк из Москвы спецкор «Комсомольской Правды». Обстоятельный. Со всеми переговорил. Хлопцев куревом угостил, полкача и Герасимца водкой. Посмотрел на фокусы Мумуни с минами. Снял всё это дело в фас и в профиль и уехал.

Через недельку примерно нам с вертушки скинули мешок с разной мелочью. А в нём - номер «Комсомолки», со статьёй про культурные будни нашего полка и фотка Жоры с Мумуней на плече.

Теперь сороковая армия и вся страна знали своих героев в лицо и в морду.

Но надо ж было так лечь карте, шо в те самые дни закончилась командировка нашего полкача, дяди Вовы Осипова. И прислали нам нового командира, с Кубани, - майора Шалавина.

- Ничего себе фамилия, - присвистнул Богдан, - нормально.

- Соответствовал? – с трудом выговорил Лёша.

Фима кивнул.

- На все сто. И ещё дальше. Мы его между собой называли Две Шалавы.

- Почему две? – удивился Богдан.

- А он сам с собой базарил! Шо-нибудь спрашивает у тебя и тут же сам на то отвечает. Причём заводится и звереет от того всё больше и больше. Ну, чистое кино - две шалавы сцепились и орут друг на дружку! Афган и так-то горячая точка, а с Двумя Шалавами нам стало ещё теплей.

Дядя Вова и Две Шалавы – это ж полный наоборот. Капитан нас чему учил? Как выжить в этом бардаке и не подставляться почём зря. Он знал все местные заморочки, грамотно готовил и проводил боевые. А этот…

Фима встал со скамейки. Прошёлся, поглядывая на ворота.

- Бестолочь чумовая с шилом в заднице!.. По горам гонял! А там же бегать нельзя, там воздух разряженный. Там нужно пройти десяток шагов и сделать паузу, подумать о красивой женщине. Нежно матюгнуться – и дальше.

Или вот пряжки с кокардами... Заставлял начищать их до блеска. А шо может быть красивей для снайпера, чем такая мишень? И злой он был – круглосуточно, как бульдог в театре Куклачёва!

Короче, Герасимец и обезьяна стали для нашего майора большой, увесистой находкой. Но и майор для Жоры был находкой: на него такие фрукты действовали безотказно, как красное знамя на Гитлера... Понятно, шо Жора какое-то время прятал Му-Му. Но долго ли там спрячешь? Палатки, цистерны, пяток офицерских модулей, горы, камни да пыль…

Как только Две Шалавы увидел Жору с мартышкой, сразу варежку распахнул:

- Кто тут разрешил зверинец разводить?! Может, генерал армии Епишев? Больше некому!

Я возле уазика стою. Смотрю, шо дальше будет. Жора, не моргнув глазом:

- Так точно!

Майора аж подбросило.

- Что?! Ты меня что, за идиота считаешь?! По твоим наглым глазам вижу, что да! Даю полчаса. Если не шлёпнешь свою макаку, сам пристрелю!

Жора взял на всякий случай Му-Му на руки.

- Ой… А шо, у вас даже оружие есть?

Майор побурел. Схватился за кобуру.

- Тихо, тихо, - говорит Жора, - осторожней, майор. Тут, в горах, такие дурные рикошеты бывают.

- Даю полчаса на выполнение приказа! Понял?! – орёт Шалавин этот...

Фима, изображавший майора и Герасимца, выдохнул. Замолчал.

- Ну? И чё Жора? – спросил Богдан.

- Да погоди ты, - остановил его Лёша. Он повертел пустую бутылку в руках и тоже уставился на Фиму.

- Фарт! – ударил ладонями по коленям Фима. – Типичный фарт одесского разлива.

- Это как? – спросил Богдан.

- А это фарт, который с нервами в одном флаконе. Сначала чистая психушка, а потом уже фарт. Короче, Жора сильно возбудился. Вскипел до краёв. И решил: помирать, так с музыкой! В прямом смысле.

Прошло минут эдак двадцать. И Две Шалавы, а с ним и вся разведка услышали, шо играет труба. Но не какую-нибудь польку-бабочку, а чисто конкретный похоронный марш. Все высыпали с палаток. Смотрят. И видят. На отшибе - свежий холмик земли с деревянным крестом на макушке. Возле него стоят Жора, ещё пятеро хлопцев из его взвода и я с ними. Все сняли панамы. Все скорбят. А Коля из Иркутска на своей трубе играет – прямо плачет навзрыд… Он, Коля, когда ехал в Афган, думал, шо в музыкальную роту попадет, вот и взял с собой трубу. А его - в разведку… Ну, вот. Коля играет. Все скорбят. Не успел Две Шалавы выпрыгнуть из своего модуля, как Жора дал команду. Мы подняли калаши и устроили прощальный салют. Майор замер на секунду и – звериными скачками к нам...

Тут мне – честно скажу - сильно жалко стало Жору. И нас всех тоже. Я уж подумал, слишком далеко мы заплыли за буйки…

Но – фарт, хлопцы! Говорю же, чистокровный фарт!

В тот самый момент наверху послышался характерный рокот: зависла над нами вертушка. Повисела и села. И вышли из неё – мама дорогая! - наш командир дивизии и ещё пять офицеров. Комиссия из округа! С кинооператором! Уф!..

Фима перевёл дух. Механики смотрели на него, затаив дыхание.

- Подходят они к нашей похоронной команде. Две Шалавы тоже подбежал, орёт: смирно! Окружной полковник разглядывает горку земли, деревянный крест.

- Вольно, - говорит и обращается к Жоре, - что тут происходит?

- Хороним с почестями боевого товарища, - рапортует Жора.

- Хороните? Почему здесь? – спрашивает полковник.

- А он здесь застрелился, здесь и хороним.

- Не понял… Как застрелился? Кто? – полковник смотрит на Две Шалавы.

А у того от Жориной наглости шок, ступор. Он машет рукой в нашу сторону и повторяет: вот они… это он и они... А Жора не тормозит, продолжает лапшу развешивать.

- Виноват, товарищ полковник, - говорит, - не доглядел! Когда товарищ майор велел его в расход, он сильно расстроился. А я отошёл! И слышу – бац!..

Офицеры глядят на Жору. Ни черта не понимают. Две Шалавы не выдержал и не заорал даже, а завизжал:

- Да врёт он! Тут обезьяна! Это он её!..

- Отставить, майор, - полковник совсем запутался. - Ваша фамилия, сержант?

- Герасимец, товарищ полковник!

- Ну?! Это ваша обезьяна? Или кто тут уже?!

Жора понял, шо заплыл далеко и пора поворачивать назад. Он раскрыл рот. Но тут полковника прорвало. Он матюгнулся так кучеряво, длинно и от души, шо все замерли. Потом сделал паузу и перевёл своё пожелание всем нам на гражданский язык.

- Я какого сюда пёрся?! Хоронить обезьяну?! Она мне живьём нужна была, идиоты! А вы, грёбаный дух, её шлёпнули?!

- Товарищ полковник, - успел встрять Жора, - раз она вам так нужна, тогда ладно! Тогда жива! Ей богу, жива! Я её тут, рядом, в землянке спрятал… подальше от товарища майора…

Полковник рявкнул ещё пару ласковых. Велел показать обезьяну живьем. Жора побежал.

Постепенно всё прояснилось, улеглось. Все выдохнули. Полковник даже посмеялся, оценил Жоркину хохму с похоронами. И тогда уже все вместе - прямой наводкой - пошли на склады. Снимать кино про Му-Му и все её чудеса с минами.

Пока снимали, - ещё один подарок от начальства: подъехали два «Урала». Мобильная баня! Сто лет её не видели!

- Кругом показуха, - проворчал Лёша.

- Ясный перец, - кивнул Фима, - но хлопцам-то до лампочки: рванули к ним, обрадовались. А комдив, пока разведка мылась, собрал офицеров возле их домишек-модулей и зачитал им приказ. Нам его тоже кукарекнули, когда начальство улетело.

Приказ, хлопцы, гласил о том, шо бог не фраер! Шо Две Шалавы переводят к мотострелкам, а Юру ташкентского ставят вместо него полкачом. О как! И кто после того скажет, шо в нашей дивизии мозги кончились, и шо Жора - не фартовый хлопец?!

Дальше пошёл полный Голливуд!

Ровно через две недели, день в день, Жорку и его Му-Му срочно командируют в Кабул. И ни одна гюрза, ни один скорпион не знают и не догадываются – на кой? Уж потом, когда меня таким же макаром вызвали в столицу афганской революции, Жора мне раскрыл военную тайну.

Дело в том, шо в округе, а потом и в Москве кино про мартышкины трюки сильно понравилось. И вот из Москвы дают команду: срочно оборудовать в Кабуле тренировочную базу с жильём для обезьян и группы дрессировщиков во главе с Жорой.

- Каких обезьян? – спросил Богдан.

- Ну, ты можешь не перебивать, а?! – возмутился Лёша.

- Нормальный вопрос, - успокоил его жестом Фима. – Речь за мартышек-трёхлеток: их в количестве двадцати штук приказано было доставить из Сухумского питомника.

- А-а! Я видел по телеку, – снова оживился Богдан, – там разные…

- Ну, ты посмотри на него! – крикнул совсем пришедший в себя Лёша. – Слова человеку сказать не даёт!

- Ша, хлопцы, ша.

Фима достал сигарету. Две руки потянулись к ней с зажигалками. Он прикурил. Бросил взгляд на часы и продолжил.

- На окраине Кабула оборудовали пустой склад и прилегающую территорию под тренировочную базу. – Фима с удовольствием затянулся. – Привезли обезьян. Восемнадцать мартышек и… бабуина с шимпанзе. На кой те двое? Оказывается, до кучи: у них, в Сухуми, всего восемнадцать трёхлеток нашлось. А приказ был – двадцать.

Жора сходу понял, шо один он с этой оравой не справится. Да, ему дали уазик, снабжение, фельдшера, охрану из местных, то, сё… Но рук-то всё равно не хватало… О! Забыл! И погоны старшинские ему нацепили!..

- Так он шо, не отказался? Рискнул дрессировать? – удивился Богдан.

- Ты, Богданчик, чудак, - сказал Фима, - это ж надо знать Жору: то ж для него - новое кино, адреналин!

- Адреналин… Как не боялся фраернуться, - удивился Лёша.

Фима загадочно улыбнулся и поднял палец вверх.

- Потому он – разведчик, а мы – механики авто! Ну, вот… А курировать весь этот цирк в Кабуле приказали тому самому майору Чижику. Помните, да?.. Жора ему объясняет: нужен помощник. Называет мою фамилию, место дислокации полка. Меня за шкирку и – в столицу Афгана. Но там я тоже, как Богдан, впадаю в нервное веселье. Говорю: Жора, куда мы рвём без козырей?! Это ж авантюра голимая! Через месяц-другой приедут проверять, скажут – вскройте карты, - и твоему блефу конец!..

А он, бес, ухмыляется и всё.

Короче! Ровно месяц мы с Жорой мыли морды с мылом, заедали самогон тушенкой и арбузами; имитировали деятельность, груши и хурму околачивали. Раз в три дня возникал перед нами майор Чижик. Мы ему бодро отчитывались, врали безбожно. Но то ли я накаркал, то ли они там в Москве такие грамотные… Ровно через месяц нарисовался майор в очередной раз, всклоченный, как воробей, и объявляет «Танец с саблями»:

- Через два дня проверять нас прилетят! Из Москвы! Приказали продемонстрировать работу новых сапёров в трёх разных местах: в горах, на равнине и на берегу какой-нибудь реки. Как успехи?

Я, хлопцы, замер. А Жора спокойно так, как про погоду на завтра, говорит:

- Успехов нет, товарищ майор. Не поддаются они дрессировке.

Майор аж приземлился на ящик из-под мин.

- Ты что? Ты ж говорил… - И вдруг как вскочит на ноги. - Под трибунал хочешь?!

За компанию?!

- Не, - говорит Жора, - таких планов у меня нет. И они тоже старались, но… У них, наверное, какой-то другой талант! У меня талант - карты тасовать и передёргивать. У вас - тасовать события на политзанятиях и пере... Вот… А Му-Му умеет мины вынюхивать. Но не бывает же так, шоб все обезьяны в стаде - и на карты, и на лекции, и на мины талантливы были!

- Кончай звиздеть! – орёт Чижик, - что теперь делать?! Что?!

- Есть три варианта, товарищ майор, - отвечает Жора.

- Какие?! – у майора Чижика паническая тоска в глазах.

- Утром мне через охранника духи передали ультиматум. На словах. В нём – аж целых два варианта.

- Ну! Какие?

- А вот какие: или я им тихо, мирно, за хорошие бабки возвращаю ихнюю, то есть нашу Му-Му, или они взрывают наш питомник вместе с нами к чертовой матери, - чтобы мартышка не досталась никому. Ответ я должен дать завтра.

Чижик говорит:

- Забудь оба варианта. Выкинь на хрен из головы. Надо усилить охрану. Сменить афганцев на наших. А третий какой?

Тут Фима прервал рассказ. Встал со скамейки. Достал мобильник. Набрал номер.

- Алё… Костя? Ну, шо?.. Ты где? А… Ещё бы… Понимаю. Ждём.

Он выключил телефон. Обратился к слесарям.

- Задерживается…

Механики смотрели на Фиму, как майор Чижик на Жору. С тем же нетерпением. Он тоже посмотрел на них. Спросил:

- Ну? А, да! Да… Жора рассказал майору за третий вариант. И шо вы думаете? Чижик согласился!..

Фима снова достал мобильник. Снова набрал номер.

- Алё… Костя? Не забудь фотку той «Победы». Ну, да…Всё. Ждём.

- Да не звони ты ему! Приедет, никуда он не денется, - нетерпеливо сказал Лёша, - шо дальше?

Фима спрятал мобильник. Снова сел на скамейку.

- Всё, хлопцы, просто. И снова гениально. Жора одного и того же туза достал из рукава три раза подряд!

Довольный Фима многозначительно посмотрел на мастеров.

- Слушайте сюда! Прилетает комиссия из Москвы. С целым генералом во главе. Он такой крупный, басовитый. Натуральный генерал. И все они – ну, такие чистенькие, такие новенькие, будто их всех только шо купили в «Военторге»!.. Чижик их встретил, привез показывать обезьянник. Жора и тут отличился. К их приходу вывесил над обезьяньими клетками плакат: «Горячо приветствуем товарищей по оружию!» Чижик увидел, - закатил глаза, не знал, за шо хвататься - за сердце или за фуражку, шоб не упала. Те глянули. Сделали вид. Ни грамма не сказали.

Обошли клетки. Увидели бабуина с шимпанзе. Спрашивают: а эти зачем? Пока майор соображал, как выкрутиться, Жора обращается к генералу:

- Разрешите, товарищ генерал?

Тот кивает.

- Давай, старшина.

А Жора не просто даёт – дальше нарывается.

- Это эксперимент такой, товарищ генерал. Инициатива. Мартышки у нас - спецы находить мины. А этих, разных пород, мы учим разминировать. Пока беда с ними, ошибаются часто: было их одиннадцать штук, а теперь вот всего две остались.

У комиссии морды перекосились. Все смотрят куда-то вниз, на Чижика: тот усох на глазах и стал в два раза меньше. Генерал рявкнул:

- Отставить эксперименты! Инициативу – тем более! Вам была задача поставлена? Ну, так какого?! Её и выполняйте!

Чижик уже еле стоит на ногах. Успел валидол сунуть в рот. Вопит:

- Есть, отставить эксперименты! Разрешите проследовать к вертолёту?

Ведёт их, сажает в вертушку. По пути шипит Жоре, шоб тот зашил рот навсегда. Летим на первую точку, в горы.

А Му-Му уже там, на месте. Жора демонстрирует её талант. Комиссия в восторге! Они летят на вторую точку, в пустыню, к раздолбанному складу. Но подлетают к нему – по уговору – не сразу! А всё кружат и кружат вокруг… Минут десять лишних. В это время я хватаю Му-Му, сажусь в другой вертолёт и прилетаю на ту вторую точку раньше них. Отдаю Мумуню, как эстафету, тамошним хлопцам. Тихо, как мышь, сижу на складе. Комиссия прилетает. Му-Му по новой демонстрирует свой талант. Все довольны. Все смеются. Усекли фокус?

Богдан и Лёша молча восхищённо кивают. Фима разводит руками.

- На третьей точке - тот же самый трюк!.. Получилось! Клюнули! Съели! Генерал на радостях всё шутил, фотографировался: с Му-Му, возле БТРа, возле палатки, с биноклем на горке…

Фима замолчал. Все трое улыбались, переваривали сказанное.

Наконец прервал молчание Богдан.

- Ну и везун этот Жора.

- Везун, - согласился Фима. – Перед отлётом комиссии с третьей точки генерал вдруг спрашивает его:

- Старшина, а правда, что ты своих обезьян ещё и приемам кун-фу учил?

Жора замялся. Он ведь когда расстроился, шо у обезьян с минами не лады, пробовал их хоть чему-то обучить. Вспомнил, как с нами инструктор занимался восточными единоборствами. Стал проводить занятия с мартышками. И тут Му-Му лучше всех оказалась: лихо повторяла всякие простые движения.

- Товарищ генерал, это так, между делом, - скромничает Жора, - баловство.

А генерал завёлся: покажи и всё!

Чижик исподтишка толкает Жору вбок: давай, мол, покажи, раз начальство просит.

- Выслужиться хочет за чужой счёт, - язвительно вставил Лёша.

- Ясный перец, - кивнул Фима. - Ладно! Жора согласился. Но всего же не предвидишь. Сначала шло гладко. Мумуня лихо повторяла за ним движения. И в какой-то момент генералу так понравились Мумины ужимки, шо он стал громко ржать и хлопать. Остальные подыгрывают ему: тоже ржут, тоже хлопают. От того шума Му-Му, видать, растерялась. Застыла. И вдруг как кинется в атаку, - как вмажет генералу лапой по морде! И ещё!.. Он отбивается. Жорка оттаскивает Му-Му за уши. А она лупит генерала вовсю, - сбила фуражку, за волосы дёргает!.. Короче, вышла из-под контроля!

Мордобой, устроенный обезьяной генералу, вызвал у Лёши и Богдана единодушное одобрение.

- Молодца, – кивнул Лёша.

- Ага, так ему и надо! – поддержал его Богдан. – Проверяльщик!.. Они только и умеют, что других проверять!

Все трое посмеялись.

- Ну, и? – спросил Лёша, - Неужели вас потом так и не раскусили?

- Да, а потом-то что было? – спросил Богдан.

- Потом? Как во сне, хлопцы. Майору и Жоре вручили потом командирские часы с гравировкой «За отличное воспитание молодых специалистов». – Фима помахал левой рукой с часами. – Вот такие. И денежные премии. Могли бы, наверное, и к наградам представить, если бы не тот прощальный мордобой.

Шоб Чижика все эти гостинцы радовали, так нет. Скоро он с тихим ужасом сообщил нам новость: командиру сороковой дивизии приказали срочно пристроить к складу-питомнику ещё одно помещение - в два раза больше! И в те же дни западные голоса через «Спидолу» - а они же всё знают! – рассказали тем, кто не спит, шо министр иностранных дел СССР товарищ Громыко – тоже срочно - вылетел в дружественную Индию с секретной миссией.

Фима полез в карман за сигаретами. Богдан и Лёша – за зажигалками.

- С какой? – спросили они одновременно.

– Договориться об обмене крупной партии советских противогазов на такую же крупную партию обезьян-мартышек, - объяснил Фима, - или об их покупке за валюту.

Наш Чижик запил. Мы его утешали и помогали в этом плане, как могли. Он же не вредный был мужик, нормальный. Ночью мы ловили вражеские голоса. «Би-Би-Си» ехидно заявило, шо про Громыкину тайную миссию ЦРУ уже в курсе. В курсе они…

Фима в отчаянье махнул рукой.

- Та шо там узнавать?! Прятать же уметь надо! А у нас? Та никакой шифровки! Просто ноль конспирации!.. Вот и доигрались. Официальный Вашингтон сходу запулил ноту протеста в Индию. С тонким намёком в сторону Союза. Мол, борзеть не надо! У нас, мол, тоже есть свои крокодилы и пираньи!

И тут занервничали все. Ну… абсолютно все! – Фима широко обвёл руками пространство. - На всех континентах! Вы-то были шкетами и не знаете, а я-то помню! Такого шухера в мире не было со времён поставок наших ракет на Кубу!..

Мы с Жорой днём дремали, а ночью продолжали слушать вражеские голоса. Транзистор раскалялся от родных нам новостей, как жених перед брачной ночью. Артистка Брижит Бардо, защитница животных, бросила тюленей в Канаде и так стала рваться в Афган, аж лифчик лопнул! Ватикан в Риме устроил молебен и крестный ход в защиту мартышек. В Африке одно людоедское племя в знак протеста объявило голодовку! Та шо в Африке! У нас на складе проходу не было от посылок с прокисшими фруктами! Их мартышкам слали со всего Союза. Жора спотыкался, спотыкался об них, а потом говорит: «Идиёты! Такой продукт пропадает!» И решил варганить… шо?!

Фима вопросительно посмотрел на Лёшу и Богдана. Те задумались. Пожали плечами.

- Тю, - Фима разочарованно развёл руками, - дети изобилия… Шо тут думать? Самогонный аппарат!.. Но пока он подбирал комплектующие, командующий армией издал приказ: запретить везти посылки в Кабул, оставлять их на границе, в Кушке.

- Обидно, - вздохнул Лёша.

- Не то слово, - сказал Фима, - сколько денег могли сэкономить… Раз сидим мы с Жорой тёмной ночью, крутим транзистор. Вдруг «Голос Америки» говорит: вчера в Москве состоялась встреча секретаря Андропова и Зия-уль-Хака.

- А это кто? – спросил Богдан.

- Президент Пакистана.

- Фима, как ты их всех запоминаешь?

- Та про них же все бубнили – и наши, и голоса. Не хочешь, а запомнишь… Так вот. Диктор говорит, шо состоялась закрытая на все замки встреча, на которой обсуждался афганский вопрос. На ней Зия предупредил Андропова, шо если Индия станет помогать Союзу с поставками секретного оружия… Сечете, о чём свист? …то Штаты ответят сразу и тоже всё своё в Афгане нарастят.

- Во, змеи! Везде свой нос суют, - сказал Лёша.

- А Союз? – возразил Богдан.

- Союз… Был Союз. Приказал долго жить, - отмахнулся Лёша. – Так чем всё у вас кончилось, Фим?

- Та не кончилось ещё*, -* задумчиво сказал Фима, - какое-то мутное затишье образовалось тогда. Никто не знал, кому туз козырный выпадет, а кому шестёрка.

Но, судя по тому, шо на стройке века, в новом обезьяннике работы затухли, приостановились, стало понятно: в Москве к мартышкам охладели. Да ещё и болеть они, бедолаги, стали. Четыре штуки померли. Фельдшер смотрел, пожимал плечами. Говорил, шо похоже на желтуху. Жора огородил для Му-Му отдельное место. Изолировал.

Наконец майор Чижик кое-что разнюхал. Рассказал нам, шо в Москве, в Главном политуправлении вроде бы новая идея родилась. Ой!.. Они ж там все, наверху, сидят и всё время тужатся, рожают! Бояться, шо если перестанут рожать – то их сходу выкинут и других беременных найдут. Но в тот раз им крупно повезло. Они родили гениальную идею!.. Давайте, говорят, попробуем дрессировать сусликов или тушканчиков, их натаскивать на мины. Типа, с обезьянами хлопот много: валюта, транспорт, протесты забугорные... А эти, тушканы и суслики, бегают рядом и кругом – родные, бесплатные. Так шо ж им даром путаться под ногами? Пусть пользу приносят! Мол, ну их в задницу, этих иностранцев, своими силами обойдёмся.

- Во идиоты, - вздохнул Лёша.

- Ага, - согласился Фима. – А вот Чижик, за ту новость как за соломинку уцепился. Всё бубнил, как молитву: «Может, так оно и к лучшему? Может, отстанут теперь от нас?»

Но дни текли сквозь пальцы, а непонятки оставались.

Кромсаю я однажды штык-ножом арбуз обезьянам. А Жора разговаривает с Мумуней.

- Ну, шо, подруга дней моих суровых? Кончилась колода? Козыри вышли? И тебе тут надоело, да?

Му-Му смотрит на него человечьими глазами так, словно всё-всё понимает. Даже грустно кивает в ответ и ноет немножко.

- Согласен с тобой полностью, - говорит Жора, - тут сытно, но скучно. Пора линять.

Жорка не заметил, как к нам подошёл майор Чижик. Встал рядом.

- Куда это ты навострился, Герасимец? – спрашивает.

- В полк, - говорит Жора. - В разведку, в засады, в налёты….

- Приказа сворачивать наше дело не было.

- И шо теперь? Ждать, как говорил Насреддин, пока ишак сдохнет или султан помрёт? Вы же грамотный человек, товарищ майор! Ну, придумайте шо-нибудь!

Чижик вздохнул.

- В армии существует только инициатива сверху. За инициативу и придумки снизу не поощряют, а навешивают кой-чего. Забыл?

Тогда я сам стал думать… Ну, в смысле, - я и Жора стали думать. А думает он быстро. За ним не угонишься. На следующий день они пошушукались с Чижиком. Смотрю, Жора уже шмотки собирает, Му-Му моет с мылом.

- Уговорил? - спрашиваю.

- Ага, - Жорка повеселел, - уговорил Чижика командировать меня к нашим для занятий с обезьянами в горных условиях. Но это для бумаги. Беру только Му-Му.

- А меня?!

- Тебе месяц остался до дембеля. Не лезь под шальную пулю.

На этих словах Фима встал со скамейки, размял ноги, потянулся.

- Всё. Это всё, хлопцы. Больше я их не видел.

- И не знаешь, что с ним? Жив или нет тот Жора? – спросил Богдан.

**-** Не знаю, - задумчиво ответил Фима. - С его широким профилем всё могло быть. Мог пулю получить в Афгане. Или срок в Союзе. А мог рвануть в Бразилию. Обыграть там в очко ихнего главу банка или переспать с ихней королевой. Королевой карнавала.

- А ещё, - азартно выдвинул свою версию Богдан, - он мог протащить Му-Му на грузовой самолёт и вывезти сюда. А потом башлять с ней фотографом на каком-нибудь нашем пляже!

- Запросто, - кивнул Фима.

Помолчали, размышляя над судьбами Жоры Герасимца и Му-Му.

Лёша усмехнулся.

- Тебя послушать, Фима, так веселая война у вас была. Может, и все пули там летели мимо?

Фима посмотрел на него рассеянно.

- Ну, почему же… Иногда попадали... В ящики с тушенкой.

Наконец подъехали на «Форде» Цуперовичи. Осмотрели «Студебеккер». Сын выехал на нём из ворот мастерской и скоро вернулся.

- Всё о кей, батя!

Костя Цуперович поблагодарил мастеров. Расплатился с Фимой. И они с сыном уехали: старший на «Форде», младший на «Студебеккере».

На радостях, что сегодняшний день заканчивается удачно, Фима отпустил Лёву с Богданом домой раньше обычного.

Когда в своём кабинете он перекладывал деньги из кармана пиджака в портмоне, то обронил маленькую фотографию шесть на девять. Фима поднял её, сдул пылинки. Посмотрел на себя, молодого, в выцветшей гимнастёрке с сержантскими погонами, с двумя боевыми орденами на груди, и с обезьяной на плече. Дома у него были ещё несколько фотографий с Му-Му. Но эта ему нравилась больше других: на ней оба они – и он, и мартышка – улыбались.

Фима щелкнул обезьянку по носу. Подумал: «А вшей ты и вправду ласково выбирала…»

1. Крижопольский Борис «Запертый сад».

***Крижопольский Борис***

**Запертый сад**

Запертый сад - сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник.

Песнь Песней

Запертый сад – ни тропинки к нему, ни дороги…

Запертый сад – человек.

Рахель

Что-то вырвало меня из глубокого сна, куда я провалился, как в колодец, придя с ночного задания. Несколько бесконечных мгновений я пытался сообразить, где нахожусь, пока все не стало на свои места: спальник, брошенный на жесткий бетонный пол, тяжело спящие люди в оливковой форме, облупленные стены школы, покрытые кое-где арабской вязью, источающие запах сырости. Туль Карем.

Ронен настойчиво трясет меня за плечо. Наверное, пора на дежурство. Да, братишка, сейчас. Да, встаю. Приподнимаюсь на локте и встряхиваю головой, чтобы отогнать сон.

- Послушай, ты читал “Евгения Онегина”?

Что?! Я еще не проснулся? Евгений Онегин? Где я?

Требовательная рука не отпускает мое плечо, а знакомый голос терпеливо повторяет:

- “Евгений Онегин” – вроде есть такая русская книга. Ты же русский, и ты много читаешь, а мне позарез нужно знать что там написано.

- Евгений Онегин? Мать твою, Ронен! Евгений Онегин убил своего друга, который разбудил его из-за ерунды.

- Да ладно, не ворчи. Вставай! Вставай же! Очень нужно. Вопрос жизни и смерти.

Ронен улыбается своей знаменитой улыбкой. Невозможно сердиться, глядя на эти смеющиеся глаза, этот лисий прищур, слушая этот обволакивающий голос, с неповторимыми интонациями. Смотрю на часы: я проспал чуть больше двух часов. Такие штучки могли сойти с рук только ему. Роненовский шарм давно уже стал частью армейского фольклора, как и изобретенный им термин "СОЛО" – Связи, Опыт и Личное Обаяние. Когда, пораженные очередной его гениальной комбинацией, товарищи спрашивали: "Как, чёрт возьми, тебе это удалось?", он обезоруживающе улыбался и отвечал: "СОЛО, братишки, СОЛО". К тому же, мое пробуждение было уже состоявшимся фактом.

- Ладно, черт с тобой! Пойдем покурим.

Переступая через лежащих, мы вышли в школьный двор. Все вокруг было промозглого серого цвета: голые бетонные здания, тяжелое небо над головой, жирная грязь под ногами. Мы сели на холодные ступеньки, в углу двора, и закурили. Дым наполнил легкие, вместе с холодным, сырым воздухом. Теперь я окончательно проснулся.

-          Ну, рассказывай, как занесло тебя на эти галеры?

-          Куда занесло?

-          Давай, про Онегина.

Ронен прочистил горло и начал рассказывать. Последние два года он учил архитектуру в "Бецалеле" и работал охранником в сохнутовском центре абсорбции. Работа не напрягала, платили неплохо, в ночные смены он мог учиться, а самое главное – девочки. Прямо с аэропорта, как пирожки из печки! Россия, Украина, Аргентина, Франция… Первое время, даже шея болела – не знал, куда раньше смотреть. Ронен, в свою очередь, представлял для новоприбывших противоположного пола интерес в качестве живого аборигена. А его внешность и обаяние превращали этот интерес в ажиотаж.

В этом водовороте манящих глаз, лукавых губ, пепельных, русых, каштановых кудрей, грозившим с головой затянуть темпераментного израильтянина, было одно лицо, настолько выделявшееся на общем фоне, что его невозможно было не заметить: мулатка!

- Русская мулатка, прикинь! – до того спокойно сидевший и равнодушно рассказывавший о своих неслыханных победах Ронен, вскочил и стоял передо мной, переступая в возбуждении длинными ногами и жестикулируя. Огонёк сигареты выписывал отчаянные зигзаги перед моим лицом.

Этот экзотический цветок, с кофейной кожей, появился в результате учебы студента из Того в одном из ВУЗов Украины. Девушка выделялась не только внешностью.

- Даже, когда вокруг полно людей, и она общается и смеется с ними, и в то же время, она одна, сама по себе. Понимаешь? Я не знаю, как объяснить, но это видно.

Единственной ее близкой подругой стала толстая девушка, которой огромные очки на круглом лице придавали сходство с совой. Эта девица следовала за тоголезкой принцессой как нитка за иголкой. В этой своеобразной дружбе Ронен усматривал лишнее доказательство инаковости своей пассии.

- Ну, красавицы, как раз, любят окружать себя страшилищами. И это известный факт, банальней некуда.

Между тем, заинтересованный взгляд этой принцессы стал все чаще останавливаться на Ронене. А как-то вечером, Сова, строго посмотрев, передала ему прихотливо сложенный лист бумаги. Прочитав письмо, написанное на иврите, без единой ошибки, Ронен задумался. Все это было слишком серьезно, а ничего серьезного ему сейчас не хотелось. Серьезное враг хорошего. Можно было не отвечать. Можно было написать в ответ. Но Ронен выбрал самый трудный вариант: решил поговорить лично и объяснить, что …

- "Напрасны Ваши совершенства – их вовсе не достоин я", - сюжет был уже абсолютно ясен для меня.

- Что-что?

- Да так, ничего. Продолжай.

Она молча выслушала Ронена, прислушиваясь, похоже, не столько к его словам, сколько к чему-то внутри себя. Потом так же молча повернулась и ушла, бросив на него всего один взгляд, который Ронен долго не мог забыть. А потом, она снялась с программы и уехала к родственникам на юг страны. Сначала Ронен почувствовал облегчение, потом – пустоту. А потом началось странное. Против своего желания, он снова и снова мысленно возвращался к тому разговору. Снова и снова видел выражение ее глаз, отстраняющий жест тонкой смуглой руки. Он не мог избавиться от этого морока, от сосущего ощущения утраты. Уже всерьез подумывал взять отпуск и поехать ее искать, как получил вызов в армию, немало удививший его, так как, поглощенный своей внутренней жизнью, совсем не следил за тем, что происходило в большом мире.

Ронен отбросил погасший окурок, и сел рядом со мной.

-  Я до сих пор не верю, что сделал это, но в тот же вечер написал письмо, и отдал его Сове, чтобы передала ей. Все эти чёртовы дни я сам не свой. Тут в оба глядеть надо, чтобы тебя не пристрелили, а у меня голова не на месте: все думаю о ней, о своем письме, и о том, что она подумала, когда прочла, и что ответит… Короче…  сегодня утром приходит смс, всего одна фраза: “читай “Евгения Онегина”.

Он посмотрел на меня:

- Вот я тебя и разбудил…

Во дворике разожгли костер и подогревали на нем консервы. Горячий, дымный запах полз по двору, заглушая запах мокрого цемента.  Снова начал накрапывать дождь. Мы сидели на влажных ступеньках заброшенной школы, в Туль Кареме, и я пересказывал Ронену сюжет “Евгения Онегина”.

Когда я закончил, он схватился за голову:

- Ну и сукин сын этот Пушкин! Нет, теперь я просто обязан сам это прочесть, - он почесал в задумчивости подбородок, заросший рыжеватой трехдневной щетиной. -  У родителей большая библиотека, должен у них быть и Пушкин. Как только выберемся из этого дерьма, я позвоню им, чтобы привезли мне книгу.

Не умевший сидеть без дела Ронен отправился на поиски розетки для давно севшего телефона, а я остался во дворе. Спать не хотелось, спину ломило от долгого лежания на твердом, холодном полу. Я осмотрелся. Школьный двор был ограничен с двух сторон зданием в форме буквы “Г”, в длинной части находился штаб, а в короткой спали мы. С третьей стороны была глухая стена, а с четвертой – полуразрушенное здание, видимо бывшее когда-то вестибюлем. Оттуда, прорываясь сквозь нестройный гомон голосов во дворе, доносилось какое-то бормотание, срывающееся на высокие ноты. Через пролом в стене я вошел внутрь. Пол был усеян бетонной крошкой. Когда глаза привыкли к полутьме, я смог рассмотреть два стула, к каждому из которых было привязано по человеку. Один из них - тот что был ближе ко мне, мучительно извивался на стуле, беспрестанно бормоча что-то, вскрикивая и захлебываясь. Это был тщедушный, очень смуглый человечек. Второй – высокий и плотный, с короткой, темной полоской усов на круглом лице, сидел спокойно и безучастно. Глаза обоих были завязаны, что придавало их лицам похожее выражение.

- Пришел полюбоваться на трофеи?

Сзади ко мне подошел наш полковой врач. Ему было лет сорок, и несмотря на военную форму, его округлая, с выпирающим брюшком, фигура, массивная голова, с редеющими кустиками волос, мягкая манера говорить – производили какое-то домашнее впечатление, совсем не подходящее к тому, что нас окружало.

- Вот, - кивнул он на черного человечка, - так всю ночь и все утро.

- А что с ним?

- Ломка. Наркоман он. Настоящая находка для Шабака. Если, конечно, что-то знает, - добавил он, помолчав. - Невозможно смотреть на него. Я не выдержал, сделал ему укол. На некоторое время успокоился. А теперь опять началось. Ну что ты будешь делать? – доктор развел мягкими волосатыми руками. - Не могу же я изводить на него свой морфий.

Услышав голос доктора, маленький наркоман застонал, повернул голову в нашу сторону, и быстро-быстро заговорил. Не нужно было знать арабский, чтобы понять, так выразительны были его интонации и умоляющее выражение незрячего лица. Второй арестованный сидел молча, опустив голову на грудь. По лицу его неспешно ползла муха. “Морозной пылью серебрится его бобровый воротник”, - всплыло у меня в голове, совсем некстати.

Я вернулся в зал и лег на пол. Эта школа так мало походила на то, что отзывалось в моей памяти на это слово. Широкий двор, игры в “квадрат” на переменках, выяснение отношений на жесткой лужайке за теплицами, портреты классиков на стенах, пьянящее буйство зелени, врывающееся в класс через открытые окна... Онегин, Татьяна, морозная пыль, моё незабвенное детство – где всё это теперь? В какую бездонную пропасть ухнуло все, оставив меня предаваться воспоминаниям на пыльном полу заброшенной школы города Туль Карем? Туль Карем – Виноградный Холм. Да уж…

\*\*\*

Возможность прочесть “Онегина” появилась у Ронена раньше, чем мы предполагали. Уже через два дня нас вывели из Туль Карема, и мы вернулись в тот мошав, из которого выходили на операцию.

Когда, обрадованные возможностью свидания, родители Ронена примчались к нему, он, первым делом, потребовал у них обещанную книгу, а затем, объяснив как выехать отсюда на шоссе, величественным жестом отпустил их. Глядя, как белая мазда разворачивается, как побитая собака, я подумал, что в этом - весь Ронен. В своё время, я размышлял над его, почти магической, способностью привлекать к себе людей, и пришёл к выводу, что секрет заключается в способности абсолютной концентрации на настоящем моменте. Этот человек присутствовал без остатка в том, что делал, и если он говорил с кем-то, то его внимание принадлежало собеседнику полностью и безраздельно – остальной мир переставал существовать в этот момент. Раз испытав такой всепоглощающий интерес к своей персоне, люди тянулись к тому, кто подарил им это, столь редкое ощущение. Оборотной стороной такой способности концентрации на предмете было полное безразличие ко всему остальному, тому что не находилось в настоящий момент в поле зрения. Ронен существовал по ту сторону вежливости. Все его душевные силы, все без остатка, были поглощены сейчас его темнокожей Татьяной и теми завораживающими отношениями, которые складывались между ними, высверкивая электрическими разрядами. Весь мир делился на две неравные части: ЭТО и всё остальное. И значение "всего остального", куда входили его родители, я, те люди, которые в стреляли в него и те, которые защищали его от пуль, сводилось только к той роли, которую они играли в "этом".

Получив вожделенную книгу, Ронен молча уселся в углу, и погрузился в чтение. Меня удивило насколько этот громоздкий фолиант, в твердой, с завитушками, обложке не соответствовал ни объему, ни содержанию романа. Когда через час нас позвали на задание, Ронен молча встал, накинул, не глядя, снаряжение и сел на пол БТРа - туда где свет, падавший из открытого люка позволял читать. Задание было пустяковым: выражаясь топорным языком армейских инструкций, мы должны были "продемонстрировать присутствие" - проехаться по дороге, постоять на перекрёстке и вернуться.  День был солнечный, впервые после недель дождя. Солнце сушило напоённую влагой землю, и когда мы останавливались, в воздухе чувствовался характерный для этих мест горько-сладкий запах трав. Стоя в люке, я с наслаждением подставлял лицо встречному ветру. После влажной грязи, сырого бетона, замерших ночных улочек, так приятно было видеть эту зелень и голубизну, и свободно дышащую землю. В десятке метров от края дороги я заметил большого орла, сидевшего на скале. Его выпуклые глаза смотрели на рычащее чудовище, ползущее по дороге в облаке пыли. В них не было страха, только, как показалось мне, какое-то отчужденное удивление. Когда мы почти поравнялись с ним, он сорвался с места и несколькими неторопливыми взмахами мощных крыльев набрал высоту. На несколько мгновений я потерял его из вида, но потом нашёл: распластав неподвижные крылья, он описывал над нами медленный круг. В этом парящем силуэте было столько свободной, живой силы, был такой контраст с нами, прикованными к уродливой металлической коробке, ползущей в пыли и грохоте.

Я посмотрел вниз: в брюхе БТРа разыгрывалась драма пути мужского сердца к сердцу женскому, загадка которого волновала ещё царя Соломона. Один из мешков с землей, которыми мы обложили борта машины, для защиты от пуль, оказался порванным, и от вибрации, вызванной движением, земля медленной струйкой посыпалась внутрь. Не отрывая жадных глаз от книги, Ронен нетерпеливым движением стряхивал землю, сыпавшуюся на страницы. Я знал, что благодаря своей феноменальной концентрации, он существует сейчас в другом мире – том, где бьётся закованная в гранитные берега Нева, торопливо летит по бумаге холёная рука, серебрится морозной пылью воротник. И только тоненькая песочная нить связывает его с пыльным и суровым миром, в котором существовал сейчас я - нить назойливая, как муха, неторопливо ползущая по незрячему усатому лицу.

1. Курилко Алексей «Мой папа – Высоцкий», «Не киношная любовь»

***Курилко Алексей***

**МОЙ ПАПА – ВЫСОЦКИЙ**

Мне было лет пять. Почти шесть. Я рос без отца. Но я точно знал, что он у меня есть. Потому что стоило мне чем-то огорчить маму - она тут же начинала кричать, что я вечно порчу ей кровь, и что я весь в отца, и я треплю ей нервы, второй папа. А иногда, например, когда я ел или просто смотрел телевизор лёжа на диване, подперев голову рукой, мама, полюбовавшись какое-то время моим видом, невольно произносила неожиданно ласково: «Вылитый отец».

Да, я был убеждён, что он есть. Но я его совсем не помнил. И ничего о нём не знал. Мать не любила, когда я затрагивал эту тему. На вопрос о том, где мой папа, мать начинала злиться: «Где? Я бы тоже хотела знать, где и как живёт твой папашка, пока я из последних сил тяну эту лямку одна! Ему- то что? Настругал детей и живёт себе припеваючи. У него душа не болит. Совесть не мучает. Алиментами откупается».

Вот ещё одно доказательство того, что папа был. Каждый месяц мы с мамой отправлялись на почтамт и получали денежный перевод. На обратном пути мама неизменно ворчала: «Он думает, это деньги? Это гроши! Он хоть знает, сколько стоит детская обувь? Лично мне от него ничего не надо, но о собственном сыне он мог бы побеспокоиться. Так нет! Все деньги, небось, уходят на блядей!.. Это плохое слово. Не повторяй его никогда. Слово плохое, но маме можно. У мамы нервы, как бельевые верёвки… И зла не хватает… Понял?»

Я утвердительно кивал. Я уже выучил с полдюжины таких нехороших слов. Но повторять их в принципе не стремился.

Изредка лишь уточнял у мамы:

- Бляди – плохое слово?

- Очень плохое.

- А что это такое?

- Ну, это такие женщины, которые нравятся твоему папе.

Короче, он был. Просто его не было рядом с нами.

Как-то раз я перебирал наши грампластинки. На самом дне коробки, где они хранились, наткнулся на две пластинки, которые мы никогда не слушали.

- Не трогай их, - сказала мама, - это папины. Я не хочу их слушать.

- Папины?

Я изучил обложки. На обеих был запечатлён мужчина с гитарой. На одной обложке мужчина сидел в красном кресле, на спинке которого висел кожаный пиджак; на другой мужчина сидел на белом кубике, а рядом стояла красивая белокурая женщина.

Мне вдруг всё стало ясно. Это и был мой папа! Конечно! Точно!

Но я решил уточнить.

- Это точно папины пластинки?

- Ну ещё бы! Он ими очень дорожил, но я ему их не отдала. Из вредности. Обойдётся. Я пережила его предательство, и он переживёт…

Всё сходится! Значит, он певец. А вот эта белокурая женщина – одна из его блядей. Поэтому мама запрятала их так далеко. Чтобы не злиться.

Я был рад, что так легко всё разгадал. Я ликовал. Тайна раскрыта! Хотя мама особо и не скрывала. Она же сама призналась. Но на всякий случай я постарался контролировать себя и не выказывать своей радости.

- Давай поставим, - небрежным тоном попросил я. Так, словно мне было всё равно – поставит она или нет.

- Ты ничего не поймёшь, - сказала мама. – Тебе не понравится.

- Ну и что, поставь.

И чтобы у неё не возникло даже мысли, будто для меня это важно, я махнул рукой: мол, знаю, что не понравится, но ты поставь, пусть будет.

Мама включила магнитолу. Поставила пластинку и ушла на кухню готовить ужин.

Как только я услышал этот хриплый баритон, я тут же почувствовал – это голос моего папы. Последние сомнения улетучились. Их развеял голос. Голос отца.

Слушая песни, я внимательно рассматривал конверт, из которого была вынута заветная грампластинка. По слогам прочитал: Вла-ди-мир Вы-соц-кий.

Сердце бешено колотилось. Я находился на грани обморока. Моего папу зовут Владимир Высоцкий.

Я внимательно всматривался в лицо на обложке. Ну конечно, мама права, мы поразительно похожи. Что не удивительно. Ведь я его сын.

Прослушав первую сторону, я сам, очень аккуратно, перевернул пластинку.

В комнату заглянула мама.

- Ну что? – спрашивает.

- Ничего, – говорю, стараясь усилием воли унять колотившееся сердце.

- Нравится?

Я неуверенно кивнул и задержал дыхание. Боялся, что мама расстроится или разозлится, но она лишь покачала головой и сказала:

- Ничего не поделаешь – порода.

С тех пор я почти каждый день просил поставить мне Высоцкого. А потом научился и сам управляться с магнитолой.

Мать ворчала:

- Сколько можно слушать этого алкоголика?

- Он алкоголик?

- А ты что – по голосу не слышишь?

Мне хотелось сказать что-нибудь в его защиту, но я не знал, что.

И продолжал слушать Высоцкого.

Мать была права, не всё мне было понятно в его песнях. Но это не имело значения. Что не понимал – додумывал. Например, фразу «я обхожу искусы» я понимал так: человек (сам папа?) обходит место, где его могут искусать собаки.

Особенно мне нравились его шуточные песни. Про жирафа. Про утреннюю гимнастику. Но и остальные я тоже скоро разучил.

Взрослые только диву давались, когда слышали, как я вместо «голубой вагон бежит-качается» напевал: «мы не успели, не успели оглянуться, а сыновья, а сыновья уходят в бой».

А иногда по ночам я просыпался в слезах. Мне снилось, что папа приезжает к нам, весёлый, с гитарой, он поёт, рассказывает всякие интересные истории, обнимает счастливую маму, а потом он ведёт нас в кино или в зоопарк, а люди оглядываются, смотрят на нас и говорят: «Не может быть… Это Высоцкий. Лёшин папа».

Конечно, я понимал: папа артист, ему некогда приезжать к нам, но хоть бы разок, на денёк…

Затем я уговорил маму купить ещё новых пластинок. К тому времени как раз вышла новая серия - «На концертах Владимира Высоцкого». Это было что-то необыкновенное! Я был счастлив. С каждой зарплаты мама покупала по одной пластинке.

Однажды по телевизору транслировали фильм «Место встречи изменить нельзя». Раньше я не видел этого фильма. И когда на экране появилось лицо Высоцкого, я от неожиданности воскликнул:

- Папа!

- Что? – спросила мама.

Я решил, что пора признаться. Больше не имело смысла что-либо скрывать.

- Всё я знаю, - говорю. (Сообщаю это тоном доброго инквизитора.) - Знаю, - говорю, - кто мой папа…

- Я, слава Богу, тоже знаю, кто твой папа.

- Он!

И я решительно ткнул пальчиком в экран.

- Кто он?

- Высоцкий!

Мама так сильно удивилась, что потеряла дар речи, а когда полминуты спустя речь вернулась к ней, голос был сдавленным, сиплым, словно кто-то невидимый держал её крепкой рукой за горло.

- Лёшенька, ты себя хорошо чувствуешь?

- Он мой папа! – выкрикнул я. – Ты просто не хочешь говорить!

Кажется, мама поняла, что я вот-вот расплачусь, поэтому заговорила со мной тихо и ласково.

- Милый мой, хороший… Поверь мне, я не стану тебя обманывать… Твой папа – да простит меня Бог – такой же алкаш, как и этот, только менее талантливый. Я говорю правду. Твоего папу зовут Лёня. И у него такая же фамилия, как у тебя. Курилко. Но я надеюсь, что когда ты вырастешь, ты будешь совсем другим. Ты будешь честным, сильным и добрым. А может, даже и знаменитым, как этот твой Высоцкий.

- Да?

- Ну а почему нет? Чем ты хуже других? Ты у меня умный, красивый… С богатой фантазией… как оказалось.

Мама обняла меня и крепко прижала к себе.

- Тоже, глупыш, выдумал! Надо же! Сделал меня любовницей Высоцкого… Ты хоть никому об этом не рассказывал? А то ещё не хватало… Нашим сплетницам только повод дай, а уж они-то додумают – и как я на концерты к нему ездила, и как где-то в гримёрной… О майн гот! Любовница Высоцкого… У него там своих хватало… Бабы его любили…

А я сказал:

- Только ты его больше не обзывай.

- Кого?

- Высоцкого.

- Хорошо, не буду. Сдался он мне, твой Высоцкий. Садись, смотри фильм, а я пойду, лекарство приму, а то ты меня в гроб загонишь своими фантазиями…

**Не киношная любовь**

1

– Да наливай, не спи! И пей... Шо ты её греешь? Ну, не хош – не пей, я тя заставлять не собираюсь… Плесни, гаврю! И рассказуй! Усё выгружай, шо там у тя на душе! Рассказуй усё как есть! Там же, я чую, любовная драма и комедия у тя разыгралась … Скажешь, не? Молчишь? Вот то-то… Я давно просёк! Мине можешь не заливать… Знаю тя как облупленнава, на моих же глазах рос... Вы ж для миня усе как рОдные... А то и ближе рОдных, потому шо рОдные уже даже не пишут и не звОнют. А к се не позовут – они ж миня сисняюца... Да ты нальёшь мине уже или де?! Слава те Господи! Наконец-то очнулся! А то я сарю, ты вроде как и не здесь. Пора те, Дым, поведать мине усё от начала, как грит-ца, и до конца. Ферштейн?

2

Ни один самый талантливый писатель не способен составить достойную конкуренцию своими выдуманными рассказами, тщательно сконструированными или же вдохновенно изложенными на скорую руку, тем странным, а порой невероятным трогательным историям, которые порой случаются в реальной жизни с самыми обыкновенными и мало кому интересными людьми. Вот вам одна из таких реальных историй, я её не выдумал, а всего лишь перенёс на бумагу почти в таком же виде, в каком услышал от одного из главных участников этой жизненной и, стало быть, слегка абсурдной трагикомедии.

Дело было на исходе прошлого века, в самом конце девяностых годов. (Страшная эпоха для одних, но интересная для других. Лично для меня –страшно-интересная.) Звали её Люсей, а не как теперь – Людмилой Андреевной, и было ей девятнадцать лет. Она училась на педагогическом и едва сводила концы с концами, поскольку время было тяжёлое, студентам платили мизерную стипендию (да  и ту периодически задерживали), которой едва хватало на квартплату. А на руках у неё была семилетняя сестра Варя, и приходилось Люсе подрабатывать корректором в маленькой редакции паршивой скандальной газетёнки желтоватого оттенка, рассказывающей со своих страниц о знаменитостях всякие грязные и фривольные сплетни, а то и откровенную ложь. (Когда какая-нибудь оскорблённая звезда, не зная, куда истратить лишние деньги, подавала на газетёнку в суд за клевету, редакция тут же меняла название газеты и адрес офиса и продолжала «творить» в том же духе.) Люсе было неприятно, стыдно даже рассказывать знакомым о своём сотрудничестве с таким дешёвым органом печати, но деньги, пусть и небольшие, существенно помогали содержать себя и сестру и потихоньку расплачиваться с долгами, сделанными после того как она похоронила мать, всего на полгода пережившую любимого мужа, знаменитого в советское время учёного-микробиолога, академика Томского. Полжизни академик Томский, положивший все силы на алтарь науки, провёл, изучая и борясь со всякого рода бактериями, а умер от банального гриппа. После развала Советского Союза выше любой науки стала наука выживать, а также наука приспосабливаться к новым экономическим отношениям, чья теория была на первый взгляд простой и бесхитростной: купи подешевле, желательно не за свои, за чужие деньги, продай подороже. Некогда высокая зарплата академика не успевала за бешеным ростом цен. Никогда нигде не работавшая Люсина мама, всю себя посвятившая заботам о трёх детях: старшей Люсеньке, младшей Вареньке и самом беспомощном – муже Андрюшеньке, была вынуждена пойти в посудомойки ресторана «Сайгон», открытого в помещении бывшей детской библиотеки, пока Томский пребывал в депрессии после того как был проведён на заслуженный отдых, а по сути, отправлен домой за ненадобностью. Страна переживала глобальные перемены. Микробиология претендовала на слишком большую долю тающего на глазах государственного бюджета. Государству было выгоднее не замечать микробиологию в упор, а частные коммерческие предприятия даже с помощью микроскопа не могли разглядеть, какие большие доходы или хотя бы маленькую финансовую прибыль могла бы принести им микробиология .

Государственная дача и автомобиль ушли в область предания. Сбережения съели внезапный дефолт и медленно, но верно растущая инфляция. Томские распродали вначале мамины украшения, затем столовые сервизы и кухонную утварь, а когда дело дошло до папиной библиотеки, академик Томский слёг с нервным переутомлением. Два месяца больничного режима и скромного рациона превратили его, пятидесятишестилетнего мужчину, в глубокого худого, седого старика. Вернувшись из больницы поздней осенью, академик Томский подхватил грипп и спустя две недели умер. За ним мужественно – как для хрупкой женщины – пережив два инфаркта, последовала верная и любящая супруга.

Впрочем, к главной истории всё вышесказанное имеет лишь отдалённое, косвенное отношение. Мой рассказ о Люсиной любви, случившейся тогда, когда сама Люся находилась в шаге от суицидальных мыслей. Обычно таких мыслей она не допускала только из-за ответственности перед младшей сестрой. Та училась во втором классе. Люся утром отводила Варю в школу и спешила, не выспавшись толком, на пары, затем в редакцию, домой же приезжала к восьми, когда сестрёнка после продлёнки ждала её под дверью уже часа полтора-два (у них от входной двери остался всего один ключ, лишние копейки на создание дубликата никак не откладывались, и тогда откладывалась на неопределённое время идея сделать дубликат, который Варя – хоть на шею вешай тот ключ на веревочку, бесполезно – всё равно умудрилась бы скоро посеять). Быстро сварганив ужин, накормив сестру и уложив её спать, Люся успевала написать несколько горьких строк в дневник – многолетняя привычка, затем падала на диван, а то, бывало, засыпала в отцовском кресле прямо за письменным столом, чтобы утром, залив в себя две-три чашки крепкого кофе, принять душ  и, разделив остатки ужина между Варей и кошкой Лилит, снова нестись по привычному кругу.

«Я красиво гарцую, – писала она в дневнике, – гордо и благородно, стройная и породистая, в позолоченной узде, в побитом молью плюмаже, по кругу, как цирковая лошадь, и если у этого цирка есть зрители, они готовы любоваться моей лёгкостью и грацией, не догадываясь о том, что не останавливаюсь я только потому, что боюсь, потеряв инерцию, упасть и более уже не подняться. Загнанных лошадей, как мы знаем, пристреливают, не правда ли? Так вот, в нашем цирке моё поведение ни у кого никакого сочувствия не вызовет, только оживит программу своей неожиданностью. Зрители будут жадно наслаждаться моим падением и безуспешными попытками встать. И никто не пристрелит меня из жалости. Патроны и те предназначены для тех, кто стоит на рынке хоть сколько-нибудь, а у меня ничего нет. Только эта трёхкомнатная камера пыток, и даже на неё уже облизываются жуликоватые дельцы и проходимцы. Я не могу её продать. Отец бы мне этого не простил. Он любил эту квартиру. Мне кажется, что он и мама... Не пойму – боюсь или надеюсь... Он и мама всё ещё здесь, с нами. Если мы переедем в однокомнатную, а сюда переедут какие-то жлобы из новых русских, то они, мои милые родители, умрут вторично. Да и школа Вареньки здесь, и друзья её… Я потерплю. Мне бы только диплом получить, а там найду хорошую работу...

Люсенька, кого ты пытаешься обмануть? Преподаватель русского языка и литературы – какая хорошая работа тебя ждёт?

Есть ещё молодость и красота...

Люся, ты уже этим готова торговать?

Нет, я не о том совсем. Вон Дуднев в люди выбился, бизнесмен, с криминалом вроде бы не связан… Любит меня по прежнему…

Но ведь ты, Люся, его тоже «по-прежнему» не любишь?

Да при чём тут любовь? Размечталась! Он меня сводил на концерт, потом в ресторан, всё допытывался, какое вино я предпочитаю, а я незаметно в сумку бросала еду для Вареньки! Он, дурак, в машине с поцелуями лезет, а я только и думаю, чтобы он своими лапами стрелку не пустил на моих последних чёрных колготках!

Да ты просто его не любишь!

Да ну при чём тут любовь?!

А вот не любишь – и всё!

А вот и не всё! Он к себе зовёт – не иду, но не потому, что не люблю его (хотя и не люблю тоже), а оттого что у меня нижнее бельё в двух местах заштопано. Нет, это стыдно! Вот и вся любовь...

Зато потом ходила бы в шелках, мехах и бриллиантах.

Ой, Люся, не тревожь мне душу глупыми мыслями, ложись уже спать, а то завтра себя винить станешь»...

3

Так вот она и жила-жила-поживала. Квартиру разменивать, чтобы продать большую часть, не торопилась, всё отговаривала себя, надеялась на чудо. Неизвестно на какое чудо. Может, в лотерею выиграет. (Она изредка покупала билет, за что потом себя сильно корила.) Может, просто найдёт целый чемодан денег – в одном фильме двум малолетним оболтусам так повезло. А может, мамин брат из Америки приедет, чтобы забрать их к себе. Правда, мама была не уверена, что он именно в Америке, она даже не была уверена в том, что он жив, так как от него двадцать лет ни слуху ни духу … В общем, чуда какого-то ждала, а какого именно, точно не знала… Наверняка тянула время перед неизбежным решением продать квартиру. А может, думала, сдать комнату какой-нибудь приезжей? Такой же студентке, как и она, только приезжей.

И терпеть незнакомого человека в доме?

Так ведь приятную, хорошую, порядочную девушку надо найти…

Но если попадётся хорошая, то они наверняка подружатся? А как с подруги деньги брать? А главное – чужой человек в доме. Сейчас такое по телевизору рассказывают – ужас…

Люся постепенно готовила себя к неизбежным переменам и ужасно этих перемен не хотела, боялась их...

4

Люся, как когда-то отец, была и сама на грани нервного срыва. Классная руководительница Вари в третий раз – письменно, через дневник Вари – требовала срочно сдать деньги на ремонт класса! Занять было не у кого. Пора было принимать какое-то решение. Брать квартиранта или подыскивать вариант с продажей и переездом в более скромную квартиру в другом районе, подальше от центра города.

Душевно она себя более-менее подготовила к вынужденной необходимости грядущих перемен, но неожиданно для себя как-то раз с удивлением заметила, что жизнь её постепенно начала улучшаться. Приводя однажды в воскресенье в порядок отцовский архив, – давно уже собиралась, – обнаружила среди писем стодолларовую купюру. Отец в жизни не прятал от семьи деньги. Всё до копейки всегда отдавал матери. Либо мать их сюда в отцовский ящик сунула и забыла, либо купюра тут хранилась в виде сувенира со времён заграничных командировок отца. Правда, он рассказывал – что-то такое Люся смутно помнила – будто валюту выдавали в строго ограниченном количестве и вся она обычно уходила на сувениры, подарки для мамы и детские игрушки для неё, Люсеньки... На купюре стоял год 1979-й. Год её рождения. Вероятно, это совпадение было не случайно. В тот год он точно ездил в Канаду… Интересно, в Канаде своя валюта или американские доллары?.. Хотя доллары нынче всюду. Ходят везде. Вот теперь и у нас тоже...

Эти сто долларов пришлись весьма кстати. Люся отдала остаток долга, купила мешок картошки, заплатила за электричество... Оставшаяся сумма предназначалась классной руководительнице Вари. Но та отказалась брать у Люси деньги. Сказала, что только на днях услыхала от кого-то из родительского комитета об их семейной трагедии. Требовать деньги на ремонт класса она будет только у тех родителей, что смогут оплатить его безболезненно: у Рыбальченко вон папа – банкир, у Вдобишовой родители из-за границы не вылезают – пусть платят. А Варе она, наоборот, уже выбила бесплатные обеды в школе как ребёнку из неполноценной, то есть неполной семьи.

Люся обрадовалась, хотя и немного огорчилась, что теперь Варю начнут считать девочкой из «неполноценный семьи». Слова «малообеспеченная семья» Люсе тоже не нравились. Как-то неприятно резало слух. Словно они люди второго сорта, неполноценная семья, получается, они неполноценные люди, ущербные какие-то, в общем, не такие, как все. Но настаивать на том, чтобы учительница взяла деньги на ремонт, Люся не стала. Купила Вари сапожки, а себе две пары колготок. Хотела, правда, сначала починить краны. Три дня названивала в ЖЭК. Всё гадала, хватит ли оставшейся суммы заплатить сантехнику. Тот неожиданно явился сам, когда Люся уже потеряла надежду лицезреть его по крайней мере в ближайшем будущем. Сантехник пришёл трезвый, мрачный, злой... Краны починил, но от денег отказался сразу и категорически и только уже у порога вдруг резко передумал, но взял только на «поллитриндель» – так он выразился – «из уважения», а за сам ремонт не взял ни копейки. Сказал: «Я у дочери любимого мого академика гроши брать не буду. Ферштейн?» И не дожидаясь ответа, ретировался.

Отца её раньше многие уважали, а теперь о нём помнит только пьющий и мрачный сантехник. Кто бы мог подумать?

Спустя пару дней – ещё один приятный сюрприз: мамин брат, дядя Альфред объявился. И не просто объявился, а передал с оказией немного денег и норковую шубу для своей сестрёнки. Люся проплакала весь вечер. Дядя Альфред не подозревал, что мама уже умерла.

В общем, в Люсиной жизни как бы наступил некий светлый период. И в редакции повысили расценки. И соседи сверху отдали коробку кошачьего корма – им из Англии привезли, а у них кота давно нет, он в новогоднюю ночь выпал из окна и разом лишился всех своих девяти жизней...

Определённо жизнь не только перестала сжимать ей горло, но и, можно сказать, улыбалась ей миролюбиво и благосклонно.

Тем не менее Люся решила всё-таки квартиру продать. Не из-за финансовых трудностей, нет. Из-за мистики. Или полтергейста. В таких вопросах Люся не разбиралась. Она только знала, что дома начали происходить загадочные и необъяснимые явления.

Люсе было страшно.

Во-первых, в квартире перемещались с места на место всякие предметы и вещи. Во-вторых, некоторые вещи исчезали, а потом появлялись вновь. В-третьих, Лилит вела себя так, словно ощущала в квартире чьё-то потустороннее присутствие... А Варя однажды сказала, что папа не умер, а лишь временно исчез из виду, а так-то он всё ещё с ними.

Ну ладно я, думала Люся, схожу с ума. Нервы, усталость, тревога – всё объяснимо. Но Варя? А самое невозмутимое создание на всём белом свете – Лилит ? С ней-то что?

Люся убеждала себя в том, что если нечто потустороннее, мистическое и происходит в квартире, то бояться ей не нужно, поскольку это, вероятно, дух её отца. Не может же дух того, кто тебя любил, когда жил в реальном мире, причинить тебе какой бы то ни было вред, утратив свою телесную оболочку. Нет, этот дух, наоборот, будет всячески тебя оберегать… От кого? От других духов... Плохих, чёрных духов… Значит, спрашивала сама себя Люся, в доме присутствуют и плохие духи?

Люся подумывала: не посоветоваться ли ей с Митей?

Да-да, совсем забыл упомянуть, что теперь помимо Дуднева, в её жизни появился ещё один мужчина...

Вот если начинает человеку везти, то везёт уже исключительно во всём и сразу со всех сторон...

5

— Не, Дым, ты в таких делах ваще не петришь! Извини, но те не фатает опыта! Не, ну и шо, хай так! Не хош рассказыать – ради бога, токо не гри, шо сможешь разрулить усё сам. Я ж вижу, ты не сибе. Так расскжи, пделись... Я ж по таким делам спец! Я тя выслушаю и я ж те и помогу хоча б советом. Как той старший тварищ... не глупый и чёткий... Тьфу! Чуткий! Ферштейн?

— Да понимаю я! Только оттого, что я тебе всё расскажу, мне никоим образом лучше не станет.

— Ну прям?

— И никаким советом ты мне помочь не сумеешь. Поскольку у задачки этой всего одно правильное решение, но оно-то и неверное. А верное решение – неправильное.

— Ты мине мозги-то не кастрируй...

— Просто сложившаяся ситуация усугубилась тем, что затронуты уже сугубо нравственные категории...

— Ты, Дым, давай токо не умничай! Книжки всякие читать и мудрёно грить – много на ума не надо. Ты от в книжках-то не нашёл то... чё те может подсказать мой жизненный опыт. Я ж те говорю, я в таких делах спец… Такую жизнь прожил – врагу не пожелаю … Так что или рассказуй усё как есть, или шо? Или пей! Ферштейн?

— Да я вот ума не приложу: с чего начать?

— Начинай… Начинай с самого, как грит-ца, начала! Не с конца же начинать? А то я запутаюсь.

— Вполне резонно.

— Рассказуй!

— Хорошо. Только я всё-таки выпью, ладно? И ты выпей!

— Яволь! Я шо – спорю? Не! Я грю: зер гуд!

6

— Я-то как себе простраивал мысленно свой дальнейший путь? Думал, что по возвращении точно уже возьмусь за голову – вычеркну прошлое, так, словно его и не было, попробую опять в институт поступить, в крайнем случае пойду на киностудию, там меня помнят, пойду хоть простым постановщиком. Люди увидят, что я за эти годы всё осознал, они помогут. Ясное дело, я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что с тех пор в стране произошли существенные перемены, но не до такой же степени… Я вернулся в абсолютно иной мир, абсолютно в другую страну… Какой там институт? У меня вместо паспорта только справка об освобождении... ни прописки, ни документов, ни денег... Ничего! Один, как пуп! Во-о-от... Институт! Да теперь люди с полным пакетом документов чтобы лишь поступить в институт – огромные бабки платят. И чтобы учиться – платят! А я что? А киностудия? Две трети павильонов вообще закрыты, остальные сдают под аренду, и там чёрт знает что творится... Кино не снимается в принципе! А то, что снимается, язык не повернётся назвать «кино». Шлак! Благодаря которому у новых хозяев жизни есть возможность отмыть грязные деньги. Я думал, если не актёром, то хотя бы постановщиком. Да в постановщики «заслуженные» идут пахать, чтобы хоть что-то заработать. Народные артисты и всенародно любимые звезды – и те в полном простое. Месяцами, годами не снимаются...

А жить надо. Нового выхода, иного выхода я тогда не видел и снова начал воровать. Сперва работал с Мотылём, он оттачивал моё мастерство, многому обучил, мечтал сделать из меня «профи наивысшей пробы». Потом его прирезали старые дружки за какой-то давний долг. Ну, это ты лучше меня знаешь.

Я остался один. Наводчиком у меня был полный кретин. У меня создалось впечатление, что порой он после очередного запоя наобум называл адрес и время, когда хозяев не бывает дома. Однажды навёл меня на квартиру, в которой якобы жил академик, мировая знаменитость, тот будто бы прямо купался в роскоши. Ну ладно, всковырнул я ту квартирку. Академик, а замочек старый, открывается на раз-два.

Я сразу, как только вошёл, понял – тут проживают люди не зажиточные далеко. От былой роскоши ничего практически не осталось. С первого взгляда всё было ясно. Но я всё-таки по квартире прошёлся, порыскал, скорее больше присмотрелся, принюхался – ни драгоценностями, ни деньгами там уже и не пахло. По стенам висела пара каких-то старых картин, но в вопросах живописи и антиквариата я откровенный дилетант. Ну картины, ну вроде старые. А кто их писал, когда? Оригиналы это или подделки – откуда мне знать? Да и чего я – картины, что ли, резать буду? А с ними потом куда? Мой барыга с удовольствием принимал драгоценности, шмотки, электронную технику... А всякие там старинные книги, иконы, картины, статуэтки – он в этом не лучше меня разбирался.

В общем, уже уходить собираюсь, как вдруг вижу, на пианино фото в рамочке, под стеклом. А на фото девушка. И не девушка, а прямо ангельское создание. Милое такое, светлое по образу, и чистое очарование... Словами не опишешь. По типу – нечто среднее между Вивьен Ли и Одри Хепберн. Необыкновенно красивая. И глаза ну прямо светятся счастьем.

Вот же, думаю не без зависти, повезёт кому-то каждый день в такие добрые, счастливые глаза смотреть... Ушёл я, короче, ни с чем из той квартиры. Думал, что ни с чем, а оказалось, в памяти образ этой барышни унёс.

Представляешь? Вот как закрою глаза – так тут же её образ и всплывает. День прошёл, второй, а девица та из головы не уходит. Одним словом, наваждение… Никогда со мной ничего подобного не случалось...

На третий день не выдержал, опять в ту квартиру полез. Исключительно ещё раз на фото глянуть. Старался убедить себя в том, что я себе её красоту нафантазировал. Вот, мол, гляну свежим взглядом, чтобы убедиться: не такая уже она Елена Прекрасная, и всё! Наваждение рассеется, как утренний туман.

Но не тут-то было. Помню, стою перед пианино, гляжу на фото и сам себя убеждаю, настраиваю: «Ну и что в ней такого особенного? Ничего особенного! Как сотни, как тысячи других». Даже вслух эту фигню, как мантру, проговариваю.

А сам при этом налюбоваться ею не могу... Вот нравится она мне – и хоть ты убей меня! Сам на себя уже злюсь. Идиотизм ведь, если со стороны такое наблюдать. Стою, как дурак передо иконой. Любуюсь. Прямо… типа… влюбляюсь вроде…

Во-о-о-от, значит... Думал фотокарточку эту умыкнуть, чтоб не приходить больше. А как? Начинаю размышлять, анализировать – вытянуть саму фотокарточку или вместе с рамочкой? Так в любом случае пропажу заметят. На пианино кроме этого фотопортрета ничего нет, стоит на видном месте. Пустота сразу же в глаза бросится. Ну и пусть замечают! Мне с того что! Да и не будет никто из обитателей дома поднимать кипиш из-за исчезнувшей фотографии! Это же ерунда! Мелочь! Но ты ведь знаешь, как Мотыль говорил: «Крупная рыба на мелочи ловится». Не помнишь? У Мотыля было пять любимых присказок, это одна из частых. Стоило мне сказать «это, мол, пустяки», или там «не суть важно», или «остальное уже детали», он обычно хмурился и всегда сперва переспрашивал: «Детали, говоришь»? Или «Нюансы, значит»? А потом злобно так: «Запомни, щенок, для вора и нюансы важны! И мелочи, и пустяки! Учитывай всё вплоть до мельчайших деталей! А то ведь крупная рыба на мелочи ловится». И что интересно, эта фраза всякий раз приобретала свой особый смысл в зависимости от контекста. Частенько смыслы эти противоречили друг другу.

Мотыль ведь не только в практике воровского ремесла был силён, он был, только не смейся, и практиком, и теоретиком, и – не побоюсь этого слова – идеологом, а также своего рода мыслителем. У него имелась целая философская концепция, по которой воровство не просто являлось одной из самых древних профессий, оно вполне могло быть даром богов. Древнегреческие боги-олимпийцы то и дело прибегали к кражам, ограблениям и воровству. Лучшим по этой части всегда считался Гермес. Мотыль много размышлял над всем этим, и хотя мысли свои он выражал, скажем так, языком незамысловатым, некоторые его наблюдения поразительны, а углублённые раздумья ошеломляют неожиданными выводами. К примеру, Библия. Ветхий завет. Самое начало. Кража совершается человеком раньше, чем другие – будущие на то время — грехи. Ева, соблазнённая Змием, по сути, по его прямой наводке втайне от Бога срывает плод с древа познания добра и зла, пробует его, затем уговаривает изведать плод и Адама. При всей коварности проклятый Змий оказывается прав – Господь их обманывал: они не умерли, но узнали много нового. Все трое были сурово наказаны.

Ладно, не о Мотыле речь, хотя если бы не его влияние, я бы сейчас, наверное, так не мучался бы. И с тем фото тогда бы, не мудрствуя лукаво, поступил здраво и сурово: взял – и в карман. Так нет же! Полез я по ящикам в поисках фотоальбома. За пару минут – мастер! – нашёл три массивных фотоальбома и восемь толстых тетрадей дневников.

Я не какой-то урод моральный или дикарь бескультурный. Я прекрасно знаю и – что особенно важно – понимаю, что читать чужие письма и дневники и низко, и подло, и всё такое прочее…

Так я и не собирался их читать. Хотел лишь понять: а случайно не красавица с фотографии является автором этих записей? Что-то мне подсказывало, что так оно и есть. И так оно и было. Я убедился в том довольно быстро, но прекратить чтение уже не мог: это было выше моих сил. Если лицо её на фото приковало к себе взор, то её дневник столь же цепко завладел полностью жадным вниманием моей души. Я читал, забыв обо всём на свете.

Время шло своим чередом – минута за минутой, один час сменялся другим, а я весь погрузился в чтение. Прочитав половину первой тетради, непроизвольно бросил беглый взгляд на часы – и чуть не заработал инфаркт от изумления и ужаса: 17.20 – в любую минуту кто-то из хозяев мог застать меня тут за чтением! Стремительно уничтожив следы моего пребывания, я покинул квартиру, прихватив с собой недочитанную тетрадь.

Только я почувствовал себя в безопасности и расслабился, совесть, чей прокурорский голос я не слышал во время увлечённого чтения, напала на меня с утроенной силой. Как тебе не стыдно? До чего ты докатился? Ладно, воруешь, но это... Остановила её моя железная логика. Глупо ждать от человека, проникающего в чужую квартиру, что он не полезет в чужой дневник. К тому же я был влюблён. А у любви свои правила. Точнее, одно правило – никаких правил! Любовь – игра без правил!

К утру дочитал первую тетрадь. И отправился тут же за второй.

Через неделю я знал о моей любимой всё. Был в курсе её бед и радостей... Имел представление о её вкусах и предпочтениях... Понимал, как ей сейчас, после смерти родителей, одиноко и трудно…

Я начал ей помогать. То деньги ей подброшу, зная, что она собирается наводить порядок в отцовском архиве, то накормлю кошку... Саныча вот попросил съездить к ней, типа, он проездом из-за бугра, и будто её дядя-эмигрант передал сестре материальную помощь... Ты вон ей краны починил... А я её сестрёнке велик отремонтировал... Словом... Эй! Ты… спишь, что ли? М-да... Спасибо... Помог... Посоветовал... Спец...

И как мне быть теперь? Врать ей я больше не могу... А её хорошее ко мне отношение не выдержит испытания истиной...

Как меня угораздило влюбиться? Как будто мне других забот не хватало...

7

Когда-то он был гордостью детдома номер три. Учился хорошо. Два года подряд одерживал победу на республиканской олимпиаде по истории. В двенадцать лет занял первое место на международном конкурсе юных чтецов. Все знали, школу он окончит с золотой медалью. А потом его из сотни тысяч мальчишек выбрали для сьёмок видеожурналов «Ералаш». Ведь у него была такая фактурная внешность: лупоглазый, курчавый, да к тому же темнокожий. Нет, не совсем негритёнок, но почти что. Мулат. Смугленький, вылитый чертёнок... Как не использовать такую возможность? Под него специальный выпуск писали. А потом ещё один.

Самое интересное, киношникам невероятно повезло! Оказалось, у него явные и от природы яркие актёрские данные: любую поставленную режиссёром задачу он схватывал прямо на лету и легко, а главное, точно выполнял. При этом он был убедителен и органичен. Ему верилось. Его начали снимать в кино. Если дети всего Союза завидовали ему, то их родители были уверены, что он сын какого-то знаменитого артиста, а вернее, артистки, скорее всего, сын внебрачный.

Кто бы мог предположить, что ничьим он сыном не был. Не было у него ни матери, ни отца, ни знаменитых не было у него родителей, никаких …

Его, младенцем ещё, на конечной остановке обнаружил водитель троллейбуса. Позвонил в милицию. Родителей младенца искали, найти не смогли.

В приюте, не проявляя особой фантазии, его записали как: Дмитрий Дмитриевич Дмитриев. Толчком к этому послужил тот факт, что на пелёнке, в которую он был завёрнут, а также на распашонке и чепчике была вышита буква «Д».

В раннем детстве его частенько обижали, оскорбляли, дразнили, ему приходилось с кулаками отстаивать право быть человеком, а не: Обезьянкой Чи-Чи, Маугли, Бандерлогом, Черномазым, Чунга-Чангой и т. п. Теперь его статус в детдоме был заоблачным. Сверстники обожали его, младшенькие восхищались, старшие ребята относились уважительно, а Монгол – гроза и «божье наказание» административного руководства учебного заведения, буквально считающего дни до его выпуска, – сказал, что Димон, как он его называл, отныне под его личной защитой и, мол, если что, пусть всегда обращается. А взамен, как бы между прочим, Монгол попросил достать ему фотку актрисы, что играла принцессу в фильме «Обыкновенное чудо», и если будет возможность, пачку заграничных сигарет. Последнее Дмитриеву было устроить легче, из Болгарии он привёз блок «ВТ». И десять пачек жевательных резинок. Одна жвачка ценилась на вес золота. За неё могли драться насмерть. Одну жвачку по очереди жевало человек десять в течение двух суток.

До десяти лет Дима полагал, что он проклят, с его страданиями могли сравниться только мытарства диккенсовского Оливера Твиста, да и то Оливеру, как полагал Дмитриев, было легче, поскольку внешне он мало чем отличался от других беспризорных мальчишек, ему просто не везло по мелочам, тогда как Диме крупно непосчастливилось с самого рождения... Но уже через пару лет Димкина жизнь изменилась в лучшую сторону на двести процентов. Он мог уверовать в свою счастливую звезду... А между тем он всё время ждал от судьбы подвоха, предыдущие годы приучили его жить всегда начеку, не расслабляться...

Четыре года длилась эта сказка. Четыре года почти беспрерывных сьёмок у самых известных режиссёров страны. Кого и где он только не играл! В фильме о Пушкине изображал Пушкина в детстве, лицеиста... В другом фильме играл прадедушку великого поэта-гения – арапчонка, подаренного Петру Первому. Арапчонку предстояло стать в будущем крестником царя и дослужиться в русской армии до генеральского звания – фильм снимался по неоконченной повести Пушкина «Арап Петра Великого»... Он был задействован во всех фильмах об Америке, где нужен был темнокожий «бой». «Приключения Тома Сойера», «Пятнадцатилетний капитан», «Короли и капуста», «Мираж» и так далее... Всего около сорока картин. В пяти из них у Дмитрия были главные роли, в семи-восьми – второстепенные, в остальных весьма интересные эпизоды. В какой-то момент он уже мог позволить себе выбирать – какому предложению отдать предпочтение. Бессловесные роли он уже даже не рассматривал. Иногда позволял себе также ставить условия работникам от кино. Но он не «зазвездился». После съёмок он возвращался в учреждение, где был таким же, как сотни других детей, – никому не нужных, брошенных, забытых, преданных своими матерями, лишённых любви и родительской ласки.... Кто-то ему завидовал, но в основном детдомовцы гордились, что среди них есть тот, кто уже доказал – они не хуже детей, имеющих полный комплект родителей

Благодаря Дмитриеву к детям, живущим вне семьи, приезжали на праздники знаменитые артисты, певцы... Он договорился о том, чтобы родному детдому подарили три цветных телевизора.

Маленький Дмитрий мог стать большим человеком. Он зарабатывал неплохие деньги. Ему пророчили великое светлое будущее. Однако эти пророки не учли того, что Дима продолжал расти, а в советском кинематографе не так уж много снимается фильмов, где можно использовать его специфическую внешность. К тому же он не был стопроцентно чёрным. Если в кадре нужны были по сюжету рабы или чернокожие американцы – тогда ещё не настаивали на обязательном политкорректном слове «афроамериканец», – то он подходил меньше, чем студенты малоразвитых держав, которым Советский Союз предоставил возможность бесплатно получить образование.

Сказка заканчивалась, начиналась жизнь. На съёмки приглашали всё реже. Окончить десятилетку с золотой медалью не получилось. Из-за давнишних частых отъездов Дмитрий многое пропустил и не всё смог наверстать. Но он пока не отчаивался. Жизнь всё ещё к нему благоволила.

Раньше – до первых съёмок – самые задиристые ребята дразнили его, били «гуртом и в одиночку», старались всячески отравить ему жизнь. Но теперь всё было иначе. И не только в родном или параллельных классах. Теперь самые крутые пацаны спешили заполучить его в свою компанию, а в тех компаниях учёбу презирали, в тех компаниях ценились и культивировались иные способности – драться, воровать, пить, курить.

Нельзя сказать, что Дымок – такую кличку дали ему новые дружки – покатился по наклонной, но его усиленно сбивали с верной дороги на скользкий путь....

Получив аттестат, Дмитрий поступил в институт на актёрский, но одновременно с этим буквально чудом трижды еле избежал тюрьмы. Два раза обошлось вообще без последствий – спасло заступничество одного знаменитого режиссёра, а также Димино несовершеннолетие, однако в третий раз ему присудили два года колонии, к счастью, условно.

С Димой провели серьёзную беседу. И не одну. Все разговоры сводились к тому, что пора бросать водить дружбу с теми, кто тянет его за собой в яму.

Последнюю такую беседу с Дмитрием провёл старый, сильно пьющий, но любящий его как родного сына военрук, капитан в отставке Палыч:

— А ну, ком ту ми, шо скажу, слышь? Тя, Дым, наши голодранцы погубят тока так. Ты беги от ихнего влияния. Тот же Монгол или Кручёный уже на «малолетке» побывали, а до того полгода в специнтернате, это я про Кручёного грю, в ихняй жизни изначально усё было ясно, як у ночь кромешную. Так они ещё с Мотылём связались, он, кстати, тоже наш выпускник. Добрый же был хлопец лет десять назад, угнал автобиль, а ведь шкет ещё был тада – лет пятнадцать. У тя тлант от бога, ты можь в теятр после исинтута устроица, бушь там Дезмону по шесь раз на месяц душить… А хто ж там же главную роль в Отеле грать буд? Кму, як не те? Ты токо же фуйнёй-то не увлекася? Те над ртистом станвица! Поял? То есь... Ферштейн?

Дым заверил, что всё понял. Но через два месяца его вновь арестовали.

«Серьёзные люди» поросили его им помочь. Есть квартира, хозяева ехали на море, а форточку в квартире оставили открытой. Четвёртый этаж, но если по водосточной трубе, до форточки – рукой подать, а он парень ловкий, юркий, худой, но жилистый… Он залезет, откроет им тихонько дверь изнутри, п дальше… А дальше не его забота! Его дело – маленькое: залезть через форточку, а за маленькое дело – большие деньги.

Маленькое дело окончилось большим конфузом. Дымок, прямо как Вини-Пух в норе, застрял в форточке… У него родителей не было. И некому было удивляться тому, как быстро он растёт…

8

Сейчас Дмитриеву около пятидесяти. Его курчавые чёрные, жёсткие на вид, как проволока, волосы припорошены сединой.

Историю своей жизни он рассказывает спокойно, но иронично, красочно, порой даже хоть и с ленцой, но талантливо разыгрывает в лицах:

— Три месяца мы с ней встречались. Располагая её к себе, я, разумеется, использовал в полном объёме всю имеющуюся у меня из дневников информацию. Но обманывать её мне, помимо основного вопроса, даже не приходилось. Ей нравились те же писатели, что и мне, те же фильмы … Знал, правда, что Люсе нравится Мандельштам, а я с его творчеством знаком не был – решил выучить три десятка его стихов наизусть. Ради неё! И прозу этой её любимой Цветаевой прочёл… Переводы Уитмена раздобыл... Знал, что она любит, когда мужчина носит галстуки и запонки … Естественно, гардероб мой претерпел серьёзные перемены… Помнил, что розам всяким предпочитает ромашки обыкновенные или простые ландыши…

Я очень хотел ей понравиться. Произвести впечатление...

А ведь она была, знаешь, из тех, для которых немаловажно, что скажут знакомые… Что подумают соседи… Нынче-то времена совершенно иные, а тогда представить сложно, что могли подумать окружающие о девушке, которая идёт под руку с чернокожим. Ты же не станешь ко всем подбегать и рассказывать – он не иностранец, он наш, местный он...

И всё-таки она меня тоже полюбила. Важная деталь – именно конкретно меня, а не то, что я из себя строил вначале. Трудно ведь, когда по-настоящему любишь, что-то всё время играть, какой-то придуманный специально для неё образ держать. Во всяком случае, мне было невыносимо притворяться даже в мелочах, невыносимо не быть самим собой. И тем тяжелее было держать в секрете, что я … вор…

Я же ухаживал за ней эти месяцы с определённой долей шика. Конфеты, цветы, сувениры, игрушки для Вари, посещение кафе, концертов, поездки за город – всё это требовало определённых финансовых затрат, А я не скупился … Возникали вопросы… Врать о съёмках становилось все больнее…Больнее душевно… Неловко было ей врать… Я как-то терялся... Стал уже путаться во лжи... Тяжело, одним словом... Во-о-от…

А затем случилась та ночь. Она хотела, чтобы это произошло… А я… Я тоже очень хотел... Но я... Три месяца с ней встречался, а до того дневники её читал, но то, что она…ну… я и подумать не мог… Двадцать первый век скоро, а тут такие дела… И не предполагал я, и не догадывался… Я её так любил, что для меня это никакого значения не имело, но я был ошарашен, когда… ну, уже в процессе… вдруг понял, что я у неё первый… Помню, она губы до крови кусала … Я-то, самовлюблённый дурак, решил, что это она от страсти, а она от боли… Больно ей было в первый раз, понимаешь…

Потом у нас была еще одна ночь… Где-то спустя неделю… И в этот раз она испытала… ну… Как сказать? Хорошо ей было… И она всю ночь обнимала меня и не могла уснуть от счастья… Омрачать это счастье мне не хотелось, но я тоже был счастлив, что она счастлива, и мне было как-то… неудобняк, что я ее обманываю… В общем, в то утро я ей всё рассказал… Обманывать её после всего случившегося я уже просто не имел права.

Во-о-о-от, значит, всё ей выложил… как на духу, как адвокату, нет, как только, наверное, на исповеди, духовному человеку... И сразу же, помню, и легче стало на душе, и тут же тревожно очень... Кровь в висках пульсирует в темпе вальса, сердце бухает, вот-вот сознания лишусь от волнения... А у неё... У неё тоже сердцебиение – я прямо слышу, как оно там чечётку отбивает... И плачет безвучно… Я когда целовал, вкус слез почувствовал на вкус… Во-о-о-т… У неё истерика, а потом вдруг – резко – слёзы мгновенно высохли, в окно уставилась... И молчит… Шоковое состояние … Такое, знаешь, положение...

Для тебя, должно быть, всё это звучит старомодно? Нет? Палыч, к примеру, всегда говорил, будто я старомоден. Правда, такого слова он, кажется, и не знал вовсе. Он говорил «отсталый». Абсурд, честное слово... Ему уже 80 лет было, представь себе, он войну прошёл , в плену полтора года был, потом в сталинских лагерях поседел… Писал с ошибками (а ведь почти что педагог), а когда учиться, у него четыре класса в лучшем случае?.. Батю в ссылку, он за ним, а там и его хотели пристроить к делу, а он – в альпинисты, в горы.. Потом армия, потом Финская, потом Вторая... В армии привык, а учиться некогда... Да что там писал, он говорил – и то безграмотно, но отсталым считал меня. Ты, говорит (а сам боится челюсть выронить, она у него не по размеру была, всё выпадала), ты, говорит, отсталый и тёмный, как папуас, совсем-совсем тёмный, тунгус, наверно… Ха-ха... Юмор у него был такой… И не любил когда я, по старой памяти «выкал ему»… Я ж, говорит, тебе заместо отца, а ты мне заместо сына, так что, мол, никакого «выканья»… Простой был человек… Со сложной судьбой…

Но без шуток, он понимал этот век. А я, признаться, всегда себя, в любом возрасте чувствовал несовременным, отсталым, лет на 200… Но у меня никакого воспитания…

А Люся воспитывалась чересчур правильно…

И тем не менее сама жизнь нас свела. И соединила так крепко, что между нами и зазора не увидишь до сих пор. Лезвие ножа не просунешь! Прямо две половинки одного целого. А ведь только так и должно быть. Иначе – и не должно быть иначе… Это наверняка звучит для тебя невыносимо банально, но всё истинное так давно и всем известно и понятно, что смешно вслух проговаривать, неудобно… Зато любая новая ложь или новая глупость сверкает так, что ослепляет всех, у кого до того острое зрение было. И прямо на ручки просится... Вот результат… Блеск дешёвой мишуры принимается за яркий свет истины, а свет истины поблек от того, что её давно и часто лапали все грязными лапами.

Ладно, не о том речь.

Я признался ей во всём… Люся, значит, выслушала…Во-о-о-от… Выслушала, значит… И долго молчала, задумчиво глядя в окно…

9

Она поставила ему всего одно-единственное условие. Немедленно, раз и навсегда покончить со своей преступной деятельностью.

Дима так сильно обрадовался, что она тут же с ним не порвала, что на радостях сразу с этим условием согласился. Он совсем забыл, что на следующую ночь у него было запланировано одно очень крупное дело. Настолько крупное и серьёзное, что он к этому делу подключил ещё троих весьма авторитетных людей. Он об этом забыл, а когда вспомнил, было уже поздно что-то менять.

Ничего страшного, успокаивал себя Дым, он провернёт это последнее дело и завяжет окончательно, как и обещал. Да и дело, если выгорит, обеспечит его на всю оставшуюся жизнь. И дальше они заживут вместе так, как жить способны только сумасшедшие, влюблённые и дети, как в сказке.

Но дальше – ничего не было. Дальше всё пошло совсем не так, как он планировал. По закону подлости он попался именно на том эпизоде, который должен был стать последним в его преступной карьере.

Учитывая его прошлое, ему, как злостному рецидивисту и организатору, дали десять лет. И этого срока было более чем достаточно, чтобы съесть себя живьём раньше, чем он выйдет на свободу, где сможет вновь увидеть любимую и всё ей объяснить. Ему уже мерещилась петля в углу тёмной камеры...

На суде он и ухом не повёл, когда оглашали приговор. Председателю даже пришлось переспросить: понят ли подсудимым вердикт, вынесенный ему судом. Он кивнул. Он понимал... ПОНИМАЛ, ЧТО ЭТО ХУЖЕ РАССТРЕЛА! И ещё понимал, что Люся сочтёт себя обманутой и ждать 10 лет того, кто предал её, обманул, она не станет. Она человек принципиальный . Он это знал по её дневникам. Нет, обманщика, вора и мерзавца она ждать не будет. Тем более десять лет.

Он оказался прав.

Она не стала его ждать целых десять лет...

Она и года ждать не стала.

Уже через восемь месяцев после его задержания она выбила с ним свидание…

На вопрос, кем она ему приходится, Люся честно призналась: я его судьба… И невеста… И мать его будущего ребёнка…

Кто будет проверять, когда пузо видно невооружённым глазом и в полутьме казённого дома...

Официально их расписали, когда она в третий раз приехала нему, уже в колонии.

А саму свадьбу сыграли только спустя семь лет, когда его досрочно освободили...

10

У них четверо детей. Дмитрий Дмитриевич время от времени снимается в кино, в сериалах, на телевидении… Людмила Андреевна преподает в школе.

Мне кажется, они до сих пор влюблены друг в друга… Во всяком случае, глядя на них, искренне веришь в то, что бывает в жизни такая сильная и почти киношная любовь, но любовь эта – настоящая, с первого взгляда и навсегда…Бывает же такое?

1. Левина Анна «Приходите свататься…», «Гера».

***Анна Левина***

**ЯША или А ВЫ ПОЧЁМ?**

Вы знаете себе цену? Нет, вы меня не так поняли, конечно, цену себе знают все, но я имею в виду в долларах. Да-да, в долларах, вы не ослышались. Разумеется, я знаю, что в долларах могут себе назвать цену только проститутки, но признайтесь, даже очень порядочные женщины не отказались бы узнать, сколько они стоят наличными. Боже сохрани эти деньги взять, а тем более отрабатывать, но узнать, сколько ты стоишь безо всяких скидок и оговорок, интересно каждому. Я тоже никогда об этом не думала, поскольку у меня другая профессия и образ жизни, но так получилось, что цену себе я узнала при совершенно неожиданных обстоятельствах.

До того, как я въехала в свою квартиру, её обворовывали одиннадцать раз. И всегда через окно. Предыдущий жилец не поленился специально прийти ко мне и предупредить:

— Поставьте решётки на окна, иначе может случиться любая беда!

Окна у меня в квартире всегда открыты, поэтому я занервничала, с первой же зарплаты нашла в газете телефон и вызвала мастера.

Решёточника звали Яша.

— Добрый вечер! — голосом бывалого конферансье поздоровался с порога Яша. — Здравствуйте, бабулька! — это уже моей маме персонально.

— Бабулька, между прочим, колледж в Америке окончила и по-английски говорит свободно, — оскорбилась мама, поправляя причёску, — внучёк нашёлся!

— Извиняюсь, извиняюсь, вы ещё очень интересная женщина, — ничуть не смутился Яша. — А где же папочка, где ваш муж? — это уже ко мне.

— А вам не кажется, что я вас позвала поставить решётки на окна, а не биографию мою слушать? Давайте ближе к делу, а?

— О’кей, о’кей!

И Яша озабоченно стал мерить и разглядывать наши окна. Через пять минут мы знали о нём всё — что он из Одессы, кем он был раньше, и кто его папа, и про жену, и про дочек, и про друзей, которых у Яши было видимо-невидимо, и он их всех называл «товарищами».

Сделав все необходимые замеры, Яша ушёл, пообещав прийти на следующий день уже с решётками. Назавтра он пришёл вечером. Я была дома одна. Недолго думая, Яша тут же ловко меня схватил и смачно поцеловал.

— Полицию вызывать или будем делать окна? — рассердилась я.

— Тише, тише, я ничего насильно не делаю. Не хочешь — не надо, желающих вагон, я не голодный, — успокоил меня Яша и действительно взялся за решётки. — Я порядочных женщин очень уважаю!

— Оригинальная проверка, — пробурчала я, на всякий случай держась подальше.

Часа через два всё было сделано. Прощаясь, Яша сказал:

— Не может быть, чтоб такая женщина пропадала зазря. Я о тебе позабочусь, у меня лёгкая рука.

— Спасибо, до свиданья, — попрощалась я и через минуту забыла и о Яше, и о его обещании.

Однако через пару недель раздался звонок по телефону.

— Привет, это я, Яшка-решёточник, своё обещание помню. Есть один товарищ, очень достойный мужчина, устроенный, я ему дал твой телефон, скажет: от меня.

— Зачем? — ошарашено спросила я.

— Что значит зачем? Такая женщина — одна! Слушай, ты ничем не рискуешь, да — да, нет — нет, а посмотреть можно. Всё. Тебе позвонят. Бай. — И Яшка повесил трубку.

В тот же вечер мне позвонили. Достойный, по словам Яшки, устроенный мужчина. Первым делом он предложил мне поехать на три дня отдыхать и, не обидевшись на мой удивлённый отказ, почти час рассказывал анекдоты. Вдруг посредине фразы мой собеседник по-школьному выпалил: «Ой, милиционер идёт!» — и повесил трубку.

Через пару дней он позвонил опять.

— Вы что, из автомата? — наивно удивилась я.

— Почему, я из дома.

— А что за милиционеры у вас там ходят, и почему вы их боитесь?

— А, это у меня шутка такая. Ой, я вам потом позвоню, — вдруг скороговоркой проговорил мужчина и бросил трубку.

«Да что за чертовщина!» — подумала я, только теперь сообразив, что не знаю собеседника даже по имени.

Когда он позвонил в следующий раз, первое, что я спросила, — это имя.

— Лёня, — ответил мой новый знакомый.

— Простите, Лёня, что у вас за странная манера ойкать и бросать трубку, кого вы боитесь? — И вдруг меня осенило: — Уж не жена ли входит в комнату, когда вы разговариваете?

— Ну, а кого ещё дома можно называть милиционером?

— Так какого чёрта вы вообще мне звоните? — рассердилась я.

— Да мы с ней не ладим, вот я и приглядываюсь, — ответил сообразительный Лёня.

— До свидания. Здесь вам приглядывать уже нечего, — отрезала я и наконец-то первая швырнула трубку.

На следующий день позвонил Яшка.

— Ну, как? — спросил он.

— Что как? Посылаешь каких-то женатых придурков и еще спрашиваешь!

— Фу ты, чёрт, я и не знал, что он женатый, — оправдывался Яшка. — Мне он сказал, что холостой, что ищет, с кем бы познакомиться, вот я и хотел тебя пристроить.

— Не надо меня пристраивать! Мне и так хорошо! — возмущалась я.

— Как не надо? Обязательно надо. Жди.

Ждать пришлось недолго. Яшка позвонил, ликуя от восторга.

— Ну, всё, наконец-то будешь устроена, как королева. Нашёл тебе миллионера. Зовут Борис, скажет: от меня.

Не успела я открыть рот, как в трубке раздались короткие гудки.

Борис позвонил в субботу вечером.

— Я от Яши. Приглашаю вас ужинать, жду внизу в машине.

— В какой машине?

— Вы, главное, выходите. Такая машина, как у меня, у ваших дверей ещё не стояла.

Я вышла. У парадной стоял огромный белый «Mерседес». Я неуверенно оглянулась. Дверца открылась.

— Садитесь. Я — Борис.

Борис был похож на крёстного отца. Огромный, грузный, с сердито-недовольным лицом.

Когда мы вошли в ресторан, он осмотрел меня сверху донизу и разочарованно произнёс:

— Ну что ты оделась, как учительница…

Действительно, на фоне полуголых бриллиантовых дам мои брючки и кофточка, которые дома мне показались красивыми, совсем померкли.

Борис заказал всё, что можно было заказать. Сам не ел ничего, а только угощал.

— Вы что, на диете? — спросила я.

— У меня язва. Обострение. В рот взять не могу ничего, — зло ответил он.

Я и до того была не очень голодная, а в такой ситуации аппетит пропал вообще.

— Давайте потанцуем, — предложила я.

С тяжёлым вздохом, будто выполняя тяжкую повинность, Борис пошёл танцевать. Танец был не быстрый, мы тихонько топтались, стараясь попасть в такт музыке. Рядом танцевала пара. Она, вытянув губы трубочкой, громко чмокала ими в районе носа своего партнёра. «Какой ужас!» — подумала я.

— А ты мне так почему не делаешь? — вдруг услышала я над ухом.

— Не чувствую пока сближения, — мрачно попыталась сострить я.

— Ну, это всегда пожалуйста, — неправильно истолковал мой юмор Борис и зажал меня так, что дышать стало невозможно.

— Да ну его к чёрту, этот ресторан! — вдруг рявкнул Борис. — Пойдём лучше в кино.

Он рассовал по карманам услужливо завёрнутую официантом в фольгу еду, мы сели в машину и поехали в кино.

Фильм был прекрасный. Любимые актёры, интересный сюжет, чудесная музыка.

Минут через сорок после начала Борис вынул из кармана пакеты и, громко шурша фольгой, стал их разворачивать. Вкусно и смачно запахло чесночно-мясным с луком. Фольга гремела громче, чем актёры на экране, и зрители, сидевшие вокруг нас, недовольно заворчали.

— Заткнитесь! — громко и сердито во весь голос огрызался по-английски Борис, и, уже по-русски, – мне:

— У меня язва, я должен покушать.

Люди вокруг всё больше волновались. Борис по-хозяйски в полный голос отбрехивался на все замечания в его адрес, успевая при этом с аппетитом уплетать взятую из ресторана еду.

От стыда я уже не видела и не понимала, что я смотрю.

Еды хватило до конца фильма. По дороге домой Борис заявил:

— Значит, так. Твоя зарплата меня не интересует, это тебе на булавки. Всё, что мне надо, — это диетический завтрак, обед и ужин, а главное, твоя медицинская страховка, мне предстоит лечиться и лечиться. Дом у меня — дворец, убирать не надо, есть полячка. Работай и готовь, больше от тебя ничего не требуется. Думай, завтра позвоню.

Мы подъехали к моему дому.

— Я уже подумала, — выходя, сказала я, — замуж за вас я не хочу. Спасибо. До свиданья.

Борис молча глядел вперёд, не меняя угрюмого выражения лица.

«Легко отделалась!»— с облегчением отметила я и побежала домой.

Яшка пропал на месяц, потом раздался звонок.

— Здравствуйте, — голосом Пьеро печально произнёс мужчина, — я от Яши, меня зовут дядя Володя.

Это прозвучало так по-детски, что я не выдержала и рассмеялась.

— Здравствуйте, дядя Володя, а вы уверены, что вам нужна именно я?

— Ой, Федя-блин-где-ж-мои-лапти, куда я попал? — растерялся дядя Володя.

— Вы что, не знаете, куда звоните?

— Почему? Знаю.

— Так что ж вы спрашиваете, куда попали?

— Да это, блин, шутка такая! Я шутить люблю. А вы что сейчас делаете?

— Да вот, через десять минут начнётся русский фильм, буду смотреть.

— Ой, Федя-блин, как же я давно русские фильмы-то не видел, соскучился!

Мне стало жалко бедного Пьеро-дядю Володю, и я предложила:

— Приезжайте, посмотрите фильм.

— Приеду, — быстро согласился дядя Володя и через десять минут вошёл в квартиру с тортом.

Дядя Володя полностью соответствовал своему голосу: небольшого роста, с огромными грустными карими глазами, рот подковкой вниз, с железной фиксой на переднем зубе, вся голова в седых кудельках.

За чаем мы разговорились.

— Откуда вы Яшу знаете? — спросила я.

— Да я его и не знаю почти, так, один раз виделись. Он, блин, как узнал, что я одинокий, предложил познакомить.

— Надо же, какой добрый человек этот Яшка, — вдруг растрогалась я, — двое детей, жена, работа, а у него ещё есть время и желание устраивать чужие судьбы!

— Ну да, — грустно согласился дядя Володя, — жить-то надо, блин, вот он и крутится.

— Как крутится? — не поняла я.

— Ну, деньги-то нужны, вот он, блин, и старается.

— Какие деньги?

— Как какие? Триста долларов, блин, разве не деньги?

— При чём тут триста долларов? Ничего не понимаю, объясните толком!

— Да что тут объяснять, блин? Если что у нас получится, я ему триста долларов заплачу.

— За что? За кого? За меня? Триста долларов? — не веря своим ушам, переспросила я.

— А что? Ты женщина ладная, симпатичная, я бы лично заплатил, — спокойно, по-деловому ответил дядя Володя.

— Ну ладно, — взъярилась я, — триста долларов я вам сэкономлю. Ничего у нас не получится!

— Да чего ты, блин, расстроилась-то, — утешал меня дядя Володя, — ничего такого нет, во всех брачных конторах платят.

…Когда Яшка позвонил в очередной раз, я орала как сумасшедшая.

— Напрасно ты сердишься, — спокойно отреагировал на мой ор Яшка. — Такая женщина! Что я, на тебе пару копеек не могу заработать? Любой бы заплатил!

— Отстань, ничего ты на мне не заработаешь! Понял? Отстань, забудь мой номер телефона!

— Да ты только послушай, — не сдавался Яшка. — Горе у меня, тётка любимая умерла, вчера хоронили. Так я на кладбище, во время похорон, очень хорошего товарища для тебя присмотрел, хочу дать твой телефон.

— Надеюсь, он ещё жив, товарищ твой? — съязвила я.

— Жив, конечно, ты что! Очень даже симпатичный.

— Яша, умоляю тебя, оставь ты меня в покое, мне твои симпатичные уже в печёнках!

Я в сердцах шмякнула трубку, перевела дух и вдруг расхохоталась. Ну, надо же! Целых триста долларов!

Ну, а вы знаете себе цену? Я теперь знаю. И, учитывая мой возраст и не очень крепкое здоровье, я ещё, оказывается, ого-го, чего и вам желаю!

**ГЕРА**

*Глава 1*

О холере в Одессе я помню с детства. Когда кто-то начинал рассказывать небылицы в присутствии моего папы, он насмешливо поглядывал и спрашивал:

— Ну, а что еще слышно по поводу холеры в Одессе?

И становилось ясно, что заливать дальше смысла нет.

Я родилась в день свадьбы моих родителей, “через два года”, — поспешно добавляет мама каждый раз, когда об этом заходит речь. В то время мама только-только окончила медицинский институт и получила диплом детского врача с отличием, поэтому меня кормили строго по учебникам, которые мама знала наизусть, и где было написано, что самое главное для новорожденного — грудное молоко.

В тот год к бабушкиной гимназической подруге с Дальнего Востока приехала в гости дочка с мужем. Клара, так звали дочку, была на последнем месяце беременности и сразу после приезда родила очаровательную девочку, Олечку, белокурую, с большими светлыми глазами.

У нас, как у всех евреев, все начинается со слова "Уй!". У мамы молока было много. Но "уй!", его было слишком много, и начался такой мастит, что пришлось делать операцию. При этом кормить грудью маме категорически запретили. Я орала от голода, мама рыдала от жалости ко мне, короче начался сумасшедший дом. Время было послевоенное, тревожное и голодное. И тут вспомнили про Клару.

Бабушкина подруга сама привела свою дочку первый раз в нашу огромную коммунальную квартиру. Клара и моя мама сразу понравились друг другу и подружились. Клариного молока хватило на двоих. Я была спасена. Пробыв в Ленинграде четыре месяца, Клара с семьей уехала обратно на Восток.

Прошло двадцать лет…

Во входную дверь позвонили три раза.

“Нам”, подумала я и пошла открывать. На пороге стояла незнакомая женщина и молодая девушка.

— Вам кого? — спросила я.

Не отвечая, женщина вошла в квартиру и пошла прямо по направлению нашей комнаты, оглядываясь по сторонам и приговаривая:

— Помню, все помню, сюда, сюда!

Девушка, застенчиво посматривая из-под светлого дождика челки, шла следом.

Они вошли в нашу комнату. Мама вопросительно подняла глаза.

— Вы не узнаете меня? — неожиданно всхлипнула женщина. На глазах у нее появились слезы. — Это же моя дочка, Олечка!

— Боже мой, Клара, Кларочка! — ахнула моя мама, и они с Кларой кинулись обниматься, хором рассказывая мне и Оле историю своего знакомства и нашего рождения, а мы смотрели друг на друга с удивленным любопытством.

Так я узнала, что у меня есть молочная сестра.

*Глава 2*

Отец Оли был военным и после многочисленных переездов получил назначение в Горький. Год назад Оля вышла замуж и переехала жить к мужу, в Одессу. Клара специально привезла ее в Ленинград, чтобы показать город своей молодости. К сожалению, отпуск у Клары быстро кончился, и она уехала домой, а Олечка осталась у нас еще на две недели. Так хорошо и интересно, как с ней, мне не было ни с одной подружкой. Мы гуляли по весеннему бело-ночному Ленинграду и болтали, не останавливаясь. Уезжая, Оля взяла с меня клятву, что я обязательно приеду к ней в гости, в Одессу.

Прошло еще несколько лет…

За год до того, как мне исполнилось двадцать пять лет, я вдруг испугалась. Надо мной Дамокловым мечом повис страшный ярлык “старая дева”.

Я стояла перед зеркалом. На меня смотрела счастливая физиономия с испуганными глазами.

“Бред какой-то, — подумала я, — у меня полно кавалеров!”

Но противный червяк поселился где-то внутри, надо всем смеялся, кусался, ехидничал и не давал ни минуты покоя. Весь ужас был в том, что я никак не могла влюбиться.

В школе мне нравился зеленоглазый мальчик двумя годами старше, влюбленный в свою одноклассницу, остроносенькую, с рыжими кудряшками. Она любила приговаривать, звонко смеясь:

— Где уж нам уж выйти замуж, мы уж так уж, как-нибудь!

A он любовался ей и так нежно улыбался, что у меня при виде этой улыбки щемило сердце. Любовь моя была тайной и безответной.

После школы, учась в институте, я мысленно сравнивала всех своих друзей с зеленоглазым мальчиком из школы, но победить его не мог никто, все были хуже.

На последнем курсе института, зная мою любовь к стихам, меня пригласили поехать со студенческой агитбригадой в подшефную деревню. На концерте я читала Константина Симонова:

*Я вас обязан известить,*

*Что не дошло до адресата*

*Письмо, что в ящик опустить*

*Не постыдились вы когда-то…*

Эту женщину-предательницу из неизвестного города Вичуга я ненавидела всей душой и читала так, как будто она стояла передо мной, и не Симонов, а я бросала ей в лицо:

*Уж мертвый вас не оскорбит*

*В письме давно не нужным словом…*

Концерт кончился заполночь. Зрители разошлись, а нас оставили ночевать в клубе. Все развернули привезенные пакеты с едой, на сцене соорудили подобие стола, расселись на ящиках, и начался пир. Бывалые агитбригадники достали привезенную водку и стаканы. Через час пылкие чтецы, певцы и задорные танцоры стали похожи на забулдыг, которых я видела около пивного ларька возле нашего дома, а студентки-активистки, приехавшие поднимать культуру, визжали и хохотали, как самые настоящие деревенские Дуньки на сеновале. На полу творилось такое, что смотреть по сторонам было просто неудобно, а спрятаться некуда.

Я сидела в кулисах, зажав в кулаке вилку, острием вверх, и думала: “Если кто сунется, всажу куда попало!”

— Эй ты, поэтесса, — передо мной, покачиваясь, стоял Мишка, известный институтский ловелас, который никакими талантами не отличался, но всегда был там, где выступали другие. — Я уже тут всех перецеловал, кроме тебя! А ты чего прячешься? Целоваться не умеешь?

— Умею, — огрызнулась я, — но не с общественной плевательницей!

— Ах, вот оно что! — ухмыльнулся Мишка. — Для прынца себя бережешь? А знаешь анекдот? Армянское радио спрашивают: “Что лучше: красивая жена, но неверная, или некрасивая, но верная?” Армянское радио отвечает: “Лучше есть торт веселой компанией, чем черный хлеб в одиночку!” Поняла, поэтесса? Ну, я пошел, мне некогда!

С этими словами Мишка рухнул на пол, где стоял, и попал прямо в чьи-то жаркие объятия, а мне пришлось пересесть подальше. Наблюдать то, что творилось у меня под носом, я не могла, а закрыть глаза боялась.

Хотя я и хорохорилась, но грязный намек пьяного Мишки здорово меня задел, о чем я, приехав домой, поделилась со своей институтской подружкой, Наташкой.

— Не обращай внимания, он — идиот, а ты — ненормальная, — поставила все на свои места Наташка. — Ну, ничего, теперь я займусь твоим воспитанием!

Через несколько дней, в субботу, Наташка неожиданно ворвалась ко мне домой.

— Собирайся, едем на день рождения!

— К кому? Меня никто не приглашал, — удивилась я.

— Неважно, я тебя приглашаю. День рождения у моего друга. Поехали!

Мы вызвали такси, и через час оказались в каких-то новостройках, неизвестно где. Дверь открыл незнакомый мне парень, с которым Наташка, здороваясь, зацеловалась так, что мне пришлось покашлять, чтобы обо мне вспомнили.

— Поздравляю вас с днем рождения! — вежливо сказала я.

Парень странно взглянул на меня, потом на Наташку, которая махнула рукой и, пробормотав то ли ему, то ли мне свою любимую фразу “Не обращай внимания!”, потащила меня в комнату.

За небольшим накрытым столом сидел еще один гость. Он был похож на грузинского князя. Тонкие черты лица, черные усики, на смуглом лице чуть заметный румянец.

— Арон, — представился “князь” и оглядел меня долгим взглядом сначала сверху вниз, потом снизу вверх.

Сели за стол. Чтобы нарушить неловкую паузу, я отважилась спросить:

— Кто сегодня именин… — и осеклась, потому что Наташка под столом больно наступила мне на ногу и, как мне показалось, виновато улыбнулась своему кавалеру. Я почувствовала себя полной дурочкой и решила больше рот не открывать вообще.

Наташкин приятель включил магнитофон. Заиграла медленная томная музыка. Арон пригласил меня танцевать. Мы, чуть покачиваясь, топтались посередине комнаты. Когда я оглянулась, ни Наташки, ни ее кавалера в комнате не оказалось.

— А где ребята? — забеспокоилась я.

— Пошли посмотреть квартиру моего друга, — успокоил меня Арон, — здесь живу я, а он — этажом ниже. Не волнуйся, танцуй!

Мы еще немножко потоптались, и вдруг Арон совершенно спокойно, как само собой разумеющееся, одной рукой придерживая меня, другой расстегнул ширинку и вытащил наружу все свое мужское хозяйство. Я рванулась, но не тут-то было. Нежное объятие моментально обернулось железными тисками. Под музыку сладкого танго мы молча боролись, вернее, даже не боролись, а дрались, потому что я отбивалась, как могла.

Дело было в июне, и мое легкое шелковое платьице через минуту пестрой бабочкой полетело через всю комнату. Краем глаза я увидела равнодушное и остервенелое лицо Арона. Не выпуская меня из тисков, он быстрым и хорошо отработанным движением скинул с себя одежду, швырнул меня на диван и навалился сверху. Издевательски улыбаясь, он лежал на мне и смотрел прямо в глаза, как бы спрашивая: “Ну, будешь еще рыпаться?” За эти десять-пятнадцать минут драки, которые показались мне вечностью, не было сказано ни одного слова.

Я смертельно устала и почувствовала, что у меня нет больше сил. Казалось, меня придавило огромной тяжелой плитой, я не могла пошевелиться. И тут меня прорвало:

— Ты, еврей, тебя еврейская мать родила! Как же тебе не стыдно так поступать со мной? Делай что хочешь, но учти, я домой не пойду. Я выйду из твоей квартиры и повешусь на первом же суку. Понял?

Выражение лица Арона внезапно изменилось. Он первый раз посмотрел на меня осмысленно и недоверчиво.

— Ты что — еврейка?

— Да, я еврейка, а ты — сволочь! — закричала я с такой ненавистью, на которую только была способна.

— Докажи!

— К счастью, у меня паспорт в сумке, иди посмотри, подлец!

Арон сполз с меня и, как был голый, пошел в коридор, где у зеркала я оставила сумочку. Я, полуодетая, прикрылась диванной подушкой, дрожа от ужаса, сжалась в комок на диване.

— И вправду еврейка, — пробормотал Арон, перелистывая странички моего паспорта. Потом он подобрал платье и швырнул его мне вместе с паспортом.

— Одевайся и мотай отсюда!

На ходу приводя себя в божеский вид, я кинулась к двери.

— Мы-то вас бережем, кому вы только достаетесь? — крикнул мне вслед Арон.

После этого злополучного “дня рождения” с Наташкой я рассорилась и ни в какие компании меня заманить было абсолютно невозможно. Я сидела дома и читала.

*Глава 3*

Наконец, я окончила институт и перед выходом на первую работу на месяц поехала на юг с подружками. Благодаря чьему-то папе, мы сняли квартиру на биостанции, под Коктебелем. Въезд разрешался по пропускам, поэтому народу было мало, только сотрудники. Поначалу мы отдыхали и блаженствовали, наслаждаясь пустынным пляжем и безлюдным морем, а потом заскучали. Хотелось приключений.

Так получилось, что подружки мои с кем-то познакомились, каждый вечер убегали на свидания, а я бродила одна по берегу, читала и делал вид, что вся эта поцелуйная суета меня совершенно не волнует. Наверное, я хорошо прикидывалась, так как подружки нисколько не сомневались, что я из другого теста, и, кроме поэзии и музыки, ни о чем другом не думаю. Днем на пляже они с восторгом слушали стихи, которых в моей голове было несчетное количество, а вечером с виноватой улыбкой прощались со мной и убегали.

Как-то раз девочки пришли радостные и возбужденные.

— Вечером все идем на свидание! — объявили они.

В назначенное время мы собрались в беседке у моря. Народу было много. Все шумели, о чем-то спорили. Незаметно шутки становились все язвительнее, смеялись уже не все, а как-то по очереди. Толпа явно раскололась на два лагеря, женский и мужской, каждый старался куснуть побольнее другого. Наконец, все окончательно разругались и стали обиженно расходиться. Я никого не знала, в темноте ничего не могла разглядеть и тихо просидела в углу весь вечер.

— Разрешите вас проводить, — вдруг услышала я над собой приятный баритон. Я подняла глаза и обомлела. Передо мной стоял настоящий красавец. Высокий, с шапкой темных вьющихся волос, загорелый до черноты, с огромными глубокими коричневыми глазами и маленьким почти женским ртом, один уголок которого насмешливо задирался вверх, а другой язвительно опускался вниз.

— Проводите, — согласилась я, и мы пошли в противоположную от дома сторону, в парк на берегу моря.

Гера, так звали моего нового знакомого, как и я, оказался из Ленинграда, где окончил медицинский институт, защитил кандидатскую диссертацию и работал на биостанции в научно-исследовательской группе, которая искала что-то в мозгу у рыб и дельфинов. История его жизни напоминала приключенческий роман.

Дед Геры, прусский немец из Германии, очень богатый человек, женился на прусской немке в 1919 году. Свадебное путешествие чудак-миллионер решил провести в России, которая манила его романтическим словом “революция”. Приехав туда в самый разгар гражданской войны, он пришел в восторг от большевистских идей, вступил в Красную Армию и погиб под Перекопом. Его жена осталась в России и, спустя несколько лет, вышла замуж второй раз опять за прусского немца, на сей раз коммуниста-тельмановца, бежавшего в Россию от фашизма. От этого брака появилась хорошенькая девочка, Ирма. Вскоре тельмановца, как водится, арестовали и расстреляли как врага народа. Ирма осталась жить с матерью в Ленинграде, рано вышла замуж за еврейского мальчика Рому, и через полгода после свадьбы родила Геру — наполовину еврея, наполовину прусского немца.

— Вот такой я недоношенный, — закончил свой рассказ Гера, — отсюда и все мои неприятности.

В тот вечер я первый раз явилась домой позже всех, и под впечатлением сразу же уселась за письмо маме, в котором подробно описала, с каким замечательным человеком мне посчастливилось познакомиться.

Мы встречались каждый день. Гера оказался прекрасным рассказчиком, и я готова была слушать его без конца. Сердце мое замирало от восторга. Я влюбилась еще больше, чем когда-то в зеленоглазого мальчика из школы! Постепенно от захватывающих бесед мы перешли к страстным поцелуям, и тут выяснилось, что Гера женат. Сообщил он об этом как бы между прочим, безразлично-обреченно. Я растерялась, не зная как на это реагировать.

Домой я ушла в полном смятении. Мне совсем не хотелось выступать в роли роковой разлучницы, но и отказываться от того, о ком я всю жизнь мечтала, у меня не было сил. Всю ночь и весь следующий день я разговаривала сама с собой и никак не могла договориться. Чем ближе было к вечеру и часу свидания, тем меньше у меня оставалось уверенности в том, что я смогу жить, как раньше, до встречи с Герой. Наконец я созрела. “Плевать! Маме ничего не скажу. Она в жизни не узнает, что мой избранник женат. Я люблю, а это — главное. Уводить его из семьи я не собираюсь. Мне почти 25 лет, и я не хочу оставаться старой девой. И слава Богу, что избежать этого можно по большой любви, а не просто так”. Я сразу же успокоилась и собиралась на свидание, полная грандиозных планов и надежд.

Письмо от мамы хозяйка квартиры принесла мне в последнюю минуту, когда я была почти на пороге. Я решила не задерживаться и прочесть его прямо при Гере. Мама, в отличие от всех остальных врачей в мире, писала красивым хорошо разборчивым бисером:

“*Дорогая доченька! Получила твое письмо, где ты с восторгом описываешь своего нового знакомого. Наверное, это — судьба, потому что ваша взаимная симпатия имеет наследственные корни. Герина бабушка, Валентина, дружила с твоей бабушкой всю жизнь. Они вместе учились в гимназии и нежно любили друг друга до самой смерти. Сын Валентины, Рома, и его жена, Ирма, ровесники моего брата, твоего дяди Яши. Я помню Геру в Самарканде, в эвакуации, где он, совсем маленький, был со своей мамой, очень красивой женщиной. Насколько мне известно, Гера рано женился, у него есть сын, но кто знает, какое положение сейчас…”*

Я дочитала письмо до конца. Мы оба молчали, потрясенные проделками судьбы. Гера сидел застывший. Я боялась проронить звук, вопросительно на него смотрела.

— Чтоб завтра же тебя здесь не было, — вдруг заявил он.

— Как? — не поверила я.

— Завтра же уедешь, поняла? — отрезал Гера и ушел.

Я осталась сидеть, уставившись в письмо, ничего не видя от слез. Раз Гера так решил, надо уезжать. Но куда? Возвращаться домой не хотелось…

И тут я вспомнила про Олю и нашу клятву. На следующий день с утра я побежала на почту и послала в Одессу телеграмму, где спрашивала разрешения приехать в гости. Подружкам я взахлеб описывала Олю, рассказывала о нашей дружбе, о том, как необычно мы встретились. Весь день я не находила себе места, ждала ответа, потом не выдержала и ушла до вечера в парк, бродила по аллеям, где гуляла с Герой, сидела на нашей скамеечке, вспоминала каждое слово из наших разговоров и все не могла поверить, что такое бывает.

Когда я вернулась домой, из нашей комнаты доносился страшный шум. Я вошла. Все замолчали и уставились на меня, как будто впервые увидели. На столе лежала долгожданная телеграмма: “Приезжай. Жду. Целую. Миша”.

— Оказывается, твою замечательную Олю зовут Миша, — съязвил кто-то, не выдержав, — ну и тихоня!

— Честное слово, я понятия не имею, кто такой Миша, — оправдывалась я, — ой, кажется, это — Олин муж, но я его никогда не видела!

— Ты его не видела, а он тебя ждет и целует. Так мы тебе и поверили! — не унимались подружки. Я махнула рукой и пошла собирать чемодан. “Разберемся, — подумала я, — этот Мишка-шутник у меня получит!”

На следующий день я улетела в Одессу. Гера не зашел даже попрощаться.

*Глава 4*

Одесса встретила меня ласковой погодой и ощущением праздника. В Ленинграде так бывало только Первого мая, когда веселая толпа несет тебя помимо твоей воли, и ты заранее знаешь, что все кончится праздничным столом.

Прямо с аэродрома Оля привезла меня на пляж, купаться. Нас окружили полуголые Олины друзья, и я, одетая в дорогу, чувствовала себя, как в шубе среди папуасов.

— Оля! — к нам пробирался мокрый, только что выскочивший из моря широкоплечий крепыш. Брызги летели от него во все стороны, пугая прохладой раскаленную на солнце толпу.

— Знакомься, мой муж Миша, а это и есть моя молочная сестра, — представила наc друг другу Оля.

— Мы знакомы, — я вынула телеграмму и протянула ее Оле.

— Ну, что ж, — скомандовала моя решительная подружка, — целуй, раз обещал!

Миша и я обменялись вопросительными взглядами и уставились на Олю, а ребята вокруг хохотали и подначивали:

— Целуй, Мишка, не теряйся, будешь знать, как писать телеграммы!

— Оль, я пошутил, — виновато бормотал Мишка.

— Ничего не знаю, — стояла на своем Оля, — целуй и все!

— Ну, ладно, — вдруг повеселел Мишка, схватил меня и стал смачно целовать в обе щеки. Я изо всех сил старалась увернуться. И лицо, и платье у меня стали мокрыми от Мишкиных объятий.

— Хватит, — королевским жестом сжалилась над нами Оля, — все свободны!

Так бурно начались мои одесские каникулы.

Оля жила с родителями Миши. Ее свекровь, Вера Павловна, светилась добротой и уютом. Все называли ее “мама Вера”. Не прошло и дня, как я невольно обращалась к ней так же, не испытывая при этом никакой неловкости.

Миша работал физиком. Его друзья-одноклассники тоже. В те годы вся страна, не отрываясь, следила по телевизору за выступлением веселых и находчивых студентов. Зимой Мишкины друзья соревновались в остроумии в разных командах КВН, изображая из себя соперников, а летом собирались дома, в Одессе, и весело смеялись, вспоминая особенно удачные шутки и ответы на своих выступлениях. Проводить время в такой компании было одно удовольствие. О Гере я старалась не думать. Однако, находясь постоянно среди молодых и очень интересных парней, не могла себя заставить пококетничать. Я будто переболела. Какой-то кусок души оторвался и тихонечко дрожал внутри всякий раз, когда я вспоминала о Гере. Видимо, в эти минуты с моего лица сползала обычная улыбка, потому что Оля всякий раз тревожно спрашивала:

— Что с тобой? Ты себя плохо чувствуешь?

“Я себя вообще не чувствую,” — хотелось ответить мне, но вместо этого я делала глубокий вдох-выдох и напяливала на лицо привычную неозабоченность.

Время пролетело незаметно. Надо было уезжать. Я начала паковаться. В тот день мама Вера пришла с работы встревоженная.

— Говорят, в Одессе холера, уехать нельзя, все закрыто.

— Кто говорит? — деловито уточнила Оля.

— На работе сегодня все говорили, — неуверенно посмотрела на нее мама Вера.

— Мы не будем жить слухами, — решительно заявила Оля, — вы что, не знаете Одессу? “На Пересыпи меридиан лопнул, вода хлещет, все заливает!” — нам эти сплетни знакомы. Вот я сейчас позвоню и все узнаю.

Оля посмотрела в телефонную книгу и набрала нужный номер.

— Это санэпидстанция? Скажите, пожалуйста, правда, что в Одессе холера?

— У вас жидкий стул? — поинтересовались в ответ.

— При чем здесь мой стул? — возмутилась Оля. — Я просто хочу знать, есть ли в Одессе холера или нет?

— Девушка, не паникуйте, — ласково отвечали со станции, — вы уверены, что у вас не жидкий стул?

— Слушайте, я совершенно здорова, — не сдавалась Оля, — я хочу знать правду.

— У вас в семье у кого-то понос? — не унимались заботливые работники санэпидстанции. — Какой ваш адрес?

— Зачем вам мой адрес? — уже кричала Оля. — Ни у кого нет поноса, нам надо знать, есть холера или нет!

— Не волнуйтесь, вам будет оказана помощь! — кричали Оле в ответ. — Срочно назовите свой адрес, машина уже на выезде!

Оля гневно бросила трубку на рычаг.

— Ничего не понимаю! Да ну их! Нечего об этом думать!

Однако уехать мне не удалось. В аэропорту было столпотворение. Бесцельно протолкавшись там несколько часов, мне пришлось вернуться обратно. Город закрыли. Я безнадежно застряла у мамы Веры, все время чувствуя себя виноватой, сама не зная в чем.

Слухи о холере принимали все более серьезный характер. Люди пугали друг друга рассказами о знакомых своих знакомых, смертельно заболевших страшной болезнью. Говорили, будто больные падают прямо на улице и тут же умирают. Пляжи опустели, поскольку считалось, что главная зараза в морской воде.

Однажды мы с Олей и мамой Верой шли по улице. Прямо на тротуаре валялся жуткий человек, полуголый, грязный и обросший. Прохожие брезгливо обходили страшное место, бросая на упавшего испуганные взгляды. Первая не выдержала сердобольная мама Вера. Приблизившись к неподвижно застывшей фигуре, она осторожно наклонилась и жалобно спросила:

— Гражданин, а гражданин, скажите пожалуйста, вы больной или пьяный?

Жуткий человек вдруг ожил, медленно повернул голову, приподнялся на локте и заплетающимся языком прорычал:

— Кто пьяный? Я пьяный? Сама ты пьяная!

Oпять бездыханно упал и замер. Мы прохохотали всю дорогу домой, но смех смехом, а в Ленинград мне было не попасть, и с каждым днем злоупотреблять гостеприимством мамы Веры становилось все более неудобно.

Как-то вечером на огонек зашли два Мишиных друга — Саша и Володя. Оба москвичи, они застряли в холере, как и я. От них мы впервые услышали новое слово “обсервация” — полубольница, полулагерь, где надо было отсидеть положенное время, и только тогда разрешалось уехать. Проникнуть в это таинственное место было совершенно невозможно, так как желающих уехать оказалось гораздо больше, чем свободных мест.   
 Сашин отец, знаменитый академик, через Москву устроил сыну и его другу счастливую возможность попасть в эту недосягаемую обсервацию. Прочие смертные, такие как я, не имеющие всесильных родственников, были обречены либо умереть от холеры на чужбине, то бишь в Одессе, либо томиться в ожидании своей бессрочной очереди.

— Так, — сказала Оля, — будешь Сашина невеста.

— Какая невеста? — хором удивились мы.

— Обыкновенная невеста, — пояснила Оля, — будешь умирать от любви, цепляться за него и причитать, что кроме него у тебя никого на свете нет.

Мы сидели ошарашенные. Саша тем, что у него вдруг объявилась невеста, а я — той необыкновенной ролью, которую мне предстояло сыграть. Но другого выхода не было. Разработали план, все было продумано до мелочей.

На следующий день, как договорились, в двенадцать часов ночи все вместе мы приехали за город, к воротам обсервации. Полночь была выбрана не случайно. Куда можно отправить несчастную одинокую девушку среди ночи? Именно на это обстоятельство был направлен наш хитрый расчет. Оля с Мишей спрятались в кустах, на случай, если меня никто не пожалеет, чтобы я действительно не осталась одна в темноте.

Саша позвонил в звоночек на проходной. Нервы мои не выдержали, и я стала тихо шмыгать носом, по моим щекам покатились настоящие слезы. Мне действительно стало себя очень жалко.

— Ну, артистка, дает! — восхищенно прошептал Володя.

Ворота отворились. На пороге стояли две фигуры в белых халатах и масках. Чувствуя себя ответственным за всю нашу авантюру, Саша смело сделал шаг вперед, как щит держа перед собой письмо из Москвы. Я дрожала сзади, тихо подвывая:

— Сашенька, миленький, куда же мне деваться?…

*Глава 5*

Ничего страшного не произошло. Нас всех забрали, и по каким-то еле видимым в темноте дорожкам привели к маленькому домику. Открыли дверь. Мы вошли в комнату, в которой стояли две кровати, стол и два стула, еще одна дверь вела в ванную. Фигуры в белых халатах, ни слова не говоря, ушли и через десять минут вернулись, притащив еще одну кровать.

— Живите, — промолвили фигуры и скрылись в темноте.

И началась наша жизнь в обсервации.

Утром, при свете дня, выяснилось, что место, куда мы попали — концлагерь санаторного типа. Все вокруг опутано колючей проволокой. Отойти от домика было невозможно, так как на расстоянии метра от него проходил шнур с сигнализацией. Еду нам приносили безликие, в масках и белых халатах приведения.

Саша и Володя знали, на что шли, и хорошо подготовились, поэтому с утра до вечера играли в карты, курили и пили пиво, которое предусмотрительно принесли с собой целый чемодан. Поскольку ни то, ни другое, ни третье мне было не интересно, я сидела на крылечке и разглядывала своих неожиданных сожителей.

Внешне Саша и Володя были похожи на Пьеро и Арлекина. У Саши уголки больших серых глаз и уголки губ параллельно смотрели вниз. Он был невысокий, немногословный и какой-то то ли грустный, то ли злой. На меня он бросал такие угрюмые взгляды, будто я и вправду собиралась его окольцевать. Володя, наоборот, шумный, большой, киноактерно красивый, постоянно хвастался своими влюбленными подружками и почему-то, вымыв руки, вытирал их исключительно об занавеску в комнате. О тот, и другой меня раздражали. По сравнению с Герой они оба казались мне безхвостыми щенками. Я мысленно называла себя неблагодарной свиньей и старалась вести себя, как можно незаметнее, чтобы случайным жестом или замечанием не выдать своего настроения. Тем ни менее, не видя в моих глазах привычного обожания и восхищения, Саша, и Володя делали вид, что в комнате кроме них никого нет.

Однажды, случайно, я услышала, как Саша говорил Володе:

— Странная какая-то девчонка. Другая бы от счастья умерла, живя с нами вместе, а эта не обращает никакого внимания!

— Как же, не обращает, — возразил Володя, — ты, что не видишь, как ее корежит, когда я руки об занавеску вытираю?

Через неделю нашего добровольного ареста поздно вечером кто-то постучал в окно. Володя, который спал ближе к выходу, открыл дверь. На пороге стояли Оля и Миша. От неожиданности каждый из нас замер на своем месте, глядя на ночных гостей, как на пришельцев из другого мира.

— Ребята, у меня потрясающая жена! — отдуваясь и отряхиваясь, вошел в комнату Миша. — Она провела меня сюда через такие преграды, что вы себе даже представить не можете. Мы ползли по-пластунски!

Оля, скромно улыбаясь, снимала с одежды прилипшие травинки и палочки. Мы наперебой начали рассказывать про наше заточение, шикая друг на друга, боясь, что нас поймают с посторонними, и мы будем уже не стерильными, а значит, не сможем уехать в положенный срок. Мы болтали, а Миша слушал, вздыхал и приговаривал:

— Все-таки Оля — необыкновенная женщина, честное слово!

Никто с ним не спорил. Мы чувствовали себя подпольщиками в стане врага. Просидев пару часов, Оля с Мишей ушли так же, как и пришли, по-пластунски.

Каждые пять дней в обсервации проводилась проверка. Анализы кала собирали по комнатам, по принципу “одна комната — одна баночка”. Считалось, что если человек заболел, то его соседи так или иначе обречены. Носить эту вонючую баночку в лабораторию никто не хотел, поэтому мы честно бросали жребий. Как-то раз я впервые проиграла, и нести анализы пришлось мне. Я не знала точно, где находится лаборатория, поэтому, увидев несколько человек у стоящего в стороне домика, подошла и, приветливо поздоровавшись, спросила:

— Скажите, пожалуйста, здесь находится лаборатория?

Люди шарахнулись от меня и с неподдельным ужасом закричали:

— Отойдите от нас, вы не из нашей баночки!

Все вокруг были напуганы, а потому бдительны, чтобы как можно быстрее уехать.

Через несколько дней, в сопровождении группы солдат с автоматами, нас вывезли на аэродром и отправили по домам. Провожать нас не разрешалось, чтобы холерные микробы провожающих не марали стерильную чистоту отъезжающих и оставались там, где им положено быть, в родной Одессе.

*Глава 6*

Домой я приехала грустная и подавленная.

— Мама, расскажи про Геру, — попросила я, когда стало особенно тошно.

Про Геру мама знала мало. Зато хорошо помнила его родителей. Рома, отец Геры, был очень хороший и умный мальчик. Он даже сделал какой-то доклад в девятом классе, о котором писали в научном журнале. Наша бабушка, мамина мама, всегда ставила Рому в пример. Когда мамин брат получал двойку, бабушка причитала, какая счастливая ее подруга Валентина, у которой сын Ромочка не только сам отлично учится, но еще занимается со своей одноклассницей Ирмочкой, а не бегает по улице с дурацким мячом, от которого никакого толку!

— Вдруг, — продолжала свой рассказ мама, — бабушка замолчала и не вспоминала про Ромочку больше двух недель, что было странно и непривычно. На все ехидные вопросы, как там Ромочка, бабушка только отмахивалась и тут же переводила разговор на другую тему. Однажды бабушка не выдержала и поделилась, что у Валентины жуткие неприятности. Ирма беременна. Ее выгнали из школы. Рома тоже ушел из девятого класса.

— Боже мой, они ведь сами еще дети! — стонала бабушка.

— Срочно сыграли свадьбу, и через полгода родился Гера, — закончила свой рассказ мама.

“Вот тебе и недоношенный!” — вспомнила я любимую Герину шутку. “Когда-нибудь я его успокою, — размечталась я. — Расскажу ему историю его появления на свет, и он поймет, что он был совершенно нормальный, немного не вовремя родившийся, но вполне полноценный ребенок”.

Возможность успокоить Геру представилась мне очень не скоро.

*Глава 7*

Прошло десять лет.

За это время папа мой умер. Мама и брат переехали в двухкомнатный кооператив. Огромную комнату в коммуналке на Петроградской стороне я выменяла на однокомнатную квартиру в новостройках, но жила у мамы, а квартиру сдавала.

Я успела выйти замуж за день до того, как мне исполнилось 25 лет, избежав страшного клейма “старая дева”. Точнее, от этого клейма я избавилась за две недели до свадьбы. Жильцы из моей квартиры съехали, и мой будущий муж сделал в ней ремонт. Жили мы с ним на разных концах города. Приехав после ремонта навести в квартире порядок, мы поглядели друг на друга и поняли, что больше никуда не поедем. Я позвонила маме и сообщила, что первый раз в жизни ночевать домой не приду. Мама помолчала, а потом строго произнесла:

— Если тебе кто-нибудь что-нибудь скажет, можешь ответить: ”Мне мама разрешила!”.

Помню, мой муж очень смеялся, узнав, что он будет “первооткрывателем”. То, из-за чего люди в романах кончали жизнь самоубийством, для него, как оказалось, не имело никакого значения.

Через год мы развелись. Я осталась одна с дочкой. Девочка часто болела. Врачи советовали уехать к морю, где меньше людей, чтобы дать покой нервной системе ребенка. Я не знала, что мне делать, на юге было дорого и многолюдно.

Теплым апрельским днем я шла по набережной Невы, любуясь золотым шпилем Петропавловки. Навстречу мне шел высокий худой мужчина. Я прошла мимо, вся в своих невеселых мыслях. Вдруг кто-то позвал меня по имени. Я обернулась. Исподлобья, вполоборота на меня смотрел Гера. Та же шапка волос, теперь уже черно-бурая, с сединой, огромные коричневые глаза, в лучиках морщин, и тот же насмешливый рот, с презрительно смотрящим вниз уголком. Мы молча обнялись и стояли, не шевелясь, несколько минут. Потом пошли, сели на лавочку.

— Расскажи мне о себе, — попросил Гера и, пока я рассказывала печальную историю своего замужества, целовал мне то одну руку, то другую.

— Так, — сказал он под конец, — забираешь дочку и в июне едешь ко мне в Крым, помнишь еще?

— Конечно, помню, — вздохнула я, — но ведь там закрытая зона, нужен пропуск.

— Не волнуйся, — ответил Гера, — и пропуск тебе сделаю и комнату сниму. Приезжай.

*Глава 8*

В начале июня мы с дочкой прилетели в Крым и, промучившись два часа на жаре в пыльном автобусе, полумертвые от усталости, добрались до ворот Коктебельского заповедника. Нам выдали обещанный пропуск. Охранник провел нас к хозяйке.   
 Комната была большая и прохладная, с отдельным выходом в садик, где стояли стол и скамеечка. Пели птицы. Пахло сладкими цветами. Где-то близко слышался шум моря. Нам казалось, что мы попали в рай.

Вечером я уложила дочку спать и вышла в садик. Пришел Гера. Мы сидели на скамеечку и тихо вспоминали, как были здесь много лет назад. Гера стал доктором наук и почти весь год жил и работал на биостанции, как и раньше что-то изучая в мозгу у дельфинов.

— Как твоя семья? — спросила я.

— Сын уже большой, жена все так же. Два месяца в году я могу их выдержать, остальное время живу здесь, — ответил Гера.

— Один? — ужаснулась я. — Почти весь год один?

Вместо ответа он обнял меня и поцеловал так, что я забыла обо всем на свете, казалось, что я ждала этого поцелуя все эти годы.

На следующий день мы с дочкой вышли на маленький пляж. Все утро, кроме нас, никого не было, и только после полудня на берегу начали появляться сотрудники биостанции в белых халатах, одетых прямо на плавки и купальники. Они сидели и лежали отдельными группками, вполголоса разговаривали, время от времени с любопытством поглядывая в нашу сторону. Неожиданно перед нами возникла маленькая изящная фигурка.

— Скажите, пожалуйста, — наклонилась к нам симпатичная приветливая девушка, — это вы — женщина Геры?

Я оторопела.

— Почему вы решили, что я его женщина?

— Но он же вас привез!

— Он помог мне приехать, — поправила ее я, — у меня ребенок нездоров.

По моему тону и выражению лица было видно, что такая задушевная беседа с незнакомым человеком мне не по вкусу.

— Вы меня извините, пожалуйста, — сказала девушка и села рядом со мной на подстилку, — мы тут все живем одной большой семьей, и друг про друга все знаем.

— Я не член вашей семьи, и про меня вам знать совершенно не обязательно.

— Вы не сердитесь, — продолжала девушка, — я хочу вам что-то сказать для вашей же пользы.

— Мне известно, что он женат, — нетерпеливо возразила я, всем своим видом давая понять, что эта беседа действует мне на нервы, и я хочу ее побыстрее закончить.

— Вы имеете в виду жену в Ленинграде? — поинтересовалась девушка. Обхватив руками коленки, она явно не собиралась слезть с моей подстилки. — У него еще здесь две жены, одна с ребенком, — добавила девушка, не дожидаясь моего ответа.

— Как же они ладят? — изумилась я.

— Они не ладят, — пояснила девушка, — плачут, кричат, иногда приезжает жена Геры из Ленинграда, и тогда они все дерутся.

— А Гера? — не веря тому, что слышу, спросила я.

— А Гера пьет, — просто ответила девушка, встала и вернулась к своим друзьям.

В тот вечер Гера не пришел. На следующий день тоже. Я гуляла с дочкой, читала, писала письма. Гера появился только через неделю, страшно худой, от загара даже не черный, а обуглившийся.

— Привет, — поклонился он, глядя по привычке исподлобья. Крепко пахнуло спиртным.

— Пьешь, — заметила я.

— Бывает, — согласился он, — ну, тебя уже проинформировали?

— А как же? — съязвила я. — У тебя здесь прямо гарем. Как бы с битой мордой не уехать!

— Боишься? — насмешливо подначил Гера.

— Боюсь, — поддержала его тон я, — мне только этого не хватало. Специально так далеко ехала, чтоб меня за чужого мужа побили.

— Так что будем делать? — вызывающе произнес Гера.

— Ничего! — отрезала я. — Если уж по молодости ничего не наделали, то сейчас и подавно незачем, и, вообще, не люблю я в топе толкаться!

Гера круто развернулся и пошел, покачиваясь из стороны в сторону, с гордо поднятой черно-бурой головой.

С тех пор виделись мы редко. Бывало, издали, проходя, махнет рукой и идет мимо. На пляже к нам привыкли, дружелюбно здоровались, играли с дочкой в камушки. Иногда приходил Гера, шел прямо к нам, ложился на гладкую теплую гальку, молча дремал час-полтора, потом вставал и, не говоря ни слова, уходил.

Так пролетел месяц. Пришло время уезжать. Гера пришел накануне отъезда вечером. Мы, молча, сидели с ним в садике. Гера держал меня за руку, а смотрел в сторону. Я не удержалась и погладила его по буйной шевелюре.

— Износился мой конь, — произнес Гера.

Я молча гладила жесткие от морской воды и соленого ветра волосы.

— Ты изменился, — прошептала я.

— А ты нет, — резко сказал Гера, — ну, пока.

Он встал, дотронулся до моей щеки и ушел. Я сидела в садике до утра. Вспоминала наши встречи, разговоры. Так многое хотелось объяснить, что-то поправить, изменить. “Как же так? — спрашивала я себя. — Как же так?”

Утром мы с дочкой уехали.

*Эпилог*

Через два месяца, в сентябре, позвонили по телефону. Мужской незнакомый голос просил меня.

— Я звоню по поручению Герберта Романовича, — произнес незнакомец, — он погиб неделю назад в Душанбе.

— Как погиб? Какое Душанбе? — простонала я. — Причем тут Душанбе?

— У него аспирант в Душанбе защищал диссертацию, — объяснила мужчина, — Вот Гера, то есть, Герберт Романович, и поехал на защиту, как руководитель. На банкете, как водится, выпили, вышли на балкон подышать, потом все вернулись в зал, а Герберт Романович остался. Как это случилось, никто не знает, но когда мы спохватились, то на балконе его уже не было. Он упал вниз. Три дня пролежал в местной больнице без сознания, а потом очнулся и через два дня умер. Просил вам позвонить.

— Спасибо, — прошептала я, повесила трубку, и вдруг страшно позавидовала тем женщинам, которые дрались из-за Геры в Крыму.

1. Лейдерман Леонид «Ривчик»

***Лейдерман Леонид***

**РИВЧЕК**

Он вырос на Пересыпи и там его звали Ривчиком. «Ривчик!» — звали его поиграть в футбол. «Сейчас!» — отвечал он и мигом вылетал во двор. «Ривчик! — звала его мама. — Обедать!» «Сейчас!» — отвечал он, но «сейчас» не всегда получалось, и тогда он уже знал, что обеда не получит — мама была тверда. И сестрички, которых вокруг никто не обижал, потому что это Ривчика сестрички, они против мамы не могли пойти, и Ривчик так и ходил голодным до самого ужина.

Пересыпь — это перегородка между морем и лиманом. Пересыпь упирается в порт. Когда Ривчик вырос, он пошел работать в порт — грузчиком. А что? Хорошая работа. Платили прилично, и еще с работы можно было чего-то домой принести. А то и заработать пару копеек.

\*\*\*

В тридцатом году ему было двадцать лет, и он был не только крепким и ладным, но мог и пригласить девушку на танец, и вроде симпатично у него получалось. Чаще, чем других, он приглашал танцевать Женю — Шендлю с Ярмарочной площади. Он знал, где она живет, — провожал домой с танцплощадки у Пересыпского моста. Его сестрички уже готовы были к тому, что они с Женей породнятся, потому что Ривчик больше ни на кого не смотрел. Да и Женя вроде была не против.

Вроде. Вот именно, что вроде. Появился какой-то незнакомый хлопец, не пересыпский и не городской, откуда-то со стороны, и она с ним закрутила и уехала куда-то. Уехала и уехала.

Но так выходило, что у старшей сестры Ривчика уже двое детей, а он и не женат даже. И когда подошла война, он так неженатым на войну и ушел. И было у него против других, кто уходил вместе с ним, важное преимущество — если что случится, то плакать будут не жена и дети, а только сестры да племянницы, которых, надо сказать, он нежно любил.

\*\*\*

Всю войну Ривчик провел за рулем грузовика. Это должна была быть легендарная полуторка или не менее легендарный ЗИС-5, потому что на «студебеккерах» ему вряд ли пришлось поездить. Судя по медалям Ривчика, а медали у него были «За оборону Кавказа», а потом «За оборону Заполярья», — ездить ему пришлось исключительно по отечественным дорогам и на отечественных автомобилях. Потому что на Кавказе понятно почему, а в Заполярье границу Советского Союза противник так и не переступил, так что и на территорию противника заезжать Ривчику на «студебеккерах» не пришлось. Это был единственный участок западной границы, где враг не прошел. Был еще один интересный участок, где противник — в самом начале войны — не только не прошел, но и отступил, и наши его преследовали на его же территории. И участок этот был — Одесса, где военное командование, вопреки приказу свыше, не отвело войска от границы, а встретило внезапное нападение всей мощью наличного оружия. Но Ривчика, хоть он и коренной одессит, в данный славный момент здесь уже не было.

Про военную шоферскую службу Ривчика мало что известно. Слыхали лично от него, как однажды на Кавказе он перевозил упакованный голландский сыр в сопровождении какого-то лейтенанта. Вряд ли лейтенант служил по интендантской части, поскольку был так же голоден, как и красноармеец Ривчик. Но в отличие от Ривчика, лейтенант был не за рулем, и в какой-то момент решил перебраться из кабины в кузов. Ривчик не сразу сообразил, что причиной этому был тот самый сыр, который они везли. Лейтенант наверняка отлично понимал, что сыр, во-первых, нужно довезти в целости и сохранности, и во-вторых, если уж эту сохранность нарушать, то хорошо бы предложить и шоферу в этом поучаствовать, но…

Ривчик мог бы и не узнать ничего, если бы лейтенант не перестарался. С голодухи он не успел подумать о своеобразном воздействии твердых сыров на пищеварительные процессы. И в какой-то момент, будучи уже рядом с Ривчиком в кабине, должен был признаться, что чувствует себя крайне болезненно, и край этот приближается катастрофически быстро. На счастье незадачливого экспедитора, еще быстрее Ривчик сообразил, что искать спасение нужно — в клизме. При виде ближайшей деревни свернули с пути, остановились, объяснились, нашли что надо, Ривчик самолично свершил экзекуцию, и — поехали дальше с вполне ожившим лейтенантом.

Конечно, возил Ривчик не только сыр, но и хлеб, и патроны со снарядами, и бочки с горючим, и раненых возил, и под обстрелы и бомбежки попадал, — без этого войны не бывает, но — рассказал только про сыр. Однако когда при нем заводили песню, в которой «мы вели машины, объезжая мины», он как будто замирал в задумчивой улыбке.

С войны Ривчик вернулся не только живым, но и невредимым. Нагрянул нежданно с фанерным чемоданом — наверное, с гостинцами, но точно — не с трофейными. Старшая сестра с одной дочерью жила тогда в Одессе, в Лузановке, вторая ее дочь — в Полтаве с мужем, потерявшим в войне ногу. Младшая сестра Ривчика тоже была в Одессе, на Пересыпи, на своей Тряпичке — Тряпичной фабрике. Уборщицей в цеху. Жила тут же, в общежитии.

А Ривчик пошел искать работу шофера — на грузовик. И нашел.

\*\*\*

Но не только полюбившуюся ему работу нашел себе в Одессе Ривчик. Однажды встретил он свою довоенную любовь — Женю, ту самую, что — лопни, но держи фасон! — после танцев, на каблуках, «от Моста до Бойни» — легко! И где теперь эта веселая довоенная Одесса… В воспоминаниях только…

Женя в Одессе после эвакуации, с тремя детьми. Муж погиб. Своей квартиры здесь у нее и до войны не было, так что возвратиться возвратились, только где жить? Приткнулись у родни, потом почти случайно поселились в подвале, там и живут. А что Ривчик? А Ривчик как был один, так один и остался. Живет у сестры, как и до войны. Вот шофером стал…

А потом Ривчик переехал к Жене в подвал на Успенской. Переезжать ему было, видно, несложно, если для перевозки вещей ему хватило того самого фанерного чемодана. Вот так они с Женей соединили свои жизни снова, спустя много лет. Как будто дождался Ривчик… И заодно сразу стал отцом троих детей.

Дети были девочки. Младшая очень быстро стала называть его папой и была с ним на «ты». Средняя с ним была на «вы» и звала его, как мама, — Ривчик. Он против «вы» не возражал, был с ней в дружбе и даже иногда брал с собой в недальние командировки. Дома он ей — вот притвора! — громко жаловался — «Мама моя, кажется, керосином пахнет!» — и подсовывал свежеприготовленный хрен. Так было не раз, и каждый раз она доверчиво и вдумчиво внюхивалась в этот хрен, отчаянно чихала со слезами на глазах, потом говорила «Ну Ривчик!» и, так и быть, прощала его.

Сложнее было со старшей. Он ее понимал — она помнила отца и потому держалась от Ривчика на расстоянии. Женя переживала и не знала, как себя вести. А он знал. Знал, что нельзя «давить на психику». Что нужно терпеливо ждать. Придет время, и всё станет на свое место — или враги, или друзья. Он был прав, пришло время — они стали друзьями, но потом.

Много чего было потом. Много чего.

\*\*\*

Во-первых, была работа. Всю свою послевоенную жизнь Ривчик проработал за баранкой, то есть за рулем. Работал на грузовиках — на открытых, на фургонах. Достигнув пенсионного возраста, Ривчик с работы не ушел. Именно тогда директор автобазы предложил ему пересесть на легковую машину, на легковой легче. Он согласился, но больше чем на пару месяцев его не хватило — он попросил вернуть его обратно.

В те годы автоинспекция, когда водитель нарушал какие-нибудь правила, требовала у него технический талон и делала в нем прокол. Так вот, в талоне Ривчика за все годы его работы не было ни одного прокола. Видали вы таких шоферов? Может, они и есть, только не много. Аккуратно ездил. Не нарушал. И никуда при том не опаздывал.

Ривчик в своих автобазах — а их было за всю его работу всего две-три — был вроде рядовой водитель. Он никогда не был ни над кем начальником — бригадиром или кем-нибудь еще. Он состоял в партии — во время войны вступил, как многие, в тогда еще ВКП(б), — но никогда не выбирался в секретари. А вот иногда приходили к нему домой с работы — поговорить, и видно было, что его как-то выделяют. Уважают. А «шоферня», как о них часто говорили, лишь бы за что уважать не станет.

Так вот, во-первых, была работа. Во-вторых, была семья. Женя, дети. Три девочки, которые росли и — выросли. Вышла замуж и с мужем уехала по назначению средняя дочь. А старшая замуж еще не вышла. И это непорядок. Первой должна выйти старшая… И есть еще младшая, которой вот-вот тоже замуж будет пора. А в семье мужчина — один он. И за всё в ответе. Это «во-вторых». А есть еще и «в-третьих», у него есть еще одна семья — две сестры. У старшей Ривчика сестры уже внуки. У младшей Ривчика сестры мужа нет и не будет никогда, она вроде Христовой невесты, только не в монастыре, а на Тряпичной фабрике. И вот за них за всех в ответе тоже один он, Ривчик.

Такие были у Ривчика ипостаси — работник — раз, муж и отец — два, а еще единственный брат.

\*\*\*

У всякого человека из чего состоит жизнь? Из маленьких и больших проблем. И у Ривчика их было тоже вполне достаточно. Ну и первая проблема это жилье.

Подвал, который в далеком сорок четвертом облюбовала Женя, подвал этот был не из худших. Сухой и теплый. Две больших комнаты, одна с окнами на улицу, вторая с окном во двор, плита с грубой. Только вот окно заканчивается там, где начинается асфальт, так что девочки своих подружек узнавали не по блузкам и прическам, а по ножкам да босоножкам, потому что лиц было не видно. Это значит, что подвал был темный, и у младшей уже начинались проблемы со зрением. Ну и главное — у девочек были уже не только подружки, но и ухажеры, то есть завтра здесь будет тесно…

Из подвала нужно было как-то выбираться. Но как? Ответа на этот вопрос не было ни у кого. Многие мечтали хоть о подвале, тем более сухом.

Как человек женатый, Ривчик пошел в профсоюзный комитет становиться на квартирный учет. Конечно, это долгая песня, но всё-таки надежда.

Женатый-то женатый, только нужно для начала свидетельство о браке показать. А свидетельства нет, и Женя, оказывается, не может идти в загс. Вот тебе раз!

А у Жени муж погиб? — А она не знает. — Как это не знает? — А вот так. Думает, что погиб, но точно не знает. — А что, пропал без вести? — Вот именно, что пропал. — Так нужно запрос сделать, может, что-то скажут. — Нет, ничего никто не скажет, да и страшно запросы делать. Потому что пропал он не в войну, и даже не в Финскую кампанию, а пропал в тридцать седьмом, и с тех пор никакой о нем вести. Пропал без вести. Она думает, что погиб, а спрашивать опасно, потому что она и дети сразу проявятся как жена и дети врага народа. А для жен, говорят, есть спецлагерь, а для детей спецдетдом.

Ривчик помнил ее мужа — еще бы не помнить! Роста вроде такого же, как и он, но казался выше. Культурный. С Женей обходительный. И что же случилось?

А кто ж знает, что случилось? Он был по профессии строитель, тогда работал начальником комбината по сборным домикам — для военных на Дальнем Востоке, у маршала Блюхера. Арестовали и его, и главного бухгалтера. Потом сказали, что они враги народа.

Поселок был маленький, все друг друга знали. Знали-то знали, а получается, не всё знали. Что эти двое враги — никто же не знал! А вот — оказалось.

Только не все поверили.

Тамошняя милиция держала арестантов в своем полуподвале. Передачи для мужа принимали, а свиданий не давали — не положено. Однажды подошел к ней милиционер (она его знала, он был как-то с мужем у них дома) и велел прийти вечером. Она пришла. Он повел ее за милицейское это строение, подвел к приямку, куда выходила решетка арестантской камеры, и негромко сказал в окно:

— Мы пришли.

И отошел в сторонку.

Так она увидела мужа. Тогда он сказал ей: «Женечка! Забирай детей и уезжай отсюда. Что со мной будет, не знаю. Меня не ищи. Если выберусь, я тебя найду сам. Уезжай!» И уже стоял рядом с ней этот знакомый милиционер, надо было уходить.

Он сказал «Забирай детей». Детей — старшую и вторую, которая родилась за два месяца до его ареста, она собрала и уехала. Сначала в Хабаровск, к брату, а оттуда домой, в Одессу. Больше она мужа не видела.

Надежды на то, что он жив, у нее давно не было. Но ей никто не сообщил, что он умер. Поэтому она считала себя замужней, у нее было свидетельство о браке… Она не могла вступить в еще один брак.

Вряд ли Ривчик на эту тему много говорил. Главное было — жалость к ней, большая жалость.

\*\*\*

Ривчика поставили на квартирный учет как одинокого. Работал он тогда в системе потребительской кооперации. «Облпотребсоюз» — так, вроде, должна была называться эта разветвленная и достаточно мощная организация. Которая могла даже строить для своих сотрудников жилье.

И пришел день, когда на углу улиц Комсомольской, бывшей Старопортофранковской, и Чижикова, бывшей Новорыбной, вырос дом, в котором Ривчику полагалась квартира. Дом был, по тогдашним одесским меркам, очень хороший, добротный, с удобной планировкой и высокими потолками, «сталинский», как быстро прозвали дома такого проекта. Ривчику как несемейному человеку выделили комнату в двухкомнатной квартире. При этом комнату, которая побольше, дали на двух человек — начальнице экономической службы, у которой была дочь. А Ривчику, на одного, досталась комната поменьше.

Интересно отметить, что в связи с квартирным голодом наблюдалась тогда, можно сказать, дискриминация по половому признаку. Причем дискриминация была одинаково по отношению к любому полу. Когда родителей был полный комплект, тогда вопросов не было. А вот когда семья неполная, этот вопрос возникал обязательно. То есть если бы у экономистки был большой сын, ей бы дали всю квартиру, а Ривчик, может быть, еще бы подождал. Но у нее была дочь. Большая уже, но дочь. То есть однополый ребенок. И маме поэтому полагалась только одна комната. Одна. Вот такая дискриминация.

В выделенной квартире комнаты были смежные, то есть одна, меньшая, та, что для Ривчика, была проходная. И получалось, что это не коммунальная квартира с общей кухней, а какое-то полуторасемейное общежитие. Между тем теоретически мог случиться и другой вариант. Экономистка и Ривчик были люди одного поколения, давно знали друг друга по работе и находились в достаточно уважительных отношениях. Почему бы им, оказавшись (случайно!) в таком близком соседстве, не распорядиться квартирой для создания, наконец, нормальной семьи? Ведь и он, и она свободные люди! Теоретически мог случиться такой вариант.

Но это теоретически. А практически Ривчик был несвободен. И потому меньшую свою комнату еще уменьшил, зато сделал ее совершенно отдельной. И привел свою незаконную жену в первую в его жизни собственную квартиру. Пусть коммунальную, пусть укороченную, но свою. А в подвале остались выросшие дети.

(О теоретически возможном повороте семейной судьбы Ривчика можно бы и не говорить, но упомянуто о нем не случайно. Женя и соседка-экономист много лет прожили в одной квартире и прекрасно вели свое коммунальное хозяйство, но… Знающие люди утверждают, будто Женя никогда не забывала, что рядом с ней живет свободная женщина.)

\*\*\*

Друзья детства Ривчика были друзьями и Жени тоже. О сестрах и говорить нечего. Поэтому когда Ривчик и Женя снова оказались вместе, то и друзья, и сестры были этому искренне рады. И в это нужно поверить, потому что и друзья, и сестры в гости приходили не столько к Ривчику, сколько к Жене, всегда свойской и всегда гостеприимной.

Когда жили в подвале, выкупаться дома было совершенно нереально. Чтобы просто умыться, под отливом (или раковиной, мойкой) стояло обычное ведро, которое по мере наполнения выносилось наверх, в дворовый туалет. Поэтому купаться ходили в баню. В воскресенье утром, пораньше, за Ривчиком заходил его старый товарищ Левин, которого сам Ривчик называл Левчиком. (Женя, а вслед за ней и дети, называли его по фамилии — Левин.) После бани Ривчик с Левиным возвращались домой, чтобы вместе позавтракать. Женя, готовясь накрывать на стол, задавала важный для нее вопрос — будут ли они пить чай, на что Левин недоуменно вскидывал брови — «Чай пьют китайцы!» — и доставал из внутреннего кармана пиджака четвертушку (четушку, чекушку) «Московской».

Когда Ривчик переехал в сталинский дом со всеми удобствами, походы в баню отошли в прошлое, и Левин уже не так часто появлялся со своей чекушкой. Зато зачастил в дом другой старый друг Ривчика — Петя Думчев, который, в противоположность Левину, выпивал очень редко, помалу и исключительно после уговоров. Петя, а для кого дядя Петя, был, в отличие от своих друзей, человек религиозный, из семьи баптистов (в Одессе говорили — штунда), по профессии столяр. Если плотники много времени проводят на свежем воздухе, то столяра работают в закрытых мастерских, лица их часто и худы, и бледны. Петя Думчев был мужчина полный, с лицом, правда, светлым, без загара, и очень мило картавил. Имя Жени не вызывало у него проблем, но и имя Ривчика его не обескураживало, наоборот, он, казалось, с удовольствием, надо не надо, произносил имя своего давнего товарища.

А зачастил Петя Думчев потому, что и для него праздником было, что Ривчик получил, наконец, квартиру. И праздник этот Петя решил отметить тем, что сделает для Ривчика с Женечкой нужную для дома вещь — сделает сам и с учетом натуральных размеров комнаты. И сделал. Шкаф платяной с зеркалом, с ручной резьбой по дверце бельевого отделения, а над резьбой окошко такое наборное, типа витража, только стекло толстое, ограненное и нецветное. Короче, подарок на новоселье. Естественно, растянутый во времени.

\*\*\*

А время квартирной эпопеи, между прочим, протекало-тянулось-растягивалось на фоне конкретных исторических событий. Которые от Ривчика, может, и не зависели, но влияние на него неминуемо должны были оказывать.

В пятьдесят третьем году умер вождь и учитель советского народа товарищ Сталин. В так называемых ИТЛ, исправительно-трудовых лагерях, политические заключенные по этому поводу выражали большую радость и лелеяли некоторые надежды на торжество справедливости. Однако за пределами лагерей обыкновенные граждане были в глубоком трауре и испытывали тревогу, какую обычно испытывают люди, потерявшие отца или учителя. А уже через три года, в пятьдесят шестом, и те, что в лагерях, и те, что за пределами, услышали, что отец и учитель вовсе не был хорошим отцом и хорошим учителем.

Доклад на эту тему товарища Хрущева, верного ленинца, но, получается, не очень верного сталинца, читали вслух на закрытом партийном собрании, на котором, конечно, присутствовал и Ривчик. И хотя собрание было закрытое, то есть как бы секретное, Ривчик, вернувшись с работы, сразу Жене о нем рассказал. Потому что как будто появилась возможность, не опасаясь последствий, задать всё же вопрос — а что, был муж Жени враг народа или, может, не был? И что с ним происходило после того, как его арестовали? Где он? И опять у Ривчика забота — как Жене всё это пережить.

У Жени родня большая. Вот Лёвочка, например, муж племянницы, инженер на заводе. Пусть напишет куда надо.

Посидела Женя с Лёвочкой, рассказала — когда, где… Ушло письмо летучее.

И пришел ответ. Не сразу, но пришел. Что никакой Женин муж не враг народа, что за отсутствием состава преступления он полностью реабилитирован, то есть оправдан. Правда, посмертно. И что дата смерти — тридцать восьмой год, месяц, день… А шел уже тысяча девятьсот пятьдесят восьмой. Двадцать лет прошло.

Грустная история. Человек погиб. Жена столько лет боялась сказать, что ее муж арестован. Дочери пишут в анкетах, что отец погиб на фронте или пропал без вести, потому что если скажешь правду, не примут ни в институт (а старшая поступила в институг, на заочный), ни в техникум (в техникум пошла средняя). А оказывается, никакая это не правда — никакой он не враг народа.

А старшая дочь, которая отца помнила, никогда и не верила, что он враг народа. Даже когда не могла еще понимать эти слова. Она тогда слышала, как говорили, что он плохой, а он ведь не мог быть плохой…

\*\*\*

Ривчик, как уже говорилось, был главой большой семьи. Он был главный ответчик. В том смысле, что если что-то случилось, то ответить, что делать, должен был Ривчик. Когда Женина старшая дочь поступила в свой заочный институт, она нашла себе работу — пионервожатой в школе. Но было при этом одно условие — в штатном расписании должности пионервожатой еще не было, так что пока предлагалось ей поработать без зарплаты. Но справку для института ей дадут.

Она была согласна. А вот общественное мнение было против.

Они тогда еще жили все вместе на Успенской, а жизнь во всяком одесском дворе предполагает открытость. И вот дворовая общественность посчитала, что бесплатно работать, конечно, можно, но это когда тебя могут прокормить, одеть-обуть. А тут мать одна (Ривчик в расчет почему-то не брался) тянет троих, так что хватит уже на шее сидеть, спасибо пусть скажет, что школу дали окончить.

Растерянная Женя не знала, что сказать на такое мнение, а гордая дочка уже сходила в школу и — извините, мол, — от работы отказалась. И что Ривчик должен был делать? Справка-то в институт всё равно нужна… Пошел к своей старшей сестричке, воспитательнице в детских яслях. Та переговорила со своей заведующей и — с ее согласия — предложила дорогой своей родственнице, Жениной дочке, работать вместе. А родственница тут же и согласилась — главное, чтоб учиться можно было.

Чего только не было в этой большой семье Ривчика! У Жени младшая дочь пошла замуж, а притираться надо не только к мужу, а еще и к свекрови… Средняя дочь родила, а через три месяца ребенок умер… Как-то Ривчик с работы приехал, а Женя в больнице — там старшую только что откачали — хотела наложить на себя руки. Жизнь у Жени — она же не простая. Поэтому рядом всегда должен быть Ривчик.

А у старшей сестры Ривчика? Та дочь, что в Полтаве, актриса в театре, муж на радио работает. У них двое дочерей, одна уже на прокурорской должности, а вторая… Вторая хиппует — помните такое слово — хиппи? Новые времена, свобода мыслей, приоритет возвышенных ценностей, пренебрежение удобствами быта, свобода от родительской философии жизни, свобода в отношениях полов, свобода, свобода… Ушла из дому. Куда? С кем? Как надолго?.. Еще одна племянница здесь, в Одессе. Прекрасные дети, дочь музыкантша, сын отличный фотограф, а муж… Хороший парень, весельчак, заработчик. Съездил в Киев в командировку, и — командировки, командировки, а от командировок ребеночек родился. Ушел в новую семью. А племянница подалась в Якутск — на заработки да подальше от дома, где стены не помогают… И рядом со своей родней опять-таки Ривчик. Который не кудесник, чтобы исцелить, но поддержит, посочувствует, подбодрит. И поможет деньгами, если нужно. А помогать деньгами, как показывает жизнь, нужно часто.

Чего только не было в большой семье Ривчика! Для всех был он родным человеком, и для Жени, может быть, роднее, чем для кого другого, потому что жена… Но нет, не жена. А сожительница!

\*\*\*

Известно, что взрослые по-разному относятся к гражданскому браку. А вот дети должны одинаково к нему относиться. Особенно когда это касается их собственных родителей. То есть дети относятся к гражданскому браку одинаково отрицательно. Потому что у них, у детей, всё должно быть, как у всех, — и папа, и мама, и чтоб по закону. А если у детей отец не родной, да еще с мамой не расписан, то как же это?

У Жени есть причина — не торопиться расписываться с Ривчиком. Оказывается, государство решило как бы извиниться перед теми неправильно репрессированными, кто остался в живых. А также как бы извиниться и перед родственниками тех, кто в живых не остался. Государство разрешило поставить их всех в очередь на получение квартиры. Конечно, если они нуждаются.

Насчет жен бывших врагов народа, то здесь государство обращало особенное внимание на нравственную сторону супружеских отношений. То есть почему бывшие враги народа назывались врагами? Потому что они сначала были с народом, а потом ему изменили. И за это были наказаны. Правда, ошибочно. А если жена бывшего врага народа вышла замуж за другого мужчину? Разве это не измена? И разве не нужно за это наказать? А если не наказать, то уж, во всяком случае, не награждать же жильем! Поэтому женщины, вступившие во второй брак, оказывались уже не женами бывших врагов народа, а *бывшими* женами бывших врагов народа, а бывшим женам жилье не за что давать. Надо было хранить верность! Даже мертвым. Вот так.

Конечно, всегда были и всегда будут женщины, верные памяти ушедших из жизни мужей. Всегда были и всегда будут. И кроме того, всегда были и всегда будут женщины, которые не смогут вступить в новый брак из-за того только, что дети, эгоистичные дети, не могут трепетным своим сердечком воспринять замену любимого их папы на какого-то не-папу. Не случайно же старшая Женина дочь дольше своих младших сестер привыкала к Ривчику.

Но кто бросит камень в Женю? Ждала. Надеялась. Уже знала от людей, что надеяться не на что и что даже предлагают отказаться от мужа и оформить развод. Так нет же, не пошла в такой отказ. Могла для своей безопасности — и для безопасности детей тоже — вернуть себе хотя бы девичью фамилию, и детям ее дать. Так и этого не сделала, так и жили все с фамилией врага народа… Я ей не адвокат. Но кто бросит в нее камень?..

Так вот, знающие люди объяснили Жене, что те, кто живет в подвале, считаются как нуждающиеся и имеют право на получение жилья. И тогда Женя решила скрыть от государства свое фактическое замужество и таким вот обманным способом получить жилье для детей. И потому опять воздержалась от росписи в загсе.

Потом была длинная-длинная история хождения по кабинетам. Дети-то уже выросли. И обзавелись семьями. А как можно давать жилье мужьям дочерей и детям детей? На них, на этих врагов народа, не напасешься. Предлагали Жене одну комнату, на нее, а дети, мол, взрослые, пусть по месту работы и хлопочут. И дело шло по кругу. Пока не поехала старшая дочь в Москву, аж в Верховный Совет. А оттуда позвонили в Одессу, прямо в квартирный сектор, прямо инспектору товарищу П-вой, и порекомендовали предоставить жилье на столько человек, сколько их было в семье посмертно реабилитированного на тот момент, когда его, еще живого, арестовывали. То есть на четырех, считая Женю с двумя девочками и его самого.

Вот так, общими усилиями мертвых и живых, получили они две комнаты в коммуне на улице, которая Перекопской победы, а теперь снова Градоначальницкая. На семейном совете решили, что вместе с Женей пропишутся там младшая дочь с ребенком и еще старшая дочь. В подвале решили оставить среднюю — завод, на котором она работала, строил жилье, то есть была надежда, что дадут там.

Ривчик в семейном совете участие принимал, но, по обыкновению, молча. И потому, что вообще был немногословный, а еще из деликатности — не мог Ривчик не думать о человеке, который когда-то был его соперником, потом сгинул в водовороте жизни, а теперь посылает из небытия сигнал помощи. Деликатные вопросы Ривчик предпочитал проговаривать с Женей отдельно, не в присутствии дочерей.

\*\*\*

Дети. Потом внуки. Женины. А еще старшей сестры. Внуков приносят, когда приходят в гости. Раздевают и подсаживают на диван, где отдыхает или лежа смотрит телевизор Ривчик. И тогда — всё! Больше для него никто не существует! Внуки и внучки с одинаковым усердием ползают по Ривчику и обстоятельно обследуют его нос и уши, и щекотные нежные пальцы.

…Когда обживалась квартира на Градоначальницкой, Ривчик привез туда холодильник. Бывший в употреблении, но надежный. И удобный для коммунальной кухни в силу не очень больших габаритов. Но веса приличного, и тащить его предстоит на третий этаж, и этажи высокие. А тут Ривчик (ему уже под шестьдесят, и волосы хоть густой щеткой, но совсем седые) отказывается от помощи — одному, мол, удобней. И что? Выставляет на кромку кузова холодильник, подкладывает под него свою вроде утлую спину и — вот уже неторопливо ступает по мраморным ступеням вверх, вверх без передышек. Это еще портовая закваска. Плюс всю жизнь в «спортивной» форме…

Человек на грубой работе — на грузовике, где ты не только шофер, но и грузчик, грубая работа для грубых рук, на которых нежные щекотные пальцы…

\*\*\*

Ривчик работал сначала во «Вторсырье», а потом в кооперации, где нужно было возить из районов всякие разные продукты. В последние годы Ривчик в область почти не выезжал и имел дело в основном с мясокомбинатом.

Раньше, бывало, привозил раков, и они расползались по квартире, их разыскивали и устраивали в большую миску с водой. Телефона не было, но как-то узнавали, приходили «на раков». И соседи всегда на месте. Так что пир горой.

А тут наловчился сам делать купаты. Видать, получил все инструкции — какие кишечки заготовить, и как мыть, какую начинку как подготовить, по какой технологии приготовить — наука! Обычно всё Женя готовит, а вот купаты — извините, только сам.

С работы придет, умоется, приляжет отдохнуть, пока Женя на стол накроет. А перед едой стопочку выпьет. А если кто-то еще из мужчин за столом, то сам не разливает, а когда наливают ему — молчит, не останавливает, покуда стопка уже вот-вот переполнится. А тогда с притворным ужасом восклицает — «Хватит, хватит!» Такая игра. Прикидывается пьяницей, который прикидывается трезвенником… После еды опять приляжет — телевизор смотреть. Но почти сразу засыпает — устал.

А что домой привез — это и для детей. Это не подарок, это как бы пищевое довольствие. Они все у него на пищевом довольствии.

А подарки — это когда по случаю дня рождения, или по случаю Нового года, Ривчик списывает долги. Долги почти всегда есть, потому что денег-то обычно не хватает. Ну можно, конечно, занять пятерку у соседки-пенсионерки (у пенсионерок деньги всегда есть). А вот когда что серьезное купить, там пятеркой не обойдешься. Тогда чем к чужим идти, так лучше к маме. Мама с Ривчиком поговорит и одолжит.

А когда праздник подойдет, то подойдет Ривчик, поздравит тихо и так же тихо шепнет Жене — скажи, мол, что долг можно не отдавать, подарок. Конечно, никто не злоупотреблял, старались отдавать быстро. Но если вдруг не успевали…

\*\*\*

И стукнуло Ривчику семьдесят лет. Почему говорят — стукнуло? Наверно, подчеркивают, что неожиданно это. Как вдруг, как стукнуло. Неизвестно, как отнесся он к тому, что ему не двадцать и не пятьдесят, но факт, что решено было этот юбилей отметить. И не в узком кругу, как обычно, а пригласить товарищей, и по работе тоже, и начальство. А поскольку домой много не назовешь… И поскольку в ресторан, даже не в самый шикарный, — как-то тоже не к лицу, не по чину как бы, — то договорились со сватами, у которых трехкомнатная на Большой Арнаутской.

И были поздравления и речи, и говорил директор комплиментные слова, и были тосты, и Ривчик, когда ему наливали, хоть и не восклицал шутливо «Хватит, хватит!», но старался не пить много, а ел, как всегда, как птичка. Только смотрел и улыбался.

И стояли три Жениных дочки на кухне, и скользили бесшумно в комнаты и обратно, и меняли тарелки, и мыли вазочки, и опять выставляли на стол блюда с разными домашними вкусностями. Три Ривчика дочки.

\*\*\*

Когда-никогда Ривчику давали путевку в санаторий. Если он был в Карпатах, то привозил лакированных резных орлов. У каждой из дочерей стоял дома горный гордец, а то и два. Женя тоже ездила — в Хмельник, но чаще на Куяльник. (Куяльник для пересыпских как-то родной, даже если они уже и не на Пересыпи живут.) Только никогда Ривчик с Женей не отдыхали вместе. Вполне возможно, что причиной было правило, скажем так, крепкой советской семьи. То есть поселиться вдвоем в одной палате санатория можно было только при наличии в паспорте штампа о законном браке. А у Ривчика с Женей не было такого штампика. Пока, наконец, не расписались. Расписались они тихо, без свидетелей, да и без особой огласки тоже. Близким, конечно, сказали.

А однажды решил кто-то из девочек устроить им не то чтобы памятное путешествие, а просто чтобы вместе куда-нибудь выбрались. И славился тогда в Одессе профилакторий завода «Стройгидравлика». Такой вымахали для себя санаторий — всем на зависть! Зато если ты со стороны, то туда просто так не попадешь. Однако поговорили, повспоминали, и нашли на «Стройгидравлике» еще одного Жениного племянника. А это уже не со стороны, это уже чистые свои. И вот вам, пожалуйста, две путевочки на Французский бульвар да в бархатный сезон. На здоровье и в удовольствие! Оформляйте санаторные карты — и в добрый час!

\*\*\*

Уж неизвестно, какие были у Ривчика санаторные карты раньше, только сейчас при оформлении вдруг оказалось, что не в санаторий ему надо, а в больницу…

Обследование показало лейкоцитоз. Что это такое, знают специалисты, а для непосвященных было сказано, что это болезнь крови, не лейкемия, которая после облучения, но тоже нехорошо. Было зафиксировано большущее число каких-то единиц, и нужно было срочно эти показатели сбивать. Впервые обратили внимание, что Ривчик болезненно выглядит и что не раз жаловался на слабость.

И пошли нервные дни. Ривчик решился уволиться, наконец, со своей работы. Лёвочка, тот самый инженер, что когда-то сочинял письмо в Москву, подарил ему, чтоб не скучал на пенсии, хороший спиннинг — на рыбалку ходить. Но Ривчику стало куда ходить и без рыбалки: анализы, лекарства, опять анализы… Девочки, кто когда свободный, держали связь с лечащим врачом, доставали лекарства, вместе с Женей следили за соблюдением режима. Диета, визиты к врачу — в общем, Ривчику было чем заняться. Но это днем. А о чем были мысли Ривчика по ночам, этого никто не скажет. Женя, правда, не скрывала, что с ужасом думает о самом страшном. Виду, конечно, никто не подавал, но мысли были очень тревожные.

И однажды был у девочек разговор, что мама, мол, тоже уже не молоденькая, что выбивается из сил, и что ездить помогать ей и одновременно успевать управляться со своим домом — тоже не просто, но всё это можно пережить, была бы уверенность, что всё кончится выздоровлением. Пока же время идет, а подвижек к лучшему не заметно.

И тут — может быть, впервые — прозвучало вслух, что Ривчик может умереть, и что тогда будет с мамой?

Известно, что обычно о таких вещах не говорят. И не говорят потому, что надежда умирает последней, и потому, что мысли могут материализоваться (по-простому — чтоб не накаркать). Говорить не говорят, а думать — думают, потому что жизнь и смерть всегда ходят рядом. Но здесь уместно вот о чем спросить — а если б с родным отцом такое случилось, говорилось бы об этом? Или молча ждали бы исхода? А потом уже думали бы, что делать с мамой?

Хотя если вспомнить всё, что знаем о подобных ситуациях, то, наверное, признаемся себе, что и про кровных родных рассуждали трезво, без сантиментов.

Нет, не потому заговорили, что Ривчик не родной, он давно уже был родной. А потому заговорили, что с Ривчиком Женя — вроде вполне самостоятельная, а останься сама — большой вопрос. Уже давно девочки приезжают, чтобы убрать коммуну, чтобы вымыть окна, да даже пыль протереть, и то здоровья уже не хватает.

Вот и прозвучало — кому-то из троих объединиться с мамой и Ривчиком, а там что будет, то будет. Поправится Ривчик — очень хорошо, а если не судьба, то маме не придется думать, что с ней будет. Вроде логично. Единственно что — не дать Ривчику подумать, что его уже хоронят.

И выбрали, кому из троих с мамой жить, и придумали, как это обставить, будто объединяться не для мамы с Ривчиком нужно, а совсем наоборот. И выглядело это в то время вполне естественно — и Женя, и дочери жили-то в коммуналках, а в коммуналке, известно, чужие люди — не родная мать.

Время тогда было — продать-купить квартиру нельзя, только обменять. И пестрели столбы да доски объявлениями — меняю, меняю, меняю… И нашли обмен — редкий! Семь участников — такая вот комбинация! Это кому-то приглянулась квартира на Гоголя из девяти комнат.

Переезжали Ривчик с Женей под конец года, тревоги были уже другого порядка. У Ривчика коммуна в новом доме, там и центральное отопление, и горячая вода в душе над ванной. А в старых домах совсем не то. Здесь и ванна не ванна, да и туалет на всех… Так что нужно было успеть к переезду отдельно устроить и туалет, и ванну, потому что Ривчику прописаны были специальные процедуры. Ничего, успели.

На новой квартире еще одно чувство испытал Ривчик — впервые ступил на собственный балкон. Переступил порог — и ты на улице.

Ривчик, уже давно потихоньку привыкший не ходить на работу, никак не мог, однако, привыкнуть проводить целый день в четырех стенах. Он просил у Жени каких-нибудь поручений, каких-нибудь заданий, но сколько их может быть? Он навестил старых друзей, он чаще стал бывать у старшей сестры — младшая уже ушла в другой мир, оставив товаркам по общежитию свою гордость — коллекцию новенького постельного белья… Времени у Ривчика всё равно оставалось много, и он пристрастился к прогулкам. К прогулкам в одиночку. А тут еще и балкон: переступил порог — и уже на улице.

Легко представить, как он стоял, опершись на холодное дерево перил, и просто смотрел на проезжающие вниз по спуску машины, на проезжающие под балконом детские коляски с мамами или папами, на голые ветки старого ореха — вот они, только протяни руку… Не было в его жизни своего балкона. Первый этаж был, подвал был, а когда попал на этаж третий, то в его комнате только окно. Невелика вроде радость — балкон, не в балконе вроде счастье, но вот — жизнь как будто прожита, а такого простого удовольствия, чтоб не в гостях, а у себя дома… Жизнь как будто прожита…

А жизнь, действительно, близилась к концу.

Чем пахнет весна? Влажной землей? Не прибитой дождем пылью, а землей, которая источает влажное дыхание… Уже, нет-нет, потянет почти забытым запахом влажной земли, весна вот-вот застучит в окна, в двери, позовет наружу.

Ближе к весне затеяли на новой квартире покрасить полы, и Ривчик договорился с сестрой, что на это время они с Женей приедут пожить у нее в Лузановке.

Вот там и стало Ривчику плохо.

Вызвали «скорую», объяснили, от чего он лечится, и Ривчика сразу же повезли в областную больницу, на поселок Котовского. С ним поехала племянница, и теперь ездила туда каждый день. Иногда с сыном, но чаще сама. Возвращалась, докладывала Жене, как и что, потом вместе звонили в город, сообщали остальным о новостях. А новости были не в радость.

Еще раньше, когда всё только начиналось, однажды Ривчик, придя от врача, сказал Жене — «Я обречен». Странно было слышать от него это, в общем-то книжное, слово — обречен. Странно и страшно. Обречен. Неотвратимость. На которую нечем возразить.

Он умер на День космонавтики, который с радостью отмечался в Союзе. Из областной больницы гроб с Ривчиком везли в город на грузовой машине. Везли через его родную Пересыпь, хоженую-перехоженную, езженую-изъезженную. А чуть раньше из Лузановки по той же дороге, мимо Ярмарочной площади, мимо Заливных переулков, через улицу Деда Трофима и Пересыпский мост везли в город Женю — на последнее свидание со своей молодостью.

Вместо эпилога

Через год ставили Ривчику памятник. По черному мрамору «…Рувим Иосифович». А ниже — «Ривчеку от…» Но это ошибка — Ривчеку! Плучек, Волчек — да, а Ривчек? Надо писать через «и». Как Вовчик, Санчик. И как теперь быть? Как говорится, что написано пером... А что выбито на камне — чем исправишь? Только делать заново… И решили буквореза простить и оставить с ошибкой. Сказали, что Ривчик бы тоже простил.

\*\*\*

Старопортофранковская угол Новорыбной-Пантелеймоновской — это там кончается город и начинается Молдаванка. Молдаванка, где все всё обо всех знают.

Кто? Ривчик? Он же миллионер!

Ривчик миллионер? О чем вы говорите!

В квартире, откуда хоронили Ривчика, многое изменилось — ведь прошло столько лет… Менялись соседи. Умерла Женя. Из УССР получилась просто Украина. Выросли внуки.

Многое изменилось. А вот вещи живут дольше, чем люди. Стоит, как и прежде, резной платяной шкаф, сработанный пересыпским краснодеревщиком Петей Думчевым. Сохранился даже простенький кухонный шкафчик, который, правда, из кухни давно переместился на балкон, куда когда-то любил выходить Ривчик. Шкафчик теперь выполнял роль маленькой кладовки-холодильника. Верхние ящички были вроде и не у дел, в одном валялся почерневший от времени консервный нож-ключ да брусок, на котором направлял когда-то Ривчик свою бритву.

И как-то после очередной снежной зимы наводили там порядок и обнаружили в глубине ящичка клеенчатый как бы кошелек — а в нем сберкнижка на имя Ривчика. На которой постепенно, не помногу, а накопилась кругленькая сумма. Не миллион, конечно, и даже не сто тысяч, но по тем временам, когда жил Ривчик, — немало.

А Женя, выходит, о книжке не знала! Иначе оформила бы наследство. И сестра Ривчика не знала. То есть втайне от всех? А ведь не скоропостижно же умер, было время и подумать, и распорядиться. Может, не поверил, что обречен, и не думал умирать? А если был готов принять смерть, то что? Не знал, как распорядиться?

Вообще-то Ривчик по своему характеру не должен был стремиться иметь много денег. С другой стороны, если день приносил «живую копейку», он от нее не должен был отказываться. И еще. Ривчик не признавал иждивенчества — он считал, что каждый должен сам зарабатывать свой хлеб. Вот если тяжелая минута — это да, помочь нужно обязательно. То есть деньги Ривчика — это был своего рода благотворительный фонд. У всех всё хорошо — ну и хорошо, а вот если что случится, то поможем, а как же!

Так или иначе, только не судьба была сохраниться этому благотворительному фонду. Советский Союз взорвался вместе с лозунгом «Храните деньги в сберегательной кассе!».

\*\*\*

Фронтовой чемодан Ривчика, в соответствии со стандартами своего времени, имеет ручку из сыромятного ремешка, сложенного вдвое и прибитого гвоздиками к корпусу. Он используется для хранения ёлочных игрушек — в ожидании очередного Нового года.

1. Лидский Владимир «Кости»

***Владимир Лидский***

**КОСТИ**

Его изучали врачи и учёные, потому что в свои весьма преклонные годы он довольно сносно бегал на лыжах, по утрам в течение сорока минут делал зарядку и отжимался от пола не менее трёх десятков раз, а главное, у него была приходящая подруга пятидесяти семи лет, симпатичная моложавая женщина, сладострастные крики которой сильно докучали соседям по ночам. Он и не выглядел так, как выглядят обычно древние старики; это был такой кряжистый дубок, намертво вросший корнями в грешную землю, сильный, мощный, закалённый ветрами и бурями. Среднего росту, плотный, сохранивший широкие могучие плечи и ясную осанку, с лицом хотя и испещрённым глубокими морщинами, но чистым и мужественным, — в противовес тем стариковским лицам, которые с течением времени оплывают и становятся бабьими, — стоял он крепким осколком прошлого посреди безбрежного океана новой эпохи с её войнами и конфликтами, санкциями всех против всех, кровью, жадностью и безумною тягою к деньгам — и в угрюмой ожесточённости смотрел: вот режут друг друга братья-славяне, вот арабы утюжат ракетами евреев, вот в московском метро с рёвом несётся в кровавую мясорубку сорвавшийся с цепи локомотив, а с неба над Украиной падает сбитый малазийский «Боинг»… смотрел и вспоминал события чуть ли не столетней давности… девочка Ульяна, бредущая кромкою пыльного ржаного поля… а эта баба, которая приходит сейчас, ведь она только якорь, который ещё удерживает его на этой земле, и сколько их было таких или похожих, а девочка Ульяна… девочка Ульяна — то было совсем другое дело, совсем другое дело… она стала первой буквой того алфавита, в конце которого оказались кости, почти столетние кости родного брата, не упокоенного, не успокоенного, не прощённого…

Он полез под кровать, достал запылённый чемодан и откинул его залубеневшую за десятилетия крышку… пахнуло удушливой волной тлена, и тяжкие воспоминания неясными слоистыми тенями встали перед ним. В чемодане лежали кости и потемневший от времени череп с огромною дырою в затылочной части. Сто лет ненависти испепелили саму ненависть, упрятали в толще времени страх и боль… и должен ли ненавидеть тот, кто выжил? Пора, пора уже похоронить эти горестные кости, пусть брат уснёт наконец в своей могиле и перестанет тревожить душу своего врага… Протереть, вынести и закопать в парке… совесть сильнее обиды и требует освободить неприкаянную душу брата. Он взял череп и провёл большим пальцем по его правому виску. Раньше мучила ненависть, теперь — совесть. Может, и сам он подзадержался на этой земле потому лишь, что нужно было избыть эту муку, простить всё… ну, хорошо, не простить, не простить, а хотя бы исполнить свою религиозную миссию: похоронить — вопреки всему — брата…

Всё начиналось, как в сказке: было у отца два сына. Прохор Иваныч и Степан Иваныч. Их и в малолетстве так звали — с отчеством. Прохора Иваныча все знали как рассудительного и спокойного малого, а младший брат его Степан Иваныч напротив был взбалмошный и гневливый. Оба с пяти лет работали в хозяйстве отца Ивана Аникеича — на хуторе близ Туголуково Борисоглебского уезда — и к началу Великой войны превратились в статных, могучих парней, хотя и не сформировавшихся ещё окончательно в силу своего довольно нежного возраста. В четырнадцатом году, наивно предрекая скорое окончание войны, отец недальновидно рассуждал, что семью, слава Богу, пронесло и братьев минует ратная судьба, но через три года, когда как раз подходил им призывной возраст, он уже сильно беспокоился и переживал за незакрытые фронты. К тому же и в губернии стало неспокойно, а в конце семнадцатого донеслась до хутора весть, что империя низвергнута и самодержавной власти более не существует. Отец хоть и был человеком грамотным, но не понял перемен, — побузят, дескать, говорил он, докель не успокоят, да и утихнут…

Прохор Иваныч протёр череп брата влажною тряпочкою и аккуратно поставил его на место, умостив рядом с другими лежащими тут же костями.

Умён был батюшка Иван Аникеич, думалось ему, но за рвением своим к плодородной земличке да за тщанием крестьянского труда не увидел он дьявольской сущности заразы, надвигающейся из столиц. И поверить не мог он в крушение самодержавия, ибо русский крестьянин всегда был фундаментом царской власти, ну, так вот же: фундамент цел и он, Иван Аникеич, работает на своём хуторе, как надысь, — пашет, сеет, жнёт да обиходит скотинку, а ежели фундамент крепок, то куда ж деваться российскому колоссу? Так и пропустил батюшка все важные события, напрасно уповая на незыблемость власти и веры православной.

А потом и семья треснула пополам и начался бесконечный сезон раздоров и смертей.

Ещё с отрочества братья Прохор Иваныч и Степан Иваныч женихались с Ульяной, хозяйской дочкою с соседнего заречного хутора. К пятнадцати годам своим налилась она свежим молодым соком, и поглядеть на неё приезжали молодые парни аж из самого Тамбова. Слухи о справной девке широко шли, да и недаром: было на что посмотреть в заречном хуторе. Эта юная стать, женская гибкость и вкрадчивая кошачья повадка, тонкая крестьянская красота и мягкость сдобной фигуры, — всё в её облике предвещало ей завидную судьбу, необычность пути… а глаза были у неё с томною поволокою и смотрела она так, будто звала куда-то за собою — в тёмный лес, в душистое сено или в какое иное тайное пространство. И, глядя в эти глаза, ещё мальчишкою, Прохор Иваныч пропадал навек, тонул в бездонной бирюзовой бездне, увлекаемый вглубь неведомым желанием, — неясный морок окутывал его, какой-то волшебный туман, словно попадал он в невидимые тенета, терял волю, возможность мыслить и анализировать, и весь во власти коварной бирюзы делал всё, о чём она просила. Сердце замирало у Прохора Иваныча, когда он видел, как Ульяна медленно поворачивает свою аккуратно прибранную головку и смущённо опускает взгляд, как подрагивают её густые, рождающие синеватые тени ресницы и уж совсем обмирал он, засматриваясь на её пухлые, но крепкие ножки…

И однажды она позволила ему то, чего раньше никогда не позволяла. Втроём, прихватив Степана Иваныча, отправились они как-то по грибы в окрестный лесок, с час собирали по сырым балкам обильный урожай, а потом нарочно углубились в чащу и оставили Степана Иваныча одного, чтобы не мешал. Они долго шли, намереваясь уж точно оторваться от ненужного свидетеля; наконец на широкой солнечной поляне Прохор Иваныч уронил своё лукошко, — и грибы рассыпались по траве, — прислонил Ульяну к тёплому стволу берёзы и, замирая, осторожно прикоснулся обеими руками к телу девушки. Она вздохнула судорожно и обняла его. Сердце Прохора Иваныча замерло и остановилось, он ощущал в своих руках её трепещущее тело и вдыхал мятный аромат её волос. На шее у неё билась голубая жилка, он осторожно приблизил лицо и поцеловал эту тоненькую нежную дорожку, почувствовав солоноватый вкус её влажной кожи, а потом чуть отстранился и увидел жадные, горящие нетерпением полураскрытые губы, которые ждали его губ… Это был такой сладкий соблазн, который потом во всю жизнь свою не мог позабыть Прохор Иваныч.

И так с пятнадцати лет жались они по углам, да по сеновалам, дрожа от вожделения и страсти, вдыхая друг друга полной грудью, и каждый раз заново умирая от нежности. Но только до сути своей женской не допускала она его, умоляя подождать до венца, и в последний год подумывал уже Прохор Иваныч, как подступиться к отцу да матушке за благословением на сватовство. Однако ж судьба не сулила сватовства.

Пришёл возраст и Прохора Иваныча призвали. Почти год, до осени восемнадцатого, пропадал он на фронтах, и войне-то выходил уж срок, а он вот не дождался, да и дезертировал. Подался на родную Тамбовщину и, вернувшись к плетню отцова хуторка, узнал: Ульяна повенчалась с младшим братом и спрашивать же было бесполезно — как, отчего да в чём причина? Повенчалась, да и вся недолга. Может, любовь у них случилась, а может что ещё, кто же знает… лишь один Господь… Плакал, метался Прохор Иваныч, хотел было в петлю, да образумился, стал работать, как прежде, на полях, а тут другая беда — пристрастился прикладываться к горькой и привык, а потом и каялся, укладывая дурную башку матушке в подол. Матушка Ефросинья Донатовна уж как жалела его и пыталась вразумить, да толку, — пил, безобразничал и всё плакал в подол. Отбился от труда, стал бездельник и бирюк, уважение к старшим потерял, а брата возненавидел. Пришлось батюшке поучить старшенького хорошей ослопиной, — так угостил Иван Аникеич сынка от щедрот своих, что тот и имя своё забыл. А потом батюшка повелел ему жениться. «Можа, — сказал, — дурь-то через низа и выйдет…»

Нашли ему спокойную девку в соседнем сельце и скоренько обвенчали. Прохору-то Иванычу безразлично было, он и не противился. Но с женой, Маняшей, сжился, попривык к ней да и полюбил, только тихо, спокойно, без обмирания… Берёг жену, холил, работою не загружал, а горькую бросил как-то враз, батюшку чтобы не гневить.

Весной Маняша понесла, а после Рождества уж и разродилась. Малого Ваней назвали — в честь деда.

И всё бы ничего, ведь плохой мир лучше доброй ссоры, — ужились сродственники да притёрлись, — только мир вокруг покривился, скособочился. Стали приходить пропахшие порохом и ржою военные, угрожать, требовать. Стали сводить скотину со двора, забирать зерно и продукты. И ведь не супостаты какие, а свои же родные русачки. Раз Иван Аникеич вздумал было возразить, так подскочил некий резвый в кожаной тужурке да как дал рукояткою револьвера по зубам! И посеял батюшка на дворе зубы свои, а всходов ждать не стал, — снарядил Степана Иваныча на тамбовский базар с продовольственной телегой, — избавиться хотел поскорее от добра.

А Прохор Иваныч тем временем слонялся по хутору без дела и забрёл в избу, где мыла горницу простоволосая Ульяна. Подол её длинной юбки был подоткнут в поясе, босые ноги крутились по мокрому полу, влажные волосы прилипли к щекам… она повернулась, заслышав шаги вошедшего Прохора Иваныча, и взгляды их встретились. Он быстро подошёл к ней, и она ещё успела сказать: «Нет, Проша, нет…» Но он уже схватил её и, пытаясь преодолеть сопротивление сильных, но скользких рук, стал целовать разгорячённое лицо… ногой она задела стоящее невдалеке ведро, оно упало и мутная вода полилась по горнице… он всё искал её губ, а она не давалась, крутила головой, и маленькая голубая жилка на её шее панически билась и трепетала… он в ожесточении хватал её запястья, но она выскальзывала, как большая сильная рыба выскальзывает из рук азартного рыбака, отталкивала его и выкручивала шею, пытаясь уйти от его алчных губ… наконец он поймал её мучительно искривившийся рот и впился в её губы в каком-то экстазе, почувствовав внизу живота требовательные толчки взбесившейся крови… но она вывернула правую руку и изо всех сил ударила его кулаком в лицо, он же только ожесточился ещё больше и навалился на неё всем весом своего тела… она скользнула голыми ступнями по мокрым половицам и… оба они с грохотом рухнули на пол… Она всё извивалась, пытаясь выбраться из-под него, а он уже рвал на ней одежду и отмахивался от её рук в каком-то скотском озлоблении… рубашка на ней была крепка и не рвалась… тогда он захватил скрюченными пальцами набухшую водой юбку и задрал вверх, полностью закрыв мокрой тканью её растрёпанную голову… она сдавленно кричала, а он юбкой пытался заткнуть крики, ещё сверху ткани закрывая ей рот пылающей ладонью… И когда он наконец овладел ею, она перестала противиться, обняла его одной рукою, а другой — скинула с лица грязную юбку и так, плача, оба они любили друг друга, потому что мир для них перестал существовать, и в эти мгновения забыли они о том, что есть на свете родители, Степан Иваныч, Маняша и злобные люди в пропахших порохом и ржою шинелях, и перестал вдруг дуть над российской Голгофой ледяной ветер истории, сметающий на своём пути города, сёла и крохотные фигурки беззащитных людишек…

А потом домой вернулся Степан Иваныч, разглядел лиловый глаз Прохора Иваныча и расцарапанную морду его, синяки и ссадины на жениных руках и разбитые её губы, схватил топор и с воем кинулся на брата. Прохор Иваныч ворошил сено на сеновале и так с вилами в руках стал против Степана Иваныча, не желая терпеть от него обиды. Пока тот махал своим оружием, пытаясь просунуться поближе, Прохор Иваныч двинул вилами и выбил топор у него из рук. «А ведь я тобе заколю, — тихо сказал он, — ей-богу, заколю…» Но тут же и бросил вилы, подошёл к брату, а тот набросился на него с кулаками, и пришлось Прохору Иванычу усмирять его. Долго бил он брата железными кулаками, а брат держался, не хотел уступать, отвечал такими же железными кулаками, а потом извернулся, ухватил Прохора Иваныча за волосы и давай полировать ему лоб о стену! Долго бились они, пока матушка не услышала звуки бойни да не прибежала разнимать их. Уж какой силой нужно было обладать сухонькой Ефросинье Донатовне, чтобы растащить здоровенных бугаёв, однако ж растащила и побежала за тряпками, — обмывать их окровавленные рожи. Братья лежали в разных углах сарайки и глухо матерились. «Ты не брат мене, — говорил Степан Иваныч, — ты сука подзаборная… нету нам таперь с табой места у одной земле…» — «Энто ты сука подзаборная, — отвечал ему Прохор Иваныч, — а я человек… и не становися больше на моей пути… да бабу не тронь, слышь, што ли, она не увиновная… люди любють, а ты же ж поперёк…»

Пока матушка бегала за тряпками, явился батюшка с семихвосткой и полил братьев нехорошими словами, а потом и угостил плёткою от всей души, разбив им свинцовыми шариками и без того покалеченные головы. Степан же Иваныч, выйдя с сеновала, поймал в подполе прятавшуюся там Ульяну, сбил с ног разбитым уже в кровь кулаком и долго ещё учил её уму-разуму. Потом вышел из подпола, прошёл хутор наискосок, перелез через плетень на задах и… пропал.

Вернулся он месяца через два, да не один, а с отрядом корявых людей, одетых в пропахшие порохом и ржою шинели. Отряд привёл с собой вереницу подвод; Степан Иваныч по-хозяйски распоряжался и, отодвинув в сторонку батюшку и матушку, а пуще всего — брата Прохора Иваныча, тыкал пальцем в схроны и хуторские закрома, — всё, что не успел продать Иван Аникеич, мигом грузилось на подводы, а из сараек в гуще мата, собачьего лая и мычания коров выводили бунтующую скотину. Матушка Ефросинья Донатовна не сумела снести жалости к любимой тёлке да бросилась в защиту, а молоденький паренёк из корявых людей угостил её прикладом, — тут уж не стерпел обиды батюшка и попытался вырвать у него оружие, но старика сбили с ног и долго топтали сапогами, придерживая Прохора Иваныча.

Отправив подводы, Степан Иваныч не поторопился уйти, а прогулялся по двору, хозяйским взглядом оглядел разорённое гнездо и подошёл к избитому отцу. «Вставайте, батюшка», — сказал он участливо и с заботою во взоре протянул руку. Но Иван Аникеич злобно оттолкнул сына и ткнул в него окровавленным перстом: «Проклинаю, иуда! Вот тобе моё благословение: гори вещно посреди геенны огненной и нехай кости твои не найдут упокоя у нашей горестной земле!» Степан Иваныч отшатнулся и попятился, лицо его сморщилось, приняв какое-то плаксивое выражение, он встал, ссутулился и вышёл со двора…

Стали вскорости приезжать до хутора окрестные мужики из Каменки, Афанасьевки, Хитрово, Коптево да звать в лес, потому как житья не стало от комиссаров и нужно же было взять наконец обрезы в руки. Но Иван Аникеич лежал больной после побоев, а Прохор Иваныч надумал идти в город искать пропитания для семьи, потому как до зёрнышка выгреб брат весь фамильный продзапас. Ни мушной каши боле не видать, ни кокурок, ни картохи топтанной… пропадай таперь за грош…

Долго добывал Прохор Иваныч хлеба в Тамбове, а вернулся и не застал семью в целости: голод не тётка, и ушли ж в дубовую рощицу под православные кресты — матушка, Ульяна и маленький Ванятка.

Покумекали Иван Аникеич с Прохором Иванычем и решили достать с потайных мест ружьишки да тронуться в Афанасьевский лес, где по слухам давно уже собирались тамбовские крестьяне. Только не поспели убраться: явился к ночи снова блудный сын, предатель и убийца, да с конвоем — пятеро или шестеро общим числом, все в горьком хмелю, видно кровь чью-то запивали… Нагрянули с тиха, — ни звука не услышали Иван Аникеич и Прохор Иваныч, да не успели ружьишки подобрать, — скрутили их лихие люди, батюшку бросили в сенцах, а Прохора Иваныча с Маняшей уволокли на двор, кинули в пыль и принялись терзать Маняшу, как голодные волки; разодрали на ней сарафан, рукояткою револьвера разбили голову, чтоб молчала и не крутилась… Прохор Иваныч выл от отчаяния и поносил бандитов последними словами, пока Степану Иванычу не пришло в ум упразднить досаду, — подошедши в к брату, ударил он его сапогом в лицо, мигом убрав докучные звуки, и тогда стало слышно прилежное сопение насильников.

Очнулся Прохор Иваныч от сильного жара, разлепил кое-как скованные запёкшейся кровью веки и увидел: хутор пылает, как сухой стожок и пламя над ним гудит, словно дьявольская глотка… Подкатился он поближе к дому да и сунулся прямо в горящие головёшки, чтобы сжечь на себе крепкую пеньку, — бился в огне и вопил от боли, пожёг одёжонку, но добился своего и, разоблачившись, ринулся к дверям. Адский смерч остановил его невдалеке от порога, опалил волосы и швырнул в лицо смрадные миазмы… он упал на колени и, простирая покрытые кровавыми пузырями руки, снова завыл, как может выть только человек, уже несущийся в бездонную пустоту смерти. «Батюшка, батюшка!» — выл он в отчаянии, но ответом ему был только гул огня да грохот рушащихся стропил…

Так остался он один на белом свете. Маняшу схоронил рядом с Ваняткой в дубовой роще за хутором, а батюшку и не сыскал, — взял только прах его, как пепелище остыло, да ссыпал в свободный от табаку кисет. Голову же пеплом посыпать ему и не пришлось, все волосы без того были в хлопьях сажи…

Через пару дней обретался Прохор Иваныч уже в Афанасьевском лесу и заметил у многих лесных мужичков в поседевших до времени волосах такую же горькую сажу. А ещё заметил он, что остервенение лесных обитателей дошло уже до последней степени и стало таким злобным, таким отчаянным, словно проживали они свой последний в этой жизни день и нужно же было успеть им напоследок настичь ещё своего врага, вцепиться в его горло мёртвой хваткой и не разжимать зубов пока он не издохнет, захлебнувшись наконец собственною кровью. Глаза их горели безумием мести, а руки судорожно сжимали новенькие винтовки, полученные от генерала Мамантова, захватившего при штурме Тамбова богатые склады Южфронта. За расстрелы заложников, сожжённые деревни и разрушенные храмы, реквизиции и голод готовы были мужички на всё и уготовлялись биться с врагом до края, до тех пор, пока не провалятся проклятые большевики в преисподнюю, откуда выползли, наученные чёртом… И не дрожали руки у Прохора Иваныча ничуть, когда он в бою выщёлкивал врага своею трёхлинейною винтовкою, хотя бы и зная, что возможно во вражеской цепи шагает сейчас даже какой-нибудь его знакомец, какой-нибудь там кум с соседнего хутора или из ближней деревеньки. Сколько их развелось по соседям — всяких комбедов, уполномоченных, совслужащих и красных милиционеров, в числе которых были, что уж греха таить, не только знакомцы, но и сродственники.

А Прохор Иваныч всё мечтал выцелить в бою брата, посадить его уже на мушку да отправить на покаянную встречу с батюшкой, матушкой и всей погубленной фамилией, потому как не было больше сил терпеть огонь клокочущих в груди углей, которые жгли и жгли, не позволяя ни уснуть, ни забыться. На короткие только минуты отчаянная ярость и нечеловеческая злоба утишали эту невыносимую боль, — когда он лежал возле пулемёта и крыл свинцом ненавистного врага… тогда ему казалось, что он сливается с раскалённым «максимом» и сам превращается в несокрушимое орудие возмездия… или когда в рукопашной он, как мясник на бойне, орудовал штыком, выкрамсывая налево и направо куски человеческого мяса…

Но потом, после боя, сидел он, пытаясь придти в себя среди густой пахучей травы, и выскабливал ножом засохшую кровь из-под ободранных ногтей… сидел и мучительно размышлял о переметничестве брата, — как, как можно было стать ему на сторону диавола, подняв оружие на собственный народ, на соседа, брата?

И немало ещё крови повидал Прохор Иваныч на своей земличке, да и сам пролил… кто ж её теперь, родимую, измерит? Всяко видел — и пожары, и разорванные надвое тела, и скорые суды, где невинных осуждали те, кто в иные времена были бездельники да бражники, видел стоящих у расстрельной стены заложников-подростков, кромешный ад авианалётов и перекошенные рожи отравленных ядовитыми газами товарищей… да и сам стоял однова на четвереньках, выхаркивая внутренности и не умея унять подневольные слёзы, когда молодой самонадеянный выскочка Тухачевский обстреливал химическими бомбами окрестности сельца Кипец…

И привела же судьба Прохору Иванычу встретиться с братом не в бою, не в схватке рукопашной, а возле могилок в дубовой роще, за мёртвой гладью отцова пепелища. Случилось ему как-то быть в родных краях и зашёл он попроведать свою спящую семью, — глядь, а над чернозёмом Степан Иваныч на коленях да бормочет что-то… никак прощенья испрашивает, гадина! Подошёл Прохор Иваныч, на ходу выстёгивая маузер из кобуры, и сунул ствол ему в скулу: «Шо ж ты, братка, стоишь тута? Надысь энтих картинок здеся не случалось… А конь твой иде? Ты ж на коне, знать? Энто мы по грязе лопотками шлёпаем, а увы-то, щай, не любитя спроста?» — «Н-ну! — сказал Степан Иваныч. — Не замай!» — «А ты тадышний! — возразил Прохор Иваныч. — Хошь сказал бы мене: не вубивай, Проша, мол… Ну, шо ж… я тобе не жамки принёс…» И ради убеждения ткнул воронёною мушкою ему в подглазье. Степан Иваныч раздражённо дёрнулся, и палец Прохора Иваныча сам собою скользнул и прижал курок. Грохнул выстрел… лицо Степана Иваныча отбросило назад и лоб обожгли пороховые крупинки, — пуля попала ему в глаз, выбив из затылка кусок черепной кости; он рухнул вбок и ткнулся щекою в могилу матери. «Будь ты проклят, собака!» — сказал в сердцах Прохор Иваныч и плюнул в сторону. Взяв брата за шиворот, он поволок его прочь от могилок и швырнул на бесплодную огородную землю, где в иные времена растили картоху…

Бросив труп, Прохор Иваныч осмотрелся. «Шо ж, — сказал он сам в себе, — надоть иттить в Михеево, лопату шукать…»

С этого дня он перестал спать и не спал много-много лет. В стране закончилась Гражданская война, прошла коллективизация, были построены Беломорканал и Днепрогэс, снят фильм «Весёлые ребята», а в Москве началось возведение первых павильонов ВДНХ… Тысячи крестьян, называвшихся бандитами, были убиты в боях, посажены в лагеря, сосланы, а их семьи полегли у забрызганных кровью стен под именованием — заложники, и ушли в жирный тамбовский чернозём грубой массой, навалом, оскорбительной бесформенной кучей… Сотни деревень сгорели, подожжённые карателями Тухачевского, Уборевича, Котовского, и что же это было, когда брат резал брата и русский убивал русского?..

Все эти годы он не спал, потому что продолжала тлеть не смирившаяся с потерями душа, и болело сердце за родных и близких, оставленных в равнодушной землице под зелёными дубками.

Жил Прохор Иваныч в Инжавино, под Тамбовом, работал на элеваторе и, конечно, понимал, что надо бы переехать куда-то вглубь страны, а то не ровён час вылезет как-нибудь бочком его патриотическое прошлое, да не умел покинуть родину и стыдно ему казалось бросить любимый пейзаж и одинокие кресты в том месте, где он столько любил и столько страдал. Такие, как он, ещё оставались среди советских людей, и в прошлом были они *бандитами*, впрочем, и по сегодня звания эти никто не отменял и можно было за них получить на орехи, — надо ж было лишь таиться, если ты не хотел загреметь, и провозглашать на дружеских посиделках здравицы и тосты в честь товарища Сталина да любимой партии. Ну, а ненавидеть можно было и в себе, внутри своей души, которая ворочалась, чавкала и клокотала, не в силах сносить всю эту подлую мишуру. На работе он чуть забывался, а ночью никак нельзя было уйти или спрятаться от невыносимой тоски и бесконечной злобы, разрушавшей всё чистое, светлое, что ещё оставалось в нём. И поскольку он не спал, нужно ж было что-то делать, чтобы не сойти с ума в своей бездонной и бесконечной безысходности, и он делал, — вырезывал из липы маленьких солдатиков, стойких, честных, мужественных, накопив их тысячи и выставляя везде по всей своей маленькой клетушке. Руки его были заняты до самого рассвета, а мысли — свободны, и он думал: брат ли — корень моих бед или весь народ против одного меня? Ведь не может быть, чтоб народ был против своей части, своей плоти и своего продолжения… нет, нет… виноват брат и почему же он спокойно спит в своей могиле, а я тут мучаюсь, тоскую и хоть бы слёзы мне послал Господь, так и нет — не даёт такого искупления! Долго ль буду я иттить по жизни, не умея плакать, а брат, — счастливо избежав мучений, уколов совести и смертного отчаяния — лежать в безмятежности небытия? Нет, нет, ещё батюшка сказал: нехай кости твои не найдут покоя у нашей земле! Помню, помню я батюшкино назидание… и так размышляя, поехал Прохор Иваныч в воскресенье на заросшее бурьяном родное пепелище с лопатою, завернутою в чистую рогожку. Раньше-то у воскресенье ходили усей хфамилией у Горелое, у тамошнюю церковь, а то ездили даже и у Тамбов... кафедральный собор… щастье, а таперя шо? — субботники или домино у дворе…

И вот с трудом сыскал он место брата, ведь пепелище хутора и огороды давно уж безнадёжно заросли бурьяном, — сыскал среди крапивы, лопухов да лебеды едва приметный бугорок с овальным камнем, наполовину вросшим в землю, вонзил лопату, углубился и вынул кости, бурые и влажные. Сложив их в холщёвину, повёз домой и избегал смотреть в глаза встречным милиционерам. Дома помыл кости в жестяном тазу, вытер насухо чистыми тряпицами, сложил в потёртый фибровый чемодан, доставшийся ему ещё от батюшки и хранивший до сих пор едва уловимый отцовский запах, и задвинул чемодан под кровать.

В этот вечер он неожиданно уснул и с трудом поднялся утром, почти проспав, потому что будильника отродясь не имел, а если бы имел, то ему и в голову не пришло бы заводить его. И так стало ему покойнее, что на работе днём он пару раз улыбнулся некрасивой учётчице, чем положительно изумил её до крайности, стал как-то больше разговаривать с людьми и даже впоследствии несколько поправился, что было уж совсем немыслимо, так как во всю жизнь свою был он худощавым и поджарым. Правда, брат стал беспокоить, являясь по ночам, а то и днём в самое плохое время… явится эдак на профсоюзное собрание, станет рядом и нудит: шо ж ты, дескать, сотворил-то, братка? мне же невмоготу таперя здеся - на увашем белом свете… а Прохору Иванычу и неудобно, думает, что его кто видит… ан, нет, никто не видит да не замечает и только он, Прохор-то Иваныч допущен до этого странного общения… Так брат и докучал, придёт и ноет, жалуясь на неудобства, а Прохору Иванычу и счастье, что брат мытарится, то тобе, дескать, наказание, ты ж сколько отдыхал у могиле? Нонче же помыкайся, не усё мне одному у тоске заплесневать…

Ну, и прошло ещё сколько-то лет, наш советский народ снова что-то там построил, кого-то как бешеных собак пострелял, какие-то предрассудки преодолел и вдруг — война… Прохор Иваныч собрал манатки и пошёл добровольцем, а на фронте, противоборствуя с врагом, всё нет-нет да и вспоминал: как там брат, оставленный в пыльном чемодане под кроватью? как там плоть от плоти его? как там общая кровь наших убиенных родителей? И брат являлся ему в страшном чаду артобстрелов и среди пожарищ разрушенных городов — сначала под Смоленском и в осаждённом Севастополе, потом в Сталинграде и на Курской Дуге, потом в Югославии и потом уж в Праге. И нытьём своим не давал и не давал покоя, всё причитал: маетно мне, мол, так маетно, что хоть у петлю, а как же мне у петлю, коли я давно уж помер? Отпусти, брат, похорони мене, не можу больше здеся, на энтой подлой земле… И Прохор Иваныч увещал его: как же я тобе похороню, — люди ходють, просють, мы их и хороним, так они ж у наличии! Ну? А тобе-то нет! Как же ж нам энтот перекос преодолеть? Жди, брат, как вернусь домой, так и поглядим…

Время быстро летит, и действительно вернулся Прохор Иваныч в свою комнатёнку — с орденами да медалями. Вынул отцовский чемодан из-под кровати, открыл, достал братнины кости, подержал в руках бурый череп с огромною дырою на затылке… нет, брат Степан Иваныч, хошь и праздник нынче у нашей улице, а не видать тобе упокоения… поброди-ка ещё да помучайся с моё…

А соседи стукнули, что демобилизованный солдат с кем-то разговаривает и тогда пришли, кто надо: сделали обыск, нашли кости под кроватью, почесали в раздумьи стриженные головы… Думают, что за комиссия? Предъявить-то вроде нечего… ну, плюнули брезгливо в чемодан с костями, забрали Прохора Иваныча и говорят: ты, дескать, не отбрёхивайся, паря, будто ты контуженный и сам с собою разговаривал… ведь ты не сам с собою разговаривал, а посредством волновой вибрации передавал своим заокеанским хозяевам секретные депеши и сведения, добытые на полях сражений, как-то: модификации наших танков и ракет, состояние и численность армий и фамилии военачальников, которые хотят воевать на стороне врага… Да увы с ума свихнулись, говорит им Прохор Иваныч, энто шо – мо-ди-фи-ка-ция? Ну, и дали ему червонец, чё с ним сопли разводить? деревня же, как есть деревня… и остались кости снова беспризорными.

Пошёл Прохор Иваныч по этапу в Пермские лагеря известняки для родины кайлить, а в освободившейся его клетушке древний дед стал проживать. И поскольку лет дедку было уже много, а жизненного интересу — не было вообще, так он и под кровать, где стоял заветный чемодан, вовсе не заглядывал, потому пока не помер, Степан Иваныч так и пылился в темноте. И так совпало, что когда дедка вынесли вперёд ногами, тут как раз вскорости и явился Прохор Иваныч в родную комнатёнку. И прошло-то всего-ничего, да вдруг бац! как снег на голову! Секретный доклад Хрущёва на Двадцатом съезде… И что, что секретный? Слухами земля полнится… Выходит, червончик-то зазря оттрубил…

Что ж… плохое кончается, хорошее грядёт: вдруг письмо, какой-то дальний сродственник сыскался, зовёт в Москву, в новый район возле Измайловского парка, — вместе горе мыкать да старость коротать… Ну, поехал, чего ж не поехать, коли зовут… действительно, сродственник по матушкиной линии, какая-то седьмая вода на киселе… чемодан, знамо дело, — за собой: дорогие кости! и в новом месте тоже взял да и сунул под кровать. Приехал, прописался, всё честь по чести, разве ж кто нынче упомнит, как под водительством самого Токмакова да братьев Антоновых в двадцать первом годе рубал большевичков? Опять же реабилитация поспела, — безвинно пострадавший как-никак… Милиционерам стал в глаза смотреть вовсе без боязни: заслуженный человек, социализм строил, по навету у лагерях гнил… попробуй тронь, — не те года! И братишка снова под кроватью, даром, что у Москве, как, мол, табе, Степан Иваныч, у столице нашей родины таперь?

А родина снова что-то строит, вот Гагарина в космос запустила, вот целину решила распахать, а вот и Байкало-Амурская магистраль — нате вам! Жизнь бежит, старики тащатся к исходу, умер сродственник Прохора Иваныча и остался он один в московской квартирке возле Измайловского парка. Снова войны какие-то и опять брат режет брата, Союз трещит, чеченцы бузят… расстрел Белого дома, дальше совсем уже непонятные революции и потрясения, сотни тысяч мусульман, заполонивших площади перед московскими мечетями… что говорят, по телевизору понять уж вовсе невозможно… а может, старческое скудоумие пытается штурмовать измученную голову? Хотя здоровье и не убывает, несмотря на испытания, грех жаловаться… в такие-то годы бабу ублажать, да ещё всякие там геронтологи изумляются, выпучив глаза… сколько же вы, Прохор, мол, Иванович, собираетесь прожить? Да усю увашу братию, доходяги, я переживу и будете меня на том свете ещё не скоро хлебом-солью привечать! Вот только брат покоя не даёт, уж и не уходит, напостоянно поселился — бродит по квартире, ноет, причитает, умоляет: отпусти! Нету мне покоя на энтой земле, похорони ж меня, наконец, по-христиански, я, мол, беду же притяну! Измучил Прохора Иваныча, измордовал — когда в могилке лежал, было плохо, а сейчас так и ещё хуже! Засунуть его, скорей засунуть в землю, невыносимо уже его соседство! Нельзя жить бок о бок с убийцей и предателем, пусть же идёт, наконец, в ад!

Сидел Прохор Иваныч перед телевизором, пытаясь понять, кто с кем и за что воюет — в страшном раздражении и беспокойстве, а тут ещё брат трогал и хватал за плечо, пытаясь привлечь к себе внимание. Отпусти же, Прохор Иваныч, отпусти ради Христа, хошь мольбу свою тобе скажу, да на колени стану, да у ножки поклонюсь? И хвать рукою, хвать — прямо до сердца доставал, только никак схватить не мог, и снова — хвать! Долго терпел Прохор Иваныч, — ну, што ли, у самом деле снести его поганые кости у парк… там не доходя до озера есть такая чаща, куда ни люди, ни собаки не заходють… узять лопату и зайти поглубже, раскопать там землю и… Он вгляделся в кости… они лежали, укрытые тонким слоем пыли… бедный, бедный брат, которому ад слаще маеты между небом и землёй… Он взял кости обеими руками и выпрямился, повернувшись к телевизору. С минуту задумчиво смотрел, как чья-то артиллерия расстреливает какие-то дома, как женщина в разорванном халате бежит куда-то с перепуганной девчонкой… тут он увидел, как Степан Иваныч потянулся к нему ссохшейся рукою, и рука мягко и плавно вошла ему в грудь… брат злобно ухмыльнулся, схватив вдруг самое сердце Прохора Иваныча… Прохор Иваныч вскрикнул от боли и почувствовал, как призрак поприжал сердчишко, сладострастно сдавив его изо всех сил… Так он давил всё сильнее и сильнее, вглядываясь с интересом в стекленеющие глаза брата… У Прохора Иваныча уже недоставало сил терпеть и он уронил кости, которые с грохотом посыпались на пол… потянулся, затрепетал и следом — рухнул сам…

Он лежал и смотрел на эти жалкие останки, столько лет не дававшие ему покоя, столько лет заедавшие его век и… плакал… Он подгрёб кости к груди, обнял их и почувствовал вдруг неизъяснимую свободу… плакал, плакал, захлёбываясь, и слёзы его капали на кости брата… он плакал спервоначалу потихоньку, а потом рыдания стали сотрясать его, и все, все стали вдруг перед его глазами — матушка, батюшка, Ульяна и Маняша, Ванятка и тысячи других замученных, расстрелянных, сожжённых, втоптанных в землю чьей-то злою волею и не отмоленных… не отпетых… не прощённых… Он вздохнул глубоко, как будто бы хотел вместить в себя этот уходящий мир и, весь в слезах, не успев выдохнуть, — затих…

1. Лихтикман Анна, «Почему», «Чёрная кошка, белый стол»

***Анна Лихтикман***

**Почему**  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

– У меня создалось впечатление, что вы не знали о чём писать, – говорит профессор Давиду. – Тот не спорит, грустно кивает. – Но ведь мир полон сюжетов! – Восклицает профессор. – Полон, говорю я вам, – и находить их не так уж трудно. Иногда достаточно просто задать вопрос «почему?» Почему эта женщина в трамвае держит на коленях потёртый мужской портфель? Почему кто-то вывесил на бельевую верёвку газету? – Ответьте на «почему» – получите рассказ. Профессор постукивает пальцами по столу, обводя нас взглядом. – Итак, кто читает следующим?  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

…  
Телефон дёргается на полу, как эпилептик. Кауфман отряхивает руку от воды и осторожно поднимает его двумя пальцами, перегнувшись через край ванны.  
Номер высвечивается незнакомый, но в трубке звучит голос Рут.

– Я зашла тут в одну контору и попросила, чтобы дали позвонить. Так что не перезванивай мне сюда. Они здесь даже не знают, как меня зовут.

– А что с твоим телефоном?

– Его больше нет. Ту симку я выкинула. Я от тебя ухожу.

Он замечает, что вода из ванны всё-таки выплеснулась, образовав на кафельном полу небольшую лужу. Нет, про его ванную сейчас я рассказывать не буду, в этой сцене его бросает женщина, тут не до описаний. Обычно в таких сценах появляется диалог героев, просторный и гулкий, как школьный коридор во время каникул, но я пока не научилась их писать.

– Ерунда какая-то, – говорит он.

– Я не шучу. Просто хочу убедиться, что ты слышал, что не будешь волноваться и меня искать. Так я ухожу, ты это понял?

– Понял.

Разумеется, он тут же перезванивает по тому телефону.

– Клиника доктора Ашкенази – отвечает женский голос, - Имя и фамилию, пожалуйста.

– Адам Кауфман.

– Боль сильная? У нас освободилась очередь на четыре тридцать.

Адаму лечат зубы целый месяц, а в самый последний день, когда он уже готов встать с пыточного кресла, ассистент доктора Ашкенази, серьёзная женщина лет шестидесяти, вдруг просит его подождать. Он вновь послушно откидывается на жёсткий валик, решив, что они должны ещё что-то закончить, но ассистент ничего не делает, просто широко ему улыбается.

– Видите? – она указывает на небольшую прореху между своими передними зубами. – Хотите знать, от чего такое образуется? Зубы сами постепенно расходятся, если крайние отсутствуют. Вам нужно в ближайшие годы поставить мост, иначе и у вас точно такое же будет.

С тех пор прошёл год, но мост он так и не сделал. Зато каждое утро в ванной он скалится, глядя в зеркало, и вглядывается в свои передние зубы. Кажется, там появилась еле видимая прореха, узкая-преузкая, как серая паутинка.

…   
Вот теперь я могу рассказать про его ванную. Она у Кауфмана совершенно необыкновенная. Он вселился в эту квартиру десять лет назад, после развода, но по-настоящему оценил ванную намного позже, благодаря Рут, которая стала оставаться у него в конце недели и подолгу возилась там, что-то напевая.

– Потрясающе, настоящая человеческая комната! – Сказала она, побывав там в первый раз. – Интересно, как такое чудо получилось?   
Адам объяснил, что кто-то из прежних владельцев, видимо, передвинул пару стен, откусив немного площади от каждой из комнат, вот ванная и получилась такой: не то чтобы совсем уж огромной, но очень приятной по размеру. Когда его дочки были маленькими и жили у него два дня в неделю, то подолгу здесь играли. Ванную легко согреть зимой, а летом здесь сохраняется прохлада, ведь вся остальная квартира – тёмная и узковатая, обвивается вокруг неё, как змея.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Не помню, кто завёл у нас на семинаре моду аплодировать читающим, но профессор её отменил. "Здесь не драмкружок, дорогие друзья, – строго сказал он. – И лучше вообще не привыкайте к этому звуку." Он, видимо, прав, но без аплодисментов я не врубаюсь, когда заканчивается чей-нибудь отрывок и начинается обсуждение. Я совсем не слушала, что читала Сиван – это очень некрасиво, не по-товарищески. Думаю, её отрывок был как всегда о любви. Все уже заметили, что каждого из нас неизбежно выносит к какой-то своей теме. Сиван – к любви, Гилада – к животным, а я почему-то всё время пишу о писателях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

…  
Год назад, когда Рут ушла, Кауфман даже с горя раздумывал, не устроить ли в ванной комнате кабинет, если уж ему предстоит отныне строгая мужская жизнь.   
Он задумал написать роман о конце вещей. Вот, скажем, старая газета, или потёртый портфель, – что будет, если спокойно и бесстрастно проследить судьбу каждого из этих предметов? Или вот кресло, которое выкинули на улицу. Всё его путешествие от мусорки - к коморке алкоголика, и оттуда уже неминуемо - на свалку, а там древоточцы, проедающие подлокотники, и вороны, выдирающие из обшивки цветные нитки, кошка, кормящая котят на дранном поролоне, потом дожди, снег, потом вновь солнце, выжигающее остатки обшивки, блохи, жуки, муравьи… В тихой комнате он мог бы сосредоточиться и спокойно работать, не слыша уличного шума, но тогда бы пришлось выбирать: либо стол, либо ванна.  
Бланшефлер – белый цветок, сообщалось на старинном клейме. Кауфман называет её по-панибратски - Бланш. Она видимо была привезена сюда ещё в пору Британского мандата, чтобы скрасить казарменные будни какого-нибудь офицера. Для Кауфмана ванна - единственный предмет этого мира, который рассчитан на его большое тело. Обычно, куда бы он ни приходил, ему тесно. Ноги приходится как-то специально складывать. И это повторяется везде: в автобусе, в самолёте, в университетском актовом зале… А в кинотеатре – хоть совсем не появляйся. И только ванна принимает его полностью. Жаль, не смог спасти её от мамы. Мама приехала к нему пожить на несколько дней. Вместо того чтобы восхититься ленивыми тюленьими изгибами Бланш она нахмурилась:

– Здесь можно легко поскользнуться! Ты намерен что-то предпринять?

– Да, мама, я захожу осторожно.

– Этого недостаточно. С этими ваннами просто ужасная статистика! - Мама, похоже, завелась не на шутку, - Ты помнишь, как слегла Мири?

– Помню, она сломала шейку бедра.

– Это произошло, когда она заходила в ванну! А соседа сверху помнишь?

– Альпиниста?

– Ну да. Он ногу сломал ногу в пражской бане. Тебе уже почти пятьдесят, ты должен сам думать о таких вещах.

На следующий день мать встретила Кауфмана в отличном настроении.

– Я наклеила там облака против скольжения. Сделала как на инструкции, но получилось редковато. Я ведь тебя знаю, ты назло мне будешь ступать между облаками, так что я…

Он прошёл в ванную и отодвинул занавеску. Между белыми рифлёными облаками, наклеенными на сияющее тело Бланш, распластались синие пупырчатые черепашки.

– Нравится? – спросила мама.

– Облака, черепахи… Ты бы, мама, ещё трёх китов туда наклеила, чтобы мир не рухнул.

– Ты – мой мир, Адамуш. И теперь я буду спокойна. Ешь, пожалуйста, а я пока расскажу тебе, отчего умер рав Крупник.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

– Вы, мне кажется, не вполне представляете себе где происходят события, которые вы описываете, - говорит профессор моей подруге Шуламит, когда она закрывает тетрадь и садится. Господи, я опять задумалась и всё пропустила! Даже не представляю, о чём там было, в её тексте. В руках профессора вдруг появляется коробка из-под обуви. – Вот, посмотрите-ка на это - специально для вас возился, вырезал. – Он, словно фокусник, вертит коробку в руках, показывая нам несколько круглых отверстий. – Представьте, что ваш герой где-то в коробке в середине, а вы смотрите на него сквозь эти отверстия. Справа. Слева. Сверху. Снизу. Вы видите лицо героя, или его затылок? Или, может, вообще его не видите, а только слышите, как он переставляет что-то в комнате, шаркает тапками… Или наоборот: представьте, что это вы в коробке. Посмотрите вокруг. Что там висит на стенах, или не висит. Самое интересное, каково вам будет писать, если та комната пуста? Человек в четырёх стенах, да ещё голый. Вот задача, а?!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

…  
Адам отвёз маму обратно в Хайфу сам, чтобы она не тряслась в автобусах. В результате - провёл на дорогах почти целый день. Он идёт в ванную, скидывая одежду на ходу. Свобода! Он стеснялся сибаритствовать при маме и теперь намерен устроить настоящий банный кутёж. Когда пар поднимается над поверхностью воды, Кауфман впадает в сладкую дрёму. Изредка он открывает глаза и разминает шею, поворачивая голову влево-вправо, и видит своё отражение в зеркале, висящем на стене.   
Большая голова и мощные плечи в клубах пара, безвольно повисшая рука, которая касается пола – он иногда думал, что же это всё ему напоминает, и наконец вспомнил: Марат с картины Давида! – так вот оно что, он похож на того умирающего парня с раной в груди. Только повязки на голове не хватает, да на стене, над ванной некстати висит мочалка – нелепая пеньковая варежка – мамин подарок. Она купила эту мочалку там же, где и наклейки от скольжения, и Кауфман назвал варежку Банной Дланью.

Вода в ванне остывает. Пора вылезать. Кауфман вынимает затычку, и вода начинает медленно сходить. Обычно это похоже на предательство. Вначале ты ничего не чувствуешь, потом пытаешься понять, что изменилось. Почти ничего, просто стало чуть холодней. А потом всё меняется очень быстро. Открываются плечи, руки, живот – И вот ты выброшен на белый берег. Но сейчас вода уходит словно нехотя, совсем уж медленно. Труба забита? Когда он в последний раз прочищал трубы? Кажется ещё до ухода Рут. Это значит… Это значит, что где-то там и её волосы.   
Оставаясь у него, она часто мыла голову, а шевелюра у неё больше её самой. Она и фен свой сюда приносила, но его она забрала, а вот одежду – свитер, штаны, пару футболок – оставила. Лишь недавно, наткнувшись на её вещи в своём шкафу, он посмотрел на них по-новому. Свитер был велик на Рут, и при этом довольно-таки поношенным, футболки – совсем простецкими. Кауфману вдруг пришло в голову, что такую одежду держат на старой даче. Почему он заметил это только теперь? Он вынес тряпки во двор и оставил там на скамейке, сложенными стопкой. Все эти дни, выходя из подъезда, не мог заставить себя посмотреть в ту сторону. Он даже не знает, в какой из дней они исчезли. Похвальное поведение для писателя, задумавшего рассказать о конце вещей.

Трубу в любом случае придётся прочистить, но если он и в самом деле собирается писать тот роман, то должен чистить её не так, как делал это всегда. Обычно он надевал на руку пластиковый пакет, а потом не глядя извлекал из трубы скользкий комок, состоящий из мыла и неизвестно чего ещё. Теперь ему придётся внимательно в это вглядеться. Если уж он собирается писать о тлене, то возможно ему придётся рассматривать вещи пострашнее, чем забитая труба. Что ж он готов.

Сток в этой старинной ванне похож на чёрную ромашку. Пять отверстий прекрасной миндалевидной формы. Возможно, пробка даже не в трубе, а гораздо ближе к стоку. Он засовывает палец в отверстие, и пытается дотянуться до места, где, видимо, скопился мусор, как вдруг слышит треск – это сломалась одна из перегородок стока – некачественная современная сантехника – компромисс на который пришлось пойти, чтобы совместить старинную ванну с современными трубами. Вода у стока окрашивается розовым. Чёрт, он порезался! Кауфман пытается вытащить палец и тут чувствует, что палец застрял.

…  
Итак, он, Адам Кауфман, видимо умрёт здесь. Он понял это, когда осознал, что израненный палец быстро опух, и теперь уж точно не пролезет обратно, а телефон лежит далеко и до него не дотянуться. Воздух в комнате остывает. Адам покрывается гусиной кожей и вдобавок на теле появилась какая-то странная сыпь, расположенная в строго геометрическом порядке. Ах, ну да: это след от пупырчатых черепашек. Привет, мама, ты-таки была права, я был рисковым парнем, ходил по краю, и вот - доигрался.

Да ладно, ничего он не умрёт. Он ложится на живот, перебрасывает ногу через бортик ванны и тянет её, напрягая носок, словно балерина, пока не касается пальцами телефона, лежащего на полу, а потом, очень осторожно начинает двигать телефон вперёд, пока тот не оказывается так близко, что можно взять его свободной рукой. Молодец!  
Проблему собственной наготы он тоже решил: потянул посильнее за банную занавеску и сорвал её с колец. Теперь можно звонить в полицию; пусть приезжают и ломают дверь. Он встретит их, лёжа на боку, облачённый в белую тогу в красных маках. Но он чего-то ждёт, и вдруг телефон звонит сам.   
Это мама. Она уже отдохнула с дороги и теперь никак не может включить телевизор – запуталась в кнопках пульта.

– Ты забыла нажать на чёрную кнопку, – говорит Адам.

– Ой точно – радуется мама. - Господи как я ненавижу пульты! Вот скажи, зачем там все эти кнопки, мы что в космос летим?!

– Да нет. Там всё просто.

– Ты прав, дорогой. Погоди, не отключайся. Хочу убедиться, что у меня получилось. Пока что здесь только пустой экран.

Кауфман ждёт, пока она на что-то нажимает и вдруг слышит:

– О! Снег пошёл!

Он всегда удивляется этому маминому возгласу, и всегда тут же поворачивается к окну, но потом вспоминает, что мама имеет в виду электронный снег – предвестник того, что изображение на экране вот-вот появится.

– Вот теперь всё отлично. Спасибо, Адамуш. Целую! - Она отключается.

…  
Он чувствует только этот проклятый палец. Кажется что там - маленький улей с гудящими пчёлами. Животные попадая в капкан, отгрызают себе лапу, а что делают люди? Люди звонят в полицию, а потом делают вид, что не замечают как полицейские и санитары выбегают по очереди в коридор: отсмеяться.  
Он только теперь задумался, как именно они могут ему помочь. Меры спасения он представляет себе довольно смутно. Возможно, ему сделают укол, который снимет отёк и тогда палец, пролезет обратно, но с чего он взял, что такие уколы существуют? Скорее всего, палец обколят анестезией и… Господи, а вдруг отрежут?

Телефон звонит опять. На этот раз Наоми, его младшая.

– Привет, папуш!

– Здравствуй солнышко.

– Ты можешь сейчас сказать мне что-нибудь важное, что всегда хотел сказать?

Это что, бред? Он уже начал бредить? Так быстро? Он ведь и крови потерял всего ничего. Может от стресса?

– Я тебя очень люблю, говорит он твёрдо, давя комок, подступивший к горлу – Очень-очень люблю. И уважаю, потому что ты всегда…

– Ой, я же тебе главное не объяснила! Ты должен не «люблю», а претензию какую-нибудь сказать. Что-то что тебе во мне мешает, какие-то недостатки. Нам в школе дали задание внимательно выслушать любимого человека. Всё-все что у него там накипело.

– Может, ты лучше маму спросишь?

– Но папчик, у неё лекция, а мне нужно сейчас. Просто скажи что-нибудь, что в голову придёт.

Кауфман вспоминает, что в последние дни сильно злился на младшую. Он просил, чтобы она занесла запасной ключ от его квартиры, который хранился у неё. Все эти дни, пока у него гостила мама, им не хватало этого второго ключа, а сделать новую копию он забывал. Но неудобно как-то говорить сейчас о таких мелочах.

– Мне мешает, когда ты говоришь со мной по телефону, а в это время смотришь что-то в интернете – говорит Кауфман дочери, - Я это всегда чувствую, и меня это злит. В этом какая-то… ну неряшливость что-ли…

Он замолкает. Что за глупость он сейчас сказал! А вдруг он по какой-то причине не выживет? Вдруг ему в Скорой влепят укол, от которого начнётся аллергическая реакция? Вдруг схватит сердце? И тогда эти слова про неряшливость будут последним, что он сказал своей дочери?

– Алло, Наоми, алло! – кричит он.

– Да – отвечает она каким-то странным сомнамбулическим голосом. – Да папа, я слушаю, повтори это пожалуйста ещё.

– Что повторить?

– Ну вот это, как тебе обидно, и всё такое.

– Но зачем?!

– Я не успела записать свои ощущения. Нам дали задание: проследить за тем, как мы злимся. Ну, знаешь, отмечать всё, что в голове происходит, когда нам говорят разные гадости. Ты повтори, а я постараюсь записывать побыстрей, окей?

…  
Да пошли они, не будет он звонить ни в какую полицию. Лучше попытается прикинуть, у кого из знакомых можно узнать, существуют ли уколы, снимающие отёк, а дальше уже искать, кто бы мог такой сделать. Он пролистывает телефонную книгу, сидя на корточках. Оказалось, так сидеть удобней всего. Ноги затекли и он их почти не чувствует – в этом-то и удобство. Если это онемение дойдёт до самой макушки, он превратится в камень. Теперь понятно, что чувствовали те японские старики, которых относили умирать на гору Нараяма. "Снег пошёл!" – вспоминает он радостный, почти восторженный возглас мамы. Если он и в самом деле писатель, которого интересует конец вещей, то слабо ему разбить сейчас телефон к чертям и остаться тут, ожидая смерти?

Как камень, на который падает снег, как сухой куст.

…

Телефон опять звонит. На этот раз Яэль - его старшая.

– Папа, ты дома?

– Я… Ну да, дома, но я сейчас не могу разговаривать.

– Тогда я к тебе подъеду через полчаса.

– Нет, не сегодня, милая.

– Ты хоть помнишь, что я послезавтра уезжаю?

Ещё бы не помнить! Бывшая жена ему все уши прожужжала, описывая опасности, которые поджидают старшую в Индии, а он утешал её тем, что Яэль едет не одна, хотя этот её Шай особого доверия не внушает. Когда у дочки началось с этим Шаем, они с бывшей решили не вмешиваться. Не мешать, но и не помогать. Если уж у них такая крепкая любовь, пусть сами снимают квартиру. Но парочка решила пока не съезжаться, а жить, каждый у своих родителей, и копить деньги. Теперь выяснилось, что они копили на Индию.

Яэль с Шаем уже приезжали к нему на этой неделе, в честь бабушкиного визита и своего отъезда. Планировали, правда, и сегодня приехать её провожать, но потом отменили: предотъездные дела. Звонили, извинялись.

– Хочу приехать прямо сейчас, попрощаться – говорит Яэль.

– Мы… мы ещё увидимся. – Ему кажется, что его реплика прозвучала так трагично, что Яэль навострит уши и начнёт допытываться, что случилось, но она продолжает как ни в чём ни бывало.

– Папа, тут такое дело… Шай там, у тебя, где-то своё кольцо посеял. То, серебряное, широкое.

– Хорошо, буду иметь в виду. Отложу, когда найдётся.

– Но это его талисман, понимаешь? Он без него никуда не поедет.

– А что если оно не у меня?

– Но ты же ещё не искал! Посмотри, пожалуйста, там… Ну там везде.

– Я вчера пылесосил. Я бы его точно заметил.

– Ты только не злись, ладно? Я не про вчера, я про сегодня.

– Что значит «сегодня»? Вы же сегодня ко мне так и не приехали.

– Ну, мы, вообще-то… Мы опоздали, а потом… Вы с бабушкой всё равно уже уехали, а у меня был ключ, Наоми просила тебе занести. Ну, в общем, мы зашли. А сейчас вот спохватились – кольца нет.

– Постой, это значит пока я отвозил бабушку, вы… с этим… Шаем… Какая наглость! Я сегодня же поменяю замок! - кричит он в трубку.

– Да можешь уже не менять, мы всё равно уезжаем, - великодушно заявляет Яэль, - Ну па-а-ап, ну пожа-а-алуйста, ну прости. Не хочешь искать, разреши мне сейчас прийти и самой посмотреть.

– Нет уж, дорогая, давай, выдвигай версии! У нас тут мозговой штурм – рокочет Кауфман, наслаждаясь тем, как его голос сотрясает стены, - Давай хорошенько подумаем, где вы могли его потерять. На диване? На ковре? В моей кровати?

– Возможно в ванной, – говорит она просто. Посмотри там, на самой ванне, на бортике.

Господи, этот тип осквернил и его ванну!

– Ну па-а-ап… Просто пройди туда и взгляни. Жалко тебе, что-ли?

– Да я уже в ванной! Я в ванной чёрт возьми! И никакого кольца здесь нет! Его даже в трубе нет, уж поверь. Потому что я её сейчас прочищаю. Твой дружок забил сток своими растаманскими патлами, а я должен всё это чистить израненными руками, пока столбняк не заработаю!

– А зачем ты лез в трубу руками? Шай такое прочищает тросом.

Адам отлично владеет собой: он не бросает телефон на пол. Он осторожно кладёт его на бортик ванной, а потом срывает с крючка пеньковую «Длань судьбы» и швыряет ею в зеркало. Мочалка ударяется о стекло с сочным шлепком, и одновременно с этим звучит ещё какой-то звук: это серебряное кольцо, выпавшее из варежки, гулко стукается об пол.

– Что? Что там случилось, папа? – спрашивает Яэль.

– Оно было в мочалке. Это ваше кольцо было в мочалке.

– Ах, ну конечно же! Соскользнуло с пальца там, в варежке, пока Шай намыливался!

Адам ей не отвечает. Он вновь откладывает телефон и дотягивается до полочки с жидким мылом. Он выливает немного мыла в отверстие стока и на секунду включает воду. Затем слышен дикий самурайский вопль.

– Алло, папа, ну хочешь, мы устроим хупу в Израиле, специально для всех вас?

Он, впервые за прошедший час, вновь видит свой палец. Сломанный, с отвисшим лоскутом кожи и кровавым мясом в розовых пузырях мыла.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

– А вас, Нурит Малкин, мы, к сожалению, послушать не успели, - говорит мне профессор, когда раздаётся звонок. – Но мне показалось, что сегодня вы не особо рвались читать, и вообще весь урок где-то витали. – Профессор, как всегда в конце урока, кладёт обе руки на пластиковую папку и постукивает по ней двумя указательными одновременно. На одном из пальцев новый белоснежный пластырь.

**Чёрная кошка, белый стол**

Окошко чата вдруг булькнуло и выдало письмо.  
  
"Здравствуйте, я – Лайла Сегель, редактор "Делит". Мы хотели бы с вами сотрудничать".  
  
"Очень приятно, Лайла." – написал я. Было неудобно, что я сижу перед монитором в трусах и носках. Особенно в носках, – недавно я прочёл, что мужчины, которые не стесняются показаться миру в носках, лишены самоиронии. Но я ведь и не показываюсь, камеры у меня нет. И всё-таки.  
  
"Ау! Вы там, Натан?"  
  
– Да, – ответил я. – Буду рад сотрудничать, я готов.  
  
"Отлично! Напишите что-нибудь про современность, про психологию, про отношения."  
  
"только у нас, к сожалению, небольшой бюджет"  
  
"времена тяжёлые." – Теперь она писала короткими отрывистыми предложениями, которые выплывали и выстраивались в чате, словно голубые плоты.  
  
Я потянулся было к клавиатуре, но опрокинул кофе. На столе образовалось пятно, похожее на чёрного страуса.  
  
"…сократились."   
  
"…вы ведь слышали, наверное, что нас чуть не закрыли?"  
  
Я достал из ящика салфетки, промокнул страуса, и пошёл за тряпкой; кофе капал на пол. Когда я вернулся, в чате висело ещё целых три плота.  
  
"Почему, собственно, я должна оправдываться? "

"Это наш бюджет."  
  
"он таков, ничего не поделаешь."  
  
– Я понимаю.   
  
Я с детства знал, что мало кому из писателей удаётся зарабатывать деньги, а к моменту поступления в универ, было ясно, что зарабатывать вообще мало кому удаётся, и мне крупно повезло, что я так люблю программировать. Я могу заниматься этим всю жизнь, и мне не надоест. Но год назад наш факультет чуть не перенесли в другое здание, находящееся вообще за пределами кампуса, туда нужно было бы ехать через весь город. Я написал в нашу университетскую газету шуточную антиутопию, в которой показывалось, как после переезда факультета, университет начинает разрушаться, а за ним и весь город, потом весь мир. Мы тогда победили, и факультет оставили в покое. Я написал ещё несколько фантастических рассказов, и их взяли в "Кампус-три". Потом я написал не фантастический рассказ об одном парне. Потом я написал о себе.  
Учебный год закончился, я засел было за докторат, но тут оказалось, что мне необходимо, чтобы день начинался с чириканья клавиатуры. В этом звуке было что-то лёгкое, что было к лицу моему утру. Это была ложная лёгкость. Натан Бринкер, пишущий слова оказался замкнутым и нетерпимым существом.   
Он не выносит, когда ему заглядывают через плечо. Открыв холодильник –вдруг зависает, и долго смотрит на пачку масла. Иногда он записывает что-то корявым почерком на бумажке, а потеряв её, приходит в ужас от того, что кто-то найдёт и прочтёт эти несколько бессвязных предложений, словно там признание в убийстве.  
Сидя в своей пустой квартирке, Натан Бринкер болезненно морщится от любого шума, доносящегося с улицы, и наконец, со странным мстительным удовольствием надевает звукоизоляционные наушники, которые стOят как подержанный мерседес. Он улыбается, чувствуя как два потока тишины, сливаются в озеро, где-то в районе лба. Теперь, сквозь прозрачную воду можно разглядывать камушки на дне.  
Камушки – это слова.  
  
"… тысячу знаков примерно, можно больше"  
  
"раз в неделю"  
  
Лайла засылала новую флотилию голубых плотов, на одном из них – казалось, что он слегка покачивается на воде – была написана сумма, которую я уже мрачно предчувствовал, а на других пожелания:  
  
"… материалы о людях"  
  
"секс, психология"  
  
"абсурд"  
  
"смешные случаи"  
  
- Понял, - ответил я. – Попробую, договорились.  
  
Секс, абсурд, психология…  
Секс вот-вот исчезнет, потому что Рути, рано или поздно, надоест ждать, когда мы съедемся. Мы время от времени обсуждаем, как заживём вместе, а на днях даже слегка поссорились. Оказалось, что она не представляет себе семьи без большой лохматой собаки, а я не выношу шерсти на полу, обслюнявленных игрушек и запаха сухого корма.  
Предполагалось, что мы начнём жить вместе, когда я закончу учёбу и возьмусь за докторат, но я всё ещё не начал его писать. Говорю Рут и родителям, что делаю одну срочную программистскую халтуру. Это правда. По вечерам программист Натан Бринкер включает MTV, и пишет код, насвистывая, болтая по телефону и ёрзая тощей задницей по краешку стула. А вот ранним утром, его писательство Натан Бринкер, усаживается на тот же стул, и вначале долго крутит рычажки, подгоняя его под себя, словно вечером на нём сидел кто-то другой. К десяти утра его грузное тело устаёт от сидения. Он выходит на кухню, брезгливо смотрит на гору грязной посуды, которую легкомысленный программер Натан Бринкер не помыл вчера. Что ж, значит не судьба ей быть чистой сегодня. Мыть посуду сейчас – всё равно, что окунаться в бурлящий гейзер – так все настройки собьются. Он лезет в шкаф за бумажными стаканчиком, насыпает туда кофе, встряхивает стаканчик, чтобы почувствовать запах бергамота и вдруг замечает там муравья, который карабкается по кофейному бархану. Натан Бринкер ежится, представляя как ещё бы минута – и на беднягу обрушилась бы кипящая лава. Он пытается подцепить муравья ложкой, но тот теряется в чёрном песке. Тогда он достаёт другой стаканчик, заново насыпает кофе из пачки и вдруг замирает. Стаканчики с кофе на дне, похожи на два круглых глаза, обведённых картонным ободком. Они строго смотрят на него. О чём ты будешь писать, Натан Бринкер? О чём ты будешь писать каждую неделю?  
Секс, психология, абсурд… Когда звонит Рут или родители я отвечаю им, что работаю. Я не вру, я правда работаю, но не над кодом, который обеспечил бы мне безбедное будущее. Мне очень стыдно. Опять звонок! Да они что там, с ума сошли?! Я же перед экраном, здесь у меня слова, которые пульсируют и мигают! Слова, и ещё что-то, обозначенное пунктиром, видимым только мне. Это "что-то" я должен провести, по единственному возможному маршруту, как авиадеспетчер - самолёт. Вы что, хотите, чтобы я ошибся, и самолёты столкнулись в небе? Ладно, вам же хуже,   
  
– Алло!  
  
– Натан, привет, мы ведь встречаемся сегодня, или как?  
  
Это звонит Шехтер. Шехтер – мой новый старый друг. Старый – потому что мы знакомы ещё со школы. Новый – потому что он – единственный с кем я могу говорить о словах. Тогда в школе, он казался мне симпатичным ботаном, обречённым на пожизненное заключение в гостевой пристройке рядом с виллой родителей, когда же я начал писать, мне сразу вспомнился именно он, – единственный писатель, которого я знал. Я слышал, что он давно уже работает в каком-то журнале. В отличие от меня у него не было фасада, за которым он мог бы спрятаться и места где он мог бы отсидеться. Он писал по статье в неделю, что-то о политике. Теперь он показался мне Суперменом, канатоходцем, который делает на глазах у всех трюк, который я лишь начал разучивать. И вот как-то раз мы случайно столкнулись с ним на улице, зашли в кафе. Я признался, что пишу.  
  
– Для себя? – спросил Шехтер, – я почувствовал себя оскорблённым.  
  
– Нет, – ответил я небрежно, – Для университетского журнала. Это подработка.  
  
– А, ну здорово, молодец.  
  
Я тогда хотел спросить его, как он управляется со всем этим. Как не боится написать какую-нибудь глупость, ошибиться, случайно повторить уже сказанное - своё или чужое, и главное – у меня никогда не хватило бы духу, но мне хотелось спросить: "Все кто пишет чувствуют это? Что делать теперь с этим новым видом одиночества?"  
Потом мы стали дружить и встречаться часто, и когда я, стараясь сохранять легкомысленный тон, заговаривал о чём-то подобном, то всякий раз ответом мне был удивлённый взгляд. Шехтер писал с детства, возможно таких страхов у него и вовсе не было, а может он их не помнил.  
  
В кафе было душновато. Шехтер заказал лимонад, я – кофе. Я дождался, когда официант уйдёт и сказал.  
  
– "Делит" хочет, чтобы я писал колонку.  
  
– Очень хорошо. Пиши, у тебя получится.  
  
– Но о чём?  
  
– О чём угодно, о жизни.  
  
– А ты как решаешь о чём писать?  
  
– Я пишу о политике. Каждый день что-то происходит.  
  
Меня вдруг осенило: "А слушай, давай писать вместе. Придумаем формат, подберём стильные иллюстрации" – я тут же, на ходу, придумал название рубрики и первые темы.  
Шехтер выслушал не перебивая, посмотрел на меня поверх своего лимонада:  
  
– Я занимаюсь политикой. Не ищи компанию, ты пойдёшь туда один.  
  
Раз в неделю. Тысяча знаков. Секс, психология, абсурд… Шехтер вызвался подбросить меня домой. Шоссе проходит через арабский район. Сегодня первый день Рамадана и многие дома украшены иллюминацией. Иногда это целые электрические ковры, на которых синие и зелёные огоньки разбегаются в стороны от центра, иногда – лишь отдельные гирлянды. Одна из них особенно забавна: из окна свисает вниз электрическая борода, по которой стекает неоновый мёд. Я запоминаю бородатое окно, потому, что в этот момент в разговоре возникает она – черная, худая, злая – возникает - и навсегда связывается у меня в сознании с чужими праздничными огоньками.  
  
Кошка. Шехтер говорит: "Чёрт, кошка, как же я забыл, мне надо было позвонить!"  
  
– Кошка?  
  
– Ну да. Я уезжаю, мне надо пристроить её куда-то на неделю.  
  
Секс, психология, абсурд, смешные случаи, домашние животные… Почему бы и нет?  
  
– А она у тебя… кусается?  
  
– С ума сошёл? Ты что, кошек не видел?  
  
…   
Он привозит её в картонной коробке. "Не трогай пока, пусть привыкнет." Спустя несколько минут в прихожей появляется мешок наполнителя и мешок корма, кошачий туалет, тарелочка, миска для воды и, вставленная в неё, игрушечная мышь. Что-то сиротское есть в этом скарбе, и ещё - что-то унизительное для живого существа. Словно я сразу же узнал о ней слишком много, и это знание далось мне незаслуженно легко.  
  
– Здесь песка хватит на месяц, она мало срёт. – говорит Шехтер и вздыхает. Ну что, я пошёл?  
  
– Постой, а её надо выгуливать?  
  
– Обалдел? Это же не собака. Это кошка, она просто с тобой живёт.  
  
Я не совсем понял, что за мысль он вложил в эти слова, но они меня ободряют.  
  
– Постой, но неужели ты её за все годы совсем-совсем никак не назвал?  
  
– Ну, вообще-то, называю её иногда, когда вечером ложится рядом, нагревается и мурчит  
  
– Как называешь? - Шехтер смущённо улыбается:  
  
– "Печень"  
  
…Это кошка. Она просто со мной живёт. Я буду писать о ней. О том, как она ест, умывается, срёт – в конце-концов. Это будет забавно – я ещё раз заглядываю в коробку, из которой она не спешит вылезать. Чёрная, худая, и какая-то неровная – она похожа на футляр для очков, сшитый раскаявшимся панком на трудотерапии. На острых лопатках шёрстка пореже и видна белая кожа. Шехтер говорил, что кошка – старенькая. За столько лет он не додумался её назвать. Тоже мне, писатель.  
  
День первый. Она не умывается. Она не ест. Она не срёт. Она сидит в углу, и оживляется только, когда я открываю окно. А вдруг она захочет выскочить? Здесь девятый этаж, она убьётся. Я закрываю окно – воздух в комнате становиться спёртым. Я звоню Шехтеру, он долго не отвечает, затем в трубке раздаётся треск и я наконец-то слышу его голос.  
  
– Она убежала? Попала под машину?  
  
– Нет, с чего ты взял?  
  
– Тогда какого ты звонишь мне в Париж?  
  
– Я не знал, что ты уже там, думал, ты улетаешь ночью.  
  
– Дружище, каждая секунда нашего разговора будет стоить тебе как чашка кофе в "Ароме". У меня какой-то людоедский тариф, напиши мне лучше.  
  
– Постой постой (первая чашка кофе) Она не ест.  
  
– Она в шоке, привыкнет (вторая чашка кофе).  
  
– Она хочет на улицу, может погулять с ней?  
  
– Ни в коем случае, она же сразу убежит! Хочет гулять, пусть посидит на окне.  
  
– У меня девятый этаж, помнишь? Она свалится, выпрыгнет. (третья и четвёртая чашки)  
  
– Она не выпрыгнет, не дура. Она привыкла к высоким этажам.  
  
– Как это привыкла? Она ведь всю жизнь жила с тобой на первом! (пятая и шестая чашки)  
  
(седьмая чашка)  
  
(восьмая чашка)  
  
(девятая чашка)  
  
– Алло, Шехтер, почему ты молчишь?  
  
– Она всю жизнь прожила на пятом этаже. Не со мной. Прости, я не хотел тебе говорить, это не совсем моя кошка. Она у меня всего неделю и теперь как бы моя. Это кошка моей подруги, она умерла. Прости, что не говорил, не хотел тебя пугать.  
  
– Как её зовут?  
  
– Оснат Нагари  
  
– Да нет, не подругу – кошку!  
  
(пятнадцатая чашка)  
  
(шестнадцатая чашка)  
  
Телефон разряжен.  
  
Оснат Нагари – это имя мне смутно знакомо. Шехтер точно о ней не упоминал, значит откуда-то ещё. Я набираю его в гугле и вижу: Оснат Нагари писала колонки. Хорошие колонки. Я читал это всю ночь. Там было про барабанщиков в белых одеждах, которые провожают мальчиков, празднующих Бар Мицву к Стене Плача. О том, как отбарабанив, они дудят в шофары, а потом, в шутку, прислоняют эти кольчатые костяные рога к голове ребёнка, и он вдруг выглядит Минотавром, и смущённо улыбается, а они благословляют его, хлопают по плечу и советуют запостить фотку в фейсбук. Там было про сгущённый чёрно-зелёный цвет кипарисов, о том, что хочется поскрести его ногтем, и там, – писала Оснат, – под слоем чёрного, будет расплавленное, закатное, алое. Там было про ящериц, оцепеневших на раскалённых тротуарах, и про тонкий слой каменной пудры, покрывающей румяные надгробия. Про бульдозеры, которые не дают ей спать, про новые дома на окраинах, что скалятся, словно ряды белых зубов, про то, как смеётся этот город, и как невозможно, как преступно злиться на него – дряхлого старика и быстроглазого мальчика, любящего барабаны и цветные огни.   
Она была старше Шехтера на десять лет, у неё было больное сердце. Нигде не написано, как зовут её кошку.  
  
… "Иди сюда" - я беру кошку на руки и подхожу с ней к закрытому окну. Я пытаюсь донести до неё концепцию высоты. (Всё-таки есть разница между пятым этажом и девятым). Я живу на самой окраине, здесь начинается пустыня. Она видна из каждого окна, рыжая, словно умная собака, которая терпеливо ждёт хозяина. Я показываю ей крыши, холмы, арабские деревни, поселения, Иорданию. Она смотрит вниз с цепким интересом, как смотрел бы лишённый сантиментов строительный подрядчик. Я так и не понял, осознала ли она, что эта высота для неё смертельна.  
Мы одновременно вздрагиваем от звонка.  
  
– Привет, Натан! – у Рути немного напряжённый голос, и он становится ещё более напряжённым, когда она это понимает – Я подумала, что зря обиделась на тебя из-за этой собаки. В конце-концов, я как и ты – не привыкла к животным в доме, у нас в детстве даже хомячка не было. Чёрт с ней, с собакой, я даже не разбираюсь в этих породах. Посидим где-нибудь сегодня вечером?  
Мне очень хочется увидеть Рути, но потом она вызовется меня отвозить на мои чёртовы кулички, а когда она меня отвозит, то остаётся на ночь. Рути захочет увидеть, как я разрешил заусеницу в коде, на которую жаловался ей вчера. Как я объясню ей, что всю ночь читал истории Оснат Нагари? Как объясню ей, что потом пытался написать что-то своё, про иерусалимские огни, и сгорал от стыда, оттого, что получилась напыщенная чушь. И что сегодня вечером, я твёрдо решил ещё раз попытаться. И главное, как я объясню, что уже второй день у меня живёт чужая кошка?  
Она не бросила трубку. Она владеет собой, всем бы так.  
  
… Ко мне пришли Шехтер и Оснат. Мы пили вино, Оснат рассказывала, что в мошаве, откуда она родом, в жаркие летние ночи развешивают в домах и во дворах мокрые скатерти и простыни, а потом ходят друг к другу в гости, хохоча и стукаясь лбами, блуждая в белых полотняных лабиринтах. Некрасивые девушки приходят в дом к тому, к кому давно мечтали прийти, и остаются там навсегда. Дети давних врагов играют вместе, и засыпают, обнявшись, прямо на мягкой земле, в чужих владениях, куда им раньше не было хода, и их сон сторожат собаки и козы.   
Я открываю глаза. Она сидит на карнизе с наружной стороны, спиной ко мне. Уши напряжены так, словно между ними проходит электрическая дуга. Она слушает ночь. Я боюсь двинуть затёкшей рукой: малейший шум – и она может испугаться, заметаться, свалиться с узкого карниза. Как получилось, что я не закрыл окно? Вспомнил! Я умирал от жары и открыл его, почти не просыпаясь. Полночи я проспал, обдуваемый ночным ветром, и вот – расплата. Который час? Три, полчетвёртого? Вот-вот внизу, на минарете в арабской деревне завоет муэдзин, она может испугаться, оступиться… Утром я найду внизу её труп. Она повернула голову. На стекле трепещет ночная бабочка. Господи, пожалуйста, не допусти, чтобы эта идиотка кинулась сейчас её ловить. Господи, притупи в ней инстинкты. Господи, пусть только не поворачивается на карнизе, Господи, пусть не прыгает! Ладно, хуже уже не будет. Стараясь двигаться плавно, я протягиваю к ней руку, беру за шкирку и втягиваю внутрь. С треском захлопываю окно. Звучит муэдзин.  
  
"Приезжай и забирай эту дуру, - пишу я Шехтеру. Я не могу жить в такой духоте.  
  
– Напрасно ты так волновался. Она бы не упала. Смело открывай окна.  
  
– Нет уж, второй такой ночи я не переживу.  
  
– Как там твоя колонка? – меняет тему Шехтер.  
  
И в самом деле, как? Я не писал ничего уже два дня, потому что читаю Оснат Нагари, и хочу писать как она. Как то, что прочёл этой ночью, про полотняные лабиринты... Стоп. Я ведь это не читал.  
  
"Хочешь знать как колонка? – пишу я Шехтеру разозлённый – Она - никак, потому что я не пишу. А не пишу, потому что не сплю, и эта твоя дура тоже не спит, и не ест и не срёт."  
  
– Правда не срёт, совсем? – Шехтер озабочен.  
  
Я иду в ванную, туда, где стоит её туалет, и рассматриваю наполнитель – он идеально чист – я разгребаю его – всё стерильно. И тут я замечаю, что на сложенном на стуле полотенце что-то темнеет. Это три чёрные какашки, твёрдые, как метеорит. Теперь я вспоминаю о странном запахе мокрой фанеры, которым несло от стола.  
  
– Шехтер! Шехтер, мать твою! Ау!  
  
Шехтер молчит, делает вид, что отошёл от компьютера, но я чувствую, что он видит мой вопль. Одновременно с этим, я чувствую, как в нём созрело некое твёрдое намерение, и как в далёком парижском Дьютифри, покачнулась и заскользила ко мне бутылка дорогого коньяка. Она медленно приближается, я даже вижу вензеля на этикетке с названием, которое всегда оставляло меня равнодушным.   
Я закрываю окошко чата.  
  
… Днём она спит, к вечеру становится взвинченной и ломкой, как музыка Стравинского, а по ночам она разрушает. Каждое утро – новые руины. Вчера я нашёл низверженную фигурку Афродиты в раковине с отбитым носом. Опрокинута полка с дисками, расцарапано кресло, с комода сброшены все фотографии в рамках. Мне тяжело сообщать всё это Шехтеру, потому что после каждого такого разговора, бутылка коньяка начинает двигаться в мою сторону. Она всё больше, скоро будет величиной с бочку.  
  
– Шехтер! Эта сволочь гадит в ящики.  
  
– Ужасно, – сочувствует он – протри Экономикой, запах исчезнет.  
  
– У меня старый стол. Его нельзя мыть, там прогнётся фанера.  
  
– А знаешь, – говорит Шехтер, – давай купим тебе новый стол. В Икее!  
  
По правде говоря, я давно собираюсь купить стол, он стоит недорого, но вот для того, чтобы привезти его, нужна машина. Машина есть у Рут, но сейчас не лучшее время для того, чтобы ехать с ней в Икею. Когда я представляю себе, как она проводит рукой по поверхности кухонного шкафчика или заглядывает в зев раскладного дивана мне становится не по себе.  
  
– Ты сейчас зайдёшь на сайт Икеи, и выберешь себе стол – говорит Шехтер, а я завтра прямо из аэропорта, заеду туда и привезу его тебе.  
  
Я хочу было возразить, но тут чувствую, как ненавистная пузатая бутылка дорогого коньяка наконец-то перестаёт расти в мою сторону и наоборот – отдаляется, уменьшаясь в размерах. А почему бы и нет? Чем покупать всякую ерунду, пусть уж лучше и в самом деле поможет с перевозкой.  
  
"Ладно, замётано – пишу я Шехтеру – на тебе транспортировка, и мы квиты, только прилетай поскорее".  
  
Стол я давно уже себе выбрал, его зовут Бекант. Там, в Икее вся мебель имеет имена. Я слышал как-то разговор двух женщин, которые оказались поклонницами Икеевского шкафа Билли, а Бекант – тоже крутой чувак. Белый, надменно-минималистичный – как удобно будет за таким писать! Итак, у моего стола будет имя, а у этой кошки, чёрной дурищи, что дремлет сейчас у меня на коленях имени нет. Я склоняюсь к ней и целую в затылок, где шёрстка между ушей удивительно новая, словно она – несмышлённый котёнок. Она пахнет миндальным печеньем и немного – тапками. Завтра её увезут. Слышала? Ты отправляешься домой, разрушительница, лысеющая гурия, огонь моих кресел, чёрная звезда джихада! До меня вдруг доходит, что Шехтер отлично знает её имя, просто ему больно его произносить. Больнее, чем имя умершей Оснат Нагари. Я ведь до сих пор не знаю, как она выглядела.  
Я подхожу к окну. Сколько раз пытался сфотографировать эти огни, а получаются какие-то дрожащие червячки. Оснат Нагари смогла бы их описать, но ей больше нравился дневной Иерусалим, – выбеленный, присыпанный каменной пудрой.  
Я смотрю на огни, а они – на меня, и вдруг я вспоминаю, на что похож этот взгляд. Когда я учился на втором курсе, я полгода ходил на частные занятия по английскому. Она занималась с учениками в своей гостиной – темноватой комнате с книжными шкафами. Я не мог бы сказать, сколько ей лет – мне было всё равно. Как-то раз я пришёл на урок вечером, и не мог понять, что происходит. Комната была ярко освещена, она нарядно одета. "Ждёте гостей?" – спросил я. Да, – сказала она она, – жду, – и засмеялась. И мы занимались как обычно, и я ушёл, и лишь спустя два года до меня дошёл этот свет и этот смех. Вот как смотрят на меня эти огни.  
  
– Ну, – говорят они, – ну, догадайся!  
  
– Что, догадайся, что?  
  
– Подумай! - улыбаются огни.  
  
– О чём "подумай"? Я умру?  
  
…  
– Натан, выходи перетаскивать стол! Я уже во дворе! – Это Шехтер. Я подошёл к окну и далеко внизу увидел, как он выходит из машины. Я выбежал к лифту, потом вспомнил, что нужна наверное какая-то тряпка, чтобы стол не соскальзывал, когда мы будем его тащить, вернулся в квартиру, схватил полотенце, накинул куртку и побежал обратно. Лишь у самого выхода я сообразил, что натворил. Я оставил дверь открытой и она убежала. Я семь ночей спал в духоте, я каждый день собирал урожай чёрных какашек, я почти полюбил эту чёрную дуру!  
На подгибающихся ногах я выхожу во двор. "Пожалуйста, сделай так чтобы она, сделайтакчтобыоначтобы…" Она спокойно сидит на бордюре у самого подъезда. Когда я хватаю её в охапку, взгляд у неё удивлённый и оскорблённый. Шехтер выгружает стол и ничего не видит. Я запихиваю её под куртку, и потихоньку отступаю обратно в подъезд, пока Шехтер меня не заметил, как вдруг наступаю на чью-то ногу.  
  
"Натан, что происходит?" – это Рути. "Что это?" – она указывает на Шехтера, бодро несущего столешницу к подъезду. "Что это, зачем?"  
  
– Это, это… Это моё, мне нужно, я объясню – я делаю вид, что запахиваю куртку, а сам плотно прижимаю её, чтобы не выскочила, и чувствую, как она впивается когтями мне в живот.

1. Лозовский Александр «Синдром Китайского мандарина»

***Александр Лозовский***

**Синдром китайского мандарина**

*Рассказ*

Этот рассказ я услышал в купе вагона СВ. Обстановка благоприятствовала. Мерный стук колес, за окном темнота, иногда перемежающаяся вспышками убегающего света. Попутчик приятный, понимающий человек, с которым судьба свела только на одну ночь и с которым больше не увидишься – не придётся жалеть о сказанном. Подобные истории случаются не только в литературе – первой приходит в голову «Крейцерова соната» Толстого, но и в реальной жизни, уверяю вас, не реже.

Понимающим попутчиком был я, а рассказчиком Сергей Юрьевич. Место действия – фирменный поезд Одесса Москва, в те все еще недалекие времена, когда из Одессы в Москву можно было попасть без особых хлопот. Мы с попутчиком были примерно одного возраста – я немного ближе к семидесяти, он к шестидесяти. Оба, судя по билету в спальный вагон, одежде и недешевым чемоданам, более-менее обеспеченные. Я возвращался домой в Москву из деловой поездки, Сергей Юрьевич – как выяснилось одессит – от дел отошел и ехал в гости к сыну.

Нас никто не провожал. После того, как поезд тронулся, мы переоделись. Спортивный костюм фирмы Адидас у меня был синего цвета, у спутника той же фирмы, но посветлее, почти голубой. Потом вынули бутерброды - с колбасой и икрой у меня, с колбасой и красной рыбой у него. Последними появились плоские бутылки коньяка. Что нас отличало – я был в очках и седой, Сергей Юрьевич без очков и лысый.

Спать пока не хотелось. Мы попросили у проводника чаю и пару пустых стаканов. Выпили за знакомство каждый своего коньяка, потом за гладкую дорогу – угостили друг друга. Разговорились легко и без напряжения. О том, о сем – о разном. Наш возраст делал неизбежным обсуждение ужасных нынешних времен, падение нравов и морали. Мы не утверждали, что раньше было лучше – оба помнили «прелести» советской власти – но сходились на том, что такого цинизма, такой бездуховности все-таки не было.

Я попытался было для объективности привести банальное возражение – мол, так старики судачили во все времена, но и тогда было не сладко.

Тут попутчик меня перебил и начал монолог, только изредка прерываемый моими короткими репликами.

- Все-таки в основе всего, что в мире происходит, лежит мораль. Какие-то основные её параметры и принципы, принятые большинством. Критерии, если хотите. А сейчас… Когда вы последний раз слышали это слово – мораль? Кто сейчас выясняет, что допустимо, а что не допустимо с точки зрения этой самой морали? Где граница того что можно, и того чего нельзя?

- Граница? Десять заповедей давно известны. Испокон веков, - возразил, скорее уточнил я.

Сергей Юрьевич засомневался.

- Заповеди… Это все-таки абстракция. Идеал, к которому нужно стремиться и, как и любой идеал, они недостижимы. Маяковский те же заповеди высказал короче, в трех строчках.

И сказала кроха:

Буду делать хорошо

И не буду плохо.

Кстати, евреи, если верить Ветхому Завету, получив свеженькие Заповеди, начинающиеся с «Не убий», сразу же вырезали всех ханаанцев. Скрижали отдельно, реальность отдельно. Потому что это только благое пожелание. Мораль вещь конкретная, на каждом этапе и в каждом месте своя.

Тут Сергей Юрьевич неожиданно замолчал, задумчиво потёр от затылка ко лбу свою гладкую как биллиардный как шар голову, что, судя по всему, было признаком сомнений и колебаний. Потом решился.

- Дорогой Александр Михайлович, мы мировые проблемы не решим. Если не возражаете, я лучше вам расскажу о себе, так сказать конкретный пример на заданную тему. О том, что меня тревожит последних лет… да, лет эдак тридцать. Давно хочется с кем-нибудь поделиться. Где, как не в полосе отчуждения?

И он вопросительно посмотрел на меня. Я выразил живейшее согласие. Мы выпили еще немного коньяка и устроились поудобнее.

- У Бальзака в «Отце Горио» был задан такой вопрос… Гм, попробую по памяти, близко к тексту. Как бы читатель поступил, если бы мог, не выезжая из Парижа, одним усилием воли убить в Китае какого-нибудь неизвестного ему старого мандарина и благодаря этому сделаться богатым?

Я согласно кивнул. Знал, что это где-то у Бальзака, но что в «Отце Горио» то ли запамятовал, то ли не знал. А может вообще роман не читал. Скорее последнее.

- Этот проклятый мандарин уже много лет преследует меня и удивительным образом влияет на мою жизнь.

Сергей Юрьевич снова потер лысину от затылка ко лбу, думаю, на этот раз, чтобы успокоиться, пригубил из стакана и продолжил.

- Жизнь моя складывалась обычно. Скорее благополучно, по сравнению со многими людьми. Грех жаловаться. Женился я рано, на пятом курсе института, думаю по любви. Хотя, конечно, я не Ромео… Честно говоря играли роль и обстоятельства. Во-первых, так я мог не уезжать из Одессы по назначению, тогда это было обязательным, ну вы знаете.- Я кивнул. – И потом мой тесть был одесским Корейко, серьезным артельщиком, не бедным и влиятельным. Мы с женой жили в его не маленькой – по тем временам – квартире. Тесть и меня пытался привлечь к своему бизнесу, но не настаивал, был либерален.

Я считал себя способным, поэтому поступил в НИИ, научно исследовательский институт и стал энергично трудиться над кандидатской диссертацией. Тогда говорили, что в этих НИИ работают либо идиоты, либо кандидаты. Зарплата без звания была унизительно мизерной, а после защиты почти удваивалась. Был смысл напрягаться.

Придётся вам рассказать о заведующем лабораторией. Это человек интересный, и он сыграл немалую роль в моей истории о мандарине.

Итак, мой босс. Он был авантюристом от науки, достаточно распространенный в жизни типаж, хотя в литературе в основном подвизаются ученые идеалисты. Все завлабы у нас были докторами наук, а ему вполне хватало кандидатской. Он был со всеми знаком, повсюду вхож, связи его простирались в любом обозримом направлении. Босс обожал ездить, из командировок не вылезал, договора заключал только с солидными денежными организациями. Апофеозом стало участие в сверхсекретной программе одного из институтов ГПУ - чтение мыслей на расстоянии, а нашей специализацией была термодинамика! Но моя тематика соответствовала профилю лаборатории - исследование некоторых параметров факела, хотя называлась сложно и наукообразно. Но бог с ним, с названием, вам это не интересно.

Работа была готова года через три, может немногим больше. Я написал и разослал реферат, подал экземпляры диссертации в специализированный совет головного института в Москве, как было положено. и … неожиданно получил реферат не с аналогичным, а буквально под копирку названием из тмутаракани – какого-то тамбовского НИИ. Защита этой диссертации предполагалась почти одновременно с моей, но тмутараканский кандидат защищался в другом институте, учебном и немного раньше. То есть мы могли встретиться только в ВАКе, высшей аттестационной комиссии. Две одинаковые работы! Редкое невезение. Я взволновался и помчался к боссу.

Тот невезучих не любил, но благоволил к моему тестю – наверно было за что - и взялся решить проблему. Через неделю я читал экземпляр тмутараканской диссертации и биографию соперника. Оказалось, он окончил тот же институт, что и я, но на пять лет раньше. И эти пять лет сверх моих трех потратил на диссертацию.

Диссертация была неплохая, но! Выводы и окончательные расчеты проведены по старой методике, которую уже года два-три как обругали, отменили и заменили новой. До Тамбова это может еще не дошло, а может он слишком давно начал работу… И даже название устаревшей методики – выглядело демонстративно - вошло в список литературы.

Словом, результаты я доложил боссу, тот меня успокоил и повторил, что все возьмет на себя. Шансов на то, что подобие обнаружат в ВАКе, было немного, но они были. И босс решил не рисковать. На всякий случай он поработал в этой солидной организации, куда его связи тоже доходили. Об этом я узнал позже, вместе с известием, что мой соперник провалился. Основание отказа – старая методика. Дорога в ВАК для меня была открыта.

Помню, что вместе с радостью испытывал некоторый дискомфорт, именно тогда мне впервые пришла мысль о бальзаковском мандарине. И не без оснований - фамилия пострадавшего соперника, которого я никогда не видел, была Китайцев. Но, признаюсь, особо не переживал, были причины для расстройства посерьезнее - у отца случился инсульт, от его последствий он так до конца и не оправился. Словом, довольно скоро о Китайцеве я забыл напрочь. Хотя позже отцовский инфаркт добавлял к списку совпадений…

Лет примерно через пять судьба забросила меня на Тамбовский машиностроительный завод, там изготавливали разработанную мною установку. Мне на глаза попались чертежи с фамилией Китайцев. Конечно случайное совпадение, но оно впечатление на меня произвело. Оказалось, он работал не в НИИ, где готовил диссертацию, а на заводе. Ездил в институт после работы, так продолжалось много лет, давалось ему все это нелегко. Когда Китайцев готовил документы для защиты, то отощал так, что брюки еле держались на бывших бедрах. А после провала впал в прострацию и даже потихоньку стал пить. Ему в случае успеха в НИИ обещали должность старшего научного сотрудника, хорошее место, приличную зарплату. И все рухнуло. Вскоре он уволился и – кажется – вернулся в Одессу.

С тех пор китайский синдром уже всерьез засел у меня в голове – буквально накануне описанной ситуации умер мой отец… Я понимал, что это чистой воды психология, но стал невольно связывать неприятности, неизбежные в жизни каждого человека, с Китайцевым. Может действительно расплата за грехи существует – иногда думал я. И почему события совпадают по времени?

Но жизнь продолжалась. Мы всей страной вошли в перестройку. Я понял, что моя наука и моя диссертация не имеют ни смысла, ни перспективы, и перешёл в подполье к моему тестю. Впрочем, в это время наш андеграунд стал всплывать на поверхность и становиться бизнесом. У меня появились деньги, открылись новые возможности. Однажды мы с женой отправились на роскошном лайнере Шота Руставели в круиз за границу – по Средиземному морю.

Нет, не волнуйтесь, дорогой Александр Михайлович, я не отклоняюсь от темы. На судне я встретил своего бывшего сокурсника. Он тоже послал подальше свою науку и технику и пошёл в плаванье простым машинистом холодильных установок. Как-то он мне показывал свое хозяйство и, между прочим, сообщил, что заменил на этом посту тоже бывшего студента холодильного факультета, который окончил институт лет на пять раньше нас.

- Может ты его знал? Толя Китайцев.

Я напрягся и это еще слабо сказано. Возникла было надежда, что Китайцев оправился от результатов моей… скажу прямо - подлости, и зажил вполне нормально. Но увы. Оказалось, его списали на берег за пьянство. И вообще – сказал мне бывший однокурсник – он производил впечатление спивающегося человека. Есть ли у него семья, где он живет, мой знакомый не узнал, не успел. Китайцев передал кое-какие бумаги, кое-что рассказал об оборудовании и был таков. Не хочу, Александр Михайлович, сгущать краски, но моя шизофрения – так я называл свой синдром мандарина – восстановилась в полном объеме. Я даже не удивился, когда вскоре после круиза жена объявила, что уходит от меня к одному из компаньонов моего тестя, темпераментному грузину, который был значительно моложе не только отца жены, но и её. Кавказцы любят «белая женщина, пышная женщина», а жена была довольно крупной блондинкой. Мы разошлись, она увезла младшего сына с собой – я еду сейчас к нему в гости – а старший остался с нами.

Не могу сказать, что очень страдал, мы давно жили каждый сам по себе. Но сам факт, согласитесь… И опять совпадение по времени. Что меня тревожило больше всего – допустим, мысль о расплате за грехи является вздорной. Даже скорей всего. Но почему с такой подозрительной настойчивостью жизнь сталкивает меня с результатами аморального поступка – доказывает, что мандарин по моей вине серьезно пострадал? Почему я время от времени пересекаюсь со следами незнакомого человека в такой большой многомиллионной стране? Может действительно неотвратимость наказания существует? Но все-таки – утешал я себя – две встречи еще могу быть случайным совпадением. А вот связывать их с карой вообще бред. И я снова постарался забыть о Китайцеве. Почти получилось. Тем более, что последующие неизбежные в жизни потери и беды – се ля ви – никак не могли быть связаны с синдромом мандарина хотя бы по времени. Любимый тесть умер только года через два-три, потом тяжелый радикулит долго не отпускал мою мать. Китайцев определенно был ни при чем.

Прошло – пролетело ещё несколько лет. Мне стукнуло пятьдесят, вполне солидный возраст. Я был далеко не бедным и в приличной физической форме. Встречался – как это часто бывает - с дамами моложе меня лет на пятнадцать-двадцать. Некоторые из них были не прочь официально располагать мною и… моими доходами. Но найти того, с кем не страшно стариться оказалось непросто.

Наконец нашел. Не просто нашел, а полюбил. Как Ромео, правда, пожилой Ромео, но был уверен, что по-настоящему. Алла Фоменко была моложе меня на восемь лет – прекрасная разница в возрасте! Жила одна, была в давнем разводе. Сын Витя женился и переехал в Киев, приезжал иногда на день другой, мы с ним друг другу понравились. Я переехал к ней, хоть моя квартира была лучше – так Алла хотела. О бывшем муже мы не вспоминали и никогда не говорили – так хотела Алла. Жили душа в душу. Два, три, четыре месяца – никаких ссор, даже намека. Никаких проблем! Может быть кроме одной моей тайной заботы… Когда человек тебе по-настоящему дорог, то чувствуешь ответственность и даже ничем не оправданный страх за него. Ко мне вернулись мысли о мандарине. А вдруг эта карма накроет своей мрачной тенью и Аллу? Я убеждал себя, что два пересечения с тенью Китайцева были простым совпадением. Два – все еще случайность, три – уже закономерность.

Да, дорогой Александр Михайлович, вы правильно поняли, вскоре случилось и третье, иначе бы я не начинал этот рассказ. Я время от времени ходил на кладбище, там уже нашли вечный покой близкие мне люди. Однажды посетил могилы отца и тестя, которые находились недалеко друг от друга. И на обратном пути наткнулся на серый, не очень примечательный обелиск. Да, да, именно так - это была могила Китайцева! Умер он задолго до этого нашего очередного пересечения на кладбище в возрасте сорока восьми (!) лет. Не буду описывать свое состояние, это не возможно. Скажу только, что на обратном пути нарушил дорожные правила, попал в аварию и сломал ключицу. Конечно, причиной мог быть сильнейший стресс, но я так не думал. И сейчас не думаю. Могу добавить, что даже почувствовал облегчение – легко отделался. Понимал, что заслуживаю большего, гораздо большего. Главное, чтобы это касалось только меня, не затрагивало близких. И конечно не Аллу! Не дай бог! Я был готов не только взмолиться, но и молиться, несмотря на мой атеизм.

Я уже не боялся знакомства с новыми фактами печальной биографии Китайцева - чем он мог удивить меня после обелиска на кладбище? Но в голову приходили апокалиптические библейские фразы типа «бог свершил суд над ними, всеми их родными и потомками»… и так далее. Я понимал, что нормальными эти мысли назвать было нельзя, но поделать ничего с собой не мог. Впору было обращаться к психиатру, что я и сделал тайком от Аллы. Психиатр определил депрессию в сочетании с необоснованными страхами, это я и сам знал. Прописал таблетки. Не помогли. Помогала только Алла. Её ровный характер, доброта, забота и – конечно – любовь подтверждали: с такой женщиной ничего не страшно, даже надвигающаяся старость. Я стал постепенно приходить в себя. Но, уважаемый Александр Михайлович, идиллии не ждите.

Однажды вечером зазвонил телефон. Я взял трубку. Незнакомый мужской голос спросил, не приехал ли Китайцев, кажется собирался. Какой Китайцев? - ошалело переспросил я, еще, как говорят, не врубаясь. Голос по телефону сказал - Виктор Анатольевич Китайцев, а Алла подтвердила, что Витя должен приехать на будущей неделе. Я с остатками надежды спросил, почему её сын не Фоменко. Но ответу уже не удивился – Фоменко девичья фамилия Аллы, она её не меняла, а бывшим мужем был небезызвестный вам Анатолий Китайцев.

Расписывать ничего не буду, надеюсь вы себе все хорошо представляете…

Терять было нечего, я нарушил табу и спросил, почему они с мужем разошлись. Наверно мой вид соответствовал состоянию, потому что Алла – хотя видно было, как ей тяжело ворошить прошлое – заговорила. Конечно, причиной было пьянство. Он начал пить. Начал? Да, начал, до защиты диссертации вообще не пил, разве что немного вина на праздник. Был серьезным, надежным человеком, и Алла его любила. Все было хорошо. Но диссертацию не утвердили. Провал был для всей их семьи тяжелым ударом, а для него настоящей трагедией.

Тогда, в Тамбове он сломался. Восемь лет трудов и самоотречения, только дорога в институт отнимала два с половиной часа – и это после рабочего дня на заводе! Впереди была должность старшего научного сотрудника, хорошая зарплата, любимая работа, и все рухнуло по вине одного негодяя. Вот кого она ненавидит всеми фибрами души. Оказалось, они знали все. Китайцев после отказа подошел в ВАК, поговорил с одним из членов комиссии. Наш донос стал известен ему и, естественно, Алле. В том числе и то, что опасности для меня, в сущности, не было, все сделано только в целях перестраховки. К счастью фамилию она то ли не знала, то ли забыла. Тяжелые воспоминания заставили её потерять обычную сдержанность, мне казалось, что она буквально хлещет меня по щекам. Живут же такие люди, где-то эта мразь ползает по свету и наверно отлично устроился. Именно мерзавцы в этом мире благоденствуют. Если бы она его встретила, то задушила своими руками. И сил хватило бы… А умер Казанцев не от пьянства. От рака. Она сказала, вздохнув, что рак приходит к тем, кто утрачивает надежду и смысл жизни.

Вот теперь, Александр Михайлович, все действительно было кончено. Я смирился и поверил, что вопрос о китайском мандарине не просто эффектный литературный прием или расхожий афоризм. Существует в мире неотвратимость наказания, обязательная связь причин и следствий. А значит должен быть кто-то свыше, приводящий этот закон в исполнение.

Признаться Алле я не мог, не признаться тоже. Выхода не было. Спустя несколько дней я сказал, что наши отношения были ошибкой и нужно расстаться. Она заслуживает лучшего спутника, чем я. Старался на неё не смотреть, ушел в свою квартиру. Это было самое тяжелое испытание в моей жизни. Хотя… хотя оно продолжается по сей день.

- И вы так и не попытались с ней объясниться? - не выдержал я.

- Не решался. Но забыть её не мог. Все мне было не мило. Года через два понял, что терять него. Нужно с ней поговорить. Хуже не будет.

- И что?

- Узнал, что Алла умерла. От рака. Рак приходит к тем, кто утрачивает надежду и смысл жизни. А я остался. Это моя кара…

Мы долго молчали. Очень долго.

- Извините, мой дорогой слушатель. Я напрасно рассказал вам эту печальную историю. У каждого своих забот хватает, не нужно бедами делиться с другими. Ничего хорошего в этом нет…

- Не согласен, Сергей Юрьевич, - энергично возразил я, – категорически не согласен! Мне кажется, этот рассказ нужно бы напечатать и расклеить на всех столбах, стенах и заборах. Пусть люди знают, что платить нужно за все. Особенно в наше, как мы говорили, аморальное время. Это и был бы наш с вами вклад в решение мировых проблем.

А сам стал мысленно перебирать свое прошлое в поисках причин и следствий.

1. Лучишин Сергей "Воспоминания", "Чужая любовь"

***Сергей Лучишин***

**ВОСПОМИНАНИЯ**

Я взял ее любимого Нострадамуса, вырвал из него все листочки, наделал ласточек и выпустил их в окно. Она же образованная, начитанная, аристократия, манеры и всё такое, а я, значит, ничтожество необразованное. Вот и получай - пусть полетают центурии!

Но это не помогло - она всё равно ушла. А я остался. И так грустно, вдруг, стало. Ночь. Так тоскливо. Любил ли я её - думал я? Ведь, по настоящему я любил только Катю, Настю, Надю, Оксану, Мартину, Марину, Екатерину, Надю, Таню, Аню, Вику, Маню, Варю, Иру, Инну, Нину, Еву, Олю, Лену, Лилю, Лелю, Любу, Люду, Леру, Веру, Вадик - оказался пидором, потом: Галю, Валю, Олю - но не ту, что после Евы идет, а ту, что постоянно врала, а я верил, хоть знал что врет. Потом: Юлю, Машу, Лизу, Глашу, Беллу, Розу, Аллу, Дашу, Элеонору Сергеевну, Марианну, Наташу, Свету, Кузю - фамилия Кузюкина, все Кузя звали, - Алену, Алису, Зульфию, Анфису, Машу - но не ту блондинку, что после Юли, а ту, что не разрешала матом ругаться, хоть тоже блондинка. Потом: Наташу с родинкой на лбу, Наташу баскетболистку, Наташу Иванову, Наташу, что устроила в ЖЭК слесарем, тоже Иванова, Наташу, что могла петь как Пугачева, Наташу, которую Смеющаяся кукабара\* в нос клюнула, когда она подменяла подругу в зоопарке, где та уборщицей работала, Наташу, что в зоопарке уборщицей работала, подруга той Наташи, Наташу Гендебельсман, Наташу, что недавно открытку прислала, вдруг, уже сколько лет прошло: «С Новым Годом, придурок!» - написала, Наташу, что сбежала в Мурманск на теплоходе поваром, Наташу, что привязывала меня к батарее во время просмотра телепередачи «Угадай мелодию», Наташу хромую, из-за которой, по совету Элеоноры Сергеевны, я выучил специальную молитву Преподобного схииеромонаха оптинского Старца Анатолия, чтоб исповедаться и помолиться, чтоб прекратились все эти Наташи. В церковь даже пошел, но не пустили. Потом: Наташу, что побила Элеонору Сергеевну, Наташу, что «зашила» меня, Наташу, что в вытрезвителе старшиной милиции работала, Наташу, что «зашила» меня второй раз, Наташу, что могла бутылку пива одним глотком выпить, Наташу, что «зашила» меня в третий раз у гипнотизера занимающегося черной магией, Наташу, из-за которой с балкона чуть не прыгнул, но передумал - высоко было, Наташу, что написала в моей истории болезни: «психоз на фоне алкогольной зависимости» - это специально, чтоб Наташа с голосом Пугачевой, и Наташа Гендебельсман отстали от меня со своими алиментами, Наташу, что триппером заразила меня и Федьку, кореша моего, - все впятером лечиться ходили: я, Наташа, Федька со своей женой, тоже Наташа, кстати, и Элеонора Сергеевна. Прикольно было. Потом: Наташу, что прокляла меня именем Господа, когда я отказал ей в близости из идейных соображений, Наташу, что страдала лунатизмом и видела Человека Идущего, Наташу, с которой мне строго-настрого запретил делить ложе Господь, несмотря на то, что души наши сливались, а я не послушал и слил души наши яко одно. И, вмиг лишил меня Господь всех Наташ! Чтоб не искушали. Не стало ни одной Наташи. Ничего не стало. Не было даже Элеоноры Сергеевны. Темно было.

Долго скитался я в одиночестве пока не встретил Екатерину. Я увидел ее на востоке, точнее - узрел. Но не ту Екатерину, родители которой запретили нам жениться, а как узнали что она на третьем месяце, так, вообще, увезли ее черти куда, - та Екатерина после Марины идет, перед второй Надей, что из ревности в кухне газ напустила. И, уж не та, конечно, Катя, - моя Катюша, моя Тюшенька, - что первая в списке, что любила мне косички заплетать пока я спал. Волосы тогда были длинные, рокером мечтал стать, на гитаре учился. А другая - Екатерина Мария Ромола ди Лоренцо де Медичи, из одноместной палаты «Люкс» с телевизором и холодильником. Королева Франции! У меня с ней был даже секс два раза, - близость, как говорит Господь. Первый раз, когда она была в беспамятстве, а второй раз, по обоюдному сговору. Но муж её, отвратительный Генрих, уговорил её вернуться, наобещал ей чего-то, падла, сломал мне зуб за Нострадамуса, дал взятку дежурному, и увез её на своем, не то джипе, не то Мерседесе, я в технике слабо разбираюсь. Пусть едет. Буду сидеть в её палате «Люкс», пока не застукают.

Ночь. Так тоскливо. Все же, я любил её. Я вспоминаю свою жизнь, смотрю в небо - луна светит. Зачем всё это? Зачем луна? Зачем эти чувства и переживания? Ведь, страдаю я по-настоящему. Я по настоящему мучаюсь. А для чего?.. Я достал из холодильника остатки Кёр-де-Шевр, намазал на подсохший Кандаль, багета-то нет. Откусил. Зуб сломанный, как молнией пронзило! Скотина! Здоровенный бугай, этот Генрих. Бабам, наверное, нравится. Вот, выбью ему глаз - тогда посмотрим!..

Кое-как, дожевал задними, Кёр-де-Шевр с Кандалем. Луна большая, круглая. В небе ни пятнышка, только звезды яркие. Мягко пробежал Человек Идущий. А следом за ним - озарение: чувства нужны для того, чтобы их кушали... Во как! Понимаете? Как корова производит молоко и не знает зачем, так и человек - рождает чувства и страдания, и не подозревает, что это всего лишь пища!.. Но для кого? Я не мог найти ответа. Кто питается пищей этой, Господи!? Я вопрошал - кто? Кто?

Господь медлил. Он всегда так. Не спешит. Помедлив еще немного, Господь дал пендаля Человеку Идущему, чтоб не мельтешил, и едва заметно кивнул мне, как бы говоря: да, ты прав, размышления твои - верны, и догадка твоя - есть истинна; чувства человека, его страдания и мучения, вся жизнь его бессмысленная и бестолковая, пустая и никчемная, это всего лишь пища - для *них*… И Господь указал перстом. Но указал не так, что б вверх (куда выше-то!) но и не вниз, уж точно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Dacelo novaeguineae или Dacelo gigas, лат. (прим. авт.)*

**ЧУЖАЯ ЛЮБОВЬ**

С кончика носа я вырвал три волоска. Знал, что будет больно, но вырвал их не задумываясь. И всего лишь из-за одной брошенной полушутя фразы:

«Хи, – волосы на носу...»

Рвал я их ногтями. А ногтями, кто не знает, удачно зацепить – невероятно сложно. Каждый приходилось дергать по несколько раз, и от этого нос раскраснелся. Хорошо, что сообразил сперва вырвать волосы, а потом ногти стричь. Про ногти она тоже сказала:

«Хи, – ногти...»

Хотя на левой руке у меня сострижены, просто в них грязь забилась. Это на правой длинные, потому что я не могу левой рукой правую стричь. С детства не привык. Есть во мне какая-то однобокость, что ли.

Правую руку мне всегда бабушка стригла, а когда бабушки не стало, стригла мама. Потом, была у меня девушка, – она стригла, хоть и смеялась. Потом еще была девушка, ее я, правда, никак не решался просить, а когда спросил, то она неспешно прикрыла книгу (была очень умная, все время читала) и коротко так, спокойно сказала: «А мне зачем?» С тех пор у меня долго никого не было, и я стриг правую у родителей.

А недавно… Ух!.. Даже не знаю, как произнести, в какие нарядить в слова! Всё перевернулось в моей жизни, закружилось как в карусели, и понесло меня бурным потоком. Ни о чем не могу больше думать, только о ней. И, как только она сказала про волосы на носу, то в этот же вечер вырвал их. Потом ногти постриг на правой. С трудом, но кое-как получилось. На левой тоже состриг. Пусть одинаковые будут, короткие. А утром посмотрел в зеркало, увидел на носу еще два волоска – вчера не заметил, свет в ванной тусклый. Они чуть поменьше и потоньше тех трёх. Вырвал. Стою, значит, изучаю себя. Смотрю, а из самого носа, из ноздрей, тоже волосы торчат. Вот те на! Никогда раньше не замечал. Один вырвал – слёзы с глаз брызнули. Очень больно! Не-е, думаю, постригу лучше. Взял ножницы, состриг. Пока состригал, заметил, что один ноготь пропустил на правой. Хорошо, что заметил. Состриг и его. Потом решил подмышками помыть, потому что вчера, как провожал, сам даже почувствовал, что запах есть. Да и лето к тому же, жарко.

И вот, что меня поразило – как любовь преображает человека! Как всё вокруг меняется, и мысли движутся уже иными путями. Даже вот этот пример: решил помыть подмышки, пустил воду, наклонился над умывальником, думаю, – сейчас всё обрызгаю, приму-ка лучше душ. Стал под душ, думаю, – чего зря вода бежит, наберу-ка ванную, посижу, откисну, время есть, голову вымою как следует, ногти на ногах состригу – тут уж я и правую, и левую! Набрал ванную, сижу, мою подмышками, вдруг осенило – побрить надо! Все же так делают! Побрил подмышки, помыл голову, ногти на ногах состриг. Вытираюсь полотенцем – постирать пора полотенце, думаю. Гляжу в зеркало – рожу побрить! Про самое главное, про то что на виду, совсем забыл. Поэтому она и отстраняет меня всякий раз, как поцеловать собираюсь. Стал вспоминать. Точно, так и есть! Три дня назад, когда я бритый был, она позволила поцеловать, недолго правда, но всё же. И до этого, дня за четыре-пять – тогда я тоже бритый был. Как раз в тот день мы и познакомились. И целовались в первый же вечер.

Она прильнула ко мне, так неожиданно, так сразу, что дух перехватило. Как ребенок она уткнулась мне в шею и легко дотронулась губами. Я прижал её голову. Пальцы путались в густых волосах, застревали. Всё замерло вокруг. Остановилось. И время, и звезды. Была ночь. И никого кроме нас. Я почувствовал как сморгнули её ресницы. Она подняла голову. В глазах были слезы. Почему? Она не дала опомниться. Обхватила мое лицо и так страстно стала целовать, будто мы давние влюбленные и сейчас только встретились после долгой разлуки.

Я проводил её к парадной. Она вошла, а еще я долго стоял на улице, стараясь угадать её окно. А потом полетел домой. Именно – полетел. Мои ноги совсем не касались земли. Домой я добрался на рассвете. Уже транспорт ходил. Спать совсем не хотелось. Я лежал счастливый, заложив руки за голову, глядел в окно, как прыгают с ветки на ветку воробьи, чирикают, суетятся – глупые твари! Я влюбился! Влюбился! Влюбился! За один только вечер, за мгновение...

Значит, побрил лицо. Порезался немного. Лезвие затупилось, менять пора. Открыл шкаф, стал перебирать гардероб. А надеть-то – нечего. Дело в том, что я сильно привыкаю к своим вещам и хожу всегда в одном и том же. А пару дней назад, когда мы встречались, одел новенькую рубашку, есть у меня одна, для особых случаев держу. То есть, рубашка, конечно, старая, но, так как я редко ее одеваю, выглядит как новая. Надел.

«Хи, – шкафом пахнет», – сказала она, уклоняясь от моих губ. А я всё пытаюсь, всё надеюсь повторить тот первый вечер, когда мы, слившись в поцелуе, застыли под звездным небом.

Что же делать с рубашкой? Стиральной машины у меня нет, всё грязное отношу к родителям. Если руками прополосну, то высохнуть не успеет, да и гладить нужно, а утюга – тоже нет. Решил смухлевать немного – надушить одеколоном и всё. Одеколон у меня французский, кстати. Приятелю из Франции привезли, но запах ему не понравился, видите ли, и он мне отдал. А я взял, брызнул, – вроде ничего, одеколоном пахнет. Так стоит на полке, пылится. Теперь пришло время воспользоваться.

Надушил рубашку. Надел. Любуюсь собой. Любуюсь, смотрю и думаю: а если заметит? А ведь заметит. Учует. Запах от рубашки совсем не французский, резкий. Она ж такая внимательная. Вроде, особо не смотрит на меня, а всё подмечает: и что, как-то раз спиртным пахло, а я выпил-то всего бутылку пива, так, для храбрости, и перхоть на плечах, и волосы на носу. И что рубашку не постирал – тоже заметит. И опять я поразился, что мыслю уже не как прежде. Любовь подняла меня на новую ступень.

Я достал из коробочки деньги, что откладывал на «Санта-Марию», испанскую каракку (я серьезно увлекаюсь стендовым моделированием), и пошел в магазин выбирать рубашку. Денег с «Санта-Марии» хватило еще и на неплохие брюки. А туфли я решил просто вычистить хорошенько. Я ж, в основном, дома сижу, поэтому обувь у меня более-менее не стоптанная.

И вот, весь обновленный, с заготовленными словами любви я ждал её у подъезда. В этот день я решил признаться в своих чувствах. Я всё продумал: слова, и как возьму за руку, когда буду говорить, а когда закончу, сожму немного её ладонь и отпущу. И не буду ждать ответных признаний. Достаточно, если она будет хранить мои.

Но не суждено было этому случиться. Когда человек стоит на краю счастья и мечты без спроса роятся, множатся, убаюкивают его картинами будущего, тогда-то, ослепший, он и летит в самую пропасть. Так произошло и со мной.

Ждал я её долго, потому что всегда так спешу, что прихожу намного раньше положенного. А неподалеку от меня крутился паренёк, похожий на бродягу. Я на него и внимание обратил только, когда он подошел и попросил закурить. А я как раз курить бросил, потому что запах дыма ей не нравится. Она всегда отмахивается, если кто рядом курит, и в кафе выбирает зал для некурящих.

Он спросил, с нагловатой ноткой, сигарету. От него смачно пахнуло вчерашним пьянством. Я ответил, что не курю. Он шмыгнул носом и вразвалку пошел стрелять у прохожих. Мне даже стало жаль его, и я подумал, что неплохо бы носить с собой пачку сигарет, чтоб выручать, таких вот, несчастных (это его я назвал несчастным!).

Она выпорхнула, как птичка! Парашютом надулась легкая юбка, мелькнули белые ножки. Едва касаясь ступенек, она сбежала с крыльца и остановилась. Моя рука должна была поймать её запястье, мы должны были побежать по улочкам, придумывая, как провести сегодняшний день, но…

Она прошла мимо. Быстро, не глядя. Нагловатый парнишка с закуренной сигаретой уже вернулся и шел ей навстречу. Не доходя нескольких шагов, они рванулись друг к другу, обнялись, прижались. Тут же она оттолкнула его. Они заговорили одновременно, громко, и совсем не замечая меня, стоящего рядом. Я слышал их разговор. Оказалось, он – художник, и загулял с какой-то девицей, а теперь вот вернулся, потому что жить без неё не может. Он так и сказал ей: «Пьяный был, извини». И она ответила: «Я понимаю».

Она рыдала, уткнувшись ему в шею, вздрагивала. Его испачканные черные пальцы путались в её волосах. Он гладил её одной рукой, держа другую, с сигаретой, на отлете. Он даже не постеснялся затянуться и выпустить струйку дыма над её головой. Я попытался вмешаться, что-то сказать, но они посмотрели на меня, как на приведение, вдруг появившееся в их спальне.

Они ушли. А я остался в своей новой рубашке, новых брюках и вычищенных туфлях. Вокруг сновали люди, куда-то спешили. Я бессмысленно побрёл в их потоке. Мелькали спины, сигналили автомобили.

Домой я добрался поздно ночью. Транспорт уже не ходил. Спать совсем не хотелось. Я пролежал до утра, заложив руки за голову, глядел в окно, как светлеет небо, просыпаются, прыгают с ветки на ветку воробьи, чирикают, суетятся – глупые твари! Нет в вас разума, нет чувств, и каждый ваш следующий день – такой же бессмысленный, как предыдущий.

Я оказался заплаткой в чужой любви. А когда пробоину заделали, меня оторвали и выбросили за ненадобностью. Разумом я это понимал. Но все частички, клеточки и молекулы из которых я состою сопротивлялись, бунтовали и отказывались верить в произошедшее. Я вспоминал этого художника. Я хорошо рассмотрел его – он, хоть и повыше меня и поплечистей чуток, но вид у него – совершенно безобразный: лохматые, нечесаные волосы, – моет голову, не чаще раз в неделю, щетина – дней пять, ободранные кроссовки, лоснящиеся джинсы и особенно – руки с черными ногтями. Фу!..

Много дней я тайно ходил караулить её. Я купил новую обувь. Я видел, как она сбегает по ступенькам, как мелькают белые ножки. Как берет такси, опаздывая на свидание. Видел их вдвоем в кафе, точнее, – в дешевой забегаловке, где нет даже зала для некурящих. Я знал, что она часто остается в его мастерской, в подвале, а утром, поправляя белые кудри, спешит домой. В одной из галереек, их сейчас по городу – пруд пруди, я разыскал несколько его картин. Интересно было посмотреть что рисует этот гений. И, честно говоря, ничего не понял. Вообще ничего. Какие-то пятна, не дорисованные лица с потёками краски. Будто ребенок рисовал.

Как-то, ранним утром, дежуря у её подъезда я лицом к лицу встретил её. Я ожидал, что она выйдет из дома, а она, видимо, возвращалась от него. И я не успел спрятаться.

Она удивилась, увидев меня. Спросила, что это я делаю здесь, в такую рань, ведь живу я в другом конце города. Неужели не догадывается?

Волосы ее были небрежно стянуты в узелок. Она поправила выпавший локон, и я заметил облупившийся розовый лак. И зеленую полоску на плече – неудачно прислонилась где-то в мастерской. Нет, не догадывается. По глазам видно.

Я что-то наврал. Мы перебросились фразами «как дела, а у тебя, всё хорошо» и разошлись. С тех пор я не хожу к её дому. Не такая уж она и внимательная оказалась.

В моем шкафу теперь висит вторая рубашка. Особых случаев в моей жизни немного, и, чтоб вещь не пропитывалась шкафным запахом, я в ней работаю. Сперва, я долго примеряю её перед зеркалом, закуриваю (я начал курить, помогает сосредоточиться), хожу по комнате, вспоминаю прекрасные мгновения и, насытившись, чтоб не впадать в уныние, сажусь за работу.

Я подсобрал денег и всё же, купил «Санта-Марию». Корпус у меня уже готов. Также готовы надстройки на баке и юте. Недавно установил мачты и сейчас клею грот-марсель, бизань и блинду.

«Санта-Мария» – это однопалубная, трёхмачтовая каррака. Флагманский корабль на котором Христофор Колумб открыл Америку в 1492-ом году. Примечательно, что когда «Санта-Мария» разбилась сев на рифы у берегов Гаити, то из её обломков было построено поселение Ла-Навидад, что означает – Рождество. Так вот, погибнув, корабль превратился в первое на острове поселение.

Работаю я максимально сконцентрированно и аккуратно, чтоб не испачкать рубашку. Хотя несколько пятен уже посадил. Ну и ладно, подумаешь! Может, моя работа и есть тот особый случай! Я же полностью в неё погружаюсь: я вижу, как стою на полубаке за форштевнем, ветер рвет волосы, в небе замирает раскаленное солнце, сталью блестит океан, чайки, первые предвестники, кружат и садятся на рею, а на горизонте появляется тонкая полоска нового, неизведанного мира, и я не знаю, вернусь ли когда-нибудь домой, или же мне суждено вечно скитаться по бескрайним просторам и погибнуть в неведомых краях. И тогда, тогда всё прошлое собирается в точку, становится ничтожным и никчемным, и мне открывается бесконечное будущее.

1. Мардань Александр «Прогулка», «Отдельная история»

***АЛЕКСАНДР МАРДАНЬ***

**ПРОГУЛКА**

*Хромые хромают только когда ходят.*

*(из разговора в больнице)*

Когда вас в последний раз просили погулять? Не отпускали, а просили... Родители, когда хотели остаться на пару часов одни. Учительница, перед тем, как объявить результаты контрольной. Фотограф, делавший снимки для визы. А ещё? Ещё вас просили погулять после сдачи анализов.

Кто любит сдавать анализы? Одни сдавать больно, другие унизительно. А есть такие, что больно и унизительно одновременно. А ждать результатов? Ну, тех, в которых цифры, еще туда-сюда... Холестерол повышен, гемоглобин понижен – будем исправлять. А когда результат «плюс-минус» или еще жестче — «да-нет»? Новорусская рулетка с двустволкой вместо револьвера... Любите такого результата ждать? Дуэль с десяти шагов. Стендаль советовал дуэлянтам листья на деревьях считать, пока пистолеты заряжают.., а мне чем заняться?..

Зимой листьев на деревьях нет. Хвойные растения только в парке, а иголки считать — зряшное предприятие, если дальнозоркостью не страдаете...

Может, зайти в кафе и выпить грамм двести... Во-первых, потеплеет, во-вторых, не так страшно. По «наркомовские» сто грамм спирта слыхали? Думаете, это был аперитив перед фронтовым обедом? Скорее, перед свиданием... Со смертью. Ладно, не всё так грустно. Теперь всё лечат. Мы же люди разумные, венец эволюции, страдаем всего семьюдесятью тысячами заболеваний. Главное, чтобы не всеми сразу.

Тогда пойду в кино. Ждать сеанса не нужно. Купил билет и заходи. Правда, перед следующим, если хочешь узнать, с чего всё началось, придётся выйти и купить ещё раз. Да и билеты стоят дороже, чем в театр. В нашей молодости было наоборот. А как кинотеатры боролись за тридцатикопеечного зрителя... Лучше всего в стране, где не было секса, завлекала надпись «только для взрослых». Художники с завидным упорством выводили её на афишах индийских фильмов, которые в городах особым спросом не пользовались, в отличие от сельской местности, где на «Зиту и Гиту» приходило больше людей, чем на собрание колхоза.

А горожан заманивали обманом. Надо было план выполнять. И хотя все знали, что секса в индийском фильме нет по определению, все равно шли, а вдруг.. Как раньше по десять раз ходили на фильм «Овод», а вдруг на этот раз побег удастся...

Ну, а если название «Мужчины в ее жизни» или «Запретные игры», то рука афишного художника игриво выводила «Детям до 16 лет строго запрещается». Хотя первый фильм, про леди Гамильтон и адмирала Нельсона, по нравственности мог соревноваться с киножурналом «Хроника дня», а второй – из раздела «Детское кино», про пятилетнюю французскую девочку, потерявшую своих родителей во время войны...

Обидно, когда врут, а спросить не с кого. Если солгал знакомый - на него можно обидеться, если близкий – развестись, а обманули в кинотеатре – не ходишь туда пару недель, а потом снова идешь на пакистанскую эротику. Видиков не было, за рубеж ездили лучшие. Раз в три года. Каналов на телевидении было четыре! На трех показывали заседание 24-го съезда, а на четвертом мужик в костюме и галстуке строго предупреждал: «Я тебе пощелкаю!». И люди шли в кино, где кресла скрипели, плёнка рвалась, звук пропадал... Летом там было душно, зимой холодно. И всё равно – это был праздник. Пусть маленький, но твой. С ирисками, семечками, тающим мороженым. И никакой широкий формат со стереосистемой и попкорном не заменят первого поцелуя в последнем ряду.

Чтобы увидеть спину Мишель Мерсье или Элизабет Тейлор без бретелек, люди стояли за билетами дольше, чем при Горбачёве за водкой. Ну а если на экране мелькало что-то ниже спины, то зрители сидели даже в будке киномеханика, а кавалеры Ордена Славы 3-х степеней получали билет без очереди в тысячу человек...

А легенды, ходившие о том, что вырезали из картины!.. Какие только фантазии не посещали жителей sexless страны… Они могли украсить колонки писем-отзывов «Плейбоя». И все завидовали киномеханикам, которые это якобы вырезали. Потом стали догадываться, что режут в Москве, в специальной комиссии, которая строго следила за градусом эрекции советских граждан…

Вы обратили внимание, что после возвращения секса в страну уже не притягивают наш взгляд выбитые дощечки в раздевалках и разбитые окна в банях.

С насилием на экране было полегче, особенно если оно было революционным и справедливым. А поскольку справедливость уже была понятием классовым, то и служила интересам трудящихся, точнее тех, кто в поте лица наблюдал, как трудящиеся трудятся. Снимали насилие без крупных планов. Социалистический натурализм, не путать с соцреализмом, был нам чужд.

А если честно, то было и хорошее кино. Таких фильмов было немного, но смотрели их все… И все обсуждали. А сейчас все смотрят разное, а обсуждают… Да мало ли что можно обсуждать. Погоду, например…

Так, пойду в кино. А в какое? Это раньше оно было на каждом углу, а сейчас на весь город – три зала. Пока доеду, уже уходить надо. Кино отменяется.

В театр? Несерьезно. Во-первых, днем они не работают. Во-вторых, туда и вечером не очень ходят… Правда, когда столичные артисты приезжают, то залы полны, хоть и дорого. И не потому, что ценители собираются, а потому, что театру его первоначальная функция возвращается, роль собрания. Не партийно-профсоюзного, а городского. В Греции город становился городом, когда в нем появлялся театр. И мест в нем было столько, сколько свободных жителей. В начале, во всяком случае. Потом их не хватало… и мест, и свободных жителей. Интересно было, кто в чем пришел, кто с кем ушел. Раньше театральную публику именовали «обществом, за исключением черни и простого люда». А сейчас в рваных джинсах, туфлях на босу ногу, с мобилкой в руке. Как там у Горина? «Это хуже, чем народ, это лучшие люди города». Ползала сообщения отправляет, ползала смс-ки получает…

Анализы у меня дневные, вечернего спектакля не дождусь.

На стадион? Бутылки собирать? Так на пляже это делать интересней… Это я так шучу. Нечего зимой на стадионе делать, как впрочем и на пляже. Другое дело – летом. Тела, как и души, разные. Прекрасных намного меньше, чем ужасных. Не верите? Сходите на нудистский пляж. На одно красивое – десяток с неприглядностями. С душами дела обстоят не лучше. До недавнего времени душевный нудизм встречался редко, разве что в анонимках и жалобах, но их кроме адресата и цензуры никто не читал... В интернете душевную обнаженку можно встретить на каждом углу. Она так же неприглядна, как уродцы на пляжах. Одна польза – стены общественных туалетов стали чище.

А может, зайти в гостиницу? Вот где можно согреться… Раньше не впускали, строго спрашивали: «Вы к кому?». Сейчас заходишь и тоже ждешь, что спросят, ответ мысленно уже раз пять повторил, что я, мол, хочу кофе выпить. А тебя никто не спрашивает...

То есть поверить, что тебе и деньгам, которые ты здесь оставишь, рады, и что выгонять никто не собирается - мы пока не готовы. И что можно на диванчике посидеть, и на вопрос «Хотите ли кофе?» не надо вскакивать, а достаточно с улыбкой сказать: «Спасибо, пока нет», и углубиться в изучение прошлогодней газеты. Жаль, нет у меня с собой прошлогодней газеты. Погуляю ещё…

Многие, когда гуляют, мечтают, а я вспоминаю. Мечтать лучше перед сном. Например, о том, как выиграете миллион и больше. К десятому уже уснете….

И стоит это не дорого – цена лотерейного билета. Специалисты по теории вероятности врут, что шансы мизерные. Чушь. Шансы всегда пятьдесят на пятьдесят, как орел и решка, вне зависимости от числа игроков и напечатанных билетов. Почему? Потому что можно выиграть, а можно не выиграть… Засыпайте и мечтайте, что выиграете. А гуляя, лучше не мечтать, тем более об этом… Можно попасть под автомобиль, не поздороваться со знакомым, можно на окружающих начать смотреть свысока, особенно после второго миллиона. Мечты на ночь, воспоминания в день…

Раньше на почту было хорошо зайти, на центральный телеграф, там конечно не так тихо и чисто, как в библиотеке. Там редко читают, чаще пишут, но точно теплее, чем на улице. Там ручки с чернильницами. Люди макают ручками в чернильницу, перья поскрипывают.

Когда вы последний раз телеграмму посылали? Не смс-ку, а именно телеграмму, когда вам слова в ней считали, включая адрес, по три копейки за штуку. Слово - три копейки, и газета - самая главная в стране, самая честная, которая так и называлась — «Правда», столько же стоила. Сколько в ней слов было - считать, не пересчитать, а всего три копейки!

Был у нас в городе продавец газет, большой шутник, сидит в своем киоске на людном перекрестке и через мегафон ускоряет процесс продажи: «Правды» нет, «Советская Россия» продана, остался «Труд» по две копейки». И смешно, и не придерешься.

Писали на бланке коротко: меньше слов - дешевле телеграмма. Ненормативная лексика – исключалась. Командировочный, у которого закончились суточные, писал скупому бухгалтеру эзоповским языком: «Твою мать выселяют из гостиницы! Срочно переведи деньги».

Телеграмму в ЦК и лично Генеральному секретарю можно было отправить только при наличии паспорта, но это не останавливало граждан. Поэтому начальник телеграфа всегда был другом секретаря обкома, чтобы вовремя остановить клевету про сгоревший клуб, который строить не начинали.

А ещё телеграммой вызывали на переговоры. Телефонные. Междугородние. За два-три дня. А теперь – мобилки. Звони двадцать четыре часа в сутки, пока денег хватит. Но слышать и понимать – слова разные. А ещё мобилки поют, фотографируют, кино снимают, погоду предсказывают. Сделали они нашу жизнь лучше? Наверное, в той же мере, как и цветные телевизоры – тогда, как сказал классик, видеть стали лучше, теперь слышать стали чаще. Вот куда можно зайти и погреться, это в магазин, где мобилками торгуют.

Нет, лучше зайду в другой, на часы полюбуюсь. Магазин дорогой, но одет я прилично. Интересная закономерность – чем дороже часы, тем хуже идут. Вот эти, например, с турбийоном, это такая штука, которая влияние гравитации на ход часов устраняет, плюс лунный календарь – очень нужная вещь, а главное показывает всем, что есть у владельца таких часов лишних тридцать тысяч долларов, и всем он об этом сообщить рад.

Каждый хочет выглядеть значительным, а ещё лучше - знАчимым. И нет, чтоб хвастаться, кому помог, скольких вылечил, накормил, сколько домов починил и ям заасфальтировал. Нет, говорит, у меня часов восемь штук, и все разное время показывают, а у меня четыре яхты: по одной на океан. А третий «Гольфстрим» купил. Пока не течение, а только самолёт, и на сынишку жалуется: не любит мальчик, когда посторонние в самолёте летают.

А может так и надо? Потому что, если те, у которых самолеты, яхты, часы с турбийоном, вместо этого кормить и лечить нас примутся, мы же тогда вообще пальцем не пошевелим, мы тогда даже на выборы не пойдем. Кто же за них проголосует?

А за кого голосовать? За интеллигентов? Так интеллигенты в политике, как критики в искусстве: знают как, но не могут. Болит у них душа за судьбу народа, а он об этом и не догадывается…

Стою, смотрю в окно, напротив магазин «Оптика». Что больше всего отличает человека от животного? Очки. А интеллигентного человека от нормального? Снова очки. А что отличает богатого интеллигента от бедного? Правильно - оправа очков.

А кто они, интеллигенты? Придумал романист Петр Боборыкин это слово во второй половине 19-го века, желая обозначить переживающих за судьбу крепостного крестьянства в России. А дальше мнения по поводу этого термина разошлись. Когда Владимир Набоков преподавал в Америке русскую литературу, ему сложно было найти адекватный перевод таких слов как «пошлость», «хамство», «интеллигенция».

Я впервые зафиксировал свое внимание на этом термине, просматривая в детском возрасте фильм «Чапаев». Там белые идут под бой барабанов в психическую атаку. А один из красных, перед тем как начать их методично расстреливать, произносит: «Красиво идут, интеллигенция». Из чего я понял, что слово это не хорошее, а глубоко враждебное. Когда воспроизвел его с услышанной в фильме презрительной интонацией, первый раз получил от мамы по губам. Уважение к интеллигенции сразу выросло.

Раздайте сотрудникам чистые листочки и попросите, не заглядывая друг к другу, написать два слова: «интеллект» и «интеллигент». Если число ошибок не превышает числа сотрудников, ситуация штатная, если превышает – приглашайте на работу интеллигентов.

Ладно, надо выходить на улицу.

Вообще, в небольшие магазины заходить неудобно, они всегда пустые. Я, например, живу напротив магазина «Ковры» уже год, но еще не видел, чтобы кто-то их оттуда выносил…

В маленьком магазине к вам сразу подходят, спрашивают: «Чем могу помочь?» - это понятно, продавцы тоже люди, им скучно, да и процент с продажи получают. Это раньше, когда все были равны, продавцу было важно показать, что он тебя главнее. Теперь мы не равны, потому что оказалось, что равенство - это идеал зависти (сам придумал). Мы равноправны, а дальше каждый зарабатывает, как умеет.

Неудобно перед продавцом в маленьком магазине, не скажешь ему, что меня, пятидесятилетнего мальчика, гулять послали, а на улице холодно. Можно я тут пока обувь померяю или колечки с камушками посмотрю? Знаешь, что ничего не купишь, а он не знает. Это как в споре. Бабушка говорила: спорят всегда дурак и подлец, один из них знает, как правильно – он подлец, а другой не знает - он дурак. Я с бабушкой не соглашался, доказывал ей, что в споре рождается истина. Выходит, у истины родители - дурак и подлец? Какая же тогда у правды наследственность?

Да, так вот о продавце – неудобно перед ним. Другое дело – гулять по супермаркету. Взял тележку, облокотился на нее и катайся по магазину, рассматривай, читай аннотации, если очки при тебе, хотя некоторые только под микроскопом раскрывают тайну содержимого. Ходишь и удивляешься двум вещам: где все это было раньше и кто это купит теперь.

Видел недавно передачу, журналист олигарху выговаривает, мол, мы не для того на баррикадах стояли, чтобы вы с тридцатью девками в Куршавель катались, а тот спокойно отвечает: «Я с девками даже в кино не хожу, у меня ориентация другая. А на баррикадах вы стояли для того, чтобы на прилавке тридцать сортов сыра лежало». Вот и разбери, кто из них прав.

А еще я как-то задумался, как же мы раньше без всего этого жили и крепко любили «эту огромную и счастливую землю, которая зовется Советской страной», где книгу «Кулинария разных стран» изымали из продажи за антисоветское содержание.

Правильно в мудрой книге написано: многие знания – многие печали. В дедушкином изложении это звучало еще лаконичней: «меньше знаешь – крепче спишь». В 1927 году моего деда исключили из партии. Он говорил, что за троцкистский уклон, а бабушка – что за малограмотность. Так что дед был в материале.

А может, на вокзале погреться? Он, кстати, недалеко. Уезжают, приезжают, табло, люди, зал ожиданий. Ничего не поменялось – просто Мекка, Медина и Земля Обетованная для любителей стабильности и преемственности курса. Даже ассортимент в буфете, как и меню в вагоне-ресторане, за последние двадцать лет резких изменений не претерпели.

Поругаешься в молодости с женой, дверью хлопнешь, пройдешь пару кварталов — и куда дальше? Аэропорт далеко, вокзал близко. Сейчас в зал ожиданий только с билетами пускают, а тогда всех впускали, правда, приходила милиция, интересовалась, куда едете, покажите билет… Жду, говорю, когда касса откроется. Домой иди ждать, советуют, или с нами, протокол оформлять.

Домой не хотелось из гордости, в милицию – из чувства самосохранения.

Это теперь с деньгами везде примут, а тогда, чтобы в гостинице поселиться, надо было в другой город ехать. С местной пропиской не селили. И это было разумно – приезжим мест не хватало, а тут местные начнут номера снимать, с целью ванну принять или еще каких глупостей. Нет полгода горячей воды? Надоело из чайника мыться? Заплати четырнадцать копеек, получи шайку в бане и плещись целый день. Кипяток там был настоящий. Сосиски в нем варили, яйца куриные. Про раков врать не буду. Был, правда, случай, когда в командировке сварили их в электрочайнике. Давно это было и по пьянке.

Иду на вокзал. Все равно туалет скоро потребуется.

Туалеты на вокзалах выполняют важную функцию сохранения связи времен и общественных формаций.

Ничто так не дискредитировало советскую власть, как постоянное желание населения справлять свои низменные нужды в общественных местах. Желание это так и осталось непобежденным марксистско-ленинской идеологией.

Классики этой теме внимания в своих работах уделяли мало. В основном известные ассоциации возникали у них при упоминании интеллигенции и врагов пролетариата. Оставшиеся без основополагающих напутствий советские руководители ничем другим, кроме собственного опыта в решении этой задачи, не руководствовались. А поскольку в комсомол они попадали прямо с горшка, то в общественных туалетах им бывать не доводилось, что и было одним из основных отличий слуг народа от хозяев. То есть этот участок социалистического общежития был пущен практически на самотек, в прямом и переносном смысле.

Иностранцев старались в такие места не пускать, чтобы не подвергать сомнению их мысли о нашем родстве по линии разума. Хотя мест таких было немного, держать у каждого по милиционеру в противогазе, требующего паспорт с пропиской, руки не дошли. Махнули рукой, пусть клевещут.

Не успела еще прежняя власть в бозе почить, как предприниматели стали наши уборные из мест накопления сами знаете чего в места накопления первоначального капитала превращать, сделав их платными...Но не чистыми.

Вышел с вокзала. Быстро и недорого. Может, теперь в парикмахерскую? Светло, тепло, везде зеркала, пахнет замечательно. Если к мастеру очередь - еще лучше, можно посидеть, послушать пару историй. Парикмахеры редко бывают молчаливыми и с постоянными клиентами разговаривают. Ну не о самом сокровенном, но часто об интересном... Как в интернете. Раньше брадобреи играли роль блогеров.

«Нежные женские руки прикасались к нему только в парикмахерской». Чья эта фраза? Откуда она у меня в голове? Кстати, у парикмахера и нейрохирурга объект приложения общий – голова. В чем разница? Через месяц парикмахер может исправить ошибку. Вот так рождаются анекдоты, сам придумал, рассказал кому-то. Интересно, будут смеяться или улыбаться из вежливости. К счастью, нет знакомых нейрохирургов, им это смешнее должно казаться.

Жаль, что волосы растут медленно, а то можно было каждую неделю сюда приходить... А как теперь голову мыть стали, я уже не говорю про шампуни. Раньше тоже мыли, но вперед наклоняли, словно кланяться заставляли, пригибали, а сейчас назад запрокидывают, и сидишь ты с гордо запрокинутой головой, а к ней прикасаются нежные женские руки... Когда женские руки только в парикмахерской прикасаются, чего бегать анализы сдавать... Хотя сегодня уже и в парикмахерской можно... Раньше брили опасной бритвой, подтачивали ее на кожаном ремне – и вся гигиена... Кого до тебя брили, чем он болел... А с другой стороны, как надои на душу населения увеличивать? Можно доить больше, а можно хоронить чаще. Так и шли с двух сторон навстречу достижениям народного хозяйства. А скольких граждан унес маникюр с педикюром? Теперь приходят или к своим проверенным или со своим проверенным.

Сядешь к парикмахеру в кресло, закроешь глаза, чтобы с ожидающими взглядом в зеркале не встречаться, и вспоминаешь, как мама в детстве голову мыла, как полотенцем заматывала. Фены тогда только в кино видели.

Тогда и теперь. Так и вся жизнь: «до» и «после» – наверное, правда, что если нет прошлого, то нет и настоящего. Но лучший день – сегодняшний, потому что вчерашнего уже нет, а завтрашний...

Подбрасываешь монетку, говоришь «орел», а выпадает «решка». Знал же, что «решка» могла выпасть... Вот и в жизни - все ясно и понятно, только одним «до», другим «после»... Главное, чтобы не вместо...

А что бы я сделал, зная правильный ответ? Разбогател. Богатый - не тот, кто знает больше. Он знает раньше.

Пора возвращаться за результатами. Интересно: те же улицы, здания, тот же путь, а другим все видится, когда не прогуливаешься, а идешь. Дорога назад всегда короче...

Еще говорят, здоровье не купишь. Опять обманывают. И жизнь можно купить, если заплатить вовремя.

А результат у меня положительный. То есть отрицательный. В смысле - все в порядке.

Нет болезни. Нет одной, а остальные? Но думать об этом я сегодня не буду. Сегодня я буду жить и радоваться. Ведь у меня есть семьдесят тысяч поводов для счастья.

**ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ**

*Некоторые так громко думают, не захочешь, а услышишь.*

*Автор*

*Интересно, какой у нее был голос?*

*Нежный, мягкий, вкрадчивый. Или наоборот, с хрипотцой и грудным прерывистым смехом... Все может быть. Единственное, что невозможно представить – чтоб она ругалась, скандалила или орала на мужа, непослушных детей, соседей, прислугу.*

*Мона Лиза. Джоконда. Мечта.*

*Давно искал ее. Думал даже, придется заказывать. Но сегодня нашел - такой пазл, конечно, большая редкость, и стоит не мало, а вот не поленился заглянуть в один магазинчик - сразу после бассейна, не заезжая домой – и, пожалуйста, купил. Какая тяжелая коробка.*

*Располагайтесь, мадам. Это, конечно, не Италия, где Вы родились. И не Париж, где прописаны. Но тоже не последняя, в плане культуры, часть суши.*

*Кстати, о воде – надо поскорее плавки и полотенце развесить, а то опять закручусь, забуду, и послезавтра в бассейн идти будет не с чем.*

*Переодеваюсь, мокрые вещи отправляю на веревку, натянутую поперек кухни, мою руки и надеваю передник.*

*Всегда удивляюсь: если лучшими поварами считаются мужчины, почему кухонные фартуки у нас продаются исключительно женские? Кокетливо коротенькие, с тоненькими завязочками. Даже не женские - девичьи. Нашим-то! Как стимул худеть, видимо.*

Сейчас сварю борщ и займусь пазлом.

Тут главное заранее замочить фасоль. Насмерть. Теперь пусть варится в той же кастрюле. Ой, а томат! Томата хватит? Достаю из холодильника банку, отмеряю мерным стаканчиком. Нормально. Можно приступать к очищению моркови.

Самое нудное в борще, как ни шути, чистить овощи. А ведь мог не мучиться. Напрашивалась помощница. В бухгалтерии работает. Такая… ничего… Экономка. В последнее время намеки делает, видно узнала, что развелся. Вчера в супермаркете столкнулись у кассы, в мою корзину заглянула, спрашивает: «Борщ варить будете?» Дедуктивный метод! Свеклу увидела. «Нет, - говорю, – винегрет». А она: «C огурцами или селедкой? Может, помочь? Я готовить люблю». Говорю: «Спасибо, сам управлюсь»... «Один буряк сказал капусте: А мы тебя в наш борщ не пустим!».

Сегодня смешного деда в бассейне встретил. Всю жизнь прожил у моря, а теперь уроки плавания берет. Да, не брошенный в воду плавать не научится. И борщ варить тоже. Пока жизнь не заставит.

Знакомая мелодия, “Love story”, мобильник. Кому я уже понадобился? Надо было его сразу из сумки достать, теперь пока руки вытрешь, пока найдешь. Алло! Нет, это не Игорь, ошиблись, бывает. Опять! Наверное, со связью что-то. Стоп, а если снова он? Игорь, подчиненный мой, пчеловод любитель. У нас мобилки и сигналы одинаковые, опять он трубки перепутал и мою прихватил, теперь у меня его. А я ещё удивляюсь: никто меня не беспокоит. Красота. Значит, чтобы поговорить с Игорем, надо набирать мой номер. Только он сейчас на даче, с пчелами общается, за майским медом охотится, а где вы видели пчеловода в маске, говорящего по мобильному?

Артист! Который раз такой номер откалывает. И что мне делать? Телефон в карман убирать? Забываю. Поговорю – и кладу на стол. И он кладет. А потом путает. А может я ошибся.... Пятница, день тяжелый.

Переходим к свекле, начинаем зачистку.

Вчера мужик из соседнего отдела забежал: кто знает, почем морковь? А свекла? Шеф требует борщ обсчитать. Наш борщ как на Западе гамбургер. Способ измерения инфляции. Подорожал борщ - подорожала жизнь. Спрашивает меня: сам готовишь? Может, пора поискать, на кого передник надеть? Год уже прошел. Я вежливо промолчал. Никто не приготовит, как сам. Мне, например, перец нельзя, кислотность повышенная, я и вино не пью. А она всегда перец бросала – потому что положено. Кем положено? И с луком та же история. Спрашиваю: лук в котлетах есть? Говорит: нет. Я спрашиваю: а это? Я что – слепой? Нет, говорит, ты не слепой. Ты нудный.

Теперь лук. Да... лук заставит и рыбу рыдать… А если чистить в очках для плавания? Вот они, кстати. Что, Мона Лиза, смешно? Вам всегда смешно, а почему – никто не знает.

Лук порезал, можно жарить.

Кстати, эта с работы… экономка. Тоже в бассейн собралась. Хочу, говорит, абонемент купить, плавание подтягивает, а вода там теплая?

В бассейне удобно знакомиться – как и на пляже, потом никаких сюрпризов. Сегодня, кстати, на соседней дорожке такая русалка плавала! Руками махала быстрее, чем хвостом, в ластах не догонишь, если захочешь... Правда, не очень-то и хотелось…

Натираем морковь. Когда в руках терка, отвлекаться опасно, а то борщ перестанет быть постным. Я же не пеликан, чтобы собственным телом питаться. Первый раз готовил — неделю в пластыре ходил, потом сообразил: не надо натирать все без остатка.

Добавляю к луку морковь. А запах!.... Да уж, вся квартира пропахнет. Можно, конечно, форточку открыть, но тут или запах, или сквозняк. В этом году весна холодная, поздняя. Сейчас надену согревающий пояс, и спокойно проветрю.

Один раз вот так из дома вышел, теплый пояс – поверх рубашки. Заметил только в машине. Пришел бы в офис. Весь авторитет насмарку. Не курю, весь такой спортивный. Правда, в бассейн хожу из-за спины. Хотя лекарше все равно нравлюсь. Она мне, кстати, бассейн и прописала. На последнем приеме молоточком постукивает - и вдруг: а вы новую комедию про холостяков видели, может, сходим в субботу? Я сначала растерялся, потом вспомнил, что к маме еду с ремонтом помочь.

Кино. Мне и без кино весело…«Если у вас нету тети, то вам ее не потерять». Это я про лекаршу. Кстати, сегодня тираж. Надо телевизор посмотреть. И нечего улыбаться, уважаемая Джоконда. Думаете, не выиграю? Жена так улыбалась, когда я карточки заполнял.

Теперь натираем свеклу. Ну вот, поранился, нужна срочная дезинфекция! В холодильнике должна быть начатая бутылка водки, можно и рюмочку для аппетита налить. Наливаю, сначала дезинфицирую палец, потом чокаюсь сам с собой и выпиваю аперитив!

Говорят, мы пьем, чтобы сделать других интереснее. А когда с зеркалом чокаемся... Самооценку поднимаем?

Ну да ладно. Вернемся к свекле. Ее многие режут. А я тру. Все равно терку после моркови мыть. И руки от революционного цвета. Для правильного выбора цвета нужен вкус, а у вкуса – не поверите, у него тоже бывает цвет: любимый и не любимый. И не только у Армани с Версачи. Ну, какой цвет вкуса томатного сока, когда в нем размешена соль? Правильно, красный. Вот и у борща такой же, а фиолетовый – это цвет вкуса свекольника. Свекла. Она же буряк. Овощ-трансвестит.

Борщ, как путь в жизни, у каждого свой выходит. Одинаковых не бывает. Уж больно модель многофакторная, каждый продукт можно резать, а можно тереть, можно жарить, а можно тушить, можно с мясом, можно постный…холостой. Кстати, мама звонит через день: Тебе надо жениться, надо найти такую…

«Мужа на час» мне надо найти, видел где-то рекламу, а то опять кран не закрывается. Наверное, что-то с резьбой. Интересно, а есть «Жена на час»? Не по вызову, а пуговицу пришить, посуду вымыть. Но на час. Хорошо, когда женщина как лабрадор: позвал – есть, не позвал — нету.

Перекладываю жареный лук с морковью со сковороды в кастрюлю, где варится фасоль.

Жениться, искать. Кого искать? Сами находятся. Одна ужин предлагает, другая кино. А мне не хочется. Бесплатный секс, как и бесплатный сыр… только в мышеловке. Нет, не хочу. Конфеты-букеты, вроде надежд не давал, но обнадежил, потом неловко. Она, дрогнувшим голосом скажет: «Мы в ответе за тех, кого приручили», и расплачется. Свинцовое чувство вины. А еще вместе работаем.

Лучше Джокондой любоваться. Я знаю, почему ею все восхищаются: она никогда не плачет. «Я с детства не люблю очередей, ночных звонков и слез у женщин, из всех известных мне людей себя я не люблю намного меньше»… С младенчества сочиняю – редко кому показываю.

Высыпаю на сковороду тертую свеклу, жарю.

Что-то мне не очень… Надо проверить давление, вот и аппарат в ящике стола. Сажусь ровно, надеваю манжету, накачиваю грушей воздух, слежу за показаниями: сто тридцать на девяносто пять. Подскочило и сердце постукивает. Лишнюю дорожку проплыл.

В первый раз к лекарше пришел, спрашивает: какое у вас обычное? Откуда я знаю, в космос никогда не собирался. Теперь в курсе: сто двадцать на восемьдесят. Верхнее – когда сердце сжимается, нижнее – когда разжимается. Гидравлика. Умнеем с возрастом. А что такое возраст? Пропорция между тем, что было, и что будет.

И что будет? Как говорил один персонаж, я старый и больной, меня девушки не любят. Про девушек это правда, я им материально не интересен. А кому за тридцать… Для них я не старый. И не больной. Если мне лечащий врач глазки строит, значит, не все потеряно. Машина есть, бегает еще, квартира двухкомнатная, отцовская, не пришлось при разводе делить. Почему тогда один на кухне стою? Развелся. Вырвался. Свобода! Могу пиво пить, а могу не пить, могу тетку на ночь пригласить, могу у нее остаться, всё могу! А что-то не вдохновляет. Вырываешься на свободу, а попадаешь в одиночество.

«Вы сотканы из взглядов, как простыня из льна, как ласковый платок из шелка. Улыбка скромная загадочно-грустна, как будто в восхищеньях нету толка». Красиво? Сам сочинил. Тебе, Джоконда. А когда на работе отмечали день рождения экономки – прости меня за ветреность - я вместо тоста эти стихи ей прочитал. Решила, что про нее. Специфика женского ума: принимать желаемое за действительное. Хотя… умная женщина - одни проблемы, глупая - другие, середины нет.

Лучшая однозначно ты, Лиза, всегда молчишь и улыбаешся, а умная или не умная... Один ученый выдвинул версию, что ты была того, не совсем нормальная. Измерил. Одна рука больше другой, лицо не симметричное. Диагноз. Хотя, думаю, это он от зависти. У большинства людей что-то с чем-то не совпадает, и вообще, здоровых нет, есть не до конца обследованные.

Ну, кажется, все, буряк на треть ужарился, значит готов, можно отправлять в компанию, то есть в кастрюлю. Займусь капустой.

Знакомая мелодия! Опять Игорь кому-то нужен. Может, и мне сейчас звонят?.. Лекарша, например, или экономка. Я тут страдаю в сомнениях, правильно ли живу, а все решается без меня.

Итак, борщ будет, это хорошо. А второе? Что у меня в холодильнике? Грустно. Молоко. Хорошо хоть не скисло. Значит, будет манная каша. Высыпаю манную крупу в молоко, варю, помешивая, чтобы не было комочков.

Когда я в последний раз манку ел? Кажется, ребенку было лет пять. Тогда все недоеденное было мое. Как-то сказал жене, что после такого завтрака хочу не на работу, а с совочком в песочницу играться. Разозлилась: мне что, десять блюд готовить? тяжело есть то же самое? Как в анекдоте: Чем мужа кормите? Что сами едим, то и ему даем. До сих пор помню, однажды промерз, рюмку выпил, закусил кашей, а она, зараза, сладкая! Срочно перебить воспоминание – вот моя рюмочка, а вот и банка с огурчиками на закуску.

Вообще-то мы ссорились редко. Обиделся – замолчал. День, другой, как игра в молчанку. Но кто-то первым обязательно заговорит. Жили неплохо. Среднеустроенная семья. Лев Николаевич писал, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Как дауны. Может, и мы были похожи на других? Но ей проблем недоставало. Стала заниматься чужими, подругиными. Весь вечер на телефоне, исповеди выслушивает, утешает. Бывает, у нас разговор на повышенных тонах, а подруга позвонит – и у жены голос такой ласковый. Может раздражать отзывчивая жена? Может, потому что все на других уходило, а дома – по остаточному принципу. Я ей так и сказал тогда: знаешь где заканчивается путь заботы о ближнем?... На кресте!

Пора снимать кашу с огня. Интересно, зачем я ее сейчас сварил? Ее ж сразу есть надо, а у меня борщ не готов. А потом, как манку греть?

Посмотрим, что рекомендует поваренная книга. Гурьевская каша. Сливок нет, изюм где-то был, орехов и сахара побольше, все запечь. Значит, будет не первое и второе, а первое и третье, борщ и десерт. И здесь середины нет.

Опять покалывает в груди слева, надо измерить давление. Сто сорок пять на девяносто. И пульс восемьдесят. Нет, дистанцию надо сокращать. Тоже мне, амфибия…

Чистим картошку.

Сначала все разговоры дома - только о подружках, потом с ними стала все свободное время проводить. Как-то поругались из-за этого. Она мне бросила: А у тебя, кроме денег, друзья есть? - А ты разве не друг? - Я? Жена. Это другое. Вот так. А потом: Можно Лида у нас поживет? У этой Лиды, кстати, история экзотическая. Жили они скромно, она мужа подпиливала - смотри, как люди крутятся. Потом и у него бизнес появился. Редкий. Змей разводит. Кобры, гадюки, шипят и несутся, как куры, яйца откладывают, из них змееныши вылупливаются. Не знаю, что совсем маленькие едят, а большие - мышей. Живых. Или замороженных, причем живьем. В комнатах змеи плодятся, в морозилке мыши хранятся. Подросших змеек хозяин продает. Таким же ненормальным. Деньги большие. А жена ушла. Что самое интересное – она змей не боится. Она к ним приревновала. Говорит: он в своих гадин влюбился. Лучше бы пил или даже гулял, это нормальнее, чем переживать, что любимая кобра захандрила. Вот спрашивается - где логика? Другую женщину она простит, а змею - нет.

Режу картошку и кладу в кастрюлю, где варится борщ.

Разошлись они, а пока квартиру разменивали, Лида у нас жила. Попросилась на пару недель, жила три месяца, пока я шипеть не стал, как кобра, потому что – сколько можно? Она, конечно, деликатная, но все равно - чужой человек в доме! Они с моей весь вечер ля-ля, тополя, а я вроде третий, ненужный. А то еще одна придет, сядут вместе на кухне и дымят, как линкор, в три трубы.

Пока варится, займусь орехами. Щипцы для колки есть, а вот и супница, у меня в ней хранятся орехи. Игорь с дачи привез, презент, штраф за похищенный телефон. Что еще с него взять? На мед у меня аллергия, а орехи у него хорошие, и чистятся легко и быстро.

В конце концов, Лида от нас съехала. А осадок остался. Вроде я эгоист. Моя такой вывод сделала. Не сказала ничего, но подумала. Некоторые умеют громко думать…

В общем, тот развод оказался заразным. Надоело мне быть чужим на этом девишнике, да ещё эгоистом... Эгоист, это тот кто себя любит больше, чем меня. Каждый из нас эгоист. Сказано же: «Возлюби ближнего, как себя».

А если себя все время ущемлять, что получается? Тут подвинулся, там уступил, в итоге я – не я, а какой-то остаток. Как в загсе говорят? Вы – две половинки одного целого. Не хочу быть дробью! Я, например, хотел альбомы коллекционировать: Прадо, Уффици, Лувр. А ей не интересно, что за увлечение картинки смотреть.

Если б умел, нарисовал бы картину: на кровати лежат мужчина и женщина, каждый читает свою книгу, но книги – одинаковые... И назвал бы картину «Гармония».

А орехи действительно вкусные, надо же, пока чистил, все съел. Будет гурьевская каша без орехов.

Ей всегда водить хотелось, но я за руль не пускал, боялся. За нее боялся! А она считала - машину жалею, и обижалась.

Наверное, есть тысяча причин, почему люди расходятся, и только одна, почему они вместе, но ее никто не знает. Говорят, любовь. Но если она есть, то куда девается, была, и вдруг нету? Почему сначала жить друг без друга не могут, а потом видеть не хотят? Диагноз придумали: «не сошлись характерами». Двадцать лет сходились, как Ленский с Онегиным на дуэли...

Вчера анекдот рассказали: мужик читает тв-программу: в пятницу матч по боксу на звание чемпиона мира. Всю неделю готовится - ящик пива в холодильник поставил, пиццу заказал, кресло переставил. Пятница, матч начался. На двадцатой секунде нокаут. Судья посчитал до десяти. Матч окончен. Мужик недоуменно смотрит на пиццу, пиво, на экран. Тут заходит жена и говорит: Ну, теперь-то ты меня понимаешь?.. Нет, с этим у нас было все в порядке. А вот с пониманием напряженка.

Дорезаем капусту.

Обиды глупые… Я же ее знаю! Пару раз давал руль за городом, на проселочной дороге - координации никакой, сконцентрироваться не может. А потом удобно вышло, ей квартира, мне машина. Хотя мои четыре колеса деньги кушают быстрее, чем ездят, и стоянка дорогая. В последнее время перед домом под окнами ставлю. Как там она, кстати… Мама дорогая, угнали! Угнали мою старушку!..

Вниз не наверх, сбежал через две ступеньки, чуть соседа не сбил. Выбежал на улицу... Что делать? Вечный вопрос. Иду по инерции, дошёл до угла. Стоит родимая. Так и инфаркт получить можно. От склероза. Забыл, что машину за углом припарковал. Хорошо, что в милицию не позвонил, чужой мобильный дома остался. Дискретная амнезия. Что на завтрак ел – не помню, а какое вино на выпускном вечере из горлышка пил – забыть не могу. Перегнал под окна и назад на кухню. Борщ, как любовь, надолго оставлять нельзя. Померил давление. Нормальное. Удивительное рядом... Наливаю, но не пью, пусть пульс стабилизируется.

Пашка на права сдал, теперь тоже обижается, что машину не даю. Кто же против, катайся, но когда я рядом. Без меня - понятно: компания, девочки, лихачество. Ранняя весна…Мозгов-то в девятнадцать не густо, себя помню. Хотя он у меня любитель мудрости, на философский поступил. Сколько ему ни объяснял, что кроме учебы в жизни есть еще работа.. Нет, каждый хочет на собственные грабли наступить, а все мамино влияние! Подруга, которая мужа с коброй не поделила, на кафедре философии работает, книги подсовывала: Камю, Сартр, Фромм, быть или не быть, быть или иметь, пить или не пить? Слова умные выучил: экзистенциализм, постмодернизм. Бороду отпустил, волосы до плеч, джинсы рваные. Мудрец сопливый. Кстати, Пашка - то немногое, что получилось по-моему. Она дочку хотела.

Кладу капусту в борщ. Скоро доварится, наконец-то пазлом займусь.

Лиза, а Лиз, не скучно там, в Лувре, особенно по вечерам? Скажи мне, одиночество – это когда ты никому не нужен, или когда тебе никто не нужен? Я сначала думал, что первое. Но ведь те, кто на самом верху, они-то всем нужны, а при этом самые одинокие. А почему люди расстаются? Устают смотреть друг другу в глаза? Кто из нас первый устал? Я? А может она, а я не заметил. После гляделок стали «в молчанку» играть. Оба понимали, что пора разойтись, а кто первый скажет...

Во Франции есть агентства расставаний: сотрудник сообщает твоей половине, что финита ля комедия. За деньги, конечно. Интересно, как это выглядит? Будьте любезны, передайте жене, что я хочу развестись. – Ваша жена сказала, что вторую такую дуру вы не найдете. – Такую? Точно не найду.

Включаю конфорку под сковородкой. Кладу томат.

Скоро розыгрыш. Между прочим, я два раза выигрывал: один раз мелочь, а второй - еще при коммунистах - сто рублей. Чемодан купил, мечтал в Европу съездить. С ним и ушел. Посмотрим-посмотрим, где тут моя лотерейная карточка? Вот она. Даты- числа. Дембель, свадьба, сын родился, кандидатскую защитил, начальником отдела стал. Развод. Итого – шесть. Из сорока девяти.

Теперь можно и рюмочку. За удачу!

Кто-то сказал, что жизнь состоит из любви и ошибок. А по-моему, она состоит из любви и одиночества. А может, из одного одиночества? Ведь мы все у себя одни. Конечно, мне нужен кто-то, чтобы рассказать о себе. Не послушать кого-то, а рассказать о себе! Но разве этим «кто-то» не могу быть я?

Может, и любви нет, как снежного человека. Каждый ее описывает по-своему. Я думаю, любовь это трансформированное одиночество, когда одному уже никак, и в дружном коллективе никак. Но если у явления много определений, то вряд ли оно существует. Был бы эталон любви… Под стеклянным колпаком, рядом с метром и килограммом.

Философ! Чуть на сковороде все не сгорело. Перекладываю содержимое сковороды в кастрюлю, там уже все перемешалось. «Смешались в кучу кони, люди» - это плохо, это война. Лучше, когда люди не смешиваются, а переплетаются. Я бы и сейчас вышел на демонстрацию под лозунгом: «Люби, а не воюй». От этих недолюбленных и недолюбивших все войны, все беды.

Пробую борщ. Настоится – вкуснее будет. Если раньше не съем.

Мы поначалу часто вдвоем готовили, в четыре руки. Конечно, она была шеф, а я, так сказать, поваренок. Свеклу почистить, картошку, чтобы она маникюр не портила, вместе над луком плакали, потом смеялись. Разве такое может повториться… без нее? А может, я до сих пор - с ней? Готовлю, спорю, говорю, по утрам стараюсь не шуметь. Говорят: не сошлись характерами. На самом деле биоритмами. Птицы в одной клетке не ужились, я жаворонок, она сова. Мне спать хотелось, ей - телек смотреть. Утром наоборот: ходил на цыпочках, чтобы не разбудить.

Опять знакомая мелодия и тот же номер! Надо же, какая упорная дама. Отвечать не буду, Вам Игорь нужен, ничем помочь не могу. И вообще, не грузите меня, у меня разгрузочный день. Постный борщ и холостой вечер.

Порядочный человек чужие письма не читает и чужие трубки не берет. Кстати, о порядочности. Вышел как-то из института зимой, иду к машине, слышу: Мужчина! Мужчина, постойте! Обернулся. Женщина поскользнулась, кулек порвался, все рассыпалось - яблоки, капуста. Она все это собирает. И видит, что я вижу. Отворачиваться неудобно, подошел, поднимаю яблоки, а у нее другого пакета нет, принес из машины. Собрали урожай, все не помещается. Она мне в руки кочан капусты сует, и жалобно так: мужчина, помогите донести, один квартал... Я, конечно, подвез. Оказалось, три. Потом между домами, налево-направо, за угол. Пока обратно выруливал, за столбик зацепился, машину поцарапал. А все из-за чего? Из-за ложного чувства порядочности.

Не пропустить бы тираж, включу-ка телевизор заранее. Опять политика. Выборы. Наобещают каждой бабе по мужику, каждому мужику по две бабы. У лжи короткие ноги, но память у людей еще короче. Игорь интересно рассказывает, как пчелы голосуют. Почти как люди, только результаты подтасовывать еще не научились. Все за новую матку проголосовали – старую убили. А если голосов поровну, то желающие остаются со старой, а остальные улетают с новой. Матриархат. Насекомые все-таки. Куда им до нас.

А вот и тираж. Началось. Так. Так. Таааак....Ещё. Ага. Да. Ура! Вы-игр-рал! Вы-иг-рал! Все выиграли, и дембель, и сынок мой бестолковый, и степень кандидатская, и должность тяжелая, и свадьба первая, она же единственная. Пять из шести. Эх, черт, с разводом промазал. Хотя сорок первого числа развестись было практически невозможно. Но пять номеров – это, как ни считай, а меньше десяти тысяч хороших денег не получится.

От радости я чуть не схватил в объятия телевизор, но во время остановился – тяжелый… Коробка с пазлом стала моим бальным партнером. Кружа ее по кухне в ритме вальса, я подумал, что, похоже, это она принесла мне удачу. Спасибо, Джоконда! Без тебя как-то не складывалось.

А ведь ей и самой когда-то повезло - мог же Леонардо другую Мону изобразить. И мне повезло, что не забыл карточку заполнить, вот было б обидно - я ведь одни и те же числа зачеркиваю. Ну, на эти больше ставить не буду, теорию вероятности не обдуришь. Ничего, другие даты жизнь подскажет.

Что ж, за успех, надо выпить! Я бы и тебе Лиза налил, но знаю, что откажешься.

Ни одна женщина не догадывается, как мужику нужна победа. И чем больше, тем лучше. Вот сейчас машину-старушку подрихтую, все починю-заменю, а то в последнее время я у нее деньги одалживал, на ремонте экономил. А может, наоборот? Новую куплю. Ну, не новую, а поновее. И в квартире ремонт сделаю, а то метры есть, а комфорта мало. Пашке компьютер самый навороченный, чтоб весь курс завидовал. На работе никому не скажу. Даже Игорю, а то сразу одалживать будет на новые ульи, пчел ему не хватает. А экономке? Скажу, но попозже, когда все потрачу. Как говорил покойный отец: мудрый – это умный в рассрочку.

Нет, неправильно… Приглашу любительницу готовить на чужой кухне в ресторан. Вместе с лекаршей из лазарета. Пусть пообщаются. Посоревнуются в честном бою.

Какой же я молодец! Горжусь своим упорством! Как-то с Пашкой разговор случился на философские темы: почему, говорит сын мой, гордость это хорошо, а гордыня смертный грех, причем первый в расстрельном списке? «Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха». Потому, отвечаю, что от гордыни все беды на земле. Войны, перевороты, измены. Кстати, не только христианство, все религии призывают к смирению. Ислам в переводе с арабского «покорность», идея буддизма - избавьтесь от желаний, и вы избавитесь от страданий. Пашка задумался: А прогресс? Эволюция, в конце концов? У амебы проснулась гордыня стать инфузорией-туфелькой, и все завертелось? Потом говорит: Тебе не кажется, что это те, кто всего добился, говорят остальным – вам не надо. Тем более, что на всех не хватит. И за ограничениерождаемости борются те, кто уже родился. Тут я ему конкретные советы по рождаемости стал давать, и философскую нить мы утеряли. Может, и хорошо, что утеряли. Пусть желает. Кому нужна жизнь без желаний? Лучше желать и страдать, чем блаженствовать, как овощ, пока тебя в борщ не бросили.

Опять”Love story”! Ладно, отвечу. Я теперь добрый.

Голос у девушки был нежным, мягким и вкрадчивым.

Вначале объяснял ей, что я не Игорь, ничего никому не обещал и в рестораны хожу редко, только по знаменательным поводам, а потом сообразил, что зовёт она меня не на ужин, а на презентацию турагенства, с фуршетом, где будет разыгрываться поездка в Париж... Начало презентации через час. Странно, но я согласился.

Почему – трудно сказать. Собирался ведь пазлом заняться…Что на меня повлияло? Вкрадчивый голос? Выпитая водка? Внезапный выигрыш?

Водки-то я совсем мало выпил. Правда, натощак. КПД выпитого натощак всегда высокий. С утра не пробовали? Нет, не похмеляться, а сто грамм перед работой? Я тоже никогда не пробовал, пока не отравился. Друзья посоветовали – проснёшься, размешай в ста граммах водки чайную ложку соли и залпом. Двойной эффект: прекрасное настроение и здоровый желудок. А пить и закусывать, это как жать на газ и тормоз одновременно. Но все события люди по вечерам отмечают, нет, чтоб за завтраком.

Нет, это выигрыш мне энтузиазма добавил.

А что? Фуршет, презентация, туры будут разыгрывать… Ясное дело - пиарятся и залежалые путевки продают. С другой стороны, сколько же там интересных людей будет, которым в Париж хочется! И я всю жизнь об этом мечтал… Понятно, что не выиграю два раза в один день. Не выиграю, так куплю поездку.

А что мне машину-то менять? Нормально ездит, и квартира уютная. Нет-нет, Пашке компьютер куплю обязательно. А на остальные деньги – во Францию. Вдруг мне на фуршете кто-то понравится. Приглашу на чашечку кофе. И не на кухню, а на Эйфелеву башню. Им же, претенденткам, наверно, не только магазины интересны, но и музеи не чужды. И никто там меня не знает. Можно историю болезни с нуля начинать. Это я про любовь так шучу.

Ради такого случая костюм с галстуком надену. Хорошо, что я его вчера не развязал. Так завязывать и не научился. Раньше это жена делала, теперь Игорь на работе.

Вот так всегда: планируешь одно, а получается разное. А с другой стороны, как французы говорят – все, что ново, то прекрасно. А то от разговоров с самим собой не далеко до занятий любовью с тем же собеседником.

Лиза, отпустишь меня на твои жилищные условия посмотреть? Опять улыбаешься? Все говорят, что твоя загадка в улыбке. А мне другое любопытно. Какие у тебя ноги? Наверное, красивые. Иначе не стал бы тебя Леонардо рисовать.

Интересно, та, которая звонила, Игорю просто знакомая, или как? У него, кстати, этих «или как» почти как пчел. Как-то спрашивает меня: знаешь, что такое вечность? Это время между тем, как с женщиной переспал и посадил ее на такси. Циник. Но что интересно – женщинам нравится.

Ему сорок пять, женат не был, все твердят: женись, как же ты без детей! А у него любимый анекдот: сбежал мужик с каторги, поймали, следователь интересуется: Чего бежал? – Жениться хотел. Следователь задумался: Странное, говорит, у тебя представление о свободе.

Целую теорию придумал: мужчина животное полигамное, природа так задумала, а женщина – наоборот. Вот семья львов, сколько их там? Один глава, несколько самок, общие дети. И у мусульман похожее, а это четверть мира. Главное, чтобы честно. Никто же этой, в парандже, не говорит, что она будет единственной. И Игорь не обещает под венец вести. Натуральный промискуитет... Я когда с этим словом первый раз встретился – смысл уловил, а значение не понял. Думал от английского promise – обещать куитет, то есть ничего не обещать. А оказалось, что это “стадия ничем не ограниченных отношений предшествовавших институту брака и семьи”. Не поленился в словарь залезть.

Вообще мужчины делятся на тех, кто любит женщин, и тех, кто любит женщину. Я, наверное, отношусь ко второй категории. Может, моё время ещё не пришло. Возраст полигамный не наступил, а может, уже прошёл, а я и не заметил. Пойду вторую половинку искать. Цельность надоела, опять в дроби потянуло.

Как я выгляжу? Ну-ка зеркальце, скажи… Мама дорогая! Согревающий пояс опять не снял.

Вот, теперь я готов к фуршету.

А как быть с борщом? В холодильник нельзя. Пусть остывает. Настаивается. Любите вчерашний борщ – приходите завтра.

А я - а вдруг так случится, что мы - сегодня придём. Но это будет уже другая отдельная история.

1. Матковский Максим «Вне зоны покрытия», «Что делать, если пропал дом»

***Максим Матковский***

**Вне зоны покрытия**

Суббота.

В квартире делать нечего.

Живу я сам. Убираюсь редко. Почти всё время в городе провожу. На работе. У друзей. В барах, пивных и прочих ужасных местах. Опустошение личности происходит по ряду причин.

Часто не ночую дома.

Раньше, полгода назад, у меня была собака. Я её забрал у родителей. В детстве они были против собаки, но я всё равно принёс щенка домой.

Щенка я взял у соседа Лёхи.

У них то ли овчарка родила, то ли дворняжка. Вроде она и овчарка, а одно ухо висит. Говорят, если одно ухо висит, то собака наполовину породистая. Не знаю. Всего у них было четыре щенка. Я выбрал самого резвого, пасть чёрная! Он носился по двору, выбегал через калитку, если кто-то её открывал. Рыл ямы в саду и гоголем расхаживал у соседей, пугая кошку.

- Как ты его назовёшь? – спросил Лёха.

- Не знаю, - ответил я. – Джек? Джек! Джек! Ко мне…

Щёнок мигом подбежал ко мне и прыгнул лапами на штанину, выпачкав её грязью.

Вышла мама Лёхи, она работала в больнице по ночам, поэтому днём всегда была раздражительной и уставшей. От неё пахло карболкой.

- Тебе точно родители разрешили взять щенка? – спросила она.

- Точно, - говорю.

- Сейчас я позвоню твоей маме и спрошу…

- А у нас дома телефона нет, - соврал я.

- Хорошо, бери его, только не обижай…

Первое время я щенка от родителей прятал у себя в комнате. Родители уходили очень рано, а приходили очень поздно. Отец вкалывал инженером на первой ступени каскада Киевской ГЭС, мать вкалывала в ресторане поваром.

Отец – высокий и худой человек. Он бы запросто мог сыграть главную роль в ужастике про вампиров.

Я его боялся.

Взгляд у него злой.

Редко когда улыбнётся, редко когда похвалит или возьмёт с собой.

Мать говорит, что он один там отвечает за все трансформаторы головой, поэтому очень переживает и устаёт.

Однажды ночью на ГЭС загорелся трансформатор и отцу позвонили. Он быстро оделся, схватил пачку сигарет и уехал. Вернулся он только следующей ночью. Вымотанный, руки дрожат.

Мне невыносимо жаль отца, когда он сидит на кухне угрюмый с телефонной трубкой и записывает какие-то показатели, договаривается. Но часто он выходит из себя, ругается, кричит… настоящий демон!

И тогда я ненавижу его. Желаю ему от всей души скорейшей смерти.

Мать говорит, что у них там все на работе ругаются, потому что работа очень нервная*. И если бы они на работе не ругались, то мы бы с тобой сейчас без света сидели*.

- Представь, в городе пропадёт электричество… и окажется, что папа виноват?

Я принёс щенка и постелил ему старое покрывало на балконе. Поставил мисочку с водой.

Родители дня два ничего не замечали.

А потом пришёл сосед и сказал, что не может спать, ведь щенок так жалобно скулит на балконе!

Папа пошёл на балкон, и на него тотчас же передними лапами наскочил Джек.

Папа сказал:

- Если ты не отнесёшь его туда, где взял – утоплю.

Так мы и прожили в квартире пятнадцать счастливых и ужасных лет: я, папа, мама и Джек.

Потом я купил однокомнатку на Салютной и забрал старого пса к себе. Иногда Джек падал на брюхо и не мог встать. Мучился от судорог. Что-то с сердцем. Лапы дрожали и отказывали. Я возил его в местную ветеринарную. Частная клиника.

Постоянные очереди. Люди с кошками, попугаями, хомячками…

Однажды в приёмной сидела маленькая девочка и плакала. На руках она держала декоративную крысу.

Девочка посмотрела на меня полными слёз глазами.

- У моей Кати облазит хвооостик… - сказала она.

Я же на руках держал большого старого Джека, с хвостом у него был полный порядок. Он дрожал от судорог, я смотрел в его карие глаза и гладил по спине.

У него глаза, как у старика на смертном одре. Он всё понимает, жизнь загнала его в тупик. Он чувствует, что уже не выбраться, вот он финал и… ветеринар делает укол.

И его отпускает!

Волшебство, скажу я вам. Настоящее, чёрт возьми, божественное чудо!

Он прыгает на задних лапах, тянет меня на улицу.

Я небольшой специалист по части догадок, о чём бы нам сказали животные, если бы умели говорить, однако уверен, что в тот момент Джек бы сказал:

*Господи, хорошо-то как!*

Да и выглядел он, как собака из рекламного ролика про собачий корм. На улице Джек принялся выплясывать на задних лапах вокруг старенького «дэо ланоса», который мне достался от отца.

*Хозяин, дружище, быстрее, поехали из этого проклятого места! Сеньор! Любезный мистер, давайте поскорее забудем обо всём плохом и отведаем говяжьих сосисок!*

Полгода назад Джек умер.

Я пришёл домой после работы. Он лежал на кухне. Ничего особенного. Всё к этому шло. Я смирился, что Джек умрёт.

Смерть – это не дикий вопль в ночи и не старуха с косой. Смерть – это всего лишь унылая коряга, плывущая вниз по реке.

Часто мне снилось, что Джек умер. Часто я приходил домой и думал: сейчас открою дверь, а Джек не выбежит меня встречать.

Он умер.

Мы похоронили его в лесопарковой зоне недалеко от дома. На кладбище домашних животных.

Я позвонил Лёхе и сказал:

- Пошли, пройдёмся.

Я замотал Джека в своё старое студенческое пальто, местами побитое молью. А потом одел сверху два мусорных пакета и перемотал скотчем. Правильно или нет? Я первый раз хоронил собаку.

Лёха взял лопату, была осень, моросил лёгкий дождь. Нет хуже города, чем Киев во время дождя. Небо серое, вороньё над девятиэтажными коробками кружит. Воздух чистый, кристальный. Что ещё сказать? Вы и сами всё знаете про тоскливый пейзаж спальных районов.

Дышится легко на кладбище домашних животных.

Некоторые могилки с крестами, на крестах – фотографии, кошечки и собачки, редко попадались попугаи и крысы. На некоторых могилках свежие цветы в баночках, вероятно, их принесли дети или сумасшедшие старушонки.

Я выкопал неглубокую яму и похоронил пса. Лёха произнёс что-то вроде надгробного слова:

- Ни разу не укусил, спасибо.

Лёха купил в «Форе» две бутылки севастопольского портвейна, и мы распили их в лесу. Тишина, никого. Мы сидели себе на пеньках и потягивали вино из бутылок молча. Курили сигареты.

После обеда позвонил Лёха, судя по веселому голосу – пьяненький, но ещё не так, чтобы в дым.

Отродясь я не помню такой тёплой зимы. Солнце и ласковый ветерок, никакого намёка на снег или мороз.

Лёха сказал:

- Приходи в парк через полчаса. Мы будем жарить мясо, и пить водку.

- Хорошо, - отвечаю.

И одеваюсь. Как тут откажешь?

Пиво – это трусость и слабость, вино – это прыщавая философия, коньяк – это плаксивая горилла, лезущая вам на плечи, а водка – это всё вместе взятое.

Каждый должен выработать свой собственный стиль борьбы с опустошением личности.

В парке никого нет, не сезон. Грязное озеро, катамараны, пристёгнутые друг к дружке цепью, закрытый павильон аттракционов и игровых автоматов, колесо обозрения маячит над голыми деревьями.

Я набираю Лёху и оглядываюсь.

- Алло, подходи за павильон с чёрного входа.

Там тяжёлая ржавая дверь. Внутри – разный реквизит и тир для стрельбы из лука. Посреди тира стол стоит. Ярко светят лампы. За столом сидят два мужика лет по тридцать пять. Девушка лет двадцати нанизывает на шампуры мясо и лук из большой кастрюли.

Я подхожу к столу и здороваюсь. Мужики представляются: Вадим и Коля. Девушка – Света. Они предлагают мне выпить. Как тут откажешь? Только начали пить, ещё не пьяные, мы пьём по одной. Закусываем помидорами, солёными огурцами и домашней, крепко проперчённой, бужениной.

Водка сразу хорошо, по-доброму вставила. В тир заходит Лёха с каким-то очень пьяным и очень толстым мужичком лет сорока.

Мужичок, пошатываясь, всем добродушно улыбается. Одет он дорого. Строгий деловой костюм и кожаная куртка.

Лёха говорит, что мужичка звать Андреем, и что он является его шефом – директором департамента регионов. Ещё Лёха говорит, что у его лучшего друга Коли сегодня день рождения. Я нащупываю в кармане джинсов двести гривен, сжимаю их и передаю Коле через рукопожатие свои поздравления.

Мы подходим к столу. Пьяный Андрей качается, грозясь завалиться на яства.

- Мы ещё с утра на работе пить начали, - объясняет Лёха. – Никого нет… красота! Все на выставку уехали! А мы вино, шампанское, чачу… дилеры из областей передают.

Андрей хочет произнести тост. Он плохо выговаривает слова. Запинается. Со рта летят слюни и кусочки еды. Из рюмки в его пухлых пальцах выливается водка. Ему снова наливают, водка опять выливается. Ему наливают ещё раз – и он тут же, не чокаясь, опрокидывает рюмку и суёт сигарету в рот.

Коля и Света зовут всех наружу. Там, в закрытом дворике стоит детская карусель, возле карусели дымит мангал, в мангале трещат раскалённые угли. Коля выносит водку, и мы начинаем пить на улице. Свежо, прохладно. Смеркается. Вадим рассказывает анекдот, я смотрю на всех и улыбаюсь – это во мне человеколюбие просыпается.

Звонит мать и спрашивает, где я и как, не хочу ли к ним заехать прямо сейчас. Я говорю, что сейчас никак не могу, у приятеля день рождения. Мать говорит:

- Давай, уйди пораньше. У нас новость. Отец уезжает в Запорожье. На год. Его там назначили директором ГЭС.

Я отвечаю, что приеду, как только смогу.

- Ты сильно хоть не напивайся там, - мать просит. – Отец этого не любит, сам знаешь.

А я не люблю его кислую физиономию, думаю я.

Когда Коля дожарил мясо, мы всё занесли внутрь и продолжили пить. Честно сказать, я сильно напился на улице. Мне много не надо, я худой и крепкое спиртное выпиваю редко. Только пиво с коллегами по проклятой бессмысленной работе. Поэтому и судить не могу – кто был пьян, а кто не очень. Лёха тщетно пытался вызвать такси Андрею и долго объяснял, как проехать в парк. Диспетчеры отвечали, что не могут подать сюда машину.

Андрей ответил, что ничего страшного, он ещё посидит. Он как будто и отрезвел немного. Ходил, разглядывал мишени и спортивные луки.

Спрашивал у Светы про луки, да про стрелы. Света, как выяснилось, подрабатывала у Коли в тире.

Вадим рассказал, что она даже в Олимпиаде два года назад участвовала.

Коля и Вадим – нормальные добрые мужики, мы мило беседовали, сыпали анекдотами и разговаривали про рыбалку.

Вадим работал на СТО, мазут в его пальцы въелся навечно.

Света включила магнитофон и начала танцевать с Лёхой. Жуткая русскоязычная попса. Я к музыке равнодушен. Не разбираюсь совсем, даже не знаю, что же мне нравится слушать.

- В детстве я всегда мечтал, чтобы мой папа или дед были директорами в парке Победы. Чтоб я мог с утра до вечера на аттракционах кататься, играть в морской бой... - говорю я.

- Ну, я же не директор, - Коля отвечает.

Я подымаю рюмку и уже толкаю тост:

- Желаю, чтоб у каждого ребёнка был такой папа, как ты!

Мы выпиваем втроём. Подбегают Света с Лёхой. Тянут нас за руки - танцевать. Мы танцуем. Зовём Андрея. Андрей протрезвел, такой добрый неуклюжий толстячок. С намечающейся лысиной. Танцует, всем улыбается.

Мне звонит мать. Она по голосу чувствует, что я уже крепко выпил:

- Ну что… когда домой заедешь? - говорит она осуждающим строгим голосом, как во времена моей юности, когда я шатался: бог знает где… и приходил домой в три утра, футболка от рвоты грязная, перегар километровый!

- Хорошо, - отвечаю (это единственное слово, которое я могу произнести, не запинаясь).

- Хорошо, - повторяю я, как много лет назад повторял, сидя за столиком где-нибудь в «Ноте». Где опасно, интересно, пьяно и накурено.

- Что хорошо? - строго спрашивает она.

Ничего не изменилось. Наши отношения застыли на уровне восьмого класса. В классе восьмом мы последний раз и говорили нормально. Без осуждений. Без подозрений. Без придирок и ненависти.

- Буду, - говорю. Она что-то отвечает. Я плохо слышу. Музыка громко играет. Выхожу во внутренний дворик. Там темень, я спотыкаюсь о низкое железное ограждение возле детской карусели и падаю. Телефон летит. Я больно ударяюсь подбородком о землю. Где-то под каруселью светится дисплей телефона. Я шарю рукой в лежачем положении и нащупываю его. Подношу к уху.

- Алё... ты слышишь меня? - рассержено спрашивает мать. – Нет, ну что это такое… опять твои загулы начинаются, я же тебя давно ни о чём не просила. А тут раз попросила. Ты уже напился…

- Не напился, - говорю. Лежу на земле, смотрю на звёзды. Лёха выходит во дворик и зовёт меня. Я не откликаюсь. Он уходит.

- Отец уезжает, - мать говорит. - Сегодня ночью. Я хочу с ним на неделю поехать. Помочь. У тебя есть ключи от дома?

- Есть, - говорю. Ключи от родительского дома я ношу на брелке вместе со всеми ключами - от квартиры, от гаража, от дачи.

- ЗНАЧИТ, я тебя попрошу... - и обязательно ей нужно говорить это сухое слово "значит". Как же оно меня злит. - Попрошу наведываться к нам каждый день, и желательно сегодня у нас ночуй…

- Да, мама, - говорю я.

- Всё, только много не пей, бери такси… я тебе позвоню завтра утром, - безапелляционно, категорично. Металлический голос. Ничего живого. Кладёт трубку.

Я захожу внутрь - в углу, возле старых игровых автоматов танцует Андрей. В руках у него бутылка водки. Он периодически отпивает из неё. Или делает вид, что отпивает. За столом сидят Света, Коля и Лёха.

- За Вадимом приехала жена, - говорит мне Коля и улыбается. Хлопает по плечу. - Давай выпьем, дружище...

Мы выпиваем. Краем глаза я замечаю, что Андрей вертит лук в руках. Света подбегает к нему и забирает лук. Кладёт лук на стол и начинает танцевать.

Она дёргает меня за рукав:

- Пошли, потанцуем, медленный танец… ну пожалуйста.

Я беру её за руки и смотрю ей в глаза. Глаза её - как два каштана в огне. Я сильно напился, но хочу напиться еще сильней.

Мы танцуем. Коля подаёт рюмку. Потом я погружаюсь лицом в её чёрные волосы и целую её. Сначала в шею, потом в щёку, потом в губы. Она не против. Прижимаю её к себе - чувствую её твёрдую грудь. Вокруг нас выплясывает и хлопает в ладоши Андрей.

- Хочешь пострелять из лука? - спрашивает она.

- Я не умею…

- Я тебя научу.

- А ты хорошо стреляешь? - спрашиваю её.

- Очень. Могу муху убить со ста метров.

- Робин Гуд?

- Робин Гуд приходил ко мне учиться.

Я подхожу к столу и беру самый большой помидор. Лёха и Андрей смеются. Они думают, я шучу. Иду в конец тира. Туда, где мишени.

Становлюсь возле мишени. Ставлю на голову помидор.

- Давай! - кричу ей.

- Ты мне веришь? - спрашивает Света и вкладывает стрелу.

- Не надо, - говорит Коля.

- Ладно, всё… - говорит Лёха и встаёт из-за стола. Я вижу, как летит стрела. Как поезд, на котором очень не хочется уезжать. Стрела летит целую вечность. Я не зажмуриваю глаза. Успеваю рассмотреть испуганные лица Коли и Лёхи. Рассеянное лицо Андрея, который внезапно застыл. Перестал танцевать. Стрела врезается в мишень возле моего левого уха.

- Не шатайся, - говорит Света и заряжает вторую стрелу. Я поправляю помидор. Вторая стрела попадает в мишень чуть выше головы.

- Не трогай помидор, - говорит Света. - Так нечестно.

Она улыбается. Заряжает третью стрелу и та уже мчит ко мне. Мякоть помидора стекает по моему лицу.

Коля облегчённо выдыхает. Андрей подходит ко мне и внимательно рассматривает стрелы.

- Еще чуть-чуть... - задумчиво говорит он. - Еще чуть-чуть…

Мы шумим в такси. На переднем сиденье сидит Андрей. Проспект Победы. Сначала мы закидываем Лёху, потом Колю, потом Андрея и едем в родительский дом. Подъезжаем к подъезду. Возле подъезда стоит другое такси. Я вижу, как таксист открывает багажник, отец кладёт в багажник чемодан и сумку.

- Остановитесь здесь, - говорю я таксисту.

- Ты - помидор, - говорит Света. - У тебя помидор на голове!

Мать садится на заднее сиденье, отец - на переднее. Высокий, худой, старый, сосредоточенный. Целеустремлённый. Похож на хищную птицу.

Он хлопает дверью.

Внезапно я выскакиваю из такси и машу им. Хочу попрощаться, хочу обнять отца и мать. Попросить у них прощения за то, что мало разговариваю с ними, за то, что редко приезжаю к ним, за всё-за всё… но такси поворачивает налево и скрывается в арке.

Мы поднимаемся по лестнице на третий этаж. Я открываю квартиру и вдыхаю до головокружения родные запахи: табак, чабрец, стиральный порошок и старомодный отцовский одеколон.

- Идём, - говорю. - Я покажу тебе собаку.

- Она большая? - спрашивает Света. – Я боюсь собак.

- Нет, еще совсем щенок.

Мы проходим коридор. Заходим в мою бывшую комнату. Сейчас - это кабинет отца. Тут он слушает радио, курит сигареты и копается в интернете.

Дверь на балкон открыта.

- Это твоя собака?

- Нет, это моего отца.

- Он кусается?

Из балкона через комнату к нам бежит щенок. Он виляет хвостиком и прыгает передними лапами на Свету. Света гладит его по голове.

- Какой красавец! - говорит она.

- Джек.

Мы еще немного сидим на кухне. Разговариваем. Шёпотом. Я нашёл в холодильнике белое вино и разлил по стаканам.

Мы идём с ней в спальню. Раздеваемся. Я выключаю свет. Комнату подсвечивает холодный неоновый свет круглосуточного магазина напротив.

Звонит отец:

- Совсем забыл сказать, покорми Джека завтра утром, я отварил куриные желудки. В холодильнике.

Не дождавшись ответа, он кладёт трубку. Я перезваниваю, чтоб сказать ему… сказать всё что хотел.

Но отец уже вне зоны покрытия.

**Что делать, если пропал дом**

Знаете, так бывает: вечером ты хорошенько выпил, познакомился с чудесной женщиной в баре, немного потанцевал с ней, поцеловался, она показалась тебе красавицей невиданной.

И, естественно, ты приглашаешь женщину к себе домой, а рано утром просыпаешься, поворачиваешь голову и понимаешь, какой грязный трюк вчера с тобой проделал алкоголь.

Так было и со мной. Я проснулся и посмотрел на Лену. Она раскинула ноги и громко храпела, лицо её было вытянутым, будто у лошади, лицо её походило на утюг.

Это моя спальня - просторная и светлая, в окно стучат ветки яблони, по черепичной крыше соседнего дома медленно стекает солнечный свет.

- Просыпайся, - шепчу я Лене.

Она нехотя просыпается, зевает, оглядывает комнату, смотрит на меня и понять не может, где очутилась.

Я часто привожу в дом женщин. Худых и толстых, высоких и низких, рыженьких и лысых, крикливых и добрых, злых и неряшливых. Всяких.

Живу один и очень этому рад.

Лена начинает нехотя одеваться. Из-под подушки достаёт трусы, застёгивает лифчик, надевает через голову платье. Зачем-то она поставила туфли у кровати.

- Я боялась, что внизу могут украсть, - виновато улыбается она. Привычка.

На окнах решётки, дверь с двумя замками, кто украдёт?

На кухне обычные процедуры: омлет из шести яиц, телевизор, хлеб с маслом и чай. Пока я готовил завтрак на двоих, она ушла, не попрощавшись. Я закрыл за ней дверь и пошёл в спальню прибрать следы ночного кроватного и не только кроватного буйства.

Тогда-то мне и стало понятно, почему она убежала, не попрощавшись. Пропал плед с дивана, представляете? И ваза пропала. Цветы лежали на журнальном столике. Где-то звонил телефон, вибрировал и звонил. У меня в жизни не было подобного рингтона.

Значит, телефон забыла Лена. Он валялся под кроватью. На дисплее настырно пульсировал входящий звонок от некоего Никиты Склад.

Все невезения начались с чайника. То ли спросонья, то ли по неосторожности, наливая кипяток в кружку, я ошпарил ногу. Затем чертовщина произошла с душем: я помылся, вылез и обнаружил, что весь пол был в воде. Основание душевой кабины протекло. А ведь установили мне душ совсем недавно!

Я нашёл телефон установщика и позвонил:

- Алло? Вы устанавливали душевую кабину по улице Черняховского 44б месяц назад…

- Нужно проверить…

- Кабина протекает. Весь пол в ванной залит.

- Хорошо, я могу приехать сегодня вечером посмотреть.

- Давайте в семь!

Потом я поскользнулся на лестнице и списал это на мокрые резиновые тапки. Чёрт возьми, больно ушиб колено и, кажется, травмировал лодыжку.

Собираясь на работу, я выпотрошил весь шкаф в поисках пятничной рубашки, пятничного галстука и пятничных брюк, но так ничего и не нашёл! Вывалил бесполезный ворох вещей на кровать. Вспотел и разозлился. Швырял вещи по комнате. Наверное, пятничный костюм украла Лена!

Последний раз я незнакомую женщину в дом привожу. Ей богу, последний!

Снова зазвонил телефон. На этот раз на дисплее пульсировала надпись Папа. Ну ничего, подумалось мне, вернется она за телефоном и я как-нибудь её проучу.

После обеда у меня намечалась важная встреча, поэтому костюм был обязателен. Я надел пятилетнее старьё, которое прикупил для новогодней вечеринки.

С тех пор я здорово покрупнел. Да что там, разжирел по полной программе, выпивал три литра пива по ночам. Объедался пиццей и прочей высококалорийной ерундой. За собой я перестал следить ещё после института, даже бордовые растяжки на животе появились. Какой там спорт… работа, работа, выпивка и сытная еда.

Выпивка и еда успокаивают нервы. Нельзя сказать, что я очень нервничал. Но когда наешься от пуза и выпьешь – тревожные мысли улетучиваются.

Я имею в виду мысли о смерти… зачем жить? Кому всё это нужно? Что делать дальше и так далее. Подобные мысли возникают у каждого, но не каждый признается в этом. Все делают вид, что мысли эти смешны. Отмахиваются. Притворяются, будто у них нет на это времени. По всей видимости, ожирение служит преградой между ничтожным мной и ужасающей чернотой, сквозящей из межзвездных пустот.

Брюки в поясе жали, пуговицы на животе и груди оттопырились. Я боялся пошевелиться, чтоб швы не разошлись. В коридоре я учуял горелый запах. Спустился на первый этаж – ничего, в ванной тоже всё нормально, и в подвале.

Тогда-то до меня дошло, что запах шёл из кухни. На столе дымился электрический чайник, хотя он и был выключен из розетки. Я взглянул на часы – полдевятого. До Цирка добираться в пробке где-то минут сорок, час. На работе, кровь из носа нужно быть в девять. Два опоздания у меня уже, слава богу, есть. Три опоздания в месяц – минус 20 процентов от зарплаты.

Я вызвал такси, из диспетчерской пришло сообщение: бордовый «дэо ланос», номер такой-то, водитель Виктор.

Как назло заклинила входная дверь. Я провернул верхний замок на четыре оборота, и провернул нижний замок на три… дверь всё равно не поддалась. Повторил то же самое – безрезультатно. В чём проблема? Понять не могу, стою, как дурак. Потный, злой, да ещё и в тесной старой одежде.

Спустя пять минут позвонил этот самый Виктор и сказал, что больше ждать не намерен. У него где-то здесь ещё заказ и он лучше поедет. Я извинился, из диспетчерской пришло сообщение о том, что мой номер телефона занесён в чёрный список.

Внезапно из подвала донёсся грохот. Я прямо подскочил от испуга. Может чокнутая Лена там спряталась и входную дверь она заблокировала?! И чайник подожгла и душевую кабину испоганила?!

Я бесшумно спустился в подвал и включил свет. Это вешалка сорвалась. Слишком много зимней одежды я повесил.

Лампочка ярко вспыхнула и потухла.

Заперев подвал, я снова пошёл штурмовать входную дверь. Она не поддалась.

Опять послышался грохот. На этот раз со второго этажа, или с чердака, чёрт его разберёшь. Я быстро взбежал по ступенькам, надеясь застукать Лену на горячем. В спальне перевернулся пустой шкаф. Должно быть, я слишком усердно вытряхивал вещи и сдвинул его. На минуты две я замер и прислушался. Вдруг это вор забрался в мой дом? Или Лена где-то прячется… ни звука. Настенные часы показывали 9:10.

Открыв окно, я кинул портфель с документами в сад. Затем перелез на яблоню и начал спускаться по стволу, хватаясь за ветки. В детстве я часто лазил по деревьям и заборам. У нас рос огромный орех. Как-то я забрался на самую верхушку и не мог слезть. Отцу пришлось доставать пожарную лестницу из сарая и снимать меня.

Конечно, я упал и грохнулся о землю, как проклятый мешок с картошкой. На живот, даже руки не успел выставить. Слава богу, ничего не сломал.

На работе с меня мигом вычли 20 процентов. Встреча не состоялась, клиент не пришёл и на звонки не отвечал. Весь день я как побитый ходил. Болело колено, ныла лодыжка, голова раскалывалась.

Все бегают по офису, будто мыши по горящей лаборатории. А я сижу себе и бездумно в монитор пялюсь. Усади на моё место тостер или кота – пользы куда больше будет.

Правда, в этом скверном дне всё же был положительный момент: пришла новенькая Даша, брюнетка, двадцать четыре года, выпускница художественного института. Мы начали болтать с ней о вёрстке и плотности бумаги… Она щупала большим и указательным пальцами лист А4 и журнальный лист. Завораживающее зрелище, скажу я вам. Я мог бы целый день глядеть на её длинные тонкие пальцы. А потом мы сошлись на том, что было бы неплохо ещё и после работы встретиться где-нибудь в центре и обговорить детали вёрстки и плотности бумаги. Или может быть даже у меня дома… Дом! Я совсем забыл, что сегодня в семь должен приехать установщик душевых кабин.

Мобильник Лены опять загудел. Номер был не подписан. Я принял вызов. Это звонила Лена.

- Алло, Максим? – спросила она.

- Ага, - ответил я.

- Я забыла у тебя телефон. Можно вечером заскочить? – спросила она.

- Вазу с пледом ты почему-то не забыла! – заметил я.

- Какую вазу? Какой плед? – спросила она.

Я кинул трубку. Лена моментально перезвонила:

- Извини, я просто хотела взять что-нибудь на память.

- Ты украла мои вещи, - сказал я.

- Ну, я всегда так делаю… мы бы больше никогда не встретились, а так видишь… повод!

- Приезжай к семи, - сказал я.

Молчание. Пять секунд.

- Максим?

- Да.

- Ай, ладно, ничего…

- Говори уже.

- Ночью в твоём доме мы одни были?

- Да.

- Точно?

- Точно.

- Странно…

- Почему?

- Ночью я проснулась от того, что кто-то включал и выключал свет в коридоре.

- Может тебе приснилось. Сон во сне. Матрёшка.

- Нет. Точно не приснилось. Кто-то щёлкал выключателями, я ещё подумала, может это ты напился,… а ты рядом лежал и храпел…

- Сама ты храпела!

- Я храпела?

- Как конь.

- Сам ты конь…

Я почувствовал обиду в её голосе. Молчание. Десять секунд. Видно она поняла мой намёк, что у неё лицо, как у коня. Как утюг. Как у Эмми Вайнхауз.

- Я встала посмотреть кто там, но свет сразу потух.

- Тебе это всё приснилось.

- Нет же, говорю… потом кто-то открывал и закрывал краны. Я слышала, как бежит вода, в ванной. И скрипели то ли двери, то ли окна.

- Что за ерунда?

Лена кинула трубку, а я присел и по спине моей пробежал табун ледяных муравьёв. Ночью я крепко спал и ни разу не просыпался. Может, действительно в дом вор забрался? Маньяк? С какой целью? Все ценные вещи – деньги и золото лежали в сейфе, который вмонтирован и хорошо замаскирован в подоконнике возле батареи. Может, этот кто-то решил меня припугнуть? Кто-то из знакомых, или муженёк одной из дамочек, которую я имел честь осчастливить?

Сейчас много историй про городских сумасшедших и убийц. Набрав полицию, я уставился на дисплей. Что им сказать? Я сбросил вызов.

Через час пришла Даша и сказала, что она освободилась, и у неё есть пару новых идей касательно вёрстки. Я попросил её подождать в вестибюле и начал собираться.

На проспекте Победы совсем не было пробок. Тёплый, приятный летний вечер. Даша сидела сзади и молчала. В зеркальце я разглядывал её большие карие глаза и тонкие губы. И тут до меня дошло, что сегодня не лучший день для приёма гостей. Но в глубине души я надеялся, что с домом всё в порядке. И я пригласил Дашу, чтоб успокоить самого себя. Эта глупая боязнь остаться в доме одному. Жизнь – не фильм ужасов… ведь так?

Когда такси подъехало к дому, я расплатился и мы вышли.

Дома просто напросто не было. Забор был. Тротуар был. Проклятая надпись на заборе «Костик – лох»... Всё было как обычно - ходили люди, проезжали редкие машины, соседка в длинной зелёной юбке мела выгоревшие литья возле калитки. А моего дома не было. Я подошёл к соседке и спросил:

- Тётя Катя, что случилось?

- Что случилось? – спросила она.

- Где мой дом? – спросил я.

Она посмотрела в сторону моего дома. Поправила очки с толстыми линзами, напрягла зрение.

- Ой, - сказала она. - Куда делся дом?

- Куда? – спросил я.

- Не знаю. Я весь день сидела с внуком на Оболони, час назад приехала и ничего не заметила. А вчера он был?

- Конечно. Он и сегодня утром был.

- Ну тогда не знаю… - сказала она и продолжила мести, как ни в чём не бывало.

Даша слушала наш разговор, в лице она изменилась. Смотрит на меня, словно я из психушки ночью сбежал. Смотрит подозрительно на тётю Катю, вдруг старушка – моя сообщница? А мы ведь с Дашей даже на «ты» ещё не перешли.

Я рассеянно пожал плечами и всё-таки набрал полицию.

- Алло, полиция. У меня пропал дом.

- Как пропал?

- Вот так. Я приехал только что с работы, а дома нет. Ни стен, ни крыши, ни окон, ни черта нет!

- Молодой человек…

- Я проживаю по улице Черняховского 44б!

- Позвоните в службу спасения.

Я набрал службу спасения.

- Алло, у меня пропал дом!

- Какой дом?

- Прекрасный, частный, кирпичный двухэтажный дом… его нет!

- А он точно был?

- Утром ещё был. Я вернулся с работы…

- Позвоните в полицию.

Я открыл калитку, и мы зашли с Дашей в сад.

- Это какая-то шутка, правда? – спросила она.

- Не знаю, - признался я.

В саду росла высокая густая трава. Хотя я только на выходных проходил по ней газонокосилкой. И на месте дома росла трава. Никаких признаков дома. Ни фундамента, ни кирпичика… будто его здесь никогда и не было.

За сетчатым забором сосед разжигал мангал.

- Добрый вечер, - сказал я. – Вы не знаете, что случилось с моим домом?

- А что случилось? – он взглянул на место, где должен был стоять мой дом и нахмурился. – Ничего себе! Как быстро сейчас дома сносят. И трава, ничего себе!

Он подкинул полено в мангал и позвал жену:

- Нанизывай мясо, через пятнадцать минут буду жарить!

- Я не буду нанизывать, - ответила она. – Пожарим на решётке.

- На решётке так на решётке, - сказал сосед и передвинул кочергой деревяшку в огне.

Подъехал старенький «форд сиера». В сад зашёл установщик душевых кабин с ящиком инструментов.

- Здравствуйте, - сказал он. – Как у вас тут хорошо. Рай на Земле. Да ещё и в центре города, да ещё и в Киеве.

Он поднял с земли жёлтое яблоко и громко надкусил.

- Вкусные у вас яблоки… а где дом?

- Пропал, - ответил я.

- Я приехал по вызову, дружище, это вы звонили утром насчёт кабины?

- Да, - ответил я.

- Ну, и где ванная? Мне ещё в Бровары сегодня ехать…

- Нет ванной.

- Послушайте, дружище, следующий раз не приеду, мне некогда шутить.

Он швырнул огрызок в траву и отыскал новое яблоко.

- Точно не хотите, чтоб я посмотрел вашу кабину? – спросил он.

- Если отыщите её, - ответил я.

- Ну, как знаете… а яблоки у вас очень сладкие, давно таких не ел. Можно взять пару штук?

- Берите, сколько угодно, - ответил я.

Установщик начал искать в траве яблоки.

- Знаете, а я вспомнил, что был здесь, только вместо сада тут дом стоял… его снесли?

Я не ответил. Он пошёл к машине, завёл мотор и уехал прочь.

Даша взяла меня за руку.

- Это всё странно, но вы не переживайте.

Она достала мобильник, зашла в интернет. Мы присели на траву, солнце спряталось за девятиэтажный дом. Со стороны соседа доносился сладкий запах мяса. Дом соседа был на месте, к мангалу прибежали дети - два близнеца лет девяти и дочка лет пяти. Они бегали вокруг мангала, а сосед говорил:

- Осторожно, не опрокиньте мангал, играйте в другом месте.

Мальчик схватил кочергу, висевшую на мангале, и принялся с ней гонять по двору. Дети побежали за ним. Сосед и его жена смотрели на них и улыбались. Идиллия!

- Вот, - сказала Даша, протянув мне телефон. Я оторвал травинку и задумчиво вертел её в руках. Трава теперь казалась нечто большим, чем просто трава. Будто она единственная знала тайну исчезновения дома.

Даша была одета в узкие джинсы, у неё были красивые длинные худые ноги и длинные чёрные волосы.

- Вот что выдает «гугл» по запросу «Что делать, если пропал дом»…

Пугающие, отталкивающие предложения. Что делать, если пропал ребёнок. Что делать, если пропал человек. Что делать, если пропало зрение. Что делать, если пропал голос.

Наконец Даша зашла на кустарно выполненный сайт какого-то чудака. Сайт так и назывался «Что делать, если пропал дом». Этот чудак называл себя частным детективом. На сайте было множество фотографий якобы пропавших домов – элитные трёхэтажные особняки, кривые хибары, хрущёвки, панельные многоэтажные… абсолютно разные дома.

Мы нашли его номер телефона и я позвонил.

- Алло, это частный детектив?

- Да, - осторожно ответил мужчина.

- Звучит глупо, но у меня сегодня исчез дом.

- Ничего глупого в этом нет. «Пропал человек» - тоже глупо звучит?

- Звучит ужасно.

- Вот-вот, а для некоторых дом важнее человека. Где вы живёте?

- Улица Черняховского 44б.

- Это такая тихая улочка, где раньше высокие орехи росли?

- Точно, - ответил я.

- Ждите, уже выезжаю, - ответил он и кинул трубку.

Я лёг на траву. Даша легла рядом. По небу медленно летел самолёт, оставляя за собой белый шрам. Я повернулся и посмотрел ей в глаза.

- Что же делать, Даша? Давай перейдём на «ты», я теперь без дома, хочешь найду тебе самое вкусное яблоко в мире?

Я поцеловал её в губы.

В сад зашла Лена. Из сумки у неё торчало моё покрывало с вазой.

- Что случилось? – спросила она. – Где дом?

- Не имею понятия, - ответил я.

- Он исчез?

- Может быть… может, его кто-то украл…

- Ха, ещё скажи, что он заблудился.

Она достала из сумки покрывало и вазу.

- Вот, - сказала она. – Извини, что так получилось. Я, наверное, клептоманка. Короче, прости.

Я отдал ей телефон.

- Хоть что-то от дома осталось, - сказал я. – Так что не зря ты их забрала.

К дому подъехал «опель омега». Из машины вышел усатый мужчина с пышной кучерявой шевелюрой, столь популярной у темнокожих из второсортных американских комедий. В руках он держал планшет. Не обращая на нас внимания, он принялся расхаживать по саду, по периметру, где раньше стоял дом. На каждом шагу он сверялся с планшетом, что-то записывал, чесал затылок и, наконец, подошёл к нам.

- Алексей, - представился он, протянув руку. – Давайте присядем.

Я расстелил покрывало, и мы уселись вчетвером.

- Эта ваза из дома? – спросил Алексей.

- И покрывало тоже, - ответил я.

Он взял вазу и начал пристально изучать её, держа на вытянутой руке. Заглянул внутрь вазы, понюхал её. Погладил покрывало.

- Макс! – позвал меня сосед.

Я подошёл к сетчатому забору.

- У нас осталось мясо и картофельный салат, возьмите, поужинайте, - предложил он. – Жаль, что так вышло с твоим домом, мы целый день на работе были, а дети – у бабушки… мы ничего не видели.

Он передал еду, тарелки, вилки и пару ножей.

Я рассказал Алексею всё, что вчера и сегодня произошло со мной в доме. Он внимательно слушал и делал заметки на планшете. Лена дополнила мой рассказ ночными страшилками, в которые я до сих пор с трудом верил, несмотря на абсурдность всего случившегося.

- А как пахло у вас в доме? – спросил Алексей.

- Как обычно, я привык к запаху своего дома.

- Лена, как пахло сегодня в доме? – спросил он.

- Я чувствовала запах… вроде на плите подгорело…

- А ещё?

- А ещё такой запах, будто сливной бачок поломался и неделю не смывали.

- А запах злости был? – спросил Алексей.

- Это как? – спросила Лена.

- Похоже на запах цыплят, которых жарят заживо.

- Может быть, - ответила она.

Даша передала жене соседа тарелки и та ушла в дом. Почти что стемнело. В траве засуетились сверчки.

- Бывает дома сами уходят от хозяев, бывает, они хотят уйти ненадолго, но теряются и забывают дорогу, - сказал Алексей. - Есть еще люди, ворующие дома. Точнее не люди. Вот тогда дела совсем плохи... такой дом нельзя больше вернуть.

- Почему? - спросил я.

- Потому что они сильнее и заставляют дом перейти на их сторону. Судя по вашему рассказу, то, как дом брыкался ночью и утром, то, как он сопротивлялся - его переманили на другую сторону. Это как если бы вы завели щенка, каждый день кормили и дрессировали его… а, оказывается, когда вы уходили на работу к нему приходил чужак и учил его другим командам, кормил его другой едой. Щенок вырастет и уйдёт от вас, или вгрызётся вам в глотку - дом пытался убить вас сегодня.

Алексей снова взял вазу и понюхал её. Затем встал и ушёл с вазой и планшетом к машине.

- Ладно, поеду я, - сказал Лена. - Я же тебе говорила, что с домом что-то не так.

- Возьми яблоко на память, - сказал я и кинул ей одно большое. Она поймала его и ушла.

Алексей помахал нам рукой.

- Поехали, - позвал он. - Кажется, я напал на след!

Мы сели в «опель омега» и Алексей погнал как сумасшедший. Кто бы мог подумать, что человеку с такими мягкими чертами лица свойственна подобная манера вождения? Не тормозил на поворотах, бездумно шёл на обгон и бил по коробке передач. Иногда он резко тормозил и сверялся с картой на планшете.

Жизнь полна загадок, и самая главная из них, к сожалению – это ты.

Через полчаса мы оказались чёрти где, мы ехали по дорогам, о существовании которых я и не подозревал, несмотря на то, что имел некоторый водительский стаж. Темень, в этой части Киева я никогда не бывал. Толком ничего не разберёшь, откуда ни возьмись появился плотный туман.

Иногда мне казалось вот что: Алексей гнал машину прямиком в забор, или в бетонную стену, или попросту мчал в многоэтажный дом, но вместо того, чтоб разбиться в котлету мы попадали на дорогу. Преграды растворялись перед нами.

Подобные галлюцинации я списал на усталость, недосыпание и, возможно, психическое расстройство, каким-то образом возникшее вследствие пропажи дома.

Мы проехали мрачные высотки, потом ехали через лесопарковую зону и очутились на пустыре.

- Он где-то здесь, я чувствую, - сказал Алексей.

Он принюхался к вазе и погнал дальше. Мы мчали по житомирской трассе и выехали за город. Проехали несколько населённых пунктов: покосившиеся заборы, редкие фонари, заброшенные остановки, закрытые на семь замков гастрономы, озёра, похожие на логова ночных чудовищ.

Выехав на грунтовую дорогу, Алексей свернул в сторону соснового леса и надавил на педаль. Машину подбрасывало и кидало из стороны в сторону.

- Можем не успеть! – сказал Алексей.

Сосны. Длинные стволы тянутся к чёрному беззвёздному небу.

Сквозь сосны я разглядел свет. Там вдалеке на поляне стоял двухэтажный дом, и окна его все горели красным, как если бы в нём дьявол обустроил преисподнюю.

Из дома доносился гул. Многоголосый, сливающийся шум. Музыка или крики людей? Чёрт его разберёшь.

- Всё, дальше я ехать не могу, - сказал Алексей, заглушив мотор.

- Вы не пойдёте со мной? – спросил я.

- Нет. Бессмысленно. Я ищейка. С домами говорить не умею. Вы сами должны найти слова для своего дома. Только хозяин может вернуть дом.

Я почти бесшумно пробирался по тёмному лесу, пару раз упал на болотистой местности и промочил ноги. За лесом было широкое, насколько глаз хватает, поле. Посреди поля стоял мой любимый двухэтажный дом со старым шифером, замену которого я почему-то постоянно откладывал.

Если я верну дом, то завтра же раскошелюсь на самую дорогую, самую лучшую черепицу в мире. И ремонт сделаю, и входную дверь новую поставлю, и комнатных цветов побольше прикуплю, и вообще занавески, тюль постираю, окна вымою… целовать каждый уголок в доме буду!

Только дом сильно изменился. Кирпич почернел. Из входной двери и окон, напоминавших пасти, вырывались языки пламени, будто в доме был пожар. А вокруг дома, словно паломники вокруг Каабы, ходили люди. Под домом было множество машин, знаете, старых таких драндулетов с приваренными решётками агрессивных форм.

Я подошёл ближе и меня встретил цыган с кривым носом.

- Ты кто такой? – спросил цыган.

- Я пришёл забрать дом, - сказал я.

- Слышишь, пошёл отсюда! – заорал он. – Я отрежу тебе руку и заставлю её съесть! Тебя прикопать тут?! Пошёл отсюда!

Из кустов выбежал громадный сенбернар, он начал на меня скалиться и оглушительно лаять. Лай его эхом разносился по всему полю. В зловонной пасти его в несколько рядов блестели большие острые клыки. Я отступил и увернулся. Сенбернар щёлкнул челюстями в воздухе, в том месте, где только что было моё лицо.

На лай сбежались люди из дома.

Или не люди.

Тебе кишки на шею намотать?! – проорал кто-то и я, получив жужжащий удар в левое ухо, начал заваливаться, но тут же получил удар в правую скулу, а потом в живот и подбородок.

Я упал в болото, в глазах плясали звёзды. Господь знает, сколько ещё они пинали меня ногами, сам же я помню плохо.

Когда они отступили, я открыл глаза и увидел их – в ободранных одеждах, с пистолетами и палками, от них исходил горячий пар, глаза их жуткие излучали ядовитый зелёный свет, и все они были ненормального роста, метра два с половиной.

Совершенно голый мальчик лет десяти держал обеими руками сенбернара за ошейник. Мальчик перегнал сопли из носа в рот и смачно харкнул в меня неестественно горячей жижей.

- Это не твой дом, гнида, - на этот раз спокойно сказал мне цыган с кривым носом. – Ты усек? Будешь его искать – мы тебя заживо сварим и собакам скормим. Даже не думай. Мы всех твоих родственников вырежем и спалим.

Из леса выбежала Даша, она помогла мне подняться и мы направились к машине.

- Не нужен тебе этот дом, - сказала она. – Поживёшь пока у меня. Я живу на Лукьяновской в однокомнатке… лучше построишь себе новый дом.

Алексей высадил нас у станции метро Лукьяновская.

- Теперь всё, - сказал он. Когда построишь новый дом – внимательно следи за ним. Прислушивайся к его желаниям, к его мечтам. Обращайся с ним не как с собственностью, а как со старой доброй тётушкой. И желательно… не живи в нём один. Живи с кем-то… с Дашей, например… чаще всего дома уводят у одиночек.

Мы поднялись к Даше в квартиру, она достала аптечку и лёд, потом мы немного посидели перед телевизором. Шёл комедийный сериал «Два с половиной человека», пьяный Чарли вернулся к себе домой и пытался вставить ключ в замочную скважину. За кадром смеялись зрители.

Даша постелила мне на кухне под батареей, потому что у нас намечалась дружба, а затем возможно и нечто большее.

Ах, да, совсем забыл сказать: каждый день мы ездим ко мне в сад, сидим там до позднего вечера, берём с собой еду и термосы с кофе или чаем.

Я рассказываю Даше разные истории, связанные с домом. Как отец, например, спрятал старинные ёлочные игрушки, и мы всей семьёй искали их. Как мы решили поужинать в саду, мать приготовила в духовке буженину с чесноком, а соседский пёс перепрыгнул через забор и утащил её. Как дедушка громко пел в ванной, как бабуля приучила нашего кота Абрама ходить на унитаз и воду за собой сливать.

Как мы много смеялись и как мы много плакали в доме том.

Как все умерли, и я остался сам… и я раздал себя словам.

Кстати, на этих выходных я достроил беседку. Так что, если будете в наших краях – берите палатки и заезжайте. С субботы на воскресенье мы с Дашей планируем заночевать в саду. А на следующей неделе приедут две фуры с красным кирпичом и лишние руки в помощь не помешают!

1. Муратов Наиль «Увидеть Париж и…»ь «Качели»

***Наиль Муратов***

**Увидеть Париж и…**

*Посвящается моему дорогому другу –*

*киевской поэтессе Ирине Иванченко.*

Из Киева в Париж маршрутов много, самый дешевый – с пересадкой в Риме. Интервал между рейсами всего тридцать минут, и их едва хватает даже в том случае, если вы прибыли в аэропорт Фьюмичино строго по расписанию. Но сорок минут опоздания – и белокурая сотрудница «Эйр Франс», сочувственно улыбаясь, указывает на остекленную стену, за которой виднеется взлетная полоса и стремительно взмывающий в небо серебристый «Аэробус». Лена с тоской проводила самолет глазами. Часа через полтора он приземлится в аэропорту Шарля де Голля, только уже без нее. Но разве она не знала заранее, что так и случится, потому что с ее цыганским счастьем рассчитывать на иное просто смешно! Хватит и того, что удача улыбнулась ей, позволив выиграть эту замечательную поездку. Как оказалось, поездку в никуда. Лена никак не могла сообразить, что делать дальше. Из иностранных языков она немного знала английский, который учила в школе. Но учить – одно, а изъясняться – совсем другое. Служащая авиакомпании тратила время впустую – из множества произнесенных ею слов Лена не поняла ни одного. Мозг будто заклинило, и все, связанное с лингвистикой, попало в зону невозврата. Но дама из «Эйр Франс» сдаваться не собиралась. Потерпев неудачу с английским, она перешла на французский, затем на итальянский, что, к сожалению, никак не влияло на конечный результат. Лена едва не расплакалась: итог ее заграничной авантюры – а поездку в Париж она теперь считала жуткой авантюрой! – оказался плачевным. Одна ночью в незнакомом городе, и никто не может тебе помочь. Впору повеситься!

К счастью, на помощь блондинке явился импозантный господин средних лет – сотрудник рангом повыше. Несколько минут он обсуждал ситуацию по телефону, затем неожиданно передал трубку Лене.

- Вы русская? – пророкотал приятный мужской голос.

- Украинка! – машинально ответила Лена.

- Хрен редьки не слаще! – философски заметил голос. – В общем, слушайте! Вас сейчас направят в гостиницу, там накормят, а утром отправят в Париж. Поскольку вы опоздали по вине компании, она все и оплачивает. В гостиницу доберетесь автобусом, остановку найдете по указателям. Она в самом конце терминала. Вопросы есть?

- Нет! – быстро ответила Лена, хотя вопросов к неизвестному оракулу у нее было множество. Например, хотелось знать, где он так здорово научился говорить по-русски, живет ли в эмиграции или на просторах бывшего Союза, женат ли, есть ли у него хобби и вообще счастлив он или нет. Но даже в подавленном состоянии она понимала, что эти вопросы вряд ли будут уместными. Впрочем, на смену ступору как-то незаметно пришла эйфория. Лена с удивлением отметила, что воспринимает почти все, что говорит представитель компании. Получив направление на поселение, она за десять минут добралась до остановки. Будущее казалось прекрасным.

Но счастье оказалась недолговечным: Лена с ужасом обнаружила, что за выставленными поодаль мусорными баками кто-то прячется. Не считая ее самой, этот кто-то был единственным человеком в округе. Шел первый час ночи, помощи ждать неоткуда. Бежать обратно с громоздкой сумкой на колесиках Лена не решилась, а бросить ее было невозможно, ведь внутри находились платье и туфли, в которых она собиралась читать стихи. Это выступление – финал крупного поэтического фестиваля – могло стать ее звездным часом, признанием несомненного, как она втайне верила, таланта! Но все пошло кувырком, и теперь жизнь ее, скорее всего, оборвется, и вместо заслуженного триумфа в Париже она обретет вечный покой в Вечном городе. Особенно обидным было то, что члены жюри об этом даже не узнают. Решат, что просто пренебрегла приглашением. Смириться с таким конфузом Лена, как человек ответственный, конечно же, не могла. Увидеть Париж и умереть, это еще куда ни шло, – подумала она. Но умереть, так и не увидев Парижа! Стоило ли вообще тогда жить?! Вспомнив, что лучшая защита – нападение, она решительно направилась к контейнерам, выставив вперед сумку. Решимости, правда, хватило ненадолго. Сделав несколько шагов, Лена остановилась и срывающимся голосом выкрикнула первую пришедшую на ум английскую фразу, извещавшую притаившегося врага, что известный русский писатель Антон Павлович Чехов родился в 1860 году. Как ни странно, но этот отрывок текста, навечно врезавшегося в память еще в седьмом классе, возымел действие, хотя и не то, на которое Лена рассчитывала. Из-за контейнера показалась зловещего вида фигура с битой и сделала шаг в ее направлении. Наверное, этот парень вообще не знает, кто такой Чехов! – подумала она. В тусклом освещении лицо злоумышленника казалось вылепленным из отдельных квадратов и треугольников, что вызывало ассоциации с полотнами позднего Пикассо. Обладатель устрашающего лица помедлил, оценивая, очевидно, с какой стороны лучше нанести удар, затем сделал шаг к жертве. Лена зажмурилась.

Are you married? – неуверенно поинтересовался незнакомец.

Такого поворота она ожидала меньше всего. На мгновение оцепенела, затем начала гомерически хохотать. И странно, страх сразу же улетучился, будто его никогда и не было. А тут и автобус подъехал. Фары высветили паренька лет семнадцати-восемнадцати, застывшего напротив Лены с недоуменным выражением лица. То, что в темноте выглядело, как бита, оказалась букетом роз, завернутых в бумагу. Передняя дверь автобуса призывно распахнулась, и Лена с легким сердцем шагнула в пустой салон. Паренек поспешил следом. В свете плафонов он уже не казался страшным, скорее забавным. Лену умилило, что попутчик, занявший на всякий случай кресло неподалеку, время от времени бросал на нее виноватые взгляды. Чтобы окончательно разрядить обстановку, она спросила, не направляется ли он тоже в гостиницу? Удивительно, но нужные английские слова нашлись сами собой. Паренек с готовностью ответил, что да, направляется, и в свою очередь спросил, не сможет ли леди помочь ему с поселением, поскольку он впервые заграницей и не очень хорошо здесь ориентируется. Подавив смех, Лена с самым серьезным видом ответила, что он может смело на нее рассчитывать. Паренек, вздохнув с облегчением, быстро перебрался в соседнее кресло. Звали его Сантуш. Был он очень славным, каким-то совсем домашним, и ничем не отличался от мальчишек, живущих по соседству с Леной в Киеве.

В отеле их поселили на разных этажах, но Сантуш тут же напросился в гости. Слово за слово, и вот уже половина ночи прошла в разговорах. На вопрос, почему он прятался, Сантуш ответил, что здорово испугался, завидев приближающуюся к нему зловещую фигуру. Перед отъездом из родного Лиссабона друзья и родственники в один голос предупреждали его о многочисленных опасностях, подстерегающих в Риме неопытного путешественника.

- А зачем вам было знать, замужем ли я? – спросила Лена.

- Ничего другого не пришло в голову, – сознался Сантуш. – Наверное, это была плохая идея, но вы так решительно шли на меня.

- Нет, это была отличная идея! – весело возразила Лена.

- Отчего же вы смеялись?

- Оттого, что за десять лет вы – первый мужчина, пожелавший узнать, замужем ли я! – без запинки ответила она. Не признаваться же, что сама перепугалась до смерти!

Так они проболтали почти до рассвета, заменяя слова жестами в тех нередких случаях, когда возникали затруднения. Утром Сантуш отправился провожать Лену в аэропорт, и уже спустя три часа она была в Париже, где без приключений разыскала гостиницу, в которой разместили участников фестиваля. Поскольку всех поэтов поселили на одном этаже, здесь слышалась исключительно родная, набившая оскомину речь. День пролетел как мгновение: экскурсия по городу, совместный ужин в ресторане. Ходили группой, как в советские времена, и в какой-то момент Лена с тоской поняла, что устала от такого обилия русскоязычного люда. Хотелось пройти по ночному Парижу, полюбоваться освещенной уличными фонарями Сеной и вдосталь наслушаться звучания настоящего французского языка. Но благое это намерение осталось неосуществленным: круг поэтов цепко держал Лену в своем замкнутом пространстве и, словно щупальцами, втягивал обратно всякий раз, когда она пыталась незаметно удалиться.

Вырваться удалось следующим утром. Гостиница находилась всего в трех кварталах от острова Ситэ, возле которого Лена еще накануне заприметила кафе с прекрасным видом на знаменитый собор. Что может быть лучше, чем сидеть за столиком на берегу Сены, блаженствуя в тени парижских каштанов?! Когда поэты отправились на очередное официальное мероприятие фестиваля – встречу с журналистами, Лена незаметно выбилась из общего строя и направилась к заветному кафе. Заняла один из столиков, оккупировавших часть тротуара, и заказала капучино. С выбором позиции она не ошиблась: толпы туристов, неспешно перемещающихся вдоль парапета набережной, огибали эту сторону улицы. По сути, здесь можно было даже ощутить одиночество. Финальное выступление начиналось в два, и Лена решила, что до тех пор никуда отсюда не уйдет. И даже попыталась написать на салфетке стихотворение, подобно тому, как это делали французские декаденты. Увы, затея оказалась неудачной: ручка рвала бумагу, пришлось воспользоваться привычным блокнотом. Чтобы не возвращаться в гостиницу, Лена заранее надела платье для коктейлей, в котором собиралась появиться на сцене. Выглядело оно шикарно: черное, облегающее фигуру, – самая приличная вещь из ее небогатого гардероба. А в рюкзаке, реквизированном на время поездки у дочери, покоились не менее шикарные черные туфли. К несчастью, тесноватые, поэтому до финала Лена предпочла оставаться в спортивных тапочках. Конечно, в родном Киеве она выглядела бы в таком наряде комично, но в Париже сочетание платья для коктейлей со спортивной обувью и школьным рюкзаком, слава богу, никого не задевало.

Когда ты счастлив, то позволяешь времени баюкать себя, опасаясь расплескать по пустякам хорошее настроение. Но неожиданно пищит будильник, выставленный заранее на мобильном телефоне, а стихотворение все еще не дописано, да и новая порция кофе призывно дымится на столике. Обжигаясь, Лена впопыхах допила его и попросила счет. Впереди ее ждали финальное выступление и слава. Жизнь казалась такой же безоблачной, как небо над Сеной. Уже само по себе это должно было Лену насторожить, но…

Оставив деньги на столике, как это, по ее мнению, делают парижане, она гордо покинула кафе, но не успела сделать и трех шагов, как в голову пришли две замечательные строчки, которых так не хватало стихотворению. Метнувшись обратно к столику, Лена торопливо их записала. Потом еще две. А когда закрыла блокнот, времени, чтобы добраться до места, оставалось в обрез. Но не беда, всего-то и нужно – пересечь Сену по мосту и пройти несколько кварталов. Окинув взглядом улицу и не увидев поблизости полицейского, она перебежала на другую сторону, как всегда делала в Киеве, когда торопилась. Водитель машины, оказавшейся в опасной близости, посигналил, но Лена, сделав вид, что это относится не к ней, помчалась дальше. И уже на мосту зацепилась ногой за бордюр. К чести ее, перед тем, как распластаться на асфальте среди людского потока, она успела вытянуть вперед руки. Рюкзак при этом перелетел через голову, словно спешил примчаться на конкурс раньше хозяйки. Падение оказалось настолько ошеломляющим, что Лена даже не почувствовала боли. Обходительные французы помогли подняться, начали наперебой что-то предлагать, но ей было не до них: первым делом следовало проверить, не порвалось ли платье. К счастью, обошлось. Лена облегченно вздохнула: пятна пыли можно без труда вычистить щеткой. Пострадали только коленки, но это – пустяк, кровь легко отмоется в туалете перед выступлением, а ссадины заживут и так. Она собралась было продолжить марафон, но помешала опустившаяся на плечо тяжелая рука. Здоровенный негр-полицейский, возникший ниоткуда, явно вознамерился не дать нарушительнице сбежать. Как же она не заметила его раньше?! И какой полагается штраф за переход улицы в неустановленном месте? Уж, наверно, не меньше сотни евро! Но главное, пока его оформят, финал закончится, и Лена останется без награды! К ее счастью, полицейский ослабил хватку и свободной рукой начал чертить в воздухе загадочные знаки. Кому они были предназначены, она не разглядела. Скорее всего, патрульной машине, притаившейся поблизости. Очевидно, на ней ее повезут в участок! Такой поворот событий Лену определенно не устраивал. Не долго думая, она со всей мочи огрела полицейского рюкзаком и пустилась наутек. Но не пробежав и десятка метров, почувствовала, как мощная рука правосудия снова сдавила ее в своих объятиях. Причем куда больнее, чем раньше. Полицейский начал сурово выговаривать Лене, перечисляя, по всей видимости, статьи законов, которые она успела нарушить. Судя по всему, набегало на приличный срок. Все, прощай награда фестиваля, здравствуй, парижская тюрьма! Да еще и с работы наверняка уволят!

Полицейский, пристегнув к себе Лену наручниками, снова начертил в воздухе загадочные знаки. В этот раз она заметила, кому они предназначались. Две девушки в красных теннисках спешили к мосту на велосипедах. Без сомнения – парамедики! Достав из своих рюкзачков наборы медикаментов, они проворно промыли раны на ногах Лены перекисью водорода. Затем наложили по пластырю. Боль утихла, но вместо облегчения Лена почувствовала отчаяние. Оказывается, полицейский хотел оказать ей помощь, а не арестовать. Наверное, их так здесь учат. А она его в благодарность рюкзаком по голове! Хорошо хоть, что в нем ничего тяжело не было, только туфли.

Исполнив свой долг, парамедики укатили прочь, и Лена осталась один на один с блюстителем закона и парой сотен не скрывающих любопытства туристов. Положение складывалось отчаянное: полицейский отпускать Лену не собирался, а она, не зная языка, толком ничего не могла объяснить. Единственным понятным словом из его длинной тирады было слово паспорт. Лена обречено протянула представителю закона синюю книжицу с тризубом на обложке. Тот долго вертел ее в руках, просматривая страницу за страницей, но все они были пусты за исключением одной единственной, на которой красовалась французская виза. Вздохнув, полицейский сунул паспорт в карман, что ничего хорошего не предвещало. Нужно было что-то предпринять. И тут в голове Лены родилась очередная гениальная идея. В рюкзаке лежал проспект конкурса, который она выпросила накануне у организаторов фестиваля. Текст, включавший список участников финала, был набран на французском. Лена торжествующе указала стражу правопорядка на свою фамилию. Тот нахмурился, потом вновь достал паспорт и открыл первую страницу. Сомнений не было, задержанная действительно оказалась финалисткой международного конкурса поэзии. Пока он размышлял, как поступить, один из туристов, бесцеремонно растолкав толпу, подобрался к Лене вплотную.

- Шо я вижу! Дама в беде!

Можно ли не признать в Париже одессита?! Да еще вознамерившегося помочь попавшей в беду соотечественнице! Правда, французским он владел не лучше Лены, но когда одесситов останавливали такие мелочи?! Рассмотрев афишу, он смело обратился к полицейскому по-русски:

- Послушайте, эта дама – знаменитая поэтесса! Через двадцать минут она должна на конкурсе завоевать гран-при. Вы же не хотите сорвать ее выступление?!

Пока полицейский, разобравший из этой речи только словосочетание «гран-при», размышлял над тем, что предпринять, от толпы туристов отделилась девушка лет двадцати пяти и начала убеждать его в чем-то на французском. Полицейский бросил несколько слов в ответ, затем показал на наручники.

- Он не может вас отпустить, поскольку вы совершили нападение на представителя закона! – бесстрастно сообщила девушка Лене на русском, а затем вновь обратилась к полицейскому с прочувствованной речью, в которой несколько раз прозвучало grand poetesse. Не знаю, все ли французские полицейские неравнодушны к поэзии или конкретно у негров особенная к ней чувствительность, но в этот раз страж закона отвечал не столь уверенно. После пяти минут торга девушка перевела окончательный вердикт:

- Он не имеет права отпустить нарушителя закона, но и сорвать выступление тоже не хочет. Поэтому сейчас вы вместе отправитесь на конкурс, а потом он доставит вас в участок.

- Ну, это мы еще посмотрим! – заметил одессит. – Кстати, откуда вы родом, спасительница?

- Из Питера, – скромно ответила она.

- Спасибо! – с чувством сказала Лена.

- Не за что! А вы действительно знаменитость?

- Можете не сомневаться! – вмешался одессит.

На финальное выступление они опоздали, но не драматически: свои стихи читала еще только первая участница, а фамилия Лены значилась в середине списка. Моложавая распорядительница, обнаружив, что опоздавшая прикована наручниками к полицейскому, заметила не без иронии:

- Да, много мы тут чего видели…

Но галочку в списке поставила и даже провела за кулисы. Там кого только не было – и поэты, и их друзья, и даже дежурная медсестра. А теперь еще добавился и полицейский. Впрочем, ни на него, ни на Лену внимания никто не обратил. Фестиваль жил своей жизнью: поэты декламировали, как умели, свои гениальные творения, а пресыщенная публика вежливо им аплодировала. Когда подошла очередь Лены, выяснилось, что отстегивать наручники полицейский не собирается. Более того, он даже не разрешил ей достать из рюкзака туфли, считая их, по-видимому, вещественными доказательствами. Лена собралась было отодрать наклейки с ран, потом обреченно махнула рукой. Так они и вышли на сцену: полицейский и прикованная к нему поэтесса в шикарном платье для коктейлей, но босая и с пластырем на коленках. С их появлением в зале воцарилась мертвая тишина.

- Как сильно! – прошептал коллегам председатель жюри. – Да ей даже читать ничего не надо, можно сразу отдавать первое место.

Журналисты, оккупировавшие первый ряд кресел, не сговариваясь, включили диктофоны и принялись описывать сногсшибательную акцию протеста киевской поэтессы. Направлена она была, по мнению одних, против гонений на свободу слова, по мнению других – против полицейского произвола. Высказывались и другие версии, не менее обоснованные. И никому, буквально ни единому человеку не пришло в голову, что арест не был постановочным.

Пока Лена собиралась с духом прочесть стихотворение, кто-то в зале не выдержал и крикнул «Браво». И сразу же разразилась овация. Лена, не осознавшая в полной мере, что происходит, вопросительно взглянула на полицейского, но тот ошибочно воспринял ее взгляд как укоризненный. Ему было жутко неловко: мало того, что арестовал поэтессу – что не сулило лавров ни одному правоохранителю! – так она еще оказалась знаменитостью. Да, знаменитостью, иначе как объяснить обрушившийся на сцену шквал аплодисментов?! Арестовать знаменитость?! Он представил, как приводит ее в участок в сопровождении организаторов фестиваля и прессы. Разнос от начальства обеспечен, как и издевательские улыбки коллег. В общем, ситуация – хуже не придумаешь!

Когда аплодисменты смолкли, вдохновленная Лена в абсолютной тишине прочла стихотворение. И снова овация! Так здесь еще никого не принимали. Когда выступление завершилось, публика аплодировала стоя. Лену буквально завалили цветами. Отдельно рукоплескали девочке, вручившей букет полицейскому. И это оказалось каплей, переполнившей чашу. Доброе сердце стража порядка дрогнуло. Демонстративно сняв с руки задержанной наручник, он протянул ей один из бланков, на которых выписывают штрафы, и ручку, требуя автограф. Сияющая Лена лихо начертала на служебной бумаге слова признательности, а потом не удержалась и обняла вновь обретенного друга.

И только в гостинице, любовно поглаживая массивный кубок, который и был главной наградой фестиваля, она сумела свыкнуться с мыслью, что ее вояж в Париж, в конечном счете, обернулся удачей. Но, как всегда, радовалась рано: при регистрации в аэропорту де Голля выяснилось, что вес сумки на четыре килограмма превышает допустимое значение. А всему виной тяжеленный кубок и книги, купленные в подарок друзьям на последние деньги. Вернее, почти на последние, потому что несколько евро мелочью Лена все же приберегла. Так, на всякий случай.

Пока она тщательно пересчитывала монеты, служащая, проводившая регистрацию, стояла напротив с непроницаемым лицом. К сожалению, денег на доплату существенно не хватало. Оставалось только одно – оставить часть багажа в Париже. Вздохнув, Лена выложила на стойку несколько книг. Превышение уменьшилось, но отбор пришлось продолжить. Следующей жертвой оказалось «Французское завещание» Андрея Макина. Лена долго не решалась расстаться с романом, принесшим автору Гонкуровскую премию. Служащая, дотоле терпеливо наблюдавшая за происходящим, попыталась осторожно высвободить роскошно оформленное издание из рук Лены, но та конвульсивно сжала пальцы. С полминуты они молча тянули книгу в разные стороны, что со стороны напоминало соревнования по перетягиванию каната. В итоге почетный трофей достался сотруднице аэропорта. Но, одержав победу, она повела себя отнюдь не так, как предписывала инструкция: первым делом запихнула роман обратно в сумку, а затем присоединила к нему и остальные книги. После чего с тем же непроницаемым видом прикрепила к ручке бирку и отправила сумку на движущуюся ленту. Благородный поступок не остался незамеченным: из толпы пассажиров послышались одобрительные возгласы, кое-кто даже зааплодировал. Получив посадочный талон, растроганная Лена поспешила на досмотр. Удача снова ей улыбнулась! Оказывается, в Париже полно хороших людей! Ничуть не меньше, чем в Киеве! Или в Одессе! Или даже в Питере!

Но, увы, Фортуна – дама с переменчивым настроением! В Борисполе, после перелета, прошедшего в этот раз без приключений, выяснилось, что багаж Лены, в котором находилась заработанная потом и кровью награда, бесследно исчез. Разыскали его только через неделю, но ни кубка, ни подаренной организаторами бутылки шабли там не было. Правда, книги и диплом, подтверждающий победу, остались.

И еще – воспоминания…

**КАЧЕЛИ**

Итак, можно ли сойти с ума от разочарования? Всерьез, без иносказаний. И что делать, если вдруг оказывается, что можно? Не самые простые вопросы, но порой и на них приходится находить ответ.

В иные моменты одиночество ощущается особенно остро. Например, когда ты сидишь ночью на скамейке возле детской площадки в сотне метров от дома любимой женщины. И хотя встреча с ней срывается не в первый раз – муж, случалось, и прежде отменял в последний момент выезд на рыбалку, – раньше это всегда вызывало досаду, а вот сегодня – облегчение. Что это – внезапное отрезвление после десяти лет опьянения любовью? Да и любила ли меня Валерия? Ответ, увы, потерял актуальность. Какая разница, если ты остыл, и женщина, еще вчера желанная, сегодня вызывает раздражение! Удивительно, как долго можно играть в игру, выпивающую все твои силы. Десять потерянных лет, по истечении которых разочарование становится настолько болезненным, что начинаешь ощущать сбой собственного разума, пытающегося убежать от самого себя.

Это ощущение не было абстрактным. Уже несколько минут я слышал на детской площадке голоса, хотя никого не видел. Судя по всему, мама разговаривала с сыном, но так тихо, что удавалось разобрать лишь отдельные слова. И вдруг прозвучало неожиданно звонко:

- Можно я покатаюсь на качелях?

- Да, мой хороший! – отчетливо ответил женский голос.

Его мелодичное звучание разительно отличается от хрипловатого тембра Валерии, которая, как теперь выяснилось, сводила меня с ума отнюдь не в переносном смысле. Разумеется, я не чувствовал себя сумасшедшим, нервное расстройство может привести и не к таким фокусам, но когда качели начали сами по себе раскачиваться, стало не по себе.

- Можно я присяду рядом с вами?

Вокруг ни души, и все же я отодвинулся к краю скамейки. Что за странное ощущение свободы: ты теряешь разум, но сохраняешь ясность мысли и способность к самоконтролю, и потому волен делать все, что заблагорассудится, даже разговаривать с призраками. Тем более что галлюцинация вряд ли продлится долго. Со мной все в порядке, Валерия, потому что меня больше не трогает твоя удушающая страсть!

Качели продолжали раскачиваться, что мало меня беспокоило, поскольку кроны деревьев, обступивших детскую площадку, тоже шевелились от ветра. Голоса, звучавшие в сознании, умолкли. Мир возвращался к нормальному состоянию, как и мой разум. И при этом я испытывал такую едкую горечь, которой никогда не испытывал раньше. Завтра в офисе мы вновь встретимся с Валерией. И послезавтра. Будем встречаться изо дня в день, из месяца в месяц. Смирится ли она с потерей или захочет продлить наше перманентное безумие? Мой смешок вышел не менее горьким, чем сама мысль.

- Простите, с вами все в порядке? – прозвучал все тот же мелодичный голос.

Да, со мной все в порядке! – хотелось выкрикнуть в ответ. В порядке настолько, что я слышу духов, порожденных собственным сознанием! И все же мне удалось ответить вежливо, хотя и не без иронии:

- Кажется, со мной все не в порядке.

- Если хотите, мы можем поговорить о ваших проблемах, – не без сердечности предложил голос.

- Боюсь, вы и есть моя главная проблема! – вздохнул я. Удивительно, но даже если теряешь разум, чувство юмора сохраняется.

- О, нет! – встревожился голос. – Не считайте меня навязчивой!

- А как мне следует к вам относиться? – криво усмехнулся я.

- Как к случайному собеседнику. Поверьте, исповедоваться лучше незнакомому человеку, с которым никогда больше не увидишься.

Сознание тут же уцепилось за предложение, пришедшее с другого края скамейки, а вернее – ниоткуда. Вот только кому исповедаться? Если вдуматься, то самому себе, что, наверное, не худший вид исповеди.

Смирившись с судьбой, я рассказал ей – наваждение было, что ни говори, женского рода! – все с самого начала. С Валерией мы познакомились, когда она впервые появилась в нашем офисе. Фирму перекупил ее муж, и недолго думая назначил жену управлять приобретением. Возможно, просто не знал, чем ее занять. Но двадцатитрехлетней женщине нужна была опора в новом деле, найти которую с ее харизмой не составило труда. Сначала мы были просто коллегами, потом стали любовниками. Меня восхищало в ней многое, но более всего – стремительность. Она проявлялась во всем: в принятии решений, в умении заводить друзей, в вождении автомобиля и особенно в постели. Тогда мне было двадцать семь, и неуемная кинетическая энергия Валерии засосала меня, как щепку, в свою воронку. А затем последовало десять лет рабства, поскольку она никогда не принимала в расчет мои собственные устремления. Лишь со временем я понял, что ее единственная цель – самоутверждение, и ради этого она готова пожертвовать всем. Даже детей заводить не хотела, хотя муж и настаивал.

- Вам она больше не нравится? – участливо поинтересовался голос.

- Да просто надоело быть средством для достижения цели.

- Боюсь, она не отпустит вас так легко, – задумчиво сказал голос.

- Знаю. Но с этим ничего нельзя поделать.

- Ну, как сказать.

Думаю, имей мое наваждение зримый образ, на ее губах заиграла бы улыбка. И кстати, почему женщина, а не мужчина? Есть ли в этом какая-то логика? Наверное, есть, ведь женщина с таким мелодичным голосом вызывает приязнь, следовательно, ей легче исповедоваться. Тем более, если она молодая мать. Как же просто и эффективно устроено человеческое подсознание – всему найдется разумное объяснение!

Мы проговорили почти всю ночь. Обо всем на свете, но главным образом обо мне. Чем дольше длится связь, тем стремительнее нужно с ней рвать, иначе она тебя никогда не отпустит. К этой нехитрой мысли мы, в конце концов, пришли, на ней и остановились. Иногда моя незримая собеседница покидала меня, чтобы сильнее раскачать качели. Когда я отправился домой, мои галлюцинации остались на детской площадке. Как мне верилось, навсегда.

На следующий день я порвал с Валерией. Объяснение оказалось не столь уж и болезненным, возможно, потому, что теперь она не особенно во мне нуждалась. С руководством справлялась, да и мужским вниманием никогда не была обделена.

Голоса в моей голове больше не возникали.

Спустя неделю Валерия настояла на деловой встрече, назначив ее поздним вечером в малоприметном ресторанчике, куда мы захаживали и раньше. Как выяснилось, единственным намеченным ею делом было вместе напиться.

- Тебе хорошо, дом в пяти минутах ходьбы! – ответил я. – А мне что с машиной делать?

- Оставишь свой драндулет на стоянке, – уверенно предложила она. – Переночевать можешь у меня. Муж уехал.

- Нельзя дважды войти в одну реку! – возразил я. – Ничего путного не получится.

- Хорошо, как знаешь! – легко согласилась она. И добавила насмешливо:

- Я думала, тебе это нужно больше, чем мне.

- Уже нет, – сухо отозвался я.

А в ответ услышал монолог уязвленной мстительной женщины. В общем, она не собиралась держать в руководстве фирмы неблагодарного сотрудника, который был всем ей обязан. И, кстати, на сегодняшнюю ночь у нее есть прекрасная мне замена. Самое удивительное, что я ждал чего-то такого. Еще тогда, на детской площадке внутренний голос уверил меня, что этим все и кончится. И не ошибся, к сожалению. Оказывается, мое подсознание неплохо разбирается в женской психологии. Жаль, что его здравые рассуждения никогда не доходят до сознания, теряясь где-то по пути.

- Ладно, без работы не останусь! – буркнул я и направился к выходу.

Далеко, правда, не ушел, вновь остановился у детской площадки. Качели не раскачивались, голосов слышно не было. Действительно, с чего бы им звучать, если со мной все в полном порядке! Вернее, почти в полном, поскольку работу я все же потерял. Но специалисты моего профиля на дороге не валяются. Не пропаду!

- Вы пришли? – прозвучал удивленный голос. – Не думала, что увижу вас еще раз.

- Как и я вас! – несколько язвительно выпалил я. – Вот уж не чаял услышать!

Голос обиженно умолк. Несколько минут тишины, нарушаемой лишь шелестом листьев и проезжающих по смежной улице автомобилей. Да был ли вообще голос? Пожалуй, я уже не мог этого утверждать. Любопытство, присущее мужчинам не меньше, чем женщинам, подвигло меня произнести вслух:

- Не обижайтесь! Просто не рассчитывал встретить вас здесь сегодня.

Голос немедленно отозвался:

- А мне показалось, вы ради этого приехали.

И ведь он был прав, этот мой чертов внутренний репродуктор, – как иначе объяснить, почему я вновь притащился на эту скамейку?!

- В прошлый раз у нас был очень откровенный разговор! – продолжил голос. – Честно говоря, я все же надеялась вновь вас увидеть.

Спасибо, свиделись! – подумал я. Итак, крыша начинает съезжать снова. А некоторым наивным верилось, что все осталось в прошлом. Тут я сообразил, что могу поймать голос на оговорке.

- Вы сказали « вновь вас увидеть». Вы что, меня видите? – быстро спросил я.

- Конечно. Вы сидите… такой одинокий.

- А вот я вас только слышу. Но не вижу.

- Да? – удивился голос. – Тогда почему вы со мной разговариваете?

Мне настолько понравилось полное отсутствие логики в ее вопросе, что ответил я со всей сердечностью:

- Но слышать-то я вас слышу! Потому и разговариваю.

- Да ведь вы беседуете с пустым местом! – с ужасом воскликнул голос.

- Ну, не совсем! – миролюбиво отозвался я. – Может это и самонадеянно, но я, знаете ли, никогда не относился к себе, как к пустому месту.

- То есть, вы думаете, что разговариваете с собой? – Почему-то эта мысль голос развеселила, и он мелодично рассмеялся. Вернее, она.

- Ну да, а с кем же еще?

- Со мной, – уверенно ответил голос.

- Ну, хорошо, с вами! – согласился я. – А вы, собственно, кто?

- Я – мама Алеши! – без раздумий сообщил голос.

- Замечательно. Только я его что-то сегодня не вижу.

- Но вы же его и в прошлый раз не видели! – уличил меня голос в неточности.

- Да, не видел. Зато слышал. А сегодня – нет.

- Это потому, что он приболел и остался дома, – пояснил голос со вздохом. – У него температура из-за горловой инфекции.

- Врача вызывали? – машинально поинтересовался я.

- Зачем? – удивился голос. – Я сама врач.

В общем, паранойя становилась все забавнее. Смущало одно: все без исключения сумасшедшие, насколько мне известно, считают себя нормальными людьми, я же, напротив, отчетливо осознавал проблемы с собственной психикой. Ослабший мой разум расщепился на несколько личностей сразу, причем одна из них была женщиной, а еще одна – ее сыном. Если покопаться, то найдутся, наверное, и другие – не менее колоритные! – типажи. Больше же всего удивляло то, что мое психическое расстройство не угнетало сознание, а, наоборот, приводило его в приподнятое состояние, причем беседы с женской ипостасью отличались редкой душевностью, а та часть меня, что была мальчиком, вела себя очень скромно и никогда нам не мешала.

- Послушайте, мне до сих пор неизвестно ваше имя! – заметил я. – Не обращаться же к вам, как к маме Алеши.

- Ну… – голос надолго задумался. – Вы можете называть меня Анной.

- Замечательно! – воскликнул я. – Вы что, не знаете собственного имени?

- Вообще-то, я не совсем уверена! – признался голос.

Никогда не думал, что безумие может быть настолько комичным! Я расхохотался:

- И вы еще будете уверять меня, что существуете на самом деле?!

- Разумеется, существую! – рассердился голос.

- Но при этом не знаете, как вас зовут! Может быть, хоть фамилию вспомните. Или адрес, – потешался я.

- Нет! – твердо сказал голос. – Не вспомню, но на это, поверьте, есть свои причины.

- И самая серьезная из них та, что вы существуете исключительно в моем сознании.

- Думайте как хотите! – обиделся голос. – Не собираюсь с вами по этому поводу пререкаться!

- Мне тоже не хотелось бы! – сделал я попытку к примирению. Какой смысл загонять самого себя в угол!

- Послушайте, если бы я существовала только в вашем сознании, – неожиданно хитро спросил голос, – то откуда у меня взялся бы Алеша?!

Этим он, вернее, она, меня сразила наповал. На такую несусветную глупость я даже не нашелся, что ответить, и голос расценил это как победу.

- Ну, теперь вы будете со мной считаться? – торжествующе спросил он.

- Знаете, я и раньше с вами считался! – едко ответил я. – Может, даже больше, чем следовало.

- Вы раздражены, и совершенно напрасно! – Голос изменил тактику, изображая участие. – Я же вам не враг.

- Я сам себе враг, – самокритично заметил я, – а в таких случаях других врагов уже не надо.

Думаю, моему женскому эго понравилось раскаяние, слышавшееся в моих словах. Естественно, и реакция его оказалась такой же, как у любой реальной женщины:

- На самом деле вы – хороший человек! Только разуверившийся.

- Откуда вам знать, хороший я или плохой! – буркнул я.

- Но мы же с вами столько разговаривали! – воскликнул голос. – Поверьте, я неплохо разбираюсь в людях.

В отличие от меня! – подумал я. Но с другой стороны, Анна тоже часть меня, а в людях разбирается. Неизвестно, правда, насколько ей можно верить. Или, точнее, насколько можно верить самому себе. Хотя если ты сошел с ума, то не должен доверять в первую очередь именно себе. А если не сошел? Тогда не должен слышать никаких потусторонних голосов! Тут я понял, что окончательно запутался. Единственным разумным решением – если только в больной голове может родиться разумное решение! – было продолжать общаться с Анной как с самой обычной женщиной. В результате мы просидели на детской площадке едва ли не до утра и расстались довольные друг другом.

Следующий вечер я провел дома и никаких голосов не слышал: они являлись, похоже, только в определенном месте. Это радовало, поскольку появлялась возможность контролировать собственное безумие. Оказывается, чтобы оставаться нормальным, нужно просто воздерживаться от посещения детской площадки. Неделю я старался держаться подальше от этого рокового места, а затем не выдержал, явился. Только-только стемнело, и на площадке еще оставались наиболее рьяные мамаши со своими чадами. Заметив, что я устраиваюсь возле них на скамейке, они очень скоро ретировались домой. С час я просидел в полном одиночестве, не считая полудюжины дворовых котов, попытавшихся устроить разборку прямо возле моей скамьи. Затем коты неожиданно бросились врассыпную, и тут же послышался детский голос:

- Мама, дядя опять здесь!

- С вами все в порядке? – взволнованно спросила Анна. – Я так беспокоилась!

Мысль, что кто-то обо мне беспокоится, оказалась настолько приятной, что я даже не опечалился возобновлением паранойи. В общем, мы вновь проболтали полночи. Анна засобиралась домой только тогда, когда Алеша сообщил, что устал и хочет спать. Прощаясь, она спросила, встретимся ли мы завтра?

- Почему бы и нет! – не колеблясь, ответил я.

Анна оказалась искренним собеседником. А ее голос, мелодичный, как флейта?! Эх, если бы она была реальной женщиной, а не мнимой! Мы разговаривали несколько ночей напролет, и домой я добирался только под утро. А поскольку торопиться на работу уже не требовалось, отсыпался днем.

Все чаще Анне удавалось ставить меня в тупик, причем сама она этого не замечала. Иногда употребляла медицинские термины, о которых я не имел ни малейшего представления. Но на всякий случай запоминал, а потом искал в интернете. И всегда находил. Тогда я решился на эксперимент: выписав из медицинской энциклопедии симптомы, рассказал ей историю о заболевшем друге, которому якобы не могли поставить правильный диагноз.

- Странно! – сказала Анна. – Тут не может быть двух мнений.

Как вы догадываетесь, болезнь она назвала безошибочно. С тех пор я непроизвольно начал относиться к ней, как к настоящей женщине. Ну, разве только невидимой. Но даже и это почему-то не смущало, причем настолько, что однажды я пригласил ее в гости. Вообще-то, не без задней мысли, ведь если она каким-то образом привязана к детской площадке, то должна была отказаться. Но Анна, как и Алеша, согласились без колебаний: детская площадка с ее песочницей и качелями, похоже, изрядно им надоела.

Когда мы подошли к машине – или все-таки подошел только я? – Алеша спросил, можно ли сесть на переднее сидение.

- Отчего нет? – весело ответил я. – Все равно гаишники тебя не увидят.

Не раздумывая долго, я открыл переднюю дверцу, и спустя мгновение Алеша поблагодарил меня из салона. Задняя дверца открылась сама и тут же захлопнулась: оба пассажира заняли места. В дороге мы не разговаривали, в лифте тоже. Но когда вошли в квартиру, Анна восхищенно воскликнула:

- Как у вас красиво!

Вообще-то, интерьер прихожей – заслуга Валерии! На мой взгляд, слишком много зеркальных плоскостей, но это дело вкуса. Анне, по крайней мере, понравилось.

- Вы видите себя в зеркале? – поинтересовался я.

- Ну да! – уверенно ответила Анна.

Но я по-прежнему не видел ни ее, ни Алешу. И их отражений тоже. Может, это и не имело значения, но легкое разочарование все же возникло. А с другой стороны, не преувеличиваем ли мы возможности зеркала?

Чтобы занять Алешу, пришлось включить компьютер в гостиной. Пока он смотрел мультики, мы с Анной прекрасно провели время на кухне. В одном из подвесных шкафчиков у меня хранятся крепкие напитки, в том числе несколько бутылок превосходного коньяка. Одну из них я оттуда извлек.

- Хотите меня споить? – со смехом спросила Анна.

- Было бы неплохо! – ответил я. – Но боюсь, это бесполезная затея.

- Да, – согласилась она. – Но приятно уже то, что вы пытаетесь. И, возможно, мне удастся хотя бы почувствовать запах коньяка.

Пить моя гостья не могла, но рюмку удержать сумела. Запах спиртного она, похоже, и вправду почувствовала, причем ей этого хватило, чтобы опьянеть. Обычно сдержанная, Анна вдруг оживилась и начала со мной откровенно кокетничать. Не могу сказать, что это оставило меня равнодушным. Один раз мне даже показалось, что у нее заплетается язык. Не знаю, чем бы все кончилось, но наш громкий смех привлек внимание Алеши. Заглянув в кухню, он поинтересовался у мамы, что ее так рассмешило. После этого беседа перетекла в спокойное русло: мы начали обсуждать проблемы, связанные с воспитанием детей. Говорила в основном Анна, поскольку считала меня в этих вопросах малокомпетентным. И хотя так оно и было, мне удалось прервать ее монолог невинным вопросом:

- Разве бесплотные создания могут иметь детей?

- Но я ведь самая обычная женщина! – ответила она. – Неужели вы до сих пор этого не поняли?

- Только я вас по-прежнему не вижу! – заметил я. – Не знаю, насколько это характерно для обычной женщины.

- На самом деле все очень просто… только сложно объяснить, – не очень уверенно сказала Анна.

После некоторых колебаний она все же решилась изложить свою версию. По ее мнению, они с Алешей являлись мне во сне. Но не в моем сне, а в их собственном. Анна не сомневалась в телепатических способностях сына. Поскольку она много работала и не могла уделять ему достаточного внимания в течение дня, он сумел найти уникальный выход, научившись входить в контакт с ее подсознанием ночью. Именно ночь была их временем, и проводили они ее, как правило, на детской площадке. Алеша катался на качелях, а Анна была счастлива, что может находиться рядом.

Эта невероятная теория объясняла многое, но не все. На вопрос, как она ухитрилась открыть дверцу машины, а позже – удержать в воздухе бокал с коньяком, Анна небрежно заметила, что это типичный случай телекинеза. Ладно, допустим! Но оставалась еще одна загадка: по ее словам они с сыном не могли самостоятельно добраться до моей квартиры, только приехать вместе со мной. Эти две странности не имели объяснения, но остальные доводы Анны казались убедительными. Теперь оставалось только разыскать ее в реальном воплощении – ничего другого я уже не хотел! Но она остудила мой пыл, объяснив, что это практически невозможно.

- Поймите, – с горечью сказала она, – я только часть себя же самой. Причем часть подсознательная. В сущности, я – сон. Реальная Анна – а я вовсе не уверена, что меня так зовут на самом деле! – просыпаясь, ничего не помнит. Вам эта женщина может и не понравиться. Возможно, я – дурнушка, на которую вы в обычных обстоятельствах и не взглянули бы.

- Вы не можете быть дурнушкой! – перебил ее я. – Но даже если и так, это не имеет значения. Вы мне понравитесь в любом облике! Это так здорово, знать каков человек внутри!

- Мы с вами ни в чем не можем быть уверены! – Мне показалось, что она сказала это сквозь слезы.

- Кое в чем можем! – возразил я. – Вы – замечательная мать и внутренне самая прекрасная женщина из всех, кто мне знаком. Поверьте, этого достаточно.

Теперь она всхлипнула по-настоящему. Невозможность обнять ее вызвала такое острое раздражение, что я чуть не швырнул свой наполовину пустой бокал в стенку. В общем, прекрасное настроение испарилось, что моя чуткая собеседница сразу почувствовала. И, естественно, засобиралась домой.

К несчастью, они не могли вернуться самостоятельно на детскую площадку, а я, выпив спиртного, не мог сесть за руль. Пришлось вызвать такси.

Машина приехала быстро. В целях конспирации мне пришлось сесть на заднее сидение, предварительно пропустив в салон Алешу и Анну. Путь был неблизкий, и, как часто бывает, когда едешь с детьми, в дороге случился некий конфуз.

- Извините, ради бога! – прошептала Анна. – Алеше нужно выйти. Ну, сами понимаете.

- Хорошо, – прошептал я в ответ. Надеюсь, водитель меня не услышал. Но когда я попросил его остановиться возле сквера, посмотрел косо. Судя по всему, его богатый опыт показывал, что с клиентом не все в порядке. В сущности, он не ошибся.

- Простите! – сказала Анна, когда мальчик скрылся в ближайших кустах. Я даже отчетливо увидел место, где разошлись, пропуская его, ветви.

- Да ладно! Разве я сам никогда не был маленьким.

Добравшись до детской площадки, она торопливо попрощалась: возможно, уже пришла пора просыпаться. Алеша вежливо произнес «До свидания!» и поблагодарил за мультики. Анна, безусловно, воспитывала его правильно.

После их ухода я некоторое время не двигался с места. И впервые, думая об Анне, думал и об Алеше. Возможно, будь мы вместе, получилась бы прекрасная семья. Увы, от этой мысли веяло такой откровенной безнадежностью, что можно было сойти с ума. Если, конечно, забыть, что ты и так сумасшедший.

Из оцепенения меня вывел оклик водителя такси. Послушно сев в машину, я всю обратную дорогу провел в мысленном диалоге с самим собой. И с Валерией. Именно она отняла у меня будущее.

До дома добрались без приключений. Получив деньги, водитель вздохнул с облегчением: он не сомневался, что имеет дело с ненормальным. И был прав: кто еще может мечтать о семье, в которой тебя окружают призраки.

А на следующий день мне улыбнулась удача. Позвонил школьный товарищ и сообщил, что один из его партнеров проводит реорганизацию в дочерней фирме и ищет подходящего человека в руководство. В общем, они остановились на моей кандидатуре.

Обсуждать подробности по телефону друг отказался, и вечером я примчался к нему домой. Разговор получился не самым простым.

- То, что ты порвал со своей кралей, я уже знаю, – сообщил он. – Давно пора! Но торчать каждую ночь возле ее дома – это уже чересчур!

Похоже, на детской площадке меня заметили. Да, бдительные у нас люди, ничего не скажешь! Пришлось выложить все начистоту, но рассказ получился неубедительным. Выслушав меня, друг нахмурился.

- Твое назначение на должность будет утверждаться недели через две-три. Есть время со всем разобраться. Давай-ка завтра в обед загляни в мой офис, посоветуемся кое с кем.

Кое-кто оказался психиатром. Из лучших, как гордо сообщил мне друг. Выслушал доктор мою историю внимательно, но делать выводы не стал. Сказал, что недостаточно данных. Расстались мы недовольные друг другом, но, прощаясь, он сумел удивить меня, посоветовав не отказываться от визитов на детскую площадку. Дескать, иначе мы просто переведем процесс в иную, скрытую форму, и тогда ничего выяснить не удастся. Кто знает, может, он и вправду был лучшим!

Ночью я рассказал Анне о беседе с психиатром, и она здорово встревожилась.

- Тебе ни с кем не нужно этим делиться! – предупредила тихо.

Постепенно она оттаяла, но попросила быть осторожным. Я пообещал, хотя особой угрозы со стороны психиатра не предполагал. Пока мы разговаривали, Алеша катался, как обычно, на качелях, а потом мы вновь отправились ко мне. Отражения гостей в зеркале я не увидел и в этот раз, но расстраиваться не стал. Какая разница! Главное, что Анна и ее сын существуют не только в моем сознании. Нужно их просто найти.

Включив компьютер, я показал Алеше игру в Тома и Джерри. Мальчик увлекся, и мы с Анной без помех закрылись в кухне. Была у меня мысль снова споить гостью, но осуществить идею не удалось – помешал телефонный звонок.

- Не спишь? – поинтересовался друг.

- Не сплю, – ответил я.

- Ты дома?

- Да.

Подумав, он решился на трудный вопрос:

- Не один?

- С гостями, – неохотно признался я.

- Чем они занимаются?

- Мальчик играет в компьютерную игру, а мы с Анной сидим на кухне.

- Отлично! Я хочу на это взглянуть!

Он отключился, но спустя минуту вызвал меня в Скайпе. Теперь мы могли видеть друг друга, что только ухудшало положение. Попытка убедить друга, что мои гости незаметны глазу, оказалась безрезультатной. Он попросил навести камеру на тот угол комнаты, где ничего не подозревавший Алеша продолжал гонять по экрану монитора кота Тома и мышонка Джерри.

- Ну, увидел? – спросил я раздраженно спустя минуту.

- Да. Можешь отключаться, не буду тебе мешать. – Друг поспешил оборвать связь. Очевидно, понял, что был излишне назойлив. Вернувшись к Анне, я изобразил ослепительную улыбку, но вряд ли мне удалось ее обмануть.

Следующим утром они явились ко мне домой вдвоем – друг и психиатр. Оба выглядели хмурыми.

- Тут вот какое дело! – начал издалека друг. – Похоже, ты серьезно болен. Вчера мы вдвоем заехали на эту злополучную детскую площадку. Из машины не выходили, просто за тобой наблюдали. Ты сидел на скамейке и разговаривал сам с собой.

- С Анной! – поправил я.

- Хорошо, пусть с Анной! – быстро вмешался психиатр. – Мы не спорим. Скажите только, что делал мальчик?

- Катался на качелях.

- Все время? – удивился психиатр.

- Да, все время! Он любит кататься! – Мне не удалось подавить раздражение. Итак, за мной следили! Кому после этого верить!

- Мне жаль, – сказал со вздохом мой друг. – Мы просидели там достаточно долго, но качели ни разу не шелохнулись. Ты можешь это объяснить?

- Вы просто не заметили! – упрямо ответил я.

- Хорошо, пусть так, – согласился он. – А что мальчик делал у тебя дома?

- Ты видел сам! – В этот момент я ненавидел их обоих.

- Да, видел. И к счастью, все записал, – сказал он мягко, словно сожалея о своих словах. Затем протянул мне смартфон. На дисплее был отчетливо виден экран моего ноутбука, где по очереди гонялись друг за другом Том и Джерри. А еще было видно, что за клавиатурой сидел я.

Эти кадры так меня надломили, что я почти без сопротивления позволил этим двоим отвезти меня в частную клинику. И даже подписал какие-то бумаги – согласие на лечение. Позже врач объяснил, что мой случай не такой уж редкий. Причиной временного помешательства – он подчеркнул, что оно временное! – стал мучительный разрыв с любимой женщиной. Мозг, мол, начал искать ей замену и, конечно, нашел. Этой заменой стала некая вымышленная личность по имени Анна – полная противоположность Валерии. Мальчик тоже появился не случайно: мне не хватало нормальных семейных отношений. В общем, никаких парадоксов типа телепатии и телекинеза, поскольку и Анна, и Алеша существовали только в моем воображении.

На неделю меня определили в стационар. Клиника была частная, палата комфортная, время пролетело незаметно. Кололи каждое утро и каждый вечер, и от этих инъекций постоянно хотелось спать. Затем стали давать таблетки. Они тоже угнетали, и здоровым я себя не чувствовал. Когда меня выписыли, возвращение в мир нормальных людей даже не казалось освобождением. Собственная квартира встретила отчуждено, будто, предав Анну, я потерял право здесь находиться. В тот же вечер я отправился на детскую площадку, но безрезультатно: доктор отлично справился со своей задачей. Меня и вправду вылечили, но, к сожалению, не сделали счастливее. Я любил женщину, которую выдумал. Проблема заключалась в том, что другие меня не интересовали.

Еще несколько безрезультатных ночных визитов. Может быть, все дело в препарате, который я продолжал принимать? Но в глубине души я понимал, что никогда больше их не увижу. Ни Анну, ни Алешу! Их просто не существовало.

На работу меня взяли. В сущности, работа была тем единственным, на что хватало сил, потому что больше меня ничего не трогало. Вечерами я сидел у телевизора и просматривал какие-то фильмы, но утром уже не мог вспомнить, о чем они.

Так продолжалось вплоть до сегодняшнего дня. Надевая утром брюки, я умудрился защемить нерв. Любое движение левой ноги причиняло такую жуткую боль, что я не смог выйти на работу. Не лучшая перспектива, когда нет ничего хуже, чем оставаться наедине с самим собой. Почему я не промолчал тогда?! Почему рассказал об Анне? Это было предательством, которое невозможно простить никому, особенно, себе. Если любишь, ты должен беречь любимую женщину, даже если ее не существует! Иначе – одиночество.

Телефонный звонок. Секретарша сообщила, что вечером меня осмотрит невропатолог. Лучший из тех, кого она знает. Стало немного смешно: у лучшего психиатра я уже побывал, а пользы никакой – один вред. Недаром говорят, что лучшее – враг хорошего!

Она явилась спустя час – небольшого роста блондинка с умным и насмешливым взглядом и решительными манерами. Такие женщины мне не нравятся: с ними невозможно чувствовать себя уверенно, поскольку они твердо убеждены, что видят любого мужчину насквозь.

Диагноз – воспаление седалищного нерва – «лучший врач» поставила за минуту. Потом сообщила, что нужно сделать укол.

- Под лопатку? – спросил я.

- Нет, чуть ниже, – ответила она со смешком. – Вы что, боитесь за свой тыл?

- Не знаю насколько уместно мужчине спускать штаны, когда у него в гостях дама, – заметил я.

- Дама не в гостях, а на работе! – уточнила она. – Так что решайтесь! Или вызывайте другого врача. Мужчину.

- Мне сказали, что вы лучшая! – парировал я. – Но в любом случае сам себе я инъекцию не сделаю, так что колите, последнее слово за вами!

Она достала из сумочки одноразовый шприц и ампулу вольтарена. Еще оттуда выпали ключи от машины и помада.

- У вас есть спирт? – спросила блондинка.

- Только в виде крепких напитков. Водка подойдет?

Они кивнула, сосредоточившись на операции заполнения шприца лекарством. Я попробовал сделать шаг, но так неловко, что ногу вновь пронзила острая боль.

- Стойте уже, я сама принесу! – несколько раздраженно произнесла врач и решительно направилась на кухню. Только я собрался последовать за ней, чтобы показать местоположение бара, как она уже вернулась с початой бутылкой водки. Подобной стремительностью не обладала даже Валерия!

Интересно, как ей удалось так быстро найти бар? Я улыбнулся, представив, как лихорадочно она открывает дверцы шкафчиков, и тут до меня наконец дошло, что случилось. От волнения я опустился в кресло, а это было достаточно больно. Врач уже переместила содержимое ампулы в шприц и, подойдя ближе, сказала с насмешкой:

- Что же вы тянете? От судьбы все равно не уйдешь!

- Укол подождет! – Голос мой стал хриплым, язык пересох. – В баре, кстати, есть еще и коньяк. Не хотите со мной выпить?

Не знаю, сколько мы смотрели друг другу в глаза, я – с интересом, граничащим с бестактностью, а она – с вызовом! Не исключено, что ей и раньше приходилось попадать в такую ситуацию, и она знала, как из нее выкручиваться, но сейчас это не имело значения. Сейчас вообще ничего не имело значения!

- Даже не думайте! – тихо предупредила она. – Вы – пациент, я – врач! И ничего больше!

- Конечно, – согласился я. – Но мне нужно кое-что выяснить. Нечто очень важное.

- Что именно вы хотите знать? – Она прекрасно держала себя в руках, даже голос не повысила, веря, что контролирует ситуацию. Нужно было с чего-то начинать, и вопрос сам слетел с языка:

- У вас есть сын?

- Не думаю, что это должно представлять для вас интерес, – жестко ответила она.

- Его зовут Алеша?

Она пристально на меня взглянула, но самообладания не потеряла. Сказала задумчиво:

- Похоже, вы основательно подготовились. Наводили справки?

- Да нет же! Поверьте, все намного сложнее. И нам придется это обсудить.

- Нет! – твердо сказала она. – Мы сейчас попрощаемся, и, надеюсь, у вас хватит ума меня не преследовать.

- Задержитесь, прошу вас! – мягко попросил я. – Нам действительно нужно поговорить.

- Это исключено! – ровным голосом сообщила она. – В машине меня ждет сын. Я не могу оставить его там надолго.

- Вы можете привести мальчика сюда. Поверьте, Алеша не откажется!

- Не впутывайте в ваши интриги ребенка! – Она разозлилась по-настоящему и потому стала подозрительной. – И откуда вы знаете его имя? Что, следили за нами?

- Нет, не следил, – устало ответил я. – Не имею такой привычки, Анна!

- Меня зовут Алина! – сухо поправила она. – Вы обознались. Похоже, этот спектакль предназначался другой женщине.

- Вряд ли. Просто я знаю вас как Анну.

- Что за бред! – досадливо воскликнула она. – Прощайте, мне пора!

- Вы не решите проблему так просто! – Я улыбнулся. – Теперь я знаю, что вы существуете на самом деле. Мне даже нет смысла вас удерживать. Так или иначе, но вам придется узнать правду о себе и вашем сыне.

- Нет! – быстро сказала она. – И не вздумайте выслеживать нас с Алешей! Я обращусь в полицию.

- Хорошо! – согласился я. – Идите, но сначала ответьте на один вопрос. Где вы нашли бутылку с водкой?

- На кухне, – не колеблясь, ответила она. – В одном из подвесных шкафчиков.

- Долго искали? – спросил я не без ехидства.

Алина задумалась. А затем, пусть и неохотно, но все же призналась:

- Ну, хорошо, я сразу открыла нужный шкафчик. У вас есть этому объяснение?

- Боюсь, только одно: вы просто знали, где у меня хранятся крепкие напитки.

- Исключается! – В этот раз в ее словах не было уверенности. – Я здесь никогда не была.

- Были, причем вместе с Алешей! И это легко проверить! – заметил я. – Достаточно его сюда привести.

Наверное, моя убежденность произвела впечатление. Алина неожиданно легко согласилась:

- Хорошо! Я схожу за ним! И покончим с этим.

Думаю, все дело в любопытстве: она не смогла объяснить себе, почему так уверенно нашла эту злополучную бутылку. В общем, спустя пару минут Алина вернулась с мальчиком лет шести. Алеша, выглядевший насупленным, на вопросы мамы упрямо не отвечал, зато спросил меня, можно ли ему включить компьютер? Я, понятно, разрешил.

- Дядя – хороший! – убежденно сообщил мальчик, затем прошел в гостиную и включил наощупь сначала источник питания, а потом и системный блок. Спустя пару минут он уже гонял Тома и Джерри по экрану, забыв о нашем с Алиной существовании. Некоторое время она внимательно наблюдала за сыном, затем вопросительно на меня взглянула. Я только развел руками: все было очевидно. Мы прошли на кухню. Вернее, она прошла, а я доковылял. Достал бутылку из бара и разлил коньяк по бокалам.

- Я пить не буду! – предупредила Алина.

- И не требуется! – улыбнулся я. – Чтобы опьянеть, раньше вам хватало запаха.

Она подержала бокал в руке, нерешительно поболтала янтарную жидкость и пригубила. Зажмурилась, потом взглянула на меня.

- Определенно мне знаком этот аромат, – сообщила спокойно. – Это что-то доказывает?

- К сожалению, только косвенно. Но постепенно вы вспомните все. Если сумеете правильно настроиться.

- Вы по-прежнему настаиваете, что я здесь была? – Теперь она выглядела мягкой, что невероятно ей шло. Стремительная Алина на глазах преображалась в прекрасную и спокойную Анну.

- Не просто были, – ответил я. – Вы были здесь *счастливы*.

- А Алеша?

- Вы же сами видите. Он почти привык к этому дому.

- Хорошо, расскажите все с самого начала! – Она улыбнулась мне ободряюще, что, возможно, было улыбкой доктора, предназначенной сложному пациенту. – Похоже, мне и вправду лучше это услышать.

Пришлось рассказать ей все, даже про Валерию. Слушала она весьма внимательно, изредка задавая наводящие вопросы. А после завершения истории подвела итог:

- Не знаю, что и сказать. Как врач я должна была бы потребовать у вас справку о психическом здоровье, но вам ее никто не даст. Наоборот, вновь упекут в клинику. Зато как женщина я умираю от любопытства. Мне так хочется быть счастливой, что я готова безоговорочно вам верить. Вы – хороший человек, даже если сумасшедший. Или особенно если сумасшедший. Вы мне даже нравитесь, чего я не могу сказать ни об одном другом мужчине. Беда только в том, что мне никто не нужен, кроме Алеши. Нам с ним привычно так жить, и изменить это уже никому не дано. Постарайтесь выбросить нас из головы, так будет лучше для всех.

Словно нарочно в кухню вошел Алеша. Подошел к маме и устроился на коленях, показывая, что не собирается оставлять нас вдвоем.

- Нам пора! – тихо сказала Алина. – Прощайте!

Когда за ними закрылась дверь, возникло ощущение, что захлопнулись врата в другое измерение. Жадно поглотив дорогих моему сердцу людей, оно уже никогда не отпустит их обратно. От этой мысли стало так тошно, что, сделав очередное неловкое движение, я почти не ощутил боли.

Но предаваться скорби долго не получилось: зазвенел дверной звонок. В прихожую влетела запыхавшаяся Алина.

- Послушайте, я так и не сделала вам укол!

- Неважно, – ответил я. – Вы же прекрасно знаете, что я не буду обнажать при вас определенную часть тела.

- Предпочитаете страдать? – поинтересовалась она со странной иронией.

- Нет, конечно. Завтра утром вызову медсестру.

- Ладно, как знаете! – Она вышла на лестничную клетку и спросила уже оттуда:

- И вы даже не попросите у меня номер телефона?

- Не говорите глупостей! – крикнул я ей вслед. – Он есть у моей секретарши, следовательно, есть и у меня.

- И правда! – согласилась она. Затем вновь вошла в прихожую и, не отводя насмешливого взгляда, остановилась на расстоянии вытянутой руки.

- Почему вы вернулись? – спросил я нежно.

- Это все ваша Анна! Она не позволила мне уехать просто так! – ответила Алина.

Даже на каблуках она еле доставала мне до подбородка, поэтому ей пришлось встать на цыпочки, чтобы чмокнуть меня в щеку. Исполнив это провокационное действие, Алина скрылась за дверью. Судя по звонкому смеху, рассыпавшемуся по лестничной клетке, она была весьма довольна собой. Похоже, это моя судьба – любить именно таких женщин, ярких и стремительных.

И что это, если не сумасшествие?

1. Никитинский Юрий «Вовка, который оседлал бомбу».

***Юрий Никитинский***

**Вовка, который оседлал бомбу**

Когда вечереет, я люблю смотреть из окна нашего нового дома на горы, за которые прячется солнце, и на дома внизу, уже укрытые тенью. Наш новый дом на самом деле старый, даже не знаю, сколько ему лет. Новый он только для меня и мамы, а раньше мы жили в небольшом городке на востоке. Ну, пока не началась война. И даже какое-то время после.  
Из моего старого дома тоже было интересно смотреть в окно - наша квартира находилась на третьем этаже. Например, я любил рассматривать трансформаторную будку, на которой Вовка написал, что я дурак, а я написал, что дурак Вовка. Там еще было много разных дураков и других слов, но наши выделялись, потому что мы их написали очень большими буквами очень широкой кисточкой.  
За будкой был виден сквер. В сквере стоял памятник какому-то герою труда без рук и почти без тела. Мама говорит, что такой обрубленный памятник называется бюст.  
Однажды Вовка забрался на плечи героя и стал ковырятся у него в носу. Я громко смеялся и тихо боялся одновременно. Смеялся, потому что это неожиданно и смешно - Вовка на плечах у взрослого бюста да еще со своим пальцем у него в носу. А страшно, что кто-то увидит и накажет нас за неуважение к памятнику. Ведь наверняка он установлен уважаемому и известному человеку.Мне, например, памятник никто не поставит. Поэтому у себя в носу можно ковыряться сколько угодно. Правда, мама говорит - это не красиво. Но взрослым редко угодишь.  
Из Вовкиного окна было видно еще дальше, потому что он жил прямо надо мной - на четвертом этаже.  
Как-то раз он слез со своего балкона на мой. Нам тогда обоим влетело от родителей.  
В Вовку попала бомба. Поэтому в Карпаты я переехал без него.

\* \* \*  
Вовка был очень любопытный и обожал помойку. Вечно в ней копался и находил разную ерунду, которую потом пытался выменять у пацанов во дворе и школе на что-нибудь полезное. Например, на старый чулок, в котором раньше хранили лук. Вовка вместо лука клал в чулок камень, раскручивал и бросал. Он не говорил, куда целится, поэтому всегда очень радовался "меткому выстрелу" даже, если камень в чулке улетал высоко в небо прямо у Вовки над головой. Когда он падал, Вовка бежал прочь от того места, крича на весь двор "В укрытие!".  
Как-то вечером, когда уже стемнело, мы пошли на помойку вместе. Там стояла большущая металлическая бочка. Мы заглянули в нее, но ничего не смогли разглядеть. Тогда Вовка зажег спичку, и мы снова заглянули в бочку.Это была бочка от краски. И на дне еще что-то осталось. Догорая, спичка обожгла Вовке пальцы. Он дернулся и бросил догорающую спичку. А краска как вспыхнет!  
По домам мы разошлись без ресниц, бровей и с опаленными чубами. Мама на меня накричала, а папа пошел к Вовкиному папе выяснять, кто из нас больше виноват. Одновременно Вовкин папа шел к моему, чтобы выяснить то же самое. Они встретились на лестничном пролете. Долго что-то обсуждали, а потом вышли на улицу в ларек. Полночи они сидели в беседке во дворе, вспоминали каждый свое детство и громко смеялись. Соседи даже вызвали милицию, потому что наши папы мешали всем спать.  
Если кто-то думает, что нас тогда пронесло, то он сильно ошибается - Вовку три дня не выпускали на улицу вообще, а меня - только за хлебом и за кефиром.

\* \* \*  
Вовка сказал:  
- Владян, нам с тобой нужно на самбо записаться.  
- Зачем? – спросил я.  
- Чтобы быть сильными и владеть приемами самообороны.  
Приемами владеть – это хорошо. У нас хулиганов в городе– завались!  
Секция самбо находилась от нашего дома в трех кварталах. Тренер посмотрел на нас без всякой радости и сказал, чтобы в следующий раз пришли не в спортивках, а с кимоно.  
Вовке родители кимоно купили, а мне мама сама пошила по выкройкам из интернета. Мое кимоно получилось круче, чем Вовкино покупное.  
На следующей тренировке мы много бегали, отрабатывали прыжки через себя и еще кучу упражнений. Ни одного приема.  
Еще недели две тренер нас гонял по залу. А потом стал показывать первые приемы. Мы разбились по парам и стали друг друга бросать через плечо. Выяснилось, что уметь нужно не только приемы показывать, но и правильно падать. Пока это дошло до Вовки, он несколько раз упал абы как.  
После тренировки он сказал:  
- Я больше не пойду на самбо.  
- Почему? – удивился я.  
- Ай, - махнул рукой Вовка. – Ходить далеко. Да и приемы так себе. Кулаками нужно драться. А то пока хулигана за руки схватишь, чтоб через себя бросить, уже сто раз по голове получишь.  
- А как же кимоно? – расстроился я.  
- А что кимоно? Когда откроют секцию карате рядом с домом, тогда и кимоно пригодится. И вообще, я знаешь как себе спину сегодня отбил!  
И мы перестали ходить на самбо. А карате у нас так и не успели открыть.

\* \* \*  
На первом этаже у нас жил татарин. Ну как, татарин. Это у него кличка была такая. Прозвище. Потому что, как человек может быть татарином, если у него имя Василий?  
В общем, перед своей квартирой он построил беседку, по которой вился виноград. А по вечерам под длинными лампами дневного освещения он играл с соседскими мужиками в нарды. И все его в азарте игры называли Татарином, а он смеялся и нисколечко не обижался. Смеялся он потому, что почти никогда не проигрывал.  
Поговаривали, что Татарин играл в нарды на деньги. Поэтому мама не разрешала папе вечером сидеть в беседке.  
Как-то раз осенью, когда днем постоянно моросило и делать на улице особо было нечего, мы с Вовкой бродили от дерева к дереву, прятались от дождя.  
- А давай Татарину лампы разобьем! – предложил Вовка.  
- А зачем? – спросил я.  
- А чтоб на деньги с мужиками не играл!  
Мне показалось, что это справедливо. Мы обошли беседку и стали в нее бросать камни со стороны трансформаторной будки, на которой было написано, что мы оба дураки.  
Обычно у Вовки все получалось немножечко лучше, чем у меня. На дерево он всегда залазил выше. Со своего балкона на мой спускался, а я – нет, потому что мне страшно. В машине за рулем уже несколько раз ездил сам, а я только на коленях у папы. Но в этот раз я швырнул камень так, что он сразу же попал в лампы. Грохот был такой, что мне показалось, весь город услышал.  
Мы с Вовкой неслись по улице с такой скоростью, что жалко нас не видел физрук, он бы сразу нам отличные оценки в четверти поставил. А то и в полугодии.  
Я бежал и громко повторял от волнения:  
- Я попал! Я попал! Я попал!  
А Вовка бежал молча, потому что завидовал тому, что не он герой момента.  
Мы только квартал пробежали, как закончился дождь, вышло солнце и установилась прекрасная погода. Про лампу как-то сразу забылось, потому что мы пошли кидать под колеса проезжающих машин опавшие яблоки из сада возле парка.  
Когда я вернулся домой, папа мариновал мясо. Сказал, что мужики из подъезда сегодня у Татарина будут шашлык жарить – нельзя упускать такой роскошный день. Я сразу обрадовался, ведь шашлык – это моя любимая еда. Особенно, если его жарит папа.  
Мы с Вовкой решили до шашлыков посмотреть какой-нибудь мультфильм у него на компьютере. Пока мы его смотрели, солнце стало заходить.  
И тут вернулся Вовкин папа. Он был злой. Он сказал:  
- Какие-то гады у Татарина лампы разбили. Ничего не видно – ни шашлыков, ни другой закуски, ни, понимаешь, того, из чего пить.  
Мы с Вовкой притихли. Если родители кого-то называют гадами, это значит, что они очень расстроены. А гадам лучше сидеть и не отсвечивать. Поэтому мы с Вовкой распрощались, и я пошел к себе домой.  
Дома папа жарил маринованное мясо на сковороде и тоже вспоминал гадов.  
Я сказал, что мясо и на сковороде хорошо пахнет, а папа мне:  
- Да что ты понимаешь! На сковороде! У нас планы были какие! Соления, зелень, лаваши – все уже закупили! А посидеть оказалось негде!  
Мне очень хотелось хоть как-то загладить вину.  
- Так позови всех к нам.  
- К нам, - махнул папа рукой. – Да в нашей кухне двоим взрослым тесно!  
На следующий день Васька Татарин купил новые лампы. Родители снова засуетились с приготовлениями. Но к вечеру опять пошел дождь.  
- Вот гад, - сказал папа куда-то в окно, бросая мясо на сковородку.

\* \* \*  
С Вовкой у нас была еще такая игра, когда совсем уж делать нечего: мы прятались за кусты и бросали друг в друга засохшие комья глины и земли. Обычно эти комья рассыпались еще в воздухе. Иногда долетали до кустов и рассыпались, ударившись о ветки. Так что после этой игры дома приходилось сразу лезть под душ.  
Моя мама всегда спрашивала:  
- Что нужно было сделать, чтобы принести на себе в дом столько земли? Вы что, в шахтеров играли?  
- В войнушку, - отвечал я, а мама только головой качала.  
Однажды вокруг куста, за которым прятался Вовка, кончились все комья. Зато нашелся камень. Вовка запустил им в меня, а я в это время высунулся, чтобы запустить глиной в Вовку. Но не успел, потому что Вовкин камень попал мне в широко открытый правый глаз.  
Я завыл на всю округу. Мне показалось, что камень ударил так сильно, что моргая я накрыл его веком.  
Вовка испугался и на всякий случай первый побежал жаловаться моей маме. Он сказал, что я слишком большим комком запустил в него, а он в ответ бросил камень в меня. Дальше мама не слушала. Она выбежала на улицу, а потом поехала со мной в больницу.  
Там мы просидели до поздней ночи, пока мне осматривали глаз, делали какие-то примочки и сооружали накладку. Мне даже сказали, что лучше чтобы я провел несколько дней в больнице под наблюдением врачей. Но этого я допустить никак не мог. Поэтому я снова начал реветь.  
Маме стало меня жалко, и ей пришлось написать отказ от больницы.  
Целую неделю я ходил с перевязанным глазом. А Вовка только завидовал.  
- Лучше бы ты в меня попал! Тогда это я был бы красивым раненым! В следующий раз целься лучше, мазила!  
Я решил, что в следующий раз в эту игру вообще не буду играть.

\* \* \*  
Иногда Вовка задумывался, глядя в одну точку. В такие минуты его голубые как море глаза на широком веснушчатом лице мутнели и становились зелеными как озеро. Иногда можно было даже разглядеть, что из одного зрачка в другой у него проплывал большой зеркальный карп.

\* \* \*  
- В некоторых людях, Владян, живут черви!  
- Глисты, что ли? – криво усмехнулся я. – Тоже мне, открыл Америку!  
- Сам ты глисты! – обиделся Вовка. – Глисты – это мелочь. А метровых африканских червей не хочешь?  
- Как это метровых?  
- Вот так. Они длинные и тонюсенькие, живут внутри тебя, а ты об этом даже не подозреваешь.  
- А чего сразу внутри меня? – теперь уже пришла моя очередь обижаться. –Может, внутри тебя?  
- Может и внутри меня, - Вовка не стал спорить. – Они медленно ползают под кожей и едят кровь.  
Мне стало жутко.  
- По ночам некоторые из них выглядывают наружу, - зловеще продолжил Вовка.  
- Как – выглядывают?  
- Вылазят в уголках глаз. И если ты спросонья зацепишь такого червя, то нужно его медленно тянуть наружу, наматывая на кулак. Спешить нельзя, потому что он может порваться и сбежать назад. А из-за того, что он будет порванный, он занесет в организм африканскую заразу. Тогда – всё. Заражение крови и в школу больше не пойдешь!  
- А куда пойдешь?  
- На кладбище, - буднично, словно говоря о погоде, произнес мой друг.  
- А как понять, что в тебе поселился такой червь?  
- В том-то и дело, что понять трудно. Он так устроен, что ничем себя особо не выдает. Только, когда близко к коже подбирается, то она начинает чесаться.  
- Кто?  
- Кожа.  
- Врешь все, небось? – с надеждой спросил я.  
Но Вовка как ни в чем не бывало, тем же спокойным зловещим голосом сказал:  
- А телевизор врет? Я по телевизору видел. Там один африканец до крови расчесал себе руку и ногтем червя поддел. Журналист от этого зрелища сознание потерял.  
Я застыл и прислушался к себе. Все тело чесалось. Особенно руки.  
- Вовка, у меня руки чешутся!  
Я прислушался еще.  
- И голова!  
Вовка достал из кармана яблоко, укусил и, жуя, произнес:  
- Голова – это вши. С ними особых проблем не будет – налысо постригся и всё.  
Мне стало так страшно, что я развернулся и помчал домой.  
- Мама! – закричал я с порога. – Мама! У меня руки чешутся! И черви!  
Мама долго не могла понять, о чем я, а поняв, сказала: чушь! Но я не унимался. Мне казалось, что у меня под кожей медленно ползают длинные африканские черви и некоторые из них даже надо мной тихо посмеиваются. Тогда она отвела меня в поликлинику на анализы. Там у меня ничего не нашли, а в качестве успокоительного выписали мне аскорбинки.  
После похода к врачам мама поговорила с Вовкиной мамой. Вовкина мама тоже сводила Вовку в поликлинику. У него оказались глисты.  
- Владян, у меня червей нашли! – радостно сообщил он после анализов.  
- Глистов, что ли? – усмехнулся я.  
- А хоть бы и глистов! Они что, не черви?  
- Черви, - согласился я. – Только не африканские.  
- А мне африканские и не нужны. С нашими договориться проще.  
Вовка развалился на скамейке, достал из кармана баночку с таблетками, высыпал одну на ладонь и закинул в рот.  
- И лекарства наши им тоже понятней, - сказал он и довольно зажмурился, подставив свои знаменитые канапушки солнцу.

\* \* \*  
В нашем городе был только один зоомагазин. Стеклянный такой одноэтажный павильон. Прямо напротив него стоял брат-близнец. В нем продавали цветы. Но не те, что дарят на праздник. Ларьков с букетами в городе хватало. А здесь продавались разные пальмы, лианы и прочие экзотические растения, которые нужно выращивать в больших и маленьких горшках.  
Мы с Вовкой чаще ходили в зоомагазин. Как в зоопарк. Смотрели на рыбок, попугаев, канареек. А цветочный магазин работал редко. так что там мы почти и не бывали.  
Как-то раз Вовка решил разводить канареек. Я тоже сразу решил разводить канареек. Мы выпросили у родителей деньги на клетки и птиц. Вовка купил кенара и канарейку, и я тоже.  
Первое время мы за ними очень ухаживали. Я даже своим канарейкам немного надоел, потому что днями сидел у клетки и любовался ими.  
Но Вовка вскоре передал шефство над своими птицами родителям. Он сказал, что устал. Ничего не происходит. Они чирикают себе, кенар иногда поет. Клюют свои зерна, скачут по клетке. Скукота. Разговаривать не хотят.  
- Так это ж не попугаи, - сказал я.  
- Не попугаи, - согласился Вовка. – Поэтому представляешь, как было бы круто, если бы они заговорили! Впервые в мире! Говорящие канарейки! Только у Вовки Павлова!  
Ого, подумал я, действительно круто. Только канарейки не разговаривают. Это я знал точно.  
В общем, я тоже стал постепенно остывать к своим птичкам. Но не так, как Вовка. Все равно я кормил их сам и сам убирал в клетке. И за это моя канареечка снесла яйцо!  
Я снова сидел у клетки и смотрел на то, как канарейка высиживала яйцо, а кенар ее кормил из клюва. Вовка приходил в гости и завидовал.  
- А мои не хотят яйца нести, - жаловался он.  
Но, когда появился птенец, я был сильно разочарован. Он появился какой-то неправильный. Правая нога была закинута за голову, будто он исполнял гимнастическое упражнение, но не смог разогнуться.  
Месяц он все рос в гнезде с этой ногой закинутой за голову, канарейки за ним ухаживали, как за самым обычным птенцом. Но он все равно умер.  
А потом моя канарейка снесла сразу два яйца! И птенцы на этот раз вылупились здоровые. И выросли! Один запел, это был мальчик. А вторая просто чирикала, это была девочка. Папа снова дал мне денег, чтобы я купил моим молодым канарейкам по паре. И на клетки новые тоже дал.  
Ох и развелось у меня канареек!  
Вместе с Вовкой я ездил их сдавать в зоомагазин. За кенара давали больше, потому что он умеет петь. Так что скоро я окупил папины затраты.  
Нас с Вовкой стали узнавать в зоомагазине. А продавщица сказала, что наши птички пользуются спросом и назвала нас молодцами.  
Но когда все началось, первые бомбы попали именно туда.  
Вовка сразу помчался спасать аквариумных рыбок.   
Ну, вообще, все сбежались к магазину, вернее к тому, что от него осталось, и спасали, кого могли. Над обломками стояла продавщица и плакала. Увидев меня, она указала на мешок птичьего корма.  
- Возьми своим птичкам,- сказала она.  
На животных, которые не уцелели, мы старались не смотреть.  
Вовка отнес спасенных рыбок домой, а потом в обломках нашел еще и грот для аквариума. Рыбки у него жили в ведре, на дне ведра стоял грот. А водоросли мы надергали в городском пруду.

\* \* \*  
Когда открыли подвал в доме, чтоб было куда прятаться во время обстрелов, мы с Вовкой стали туда ходить просто так.  
Сядем у стены и мечтаем.  
Однажды Вовка спросил:  
- Хотел бы ты, Владян, жить на необитаемом острове? Как Робинзон!  
- Конечно, хотел бы!  
- Тогда нужно бежать из дома.  
- Куда?  
Вовка посмотрел на меня, как на дурака.  
- На необитаемый остров, - сказал он, сильно кривляясь.  
Теперь моя очередь была смотреть на него как на дурака и кривляться:  
- Ты что, совсем того? – я покрутил пальцем у виска. – Бежать! Что подумают твои родители, когда ты исчезнешь сейчас? Они же с ума сойдут. Решат, что тебя убили.  
Вовка задумался.  
- Да, об этом я не подумал... Но как только война закончится, надо бежать. Только чур на мой остров не высаживаться!  
- Это почему же? У Робинзона был Пятница, а ты совсем один хочешь?  
- И у меня будет Пятница.  
- Зачем тебе Пятница, когда есть я? Тем более из дома сбегать вместе будем.  
Вовка посмотрел на меня, улыбнулся.  
- Ну, какой ты Пятница? Ты Владян! Так что давай сразу договоримся – каждый обитает на своем острове.  
Мне стало обидно, что лучшего друга он так легко променял на какого-то неизвестного Пятницу.  
- Но в гости плавать можно каждый день. То ты ко мне, то я к тебе, - добавил Вовка, увидев, что я слегка надулся.  
- А что, наши острова будут рядом?  
- Да. Почти в притык. Согласен?  
- Согласен.  
Вовка закрыл глаза.  
- Ты что, спать собрался?  
- Не, жду, когда война закончится.  
Тогда я тоже закрыл глаза.

\* \* \*

Утром у наших дверей всегда что-нибудь есть – молоко, творог, мясо или овощи. Это наши соседи приносят. Помогают нам, пока мама не найдет работу.

А сегодня, кроме продуктов под дверями стоял еще и велосипед. Подарок от соседского мальчика Богдана. Только здесь на велосипед говорят «ровер».

Я очень обрадовался подарку, потому что дома у меня тоже был «ровер». Только его украли.

Мы сидели возле трансформаторной будки, и Вовка сказал:

- А давай поедем на дальний канал вьюнов ловить?

Я сразу согласился. Только у меня был велосипед, а у Вовки не было. Мой мне достался от папы, он на нем в детстве гонял. Говорил:

- Этот «Орленок» - самый надежный велосипед в мире!

Конечно, он был чуть тяжелее современных великов, но зато совсем не ломался. А если гнулось колесо, то я его легко снимал и ровнял прямо на скамейке. Никаких мастерских не надо.

Только «Орленок» для дальних поездок вдвоем все-таки не очень рассчитан.

Вовка сказал, что это ничего, и одолжил велик у Светки с первого этажа.

Родителям мы, конечно, ничего не сказали, а то так бы они нас и отпустили. После того, как снаряд попал в зоомагазин, нам вообще не разрешалось далеко от двора уходить.

Дальний канал находился в противоположной от блокпостов стороне. Так что нам страшно не было.

Вовка захватил с собой небольшую корзину, которой мы и ловили вьюнов, погружая ее в ил. Вьюны очень скользкие и пищат, когда их вытаскиваешь из корзины. А еще у них в районе головы есть маленькие шипы, об которые можно больно уколоться.

Мы их набрали тогда на большую сковородку. И перед отъездом назад решили хорошенько искупаться. Стали играть в чемпиона мира Олега Лисогора. Как рванули по каналу! Только брызги летели! Метров пятьдесят проплыли. Потом отдохнули и еще один заплыв сделали.

Обратно я плыл на спине, так у меня меньше сил уходило, а Вовка кролем, потому что на спине не умел.

И вот я плыву, только нос и глаза из воды торчат, и слышу какой-то странный монотонный звук. Переворачиваюсь со спины, а это Вовка ревет.

- Ты чего ревешь, Вовка?

- Владян! – рыдая, отвечает он. – Наши велосипеды украли!

Смотрю на берег – точно, не видно велосипедов. А одежда наша лежит.

Только я сразу не поверил, подумал, что просто великов в траве не видно. Но Вовка, конечно же, оказался прав.

Мы оделись, а Вовка продолжал выть. Хорошо хоть мелочь в сандалях осталась. Видимо, воры так торопились отхватить наши велики, что в одежде рыться не стали.

По дороге в город мы остановили грузовик с военными, рассказали свою историю. Военные нас подвезли, притормаживая возле каждого велосипедиста, чтобы узнать, не на нашем ли он велосипеде едет. Но на наших великах никто не ехал.

Вьюнов всех мы отдали пацанам с соседнего двора, чтобы дома не вызывать лишних подозрений. Потому что папе я сказал, что ездил на велике в канцтовары. А пока был в магазине, велик упёрли. Что Вовка рассказывал Светке, не знаю, но ему влетело больше.

- Вот так, Владян, и в приключение попали, и по голове от родаков получили! Это я понимаю – жизнь!

\* \* \*

- Владян, представляешь, на какой-то звезде где-то далеко сейчас стоит такой же точно Владян, только кожа у него зеленая или синяя, и смотрит на звезды, потому что его зеленокожий или синекожий друг Вовка сказал, что где-то далеко сейчас стоит такой же Владян. Представь, что вы смотрите друг на друга. Круто?

Так говорил Вовка.Я как представил, у меня аж голова закружилась. Потом смотрел на звезды. Было действительно круто!

\* \* \*

Вовке на обед оставили курицу. Сырую. Родители спешили на работу, сказали, пусть сам приготовит.

Мы с Вовкой достали ее из холодильника.

- Сначала, - сказал Вовка, - ее нужно обжечь на газу.

- Зачем? – поинтересовался я.

- Не знаю. Мама обычно так делает.

Я зажег конфорку, а Вовка стал вертеть курицу над газом и так и сяк.

- А сколько ее обжигать надо?

Вовка посмотрел на свою работу.

- Хватит. Теперь достань противень и разогрей духовку.

Я все сделал так, как он сказал.

Вовка торжественноуложил курицу посреди противня, затем достал из холодильника сливочное масло. Протер им сначала противень, затем курицу.

- Это зачем? – снова спросил я.

- Чтоб курица не прилипла к железяке. Нам ее еще переворачивать.

- Вовка, а солить ее будем?

Вовка сказал:

- Обязательно, - и густо посолил ее сверху и даже изнутри.

- А перчить?

- Молодец, Владян! Поперчить тоже нужно.

- Только давай не так сильно, как ты посолил.

- Снова молодец! – похвалил меня Вовка второй раз и подкинул над курицей горсточку перца. Он равномерно лег не только на тушку, но и на противень.

- Где научился?

- Нигде, только что придумал.

- Класс! А приправы добавим?

Вовка утвердительно кивнул и достал из буфета пакетики с сухим майораном, укропом и базиликом. Отсыпал три небольшие кучки, смешал их между собой, а затем снова просыпал все над курицей.

- Во даешь! – я был в восторге от поварского мастерства друга. – А что теперь?

- Теперь, Владян, ставим курицу в духовку и идем на веранду играть в нарды. Пока поиграем, она приготовится.

Веранда у Вовки пропахла рыбой. Вовкин папа был рыбак и браконьер. По ночам он ездил на водохранилища и ловил там большущих сомов. Однажды поймал такого, что он еле в ванне поместился. Сети он развешивал сушиться на веранде. Там же сушил рыбу поменьше.

Мне этот запах не очень нравился, а Вовке все равно, он давно привык.

В общем, мы сыграли в нарды один раз и перевернули курицу на противне.

Сыграли второй раз. Я у Вовки выиграл, поэтому он решил отыграться.

Сыграли в третий раз.

Запах печеной курицы стал перебивать запах рыбы.

- Вовка! – закричал я. – Курица!

Мы кинулись на кухню. Я выключил газ, Вовка открыл духовку и быстро достал противень с очень румяной курицей. Она была горчичного цвета с черными вкраплениями. Это обуглились наши специи.

- В самый раз, - сказал Вовка. – Вовремя подоспели. Ты сегодня вообще молодец, Владян.

Курица получилась что надо. Крылышки ее ужарились так, что их можно было грызть почти целиком. И, вообще, она замечательно прожарилась. Вдвоем мы ее на обед спокойно одолели.

А потом лежали на полу животами вниз.

- Мама говорит, что после сытного обеда нужно на животе полежать. Так все животные делают, - сказал я. Вовка не возражал, потому что возражать после такого обеда было трудно. Мы еле переводили дыхание.

- Класс, - только и сказал он.

\* \* \*

Иногда Вовке давали поручение убрать в квартире. Только после того, как он сделает уборку, разрешалось выйти на улицу погулять.

Вовка ложился на диван и настраивался.

Настраивался на то, что квартира уберется сама собой. Но она не убиралась.

Тогда он настраивался на то, что сейчас из шкатулки выскочат трое из ларца одинаковых с лица и сделают все, что Вовка им прикажет. Но никто из шкатулки не выскакивал. Да и никакой шкатулки у него не было.

Вовка настраивался дальше. Он говорил своей правой руке:

- Рука, рука, отделись от тела и сделай уборку, пока я буду думать!

Но правая рука не желала отделяться.

Только после нескольких настроек чего угодно, Вовка начинал настраивать себя:

- Встань и убери! Встань и убери! Встань и убери!

И вставал!

- Главное, Владян, как следует настроиться! – говорил он на следующий день, потому что предыдущие полдня настраивался, а потом полдня убирал квартиру.

\* \* \*

Бомбы прилетели прямо в школу. Одна взорвалась возле столовой, другая на стадионе. Еще одна воткнулась у ворот. Воткнулась, но не взорвалась.

Пока родители мчались домой с работы, Вовка умудрился оседлать не разорвавшуюся бомбу.

- Вовка, слезь с бомбы! Взорвется! – закричал я.

- Владян, это не бомба, а снаряд! – весело отозвался он. – И раз шмякнулся и не взорвался, то теперь уж точно не взорвется!

К школе сбегались дети и взрослые.

Появившиеся военные, застыли при виде Вовки на бомбе.

- Эй, малец! – хриплым голосом негромко позвал его один из военных. – Не шевелись!

Двое военных стали осторожно приближаться к Вовке.

Одной женщине стало плохо. Все остальные зеваки молча следили за действиями военных.

Вовка тоже застыл, сидя на бомбе.

Когда военные подобрались к нему поближе, Вовка напрягся.

- В милицию не дамся! – крикнул он.

Один из военных приложил указательный палец к губам.

- Тшш! Какая милиция, пацан! Сиди смирно! Сейчас мы тебя снимем. Главное спокойствие!

Но Вовка все понял не правильно. Он заревел на всю школу. Военные от неожиданности остановились. Но потом один из них сделал большущий шаг к бомбе, схватил на руки Вовку, отбежал на несколько шагов в сторону и упал на землю, накрыв его собой.

Но ничего не произошло. Лишь из-под военного был слышен Вовкин рев.

Когда военный поднялся, я подумал, что он просто оторвет плачущему Вовке голову за этот глупый поступок. Но военный только крепко обнял его и всё гладил молча по голове.

Зато как ему досталось от родителей, весь двор слышал.

Неделю потом он не выходил на улицу, а мне из окна рассказывал, что ему сейчас интересней мультики смотреть и книжки читать.

Так я ему и поверил! Книжки читать! Это его родители наказали!

\* \* \*

Строго настрого родители наказалинам гулять только во дворе, а при первых звуках выстрелов или взрывов бежать в подвал дома.

Но на улице стало жарко, а через два квартала от нашего дома во дворе какого-то института находился летний бассейн. Раньше там купаться не разрешали. Но теперь до бассейна никому дела не было. Никто его не охранял.

Так что мы с Вовкой тайком ходили туда купаться. Нужно было всего лишь перелезть через забор с сеткой.

Вода в бассейне, конечно, так себе. Зеленая. Ну, так не море же. Главное, что глубоко и в тени деревьев.

Вовка нырял, чтобы рукой достать дно, а я увидел, как через забор перелезли незнакомые мальчишки. Их было трое, они тоже пришли купаться. Только раздевшись, они не полезли сразу в бассейн. Они стали копаться в нашей одежде.

- Вовка, по нашим карманам лазят! – крикнул я и быстро взобрался на бортик бассейна. – Эй, а ну положи штаны на место!

Вовка вылез на бортик сзади незнакомцев.

Я подошел к тому, который рылся в наших вещах, вырвал у него одежду.

- Ты чего нарываешься?! – грубо ответил он.

Но дождаться ответа не успел, потому что Вовка уже столкнул одного его дружка в воду. А я столкнул этого. Третий сам прыгнул.

Мы схватили в охапку наши вещи и быстро перелезли через забор. Одевались уже на улице. И тут выяснилось, что Вовка прихватил штаны одного из тех пацанов. Он пошарил в карманах и, ничего в них не найдя, выбросил в мусор давно не работающей стройки.

- Вовка, ты что? – возмутился я.

- Это будет им урок. Нельзя лазить по чужим вещам только потому, что вас больше!

\* \* \*

- Вовка, как ты думаешь, тот зеленокожий или синекожий Владян с другой планеты сейчас тоже в подвале сидит и в темный потолок пялится?

- Ты что, Владян, с дуба рухнул? Чего синекожему Владяну по подвалам сидеть? У них знаешь, какая жизнь там! Нам и не снилось! Никаких войн, никакого ножа в спину, и народы там реально братские, будь ты хоть синекожий, хоть серобуромалиновый. Не то, что у нас.

Мы сидели с Вовкой в подвале. Наверху гремели взрывы. И никаких тебе звезд.

\* \* \*

- Знаешь что, Владян?

- Что, Вовка?

- Срочно нужно доброе дело сделать.

- А какое?

- А такое! Собаку надо спасать!

Я, конечно, не стал трогать Вовкин лоб и спрашивать про температуру, но ненадолго притих.

- Ты что, не понимаешь? – рассердился Вовка.

- Нет, - признался я.

Вовка сердито цыкнул.

- Через два дома живет одна бабка. Недавно у нее появилась несчастная собака.

- С чего ты взял, что собака несчастная?

- С того, - начал кривляться Вовка, - что она все время рвется с поводка! Как бабка выведет ее на улицу, так она и рвется на волю!

Мы пошли во двор того дома и стали ждать. Через некоторое время на улицу вышла бабка. На поводке у нее дергалась лохматая собачка. Она беспрерывно лаяла, пыталась кусать прохожих и действительно пыталась вырваться.

- По-моему, она бешеная, - сказал я.

- А я тебе о чем? Конечно, бешеная! Стала бы собака от нормальной бабки вырываться!

- Да я не про бабку говорю! По-моему, собака бешеная. Или дурная.

- Сам ты, Владян!..

Вовка обиделся.

Тогда я внимательней присмотрелся к бабке. Нос крючком, глаза мутные, волосы седые растрепаны. И что?

- И что ты предлагаешь?

- Я предлагаю подкараулить бабку, когда она пойдет в магазин. В магазин с собаками не пускают. Бабка привяжет ее у входа, а тут мы. Отвязываем, хватаем собаку в охапку и бежим!

- Куда?

- Домой!

Я решил, что Вовка готов усыновить собаку и забрать ее к себе домой и согласился. Ни бабка, ни собачка не выглядели счастливыми. Наверное, им и правда лучше жить раздельно.

Мы сидели в этом дворе, пока бабка с собачкой снова не вышла. Проследили ее до магазина. Бабка привязала собачку к дереву и ушла. Собака лаяла и рвалась с поводка.

- Вовка, - сказал я, - собака точно чокнутая.

- Посмотрел бы я на тебя, если бы тебя на поводке эта бабка водила. Тоже бы на людей бросался.

На цыпочках мы подобрались к дереву, отвязали поводок, Вовка подхватил собаку… И в этот момент из магазина показалась бабка.

- Ты что ж это делаешь, негодник? А ну-ка быстро отпусти собаку!

Ага, так Вовка ее и отпустил. Наоборот – он со всех ног припустил в сторону нашего дома, а я рванул следом.

Бабка оказалась не такой уж старой, как притворялась, потому что бежала за нами, размахивая пакетом с продуктами и обзывая нас всякими нехорошими словами. Она даже стала нас догонять!

- Ничего, Джек, - обратился Вовка к собаке. – Держись, скоро будем дома!

Но то ли собаку звали не Джек, то ли она вообще отвыкла у бабки от нормального отношения, не знаю. Только пока Вовка перепрыгивал через клумбы, сокращая путь, собака эта цапнула его прямо за нос.

- Ай! – закричал Вовка не своим голосом. – Что же ты делаешь, псина неблагодарная!

А Джеку так понравилось, что он цапнул Вовку еще и за руку.

- Владян, бросаю Джека! – сообщил Вовка, когда Джек уже летел в сторону догонявшей нас бабки. – Я тебе сразу говорил, что он бешеный!

- Вовка, это я тебе говорил!

Мы хотели уже остановиться, потому что давно не были на физкультуре и выдохлись. Только за нами все еще бежала бабка. А Джек этот проклятый бежал впереди нее и лаял.

Пришлось поддать газу.

Перевести дыхание удалось лишь тогда, когда Вовка захлопнул дверь своей квартиры.

- Все, слава богу, сбежали! – еле дыша, произнес он.

Но в дверь позвонили. Вовка аккуратно посмотрел в дверной глазок.

- Выследил нас этот Джек бешеный.

- Не открывай!

- Конечно, не буду!

Все-таки бабка эта была злюкой, как с самого начала и говорил Вовка. Она дождалась, пока с работы не вернулась его мама, и пожаловалась на нас. Сказала, что собака к ней прибилась из самой зоны АТО, а мы хотели ее украсть.

Мне, допустим, досталось меньше. А Вовке еще и уколы от бешенства делали. Потому что это Джек, оказавшийся Пальмочкой, нос ему до крови прокусил, собака!

\* \* \*

Город наш перестали убирать. Мусор чувствовал себя в нем полным хозяином. А стройки все забросили. Ни одного строителя.

Так что мы стали ходить гулять на ближайшую стройку.

- Давай, Владян, кастрик распалим и будем через него прыгать!

Вовка предложил, Вовка и распалил. Дров было навалом. Ящики, поддоны. Он прыгал на них, ломая доски пополам. А разжигал с помощью картона, которого здесь тоже было сколько хочешь.

Костер получился такой, что и не перепрыгнешь.

- Ничего, - сказал Вовка, - сейчас прогорит немного и можно будет прыгать. Я вот еще рубероида добавлю.

- Зачем? – спросил я его. От рубероида дым черный и картоху в нем не запечешь.

- От рубероида, Владян, дым черный. Будет как в кино. И мы через этот дым будем прыгать!

Я подумал, что это хорошая идея, прыгать через дым.

Костер немного прогорел, зато коптило так – света белого не видно!

И мы стали по очереди прыгать. Сначала в одну сторону. Потом назад.

Тут мне пришло в голову, что можно прыгнуть навстречу Вовке. Я предложил этот фокус ему, и он, конечно же, согласился.

- Прыгаем по краю, - сказал я. – Чтобы друг в друга не врезаться.

Мы побежали на раз, два, три. И вместо края, меня понесло в центр.

Оказалось, что туда же понесло и Вовку. Мы ка-а-ак врезались! Вовка отлетел в сторону, а я ногой в костер. А там смола от рубероида. Я сначала подумал, что мне ногу искры прожгли. Но когда мы потушили штанину, увидели на ноге капли смолы.

- Ты чего в центр-то полетел? – спросил меня Вовка.

- Хотел тебя слегка зацепить. А ты чего?

- И я хотел тебя зацепить.

- Балбес ты, Вовка.

- А ты, скажешь, не балбес? Зато ты теперь раненый, - и ногой своей по костру как ударит. Будто не костер это, а футбольный мяч. Ну, и заорал сразу, потому что тоже ногу обжог. Только орал он с довольной улыбкой – теперь и он раненым стал.

Мама, смазывая ногу «Спасателем» и забинтовывая, сказала, мало ей того, что она днями трясется, боясь, как бы к нам во двор чего не прилетело, так еще мы сами приключения на свою голову находим. Балбесы.

Я не возражал. Потому что мы к этому же выводу пришли. Сами. Без маминой подсказки. Ну, что мы балбесы.

\* \* \*

А потом мама совсем нервная стала. Прямо с катушек слетела.

Подумаешь, мы кастрик во дворе разожгли. Подумаешь, баллон от лака для волос в него бросили. Мы так часто делали. Баллоны эти зд*о*ровски взрываются. Ну, допустим, никто не ожидал, что этот не только взорвется, но еще и мне в лоб прилетит. Так что, из-за этого нужно кричать на весь дом? Еще и руки распускать?

Раньше такого не было.

- Накличете беду на себя! То он с ожогами придет, то с шишкой. А завтра чего от тебя ждать? С дружком твоим вместе.

Вовкина мама тоже кричала громко. Они же над нами жили. Так что слышно было нормально.

Мы после этого договорились с Вовкой костры больше не жечьдо конца войны, раз огонь так родителей нервирует.

\* \* \*

Мы стали готовиться к переезду. Мама сказала, что оставаться в городе небезопасно. И вообще, она в такой обстановке жить не может.

Вовкины родители тоже договаривались с родственниками, пересидеть у них.

Стало понятно, что мы разъедемся в разные стороны и увидимся не скоро.

- Давайте я вас на память сфотографирую, - предложила нам Вовкина мама.

Она нас причесала, поправила нам воротники и усадила у стенки, «чтобы фон был ровный». Мы сидели и пялились на Вовкину маму, пока она настраивала свой большой цифровой фотоаппарат – подарок на день рождения от Вовкиного папы.

- Так, ну вроде все. Ну-ка, сделали серьезные лица и посмотрели в объектив.

Мы немного поерзали, и только я успел сосредоточиться, как – щёлк! – вспыхнула вспышка. Вовкина мама удивленно посмотрела на экран фотоаппарата.

- Вова! Я же попросила сделать лицо серьезное!

- Я такое и сделал.

- Такое?

Вовкина мама показала нам то, что получилось. На снимке я был еще более-менее, а Вовка скорчил такую рожу – хоть стой, хоть падай.

- Давайте еще раз. Вова, будь серьезней! Сосредоточься!

Мы снова поерзали, принимая строгие позы и делая серьезные лица.

Щёлк!

- Вова! – Вовкина мама снова осталась недовольной.

Он получился так, будто его лицо невидимая корова пожевала.

- Да я сосредоточиваюсь! – возмутился Вовка. – Это ты спешишь! Фоткай еще!

Но каждый новый раз был хуже и хуже. Я не выдержал и стал смеяться. А Вовкина мама не выдержала и стала ругаться. Вовка тоже разозлился очень. И даже обиделся.

- Ты нарочно ждешь, пока меня перекосит!

- Это ты поджидаешь момент, когда я фотографирую и корчишься!

- Я не корчусь!

- А я не жду!

Все шло к тому, что совместной фотографии у нас не будет. И тут Вовкину маму осенило!

- Подождите-ка! Так, ты, Владик, сиди как сидел, а ты, Вова, кривляйся, - сказала она.

- Не буду я кривляться! Я вон и не кривляясь как получаюсь! А ты хочешь, чтоб я совсем уродом вышел!?

- Если моя идея не сработает, то удалим фото. Не бойся.

Я сосредоточился и смотрел в объектив не мигая. Вовка же наоборот – стал кривляться, мычать и сводить глаза к носу.

Щёлк!

- Невероятно, - удивленно прошептала Вовкина мама. – Как такое вообще может быть?

Мы с Вовкой склонились над экраном фотоаппарата.

- Ни фига себе! – сказали мы в один голос.

На снимке я и Вовка. Оба смотрим перед собой. Оба сосредоточенные и спокойные. Ну, у Вовки, конечно, легкая ухмылочка, но никакого кривляния!

- Случилось чудо, - Вовкина мама всё никак не могла прийти в себя. – С ума сойти! Ну, да ладно. Главное, что фотография на память получилась.

Для этой фотки Вовкина мама выделила мне флешку. Я могу в любое время подключить ее к компьютеру и посмотреть, как мы с Вовкой сидим у стены с ровным фоном и сосредоточенно смотрим прямо перед собой.

В тот раз мы пытались сделать еще несколько фотографий, действуя по той же схеме. Но больше поймать такой момент не удалось.

\* \* \*

Вовка достал из кармана рубашки сигарету и сунул ее в рот.

- Щичас, Владян, время такое, што нужно быть мужиками, - сказал он, сжимая сигарету зубами.

Выглядел он с сигаретой в зубах по-взрослому.

- Я согласен. А что нужно делать, чтобы быть мужиком?

- Например, курить.

Вовка чиркнул спичкой и солидно втянул в себя дым. Так же солидно выпустил. Посмотрел на меня, глаза его расширились. И совсем не солидно закашлялся.

- Кхе-кхе, не в то горло пошло, кхе-кхе.

Он протянул дымящуюся сигарету мне.

- Твоя очередь.

Мне не очень-то хотелось курить, потому что раньше я не курил и был уверен, что, если закурю сейчас, то мне обязательно влетит от мамы. Но и позорником, вместо мужика тоже быть не хотелось.

Поэтому взял сигарету, втянул дым. И закашлялся.

- Кхе-кхе, и у меня, кхе, не в то горло, кхе…

Дым этот был совершенно не вкусный, противный был. Но Вовка снова затянулся. На этот раз он почти не кашлял.

Тогда и яопять взял сигарету.

Так, передавая друг другу, мы выкурили ее до фильтра. И тут мне стало плохо. Вернее, у меня закружилась голова. И заболела одновременно. И сразу захотелось лечь. И я лег прямо на клумбу. И сразу понял, что лег неправильно. И перевернулся на другой бок. И снова было неудобно. И казалось, что земля пытается меня сбросить в небо.

- Вовка, - с трудом сказал я. – Со мной что-то странное происходит.

- Владян, помолчи, а то меня стошнит.

Вовка катался по клумбе рядом со мной.

- Вовка, а если сейчас прилетят бомбы, а мы тут на клумбе валяемся?

Он через силу приподнялся на локте. Лицо его было зеленого цвета.

- Владян, бомбы бросают из самолетов. А самолеты сейчас в войне не участвуют. В нас могут прилететь только снаряды.

- Так, а если прилетят снаряды?

- Плевать. Один снаряд я уже как-то оседлал.

Тут Вовку стошнило. Он вскочил и куда-то убежал. А мне стало все равно. Я лежал и смотрел на голубое небо.

Вовка вернулся с бутылкой воды.

- Пей, Владян, скорее!

И зачем-то облил мне голову. Я выхватил у него бутылку и жадно к ней присосался. Стало легче. Я смог сесть.

- Неправильную мне сигарету подсунули. Наверняка отравленную. Работа диверсантов.

- А кто тебе ее подсунул, Вовка?

- А я знаю? Шел по улице, вижу – сигарета лежит. Я и взял. Так они и действуют: разбрасывают по городу отравленные сигареты. Хорошо, что у меня деньги на воду были!

Я встал, и мы, поддерживая друг дружку, поплелись домой умываться, потому что в бутылке уже ничего не осталось.

- Скажи, Вовка, есть способы стать мужиками без сигарет?

- Есть, Владян, но давай пока спешить не будем.Нужно подождать года до двадцати одного.

\* \* \*

Я сбросил подушку с кровати и лежа на полу читал книжку про гарантийных человечков. Папа с мамой только-только ушли на работу. А Вовка уже шастал по двору.

- Владян! Владян!

Я подошел к окну. Вовка стоял внизу и махал мне руками.

- Выходи на улицу!

- Сейчас, мне пару страниц дочитать осталось!

- Давай, я тебя тут подожду!

Вовка сел прямо на землю, будто говоря, что не сойдет с этого места, пока я не выйду. Ага, как же! Он и секунды бы там не усидел.

Я снова улегся на пол. И тут как бахнет! Несколько раз подряд. Взрывы были такой силы, что меня засыпало стеклянными осколками, а дом застонал и задрожал. Я даже не успел накрыть голову подушкой.

Некоторое время после взрывов было очень тихо. Потом послышался женский плач и ругательства. Я осторожно поднялся, отряхнулся и выглянул в выбитое окно.

На том месте, где сидел Вовка, зияла воронка. Одно дерево возле трансформаторной будки было повалено. Саму будку сильно побило осколками. И вообще, по двору будто ураган пронесся.

Вовки я нигде не увидел.

\* \* \*

Когда вечереет, я сажусь писать письмо папе, который служит теперь в одном из добровольческих батальонов. А потом смотрю из окна на горы. И облака.

Вот прямо сейчас надо мной плывет не облако, а настоящая Вовкина улыбка. И я тоже улыбаюсь и машу облаку рукой.

Говорили, что в Вовку попала бомба. Чудаки. Почему же его тогда совсем не нашли? Потому что я знаю, он оседлал бомбу. И сейчас, сидя на ней, улыбается мне сверху.

- Владян, это не бомба, а снаряд.

- Привет, Вовка.

Плоткин Александр «Отец», «Кому нужна стерва?»

***Плоткин Александр***

**ОТЕЦ**

Было утро, и Виктор разговаривал с матерью.

— Они глупые, — сказал Виктор.

— Так не бывает, чтобы все были глупыми. Тебе же нравится дядя Игорь.

— Он добрый, но глупый.

— Но почему?

— Не знаю.

— Тогда не надо так говорить.

Виктор чувствовал, что в этом разговоре он сильнее своей матери, хотя она никогда не говорила ничего плохого об отце Виктора и его друзьях с тех пор, как они развелись. Виктору казалось, что мать с ним одного мнения, но он хотел, чтобы она спорила с ним и доказывала ему обратное или строго накричала на него и запретила ему говорить то, что он говорил об этих взрослых. Он чувствовал, что слова, которые он говорит, ведут к каким-то новым вопросам, которые он не хотел задавать, и к ответам, которые могут прийти помимо его воли.

Они разговаривали в субботу, когда мать собрала Виктора, чтобы он поехал с отцом на дачу к знакомым. Двенадцатилетний курчавый мальчик стоял перед матерью, глядя в пол, и по подвижному лицу было видно, что он что-то мучительно пытается для себя решить. Она почувствовала себя виноватой перед ним.

Мать погладила его по голове. Она решила его успокоить. Они с бывшим мужем договорились, что сын проведет с ним два дня на даче, и следовало, чтобы он поехал повидаться с отцом.

— Поезжай. Ведь ты же хотел поехать. Будешь два дня с папой. Ведь папа же умный.

Да, его отец был умный! Он играл на пианино и мог сыграть любую мелодию со слуха, и мог сыграть «Песню без слов» Мендельсона! Он прочитал много книг и помнил, что в них написано! Когда Виктор хотел пойти на утренник, отец сказал, что там будет скучно, и там было скучно! Он знал, как сделать маленькую яхту! Он вырезал Виктору деревянные кинжалы! Виктор мог доказать, что его папа умный!

— Поезжай, — повторила мать. — Опоздаешь. Ты же давно не видел папу.

Его вопрос остался непонятным и растворился в воздухе.

Он выбежал через густо намазанные черной краской ворота, свернул у трансформаторной будки и побежал вверх по узкой крутой лестнице с плоскими ступенями и низкими перилами из раскрошившегося ракушечника, сложенного «под дикий камень», и дальше мимо пыльного сквера, который назывался Собачий садик, где был маленький круглый бассейн с гладкими бетонными стенками и фонтанчиком в виде грота из того же ракушечника с торчащей сверху короткой и тонкой железной трубой. Он бежал изо всех сил, боясь опоздать и казня себя за отнявшие время колебания, стараясь как можно меньше замедлять темп к концу крутых пролетов, когда перехватывало дыхание, и снова ускоряясь на площадках между пролетами. Картина пустоты, которую он сейчас увидит в том месте, где они условились встретиться с отцом, явственно стояла у него в голове и подгоняла его.

— Папа!

Отец обнял его. Он напрасно боялся. Отец ни за что не ушел бы без него.

Отец был очень красивым в летней рубашке в белую и коричневую клетку и аккуратных светлых брюках со стрелкой. На ногах у отца были красивые полузакрытые сандалии и в тон подобранные носки, а на руке — часы на кожаном ремешке. Лицо у него было умное и молодое, без морщин, несмотря на то, что ему было уже тридцать шесть.

— Смотри, какой вырос, скоро начнет за девками гонять.

Рядом с отцом стоял дядя Игорь, о котором говорила мать. Он всегда говорил о женщинах. Виктор смутился и взглянул на отца. Отец ответил ему взглядом. «Все в порядке, — сказал взгляд отца. — Так можно разговаривать». Почему они с отцом не могли быть вдвоем? Или с людьми, которые бы им нравились?

Виктор улыбнулся, чувствуя свое лицо как чужое. Что-то снова начало шевелиться в нем и не давать ему быть до конца со всеми. Он взял отца за руку.

Отец посмотрел на часы.

— Начальство задерживается, — сказал дядя Игорь.

Они улыбнулись.

Через несколько минут у перекрестка остановились три машины.

— Семен! — Крикнули из одной.

— Бежим, — сказал отец. Отец бежал легко и по-молодому гибко. Они подбежали к первой машине, и отец заглянул в нее, но кто-то внутри махнул рукой, и они побежали ко второй. Дядя Игорь залез в нее, а они с отцом побежали к третьей, и Виктор испугался, что им не хватит места. Добежав до третьей машины, отец заглянул внутрь и с вопросительным выражением на лице показал пальцем сначала на себя, а потом на Виктора. Человек за рулем кивнул. Виктор вдруг подумал о том, что машина, на которой они поедут, чужая, и дача тоже будет чужая, а у отца нет ни дачи, ни машины.

Тех, кто сидел в машине, Виктор не знал. Отец, кажется, знал мельком только одного — того, кто сидел за рулем. Но чтобы не было неловкости от молчания, сидевшие в машине начали разговаривать, и Виктор почувствовал, что возникает какая-то общность, укрывающая его и дающая безопасность. Когда в разговоре возникали паузы, Виктор боялся, что это чувство уйдет, но отец каждый раз в таких паузах находил, что нужно сказать дальше. Когда он в очередной раз пошутил, сидевший рядом с тем, кто вел машину, обернулся, и Виктор увидел большое тяжелое лицо.

— Хохмач, — сказал человек отцу. — Твой наследник?

— Мой.

— Это хорошо. — Что сказать дальше, человек не знал.

— А где вы работаете? — Спросил друг Виктор, радуясь тому, что отец приобрел нового друга.

Он сразу понял, что сделал ошибку, и спрашивать было не нужно. У всех сидевших в машине на секунду изменился ритм дыхания. Отец опустил глаза, как бы оставляя Виктора одного.

— Я работник правоприменяющих органов, — ответил не сразу человек с большим лицом и повернул голову вперед.

Некоторое время все ехали молча, потом осторожно, как будто стараясь обходить глубокую яму, опять стали разговаривать. Отец снова шутил, но у Виктора не проходило чувство, как будто в машине кроме тех, кого он видел, сидел кто-то еще, невидимый для него.

Больше он не старался вступать в разговор. Машины выехали из города на шоссе и ехали рядом с узкой насыпью одноколейки, обгоняя короткий пригородный состав с маленьким паровозом и зелеными вагонами с окнами в деревянных рамах.

Дачи стояли в ряд на плоском берегу в ста метрах от моря и двух километрах от парившего на солнце по другую сторону одноколейки лимана. Участок был густо засажен разросшимися фруктовыми деревьями и кустами. Очевидно, здесь, на узкой полоске суши между двумя солеными водоемами, где-то под землей пробивался источник пресной воды.

Компания, вышедшая из машины, и те, кто ожидал на даче, шумели некоторое время, не зная, что делать дальше. Те, кого Виктор здесь знал, были с работы отца, из Пароходства, но отец работал на суше, в порту, а эти плавали на кораблях за границу, потому что оттуда привозят красивые вещи и можно посмотреть дальние страны.

Все суетились и что-то доставали из багажников, только человек с большим лицом стоял возле своей машине, непонятно улыбаясь, как будто что-то заранее одобрял. Из другой машины вышла девочка — ровесница Виктора и ее мать, которая сразу сняла с нее платье. У девочки был толстый живот, и черный потертый купальник был ей уже мал.

— Машенька, гитара здесь? — Громко говорил отец жене дяди Игоря смешным голосом, чтобы слышали все. — Шашлык, я полагаю, замаринован?

— Все есть, Семочка, все. Не волнуйся.

— Это очень важно! — Отец с напускной серьезностью поднял палец.

— Сема, ну о чем ты говоришь. Вот лучше познакомься. Это очень хорошая Вера.

Хорошая Вера стояла рядом, опустив большие руки. Виктор сразу почему-то подумал, что его мать гораздо красивее этой женщины, хотя матери здесь быть не могло.

Отец шумел, переходя от одного человека к другому, и, элегантно владея атмосферой, без лишних усилий объединял компанию. Он не боялся подойти и начать первым разговор с человеком, в то время как остальные, особенно те, кто не знал друг друга, как будто боялись друг друга и не решались сделать первый шаг. Все улыбались отцу и послушно включались в то, что он делал, как будто он был здесь главным. Виктор тоже улыбался и радовался успеху отца, но ему казалось, что отец своими шутками прячется от кого-то и выставляет вместо себя другого человека, и было непонятно, зачем он так делал.

Отец почувствовал его взгляд.

— Пойдешь с нами купаться?

— Конечно.

— Может, останешься поиграть с девочкой?

Ригину послышалась в голосе отца виноватая нота.

— Нет.

— Ну, давай!

Отец подмигнул ему, вовлекая в общую атмосферу, и Виктор благодарно улыбнулся, потому что улыбка отца была привычной, той, которую он всегда знал.

Женщин оставили готовить ужин, а мужчины пошли к морю.

Все выкупались и легли на тончайшем, похожим на белую пыль песке. Виктор лежал на животе, положив подбородок на руки. Перед ним прямо из песка росло несколько высоких тростников с жесткими перехватиками между концами. Их узкие острые листья перегибались и подрагивали. Людей на пляже почти не было, только вдалеке виднелись компании с соседних дач.

Отец и дядя Игорь куда-то ушли и скоро вернулись с двумя здоровенными стрижеными блондинками.

— О, Сема, ты, я вижу, ходы-выходы знаешь, — сказал человек с большим лицом и сразу сел.

— Так точно. Это же очень хорошо, — подтверждал отец, как будто хотел кого-то успокоить.

Блондинки хихикали и хотели лежать только рядом друг с другом.

— Фант, фант, — улыбаясь, повторял дядя Игорь.

— Ну, не надо, — блондинки крутились, как будто их щекотали.

— Обязательно!

— Нет, у нас такой порядок, — очень серьезно сказал отец. — Вы должны нам показать, как вы можете согреть мужчину.

Блондинки легли носами в песок и зафыркали.

— О, Сема! Ты, я вижу, дело понимаешь, — смеялся человек с большим лицом.

— Позвольте, коллега, — сказал отец с профессорской интонацией, указывая на катившийся по ветру целлофановый пакет, — если я не ошибаюсь, это презерватив.

— Слоновий, — добавил дядя Игорь.

Виктор не знал, что такое презерватив, но чувствовал, что ему стыдно. Его удерживало общее веселье, и в то же время хотелось уйти. Он хотел что-то спросить у отца, но сам не знал, что именно, и сколько он ни смотрел на него, отец не замечал его взгляда. Виктор понял, что отец сейчас занят другим и не думает о нем. Странно было, что блондинкам все это нравилось, а ему казалось, что их обижают. «Может быть, так нужно?» — подумал Виктор.

Блондинки ушли переодеваться и обещали прийти в гости, и Виктор не понял, зачем они хотят прийти.

Виктор страшно проголодался, и когда сели за стол, набросился на еду. На столе был шашлык с кислым соусом из слив, которые росли в саду, салат, маслины, свежий хлеб, серебристая соленая тюлька, привезенная из города колбаса, которую здесь никто не ел, и роскошный арбуз. Виктор заметил, что водку пьют охотнее, чем напитки из иностранных бутылок.

Из-за острова на стрежень

Топай, топай — эх!

Стенька Разин выплывает

Кверху попой!

Дядя Игорь пел громко и напористо, со второго куплета припев подхватили все.

Топай, топай — эх!

Нас на бабу променял!

Кверху попой!

Виктор отяжелел от еды и устал от этого мгновенно пролетевшего дня, и то, что не давало ему быть со всеми, на время ушло.

Взрослые пели, и за столом было весело.

— Компания! — сказал отец с дрожью в голосе. — Это же компашечка!

Маша принесла ему гитару.

— Сема! — ревел человек с большим лицом. — Может, шо-нибудь блатное? Сема!

— Верочка, иди сюда, — сказал отец вежливым голосом, делавшим все, что он говорит, двусмысленным.

— Куда ты меня зовешь, Семочка? В кустики?

— Нет, зачем, в кустики не нужно, — очень серьезно сказал отец. — Иди ко мне.

— За дружбу этого стола!

Когда пришли блондинки, Маша что-то сказала отцу, кивая на Виктора.

— Да, правильно, — сказал отец. Иди-ка, парень, спать. Уже знаешь, какой час?

Лицо у отца было доброе, но, хотя Виктор уже очень хотел спать, он все-таки почувствовал, что доброта отца направлена не к нему, а куда-то мимо.

— Я вам постелю на террасе сверху, — сказала Маша. — Будешь на улице спать вместе с папой?

— Да, — сказал Виктор. Это было интересно. Он еще никогда не спал на улице.

— Иди умойся и подымись по лестнице на террасу, на второй этаж.

Виктор встал из-за стола и пошел умываться за кусты.

Он умылся и пошел к дому по темной дорожке, не возвращаясь к столу, откуда доносились голоса и смех. У темной стены дома он увидел два красных огонька от сигарет и услышал голоса отца и дяди Игоря.

— Теперь он тебе откроет визу. Ты ему угодил с этой блондинкой. Будешь плавать за границу.

— Но у него же морда, я тебе скажу.

— Паек слуги народа.

Виктор с удивлением услышал, что у отца совершенно другой голос, не похожий на тот, которым он говорил за столом.

— Надо еще с подоночками посидеть.

Виктор, ни о чем не думая, поднялся по железной лесенке на верхнюю террасу, где рядом стояли два застеленных топчана. Он разделся и лег, положив руки под голову.

И вдруг Виктор понял, какой вопрос он все время хотел задать, и сразу же понял, какой на него есть ответ. Он хотел спросить, почему отец, умный и красивый человек, общается с этими людьми, пьет с ними водку, поет глупые песни и развлекает человека с большим лицом. Было ясно, почему это так. Отец хотел плавать за границу, и человек с большим лицом мог это разрешить. Вот ради чего все это было. Вот почему отец был здесь. Как хитрый и трусливый Валерик у них во дворе, отец заискивал, улыбался и заглядывал всем в лицо! Вот почему его отец, знавший наизусть «Маленького принца» и споривший с матерью о Хемингуэе, которого не любил, ведет себя так, подлаживается к этим людям, притворяется не таким, какой он есть, старается слиться с ними и говорит с двусмысленной интонацией глупые, пошлые шутки и... и теперь уже понятно, какой он человек. Его отец боится!

Виктор катался и переворачивался на своем топчане, до боли стараясь подавить в горле слезы, но наконец не выдержал и громко заплакал. Он плакал и боялся, что кто-нибудь услышит его плач и придет его успокаивать. Но все было тихо. Чувствовалось большое открытое пространство. Темное небо, кусты и деревья образовывали единый живой ансамбль, объединяемый теплым тихим воздухом. Виктор решил сходить искупаться к морю. Он встал, спустился с террасы и пошел к выходу из сада, стараясь идти так, чтобы его тень попадала не на освещенные яркой луной места, а на темные кусты и их тени. Виктор делал это не потому, что боялся, как бы его не заметили, а потому, что хотел слиться с происходившим вокруг действием ночи и не хотел нарушать его. Он старался дышать в такт медленному движению воздуха. Дойдя до калитки, Виктор решил, что дальше идти не стоит. Ему не захотелось выходить из сада в отрезок степи между поселком и пляжем, где не было деревьев и кустов. Он постоял между деревьями, вернулся на террасу и лег.

Через некоторое время пришел отец. Он был пьян, но хорошо владел собой. Двигаясь бесшумно, округлыми, плавными движениями, он стал разбирать постель, готовясь ко сну. Их топчаны стояли вплотную. Красивое лицо отца было близко наклонено к Виктору. По лицу Виктор видел, что отец вполне доволен и какие-то намерения реализовались.

Виктор лежал с открытыми глазами, но отец не замечал, что он не спит.

— Папа, — сказал мальчик с нежностью.

Отец вздрогнул, опустил руки и посмотрел на него.

— Папочка, милый!

**Кому нужна стерва?**

Алексей Юрьевич выглядел как человек, который во всём добился успеха. Он приезжал на внедорожнике БМВ, писал сценарии для сериалов, знакомился подряд со всеми девушками, независимо от возраста, и раз в месяц появлялся с новой подругой. С ней он держался так, как будто они близкие люди, и у них серьёзные планы. У него была приличная внешность благородного отца с аккуратными усиками. Он говорил — надо уметь себя   
подать.

Официантки в кафе «Американо» относились к нему с большим уважением. Они приносили ему кофе без кофеина и лимонад, который делали для него по особому рецепту.

— Белла, — говорил он официантке, чуть картавя, со светской интонацией, — принесите мне, пожалуйста, мой лимонад.

— Конечно, Алексей Юрьевич. Сейчас я вам принесу.

Алексей Юрьевич приезжал в кафе каждый день и разыгрывал этот спектакль. Борис и Тимур хотели у него этому научиться, и тоже приезжали каждый день. Иногда к ним ещё присоединялся Миша, но Миша приезжал не так уж часто.

Борис хотел делать всё, как Алексей Юрьевич, только ещё лучше, и тоже стал просить официанток принести ему кофе без кофеина и особый лимонад. Потом он ещё придумал особенный фруктовый салат, чтобы в нём был только ананас, без других фруктов. Но у Бориса всё равно получалось не так, как у Алексея Юрьевича. Он давил на официантку, говорил с ней намеренно медленно, с тяжёлым нажимом. Это было не то. Ему не хватало уверенности. Из-за этого Борис злился и стискивал зубы. Глаза у него от напряжения выпучивались и становились белыми.

Тимур тоже стал заказывать кофе без кофеина, особый лимонад и фруктовый салат только из ананаса. Но он, наоборот, слишком улыбался, прогибался и двигал плечами. А иногда пел. Это тоже было не то. У него тоже не получалось.

В субботу Борис и Тимур приехали раньше, чем Алексей Юрьевич.

Горел жёлтый свет. Потолок в «Американо» был выкрашен красным, а стены доверху закрыты зеркалами. Столики стояли вплотную друг к другу. Официантки едва пробирались между ними. Народу было полно.

Борис и Тимур рассматривали ляжки девицы в коротком платье. Ляжки были мясистыми и сочными. Девица тоже была сочной, мясистой, с большими руками, уже немолодой, с усталым потрёпанным лицом. Ляжки, гладкие, чувствительные, излучавшие притяжение, казались моложе, чем всё остальное. Это был последний шанс в её войне. Девица вертелась на стуле, так чтобы выставить их напоказ, поворачивала голову, смотрела на Бориса и Тимура, а потом улыбалась худой подруге.

Борис с Тимуром, не отрываясь, рассматривали их.

Девица допивала с подругой вино. Она высоко поднимала бутылку и сильно наклоняла её над бокалом.

— Что они такое едят, — намеренно громко сказал Тимур. Он смотрел под стол на ляжку.

— Они едят что-то непонятное, — сказал Борис.

— Мы едим салаты, — сказала девица, не поворачивая к ним голову.

— Не может быть, — сказал Тимур. — По-моему, это что-то совсем другое.

— Это пища для здоровья, — сказал Борис. — Людям нужно здоровье. — Он выпучил глаза и стиснул зубы.

Девица улыбнулась подруге. Она закинула ногу на ногу. Платье поднялось ещё выше. Ляжка расплющились на стуле.

— А чем занимаетесь вы?- Спросила она.

— Мы? — Сказал Борис. — Пропагандой здорового образа жизни.

Девица посмотрела на подругу. Она опустила одну ногу с другой. Потом поставила ногу на соседний стул. Ляжка вытянулась.

Тимур поднял узкий подбородок, развернул плечи, надулся и запел:

У любви как у пташки крылья,

Её никак нельзя поймать!

Девица опустила ногу. Ляжка утолщилась и стала более круглой и короткой. Девица налила вина, и чокнулась с худой подругой. Она повернулась к Тимуру с Борисом.

— Ну чем вы всё-таки занимаетесь?

— Мы? — Сказал Борис. — Мы? Консультированием мелкого бизнеса. Средний класс — условие стабильности. Хотите, мы вас проконсультируем?

Девица наклонилась над тарелкой. На ляжке обозначилась ямка.

Борис приподнялся и наклонился вперёд:

Вы говорите розы?

А я насрал!

Он выпучил глаза.

Стране нужны паровозы!

Стране нужен металл!

Девица переглянулась с подругой.

В этот момент в кафе вошёл Алексей Юрьевич и начал целоваться. Первой он подошёл к сидевшей в большой компании хорошо сложенной брюнетке. Он шёл через зал с поцелуйным выражением лица, которое становилось всё более очевидным, пока он приближался. По мере того как он подходил ближе, брюнетка поворачивалась к нему. Борис и Тимур смотрели, затаив дыхание. Алексей Юрьевич подошёл вплотную, брюнетка встала. Алексей Юрьевич сделал движение руками и выпятил губы. Брюнетка сделала встречное движение, и они длинно поцеловались. Борис и Тимур за своим столиком прижались друг к другу. После поцелуя брюнетка сразу села за стол к своим друзьям. Алексей Юрьевич выдохнул, осмотрелся, и двинулся дальше. Он подошёл к сидевшей у барной стойки блондинке с причёской, поднятой со всех сторон наверх.

— Привет, Маша!

— Здравствуйте, Алексей Юрьевич!

Маша наклонила голову набок, и они длинно поцеловались. Потом Алексей Юрьевич двинулся в сторону Бориса и Тимура, но по дороге заметил двух студенток, он подсел за их столик и начал с ними болтать. Студентка, сидевшая ближе, смеялась, вторая хмурилась. Алексей Юрьевич познакомился с той, что сидела ближе, записал в мобильный номер телефона, ещё минуту поболтал, поднялся и сел к Тимуру с Борисом.

— Как ваши сценарии? — Спросил Тимур.

— Да для чего, ты думаешь, я их пишу? Чтобы знать, что я это могу. Мне важно, что я в состоянии это устроить. Пробить по своим связям. Вот что мне важно! А больше ничего! Мне неважно, что дурачьё там смотрит! Вот деньжат заработать – это да!

— А как поживает ваша Катя?

— Прекрасно. Как только она приходит, я ей сразу говорю — раздевайся и в душ!

— А вы говорили, что собираетесь на ней жениться.

— Ага. В сослагательном наклонении, — Алексей Юрьевич помахал четырьмя пальцами.

— Вы же ездили с ней в Париж.

— Ну и что?

В воскресенье Борис и Тимур пришли позже, чем Алексей Юрьевич. Народу в кафе было меньше, оставалось много свободных мест. Алексей Юрьевич сидел за угловым столиком с Катей. Борис и Тимур подошли и сели к ним.

— Что там у тебя в Исландии с вулканом Барбрадунга получилось? Что это ещё за извержения? — Алексей Юрьевич в упор смотрел на Бориса.

— У меня? У меня всё отлично получилось, — глядя на него и выпучивая глаза ответил Борис. — У меня всё получилось нормально. Нормальное извержение.

— А по-моему, это твоя недоработка. В Европе из-за него самолёты не летают.

— Что нам заказали, то мы и сделали. — Борис крепко сжал зубы.

— Нет, ну а пыли столько зачем пустили?

— У меня всё получилось хорошо. Как нам заказали, так мы и сделали.

— А я думал, это у тебя получился какой-то сбой.

— Ничего подобного.

— Мне кажется, здесь твоя недоработка.

Катя сидела молча, с испуганно-тревожным лицом. Ей было под сорок. Она надела большие серьги с камнями.

Вошёл Миша.

— Подсаживайся, Миша, — замахал ему Алексей Юрьевич.— Давай, садись!

Миша подсел.

— Это Катя, — сказал Алексей Юрьевич.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказала Катя.

Миша посмотрел на неё.

— У меня акустическая система лучше, чем в любом кинотеатре Москвы. Я не знаю, в каком московском кинотеатре есть такое качество акустики, какое я поставил у себя в домашнем кинотеатре, — вдруг сказал Миша. У него было лицо с широкой, как будто искусственно расширенной, нижней челюстью. — Всё!! Я скачок курса доллара предсказал за три дня, когда никто ещё не дёргался. Я смотрел по числам Фибоначчи. — Его что-то зацепило, он завёлся, и говорил один без остановки. — Я своим говорю — немедленно покупаем доллар. Один мне сказал, я ещё подожду, Он потом локти кусал. Полмиллиона долларов у него вылетело, только свистнуло. Это минимум. Потом была головная боль, как их вернуть. По документам они же у него на счетах остались. Всё!! — Он ткнул толстым пальцем в воздух перед собой. — Я в казино выиграл в рулетку сто тысяч. У них доход примерно миллион долларов за вечер. Тогда ещё были казино. То есть убыток я им причинил ощутимый. Менеджеры сразу дёрнулись. Встали вокруг. Как гончие. Сейчас от них деньги уйдут. Вынесли мне «поляну». Выпивка-закуска. Ну, сделали всё красиво. Всё!! Менеджер говорит, выпейте-закусите и сыграйте ещё. Чтобы я проиграл, и деньги у них остались. А я говорю — нет, подождите. Будет не так. Я выпью, закушу, но играть я не буду. А я сейчас заберу деньги, — он ткнул пальцем, — и пойду домой.

В понедельник в кафе было пусто. Алексей Юрьевич читал детектив. Борис и Тимур приехали позже него. Было уже двенадцать. Официантки скучали у стойки.

— Что вы читаете? — Сказал Борис.

Алексей Юрьевич показал яркую обложку детектива. На ней была нарисована грудастая красотка в жёлтом платье.

— Вы купили эту книжку, потому что тут нарисована она, — Сказал Борис.

— Конечно. Я вообще читаю просто так, чтобы знать, кто как пишет. Что ещё нового кто придумал. А больше мне ничего не нужно!

— А как же Катя? — Спросил Тимур.

— Не знаю, — раздельно сказал Алексей Юрьевич и закрыл книгу. — Я закончил эту историю. Всё, конец этому делу.

В кафе вошёл Миша. Под руку он вёл девицу, загорелую, высокую, с подкрашенным ровным тоном детским лицом. В свободной руке, отставленной в сторону, она держала мобильный телефон, который каждые две минуты играл мелодию из «Ну погоди!». Алексея Юрьевича прямо перекосило. Девушка была красивая.

Миша подвёл её к столу.

— Вот. Это — Лена.

— Здравствуйте! — Сказала девица.

— Подсаживайтесь! — Сказал Алексей Юрьевич.— Давайте!

Алексей Юрьевич заказал лимонад. Борис — фруктовый салат из ананаса. Тимур попросил кофе без кофеина.

Телефон сыграл музыку из «Ну погоди!». Девица посмотрела на телефон, но не ответила. Она всё время держала телефон наготове.

— Тебе взять что-нибудь поесть? — спросил Миша.

— Я хочу, чтобы ты на мне женился, — сказала девица.

— Я подумаю, — сказал Миша.

— Кто-нибудь тут может написать за меня сочинение? — Спросила девица, обращаясь ко всем.

— Я, — тут же сказал Тимур. — Я хорошо писал сочинения.

— Заранее спасибо, — улыбалась девица.

— Вы дайте мне ваш электронный адрес, и я вам пришлю, — сказал Тимур.

— Я тебя просила мне написать, — обернулась девица к Мише.

— Я вам напишу, — сказал Тимур.

Миша продолжал улыбаться, но рот у него двигался сам собой, как будто он боролся с улыбкой

— А какое вам написать сочинение? — Спросил Тимур.

— Нам задают в институте. Я учусь на актрису.

— Да, ну, вам нужно написать интересно, — сказал Тимур.

— Тебе скоро надо будет платить за второй семестр, — сказала девица Мише.

— Вы прямо просите всё сразу, — сказал, разводя руками, Борис, — замуж, сочинение и оплатить семестр.

— Пошли, — сказал Миша, вставая.

— Если он мужчина, он заплатит, — сказала девица, поднимаясь вслед за ним.

Телефон у неё в вытянутой руке заиграл из «Ну погоди!». Девица поднесла руку к уху и остановилась. Разогнавшийся Миша повернулся и встал.

— Нет, — сказала девица в мобильный, — сегодня я не могу с вами встретиться. Я занята. Учусь. Как завтра, я пока ещё тоже не знаю.

Они ушли. Девица продолжала держать телефон в отставленной руке.

— Белла, принесите, пожалуйста, кофе без кофеина, — сказал Алексей Юревич.

— И мне, — сказал Борис.

— И мне, — сказал Тимур. — Белла, как вы думаете, любовь существует?

— Ой, я не знаю. Вас рассчитать?

Официантка намекала, что пора по домам. «Американо» работало до последнего посетителя. Кроме них в кафе никого не было. Они сидели в середине и отражались всех зеркалах.

— Как ты думаешь, любовь существует? — спросил Тимур.

— Я думаю, да.

— И я думаю, да.

— Да я не могу этого! — Отчаянно сказал Борис.

— Чего? — Спросил Алексей Юрьевич.

— Любить! Лучше мы будем как вы! Научите нас! Как вы делаете? Как нужно жить?

— Хорошо. Я потом научу, — сказал Алексей Юрьевич.

— Мы стремимся быть друг друга главнее. — Сказал Тимур.— Влезть друг на друга на друга. Всех опережать. Быть самыми лучшими, самыми сильными, самыми гавными. А любовь — это на равных. А вдруг она на голову залезет?

— Не знаю. Не могу сказать. Вполне возможно, — сказал Алексей Юрьевич.

— Это доказано, — сказал Тимур. — Человек боится. Я проходил психотерапию.

— Психотерапию? — Сказал Алексей Юрьевич. — Не поможет.

— А чего он боится? — Спросил Борис.

— Другого человека. Что будет, если он окажется лучше? Что он сможет с тобой сделать? Он не хочет испытывать страх. Так что вот так.

— А.

— Ну вот.

— Я понял. Хреново.

— Не знаю, — сказал Алексей Юрьевич. — Это не ко мне. Не по моей части. Не знаю. Не берусь судить.

— А Миша привёл жуткую стерву! — Сказал Борис.

— Ой, да кому нужна стерва!? — Сказал Алексей Юрьевич. — Ради бога! Никому она не нужна!

— Да ёлки-палки, кому она нужна! — Сказал Борис.

— Кому она нужна! Не буду писать ей сочинение!

— Да.

— Да.

— Вот так вот.

— Ну и что?

— Что?

— Нет, я просто так.

— Мысли какие-то.

— Забудь.

— Что-то хреново. Не знаю, отчего.

— Да ну ладно!

— Правда.

— Да что ты!

— Нет, правда.

— Да ты что!

— Крепись!

— Ладно, всё. Всё. Уже всё.

— Ну что?

— Эмм.

— Ээ.

— Мм.

— Что сейчас будем делать?

— Может ещё по кофе?

— Давайте её позовём.

— Белла, принесите, пожалуйста, кофе без кофеина!

— И мне, пожалуйста.

— А мне, пожалуйста, фруктовый салат.

1. Розенберг Григорий «Перед Йом кипур».

***Розенберг Григорий***

**Перед Йом кипур**

Чужая свирепая жара. Даже в тени - раскаленный, сухой до ломкости воздух.

Заходишь в помещение, где шелестит кондиционер, сразу взмокают спина и лицо. Контрастом перед глазами - два спокойных лица, обернувшихся на тебя, мокрого и одуревшего. Они тебя видят прекрасно, а тебе кажется, что в помещении сумрачно, потому что электрический свет не сравним с тем, наружным, ослепляющим.

Я здесь работаю. Вот мое место, мой компьютер, моя чашка. Вот мои коллеги - Ницан и Малька. Ницан - хозяин, Малька - просто художник-график. На ее улыбку, обозначающую риторический вопрос: "Что слышно?" киваю, утираюсь и тоже улыбаюсь.

Я - новенький. И в этой стране, и в этом городе, и вот, на этой самой работе. Неделя, как устроился в маленькую дизайнерскую контору, расположенную на узкой улочке района под многообещающим названием - Оазис справедливости. Здесь, в конторе, я первый и единственный русский, и хозяин настороженно приглядывается. Я для него черная лошадка и кот в мешке. Два в одном...

На первых порах - разные недоразумения. То ли предубеждения, то ли действительно разно устроенные мозги, но уже появились взаимные подозрения насчет нормальности друг друга...

(Хозяин: Малька, ты с ним говорила о чем-нибудь?

Малька: Говорила.

Хозяин: Тебе ничего не показалось?

Малька: В каком смысле?

Хозяин: Ну, в смысле... У него все дома? Он не странный?

Малька: С чего это вдруг? С ним интересно. Есть даже чему поучиться...

Хозяин: А мне, знаешь, показалось... Он в первый день работы вечером, перед уходом домой знаешь, что сказал? - У меня, - говорит, - для тебя печальные новости... - Я сразу напрягся. А он продолжает: - Рабочий день, оказывается, уже кончился, я пошел домой. Но ты не огорчайся, завтра я вернусь...

Малька: Ницан, он же пошутил так. Ты перед ним важничаешь, атмосфера напряженная, вот он хотел разрядить, наверное.. Просто попрощался, но не сухо, а улыбнувшись.

Хозяин: Ну, то есть, тебе не показалось, что он немного того? В смысле, с тобой - выделяется слово "тобой" - он говорил нормально?)

Но чем дольше общаемся, тем, оказывается интересней. Вдруг выясняется, что он знает, например, имя Татлин. На фоне тех, кого встречал в Израиле до сих пор, знающий Татлина потрясает...

Увидев мое удивление, он высокомерно хмыкает:

- Я, между прочим, "Бецалель" кончал...

Светлые волосы, голубые глаза, взгляд прозрачный и нагловатый. Из-за немного вздернутой посадки головы, длинной ямочки под носом и выпуклой губы он напоминает верблюда...

Говорит со мной о модерне, конструктивизме, Баухаузе... Даже о сценографии и сценической пластике. Я уже и не ожидал в этой стране встретить такого собеседника... Ну, то есть, я не сомневался, что они здесь есть во множестве, но полагал, что на моем уровне мне их не встретить. Большинство, окружающих меня, мягко говоря, другие.

Я рассказываю о России, он - об Израиле. И вдруг говорит:

- Мне кажется, я понимаю твое состояние...

Задумчиво так говорит, отечески, промакивая мизинцем уголок глаза. На ты говорит, не на вы, потому что нет в иврите обращения на вы. Только на ты. Отсюда на первых порах постоянное ощущение фамильярности.

- Переезд из одной жизни в другую, потеря своей атмосферы, своего статуса, своих привычек, правил...

Я сначала понимаю его превратно. Впечатление, будто я приехал из диких краев, а он, цивилизованный, мне сочувствует. Тем более, что поводы были..

Я уже убедился тут, что в каждой конторе свои обычаи, о которых тебя отдельно не предупреждают.

На прошлой работе в первый день спросил, где у них обедают. И сколько длится обед. Оказалось, что никакого обеда нет, что никуда они на обед не выходят. Специально обеденного времени нет (здесь тебе не киббуц!). Принес сэндвич, съешь его, когда проголодаешься, а от работы не отвлекайся. Работай и жуй.

(- Как? Прямо тут, за рабочим столом? Возле компьютера?!

- Конечно. Где же еще?..- и простецкий шлепок по плечу).

Сначала было странно, потом притерся. И в этой конторе уже привычно достал свой бутерброд, откусил от него, жую и продолжаю работать...

- Слушай, ну ты меня извини, - удивленный голос Ницана за спиной, - может, у вас так в России принято, но у нас возле клавиатуры сэндвичи не едят. Крошки же!.. Жирные пальцы потом на клавиши...

- У нас - я сглотнул кусок целиком, - у нас вообще принято совсем другое! Ели, как нормальные люди, между прочим, в ближайшем кафе или институтской столовой. И не как у вас, а первое, второе и третье! И обеденный перерыв длился, между прочим, целый час!..

Как ели у нас Ницана не интересует, а вот организация рабочего дня его не устроила:

- Час?! Нет, час, это много! Что вы там ели, что нужен был целый час?

Потом вдруг оживляется:

- Знаешь, тут прямо за углом очень уютный маленький скверик. Ты можешь посидеть там и пожевать свой сэндвич. Там хорошо...

Потом после паузы добавляет миролюбиво:

- А кофе уже здесь попьешь...

Но я ошибался. Оказалось, говоря о потерянной атмосфере, он имел в виду вещи побанальнее.

- Ты вырос на других сказках, ты привык к другим шуткам, к другому кино, к другим условностям. Наши праздники для тебя туземные обряды. Речь, поговорки, шутки, обычаи... Представляю, как тебе и всем вашим здесь непросто. Тебе, наверное, многое кажется диковинным?..

Скверик был и маленьким, и уютным.

Раньше, еще дома, когда я видел в кино, как путник укрывается от жары в тени пальм, я не мог понять, что там за тень от пучка перьев на макушке голого ствола? Здесь обнаружил, что вполне внятная тень. В скверике два-три фикуса в виде полноценных деревьев и несколько пальм за спиной. От пальм - ажурная и прохладная тень. Там, за спиной, где пальмы, там решетчатая ограда школы. Когда я прихожу обедать, в школе начинается переменка. Только вместо привычного мне звонка, громкая мелодичная музыка из репродуктора. Так выпускают на перемену и под этот же мотивчик загоняют обратно. Ощущение, что выпускают стаю разъяренных обезьян, которые орут и беснуются прямо тут же, за решеткой. Уши закладывает... Приходится пересесть подальше...

Но вот звучит благословенная мелодия, и, как в театре, занавес закрывается. Наступает блаженная тишина.

Когда кончается перемена, в скверик приходит странный молодой человек, которого я для себя окрестил студентом. Он ни разу не поднял на меня глаза. Мы сидим с ним в скверике только вдвоем, каждый на своей скамейке, а вокруг больше никого нет. Он - поближе к школьным пальмам, я - подальше. Ему, как видно, рев диких обезьян до лампочки. Он подолгу - и после моего ухода - сидит и читает свои наоборотные ивритские книжки, листая их слева направо. Книга у него на коленях, листает он ее левой рукой, а кисть правой прячет в какой-то черный тканевый мешочек и что-то там внутри производит, какие-то невидимые мне действия. Может, какие-то тайные четки перебирает, но у меня настойчиво возникают скабрезные ассоциации. Его голова с молодой бородкой опущена, глаза уперты в книгу, сам неподвижен, а рука что-то там делает в мешочке, возится меленько и активно, живет внутри торбочки...

Солнечно, спокойно, тихо... На противоположной глухой стене - тени от веток. Между переменами в школьном обезьяннике очень тихо, только изредка одинокие аплодисменты голубей.

У израильского лета есть такой особый горячий запах. Чего-то незнакомого и приятного. Этот запах, тишина и осознание того, что ты за границей, создают ощущение длящегося сна. Все вокруг, стена, фикусы, тени кажутся нерезкими, неясными... И если думать об этом, проникаться этими ощущениями, то наступает момент, когда и диковинные вещи вполне принимаются сознанием обыкновенными...

Через несколько дней я привык и студенту с его странным мешочком, и к обезьяннику за спиной...

У меня вдруг обнаружили какие-то проблемы с печенью. Молодая женщина-врач смотрела на меня, как на диковинное животное в зоопарке.

- Сколько водки в день выпиваешь? - бесцеремонно спросила она, медицински заглядывая мне в лицо.

Я пожал плечами.

Дальше она говорила с женой. Объяснила ей, как у меня все непросто, и строго-настрого велела перейти на жесткую диету, отказаться от русских привычек. Иначе, мол, перспективы невеселые. Жена слушала внимательно, не перебивая.

И вот, сидя в своем фантастическом скверике, я разворачивал собранный женой пакетик с обедом в новом, как теперь говорят, формате. Тощая куриная ножка без кожи, один кусочек хлеба и два огурца. Или пластиночка постной колбасы на кусочке хлеба и опять два огурца... Вот и весь обед.

К гипнотизирующим запаху лета, тишине и заграничному мировосприятию прибавился постоянно сосущий голод... Я понимал, нереальные чудеса не за горами.

И они пришли.

Их было двое. Удивительно, но они пришли вместе. Собака и петух. Они вели себя так спокойно и уверенно, что мне показалось, будто это я у них в гостях. Собака подошла, села как-то боком передо мной, на одну половинку зада, так что вторая лапа оттопырилась, как у инвалида, и стала умно смотреть мне в лицо. А петух запрыгнул на скамейку, решительно подошел совсем близко и тоже на меня посмотрел, но только сбоку, вывернув голову гребешком почти вниз. Студент на эту фантастическую мизансцену не обратил никакого внимания.

Собака была драной, облезлой дворнягой, но не просто так, а с ошейником. По внешнему виду казалось, что это беспородное создание генетически двигалось в сторону бульдога, но прошло не больше трети пути и остановилось. Бульдожья нижняя челюсть на морде пинчера. Один зуб, когда она закрывает пасть, торчит снизу вверх наружу. Выражение морды такое, что я не удивился бы, обнаружив в уголке губ папиросочку...

Петух белый и не слишком опрятный. Традиционные украшения на башке и под клювом не красные, а бурые какие-то, гребешок мягкий и плоский, как пустой горб у верблюда.

Намерения у парочки были однозначные: оба рассматривали мой бутерброд и огурцы. Я не стал делать вид, что не понимаю ситуацию. С петухом было просто. Я откусил от огурца, как от сигары кончик с хвостиком и положил рядом с собой на скамью. Скамья была металлическая, с дырочками, и коготки петуха неприятно царапали металл. Петух внимательно следил за моими действиями, быстро склевал кусочек и снова уставился на меня. Я повторил операцию, но откусанный кусочек уже не положил на скамью, а протянул к желтому клюву гостя. Тот даже не подумал шарахнуться, а просто выхватил у меня из пальцев огуречную порцию молниеносным движением каратеки, разве что без вопля "киа!"

Собака не сводила глаз с бутерброда. Когдя я отломил ей порцию, она, в отличие от петуха, проявила верх деликатности. Не кинутый на землю, а протянутый ей кусочек она медленно и осторожно взяла у меня из пальцев и проглотила так, что я и глотка не углядел.

Мой обед закончился в два раза быстрее, чем обычно. И ощущение голода не покидало меня до самого ужина...

На следующий день я прихватил порцию побольше. Слава богу, в этот раз была куриная ножка. Большая... То есть, я знал, что собакам куриные косточки нельзя, но почему-то мне казалось (уж не знаю, почему), что это касается только породистых собак. А дворняги жрут все. И что не будь петуха, моя гостья и огурец бы смела за милую душу. Огурцов я, в тайне от жены, взял четыре штуки.

Все повторилось. Они явились парочкой, как старые приятели. В то же самое время, что и вчера. Сегодня петух вовсе обошелся без церемоний и вырвал у меня свой кусок огурца чуть ли не изо рта. А вот собака вела себя по-прежнему, как бомж-интеллигент: с достоинством и без амикошонства. Аккуратно взяла косточку из рук, положила на горячую тротуарную плитку, а уж оттуда подняла и разгрызла.

Погладить собаку я решился на четвертый день. Агрессии она не проявила, но и особой радости не выказала. Она сидела прямо передо мной, но чтобы погладить, надо было к ней потянуться. Ближе не подошла. Когда я положил руку на ее шерстяной лоб и повел к шее, уши она не опустила. Не было этого всегдашнего собачьего движения навстречу, когда голова собаки делается гладкой, льнет к ладони, и ты ощущаешь, что ласка принята. Что вы свои.

Но некий условный шаг навстречу был сделан. Мы еще не понимали друг друга, еще не были своими, но некие отношения уже наладились. Она меня знала, узнавала и приходила ко мне на свидание в определенное время.

Петух, как мне показалось, был равнодушнее, толстокожее и даже как бы циничнее. Когда я, отдал ему первый кусочек огурца и потянулся правой рукой его погладить, он не отскочил, но вытянул шею в сторону левой руки, где был огурец, так, что, вроде ускользнул из-под правой. Тогда я протянул левую с огурцом к петуху, а правой все-таки погладил по шее сразу за гребешком. Петух замер, переждал своей твердой равнодушной шеей мои приставания, и как только я убрал гладящую руку, резко выхватил свой кусок из второй руки.

Так потекли дни.

Осень уже полным ходом, а жара еще круче. Кажется, что плотные листья на деревьях плавятся от зноя, размягчаются, вот-вот закапают горячими каплями. А у меня в памяти мокрые стволы сосен и балдежный сырой запах от них, липнущие к скамейкам яркие листья и мокрое от холодного воздуха лицо... Здесь оно тоже мокрое. Идешь по улице, море совсем рядом с работой, и оттуда идет влажный, как пар из чайника, воздух.

- Вы где Рош а Шана отмечаете?

Это спрашивает Малька. Она религиозная. Не ортодоксальная, не радикальная. Из той вполне демократической религиозной среды, которая называется "Вязанная кипа". То есть, она религиозна без фанатизма. Тем не менее, ей кажется, что все евреи должны отмечать праздник Рош а Шана, Еврейский Новый год в соответствии с еврейскими традициями. Как и Пасху.

В этом году праздник в конце недели. Два нерабочих дня, плюс суббота. Итого - три.

- Вы вообще, как справляете новый год, по-вашему или по-нашему? - спрашивает Малька, и я знаю, что вопрос без намеков. Ей просто интересно.

- А мы и так, и эдак, - отвечаю я.

- А дерево ставите на свой Новый год?

Деревом они называют нашу елочку.

- Ставим, конечно.

Ницан вступает в разговор и, снова превратившись в высокомерного верблюда, рассказывает о сути праздника Рош а Шана, об обычаях и ритуалах. О том, что вот он - пример того, что традиции соблюдают не только религиозные. Вполне себе светский человек, а вот же! А кто в этом не вырос, для кого это с детства не стало родным, тот воспринимает все, как туземные декорации. А если и начинает соблюдать вместе со всеми, то это, скорее, имитация. Мимикрия...

Ницан даже не предполагает, что я и без него кое-что мог знать про этот праздник, что уже читал что-то в литературе. Он из тех коренных израильтян, что видят во мне перманентного первоклассника, которого еще учить и учить...

- Все это очень условно, - огрызаюсь я. - К любой, знаешь ли, информации можно привыкнуть, проникнуться ею. Но, конечно, если у тебя есть установка на неприятие, если ты заранее настроен на чье-то невежество или на чужеродность, тебя не переубедить. Общего языка у тебя с ним не возникнет.

- С чего вдруг! - обижается Ницан. - Нету у меня никаких установок. Ведь нашлись же у нас с тобой области пересечения. Вот конструктивизм, например. Татлин твой любимый.

- Ну, не мой, а твой, как оказывается, - усмехаюсь я. - И кстати, вот тебе ответный пример, только насчет установок. Знаешь, как Татлин отреагировал на смерть (на смерть!) своего друга-врага Малевича?

- Нет, - подумав, говорит Ницан.

- А он заглянул в гроб, посмотрел на Малевича, потом отошел и пробурчал: "Притворяется"...

Ницан думает какое-то время, потом пожимает плечами:

- Ну и что?

- Ну и ничего.

Короче, праздник - два дня, плюс шаббат. Итого - три.

(Петух: Ну, и как он тебе?

Собака: Да ничего, вроде. Нормальный мужик. Немножко приставучий, но терпимо.

Петух: Да кто приставучий?! Сама же ходишь каждый день, пожрать клянчишь!

Собака (с достоинством): Я не клянчу. Я прихожу в гости. Я ни разу ничего не просила, в руки не заглядывала, как некоторые. Я прихожу в гости, а он угощает.

Петух: А по мне, так и не особо он нормальный. Что он говорит все время? Без перерыва. Я, например, ни слова не понимаю. Трындит чего-то... Сандалии носит с носками... Ты его не боишься?

Собака: Я тоже не знаю, что он говорит, но он же не наш, он иностранец... А ты знаешь, вот он три дня не приходил, а я вдруг поняла, что скучаю. Представляешь? Я уже привыкла, что он здесь.

Петух: А лично я его все-таки побаиваюсь немножко. Я не люблю, когда что-то непонятно. Люди вообще странные, а этот - особенно. И если честно, меня его огурцы уже достали. Мог бы чего-нибудь еще притаранить...)

В течение десяти дней от Нового года до Судного дня принято устаканивать свои дела, исправлять свои косяки. В Новый год решается судьба каждого на год предстоящий, а в Судный день это решение записывается в Книгу судеб и подписывается высшей инстанцией. Строго говоря, перевод ивритского Йом Кипур, это не Судный день, а День Прощения. На иврите киппур - прощение, отпущение грехов. Но так уж принято в русском языке - Судный день. Тем не менее, если чего уж наколбасил за год, можешь попытаться в эти дни исправить и получить прощение. Во всяком случае, у своих близких и знакомых.

В один из этих десяти дней, когда мы с моими новыми приятелями спокойно трапезничали, студенту позвонили. Он встревоженно что-то забормотал в трубку, подхватился и, не отрывая телефона от уха, умчался, забыв на скамейке свою книгу и сумку, с которой сегодня явился. На свободной руке у него традиционно шевелился его таинственный мешочек...

Я подумал, что вот сколько времени я каждый день с ним встречаюсь в этом скверике, а даже не здороваемся. Он, конечно, сейчас опомнится, вернется за вещами. А если нет? Если вспомнит поздно? Пока я здесь, я покараулю, а когда уйду? Захватить все с собой? А как ему сообщить? Верну ему уже только после праздников, наверное, когда снова встретимся здесь...

Пока я размышлял, у сумки остановился полицейский.

- Чья сумка? Твоя? - строго спросил он.

- Не моя... Понимаешь, тут был... студент один. Это его сумка. Он убежал... - Иврит густел у меня во рту, превращаясь в смолу, липнущую к зубам. Полицейскому надоело.

- Ты его знаешь?

- Нет, не знаю.

Он что-то прорычал в свою рацию, решительно прошел мимо меня, по дороге показывая рукой, чтобы я убирался отсюда, и грубо отпихнул ногой спрыгнувшего со скамейки петуха.

- Хефец хашуд! - это то, что он рычал в свою рацию. Подозрительный предмет! Любая бесхозная сумка, портфель, пакет, все это - подозрительный предмет, все это может оказаться источником смерти... Вполне обычное для Израиля явление, но лично я с ним сталкивался впервые. Подробности предстоящей процедуры я не знал, но понимал, что уходить из скверика обязан. И понимал, что все из-за меня, из-за моего ивритского косноязычия. Не сумел толком объяснить полицейскому, что это за парень, как долго я его уже здесь вижу... А с другой стороны? Ну, вижу его здесь давно - а о чем это, собственно, говорит? А вдруг и вправду он зачем-то оставил здесь сумку со взрывчаткой?.. Вдруг это террорист переодетый? Может, он специально поближе к школе свою сумку оставил!

Я поднялся, но резкий жалобный вопль отшвырнул меня обратно. Оказывается, я наступил на лапу своей гостье. Я виновато запричитал, стал наглаживать ее загривок, и, понимая, что надо уходить, стал тянуть ее за ошейник. Но собака, поджав раненную лапу, уперлась тремя остальными и стояла неподвижно, косо глядя в мою сторону. Выпяченный подбородок, взгляд исподлобья, упрямо торчащий зуб. Никакие мои призывы не помогли. Петух отбежал к кустам и тоже смотрел оттуда тупо и упрямо. На скамейке от него остались царапины и белые пушинки.

Полицейский снова рявкнул на меня, делая брезгливый жест в мою сторону, будто стряхивал с руки воду... Я вынужден был уходить один, оставляя своих друзей на опасном участке.

Зрелище было, конечно, интересным. Оцепленный участок, никого из прохожих, по периметру полицейские. Через некоторое время прибыла машина, из которой выкатился небольшой механизм на толстых черных колесах, похожий на изделие из детского конструктора. Робот-сапер. Я уже знал про такие, но еще не видел. Издалека все было мелким и нечетким: какая-то возня людей, переговоры, а робот осторожно подъезжал к тому месту, где была сумка. Я пытался разглядеть собаку и петуха, но их не было. И тут раздался мощный хлопок. Белое облачко унесло ветром, полицейские начали сворачиваться. Я так понимал, что это взорвали студенческую сумку. А что с животными?

Я был первым, кто прибежал на место событий. Животные отсутствовали. Но зато на ветках фикуса я обнаружил какие-то тряпки и свисающий бюстгальтер. Я понял, что это все, что осталось от студенческой сумки. И тут же улыбнулся мысли, что если бы он забыл заодно свой мешочек, то, может быть, и тайна мешочка была бы раскрыта...

Когда я вернулся с обеда, застал только Мальку. Мой рассказ о происшествии она встретила спокойно: хефец хашуд - дело житейское. Больше ее заинтересовали мои отношения с новыми друзьями. Когда я описывал их и рассказывал, как кто из них себя ведет, она улыбалась радостно, как ребенок. Малька круглолицая, с ямочками и в очках. Когда улыбается, похожа на знаменитого Джеки Чана. Израиль вообще показал мне, что понятие "еврейская внешность", это миф. Если в СССР я почти всегда понимал, что вот этот, скорее всего, еврей, то в Израиле это сделать непросто. Все типы внешности, включая славянский, монголоидный, негроидный, индуистский. Малька была похожа на Джеки Чана.

Потом разговор съехал на другие темы.

- Ты постишься в Йом кипур? - как обычно, спросила Малька. Она уже снова отвернулась к экрану, и я видел только ее щеку и край очков, в котором голубело отражение экрана.

- Я - нет. Мне двадцать пять часов не есть и не пить в такую жару не по плечу... А вот жена постится. Она каждый раз в Йом кипур постится.

- Интересно, - снова улыбнулась Малька. - Как у вас, у русских все перепутано. Ты еврей - не постишься, твоя жена, гойка - соблюдает все традиции. И знаешь, твоя семья не первая из моих знакомых русских семей, где все именно так. Интересно, почему...

- А где ты будешь в Йом кипур? - спросил уже я Мальку, чтобы отойти от выяснений этих странностей моей семьи.

- Я буду дома. А вот Ницан, как всегда, умотается в пустыню. Он говорит, что там пост не замечается совсем. Там и время течет иначе, и ощущения другие. И мысли приходят особые. Понимаешь, там сбивается масштаб. Смотришь на камень и не понимаешь, далеко он или близко. Если далеко, какой же он огромный, но вдруг перестраиваешь восприятие - и вот он уже близко и вполне себе небольшой. Так и со временем. И с чувствами. Пустыня - интересное место для человека...

Малька стучит по клавишам, елозит мышкой. Очки сияют голубыми бликами. Иногда очки запотевают, когда она подносит к лицу свою большущую чашку с чаем. Малька почти никогда не отрывается от работы, когда говорит со мной.

- А ты обычаи, правила, ритуалы знаешь, какие положены в Йом кипур? - продолжила свое Малька.

Я объяснил, что меня в религиозных праздниках, вообще-то, больше интересует смысловая сторона дела, идеи, понятия, символы, а не ритуал. До ритуала, до желания подключиться к нему, надо дорасти. Это еще все не мое... Или уже не мое.

- Как это? - спросила Малька.

- Ну вот, я рассказывал тебе про собаку с петухом. Сначала мы с собакой долго привыкали друг к другу. Делились едой. Я ее даже погладить опасался. Потом погладил, но вышло как-то бездушно, формально. А потом, в один вполне прекрасный день она вдруг сама подошла и дала мне лапу. Представляешь? Это уже был не просто формальный ритуал, это было действо, наполненное нашим с ней общим смыслом.

Малька отвернулась от экрана, посмотрела на меня внимательно, а потом вдруг спросила:

- Какого цвета, ты говоришь, твой петух?

На следующий день я шел на обед немножко волнуясь. Я не был уверен, что после вчерашних потрясений животные захотят ко мне вернуться. И пинок петуху я не предотвратил, и собаке на лапу наступил, и бросил их в зоне опасности. Они, конечно, так рассуждать не могут. Но ведь бывает, не знаю, как петухи, но собаки обижаются. И эта собака не захотела же уходить вместе со мной.

Но я тревожился зря. Стоило мне сесть и развернуть пакет, как парочка чинно вышла из кустов и заковыляла ко мне. Собака села на свое обычное место, привычно оттопырила лапу и привычно уставилась мне в глаза. А петух уже царапал железо скамейки своими жестяными когтями. Заглядывал мне под локоть. Мы ели, молчали, и мне было хорошо с ними. Ремарк, блин. Три товарища.

Канун Йом кипур приходился на четверг. Обычно день накануне - укороченный, потому что новый день у евреев начинается не в полночь, а вечером предыдущего дня, с появлением третьей звезды. Но Ницан во вторник объявил, что отпускает нас на четыре дня, начиная со среды, что встретимся только в воскресенье. Во вторник мы еще раз пожелали друг другу "Гмар хатима това", то есть хорошей подписи в книге судеб, которую Всевышний должен поставить в течение Судного дня каждому из людей, и разошлись.

Для коренных израильтян это особый день в году. Они не просто привыкли к этому, они даже и не представляют, как может быть иначе. Замирает жизнь на всей территории страны. Кроме полиции и скорой помощи, не работает никто. Транспорт не ходит, дороги пусты. Для детей - радостный день. Голодать им еще не положено, а из-за того, что дороги пустые, велосипеды заполняют все пространство. Велосипедные магазины перед праздником решают все свои финансовые проблемы. И если для верующих взрослых людей этот день - молитва, пение, пост, запрет на умывание и интимную жизнь, то для детей это велосипеды, велосипеды и еще раз велосипеды!

Я видел тех, для кого все это просто неукоснительная традиция, а видел и тех, кто в этот день серьезен и религиозно просветлен.

В любом случае, раз уж я выбрал эту страну для жизни, надо было бы знать обычаи и относиться к ним, пусть и отстраненно, но с уважением. А я, как выяснилось, знал очень приблизительно.

В Израиле неделя начинается с воскресенья. Первый рабочий день недели. Я пришел вовремя - после Мальки перед Ницаном.

- Постился? - с улыбкой Джеки Чана спросила Малька.

- Постился, - вздохнул я. - Ну как я буду жрать, если жена не ест, не пьет. Сидел с ней за компанию. Ну, ничего. Сегодня уже плотно позавтракал. Даже на обед взял побольше.

- Да, - вдруг напрягшись, сказала Малька, - насчет обеда. Ты вообще-то будь готов, что в обед может быть не как всегда. Прийти могут не все...

- В каком смысле?

- Понимаешь... - начала Малька, но тут в помещение ввалился Ницан. Румяный и веселый - он на работу прикатил на велике. Видимо, и в праздник так проводил время.

- О чем разговор, братва? Что за напряг в воздухе?

- Да вот, начала Малька, - я ему про Капарот хочу объяснить.

- А ты, что, не знаешь? - верблюд удивленно вскинул брови и выдвинул подбородок. - Это важная вещь!.. Хотя, для вас, русских, это что-то средневеково-театральное, наверное? Игры туземцев?

Я почувствовал, что меня ждет какой-то не очень приятный сюрприз, настроение резко испортилось.

- Ну, ты видел, как эти черные крутят над головой белых кур?

Черными светские израильтяне иногда называют иудейских ортодоксов.

- Ну, да... видел такое. Даже читал где-то. Что-то типа козла отпущения? Когда на кур все грехи сваливают и свои грехи этим искупают? Я только не помнил, что это вот так называется, как Малька сказала.

- Ну, нет! Если уж влезать в это, то надо знать, что ни хрена это не искупает! Это делается для того, чтобы человек задумался над своими грехами, над своей жизнью.

Я пожал плечами:

- От того, что курицу крутят над головой, голова задумается? Что-то тут все у вас за уши притянуто...

Малька осторожно спросила:

- А ты знаешь, что делают с курицей дальше? Ее же потом режут и отдают бедным. А тот, кто ее купил, понимает, что это символически проделывают с его судьбой, с его дурными поступками. Это символ такой...

- Ни хрена себе, символ! Режут-то не символически! Кровь-то и смерть настоящие. Причем, невиновного!

- Да ладно тебе! - отмахнулся Ницан. - Сам говорил, что все это условно и зависит от установок. Ты, вон, каждый день куриную ножку лопаешь на глазах у своего петуха, и ничего? Совесть каннибальская не мучает?..

И тут они переглянулись с Малькой.

- Подожди до обеда, - сказала Малька. - Может все и обойдется...

Не обошлось. В этот день собака пришла одна, уселась, как ни в чем не бывало на свою правую половинку зада, уставилась... А он - не пришел. Ни в этот день, ни после. Кстати, и студента я больше никогда не видел.

Собака, поев, подошла поближе, села и тяжело навалилась теплым боком мне на ногу. Я гладил ее шерстяную бугристую голову, она прижимала уши и мы оба смотрели на противоположную стену дома, где на рельефной штукатурке был узор теней от веток. Голубь подлетал к карнизу, а по стене стремительно, снизу вверх неслась его тень и сливалась с ним на карнизе. Он сваливался с карниза, улетал, и тень от него тоже молниеносно скользила вниз и вбок...

- Ну что? - в один голос спросили Малька с Ницаном, когда я вернулся.

Я отрицательно помотал головой.

- Ну, вот - вздохнул Ницан. - А ты говоришь, Татлин...

1. Рубанова Наталья «Адские штучки»

***Наталья Рубанова***

***Адские штучки***

*«Да, вы — писатель, писаатель, да… но печатать мы это сейчас не будем.*

*Вам не хватает объема света… хотя вы и можете его дать. И ощущение, что*

*все эти рассказы сочинили разные люди, настолько они не похожи… не похожи*

*друг на друга… один на другой… другой на третий.... они как бы не совпадают*

*между собой… все из разных мест… надо их перекомпоновать… тепла побольше, ну нельзя же так... и света… объем света добавить!» — «Но это я, я их писала, не “разные люди”! А свет… вы предлагаете плеснуть в текст гуманизма?» — «Да вы и так гуманист. Просто пишете адские штучки».*

**[Галя из двадцатой]**

***отражения***

Ну не понимала, как умножить два на двенадцать.

Или, там, пять на четырнадцать: считала в пределах десятка…всё, что выходило *за рамки*, вызывало болезненное недоумение: четыре на шесть, девять на восемь – легко, ну а семь на семнадцать… или – совсем уж страшно – один на одиннадцать… т-с-с! «Никого не будет в доме, кроме сумерек: один…» – вот оно, противоядие: спасительная мамина пластинка с бормотанием Окуджавы, и/о бумажной салфетки – «Совсем обнаглела!» – для мокрых моих – «Гадкие цифры!..» – щёк.

А что делать?.. «Ма-ма, я никогда, никогда, никогда больше не пойду в школу!»

Для вразумления чада приглашена была Галя из двадцатой (двери наши на лестничной клетке – ну да, меткость определений: *клетка,* *брак, лагерь* – располагались аккурат через одну): инженер, умница… «Да дева она, дева старая!» – брызгали совслюной совдвуногие, «классифицируя» свободных от штампиков дам до и после тридцатника, но речь, разумеется, не о них.

Приезжая в пенаты, я иногда захожу, набрав в лёгкие побольше воздуха, *в наш двор* – мы жили в хрущобах на Циолковского, –и впадаю в ступор: ни-че-го не изменилось… Нет-нет, кроме шуток. Я ведь на самом деле вижу их всех: и сидящую на скамейке соседку из девятнадцатой, и безумную (ЗПР[[3]](#footnote-3)) Бадю – девочкообразное существо из *крайнего* подъезда, и глазастого, напоминающего Кинг-Конга, отца Наташки Бусуриной, и «африканку»-Олю из сталинки напротив: не далее как вчера (впрочем, что есть «вчера», коли точка твоей сингулярности давно спрограммирована?) мы смотрели *буржуйские фильмы*, и я просила перевести «хоть что-нибудь»: Олины родители, вернувшиеся из загранки, как мне тогда объяснили, «дипломаты, поэтому у них всё есть, даже кино на английском» – так я впервые узнала про dolce vita, так впервые сравнила невольно высоту потолков и то, что родители называли жёстким, как мне тогда показалось, словечком «метраж».

…вот дед, спешащий в театр, вот бабушкин силуэт в окне, вот мама с букетом кленовых листьев, вот отец, вынимающий из портфеля – да фокусник же! – апельсины (дефици-ит: год тысяча девятьсот восемьдесят неважный), а вот и братец-кролик в дурацкой форме с кровавым галстуком – братец-кролик, который, как и я, даже не подозревает о том, что ждёт всех нас в скором будущем: «будущем», которое, разумеется, уже – прямо здесь и прямо сейчас, как и «прошлое», – живет своей собственной, независимой от челопарка, жизнёнкой… И тут же – Галя. Галя, да вот же, смотрите!.. Сухопарая, деловитая, с неизменной полуулыбкой, обнажающей узкие «рыбьи» зубы... Галя живёт родителями, *дядьСашей* и *бабНюрой*: они живы, да, живы… Они настолько живее «реальных» двуногих, что сначала, кажется, заслоняют их, а потом и вовсе проходят сквозь оболочки случайных прохожих...

Зрение раздваивается: не привыкшая находиться в нескольких измерениях сразу (навык, собственно, вырабатываемый), я чудом не врезаюсь в «настоящего» – упс! – че-ло-ве-ка: *к какому пространству его приписать?* – стучит в висках, но – к чёрту: душеатры и так встревожены.

Я говорила Гале «ты», считая «своей» (она – исключительное, бесценное качество, – никогда не давила): *подружек*-*то* не особо… ну, разве, Наташка да Ольга, ссылаемая в рязаньку летом. Общение *с взрослой* шло, казалось тогда мне, в жилу – ровесницы не занимали, ровеснички уж тем паче. «А кто, кто, Руббочка, з а н и м а л?» – спрашивают тихонько ангелы, посланные, конечно, Веничкой, и я отвечаю им, ангелам: «Цыганка, ангелы, цыганка!».

Чёрная её грива, собранная в пучок, «сказочно блестела», ну а пышная юбка в пол, да золотые кольца в ушах и вовсе распаляли воображение – мне, крохе, казалось, что если *у тёти* т а к и е волосы и, как сказали б теперь, prikid, значит, *тётя* непременно особенная: быть может, колдунья… фея… волшебница... кто его знает, какое там у магов деление! Не знаю, может, так и было оно – может, знакомица мамина, «цыганка» Наташка Болдырева, и впрямь была в чём-то особенной, да только память о ней ничего, кроме ярких вещдоков, не сохранила; что же до Гали… Галя «особенной» не слыла, у Гали и уши-то, кажется, проколоты не были (в детстве это казалось важным): Галя работала на радике – работала всю жизнь и еще чуть-чуть, и всю треклятую «чуть-чуть» (чуть-чуть жизнь? чуть-чуть – не считается?) строили Гале козни поспевшие за ксивной штамповкой бабы. Галя же «пробу» загса ставить не захотела – «ты лучше будь один, чем вместе с кем попало»: томик Хайяма наверняка присутствовал, а если даже и нет, ЭТО не обсуждалось – так и жила…

Я, выходя во двор с собакой, частенько прогуливалась под её окнами – мне нравились шторы, нравились не столь даже «за цвет», сколь за то, что вечерами свет ночника наполнял их загадочным нежным сиянием… Не ностальгия ли одолела?.. «Потерянный рай» никогда, впрочем, не был для меня раем в пресловутом значении «здесь и сейчас»: нет-нет, рай всегда был или «тогда, когда», или уж «там, потом»: всегда – *в Нигде,* материализованный из странного *Ниоткуда.* И лишь спустя годы дошло, как крепко я ошибалась – так, обнулившись, и перевернула страницу.

Галя-Галя! От тебя пахло луком – всего однажды, – а я вот запомнила: ты после ужина взялась учить меня умножению и, прикрывая рукою рот, поправляла очки да выводила каллиграфическим цифры-царицы: 2 х 12 = 24… «Как так? – не понимала я. – Как так?.. Как можно умножать на двенадцать?»

У Гали, меж тем, *кто-то был*, и мама моя, и бабушка советовали родить *непременно*, «родить для себя». Галя же усмехалась уголками одних лишь губ. «Ребёночка, ребёночка, Галя! Мы поможем…» – шептали м о и, а я изнутри сжималась, чувствуя, что Галя никогда, никогда не пойдёт на это, а значит…ЧТО это, впрочем, значит, было тогда неведомо, а потому – два на двенадцать, три на четырнадцать… Её пальцы, тонкие длинные пальцы, уверенно нажимают на грифель: так я любуюсь цифрами в собственной черновой тетради – так, заворожённая странными кодами, удивлённо смотрю на тебя: помнишь?..

А потом *автор сего* вырос большой да уехал – уехал, напрочь забыв о Гале и всех-всех-всех – всех-всех-всех, ну или почти: ему, *автору сего*, некогда было пикнуть – да он, автор сего, и не претендовал на подобную слабость, просто жил себе дальше, и многоточие. Ну а пока проделывал это, пока многоточничал, Галю забрали в онко.

Она, конечно, *держалась,* улыбаясь одними лишь уголками губ, и луком уже не пахла.

Но, улыбаясь, а потом, видимо, тихо плача, обиду не растворила – так и ушла с ней: в небо, по лестнице.

Галя, Га-ля.

Галочки-святы!..

**[И жили долго и счастливо]**

***анекдот***

Солдатов жил на Тушинской, Генералова – на Пушкинской. Солдатов перемещался на старой тойоте, Генералова – на новом ситроене. Солдатов пил по утрам черный чай, Генералова – зелёный кофе. Солдатов дожимал вечером сто пятьдесят коньяка, Генералова – двести кьянти. У Солдатова жил пёс, у Генераловой – кот. Солдатов промучился со своей «экс» пять лет, Генералова – шесть. Солдатов загорал в Турции, Генералова – на Сейшелах. Солдатов слушал «Серебряный Дождь», Генералова – «Relax.fm». Солдатов читал на ночь Довлатова, Генералова – Бродского. Солдатов одевался в торговых центрах, Генералова – в дизайнерских бутиках. Солдатов пользовался нерегулярно Сalvin Klein, Генералова – регулярно – Dior’ом. Солдатов не ел мяса, Генералова – и рыбу. Солдатов играл в шахматы, Генералова – в теннис. Солдатов играл на варгане, Генералова – на губной гармошке. Солдатов уважал Уорхолла, Генералова – Муху. Солдатов заглядывал в «ЧасКор», Генералова – в «Независимую». Солдатов работал с утра до ночи, Генералова не работала. Солдатов фотографировал, Генералова вышивала. Солдатов рассчитывал бюджет, Генералова занималась благотворительностью. Солдатову снилась Козетта, Генераловой – Гаврош. Солдатов обожал набережные, Генералова – портовые города. Солдатов учился в институте, Генералова – в университете. Родители Солдатова жили на одну пенсию, и он помогал им; родители Генераловой жили в Швейцарии и ни в чем не нуждались. Солдатов захаживал в «Дом», Генералова наведывалась в Большой. Солдатов не верил ни во что, Генералова верила эфемеридам. Солдатов не стряхивал воду с зубной щетки, Генералова – стряхивала. Солдатов не отличал Гайдна от Моцарта, Генералова – отличала. Солдатов хорошо плавал, Генералова побаивалась воды. Солдатов хотел стать летчиком, Генералова – стюардессой. Солдатов в детстве ненавидел пшёнку, Генералова – манку. Солдатов учился на своих ошибках, Генералова – и на чужих. Солдатов носил обувь сорок второго размера, Генералова – тридцать шестого с половинкой. Солдатов не смотрел телевизор лет десять, Генералова – двадцать. Солдатов ненавидел ООО «РПЦ», Генералова в церкви крестилась. Солдатов нередко использовал обсценную, Генералова – редко. Солдатов служил в армии, Генералова не служила. Солдатов ценил свое время, Генералова – свое и чужое. Солдатов летал во сне, Генералова – наяву. Солдатов уже не видел смысла в продолжении рода, Генералова еще видела. Солдатов мечтал о чуде, Генералова – верила: так Солдатов выехал из пункта А, а Генералова – из пункта В. Двигались они в одном направлении: после того, как их взгляды встретились в пункте С, аккурат у шлагбаума, Солдатов продал свою квартиру на Тушинской, а Генералова свою – на Пушкинской. Они купили домик в экодеревне, где жили долго и счастливо и умерли в один день. Именно тогда упадчерённый Ванюша, высаживая на холмике их ромашки-лютики, подумал о том, какие они были, в сущности, дураки: «Стакан воды в старости!..» – но пить перед смертью ни Солдатову, ни Генераловой не хотелось.

**[Фира Фелль]**

***труба vs забава***

Под новый год менеджер по продажам 219-миллиметровых стальных труб Фира Фелль купила себе трусики с крошечными эйфелевыми башенками да маленький черненький рюкзачок: что, собственно, надо еще для Парижа? Всё остальное, исключая, увы и ах, кавалера (но о том – молчок-на-луну-волчок), – было. И всё б ничего, кабы не скобки эти, да не осложненьице *психического масштаба*. Труба! Электросварная прямошовная, бесшовная горячедеформированная, сварная для магистральных парам-пам-пам – и проч.

Третьего дня Фиру Фелль стошнило прямо на нее – еле успела добежать до клозета, вызвав у sosлуживиц подозренье в чадоношенье, с коим – на хрупких плечиках, обнявшим их наподобие заскобочного (см. выше) кавалера – и вышла из офиса в половине четвертого вместо положенных восемнадцати.

Время Ч – время представить Париж, в который Фира Фелль хотела всегда, и при первой возможности запускала *в то* *направление* бумажного евро-Змея: l'amour pour toujours[[4]](#footnote-4), бывает ведь и такое! Змей же, каким-то чудом крепясь на тоненькой нити, с явным неудовольствием наблюдал за вполне материальной субстанцией, породившей «нереальную» его мыслеформу… Фира Фелль, чего уж там, представлялась ему особью малоинтересной: что с нее взять? «Ах, Париж! Ах, ах…» – она, как и большинство её биосинонимов, мечтала всенепременно о Елисейских, монмартрском кафе да снежнозубом французике, то и дело подливающем в ее, Фиры Фелль, бокал, то самое «вино любви». Змей же наш предпочел бы, положа хвост на евро, *другую даму*, но – увы! На улице, чай, не Франция – к тому же, Фира-то Фелль предпочла именно его... Именно он, евро-Змей, и стал той самой дыркой от бублика, гордо именующейся в курилке Трубы «мечтой». А запретить Фире Фелль мечтать было решительно невозможно.

Сообщение, разбудившее ее ранним субботним утром, вызвало приступ тошноты: каждой клеткой почти еще нового своего тела *менеджер по работе с вип-трубами* ощущала одну лишь несправедливость: неужто и в выходной не отоспаться? Неужто снова лазить по ГОСТам?.. Неужто? Неужто?.. Ах, ах, кошмарик Одесской улицы! Выключать телефон Фире Фелль не дозволялось ни днем ни ночью: если бы Главной Трубе стукнул аккурат в мозг напор той самой жидкости, стучать коей следовало б разве что о стенки знамо чего, она, Фира Фелль, обязана была б строить новёхонький план «девелопмента» аккурат здесь и сейчас… Стоит ли говорить, что в Париж Фира Фелль хотела не столь даже из-за его, парижских, декораций, сколь по причине не больно-то художественной, но в целом вполне понятной! Ах, как мечтала Фира Фелль хоть немного, чу-уточку, замедлить, если уж совсем не остановить, процесс собственного распада! Остановить хотя б на неделю-другую то самое разложение, которое вот уже несколько лет усиливает дым той самой Трубы.

А Змей усмехался. Ёрничал. Вырывался из рук Фиры Фелль. Показывал ей язык. Скалил зубы. Тщета, да и только! Продолжая мечтать о Париже, Фира Фелль все чаще задавалась вопросом, существует ли тот на самом деле. Чтобы приблизиться к искомой точке на карте, Фира Фелль купила маленькую круглую шляпку с вуалью – ту самую «таблетку», которую, как ей казалось, должны носить «все настоящие парижанки», приобрела черные чулки в сеточку, обзавелась красной, чуть выше колен, узкой юбкой, лаковыми «лодочками» да обложилась путеводителями. И еще: Фира Фелль – да-да! – отправилась на курсы сладкоголосого французского… Три раза в неделю с семи до девяти, кто б мог подумать.

Змей, наблюдая, как крутится она у зеркала, репетируя «выход в свет», сжимался, раз от раза становясь все меньше, пока не стал размером аккурат со спичечную коробку (в такой-то шеф Фиры Фелль и держал траву): коли попадет Фира Фелль в *реальный Париж*, тотчас ему и крышка!.. Мыслеформой одной Змей быть может: обрети мечта Фирры Фелль плоть, тотчас рассыплется.

А Фира Фелль знай настаивает: грибы на ягодах, сны на иллюзиях, печальку на смехе: ну и что, ну и что, поду-умаешь! Да, она, Фира Фелль, поднимается в семь, в восемь-двадцать выходит, ну а в девять вздыхает: Труба.

…Фира Фелль все хочет и хочет в Париж – хочет на всю катушку, хочет так, что и сказать нельзя: обстоятельства непреодолимой силы-с! Но что есть любовь? Что есть бог? И кто сказал, будто бог есть *любовь*? Кто здесь?..

На самом интересном месте Фира Фелль открывает кошелек и пересчитывает купюры. Нет-нет, – говорит она, – нет-нет, Змей должен подрасти, подрасти-и! Бумажки в кошельке Фиры Фелль превращаются в багеты и вылетают в окно, к птицам. Фьюить! Фьюить! Фира Фелль превращается в фалафель и тает во рту Змея. В трусики с эйфелевыми башенками, болтающимися на бельевой веревке, дует северо-западный ветер.

**[Безусловно]**

***геометрия***

А любит В, любит безусловно, и потому сама мысль о том, что к безусловной этой любви можно *приложить руку*, вгоняет в краску: щёки А – спелые мельбы.

А, разумеется, выдает взгляд: та же сила тепла, да просто температура: 38 и 9, всего ничего, не 42 же, аспирин в помощь, дыши-дыши… Все колебания А, уловлённые зрачками В, дают В лишь «некоторые представления» о силе тепла А, и уж никак не об общем его количестве. Мирок ведь устроен так, что тепло переходит из горячих точек в точки более прохладные, никогда не из мест, где просто «больше тепла» – туда, где тепла этого меньше: у ледышки – и той своё солнце.

Итак, у В тепла больше, но В не может прямо сейчас отдать его. «Градус» А слишком высок, «градус» А зашкаливает, и потому А отводит глаза от В, отводит, дабы часть сердца, замаскированная солнечным зайцем (транзит), не выпорхнула из солнечного сплетения да не прыгнула ненароком в солнечное сплетение В (глядишь, они б и поладили, но кто ж им даст!): потому-то А и мечтает стать батарейкой в шёлковом диктофоне В, А мечтает – ААА! – сложиться трижды, провалиться в хитрожёлтенькое устройство, продолжающее тело того, кто носит его в левом желудочке: ААА – всего лишь формат, ААА – вот, собственно, и вся лав-стори: А гадает, существует ли на свете труба, способная вместить их с В, одно на двоих, имя…

Стоит лишь протянуть руку, думает А, и рука В окажется в моей, но вместо того, чтобы пошевелиться, сжигает фантом желания. Зачем касания, зачем движения? Не достаточно ли одного знания, одного ощущения – не слишком ли примитивно хотеть то, что любишь? Может ли называться любовью жжение в животе, может ли плоть продлить биение виртуального пульса? Тридцать девять и пять, дыши-дыши, ан ишь ты, рёва!.. Неужто перед смертью откроешься? А если её правда не существует – так ведь и не узнает никто никогда? «Никто-никогда-а… – кошмарит эхо. – ААА!»

Рыжие волосы А пляшут в чёрных волосах В – так солнце уходит под землю: что-что, ты говоришь, солнце просто проваливается? Я сейчас закричу, нет-нет, да-да, нет-нет, не-ет,*в самом деле сейчас от счастья я закричу*, молчит А, глядя на пёсика с белой ленточкой – люди и звери идут по бульварам, люди и звери открывают моду на революции, люди и звери говорят «мяу» и «гаф», ок, а как же – наши?..

А молчит, но В слышит – к а к, слышит безусловно: сама мысль о том, что к любви той можно *приложить руку*, кажется странноватой: щёки В – белый снег в капельках крови, операционный стриптиз, латексный бинт красавицы-медсестрицы. Пой, ласточка, пей, стреляный воробей, Гаврош, Козетта, покажите нам ваши франции! Нас, конечно же, выдаёт взгляд – просто температура: солнечных 42, всего ничего, мятный глинтвейн в помощь, пей-убей – признаться, чтоб умереть, ну а ладонь – да вот же, на-а-а…

Все отражения В, впаянные в зрачки А, дают А лишь «некоторые представления» о силе тепла В, но не общем его количестве. Мирок ведь устроен так, что тепло переходит из горячих точек, пусть и бесконечно удалённых, в точки более прохладные.

**[Римма, Марина, Маргарита]**

***летка-енка***

Вещи наступают, вещи надвигаются, вещи вот-вот оживут, но Летка не хочет, и потому складывает их так, словно не желает касаться – того и этого, да, и вон того тоже – никогда больше: больше – не значит меньше, хо-хо, испугали ежа голопопышем, ну-ка, колись! Коробки и коробочки, коробушки-коробушечки, живчики душеголые! Почто так много, что проку во всем «добре», когда от него – зло одно? *Того и гляди, надорвёшься – А ты того: не гляди-и-и!*

Летка не думает, Летка пакуется: думать, к тому же, нечем – труд, м-м, освобождает, упраздняя не только «скверну», но – оптом – и «лучшие чувства». Топ-топ! – вот они и выходят гуськом из тела, одно за одним, топ-топ: бежевое смущение, сиреневое желание, пурпурная радость… Апельсиновый смех, разбивающийся об изумрудный замок её нежно-розового рта, отбрасывает тайники слов, тщетно целящие свои стрелы в атласное сердце запретного плода, к рогатой матке: ух, как от них горячо-то! Ни стыда у словечек ни совести: Летка вздрагивает, Летка прижимает колени к животу и лежит, скрюченная, на разбросанных по полу вешалках: лежит до тех пор, пока рогатая матка не вбирает в себя всё тайное и чуть-чуть букв сверх того, на посошок.

Когда-нибудь, Летка знает, она родит новую азбуку.

А вот чего не знает, так это к чему теперь все джинсы и сабо, пончо и размахайки, галстуки, ремешки и вон те, на столе, подтяжки – что нынче подтягивать? Нет ни костей, ни кожи: то, что передвигается по разноцветным квадратам пола, – хрупкая мыслеформа, только-то: дотронься – и воздух погладишь (*ну-ну, перестань*): за него и держись! Коли вокруг – лишь воздух, коли сама ты – воздух, выходов наперечёт: дерни, впрочем, за ту верёвочку…

Летка дёргает: веревочка обрывается – сказка скоро не сказывается, дело же, знай, спорится. Тонкое тело перелетает из кухни в комнату, касаясь тонких трубочек, вживлённых в материю – сюда и туда – чувствуя, как смешивается с кровью Летки бледная жидкость: так бы и выдернуть, так бы и растоптать! Летка открывает глаза: все чаще ей кажется, что так было всегда, а эдак – никогда не было, что, в общем, неправда, ведь то и дело Летка натыкается на капканы Эль-Эль или еще чьи-нибудь: капканы Эль-Эль, сколь те не выбрасывай, оживают в самых разных местах – только в сливном бачке их нет!

Бокалы маленькие и большие, пепельницы стеклянные и деревянные, шторы плотные и прозрачные, вина испанские и аргентинские, щипчики такие и сякие, ну и совсем уж по-жэ: пузырьки, флакончики, бусины, кастаньеты – все кружится, все танцует, все, кажется, вылетит прямо сейчас в трубу: там, знает Летка, живет ее трубочист-хранитель, любитель отлынивать от работы, а потому приходится напоминать о себе: даже в жару Летка подкидывает дрова в камин.

Ночью она выпаривает расклады – рецепт, в сущности, прост: взять ящик с памятью, сложить туда ахи-охи, колечки, ленточки, а чтоб не смердили, залить гашеной известью да нажать на Delete. Все под рукой, как ни крути у виска, – и ящик с памятью, и ленточки, и колечки с бумажками – нет лишь гашеной извести, а значит, на Delete не нажмешь. Тогда-то руки и опускаются – тогда-то и разбивает Летка стеклянным буковкам стеклянные их мозги: трупики старых азбучек катятся по паркету, тут-то не проведешь: Летка не верит словам, согнутым в предложения – ей-то его не сделали: *дым-дым, я не вор, дым-дым, я масла не ем* – Delete, ну и вонища!

Летка гадает, *как дальше* – гадает триста лет и три года, а на триста четвертый выходит из дому: пора купить рыбину, пора съесть что-то! Над домом болтается солнце – кажется, его плохо прибили к небу: держится впрямь на липочках, вот-вот убьется! Летка подглядывает: вот сейчас оно касается водосточной трубы, вот, перетекая вниз, отражается в луже, а вот, превращаясь в золотой дым, отправляет смущенных зайцев гулять по ее спящей груди.

Летка спит и видит: грудь по-прежнему умещается в ладонях Эль-Эль.

Летка спит и видит Эль-Эль – никто, кроме Эль-Эль, не рисует на ее груди буквы из радуги – никто, кроме Эль-Эль, не может этого сделать, и потому Летка берет радугу в руки и, выгнув между домами, танцует: красный! оранжевый! желтый! зеленый! голубой! синий! фиолетовый!.. Охотник убивает фазана: сон, как всегда, дезертирует: радуга разбивается, солнечные зайцы отправляются восвояси, Эль-Эль дезертирует подобно сну, вместо рыбины в пальчиках Летки липкая пахлава – сладкая липкая пахлава, переливающаяся на солнце за пять медных монет – а-ам! Мед, орехи, слоеное тесто – не сдохнуть бы в «сейчас и сейчас».

Гнутая, как ручка зонтика, Шапоклячка жмется к прилавку – Летка пропускает ее вперед; та приценивается и тут же отскакивает. Летка думает, как предложить Шапоклячке сахарное чудо, не обидев, и потому спрашивает, *часто ли она покупает здесь сладости*. «У-гунь-гунь!» – свистит Шапоклячка: нижних зубов нет как нет, белый порошок пудры осыпается со сморщенной кожицы – коснешься и, кажется, тут же проткнешь: главное увернуться – чистый неразбавленный гной. «У-гунь-гунь!» – Шапоклячка заглядывает Летке в зрачки, Шапоклячка пыхтит: «Этому гаду покупает, чтоб заткнулся, этому гаду покупает! Ты замуж-жэм?..» – Шапоклячка не ждет ответа, Шапоклячка пыхтит: «У-гунь-гунь, и не вздумай ходить, у-гунь-гунь! А сходила да заговнился – бросай к свиньям! К старости еще больше портятся…» – рот Шапоклячки, вымазанный кровавой помадкой, живет сам по себе – прыгает по жилистой шее, забирается на впалые щеки, перелетает на разлинованный морщинами лоб, кувыркается на бесцветных бровях-нитках… Летка не хочет смотреть, но *здесь и сейчас* ничегошеньки, – у Шапоклячки ни рук ни ног, одни лишь усатые губы шамкают да причмокивают, *вот же вонища*! «На всякий роток не накинешь платок, – раздвигает лес Шапоклячка, – на всякое хлебало не накинешь покрывало!». Летка отходит, Летка хочет кануть сама в себя и лежать там, на дне двурогой, до скончания времен: когда-нибудь же и время скончается?.. Но его похороны – иллюзия, а рот Шапоклячки – реальность, данная Летке в ощущениях, там и сям, ухохотаться, да, там и сям: еще чуть – и точно сожрет! «Ты это… – рот Шапоклячки сбавляет вдруг обороты. – Замуж-то не ходи! Живи одна!» – Летка останавливается, чтобы перевести дух: вот если б можно было остановить сердце! Вот если б можно было выкинуть из головы всех-всех, даже Эль-Эль! «Куколка-куколка поначалу, а потом – *блять да блять*! – Шапоклячка трясет над головой пакетиком с пахлавой. – Я водкой его ж ему по башке съездила: дверку приперла потом, чтоб не прибил-то… Говно, говно жизнь… Чем дальше, тем и говнистей: живи одна!»

Летка одна, Летке жарко – коробки и коробочки обступают, а в это время: меняется состав правительства, белые ленточки и розовые треугольники появляются на людях и зверях, температура оправдательных приговоров замирает на нуле, в скверах и парках появляются палатки, автозаки декорируют оставшееся в живых пространство – большой город рвется на части, рвется на части и Летка, даже там: проктозан – однородная мазь желтого цвета для ректального и наружного – отпускается без рецепта и имеет в составе лидокаин.

Она болтается в воздушном шаре: кругом никого, да и откуда б этим другим тут взяться? В воздушном шаре, да, это ни хорошо ни плохо, у каждого ведь – свой. Как найти сообщающиеся шары? Как удалить вакуум кнопкой Delete?

Летка не знает, когда она выйдет из шара и возможен ли выход в принципе. «Что ты продаешь?» – спрашивает её маленький трубочист. «Я – пластиковую тару», – она пожимает плечами. «А я – небесные фонари», – отвечает трубочист, но Летка больше не верит: всё, что ей нужно, – покинуть шар: тот и этот.

Конденсат чувств есть капли желаний на поверхности обесточенного смирения: ничего, кроме игры, в общем, не остается. «Играй, чтоб кишки не разорвало. Играй временем и огнем – играй в храмах, где плотность времени выше, потому что любви там больше», – трубочист смахивает золу с сердца Летки в маленький черный ящик: Летка думает, не сыграть ли в него.

Сегодня она – Римма: парик ярко-рыжий, клоунские полосатые гольфы. Завтра – Марина: парик почти черный, изящные алые босоножки, ремешок врезается в тонкую щиколотку. Послезавтра – Маргарита: парик пепельный, маленькие очки без стёкол. Каждый день можно играть в ку-кукол, думает Летка, каждый трубочистов день: сырьё, топливо для чьей-то лю-лю, никогда не своей, да вот она кто! Чёрт, чё-ёрт… «Красота сияния бриллианта зависит от преломления света и его разложения на спектральные составляющие», – читает по слогам Римма поваренную книгу душонок. «Сияние нашего бриллианта зависит от преломления света?» – пожимает плечами Марина. «По Договору рисков, один камень на сердце спаривается с другим камнем на другом сердце, – качает головой Маргарита. – Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора: это могут быть гражданские волнения, забастовки, военные действия, акты госорганов, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожар, другие бедствия…» – она умолкает, и Летка понимает, что хочет избавиться от договора: Летке не нужна подстраховка. К чему три чучела, если есть целых четыре времени? «Не красота – доброта спасет мир, – говорит она Римме, Марине и Маргарите: серые глаза Риммы смеются, чёрные глаза Марины сомневаются, синие глаза Маргариты грустят. – Но в том-то и дело, что доброта и есть красота, они близне…» – чучела Риммы, Марины и Маргариты не дают ей договорить: взявшись за руки и окружив Летку, они начинают водить хоровод. У Летки отрывается голова и летит: Римма пахнет землёй, Марина – водой, Маргарита – огнём: как же не хватает воздуха, как больно дышать! «Но если ты сама и есть воздух, если сама ты – свой собственный, у себя украденный, воздух…» – эхо трубочиста настигает Летку, эхо трубочиста поднимает её над кругом, эхо подаёт ей метлу… олэй, не зря смеялась кривде в зрачки! Пока-пока, love’ушки для слов, пишите другим теперь!..

Тело метлы упруго – зачем «плечо» или «стена», когда есть *она*, думает Лета, и позволяет себе это: точку опоры. Наконец-то можно кануть саму в себя! Новые смыслы не имеют ни формы, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Так буковка «к» поскальзывается и, ломаясь, оставляет в улыбке времени фиксу между «а» и «т». Так тысячи азбук, взорвавшие угольки сердца, заставляют его биться: тук-тук, Лета, тук-тук! Нет никакого забвения, нет никаких вод, кроме околоплодных – роды нового алфавита почти безболезненны: если где и кровит, то, скорей, по привычке. Если где и свербит, то лишь потому, что из буфера обмена не сразу исчезает кусок старого текста.

**[…И ЧЕГО ГОРЕВАТЬ!]**

***Метафизика луж***

Это очень просто – сесть в лужу.

Особенно «метафизическую».

Особенно когда знаешь, что ты – большой: -ая, -ое, -ой-ё.

Не такой, как вчера.

И «как вчера» уж никогда не сделаешь.

Потомучточки перерос.

И рыльцем, пусть и в пушку оное, вышел.

И сани свои – во-он – нашёл…

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что ты именно «такой».

Такой, как вчера.

Или поза-.

И даже чуть ниже.

Слабей.

Тоньше.

И что комариные укусы, каковыми б должны казаться теперь тебе все эти псевдо- и горести, суть нюансы, превращающиеся в самые обыкновенные пульки: они-то и простреливают – сейчас вылетит птичка! – твоё рикошетное, строка навылет, всегда «под обрез», сердце.

Сердце, которому, как оказывается при ближайшем рассмотрении, хочется вовсе не покоя, а чорте чего.

Оно-то – чорте чо – и правит балом.

Оно-то и приводит в движение забытые душевные течения, о существовании которых ты, мнилось, забыл.

Но *не они* забыли тебя.

*Не они.*

*Не они* выпороли солёными розгами.

*Не они* посадили на кол.

Да дело-то, собственно, вовсе не в них.

И уж, конечно, не в звере и человеке – но в звере и человеке, в тебе живущем, разумеется, тоже: Saggitarius – Вечный Стрелок, целящийся в собственный сердечный фантом.

Потому как, не будь фантома, «собственно сердце» давно б не выдержало, ну а раз так – *легко*.

Да и что, собственно, случилось?

Так, обыкновенная лужа.

Пусть и «метафизическая».

В которую – год за годом, ямка за ямкой: только и всего.

Оступился (-лась, -лись).

Бывает.

И чего горевать?..

***Метафизика огня***

Ищем тех, кто и не помнит.

Беспамятством мучим – искавших.

Терзаемся скорей по привычке: «Всё, всё понарошку, глупай-а-а-а!..»

Зажигаем свечи в тщетной попытке усмирить вороний вордочек «кармы» старым дедовским способом.

А потом – не ищем, не мучаем.

А потом: свечи церковные, свечи вагинальные – по-всякому.

А потом – не помнишь: было, не было…

(Велика важность, взрослики ж!)

И чего горевать?

***Метафизика музыки***

«Это не любофь-фь-фь!» – прикрывает рукой трубку, хотя в комнате никого.

Тик-так, тик-так – «Не любофь-фь-фь!»: да это тик, ти-ик…

Глаз дёргается – и всё, и всё – еле-еле: «Еле заметно!» – подсказывает тот самый голос, и нет уже ни пола, ни потолка, ни стен – тех и этих (и всё равно, всё равно ведь пересчитает: четыре, «тик-та-ак» – да тик, ти-ик!..).

«Не любофь-фь-фь» – и впрямь: у нелюбфи подтанцовка в коленках и – надо же! – шест в руках: левая, правая, всегда одна, никогда не две – «Весело-Грустно»: Людвиг ван Бетховен, второй класс дэ-эм-ша…

И чего горевать!

***Физика и ещё чуть-чуть***

Ну а потом летишь, летииишшшь – да и как ещё-то?

По небу жёлтому, кафельной плиточкой выложенному, по решётке его симулякристой, по «здесь и теперь», «там и потом»: что-то ещё – а? – бывает?..

И: только разгонишься, а оно – бац! – под дых: умойся, detka, остынь-ка… ёлочка скоро! «Х.й вам, а не ёлка!» – материализует бэушный слоган ретроградный Меркурий, и вот, значит, небо – небом, но душ-то – душем: стоишь, в общем, обтекаешь, ну а как обтечёшь до самого дна-то чёрного, как в земельку-мокрушницу свалишься, так и будет тебе щастье – и простое женское, и сложное овечье, – ну словно бы наперёд знаешь.

Одного лишь понять не можешь – что ж долго-то так?

Полжизни да сверх чуть-чуть…

А человек зелёненький знай приговаривает: «Полжизни да сверх чуть-чуть… и чего горевать?»

1. Сагалов Зиновий «Пломба» и «Слон»

***Зиновий САГАЛОВ***

**П Л О М Б А**

Слово «война», помню, ворвалось в нашу дачную жизнь откуда-то из тенистой глубины сада. Там, в конце жердяной изгороди, отделявшей нас от живущих рядом Егоянов, валялось в зарослях крапивы несколько выпавших кольев.Именно оттуда бежал сосед Сергей Артемович с этим страшным словом на трясущихся губах:

-Война! Только что!…Война…

И вмиг сломалось ласковое солнечное утро. Застыла, оцепенев, моя рука с ложкой пахучей клубники в сметане. Закончились неспешные прогулки на пруд, полуденный сон в гамаке, жмурки и прочая никому уже не нужная дребедень. Главным стал висящий на стене веранды самодовольно-круглый диск репродуктора, не выключавшийся теперь ни днем, ни ночью. Ни о чем хорошем он нам не сообщал. Немцы победно шли по Украине, захватывали города и села, вешали, расстреливали, жгли…

Вскоре мы съехали с дачи. В июле первые бомбардировщики, ведомые веселыми белокурыми асами, прорвались до Харькова . Пацанва охотилась за осколками авиабомб. Мы собирали их после налета на мостовых и на крышах. Рваные, искареженные железяки, изготовленные в далекой стране…Осколки хранились в коробках из-под конфет. Ими обменивались, как марками или монетами.

В августе сирены раздирали душу почти каждый вечер. Бомбоубежище - подвальный этаж нашего же дома. Мы спускались туда втроем: бабушка Агнесса, мама и я, каждый нес с собой самое ценное. Мама - документы и облигации «золотого займа», бабушка – столовое серебро, а у меня в руках был карманный фонарик, привезенный мне год назад соседом из завоеванной нами Эстонии. Папа с нами не ходил – намытарившись за день, он самозабвенно храпел на кожаном диване, закрыв газетой лицо от прилипчивых мух. Он был героем, он не боялся бомб. Он спал глубоким мирным сном.

За лето разбомбили нашу тридцать шестую школу.1 сентября мы пришли в чужие классы чужой, восемьдесят второй, на Чернышевской. В каждом классе сидело теперь человек по шестьдесят, бои между хозяевами и пришельцами кипели на переменах и на уроках. Домашних заданий никто, конечно, не делал – разве что дураки и отличники. Умники же прекрасно понимали, что сейчас ни таблица умножения, ни действующие вулканы Азии, ни первое спряжение глаголов никакого значения не имеют.

Мама была занята подготовкой к отъезду. Паковала в мешки зимние вещи, обувь, посуду. Более ценное - платья, костюмы - укладывалось в большой коричневый чемодан с облезлыми боками.

Перед самым отъездом мама обнаружила в одном из моих зубов дупло. Мог ли сын зубного врача отправиться в эвакуацию без пломбы? Сборы были приостановлены. Мы пошли к маминой знакомой, практикующему врачу по фамилии Бимбад (звали ее, по-моему, Эсфирь –да простится мне, ежели я ошибаюсь).

Это была дородная, цыганистого типа женщина с горячими обжигающими глазами, похожая, как я впоследствии заметил, на певицу Веру Александровну Давыдову в роли Кармен. Ее запястья, массивная царственная шея и мочки ушей сияли переливающимися драгоценностями. Перед тем как зайти в кабинет мы немножко посидели в гостиной. Горка с хрусталем и фарфором, красного дерева мебель, невиданные замки и дворцы в массивных золоченых рамах – все это было так непохоже на нашу полутемную, длинную как коридор комнату в коммуналке с продавленным диваном и двумя школьными полушариями на стене, прикрывающими затертую трещину.

Пока я сидел с открытым ртом в кабинете, держа в поле зрения одну только зловещую бормашину, готовую со сладострастным визгом впиться в мой зуб, мама и Эсфирь продолжали начатый в гостиной разговор.

-Ты, Роня, сумасшедшая! Все бросить и уехать! И куда? К черту на рога?

-Мы поедем в Саратов, к моей сестре, - отвечала мама. Внешне она была спокойна, лишь я знал, чего ей стоило принять такое решение.

-« В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов»! –захохотала Эсфирь и вставила в бормашину сверло. - Открой рот, детка, шире, еще шире! У твоей сестры, Роня, что, лишние квадратные метры? Может быть, она имеет профессорские апартаменты? Ах, только одну комнату? Вот-вот, представляю себе, как она обрадуется, когда на нее свалится все твое семейство.

Завыла, зажужжала пыточная машина.

-Не все семейство, Фира. Владимир с нами не едет.

-Умный человек твой муж, я всегда это знала.

-Он подъедет позже.

«Кармен» выключила бормашину.

-Ты уверена, что надо ехать?

Она наклонилась к маме и сказала внушительно:

-Мне рассказывал знакомый инженер. К ним на авиазавод приезжал маршал Тимошенко. Было собрание, общее, прямо в цеху. И он сказал: «Товарищи, работайте спокойно, никакой паники. От имени Советского правительства, от имени товарища Сталина заверяю вас, что Харьков мы не сдадим».

-Наверное, то же самое он говорил и в Киеве, который уже у немцев.

- Ну, знаешь, Роня!…В конце концов, даже если придут немцы…Это же европейский цивилизованный народ.

-А ты газеты читаешь? Кто убивает, кто расстреливает? Не этот ли цивилизованный народ? И в первую очередь евреев.

Бимбад снисходительно улыбнулась. Орудуя шпателем, она уже заделывала замазкой дупло.

-Как ты можешь верить нашим газетам? Ты ведь умная женщина, Роня, неужели не понимаешь, что это все пропаганда?

Мама и Бимбад на прощание поцеловались. «Кармен» положила мне на головку унизанную кольцами руку.

-Придешь после войны. Надеюсь, моя пломба сохранится.

Через пару дней мы уезжали из Харькова. Южный вокзал был погружен в зловещую тьму. В черном небе шарили лучи прожекторов. Эшелон подали на седьмую платформу, мы бежали туда через пути, спотыкаясь о рельсы. Толпа брала поезд штурмом. Мешки и чемоданы по головам были кое-как вброшены в вагон. Мест оказалось меньше, чем числилось у мамы. Но эшелон уже двинулся. Сидели в полной тьме, не видя даже ближайших соседей. Изредка за окном вспыхивали синие зарницы разрывов. Поезд, спасаясь от бомбежки, убегал в ночь. Чей-то тихий голос затянул песню. «Розпрягайте, хлопці, конів…” Ее подхватили – тоже негромко. Прощались с Украиной, с родным домом. Кто знал, куда мы едем? В никуда…

Вернулись за год до конца войны. Харьков был весь в руинах. Остовы домов в поперечном разрезе через все этажи… Бывшие квартиры – где штукатурка, где обрывки обоев. Висящие батареи отопления, мусор. Пошли на Рымарскую, к дому, где на втором этаже жила Бимбад. Он сохранился. Ее квартира , превращенная теперь в коммуналку, была заселена другими людьми. Маминой подруги среди них не было.

В декабре сорок первого, как мы позже узнали, все еврейское население Харькова было согнано в бараки Тракторного завода и уничтожено. Среди погибших была и семья Бимбад.

А пломба, действительно, сохранилась.

**С Л О Н**

Местная шпана обзывала нас «выковыренными». С издевкой словцо, из языкатой базарной толчеи. А по сути верное. Выковыряла нас война из больших, залитых электричеством городов, и раскинула рассыпной горстью

по городам и весям на тысячи и тысячи км.

Его могло и не быть в нашей жизни, этого пыльного казахского городка,

не будь войны, Гитлера, панической эвакуации в пропахших навозом теплушках. Маленький город с пересохшими арыками и тополиной ватой на асфальте центральной улицы, по которой , раскачивая гордыми головами, расхаживали верблюды, возник из небытия и стал нашим прекрасным и неповторимым военным детством.

Мы, все четверо, были «выковырями». Вадик Белабаш эвакуировался из Ленинграда , Фира Лошадь из Житомира, я и Вилька Винокур были в той довоенной жизни киевлянами. Жили мы все на Ремесленной улице. Не улица ,собственно, а бестолковый лабиринт домишек, самострой из соломы и глины, стоящих вкривь и вкось , одинаковых, как коровьи лепешки. Ни деревца в унылых дворах, ни цветочка. Пирамида кизяков на зиму подпирала стенку сарая. Хозяйка с дочкой изо дня в день, по колено в навозе, готовили новые замесы для изготовления кизяков.

Летом мы весь день кучковались на речке. Круто скатываясь с гор, она, разогнавшись, мчалась ледяной струей, не успевая нагреться, далеко за город. Казахское название ее было Муздай –«ледяная». Быстрое течение далеко относило пловца. Вылезая из воды, с дрыжаками на животе, первым делом сдирали с себя налипшие холоднючие трусы. И потом, пряча ладонями то, что уже приучились прятать, прыгали голяка на одной ноге.

Слон приходил на речку после обеда. Огромный по сравнению с нами, он величественно обнажал красивое гладкое тело, покрытое ровным матовым загаром, надевал черные солнцезащитные очки и укладывался навзничь . Загорал он четко по науке, поглядывая на часы и подставляя палящему южному солнцу то мощные плечи ,то ребристый белесоватый бок, то поджарые ягодицы.

В то время не то что у пацанов- не каждый взрослый имел часы.

А у Слона были заграничные, точнее Биг-Бена, как он говорил. Но главным их достоинством было то, что они были водонепронецаемыми. После каждого заплыва, едва Слон вылезал из воды, мы окружали его в надежде увидеть остановившиеся стрелки и поиздеваться над заморским чудом техники. Черта с два! Слон смачно хохотал над нами, тыча в глаза мокрые часы с живыми подскакивающими стрелками.

-Читайте, хлопцы, что написано. А…позабыл! Вы ж дейч долбите. А тут по-английски. „Waterproof“.Два слова – вода и защита. Поняли? Для водолазов.

-А вы что, водолаз! - бесцеремонно хмыкнул Белабаш. - Вы же самый обыкновенный сапожник.

Слон провел своей могучей пятерней по его льняным кудрям и ничего не сказал. Такой был, помнится, наш разговор при первом знакомст-ве.

Слон действительно сапожничал. Мы приносили ему ботинки с оторванными подошвами, туфли со сбитыми каблуками, порванные галоши и через несколько дней получали довольно приличную обувку, способную еще два-три месяца защищать от кочек и камней наши нежные ноги .

Летом он работал во дворе, под козырьком из кровельного железа, защищавшим от дождя и солнца. Вокруг стояли полочки с деревянными колодками, шильями, напильниками, а он восседал на табурете с плетеным сиденьем. Мы усаживались вокруг и смотрели, как ловко орудуют его огромные ручищи, ворочая во все стороны насаженный на лапку ботинок. Как пропитанная варом дратва накрепко сшивает верх и подошву и на наших глазах стоптанный изорванный ботинок принимает приличный вид чуть ли не модельной обуви.

Часто к Слону наведывались девицы. Им он оказывал особое внимание. Откладывал в сторону работу, шутил, глаза его оживлялись . Замерял ступню, щиколотку –ему это доставляло явное удовольствие. И они напропалую кокетничали с ним –все мужики были на войне, а Слон еще не стар, и от его гладко выбритых щек всегда пахло приятным одеколоном. Выделывались эти девки перед ним вовсю – и платье невзначай трепыхнут выше коленок, и нагнутся-изогнутся как лебедь на пруду, и хохотнут призывно.

-Паскуды, хоть при нас бы не выдрачивались, - шипела Фира Лошадь.- Проститутки чертовы.

Однажды, когда Слон пошел на кухню варить клей, Фирка не удержалась и сунула ноги в роскошные кремовые танкетки с плетеным верхом.

-Ой, мама! – заверещала она.- Красотульки какие!

-Скинь, Фирка, тебе Слон сейчас накостыляет,- сказал Вилька.

Осторожно, будто входя в воду, Фирка сделала несколько шагов.

- Такие точно я в кино видела. Барышня немецкая, фройлейн, в них танцевала . «Розамунда…Розамунда!..»-запела она резко и фальшиво. Закружилась ,будто в вальсе и грохнулась об полочку с колодками.

Мы заржали.

В дверях домика показался Слон. Глаза его были необычно суровыми и встревоженными.

-Не надо песни,- негромко, но властно сказал он Фирке.- Никогда не надо.Таких.

Фирка, уже босая, виновато обтирала танкетки подолом платья.

Инцидент был исчерпан, но не забыт.

- Видали, как он труханул, - сказал Белабаш, когда мы двинулись по домам.- Тут что-то есть.

В начале нашего знакомства мы ничего о Слоне не знали. Известно только было, что поляк, фамилия его Слонимский или Слонский. Поэтому все его звали Слон. Кличка соответствовала его массивной фигуре с широкими плечами. Двигался Слон неспешно и как бы лениво. И край любил, когда ему делали массаж.

За пару дней он обучил нас всем премудростям массажного дела, от поглаживания и растирания до обливания ледяной водой. Мы освоили все эти «щипчики», «грабельки», «биточки», «гребешочки» и прочие приемчики.

Как лилипуты на Геркулеса, мы с восторгом наваливались на громадного, распростертого на прибрежной траве Слона, и кромсали, давили , мяли расслабленные податливые мышцы до тех пор , пока багровела крепкая морщинистая шея и Слон в счастливом изнеможении взывал к нам : «За мало, хлопцы», что означало «достаточно». За этим следовала мелочишка на мороженое, заработанная честным квалифицированным трудом.

Однажды кто-то из нас, по-моему Вилька, затеял с ним «душевную»

беседу.

- Скажи, Слон, ты правда служил в Польской армии?

-Было дело.

-А в каких войсках? Если не секрет, конечно? -спросила Фирка.

-Какой секрет сейчас? Разведка. Хорунжий был чином. А теперь вот башмаки чиню.

-Ты в плен попал, да? – продолжал допытываться Вилька.

-Ага. Под Ковелем. Вся наша бригада. Окружили, панов офицеров хлоп-хлоп, а нас в теплушки и по лагерям. За колючую проволоку.

-Надо было биться с фрицами, как наши, а вы…. -сказал Белабаш и остановился.

-А мы к вашим и попали.

-Как так?

Слон не ответил, стал кидать вещи в сумку, собираясь уходить .

-Кто знает ,как так…Вот ты, Вилька, иди сюда. Стань передо мной. И лупи меня по груди. Бей,бей…А ты, Белабашик, колоти по спине. Вот так и было. С одной стороны ваши, с другой фрицы. И не стало Речи Посполитой, все, амба.

Его светлые голубые глаза чуть замутились, он подхватил сумку

и пошел.

Два дня лил дождь, на речке никого не было. Ремесленная улица стала стоячим болотом. Под ногами чавкало, брызгалось, засасывало по щиколотку. Мы с трудом добрались до Фирки , обмыли перепачканные в глине ноги и стали резаться в дурака в полутемном курином сарае.

-Зачем Слону в душу лез? –наставилась Фирка на Белабаша.- Думаешь, приятно, когда твою страну победили?

-У него даже слезы были,- сказал Вилька.

-Много вы понимаете, балбесы! -взвился Белабаш и бросил карты.-Они в наших стреляли. Недаром их в лагеря заграбастали. Мне тетка сказала, им сейчас позволили жить по свободе, но каждый день отмечайся.

-Откуда твоя тетка знает? - спросил я.

- Раз говорит, значит знает. В милиции раньше работала. Может этот ваш Слон, сказала она, шпион даже.

Мы, все трое, заржали.

Но Балабаш не унимался.

-А приемничек у него зачем? А?

-Какой приемничек?- насторожились мы.

-Маленький,с антенкой, на подоконнике стоял ,газетой прикрытый.

-Ух ты, глазастенький….-зашипела Фирка.- И ты про него своей тетке стукнул?

- Она говорит : точно передатчик.

-Дура твоя тетка и ты вместе с ней!- крикнул Вилька.- Трепло несчастное!

-А ты не трогай мою тетку!

Белабаш развернулся и дал Вильке тычка под нос, затеялась драка. Заквохтали перепуганные куры, хрипло залаял старый пес Жулик. Фиркина мама ворвалась в сарай и выгнала нас со двора.

Слона мы увидели на следующий день. Сыпал мелкий дождик, сквозь тучи уже мутно пробивалось солнце, но Ремесленная улица по-прежнему оставалась непроходимой.

Слон шел в сопровождении мильтона ,за плечами его висела котомка. Шел он медленно, широким шагом, поочередно вытаскивая ноги из вязкой липкой глины. На обочине, там, где зеленел квадратик травы, стояла , дожидаясь их, черная «эмка».

Проходя мимо нас, Слон едва заметно кивнул. И слегка улыбнулся. Так показалось и мне, и Вильке, и Фирке.

1. Скрундзь Татьяна «Последний день Валентины» «Интермеццо»

***Татьяна Скрундзь***

**Последний день Валентины**

Валентина умерла зимой, во вторник днем.

До того она жила в больничном приюте тихо и неприметно. Ежедневный распорядок в приюте был прост: завтрак, обед, ужин, а между ними – долгая пустота, когда всем казалось – время остановилось навсегда. Валентина в эти часы или лежала в кровати, или бродила, шаркая тапочками, по большой, на пятнадцать человек, палате. Она ни с кем не заговаривала, жевала губами. Если подслеповато врезалась в кого-то из вечно суетящихся пациенток, шепелявила тоном родной бабушки: «Лапочка, лапочка моя».

Валентина не помнила, как попала сюда. И никто, даже самые старожилы, не помнили. Больные приходили и уходили, а она оставалась на своем месте, как ветхая хоругвь в углу храма. Коренные жильцы называли хоругвь баб Валей, новенькие или «пролетки», как называли тех, кто не задерживался в больнице надолго, - не иначе как Валентина Васильевна. Если Валентина не спала, б*о*льшую часть времени смотрела в неопределенную даль, оставаясь неподвижной. Или, сложив за спиной маленькие морщинистые руки, подходила к окну и обращала свой взор в сад – на весну, лето, осень или зиму. Отделение находилось на первом этаже, окруженное яблоневым садом. Низкие ветви деревьев почти касались стекол. В зарослях часто кучковались серые воробьи. Через плотно закрытые рамы чирикания их не было слышно, но что-то свежее будто проникало в духоту помещения, и отступал застарелый запах грязного белья и хлорки, которой ежедневно натирали полы, подоконники и спинки кроватей. Всё это растворялось, как недодуманный образ, и только просторы сада и вот эти беспокойные, как пружинки, птицы оставались единственной реальностью.

У Валентины были внимательные черные глаза, всегда яркие и блестящие, как у всех женщин, носящих в себе кавказскую кровь. С первого взгляда никто не подумал бы, что она почти слепа. Наверное, она видела каким-то особенным взором, что называется «третий глаз», потому что если с ней заговаривали, старушка устремляла прямой взор в лицо собеседнику. Но это был взгляд сквозь. Впечатление дополнялось густыми, как кусты лавра, бровями – правое веко слегка нависало, отчего одна половиной лица казалась всегда сердитой, – но компенсировалось мягкими чертами и тихим голосом: «Лапочка ты моя».

Соседки подкармливали Валентину печеньем или конфетами. Бывало, кто-то выхватывал у нее только что полученное лакомство прямо из рук.

- Эй ты! Отдай назад, тебе говорят, - поднимался шум, если кто замечал воровство.

- Не отдам! – и не отдавала.

Если все же воровка каялась и отдавала, Валентина уже не брала, зато сдвигала обе брови в сплошную черно-седую линию и пронзительным взглядом провожала хамку. Но гнев тут же потухал, проследив спину обидчицы, Валентина возвращалась к созерцанию сущности вещей, открытых ей одной.

Впрочем, она почти никогда не съедала дареное, зато в забывчивости скапливала по углам своей кровати. Печенья крошились, шоколад пачкал простыни. Санитарки отделения ругали Валентину, как безответное дитя, нелюбимое за лишние хлопоты. Единственная – Алла Ивановна – называла Валентину просто Валей и разговаривала с ней как с обыкновенным, равным себе пожилым полноценным человеком. Они были почти ровесницы. Аллу Ивановну Валентина чаще других называла «лапочкой».

Всего санитарок было три. Им приходилось ухаживать за восьмьюдесятью женщинами разных возрастов. Одни пациентки жили здесь, как сироты, другие состояли в той или иной степени старческого слабоумия и нуждались в постоянном медицинском и бытовом уходе. Валентина являлась одновременно тем и другим, и никто не ждал, что она когда-то выйдет отсюда.

Незадолго до своего последнего вторника Валентина, как обычно, прогуливалась от кровати к окну, когда неожиданно споткнулась о чьи-то тапочки и упала прямо лицом в пол, потому что руки держала за спиною. Алла Ивановна, дежурившая в ту минуту в палате, бросилась её поднимать. С усилием расцепила руки, куклой довела и уложила на место. С тех пор Валентина не вставала, и всё реже произносила своё волшебное слово. Алла Ивановна и четыре её сменщицы по очереди кормили старушку бульоном, в котором размачивали мякиши хлеба. Валентина улыбалась, открывала рот, иногда говорила «лапочки мои» и старалась погладить руку кормящих. Оставаясь в одиночестве, она безропотно, будто ослабевшая зверушка, замирала. Всем было ясно – Валентина начала умирать.

Через неделю она полностью ослепла и глядела беспамятно. На случайный шум стала протягивать, словно чего-то испрашивала, зябкую руку, из которой само собой вываливалось теперь любое печенье.

Последние две недели Валентина почти не принимала пищи, не двигалась, даже, казалось, не моргала. Подымала утром и опускала днём веки, сделавшиеся такими хрупкими, что походили на папиросную бумагу, да нешироко разевала рот, если кто-то из санитарок подносили столовую ложку с каким-нибудь жидким питанием. Но не глотала и всё лилось по подбородку, на шею и серо-белый ворот больничной рубахи. Никаких эмоций на спокойном, с ввалившимися щеками лице не отображалось. Так рыбка, случайно выплеснутая вместе с водой, когда хозяйка чистит аквариум, перестаёт трепыхаться к первой минуте пребывания на воздухе, и медленно засыпает, всё слабее надувая пустые бока.

Вторничным утром, как и в другие утра недели, в отделении стоял невнятный гул голосов, пациентки бродили, шумели, ворочались в постелях. Перед каждой из них стояла какая-нибудь личная проблема: занять очередь в уборную, отобрать сворованный соседкой зефир, перепрятать из наволочки в пододеяльник какую-то ценность вроде куска мыла, полученную давеча с передачей. Бездыханность баб Вали заметили не сразу, а когда заметили, по первому возбуждённому восклицанию у её постели собралось сразу несколько человек.

- Не может быть, чтобы умерла.

- Потрогай, может быть пошевелится.

- Сама трогай, надо зеркальце поднести, я где-то читала, что так проверяют, жив ли человек, потому что на себя в зеркальце нельзя не посмотреть. А вот если не посмотрит, значит, мёртвый.

- А где ты зеркало возьмешь?

- Машка, Оля, да не ты, бестолочь, Бояринова Оля! У кого-то из вас было зеркальце. Дайте!

- Тише ты, отнимут. Нет у меня ничего.

- Баб Валь, а баб Валь. Слышишь?

- Не слышит она уже ничего…

Кто-то сообразил позвать старшую медсестру. Та пришла быстро, в сопровождении ещё одной, дежурной, сестры и санитарок. Старшая бесцеремонно отодвинула любопытных. Медперсонал чинно выстроился у кровати, во вмятине которой лежала крохотная Валентина. Напротив холодно голубела облезлая больничная стена. Алла Ивановна стояла вместе со всеми и ревностно наблюдала за старшей. Та умелым движением сжала запястье старушки длинными пальцами с лакированными, вызывающего цвета ногтями. Вторая рука оставалась в кармане халата. Стёкла огромных очков, которые делали и без того некрасивую, плосколицую старшую похожей на кобру, уставились на большое кривое пятно, оставленное отвалившейся со стены краской. Пятно напоминало формой средних размеров камбалу, глазками которой удачно вырисовывались две невесть откуда взявшиеся дырки на штукатурке.

- Ещё жива, - сухо произнесла она и опустила безвольную кисть Валентины на простыню.

- Кончается наша Валюша, - горестно вздохнула Алла Ивановна.

Старшая склонилась над умирающей. Взгляд Валентины оставался неподвижен и устремлялся по вертикали к потолку. Радужка глаз по-прежнему блестела здоровой чернотой. Старшая отстранилась, выпрямилась, скрестила на груди руки, словно конвоир, слушающий оглашение приговора судьи подсудимому.

Валентина, казалось, засыпает. Душа уходила из неё так незаметно, будто хотела, никого не потревожив, тихонько заняться другими, кроме поддержания дыхания и кровотока, важными делами. Палата замерла. Так группа снимающихся застывает в принятых позах перед фотографом, который скомандовал: «Внимание, сейчас…». Прошло минуты две. Валентинино лицо медленно делалось неодушевлённым. «Кобра» снова взялась за её запястье, и было похоже, что считает: «Десять, девять, восемь, семь…»

Наконец заключила:

- Всё.

Аккуратно положила мёртвую руку на место, развернулась, быстрым шагом вышла из палаты. Сестра и санитарки прошуршали вслед изящным змеиным хвостом, унося на нём запах лекарств и скрипучих резиновых перчаток. Алла Ивановна замялась, но потом поспешила за остальными.

Больные, толпившиеся все это время за спинами медработников, плотным полукольцом обступили кровать. Пораженные, они продолжали молчать и не отрывали глаз от покойницы. Все смутно ощущали – нечто важное ускользнуло только что прямо из-под их носов.

Валентина тем временем продолжала глядеть в потолок. Радужная оболочка не тускнела, зато вечно нахмуренная бровь распрямилась, отчего её лицо сделалось совершенно симметричным. Послышался судорожный всхлип.

- Эй, разойдись, паскудницы, чего вылупились!

В палату вихрем залетела Алла Ивановна, разогнала больных и подошла к трупу, но здесь её решимость мгновенно исчезла.

- Глаза бы ей прикрыть надо, - сказала она, ни к кому не обращаясь. – Ай, мерзость. К мёртвым нельзя прикасаться-то. Что делать?

Подумала, уткнув кулаки в толстые бока, затем натянула край одеяла и хотела было уголком пододеяльника сомкнуть уже начавшие остывать веки. Но как только отняла руку, веки медленно поползли назад. Попробовала придержать их пару секунд – глаза, как живые, открывались всё равно. В расширенных чёрных зрачках бликовали лампы дневного освещения. Дрогнув, Алла Ивановна бросила своё дело и ушла прочь.

Больные больше не подходили, косились издали. Через полчаса, получив указания врача, санитарки завернули тело в простыню, подняли с натугой каторжников, осиливающих перегруженный кирпичами поддон – две держали углы полотна в изголовье, Алла Ивановна – возле ног – и понесли. Валентина ко дню упокоения сделалась совсем махонькой, не больше десятилетнего ребенка. Странно было, что трое взрослых, упитанных женщин с таким трудом несли её труп. Говорят, тела делаются тяжелее, когда лишаются жизненной энергии. Можно подумать, душа, уходя, забирает с собой свою лёгкость, ментальность, свою духовную силу, парадоксально позволяющую живому существу двигаться, поднимать ноги и голову, вместо того, чтобы камнем прилипнуть к земле.

Мёртвую бережно, как будто опасаясь, что она больно стукнется головой, положили на холодный чистый пол ванной комнаты. Пахло неизбывной сыростью и ржавыми трубами. По желтоватой внутренней стенке ванны полз какой-то слизняк. Алле Ивановне представилось, как слизняк ползёт по застывшему Валиному лицу. Она размашисто перекрестилась и поторопилась уйти. Щёлкнул замок двери.

К вечеру по вызову главврача приехала дочь Валентины – сухонькая вдовица средних лет, с синюшным личиком и черными, такими же, как у матери, глазами – спелая черешня после дождя, – сверкающими из-под соколиных бровей. Она прошла за врачом через всё отделение, пробыла в кабинете несколько минут, потом так же, не глядя по сторонам, пошла обратно в пугающем одиночестве. Больные сразу узнали в ней родственницу баб Вали, хотя видели здесь впервые – к старушке никогда никто не приезжал, не получала она и обычных здесь передач. Потому теперь многие из больных смотрели на гостью с упрёком, зло шептались по углам и провожали её горящим, ненавидящим взглядом, будто эта несчастная нанесла им личную обиду.

Вряд ли сама Валентина понимала, где и сколько времени находится. Быть может, и дочь свою она не помнила и не тосковала, как чудилось многим. Но прокрадывалась в голову щиплющая мысль, что юродство Валентины являлось не столько частью болезни, сколько признаком ясного сознания, который таился в живом блеске умных, добрых глаз.

Появились какие-то мужчины, рабочие, их проводили в ванную, где они переложили тело на носилки. Выходя из отделения, пронесли ногами вперед по коридору мимо нескольких пациенток и Аллы Ивановны. Лицо усопшей было скрыто под простынёй, никто так и не узнал, сомкнулись ли, наконец, сопротивлявшиеся вечной слепоте глаза.

Когда открывали дверь, ледяная свежесть с улицы ворвалась внутрь. Несколько снежинок метелью влетели внутрь и растаяли, не достигнув пола. А потом тяжелый металлический засов главного входа с грохотом задвинулся.

Алла Ивановна долго и брезгливо мыла руки в общем рукомойнике, шмыгала носом и бормотала что-то воздыхательное, после чего прошла в палату прибрать опустевшую кровать. Свернула грязные простыни, стала протирать клеёнку мокрой тряпицей.

- Тут носочки остались, - неожиданно бодро крикнула она, не отрываясь от работы. – Кому носки тёплые?

Отделение будто вышло из оцепенения, заворчало.

- Мне тёплые нужны! Я мёрзну!

- А я вообще без носков!

- А я их первая увидела! Я не знала, что раздавать будут.

- Как ты могла увидеть первая, дура!

- Сама дура!

Алла Ивановна распрямилась, резво скрутила два шерстяных комочка в один и, слегка размахнувшись, бросила в другой конец палаты. Там кто-то издал громкий хрюкающий звук удовольствия.

**Интермеццо**

На ночлег разместились в палатке так: я с краю, она с другого, посередине пара и еще пара — мои приятели, которые и пригласили Любу, когда ее товарищи отправлялись в путь после недельной стоянки. Такие же дикари, но с автомобилем, они путешествовали вдоль всего побережья, останавливаясь ненадолго в поселковых кемпингах. Люба сказала, догонит их в Евпатории, оттуда вместе вернутся домой в Киев. Среди ребят был один, с кем Люба, очевидно, состояла в отношениях вовсе не дружеских. Тем подозрительней прозвучало ее решение остаться с нами. Этот долговязый, нелепый, нервный в движениях безусый юноша возражать не стал, а может быть, не мог. Прощаясь, взглянул на нее с выражением коровы, наблюдающей своего резвящегося теленка, покачал белобрысой головой, махнул рукой и исчез.

У моря жилось беззаботно. Стоял август, пик летней жары миновал, днем воздух сделался мягче, а по ночам с моря все настойчивей дул северный ветер. Утра мы проводили в ленивой неге, после обеда разбредались кто куда. Я любил одинокие прогулки по душистым холмам, что покрывали сушу вдоль моря на значительные расстояния. А товарищи мои ходили в поселок подзаработать. Все четверо владели музыкальными инструментами, в основном этническими. Я был единственным в нашей компании, кто обладал небольшими, но специально отложенными на отдых средствами. Впрочем, много и не нужно было. Простая пища готовилась на газовых горелках, обычные туристские развлечения нас не интересовали.

Мы быстро сдружились, хотя Люба продолжала во всем проявлять сдержанность и вежливую предупредительность гостя. Как хозяева и к тому же старшие, мы опекали ее, угощали обедом и знакомили с достопримечательностями, благо место к тому располагало: горные образования причудливой формы окружали бухту, множество знаменитостей оставили здесь о себе память, и о каждом из них сочинялась необыкновенная легенда.

Любе оказалось всего девятнадцать, однако нарочитая строгость делала ее взрослее, а немногословность и всегда меткие суждения при легкости общения свидетельствовали о живом уме в ее милой головке. Крепко сбитая, невысокая, она обладала очарованием, далеко отстоящим от привычной красоты глянца, и тем привлекательней казалась мне, умудренному жизнью, как я себя мыслил, человеку. Мне было тридцать пять. Я был тогда холост и немного скучал, начиная с завистью поглядывать на своих друзей — пару и пару. Кроме того, никаких особенных приключений не случалось со мной уже много лет. Проделки молодости поблекли в бурном браке, в тумане прошлого рассеялись и мучительные переживания развода.

С тех пор я привык относиться к женщинам спокойно, как к сотрудникам — в работе, любви или дружбе. Люба оставалась в стороне от всех этих занятий, физически же находилась так близко и источала столь яркий аромат юной, полной нерастраченных сил жизни, что терзания мои увеличивались с каждым днем. Как старый зверь, раздувал я ноздри и ждал ночи, когда, пусть даже разделен с нею четверкой тел, смогу слушать ее мерное дыхание. Даже относительная близость волновала меня. Однако, попытавшись ухаживать за ней, я наткнулся на стену непонимания, граничащего с неприязнью. Намек мой остался унизительно безответным. «Конечно же, дело в безусом, — думал я. — Поссорились, барышня насочиняла себе танталовы муки, а малец растерялся и дезертировал».

Может, так непримечательно и закончилось бы мое увлечение, но в конце августа, когда мы проживали с Любой бок о бок уже вторую неделю, в бухту заглянули гастролирующие джазмены. Афиши в поселке висели с начала лета. Товарищи мои готовились заранее: обе музыкальные пары часами торчали на набережной, заработанное аккуратно откладывали на билеты. Я не собирался идти, с появлением же Любы немедленно обзавелся двумя пригласительными, отдав едва не последние сбережения. И не прогадал. Люба оказалась большой любительницей джаза и с радостью приняла приглашение.

К закату широкая площадка перед сценой, установленной прямо на пляже, плотно заполнилась людьми. Мы с трудом отыскали местечко в середине, между мощных звукоусилителей по бокам. Как всегда на юге, тьма опустилась быстро, словно на мир сверху набросили покрывало. Вышел ведущий, сказал несколько слов и удалился. Тут же заиграл рояль, на сцене появился элегантный мулат в белом костюме. Отщелкивая длинными пальцами ритм, запел голосом Тома Уэйтса. Затем под прожекторы выступил немолодой саксофонист, зажмурился, как импровизирующий Иван Иванович Бавурин, и взял зрительское внимание на себя.

Музыка была великолепна, но я не слушал. Впервые за время знакомства я находился так близко от Любы. С прямой спиной, в позе лотоса, она слегка раскачивалась в такт мелодии. Я сидел чуть позади, опершись на вытянутые руки, согнув ноги в коленях, и мог разглядывать ее профиль, который четко вырисовывался на фоне софитов. Вся она как бы вытянулась, стала тоньше и гибче. На одном из инструментальных соло, аплодируя вместе со всеми, Люба обернулась ко мне. Глаза ее сверкали, и пухлые губы приоткрылись в улыбке. Поддавшись порыву, я приподнялся и крепко поцеловал ее. Через некоторое время Люба вырвалась. Прямо взглянула на меня. Теперь глаза ее казались черны, как бездна, которая ждет — взглянешь ли ты в самую глубь или отвернешься, испугавшись.

— Идем? — сказал я.

Она кивнула. Извиняясь, мы стали пробираться сквозь толпу по направлению к берегу под щедрое трио блестящих с ног до головы негритянок. Когда мы отошли на приличное расстояние от всех огней, где гальку освещала только взошедшая луна, кожа на щеках Любы сделалась будто изо льда. Или из серебра. Холодного серебра с чернением в области глазниц.

Мы медленно шли вдоль кромки моря, и мне отчего-то было спокойно как никогда, хотя давешняя скука исчезла тоже. Словно нежность вечернего безветренного воздуха пробралась в грудь, разлилась через сердце по всем членам, заставляя лишь воспринимать, не размышляя. Я никогда не испытывал такого покоя и удивленно наблюдал за собой и Любой как за частью пейзажа. Вот идут двое и говорят. И все так восхитительно чисто и свежо, как ее не успевшая еще загореть кожа. Я позабыл, зачем звал ее прочь от громкой музыки, прочь от людей. Мы говорили о Крыме, Киеве и о ней. Оказалось, она знает безусого с детства и мыслит его как неотъемлемую часть своей жизни. Он влюблен в нее давно, она же... Иногда она замолкала надолго, и тогда я спрашивал. Она отвечала задумчиво, глядя на мерцающие, как светляки, лампы рыбацких судов в море.

Помню, я сказал:

— Люба, Люба, ведь ты несчастлива.

Она ответила не сразу, дернув уголком губ:

— Никто не может знать сердца другого человека. Даже сам обладатель сердца.

Мы оба притихли, остановившись перед вспенившейся полоской прибоя. В ту минуту я подумал, что больше всего желаю увидеть эту серебряную девушку всю, и немедленно. Я позвал:

— Пойдем купаться!

Не дожидаясь ответа, разделся, зашел в теплую воду и сразу поплыл. Я знал, что она пойдет за мной, и, действительно, почти сразу услышал за спиной всплеск. Полон неясной надежды или больше — уверенности, обернулся. Рядом с ворохом моих одежд светло мерцало небрежно сброшенное платье. Но Любы нигде не было видно. Прошло полминуты, минута. Я заволновался, нащупал ногами дно, встал, озираясь. Запаниковав, в полный голос несколько раз прокричал ее имя.

— Не шуми, я здесь, — послышалось из темноты, и затем в лунную дорожку вплыла Любина темная мокроволосая голова.

По воде пошли круги от беззвучных гребков. Злясь на свой испуг, я хотел выбираться на сушу, однако она попросила:

— Подожди, дай я выйду первой. Отвернись, пожалуйста.

Я послушался, зашел в воду по грудь и с радостью отдался прохладе, потому что чувствовал небывалое возбуждение, все же подглядывая исподтишка за ее наготой. Люба оделась быстро, но я успел увидеть стройный, влажно светящийся, как неоновая рыба, силуэт. Когда я вышел и, смущаясь, стал неловко натягивать прилипающие к ногам шаровары, Люба сказала:

— Не сердись. Я просто уплыла далеко и не хотела кричать в ответ. Не думала, что ты испугаешься.

Я вновь поцеловал ее, на сей раз коротко. Так, чтобы она не успела отстраниться сама. И на этот раз она так же внимательно посмотрела мне прямо в глаза, отчего сделалось почему-то немного жутко. На футболке осталось два мокрых пятна от прижавшихся ко мне тугих грудей.

Возвращались не торопясь, держась за руки, хотя я не помню, говорили ли мы о чем-то еще. Пара и пара были в лагере. Впечатленные концертом или из чувства такта, они не спросили нас ни о чем. После короткого ужина стали укладываться на ночлег. Я устроился рядом с Любой, а она сразу повернулась спиной, укутавшись в одеяло. Мучаясь сомнениями, я не смел к ней прикоснуться и гадал, что могло означать ее согласие уйти со мной, почему теперь она лежит молча, словно ничего не бывало. Я не смыкал глаз, но видел лишь тьму. Остальные не шевелились, ровное дыхание говорило о крепости их сна. Нащупав Любино плечо, я почувствовал, как напряглось оно под моей ладонью, и понял, что девчонка не спит тоже. И вдруг она подвинулась мне навстречу. Тонкая ткань разделяла нас, однако я осмелел, обхватил ее горячее тело вместе с одеялом, придвинул к себе, прикоснулся губами к тонкой девичьей шее сзади...

Мы лежали так целую вечность. Оглушительно стрекотали цикады за брезентовой стенкой. В какой-то момент я услышал, что Люба плачет, и, склонившись к самому ее уху, стал шептать что-то утешительное и все гладил, гладил по голове. Отчетливо помню запах ее волос — полынь и морская соль. Наконец вздрагивания прекратились, судорожно вздохнув, Люба повернулась и обняла меня. Но лишь на минуту. А потом утихла. Следом заснул и я.

На рассвете Люба уехала. Попрощалась она только с одной из пар, и то потому, что те поднялись раньше обычного. Позже в своем рюкзаке я обнаружил наспех подсунутый клочок бумаги с короткой фразой: «Я счастлива. Спасибо тебе». Я повертел записку. Никакого контакта Люба не оставила. То был август 2013 года.

Осенью и зимой четырнадцатого я отчаянно искал ее. Опрашивал крымских и киевских знакомых, копался в соцсетях, но что я мог, зная только город да имя? Я страстно надеялся, что она не пострадала во время переворота, глотал новостные сводки и долго, долго еще думал о ней — то нежно, то сожалея о чем-то несбыточном. Со временем, однако, черты ее лица в памяти смазались, и теперь я вспоминал наш мимолетный роман разве что при случае. Неизменно тогда вставал передо мной призрак светящегося под луной крепкого тела, влажная, с хрустальными каплями воды на лопатках, спина, а иногда во сне я видел темные, с сокрытой где-то в глубине тайной, Любины глаза.

Мы встретились еще однажды. Случилось это неожиданно, в толпе, на площади того самого крымского поселка, куда я преданно ездил отдыхать много лет, ежесезонно, несмотря ни на любовные, ни на политические перипетии. Люба ничуть не изменилась, только волосы остригла по-новому. С нею был малыш лет двух в шортиках и мужчина, в котором я без труда опознал безусого. Он возмужал, сбрил наголо позорную белобрысость, хотя усов так и не отрастил. Люба узнала меня тотчас, сделала движение в мою сторону, лишь одно движение. Но тут мальчик потянулся к ней и ей пришлось отвлечься. Постояв, я двинулся своим путем.

1. Талалай Наталья «Менеджер среднего звена»

***Наталья Талалай***

**Менеджер среднего звена**

Менеджер среднего звена, среднего возраста и со средней зарплатой, с повадками опытного ловеласа и вышколенностью швейцара распахивает дверь кофейни перед своей спутницей – студенткой лет двадцати. Девочка несмело переступает порог. Приятная музыка, огромная витрина с морожеными-пирожными, зеркала в полстены и услужливый официант уже следует за ними к столику у окна.

- Выбери себе, лапочка, десертик! – Усредненный менеджер протягивает спутнице меню. У лапочки глаза разбегаются от цен и обилия пирожных. Стоимость кусочка теста, украшенного кремом, равна ее прожиточному минимуму нескольких дней. Она боится листать все меню – подумает еще, что привередливая – и останавливается на первом развороте, а потом и на первом пирожном. Менеджер довольно улыбается.

Официант приносить заказ. Она с опаской берет десертную вилочку и цепляет на нее немного божественного крема. – Ум… Объедение, - говорит девочка и возвращает десертную вилочку в исходное положение на огромную белоснежную тарелку.

Влюбленный, как ему кажется, менеджер смотрит на нее с умильной улыбкой, и говорит: - Кушай, лапочка, десертик, кушай. Почему ты вилку отложила? – Он вдруг пугается, что лапочке не понравился десерт, и тогда получится, что и он – менеджер – тоже ей не понравится.

Но лапочка-студентка кушает, и даже получает удовольствие от этого нагромождения кулинарных изысков, когда тесто сначала украшают замороженными, размороженными и замороженными обратно фруктами, а затем еще чья-то дурья башка перебивает весь вкус тертым шоколадом отвратительного качества. Но про то, что шоколад этот и вовсе не шоколад, а фрукты месяц размораживают и замораживают, и сливки – вовсе не сливки, студентка-лапочка еще не знает. Она знает только то, что рядом с ней сидит взрослый мужчина, которому ей очень хочется понравиться, поэтому она старается держать ручку в кулачке, чтобы он не видел ее обгрызенных ногтей.

Менеджер ногтей не видит, поскольку любуется ею тонкой шейкой и с нежностью наблюдает, как девочка-лапочка аккуратно ест десертной вилочкой белый крем, стараясь, не размазать его по тарелке.

– Это ли не удовольствие, - думает менеджер, когда девочка с такой старательностью ест взбитые сливки из баллончика. – Это же совсем другое дело, нежели приглашать на кофе ровесниц, которые самостоятельно могут заказать всю витрину. Только есть этого не будут, поскольку они почти все или на диете или придерживаются линии здорового питания. И сидит такая тетка-ровесница в кофейне и думает, что надо было пойти в итальянский ресторан. В крайнем случае, сама за все заплатила бы, решает она, осмотрев заношенную обувь менеджера. А он, менеджер среднего звена, не любит, когда за него платят. У него гордость есть, и вообще дело не в деньгах. Ему хочется, чтобы его уважали. А как такая, которая сама может всю витрину с пирожными оплатить, уважать его может, когда у него в кармане максимум на пару штук? Поэтому менеджер предпочитает знакомиться со студентками-лапочками, которые преисполняются чувства благодарности уже на стадии десерта с взбитыми сливками из баллончика.

Менеджер удовлетворенно кивает, когда его лапочка доела пирожное, и теперь, чтобы закрепить свою победу, подзывает официанта и просит повторить две чашки кофе.

- Ну, не надо, - пытается сопротивляться совестливая лапочка-студентка, которой кажется, что она разорила своего кавалера. Ей, конечно, приятно, что на нее вот столько денег в кофейне потратили, но и совестно немножко. А после второй чашки кофе она и вовсе чувствует себя вовек обязанной, и думает, что сейчас он пригласит ее к себе домой, а ей неудобно будет отказать. Нет, у нашей лапочки-студентки уже есть небольшой и весьма приятный сексуальный опыт, полученный на узкой кровати в общежитии, но ей кажется, что тогда все было по любви, а здесь человек взрослый, серьезный… и она не знает, как себя с ним вести.

Менеджер довольно приобнимает лапочку-студентку, видит ее легкое смущение и замешательство, и это хорошо, потому, что он как раз и намерен заняться у своей спутницы взращиванием чувства вины, плавно переходящим в чувство долга.

Лапочка-студентка с удовольствием пьет вторую чашку капучино, а он вслух умиляется молочной пенкой у нее на верхней губе. Лапочка-студентка смеется, долго ищет в сумочке зеркало, чтобы посмотреть на себя смешную и не спешит вытирать пенку, хотя салфеток на столе завались. Менеджер среднего звена чувствует себя великолепно. А как же – он ведь осчастливил лапочку-студентку, которая смеется каждой его шутке и отфыркивается от молочной пенки на губах.

Менеджер чувствует на себе чей-то взгляд. Взрослая тетка со стаканчиком латте и ноутбуком рассматривает его и студентку-лапочку. Она прячет презрительную ухмылку в уголках губ, где уже явно прорезаются морщины. Менеджер пытается вспомнить, где он ее раньше видел – может на прошлой работе? Или это та, которая с сайта знакомств? Но тетка больше не отрывается от ноутбука, и он не может ее ни рассмотреть, ни вспомнить.

Менеджер давно и тщательно избегает взрослых теток, которые сделали карьеру куда лучшую, чем он сам, которые купили себе квартиру, в отличие от него – дождавшегося смерти бабушки. Менеджер среднего звена периодически видит, как тетки-ровесницы ходят по этому городу толпами, и у всех глаза злые, губы сжаты как куриные попки, и хотят они, как ему кажется, все только одного – захомутать, оболванить и женить на себе его - менеджера среднего звена.

Когда-то он уже проходил через всю эту процедуру. Сначала из него пытались сделать менеджера высшего звена. Нашли работу в перспективной заграничной компании, попросили «подтянуть» английский, зарплату дали в три раза больше прежней, полномочиями наделили, ответственность выдали. А потом оказалось, что ему, менеджеру среднего звена, это все не надо, потому, что не хочет он брать на себя ответственность за судьбу фирмы, корпорации и страны. Менеджер среднего звена хочет уйти с работы ровно в 18.00 и смотреть футбол по телевизору, закусывая его пивом и чипсами. И еще ему нравится, когда лапочки-студентки восхищаются его коллекцией пивных банок, восклицая «вау», а не спрашивают, почему в его квартире столько мусора.

Параллельно с изготовлением из менеджера среднего звена менеджера высшего звена, его готовили к семейной жизни. Времени у тетки-ровесницы было в обрез, поэтому она так и сказала без околичностей: «Давай поженимся». Менеджер уже почти готов был кивнуть в ответ, если бы за этой фразой не последовал развернутый теткинский бизнес-план на ближайшее десятилетие: продадим наши две однокомнатные квартиры, возьмем кредит, купим большую квартиру, родим ребенка, заведем таксу и т.д. и т.п. Наш менеджер в шоке – он не хочет брать кредит, искать приработок, чтобы покрыть 25% годовых по ипотеке, много работать и вообще напрягаться. И детей он тоже не хочет. «Торопиться не надо!», - многомудро, как ему казалось, ответил тогда менеджер.

С тех пор наш менеджер отбивается от теток-ровесниц и говорит, что они такие классные, такие классные, а он такой никчемный, такой никчемный, и им явно не подойдет.

– Мудак, - думают тетки-ровесницы, сутки плачут над очередной неиспользованной яйцеклеткой, потом покупают коньяк или мартини и приглашают в гости подружек.

– Мудак, - говорят одинокие подружки тетки тоже с неиспользованными яйцеклетками. Выпивают коньяк или мартини и идут за добором. А на утро с больной головой, голодными глазами и губами сжатыми в куриную гузку, они бегут по городу дальше и думают, думают только одну мысль: - Еще год-два и будет поздно. И будет поздно. Поздно. Поздно. Поздно. Поэтому надо родить, родить, во что бы то ни стало. И желательно, чтобы у ребенка отец был. - Нет, они могут и сами, но патриархальное воспитание и корпоративная культура говорят, что будет лучше, если будет отец. Пусть даже менеджер среднего звена, ведь менеджеры высшего звена уже заняты, женаты по второму разу, а опускаться до работяги – так лучше сразу умереть.

Студентка-лапочка допивает вторую чашку капучино, и менеджер среднего звена читает в ее испуганных глазах вопрос. Н-е-е-е-е-т, сегодня он ее к себе домой приглашать не будет. Успех надо закрепить по-настоящему. Вторая чашка кофе – это так, разминка. Например, через пару дней надо сводить студентку-лапочку в пиццерию среднего уровня антисанитарии, и вот тогда его лапочка-студентка окончательно растрогается, и сама спросит: - Куда мы едем? - А пока вопрос немой, торопиться не надо.

Лапочка видит, что менеджер оставил десять гривен сверх счета, думает, какой он щедрый, и улыбается ему. Менеджер покровительственно кивает. Он уже знает, что через недельку она будет рассматривать коллекцию его пивных банок и кричать «вау», и так будет длиться несколько месяцев, пока студентка-лапочка не захочет замуж, шубу или ребенка. А пока - жизнь удалась. И никаких детей, кредитов, ответственности и напряжения. Только десертик. Приятно быть полубогом.

1. Толстиков Николай «Приходинки»

***Священник Николай Толстиков***

**ПРИХОДИНКИ**

СМИРЕННЫЙ  ЧЕЛОВЕК

Смотритель при храме - должность, в общем-то, женская. Дел и делишек всяких - уйма! Надо подсвечники после службы протереть, воду для крещенской купели нагреть и принести, за порядком в храме следить. Хоть за чистотой, хоть за лихими людишками, норовящими что-нибудь спереть.  
Времена менялись...  
Храм наш стоял возле городского рынка и, бывало, подвергался набегам разных чудаков. Один прямо на середине вытряхнул полный ящик румяных яблок, видать, для пущей своей торговли. Другой чудачина бутылки с пивом по деревянному полу с грохотом кататься запустил, не иначе от алкоголизма надеясь отшатнуться. Третий - произносящего на солее ектению  диакона по плечу хлопнул и пьяно поинтересовался: «А в ухо хошь?!». Но диакон был не робкого десятка и с достоинством ответствовал: «Отдачей не замучаешься?».   
Бузотера незамедлительно и ловко «упаковал» наш новый смотритель Ваня, вытащил проветриться на улицу...  
Ваня, крепкий мужичок за пятьдесят, прибился к храму на радость прочим бабушкам-смотрительницам, поселился бобылем в сторожке. Обходительный и вежливый с коллегами он не чурался всякой работенки - только седая его голова то тут, то там в храме мелькала. Лихоимцам с улицы надежный заслон был поставлен. Одного даже Ваня поймал с поличным - вывернул из-под полы сворованную икону. Огрел «экспроприатора» несильно по загривку и вытолкнул восвояси.  
Допытывались у Вани - чей он да откуда? Только молчал упорно  в ответ смотритель, лишь хмыкал  в лохматые свои усы.  
- Вот смиренный какой человек... - шамкали старушонки.  
Тайна разрешилась в День Победы.   
Ваня пришел на службу в парадной офицерской форме с орденами и медалями на груди. Прихожане взирали на сие «явление» с раскрытыми ртами, кто-то из старушонок робко поинтересовался:   
- Где ты, Ваня, успел повоевать? Вроде еще и не старый...  
Ваня, как всегда, немногословен:  
- В Афгане. Дворец Амина брал.  
После праздника Ваня вдруг пропал, никто из наших прихожан не повстречал  его больше. Уехал, видно, куда-то. Туда, где его не знают.

ЖЕРТВА

Отец Василий из протоиереев прежних, жизнью вдоволь «тертых», в советскую пору уполномоченными по делам религий вдосталь «обласканный», насмешек от атеистов разных мастей в свое время натерпевшийся...  
В ельцинскую эпоху народ валом повалил в восстанавливаемые храмы. Стоят такие люди на службе, переминаются с ноги на ногу, пялятся по сторонам недоумевающе, не ведая,  что надо делать.  
Отец Василий и вразумляет таких с амвона:  
- Не умеете молиться - кладите деньги! Все посильная жертва ваша Господу будет...

ВО СЛАВУ БОЖИЮ!

В алтаре храма в определенные моменты службы священнослужителям разрешается уставом сидеть.  Наш игумен, видимо, для пущего смирения этим послаблением пренебрегает: стоит и стоит себе, молится...  
Но однажды присел-таки, то ли неважно себя почувствовал, то ли просто устал.  
- В кои-то веки! Не иначе, жалованье всем прибавят! – воскликнул кто-то из малоимущих пономарей.  
И точно, как по заказу, на другой день -  желанная добавка!  
Теперь игумена на каждой службе с участливым видом просили пономари присесть, даже мягким стуликом обзавелись и его игумену старательно подставляли...  
Тщетны попытки! Не так прост игумен, опять стоит перед престолом Божиим несокрушимо. И еще наставляет жаждущих дополнительного «сребра»:  
- Потрудитесь-ка просто, во славу Божию!

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

На дальний приход приехал строгий архиерей, заметил какие-то непорядки.  
За трапезой - напряженное молчание.   
Местный батюшка, прежде чем вкусить скромных яств, осторожно перекрестил свой рот.  
- Зачем вы это делаете? - раздраженно спросил владыка.  
- На всякий случай. Чтобы бес не заскочил.  
- А может, чтоб не выскочил?

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Одолели бомжи. С холодами порядочной компанией обосновались в притворе храма, хватают за рукава прихожан, «трясут» милостыню. Настоятель , бедный, не знает как отбиться от них: иной здоровенный дядя, одетый в шмотки с чужого плеча куда как «круче» многодетного молодого батюшки, гнусавит протяжно, заступая дорогу:  
- Я кушать хочу! Дай!..  
Выручает казначей – тетка бывалая, «тертая» жизнью. Храм, хоть и в центре города, но верующим возвращен недавно, обустраиваться в нем только-только начали. Чтоб не застынуть в мороз, поставили печки – времянки, привезли и свалили на улице возле стены храма воз дров.  
Казначея и обращается к бомжам с деловым предложением:  
- Берите рукавицы, топоры, и – дрова колоть! Всех потом накормим !.. Ну, кто первый, самый смелый? Ты?  
Бомж в ответ мнется, бормочет себе под нос: « Да я работать-то и отвык…» и – бочком, бочком – на улицу!   
Следом – остальные. Как ветром всех сдуло!

СОВЕТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Из трапезной храма подкармливают бомжей. Повариха выносит им на улицу кастрюлю с супом.  
Минута – суп проглочен. С пустой посудиной в руках стучится в двери пьяненькая пожилая бомжиха, говорит деловито:  
- «Второе», пожалуйста!.. И десерт!

НЕ ЗАЗНАВАЙСЯ!

Настоятель храма из районного городка давненько в областной столице не бывал, даже архиерей успел поменяться.  
Надо ехать, брать благословение у нового.   
Приехал, зашел во двор епархиального управления. Видит: автомобиль чинят, из-под него ноги чьи-то торчат. Батюшка был то ли из отставных вояк, то ли из «ментов», церемониться с простым, да тем более с обслуживающим , людом особо не привык:  
- Эй ты, водила! – окликнул он ремонтника и даже по подошвам ботинок того легонько попинал. – Не знаешь, новый владыка на месте?  
Ремонтник молча и неторопливо выбрался из-под автомобиля и, обтирая тряпкой испачканные маслом свои руки, с нескрываемым любопытством поглядел на вопрошавшего:  
- Вообще-то, я не – водила, а ваш новый владыка!  
Батюшка тут и сел…

СВЯТОЙ

В разгар грозы молния ударила прямо в купол колокольни стоявшей на бугре на отшибе от городка церкви. Вспыхнуло гигантской свечой, даром что и дождь еще не затих.  
Пусть и времечко было советское, атеистическое, храм действующий, но народ тушить пожар бросился дружно.  
Потом батюшка одарил особо отличившихся мужичков полновесными червонцами с ленинским профилем.  
Мужики бригадой двинулись в "казенку", событие такое отпраздновали на полную "катушку". Потом постепенно, по прошествии лет, все бы и забылось, кабы не опоек Коля - в чем только душа держится. Всякий раз, торча в пивнушке на своих, колесом, ногах за столиком, он вспоминал геройский подвиг. И втолковывая молодяжке, что если б не он, то б хана делу, "сгорела б точно церква!", блаженно закатив глаза, крестился заскорузлой щепотью:  
- Теперь я святой!..  
Так и прозвали его - Коля Святой.

ВТОРАЯ НАТУРА

Длинноносый, в очочках, слегка прощелыговатого вида, местного пошиба чинуша Голубок был еще и уполномоченным по делам религии при райисполкоме.  
Времена наступили уже "горбачевские", в отличие от своих предшественников, Голубок настоятеля храма в городке не притеснял, постаивал себе по воскресным службам скромненько в уголке возле свечного "ящика".  
Скоро "необходимость" в уполномоченных вместе с самой властью и вовсе отпала, Голубка вроде б как выперли на пенсию, но в храме он появлялся неизменно и стоял все на том же месте.  
"Не иначе, уверовал в Бога!" - решил про него батюшка и даже поздравить его хотел с сем радостным событием.  
Но Голубок потупился:  
- Я, знаете ли, захожу к вам по привычке.  
"Да! - вздохнул обескуражено настоятель. - Что поделаешь, коли вторая натура!"

БЕССРЕБРЕНИКИ

Триня и Костюня - пожилые тюремные сидельцы и не по одному сроку за их плечами: то кого побили, то чего украли. И тут долго на волюшке ходить, видать , опять не собрались: подзудил их лукавый в ближней деревне церковь "подломить".  
Двинулись на "дело" глухой ночью, здоровенным колом приперли дверь избушки, где дрых старик-сторож, оконце махонькое - не выскочит, и, прилагая все нажитые воровские навыки, выворотили четыре старинных замка на воротах храма.  
Побродили в гулкой темноте, пошарились с фонариком. В ценностях икон ни тот, ни другой не пендрили и потому их и трогать не стали. Наткнулись на деревянную кассу для пожертвований, раскокали, но и горсти мелочи там не набралось.  
- Тю! - присвистнул радостно Триня. - Бросай эту мелочевку, тут в углу целый ящик кагора!..  
На задах чьего-то подворья, в сараюшке устроили налетчики пир. Тут их тепленькими и взяли. Когда их вязали, возмущались они, едва шевеля онемевшими языками:  
- Мы че?! Ни че не сперли, верим так как Кагор и тот выпить не успели.

ПРИСОСЕДИЛИСЬ

На заре Советской власти в моем родном городке тоже предавались всеобщему безумию - переименовывать улицы. Прямо пойди - Политическая, вбок поверни - Карла Маркса.  
Проходя по центральной улице, спросил я у девчонок из местного сельхозколледжа: знают ли в честь кого улица названа - Розы Люксембург?  
Те хихикнули, блеснув белыми зубками:  
- Да в честь какой-то международной "прости-господи"!  
А уж кто такой по соседству Лассаль, ни каждый здешний учитель истории наверно ответит.  
Эх, погуливали когда-то наши предки по Соборной, назначали свидания на тихой, утопающей в кустах сирени, Старомещанской, в воскресный день шли на службу в храм по Никольской!  
Отреставрировали у нас недавно часовенку, освятили для верующих, в угловом здании бывшего горсовета открыли воскресную школу. Красивыми такими большими буквами на стене ее название написали.  
А чуть выше старая вывеска-указатель: улица Коммунистов.  
Присоседились.

ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ

Писатель служил диаконом в храме. Дожил и дослужил он до седой бороды; писателем его никто не считал и называл если так – то по-за глаза, ухмыляясь и покручивая пальчиком возле виска.  
Мало кто знал, что на дне старинного сундука в отцовском доме лежала толстая стопка исписанных бумажных листов, «семейная сага» - история рода, над которой он в молодости за столом корпел ночами. Все встряхивающие в прошлом веке «родову» события, образы дедов и бабок, дядек и теток, удачливых в жизни или бесшабашных до одури, укладывались помаленьку в главы книги.  
Тогда же он, с радостным трепетом поставив последнюю точку, послал рукопись в один из журналов, и оттуда, огорошив, ему ответили, что, дескать, ваши герои серы и никчемны и что от жизни такой проще взять им лопату и самозакопаться. А где образ передового молодого рабочего? Нету?! Ату!!!  
Обескураженный автор спрятал рукопись в тот злополучный сундук, втайне все же надеясь, что еще придет ее время…  
О своей «саге» диакон, видимо, обмолвился кому-то из иереев, тот – еще кому-то, узнала о ней и одна интеллигентная бабушка-прихожанка, решила помочь. Схватила диакона-писателя за рукав подрясника и потащила к спонсору. Куда ж ныне без них, сердешных, денешься, тем более среди прихожан таковые имелись. А этот, по слухам, еще и из поповичей выходец.  
В назначенный час диакон и тетка топтались у подъезда особняка-новодела в центре города. Хозяин его, глава фирмы по продаже чистой воды за рубеж, лихо подрулил на иномарке. Ладный такой старичок, спортивного вида, в отутюженном костюмчике; глаза из-под стеколышек очочков - буравчики. Рукопожатие крепкое.  
- Преображенский! – представился он и сказал диакону: - Вы давайте сюда свою рукопись, я ознакомлюсь и решу. Вас, когда понадобитесь мне, найдут…  
Переживал, конечно, писатель несколько томительных дней и ночей, мало ел, плохо спал. Наконец, позвонили прямо в храм за свечной «ящик»: Преображенский приглашает.  
Он ждал диакона на том же крылечке, вежливо открыл перед ним дверь в офис; охранник-детина, завидев за писателем шефа, вскочил и вытянулся в струнку.  
Преображенский провел гостя в свой большущий просторный кабинет с развешенными на стенах полотнами-подлинниками местных художников.  
- Вас, наверное, предупредили… - начал он разговор. - А, может, и нет. Я был начальником отдела контрразведки одного известного учреждения. Впрочем, ладно, не в этом суть.  
«Вот влип!» - подумал про себя диакон и слегка вспотел.  
- Откуда вы для своей книги сведения черпали? Героев своих расписывали? Из рассказов родственников, соседей? Да? Но всегда ли эти байки объективны были, не обиду или злобу затаив, сочинял иной гражданин разные «страшилки» про коллективизацию или работу «органов»? Вас-то в это время еще не было на свете!.. У меня самого прадед-священник в двадцатом году во дворе тюрьмы от сердечного приступа преставился, когда на допрос чекисты выкликнули. Но мне это родство потом в жизни помехой не стало…  
Преображенский говорил и говорил, не давая бедному писателю и слова втиснуть. Оставалось только тому согласно мычать да глаза пучить.  
- Зачем еще одна такая книга, где о советском прошлом так плохо и ужасно?.. Денег на издание ее я вам не дам… Но не спешите откланиваться! - остановил диакона несостоявшийся спонсор. - У меня есть к вам деловое предложение. А что если вы напишите такую книгу, где коллективизация, «чистки» и все другое было только во благо, во имя высшей цели?! Вот это вас сразу выделит из прочего мутного потока! А я готов платить вам жалование каждый месяц, такое же, как у вас в храме. Подумайте!  
Диакон вышел на крыльцо, нашел взглядом маковки церковных куполов невдалеке и, прошептав молитву, перекрестился.   
Ничего не стал он писать. А рукопись свою опять спрятал на дно сундука.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ильич стоит к храму боком, вроде б как с пренебрежением засунув руки в карманы штанов и сбив на затылок кепку. На пьедестале – маленький, в свой натуральный рост, измазан черной краской.  
Храм в нескольких десятках метров от статуи, в окружении рощицы из старых деревьев, уцелел чудом на краю площади в центре города. Всегда был заперт на замок, окна закрыты глухими ставнями.   
Однажды в его стенах опять затеплилась таинственная, уединенная от прочего мира церковная жизнь…  
Но и на пустынной площади возле Ленина разместился «аква-парк» с качелями-каруселями, надувными батутами, развеселой , грохочущей день-деньской, музыкой. О вожде мирового пролетариата тоже не забыли: как любителю детей, под самый нос ему заворотили ярко раскрашенную громадную качалку. Только дети то ли не полюбили, то ли просто побоялись качаться тут или благоразумные родители им запретили это. Визжали, дурачились на качалке молодые подвыпившие тетки, а с лавочек возле постамента, опутанного гирляндой из разноцветных помигивающих лампочек, их задирали тоже «хватившие» лишку молодцы с коротко стриженными, в извилинах шрамов, головами и в грязных потных майках, обтягивающих изляпанные синевой наколок тела.  
Не думал я, проходя мимо их на службу, что нежданно-негаданно эта «накачанная» компания, спасаясь от жары или вовсе теряя всякую ориентировку во времени и пространстве, ввалится в храм…   
Служили на Троицу литию. Выбрались из зимнего тесного придела в притвор напротив раскрытых врат просторного летнего храма, выстывшего за долгую зиму и теперь наполненного тяжелым влажным воздухом. Из окон под куполом пробиваются солнечные лучи, высвечивают, делая отчетливыми, старинные фрески на стенах. Как на корабле средь бушующего, исходящего страстями, людского моря!  
Молодцов, пьяно-шумно загомонивших, тут же, зашипев и зашикав, выпроводили обратно за порог бабульки-смотрительницы. Один все-таки, в ярко-красной майке, загорелый до черноты, сумел обогнуть «заслон» и, качаясь из стороны в сторону, пройти в гулкую пустоту летнего храма. Возле самой солеи, у царских врат, он бухнулся на коленки и прижался лбом к холодному каменному полу. Старушонки, подскочив, начали тормошить и его, чтобы вывести, но батюшка махнул им рукой: пускай остается!..  
Торжественно, отдаваясь эхом под сводами храма, звучали слова прошений ектении, хор временами подхватывал стройным печальным многоголосьем: «Господи, помилуй… Господи, помилуй!». В эту симфонию вдруг стали примешиваться какие-то неясные звуки. Мы прислушались. Да это же рыдал тот стриженный в майке! Бился испещренной шрамами головой об край солеи, просил, умолял, жалился о своей, скорее всего, несуразно и непутево сложившейся жизни. Что творилось в душе его, какое скопище грехов рвало и кромсало ее на мелкие кровоточащие части?!.  
Вот он утих и лежал так ничком на полу до конца службы. Потом бабульки помогли ему подняться и повлекли его к выходу из храма, умиротворенного, притихшего, с мокрым от слез лицом.  
А молодой батюшка, вздохнув, сказал:  
- Проспится в кустах под Лениным и все свое покаяние забудет. А жаль…

ВЛАСТЬ БЕЗ ПОЛА

В самом древнем соборе в городе власти разрешили отслужить Пасхальную Вечерню.  
Собор - музей, в гулком его нутре холодно, сыро. За толстыми стенами вовсю бушует весна, а здесь впору в зимнюю одежку упаковываться.  
В алтаре священнослужители терпеливо ждут архиерея, разглядывают старинные фрески на стенах.  
Вдруг в алтарь бесцеремонно влетает немолодая дама, затянутая в джинсовый костюм с блестящими заклепками, на голове - взлохмаченная кудель рыжих крашеных волос.  
- Вы куда? Женщинам же сюда нельзя! - с тихим ужасом восклицает кто-то из молодых батюшек.  
- Я не женщина! - нисколько не смущаясь, ответствует «джинсовая» дама. - Я главный инженер!  
И неторопливо бродит по алтарю, смотрит на датчики на стенах, фиксирующие процент влажности, записывает что-то в блокнотик.  
Сделала свое дело и - как ни здрасьте, так и ни до свидания!  
Все оторопели. Немая сцена…

ПО ВРЕМЕНИ

Местный юродивый Толя Рыков сидит на паперти храма, как обычно, лопочет что-то взахлеб. Нет-нет да и проскочит в его речах крепкое словцо.  
Солидная дама, выходя из храма и все-таки, видать, собирающаяся пожертвовать Толе копеечку, сожалеющее-брезгливо поджимает подкрашенные губы:  
- Какой он у вас блаженный? Вон, как матом ругается!  
Опрятная старушка рядом отвечает:  
- Так это он по топеришному времени…

ВСЕ-ТАКИ ПОЛЬЗА!

Бабулька тащит батюшке связку сухих позеленевших баранок:  
- Хотела вот поросенку отдать… Да ты возьми! Хоть помолишься о мне, грешной!

БЕЗ ГРЕХА

Благообразного вида старушонка священнику:  
- Ой, батюшко, хотела бы причаститься да все никак не получается!  
- Иди на исповедь! – отвечает ей молодой батюшка. - Знаешь, что в Чаше-то находится?  
Старушонка хитро поглядывает, почти шепчет заговорчищески:  
- Знаю… Да только не скажу.  
- Евангелие читаешь? – продолжает допытываться священник.   
- На столе всегда лежит, – ответствует бабулька.  
- Так читаешь?  
- Так на столе-то оно ведь лежит!  
- Много грехов накопила?  
- Ох, батюшко, много-много! – сокрушенно всплескивает ручками старушка.  
- Перечисляй тогда!  
Бабулька задумывается, вздыхает вроде б как с огорчением:  
- Да какие у меня грехи? Нету…

ПОСТ

Полуслепой, вдовец, давным-давно «за штатом», хромой отец Василий ковыляет помаленьку с базара. В авоське-сетке в крупную ячейку, болтающейся в его руке, просматривается мороженая куриная тушка.  
Кто-то из новоявленных «фарисеев» радостно, с показным сокрушением на роже, бросается к старику:  
- Батюшка, ведь - пост!  
Отец Василий останавливается, скорее не зрением, а по звуку голоса находит укорившего его, и обстоятельно изрекает:  
- У кого – нет, у того и пост!

ПОРТФЕЛЬЧИК

Семейство причащается Святых Христовых Тайн. Две девочки постарше уступают первенство младшей сестре. А та извивается ужом на руках у худощавого папы, мотает головой туда-сюда, плотно сжимая губы – ложечкой с причастием не попадешь.  
- Да поставьте дочку на ноги, в конце концов! – говорит батюшка папаше. – Не младенец она у вас!  
Девчонка уже не угрюмо и испуганно, а с некоторым настороженным интересом смотрит на батюшку снизу вверх. К спине непослушной рабы божией, словно блин, прилепился крохотный игрушечный портфельчик.  
- О, сегодня знаменательный день! – нашелся священник. – Причащаются все, кто с портфельчиками!  
И надо же – девчонка сразу свой рот нараспашку, как галчонок!  
Подумалось: а что если бы не только дети, но и взрослые дяди и тети с портфелями причащались почаще! Может, тогда и жили бы все в России лучше…

ДАНЬ МОДЕ

Молодой священник отец Сергий пришел сам не свой:  
- Пригласили меня освящать «новорусский» особняк… Час уж перед обедом. В вестибюле юная дамочка встречает. В одной прозрачной «ночнушке», коротенькой, по самое «не могу». Этак, спросонок, щебечет: « Вы работайте, работайте! Если я вам мешаю, то на балкончике пока покурю.»  
Освятил особняк отец Сергий, водичкой везде в комнатах покропил, от прелестей дамочки-хозяюшки стыдливо глаза отводит.  
- Понимаете хоть – зачем вам это освящение жилища? – спрашивает.  
- Так модно же! – удивленно округляются глазки с размазанной косметикой. – Чем я хуже других?! А вы получили за свою работу, так молчите!

ДАЙ ДЕНЕГ!

К отцу Сергию в церковном дворе «подгребает» бомж. Мужик еще не старый, здоровяк, подбитая рожа только пламенеет, и перегарищем за версту от него разит и едва с ног не сшибает.  
- Дай денег! - просит у батюшки.   
А у того детей - мал , мала, меньше, полная горница!   
- Не дам, - говорит отец Сергий. - Мне чад кормить.  
- А я вот семью свою потерял, потому и пью. Не могу без них и до такой жизни дошел. – пытается разжалобить священника «бомж» и приготавливается, видимо, выдавить слезу.  
- А ты не пей! - со строгостью ответствует отец Сергий. - И все вернется.  
«Бомж» чувствует, что терпит «фиаско» и кричит раздраженно:  
- Я… я…Афган прошел!... Напишу вот «корешам», они мне столько денег пришлют, что и тебе дам!..  
Другой «бомж» - потише, на фантазии его не тянет, в состояние крайнего возбуждения он приходит только в одном случае, когда в церковный двор въезжает шикарная иномарка, и навстречу ей торопится батюшка с кропилом.  
Освящение машины - дело серьезное, тут хозяин «подстраховаться» от всякой беды хочет, стоит - весь во внимании. Щедро кропит батюшка иномарку святой водичкой, а тут невзрачный оборванный мужичонка к хозяину подскакивает и - дерг его за рукав!   
- Дай денег ! - кричит и щерит в беззубой улыбке рот.  
Бритоголовый хозяин в другом бы месте без разговоров в ухо просителю въехал, но тут возле храма - нельзя. А «бомж» не отстает, то за один рукав, то за другой опять дергает.  
- Да - на! Отсохни! - сует, наконец, «бомжу» купюру.  
А тому только то и надо, будет ждать-дожидаться до следующей поживы. Иноземного «авто» в России хоть пруд пруди, миллионером можно так сделаться.

КАПЕЛЬКА

Жоржа на спор прокрутили на лопасти винта вертолета когда-то во время срочной его службы в армии, и с той поры жизнь вращала и вертела бедолагу, бросала в разные стороны.   
Кончилось тем, что оказался Жорж перед самым выходом на пенсию у нас на приходе, бобыль бобылем, единственная родня – брат в деревне, да и тот бродягу Жоржа принять отказался. Все хозяйство и богатство Жоржа – допотопный обшарпанный чемодан, набитый всякой бесполезной всячиной, обмотанный цепью, замкнутой на висячий, приличных размеров, замок.  
Притулившись к приходу, Жорж взирал на молодого настоятеля, как на благодетеля. Пономарничая – прислуживая в алтаре он, разинув рот, ловил каждое того слово. Да вот беда – седая башка у пожилого Жоржа  была с порядочной дырой: что влетало туда, тут же, без толку пошабарошившись, вылетало обратно. Настоятель молодой, горячий: Жорж от его раздраженных окриков и упреков тычется растерянно во все углы, словно слепая курица. И смех, и грех!  
«Уйду! Уйду! Уйду!- отходя от службы, скулит забитой псиной в укромном местечке умаявшийся Жорж, однако же, на следующее утро опять ожидает смиренно настоятеля. Смотрят все на беднягу жалеючи: точь-в точь готовый услужить господину послушливый раб – от усердия и беготни аж подметки сапог, того гляди, задымятся!  
Но не так прост наш Жорж!  
В запертую дверь алтаря снаружи пытается постучаться  диакон: обе руки поклажей заняты.  
- Отопри,Жорж!  
- Не инвалид! В другую дверь обойдешь! – ворчит недовольно Жорж и не трогается с места.  
Что ж, каждый по «капельке выдавливает из себя раба»…

ПРОРУХА

Рафаиловна - старица благочестивая, но и чересчур шустрая. При храме она смотрительницей состоит и в каждую щель свой востренький носик норовит воткнуть. Зайдет с улицы в храм какая-нибудь накрашенная дамочка свечку поставить, не успеет еще с робостью лоб перекрестить и оглядеться, как Рафаиловна коршуном на нее наскочит:  
А че ты в брюках забежала, как басурманка? А че без платка? А че намазюканная, как буратино?  
Пришибленная таким натиском «захожанка» забывает зачем сюда и пришла, дай Бог ноги унести! Зайдет ли когда еще?..  
Рафаиловна и с постоянными прихожанами строга: следит неотступно, чтобы кто-нибудь из них со «своего» места не передвинулся на чужое, чуть что - зашипит недовольно.  
Сколько раз священнослужители делали Рафаиловне за это «усердие не по разуму» внушение: так и прихожан всех можно от храма отвадить, но... опустит смиренно глазки долу Рафаиловна и опять за свое.  
Хотя в экстренных случаях без нее не обойтись...  
Заболели разом оба пономаря, Алексей и Жорж, пришлось настоятелю доверить «пономарку» с кадилом Рафаиловне: все-таки старица благочестивая. И не ошибся настоятель: начищенное кадило яро блестит, в алтаре пылинке сесть некуда.  
Рано ли поздно вернулись, одолев свои болячки, Алексей с Жоржем, Рафаиловну можно бы и отставить от пономарства, да не тут-то было! Старички- алтарники не особо «аккуратисты» наведенная чистота стала при них помаленьку блекнуть. Этого Рафаиловна не могла спокойно пережить. Заглянув в алтарь в щель приоткрытой диаконской двери, возмутилась, сжала негодующе кулачишки и возопила на лодырей «гласом велиим»... Старики, как угорелые, заметались по алтарю,  и прежний порядок был благополучно восстановлен.   
Но и на старуху бывает проруха...  
Как-то раз с улицы забежал в пустынный днем храм бомж. Маленького росточка, особо неприметный, в меру вонючий и грязный - в оставленные прихожанами на паперти шмотки бродяги иногда обряжаются не хуже обычных людей.  Незамеченным он прошмыгнул в алтарь и через пару секунд выбежал обратно, сжимая в одной руке подсвечник, а в другой посеребренный крестильный ящичек.  
Рафаиловна отважно бросилась на вора, но приемами самбо или джиу-джитсу старица не владела, грабитель просто оттолкнул ее в сторону и бывал таков. Как в омут канул, вызванный по тревоге наряд милиции не сумел его изловить.   
Ой, это я, ворона старая, во всем виновата! - сокрушалась Рафаиловна. И решила,   искупая грех, просить у настоятеля благословения уйти в монастырь...    
Кто-то видел ее потом в соседней епархии, принес весточку, что трудилась Рафаиловна на скотном дворе в монастырском хозяйстве.   
Кто-то из наших прихожан вздохнул:  
У нее, небось, там и коровы в «бахилах» ходят...

ПРО ЛАМПОЧКУ И АРХИЕРЕЯ

В кафедральном соборе города поздравляют с юбилеем архиерея. Роскошная куча из букетов цветов, всяких подарков; льются напыщенные льстивые речи.  
Вы, владыка, как лампада многоценная, сияете нам, сирым и убогим!.. - восклицает велеречиво, с придыханиями, соборный протоиерей...  
На другой день старичок архиерей, просматривая свежую городскую газету, вызывает своего секретаря:  
Смотри-ка, отец секретарь, что пишет журналист... - и читает вслух строки из репортажа: «И вы, владыка, как... лампочка многоценная, сияете нам...»  
Архиерей грустно улыбается:  
- Это как понять? Лампочка-то может и перегореть, а то и вывернуть её запросто могут.

ЧЕХОВА ВСПОМНИЛИ

Правили в храме службу.   
Пожилой пономарь Алексей, телом сух и духом крепок, поспешил по какой-то надобности через «горнее место» в алтаре и, вот тебе, попала ему в ноздрю пылинка. Чихнул он громко и от души.  
- О, несчастный! - воскликнул стоящий перед престолом батюшка - службы без году неделя, но сразу метивший в «младостарцы». - Молиться тебе, убогому, надо, поклоны бить и каяться, каяться!  
Старый игумен рядом, видавший виды, вздохнул удрученно:  
- Давайте не будем уподобляться чеховским персонажам!

ЧТО ЛУЧШЕ?

Отец Сергий, старенький священник, на полиелее произнеся в алтаре ектению, выходит в проем Царских Врат на солею и с торжественно-подчеркнутой неторопливостью кланяется настоятелю, помазующему елеем чела прихожанам на середине храма.   
- Отец Сергий, зачем же вы так делаете? Ведь настоятель - не архиерей!  
- Лучше перекланяться, чем не докланяться! - ответствует мудрый священник.

И ВСЕГО-ТО ДЕЛОВ!

В верхнее окно алтаря нашего храма виден флаг, развевающийся над зданием городского суда.  
- Посмотрите! Вон как полотнище повылиняло, истрепалось ветром! Заменили бы хоть! - посетовал однажды настоятель.  
И - как-то смотрим - полотнище флага новехонькое, реет гордо.  
- Вот дело другое! - доволен настоятель.  
В это время к престолу, держа кадило, осторожно приближается наш пономарь Алексей - божий человек, колеблемый после поста даже сквозняком и смиренный душою и сердцем.  
- Каюсь, батюшка, это я... - лепечет он еле слышно. - Благословения у вас забыл испросить. Стекло в верхнем окне перед службой протер. И вот...  
- Да, накадили мы, братие!

СВОЙ СРОК

Отец Аввакумий страдал от одной своей особенности - ляпнет что-нибудь второпях, ни к селу ни к городу, не подумавши толком, а потом испуганно охватывается.  
Однажды вылетели напрочь у него из головы слова заготовленной накануне проповеди о пользе труда. Бывает же такое - рот открыл сказать , а мысль куда-то внезапно ускочила.  
Но батюшка не растерялся:  
- Некоторые несознательные прихожанки спрашивают меня: можно ли в воскресенье стирать белье? Не грех ли это? Отвечаю: Бог труд любит! Стирайте на здоровье, но после обеда! Аминь!.. Что стоите и ждете?   
За праздничным застольем опять казус, снова батюшке хотелось сказать как лучше, а получилось как всегда. С торжественностью разгладил он бороду, вознес бокал с вином и, поблескивая капельками пота на лысине, с чувством пожелал присутствующим:  
- Скорейшего вам Царствия Небесного!  
И не мог понять: почему это у всех дружно, как по команде, вытянулись лица.  
Что ни говори, а всякому - свой срок и подготовиться к этому время нужно и каждому желалось бы подольше.

СУПОСТАТОЧКИ

Пенсионерка, преподаватель педагогического вуза, то ли из солидарности с кем-то, то ли из простого любопытства зашла однажды в храм.  
Поозиралась по сторонам и вдруг видит: напротив иконы стоит давняя однокурсница и крестится.  
В студенческой молодости дамы, без сомнения, соперничали меж собой, а, может, и черная кошка когда-нибудь между ними прошмыгнула.  
Первая, не успев еще толком поздороваться, тут же поспешила уколоть другую:  
- Крестишься, молишься вот... А помнишь, что у тебя в институте была твердая пятерка по научному атеизму?  
- Так я покаялась... - был ответ.

КАК Я СТАЛ ДЕДОМ

Всему свой срок. И мне пришло времечко дедушкой становиться...  
Дочь в роддоме мучится; брожу потерянно по улице. Зашел «на огонек» в старинный особнячок в центре города, где контора местного отделения Союза писателей России квартируется. Братья-писатели посочувствовали, кручину мою по-своему истолковали: достали из ухоронки добрый остатчик - на, успокой нервишки! И ушли в соседнюю комнату какое-то совещание проводить.  
Сижу-посиживаю: «мобильник» в ожидании на столе, возле посудины закинутые салфеткой пустые рюмашки.   
Из коридора в дверь прошмыгнул невеликого ростика, плотный, прилично одетый старикан со старомодным «дипломатом» в руке, стрельнул испытующе в мою сторону колючими глазками и уселся за соседним, донельзя заваленным рукописями, секретарским столом, приняв выжидательно-скучающую позу.  
Немало тут старикашек всяких-разных шастает с толстенными тетрадками мемуаров лишь для того, чтобы  кто-то хотя бы вид сделал, что их творения прочитать собирается.  
Старичок не мешает мне, сижу дальше.  
Трель «мобильника»: зять звонит! Все - ты дед!  
Шумно общаемся с зятем по телефону и не скоро умолкаем.   
Глядь: старичок уже сидит напротив меня и  с нарочито-деланной улыбочкой мне руку через стол тянет:  
- Уважаемый товарищ, поздравляю вас со знаменательным в вашей жизни событием!  
От предложенной рюмки он воротит нос, морщится, но потом, с явно притворным тягостным вздохом ,  опрокидывает залпом ее содержимое в себя : ну, только если ради вас...  
- А вы - тоже писатель?! - занюхав хлебной коркой, деловито вопрошает он меня.   
Получив утвердительный кивок, спрашивает у меня фамилию.   
Вижу: особого впечатления мой ответ на него не производит. Интересуется старичок только: не родственником ли мне приходится такой-то председатель колхоза?  
- Нет. А что?  
Старикан приосанивается, в голосе его даже металл бряцает:   
- Я работал в том районе первым секретарем райкома КПСС !  
Я с места не подпрыгнул, под козырек не взял, подобострастную мину себе на лицо не нацепил. Сижу себе, хлеб жую.  
«Партайгеноссе», видя к себе такое почтение,  немного скуксился и вдруг воткнул мне в грудь палец:  
- А вы где работаете, товарищ?  
- В церкви служу.  
Старичка мой ответ явно огорошил, бедный даже поперхнулся, но со стула прытко вскочил.  
- Бывайте... - процедил он сквозь фальшивые зубы и сам бывал таков! Впрямь черт от ладана рванул - видал, может, кто?  
Вот так, в компании за рюмкой с «партайгеноссе» и стал я дедом. Никогда бы не подумал...

ДЕНЬ АНГЕЛА

Староста Вонифатьич имел обыкновение приглашать в храмовый праздник за трапезу нужных людей. Необязательно спонсоров, то бишь благодетелей, но и тех, через кого можно что-то для прихода «пробить» или достать. Староста был еще тот проныра.  
И в этот раз на Николу заявились три «именитых» именинника. Стоящими на службе их никогда не видывали. За праздничным столом, когда они обсели настоятеля и старосту, прочая братия храма смогла их хорошо разглядеть.   
Тем более Вонифатьич представил всех:  
- Этот раб Божий Николай - председатель фракции коммунистов в городской думе.  
Плотный пожилой здоровячок с поросячьими глазками учтиво кивнул.  
- А этот Николай, - продолжал староста. - Бывший сотрудник КГБ, в свое время уполномоченный по делам религий. А ныне - депутат законодательного собрания.

Вонифатьич в почтительном поклоне согнулся над столом, почти касаясь бородой тарелки, на что краснощекий толстяк протестующе замахал пухлыми руками:   
- Что вы, что вы? Не надо, я человек скромный!  
Третий Николай - глаза спрятаны за непроницаемой завесой дымчатых стекол очков, тонкие губы поджаты в строгую ниточку, оказался замом председателя торгово-промышленной палаты.  
Староста возглашал в честь гостей цветистые тосты, но потом как-то поиссякли у него хвалебные слова, тоже есть им конец и край. Над столом вдруг зависла долгая выжидательная пауза.  
Но нашелся и тут Вонифатьич. Закатил глаза и с чувством выдохнул:  
- А хорошая школа был комсомол! Всех в люди вывел!  
И один глаз хитро приоткрыл.  
- Да, да! - зашумели радостно гости и зазвякали бокалами.  
Молчал только и не потянулся за стаканом старый диакон. В комсомоле он никогда не состоял, с мальчишек ходил на праздники в храм, уворачиваясь от комсомольцев-дружинников с красными повязками на рукавах. За столом сейчас вроде б как те знакомые лица ему померещились.  
О том, что у диакона тоже сегодня - день ангела и не вспомнили. Не в тему...

ТОСТ  
  
Отец Федот — из прапорщиков, низкий, коренастый, даже какой-то квадратный, всегда то ли под хмельком, то ли просто так в узкие щелочки плутоватые глазки свои щурит.  
Из армии его вытурили, не дали дослужить всего пару лет положенного срока. По особой, он бахвалится, причине: тогда еще, в конце восьмидесятых, замполит-дурак на построении сорвал нательный крестик с шеи солдата, а Федот заступился за беднягу. Может, это и было последней каплей в его служебных прегрешениях: проговаривался Федот по пьяной лавочке, что, мол, и тушенку в жестяных банках у него на складе мыши успешно и много кушали, и спирт из опечатанных канистр чудесным образом улетучивался.  
Короче, оказался Федот в доме у стареньких родителей в деревеньке возле стен монастыря. Тихую обитель, бывшую полузаброшенным музеем под открытым небом, стали восстанавливать, потребовались трудники. Федот тут и оказался кстати. Плотничать его еще в детстве тятька научил.  
Потом забрали Федота в алтарь храма прислуживать, кадило подавать.   
— Веруешь? — спросил игумен у перепачканного сажей Федота.  
— Верую! — ответствовал тот.  
— И слава Богу!  
Самоучкой — где подскажут, а где и подопнут — продвигался Федот в попы. В самом начале девяностых востребованной стала эта «профессия», позарез кадры понадобились. А где их сразу «накуешь» средь напичканных советским мусором головушек? У кого-то хоть чуть-чуть просветление в мозгах образовалось, как у Федота, тому и рады…  
В церкви, как в армии, единоначалие, и Федоту к тому не привыкать. Тут он — в своей тарелке.  
Нет-нет да и выскакивало из него прежнее, «прапорщицкое», командирское. Бывало, служит панихиду. А какая старушонка глухая, не расслышит, как прочитали с поданной бумажки родные ей имена — с соседкой ли заболтается или еще что, затеребит настойчиво отца Федота за край фелони: уж не поленился ли , батюшко, моих помянуть?  
— Так! — сгребет за «ошерок» старую глухню Федот. И отработанным «командным» голосом огласит ей на ухо весь список. — Слышала?!  
— Ой, батюшко, чай, не глухая я! — еле отпыхается со страху старушонка.  
Отец Федот развернется к остальным и с угрозливыми нотками в голосе вопросит:  
— Кто еще не слышал?!  
Все попятятся…  
В определенные моменты на литургии все молящиеся в храме должны становиться на колени. Но бывает так, что кроме богомольцев, просто находящихся и случайно сюда забежавших людей куда как больше. Стоят, глазеют, а то и болтают.  
Отец Федот строг, тут вам не музей: выглянет, топорщась бородищей, из алтаря и рявкнет, как на солдат на плацу, для пущей убедительности сжимая кулак:  
— А ну-ка все на колени!  
И бухались дружно. Даже доски деревянного пола вздрагивали.  
На солдафонские повадки отца Федота никто особо не обижался: что взять, испортила хорошего человека армия…  
Как раз в праздник Победы пригласили отца Федота освятить офис одной преуспевающей фирмы. Хозяева и сотрудники охотно подставляли раскормленные холеные хари под кропило батюшке, а потом, сунув ему «на лапу», и за банкетный стол бы, чего доброго, «позабыли» пригласить. Но отец Федот — человек не гордый, сам пристроился.  
Только наскучило ему все скоро: был он, пока кропилом размахивал, главным героем момента, а теперь и в упор никто его не видел — пустое место. Вели «фирмачи» какие-то свои, непонятные ему, разговоры, лениво потягивали из бокалов заморские вина, нюхали черную икорку.   
Ощутил себя отец Федот тут инородным телом. И зацепило его еще: о празднике никто из присутствующих и не вспомнил даже. Решил он тогда встряхнуть всех старым армейским тостом. В большущий фужер из-под мороженого налил мартини, плеснул виски, сухого, пива, водочки…  
Кое-кто с недоумением косился на отца Федота. А он встал из-за стола, под умолкающий шум вознес свою «братину», в почти полной уже тишине опрокинул ее в себя и, зычно крякнув, выдохнул:  
— Смерть Гитлеру! И всем буржуям!

ПОДРОСТОК

Старый заслуженный протоиерей, бородища с проседью - вразлет, был нрава сурового, жесткого: слово молвит – в храме все трепещут. А у его сына Алика пухлые щеки надуты, будто у ангелочка, румяненькие, глаза добрые, бесхитростные. Увалень увальнем.  
Батька не церемонился долго: повзрослевшему сынку предопределил семейную стезю продолжать. Замолвил, где надо, веское свое словечко ,и готово: Алик - поп. Не стал парень отцу перечить – молодец, но только рановато ему было крест иерейский надевать.  
Служил отец Алик в храме исправно - с младых ногтей все впитано. Да вот только приключилась беда или недоразумение вышло: обнаружились у молодого батюшки две, вроде бы взаимоисключающие друг друга страсти - велосипеды и компьютеры. В свободные часы Алик до изнеможения по дорогам за городом гоняет, вечерами за компьютером «зависает».  
Утречком мчится он на службу на своем «велике», влетает в ворота церковной ограды, весело кричит:   
- Смотри, отец диакон, как я без рук могу ездить!  
И выписывает кривули по двору, только крест между раскрылившихся пол курточки на его груди поблескивает. Бабки-богомолки озираются, испуганно сторонятся и торопливо крестятся .  
Юная матушка у Алика - не тихоня, не прочь молодого мужа на увеселения какие-нибудь затащить, хоть на дискотеку.  
Рвал, рвал себя Алик пополам да и однажды не выдержал: пошел в епархиальное управление и прошение « за штат» на стол положил.  
- Не дорос я… Подрасту, вернусь!  
Проявился-таки полученный по наследству отцовский непримиримый характерок!  
Старого протоиерея спрашивали, бывало, потом про сына.  
- Компьютерную фирму открыл, соревнования в Москве выиграл. - чуть заметно смущаясь и будто бы оправдываясь, говорил протоиерей. - Но… вернется ведь еще, даст Бог!

ФАНАТКА

У казначеи осторожно интересуются насчет премиальных накануне праздника Пасхи.  
- Вот посмотрите сами, сколько у нас при храме работников! – с укоризною трясет дородная старушенция листом ведомости на зарплату со списком фамилий перед удрученно повесившими носы просителями. – И всем подай! А прихожане много ли приносят…  
Через полчаса за обедом в трапезной казначея заводит разговор о юбилейном концерте Аллы Пугачевой:  
- Это же моя любимая певица! Жаль, что концерт по телику полностью посмотреть не удалось, в двенадцать ночи надо было молитвы вычитывать. А как там Филя выступал…  
Суровая старушенция умильно закатывает глазки…  
Вот когда надо бы было о премии выспрашивать!

НИ ПУХА НИ ПЕРА

Молодой батюшка собирается на сессию в семинарию.  
Литургия отслужена, проповедь кратка.  
- Простите, дорогие прихожане, спешу на поезд , буду на сессии экзамены сдавать.  
- Ни пуха ни пера вам! – звонко, на весь храм, восклицает какой-то малолетний шкет.  
Батюшка смущен: ну, в самом деле, не посылать же пожелавшего ему успехов пацана туда, куда православному ни в коем случае не надо…  
Но, отдадим должное: два десятка экзаменов и зачетов сдал священник почти на одни пятерки.

 ПРО СТАРЦА ФЁДОРА

Духовное училище открылось в нашем городе в начале «лихих девяностых». Своего помещения у него не было, занятия проходили в классе обычной школы, и за парту для первоклашки не мог взгромоздиться иной верзила студент.   
Студенты - народ разношерстный: кто Богу готов служить, а кто просто любопытствует. Преподаватели - только-только вырвавшиеся из советских цепких лап уполномоченных отделов по делам религий немногочисленные местные батюшки.  
Историю Ветхого Завета вел у нас отец Аввакумий , добродушный лысоватый толстячок средних лет. «База» - учебников нет и в помине, а семинарские конспекты у батюшки, видать, не сохранились или свое время он не особо усердствовал, их составляя.  
Нацепит на нос очочки отец Аввакумий и монотонно читает текст из Ветхого Завета. Или кого из учеников это делать благословит.  
Потом прервет резко:  
- А давайте я вам расскажу про старца Фёдора!  
И вдохновенно повествует о молитвенных подвигах местночтимого святого.  
В конце года батюшка экзамен принимал просто:  
- Кому какую оценку надо поставить?  
Школяры во все времена скромностью не отличались: ясно - «отлично»!  
Вот только отец ректор училища усомнился в таких успехах и устроил переэкзаменовку.  
Вызывал по одному.  
Сидит перед ним студент, ерзает беспокойно, что-то невнятное мямлит, а потом вдруг заявит решительно, точно отрубит:  
- Давайте я вам расскажу про старца Фёдора?!  
И так -  второй и третий...  
Что ж, первый блин комом, а второгодники они и в Африке - второгодники.

НАКАНУНЕ  РЕФЕРЕНДУМА

Наш алтарник Вася, про таких говорят - взрослый паренек, прибрёл на воскресную службу заспанный, вялый, тетеря тетерей. То ли за ночь  не выспался, то ли кто-то ему в том помешал. Только за что ни возьмется Вася, все из рук у него валится. На службе кадило не вовремя батюшке подаст; все в алтаре в требуемый уставом момент делают земной поклон перед Святыми Дарами, а Вася, задумавшись о чем-то своем, стоит столбом, ушами только не хлопая. К концу службы вдобавок и горящие угли из кадила по полу рассыпал.  
- Все , Василий, хватит! - укоряет его настоятель. - Иди-ка и отбей сто земных поклонов посреди храма перед аналоем! Может, проснешься... Через руки-ноги и спину быстрей получится!  
Вася честно и истово бьёт перед аналоем поклоны. Тут как тут сердобольные бабульки-прихожанки,  его окружают, жалеючи вопрошают:  
- Что ж ты так, Васенька?!  
Вася, отбив последний поклон, кряхтя и обливаясь потом, находчиво-бодро ответствует:  
- Я за Крым молюсь! Чтоб там всё хорошо было!  
Патриот.

ПОЧТИ СВЯТОЧНАЯ ИСТОРИЯ

Дядюшка мой Паля был не дурак выпить. Служил он на местной пекарне возчиком воды и, поскольку о водопроводах в нашем крохотном городишке в ту пору и не мечтали даже, исправно ездил на своем Карюхе на реку с огромной деревянной бочкой в дровнях или на телеге, смотря какое время года стояло на дворе. Хлебопечение дело такое, тут без водицы хоть караул кричи.

Под Рождественский праздник в семье нашей запарка приключилась. У мамы суточное дежурство в детском санатории, а у папы какой-то аврал на работе. Как назло. Они ж со мной, годовалым наследником, по очереди тетешкались. Сунулись за подмогой к тете Мане, жене дяди Пали; она, случалось, выручала, да запропастилась опять-таки куда-то, к родне уехала.

Дома лишь дядя Паля, малость «поддавши», сенцом своего Карюху во дворе кормит.

- Какой разговор! - охотно согласился он, когда родители мои пообещали ему по окончании трудов премию в виде чекушки. - Малец спокойный, не намаесси!

На том и расстались…

Соседи потом рассказывали, что, понянчившись некоторое время, дядя Паля забродил обеспокоено по двору, потом запряг в дровни Карюху, вынес сверток с младенцем.

- Это ты куда, Палон?! - окликнул кто-то из соседей.

- Раззадорили вот чекушкой-то… И праздник опять же, - скороговоркой ответил дядя Паля, залезая на передок дровней с младенцем на руках и в надвигающихся сумерках чинно трогаясь в путь.

Родители пришли за мной поздно вечером, и каков, вероятно, был их ужас, когда они увидели, как из дровней соседи за руки и за ноги выгружают бесчувственное, покрытое куржаком инея тело дяди Пали и влекут в дом.

- А где ребенок?

- Что за ребенок?

Карюха дорогу домой знает, дядю Палю сам привез: что человек тебе, только не говорит. А дядя Паля молчит, как партизан на допросе, только мычит невнятно да глаза бессмысленные таращит.

Эх, как все забегали, заметались!..

В это самое время, ближе к полуночи, на пекарне бабы готовили замес. Пошли в кладовку за мукой и вдруг услышали плач ребенка. Те, что постарше, суеверно закрестились: «Свят, свят, свят…», а помоложе, полюбопытнее прислушались и обнаружили младенца в ларе с мукой.

Тетешкали и долго недоумевали: откуда же чудо-то явилось - хорошенькое, розовенькое, пока не вспомнил кто-то про дядю Палю, видали, дескать, его в качестве няньки. А дальше бабье следствие двинулось полным ходом: с мужиками-грузчиками дядя Паля тут, возле кладовки, свой законный выходной и заодно праздник отмечал. Стал раскручиваться клубочек…

Родным находка такая в радость, рождественский подарок! Об истории этой до сих пор в городке вспоминают, узнают все - много ли я в жизни мучаюсь, маюсь, раз в муке нашли. Только об одном хроники умалчивают: как и чем был премирован мой бедный нянька дядя Паля, это осталось семейной тайной.

49. Топоров Адриан «Фарт».

***Адриан ТОПОРОВ***

**ФАРТ**

В пяти-шести верстах на север от города Старый Оскол, что на Белгородчине, разметалось большое село Каплино. В нем до революции была второклассная учительская церковноприходская школа. Эти учебные заведения были детищем обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева, бурсами последних десятилетий российского самодержавия. В них готовились подпорки под прогнивший трон - учителя церковно-приходских школ, школ грамоты, псаломщики и дьяконы. Самые дошлые выпускники вскоре выходили и в священники.

В учительские второклассные школы принимались недоросли из привилегированных сословий, часто - верзилы с усами, по разным причинам изгнанные из реальных, городских и духовных училищ, семинарий и гимназий, да дети сельских торговцев и служащих. Но попадали туда и смышленые ребята из бедных крестьян.

Осенью 1905 года и я очутился в Каплинской бурсе. Воспитанники ее, кроме местных, жили в общежитии. Там же и питались.

Когда я учился во втором классе, в бурсу поступил Петя Золотухин, восемнадцатилетний переросток, сын сидельца винной лавки[[5]](#footnote-5) в селе Лебедях. В спальне моя и его кровати стояли рядом. Мы оба любили пение и музыку, оба играли на скрипке. Любовь к искусству и сдружила нас.

В летние каникулы Петя наезжал ко мне в гости на велосипеде «Дукс»[[6]](#footnote-6), вызывавшем всеобщее изумление моих односельчан. А детвора оравой гналась за Петей, когда он слезал с велосипеда и не спеша, гордо вел его по селу...

Весной 1908 года в моих руках было уже свидетельство на звание учителя школы грамоты. Петя пригласил меня в Лебеди. Отец его, занятый служебными делами, был всегда угрюм и молчалив. Зато мать Пети, стройная, румяная брюнетка, почти неизменно улыбалась, несмотря на свои пятьдесят шесть лет и уйму семейных забот. А голос у нее был такой трогательно ласковый, будто она не говорила слова, а пела их.

Старшей из четырех дочерей, Нине, шел восемнадцатый год. Она недавно окончила прогимназию[[7]](#footnote-7).

Семья Золотухиных была интеллигентной, а я еще никогда не бывал в таких семьях и не знал, как надо себя вести в них.

Увидев Нину, я оторопел. Она была чуть-чуть пониже матери ростом, но, как и та, стройна, румяна и грациозна. Большие темно-голубые и как бы усталые глаза ее с поволокой напомнили мне слышанное в школе выражение Гомера «волоокая богиня». Две косы, сверкавшие, как антрацит, спускались ниже осиной талии и резко оттеняли молочно-белые шею и плечи. Одетая в простенькое розовое платье и облитая солнечными лучами, Нина казалась насквозь светящейся. В детстве я себе такими представлял ангелов.

За обеденным столом Нина исподлобья посматривала на меня, и эти ее взгляды мучительно-сладостными стрелами вонзались в мое сердце. Разговор с молодой красивой женщиной для меня - сущая мука. И потому я, по большей части, молчал и только иногда коротко спрашивал Нину о каком-нибудь пустяке. Она односложно отвечала - и все.

Дядя Пети, старый революционер-народоволец, был скрипачом. Оглохнув на каторге, он подарил племяннику свою скрипку. Как-то под вечер все куда-то отлучились из дому. Я взял скрипку и, став у открытого окна перед палисадником, заиграл «Элегию» Эрнста[[8]](#footnote-8). Мне рассказывали, что она была сымпровизирована автором на могиле его невесты.

Я играл - и вдруг букетик из бархаток, петуний, иммортелей и еще каких-то цветов упал на струны скрипки. Я кинулся к окну и увидел только, как за углом дома мелькнул подол розового платья.

Вскоре судьба разлучила нас с Петей. И навсегда. Я уехал учительствовать в Сибирь, а он погиб на первой русско-германской войне. Но где бы потом я ни был, образ Нины неотступно преследовал меня...

Через 36 лет я вернулся в родное село Стойло[[9]](#footnote-9). В стойленских лесах и логах исстари росло много дикого терна. Его нещадно ломали, вырубали, корчевали, жгли, а он, как назло людям, разрастался все шире и гуще. Только что сорванные с колючих веток ягоды терна нестерпимо кислы, но люди понемногу заготавливали его в зиму на кулагу[[10]](#footnote-10). Хваченный морозом, он становился сладким с кислинкой и удивительно вкусным. Недаром бабы и девки даже из отдаленных сел приходили в стойленские лога и леса и уносили отсюда полные сумки терна.

Однажды соседка моей квартирной хозяйки, разбитная старуха Фекла Семеновна, пригласила меня:

- Айда, Андриян, со мной в большой лог за терном! Там он хрушкой да сизый!.. Толькя ты обуйся в тюни да портки надерни дерюжные, а то весь в колючках обремкаешься.

Я обмундировался по инструкции Феклы Семеновны, и мы пошли. Был конец сентября, а дни стояли еще теплые, золотые. Во всей природе было разлито настроение покоя и удовлетворения.

Осторожно раздвигая кусты терновника, мы с Феклой разошлись в разные стороны. Чтобы не потеряться, то и дело аукались:

- Ау-у! Фек-ла Се-ме-нов-на-а-а! Где ты-ы-ы?!

- Тута я-а-а-а!

Часа через два, когда сумка моя уже была набита терном, Фекла Семеновна закричала:

- Ан-дри-я-а-а-н, ва-ляй сю-ды-ы-ы! Ско-ре-и-ча-а-а!!

Я пошел на голос. Фекла Семеновна сидела на полянке, а рядом - другая старуха.

- Глянь-ка на кого я напала в кустах! Не узнаешь?

- Нет.

- Голова, два уха! Да это ж Варя... Мещерякова Варя! Помнишь Яшку да Захарку, что с тобою ходили в Бродчанскую школу?.. Ужли забыл?!

- Их помню, а ее нет.

- Да это ж их родная сестра, Варя!

Силясь вспомнить Варю Мещерякову, я пристально смотрел на сухопарую, седую старуху с землистым, морщинистым лицом. Ее руки были до крови исцарапаны терновыми шипами. Из-под изорванной блекло-синей юбки высовывались костлявые ноги с шелушащейся кожей.

Старуха пытливо всматривалась в меня мягко смеющимися глазами.

- Ну, Андриян, и я тебя не признала бы, кабы Фекла не сказала, что это - ты! Мы с нею не царевны-королевны, да и ты не князь! Ишь, как жизнь-то нас всех измотала!..

Нахлынули волны воспоминаний... Аллах мой! Передо мной сидела Варя Мещерякова, та самая Варя, которая слыла в Стойле «слободской», умывалась с духовитым мылом, долго не шла замуж за деревенских ребят - все ждала городского жениха. Она была чванлива и не водилась с «простыми» девками-одногодками. Зимой ходила в «благородном саке»[[11]](#footnote-11), руки держала в муфте[[12]](#footnote-12), а в церкви стояла рядом с попадьей и ее дочкой, епархиалкой[[13]](#footnote-13).

- Что же с тобою было, Варя? - спросил я.

И она долго рассказывала свою тяжелую историю и заключила ее словами:

- Так-то вот и вышло хомут да дышло... Чепурилась я, чепурилась и закисла в девках. Стали мною люди гребовать. И выскочила напоследок замуж за тюху-матюху, за вдовца. Он пропил весь наш общий живот. А посля тово захворал, да и окапутился. Я осталась мыкаться с его горбатой сестрой... Детей не было. Так и век векую...

- А где ж теперь живешь?

- Да все там же, в Лебедях.

- А не знала ли ты в этом селе семью Золотухиных?

- Винопольщикову-то?! Да как же не знать?! Через двор от них мы жили. Я ж помню, как ихний Петя ездил к тебе на лисапете.

- А сестру его, Нину, помнишь?

- Господи, да как же не помнить?! Я к ним ухожа была, как свойская... А Нина та - та была красавицей на весь Лебединский приход!

- Знаю... Где же она теперь?

- У-у-у, стрянулся! Давно уж она на том свете!..

Я умолк. Точно понимая мое состояние, Варя тяжело вздохнула и, обвивая вокруг пальца травинку, продолжала:

- И у ней тоже не было фарту в жизни. Вышла она замуж за барина Сверчевского. Он служил в Петербурге, при царе каким-то прихлебателем. А видный был из себя, картиночка! И Нина дюже любила его. Раз приехали они на лето к барину в гости попрохлаждаться на деревенских воздухах. Ну, на радостях старый барин назвал гостей со всей округи, музыку из города достал.

Бесились тут господа ден пять. Вечерами в саду огни разные запущали вверх, катались по пруду на лодках и всякое вытворяли. А то еще задумали охотиться в лесу на волков. Оборужились и поехали. И уж как это там приспелось, только один барин бацнул из ружья и уложил Нининого мужа наготово. Тот и не копыхнулся! Вернулись охотники домой. Нина выбежала на двор встречать своего дружечку, а он лежит на линейке[[14]](#footnote-14) пластом.

Грохнулась Нина на него - и давай на себе волосы полосовать! А когда хоронили, она рванулась сигать за ним в могилу. Насилу оттащили. А после того дела у ней начались в голове памороки. Ну, матери и отцу жалко же свои кровя, взяли они Нину к себе, в Лебеди. А их дом, ты же помнишь, был прямо-прямо против церкви, через зеленый выгонок. На святой неделе у нас по старинке целый день на колокольне ребятишки трезвонили, а протчие люди коло церкви гуляли, на каруселях кружились, песни играли. Все разряженные! Сам знаешь: праздник! И тут-то и приключилась беда. Отец Нинин уехал по делам в город, а мать умаялась по дому, легла отдохнуть и уснула. А в ту пору на Нину, видно, и нашло. В длинной белой рубахе, простоволосая, выскочила она из дому и бегом к церкви. Мигом взнялась на самый верхний ярус колокольни. Ребятишки испужались ее отуманелых глаз - и все ссыпались оттуль по лестнице. Нина встала в окно колокольни и чебурахнулась вниз на кирпичный настил. Подбежал народ к ней, но она уже не дышала.

- А где же похоронили Нину?

- На кладбище, тут же, за оградой церкви...

Фекла Семеновна тронула ладонью плечо Вари и заговорила:

- Эх, Варюха, Варюха! Ты помянула, что ни у тебя, ни у Нины не было фарту в жизни. А мне так кажется, что его ни у кого не было, нету и до веку не будет! Вот те крест! И я не видела фарту! Шишнадцать детей родила, пятнадцать померли от разной хвори, остался живой один, да и тот калека. Ушиб на работе ногу, она и гниет от чахотки. А мужика моего задавила двойная кила[[15]](#footnote-15) - и пупочная и паховая. Ты, Варюха, кинь глазами по всяким людям - и увидишь, может, кому-то и на кой-то годок выпадет радость, а дале все горе и горе. Сколь коло нашего Стойла бар жировало! А ливарюция их - шарк! - и сковырнула минтом к лихоманке. И попов, и купцов, и енералов, и самого царя! Враз ихнему фарту пришла крышка...

Рассказ Вари не выходил у меня из головы.

Прошло еще восемнадцать лет. Снова мне довелось увидеть родные места. в памяти живо воскресли образы далекого прошлого. Меня неодолимо потянуло в Лебеди. И в один теплый майский день, взяв палку, я пешком отправился туда. Но от былых Лебедей теперь почти ничего не осталось. На их месте гремел и гудел отуманенный пылью грандиозный Лебединский рудник Курской магнитной аномалии. Не видно было и следа дома Золотухиных. а от церкви уцелели лишь стены, от которых большими шматками отвалилась штукатурка. От этого руины казались пегими.

Сняв кепку, я долго в трепетном молчании стоял возле колокольни, угадывая место, где лежала разбившаяся Нина. Потом побрел на кладбище, как будто осевшие могильные холмики да покосившиеся деревянные кресты без надписей могли сказать, где тлели кости моей первой, никому не высказанной любви...

1962 г.

*Публикация и примечания - Игорь Топоров.*

1. Феденко Александр «Частная жизнь мертвых людей».

***Александр Феденко***

**Цикл коротких рассказов «Частная жизнь мертвых людей»**

**Недостоин**

– Любви вашей, Клавдия Агаповна, я вовсе недостоин. Вижу это со всей отчетливостью.

– Иван Ильич, вы, конечно, мне нисколько не симпатичны, а когда поворачиваетесь боком – даже противны, но, душа моя, вам нельзя глядеть на себя в таком жалком свете.

– Отсутствие ваших чувств, Клавдия Агаповна, повергает меня в пучину безысходности. И справедливо – ибо что я? Вошь, летящая на свет.

– Но, Иван Ильич, вши не летают. Они ползают, и препротивно.

– Вы очаровательны, как ангел, и столь же умны, и осведомлены обо всем. Как точно, Клавдия Агаповна, вы указали мое место – я вошь, ползущая на свет.

– Прекратите, не желаю слушать про вшей. Что вы там начинали говорить о любви?

– Недостоин.

– Этого мало. Продолжайте.

– Решительно недостоин любви вашей, Клавдия Агаповна. Вижу это со всей отчетливостью.

– Иван Ильич, вы так говорите, словно в самом деле меня любите, а сами никогда в чувствах и не изъяснялись. Уж не хотите ли вы этими вашими насекомыми объясниться мне в чем-то исключительном?

– Что-то в этом роде, только совсем другое. Но я не пророню более ни слова.

– Вот как? Зачем же вы затеяли этот разговор?

– Хотел снисходительно просить, то есть нет, не так… хотел просить о снисхождении предложить вам свою руку и прилагающееся к ней сердце. Но вижу со всей отчетливостью…

– Иван Ильич! Зачем же вам моя рука, то есть нет, зачем мне ваша рука, не знаю уже как правильно, вы меня спутали, что толку от рук и ног, когда вы не желаете изъясняться в любви?

– Я не «не желаю»?! Но я вижу со всей отчетливостью…

– Прекратите! Прекратите видеть эту вашу отчетливость. Изъясняйтесь в любви, я разрешаю.

– Клавдия Агаповна, если бы вошь могла летать…

– Иван Ильич, нет ли у вас более возвышенных метафор? От ваших сравнений и в самом деле вши заведутся.

– Более возвышенных – недостоин.

– Душа моя, всмотритесь же в себя получше. Вы не так отвратительны, как это видится всякому при взгляде на вас.

– Вы находите?

– Нахожу, душа моя, нахожу. Взять хотя бы ваш лоб – не сократовский, прямо скажем, лоб, но и в нем есть свои интригующие изгибы.

– Это я ударился фонарным столбом. Как раз об лоб. Изрядно так ударился, с помутнениями.

– Сознание не теряли?

– Господь миловал, Клавдия Агаповна.

– Вот видите – у вас крепкая голова, это редкое достоинство в наше время. И чем не повод для женских чувств? А профиль – душа моя, покажите профиль.

– Но вы же сами давеча соблаговолили выговаривать, что сбоку – противно.

– Ничего такого я не выговаривала. Наоборот – соблаговолила заметить, что очень раритетный профиль. Нечто древнее в нем провисает. Антикварное. Пожалуй, даже археологическое, если приглядеться. Не пойму только что, но провисает.

– Не могу знать, Клавдия Агаповна, не имею гибкости увидеть свое лицо сбоку.

– Кто умножает познания – умножает скорбь, Иван Ильич. Вы счастливый человек, и не хотите делиться своим счастьем с другими.

– Это вы премудро заметили. Мне до вашей мудрости не взобраться, хоть бы и табуретку подставляй. Все равно, как вше не возвыситься до летящей мухи.

– Опять вы за свое?! Я требую, чтобы вы возвысились. Я настаиваю.

– Клавдия Агаповна, нет в нашем мире большего удовольствия, чем махать крылышками рядом с вашими возвышенностями, но недостоин я даже ползать по ним.

– Я не требую – я прошу вас, Иван Ильич, возвысьтесь и махайте, или машите – запамятовала, как правильно.

– Нет силы, способной поднять меня с колен, когда вижу все ваши достоинства со всей отчетливостью.

– Вот – вы уже и начали изъясняться, а делали вид, что не умеете. Продолжайте.

– Рожденный ползать – ползет.

– Несносный вы человек. Душа моя, вообразите себя хотя бы молью, я видела – моль вполне может летать.

– От близости вашей, Клавдия Агаповна, сгорают мои тщедушные крылья.

– Да что ж вы немощный такой? Черт с вами! Я сама спущусь до вас. Подайте мне руку.

– Не смею ослушаться.

– Так-то лучше. Держите?

– Держусь.

– А теперь – ведите!

– Куда, Клавдия Агаповна?

– К алтарю, душа моя, к алтарю. Дорогу я вам покажу. Вы ведь, Иван Ильич, орел-мужчина – я вижу это со всей отчетливостью.

– Лечу, душа моя, лечу!

**Взросление**

Девочка Маша нашла на улице палку, принесла домой и разрисовала. Налепила на нее обертки от конфет. Повязала бантик.

– Волшебная палочка, – говорит.

И пошла загадывать желания.

Папа девочки – Пал Палыч Кузиков – потоптался перед дверью детской, несмело сунулся:

– Дашь загадать?

– Говори, что хочешь, я тебе загадаю.

– Желание – штука личная. Говорить вслух нельзя. Просто скажи палочке: «Пусть папино желание исполнится».

– Нет. Так ничего не выйдет. Палочка должна знать, что ей колдовать.

Кузиков ушел. А когда девочка уснула, втихаря пробрался, взял палочку и загадал. Всего одно. Но заветное.

Утром девочка прибежала к отцу.

– Ты брал мою палочку?

Кузиков солгал.

– Тогда почему палочка перестала работать? Она не могла сломаться сама!

– А разве вчера она работала? – Кузиков сделал глуповатое лицо.

– Да, – глядя на отца сквозь слезы, прошептала девочка.

Он объяснил, что волшебства не существует и что сейчас очень подходящий случай начинать взрослеть.

Маша ничего не ответила и ушла взрослеть.

Пал Палыч хотел покурить, огорчившись неприятным разговором с дочерью, сунул руки в брюки, но папирос из карманов не достал, а достал две полные горсти медной мелочи. Монетки посыпались на пол, и лицо Кузикова стало еще более глуповатым.

Тут он вспомнил, что накануне попросил у палочки денег, и побольше, но не уточнил каких. Вышло нелепо и жутко обидно. Пал Палыч даже заподозрил издевательское ехидство, а то и подлую насмешку над собой. Хотел выругаться, но сдержался.

– Где палочка? – Кузиков звенел медью и оставлял на полу обильный копеечный след. – Она работает!

Девочка снисходительно скривилась, услышав такую несуразицу.

– Я ее выбросила.

Кузиков выбежал.

Маша сидела на подоконнике, поджав ноги, и курила папироску, глядя скучающими глазами в окно – на мечущегося по двору отца. Пал Палыч Кузиков хватал с земли палки, ветки, прутья, брошенные палочки от мороженного, даже щепки и горелые спички – говорил с ними, требовал, упрашивал, угрожал и умолял.

Пепел с папироски упал на ковер с игрушками и рассыпался.

**Баклушкин и некрасивый гражданин**

Некрасивый гражданин наступил Аркадию Баклушкину на ногу и отошел.

Баклушкин сделал вид, что не заметил некрасивого.

Некрасивый, оскорбившись невниманием, вернулся, наступил на другую ногу Баклушкина и толкнул его.

Аркадий пошатнулся и извинился.

Некрасивый гражданин почувствовал себя непонятым, назвал Баклушкина свиньей и плюнул ему под ноги.

Баклушкин поблагодарил и улыбнулся в ответ.

Некрасивый гражданин не потерпел высокомерных насмешек и ударил Баклушкина кулаком в область лица, но поскользнулся в том месте, где было наплевано, и до лица Баклушкина не дотянулся, зато дотянулся до места на полу, где наплевано, правда не кулаком, а своим – нисколько не казенным – лицом и крепко повредился и без того надтреснутым здоровьем.

Баклушкин сочувственно поцокал языком и подал павшему руку.

Некрасивый гражданин истощил веру в себя и умер.

**Пирожок**

Веня Пудиков купил пирожок с капустой и подавился.

– Сдачу не забудьте, – сказала продавщица, наблюдая, как он стремительно синеет. – Следующий.

– Какой-то эффект у ваших пирожков неположительный, – засомневался следующий. – Гражданин передо мной откусил и сразу посинел. Дефективный эффект.

– Это гражданин дефективный – подавился, вместо того чтобы кушать, оттого и синий. А пирожки вовсе не дефективные. Вкусные пирожки. Пирожки! Пирожки! Горячие пирожки! С мясом! С капустой!

Подошли любопытствующие, привлеченные судорогами Пудикова.

– Позвольте поинтересоваться, зачем гражданин на земле средь бела дня лежит? С какой целью?

– А он без всякой цели лежит. Пьяный он. Видите, как отчетливо посинел от бремени ежедневного алкоголизма. Водки попил, а закусить толком не успел. Пирожок надкушенный в руке держит.

– Если пьяный, то надо милицию звать. Они лучше знают, куда таких складывать.

– Не надо милицию, не пьяный он вовсе. Человек просто подавился, а вы на него наговариваете.

– Позвольте поинтересоваться, какой начинкой подавился гражданин?

– Капустной.

– Разве капустной можно так подавиться?

– Гляньте на его морду – такой кочан капустой не нарастишь.

– Это уж точно – мясными отъелся.

– Не в коня корм, – философски заметил прохожий в шляпе.

– Гражданин, позвольте поинтересоваться, вы каким пирожком так подавились?

– Зачем вы спрашиваете, когда он ответить не может?

– Почему не может?

– Не прожевал. Некультурно спрашивать, если кто не прожевал.

– Пусть знак подаст.

– Он и подает.

– Это не знак, просто гражданином агония овладела, вот и дергается без всякого смысла.

– Откуда вы знаете?

– Давеча одна вполне себе ничего дамочка компотом в столовой захлебнулась – так же дергалась.

– Позвольте поинтересоваться, компот из сухофруктов был или ягодный?

– Из моркови.

– Что ж это за компот такой – из моркови? Таким весьма неудивительно захлебнуться.

– Да уж, таким захлебнуться – раз плюнуть.

– Врет он все – не бывает морковного компота. Выдумал тоже – из моркови.

– А дамочка перед компотом пирожки не ела?

– Не знаю, не было мне интереса наблюдать за ней до того, как она захлебнулась.

– Может, она и не захлебнулась, а подавилась – пирожком, например.

– Да уж, пирожком подавиться – раз плюнуть.

– Что-то он притих.

– Вымотался.

– Этак он вовсе изойдет из жизни и издохнет.

– Издохнет.

– Да уж, нынче издохнуть – раз плюнуть.

Любопытствующие утомились глядеть на затихшего Пудикова и пошли дальше, жуя пирожки. А прохожий в шляпе даже философски наступил на Веню, отчего застрявший в горле кусок вышибся наружу.

Веня порозовел, отряхнулся и, забрав сдачу, пошел доедать пирожок и доживать вернувшуюся жизнь.

**Новая жизнь**

В понедельник, в час тридцать дня, Люба Кочерыжкина почувствовала себя дурой – подруги обсуждали последние достижения женской передовой мысли, а Любе нечего было сказать. Из разговора Люба поняла главное – женская передовая мысль шагнула далеко вперед, а Люба – не шагнула.

Положение рисовалось катастрофическое – со всех сторон выходило, что Люба Кочерыжкина, исключительно по глупости считавшая себя человеком счастливым, живет зря, да и вовсе не живет, а лишь волочит на себе цепи и вериги давно упраздненного мужского деспотизма и собственной некультурности.

Громыхая цепями, Люба поплелась домой – в узилище никчемной жизни своей.

По пути к узилищу она остановилась у киоска и купила женский глянцевый журнал – Люба была не такой человек, чтобы капитулировать, пусть и при всей очевидности уже состоявшегося поражения. Она решила бороться за свое счастье, чего бы это ни стоило и каких бы жертв ни потребовало.

Налепив котлет, Люба взяла в руки глянцевитое скопище недоступной ей ранее тайной мудрости и испытала восторг от близости своего интеллектуального прозрения. Затаив дыхание, она открыла первую страницу и ступила в мир, суливший ей новое, недоступное доселе счастье.

Мир распахнулся удивительными видениями белозубых ртов, крепких ягодиц, шипением шампанского, разбиваемого о борт океанской яхты, возбуждающим запахом типографской краски и ласкающим прикосновением гладкой бумаги к кончикам пальцев. Люба Кочерыжкина пошла по этому миру, как разведчик по вражеской территории, уворачиваясь от коварно поджидавших ее, полных жизни ягодиц и белозубых ртов, раскрывающих объятия при виде ее. Каждый поворот таил опасность, но и обнаруживал неожиданные, неизменно радужные перспективы.

Перспективы уже к десятой странице обернулись грудой исторгнутых из шифоньера и приговоренных к вечному забвению блузочек, юбочек и платьишек.

– Мне совершенно нечего надеть! – подытожила Люба, намертво завязывая тюк со списанной одеждой.

Еще через пять страниц был вынесен и приведен в исполнение другой приговор – в мусорное ведро отправились котлеты, где в сомнительном окружении предались несбыточным мечтаниям.

Но главное прозрение ждало Любу на двадцать седьмой странице, и, прозрев, Люба Кочерыжкина поняла, что стоит всеми ногами в пропасти.

Двадцать седьмая, трагическая, страница объясняла, что счастливый брак рано или поздно рухнет, если не обсуждать проблемы, неминуемо возникающие в жизни узкоэгоистических супругов. Иван Кочерыжкин, многолетний муж Любы, и Люба за все годы своего священнодейственного союза не обсудили друг с другом ничего достойного того, чтобы называться семейной проблемой, и тем самым не остановили – теперь это делалось очевидным – тихо надвигавшееся несчастье. По крайней мере сейчас, истерически теребя свою память, вспомнить что-то обнадеживающее не получалось.

Иван Кочерыжкин явился после работы домой и сразу прошел за стол – он всегда, являясь в дом, даже в посторонний, усаживался за обеденный стол. Не обнаружив там любимых котлет, он удивился, но не придал этому исчезновению глубокого содержания. Меж тем содержание было – оно явилось в образе паровых биточков из шпината и в виде многозначительно подпудренного лица Любы, нависшего над биточками, как гарнир к блюду.

Оглядев портрет-натюрморт с видом столичного жителя, заскочившего в музей погреться, – говоря проще, проявив равнодушие к замыслу автора, к неподражаемой игре красок пропаренного шпината и к выверенным мазкам теней под глазами, – Иван Кочерыжкин достал полдюжины сосисок, сварил их и начал есть, чем поверг Любу Кочерыжкину в окончательное трагическое состояние. Губы ее задрожали, руки сплелись в болезненный узор, напоминавший своими переплетениями удава, попавшего под колесо брички и замысловато намотавшегося на спицы.

– Дорогой, – супруга накинула на удава еще один двойной рыбацкий узел, – тебе не кажется, что стена непонимания, вознесшаяся между нами… – Иван, не переставая жевать, оглядел стены в старых обоях под мрамор, – …эта стена может рухнуть и придавить нас?

Лицо Ивана Кочерыжкина прекратило уничтожать сосиску, напряглось и обратило непонимающий взор на Любу.

– Мы должны обсуждать наши проблемы, а не заедать их, – развила Люба мысль отрепетированным козырем. – Признайся, у тебя есть проблемы?

По лицу супруга пробежала тень невысказанного переживания.

– Ты должен открыться, пока не поздно!

Кочерыжкин открылся:

– Котлет охота.

И откусил сразу половину сосиски.

Люба поняла, что супруг не хочет помогать ей в спасении брака. Испытав приступ отчаяния, она подумала даже броситься под поезд, но ближайшая электричка шла лишь утром. Лежать всю ночь на путях – глупо, рассудила Люба и отложила решение железнодорожного вопроса до воскресенья: в воскресенье проходил вечерний скорый на Ростов.

Неделя ушла на поиск проблем, коварно скрывавшихся и прятавшихся в трещинах их матримониальной жизни и все явственнее раскалывающих ее изнутри. Но проблемы не обнаруживались, хотя на их наличие явно указывал рост этих самых трещин. Зато каждый вечер обнаруживался муж и хоронил в сосисках потерянное семейное счастье.

В субботу Люба Кочерыжкина махнула на свой бесповоротно рухнувший брак рукой и на прощанье нажарила котлет.

В воскресенье с утра Иван Кочерыжкин содрал со стены обои под мрамор, оголив унылую серую штукатурку, и вместо них поклеил новые – с васильками.

А через месяц Люба и Иван Кочерыжкины, пышущие свежим счастьем, сели на пароход и отправились в путешествие по Волге. Перед отплытием Иван зашел в газетный киоск на пристани и купил выдержанный в многообещающих тонах журнал для мужчин. Он почувствовал, что обновленная жизнь требует от него новых соответствий.

**Дом во втором переулке**

В доме семнадцать во втором переулке Ленина случилось форменное сумасшествие. В пятницу вечером Глеб Макарыч из шестой квартиры, не выдержав попреков жены, взялся искать молоток, чтобы вбить в стену шуруп, на который вот уже без малого тридцать лет обещал повесить картину «Не ждали» популярного русского художника, подаренную на свадьбу. Но обнаружил топор и пошел по соседям – возрождать красный террор, рубить старорежимный элемент. Ждавшие сигнала к новой жизни массы отозвались насыщенным солодово-этиловым выдохом гражданской поддержки и решительно поплелись следом, покачиваясь в разнобой. Впрочем, нашлись и воздержавшиеся, хворые духом. Были и такие, кто с завистью глядел вслед нашедшим силы для поднятия с колен, не обнаруживая оных в себе.

Авангард пассионариев предпринял разведку боем и с минимальными потерями взял квартиру Хрекова, который перед тем, не разобрав носившихся в воздухе революционных настроений и приняв их за обыкновенный перегар, недальновидно уехал на дачу.

Раненных сложили на балконе – доверив дело их исцеления времени и природе.

Казематы устроили в уборной, но рассудив, что место это стратегическое, решили пленных не брать вовсе, а расстреливать сразу.

– Расстреливать всякий дурак сможет, – ворчал Степан Говоруха. – Нет в том ни художественной эстетики, ни технического прогресса.

Пока пассионарии с целью организации революционной канцелярии для хранения секретных донесений и персональных досье вычищали шкафы и комоды Хрекова, примеряя на себя его исподнее, Говоруха вытащил с антресолей подшивку журнала «Техника – Молодежи» за тридцать шестой год и из дверцы от холодильника, отломанного пассионариями туалетного сиденья и книжной этажерки принялся мастерить гильотину. Иного предназначения у всех трех предметов в условиях революционного времени не осталось.

Электрик Гермидонт, высокомерно хмыкнув, обозвал изыскания Говорухи «пережитками средневековья» и, достав из буржуйской утвари Хрекова елочную гирлянду, взялся за сооружение электрического стула из кресла-качалки. Гирлянда обладала недостаточным мортальным эффектом, поэтому Гермидонт выдрал недостающий кусок кабеля из домовой проводки, чем полностью обесточил освещение парадной.

Иван Дырочкин и Варфоломей Меняй-Копыто – известные белогвардейские недобитки и клевреты монархии, ловко используя тактические и стратегические просчеты красных пассионариев, захватили квартиру самого Глеба Макарыча вместе с его супругой – Варварой Тихоновной. Они опоили ее трофейным советским шампанским ростовского комбината шампанских вин и склонили к неприличному времяпрепровождению, нередкому в среде духовно разложившегося офицерства. Шампанское и шпроты к нему были захвачены в битве за магазин «Водка и Хлеб», что располагался в первом этаже злополучного дома, ставшего центром исторического разлома. Демонстрируя превосходство белой идеи над красной, они вбили в стену целых два шурупа, чем окончательно покорили жену красноармейца.

Следующий день привел к кровопролитным столкновениям – хрековские запасы алкоголя, равно как и трофеи, добытые в «Водке и Хлебе», быстро заканчивались, и страждущие бойцы предприняли смелые боевые вылазки на территорию, контролируемую противником. Пустая тара с восторгом, переходившим в самозабвение, билась о головы обеих воюющих сторон. Раненые прибывали стремительно, отчего балконный лазарет красных пассионариев переполнился, и свежеприбывающие аккуратно скатывались наружу, голося в затяжном полете моряцкие песни.

Дворник Галактион складывал их в опрятные кучи.

На третий день восстания жертвой межклассовых противоречий стал сам Глеб Макарыч – в нем неожиданно опознали английского шпиона, но в ходе уточняющих допросов обнаружился германский след, ведущий в логово Третьего рейха. Всплыли личные связи с Герингом и любовные письма от Лени Рифеншталь. Глеба Макарыча повесили во дворе на детских качелях, и вялый ветер нехотя скрипел его телом.

Варвара Тихоновна, не прерывая неприличного времяпрепровождения с Иваном Дырочкиным и Варфоломеем Меняй-Копыто, объявила траур и заставила их надеть черные носки.

С казни Глеба Макарыча началась новая кампания – и в рядах белых недобитков, и среди красных пассионариев многие были заподозрены как тайные последователи германского нацизма и соучастники преступлений против человечества. К счастью оказалось, что фашистов нетрудно вычислять с помощью штангенциркуля и формулы, придуманной сметливым Степаном Говорухой.

Архивы личных дел и секретных донесений пухли на глазах. Запасы бельевых веревок стремительно таяли. Двор был увешен покачивающимися телами попавших под многочисленные трибуналы. Ветер осторожно пробирался меж них, но каждый раз кого-то неловко тревожил, метался в сторону, налетал на другого повешенного, в панике уносился прочь, и весь двор приходил в дикое скрипучее оживление.

На пятый день продуктовые запасы всех воюющих сторон иссякли, и оставшиеся в живых пассионарии всех цветов объявили сбор добровольной помощи от населения. Опасливо оглядываясь, они обходили опустевший дом с топорами наперевес, принюхивались – не донесется ли откуда сладкий запах картофельной шелухи, прислушивались – не раздастся ли хруст окаменевшей хлебной корки. Но все было съедено, поэтому редких обывателей заставляли целовать один из портретов, с которыми ходили все пассионарии в поисках добровольной помощи. Обыватели целовали, сплевывали и затаивались в ожидании следующей неминуемой делегации.

Степан Говоруха выдумал мастерить капканы и полностью захватил черный рынок мышиного и крысиного мяса. Он рассчитывал сделать сверхъестественные барыши на котах, выдавая их тушки за крольчатину, но коты в капканы не попадались. Сквернее того – они съедали попавшихся грызунов, тонко распознав все преимущества воцарившегося в доме произвола, и, беспринципно игнорируя в своем передвижении сложившееся разделение территорий, предавались вездесущему коллаборационизму, понимая его по-своему.

Не меньшую отзывчивость к вызовам времени, чем Говоруха и коты, демонстрировал Гермидонт. Он выдрал еще два куска кабеля, чем решительно обесточил весь второй подъезд, занятый французскими недобитками со времен Отечественной войны восемьсот двенадцатого года, и соорудил хитроумные электрические силки. Воробьи, голуби, галки и вороны, лишенные учения о законе Ома, шлепались на землю, пораженные новым знанием.

Спрос на дичь оказался выше, чем на крысятину, и Говоруха строчил доносы о вреде электричества для пищеварения, о невероятных диетических свойствах крысиного мяса и его богатстве витаминами, наконец, о духовном превосходстве крыс над голубями и о передаче этой духовности кулинарным путем.

Неизвестно, чем бы закончилось противостояние двух технических гениев, если бы не «Декрет о пропитании в условиях военного времени», утвердивший законность каннибализма и позволивший соперникам пересмотреть взгляды на свое и чужое человеческое предназначение, увидеть ближнего в новом свете или, как говорили некоторые, под иным соусом.

Воспользовавшись внутренними противоречиями в штабе белых, Варвара Тихоновна женской хитростью подговорила Варфоломея Меняй-Копыто умертвить в пищеварительных целях толстощекого Ивана Дырочкина. Обгладывая мосол, Варвара Тихоновна запечалилась и ткнула этим мослом в голову Меняй-Копыто, который в тот момент налегал на ребрышки. Да так убедительно ткнула, что унтер-офицер перестал есть и помер. Трехкратная вдова тут же устроила поминки по всем своим мужьям, сполна отдавшись беспросветной бабьей тоске.

Через неделю смуты количество противоборствующих партий превысило численность оставшегося в живых населения, и, временно наступив на горло идеологической чистоте, дом провел единую линию фронта по седьмому этажу – нижние объединились против верхних.

Осада длилась три дня и три ночи. Нижние, просчитав стратегическое превосходство выбранной позиции, принялись выкуривать верхних. Они запалили мебель в опустевших квартирах, лишив противника возможности дышать чистым воздухом, столь необходимым для торжества всякого разумного мышления.

Верхние ответили перебитыми трубами горячего водопровода. Потоки кипятка хлынули вниз, гася огонь и застилая надежды нижних на скорую победу пышными клубами пара. Дом стал походить на большую общественную баню, мыться и париться в которой затруднительно из-за льющегося с потолка кипятка.

Нижние перекрыли горячий водопровод и, наперед просчитав план верхних, заодно и холодный, и боевые действия увязли в плавающих горелых обломках прежнего уклада.

Патовая позиция подталкивала обе стороны к заключению мира. Назначили переговоры на площадке седьмого этажа у мусоропровода.

От верхних вышел Гермидонт, нижние делегировали Степана Говоруху.

Но в расчетах и тех, и других, вероятно, скрывался некий изъян, потому что почва, подъеденная водой, разошлась, и потревоженное огнем здание рухнуло в разверзнувшуюся прорву…

Хреков, которого на даче искусали комары, не выдержал испытания природой и вернулся в город.

– Позвольте, но где же?.. А как же?.. Да что же это такое?

Он ходил туда-сюда и изумлялся, не обнаруживая на месте дома семнадцать во втором переулке Ленина не только самого дома, но и каких-либо следов его былого величественного пребывания. Ровное поле с пробивавшейся травкой предстало его взору. Только одинокая кресло-качалка, тревожимая одичавшим ветром, призывно раскачивалась, словно приглашая занять оставленный всеми трон.

Беспокойное тело Хрекова опустилось в кресло, качнулось, елочная гирлянда празднично замигала, знаменуя новое восшествие на престол, запели ангелы, и электрический разряд испепелил последнего властителя несчастного дома.

Галактион вздохнул, смел теплый пепел и ушел в соседний переулок – там вот уже месяц, как требовался опытный дворник.

**Чучело**

Любовь Льва Ильича к Розе Альбертовне была столь же огромна, сколь и безответна. Он находил свое чувство к ней бездонным и возвышенным, взаимных же чувств не обнаруживал вовсе. Лев Ильич видел, что супруга тяготится его страдающим лицом, но искусно это скрывает.

– Ты меня не любишь, – выговаривал Лев Ильич, просыпаясь поутру.

– Счастье мое, – отвечала ему Роза Альбертовна, – конечно, люблю. Что ты такое говоришь – глупости прямо какие-то. Люблю, очень люблю.

– Не любишь, – настаивал Лев Ильич, – не любишь и лжешь.

Роза Альбертовна тянулась к нему с поцелуем, но Льва Ильича передергивало от фальшивости ее прикосновения.

Они прожили вместе долгую и мучительную для Льва Ильича жизнь. Дивные движения души Розы Альбертовны, на которые он рассчитывал, пойдя на этот жертвенный брачный союз, обходили Льва Ильича стороной, будучи, как он все отчетливее понимал, направлены куда-то вбок.

– Из любви к тебе я все пойму и, может быть, даже прощу, – печально затягивался он привычной послеобеденной сигареткой. – В конце концов, твое счастье для меня превыше собственных страданий.

– Мне никто не нужен, кроме тебя, – шептала Роза Альбертовна, собирая посуду.

– Ложь. Знаю, что нужен.

Лев Ильич выдыхал едкий дымок и наливал рюмочку коньяку – скрасить мучения.

Он пробовал мстить за очевидную неверность супруги, но месть успокоения душе его не приносила.

«Что есть тело – бренный сосуд бессмертной души. А моя душа всегда с нею. Все мои помыслы о ней одной, все мои терзания. А где ее душа, с кем?» – и тоска с еще большей силой придавливала Льва Ильича.

Однажды Лев Ильич вернулся домой в особенно сильном любовном согбении. Роза Альбертовна робко взглянула на него. Нерешительность ее была замечена и прочтена.

– С кем ты была целый день?

– Одна, ждала тебя.

– Пуще твоей нелюбви мучительна мне твоя ложь.

– Я не лгу тебе.

Лев Ильич приблизился.

– Признайся. Облегчи душу покаянием.

Роза Альбертовна улыбнулась ласково и кротко в ответ, Лев Ильич распознал в ее молчании скрытое признание, гордая душа его не потерпела насмешки, и крепкие руки впились в тонкую податливую шею.

– Признайся! – кричал униженный супруг.

Но Роза Альбертовна молчала, высокомерно похрипывая.

Выместив боль измены, Лев Ильич успокоился, поужинал и окончательно вернул себе благоустроенное расположение духа. Он даже хотел сказать что-нибудь любезное Розе Альбертовне, но, увидев покореженное выражение лица ее, передумал и быстро уснул.

Утро Лев Ильич привычно начал скорбным «Ты меня не любишь», но Роза Альбертовна впервые не ответила. Он повторил громче – вновь без ответа. Роза Альбертовна, сраженная убогостью души своей и не изыскавшая сил нести бремя тщательно скрываемого обмана, умерла.

Лев Ильич недоумевал, размышляя, что делать с неживой Розой Альбертовной. Проще и разумнее всех прочих вариантов было бы выбросить ее. Но выбрасывать стало жалко, к тому же с новой силой забилась его неугасимая любовь к ней.

Поэтому супруг вооружился инструментом и сделал из Розы Альбертовны чучело. Учитывая, что чучело он делал впервые, плоды трудов его следует признать достойными всяческой похвалы, а местами – даже и восхищения.

Наступили долгожданные дни тихого семейного счастья.

– Что было, то прошло, – примирительно приговаривал Лев Ильич, простивший Розу Альбертовну за годы равнодушия и обмана.

Он разглядел в глазах ее преданность и нежность и перестал страдать.

Но счастье было недолгим. В сползающей набок улыбке Розы Альбертовны все меньше оставалось искренности, и все явственнее выпячивалась гримаса презрительного пренебрежения. Напрасно он искал добросердечие в ее глазах – они перестали глядеть на Льва Ильича, разбежались в стороны, потом и вовсе закатились – каждый по-своему: один вверх, другой вниз.

Сомнений быть не могло – Роза Альбертовна не только не любила Льва Ильича, но и, отбросив многолетнее притворство, перестала скрывать свое к нему отвращение.

Лев Ильич терпел, Лев Ильич силился понять, Лев Ильич искал правильные слова. Он унижался, исповедовался, обвинял, угрожал и просил прощения. Ни одним движением Роза Альбертовна не выказывала интереса к нему. Холод сполна завладел ее душой.

Не вынеся пытки безразличием, Лев Ильич спрятал Розу Альбертовну в шкаф.

Скривившись и скособочась, она смотрела оттуда выкатившимся глазом, когда супруг выбирал поутру галстук. Смотрела сквозь него. Лев Ильич опускал взгляд, но на дне шкафа лежал второй глаз Розы Альбертовны и тоже глядел сквозь Льва Ильича.

Не желая видеть ее, Лев Ильич перестал подходить к шкафу и менять одежду. Он закрыл комнату и стал ночевать в ванной.

Однажды раздался шум, Лев Ильич прокрался и обнаружил шкаф открытым – он обрадовался, решив, что супруга не вынесла одиночества и сделала шаг навстречу. Роза Альбертовна висела на любимом галстуке Льва Ильича. Черный, в мелком белом горохе жаккард стягивал ее шею, лицо поползло кривенькой улыбочкой – назло Льву Ильичу Роза Альбертовна повесилась. Лев Ильич заорал и принялся бить эту насмешливую улыбочку дверцей шкафа. Бить с остервенелым упоением, вкладывая в удары всю полноту неразделенной любви.

Роза Альбертовна не выдержала, треснула и осыпалась грудой сухих опилок. Лев Ильич оглядел высыпавшееся и вдруг понял, что больше не любит эту женщину. На душе его стало светло, он почувствовал себя легко и свободно. Стряхнув с себя опилки, Лев Ильич достал из освободившегося шкафа свежую рубашку, желтый праздничный галстук и переоделся.

1. Ханзина Валентина «Комариная фея», «Неофициальные люди».

***Валентина Ханзина***

**Комариная фея**

Новый год, Новый год на даче! Данька так ждал, что устал от напряжения и решил поиграть в войну под столом. Там он возился, ползал по-пластунски и стрелял из подаренного пистолета. Война шла вполголоса, а выстрелы звучали шёпотом – мама не любила громких звуков, у неё «сверлило в ушах». Мама. Он взобрался к ней на колени и теребил ей ухо, дыша туда и шепча неразборчивое. Мама, смеясь, гладила Даньку по шёлковой голове, говорила с гостями.

В ожидании курантов все замолчали, и Данька тоже затих, прислонившись к маминому плечу. По телевизору, на фоне Красной площади что-то говорил человек, которого Данька знал, но забыл. И наконец – забили куранты. От их боя в груди начало расширяться и щекотать, с каждым ударом росло прекрасное и возвышенное в душе. Данька, чувствуя гордость непонятно за что, старался сидеть не сутулясь. Папа управлялся с бутылкой. Хлопнуло. Из бутылки брызнул фонтан, сдвинулись и звякнули бокалы, и все закричали: «С Новым годом! С новым счастьем! Ура!». Данька тоже кричал. Ему налили морса в бокал, он сильно, едва не разбив его, чокнулся с собравшимися. «Загадывай желание», – шепнула мама. Данька загадал, чтобы всё имущество Вадика перешло к нему. Как это может исполниться и что станет с братом, он не думал. Он особенно мечтал о модели парусника, которую Вадик собрал вместе с папой. Данька посмотрел на брата. Вадик ёрзал на стуле, то и дело поглядывая в черноту за окном, у него на лице смешались беспокойство и сосредоточенность. Данька восхитился, какой красивый у него старший брат. Тихо свистнул, через стол показывая ему язык. Вадик улыбался по-доброму и глядел сквозь Даньку вдаль.

 \*   \*   \*

 Вадик как-то пропустил бой курантов и ничего не загадал, только безотчётно улыбался всему. Издалека до него доносились возгласы гостей и бормотание многоголосого телевизора.

Все его мысли были устремлены к Нелли, новой девочке в классе, с которой он вот уже три недели неистово целовался после школы в заброшенном деревянном доме, где на потолке были разные художества – кто-то выжег имитацию древних наскальных росписей: по потолку бежали примитивные олени и буйволы, в них летели копья обнаженных охотников; ноги у Нелли были гладко-ледяные под капроновыми колготками, он расстегивал ей куртку и руками водил по телу, чувствуя нежный ворс фланелевой рубашки и – совсем чуть-чуть – мягкую и ароматную теплоту под ним.

Этот Новый год они договорились встретить вместе. Нелли жила за городом, в красивом коттедже, с одним только отцом, а мама ушла от них несколько лет назад.

Вадику жутко и желанно было, что наступит момент ночи, когда он дойдёт до соседнего посёлка, тихо поднимется, не замеченный пьяным отцом, к ней в комнату второго этажа, где ветер задувает в щели под потолком, где она будет мёрзнуть в углу дивана, а он её согреет, растопит, превратит в мягкий пластилин, в кипячёное молоко, она будет что-то шептать, возможно, «нет, нет», никогда не скажет «да», но и сопротивляться не станет, а под утро он проберётся обратно.

Данька все время топтался где-то рядом и, глядя на летающий туда-сюда осиротелый снег за окном, вдруг произнес голосом визионера:

– Там бродит Комариная фея.

– Какая фея? – переспросил Вадик.

– Фея зимних комаров.

– Что ты выдумал?

– Я её видел, – сказал Данька и сделал хитрое лицо.

– Где?

– Видел, видел.

– Ну и кто она такая? – добродушно поинтересовался Вадик.

– Она насылает метель и зиму, – заторопился Данька, – у неё лицо всё белое, она ледяная, замёрзлая, в лесу гуляет, у неё из-под ногтёв летят зимние комары.

– Дэн, – сказал Вадик, – ты чокнулся?

Данька презрительно промолчал.

– Откуда ты это взял?

– Во сне я спал, там фея была, за ней стада комаров летели, но не простых, а зимниих.

– Не зимни-их, а зим-них. Повтори. И чем всё кончилось?

– Зимни-их. Не помню, – бросил Данька и побежал играть.

После курантов вышли на улицу запускать салюты. Сверкающие змеи с шипением улетали в небо. Женщины визжали от радости, и Данька тоже визжал до хрипоты. Мороз поджаривал кожу щёк, ресницы мгновенно обрастали инеем. Люди подпрыгивали и пританцовывали, чтобы сохранить тепло. Данька, закутанный, походил на толстую румяную девочку с серебряными ресницами. После, в доме, взрослые выпивали, говоря и смеясь всё громче, потом начали петь – сначала песни про зиму, а потом и про всё остальное. Данька тоже спел и рассказал стихотворение, и ему похлопали. Потом с двумя крошечными девочками-близнецами с соседней дачи Данька сидел на диване и смотрел мультфильм. Он объяснял девочкам ход сюжета, но они не слушали, а только пищали и переползали через его колени, прыгали на спинке и плюхались вниз, на подушки. Данька тоже прыгал, падая и падая на мягкий диван, девочки куда-то подевались, всё стало медленным, глубоким и тёплым, на него, как медведь, навалилась уютная лень, он закрыл глаза и остался где был. Лицо ледяной Феи, большое как небо, острое, белое и блестящее, айсбергом выплыло из темноты и смотрело пристально, прямо в сердце. Он спросил Фею: «Когда я умру?». Она не ответила, только молча глядела, и Данька чувствовал дуновение холода и печали.

В этом году бабушка у них вдруг перестала двигаться, лежала в гробу и молчала. Данька не понимал, что она мертва, что это её закапывают в землю. Он не верил ни похоронам, ни суете вокруг ставшего незнакомым тела. На следующий после похорон день он спросил маму, где бабушка, и когда мама ответила «умерла», Данька опять не понял. Он спрашивал ещё несколько раз, пока мама не объяснила, что смерть – это когда человек молчит и не двигается, и никогда больше не встанет, не произнесёт ни слова. Чтобы понять смерть, он лёг на пол и спросил маму: «А я умер? Я сейчас буду молчать и не двигаться, а ты скажи». Мама испугалась, подняла и встряхнула Даньку: «Нет, ты не умер! Ты ещё маленький! Ты будешь жить ещё долго-долго!». «Всегда?» – спросил Данька. Мама не ответила, только прижала его к себе. И тогда Данька понял всё. Он решил никогда не молчать и всё время двигаться, чтобы не умереть, и даже когда сидел спокойно, старался чуть-чуть шевелить пальцем и что-нибудь бормотать.

 \*   \*   \*

Вот-вот разойдутся, понял Вадик по ленивым голосам. Он сидел перед телевизором, поглощённый тревогой и ожиданием. Мама давно спала наверху. Уснувшего Даньку отнесли к ней.

Во время салютов он посмотрел на смешного закутанного брата, мелькнула мысль: «Не ходить? Такой мороз! Это просто опасно. Это дикость! Не ходить, остаться тут, с ними».

Наконец, закрылась дверь за последними гостями. Отец сел к Вадику на диван и спросил:

– Что загадал?

– Не исполнится, если скажу.

– Значит, важное, – сказал отец, потрепав его по макушке. – Не сиди долго, сынок. Завтра утром на лыжах пойдём. Потом баню затопим.

– Хорошо.

– Ну, я спать, – отец начал подниматься по скрипучей лестнице. Сделав несколько шагов, обернулся: – Под ёлкой посмотри. Дед Мороз там положил кое-чего.

Вадика подташнивало от волнения. Он посидел ещё полчаса, ожидая, пока родители уснут. Сверху слышался сонный голос мамы и покряхтывание отца. Затем всё стихло. Он начал собираться в путь. Надел под джинсы неудобные рейтузы, найденные на даче. Положил в рюкзак термос с чаем, пакет солёных крекеров. Делал всё крадучись, на цыпочках. Ему казалось, будто он уходит на войну и долго-долго не вернётся обратно. Под ёлку он не посмотрел.

Мороз стоял лютый, словно голодный волк. Кое-где в домах ещё светились жёлтые и разноцветные окна. Вадик быстро пошёл по дороге между деревьями. Сначала перелесок, за ним озерцо, а там – Неллин посёлок, коттедж. Он явственно представлял себе квадратное здание в финском стиле, перед домом – дерево, лиственница. Бросить снежок в левое окно на первом этаже, она услышит. Он достал сигарету, закурил. Обнаружил, что рукавица в кармане только одна. Он ругал себя, шевеля губами. Поздно возвращаться. Дым смешивался с морозом. Вторую руку засунул поглубже в карман, сжимал и разжимал пальцы. Идти всего час, не больше. И он отправился в путь.

 \*   \*   \*

 На даче в непривычной снежной тишине проснулся Данька. Он полежал в темноте и поиграл руками, составляя из пальцев фигуры. Он иногда показывал их маме и брату, а они должны были угадывать, что это – зайчик, лягушка, машина или жук. Данька сам не знал. Ему захотелось пить. Мама с папой спали на соседней кровати, Данька различал спокойное дыхание обоих. Он не стал будить маму, натянул штаны и сам спустился по лестнице. В кухне нашёл большой кусок шоколадного торта и бутылку лимонада. Он ел, пил и чувствовал тихий восторг, в первый раз бодрствуя ночью один. Он выглянул в окно. На небе сверкали белые иголочки звёзд, отполированные морозом. Данька залюбовался. Издалека слышалось эхо молодых весёлых голосов и собачьего лая. Данька был словно в полусне, очарованный тихой ночью и одиночеством. Он не сразу заметил отсутствие Вадима, а когда заметил, испугался, что брата увела Комариная Фея, которая так пристально глядела ему в лицо. Данька почувствовал боль в душе и тихонько позвал: «Вадик!», но никто не откликнулся. Тогда он решил поискать брата на улице, наспех оделся и вышел во двор. Тишина ещё усилилась, не сдерживаемая оконным стеклом. Из черноты неба свисала мелкая звёздная сеть, в ней качалась уловленная луна. Повсюду разливалось безгласное сияние. Вдоль дороги спали широкие сосны с пышными кронами-лабиринтами. Где-то здесь прошла Фея, чувствовал Данька, вытянула пальцы и выпустила своих белых комаров, и они заколдовали всё в сказку. Где же брат, куда его забрали? Был ли он, раз исчез так бесследно, растворившись в зиме? Данька осторожно пошёл по краю дороги, шепча и причитая: «Вадик, Вадик, ты где? Ох, ох, ох, ты где…». Кричать он стеснялся. На дороге он увидел что-то, поднял и узнал рукавицу брата, засмеявшись от радости. Положил её за пазуху, чтобы согреть. Сначала он шёл среди редких домов, потом дорога вильнула, и он остался один среди немоты и мощи деревьев. В их телах раздавались протяжные стоны. Они пугали Даньку до застывания крови в жилах, он втягивал голову в плечи и ускорял шаг, стараясь сбежать от деревьев. Какие-то большие тени шуршали за стволами, и мерцали чьи-то злые глаза. Данька хотел пойти назад, но не мог повернуться от страха. Теперь ему казалось, что рукавица непременно выведет его к брату, и только брат его спасёт от зимнего леса, и он трогал её на груди, боясь потерять.

 \*   \*   \*

Данька стоял глубоко в лесу и дышал. Деревья запорошило сухим душным снегом, похожим на перья. Да, пух и перья кружились повсюду, они вихрем поднимались от земли, закручиваясь в воронки. Слышался непрерывный щебет, шёпот. Словно перьевая вьюга подхватывала и уносила Данькины мысли о доме, о брате. Заворожённый, он не двигался и никуда больше не хотел идти. Только что он метался по лесу, бросаясь то в одну, то в другую сторону в надежде на выход. Он выбился из сил и страшно хотел пить. Но вдруг его страдания растворились. Как страшно и дико было Даньке сначала, и как легко и мирно сделалось теперь! Лес разрастался, становясь всё шире и гуще, струясь вокруг, как белые волосы и спутываясь в колтуны. Выйти отсюда? Нет, смешно, смешно и никогда невозможно! Да и куда идти, и зачем? Чудный лес серебрился как стеклянный замок, вместо тьмы на Даньку обрушивалось сияние, всё, казалось, блестит вокруг – и небо, и земля, и воздух, и деревья, и сам он, Данька, блестит и позвякивает, словно новогодняя сосулька на ёлке. Зимние комары так искусали его, что он оцепенел, кости промёрзли, превратились в хрусталь и могли рассыпаться от удара, но это было не страшно. Данька присел под дерево отдохнуть и тут же задремал, и снова, как дома, пришёл медведь в пушистой шубе и сдавил его мягкими лапами, совсем не больно, а приятно и тепло. Даньке чудилось мелькание женского лица за стволами, оно нежно поглядывало на него. Пел крылатый шелест, вода лесного озера улыбалась, опавший лист плыл по воде, как точёная, узкая женская ладонь. Как же так, озеро ведь замёрзло? Но Данька видел лёгкие серебристые волны и качался на них, словно в лодочке. Он вспомнил, как ещё до своего рождения находился в мире, подобном этому белому лесу, в сладком плену и полном спокойствии, в мягкой засасывающей недвижности. Это личико в вихре пуха – оно пугало и манило, оно улыбалось – вкрадчиво, прелестно и жутко, и вдруг прилетело близко-близко, смотрело пристально-сильно, шептало тихо-тихо с любовью, и Данька понял, что это мама в белой кроличьей шапке пришла за ним, и заплакал от счастья.

 \*   \*   \*

 Вадик и Нелли лежали рука в руке, сплетясь ногами, и во сне наполнялись ударами пульса друг друга. Тихие волны всё набегали и набегали на берег. Вадик спал, позабыв обо всём, позабыв и себя, и Нелли, и помнил только то полное, поглотившее его счастье, которое он испытал этой ночью и которое продлилось в сон, и должно было продлиться вечно. Он видел лето и дождь, льющийся с черёмух, и свет, проникающий сквозь прозрачные листья, и своего брата совсем ещё маленьким. «Моросящий дождик, мо-ро-ся-щий, повторяй!» – учил его Вадик, а Данька переспрашивал: «Поросячий дождик? По-ро-ся-чий?».

**Неофициальные люди**

В зарослях дальнего парка, за изящной кованой оградой стоял небольшой старинный особняк с витой лестницей и высокими окнами. В восемнадцатом веке дом принадлежал купцам Куницыным, торговавшим пушниной, а теперь тут обитали соседи. Они подобрались не то чтобы совсем чокнутые, а всё-таки чудаки.

Пыльная старушка, обрусевшая немка Агнесса Ромуальдовна всё лето сидела перед домом на скамеечке, вяжа длинные шарфы ядовитых цветов. Зимой она перемещалась на второй этаж, и всякий день за окном с занавесочкой можно было видеть её голову в разноцветном платке, заколотом брошью с тяжёлыми камнями. Из-под платка выбивались седые локоны, делавшие Агнессу Ромуальдовну похожей на одряхлевшего ангела. На хрупеньком носу сидели роговые очки. Муж её был столетний еврей-ювелир, которого отчего-то никто не мог припомнить, видимо, он и помер уже давно. Завидев кого-то из соседей на улице, Агнесса Ромуальдовна подходила мелкими шажками и начинала вполголоса жаловаться на мужа: «Знаете ли Вы, — с грустным пафосом произносила она, — что мой супруг уходит к другой женщине»?

Напротив старушки жили молодожёны. Оба худые, долговязые, и любили друг друга жутко. Анна варила суп. Фидель занимался наукой. В глубине парка, на пригорке находилась могила знаменитого академика, и его бронзовый бюст, позеленевший от времени, соседи считали своим талисманом. Анна ухаживала за академиком – вытирала с гордого лица птичьи безобразия, и, прибрав могилу, оставляла растрёпанные букеты цветов. Они с Агнессой Ромуальдовной регулярно посещали могилу, долго стояли там и разговаривали шёпотом, отдавая дань уважения великому ученому.

Также в доме жил невыясненного рода деятельности человек –Геннадий. Милосердные молодожёны, жившие в просторной наследственной квартире с паркетом и люстрами, сдавали ему комнату. Выпивши он избивал кулаками стены, изводил хозяев, вопя, сокрушаясь и писая мимо унитаза, и смел нагло отрицать это. Если на него удавалось нажать, он принимал оскорблённый вид, дескать, его заставляют разбираться с чужим ссаньём, и хмуро возил тряпкой по полу в туалете, грязно и длинно ругаясь себе под нос («ёбтвамма, ёбтвамма!»). Анну он именовал стервятницей, а Фиделя – гнилым отродьем. На следующий день после этого унижения Геннадий становился обходительным и даже утончённым человеком. Он заводил шарманку о своей «былой жене»-француженке и жизни с ней в Марселе, настойчиво предлагая Фиделю взять у него парочку марсельских костюмов, которых у него «целый шкаф висит». К вечеру он вновь напивался и начинал «звонить в Америку». Молодожёны слышали его разговор с молчащим мобильником на марсианско-английском диалекте. Беседы с пустотой длились часами. Особенно явственно он произносил «ноу прондблемс, май фрэнд, ноу прондблемс», и перемежал это своими «ёбтвамма». Наконец, намучившись, он падал на истрёпанный диван, заставленный банками, из которых валились окурки, и начинал горестно храпеть, сжимая телефон в руке.

Ещё один жилец был молодой любитель оперы. Этот тронулся умом в армии, из-за пацифистских убеждений: набросился на товарищей с безопасной бритвой, после чего попытался повеситься. Из армии его немедленно комиссовали, и он отправился в наш город спокойно любить оперу и наслаждаться жизнью тунеядца. Содержала его мать, живущая где-то вдали, на юге. Как-то раз он прогуливался, любуясь архитектурой, и вдруг услышал доносящееся из окна одного дома волшебное сопрано, и пошёл на голос, будто в бреду (он действительно очень любил оперу). Он дошёл до нужной двери и нажал на кнопку звонка. Дверь открылась, его тихо взяли за руку. Он увидел множество сидящих в кругу женщин бальзаковского возраста, в лёгких платьях, с открытыми плечами. Взявшись за руки, они раскачивались и закатывали глаза, а одна из них исполняла арии Травиаты, Лючии де Ламмермур и другие, ему неизвестные. Мягко подталкивая, его отвели в круг. И он сидел в этом кругу, сжимая горячую женскую ладонь, и пел, повторяя странные слова какой-то дикой молитвы, и закатывал глаза вместе со всеми. Он смог вырваться оттуда лишь спустя шесть часов, и уже на улице испытал изумление от случившегося. Позже он рассказывал об этом событии с восторгом. Так он обрёл Бога, и с тех пор посещал оперно-молитвенные собрания уже регулярно. Он там был единственным мужчиной. И больше ему ничего не нужно было.

И вот однажды жители нашего дома получили странные письма от администрации города. Сообщалось, что «в виду непригодности к эксплуатации дом подлежит сносу в ближайшие месяцы». Сначала никто не обратил внимания, письма разорвали, хихикнув. И не обращали дальше, пока письма не пришли во второй, в третий и в четвёртый раз. И сроки в письмах всё сокращались, сокращались, и в последнем письме уже говорилось об одной неделе до сноса. Жителям предлагалось расселяться на приготовленной для них жилплощади где-то далеко за городом, в бескультурных провинциях. И, наконец, в доме начали сознавать весь ужас происходящего, но было уже поздно – в дом постучалась Комиссия.

На рассвете во все квартиры зазвонили, неприятными голосами крича из-за дверей: «Общее собрание жильцов дома! Всем собраться в парке! Всем спуститься в парк!» Растревоженные, сонные жители сгрудились перед входом. Парк был покрыт туманной дымкой, пели первые птицы. Перед ними стояла Комиссия. Состояла она из двух граждан любопытной внешности. Один из них, очень упитанный, был закован в чёрное драповое пальто, такое длинное и узкое, что он вынужден был передвигаться маленькими, как у японской гейши, шажками. На лице блестели вдавленные в глазницы очки без стёкол. Рот и нос он имел крохотные. Вместо речи у него выплескивалось какое-то кашлянье, которое он перемежал долгими «э-э…» и «мэ-э…».

Видимо, для уравновешивания, второй член Комиссии был стройного телосложения и маленького роста, весь неуловимый и трепещущий, будто стрекоза. Одет он был в модный тренч телесного цвета. Его блестящие, омытые слезой глаза отличались выпуклостью и внимательным, льстивым выражением. Под глазами располагался длинный горбатый нос. Рот постоянно двигался, говоря ладно и быстро. Он служил переводчиком своему косноязычному коллеге.

– Жильцы! Мэ-э-э… – начал человек в пальто.

– В виду аварийного состояния данного дома, а также в виду планируемой реконструкции парка и установления здесь монументов в честь памятных дат истории нашей Великой Родины, дом подлежит сносу. Всем проживающим настоятельно рекомендуется собирать вещи и переселяться в дома, предоставленные администрацией города, находящиеся в уединенном секторе нашей области, рядом с реками, озерами, полями и лесами. Рядом проходит железная дорога, два раза в неделю имеется автобусное сообщение, а также иногда ходит катер через реку. Расстояние до города преодолевается за время не более четырёх часов. Все дома снабжены современным печным отплением, заменены печные трубы, почищены колодцы во дворе, отремонтированы деревянные части домов, такие как крыльцо. Рядом находятся детский сад, школа, Дом культуры, в котором работают кружки вязания и плетения из бересты – всё для гармоничного развития вас и ваших детей. В качестве поддержки от администрации Вам может быть предоставлен мелкий рогатый скот, такой как коза, овца, в количестве одна штука на человека, – быстро заговорил второй.

– Да! И э-э-э…. – сказал человек в пальто и поднял палец.

– Как вы можете заметить, администрация делает всё для того, чтобы обеспечить вам высокий уровень жизни, к которому вы привыкли, и даже выше! Уважаемые жильцы, просим вас освободить строение от ненужного хлама и готовиться к переезду. Автобус отойдет сегодня в девятнадцать часов, прямо отсюда, из парка. На новое место жительства вас доставят бесплатно, за счет любезной администрации. С этой минуты дом опечатан и должен быть полностью освобожден к вечеру, для эффективной работы наших служащих по подготовке к сносу, - перевел человек в тренче.

– Так! Мэ-ээ… - сказал человек в пальто и его очки блеснули угрожающе.

– Администрация благодарит вас за понимание и сотрудничество и желает вам счастья в личной жизни и успехов в работе, не то хуже будет! На этом всё. До новых встреч!

– Э-эээ… – вяло сказал человек в пальто. Было видно, что он устал.

Жители молча хлопали глазами, глядя вслед двум удаляющимся в туман фигурам: понурой чёрной и вертлявой телесного цвета. Первым очнулся Геннадий: «Какой еще рогатый скот, ёбтвамма, мы здесь всегда жили!» Остальные заговорили, перебивая друг друга. Никто не мог поверить глазам и ушам. Побежали к себе, в свои квартиры и разыскали письма от администрации. Всё так. Сомнений быть не может. Дом сносят.

Какое-то время жители дома погоревали, Анна всплакнула. Оказалось, что жителям совершенно не к кому обратиться, они все, как говорится, круглые сироты, и никого ближе соседей у них нет. После этого все, включая Агнессу Ромуальдовну, решили протестовать – разбить вокруг обречённого дома палаточный лагерь, держать оборону. Фидель заявил, что этот инцидент нужно предать гласности и что средства массовой информации на их стороне.

К обеду в квартирах жителей возникли люди в униформе. Под строгими взглядами этих людей жителям пришлось распихать своё имущество в чемоданы, тюки, рюкзаки и сумки. Вдыхая и глядя печальными глазами на свои бывшие окна, жители вышли из дома. У Анны и Фиделя нашлась огромная, допотопная брезентовая палатка. До вечера мучились, устанавливая её и привыкая к новым условиям жизни. После сидели в палатке, под светом керосинок, укутавшись одеялами, и слушали шелестение парка. Люди в форме опечатали их дом специальными лентами, и теперь он был похож на упакованный подарок.

– Ну что ж, – сказал любитель оперы. – Что будем делать, господа?

– А чё делать, ёбтвамма, чё делать, надо им дать просраться! – сказал Геннадий. Он уже успел куда-то сбегать и принять на грудь.

– Геннадий, помолчите! – сказала Агнесса Ромуальдовна.

– Надо связаться с телевидением, с журналистами, – сказали Анна и Фидель.

– Как связаться? Как прорваться на телевидение? – спросил любитель оперы.

– Надо ждать, они сами подъедут, – сказала Анна.

– Хрена дождёсся, подъедут! – сказал Геннадий.

– Геннадий! – сказали все.

– Надо предать это гласности. Нас выселяют, без суда и следствия! – сказал Фидель. – Это возмутительно!

– Они будут наказаны судьбою, – сказала Агнесса Ромуальдовна.

– Они образумятся, – сказал любитель оперы, – и всё вернётся на круги своя.

– А если нет, ах, если нет? – воскликнула Анна. – Я надеялась провести в деревне старость! А не юность…

– Не отчаивайся, – сказал Фидель. – Жители города встанут на защиту. Это дурной сон.

– Проспаться надо, ёбтвамма! – захохотал Геннадий.

В девятнадцать часов к парковой ограде подъехал автобус, который должен был увезти жителей прочь, в «просторы области», к колодцам и козам. В автобусе никого не было, кроме водителя, который сидел за рулём неподвижно, погружённый в глубокую задумчивость. Он не покинул транспортное средство. Через стекло автобуса жители наблюдали печально склонённый нос и клетчатую кепи. Один раз водитель протяжно, без надежды, посигналил в темноту. Жители встрепенулись, но не отреагировали. Они решили сидеть, не высовываясь, авось, сам уедет, когда устанет или проголодается.

Как всегда, наступала ночь. Жители разместились на ночлег.

За брезентовыми стенами палатки шуршала ночная жизнь – что-то шевелилось, потрескивало, голосили одичавшие парковые коты. Жителей охватило чувство неповторимости всего происходящего с ними. Как прекрасен был этот сухой, предосенний парк, в котором они жили так долго и счастливо! Как сладостно поскрипывала земля под ногами ночных существ! Как безмятежно пели насекомые, как таинственно шумели листья деревьев!

Потом они вспомнили о будущем, об автобусе и о неотвратимо-покорном водителе, о вежливой, удущающей неизбежности, о непреодолимости предстоящих мучений. Они прежде не сталкивались с этой неизбежностью, но, оказывается, всегда жили в ней, плавали как рыбы в воде. Фидель, застёгнутый в спальник, похожий на говорящую гусеницу, неожиданно сел, воскликнув: «Мы непременно отстоим наш дом и парк! И, когда придут официальные люди, мы крикнем им в лицо о наших правах, а если они не услышат, то мы в ярости бросимся на них и будем драться, и все неофициальные люди мира будут на нашей стороне!» «Да! – сказали жители. – Да!» Где-то там, на полянке, бюст академика зорко вглядывался в темноту. «Академик, милый, – прошептала Анна, – умоляю, спаси нас!» Но мог ли он что-то сделать? Он давно был таким же неофициальным, как и они.

Наутро ничего не изменилось. Автобус по-прежнему стоял на дорожке у ограды. Водитель в нём сидел, как и вчера, понурившись. Фидель с Геннадием, робея, постучали в дверь автобуса. Остальные жители стояли поодаль, внимательно слушая. Дверь открылась, водитель обратил на делегатов взгляд. Он оказался совсем молодым человеком, на его одутловатом после неудобного сна лице проступила щетина.

– Что вам? – сказал он.

– Ваши услуги не требуются, – сказал Фидель. – Мы никуда не едем.

– Уезжай давай, братан, нна! – сказал Геннадий.

– Я не могу, – сказал водитель. – Видите ли, я не могу уехать без вас.

Фидель с Геннадием переглянулись.

– Но мы не едем! Это наш дом. Мы будем привлекать общественность к этому инциденту!

– Не поедем никуда, нна! – заорал Геннадий.

Водитель вздохнул.

– Я буду ждать вас, – лирически произнёс он.

Фидель и Геннадий пошли восвояси.

Вторая ночь в палатке прошла без происшествий. Водитель по-прежнему сидел за рулём, и соседи видели, как он вдумчиво жевал что-то из пакетика.

Любитель оперы проснулся, причесался маленькой расчёсочкой и двинулся к выходу из парка, намереваясь связаться с общественнностью. Однако, кованые ворота, через которые обычно выходили и входили жители, были опутаны мерзкой жёлтой лентой. Снаружи на них висел грубый амбарный замок. Любитель оперы замер перед этим новым обстоятельством. Он стал бегать по парку, извещая жителей, которые к тому времени разбрелись по разным тропинкам, раздумывая, как быть, вдыхая прохладный воздух и греясь в нещедрых лучах сентябрьского солнца. Ограда вокруг парка была высокой, но всё-таки через неё с некоторым усилием могли бы перелезть все, кроме Агнессы Ромуальдовны, разумеется. Жители планировали выпустить старушку, сорвав замок снаружи.

Геннадий первым одолел ограду и обрушился в листья по ту сторону. Когда он поднялся и отряхнулся, к нему из кустов выступил официальный человек в чёрной форме, с длинным, вроде палки, оружием в руках. Этим оружием он молча ткнул в Геннадия, заставив его лезть обратно в парк, и Геннадий перелез, до крови ободравшись об острые зубья ограды. Он приковылял к палатке раненый и опозоренный. Агнесса Ромуальдовна стала лечить его средствами из своей «чрезвычайной аптечки». Она была ветераном тыла, но очень много знала о войне.

Фидель придумал влезть на дерево и с высоты оценить ситуацию. Спустившись, он сообщил остальным, что великое вооруженное множество официальных людей стоит за оградой по всему периметру парка. Так жители попали в капкан.

В решающий день появились десятки официальных людей, а также экскаватор, похожий на инопланетное чудовище.

Самым ужасным у этого существа был ковш – глубокая нечистая лапища, готовая жадно раскрыться над домом.

Жители выскочили из палатки, встревоженно глядя на чудовище. Анна едва сдерживала слёзы, Фидель и любитель оперы лихорадочно двигались вокруг дома, как бы защищая его от вторжения. Геннадий, пьянее пьяного, сидел на крыльце и курил сигарету, придав своему лицу нахальное выражение. Он то и дело сплёвывал, как бы пугая и предупреждая пришельцев-разрушителей.

Глубоко обеспокоенная Агнесса Ромуальдовна, проскользнув под лентами, посеменила в свою квартиру, впопыхах приговаривая: «Как же, как же это я позабыла?» Официальные люди в громкоговоритель предупредили её, что она совершает беззаконие. Соседи побежали за обезумевшей старушкой.

Пройдя в единственную комнату своей квартиры, она сняла с крючков пыльный ковёр на стене. За ковром обнаружилась дверь. Агнесса Ромуальдовна, ни на кого не глядя, маленьким ключиком открыла её. Там оказалась ещё одна комнатушка со своим ковром, холодильником, старым шкапом, столом и стулом, на котором сидел заросший седыми кучерявыми волосами длинноносый черноглазый старичок и посасывал размоченную в чаю баранку. Вид у него был потерянный и безмятежный. Увидев соседей, он поднял скрюченную руку и приятным театральным баритоном произнес:

– Здравствуйте, молодые люди!

– Ёмана, ты кто, дед? – ответил Геннадий.

Агнесса Ромуальдовна представила своего мужа Иосифа Карловича.

– Ёся, – приказала она, – быстро собирайся, дом подвергают сносу, необходимо тебя вывести.

Иосиф Карлович, причмокнув, переспросил:

– Что-что, мамочка?

– Ёся, – Агнесса Ромуальдовна крикнула ему в ухо, – вставай, дом сносят!

Тогда Ёся начал хныкать и при этом постоянно улыбался, приговаривая: «Я не буду, мамочка! Ёся не будет баловаться!». Из его лучистых глаз покатились слёзы. По всей видимости, когда-то он действительно разбивал Агнессе Ромуальдовне сердце, но много лет провёл у неё в рабстве, впал в детство и окончательно свёл её с ума. Все присутствующие тоже расчувствовались и зашмыгали носами. Иосиф Карлович, утопавший в слезах, был неспособен к передвижению. Геннадий и Фидель понесли его на улицу, подсадив на скрещенные руки. Старичок покорно сидел, обняв их за шеи. В это время громкоговоритель велел жителям покинуть внутренности дома и отойти от него на безопасное расстояние. Начинался снос. На крыльце стояли официальные люди со своими палками. Один из них шутя ткнул палкой в старичка. «Ох-хо-хо, молодой человек!» – запричтал Иосиф Карлович, а официальные люди засмеялись и передразнили его.

– Это что ещё, твамма?! – рассвирипел Геннадий. – Чего обижаете деда? Он контуженный!

В ответ палкой ткнули и Геннадия. И не один раз, и не два.

– Вы не имеете права причинять вред! – закричали жители. – Вы нарушаете права человека! Мы здесь живём! Это наш сосед! Что вы творите?

Геннадию пришлось выпустить старичка и подвергнуться ударам, которые посыпались на него со всех сторон с неприятным звуком, будто колотили по стволу дерева. Жители пытались вступиться, но их отгоняли, словно собак. И вот Геннадия ударили палкой по голове, он упал на крыльцо, а официальные люди принялись плясать на нём тяжелыми ботинками.

– Геннадий! – закричала Анна. – Отпустите его! Не трогайте! Что же вы делаете, свиньи? А-а-а!

– Заткнуть рот! – приказал один из официальных людей и дёрнул Анну за красивые пушистые волосы – так, что её подбородок подскочил вверх, а из глаз, как из прыскалки, брызнули слёзы.

Фидель бросился на это официальное лицо и получил несколько беспорядочных ударов по телу и один – в пах.

В конце концов, официальные люди, подняв полубездыханного Геннадия, швырнули его в кучу опавших листьев. Там он лежал, окровавленный, и приходил в себя. Больше никто из жителей не протестовал и не сказал ни слова.

Ограда оказалась распахнутой настежь, и водитель автобуса, почувствовав подходящий момент, засигналил вежливо и умоляюще. Жители, избегая глядеть друг на друга, начали молча втаскивать в автобус вещи.

Геннадия подняли и положили на пол автобуса. Иосиф Карлович перестал плакать и счастливо улыбался, беседуя с водителем. В гробовой тишине жители расселись по местам.

– Ну, в добрый путь! – промолвил водитель, трогаясь с места.

Так жители покинули парк.

В воздухе качнулся ковш экскаватора, кирпичи закрошились, точно выбитые ударом зубы, и в доме, со стороны квартиры молодожёнов, образовалась первая дыра. Жители не услышали, как ныли от боли стены, развороченные экскаватором, не увидели, как страшная лапа обрушивалась на сервант Агнессы Ромуальдовны, начиненный фарфоровыми собачками, как у них вылетали бусинки-глаза и отламывались хвостики, как эти собачки превращались в сахарную труху; как лопнул потертый диван Геннадия и как надвое разрубило кровать молодожёнов, покрытую новым сиреневым покрывалом; как из шкафов вываливались вещи и, грохоча, словно горная река, всё текло вниз; как взрывались и выплёскивались стёкла и скрежетал разбиваемый кафель, как зияли открытые переломы паркета, как из холодильников на пол валилась оставшаяся еда, текли лужи супа и молока; как падала со стены фотография юного Геннадия, улыбающегося мягким щербатым ртом, с причёской в стиле группы «Битлз», в рубашке с закатанными по локоть рукавами, с гитарой в жилистых руках; как всё, наконец, смешалось в огромную кучу осколков, мусора и грязи, и дом, когда-то живой, теперь лежал растерзанный и уничтоженный, и походил на груду мяса и костей, в которой едва угадывалось что-то знакомое, и над его свежим трупом висела штукатурная дымка.

Прошло немного времени. Официальные люди вывезли все останки, сравняв с землёй руины особняка. Теперь на его месте воздвигнут мемориал в четь величия нашей Родины. Захолустный парк превратился в популярное место прогулок, там открыли кафе и летнюю сцену. И обновили ограду на могиле академика.

1. Хомич Николай «В погоне за Южным Крестом»

***Николай Хомич***

**В погоне за Южным Крестом**

*Рассказ*

Ожидание было невыносимым.

- У меня все в порядке? – пытаясь скрыть волнение, произнес я и неожиданно понял, что не узнаю собственного голоса.

Доктор, сидевший напротив, ничего не ответил и вновь, в который раз, стал перелистывать результаты моего обследования.

Его молчание означало приговор, в этом я уже ничуть не сомневался. И действительно, разве мог я ожидать чего-то иного, переступив этот порог? К тому же внизу живота что-то кольнуло и тупой ноющей болью разлилось по пояснице. Я мог рассчитывать только на чудо, но его не произошло.

- Могу я побеседовать с кем-нибудь из ваших родных или близких? – доктор наконец оторвался от бумаг.

- Я разведен, - услышал я собственный голос и вновь его не узнал.

- Ну, а дети? – не отступал он.

- Мне бы не хотелось никого вмешивать в свои дела!

- Это ваше право! – задумчиво произнес он и кончиками пальцев, мягко, едва касаясь, стал стучать по столу. Затем взял шариковую ручку и в графе заключение в мгновение ока вывел две латинских буквы «C» и «R», за которыми размашисто последовали непонятные и неразборчивые слова. Я с изумлением наблюдал за его действиями и ловил себя на том, что хочу как в студенческие годы непременно увидеть в своей зачетке удовлетворительную оценку, но все говорило о том, что этот экзамен я все же не сдал.

- Может, это и к лучшему, - услышал я его голос. – Не придется говорить вам неправду и вам ежедневно слышать ее от родственников. Поверьте, это ужасно, делать вид, что ничего не произошло, подбадривать, изворачиваться и при этом стараться не смотреть друг другу в глаза.

Он говорил, а мне почему-то казалось, что речь сейчас идет о ком-то другом, я даже в знак согласия стал кивать головой.

- Я, конечно, могу, опираясь на учение Гиппократа, окружить вас «ложью во спасение», - продолжал доктор. – Но, во-первых, согласно 285-й статье Гражданского кодекса вы имеете право на информацию о состоянии своего здоровья, а во-вторых, - он пристально посмотрел на меня и после небольшой паузы добавил: - Вы производите впечатление вполне вменяемого и адекватного человека.

Я опять машинально кивнул головой.

- А это в корне меняет дело, ведь согласно той же статье, именно я, ваш лечащий доктор, принимаю решение: говорить вам правду или нет!

- Я все понял, – произнес я тем же чужим для себя голосом, но неожиданно ставшим уже моим. – Мне бы не хотелось, чтобы вы что-то от меня скрывали.

- Ну и чудесно! – с облегчением выдохнул доктор. – Поверьте, это самый трудный момент! Одно дело – удалить опухоль, а другое – общаться с пациентом! Я рад, что вы готовы к диалогу. - Итак...

Он опять внимательно посмотрел на меня, видимо чтобы лишний раз удостовериться в моей адекватности, а затем продолжил:

- Согласно проведенным обследованиям, у вас обнаружено злокачественное новообразование. То, что оно злокачественное, сомнений нет никаких! Посмотрите на эти неровные края, - показал он на какие-то тени на снимке. – К тому же маркеры! Да, уровень их не критичен! Но беря во внимание не один, а два этих фактора, я берусь утверждать, что опухоль злокачественная. К тому же возраст! Сколько вам? – потянулся он к карточке.

- Пятьдесят два, - опередил я его.

Он с удивлением посмотрел на меня:

- Да! Это, конечно, не много, но процессы инволюции, то есть обратного развития, в организме уже запущены! Имеет значение наследственность и многое другое... - Он помолчал. – Но дело даже не в этом! Поймите, мы сделаем все от нас зависящее – удалим опухоль, вы пройдете курс химиотерапии, но это ничего не даст! Человечеству, к большому сожалению, пока не удалось победить эту болезнь. Утверждать обратное, значит, обманывать вас. А вы, как я понял, этого не хотите. Да, механизм уже запущен, но самое важное как вы отнесетесь к неизбежному. Как воспримете эту новость, которая вскоре все изменит. Если вы человек верующий, будете молиться Богу. Цепляться за веру, как за соломинку. Закончится все тем, поверьте моему опыту, что разуверившись, вы вскоре обратитесь к его оппонентам: черту, сатане, к различного рода проходимцам и шарлатанам, которые будут уверять в спасительности своих снадобий. Но финиш будет один. Никому еще не удалось перехитрить смерть. В понимании этого и есть ваша сила. Мало того, у вас появится преимущество перед внезапно покинувшими этот мир. Они покинули его в неведении, наспех, зачастую даже не осознав многих вещей. Зато вам, следуя законам природы, встраиваясь в ее циклы, придет понимание того, что смерть неизбежное и необратимое событие. Как зима. Не придет же никому в голову ожидать весны после осени. Наша жизнь это, по сути, растянутая во времени биохимическая реакция. Она имеет начало и конец. Отсюда следует, что к смерти надо относиться серьезно. Так, как делали это, к примеру, в античное время стоики – с уважением и почтением. Необходимо загодя готовиться к ней. Постараться, зная о скорой кончине, остаток жизни прожить ярко, так, как до этого не жили никогда. Близость смерти будоражит сознание, любое мало-мальски значимое событие становится эпическим. Возникнет просветление, вы совсем по-иному вскоре начнете смотреть на жизнь, дорожить каждым прожитым днем, часом и минутой. Это позволит реализовать себя, сделать то, на что вы бы никогда не решились. Вы кто по профессии?

- Музыкант, - с растерянностью, произнес я. – Играю в симфоническом оркестре.

- Замечательно! – обрадовался доктор. – При желании вы легко сможете стать солистом!

- Боюсь, ничего из этого не выйдет, - чужим голосом отозвался я. – Я играю на ударных.

- Не важно! – воскликнул он. – Зато вы можете реализовать свою какую-нибудь детскую мечту! Да мало ли что!

Он говорил, я отчетливо слышал каждое произнесенное им слово, но сложить их в предложения, которые несли хоть какой-нибудь смысл, никак не получалось. Он говорил о смерти, а мне безумно хотелось жить!

- Доктор! – прервал я его на полуслове. – Может, все-таки есть какая-нибудь надежда? Может, следует провести еще какое-нибудь обследование?

Мой вопрос его явно застал врасплох. Мало того - разочаровал. Было заметно, что он уже жалеет о потраченном времени.

- Можно, конечно, сделать биопсию, сдать материал на исследование, - сухо сказал он. – Но я не вижу в этом особого смысла. Картина и так ясна. К тому же лишний раз травмировать новообразование я бы не стал.

Но я уже не слышал его слов, появившаяся надежда яркой вспышкой вмиг заполнила черноту моего сознания. Я тут же ухватился за эту мысль, цепко и бесповоротно, как утопающий онемевшими руками хватается за любой появившийся в поле зрения предмет. Ничто не могло меня остановить, ни риски, связанные с этой процедурой, ее травматичность и болезненность, ее стоимость и необходимость госпитализации.

- Хорошо! – наконец согласился доктор. – Завтра утром жду вас в отделении. Госпитализируем на одни сутки. Манипуляцию буду проводить лично, - протянул он мне свою визитку.

«Иван Степанович Прохасько. Заведующий отделением», - пробежал я взглядом по кусочку картона, на миг, задержавшись на номере его мобильного телефона.

Он было спохватился, взял шариковую ручку, видимо желая зачеркнуть этот номер, а затем, махнув рукой, произнес:

- Паспорт только не забудьте взять с собой!

\*\*\*

Вскоре я пожалел, что настоял на дополнительном обследовании. Пах будто пронзили иглой, а в пояснице волнами, словно ударяли в большой церковный колокол, растекалась тупая, невыносимая, доводящая до тошноты боль.

Палата оказалась одноместной, это давало возможность, не сдерживая себя, тихонько стонать.

К вечеру зашел Иван Степанович.

– Если боли не прекратятся, скажете сестре, чтобы уколола обезболивающее.

- Спасибо, доктор! – пробормотал я, а затем, спохватившись, спросил: - А когда будет готов результат моего обследования?

- Надеюсь, завтра! Я уже попросил лабораторию ускорить.

На город медленно надвигались сумерки, я уставился в потолок. Белый неподвижный известковый квадрат, будто саван, навис надо мной. Прислушиваясь к тому, что творится внутри — то тупой, то острой боли, - я пролежал неподвижно так несколько часов. В палате стало совсем темно, в проеме окна, залитого осенним дождем, тревожно бегали черные тени. Иногда от сильного порыва ветра они проникали в палату, протягивая свои дрожащие руки к моему изголовью. Боль так и не прошла. Иногда она меняла локацию, появлялась в каком-нибудь другом, совершенно новом для нее месте, но исчезать никак не хотела. И чем дольше это длилось, я начинал понимать, что она уже стала частью меня, моей плоти, и я от нее никуда не денусь. Я опять уставился в потолок. Вместо белого квадрата теперь был черный. «Все это вранье! – думал я. – О каком просветлении он говорил? Оставшиеся дни будут ужасными! Кроме потолка, нависшего надо мной, я уже ничего не увижу! Я изучу каждую его трещину, буду знать каждый его миллиметр! Весь мир станет для меня потолком! И последнее, что я увижу, прежде чем исчезнуть навсегда, будет этот потолок!»

Я неожиданно вспомнил своего коллегу, замечательного музыканта – литавриста, который когда-то вместе со мной играл в симфоническом оркестре. Вспомнил, как он угасал, заживо превращаясь в мумию. Вспомнил удушливый смрад, царивший в его комнате, и его виноватую улыбку. «Господи! – взмолился я. – Сколько таких, прикованных к постелям, агонизирующих только в этом городе!»

- Нет! Я не хочу так умирать! – неожиданно громко воскликнул я.

«А ведь доктор что-то говорил об исполнении деткой мечты, - силился вспомнить я. – Говорил, что остаток жизни надо прожить ярко!»

Я стал судорожно копаться в памяти: «Какая в детстве у меня была мечта?!» Но вспомнить ничего не мог. «А может, прочитать лучше молитву?!» Я неумело перекрестился:

- Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое.

Слова застревали в горле, их смысл не доходил, воспринимался чужеродным и отторгался всем моим естеством.

- Нет, это не мое! – с шумом выдохнул я и тут неожиданно вспомнил: «Это же «Снега Килиманджаро!»

Как я мог забыть?!

Этот рассказ Хемингуэя я прочитал в седьмом классе и сразу им заболел! Я помнил его буквально наизусть! Саванна, зебры, антилопы, слоны, жирафы и замерзший труп леопарда у самой вершины! Все это не давало покоя. Я мечтал увидеть это воочию! Но особенно запомнились строки: «Он повернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, впереди увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь».

Вот о чем я мечтал! Увидеть снега Килиманджаро! Увидеть рассвет над Африкой! Где в лучах восходящего солнца, переливаясь всеми цветами радуги, вспыхивая в изломе ледника, то синим, то красным огнем, лежат его безмолвные снега! А вечером, когда розовое дрожащее марево саванн с растворенными в нем тенями акаций, антилоп и слонов, окончательно погрузится во тьму, увидеть, как над вершиной этой горы всходит луна. Как она заливает светом округу, над которой гигантской тенью, чернея и упираясь в звезды остроконечной и заснеженной вершиной, вздыбился древний вулкан! В Южном полушарии небосклон перевернут, звезды поменяли свое привычное положение; зато здесь над самым горизонтом надеждой всех мореплавателей сверкают пять звезд Южного Креста! Недосягаемые, находящиеся за экватором, но мне непременно захотелось увидеть их! «Увидеть и умереть!» – с иронией подумал я. И тут меня осенило! Рассказ «В снегах Килиманджаро» есть не что иное, как описание смерти! В детстве я этого не понимал, зато теперь, глядя на больничный потолок, в полной мере осознал замысел Хемингуэя. В январе 1934 года он тяжело заболел амебной дизентерией. В Дар-эс-Саламе в английском госпитале, лежа на больничной койке, обезвоженный, то и дело теряя сознание, находясь на волосок от смерти, он смотрел в потолок и страстно не желал умереть в своих же испражнениях. Снега Килиманджаро – это образ красивой смерти! Мечта прикованных к больничным койкам! Теперь я знал, чего хочу! Подняться на Килиманджаро! Навстречу снегам! Раскинув объятья, бежать им навстречу! Бежать так, чтобы от разряженного воздуха вскипел мозг! А потом, споткнувшись, упасть! Упасть обязательно лицом на юг, где, как только стемнеет, пятью сверкающими звездами нависнет надо мной созвездие Южного Креста!

Я вскочил с кровати и, несмотря на боль, зашагал из угла в угол. Город давно уснул, лишь несколько окон горело в доме напротив. Я посмотрел на часы – три часа ночи. До утра целая вечность! «Почему я не спросил у доктора о самом важном? Не спросил, сколько мне осталось? Год, полгода, несколько месяцев? Надо успеть, пока не покинули силы, пока боль не парализовала тело, подняться на Килиманджаро, - лихорадочно думал я. – А может, несмотря на глубокую ночь, все же ему позвонить?»

Я несколько раз отвергал эту мысль, а затем не выдержал и стал искать визитную карточку доктора. Но ее нигде не было. Я перерыл все вещи, но она бесследно исчезла. И тут я догадался, что оставил ее в манипуляционной на кушетке, когда раздевался перед процедурой. Меня это не успокоило, я вышел в коридор и направился к дежурной сестре.

В отделении царил полумрак, лишь у сестринского поста, очертив правильный круг потоком света, горела настольная лампа. В ее лучах, подложив под голову руки, спала дежурная сестра. Накрахмаленная шапочка сползла, обнажив прядь светлых волос. Она во сне улыбалась, рот ее был приоткрыт, и из него на пальцы тонкой струйкой стекала слюна. Я осторожно коснулся ее плеча, она встрепенулась и в мгновение ока, будто передернув затвор автомата, привела себя в порядок:

- Вам уколоть обезболивающее? – прошептала она.

- Нет! Мне нужен номер телефона Ивана Степановича.

- Вы с ума сошли! Четвертый час ночи! Но даже если сейчас был день, я бы вам его не дала! Не имею права!

Я вернулся в палату ни с чем. «Какой же я идиот!» – корил я себя. А затем стал пытаться вспомнить номер телефона Ивана Степановича. У меня хорошая память на цифры. Они как ритм; впрочем, они и есть ритм – чередование звуков и пауз. Вскоре я вспомнил все цифры телефонного номера, кроме последней. «Один или четыре? – думал я. Наконец, решившись, набрал этот номер с единицей в конце. На часах было ровно четыре часа.

На удивление мне тут же ответили.

- Я вас слушаю! – это был молодой женский голос.

- Прошу прощения за столь поздний, вернее ранний звонок, - стал оправдываться я. – Но мне очень нужен Иван Степанович!

- Вы кит? – после небольшой паузы услышал я в трубке.

- Какой кит? – опешил я.

- Синий!

- Нет, я человек...

- Не шифруйтесь, говорите прямо! – произнес женский голос. - Я в игре! И готова к последнему заданию! Просто я ждала SMS в 4.20, как договаривались, а вы позвонили раньше, в 4.00!

Я понял, что ошибся номером, нарвался на какую-то сумасшедшую и готов был положить трубку, когда меня вдруг осенило: ведь это игра смертников – «Синий кит», об этом не раз сообщалось в новостях! И эта дурочка наверняка участница этой игры! В 4.20 она получит от своих таинственных кураторов задание, к примеру: «Твоя жизнь – сон. Сделай с крыши шаг и проснись», и ее не станет.

- Да, я кит! – подтвердил я. - И прежде чем дать последнее задание, хочу услышать ответы на мои вопросы. Вы готовы?

- Да! – сказала она.

- Сколько вам лет?

- Восемнадцать.

- Вы где-то учитесь?

- Да, в торговом колледже.

- Какое было последнее задание?

- Нанести лезвием на руке еще одну рану и сто раз прочитать стихотворение, которое вы прислали прошлый раз.

- Помните его наизусть?

- Да!

- Прочтите!

- Я плыву, словно синий кит,

И виднеется берег вдали.

Сердцем сломлен, душой разбит,

Перестало стучать внутри.

Тихо ветер несет облака.

А в четыре утра – рассвет,

Я махну всем рукой – «пока!»

Растворюсь, словно была – и нет,

В новый мир – красивым цветком.

Я старался тянуть время, старался заговорить ее, перешагнуть роковые 4.20, когда должна была прийти SMS со смертельным заданием.

- А теперь очень серьезный вопрос, на который я жду прямого и правдивого ответа, - ледяным голосом произнес я. – Почему вы решились на эту игру? Какие причины заставляют вас покончить с собственной жизнью?

Это было против правил. Смысл этой игры как раз и заключался в том, что подобных вопросов никто не задает. Надо было просто слепо, не думая и не рассуждая, выполнять задания куратора, которых было ровно пятьдесят. Видимо, она растерялась, в трубке долго царила тишина, наконец ответила:

- Я уродина.

- Это ваше личное мнение?

- Нет, так думают абсолютно все, и я в том числе.

- И из-за этого вы хотите покончить жизнь самоубийством? – из последних сил стараясь сохранить самообладание, выдохнул я.

- Да!

Внутри у меня все кипело: «Дура! Дура! - негодовал я. - Сколько людей во всем мире готовы на все, ради того чтобы прожить хотя бы лишний день или час! А эта идиотка! Да чего я с ней вожусь?!»

Неожиданно в трубке я услышал всхлипывание. Она наверняка плакала.

- Вы плачете? – спросил я.

-Нет, нет! Все в порядке!

- Знаете, что я вам скажу! Я вам не верю! Не верю, что вы уродина! Не может быть у уродины такой красивый голос!

Она явно такого не ожидала.

- А он разве красивый? – неуверенно произнесла она.

- Да! Насыщенный, ровный, с бархатными нотками! Скажите что-нибудь!

- Что сказать? – растерялась она.

- Произнесите свое имя.

- Катя!

- Звучит как музыка! Поверьте, я солист симфонического оркестра и профессионально разбираюсь в музыке. Поэтому могу оценить ваш голос по достоинству!

Это было совершенно лишним, мало того что я соврал о солисте, я мог сейчас выдать себя. Кураторы смерти ведут себя по-иному, сохраняют инкогнито, а я назвал ей свою профессию. Но на часах уже было 04. 20, роковое время настало, SMS наверняка доставлено, и я пошел ва-банк. К тому же, как мне показалось, она уже втянулась в эту новую, предложенную мной, игру и ждала ее продолжения.

- Мне такого никто никогда не говорил, - растерянным голосом сказала она.

- А какого цвета ваши волосы?

- Рыжие.

- Это мой любимый цвет! – соврал я. – Цвет червонного золота! В них обычно застревают лучи заходящего солнца, а потом еще долго стекают янтарем, живицей и медом.

- Как вы красиво говорите! – вздохнула она.

- Ну, а глаза? Какого они цвета? – не давал я ей успокоиться.

- Зеленые с желтыми пятнышками.

- Не шутите? Это мой любимый цвет! Два омута, поросших ряской с вкраплением желтых кувшинок! Я хотел бы в них утонуть!

В трубке опять послышалось всхлипывание.

- Вы плачете?

- Да!

- Но почему?! – не понял я.

- От ваших слов.

- Я что-то не то сказал?

- Нет, нет! Вы очень красиво говорите, но это не обо мне!

Я не знал, что делать. А потом осторожно предложил:

- А вы можете по Viber отправить свою фотографию?

Она долго молчала, затем спросила:

- Это тоже задание?

- Да! – строгим голосом сказал я.

- Хорошо.

Мы рассоединились, и я уставился на экран. Он долго оставался черным, наконец прозвучал сигнал оповещения, а вслед за ним вспыхнула иконка Viber. Я с нетерпением ее открыл и обомлел! На меня смотрела довольно миловидная девушка со вздернутым носиком. В ее рыжих волосах запуталось солнце и золотыми монетками рассыпалось по лицу.

Я мгновенно набрал номер ее телефона:

- Вы издеваетесь?!

- Вы о чем? – растерянно пролепетала она.

- Это действительно ваша фотография?

- Да! Моя!

- Но вы же красавица!

- А нос, губы, веснушки на лице? – неуверенно произнесла она.

- Вы прекрасны! Я бы все отдал, чтобы прикоснуться к вашим волосам, губам, поцеловать каждый солнечный зайчик на вашем лице!

- Меня всегда, сколько себя помню, - после долгой паузы отозвалась она, - называли рыжей конопатой уродиной. В детском саду, школе и особенно здесь, в колледже!

- Не верьте им! Вы самая красивая девушка на свете! А теперь я даю вам основное задание! – строгим голосом сказал я. - Сейчас вы ляжете в постель, закроете глаза и перед тем как уснуть, постарайтесь почувствовать мой поцелуй.

\*\*\*

- А у вас крепкие нервы! Не добудишься! – услышал я голос Ивана Степановича.

Сдернув с себя одеяло, я присел на край кровати.

- Зашел вас поздравить! Результат отрицательный!

- Что значит отрицательный? – не понял я.

- Атипичных клеток не обнаружено! Опухоль доброкачественная! Будете жить, коллега! Впрочем, какой вы мне коллега?! Подобным результатом я лично похвастаться не могу.

- Как?! – опешил я.

- А вы думали, что болезнь обходит врачей стороной? Ничего подобного!

Выйдя в коридор, я долго смотрел ему вслед, а когда он исчез, ринулся к своей палате.

Ее телефон долго не отвечал, наконец я услышал сонный голос:

- Это вы? – обрадовалась она. - Я так сладко спала!

- Катя! – выпалил я. – Я хочу подняться с тобой на Килиманджаро!

- Я что-то слышала об этой горе! Где она находится?

- Не важно! Я хочу показать тебе Южный Крест!

1. Хряков Артем «Ванечка»

***Артём Хряков***

**Ванечка**

Рассказ

 Перед прошлогодним великим декабрьским потеплением у меня с участка пропала лопата, которой снег чистят. Фирменная, «Fisсаrs», специально купленная в дорогом московском хозяйственном магазине. Полусовковая, мощная, для расчистки сугробов. Когда с моей высокой металлочерепичной крыши срывается лавина и ложится длинным могильным бугром аккурат на дорожку, по которой ходят в дровяник, – вот тут «Fisсаrs» незаменим. Ни у кого в деревне такой крыши нет, никому такой «Fisсаrs» не нужен. Кроме Ванечки. Моего любимого односельчанина, рукожопого русского мужчины, встающего с колен всю свою сознательную жизнь, примерно с пятого класса. Ванечка этой зимой, вместе с братом Сашкой и тракторишкой «Беларусь», рубит делянку неподалеку от деревни, и мой «Fisсаrs», ежу понятно, очень удобен для расчистки снега вокруг ствола елки или сосны. На порядок удобнее, чем деревянная лопата-самоделка, которой Ванечка чистит дорожки к курятнику и сортиру на своем участке.

Собственно, взял и взял, на здоровье, я всем всё даю, и все всё берут, не благодаря при отдаче, (если слово «угу» в конце процесса не считать благодарностью).

Но – тут есть культурный нюанс. Односельчане, перед тем как что взять, в обязательном и назойливом порядке спрашивают друг у друга предварительного разрешения. Потому что, если не спросить – считается воровством.

Без большого снега лопата «Fisсаrs» мне не нужна. Но на всякий случай спрашиваю у Ванечки, столкнувшись с ним на дороге, – когда отдаст лопату? Ванечке никакого нет смысла врать, он набирает воздуху, хочет сказать правду, но в последний момент дьявол сталкивает его с узкой тропы добродетели: «Какую лопату, Анатольч?» – Знаешь, какую, «Fisсаrs». – Какой, ага, фискарс? – бормочет Ванечка, пытаясь пальцами остановить забегавшие, как мыши в бане, глаза, – впервые это… А? у тебя чо, лопата пропала, в смысле, гм-гм, ну? Это, у нас в деревне такого чтобы никогда, ты ж понимашь, в смысле, давно, ага…

С воровством, повторюсь, в нашей деревне, действительно, строго. Пропажа старых грабель с огорода, по мироощущению односельчан, идеально подходит под квалификацию грабежа и влечет вызов милиции. К этому приучил нас покойный Миша Сумкин, который во времена своих легендарных запоев равнодушно и методично тырил всё, на что падал свет в конце его тоннеля. Милиции Миша не боялся, потому что пьяным не чувствовал боли. Потом он умер, но дело его живет – в лице Саши Сумкина, Мишиного сына, такого же алкоголика и вора, но не имеющего папиной харизмы, отчего постоянно присаживающегося на небольшие срока.

Переждав пару минут, я с легкой, но внушительной улыбкой говорю Ване, что бог видит всё, а увидев, милиции в уши правду шепчет. (Это у меня такая манера общения с соседями, строгая ирония с добрыми ленинскими искрами, но не все односельчане вообще понимают, что такое ирония, и культурное противостояние это, боюсь, разрешить уже невозможно).

Услыхав про бога и милицию, Ванечка вспыхивает бенгальским огнем системы «понаехххали москвичи не продыхххнуться от ниххх», с двойным выходом и перебором, но я, видевший этот номер много раз, разворачиваюсь, иду в свою избу, к дивану, к Фейсбуку.

В последующие встречи с Ванечкой я отворачиваюсь и гляжу на другой берег реки, интересуясь именно той дальней сорокой на елке, а на Ванины позывы типа: «Привет, Анатольч!» отвечаю без интонаций: «Разумеется».

Становится жалко лопаты, которую теперь Ваня закопает, – сознаваться – кранты, всё, уже нельзя, а втайне владеть приметным инструментом не получится, в русской, друзья, деревне живем!

Через неделю, выйдя на задний двор на старом участке, я вижу в пустом дровянике стоящий у боковой стены «Fisсаrs». Линия опуса, по выражению Бегемота, становится ясна насквозь. Ваня не рискнул закопать ва-банк, а вдруг есть свидетели!? А так – это же ты сам, Анатольч, перенес лопату из места, где она нужна, в место никчемушное, и, перенеся, сразу забыл, потому что пишешь всякую херню на компьютере и вообще москвич.

Проведя молниеносною рекогносцировку, я аккуратно отставляю «Fisсаrs» на метр в глубину дровяника, где его невозможно углядеть с крыльца. А на ожидаемый от Ванечки вопрос, не нашлась ли лопата, тревожно отвечаю: – Нет! Опросил всех наших, и коли, прикинь, никто не сознается, надо написать заявление, что ж будет дальше, если…

– Да ты хорошо смотрел-то? – срываясь, перебивает меня Ванечка, и голос его дрожит, – у тебя ж два с половиной участка, громадная площадь, поставил тихо в бочок, она где и стоит?..

– Возможно, – смиренно киваю я, – завтра тщательнее огляжусь, конечно, Ваня, ментов просто так не надо, неприятность для всех, зачем, понимаю, да.

Наутро «Fisсаrs» стоит на прежнем месте, даже чуть ближе, отчетливо видимый с крыльца. Я роняю его вдоль стены дровяника, а торчащую ярко-желтую, билайновскую ручку, так удачно прикрываю куском березовой коры, что с крыльца лопата совершенно растворяется в пейзаже.

Иван впадает в панику, ходит кругами, как Панночка вдоль меловой черты Хомы Брута. Ваня очень боится милиции, особенно после двух последних посещений этого заведения. Хотя положение у него не безнадежное, «Fisсаrs» ведь находится на моей территории, он так милиции и ответит, если приедут и спросят, – причем воще здесь я, Ванечка?

Сообразив эту деталь, я, замаскировав покупкой пряников выход к автолавке, намекаю Светке Сумкиной, что Галка Боровцева (лютый Ванечкин враг) вроде, типа, видела, кто именно вынес с моего участка большую черную лопату с иностранной надписью. Светка уходит, забыв купить селедку, а Ваня в этот же вечер два раза с нажимом спрашивает, нашел ли я наконец, что потерял?

Через пару дней, ощутив, что мой Гамлет устает, что действие начинает прокручиваться, а к финалу необходимо суперсобытие, которое подготовит битву протагониста (Ванечка) и Мирового Зла (я), я захожу на Ванечкин двор и прошу у его бывшей супруги Томки (они развелись, но живут в одной избе, как же ещё?) телефон отделения милиции. Ваня роняет набранные в охапку полена, подходит и некрасиво смотрит, как я забиваю в свой телефон продиктованные Томкой цифры. Выскочив вслед за мной на улицу, Ванечка бормочет, что я совсем не мужик, если вызываю ментов из-за лопаты, что это всё чушь, что он, если захочет, прям сегодня, сейчас, «Fisсаrs» найдет.

– Где-то у тебя, – добавляет, совсем, практически, палясь.

Я смотрю вблизи на Ваню. На его когда-то голубые, а теперь блёклые глаза, в которых неразличимая радужка удерживает зрачок посреди томатного озера белка. На кирпичные щеки, покрытые густой сетью алкогольных капилляров. На жесткие, как стиральная доска, руки русского труженика, которыми Ваня, их не покладая, за всю жизнь не соорудил ничего хорошего. Пронзительная жалость сжимает моё сердце.

– Ладно, – говорю, – приходи через три минуты, я компьютер выключу, и вместе поищем.

– От так! – вскидывается Ванечка, – печку счаз подпалю и примчусь!

Я захожу в дровяник, беру «Fisсаrs», несу в мастерскую, кладу под верстак, укрываю мешковиной. Выйдя, запираю дверь, как в нашей деревне положено, на два амбарных замка.

И затем сорок минут под моросящим дождем хожу за кудахчущим и медленно сатанеющим Ванечкой, размышляя о том, что Евгений Онегин был невероятно балованный лентяй. Не постигаю, как он мог скучать в деревне, ведь у Евгения возможностей было на порядок больше, чем у меня.

Проходит две недели, деревню накрывает Новый год. Бесснежный, морозный, лютопьяный. Соседи мои и понаехавшие из Москвы ихние родственники гудят, как положено, двое суток, не разгибаясь, – с воплями, песнями, детским плачем, футболом пустыми бутылками на льду реки, спусканием цепных псов, поджогом дешевых петард и дорогих бензиновых костров.

На третьи сутки, после всеобщего угомону, в мою избу скребется Светка Сумкина. С синим лицом, в мини-юбке, без колготок и, кажется, трусов, со сбитыми в кровь коленями. Ввалившись, сипло заводит свою арию: «Дядечка Тёмочка, десять капель, пять хотя бы капелюшечек, сердце рвется, потрогайте (лифчика на Светке тоже нет), не оставляйте ребеночка сироткой, вы добрый какой дядечка, про вас все знают, всё знают…»

Наливая из стратегических запасов и доставая из банки огурец, я узнаю от Светки поразительную новость – Ванечку часов пять тому назад по вызову свинтила милиция.

– За что, Света?

– За брата моего, Сашку, избил его дядя Ваня.

– Сашку? Сумкина? Да ведь он сидит за воровство.

– Откинулся, дядечка Тёмочка, около месяца, но в деревню не вернулся, забоялся, потому что нехорошие друзья его искать обещали. Сашенька с кентами в Соблаго кентовался, приехал только Новый год с нами встретить, семейственно, а тут дядя Ваня пятый день на бреющем, увидел Сашеньку, давай лупить.

– За что, Светка?

– Да за лопату. Украл, кричит, сучок, лопату, я, дескать, знаю, что ты! Я за братика заступаюсь, распахнула сараюшку, кричу: «Забирай, дядя Ваня, каку хошь мою лопату!» – а он как не слышит. Тут тетя Галя Боровцева в милицию и позвонила, ну, оно и понятно, дети в деревне, страх, непорядок.

Дожевав огурец, Светка поправляет огрызок новогодней мишуры на гордой голове и, держа ногтями равновесие по стенам коридора, уходит в темноту.

Если я не уеду в Израиль (что почти нереально), – эти люди в свое время будут меня хоронить.

Тихонько пошел мелкий снег.

Через неделю надо будет достать «Fisсаrs»

1. Черепанов Сергей «Восторг и доверие»

***Черепанов Сергей***

**Восторг и доверие**

1

– Сними ошейник – пригодится для новой собаки.

– Новой не будет. Я уже не вынесу.

– Тот раз то же самое говорила…

– Нет. Мы уже не те. Старые. Маленькую не хочу. А большую – силы не те.

Мэл лежал на полу, положив голову на лапы, тело его еще не остыло.

Бывает так, ляпнешь, не подумав, а потом всю жизнь стыдно. И неясно, необъяснимо – почему ляпнул? Будто не сам – кто-то за язык тянет. И после того, как сказал, как выложил эту мерзость (насчет ошейника) вслух – какой-то еще куражок гаденький: решился все-таки! И тут же хочется кричать: это не я! Это мне нашептали… А не кричишь – стыдно, а слова не идут…

Поначалу казалось, это мне проклятый подкинул, тот, в кого и не верил даже. А может – и не он. Может быть, сам Мэл и дернул меня за язык, как я его – за поводок. Сколько же я его дергал… И вынюхивать не давал, все торопил – куда?! А в последнюю неделю он не хотел, упирался, а я тащил за собой – и на гору, и в дождь. Не чувствовал, что ему тяжело, подгонял, палкой выпихивал из-под дивана…

Это он мне шепнул. За бездушие мое ежедневное, за то что не раз и не два считал его обузой. И особенно в последние месяцы: он уже не мог держаться, писался с самого утра. А я тянул, будто не мог встать пораньше, и возился с туалетом, и мечтал о чем-то на зарядке.

Вот и отец пенял мне, что опаздываю с выходом. Говорю, мол, «через пятнадцать минут», а сам – двадцать пять, и больше, приходится ждать. Мэл мучился и уже делал под себя, то есть писался, но не укакался ни разу, держался, и только один-единственный раз, с последним выдохом… А я тянул.

Господи, что ж мы за люди?! Не слышим, не видим… Неужели есть что-то важнее сочувствия. Знаю, что нет, знаю, а не делаю, живу себе…

Этот долг я уже не верну. Ни ему и никому из тех, кого нет, кто ушел из моей жизни раньше, оставляя меня должным.

2

– Какой нескладный! – присев на корточки, сказала Лора.

А существо, покачиваясь на тоненьких ножках, таращилось из-под нависающих прядей, и хотелось отвести их, как-то причесать, потому что глаза, то есть очи – огромные цыганские – косились то на меня, то на жену.

– Подрезать нельзя. Я где-то читала, у такой породы глазки от яркого солнца болеют, закисают, и даже может ослепнуть.

Мэл перевел взор на хозяйку. «Вот кто здесь решает, понятненько, и кажется, она уже решила…»

Прошло три месяца, как Люка не стало. Люка – породистого «немца», красавца и баловня, за которым плакали неделю, и сейчас, глядя на Мэла, первая мысль была о предательстве, о том, что рана еще не зажила, ведь Люка так любили.

А как не любить, когда в четыре месяца – первый клещ. И хотя удалось спасти, выходить, задние ножки стал тянуть, бегать уже не мог, заваливало то вправо, то влево, зато грудка раздалась вширь, точно у Васи-Моряка со второго подъезда, безногого инвалида, ловко и даже лихо забрасывающего себя на очередную ступеньку.

«Какой красавец!» – никто не мог удержаться, входя в комнату и первым делом обнаруживая его в позе широко известной фарфоровой статуэтки: Люк поворачивал голову неспешно, с достоинством. Впрочем, он тут же вставал, и виляя припадающим задом, направлялся к незнакомцу, обнюхивал, но не лаял, и выполнив собачью работу, ложился у входной двери.

«Ножки?» – спрашивали обычно. И с этой минуты разговор получался доверительнее и откровенней.

– На верблюда похож.

– А по-моему, на Славку, Нудельмана.

– Ты имеешь в виду глаза или наглость?

– Тише… Он, кажется, все понимает.

– А говорила – ни за что, после Люка – никогда.

– По-моему, он хочет пить.

– И кушать, и всего остального.

Мэл потянулся и лизнул хозяйкину ладонь.

– И хитрый, как Славка…

3

Версия о том, почему его назвали Мэлфином, на самом деле – одна. Имя придумал мой сынок, и это единственное, за что пес должен быть ему благодарен.

– А кто принес его? Кто нашел?

– Нашли, допустим, его подружки, вырвали малыша, как гласит легенда, из пасти разъяренных дворняг и всучили тому, кто с полной безответственностью сказал: «Да, у нас как раз сдох…»

Да, он добрый мальчик.

– Добрая – ты. И я, по необходимости. А он…

– Ты не доволен? Ты только глянь на эти глазены, на эту хитрую морду. У-у-у! – вытягивая губки, умиляется, и собака делает такое же любовное движение навстречу, но от полноты чувств валится на спину, раскинув ножки, голова набок, косясь и замирая в позе полнейшего доверия – ах, чешите, тискайте, целуйте меня везде.

– И ты считаешь, мы могли эту радость не взять?

4

Те, кто меня хорошо знает, поверить этому не должны. Даже если Лора подтвердит, даже если и я кивну, мол, да, ляпнул. Нет, скажут они, мы знаем его многие годы, и даже если и не хватало сочувствия, он сделал бы вид, изобразил бы что-то созвучное на лице и делом постарался бы исправить, компенсировать душевную черствость.

И правильно скажут. А разве не я носил его, измученного очередным клещом – а было их четыре! – разве не сидел в «Добродии», переживая, дожидаясь результатов осмотра и пока прокапают, проколют; разве не подтирал за ним, ослабленным энтеритом, все – и рвоту, и понос; разве не стриг, не купал, не выгуливал…

Хорошо, ты права, кормление, купание, стрижка – в основном были за тобой. Но кто, как безумный, гонялся за ним и по нашей горе, и по лугу на даче, когда он удирал на свободу?! А кто вырывал его, драчуна и забияку, сцепившегося, визжащего от укусов, кто рисковал нарваться на зубы буля или ротвейлера, или этого безумного черного громилы с третьего подъезда?!

А кто всегда говорил: у нас одна собака, не надо считать, заработаем, едем в клинику, пусть дорого, но они – специалисты; кто в конце концов давал деньги на все, и на этот чертов ошейник, новый, купленный за пару дней до…

Я по-прежнему не могу выговорить «подох». Понимаю, что «умер» неправильно. А «подох» – не могу. «Подох» – тоже неправильно. Чего-то в нем было больше, чем у нас… Доверия? Восторга?

5

– Папа звонил. Сказал, что если он нужен, может помочь, пойти закопать Мэла на Горе.

– Так никто уже не делает. Вызывают бригаду.

– Я вызвала. Если хотим, чтобы его сожгли отдельно и нам дали урночку, – 1000 гривен. А так – 500.

– Зачем нам урночка…

– Я и сказала – 500.

На второй день я улетел в Индонезию, на Бали. По индуистской традиции людей здесь сжигают, а пепел развеивают на берегу океана. Я на минуту пожалел, что не взял урночку. Можно было бы развеять на Горе или над Лугом.

6

Луг… К вечеру жара спадала, и луг, накопив ее за день, возвращал запахами. Поначалу – душными и медовыми. Только затем, внюхиваясь, можно было уловить что-то еще – полынь, луговую ромашку, коровьи лепешки, разложенные по целине и на тропинке, а после этого угадывался аромат самой земли, чернозема и торфа. Луг местами горел, прогорая на метр и более, и примесь пепла, когда нога вдруг проваливалась и сероватое облачко поднималось над коленом, примесь эта напоминала о пожарах, о дыме, едком, стелющемся, об осени, до которой кажется еще далеко, а запашок уже здесь, неприятный, стариковский.

Это немыслимое соседство – вольного, напоенного цветами и травами, ветерка, пьянящего кислородом, и душной, пропитавшей все и вся гари всемирного крематория, немыслимое и такое естественное, заставляло полнее дышать и острее внюхиваться, идти пружинистее, смелее, и отпускать Мэла с поводка.

После всех его побегов, бессовестных обещаний «никогда и ни за что», после всех моих клятв «в жизни не идти у него на поводу», Мэл – различив щелчок карабина – на секунду замирал, не веря своему счастью, и сделав два-три шажка – бросался с тропинки и исчезал в ковылях. А я спешил на пригорок – следить, увидеть, куда бежать, где искать и вопить на весь луг ненавистное в этот момент имя. Сначала он двигался радиально, одними ему известными волнами, убегая и возвращаясь, и пересекая тропу. Голова его была опущена, он был там – под землей – в запахах, в движении живности, напоминая о том, что норные собаки, его родители и предки, ведали о том мире немало и немало завещали ему. Забеги его становились все дальше, и вдруг, уловив чье-то испуганное дыхание, он бросался копать, скрести передними, и помогая им задними лапами, засовывая нос все глубже и глубже, отфыркиваясь и замирая, прислушиваясь и отбегая в сторону, к тому – второму, запасному выходу из норки, куда поползла мышка или крот.

Я не помню, чтобы он когда-нибудь кого-то поймал. Ему, я думаю, было довольно «сего сознанья», того, что вот он – плоть от плоти – тот, породистый, норный, и родные смотрят на него с гордостью. А еще, я думаю, он хотя и стремился поймать, но в последний момент забывал о врожденном инстинкте и не посягал на их жизни, понимая, каково им – слепым и зажатым в слоях земли, утопающим во время паводка и сгорающим в торфяниках, каково им по сравнению с ним – вольным, стремительным. И, может быть, кто-то, нашептывая, удерживал его от последнего броска, и он поражался тому, что слышит и понимает, и повинуется…

И тогда он, мой недолюбленный пес, фыркнув в последний раз над норкой, как-то странно отпрыгивал в сторону и принимался гонять по кругу, вытянув голову и хвост, наматывая круги за кругами, кренясь от выносящей его центробежной силы и увеличивая темп до совсем невозможного, до безумия, и наконец, останавливался, отдышиваясь боками, языком и всем телом, показывая, как ему хорошо…

7

Настоящая любовь приходит тогда, когда мама уже лучше всех знает, что солнышку ее нездоровится, и трогает губами лобик, то есть проверяет, не сухой ли нос, и не мечется, не зная, куда бежать и кого приглашать на дом, а тут же тащит его в «Добродий», и он упирается, как все дети, но все же идет, понимая, что мама хочет ему добра.

Два последних клеща были «уловлены» еще до того, как он заболел, по самым отдаленным симптомам, и это его спасло.

– Анализы будут завтра, с утра, – сообщил доктор. – Так что привезете завтра, и если что – начнем лечение.

Но Лора сказала:

– Лейте! Сейчас, мгновенно.

И это его спасло. И тогда. И еще раз.

8

«Так свезло мне, так свезло. – думал он, задремывая, – просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире». Нет, это слова не Шарика – Мэла; и ошейник его – не только собачий портфель, свидетельство о рождении и внутренний паспорт, а в нашей семье еще и паспорт «закордонный». С собой я его не брал, но каждый раз привозил нечто, найденное на морском берегу или в джунглях, на горной тропе или сельском базаре. Вынимая из рюкзака и раскладывая привезенное на журнальном столике, я не замечал, что и он крутится здесь же, и ноздри его подрагивают от стойкого аромата просоленного плавника, который он решался лизнуть, или все еще теплого вулканического туфа с Азор или Сейшел, или оловянного амулета, найденного в подземных лабиринтах Куско, отдающего пещерной сыростью, – ему, конечно, все это ему, – куда мне до собачьего нюха…

А я о нем и не думал. Хватало детей, приходили друзья, и я снова раскладывал мои «драгоценности», и потирая очередной листок пасхианского эвкалипта, предлагая вдохнуть краесветные ароматы, не представляя, что видится, что слышится ему из-под дивана. И куда он будет бежать этой ночью, суча лапами, подергиваясь и постанывая во сне.

Бывало, он засыпал не под диваном, а на коврике, и нельзя было не остановиться, и Лора звала меня шепотом:

– Иди, иди скорей!

– Бежит?

– Ну, иди же…

И мы затихали, точно над детской кроваткой, пытаясь понять, краем какого моря гонит его судьба, куда и зачем, и по чьему примеру…

9

– Что так долго? Опять убежал? Да что ж это такое?! Может, ему какую-то антивиагру подавать?

– Чуть не убил гада. Подбегаю к своре, а он отбегает. Я за ним, а он кругом – и опять туда же. Спасибо, Гена подманил…

– Он его любит, а тебя боится…

– Когда поймал, дал ему, конечно, а сейчас душа болит. Ведь инстинкт.

– Есть, мне говорили, какой-то «антисекс»… Но он, кажется, для кошек…

– Не поможет. Ты б видела, выходим на Гору – и все к нему. Красавец! Гадость такая!

А «красавец» косится из-под дивана. Не вылазит, знает свою вину.

Если бы собаки заводили семью, то он – пра-пра-пра-пра – был бы, наверное, как Адам или Ной, – родоначальником, патриархом, аксакалом, не знаю, как еще назвать, – Акелой целого народа. Только одна Эльза, овчарка при гаражном кооперативе, как кошка влюбившаяся в него чуть ли не щеночком, лет, наверное, шесть приводила от него по шесть, семь, а однажды и двенадцатеро таких умилительных созданий, что разбирали их сразу (или продавали, не знаю), но точно знаю – не топили.

Сторожиха, баба Тоня, любила «свою девочку» не меньше, чем мы. И каждый раз, выходя нам навстречу, наблюдая, как юлит, крутится, лащится до Мэла Эльзочка, – Тоня поджимала губки, и сбросив лет, наверное, 45, так вздыхала и охала, что было ясно: и зятя она принимает, и деток, и всякое иное потомство. Думаю, это она в конце концов нашептала Эльке всякие глупости про его амуры на стороне, потому как та стала гнать его, верного и любящего, да так гнать – бросаться, кусать, облаивать, мол, нечего сюда, – как только редкие бабы и могут. Ну, погулял человек немножко, какой ей убыток, что он – не казак? Или какой надо быть редкою сучкой, чтобы ни с какой уже другой не делиться, не радовать?

Зато если Эльки поблизости не оказывалось, все его щенячье потомство бежало к папеньке, и с каждым надо было побаловаться, погонять. Мэл не чурался, гонял, валил нападавшего, хватая его за живот или за голову с осторожностью, порыкивал для порядка, когда какой-нибудь внучатый племянник из неразобранных повисал у него на хвосте. Баловал, а вот учить, как вынюхивать, как раскапывать норки на лугу, этому не учил. Элька всем своим сторожевым видом учила ремеслу, а он – нет. И все же, я думаю, Мэл гордился: и собой, и красавицей женкой, и весело бежал к бабе Тоне, чего я лично от него ожидать не мог. Но такое бывало уже не часто.

Дом. Семья, дети… А дерево он посадил так. Нашу ветеранскую площадку на Горе мы пытались спасти разными способами: телевидение, министр спорта, статьи, запросы легендарного генерала и известного поэта-депутата, пикеты…

Гена предложил обсадить ее деревьями, по кругу, неважно какими – фруктовыми или нет, важно – саженцами. Они увидят, что молоденькие, только что посаженные, – не посмеют. А мы все заснимем, акцию проведем, расскажем об этом.

И вот взялись за дело. Каждый принес по саженцу – и вышло их даже больше, разного размера, сорта, целый гербарий, или как выразился наш депутат – «интернационал». Работа закипела: кто копал ямы, и Мэл тоже помогал, кто придерживал саженцы над лункой, я бегал за водой, и Мэл – следом. Ведра у нас не было, я набирал воду в кулек, каждый раз опасаясь, что вот-вот порвется, что в конце концов и случилось. До последней березки оставалось буквально пару метров. А другого кулька не было.

– Что ж, мужики, – придерживая деревце, предложил Гена, – поможем природе?

И народ откликнулся сразу, увлажняя землю в тот раз не слезами и потом, а весело, по-мужски. И Мэл не остался в стороне.

Слезы были потом. Утром пришли, а все посаженное повырвано, порублено, растащено. Оставили только одну березку, ту самую, у забора.

И сейчас березка стоит. Выросла. Я туда не хожу, противно. Гена рассказывал.

Гору вырубили, устроили стоянку, и мы перебрались поближе к дому, комбинируя для недолгих теперь прогулок три соседних улицы, три тротуара, где собачке, извините, и сходить негде, не то что обзаводиться семьей. Я думаю, что Мэл тоже кого-то из них проклял – заказчиков и исполнителей – как прокляли их униженные и оскорбленные ветераны, лелеявшие свое детище, свой кусочек здоровья на Горе. А может быть, и не проклял… Но почему собаки должны быть лучше людей?

10

Не знаю, может, теща сказала «покороче», но, короче говоря, сняли они с собачки все, как с овцы, как с пуделя соседского, кобелька, которого он гонял, я теперь понимаю – именно за этот женоподобный прикид, за походочку на-цирлах, точно, как и его хозяин, прости господи…

Я же знал, чем этот «салон» может кончится. Понимал: лишите усов Мимино – и куда спрячется его улыбка? Побрейте налысо Битлов – и куда денется их шарм, харизма, скажу больше – стать. Да что там стать – суть.

Обычный его «прикид» был небрежен, как у истинного мачо. Легкая проседь, бородка а-ля д’Артаньян и шерсть, местами закудлаченная, но длинная, как донжуанский список. Уши мы не подрезали, и торчали они каждый раз в разные стороны, отчего и «горцы» встречали его по-разному. Цюцько – солидно: «Ну, козаче?» Серго называл его «птичка моя». А Гена, завидев нас издалека, всклочивал обеими руками свои уже редковатые седые кудри, и присев на корточки, растопырив пальцы, рычал: «А-ррр!» И Мэл, спущенный с поводка, летел навстречу – к нему – кудлатой и хвостатой кометой…

Его вывели из салона, он дошел до дома, глянул в зеркало и сразу полез под кровать. Вечером выходить отказался. Утром на Гору шел робко, оглядываясь, и, не пройдя и половины, потянул меня домой. И только поздно вечером попросился. Мы вышли из дома… и я снова его предал…

А ведь знал, что предавать – плохо. Хуже не бывает. Знал с самого детства: врагов могут пожалеть и взять в плен и даже иногда за храбрость простить, отпустить. А предателей расстреливают на месте, и так им и надо – предателям!

А тут… На перекрестке Мэл увидел Женю, залаял радостно, завилял как обычно хвостом, потому как не каждому доверяли мы поводок, разрешали и по бульвару вести, и через дорогу. Было время, когда гуляли мы часто, Мэл привязался к нему, и когда Женя вел – шел ровнее, не дергал, и мне даже казалось – прислушивался к нашим разговорам…

Женя увидел его еще с той стороны улицы и вдруг, выкинув вперед руку, тыкая в него пальцем, захохотал, и так шел к нам, хохоча и привлекая внимание. Людей было немного, но и те, что были, – со всех сторон оглянулись на Мэла, голенького, и я, предатель, хихикнул в ответ. Меленько, гаденько. Вы скажете, глупости, ерунда, если кто и предал – то он, Женька, чего так казниться? Но мне за мой смешок противно и горько… Что – он? Он и не думал, что собачке делает больно, а я ведь уже видел, как Мэл переживает, как плохо ему… Впрочем, страдал он недолго, и Женькин хохот, возможно, пошел ему на пользу. Через пару дней он рвался с поводка и тянул меня на Гору, как раньше. И там встретили его, помолодевшего, совсем другими улыбками. И надеюсь, мой угодливый смешок он забыл, или заставил себя это сделать.

Кто-то мне говорил, что слова они помнят плохо, а вот запахи запоминают навек… Интересно, а как пахнут подлость и предательство?

11

С одной стороны – этого быть не может. А с другой, как иначе объяснить? Как?

Мэла воспитала Тави, наша кошка. К тому времени, как он появился, Тавочке было уже лет восемь, и роды у нее были одни тяжелее других, и резали ее, бедную, не раз, вымучили. Может быть, это сыграло, не знаю, может быть. Но смелости, бесстрашию Мэла научила она, привила своим полным безразличием к самым отпетым дворовым собакам. А ее полет с шестого этажа за зарвавшимся голубем, нагло клевавшим из ее блюдца, запомнился всем, и Мэлчику, совсем тогда еще щеночку.

С Серго, близким моим другом и бывшим хозяином Тави, на Горе мы встречались по выходным, и каждый раз «птичке» доставалось, заигрывались они в догонялки, и мяч кидать ему не надоедало, и палочку ему, а не мне приносил Мэл, хотя приносил без охоты, но возвращал, понимая: что-то еще движет моим, а теперь и его другом. Не знаю, догадывался ли мой пес или нет – а деток у Серго не было, не отсюда ли терпение, желание наиграться? И в субботу, и в воскресенье тянул меня Мэл на Гору с особенной силой, и возвращаясь после зарядки, расходясь на развилке (Серый – налево, а нам – направо), все гонял между нами, носился – то к нему, потом ко мне, и снова к нему, и назад…

Почему так вышло, что Серго, Мэл и Тави все вместе дома у нас не встречались, я сказать не могу, может быть, кого-то увозили на дачу, или спасали от клеща, но Мэлу было уже года полтора, когда Серго зашел к нам вечером, и Тави, увидев его, тут же кинулась под диван, а Мэл, завиляв хвостиком, пошел было навстречу, но Тави – а кто же еще? – что-то мяукнула из-под дивана, и Мэлфин поджал хвост и полез туда же.

С того дня, по-прежнему забавляясь с Серго на Горе, дома при его появлении Мэл преображался: стоило тому зайти – мгновенно прятался и выползать не желал ни в какую. Впрочем, и на Горе отношение изменилось: за палочкой Мэл бегал, как и раньше, а вот на поводке у него идти не желал, нервничал, косился на меня, теряя весь свой горный кураж.

Что же она сказала ему, отданная Сережиной семьей кошечка, отданная не по злому умыслу, а по причине аллергии на шерсть, обнаруженной врачами у его супруги?

Неужели именно это: бойся его – они отдают, сначала взяли, а потом отдали, меня отдали, вот так он пришел, взял и увел. Смотри, чтобы он не пришел за тобой!..

12

Господи, зачем Ты создал собаку? Чтобы показать человеку, какими могут быть (должны быть) настоящий восторг и настоящее доверие? Доверие, которое глубже и безграничнее самого-самого – горного или лугового восторга?

Или для того, чтобы показывать нам подлость и предательство наше? Боюсь, что в 144 000 праведников люди не попадут. Собаки, слоны, дельфины – возможно, не исключаю и некоторых детей… А взрослым надо разбираться, вынимать из потайного шкафа и выкладывать наружу грехи свои.

Вот и мерзость мою об ошейнике – собачка мне не случайно в уши вложила. Знала: навряд ли он возьмется за перо. Деньги на кремацию даст, и развеет пепел над Горой, а лучше – над Лугом, но развеет – и забудет, забудет быстрее. Мол, исполнил свой долг, чего еще? Ты прав – без совести не было бы ни творчества, ни этого Мира – лучшего, прекраснейшего из миров.

Что же мучило Его, приступающего к Сотворению? Что там – в Его Потайном Шкафу, Какая Беда? И КОГО Ему Просить о Прощении…

13

– Участковый приходил. По поводу Мэла.

– Мэлфина?.. Элька подала на алименты?

– Соседи жалуются, что он гадит на детской площадке.

– Ну, ты сказала, что мы выходим со двора?

– А папа, когда выводит, сидит на лавочке.

– Так лавочка же не на детской… Ну, посидел старик пару минут…

– А когда дождь – гуляет во дворе. Есть свидетели. И когда Риту выводят, папа его отпускает… Вокруг дети. Я уже не раз ему говорила…

– Хорошо, поговорю.

Риту – с третьего подъезда – мы любим. Такое ласковое существо. Юлит, носится вокруг него, поджав хвост, приглашает побегать. А Мэл – потрусит следом и стоит. Что вы хотите, скоро четырнадцать. Старичок. Не видит, слышит плохо.

– Я только вечером отпускаю, – говорит папа. – Когда никого нет.

– Я тебя прошу.

– Вот сволочи! Я знаю, кто это! С 68-й! Я пойду к ней!

– Я тебя прошу!

– Но сволочи же какие…

Ходить уже не пришлось.

14

Мы сидим на лавочке. Наконец потеплело, небо очистилось, и звезды

– голубые, весенние – развесились над липами.

– Это Орион. Охотник. Видишь кинжал на поясе?

– Не вижу…

– А дальше – вон яркая звезда – это Сириус в созвездии Большого Пса.

– Не вижу, – папа всматривается, щурит то правый, то левый. – А-а… вон, кажется, что-то…

– А есть еще Малый Пес. Охотник и две собаки…

– Лора мне сказала, больше не возьмет. Тяжело.

– Да. Мне тоже. Тот раз тоже говорила….

Вдруг кто-то бросается к нам, слышен знакомый щелчок тормоза на поводке, так похожий на наш, – и у ног уже крутится Рита, повизгивая и норовя лизнуть.

– Здравствуйте, – говорит Ритина хозяйка, – спасибо за поводок. Ваша жена отдала.

– Что? Что она сказала? – переспрашивает папа.

[http://www.cherepanov.kiev.ua/page/menu/top.png](http://www.cherepanov.kiev.ua/page/story/Vostorg.htm#up)

1. Черняховский Евгений «Бека и декабристки», «Богемная рапсодия» «Грузинский Ломоносов»

***Черняховский Евгений***

**БЭКА И ДЕКАБРИСТКИ**

Моя бабушка Клара тридцать лет преподавала в школе русский язык и литературу. Вообще-то училок положено по отчеству называть. А вот отчество она имела очень по-русски неблагозвучное—Израилевной была моя бабушка Клара. Вот так получилось, что как-то неполиткорректно звучало это самое отчество—и не только на великом-могучем-свободном, но и на многих других мировых языках.

В далёком 1956 году разразился жуткий политический кризис в районе Суэцкого канала, и отечественные средства массовой информации—впервые с раскатистым «Р-р»--стали произносить словосочетание, впоследствии ставшее устойчивым: «Коваррные изрраильские агррессорры». Пару дней послушав по радио это самое р- рычание, бабушку Клару вызвал в свой кабинет директор школы Пэтро Мыколайович.

--Кларочка,--сказал он ласково,--а не стать ли вам—во всяком случае, в школе—Кларой Ивановной или, на худой конец, Кларой Ильиничной? А ещё бы лучше—Клавдией! А? Дети и так о ваше отчество язык себе ломают. Уже и родители некоторые жаловались—и мне, и завучу…А тут, ещё, понимаете, сейчас такое дело…--и он очень выразительно показал пальцем на радиорепродуктор в углу кабинета.

--Пэтро Мыколайович,--ответила бабушка Клара,--есть ли у вас какие-либо претензии к тому, как я преподаю?

--Кларуся, ну я ж не о том…--широко улыбнулся Пэтро Мыколайович в пышные усы а-ля Тарас Шевченко.—Ну вы же умница, всё прекрасно понимаете…

--Я так понимаю,--терпеливо объяснила ему бабушка Клара,--что если ученики мои будут любить мои предметы и уважать меня—им никакого труда не составит выучить моё неудобное отчество…

Так и осталась до конца жизни Израилевной. А ведь Пэтро Мыколайович хотел же как лучше! Кстати, своего директора школы бабушка Клара искренне любила. Просто своего отца она любила больше…

Она и меня очень любила, внука своего единственного, хотя и ворчала периодически, что я, сволочь такая, этого абсолютно не заслуживаю (тут мне оставалось только полностью с ней согласиться). Ещё она очень любила моего дедушку Рувима, погибшего молодым лейтенантом под Харьковом, моих родителей—Милу и Арика, своих учеников (не всех—только грамотных!), своих друзей…Да много чего ещё! Но я подозреваю, что всё-таки больше всего на свете она любила русский язык и русскую литературу.

Тут возникало неразрешимое противоречие—потому что ей пришлось оставить любимую школу и в 58 лет уйти на пенсию вот именно из-за меня. Я в детстве часто болел, дочка Мила—акушер-гинеколог—никак не могла совместить семь суточных дежурств в месяц с моими соплями и хриплыми кашлями…и бабушка Клара отправилась на заслуженный отдых, то есть меня воспитывать. В детские свои годы я был таким вредным и противным (кстати, мои близкие до сих пор уверены, что эти качества от меня и впоследствии никуда не делись), что уставшая от меня бабушка Клара регулярно восклицала:

--Заслуженный отдых! Ничего себе! И это такой вот отдых я заслужила?!

Я обожал все слова и словосочетания сокращать, к тому же букву «Р» не выговаривал—и её с двух лет именовал исключительно «Бэка»--первые буквы слов «бабушка Клара». Она сокращений терпеть не могла, от «Бэки» этой самой вначале морщилась, как от лимона—но куда ж ей, бедной, было деваться…привыкла.

Но даже такую вредную и противную сволочь можно было худо-бедно обучать русскому языку и русской литературе. Что Бэка и делала. В промежуточном результате этого педагогического процесса я к третьему классу школы наизусть выучил, на минуточку, роман в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Очень уж велик был соблазн! За первую выученную главу Бэка торжественно вручила мне для прочтения «Три мушкетёра», за вторую—«Двадцать лет спустя». Далее за каждую главу бартером шёл очередной том «Виконта де Бражелона». Бессмертная эпопея Дюма была уже дочитана, а три главы «Онегина» оставались ещё невыученными. Допустить такое было никак нельзя. Умело и тонко чередуя угрозы, лесть и прямой подкуп «Графом Монте-Кристо», Бэка довершила начатое дело. О, она бывала коварной, не хуже кардинала Ришелье! Два Александра—и Пушкин, и Дюма—могли быть довольны вполне.

С литературой дело как-то шло, с языком—не очень. В 16 лет я уехал учиться в мединститут в город Калинин, в родной Киев вернулся только через десять лет. За это время написал домой сотни писем. Дважды в год приезжая домой на студенческие каникулы, я регулярно получал на руки от Бэки пачку своих проверенных ею посланий. Сейчас-то «Майкрософт Ворд» скрупулёзно сообщает тебе все до единого параметры написанного тобой текста—и я до сих пор не могу понять, откуда хлопцы Билла Гейтса узнали о Бэкином существовании. В каждой моей эпистоле она неизменной красной ручкой исправляла ошибки и подсчитывала в конце: сколько орфографических, синтаксических, стилистических, пунктуационных, смысловых…

--Что такое, бабуля?—ехидничал я,--тетрадей на проверку много лет как не носят? Делать тебе нечего?—

--Ах ты ж хохмач-самоучка,--бесстрастно отвечала Бэка,--да ты у меня в жизни среднюю школу не закончил бы…

Я в этом и не сомневался.

Вот такая она была, моя Бэка.

У неё проживала в маленьком белорусском городке Мозыре кузина троюродная. Бэка её последний раз воочию видела ещё до войны. Они регулярно новогодними открытками обменивались. Один раз в открытке из Мозыря бабушка с ужасом прочла: «Дети, слава богу, высматривают хорошо!»-- и потом три декабря подряд не могла себя заставить черкнуть поздравления дальней родственнице.

Я долго не мог понять, за что Бэка недолюбливала нашего физкультурника Михмиха, Михаила Михайловича—человека безобидного и вполне симпатичного. Оказалось, что некогда Бэка, как ответственная за культурку в педколлективе, предложила Михмиху билеты в Русский драматический на «Отелло»--и физкультурник отверг их со словами:

--Клара, я—не любимец театров!--

Проходили мы как-то , гуляючи с Бэкой, мимо заведения под названием «Ателье индпошива». «Индпошив» заставил Бэку скорбно поджать губы. (Я ж говорю—аббревиатуры она не жаловала, особенно советские, и со мстительным удовольствием цитировала запомнившееся с юности: «Зам-нар-ком-по-мор –дел!». Думаю, что если бы Бэка дожила до 1991-го года и знаменитой аббревиатуры «Эссен ге»--её точно хватил бы, как минимум, гипертонический криз). «Индпошив» под вывеской разместил бумажное объявление: «Требуется мастерица пАроть пальто». Этого кощунства уж Бэка стерпеть никак не смогла—выхватила знаменитую красную ручку, как д’Артаньян—шпагу, исправила слово «пороть» и сверху огромными буквами приписала гневное «БЕЗГРАМОТНЫХ!!!».

Незадолго до моего рождения в нашей школе писал выпускное сочинение легендарный двоечник Витька Лукьянченко. Этого самого Витьку Бэка и её коллеги вспоминали, даже когда им было сильно за 90—он был совершенно редкостным, коллекционным экземпляром. Но зато его отец был главным спонсором школы (правда, тогда ещё никто не знал такого слова). Бэку просили, чтобы не ставила Витьке двойку за выпускное сочинение, и сам сочинитель Витька, и Лукьянченко-старший, и директор Пэтро Мыколайович, и даже сама заведующая районо. Бэка была неумолима. Она торжественно продемонстрировала делегации ходатаев Витькин опус, начинавшийся эпиграфом: «Кто с мячом к нам придёт—тот от мяча и погибнет! Александр Невский» и ехидно добавила: «Я и не знала, что великий князь был футболистом!».

Всех Бэкиных подруг мой отец Арик называл «декабристками». День рождения Бэки был аккурат 14 декабря, и они к этой дате обычно ещё с начала учебного года готовились. Карнавальные костюмы, пародийно перелицованные песни советских композиторов, а вначале –непременно пионерский монтаж, восхвалявший многочисленные заслуги и достоинства «дорогой нашей Кларки, Клариссы, Кларуни». Когда ежегодно 14 декабря у нас дома выстраивались в шеренгу мои собственные школьные училки (кто красил седину, а кто и не красил), повязав на шеи алые галстуки, дружно зачитывали свою стихопродукцию под «салютом всех вождей», а потом начинали отплясывать под пионерские горн и барабан фигуры фрейлехса—по еврейскому обычаю, женщина с женщиной—я валялся под столом, икал там от смеха, и вообще более счастливых минут в моей школьной жизни не было.

Хедеров, еврейских школ тогда, конечно, быть не могло. Но судя по национальному составу наших училок…Не зря директор Пэтро Мыколайович—учитель украинского и немецкого языков--неоднократно повторял сакраментальную фразу:

--Ин дер шуле хабен вир цвей гоим—их унд уборщица Даша…

(«В школе есть два нееврея—я и уборщица Даша»--примечания автора, которые и далее будут появляться в тексте. Автор никаких иностранных языков толком не знает, но с раннего детства помнит приблизительно 29 слов на языке идиш, из которых 17, преимущественно ругательных, Бэка относила к нему, а 12—к чему угодно).

Я очень любил «лидера декабристок»--нашу химичку Инну Абрамовну Фридман. Инна Абрамовна свою далёкую молодость, надо сказать, провела довольно-таки бурно—была медсестрой в Первой Конной армии самого Будённого. Между прочим, впоследствии, в такие интересные годы, как 1937-й и 1953-й, её очень сильно выручало удостоверение участницы гражданской войны. «Иннуля,--допрашивала Бэка химичку на учительском сабантуе по поводу 7 ноября, --а вот коллективу интересно, какая у вас там была лошадь—каурая или гнедая в яблоках?». «Да ну вас, Кларуня,---отмахивалась та,—с моим ростом я могла бы залезть разве что на пони. Так что в обозе ехала!». Лет через пятнадцать после окончания школы я неожиданно оказался участковым врачом дорогой моей химички. Она к тому времени уже совсем старенькая была, сломала бедро-- и по квартире шкандыбала исключительно с ходунком. По окончании моего врачебного визита её дочь Элла обычно усаживала меня пить чай с дивным вареньем из ягод фейхоа. Бывало, что я засиживался и допоздна. Врубался телевизор—и по нему перестроечные «Взгляд» или «До и после полуночи» выдавали зрителям очередную порцию разоблачений партийно-государственной верхушки. Элла подскакивала к телеку и, гневно молотя по экрану, кричала: «Мама! И вот за ЭТО ты скакала на коне!». Инна Абрамовна в ответ только печально улыбалась розовыми беззубыми дёснами. К тому времени ей уже глубоко по фигу были и Будённый, и Сталин, и даже Горбачёв с Ельциным…

Другую декабристку звали Раиса Львовна Верлинская, она в нашей школе преподавала математику. Раечка, хоть в Первой Конной и не служила, но коммунисткой была настолько пламенной, что при иных исторических обстоятельствах запросто переплюнула бы Клару Цеткин и Долорес Ибаррури вместе взятых. После того, как гроб Сталина вынесли из мавзолея, бедную Раечку от переживаний разбил жуткий инсульт, так она и осталась полупарализованной. Раз в месяц декабристки честно покупали в складчину яблоки и груши и отправлялись навещать Раису Львовну. Бедняга, приподнявшись на диване и сверкая чёрными глазами, страстно говорила Еве Исааковне Рухман, парторгу школы:

--Эва! Вот слушайте! Вчера приходил ко мне из ЖЭКа какой-то алтэр ид («старый еврей») и предлагал мне встать на партийный учёт по месту жительства! Знаете, Эва, шо я ему сказала? Я ему сказала нет! Я хочу сохранить связь с партийной организацией родной школы, так шо не надо мне этих ваших халоймэс! («глупостей»). Возьмите мой партбилет, Эва! И ещё возьмите рупь! Не забудьте же мне каждый месяц проставлять штамп, шо взносы уплочено! Так шо—бенемуныс?—

\_\_Бенемуныс («честное слово»),--со вздохом отвечала Ева Исааковна, кладя партбилет и рубль мелочью в сумочку.

Тяжёлый инсульт ещё никому не прибавлял ума. Декабристки тяжко вздыхали по поводу того, что Раечка теряет его последние остатки—но честно продолжали наносить ежемесячный визит на высшем уровне. Один раз Ева Исааковна посреди учебного года поехала по профсоюзной путёвке в Трускавец, так что Бэка и другие пришли к Раечке в идеологически ослабленном составе.

--А где же Эва?—разволновалась Раечка.—Кто же мне расскажет о повестке дня последнего партсобрания? И, кстати—она не забывает проставлять штамп в моём партбилете?—

--Не знаю!—простодушно ляпнула Инна Абрамовна.

Лицо Раечки мгновенно налилось кровью. Перепуганные декабристки вспомнили, что инсульт, бывает, и повторяется. Положение спасла мудрая Бэка. Она мягко погладила больную по парализованной руке и увещевающе спросила:

--Ах, Раечка, всё это такие пустяки…скажите лучше, какой у вас сегодня утром был стул?

Инсульт не произошёл.

Ещё одной декабристкой была учительница физики и астрономии Рахиль Соломоновна Рутгайзер. Её я в школе совершенно не помню—она рано ушла на пенсию, еще раньше моей Бэки. Рахиль проживала с сестрой Софой, обе они были старые девы, и никого у них в жизни не было, кроме друг друга. Софа была младше, но она очень рано впала в полный маразм, и оставлять её одну было нельзя. Рахиль героически ухаживала за сестрой, делала для неё всё возможное, несколько раз в день пыталась в неё впихнуть содержимое каких-то баночек и судков—если что-то с едой было не так, Софа покрывала сестру трёхэтажным русско-еврейским матом. Из-за дальнего расположения квартиры сестёр и абсолютной непрезентабельности Софы декабристки туда не ездили, регулярно сочувствовали Рахили по телефону—а она только тихо плакала в трубку. Законы природы исполнились—Софа ушла в мир иной. На следующий день Рахиль её быстро похоронила, и уж теперь-то поехать к ней с выражением соболезнований было совершенно необходимо. Никто не мог—и Бэка взяла меня в качестве сопровождающего.

Мы сидели в тесной кухоньке, пили чай, и Бэка ритмично гладила Рахиль по седой голове в такт её непрекращающимся рыданиям:

--Видите, Клара, сколько букетов? Едва место вам нашла, всё заставлено цветами…В день похорон у меня весь наш подъезд перебывал. И что удивительно—и тот красномордый пришёл, с женой своей тощей и розами…а он же меня мимо не пропускал без того, чтобы в спину не прошипеть: «Ж-жидовка с-старая!». И тот майор кагебэшный, который выше этажом, всегда заливал нас—тоже такой шварц, такой шварц («чёрный», «антисемит»)—так он такие хризантемы принёс…Вот что я, Кларочка, вам скажу—лучше бы я, конечно, к ним с такими цветами ходила…--

Эту последнюю фразу Рахиль тоже прорыдала, трубно сморкаясь в огромный красный платок. Я ушам своим не поверил…а когда поверил—то оказался на самой первой ступеньке понимания того, каким может быть еврейский юмор, как рождается этот самый смех сквозь слёзы…

Когда я иду с Байкового кладбища, с могилы Бэки, я обязательно подхожу и к Еве Исааковне, и к Раисе Львовне, и к Инне Абрамовне, и к Рахили Соломоновне. Они так все и лежат, дорогие мои декабристки, на 31-м еврейском участке. Ну, может, чуть дальше друг от друга, чем отстояли их столы в школьной учительской.

Шли годы. Для каждого из нас—по-разному. Я взрослел, а моя Бэка старела.

Как-то, приехав в Киев на очередные каникулы, я обнаружил, что Бэка в квартире одна—мои родители, Мила и Арик, уехали на десять дней в санаторий. В первый же свой киевский вечер я отправился на встречу одноклассников. Вечеринка была развесёлой—и закончилась в аккурат к шести утра, когда открылось метро. Я, конечно, понимал, что надо бы позвонить домой, чтобы Бэка не волновалась, но…ну свинья, конечно. Рано утром на пороге квартиры Бэка встретила меня с просто-таки гранитным лицом:

--Ты где был всю ночь, аштыкл дрэк? («кусок дерьма»)—грозно поинтересовалась она.—Я из-за тебя глаз не сомкнула, хозэрюка такая!—(«свинтус»).

--Ну-у, бабуля…--пытался подлизываться я.

--Ничего не знаю!—кричала Бэка.—И знать не хочу! Всю ночь телефон накручивала! В милицию, в «Скорую помощь», все больницы обзвонила, все морги—нигде тебя нету!—

Я-то хорошо знал, что к телефонному аппарату она не подходила—и накручивала не его, а исключительно себя. Исподволь поинтересовался телефонами этих самых «больниц» и «моргов». Разгневанная Бэка против своей воли начала улыбаться…Короче, в тот раз я вымолил прощение.

Но к моменту возвращения из санатория родителей Бэка ещё за что-то на меня обиделась—и тут же побежала им доносить. Такой себе Павлик Морозов наоборот. Вновь была исполнена ария, осуждающая «хозэрюку », в ней опять-таки упоминались милиция, «Скорая», больницы и морги.

Арик развеселился от души.

--Клара Израилевна!—торжественно вопросил он тёщу,--а когда Женька там, в Калинине—вы знаете, где он там ночует? когда он там домой возвращается?—

--А там…--сказала Бэка с достоинством английской королевы Виктории,--а там—я за него не отвечаю!

Во все времена она с удовольствием принимала любое моё предложение поиграть—во что угодно, кроме футбола. Всегда была готова поимпровизировать. Когда ей тяжело уже было гулять далеко от дома, она любила с приходом тёплой весны спуститься на улицу, прислониться к двери подъезда—и греться на солнышке, как ящерка. Однажды я , подходя к дому, увидел её в этой позиции, зажмурившуюся от удовольствия, подкрался и прошептал в ухо:

--Мадам, чего это вы тут стенку подпираете? Уж не клиента ли поджидаете?—

Бэка открыла глаза, смерила меня взглядом и произнесла, презрительно сплюнув мне под ноги:

--Молодой человек, вам это будет очень дорого…

И только потом рассмеялась.

…С дальнейшим течением лет, когда Бэка стала совсем уже старенькой, у неё развился довольно характерный для этого возраста страх бессонницы. Она ультимативно потребовала, чтобы ей каждый вечер выдавали таблетку снотворного. Естественно, обеспечивать снотворное должна была дочка Мила—акушер-гинеколог. Снотворные во все времена было трудно доставать, для этого требовались особые рецепты с двумя подписями и тремя печатями—и сообразительная Мила пошла по пути наименьшего сопротивления. Она притаскивала домой те таблетки, которые всё равно должна была списывать по срокам годности старшая медсестра её отделения—это могли быть и витамины, и таблетки от кашля, и простенькие жаропонижающие. Во всяком случае, они были совершенно безвредными…

--Это что, снотворное?—каждый вечер недоверчиво спрашивала Бэка, получая очередную таблетку. Мила авторитетно кивала. Доверчивая Бэка запивала чаем какой-нибудь глюконат кальция—и спала до утра сном праведника. Эффект плацебо вот так работал!

Но когда Мила отправлялась на очередное суточное дежурство, Бэка с утра ещё начинала нервничать: кто ей вечером таблетку снотворного даст? Я к тому времени уже окончательно вернулся в Киев, устроился работать терапевтом в поликлинику—и конечно, в такие вечера Бэка наносила визит в мою комнату.

Как-то раз я увлечённо болтал по телефону с тогдашним предметом моих воздыханий, страстей и печалей. Раздался стук по паркету Бэкиной палки.

--Женька,--спросила бабушка,--таблетку снотворного мне дашь?—

Я отмахнулся. Обиженная Бэка пошлёпала к двери и довольно отчётливо проворчала:

--Два врача в доме!—и оба говно…

Эту гениальную фразу одновременно услышали и я, и чертивший в соседней комнате Арик. Вскочив одновременно, мы у дверей устроили Бэке нечто вроде футбольной «коробочки».

--Как вы сказали, Клара Израилевна?—простонал Арик.

--А что я такого сказала?—прищурилась Бэка.

Арик встал перед ней на колени и поцеловал тёще левую руку:

--Я в восторге! Два врача в доме!—и оба говно…Я всю жизнь пытался это сформулировать—и не смог! А вам, моя дорогая, минуты хватило…

--Я такое могла сказать?—искреннему возмущению Бэки не было пределов.—Да я вообще таких слов не употребляю, чтоб ты знал! Руку отдай, идиот, я еле стою…Я только сказала: два врача в доме—и оба…оба не стоят ничего!

На вершине восхищения её афористичностью Арик, не поднимаясь с колен, облобызал и правую Бэкину руку—и торжественно пообещал, что отныне берёт таблетки снотворного на себя и лично будет выдавать их перед сном любимой тёще.

Но обещать—не значит жениться.

В дни дежурств Милы Арик очень любил уехать к любимому другу Фиме и там развесёлой компанией «записать пулечку»--то есть устроить Вечер Большого Преферанса.

И снова Бэка нервничала, и снова её палка стучала в моей комнате.

--Женька, где Арик?---

--У Фимы!—честно отвечал я.

--И что же, позволь узнать, он там делает?—

--Что-что—вестимо, в преферанс играет…--

--А домой когда он намерен вернуться?—

--После полуночи,--терпеливо объяснял я Бэке,--последним поездом метро приедет…

Бэка снова возмущалась:

--Нет, как вам это нравится! Он знает, что должен мне дать таблетку снотворного—и приедет только после двенадцати! Сейчас только десять—и я ещё целых два часа должна куковать по его милости…Я, между прочим, спать безумно хочу!

--Ну и ложись тогда без таблетки, --опрометчиво посоветовал я—и тут же, не успев увернуться, получил от Бэки палкой по заднице…

Незадолго до бабушкиной смерти я после приёма в поликлинике шёл домой через парк Шевченко—уютный университетский парк в центре родного Киева. Увидел на скамейке Бэку с двумя декабристками, они там кайфовали под майским солнышком. Разлетелся к ним, церемонно раскланялся, начал по своему обыкновению рассказывать что-то весёлое.

Декабристки разулыбались мне, но Бэка сказала строго:

--Иди уже домой, доктор, трепло несчастное! Котлеты и картошка—на сковородке…

Я ещё раз поклонился дамам, помахал у земли воображаемой мушкетёрской шляпой с разноцветными перьями и томно пропел декабристкам:

--Оревуар!—

--Зай нышт кин нар!—спокойно ответила в рифму Бэка.

На языке идиш это значит: «Не будь идиотом!».

Ровно через два месяца её не стало. Я эту Бэкину фразу воспринял как завещание. И стараюсь выполнять, как уж могу. К сожалению, не всегда получается.

Сейчас в нашем государстве очень сложная, очень неоднозначная политическая ситуация. Требуется патриотизм, он нынче в большой цене.

Периодически я слышу вопросы, сводящиеся к простому:

--Ты—с кем?—

Я даже не знаю, что и ответить. Развожу руками растерянно, что-то мяукаю.

Всё-таки больше всего на свете я, если честно, люблю русский язык и русскую литературу.

Как моя бабушка Клара Израилевна., моя Бэка.

**БОГЕМНАЯ РАПСОДИЯ**

Живой классик Игорь Иртеньев некогда написал строки, которые я возьму эпиграфом к этому опусу:

Какое время было, блин!

Какие люди были, что ты!

О них не сложено былин –

Зато остались анекдоты.

Предполагаю, что на бумаге у меня получится в лучшем случае именно анекдот. А мне вот хотелось бы замахнуться на современную былину, как минимум. Хотелось бы ему… Боян, понимаешь, Нестор-Летописец хренов.

Но Бродский любил повторять: «Самое главное – это величие замысла».

А Лёвушка Аптекарь очень любил Бродского.

Аптекарь был первым моим знакомым, кто принадлежал к настоящей богеме. Один его облик чего стоил – всклокоченная седеющая шевелюра, растрёпанная библейская борода клочками, роговые тонированные очки на горбатом шнобеле, ярко-красный свитер и вечная джинсовая двойка «Levis», в зимнее время года дополнявшаяся одноименной жилеткой. Попыхивающая в углу рта трубка. Неожиданно высокий голос, почти фальцет. Визгливый хохоток Мефистофеля.

Лёвушка происходил из Харькова, лет до пятидесяти выстраивал крутовосходящую карьеру – и в итоге упёрся в потолок, выше которого еврею роста уже не было. Потолок был вполне комфортным – Аптекарь, в звании, между прочим, доктора архитектуры, состоял шефом большой мастерской в самом знаменитом киевском проектном институте. Но на таком уровне профессиональная и творческая конкуренция уже обретала нравы, присущие террариуму, а сверху эту внутривидовую борьбу ещё и курировал партийно-советский истэблишмент. Соприкоснувшись со всем этим, мой герой откровенно захандрил. «Кризис среднего возраста» естественным образом перешёл в кризис семьи, и к моменту нашего знакомства Лёвушка был уже вольный художник и скульптор, живший от заказа до заказа, обладатель однокомнатной холостяцкой квартирки на киевской Русановке – в ней были причудливо перемешаны запахи подгоревшей яичницы и трубочного табака, кислый вкус «Каберне», пятна всех известных природе масляных красок и звуки трубы Армстронга или саксофона Чарли Паркера. Джаз Лёвушка молитвенно обожал; мы и познакомились-то с ним на полуподпольном джазовом концерте. Аптекарь слушал джаз с непосредственностью дикаря: вскидывал брови, пучил глаза, вытягивал губы хоботком, запускал пальцы в бороду – и даже помахивал ушами с лёгкостью спаниеля. Когда на кассете Дюк Эллингтон начинал импровизировать свою любимую тему «Solitude», Лёва тут же вспоминал о том, как жена его бросила, и разражался утробным рыданием. Впрочем, успокаивался быстро, как малое дитятко.

По религиозной самоидентификации Лев Бенционович Аптекарь был буддист стихийный невоцерковлённый и, таким образом, проживал уже вторую жизнь в рамках физического своего существования. Жизнь богемная была ему не очень легка, но соприродна и органично свойственна.

По большому счёту дружба наша началась в конце 80-х, в Узбекистане – там мы оказались в составе одной туристской группы, вспомнили плечо друг друга на джазовых посиделках и крепко обнялись. Каждое утро Лёвушка просыпался на рассвете – он любил выходить на пленэр ещё до завтрака – и я помогал ему тащить этюдник и тяжеленный ящик с красками. По пути нас всегда сопровождали стайки местных ребятишек, смуглых и бронзовых. Наблюдение за работающим художником им было куда интереснее, чем уроки в школе. Пока Лёва водил кистью по холсту, они молчали – но как только он разгибал поясницу, начинались вопли: «Привет! Как твои дела? Как тебя зовут? Ты откуда приехал?» По окончании импровизированной пресс-конференции работа возобновлялась – и длилась до самого завтрака, легко и вдохновенно.

Мы бродили вместе по Ташкенту и Бухаре, залезали на минареты Хивы и Самарканда, бодро топали долиной реки Чирчик и любовались легендарным ущельем Брич-Мулла… Я читал Лёве Бродского, наслаждаясь глубиной его понимания, и Аптекарь в качестве аллаверды повествовал мне о своих знаменитых подвигах: розыгрышах, мистификациях, подначках. Оглядываясь на два десятилетия назад, вижу, что какую-то часть рассказанного моя память зафиксировала.

Заканчивали мы маршрут в Ташкенте, и за два дня до самолёта в Киев наш гид Олежек предложил нам за дополнительную плату экскурсию на столичную телебашню.

- А что в ней такого интересного? – спросили наши одногруппники.

- Замечательная смотровая площадка, незабываемый вид на Ташкент с высоты птичьего полёта, - профессиональной скороговоркой строчил Олежек, - в студиях и аппаратных прекрасная резьба по ганчу (то есть по узбекскому белому камню), на восьмом этаже – ресторан классный, крутится и за час делает полный оборот… Конечно, и на Останкинской телебашне такой ресторан есть, но таких мантов и такого лагмана – тут Олежек поцеловал свои пальцы – в Останкине точно нет!

Пиар-кампания убедила всех, и Олежек быстренько собрал по три рубля с носа.

- Только ж не забудьте взять с собой паспорта! – напомнил он на прощанье.

- Паспорта-то на фиг нужны? – удивился кто-то.

Олежек даже рот открыл, поразившись тупости вопроса:

- То есть как это – на фиг? Телебашня – режимный объект! Милиция только по паспорту на территорию пропускает… А вдруг вы, допустим, захотите ворваться в студию во время выпуска новостей и объявить в телекамеру, что в Узбекистане свергнута Советская власть?

- Какая блестящая мысль! – восторженно шепнул мне Лёвушка.

Наутро мы толпились перед проходной у подножия телебашни. Как и было обещано, паспорта наши подверглись тщательнейшей проверке. Сличала фотографии с нашими физиономиями юная Лейла (или Зульфия, или Зухра, или Гюльчатай) – в мундир сержанта узбекской милиции была затянута настоящая райская гурия с точёной фигуркой, смоляными косичками, абрикосового цвета щёчками и длиннющими ресницами-опахалами. Никогда – ни до, ни после этого – я не испытывал такого мощнейшего либидо по отношению к сотруднику милиции, находящемуся в форме и при исполнении служебных обязанностей.

Мы с Лёвой были последними в очереди на проверку – и тут Аптекарь достал свой паспорт. Состояние важнейшего в жизни советского человека документа просто не поддавалось описанию. Кажется, Владимир Маяковский и Лев Аптекарь относились к своей «краснокожей паспортине» с диаметрально противоположных позиций. Страницы Лёвкиного паспорта выглядели так, как будто их проглотила корова, жевала долго и нудно – и наконец разочарованно исторгла наружу. Они были заляпаны пятнами, в коих угадывались и кофе, и вино, и засохшая краска… боюсь, что и сперма. Красавица узбечка осторожно взяла паспорт из Лёвкиных рук и подняла его за уголок – брезгливо, как дохлую крысу.

- Это ваш паспорт? – холодно осведомилась Лейла-Зухра-Зульфия-Гюльчатай.

Неожиданно для всех присутствующих Лёва повалился на колени, как куль с мукой, театральным жестом простёр руки к милиционерше и истошно возопил:

- Девушка, умоляю! Заберите у меня этот паспорт и больше никогда – слышите, никогда – мне его не возвращайте!

Выраженный в оригинальной форме отказ от гражданства так и не был зафиксирован органами документально, Лёву пропустили на телебашню – но видевший своими глазами этот перформанс навряд ли его позабудет.

Магнетизм, излучаемый Лёвой Аптекарем, в немалой степени основывался на огромном его обаянии – пусть и отрицательном. Я очень ценил в Лёвке душевную тонкость, хрупкое и трепетное его эстетство – такими знакомствами я никогда прежде не был избалован. Всегда буду благодарен ему за долгие и обстоятельные рассказы о том, как делается картина, как холодные краски уравновешиваются тёплыми, как диагонально распределяются на полотне энергетические потоки, как достигается гармония. На вопросы интервьюеров о творческом кредо Лёва обыкновенно усмехался в бороду и отвечал строками Арсения Тарковского:

Не хотел он, чтоб его рисунки

Были честным паспортом природы,

Где послушно строятся по струнке

Люди, звери, города и воды.

Он хотел, чтоб линии и пятна,

Как кузнечики в апрельском звоне,

Говорили слитно и понятно…

И всё-таки самое главное, чем притягивал Лев Аптекарь, был врождённый вдохновеннейший артистизм его натуры, нереализованный – и потому ежедневно требовавший нового воплощения.

Буду откровенен – не все розыгрыши Аптекаря были мне по душе. Однажды – а было это в солнечный день 1 апреля - он пригласил к себе домой знакомых рок-музыкантов, изрядных любителей пива. Достал из холодильника запотевшие кружки с пенящимся янтарным напитком. Рок-монстры дружно крякнули, синхронно сделали первый щедрый глоток – и ощутили весьма специфический вкус и запах… После чего сияюший хозяин гордо продемонстрировал им календарь Всемирной организации здравоохранения, в коем 1 апреля провозглашалось днём уринотерапии. Я представил себя в качестве Лёвкиного гостя в этот день – и зябко передёрнул плечами.

Рокеры всё-таки решили не бить Лёву Аптекаря. С их точки зрения, он всё же был клёвый мэн, хоть и не признавал, что Ричи Блэкмор – это намного круче, чем Диззи Гиллеспи. Но зато как Лёвку побила скульптор Оля Габай… Оля вообще-то была добрейшая душа, в жизни комара на себе не прихлопнула. Но Лёву она метелила руками и ногами, зубами грызла, как уличный гопник, Боже мой!

Тут всю историю рассказывать надо с самого начала.

В общем, в ту зимнюю пору Лёва Аптекарь переживал серьёзный перманентный кризис. Картины и скульптуры у него не покупали, и новые заказы не светили. Пить и жрать было, прямо скажем, нечего, и в комнате стоял жуткий холод – прохудившийся радиатор ЖЭКовские умельцы попросту отключили без перспектив замены, так как Лёва с большим отрывом лидировал в списке коммунальных неплательщиков. Бедный Аптекарь в разных кафе был вынужден постоянно садиться на хвост знакомым компаниям, ел и пил за чужой счёт – и хоть презирал себя за это, но без последствий для своего желудочно-кишечного тракта. Достоевский писал: «Человек должен иметь куда пойти вечером!» - и Лёва здесь был совершенно согласен с классиком. Более всего остального он любил на Андреевском спуске (кто не знает – это такой киевский аналог Монмартра) «водить козу» - то есть перемещаться по многочисленным мастерским художников, постепенно и неуклонно повышая в крови процентное содержание этилового спирта. Какой-то период Лёвке «под каждым листком был готов и стол, и дом» - а самой доброй и гостеприимной была скульптор Оля Габай. Но тучи над Аптекарем сгущались. В гости он ходил, естественно, с пустыми руками; ел-пил за четверых; дойдя до определённого градуса, регулярно пытался вступить с хозяйкой в интимные отношения, нисколько не смущаясь присутствием других гостей. По неумолимой логике вещей все мастерские Андреевского спуска захлопнули перед Лёвой Аптекарем свои двери. Дольше всех продержалась Оля Габай – но и она в тот вечер, когда пьяный Лёвка, впавший в период обострения мужского климакса, наговорил хренову кучу гадостей ей и близким людям, была вынуждена отказать ему от дома. Утром похмельный Лёва, признавая заслуженность кары, попытался по телефону извиниться, но оскорблённая Габай отказалась даже трубку брать.

В такой-то минорной ситуации на Лёву Аптекаря свалилась перспектива принимать дорогого гостя из Ленинграда. Однокурсник Степан, преуспевающий питерский архитектор, сообщил Лёве по телефону, что едет в командировку в Крым – но так как нужно ещё передать из рук в руки какие-то важные чертежи в Киеве, то принято решение ехать в Крым на служебной машине транзитом через украинскую столицу. Сам Степан в жизни за рулём не сидел, так что машину поведёт шофёр. Конечно, можно было бы забронировать гостиницу в Киеве… но Стёпа прекрасно понимает, какую смертельную обиду он нанесёт институтскому другу Лёвке, если остановится не у него.

- Приезжайте, жду – обречённо проговорил Лёва в телефонную трубку. Кошелёк и холодильник были равно пусты, термометр в квартире показывал девять градусов, ни одного комплекта чистого постельного белья и близко не было – в общем, приём гостей ожидался на уровне Версаля.

Топая по снегу прохудившимися ботиночками и хлопая перчатками в «ладушки», угрюмый Лёва поджидал гостей у Андреевской церкви. Наконец подъехали «Жигули» с ленинградскими номерами. Пассажиры в машине тоже готовы были превратиться в Снегурочек, так как автомобильная печка у них накрылась ещё где-то на подъезде к Гомелю. Скупыми и ёмкими фразами Лёвка обрисовал другу Стёпе и водителю Толику реальное положение дел.

- Ну хорошо, - растерянно сказал Степан, - сейчас попытаемся най ти гостиницу… Правда, в десять вечера уже наверняка ни в один кабак не попадёшь (примечание автора: в период развитого социализма рестораны работали максимум до 23 часов). Мы ж, Лев Бенционович, понимаешь, на тебя рассчитывали!

Опозоренная и страдающая Лёвкина душа горестно возрыдала в ответ, но со стороны Андреевского спуска явственно ощущались какие-то неясные импульсы. И мозг Лёвы Аптекаря расшифровал их правильно.

- Слушай, Стёп, - сказал Аптекарь, - ты же, по-моему, хорошо знаешь французский…

- Ну да, - подтвердил друг, - я всю жизнь с французским дело имел: и школа, и институт, и в Париже три года, когда в ЮНЕСКО работал…

- Понимаешь, - затараторил Лёва, - тут чувиха есть одна, у неё мастерская в квартале отсюда, так она серьёзно поведена на Ле Корбюзье. Нет, Стёпа, иначе скажу: она этим Ле Корбюзье прям-таки одержима. И это при том, что она скульптор – я даже среди архитекторов таких фанатиков в жизни не видел!

- Ну, а я при чём? – всё ещё не понимал Степан.

- Ты, – твёрдо заявил Аптекарь, - сейчас сыграешь роль родного племянника Ле Корбюзье. Говоришь исключительно на французском и не забываешь надувать щёки! И будет нам, Стёпа, счастье. И хавка, и бухло, и тепло, и койка – всё нам будет!

- А мне будет? – впервые подал голос водила Толик.

- А вот ты, Толик, подожди нас полчасика в машине, - попросил Лёва. – Я, видишь ли, не вполне уверен в успехе нашего предприятия. Прокрутим это дело – и я за тобой вернусь…

- Ну, смотрите ж мне, мужики! – Толик продемонстрировал волосатый кулак Лёве и Степану. – Чтоб через полчаса, блин, и не позже…

«Жигули» с Толиком остались стоять у бессмертного творения Растрелли, а Лёва Аптекарь с родным и любимым племянником Ле Корбюзье заскользили вниз по булыжнику Андреевского спуска.

За сорок метров до мастерской Оли Габай на Лёвку снизошло гениальное озарение №2.

- Легенда меняется! – рявкнул он, резко тормознув под фонарём. – Никакой ты не Ле Корбюзье!

- А кто ж я теперь буду? – Стёпа согласен был стать хоть Наполеоном, хоть Мао, хоть Адольфом Гитлером – лишь бы только попасть с тридцатиградусного мороза в домашнее тепло.

- Как я мог забыть! – вдохновенно орал Аптекарь. – Ле Корбюзье – это ж псевдоним, мать его… Настоящая фамилия – Жаннерэ, точно, Шарль Эдуард Жаннерэ! Так что будешь теперь мсье Жаннерэ – ты меня понял, Степан?

Дверь открыла сама хозяйка, при виде Лёвы у неё вытянулось лицо.

- Я всё понимаю, Оля, - торопливо заговорил Лёва Аптекарь, - мне указали на дверь, и я не вхожу более в число твоих знакомых. И я никогда не посмел бы – слышишь, никогда! Но вот тут такое дело… Короче, позволь мне представить тебе своего парижского друга – прокричал Лёвка на манер циркового шпрехшталмейстера - мсье Жан-Поль Жаннерэ!

- Бон суар, мадам! Ком ву трэ жоли! – гость галантно склонился к Олиной руке.

Как и было предсказано, Оля Габай сделала стойку на фамилию мгновенно, как вышколенный охотничий сеттер на аромат изысканных земляных трюфелей.

- Пардон… А вы случайно не имеете отношения…

- Уй, мадам! Мэтр архитектурного конструктивизма – великий Ле Корбюзье – не кто иной, как мой родной дядюшка! – Лёвка перевёл заковыристую фразу Степана и еле успел поддержать Олю Габай, готовую рухнуть в обморок.

Опомнившись, Оля бросилась накрывать стол. Откуда ни возьмись явилась скатерть-самобранка, а на ней – и сковородка с жареной картошкой, и грибочки, и икорка, и огурчики маринованные, и водочка с коньячком… Лёва Аптекарь и мсье Жан-Поль Жаннерэ опрокидывали уже по третьей, а Оля Габай торопливо названивала по телефонам Андреевского спуска:

- Мишка! (Петя, Анюта, Диночка, Сурен, Наумчик!) Быстренько ноги в руки – и ко мне! Тут у меня в гостях племянник Ле Корбюзье, его Лёвка Аптекарь привёл. Сама не могу поверить… у меня в мастерской… просто обалдеть можно…

Через час в мастерской Оли Габай царила совершеннейшая идиллия. Из динамиков плыл сладкий голос Джо Дассена, пламя свечей выхватывало из темноты Олины скульптуры, а Жан-Поль Жаннерэ разглядывал картины, прихваченные взволнованными Олиными друзьями, и восторженно цокал языком. При этом Оля утопала в диванных подушках и ласково гладила голову мсье, лежавшую на её коленях. Эротики в этом не было ни грамма, а была только затопившая Олю всепоглощающая нежность. В углу пьяный Лёва Аптекарь перешёл к десерту и запихивал в рот шоколадные конфеты и мандарины (прямо со шкурками).

Этот-то пир духа и предстал перед водителем Толиком, распахнувшим дверь мастерской ударом ноги. Через час после ухода Лёвы и Степана до него наконец дошло, что никто за ним не придёт, и судьба ему – замёрзнуть в машине. Заперев «Жигули», Толик, как зондеркоманда, пустился вниз по Андреевскому. Мастерскую Оли ему указали быстро… Вероломство тех, кто напрочь позабыл о его существовании, потрясло Толика до глубины души.

- Нет, но какие ж вы суки! – взревел он крещендо, перебивая «Люксембургский сад» Джо Дассена.

Далее хриплый мат Толика забрался на такие этажи, что подсчитать их не смог бы сам мэтр Ле Корбюзье – разве что чикагский архитектор Фрэнк Ллойд Райт, первым в мире начавший проектировать небоскрёбы.

Разоблачённый Степан Жаннерэ вяло пытался руками и ногами парировать пущенные в него разъярённым Толиком предметы интерьера мастерской. Потрясённая Оля оцепенело глядела на Толика, Степана и Лёвку Аптекаря. Если бы в эту минуту она могла бы хоть что-то произнести, то это были бы, скорее всего, слова военной песни:

Над чистой, над светлой любовью моей

Фашистские псы надругались…

Толик методично продолжал добивать мсье Жаннерэ, а гнев и ярость Оли Габай библейской карой обрушились на Аптекаря, пьяного настолько, что он не сумел организовать даже минимально необходимую самооборону. Синяки на теле, укусы Олиных зубов на лодыжке, полученные в тот момент, когда Лёва отчаянно пытался уползти из мастерской – это, допустим, ещё можно было терпеть. Но к утру замаячил «великий перелом»: распухло и посинело плечо, в которое Оля со всей дури запустила бюстиком пророка Иеремии. Толика насилу уболтали подвезти Аптекаря до ближайшего травмпункта. Немолодой врач выдал Лёве справку о многочисленных телесных повреждениях средней тяжести и поинтересовался, будет ли избитый гражданин заявлять в милицию. Лёвушка махнул рукой – и застонал от боли в загипсованном плече…

Лёва Аптекарь добровольно ушёл из жизни раскалённым летом 2010 года в Иерусалиме. Плачущая Оля Габай изваяла его статуэтку из красной терракоты, я вот пишу былину – в общем, кто во что горазд.

А в Киеве в чудном скверике между Михайловской и Софийской площадями стоит бронзовый фонтанчик в виде льва – хоть и с открытой пастью, но вовсе не страшного. Дети охотно залезают на хищника и гладят его по густой гриве. Мало кто из киевлян за последние тридцать лет не сфотографировал ребёнка верхом на славном симпатяге. Я зову его по имени создателя – Лев Аптекарь.

Я никогда бы не рискнул выпить хоть капельку из этого фонтана. Кто там знает, что за жидкость извергается струёй из оскаленной бронзовой пасти?

**ГРУЗИНСКИЙ ЛОМОНОСОВ**

Леониду Арнольдовичу Товштейну

Она до сих пор висит у меня в комнате, эта цирковая афиша—Бог весть как сохранившаяся. Дешёвая бумага давным-давно пожелтела и истончилась—и это немудрено, ведь афиша была напечатана в 1979 году, и тогда же аккуратнейше содрана мною с рекламной тумбы Калининского цирка. На ней скрупулёзно, все до единого перечислены: клоуны, иллюзионисты, шпагоглотатели, акробаты с подкидными досками, канатоходцы и музыкальные эксцентрики … А внизу огромными красными буквами напечатано (я так и слышу раскатывавшийся под цирковым куполом поставленный бас шпрехшталмейстера):

ВЕСЬ ВЕЧЕР-Р! НА АР-РЕНЕ! ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЗВЕРИ! ДИКОБР-РАЗЫ! СТР-РАУСЫ ЭМУ! ПИТОНЫ! ШИМПАНЗЕ! ПЕР-РУАНСКИЕ ЛАМЫ! ТАПИР-РЫ!

ЛЕОПАР-РДЫ! И ДР-РУГИЕ!

В свободном пространстве афиши после слов «и другие» я аккуратно вывел очень похожими красными печатными буквами: «ЦАНАВА, САУР, ПАВЛИДИ». На следующий день обновлённая афиша красовалась на доске объявлений нашего мединститута, возле ректората. Костик Саур и Ираклий Павлиди отнеслись к оригинальной версии цирковой афиши с полным пониманием, ректор Дунаевский прочёл, выйдя из кабинета, и усмехнулся иронически, а вот грозный джигит Гоги Цанава, как всегда, взьярился. Он вопил:

--Кто афишу эту драную вывесил?! Кто—Ч’эрник? Найду Ч’эрник—убью! Это ж надо! Жывого чэловэка срэди звэрэй напечатал! Ну и что, что я вэздэ волосатый?! Убью Ч’эрник!

Кажется, пора бы мне представиться. Ч’эрник—это я и есть. Кличку эту мне дали ещё на первом курсе. Во-первых, по созвучию с реальной фамилией, во-вторых—в честь легендарного центрфорварда сборной ЧССР по хоккею Франтишека Черника. Была у фрондирующей советской интеллигенции такая любимая забава—после 1968 года на всех чемпионатах отчаянно болеть именно за чехословацких хоккеистов… Так что когда вроде бы ихний Черник забрасывал вроде бы нашему Третьяку прямо с пятачка, меня так по плечам от восторга хлопали, что потом горели эти плечи, как после знойного пляжа, три дня под душ нельзя было встать…

Почему апостроф между первой глухой согласной в слове и последующими буквами? А это—жалкая такая попытка как-то передать на бумаге некоторые особенности артикуляции моего любимого друга Гоги Цанавы. Акцент Гоги был просто чудовищным, из горла его вылетали хриплые, булькающие и клекочущие звуки—нечто среднее между гортанными криками горного орла и лёгким ненавязчивым хрюканьем горного же вепря. А надобно сказать, что и орлы, и вепри, и др-ругие представители фауны в изобилии встречались в горах Кавказа—родовом гнезде Гоги Цанавы. И сам он очень любил зоологию, в раннем детстве прочёл все тома «Жизни животных» Брэма (я и предполагать не мог, что Брэма кто-то переводил на грузинский). Когда Гоги, по своему обыкновению, по ходу дружеской дискуссии мгновенно закипал, размахивал волосатыми руками, и в гортани у него всё вышепоименованное начинало грозно пузыриться—я пугался поначалу…а ядовитый наш одногруппник одессит Лёня Товштейн иронически комментировал:

--Не бойся—Гоги просто хочет тебе объяснить, что его грузинский ишак гораздо лучше твоего еврейского ишака…

Я снова перевожу взгляд на пожелтевшую цирковую афишу. От одного прикосновения она, боюсь, способна рассыпаться в труху. Невозможно отреставрировать её—но ведь есть просто белая бумага, и я попытаюсь написать на ней новые буквы во славу Гоги, в честь Цанавы. Я буду очень стараться, обещаю.

Георгий Картлосович Цанава! Он же Гоги, он же Гия, он же Гига, он же Гоша, он же Жора. Цанава так позиционировал себя, когда ещё фильма «Москва слезам не верит» и в помине не было, мамой клянусь! Это множество имён волочилось вслед за ним и гремело, как консервные жестянки, привязанные дефективными подростками к хвосту несчастной кошки. Но, кстати, и помогало в личной жизни—девушкам Цанава представлялся разными своими именами, и это работало на конспирацию. Я тоже решил внести свою скромную лепту в это дело—и придумал ему кличку «Ломоносов». Потом-то он у меня был и Сурен Цанавян, и Ежи Стефан Цанавский (когда после четвёртого курса поехал на практику в братскую Польшу)—но это всё, откровенно говоря, не имело успеха. А вот «Ломоносов» прилип к нему мгновенно—чтобы не отклеиться уже никогда более. Потому что попадание оказалось точным! Как известно, реальный Михайло Ломоносов приехал в Москву из далёких Холмогор, сопровождая возы с рыбой. Отец его рассчитывал, что сынуля не только экспедитором поработает, но и в торговле ему подсобит—а Ломоносов вместо этого незапланированно поступил в Славяно-Греко-Латинскую академию. Через двести с лишним лет дядя Картлос Цанава приехал в подмосковный город Калинин из высокогорного грузинского местечка Цаленджиха с двумя трехтонками мандаринов. И надо же было ему прихватить с собою мающегося после школы бездельем младшего сына…Гоги поступил в мединститут на полной импровизации, семейный совет уже потом задним числом это дело утвердил. Выгодно распродав мандарины, но оставив сына в Калинине, печальный дядя Картлос воротился в Цаленджиху один. Между прочим, узнав от Картлоса, что Гоги стал студентом, директор Цаленджихской средней школы так разинул рот от изумления, что чуть не вывихнул себе левый височно-нижнечелюстной сустав.

Кликуха «Ломоносов» моему другу решительно не понравилась. Гениальный учёный на портрете в кабинете аналитической химии раздражал Цанаву розовым безволосым лицом и завитыми локонами парика—Гоги казалось, что Михайло Васильевич натуральный гомик. Чуточку терпимее к Ломоносову мой друг стал, когда узнал о законе сохранения вещества—с этим законом он был вынужден согласиться. «Ну в натурэ, да?!». А вот с кличкой он долго не смирялся и яростно протестовал. Как-то раз Ираклий Павлиди нечаянно обратился к нему: « Слушай, Ломоносов…» Возмущённый Гоги взял обидчика за грудки:

--Кто? Кто? Кто п’эрвый мэня назвал Ломоносов?

--Кто-кто, Черник…--выдохнул струсивший Павлиди.

--Найду Ч’эрник—убью сразу же!—торжественно пообещал Цанава.

Ага, конечно. Долго же ему нужно было меня искать. Мы с ним в одной группе шесть лет учились и гарантированно каждый день в институте виделись. А на каникулах сколько раз…Неоднократно Цанава приезжал ко мне в Киев, где смущал юных киевлянок своими жгучими плотоядными взорами и выразительными вздохами. Никогда себе не прощу, что так ни разу я и не приехал к нему в Цаленджиху.

Учиться в одной группе с Гоги было неимоверным, на шесть лет растянувшимся удовольствием. Дело в том, что на его фоне все остальные выглядели исключительно способными, грамотными и уравновешенными студентами. Наша группа просто-таки извивалась в конвульсиях, когда Цанаву вызывали отвечать на семинарах по марксизму-ленинизму.

(Напомню читателю: каждый учебный год—что-нибудь новенькое! полная перемена программы! История КПСС…Политэкономия…Диамат…Истмат…Научный атеизм…И, наконец, как блистающая снежная шапка над кавказской горной вершиной, венчал всё это —Научный Коммунизм! Сейчас всю эту хрень—кто знает?—может, и изучают несчастные студенты в Северной Корее и на Кубе…)

А Гоги Цанаве очень трудно давались эти абстрактные, сильно оторванные от реальности вещи. Отвечал он не с места—чтобы ещё минутку выгадать, медленно брёл на середину аудитории, шаркая ногами и зачем-то меланхолически почёсывая задницу. Вот это самое почёсывание в нашей группе называлось:

«Гоги д’умает!»

Ответ его на экзамене по истории партии впечатлил экзаменационную комиссию довольно сильно. В билете Цанаве достался памятный многим пленум ЦК КПСС в октябре 1964 года. Я сумел подсказать, Гоги расслышал—и, добравшись до стола с непременными красной скатертью и графином, забубнил доценту Гусарову:

--Плэнум удавлэтворыл просьбу Ныкыты Сэргэевича Хрущова об освобождэнии эго с постов пэрвого сэкрэтаря ЦК КПСС и прэдсэдатэля савэта мыныстров СССР…

Разморенный июньским солнышком доцент Гусаров лениво задал крамольный вопрос:

--Как вы, Цанава, это себе представляете—вот так вот он взял и попросил?

--Ну, эму сказали, чтобы он попросыл—глазом не моргнув, ответил Гоги.

Изумлённый таким невероятным простодушием, Гусаров придвинул к себе Гогину зачётку и вписал туда слово «хорошо».

Четвёрка приободрила Цанаву, но на следующем экзамене—по биологии—он чуть не завалился. Вопрос был пустяковый, практически школьный—строение клетки. Но тут у меня получилось подсказать только самую малость. Тем не менее Гоги начал отвечать весьма энергично:

--Клэтка имэет—как итоооо?—цытоплазма!

--Клэтка имэет—как итоооо?—цытолемма!

--Клэтка имэет –-как итоооо?—ядро…

Иссяк—и замолк обречённо.

--Ещё что клетка имеет?—тихо поинтересовалась профессор Шутова.

--А что--что-то ещё нужно?!—начал закипать Гоги.—Клэтка такой малэнький, что её в мыкроскоп почти что и нэ выдно! Что там ещё помыстыться может, скажи, да?

Потом вся группа ходила умолять профессора Шутову, чтобы она двойку всё-таки не ставила. И Шутова смилостивилась, за что я благодарен ей до сих пор.

На государственном экзамене по научному коммунизму Цанаве досталась такая элементарщина, как «Манифест Коммунистической партии». Ответ Гоги на этот вопрос состоял всего из одной фразы:

--Маныфэст Камуныстычэской партии написал вэлыкый вождь мырового пралэтарыата Владымыр Илич Лэнин!

Потрясённая комиссия молчала—так молчала, что было непонятно: осуждает она выпускника Цанаву или завидует такой невообразимо девственной целине.

И Гия с подхалимской улыбкой фасона «Дядя Картлос на базаре» добавил в несколько заискивающей тональности:

--Я даже могу назвать его годы жызни…

Поставили трояк, сюрпризы на госэкзамене никому не были нужны…

Только не нужно думать, что Георгий Картлосович Цанава был вот такой уже тупой! Между прочим, в Цаленджихской средней школе он был единственным золотым медалистом в своём выпуске. И все годы учёбы в его табелях одни пятёрки красовались, вот! Хотя дядя Картлос и знал прекрасно, во сколько ему всё это, включая медаль, обходится—но тем не менее совершенно искренне радовался школьным успехам сына. Гоги клялся, что на стене его сакли была намертво привинчена табличка, гордо гласившая по-грузински: «Здесь живёт отличник учёбы!!!». Именно три восклицательных знака. Отец эту табличку лично купил за десятку на Авлабарском базаре в Тбилиси, а надпись ему всего за три рубля дядя Мелитон красиво выгравировал.

Я не сомневаюсь, что в своём классе Гоги и впрямь был лучшим. Просто у них там учебный процесс организован был, что ли, несколько своеобразно…Никогда не забуду слова «апопи». По-грузински «апопи»--это удод. Вот ты, читатель, наверняка удода только в зоопарке видел—а в Цаленджихе они очень даже водились. Одни старики говорили, что удоды летают к дождю, другие—что это означает неурожай на мандарины…Разве ж у них поймёшь? Когда очередной удод пролетал над школой, все дети выскакивали из класса на улицу, размахивали руками и дурными голосами кричали: «Апопи! Апопи!». Учительница тётя Ламара не препятствовала. Потом апопи улетал, и урок возобновлялся...

Продолжаю, дорогой читатель.

Институт наш назывался: «КГМИ». То есть—Калининский государственный медицинский институт. Остряки расшифровывали эту аббревиатуру по-другому: Карело-Грузинский медицинский институт. Карелы были одними из аборигенов Калининской области, ими был населён целый административный район. В нашей группе тоже учился натуральный карел-- Ваня Хаболайнен, мы его ласково называли «Урхо Калева Кекконен». Говорил он приблизительно два слова в год, в годы високосные расщедривался на три. Про него рассказ я никогда не напишу, ещё и потому, что не могу понять: как Ваня Хаболайнен в детской поликлинике логопедом работает? А вот грузин действительно училось очень много, по данным комитета комсомола—целых 120 человек. После них следующим по численности национальным меньшинством были евреи. Так вот, евреи с грузинами очень любили играть в футбол на поле суворовского училища. У евреев, правда, вместо футбольного мастерства были всё же больше амбиции—а вот грузины, ясное дело, в эту игру действительно умели играть…Мы им проигрывали всегда—то с разгромным счётом, то с приличным—но как-то не заморачивались по этому поводу. Я в еврейской команде пять лет прослужил левым защитником, но если грузины на правый фланг своей атаки Цанаву ставили—я в ужасе убегал со своей левой бровки. Гоги в игре заводился ещё более яростно, чем обычно, толкался, ругался и плевался. Один раз Фимку Кацнельсона за ухо укусил. О Суаресе из «Ливерпуля», через тридцать пять лет повторившем подвиг Гоги, весь мир узнал, а о том, кто первым в мире это сделал, помним только мы с Кацнельсоном. Слушай, обидно, да?! Но финтил он классно, не могу отрицать. Как-то раз—предстояла последняя игра перед летней сессией, называлась она «Супэрфынал, да?!»--грузины вынужденно поставили маленького Цанаву центрфорвардом—их звезда Дато Двалишвили (они его называли: Дато Кипиани)

сидел 15 суток за то, что в пивбаре сорвал погоны с сержанта милиции, сказав ему при этом: «Ты нэдостоин!»…С правого края пошёл классный навес по дуге во вратарскую, голкипер наш Сеня Гальперин и я столкнулись в воздухе, дружно пролетели мимо мяча и рухнули—так что Цанава оказался совершенно один напротив пустых ворот. Ему следовало только подпрыгнуть и лбом просто ткнуть мяч за линию. Подпрыгнуть-то он смог—но очень, очень невысоко. Мяч по издевательской дуге пролетел над несчастным Гоги, и тут же мы ушли на перерыв при счёте 0:0 (очень льстившем еврейскому самолюбию). Подававший справа Паата Бекураидзе яростно набросился на Цанаву:

--Ты пачыму не забыл, урод драный?!

Ответ Гоги был мгновенен и фееричен:

--Я тэбэ что—ласточка? Или апопи?

Во втором тайме они нас не пожалели…Реванш проходилось брать, честно говоря, в закулисных играх. Как-то раз тбилисское «Динамо» проиграло с позорнейшим счётом 1:5, да ещё кому—трижды презренному ереванскому «Арарату». Гоги ещё матерился у телевизора—а я, коварная душа, уже знал, что произойдёт завтра. На следующий день было организовано то, что нынче именуется словом «флэш-моб». У нас лекция шла в областной больнице, это целых три академических часа с перерывами, и за это-то время примерно человек 40 спросили Цанаву: «Слушай, Гоги, ты случайно не знаешь, как там вчера тбилисцы сыграли?». Причём я постарался, чтобы это были в основном наши девочки: они вопрошали с невинным видом, и ещё я хотел, чтобы он всё-таки не так ругался. Так что он долго сдерживался и только последней атакующей пятёрке заорал:

--Слушайте, вы ваще-то жыть хатыте, да?!

Все эти три часа Цанава периодически подозрительно посматривал вокруг и что-то бурчал себе под нос—но так и не вычислил организатора и вдохновителя этой подлейшей акции.

Надо сказать, что брутальность и необузданность поразительным образом сочетались в душевной структуре Гоги с удивительно тонкой деликатностью. Упоминавшийся выше одессит наш Лёня Товштейн жил в общаге –комната на четверых гавриков; над кроватями, ясное дело, радуют взор всякие плакаты и постеры со звёздами рока, попсы и стриптиза. А над кроватью Товштейна висела вырезанная из журнала «Огонёк» репродукция картины художника Крамского «Незнакомка». Как-то Товштейна дома не оказалось, а зашедший на огонёк Цанава спросил, кивнув на загадочную красавицу:

--Что за дэвочка?

--Это—дружно объяснили ему гаврики—школьная любовь Товштейна. Как звали—он никогда не говорит. Она вышла замуж за другого, и вот с той поры сердце его разбито. Мы его никогда о ней и не спрашиваем—зачем чувака лишний раз травмировать…

Гаврики хорошо знали, что Цанава эту версию на раз проглотит. С той поры, заходя в гости к Лёне Товштейну, Гоги всякий раз совершал ритуальный акт почтения по отношению к «Незнакомке» Крамского.

--Харошый дэвочка!—начинал он тихо и деликатно, кивая на репродукцию.

--Да…—отвечал Лёня, крепко сжав зубы.

--Знаю,--печально продолжал Гоги,--ты любил..

--Да-а…—эхом отзывался Лёня –и пальцем смахивал непрошеную скупую мужскую слезу с угла глаза.

Цанава скорбно умолкал. В его торжественном молчании совершенно отчётливо слышалось: «Конечно, я бы с удовольствием расспросил бы тебя про такую классную биксу. Но ведь я—благородный и тактичный человек…»

Ржать комната начинала, когда за за Цанавой уже закрывалась дверь—до этого гаврики как-то терпели…

Или, например, его рассказ о студенческой практике в городе Краков:

--Карочэ, Ч’эрник, вэчэром сижу в баре—пиво там чешское. Абалдэнное! Смотрю направо—заходыт в двэри афыгытэлная полька. Ваще атас! Смотрю налэво—сыдыт у стойки другая полька. Слушай, к’лэвэйшая! Сыжу думаю: кого же из ных снять? П’эрвую—так вторая абыдытся. Вторую сниму—так п’эрвая абыдытся. Карочэ, так никого и не снял…

Согласись, читатель, налицо редкое для мужиков понимание тонких струн женской души.

Вообще-то личную жизнь Гоги Цанавы можно было бы определить как самый настоящий промискуитет—при условии, что он это слово хоть когда-нибудь в жизни смог бы выговорить. Но случались в ней и линии жирные, отнюдь не пунктиром прочерченные. Была на нашем курсе такая Олечка из Краснодара, тихоня беленькая. Фамилию не называю—я ведь тоже благородный и тактичный человек. Так вот, Гоги и Олечка по окончании учебного, а также и выходного дня вдохновенно штудировали Камасутру. Видел я эту Гогину Камасутру, слепая машинопись, чуть ли не шестая копия, перепечатка дореволюционного издания с «ятями». Лично я там половины даже и разобрать не мог, —а Гоги с Олечкой, ничего, разбирали. Шибко большая по молодости была у Гоги тяга к знаниям, Ломоносов всё-таки! На летние каникулы после четвёртого курса Гоги поехал, естественно, в родимую Цаленджиху—а Оля скучала в своём Краснодаре. И вот написала она своему сокурснику письмо. Причём довольно откровенно упомянула в нём, какие именно разделы Камасутры она хотела бы повторить с Гоги осенью—когда очередной академический семестр начнётся. В Цаленджихе письмо из почтового ящика достала любимая Гогина бабушка Рипсимэ—сам он с утра ушёл с друзьями купаться на озеро. Бабуля Рипсимэ в своём доме держала матриархат чрезвычайно жёсткий—поэтому она недрогнувшими пальцами распечатала конверт из Краснодара. Плохое знание русского языка и старческая катаракта совершенно не помешали бабушке Рипсимэ понять каждое слово, написанное Олей. В грозном исступлении бабушка надела чёрное платье и уселась поджидать любимого внука. Гоги не заставил себя ждать, шумно ввалился в дом с ребятами, даже толком не высохшими ещё после купания, и закричал по-грузински:

--Бабуля, обед нам давай! А то сейчас помрём с голоду!

Бабушка Рипсимэ величественно выплыла в столовую из своей спальни, молча отхлестала изумлённого внука по физиономии пухлым письмом из города Краснодара, потом рявкнула по-русски:

--Гоги, езжай Киснидар—пускай тэбэ тэпэр русский Марфушка кормыт!

Гоги на коленях просил у бабушки Рипсимэ прощения, потом ещё дядя Картлос вовремя подсуетился и свои пять копеек вставил….ну, обошлось как-то. Мужчины уселись за обеденный стол. И всё было сметено могучим ураганом—и лобио, и харчо, и сациви, и чурчхелы виноградные, приготовленные отнюдь не какой-нибудь русской Марфушкой, а лично бабушкой Рипсимэ.

Перехожу к самому ключевому моменту моего эпоса о грозном джигите Гоги Цанаве, грузинском Ломоносове.

Я в жизни неоднократно разыгрывал кого-то, меня сколько раз накалывали…но вот чтобы мистификация продолжалась целый год—таких прецедентов не было никогда.

Тут надо бы вспомнить борьбу с курением, начавшуюся ровно за восемь лет до горбачёвской борьбы с пьянством—и приблизительно таким же победным исходом завершившуюся. Министр здравоохранения академик Петровский издал грозный приказ, строжайше запрещавший курить на любом квадратном сантиметре площади вверенных ему учреждений. Ну и в мединститутах тоже. Сама идея была, на мой взгляд, вовсе неплоха, но методы её воплощения—Бог мой!...Сам-то я не курил, а вот моим закадычным друзьям по группе приходилось весьма несладко. Самым рьяным антиникотиновым борцом был декан нашего лечебного факультета профессор Лашкевич—и все они числились в списке его персональных врагов. Цанава грустно острил:

--Лычные враги фюрэра!

Ираклия Павлиди декан Лашкевич как-то отловил в аккурат напротив ректората—получив двойку на экзамене по анатомии, бедный Ираклий трясущимися руками зажёг свою «Приму». Безжалостный Лашкевич стальными пальцами схватил его за ухо и в это же ухо зловеще прошипел:

--Как ты смеешь, мерзавец, курить прямо перед ректоратом—в непотребном месте?!

Вот так и сказал: «в непотребном». Мамой клянусь.

В другой раз Костик Саур закурил в институтском парке, мы там с ним предавались возвышенной философской беседе. Лашкевич засёк нас прямо от парадных дверей—и рванул к нам со скоростью двукратного олимпийского чемпиона Валерия Борзова.

--Атас,--тихонько сказал я.

Саур, не оборачиваясь, мгновенно забычковал пальцем зажжённую «Стюардессу» и успел героически засунуть сигарету в карман нового белого халата. В ту же секунду декан финишировал. Он пытался превозмочь одышку, а мы синхронно уставились на любимого профессора с выражением оскорблённой невинности. Чтобы хоть как-то объяснить забег, Лашкевич ткнул пальцем на какое-то пятнышко на асфальте и заорал:

--Это кто плюнул?..

И вот в один прекрасный день сопровождаемый мною Гоги Цанава, спасаясь от лашкевичевых репрессий, вбежал в мужской туалет, куда страшная рука декана никогда не дотягивалась. Трубы Гоги горели синим огнём, уши волосатые пухли без никотина—а стрельнуть сигаретку было решительно не у кого. Лишь у дальнего окна маячил, задумчиво пуская кольца дыма к закопчённому потолку, незнакомый высокий черноусый парень в накрахмаленном белом халате, рубашке с галстуком и модных джинсах. Внешне он тянул на пятикурсника или шестикурсника, а мы только первый заканчивали—но какое это имело значение в декорациях мужского туалета…Возбуждённый Гоги подскочил к черноусому и довольно хамским тоном потребовал у него закурить. Конечно, на «ты».

--Вы это мне, молодой человек?—удивился черноусый.

--Нет, блын, это я Джимми К’артеру!—рявкнул разъярённый Цанава.—Тэбя что—нэ русским языком папрасылы? На хрэн ты жмёшься? Ещё будэт он тут мнэ выпэндриваться…таракан усатый.

--А вы не могли бы как-то повежливее со мною разговаривать?—холодно осведомился черноусый.

Вот этого говорить ему совсем не следовало. Начался экспрессивный монолог Гоги Цанавы, изобиловавший так называемой обсценной лексикой. Крики типа «Я тэбэ здэсь прямо и урою, казз-зёл ванючий!» были там ещё самыми мягкими словесными конструкциями.

Черноусый пожал плечами, спокойно выщелкнул ему из пачки самую настоящую сигарету «Мальборо» и тихо сказал:

--Молодой человек, я вас обязательно запомню.

Гоги мгновенно рванулся к горлу черноусого, но тут уже я наконец опомнился и всей своей центнерной массой повис на руках у распалившегося дикого горца…

Черноусый не сдержал своего слова—он совершенно не запомнил Гоги Цанаву. Зато, прийдя через полтора года на третий курс, мы узнали, что черноусый—это Шустов Станислав Игнатьевич, доцент, заведующий кафедрой микробиологии. Ну просто он очень молодо выглядел. Бывает.

Конечно, по законам жанра именно он вёл микробиологию у нашей группы. Заглядывая в журнал, доцент Шустов делал перекличку:

---Так…Павлиди…Саур…Товштейн…Черняховский…Ца…Ца…

Что ж, не он первый, не он последний спотыкался на Гогиной фамилии. Гоги, не вставая, крикнул: «Цанава!»--и мгновенно вжал голову в плечи, как старая черепаха Тортилла.

В тот же день мы таинственно пошептались с девушкой Марьяной, лаборанткой кафедры микробиологии, которую знали близко ( а некоторые из нас знали её—ближе некуда). На следующий вечер, сидя с нами за столиком ресторана «Турист», девушка Марьяна конфиденциально сообщила Гоги содержание совершенно случайно подслушанного ею разговора в кабинете доцента Шустова. Анатолий Игнатьевич, грозно топорща чёрные усы, говорил коллеге, что к нему пришёл учиться студент из Грузии Цанава, полтора года назад грязно его оскорбивший в мужском туалете. И теперь он, доцент Шустов, не успокоится до тех пор, пока не выгонит студента Цанаву из института к чёртовой матери.

На Гоги было страшно смотреть. Он сидел, обхватив голову, монотонно раскачивался и повторял: «Вайме, дэда…вайме, дэда…».

Мы знали, что по-грузински это означает: «Боже, мама…». И сочувствовали несчастному другу нашему, как только могли.

Ну что сказать…Целый год Гоги Цанава учил только микробиологию. И только её одну. Я не уверен, что Луи Пастер и Илья Ильич Мечников так её учили, как он. Кроме нас, в группе вообще никто не понимал, что происходит. Но ведь он же от природы был вполне способный, чертяка—и в результате микробиология отскакивала у него от коренных зубов. Через какое-то время доцент Шустов, естественно, спросил у Цанавы, не хочет ли он вступить в студенческое научное общество микробиологов—да у него и тема уже готова для такого талантливого студента… Гоги вступать отказался, предельно вежливо сославшись на затруднительные семейные обстоятельства.

Конечно, к концу учебного года Цанава стал в злопамятности доцента малость сомневаться. Он обратился ко мне, как к лучшему другу:

--Ч’эрник, а может, Шустов про тот случай в туалэте давно уже забыл?

--Кретин ты наивный,--вполне искренне сказал я.—Ты что, Гоги—не понимаешь его тактики иезуитской? Сейчас Шустов тебе пятёрки лепит, чтобы бдительность твою усыпить…но на экзамене…ой, Гоги, чувствую, устроит он тебе игру в одни ворота. Иди учи!

Гоги застонал, как при острой зубной боли. Микробиологию к тому времени он знал уже не хуже, чем доцент Шустов. При этом ненавидел её всей душой. Я даже предположить не могу, было ли ещё в истории человечества такое редчайшее сочетание.

Куда было девать знания столь глубокие? На экзамене по микробиологии ответ Гоги Цанавы мог быть только блестящим. Таким он и стал. Наша четвёрка заговорщиков ждала Цанаву после экзамена—он последним сдавал. Наконец, вышел, показал нам «отлично» в зачётке (единственная его пятёрка за все институтские годы!) и устало промолвил:

--Шустов, блын…П’рэдставляете, чуваки—всю зачётку мнэ испортыл!

Я не думаю, что кто-то из моих друзей когда-нибудь забудет эту фразу—ну разве что Альцгеймер подстережёт за каким-то жизненным поворотом…

Где-то уже на последнем курсе, незадолго до диплома, Гоги Цанава сообщил мне, что ждёт перевода от отца на двести рублей. И мне пришла в голову идея очередной наколки: если человек ждёт перевода на определённую сумму и находит в своём почтовом ящике корешок перевода—обратит ли он внимание, что на этом корешке нет печати почтового отделения?

Сказано—сделано. Вечером я опустил взятый на почте и собственноручно заполненный корешок перевода в Гогин почтовый ящик. А утром торжествующий Цанава ворвался ко мне, размахивая паспортом:

--Ч’эрник, гамарджоба!Перевод на двэсти рублей пришёл! Сегодня вэчэром «Турист» идём, пить будэм, гулять будэм, баб снымать будэм!

--Давай деньги сначала получим,--отрезвил его я. И мы двинули на почту.

Внутрь почтового отделения я заходить благоразумно не стал. Я и так хорошо знал, что там будет. Как почтовые женщины будут уверять Гоги, что никакого перевода ему нет. Как он будет потрясать паспортом , требовать двести рублей и по ходу дела сообщать им, изумлённым, о своей неоднократной близости с их мамами.

Действительность даже превзошла мои ожидания. На почту как раз в это время заехали два здоровенных инкассатора. Они быстро просчитали ситуацию и осуществили, что называется, вынос тела буянящего Гоги. Цанава кубарем скатился на снег, гневно погрозил кулаком закрывшейся двери и подскочил ко мне:

--Ч’эрник! Прэдставляешь, это какая-то п’адла мне в ящик бросила пэрэвод фальшивый…

--Найду эту п’адлу—убью!—искренне пообещал я.

Гоги, вот уже тридцать лет я пытаюсь найти эту п’адлу. Хотя что там её искать…Каждое утро эта самая п’адла смотрит на меня из зеркала. Она довольно сильно постарела—и морщины прибавляются, что ни день, и пузо отвисло, и борода совсем уже седая. Одышка—куда там профессору Лашкевичу… Честное слово, лучше уж смотреть на старую пожелтевшую цирковую афишу.

А тебя двадцать с лишним лет как нет, Гоги. Ты умудрился остаться вечно молодым. Твои коллеги мне рассказывали, как ты погиб в 91-м году в Сухуми. Ты работал хирургом в госпитале возле железнодорожного вокзала. Над госпиталем было натянуто огромное белое полотнище с красным крестом. И всё равно штурмовики, возвращавшиеся от моря, на бреющем полёте расстреляли полотнище и всё, что под ним находилось.

Успел ли ты увидеть мертвеющими глазами пролетающего в синем сухумском небе, приветливо машущего крыльями и хвостом цаленджихского апопи—я не знаю, Гоги. Кто тогда был прав в этой проклятой войне—грузины или абхазы—откуда я знаю, Гоги? Откуда у Абхазии могли взяться военные самолёты—я не знаю, Гоги. Кто сидел в кабинах этих штурмовиков, стрелявших по госпиталю, какой национальности были эти люди—я не знаю,Гоги, за 20 лет так никто и не признался. Единственно, что я знаю твёрдо—что людьми они не были …

Я столько потерял за эти тридцать лет, прошедших с той поры, когда мы с тобой крепко обнялись на прощанье, что у меня уже нет сил плакать, Гоги. Вайме, дэда…Вайме, дэда…Мы все столько потеряли…Нашу молодость, наш смех, наше здоровье, нашу страну, наконец! А что мы приобрели взамен, что?

И только ночью, только во сне мы, молодые и беззаботные дураки, снова идём пировать в калининский ресторан «Турист».

ВЕСЬ ВЕЧЕР-Р! НА АР-РЕНЕ! ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЗВЕРИ!

Костя Саур.

Ираклий Павлиди.

Лёня Товштейн.

Ч’эрник.

И впереди гордо вышагивает Гоги Цанава—грузинский Ломоносов.

1. Шанин Моше «Плоссковские»

***Шанин Моше***

**Плоссковские**

**Федор Кальмарик**

*Главе администрации Устьянского района*

*Архангельской области Кострикову А.В. от*

*главы администрации МО «Плосское»*

*Тарбаева Ф.Э. и неравнодушных жителей,*

*с трудом населяющих то же самое*

з а я в л е н и е.

Как я есть на деревне первейший иностранец, а проще говоря нерусский, и через это самое по причине национальности лицо пострадавшее, а также среди прочих уполномоченное и выбранное, хочу заявить нижеследующее.

Народ у нас простой.

Жег я вчера листву в огородце, а проходит тут мимо Зыбиха – милая старушка, но придурошная малость. Посмотрела она и говорит:

- Вот, был грех, в кой-то год искра от костра семь километров пролетела, и в Карповской сеновал сгорел.

Народ у нас простой как стружка, как опилок, как гвоздь, как трава. Так и я, примеряясь, а по науке говоря мимикрируя, и за чужие спины не привыкши скрываться и оттуда в сторону бормотать, сообщаю:

Отец мой, Эльмар Джабраилович Тарбаев, служил по месту рождения. То есть в пустыне, где в дозор подвое ходят, и один стоит, а второй в его тени отдыхает, чтоб потом наоборот. Солнце там в небе круглосуточно висит, пыль сухая, и птицы большие облетают дикие земли.

Здесь, в Право-Плосской, ветер чугунки в печи ворочает, а там ничего не ворочает, потому что нечего там пошевелить, и потому что нет его вовсе по полгода и более.

Отец мой вырос в ауле и до работы завистливый всегда был. Также в предках он имел замечательных людей, и в строю потому он первый стоял, хоть по высоте смотри, хоть по ширине, хоть как.

Отрядили его тогда походную ленинскую комнату за ротой таскать. А походная ленинская комната – это два листа фанерных на петлях мебельных и с ручкой самой ни на чтоесть дверной.Килограмм, врать не буду, тридцать и сверху пять. Фотографии внутри, вырезки журнальные и вымпелы, все как полагается. Марш-бросок – несет, ученья – тащит, туда и сюда волокет.

И, значит, отслужил он и оставил здоровье свое в казахской пустыне. Кому такой великан в хозяйстве надобен? Вида много, толку чуть: никому. Отучился он на агронома в душанбинском техникуме, да и поехал куда подале.

Подале – это, значит, сюда.

Приехал. По деревне идет, а у самого шары на воробах, ведь в новинку всё. И встречается ему тут Аннушка, Анна Тяпта то есть, которая уже тогда по языковой части давала всем сдачи и прикурить.

- Это чей парничок-то? – спрашивает.

- Да ничейный.

- Здравствуйте.

- И вам. Эльмар я, работать приехал вот.

Посмотрела тут Тяпта на него, на круглые его глаза, да на ручищи его огромные, и говорит:

- Какой же ты Эльмар. Кальмар ты.

Огорчительно отцу было такое услышать, у него отметина черная по спине наискось от комнаты ленинской.

- Да как вы смеете, - говорит, - Это ж от фамилий Энгельс, Ленин и Маркс.

Посмеялась ему тогда Аннушка в лицо.

- Мне, - говорит, – без интереса…

Так и пошло – Кальмар.

Время зайцем бежит, время цаплей идет - встретил отец мать мою будущую. Все у него в один секунд оборвалось внутри и покатилось прочь. Дело молодое, кипучее, искристое. Так он к ней и эдак, сбоку и напрямки, месяц за ней как на веревочке ходил, молчал как камень и рыба об лед.

Разглядела, наконец, она его среди прочих, вроде как впервые, обернулась и очень серьезно говорит:

- Всем вам одно надо, и тебе одно. А у меня надобность женская.

Взял ее тогда отец за руки, а руки у ней тонкие и шершавые, и говорит, а сам дрожит весь:

- Знаю, Машенька. Женская надобность – она круглая, гладкая. То надо, это надо, и третье, и вместе. За край ее не возьмешь и по кусочку не отхватишь. Гладкая она и трехэтажная, надобность твоя женская. Я готовый.

И вот таким образом объяснившись и обнаружив друг в дружке всё, что надо обнаружить, спустя неделю они расписались. Ускользила зима, отгремела весна, прошумело лето – пожелтел лист да облысела земля, тут и моя остановка, пора выходить.

Назвали меня Федором, а люди прозвали Кальмариком, потому что прозвище у нас впереди человека бежит и правду-матку докладывает.

И жил я себе спокойно сорок годов и два месяца до известного момента, пока не пришли ко мне люди и не сказали, что времена пошли совсем азиатские.

- Времена, Кальмарик, пошли совсем азиатские, - сказали люди, - а ты среди нас самый азиат, и мы тебя главой выбираем. Мы роду никому взяток не давамши, а нынче видно без бакшиша и дела не сробишь.

И стал я главой, двенадцатый год с честью несу возложенное, и делаю вот какой вывод с высоты самого личного опытаи момента: Устья, что Плосское на две части делит – это вполне себе граница, на манер государственной.

Работать я бегаю на тот берег и вижу в этом несправедливость и упущение. Наш берег, правый, он первый был. Дорога здесь была и храм, и погост, и что приличному человеку угодно. А левоплоссковские что? То они школу дерьмом ученическим тушат, то человека на дереве теряют, то гроб с ним же в реку упустят.

Отдал я по весне распоряжение: обкосить всем дома, чтоб не дай бог. А на левой стороне что? Школа занялась! Прибегаю, глядь – а там обкошено меньше половины. Спрашиваю я людей:

- Как же так, люди?

- А это, - смеются, - Христу на бородёнку.

Всё им нипочем, всё шутка, всё забава.

Часовню вот тоже ремонтировали. Как сарай я ее принимал, как дрова,амбар был совхозный. Дыры там в полу и козы внутрь забирались от дождя муку с пола-стен слизывать. Дурное легче легкого, а как полезное сделать мозоль набьешь на мозгу. Ладно, придумал я: всё достал, всем обеспечил, делайте. Весь дом у меня утварью и убранством завален, с Архангельской епархии прислали. Позолота по всем углам блестит, на цыпочках хожу и боком, ни-ни, терплю.

Месяц делают, второй, третий. Уговор был к 1 апреля. А мне с окна хорошо через реку видать: вроде и готово. До обеда я порхался, уложил всё в прицеп аккуратнейше, через тряпочки и газетки, да поехал через Студенец. Приезжаю – никого. Сорвал замок, захожу, а там муки по щиколотку.

Повез я все обратно, и домой опять занес. Новый срок поставили 1 июня. И опять я через тряпочки, газетки, Студенец – приезжаю. А Валька Рачок, бригадир, увидал меня и орет совсем некультурное с крыши на всю округу, прямо с маковки.

- Ты зачем, - спрашиваю, - рявкаешь на меня?

- Зря, - отвечает Валька, - приехал ты. Не готово еще.

Тут уж я не выдержал, взял с земли что под руку попалось, а попался мне хороший камешек грамм на пятьсот, да и запустил в него.

- Ах-ты, - Валька говорит, и ушибленное место гладит, - гнида нерусская и тому подобное оскорбление личности.

И вот я спросить хочу, нам с отцом допытаться до вас интересно, до русских: долго мы за вами предметы культа таскать будем?

Вопрос этот – безответный.

Теперь вот еще Прокопьевский камень, который ~~Вовка Сраль~~ Владимир Рыпаков, самая наша умница, на берегу выкопал.

Александр Валентинович, зная вас как человека практикующего, а не любителя рожу лица продавать, перейду к сути.

П р о ш у:

1. рассмотреть возможность выведения д.Право-Плосская, д.Михалевская и д.Правая Горка из МО «Плосское» и присоединения их к МО «Строевское» или МО «Бестужевское»;
2. выделить средства и технику на выкоп, подъем и установку на постамент Прокопьевского камня.

П р и л о ж е н и я

1. Копия заметки «Главный Камень района» в газете «Устьянский край» от 14 июня;
2. смета на подъем Прокопьевского камня;
3. поименный подписной лист (34 подписи).

*Дата, подпись.*

**Надя Синеглазка**

Такие глаза бывают по одной из причин: от природы, по старости или из-за слез.

И вовсе они не синие, и не голубые, и не васильковые, и не водянистые; и вполне может статься – не придумано еще названия для этого неяркого, беспомощного цвета. Прозрачный он, ровный и холодный, и есть в нем что-то от незатейливого северного неба, и от снега, - ночного снега, подсвеченного луной.

И всё ж – Синеглазка. По всеобщему мнению, Надя - девушка смешливая.

Работает Надя Синеглазка через день почтальоном – до обеда, а после – библиотекарем в клубе.

О почте надо сказать особо. Если кто задумает захватить Плосское, ему всего-то и придется, что взять этот смешной домик в два окна; домик с трубой – каким обыкновенно его рисуют дети: весь квадратный, плоский и простой.

Почта – пульсирующий сосудик Города.

Сюда привозят пенсии, сюда – какую-никакую – прессу. Руководит почтой или, как пишут на конвертах, п/о «Плосское», Анна Притчина по прозвищу Тяпта. Она сидит за помутневшим оргстеклом перегородки, за исчирканным столом, заляпанным окаменевшим сургучом, и смотрит вперед, насквозь. Тяпта тиха, строга, цинична и славится аккуратностью - отчасти старушечьей, отчасти должностной.

Синеглазка приходит в 8 утра. Собранная сумка уже ждет ее.

Хорошо утром выйти с полной сумкой, сбиваюшей шаг, а обратно идти – чтоб от ветра парусом, акульим плавником, полная сплетен и новостей стояла она за спиной.

Да: тридцать пятый год Синеглазке, и эти радости ей пока доступны.

\*\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Анна Черняева, газета***  - Надь, мой-то как машину наладил, так к дому не притыкается. Куды-нибудь да поехал, куды-нибудь да поехал... Какой день в огородце порхалась, чего и робила - не помню… Чую: двери на крыльце схлопали. Думала срать ушел, а он уж в районе.  ***Коля Розочка, письмо***  - У нас-то бают, Витька Филимон опять запил. Ковды… Вчера ли позавчера – бают, сидит за столом да порато ревит, слезы с кулак, вот такенные.  - А чего ревит-то?  - А напейся вина досыту, дак заревишь. | ***Полька Харитонова, газета***  - Всё бегаешь, Надя.  - Бегаю, тетя Поля.  - А Ванька-то невесту нашел.  - Да какова и невеста-то по Ваньке?  - Как у коня в глазу. Смотреть не на что, мелкая и кривая.  ***Шура Пятка, пенсия***  - Холодно нынче, баб Шур.  - Ой, девка, холодно. Ходила на реку сполоснуть тряпье, так до чего вода студёна.  - А Коля Розочка все еще купаться бегает.  - Ну дак это уж закалка.  - Да это уж не закалка, это уж в голове кых. | ***Настя Шерягина, пенсия***  - Девка, мой-то шулыкан с района вчера приехал, полох**а**ло – п**о**лохолом, всё на свете забыл, завара, даже катанцы. Тойды прошел как куимко, а паре шибко яро бранился на меня, красён, я ужо селянку сготовила. Дак нет, белую ставь. Ну, мол, жодай, так он так ободался - из избы в горницу с палкой мотался, а после на повить уполз в клеть. Утром в сенцах нашла… Ой, Надя, и не бай, пошто только, когда аборапками были, ременницу не перешибли, мочи моей нет.  - Давай, баба Настя, я за ночь порой раза четыре и сбегаю. |
| ***Саша Новоселов, газета***  - Надь, умора у нас, с ночи животики рвём. Повадился к Светке, старшей моей, Ванька Сухарев бегать. И ну приставать: давай потыркаемся, да давай потыркаемся. По двадцать лет робятам, ну. Надоел! Так Светка чего удумала?.. Говорит: «Приходи, Ванька, ночью к нам в избу, я на печи спать буду». А мы намедни свинью зарезали, так Светка взяла свишкино ухо, да между ног заложила, и ждёт на печи. Ночью Ванька в избу к нам, на печь, да на Светку. Сноровился, шоркает. Тут скрипнуло что-то, половица, ли что. Светка: «Отец убьет!». Ванька – бегом на улицу, а ухо-то висит. Он и кричит со двора: «Светка, ссать пойдешь, так \*\*\*\*\* на поленнице лежит!» | | |

\*\*\*

Бабий век вёрткий, назад не отыграешь - успевай. В Плосской нет мужчин, способных забыть про бабий век. В Плосской нет мужчин, способных оценить глаза не придуманного еще цвета. Тридцать пятый год Синеглазке, один к одному.

Сегодня суббота, будет дискотека и будет много приезжих. Это надо иметь в виду, и Надя имеет. Вечером она надевает платье, лучшее своё оранжевое платье, и белые босоножки.

Проходит дискотека в клубе, в фойе перед заколоченным входом в кинозал. В табачном дыму шевелятся люди, мелькают белые локти и мокрые лбы. Особо в толпе выделяется Валька Рачок. Танцует ли он? Нельзя сказать точно. Он управляет неведомыми механизмами, выворачивает рычаги, корчится и втаптывает только ему видные педали.

С месяц тому Синеглазка приглашала его к себе посмотреть проводку. Он починил всё минут за десять, потому что проводка, перерезанная в самом видном месте, чинится минут за десять, и обнаружил себя за накрытым столом.

Потом они ужинали, выпивали, и Надя, смеясь, рассказывала миллион историй. Потом она встала и молча пошла на Вальку Рачка, маня пальцем – неловко, но искренне. Что сделал Валька Рачок? Валька Рачок вскочил и побежал вокруг стола.

У Синеглазки дома большой круглый стол, а вокруг большого круглого стола удобно бегать; и они бегали, пока Надя не запнулась. Рачок выскочил в дверь, а она всё лежала под столом и хохотала, закрыв лицо руками.

Всё это было месяц назад, но сегодня в клубе всё не так. Синеглазка кружит в танце вокруг Рачка, а тот не сдается и всё усердней крутит рычаги и втаптывает невидимые педали. Это поединок, дуэль, война с общей победой и общим поражением. Между ними происходит то, что никто еще не сумел описать не дурацкими словами.

…Проходит час, второй, и третий. Состоялось уже пару драк, и свалился уже кто-то с крыльца в крапиву, и тянет с угла кислой рвотой какого-то неумёхи выпить.

Надя открывает ключом дверь библиотеки и скользит внутрь, в темноту. Спустя минуту вваливается Рачок. Он натыкается на стол, на стопы книг, на Надю, и случайно кладет руки туда, куда обычно кладут неслучайно.

- Взрослые люди, - с укором говорит Рачок.

В темноте происходит минутный сумбур.

- Подожди, - вспоминает что-то Рачок и выходит.

Она ждёт.

Она ждёт пятнадцать минут, потом еще пятнадцать, потом ничто не мешает ей подождать еще полчаса.

Наука ждать – сложнейшая из наук, которой она овладела.

Острый писк комара режет сырую и затхлую тишину: в библиотеке сухо и светло не более чем в могиле.

Здесь, в углу за стеллажами, Синеглазка по часу и по два плачет каждый день.

**Марья Зыбиха**

Жара стоит – земля полопалась, трещинами пошла. В земляных щелях в поле мыши прячутся: спинки черные, усики обвислые, животики от пота блестят.

Небо пустое, да полукруглое, изнывает в сухоте и на месте дрожит. Трава влагой вышла, стала цветом исходить: жёлтая всё и прозрачная. Ветер две недели как утащил облака, через пятые руки приветы передаёт. Сжалась река, испрела, в помутнелой воде ребятня дерётся и брызгается.

Молчит птица, утих зверь, псы по дальним сырым углам забились, бока языками дерут.

Июль.

Кажется бесконечный, кажется смертельный, никогда никому не привычный, раз в тринадцать лет нестерпимо жаркий северный июль.

Лопнула земля, изнывает небо и птица молчит, но только бабка Зыбиха не может молчать. Сжавшись, она сидит на лавке в своем дворе. Солнце играет цветом ее глаз, курицы бегают по её ногам, и котёнок повис на подоле.

- Прокопий к нам на камне приплыл.

Зыбиха умеет начать рассказ. Толпы отмахнувшихся и перебивших выковали её умение.

- Прокопий наш - он Устьянский, не Устюжский. Есть Устюжский, тот не наш. Наш Устьянский. Всё про него знаю. Чего не знаю - шкурой чую, кишочками. На Покров его мать родила. Весь день мухи белые кружились, только к вечеру улеглось. И сразу разродилась. Сказали люди роженице тогда: вишь, утихло всё, вишь, светлей стало и покойно кругом?Так и сын твой то же самое в мир несёт.

Не поверила мать.

- Вам звезда, чтоль, зажглась, - из последних силов смеётся, – А из меня чумазенький вылез, и в крови.

- Крута гора, - отвечают люди, - да быстро забывается. А ребёнка помыть можно.

Истопили тогда баню, и пошла она ребёночка мыть.Хороша банька, по-чёрному. По-белому тогда уж не делали. Полощется она, значит, сверху вниз, снизу вверх и всяко, и младенца полощет, а вдруг огромная баба какая возьми к ней и зайди.

- Ты зачем?

- А вот, ребёночка тоже обмыть, - отвечает баба, - Ходила на войну,так ребёночка родила.

- А чья ты?

- А я лешачиха.

Так вóт – такие дела. Лешачиха пожаловала. В те времена это запросто было.

- Что, разве у вас и бабы на войну ходят?

- Ходят. Мы всем народом ходим.

- А что там делаете?

- А в**и**хорём пыль да песок на басурманов наносим, глаза им слепим. В котлы плюём, чтоб им солоно было пуще можного.

- Ну, мойся себе.

Дала она кадушку лешачихе, а сама и не смотрит, самым краешком только. Уж до чего страшна лешачиха! Хрящеватая, руки длиннющие, волосья путаные до полу висят.

- Не смотри на меня, - лешачиха и говорит, - я грех сделать могу. А так-то бы и неохота, в воскресенье. Мы хоть и лешие, а понятие имеем…Сына береги, не просто он так – человечишко средь вас. Он с нечистью великий воин будет. И с нами, лешаками, вот тоже. Удавила бы вас, да ведь он не удавится. Огроменная силища в нём...

- И ты то же самое, - рассердилась тогда мать Пропокьевская, – Не нужно мне ничего, ни большого, ни малого. От великой силы и немощь великая. Человеческого мне подай, простяцкого... Ходи, давай, с Богом, и слово святое аминь.

Глядь – пропала лешачиха, только запах кислый в бане висит и следы шестипалые мокрые наляпаны.

Про лешаков-то что скажу про наших, устьянских. Родятся они от лешаков, как и мы то же самое от людей. А женятся уж не только на лешачихах.Попадёт какая девка русская, так и добро. Может и для любови леший к бабе бегать, только бабе такой н**е**жить потом, в болоте они их топят.

У псаломщицы одной мужик помер, так леший и стал ходить под его личиной. Горе бабское – оно дурное, ослеплое. Только не поддалась она.

- Сотвори, - говорит, - воскресну молитву.

- А не умею.

- Как не умеешь? Ведь ты псаломщиком был.

- Забыл.

- Ну, так я сама сотворю.

Начала читать, так он и пропал совсем, и ходить перестал.

Живут лешие в лесах, да на полянках, да на болотах. Дом**а** у них – не хуже людских, только невидимые. И скот невидимый. Сидел кой-то раз дедко мойХаритон у озера, рыбу удил, и пошло из озераскота, да много, не пересчитать. Голов сто, да сто, да полтораста, и комолый всё, с лысинами на мордах.

Уводят они ребятишек малых, а бывает порой и больших парней да девок. В Студенце у Васятки Ергина парничка увели лет десяти. Как было: понес парничок батьке хлеб, абатька-то за полем дрова рубил. Да что и долго порхался, мать и наругнула:

- Понеси, - говорит, - тебя леший. Скоро ли ты и сряд**и**шься?

Ушёл и ушёл, и у Васятки не бывал, и домой не вернулся. По снегу искать ходили. Следы-то шли лапотные, а потом уж босиком, голой ступнёй. На широком горильце, где снегу не было, след и потеряли. Ворожила ворожиха, так сказала: в живности и сытости парень, а где в живности и сытости – не разобрать…

А могли и подменить. Принесёт леший чурочку и оставит. Ну, чурка и растёт заместо ребенка, только ума в ней нет, и дурости нет, ничего.

Теперь уж лешие отошли от людей, веры в них нет.Веры в них нет, а только я сама видала. Девкой была, ходили мы на сенокос. В первый день и уробились до устатка. В шалаш полезли спать, так ноги руками переставляли. Один парень порато весёлый и говорит:

- Приди к нам теперь леший, так уж и не страшён.

И только проговорил - схохотало за рекой. За рекой, а будто и рядом, вот как. Мы на месте и застыли. Слышим, по броду ктось идет. Подходит большой-большой мужик, я и не видала эких.Весь в черном, и волос черный, и зубы, и глаза. Стоит, смотрит на нас. Мы ни слова, и он ни слова. А у нас собаки были, так и те испужались.

Схватил мужик одну нашу собаку, да как фурнёт в костер! Да как захохочет во все горло! Потом развернулся и назад бродом за реку ушёл. А после – долго ещё за рекой гойкало да свистало…

Так вот и не верь.

А Прокопий наш, Устьянский, сызмальства чего и не видывал. Пышкальцо первым был. Как дело-то было: пошла девушка одна в лес по грибы да по ягоды, и заблудилась.

А за озером жил Пышкальцо. От нечисти тоже мужик, хромой, всё ходит и пышкает. Взял он девушку за руку и привёл в избушку к себе. Отобедала она, отдохнула, дождь переждала, да и засобиралась домой.

- Иди, - Пышкальцо говорит, а сам в усы и похохатывает.

Девушка и пошла. И как ни идёт, всё обратно к избушке выходит. А тут уж и вечер, осталась она сночевать. Залез Пышкальцо на печь, а девке овчину вонькую на пол скинул.

- Завтра снова пойдёшь? – спрашивает.

- Пойду, - девушка отвечает.

- Ну-ну.

Пять дён ходила она, да так с круга и не выскочила.

Стали они жить. Год прожили, ребёнка родили… А один раз пошла девушка на берег и видит: по озеру лодка плывет. То Прокопий рыбачил.

Давай девка его звать, руками махать. Подплыл Прокопий, она и говорит:

- Спаси меня, человек добрый. Спаси, если не кажешься мне, потому что ни в чём я уже девушка не уверенная.

А Пышкальцо, видать, почуял. Выбежал на берег и вопит:

- Не плавай! Не плавай!

Видит Прокопий – дурное дело, нешуточное. Забрал девку, и ну гребсти без огляду, как первый раз в жизни.

Побежал тогда Пышкальцо в избушку, ребёнка из люльки выхватил и на берег принёс. На одну ножку наступил, да за другую дёрнул, ребёночка и разорвал.

- Вот и грех пополам! - на всё озеро кричит.

Тут Прокопию и задумалось: пошто в миру неправды, зла, напраслины всяческой - много, а добра и правды - такая недостача?.. Крепко ему задумалось!

Роду Прокопий пастушеского, и сам пастушонок. Утром скот выведет, сам под дерево сядет, и давай думать: пошто?Большая мысль, пять лет можно думать. Пять лет без недели ему и думалось.

А потом пришёл он домой, родителям в пояс поклонился, и говорит:

- Так и так, уважаемые родители. Ухожу я в мир, правду искать.

- Нищенствовать, что ли? – это мать спрашивает.

- Нет, - отвечает Прокопий, - и не говорите так, драгоценная моя матушка, если вы меня любите. Правду искать ухожу в мир, потому что н**е**можно жить без правды.

- Точно нищенствовать…

И пошёл Прокопий по белу свету, ответы искать. По деревням ходил, по городам, везде был.

Просить-то у людей легко. Люди наши как говорят: не дай Бог просить, а дай подать. Вот и подают.

Бывало,опросил Прокопий одну деревню, а на ночлег еще рано.

Собрался в другую и спрашивает у людей:

- Далёко ли до ближней деревни?

- Да недалёко бы и деревня-то, и кормят там, и подают, да только после вицей стегают.

- Ну, постегают да перестанут.

Пошёл. И встречает дорогой дедушку. Тот и говорит:

- Бойся людей, злые они. Люди - грязь мира, беги от них.

Смешной дедушка, седяной, старый-старый.

- Неправда и зря, - ответил ему Прокопий, - ничего добрей человека на свете белом пока что не придумано.

Пришёл Прокопий в ту деревню и на ночлег выпросился. Сели хозяева ужинать, и его зовут: не откажите в любезности, и то попробуйте, и это. Наелся Прокопий, вышел из-за стола. Ему и говорят:

- Сиди, сейчас рыбник принесём.

- Нет, спасибо, досыта я.

Отужинали, лёг он спать, и захотелось ему пить. Пошёл к ведру, смотрит, а полно ведро гадин, змей и пауков. Пошёл в другой дом, в нём спят мужик да баба, а меж них змея пригрелась. Он и тут не напился. Пошёл в третий дом, а в том доме спит мужик, а у него из роту собака злая выглядывает и подрыкивает. Пошёл в четвертый дом, а там мужик спит, в рёбра топор воткнут.

Так по всей деревне сходил, а не напился.

Утром встал, собрался, вицы ждет. Да никто и не спешит. Прокопий и говорит:

- А в той деревне сказали, что у вас вицей стегают.

- Кабы пирог съел, так и тебя настежили бы.

В чем тут причина? Забава, прихоть, ли что - не разберёшь. Прокопий и спрашивает:

- А пошто у вас в ведре гадин много?

- А неправдой живем.

- А в другом доме спят мужик да баба, а межних змея.

- А баба блядует.

- А в третьем доме у мужика в роту собака.

- А матюкается.

- А в четвёртом доме мужик спит, в ребра топорвоткнут.

- А родителей не почитает.

Так вóт – такие дела.Вся деревня, считай, во грехе живет.

Убёг оттуда Прокопий не отстёганный, а на душе столь и погано, будто и взаправду берёзовой кашей позавтракал. За деревню вышел, а тут опять дедушка вчерашний, седяной, старый-старый.

Кинулся к нему Прокопий:

- Прав ты, дедко!

Смеётся тот:

- То-то же. Говорил я тебе вчера: бойся людей. А теперь скажу: люби их.

- Да как же?

- А я тебя научу.

И ну рассказывать ему про Бога, про Христа, про веру исконную и самонастоящую, и как про то людям сказывать, чтоб не скучно выходило, а задористо.

Долго рассказывал. А потом говорит:

- Теперь уж ты по-старому не будешь жить. Закрой глаза, сосчитай до пяти, и по-новому всё станет.

Сделал Прокопий как дедушка сказал. Глядь: пропал тот, как и не было.

А и сам Прокопий не там где был, а на берегу, а берег на острове, а остров в реке. Голый остров, ни деревца, трава одна и каменья.

Пал Прокопий на колени, в самую тину да грязь, и говорит:

- Великий Боже! Верую в Тебя, и такая вера моя сильная, что я на камне отсюда поплыву.

Выбрал камень побольше, в воду скатил, сел верхом, да и поплыл себе.

Видит – деревня. А река прямая, не пристать никак. Вопил-вопил – никто и не вышел.

Вот уж у Карповской, на повороте, стало его к берегу относить. А мужики местные увидали его, и баграми от берега оттолкнули. И слушать не захотели. Теперь уж не любят о том вспоминать, как святого не пустили.

Ну, а дальше уж Плосская наша. Вся деревня на берег высыпала, смотрят. Сошел Прокопий на берег, поклонился в землю, руки простёр и говорит:

- Что, мир, страдаете от нечисти?

- Страдаем, - отвечают.

- Что, хотите по правде жить?

- Хотим, только мы не наученные.

- Научу я вас, с самого изначала.

Выкатил Прокопий камень из реки, сел на него и давай рассказывать:

- Жили-были два брата в одной избе, Бог да Сотона. Вздумали они один раз от скуки мир творить. И что Бог сотворит - Сотона назло ему придумывает. Сотворил Бог скот, а Сотона паутов, да комаров, да мух придумал, чтобы скот терзали, и волков, да медведей, чтоб скот тащили. Сотворил Бог птиц, чтоб они паутов, да мух ели, аСотона змей придумали коршунов против птиц.

Так они по очереди и творили, назло. Вот, надошла очередь Богу. Думал-думал Бог, кого и сотворить, чтоб испортить н**е**как. И сотворил людей из глины. Лёг спать, а людям наказал на улицу не ходить.

Спит Бог, а Сотона подкрался, отворил двери, да и шепчет потихоньку:

- Люди-люденьки, а побег**а**йте на улицу, коль здесь хорошо-то!

Ну, кои люди подурнее, так те и побежали. А до этого, вишь, не было ни мужиков, ни баб, все были одинакие. Только и разница была, кто поглупей, а кто поумней. Вот побежали глупые на улицу, а Сотона встал за дверку с топором, икак побежит мимо его кто, тюк да тюк его - в промежноги.

А после им и говорит:

- Будьте вы бабами, делайте все наперекор мужикам.

Проснулся Бог, поохал, похныкал, да делать нечего:прилепил остальным людям по шишке и наказал:

- Затыкайте теперь бабам дыры, умножайте добро…

**Валька Рачок**

*Дело № 2-633*

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

23 сентября 20… года п. Октябрьский

*Октябрьский районный суд Устьянского района Архангельской области в составе председательствующего судьи Драчевой О.В., при секретаре Шпартук Е.П.,*

*рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тарбаева Федора Эльмаровича к Новоселову Валентину Ивановичу о взыскании морального вреда за нанесение оскорбления личности в общественном месте,*

УСТАНОВИЛ:

**Тарбаев Федор Эльмарович** обратился в суд с иском к **Новоселову Валентину Ивановичу** с требованием компенсации морального вреда в размере 100000 (сто тысяч) рублей, указав в обоснование иска, что 01.07.20… в ходе обсуждения работ по реконструкции часовни в д.Левоплосская, а также прочих вопросов, связанных с ней, Новоселов Валентин Иванович в присутствии Владимира Алексеевича Рыпакова и Черняева Николая Степановича нанес оскорбление, попирающее его честь и достоинство.

В данном обсуждении он принимал участие как глава администрации МО «Плосское» и как гражданское лицо, на добровольных и бескорыстных началах озабоченное религиозным воспитанием и моральным обликом жителей МО «Плосское».

Во время разговора Новоселов В.И. обозвал его «гнидой». Как следует из толкового словаря Ожегова, толкового словаря Ефремова, толкового словаря Даля, а также толкового словаря современного русского языка, вышеуказанное слово считается как бранное.

Таким образом, ему было нанесено унижение чести и достоинства в присутствии посторонних лиц.

Просит в порядке частного обвинения взыскать с Новоселова В.И. за нанесенный моральный вред компенсацию в размере 100000 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 200 руб. и понесенные расходы на ксерокопирование в размере 2,50 руб.

**Ответчик Новоселов В.И.** иск не признал, суду показал, что 01.07.20… примерно в обеденное время, находясь на рабочем месте не обедал, а работал, так как за работу у него болит душа и весь организм. Пояснил суду, что оскорбление ответчику нанес только после того, как тот бросил в него камень булыжникового вида и попал в мягкие ткани тела. За медицинской помощью не обращался. Подтвердить факт увечья или телесных повреждений не может ввиду отсутствия таковых по естественным причинам заживления.

Пояснил суду, что с истцом его связывают давние неприязненные отношения, состоящие из нескольких эпизодов. Самый запомнившийся ответчику эпизод произошел несколько лет назад, точную дату и время ответчик не помнит, свидетелей указать не может. Истец частным образом нанял его произвести ремонт забора вокруг дома в количестве 90 метров длины и полутора метров высоты. Работы были произведены в полном объеме и в оговоренный срок. Во время сдачи-приемки выполненных работ истец остался недоволен количеством израсходованного материала, хотя тот был несортовой и совсем не подходящий для выполнения вышеуказанныхи в частности любых работ. В ходе устных препирательств Тарбаев Ф.Э. сказал, что с таким подходом к работе как у ответчика, ему стоит обратить внимание на Ергину Надежду Константиновну, потому что она девушка не испорченная почем зря, и от этого страдает, а от порчи здесь была бы только всеобщая польза и индивидуальные удовольствия. Также он сказал, что им стоит сойтись на почве общей глупости в голове и в личных делах. Тем самым Тарбаев Ф.Э., пользуясь служебным положением и авторитетом среди населения, оскорбил мужские и рабочие чувства ответчика.

В содеянном ответчик не раскаивается, сожалеет о своей несдержанности. Свой поступок по нанесению оскорбления объясняет низким уровнем собственной культуры, не позволяющей ему выражать эмоции и чувства в рамках законности.

Просит суд в иске отказать в полном объёме.

По ходатайству сторон в судебном заседании были допрошены свидетели.

**Свидетель Рыпаков Владимир Алексеевич** в судебном заседании не участвовал ввиду собственной смерти. В материалах дела имеются его показания, из которых суд установил, что 01.07.20… свидетель производил земляные работы на берегу реки Устья в д.Левоплосская рядом с часовней в 100 метрах от места события. Свидетель слышал, как ответчик нанес оскорбление истцу. Прочие показания свидетеля о том, что истец Тарбаев Ф.Э. по отцу является прямым потомком Худояра, последнего хана Кокандского ханства, о чем у свидетеля есть документальное подтверждение, суд считает сомнительными и не относящимися к делу.

**Свидетель Черняев Николай Степанович** в судебном заседании пояснил, что с 27.03.20… и по настоящее время находится в систематическом алкогольном опьянении разной степени тяжести ввиду праздникови других причин. В связи с этим свидетель высказал сомнение в своих первоначальных показаниях, имеющихся в материалах дела, а также непосредственно в факте события. Основываясь на обрывочных воспоминаниях и субъективных оценочных суждениях, пояснил суду, что к истцу и ответчику испытывает приязненные чувства и обоих характеризует положительно со всех возможных сторон. Просит суд проявить снисхождение кучастникам судебного процесса и разойтись полюбовно.

**Свидетель Зыбова Мария Алексеевна** в судебном заседании пояснила, что перед лицом конца света, о котором ей достоверно известно из книгопечатной продукции и собственных ощущений, считает исковые требования истца ничтожными. Показала суду, что состоит в дальних родственных отношениях с обеими сторонами судебного разбирательства. Просит суд в иске отказать, поскольку удовлетворение схожих потенциально вероятных исков приведет к тому, что в д.Левоплосская и д.Правоплосская по решениям судов все будут должны друг другу огромные суммы денег, что в свою очередь парализует жизнь села, и без того парализованную.

**Свидетель Ергина Надежда Константиновна** в судебном заседании пояснила, что 01.07.20… она до обеда работала почтальоном, а после библиотекарем. О произошедшем инциденте узнала во время работы от местных жителей. Истца и ответчика характеризует как добрых и порядочных людей. С истцом свидетеля связывают рабочие отношения. Статус отношений с ответчиком пояснить суду затруднилась. Сообщила суду, что готова взять ответчика на поруки и разделить с ним любое решение суда.

Суд, заслушав пояснения сторон, показания свидетелей, изучив материалы дела,

Р Е Ш И Л:

исковые требования Тарбаева Ф.Э. удовлетворить частично.

Взыскать с Новоселова В.И. в пользу Тарбаева Ф.Э. компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 200 рублей и расходы по ксерокопированию в сумме 2,50 руб., а всего взыскать 1202 (одна тысяча двести два) рубля 50 копеек.

В остальной части иска отказать.

**Шура Пятка**

«*Родилась в 1937 году в селе Почуйки Попельнянского района Житомирской области Украинской ССР, откуда была эвакуирована в 1941 году в деревню Право-Плосская Устьянского района Архангельской области РСФСР, где и проживаю до настоящих пор…*»

Из автобиографии

У ручья стоит дом Шуры Пятки. От леса до реки Устьи бежит ручей в низинке. Названия, имени у ручья нет, а только неприличное прозвище. Три уборных на его берегу тому виной – Шуры Пятки, Анны Тяпты и Миши Блина. Трижды оскверняется вода, и считается, что трижды – слишком даже для ручья.

Зимой по замерзшему руслу в деревню ходят волки, сдергивать цепных псов. Первым пострадал Амкар Миши Блина. Понес Миша утром миску, а у будки снег примят – белый-белый, – не то волоком утащили, не то так увели.

Тяптинскую Найду утащили утром, с веранды.

Но сначала в деревне стали пропадать коты. То баловались пугливые прежде лисы, оголодавшие в зимнем лесу. Теперь же, завидев людей чрез поле, они лишь водили носами-точками, чуть пригибая обтерханные тела.

А потом уж пришли волки. Искусная лисья забава уступила волчьему напору. Собак теперь на ночь уводят в хлев.

У Шуры Пятки нет собаки. Нечего охранять и нечего бояться. Три иконки, бестолковый хлам, разномастная рухлядь, саван и белые тапки с картонными подошвами – всё, нажитое Шурой.

На треть, на половину, на три пятых ее уже нет здесь. И тем интересней наблюдать её, видеть, слышать.

- Пей, - говорит Пятка и наливает чай.

- Ешь, - рвет пухлую шаньгу.

- Макай, - ставит блюдце со сгущенным молоком.

Я пью, макаю и ем.

- Корреспондент?

- Да, - вру я.

- С Октябрьского?

- Да.

- Ну, ешь.

Шура Пятка начинает свой рассказ.

- Войну в том селе и не нюхали, обносило стороной. Придет, бывало, какая война, заберет пару мужиков, да отскочит. Пошумит в далине, погрохочет, землю с небом перемешат. Долгонько пыль под облаками висит, спокою нет. Постреляют мужики нашенски в мужиков ненашенских вволюшку, сабельками ручки-ножки друг дружке поотрубают, и ну давай мириться.

Ведь никогда такого не было, чтоб не мирились потом.

А не повезет кому, привезут в ящичке. Хоронить-то ходили всем селом. Плывет гроб над толпой, весь цветами и лентами убран. До чего баско, пирог праздничный, а не гроб.

И тут сказывают: опять война катится. Да такая, что парой мужиков не умаслишь ее. Знать-познать, бежать ноги просят. А куда, если кругом свои?

Веревкой отец подпоясался, сел на лавку и молчит. Слова-то, видно, на ум всё дурацкие идут, не подходящие.

- Государско, - говорит, - дело. Шуточки… Под ружье иттить.

И – в дверь. Остались мы с мамкой двоимя.

А умишко-то у меня махонький, я и спрашиваю:

- Матушка, а раз война катится, так она, значит, круглая?

Матушка отвечает:

- Как колесо война круглая. Огненное колесо, железом рваным да острым подбитое. Дома давит, людей, и жар от него такой, какой в аду еще не придумали. Волосья плавит и кожу лопает. Вскипает жир людской, по обочинкам реками течет. Только пепел и зола остается. Да такенная и зола, что не растет ничего на той земле. Как порчена она считается семь лет по десять разов.

Залезла я под стол и ну реветь…

Три дня - пришли немцы. Те еще ничего, постояли да ушли. Вот за ними похуже принесло. Первым делом что? Полицаев назначили. Вторым делом что? Согнали всех жидов и в два дома заперли. Старух и баб с детьми в один, мужиков с робятами в другой. Утром их, значит, гнать куда или что.

А женщина одна нож спрятала. И давай они всем бабским домом ночью засов пилить, по очереди. Подпилили к утру, навалились, вынесли дверь. Отперли мужиков – и врассыпную.

А парничок один с дедом был. Побежали они по дороге. Видят – едет кто. Спрыгнули они тогда с дороги в болотце с головой, и через камышинки дышат.

Понабегли немцы. Собаки кругом болотца рыщут. Ясно: тут сидят, да достать некак, только и ждать. Те сидят, и те сидят. Надоело немцам, стрельнули они разок со злости по воде, да ушли.

Стрельнули, а попали-то, вишь, в дедушку. Глаза тот выпучил, внука за руку схватил и на дно тянет. Насилу отцепился парничок, побёг в лес.

И, значит, прошла неделя, приходит к нам с мамкой в дом. Грязной, в чирьях сверху донизу и голодный насквозь.

- Пожалейте, - говорит, - люди добрые.

Ну, давай мы его жалеть. День жалеем, второй. А на третий донесли. Вытащили парничка с подпола и увели.

- А по нам распоряжение каковское будет? – спрашивает мамка у полицая.

- А по вам особое распоряжение плачет, - отвечает полицай, - за жидовское сокрытие – расстрел.

А полицай-то Гришка был такой, из местных, кулаковской сын.

- Неужели, Гришенька, ты нас убивать будешь? – мамка спрашивает.

- Буду, - говорит.

- Неужели, Гришенька, ты и дитя не пожалеешь?

- И дитя не пожалею, - говорит, - выходь во двор. Буду вас немедленно убивать.

- Неужели, Гришенька, ты нам поесть не дашь в последний раз?

Подумал Гриша.

- Ешьте, - говорит, - а я обожду.

- Слово даешь?

- Даю.

Сели мы с мамкой за стол, и ну-ка есть что попало. Час едим, второй, третий… Плюнул Гриша ждать, ушел.

Назавтра смотрим в окно – идёт. Мы - за стол, и давай опять есть.

- Едите?

- Едим, батюшка.

- Ну, ешьте, - смеется, - завтра зайду убивать.

И решили мы с мамкой: хоть у нас кроме слова полицайского ничего и нет, мы до конца ворочаться будем. Собрали всего съестного дома и на десять частей разделили.

Но надолго не хватило, а только на десять дней.

Натащили мы тогда домой травы да листьев, веток и кореньев, земли и глины.

- Едите?

- Едим, батюшка, едим…

Мух ели, пауков, червей. Камни грызли и щепки.

- Едите?

- Едим, батюшка, едим…

[…]

… … …!

- …?

- … …

[…]

А отец, вишь, по лесу плутал. Разбили их под Коростенем. Днем спит, ночью по звездам идет. К селу знакомыми тропками и вышел.

И заходит папка в дом. Видит: сидят за столом два мертвеца, по столу пальцами черными скребут.

Да скулят, да воют!

Смотрит отец на мертвецов тех, и узнать не может.

Это мы с мамкой были.

1. Шинкарук Сергей «Ни слова о политике», «Кто вы, Борис Марченко?»

***Сергей Шинкарук***

**НИ СЛОВА О ПОЛИТИКЕ!!!**

*У нас в стране две беды: дураки и те, кто раз в четыре года за них голосует*

**Почему я не стану президентом**

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни ставил мысленный эксперимент под названием «Если б президентом был я». Поводом обычно являлись глупые, по нашему мнению, действия главы державы. А мы бы на его месте, конечно же, поступили бы правильнее, разумнее, мудрее, – так чтобы жить стало веселее, и народ был нами доволен.

Но на прошлой неделе со мной произошел случай, который не просто поколебал, а уничтожил мою уверенность в том, что управляя нашим народом, я смог бы ему угодить.

Итак, ситуация банальная. Маршрутка «Богдан», очень жарко. Сверху открыт люк, причем в направлении движения. Поэтому дует из него – будь здоров, особенно, когда автобус мчится на высокой скорости. Большинство пассажиров подобное проветривание одобряет. Но есть и меньшинство, кому сифонит непосредственно в голову. Меньшинство состоит из деловой дамы лет 45-ти, назовем ее «чиновница», а также очкарика интеллигентного вида, который стоит непосредственно под люком. Волосики интеллигента развеваются под напором ветра, но он, молча терпит.

– Молодой человек, – обращается чиновница к интеллигенту, – закройте, пожалуйста, люк, а то сильно сквозит. – Интеллигент с радостью закрывает.

– Я не понял?! – возмущается здоровый лысый мужик с боксерским носом, сидящий за чиновницей. – Быстро открой! Такая жара, а он еще люк закрывает!

Интеллигент испуганно открывает.

– Закройте немедленно! – повышает голос чиновница. – Дует так, что голову сносит. Мне еще не хватало тут менингит подхватить!

Интеллигент закрывает.

– Если вам дует, то ездите на такси! – вступает в спор женщина, сидящая в конце салона. – Судя по вам, менингитом вы уже переболели! Так что, парень, не слушай эту больную и открывай люк.

Интеллигент открывает.

– Сама ты больная на всю голову! – огрызается чиновница. – Ты где, на своем базаре научилась так с людьми разговаривать?!

– То, что я торгую на рынке, еще не повод меня оскорблять, – возмущается женщина. – Вы посмотрите на нее! Мало того, что она против всего автобуса, так еще и хамит культурным людям!

– А может, человеку действительно дует? – вклинивается в скандал пенсионерка, сидящая на сиденье для инвалидов.

– Так, бабушка, если вы тут едете за бесплатно, то сидите и молчите, – делает замечание боксер.

– А почему это я должна молчать?! – повышает голос пенсионерка. – Кто вы такой, чтобы мне рот закрывать?!

В этот момент я принимаю решение вмешаться.

– Товарищи! – громко говорю я. – Люди! Друзья! Сограждане! Зачем скандалить? Зачем обзывать друг друга?! Это же простейшая проблема, которую легко решить. Вот вам, уважаемый, жарко? – обращаюсь я к боксеру.

– Ясен пень – жарко!

– А вам дует, – констатируя я, глядя на чиновницу.

– Еще как!

– Тогда просто поменяйтесь местами. Вам будет не так жарко, а вам не будет дуть.

– Нашел дурака! – говорит боксер. – Тогда мне в рожу дуть будет. Не хочу я меняться!

– И я не хочу, – заявляет чиновница. – Мне и на этом месте хорошо, только люк закрыть надо.

– Но ведь это единственное разумное решение! – теряюсь я. Моя уверенность, что легко могу разрешить конфликт, улетучивается.

– Ты что, здесь самый умный? – интересуется боксер.

– Да, самый умный?! – поддерживают боксера чиновница и торговка.

– Но подождите, – не сдаюсь я. – Мы ведь живем в одной стране, в одном автобусе… Надо находить компромисс!

– Не надо нам никаких компромиссов! – кричит торговка. – Большинству жарко, значит, люк должен быть открыт!

– Но в цивилизованных странах учитывают интересы и меньшинства, – робко замечает интеллигент.

– Так, меньшинство, рот закрой! – говорит ему боксер. – Скажи спасибо, что тебя такого вообще в автобус пустили.

– Это тебя, бандита, в автобус нельзя было пускать! – заявляет боксеру бабушка с бесплатного сиденья.

В салоне начинается какофония криков и оскорблений. Мои попытки как-то уладить ситуацию бесполезны. Никто никого уже не слушает….

И тут к люку подходит мужик в военной форме и молча ставит его в другое положение – противоположное движению маршрутки. То есть люк открыт, но уже не дует.

– Так нормально? – спрашивает он.

Народ соглашается, что нормально, и успокаивается. Все удовлетворены. Конечно, в автобусе жарко, потому что не проветривается. Но люк ведь открыт! То есть военный выполнил все требования – как активного меньшинства, так и агрессивного большинства. Вот этого мужика нам бы в президенты! Он понимает, что народу нужно. Народу не нужно, чтобы все решалось правильнее, разумнее, мудрее. Для народа главное думать, что ничьи права не ущемляются.

К сожалению, военный вышел на следующей остановке, а мы даже не успели спросить, как его зовут. Так что придется терпеть того президента, которого выбрали.

P.S. Эту историю я рассказал своему институтскому приятелю Игорю, который сейчас живет в Америке. Он приехал в Киев по своим бизнесовым делам. Игорь удивился и сказал:

– А почему бы вам не заменить все автобусы на нормальные, с кондиционером. Тогда проблема открытых люков отпадет сама собой.

Я хотел было ответить, что в Украине не ищут легких путей, но у меня почему-то вырвалось:

– Ты что, здесь самый умный?!

Письмо российским родственникам

Скажу честно: родственники из России меня просто достали! Каждый день звонят, твердят одно и то же: «Как вы там, бедненькие, выживаете при этой бандеровской хунте? Может, к нам приедете, пересидите, пока мы к вам войска введем и наведем порядок». А пытаешься им что-то объяснить, они говорят: с вами все понятно, вы ж зомбированные.

Переубеждать бесполезно. Впрочем, чего я вам это рассказываю, вы и сами знаете…

Думал, я думал и вспомнил совет одного старого приятеля:  
«Если хочешь опровергнуть какую-нибудь глупость – не отрицай. Наоборот, попробуй ее развить, доведя до абсурда. Тогда люди поймут, что ошибались».

«А что? Неплохая мысль, надо попробовать» – решил я и написал такое письмо:

*«Здравствуйте, Игорь, тетя Валя и дядя Саша!*

*Вопреки вашим опасениям и всему, что говорится по телевизору, сообщаю, что живу я хорошо. А дальше будет еще лучше. Потому что уже три недели как я принят в бандеровцы! А как иначе? Иначе у нас карьеры не сделать!*

*Теперь я постоянно хожу с автоматом, и меня все боятся. В ресторанах кормят бесплатно, гаишники отдают честь, а соседи после 11-ти вечера не шумят. До 11 – тоже.*

*Мы, бандеровцы, учим английский язык, чтобы забыть русский. Потому что три языка в голове бандеровцев не помещаются – они же тупые. А английский учим потому, что нас финансирует Америка. Впрочем, чего я вам это рассказываю, вы и сами знаете.*

*Выходные дни, по-нашему – weekend, проводим как обычно – едем к родителям на дачу копать бункер.*

*Чтобы добиться нынешнего высокого статуса, мне пришлось многое сделать. Во-первых, сдать examination по бандероведению. Самым сложным была не биография Степана Андреевича, а необходимость полчаса прыгать. Потому что – «хто не скаче, той москаль».*

*Во-вторых, надо было поймать three москалей. Москалей надо брать живыми и невредимыми, чтобы, так сказать, «шкурку не испортить». Дело в том, что москалей в посольстве РФ мы обмениваем на газ. Газ мы всегда у вас воровали, вот вы нам его и перекрыли. Впрочем, чего я вам это рассказываю, вы и сами знаете…*

*Почетное звание «бандеровец» – это не только права, но и обязанности. Три раза в день надо есть сало и снимать этот процесс на мобильный phone – нас проверяют. Кроме того, мы ежедневно учимся ненавидеть все русское: разбиваем балалайки, издеваемся над матрешками, мучаем медведей, дорисовываем усики и бородки к портретам Пушкина и Достоевского.*

*Кстати, нас, бандеровцев, уже очень много – две трети населения страны. Впрочем, чего я вам это рассказываю, вы и сами знаете.*

*И вот еще какая радость! Моя дочь Горпина (ну та, которая раньше была Машей) заняла первое место в конкурсе бандеровской песни. Теперь она претендент на поездку от страны на конкурс геев и лесбиянок. Ну, в смысле, на «Евровидение-2017». Сейчас сидим и думаем: заводить ей бороду или нет.*

*Кстати, я женился во второй раз. На Вадике. А что? Для нас, европейцев, это нормально.*

*Ну все, прощаюсь, потому что пора идти на очередной штурм Верховной Рады.*

*Goodbye, ваш Серж».*

Думаете, родня, посмеявшись, изменила свое мнение о происходящем у нас? Наоборот! Они поверили каждому слову! Игорь и тетя Валя теперь не только отказываются общаться с «бандеровцем», но и удалили из социальных сетей всю информацию о родственниках в Украине.  
А вот дядя Саша – молодец! Оказался более адекватным. Написал мне короткое, но очень деловое письмо.

«Здравствуй, Сергей! Я все понял и уже снял тебе квартиру в Москве. Кроме того, нашел хорошую работу в охране банка – опыт обращения с автоматом у тебя уже есть. Правда, придется сходить в ФСБ, покаяться и объяснить, что тебя заставляли. А если ты еще дашь откровенное интервью каналу РТР, уверен, что все будет в полном порядке…»

**Легенда о диктаторе**

В одной развивающейся, но никак не могущей развиться стране жил-был диктатор. Жил не тужил. Все у него было замечательно: денег – хоть печь топи, власти – хоть ж…ой жуй. Не скажу, что народ своего диктатора любил, но все же уважал. В смысле, боится, значит, уважает.

Оппозиции в стране не было. То есть когда-то была, но затем куда-то исчезла. Не сразу вся, конечно. А так, по одному…

В общем, ничто не мешало диктатору вести страну к успеху и процветанию. Но страна почему-то не велась. Народ почему-то пахал на диктатора без энтузиазма, без огонька. А если получалось, то и вовсе отлынивал от работы. Какой-то неудачный попался диктатору народ, в отличие от территории. Та была просто роскошной: леса, поля, полезные ископаемые – на сто лет еще хватит, а больше тиран править и не планировал. Скажем честно: за счет ископаемых тиран и держался. А тот факт, что страна занимала 99-е место в мире по уровню жизни, тирана не беспокоил, он ведь входил в первую пятерку.

Но вот какая штука: оппозицию, как группы несознательных личностей, в стране искоренили, однако она, гадина такая, осталась в мозгах людей в виде причудливых идей и желаний. И что особенно обидно, полиция была бессильна, несмотря на то, что к каждому гражданину был приставлен полицейский, а к интеллигентам – сразу двое. Да, в квартиру можно влезть, в телефон и электронную почту – запросто, а вот в мозги никак не влезешь. Хотя пытались. Но, слава Богу, наука в отличие от подлости в той стране была развита слабо.

И вот, в каком-то из неугомонных мозгов родилась экстремистская идея: в пятницу вечером, ровно в 22.00, все недовольные должны были одновременно пожелать, чтобы диктатор скончался. И каким-то непонятным образом эта идея овладела массами. И не возникало сомнений, что в назначенное время десятки миллионов граждан будут вдумчиво желать диктатору плохого.

Но диктатор не испугался, поскольку верил в силу силы, а не в силу мысли. Да и чего тут пугаться, если на защиту тирана встали 100 лучших экстрасенсов со своими энергетическими полями. Если диктатора поместили в специальный мысленепроницаемый шкаф. Если спецслужбы включили глушилки электромагнитных волн.

И стал диктатор спокойно ждать десяти часов вечера, чтобы одержать очередную победу над всякими там радикалами. Ну, не совсем спокойно. Чуть-чуть переживал. Ну, чуть больше, чем чуть-чуть. Короче, не дождался!

Случилось так, что примерно в 21.45 диктатор от страха… Нет, не скончался! Вы что?! Как вы могли такое подумать! Диктатор от страха… обосрался! А уже 21.50, находясь в том же расслабленном состоянии, выступил с речью о сложении полномочий.

Так что финал у легенды счастливый. Сейчас бывший диктатор живет спокойно и горя не знает. Правда, где-то в Аргентине с другим лицом, отпечатками пальцев и фамилией. А его страна из слаборазвитой превратилась в быстроразвивающуюся. Да что там говорить – перспективную для бизнеса! С наукой и культурой!

И никто больше не хочет становиться ее диктатором. Ведь рано или поздно любой диктатор обсырается!

**Люстрация**

Вознамерились в нашем парламенте провести люстрацию. Долго готовились, взвешивали все «за» и «против», плюсы и минусы, возможные последствия, риски... Но все-таки решились!

В самом начале заседания на трибуну взошел Президент и двинул такую речь:

– Друзья, соотечественники, коллеги, братья! Сегодня у нас исторический великий день. Мы должны провести то, чего так сильно хотел, чего так долго просил, да скажем прямо – чего так справедливо требовал наш народ. Кстати, он сейчас на улице с шинами и дубинками стоит... Так вот, люстрация... Тут у меня документы, – Президент с трудом поднял три толстых тома. – Здесь полная информация по каждому. Вся подноготная, все темные делишки, все левые схемы, двойная бухгалтерия, грязное белье, скелеты в шкафу. Скажем спасибо Службе безопасности, парни постарались. Но я не хочу никого прилюдно позорить, поэтому давайте так: кто без греха – остаются в зале, остальные тихонечко, на цыпочках выходят. Никаких претензий к вам не будет, прокуратура сделает вид, что вас никогда не существовало. На все даю десять минут. Время пошло!

Первые пять минут депутаты сидели уверенно, спокойно, глядя друг на друга честными глазами. Потом началось тихое перешептывание, нервное потение, сердцебиение, кряхтение. Затем кто-то пукнул. Это и послужило сигналом! Из зла вышел один. Потом еще один... И еще... И вот ко всем дверям, расталкивая друг друга, устремилась толпа, дабы успеть до окончания десятиминутки...

В зале осталось не более двадцати человек самых честных и неподкупных. Настоящих патриотов – тех, с кем мы будем жить по-новому.

Ан нет! Эти просто не слышали речь Президента, потому что разговаривали по мобильному или играли в «Танки» в наушниках.

Вскоре зал организованно покинули и оставшиеся, а замкнул процессию сам Гарант Конституции, на всякий случай захватив все компроматы.

**РЕФЕРЕНДУМ**

Ночью Робинзону приснился странный сон: какие-то далеко не молодые люди бегали по залу, который был под куполом, что-то кричали, плевались и дрались.

Утром Робинзон не мог точно вспомнить, что же было в этом ночном кошмаре. Тем не менее, в его мозг прочно врезалось слово «референдум». Слово было незнакомо, наверняка из языка каких-нибудь дикарей, чьи племена жили на соседних островах.

Однако Робинзон понял главное: референдум – это когда всему племени вождь задаёт очень важный вопрос и как большинство ответит, так и будет.

Вождём на острове был сам Робинзон, да и племенем тоже.

И вроде бы отвечать на вопрос, поставленный самому себе, было глупо. Но Робинзон так сильно хотел вернуться к людям, что поверил в волшебную силу референдума.

Вопрос, вынесенный на референдум, был сформулирован просто и понятно: «Желаете ли вы и дальше мучиться на этом богом забытом острове вдали от цивилизованного мира: «да» – желаю; «нет» – не желаю». Оставалось только сказать «нет»…

Сто дней готовился Робинзон к референдуму. Строил хижину для избирательного участка, мастерил урну для голосования, вырезал из дерева бюллетень, ставил капканы – вдруг кто-то ещё захочет проголосовать кроме него. Робинзон хотел избежать фальсификаций.

И вот настал заветный момент подсчета голосов. Как глава ЦИК Робинзон достал из урны бюллетень, взошёл на самое высокое место острова и торжественно объявил, что весь народ дружно сказал «НЕТ».

Потом Робинзон стал ждать. Ему казалось, что обязательно должно что-то произойти, хотя в глубине души он понимал – чудес не бывает…

Прошёл год, два, пятнадцать, двадцать… А Робинзон до сих пор ждёт. Ждёт и надеется, хотя мог уже давно построить лодку и уплыть с этого острова нафиг!

**Таксист**

Помню, меня таксист вез – из центра на левый берег. Точнее, не вез, а больше стоял в пробках и при этом со мной беседовал. Точнее, не беседовал, а говорил сам. Таксистов редко интересует чужое мнение, им и своего с головой хватает.

Водителем был мужик лет сорока, и для начала он спросил:

– А знаете, что меня беспокоит?

Я хотел сказать, что даже не догадываюсь, но не успел. Таксист меня опередил:

– Больше всего меня беспокоит поток глупой, непроверенной информации, которая выливается на нас с экранов телевизоров и газетных полос. И людям непросто в ней разобраться, отделив ложь от правды, факты от выдумки. Поэтому, прочитав о каком-либо событии или явлении, я десять раз перепроверяю в разных источниках. А вы как?

Я промямлил, что тоже так стараюсь, но времени маловато.

– А время надо находить! – с укоризной сказал водитель. Потом спросил:

– Скажите, а вы за то, чтобы мы вошли в Евросоюз, или все-таки вернуться к идее многовекторности?

Я промычал уклончивое, мол, четкое мнения на этот счет не имею. После того как меня укусил за ногу разгоряченный после митинга радикал, в политические диспуты с малознакомыми людьми предпочитаю не вступать.

– А я все-таки за многовекторность! – заявил таксист. – Ведь, как сказал классик: «Нам своє робить».

– Вы уверены, что эти слова именно про многовекторность? – спросил я.

– А про что же еще?! – агрессивно сказал таксист и мне показалось, что он потянулся за монтировкой. – Я против этой Европы! Потому что она нас шантажирует. Когда наши политики бывают в разных Брюсселях и Берлинах, их знакомят с проститутками легкого поведения, а потом это дело снимают на видео. И угрожают: или вы идете в ЕЭС, или все завтра будет в Интернете… Вы про это знали?

– Догадывался, – дипломатично ответил я.

– А знаете, зачем Европа нам навязала е-декларации? – продолжил политинформацию водитель. – Не знаете? Так я вам сейчас расскажу. Для того чтобы люди увидели все эти богатства и пошли штурмовать дворцы в Конча-Заспе – ну, как в 17-ом году. И тогда бедные стали бы богатыми. Кстати, вы в курсе, кто виноват, что мы такие бедные?

– Ну…

– Горбачев, евреи и футболисты! Знаете, кто такой Горбачев на самом деле?

Не знаете? Так я вам расскажу! Горбачев – немецкий шпион, которого доставили в Москву в опломбированном вагоне. А потом за развал Союза ему дали Нобелевскую премию…

С этого момента монолог водителя меня заинтересовал. Такой каши в голове я еще не встречал.

А таксист продолжал:

– Про евреев вы и сами все знаете. Они купили все заводы, всю землю, всех политиков и что самое обидное – всех красивых женщин. Нам осталось черт знает что!

– А футболисты? – спросил я.

– Тю! – удивился таксист моей неосведомленности. – Так евреям такие большие деньги нужны для того, чтобы тратить на футболистов. Этим бездельникам евреи миллионы платят!

– Так Ахметов вроде не еврей, – робко предположил я.

– Как это не еврей?! – возмутился таксист. – Он же рыжий!!!

Водитель обиженно замолчал. Надолго. Примерно на десять секунд. Затем спросил, как я отношусь к сексуальным меньшинствам.

Я ответил, мол, мне трудно что-либо сказать по этому поводу, поскольку лично таковых не встречал. После того как в одной компании я рассказал очень смешной анекдот про геев конкретно гею, стараюсь быть острожным с этой скользкой темой.

Таксист заявил, что мне повезло, ибо каждый четвертый пассажир, садящийся в его машину, относится к этим самым меньшинствам, особенно те, которые не дают на чай. И если я хочу знать, то вся голубизна и розовость – это вирус, который запустили на Землю подлые инопланетяне. Их цель: сделать так, чтобы человеческая раса перестала размножаться и вымерла естественным путем – без войн и загрязнения окружающей среды. Таким образом, более-менее хорошо сохранившаяся планета достанется коварным пришельцам. Кстати, Запад уже заражен агентами инопланетян, которые проникли в высшие сферы власти. А православный мир продолжает с вирусом бороться, но силы явно неравны…

Водитель снова на пару секунд задумался, затем поинтересовался:

– А вы в какого Бога верите, в смысле, в какую церковь ходите?

Я ответил обтекаемо: мол, я человек скорее религиозный, чем верующий. После того как в маршрутке я подрался со свидетелем Иеговы, вопросы религии обсуждаю только со своей тещей. И то потому, что я ее сильнее.

– А я буддизмом увлекся! – гордо сказал таксист. – Замечательная штука, оказывается. Весьма духовно развивает. Я занимаюсь им три раза в неделю по два часа…

В этот момент мы наконец-то приехали. Я поблагодарил водителя за приятную, развивающую поездку и дал ему на десять гривен больше, чем сказал диспетчер. После этого я стал ждать «бомбовой» прощальной фразы. И таксист меня не разочаровал.

– Спасибо, – сказал он. – Да храни вас Аллах!

**Кто вы, Борис Марченко?**

С чего же начать?.. Пожалуй, начну я с заседания клуба «Гоголь-моголь», которое состоялось в середине марта 2010 года. Клуб этот объединяет непрофессиональных писателей, поэтов, драматургов и даже одну актрису, приходящую покрутиться среди интересных, как ей кажется, мужчин. Слово «непрофессиональных» я употребил в том смысле, что сочинительство не является основным источником дохода. Хотя большинство «гоголевцев» печатается в тонких и толстых журналах, а пьесы председателя клуба Леши Заславского идут в театрах.

Конечно, «Гоголь-моголь» название не совсем удачное. Зато звучное, и указывающее на то, что сборища литераторов носят несерьезный характер. Правда, зачастую вещи там читаются очень даже серьезные. Но самое упоительное в клубе – это праздники. А точнее Дни Рождения. На них зачитываются остроумные или трогательные посвящения имениннику, а потом наступает час веселой гульбы и трепа. Как метко заметил наш председатель:

«За что мы любим литературу, так это за водку и селедку после заседаний».

Но вернемся к мартовской встрече. Тогда свой 40-летний юбилей отмечал Саша Криворучко. День был радостный, а Саша был грустным. Но не от бремени прожитых лет, а от того, что его уволили с работы. С работы, которая ему очень нравилась, которой он горел. Криворучко – человек военный во всех смыслах: обязательный, аккуратный, с выправкой, которой я всегда завидую. Пишет Саша в основном афоризмы – четкие, понятные, в точку. Полковник Криворучко возглавлял какой-то отдел, который занимался подготовкой украинской армии к переходу на стандарты НАТО. Извините, что без подробностей – Саша о работе не слишком распространялся. Отдел был создан при Леониде Даниловиче и был полностью распущен после воцарения на троне Виктора Федоровича.

И вот, после прочтения посвящений, сопутствующих им тостов, выпиваний и закусываний, юбиляр спросил:

– А скажите, коллеги, как вы голосовали во втором туре выборов? За прекрасную даму или за мужлана? Ну, если это не секрет.

Это не было секретом.

– Я за даму, – практически одновременно сказали я и драматург Заславский.

– А я на выборы вообще не хожу! – гордо заявил прозаик Калюжный. – Голосуй не голосуй, все равно получишь, сами знаете что.

– А я пошел, зачеркнул обоих и слово из трех букв написал, – похвастался поэт и лоботряс Юра Величко.

Очередь дошла до Бори Марченко. Он не торопился сообщать секрет своего волеизъявления. Боря снял очки, протер их и очень медленно стал рассказывать:

– Конечно же, я проголосовал за... как ты его назвал... – мужлана. Так же, как и в 2004-ом году. У меня даже и тени сомнений не было за кого голосовать. Не националистам же власть в руки отдавать. Скажу вам больше: вся моя семья голосовала за него, и как минимум трех коллег по работе я переубедил поступить так же.

Саша Криворучко вздохнул и тихо, но достаточно отчетливо произнес:

– Так вот из-за каких пидарасов я работу потерял.

Это было сказано как бы в шутку. И относилось не только к Борису. Ведь те, которые не ходят на выборы, или ходят из хулиганских побуждений, поступают гораздо хуже тех, которые голосуют не так, как нам хочется. Однако Борис принял фразу Александра исключительно на свой счет. И обычно велеречивый Марченко промолчал весь вечер. Праздник был испорчен.

Я знаю Криворучко более десяти лет и только в тот раз услышал от него матерное слово. Саша прилично выражается, даже когда характеризует игру сборной Украины по футболу. А тут его переклинило. Видимо, голосование за лидера «регионалов» было для Саши сродни предательству.

Меня Боря Марченко тоже удивил. Он ведь интеллигент, учитель, преподает в школе математику и вдруг такой выбор! Мне казалось, что даже чисто физиологически этот необразованный, примитивный пузан должен вызывать у интеллигенции реакцию отторжения. Тем более, сам Борис писал такие умные, добрые, тонкие рассказы…

Через пару дней председатель клуба Леша Заславский пояснил мне, в чем тут дело.

– Понимаешь, – сказал он, – у Бори 50% еврейской крови.

– И что?

– А то, что слова «национализм», «национальный» для него, как жупел. Что-то очень страшное, связанное с погромами. Он еще в 2004-ом был против любых «оранжевых» именно потому, что воспринимал их всех как националистов. И не ищи рационального объяснения этой фобии. Таков уж Боря и его не переубедить.

Я расстроился. Как же мне теперь общаться с Борисом, ведь первоначальная реакция у меня была примерно такая же, как и у Криворучко? Но затем подумал: начиная с 2004-го года, мы стали делить людей на бело-голубых и оранжевых. Причем оранжевый означало – хороший парень и друг, а бело-голубой – сволочь и враг. Но оказалось, что человек, выкрикивающий патриотические лозунги может быть законченным мерзавцем, а регионал нормальным мужиком.

Кроме того, я с подозрением отношусь к политически озабоченным личностям, которые не могут существовать без кумира. Стоит человеку как-то проявить себя, как-то выделиться из общей массы – и вот он новый идол! Давай его или ее в лидеры нации! Но, герои вчерашних дней редко бывают героями сегодняшних. Поэтому народ наш снова и снова разочаровывается…

После мартовского заседания клуб продолжил свою работу в том же составе, правда, собираться мы стали реже. Из наших посиделок ушла веселая беззаботность, произведения стали печальней, а шутки – горше.

С Борей мы общались и вне клуба. Он предложил подтянуть мою дочь Вику по математике, и ее вердикт был следующим:

«Десять занятий с твоим Борей дали мне больше пользы, чем несколько лет школы. Он молодец! И плевать на его политические взгляды».

Откуда моя дочь знает про взгляды? Я делюсь с нею всем, что меня волнует и беспокоит. Так уж получилось, что она единственный человек, который меня полностью понимает.

Примерно через год мы с Борей случайно встретились на Крещатике, он спросил, как дела у Вики и, не дожидаясь ответа, высказался на политическую тематику:

– Может, я и не прав, – сказал Марченко, – но я смотрю на все со своей учительской колокольни. Мне хочется, чтобы была стабильность в системе образования. Без этих метаний из крайности в крайность, без издевательств над детьми и учителями. А то, как новая власть, так очередная реформа. А качество образования все хуже и хуже. Причем, оно даже хуже советского, которое все реформаторы так рьяно ругают…

Пришла осень 2013-го года. Президент не подписал Ассоциацию с ЕЭС, люди вышли на Майдан.

– Ну, зачем?! – возмущался Боря. – Так ничего не изменишь! Ну не подписал он, жизнь ведь на этом не заканчивается! Через два года можно выбрать другого Президента и пусть этот другой подписывает. Ничего за это время не случится! Да и рано нам в Европу. Вначале надо прекратить гадить в лифтах и бросать окурки на асфальт, а уж потом… Да и нельзя же серьезные политические решения принимать с помощью уличной демократии!

Так говорил Боря до событий 30 ноября 2013-го. Утром этого дня он позвонил мне и спросил:

– Ты видел, какие ОНИ садисты?!

Боре не особо нравился Майдан и идеи, за которые там стоят. Тем не менее, Марченко развил активную общественную деятельность, собирая для митингующих продукты, теплые вещи, медикаменты. При этом он неоднократно повторял:

– Сколько там замечательной молодежи! Много моих учеников. Но понимают ли они, чем все закончится?! Ведь на плечах людей достойных к власти чаще всего приходят негодяи!

В ночь с 19-го на 20-е февраля 2014-го Марченко вывозил с Майдана раненых. Пуля пробила лобовое стекло его «Лады» и прошла в нескольких сантиметрах от головы.

– Я не испугался, – рассказывал Боря, – не успел.

Когда 23-го февраля Верховная Рада отменила закон о региональных языках, Боря предрек:

– Ты, наверное, иначе на все смотришь, у тебя эйфория от победы революции и все такое…, но чувствую, что эта отмена приведет к беде. Страну клеить надо, а эти нацики – наоборот. Они думают, что теперь им море по колено, но как бы нам всем в этом море не утонуть!

Вначале Боря был противником АТО, но в конце мая вызвался доставить десяток бронежилетов шестого класса на передовую.

– Хочу, чтобы прямо там, при мне проверили качество этой польской продукции. Может зря мы их оттуда везли.

Качество оказалось хорошим…

Сейчас Марченко за выполнение Минских соглашений.

– С этими людьми надо разговаривать, – говорит он. – Нам с ними еще жить в одной стране.

Я с «этими людьми» в одной стране жить не хочу. Пусть они строят свои отдельные маленькие государства. Уверен, без этого камня на шее Украине будет проще. Тут наши взгляды с Борей кардинально расходятся, но мы выслушиваем друг друга спокойно, без оскорблений.

Однажды я не выдержал и спросил его, всем тоном подчеркивая, что вопрос задается как бы в шутку:

– Боря, как тебе удается так часто менять политические убеждения?

– Твердость политических убеждений является признаком недостатка ума, – изрек он. – Или что еще хуже признаком недостатка совести… А если серьезно, то убеждений я не менял. Я по-прежнему за стабильность, и чтобы люди не гибли…

– Понятно, ты за мир во всем мире.

– Не ерничай! И кстати, что может быть правильней и гуманней мира?! Да, и вот еще что… На досуге я изучал биографию Степана Бандеры… По разным источникам… И хоть режьте меня – героем я его считать не могу.

– Да никто этого от тебя и не требует, – сказал я и в очередной раз задал себе вопрос:

«Так кто вы такой Борис Марченко? Патриот? Оппортунист? Конформист?» Ни то, ни другое, ни третье. Боря – просто порядочный человек. Возможно, в наше время это не самая выгодная, но самая правильная «политическая позиция». А точнее, во все времена.

1. Моя дорогая *(фр.).* [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Так в послевоенные годы называли частичный отбор жилья в связи с катастрофической нехваткой последнего. [↑](#footnote-ref-2)
3. Задержка психического развития. [↑](#footnote-ref-3)
4. «Любовь навеки». [↑](#footnote-ref-4)
5. Продавец в казенной водочной лавке. [↑](#footnote-ref-5)
6. Завод «Дукс» (Dux) - [императорский](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82) (до [1917 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4)) [самолетостроительный завод](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4) в [Москве](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0). Завод производил также велосипеды, мотоциклы, дрезины, автомобили, аэросани, дирижабли. [↑](#footnote-ref-6)
7. Общеобразовательное учреждение в Российской империи с программой младших классов гимназии. Прогимназии учреждались в городах, где не было гимназий. [↑](#footnote-ref-7)
8. Генрих Вильгельм Эрнст ([1814](https://ru.wikipedia.org/wiki/1776) -[1](https://ru.wikipedia.org/wiki/1822)865) - австрийский скрипач и [композитор](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80). [↑](#footnote-ref-8)
9. А.М. Топоров вернулся на Старооскольщину - в с. Стойло - в 1944 году - после отбытия несправедливого наказания в ГУЛаге. [↑](#footnote-ref-9)
10. Славянское народное кисло-сладкое блюдо из ржаной муки и солода, мучная каша. [↑](#footnote-ref-10)
11. Широкое и длинное женское пальто. [↑](#footnote-ref-11)
12. Принадлежность женской одежды - род открытого с двух сторон мешочка, обычно из меха, для согревания рук. [↑](#footnote-ref-12)
13. Воспитанница епархиального училища. [↑](#footnote-ref-13)
14. Многоместный конный экипаж с боковыми продольными сидениями. [↑](#footnote-ref-14)
15. Грыжа, опухоль. [↑](#footnote-ref-15)